Максимиліанъ Волошинъ

Максимилиан
ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Под общей редакцией
В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Москва
Эллис Лак 2000
2006

Максимилиан

ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Том четвертый

Переводы

Москва
Эллис Лак 2000
2006

ББК 84(2Рос=Рус)
УДК 821.161.1-94
В68

***Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»***

**Российская академия наук
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)**

Составление
А.В. Лаврова

Подготовка текста и комментарии
П.Р. Заборова, М.Ю. Кореневой, Д.В. Токарева

Научный редактор
С.И. Субботин

Художник
В.Н. Сергутин

ISBN 5-902152-34-8 (т. 4)
ISBN 5-902152-05-4

ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО

ЭМИЛЬ ВЕРХАРН
Судьба. Творчество. Переводы

Судьба Верхарна

Судьба в эпоху Великой Европейской войны была особенно безжалостна к поэтам. Она как бы хотела символически указать, что в наступающие железные времена человечеству больше не понадобятся ни поэты, ни художники.

Англия за эти трагические годы повесила лучших ирландских поэтов[1]. Франция в первый же год войны швырнула на убой всё свое молодое искусство. Одних поэтов было убито во Франции больше трехсот. Во имя республиканского равенства, для того, чтобы показать, что художник ничем не лучше чернорабочего, их ставили застрельщиками при атаках, то есть обрекали на верную гибель: равенство всегда обрубает ноги более высокому, так как не может заставить вырасти карлика. На наших глазах погибло то, что было величайшей драгоценностью Европы, – ее чувство, ее мысль, ее цветок – французское искусство. За лязгом оружия и за грохотом пушек мы не заметили этой катастрофы. Ее результаты скажутся в 20-х, 30-х гг., когда мечта Европы окажется лишенной крыльев, а мозг обескровленным. К чему тогда будет победоносная и снова богатая Франция, лишенная того, что являлось ее смыслом и оправданием в Европе, – своего искусства?

Но и среди этих вопиющих гибелей смерть Верхарна потрясает своей жестокостью. Сердце не хочет помириться с бессмысленностью этой гибели великого поэта под колесами поезда, с тем, что это благородное старческое тело, в котором каждый нерв был чувством, а каждый мускул – мыслью, было размолото жерновами ободов, стало снедью машины. Эта жестокая и нелепая смерть вполне в стиле последних лет европейской истории.

Увы! Смерть косит французское искусство не только на полях сражений: она убивает и «обратным движением свое-

го костяного локтя». Ряды старшего поколения французских мастеров, находящихся вне призывного возраста, редеют ежеминутно. В этих смертях, неотступно и тесно следующих одна за другой, есть подведение итогов искусству прошлого века, но в каждой из них намечается своя индивидуальная судьба, и в них хочется уловить некий общий закон. Война открылась смертью Жореса[2]: неожиданным, необъяснимым, немотивированным убийством в ресторане, совершившимся за несколько минут до того, как взвился занавес, раскрывший апокалиптическое зрелище современной войны. Судьба точно не хотела ему дать заглянуть за этот занавес, который уже шевелился. Смерть в этом случае была благодеянием: красноречивый и прекраснодушный трибун, веровавший в братство народов в труде, который до такой степени верил в миролюбие Германии, что за час до своей смерти и за 24 ч. до начала войны давал слово Вивиани[3], что «Германия не выступит», был выхвачен из жизни, как бы для того, чтобы не быть поставленным в трагический разлад со всем делом своей жизни.

Тонкий и остроумный Жюль Лемэтр[4], умерший в первый месяц войны, за несколько недель до того был поражен болезнью, необычайной, как библейское знаменье: он разучился читать. Зрение его оставалось нетронутым, он продолжал воспринимать все впечатления внешнего мира, но какой-то маленький сосудик, лопнувший в мозгу, нарушил работу памяти, и он, всю жизнь живший для книги и книгами, для которого они были живыми существами, потерял способность различать смысл напечатанных знаков. Война застала его, когда он пытался снова научиться читать по слогам, и нанесла ему милосердный удар. Не являлось ли это указанием того, что в наступающую страшную эпоху истребления французской литературы ему, Жюлю Лемэтру, читать будет нечего и незачем?

Реми де Гурмон в последней своей книге[5], представляющей плач Иеремии над могилами погибшего поколения французского искусства, говорит о том странном и неопределимом чувстве потери вкуса к искусству прошлого, кото-

рое охватывает его. Берет ли он с полки старую книгу испытанного писателя, всегда таившую в себе новые волнения и восторги, – он, перелистав равнодушно несколько страниц, ставит ее обратно: всё прошлое, что было до войны, потеряло вкус, обессмыслилось: рука, желая опереться на крепкие фундаменты исторического прошлого, встречает пустоту, и дух охвачен смертельным головокружением; Реми де Гурмон был физически убит этим чувством пустоты.

Трагедия Верхарна во время войны была не только драмой гражданина, присутствующего при гибели своей родины, но душевным крушением поэта, достигшего в своем творчестве высшего просветления любви и благословения всего сущего и неожиданно кинутого судьбой в плавильную печь ненависти и национальной вражды, против своей воли, против смысла всей своей жизни вынужденного ненавидеть.

Мне вспоминается невольно моя последняя встреча с Верхарном. Я встретил его в марте 1916 г., накануне моего отъезда из Парижа, в музее Гиме[6]. Я увидал его в угловой зале, посвященной буддийскому искусству, где посередине стоит деревянная статуя, изображающая «ДХАРМУ».

Дхарма – это высший религиозный долг человека. Она изображена в виде странника, стоящего на облаке, с одним башмаком в руке, в черной страннической одежде, раздуваемой ветром времен, с пристальными, в упор, прямо в глаза глядящими глазами из черно-белого оникса, инкрустированного в черном дереве. Эти глаза смотрят в человека и сквозь него на какие-то отдаленные горизонты души.

Теперь, вызывая в памяти наружность Верхарна – его худую, сутулую фигуру, его висячие, редкие, с сильной проседью усы, его старческой синевой голубые глаза, из-за тяжелых, криво сидящих на середине длинного кривого носа – носа идеалиста, пенсне, его лоб с трагической морщиной – широкой и резкой, как два крыла птицы, собирающейся лететь, – я неизбежно вспоминаю за его плечом черное лицо и ониксовые пристальные глаза странника на облаке, которые я видел во время этого разговора с Верхарном, которому было суждено стать последним.

Этот образ, соединенный с ним, кажется мне таким же знаменательным, как лев под локтем апостола Марка и ангел за плечом Иоанна.

«На половине жизненной дороги»[7] Верхарна был момент глубокого морального перелома, определивший весь строй его поэзии. Этот момент отмечен в его поэме «Святой Георгий» (из книги «Видения на моих путях», написанной около тридцатилетнего возраста).

Среди туманов, окутывавших его сознание, разверзся широкой молнией проход, и к нему спустился, весь сверкая золотом и перьями, на взмыленном белом коне без узды «Рыцарь долга» – Св. Георгий.

«Он промчался прыжками пламени сквозь мою душу, – говорит поэт, – он наполнил меня своим полетом и нежным ужасом и умчался, наложив на меня ПОСЛУШАНИЕ МУЖЕСТВА, копьем начертав золотой крест на моем челе, прямо к Господу, с собой унося мое сердце»...

Мы таинственно присутствуем в этой поэме при посвящении поэта в рыцари долга, при обречении его на поэтическое служение. Это верховный момент жизненного пути Верхарна, являющийся ключом ко всей поэтической судьбе его.

Когда исчезает Св. Георгий, появляются четыре женских тени: «Одна – вся голубое прощение, другая – белое милосердие, третья – созерцающая любовь, последняя – самопожертвование, и каждая причастна бесконечности от чаши Христовой...

...Одежды их целомудренны, в медленных мантиях, с целящими и утешающими складками, они обходят мою душу, прикрывая ясными пальцами свои светильники...

...И когда они приведут в порядок мой дом, подметут все мои ошибки, сложат все мои угрызения и на ключ запрут мои грехи, – они воздвигнут высокие помыслы на святом Престоле для причастия моего сердца»...

Для знакомых с основными мотивами поэзии Верхарна эти строки, проникнутые глубоко католическим духом, покажутся случайными и странными, но в истории поэзии трудно найти поэта, разумом, темами и идеями менее рели-

гиозного и более религиозного по духу и по всему тону своей поэзии.

Это противоречие исходит целиком от той страны и той расы, из которых он вышел. Верхарн – фламандец, в жилах его голландская кровь смешана с испанской, а дух его формировался в купели французского языка и французской культуры.

Родился он в городке Сент-Аман близ Антверпена (21 мая 1855 г.). «Городок С.-Аман, – говорит его биограф Базальжет, – находится на пересечении границ восточной Фландрии и Брабанта на высоком берегу Шельды, доминирующем надо всею окрестностью. До самого горизонта тянутся широкие равнины, овеваемые ветром, испещренные селеньями и колокольнями городков. Зарываясь по самую грудь в буйные травы поемных лугов, каждый год заливаемых разливами, бродят стада. По ту сторону плотин проходят большие паруса, позлащенные солнцем и пламенеющие в сумерках. Детство поэта протекло в этом пейзаже суровом и величаво прекрасном, наложившем на душу печать на всю жизнь, Верхарн – дитя Шельды и помазание свое получил от побережий Северного моря»[8].

Эта мирная и полнокровная страна во все века, как и теперь, была полем битв между германским и латинским миром. Она была страстным ложем, на котором народы сплетались в иступленном объятии войны; она была тем тигелем, в котором несколько веков тому назад сплавились германские руды с испанским золотом. В крови фламандцев произошло органическое слияние тевтонского и испанского мира: недаром Верхарн вспоминает о своих «смуглых предках, которые любили русых жен».

Отсюда тот двойственный блеск, которым отливают талант и дух Верхарна: одним он представляется чистым германцем, другим – латинцем.

Так, Реми де Гурмон дает ему такую характеристику:

«Чтобы оценить Верхарна по справедливости, нельзя его судить с французской точки зрения, сравнивать его с поэтами нашей расы, нашей традиции. Его надо оставить в сво-

ей среде: пусть он останется для нас фламандским поэтом, который для передачи своей фламандской души пользуется средствами французского языка.

Для фламандского духа характерно это странное сочетание мистицизма и чувственности, кротости и ярости, бунта и смирения. Это всё можно было бы найти и в парижанах средневековья. Но Фландрия именно и является в наше время страной, наиболее подчиненной духу средневековья. Она стремится одновременно к социальной свободе и к религиозному подчинению. Там католические праздники уживаются рядом с народными кермессами[10]. Это страна веры и обжорства, скупости и расточительности, насилий и кротости.

Сам Верхарн производит впечатление человека очень доброго и кроткого. И он действительно таков и в глубине души и в обхождении. Но его можно сравнить с одним из тех робких детей, которые, оставшись одни в пустой комнате, подымают страшный шум для того, чтобы не слышать пугающих шорохов молчания. Можно тоже сравнить его, и сравнение это будет более справедливо, с одним из тех монахов, тихих и молчаливых, послушных и чистых душевно, которые, как только подумают о мире, об его грехах и об его кощунствах, разражаются гневом и проклятиями. Верхарн, совсем как мистик четырнадцатого века, легко бывает охвачен священным гневом: он выходит на крышу своего дома и посылает проклятия на четыре стороны света. Ничто не заслуживает его снисхождения. В нем звучит голос Иезекииля. Но кризис проходит, и он снова становится мудрым мечтателем и кротким созерцателем.

Он часто неуклюжий, но мощный кузнец слова: самый мощный, какого французская речь видела со времен Виктора Гюго. Но насколько глаз германца Гёте был латинским, настолько глаз фламандца Верхарна остается немецким. Ему неведома латинская четкость. Ему никогда не удается вызвать ясную картину своих видений. Его рисунок тонет в волнах великолепных туманов, кое-где прорезанных лучом красноватого света, лунным сиянием в тумане или далеким заревом пожара»[9].

И рядом с этой характеристикой, не утратившей своей меткости, хотя она и относится к Верхарну, только что написавшему «Города-спруты», то есть только вступавшему в эпоху поэтической зрелости, Мариус-Ари Леблоны в ту же эпоху (после «Буйных Сил») дают его творчеству определение почти обратное, но не менее убедительное, выявляя блики испанской расы, горящие на его таланте:

«В произведениях Верхарна поражает и ослепляет именно то, что осталось в нем от Испании, от великолепной и роковой Испании Карла Пятого и Филиппа II, от этого цветенья феодального и католического средневековья цветами огня и золота. Во всей совокупности его творения мы прозреваем Испанию черную и золотую; она в архитектуре его стихов, грандиозных и мрачных, как Эскуриал, тусклый Эскуриал, все окна которого на закате солнца прыщут золотом на фасаде, уже одетом саваном ночи.

Слово ЗОЛОТО возвращается на каждой странице его стихов, которые развертываются и лавируют, подобно галионам из Америки, нагруженными золотом плывущим сквозь бурные Атлантики. Поэт жонглирует словом ЗОЛОТО, как царственной рифмой, которой наследственно одержим его мозг. Это слово, которое являет для умов современных только банальный образ, сохранило весь свой блеск и пламень для его испанского воображения. Для него искусство «монумент из золота», а биржа «золотой монумент». Его гробницы – из золота. Рим – золотая голубятня верований. Монахи встают, «как отлитые из золота», среди мирских празднеств. Он отмечает золотыми числами страницы истории Артевельда и называет его «зажигателем золота в пожаре мятежей». Золото и огонь – всё творение Верхарна сверкает бликами великих пожаров имперского владычества над Брабантом, преданным огню и мечу герцогом Альбой»[11].

Двойственная душа Фландрии нашла себе отражение в характере и темах двух юношеских книг Верхарна: во «Фламандках» и в «Монахах». Эти книги являются как бы двумя корнями, связывающими его с исторической почвой своей страны.

«Фламандки» – это полнокровная и до грубости реалистическая книга, написанная под знакомь Иорданса[12], Рубенса, Ван-Стида[13], ярких и сочных фламандско-голландских мастеров. Верхарн учится в ней владеть словом, как кистью, накладывать краску густо, крепко и размашисто. Темы этой книги чисто-живописные: крестьянские интересы, щедрые «натюрморты», жанровые сцены и пейзажи, характерные типы и портреты во весь рост, кермессы, сельские работы, скотные дворы, стада свиней, бойни, водопои, риги, попойки, дойки коров, сцены любви, написанные со всем неумолимым реализмом старых голландцев.

От этих стихов пахнет жирной землей, скотным двором и человеческим телом.

Второй книгой были «Монахи». В ней раскрывается другое историческое лицо Фландрии: ее мистическая, религиозная, волевая сторона. Рядом с искусством Рубенса и Иорданса Фландрия создала искусство Ван-Ейка[14] и Мемлинга[15].

Рядом с Иордансовскою материальностью, вещностью, Верхарн создает Рембрантовскую психологическую светотень. Его фигуры монахов встают из мрака, освещенные призрачно-четким лучом. «Монахи, пришедшие к нам с готических горизонтов, ваш дух изникнет с завтрашним днем... стихи мои построят для вас мистические алтари».

Разгул кермессов и мистическая аскеза – вот два столба того портала, который ведет нас к творчеству Верхарна. Эти книги – два корня, связывающие его с землей, из которой он вышел, увертюра ко всему последующему, две ноги, на которых он будет стоять и ходить.

Этого средневекового фламандца со всеми его психологическими противоречиями, доведенными до последнего острия, каким был Верхарн, этого уроженца перепутья народов, сочетавшего в себе крови извечно враждебных рас, судьба кинула перекипеть, очиститься и закалиться в пламенный горн современного города. Последовал психологический кризис, редкий по напряженности, длительности и буйности переживания. Он длился десять лет, и судьба, которая творит поэтов, усложнила и углубила его мучительной нервной болезнью.

Лирический памятник этого периода – трилогия: «Вечера», «Крушения», «Черные Факелы». В этих трех книгах обнаруживается лицо безумца и визионера, переходящего от пароксизмов отчаянья к патетическим пророческим видениям. Всё время он находится в исступлении. Внешний мир, который он живописал до этого так спокойно и четко, вдруг проваливается куда-то бесследно, и он мечется во внутренних, опустошенных пещерах своей души, куда реальности мира внешнего просачиваются, совершенно преображаясь, безмерно вырастая и получая особый зловещий смысл.

Творчество этого периода отмечено знаком Лондона, который быль апокалиптическим Патмосом этих видений[16].

«Труп моего разума в саване цвета пламени и яда влачится по Темзе», – восклицает он. Отчаянье диктует ему жестокий завет: «Будь сам своим палачом, не уступай радости мучить себя никому и никогда. Единственный свой поцелуй отдай отчаянью».

Эти пароксизмы боли сменяются безнадежным просветлением усталости: «Человек усталого вечера сидит там на моем берегу и смотрит в бесконечное море... Одежда прекраснейших грез, гордость напрасных человеческих знаний и давно бесплодные страсти висели лоскутьями на его теле, Он был одет в одежду умерших веков. Это была не жизнь, это была не смерть... Это была неутолимая усталость. С тех пор как он кинулся схватить солнце (о, бедные человеческие руки!), Ур и Мемфис были раздавлены Римом, Фивы иссякли, опустел Вавилон; Рим стал Парижем, Париж стал Лондоном, и Лондон уже развеян по водам морей».

«Он видел сверканья необычайных камней некогда в горнах своего сознанья. Пламя сожгло ресницы его глаз и страсти его надломились на винтовых лестницах бесконечности; голова его пресытилась всеми ученьями. Он волочил за собой исполинское крыло – смешное, с выпавшими перьями... и тусклы были облака, нависшие над ним. Однако последняя химера золотила его шлем и его знамя».

Этот юношеский Екклезиаст[17] был прерван появлением Св. Георгия. Это было действительным моментом мистиче-

ского призвания и посвящения на рыцарское служение поэзии.

С этих пор судороги духа наваждения и кошмары кончаются. Он возвращается к миру реальностей, но они восстают перед ним совсем по-иному и с иной стороны, чем во «Фламандках» и «Монахах». По-иному начинают звучать для него стихийные голоса природы. Его стих преображается сообразно изменившемуся ритму души, из классического александрийца он становится «свободным стихом», отражающим в себе внеразумную меру бытия стихийных духов. После «Видений на моих путях» он пишет «Лозы у моей ограды».

С прозревшим оком и ухом от элементарных шумов переходит он к человеческим жилищам, возвращается из города в знакомые деревни своего детства. Но теперь и человеческое жилье и сам человек являются ему как бы опрозраченными, становятся вечными символами в них скрытой природы. Имя книги «Призрачные селения» определяют ее содержание.

Он встречает старых деревенских знакомцев: кузнеца, звонаря, могильщика, канатного мастера, рыболовов, столяра, мельника. Он наизусть знает их фигуры и ежедневный их труд. Но теперь перед новым его взглядом, проникающим в сущность вещей, их фигуры начинают расти безмерно, и дело их рук становится космической работой.

Перевозчик ве́ка и ве́ка борется с уносящим его течением, потому что кто-то зовет его с того берега. У него уносит руль, ломается весло, но он всё же продолжает упорно грести, напрягая мускулы, точно отлитый из меди.

Старые рыболовы темною ночью, при тускло-багровых светах, мерцающих на барках, с вечера закинули черные лесы в воду, а под водой, невидимые для глаза, плавают «дурные жребии» и сами следят за ними, как за своей добычей, между тем как они вылавливают их с большими усилиями, думая, что занимаются честной и почтенной работой.

На кладбище между ив и тиса могильщик роет могилы и хоронит трупы своих несчастий. Приносят белые гроба его скорбей, его воспоминаний, былого героизма, разбитой дерзости, минувшей любви, красные гроба его преступлений.

Кузнец много лет кует огромные, бледные клинки терзания и молчания. В свой горн кинул он крики упорства, глухую и вековую ярость, а чтобы дать стали закал и блеск, прибавил туда мятежей, насилий, гневов и траура.

Звонарь звонит собственную свою смерть на церковной колокольне, зажженной грозой.

Столяр делает не мебель: он вырезает геометрические фигуры, чертит круги и квадраты, стругает доказательства, раскалывает возражения надвое; своими деревянными конусами и медными сегментами он строит геометрические объяснения мира. Это «столяр всего старого знания», прототип создателей систем мироздания. Он строит сложные аппараты «алгебры тщетные знаки во мраке». Соседи – священник и врач – подбирают для собственного употребления стружки его аргументов; а когда он умрет, аппараты его сломаются, и эта вечность, которую он тщательно построил при помощи отвеса и линейки, станет игрушкой для детей.

Канатных дел мастер – Веревщик-ясновидец – пятясь, на самой дороге сучит далекие нити бесконечности, тянет к себе горизонты прошлого и будущего, сплетая великую и крепкую сеть человеческой истории.

Эта книга, в которой на каждом шагу символы неуклюже переходят в аллегории, обнаруживает в поэте исключительное ясновиденье групповой души явлений и вещей.

Одухотворенный этим новым чувством, он окончательно разбивает тесную скорлупу своего Я, в которой его замыкало его отчаянье в годы кризиса, и безоглядно кидается в мир, отдаляя свое сознание всем расцветам мировой жизни. Он готов, чтобы создать свою первую социальную книгу – диптих: «Бред полей» и «Города-спруты».

По архитектуре поэма представляет собою складень: с одной стороны, бредящие поля – высосанная городом и агонизирующая деревня, с другой – город-спрут, Вавилон, блудница, сидящая на звере; здесь селенья, дух которых быль духом Божьим, там огнедышащее прожорливое чудовище; здесь конец, смерть, полное истощение и усталость отжившего мира, там безмерное кипение жизни, исполнен-

ной всеми возможностями добра и зла: глубоко католическое противоположение, напоминающее «Медитации» Св. Игнатия (Лойолы)[18], где предлагается проходящему послушание вызвать образ крепости адовой, где на престоле пламени восседает Князь гордыни, и проникнуться до конца отчаяньем и безнадежной гибелью мира; а потом рядом вызвать образ небесного Иерусалима и мира, спасаемого божественным милосердием.

Земля умирает... В сухую и бесплодную почву воткнут одинокий заступ, брошенный последним ушедшим от полей работником.

«Осени себя крестным знаменьем, ты, уходящий по этой дороге»... Это конец полям, конец святым вечерам... Брошенный заступ становится вещим знаком: «Воткнутый в сухую землю в конце поля, в распластанный труп старых пашен, он останется там, и теперь навсегда, этот кусок белого железа, эта рукоять мертвого дерева — заступ».

Покинутые деревни скучились в глубине долин, поля кажутся более обширными безлюдьем и молчанием, отравленные чресла женщин рождают ларвов, скотные дворы, амбары, риги — пусты; по опустелым селениям бродят только юродивые, и сумасшедшие; и патетические картины бредящих полей прерываются всё время их безумными, пророчащими беды песнями. А по дорогам тянутся к городу вереницы разоренных крестьян, неся за плечами «сношенное белье своих надежд».

Книгой «Города-спруты» замыкается период тяжелого поэтического прорастания Верхарна, и начинается эпоха цветения, которая оканчивается только с его жизнью. В книгах первого периода намечены уже все основные мысли и образы, найдены все метафоры и сравнения, определен стих и стиль. Дальше растет только внутреннее просветление и энтузиазм перед миром.

«Города-спруты» создали европейскую славу Верхарну и укрепили за ним имя поэта современности, поэта города. Темы, поставленные им, привлекли к нему внимание социалистов, экономистов, людей политики и общественности.

Многие захотели привлечь его к своей секте, наклеить на него свою марку. Однако Верхарн менее всего был современным человеком и, быть может, совсем не был социалистом, хотя сам и считал себя таковым. Но в поэте цветет и творит всегда бессознательное, часто находящееся в полном противоречии с его теоретическим сознанием.

Верхарн действительно был первым из европейских поэтов, подошедший в упор к современности. Подход к современности для поэта опасен и труден. Опасен потому, что это ставка на жизнь: или поэт должен победить современность, или современность победит его, и тогда он окажется не поэтом, а только публицистом. Труден – потому, что для этой борьбы поэт должен занять такую перспективную точку зрения, откуда он мог бы увидать всю современность сверху, целиком, включенную в общее нарастание истории, как один из связных актов человеческой трагедии,

В те эпохи истории, когда человеческое миросозерцание давало мистическую точку опоры в самом небе и сводило все земные противоречия к единому жесту божественной жертвы, поэту легко было подняться на ступени лобного места, с которого вершится Страшный Суд, и с этой перспективы наметить план «Божественной Комедии».

Совершенно иные трудности возникают для поэта века материалистической науки и неверия. Наука по самому свойству своего здания, лишенного мудрости, не дает необходимого разбега. Поэту необходимо создать свое небо, чтобы оттуда судить современность, воздвигнуть свою Вавилонскую башню, чтобы с ее вершины взглянуть на расстилающуюся под его ногами землю.

Такую башню Верхарн хотел найти для себя в современном знании; дидактическая и рассудочная область его поэзии всегда строится на материалистической науке; но подсознательный лиризм его глубоко религиозен, волна энтузиазма, возникающая и бьющая в нем при жертвенном погружении духа в сущность явлений внешнего мира, роднит его с экстазами великих мистиков. И он, на которого возложено «Послушание Мужества», всегда смело идет навстречу противоречиям мира и собственного духа.

Тайна того, почему ему единственному из современных поэтов удалось так долго и успешно бороться с современностью и часто одолевать ее, в том, что этот поэт современности меньше, чем кто-либо, был человеком современности. Этот апостол социализма, каким его хотели сделать, этот свободомыслящий и научный ум, каким он сам хотел быть, нес в себе средневековую душу благочестивую, мистическую, смиренную и буйную. На улицах Лондона и Парижа он чувствовал себя в минуты экстаза так же, как Иезекииль – на улицах древнего Вавилона, и формы обыденной действительности разверзались для него на каждом шагу апокалиптическими прозрениями. Никто из европейцев не смотрел на современность оком более пророчественным и никто не бывал поражен более пророчественной слепотой.

Необычайность и яркость его видений города в том, что он увидел современный город из перспективы иных веков и глазами человека не нашей эпохи. Все средоточия и выявления современной жизни – толпа, фабрика, биржа, базар, театр, публичный дом, мятеж, музей, похороны, лаборатория – встают перед его глазами освещенные апокалиптической молнией. Нестерпимая четкость деталей не должна сбивать нас: именно так видели библейские пророки современные им нагромождения камня и страстей.

Современные французские критики так определяют эту особенность видения Верхарна:

«Видение Верхарна – это не виденье периферическое, то есть движущееся вокруг вещей, это видение срединное, исходящее из самого сердца явлений, – говорит Танкред де Визан, – Верхарн иногда описывает, но гораздо чаще он мятется посреди пожаров оргий, мятежей и с такою страстью переживает эти события, что они являются перед нами не зрелищем, а космическим состоянием»[19].

«Одна из оригинальных черт поэзии Верхарна среди современных ему поэтов – это способность делать более ощутимыми идеи и основные истины столь общего характера, что их обычно выражают словами бесцветными и стертыми, вроде грубых лубков, размалеванных площадными красками, –

говорят Мариус и Ари Леблоны. Трактованные же им все эти темы, как священник, банкир, воин, любовник, становятся крайне общими, синтетическими, почти анонимными, как готические скульптуры. Поэзия Верхарна есть развитие общих мест, так же как и проза великих ораторов Цицерона и Боссюэта, и это особенно роднит его с Виктором Гюго. Поэзия Верхарна носит исключительно ораторский характер: она развертывается в периодах, которым соответствуют строфы; она волнует, поражает чисто ораторскими приемами, красноречивыми образами и хлещущими рифмами; она гипнотизирует широтой чисто словесного красноречия»[20].

Пророчественность вовсе не исключительное и не редкое качество духа. Она принадлежит к обычным свойствам творческой мечты, потому что каждый творческий акт есть выявление возможного личного будущего художника, которое уже не случится так, как оно пережито уже раз в творении. Поскольку в произведении присутствует не воспоминание, а именно это возможное будущее, постольку оно из описательного становится заклинательным.

Поэтому пророчественность свойственна вообще поэзии и поэтам. Это не значит еще, что всё написанное поэтами должно осуществиться: это значит только, что жизнь вступит со временем в ту полосу, где такие переживания станут возможными.

Поэтому в жизни поэтов повторяется судьба пророков: в эпохи глубокого исторического затишья они исступленно кричат о бедах и ужасах; когда же вся земля потрясена, и с неба льет серный дождь, их уста немеют. Пророчествуя о будущем, они сами не знают, что пророчествуют, потому что души их подобны раковинам, лабиринты которых гудят звуками, приходящими неизвестно из каких времен.

В годы мирного расцвета и благоденствия Бельгии в душе Верхарна звучали топоты апокалиптических конниц, разверзались бездны, текли кровавые реки, рушились небеса; в глубине трагических закатов ему чудились золотые катафалки, в которых покоятся тела не победителей с наглыми глазами, а побежденные, чьи сердца переполнены пеплом

печали, а руки, как безумные ветви, были простерты к далям мечты; он видел вечера, распятые на сводах небосклона, черные Голгофы в свитках пламени, источники чистых вод, которые кровавятся червонными струями.

Эти пророческие видения посещали его в годы юности, но по мере того, как он старел и дух его уравновешивался (а великие катастрофы реальной жизни созревали и надвигались), творение его успокаивалось, сердце прояснялось, и от пророческих воплей и проклятий он переходил к благословению всего сущего. Пророчественность подобна дальнозоркости: она различает только далекое и не видит близкого. По мере того как приближается момент катастрофы, провидец слепнет.

Для Верхарна – апокалиптического провидца тех стихийных и диаболических сил, которые скрываются за «культурными» формами европейской жизни и клокочут в злобных сердцах машин, великая европейская война, ими же подготовленная, была полною неожиданностью.

В предисловии к своей последней (прозаической) книге он делает такое трагическое признание:

«Тот, кто написал эту книгу, в которой он не хочет скрывать своей ненависти, был некогда мирным человеком; он удивлялся многим народам; некоторые он любил. Среди них была Германия. Не была ли она самой плодоносной, самой трудолюбивой, зачинательной, смелой и размеренной из всех? Не давала ли она посещавшим ее ощущение безопасности в силе? Не заглядывала ли она в будущее глазами более острыми, более горящими, чем другие?

Настала война.

Германия явилась другой мгновенно. Сила ее стала несправедливой, свирепой, подлой. В ней не осталось гордости иной, чем гордость размеренного самовластия. Она стала бичом, от которого надо защищаться для того, чтобы самая жизнь человеческая не иссякла на земле.

Написавший эту книгу не знал разочарования более великого, более внезапного. Оно поразило его так, что он перестал себя чувствовать прежним человеком. А так как в том

состоянии гнева, в котором он живет сейчас, его сознание кажется ему как бы замутненным, то он с глубоким волнением посвящает эти страницы тому человеку, которым он был когда-то».

Эти слова единственная связь между Верхарном-поэтом, Верхарном-пророком и Верхарном-гражданином окровавленной Бельгии, который подымает свой голос, не одинокий на этот раз, а голос множеств, чтобы сказать: «ненавижу!» «Инстинкт национальности диктует нам отныне один долг: ненависть. Только любовью и ненавистью народы совершают великие деяния. Германия не оставила нам выбора между ненавистью и любовью. Поскольку человеческое чувство может быть вечным – она будет вечной. Мы все будем как тот крестьянин между Дюнкерком и Коксидом, который мне сказал однажды вечером: “Когда я буду помирать, хочу, чтобы самая последняя сила, что останется во мне, была проклятием и ненавистью к немцам”. А на слова мои, что такие чувства не подобают христианину, он ответил: “Тем хуже”».

Срывающимся голосом перечисляет поэт права Фландрии на независимость, исторические заслуги ее перед европейской культурой, родовые титулы и духовные подвиги народа:

«Они вызвали наше правительство в заднюю комнату и произнесли только одно слово: сколько? – и ожидали, что им ответят тотчас же: тридцать серебреников».

Поэт патетических метафор и дифирамбов, никогда не прибегавший к иронии, забывает в этих огненных страницах прозы метафоры ради фактов и пафос ради сарказма:

«По германскому военному обычаю дело стариков идти перед солдатами, когда их посылают в огонь. Ежели старик отобран в заложники, то хорошо по германскому военному обычаю у него на глазах перебить его сыновей. Если старики взяты в плен в большом количестве, то германский военный обычай требует выстроить их в ряд, заставить их вырыть длинный ров и расстреливать их так, чтобы они сами валились туда сразу. Если старик священник или монах, то германский военный обычай требует его раньше оскопить, а

потом повесить. Что же касается до женщин, то германский военный обычай для начала рекомендует изнасилование. Затем когда муж, брат, сын уже казнены, им дают заступ в руку и приказывают рыть могилы для мертвых»...[21]

Разница между этими страницами прозы и последними стихами, включенными в его книгу «Красные крылья войны», разительна. Эти же бичующие сарказмы, переведенные на язык пафоса, звучат риторично и слабо. Голос его в этих поэмах звучит надтреснуто и неубедительно.

Верхарн вообще поэт очень неровный, особенно когда он является поэтом современности. Если его подсознательное, выносимое глубоким лирическим вскипанием почти всегда гениально, то сознательная область, его теоретизирование, его научно-социалистический дидактизм в большинстве случаев наивно-риторичен – не больше. Рядом с прекрасными органическими метафорами, которые великолепно развертываются и катятся, нарастая через целые поэмы, у него есть метафоры искусственные и скудно-аллегорические. В Верхарне живет древний глубоко-религиозный дух вещателя проклятий и экстатического певца дифирамбов, а рядом современный человек со всей близорукостью социалистического мышления. Из этого противоестественного сочетания возникает великолепная, но не стройная и не стойкая архитектура его поэм.

Пророчественные голоса рождаются из глубины молчания. Поэтому когда его родину постигает великое бедствие, среди грохота и крушений великой войны, в нем иссякает древний пророческий голос поэта, и остается только голос оскорбленного и ненавидящего гражданина. В своем человеческом моральном пути он шел дорогой постепенного морального просветления. Он, поднявшийся в последние годы своей ясной и плодоносной старости до той высоты творческой любви, с которой человек может благословить всё сущее на земле, потерял право на ненависть. Правда, ненависть только одна из земных форм любви: любовь выявляется ненавистью в сердцах косных, непросветленных и страстных. Для того, кто раз поднялся до проникновения любовью бо-

жественной, для того чувство ненависти, чем оно ни было бы оправдано – падение.

Недаром пронзительные и жуткие глаза Дхармы – Религиозного Долга, изображенной в виде черного Странника на облаке, которые я видел за плечом Верхарна во время нашей последней встречи, были так пристальны и требовательны. Верхарн не исполнил до конца своего высшего религиозного долга поэта: долг гражданина и поэта не только не совпадают, но противоречат один другому. Гражданин несет свой долг по отношению к своей стране в данный исторический момент. Поэт выполняет расовый, национальный долг своего народа по отношению к человечеству в данную историческую эпоху. Когда происходит битва на земле, надо, чтобы кто-то стоял в своей келье на коленях и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпохи всеобщего ожесточения и вражды надо, чтобы оставались те, кто может противиться чувству мести и ненависти и заклинать благословением обезумевшую действительность. В этом религиозный долг, в этом Дхарма поэта. Конечно, как частный человек, поэт имеет право отдаться общественно-обязательным страстям гражданина, но он не должен нести своего дара на служение разладу, расчленению и ненависти. Верхарн сделал последнее и поэтому дар вдохновения покинул его в его книге «Красные крылья войны». Он сам сознавал это, признаваясь, что ненавидит Германию за то, что она научила его ненавидеть, и посвящая свою «Окровавленную Бельгию» «тому человеку, которым он был когда-то».

Нелепая и жестокая смерть Верхарна с отрезанными ногами под колесами поезда[22] является совершенно точным отображением в мире физическом того разлада, разорванности, расчлененности, которые он нес в своем духовном мире.

Уроженец перекрестка народов, на котором всегда сводились последние счеты между государствами, европеец, в жилах которого германская кровь была органически смешана с латинской[23], современный человек, древняя религиозная душа которого, прошедшая сквозь вековую дисциплину католицизма, была ослеплена бенгальскими огнями материали-

стической науки и общедоступным раем социалистического Золотого Века, сам внутри себя нес всю Европу, разодранную Великой войной со всеми ее причинами и следствиями. В смерти его отразилась гибель его родины; в трагедии и непоследовательности его духа – судьбы Европы. Как и в своем творчестве, так и в своей судьбе, он явился всеевропейским поэтом, в наибольшей полноте отразившим свою эпоху.

Но, увы! его история говорит о том, что Европа из опыта Великой войны еще ничего не поняла...

⟨Биографическая канва⟩

1855 г. 21 мая – Рождение в С.-Аман около Антверпена.

1866 г. 18 марта – Первое причастие.

1867 – 68 гг. – Институт Св. Людовика в Брюсселе.

1869 – Поступление в коллеж Св. Варвары в Генте и там встреча с Роденбахом, Метерлинком и Лербергом.

Конец семидесятых годов – Лувенский университет.

1881 – Адвокатура, первые художественные предприятия.

1883 – Фламандки.
1886 – Монахи.
1887 – Вечера.
1888 – Ледоходы.
1890 – Черные факелы.
1891 – По краям дороги.
Видения на моих путях.
1893 – Бред полей
1894 – Призрачные селения.
1895 – Города-спруты.
1896 – Ясные часы.
1898 – Зори (драма).
1899 – Лики жизни.
1900 – Монастырь (драма).
Маленькие легенды.
1901 – Филипп II (драма).
1902 – Буйные силы.
1904 – Вся Фландрия. Первые умиления.
1905 – Послеполуденные часы.
Рембрандт (монография)
1906 – Неисчислимые светы.
1907 – Вся Фландрия. Гирлянда дюн.

1908 – Вся Фландрия. Герои.
1909 – Жам Энсор (монография).
Ясные часы.
Елена Спартанская (драма).
1910 – Вся Фландрия. Острокрышие городки.
Верховные ритмы.
Рубенс (монография).
1911 – Вся Фландрия. Равнины.
1912 – Волнующиеся нивы.
1915 – Окровавленная Бельгия (статьи).
1916 – Среди пепла. Разоренная Бельгия (проза).
Разоренные города Бельгии (Антверпен, Малин, Льеж)
Красные крылья войны.
26 ноября – смерть под колесами поезда в Руане.
Высокие пламенники (посмертная книга стихов).

От переводчика:
ПРЕДВАРЕНИЕ О ПЕРЕВОДАХ

У переводов могут быть различные цели: если перевод хочет быть документом, он должен представлять собою отрешенный и точный гипсовый слепок; в таком случае он должен быть сделан в прозе, хотя бы оригинал и был написан в стихах. Но перевод имеет право быть и субъективным. Таковы все переводы поэтов поэтами. Естественно желание найти на своем языке слова равносильные прозвучавшим на языке ином. От такого перевода нельзя требовать объективной точности, в его индивидуальности его ценность и острота. Поэт переводит другого поэта на язык своего творчества: это неизбежно. Шиллер, переведенный Жуковским, становится Жуковским, не переставая быть Шиллером. Стихотворный перевод не может быть точным: на это кроме субъективности понимания есть еще и внешние причины, – можно перевести смысл, можно перевести стиль, можно перевести синтаксис и ритм, но нельзя перевести рифму, которая иррациональна в каждом языке и ее логические следствия не могут быть аналогичными в разных языках. Поэтому в стихотворном переводе приходится жертвовать не столь важным для главного: если стихотворение построено на игре созвучиями, переводчик неизбежно отступает от точного смысла и, главным образом, от синтаксиса, стараясь найти равносильный звуковой эффект. Если же главное лежит в содержании, в образе, в синтаксическом развертывании фразы, то переводчик должен честно пожертвовать рифмой.

Мои переводы Верхарна сделаны в разные эпохи и с разных точек зрения. В одних, как *Ноябрь*, *Осенний Вечер*, *На Север,* я старался передать только инструментовку Верхарнского стиха, в других, касающихся города, я, отбросив рифмы, старался дать стремление его метафор и построение фразы,

естественно образующей «свободный стих». Только в трех стихотворениях, посвященных войне, мне глубоко чуждых, перевод которых был сделан по поручению, я соблюдал одновременно и рифму, и размер, и точность содержания, то есть делал то, что теоретически отрицаю, но что требуется современным вкусом от переводчика.

Верхарн – поэт неровный и никогда не доводивший воплощения своих замыслов до конца и поэтому много раз возвращавшийся к одной и той же теме, всегда боровшийся с формами французской речи, в которых не умещался его сложный и нечеткий германский дух. Это давало мне право более свободно обращаться с его текстом, угадывая его намерения, досказывать по-русски то, что не могло быть выражено по-французски, и опускать в переводе те стихи и строфы, что обременяли поэму. Поэтому мои переводы отнюдь не документ: это мой Верхарн, переведенный на мой язык. Я давал только того Верхарна, которого люблю, и опускал то, что мне чуждо и враждебно. Приняв произведение в свою душу, снова родить его: иным творческий перевод не может быть. Но это не мешает многому в моих переводах быть дословным.

ПЕРЕВОДЫ

Человечество

О, вечера, распятые на сводах небосклона,
Над алым зеркалом дымящихся болот...
Их язв страстная кровь среди стоячих вод
Сочится каплями во тьму земного лона.
О, вечера, распятые над зеркалом болот...

О, пастыри равнин! Зачем во мгле вечерней
Вы кличете стада на светлый водопой?
Уж в небо смерть взошла тяжелою стопой...
Вот... в свитках пламени... в венце багряных терний
Голгофы – черные над черною землей!..

Вот вечера, распятые над черными крестами,
Туда несите месть, отчаянье и гнет...
Прошла пора надежд... Источник чистых вод
Уже кровавится червонными струями...
Уж вечера распятые закрыли небосвод...

Ужас

В равнинах Ужаса, на север обращенных,
Седой Пастух дождливых ноябрей
Трубит несчастие у сломанных дверей –
Свой клич к стадам давно похороненных.

Кошара из камней тоски моей былой
В полях моей страны унылой и проклятой,
Где вьется ручеек, поросший бледной мятой,
Усталой, скучною, беззвучною струей.

И овцы черные с пурпурными крестами
Идут послушные, и огненный баран,
Как скучные грехи, тоскливыми рядами

Седой Пастух скликает ураган.
Какие молнии сплела мне нынче пряха?
Мне жизнь глядит в глаза и пятится от страха..

На север

С темными бурями споря
Возле утесистых стен,
Два моряка возвращались на север
Из Средиземного моря
С семьею сирен.

Меркнул закат бледно-алый,
Плыли они, вдохновенны и горды...
Ветер попутный, сырой и усталый
Гнал их в родные фиорды.
Там уж толпа в ожидании
С берега молча глядела...
В море, сквозь сумерки синие
Что-то горело, алело,
Сыпались белые розы,
И извивались, как лозы,
Линии
Женского тела.

В бледном мерцаньи тумана
Шел к ним корабль, как рог изобилья,
Вставши со дна океана.
Золото, пурпур и тело...
Море шумело...
Ширились белые крылья
Царственной пены...

И пели сирены,
Запутаны в снасти,
Об юге, о страсти...
Мерцали их лиры.
А сумерки были и тусклы и сыры.

Синели зубчатые стены.
Вкруг мачт обвивались сирены.
Как пламя дрожали
Высокие груди...
Но в море глядевшие люди
Их не видали...

И мимо прошел торжествующий сон,
Корабли, подобные лилиям,
Потому что он не был похож
На старую ложь,
Которую с детства твердили им.

Осенний вечер

В дикой скачке тучи скачут.
Тучи в пляске завились.
Эй, Луна, берегись!
Мгла гудит и разрывается,
И деревья на полях
То застонут, то заплачут,
Выгибаются...
Эй, Луна, берегись!
Желтый лик больной Луны
Мертвый пал в зеркальность пруда,
Раздробясь о грань волны,
Окруженный бледной просинью –
Это ветер свадьбу правит с Осенью.
Эй, Луна, берегись!
Как тяжелый всадник, рвется ураган,
В двери бьет размашисто и хлестко,
И гуляет буйный, распален и пьян,
С рыжей Осенью по дальним перекресткам,
Эй, Луна, берегись!
Этот лик святой и чистый,
Звезд лампады, нимб лучистый
Здесь не к месту средь разгула
Пьяного, тяжелого,
Там, где Осень с Ветром потеряли голову...
В судоргах объятий
Вздохи всё короче.
Беспредельность ночи...
Да лишь лес кричит из вихря и тумана
Под ударами ночного урагана.
Эй, Луна, берегись!

Рыщут псы, и липнет грязь на лапах.
От полей идет сырой и пьяный запах.
И на юг, на север, на восток, повсюду
Разлилось дыханье похоти и блуда,
Как кошмар прерывистый и рдяный.
Ветер с Осенью распутною и пьяной
В буйных судоргах упали и сплелись.
Эй, Луна, берегись!
И собаки воют, точно волки.

Ноябрь

Большие дороги лучатся крестами
В бесконечность между лесами.
Большие дороги лучатся крестами длинными
В бесконечность между равнинами.
Большие дороги скрестились в излучины
В дали холодной, где ветер измученный
Сыростью вея,
Ходит и плачет по голым аллеям.

Деревья, шатаясь, идут по равнинам,
В ветвях облетевших повис ураган.
Певучая вьюга гудит, как орган.
Деревья сплетаются в шествиях длинных.
На север уходят процессия их..
О, эти дни «Всех Святых»...
«Всех Мертвых»...

Вот он – Ноябрь – сидит у огня,
Грея худые и синие пальцы.
О, эти души, так ждавшие дня!
О, эти ветры-скитальцы!
Бьются о стены, кружат у огня,
С веток срывают убранство.
И улетают, звеня и стеня,
В мглу, в бесконечность, в пространство.

Деревья, мертвые... все в памяти слились.
Как звенья, в пеньи, в вечном повтореньи
Ряды имен жужжат в богослуженьи.

Деревья в цепи длинные сплелись
Кружатся, кружатся, верны заклятью
Руки с мольбою во тьме поднялись.
О, эти ветви, простертые ввысь,
Бог весть к какому Распятью!

Декабрь
(Гости)

– Откройте, люди, откройте двери,
Я бьюсь о крышу, стучусь в окно,
Откройте, люди, я ветер, ветер,
Одетый в платье сухих листов.

– Входите, сударь, входите, ветер,
Для вас готовый всегда очаг;
Труба дымится, камин побелен,
Входите, ветер, входите к нам.

– Откройте, люди, – я непогода,
Во вдовьем платье, в фате дождя,
Она сочится, она струится
Сквозь тускло-серый ночной туман.

– Входите смело, вдова, входите,
Ваш сине-бледный мы знаем лик,
Сырые стены и норы трещин
Всегда готовый для вас приют.

– Откройте, люди, замки, засовы,
Я вьюга, люди, откройте мне,
Мой плащ клубится и платье рвется
Вдоль по дорогам седой зимы.

– Входите, вьюга, царица снега,
Просыпьте лилий своих цветы
По всей лачуге, вплоть до камина,
Где в красном пепле живет огонь.

Мы беспокойны, мы любим север,
Мы люди диких, пустынных стран,
Входите, ветры и непогоды,
За все невзгоды мы любим вас.

Святой Георгий

Широкой молнией сквозь сизые туманы
Разверст проход;
Святой Георги в золоте и в перьях,
На белом взмыленном коне без поводов
Спускается...

Алмазный путь раскрыт
Торжественному нисхождению на землю
Святого милосердия небес.
Князь утренней зари
Сверкающий, звенящий и кристальный,
О, как он озаряет ореолом
Меча гудящего, мое ночное сердце!
Я слышу свисты ветра,
Скользящего вокруг его кольчуги,
И знамени в полете битв;
Святой Георгий – сверкающий и приходящий
Средь воплей моих желаний
Поддержать
Мои простертые к его опоре руки!
Подобно кличу великой веры __
Он держит прямо свое копье –
Святой Георгий.
Он полнит шумом золотым окрестность
Небесную и пламенеющую;
Он на челе несет сверканье мира –
Святой Георгий – рыцарь долга,
Прекрасный сердцем и самим собой.
Звените, все голоса моей надежды!

Звените во мне, звените под ветвями
Дорог, залитых солнцем!
Серебряные блестки, будьте радостью камней!
Речные гальки,
Откройте глаза в воде
Сквозь влагу ваших век!
Земля с лазурными озерами,
Будь зеркалом полетов огней
Святого Георгия – к моей душе!

Против зуба черного дракона,
Против брони язвы и проказы, –
Он мой меч и он моя защита.
Милосердием горят его доспехи,
В мужестве его крушенье
Черных побуждений багровой хоти.

Золотые смерчи, ореолы,
Вихри звезд и кольца ярых слав.
Выбитых его копытом,
Ослепляют память и глаза.
Это он – посланник дивный – белой,
Осиянной мрамором страны,
Где в садах у моря, на деревьях
Нежно зреют нежность и любовь.

Знает он, каких я далей житель,
И какой туман в моем сознаньи,
И какими черными крестами
Метил нож израненные мысли,
Как я нищ добром,
Какие расточил я силы,
И в каких личинах, и в каком безумьи
И в каком позоре.

Малодушный, – я бежал в ограду
Болестей и плачей бесполезных;
Подымал, теснимый мраком, глыбы
Золотого мрамора враждебных знаний
На высоты черных прорицаний;

Только смерть царит над вечерами,
Только утром радостны порывы;
Лишь с цветами распускаются молитвы,
Тем же ароматом дышат их уста;
Утреннее солнце на воде жемчужной – то же,
Что рука ласкающая – каждому и миру;
Как откровенье, распускается рассвет, и каждый,
Кто его услышал, тот спасен
От топи черной,
Где ни одно вовеки прегрешенье отмыто не было.

Святой Георгий – быстрый и блестящий,
Прыжками пламени сквозь радостное утро
Промчался *к* моей душе:
И был он юн и был прекрасен верой;
И он склонялся тем ниже предо мной,
Чем ниже я пригибал колени;
Как золотом крепительным и тайным
Он переполнил меня своим полетом,
И нежным ужасом;
Склонясь перед высоким виденьем,
Сложил я в гордую и пламенную руку
Печальные цветы моих скорбей;
И наложив на душу послушанье мужества
И начертав копьем
Крест на моем челе,
Умчался он к престолу Господнему,
С собою унося мое земное сердце.

Статуя
Монах

Он крест здесь некогда воздвигнул на угесах
И город основал, придя, как пилигрим,
Из дальных южных стран, в руках пастуший посох
Великий под плащом монашеским своим.
Он чудеса творил. Народ внимал и плакал
На светлых просеках, в таинственных лесах,
　　　　Где прорицал языческий оракул
И руны древние чернели на камнях.
　　　　Он стал потом, как сон, невозвратимым,
　　　　И был он весь – печаль и красота,
Что некогда сползла с позорного креста
　　　　К скорбящим и гонимым.
Он бережно хранил их хрупкие сердца,
　　　　Разбитые безжалостной рукою;
　　　　Он обещал им счастье без конца
И убаюкивал евангельской мечтою
　　　　Потом король, палач и судия
　　　　Его слова, принявши, исказили,
И тексты древние явились в новой силе,
Как меч карающий, законов бытия.
И против милости, которую с любовью
　　　　На обездоленных он призывал,
　　　　Восстала жизнь, внезапная, как шквал,
　　　　Безумная и заливая кровью.
　　　　Но он в сердцах растопленных пребыл,
Как солнце кроткое смиренья и прощенья,
　　　　И черпало народное терпенье
　　　　В его лучах источник новых сил.

И празднуют его весною, в мае, рано –
Целителя болезней и скорбей.
И матери несут детей
Омыть в струе старинного фонтана.
Звучит в конце печальных литаний
Широкое и благостное имя
В сияньи свеч, в колеблющемся дыме,
В мерцаньи риз, крестов и панагий.
На фоне старого романского портала
Встает его годами стертый лик,
И камень весь дрожит, когда несется зык
С высот зовущего металла.

Город

Все пути в город ведут...
Там
Из тумана и дыма,
Громоздя над ярусом ярус,
Точно со дна сновидений,
Город встает.

Там
Мосты из стали сплетенные кинуты
Прыжками сквозь воздух.
Глыбы камня, пилястры, колонны
Возносят лики Горгоны;
Предместья дыбятся башнями,
Трубы, и вышки, и шпили –
В ломаных взлетах над крышами
Это город-спрут
Дыбом взметнулся
В глубине равнины над пашнями.

Там
Красные цветы
Вздеты
На столбы и высокие мачты, –
Светятся даже в полдень,
Подобно чудовищным яйцам.
Солнца не видно –
Света исток затянут
Углем и дымом.

Там
Реки из нефти и олова
Бьют о камни и сваи.
Резкие свисты проходящих судов
От страха воют в тумане;
Зеленый сигнал – их взгляд
В океан, в пространство.

Там
На набережных гулко звенят, сталкиваясь, вагоны,
Лязгают цепи, краны скрипят, дребезжат фургоны,
Тяжко весы роняют темные кубы,
Тюки по трапам скользят в огненные подполья,
Спины мостов разверзаются посередине,
В чаще снастей подымаясь, подобно
Виселицам; а медные буквы
Вдоль по крышам, карнизам и стенам
Стремятся изназвать вселенную.

Сверху вертятся колеса, проносятся кебы,
Летят поезда, устремляя усилья
К станциям, – версты и версты
Тянущим нити огней золотого фронтона.
Рельсы ползут, разветвляясь, под землю,
Вдоль по тоннелям, по кратерам,
Чтобы вновь появиться и, сталью сверкая, мчаться мимо
В облаке пара и дыма.

Все пути в город ведут,
Это Город-спрут.

Улица – петли ее, как узлы,
Вкруг монументов захлестнуты, –
Уходит и снова приходит обходами...
Неразрешимые толпы ее
С руками безумными, лихорадочным шагом,
С завистью злобной в глазах,
Жадно хотят ухватить уходящее время.
Ночью, вечером, утром,

В шуме, в спорах, в тоске,
Наобум кидают оне
Страстное семя своей работы,
Уносимое временем.
И в порывистом ветре безумия их
Хлопают двери темных и скучных контор,
Двери банков и мрачных притонов.
На улицах пятна ватного света,
Разодранно-красного, точно горящее вретище,
Отступают от фонаря к фонарю.
Жизнь алкоголем заквашена,
Бары разверзают на тротуары
Зеркальные скинии,
В которых дробятся опьяненье и буйство.
Слепая свет продает у стены
По копейке – коробку.
Голод и блуд обнимаются в дальних углах.
И черный порыв ярости плотской
Пляшет танец смерти в глухих переулках.
Вожделенье растет и растет,
Ярость становится бурей,
Давят друг друга, не видя, жаждут
Упиться золотом, пурпуром, телом.
Женщины – бледные идолы – бродят
Со знаками пола в своих волосах.
Воздух воспаленный и рыжий
Иногда от солнца отхлынет, день обнажая, –
И тогда – это точно великий крик,
Кинутый хаосом к свету:
Площади, рынки, дома и дворцы
Ревут, распаляясь, с такою яростью,
Что умирающий ищет напрасно минуты молчанья,
Которое нужно глазам, чтоб закрыться навеки.

Днем он таков.
Меж тем, когда вечера
Ваяют небесные своды ударами черного молота,
Город вечерний вдали царит над равниной,

Как образ безмерных ночных упований.
Он вызывает желанья, великолепья и чары,
Зарево меди кидает до самого неба.
Газ мириадный мерцает золотой купиною.
Рельсы становятся дерзкой тропою, ведущей
К лживому счастью в сопровожденьи удачи и силы.
Стены его представляются издали крепостью,
И всё, что идет от него – и туманы, и дымы –
Светлым призывом доходит к далеким селеньям.

Это город-спрут –
Осьминог пламенеющий,
Гордый скелет на распутьи.
И все дороги отсюда
Ведут в бесконечность –
К городу.

Душа города

Во мгле потонули крыши:
Колокольни и шпили скрыты
В дымчато-красных утрах,
Где бродят сигнальные светы.

По длинной дуге виадука
Вдоль тусклых и мрачных улиц
Грохочет усталый поезд.
Вдали за домами в порте
Глухо трубит пароход.

По улицам душным и скучным,
По набережным, по мостам,
Сквозь сизый сумрак осенний
Проходят тени и тени –
Толпы живущих там.

Воздух дышит нефтью и серой,
Солнце встает раскаленным шаром.
Дух внезапно застигнут
Невозможным и странным.
Ревность к добру, иль клубок преступлений,
Что там мятется средь этих строений?
Или над крышами черных кварталов
Это встают на последней мете
Башни пилонов, колонны порталов
Жизнь уводящих к безмерной мечте?

О, века и века́ над ним, –
Великим прошлым своим –
Пламенеющим городом, полным,
Как и в этот утренний час, – призраков!

О, века и века над ним
С их огромной преступною жизнью,
Бьющей, – о, сколько лет! –
В каждое зданье, в каждый камень
Прибоем безумных желаний и гневов кровавых!

Сперва – вблизи двух-трех лачуг – священник-пастырь.
Приют для всех – собор, и сквозь узор оконниц
Сочится свет церковных догм к сознаньям темным.
Стена, дворец и монастырь, зубцы на башнях,
И папский крест, которым мир овладевает,
Монах, аббат, король, барон, рабы, крестьяне,
Каменья митр, узорный шлем, камзол и ряса,
Борьба страстей: за честь герба, за честь хоругви;
Борьба держав ... и короли неполновесный
Чекан монет хотят прикрыть гербами лилий,
Куют ударами меча свои законы
И суд вершат на площадях слепой и краткий.

Потом рождается – как медленно! – гражданство:
Те силы, что хотят из права прорасти,
Народа когти против челюстей правителей...
И яростные морды в тени, в подпольях завыванье,
Бог весть, к какому идеалу, скрытому в туманах,
Набаты плавят в вечерах неведомые ярости;
Слова освобожденья и надежды – в атмосфере,
Насыщенной кипеньем мятежей;
Страницы книг, внезапно просветленных,
Жгут чувством истины, как библии когда-то;
Герои светлые, как золотой ковчег, откуда
Выходят совершенья вооруженными и крепкими;
Надежда безумная во всех сердцах
Сквозь эшафоты, казни и пожары,
И головы в руках у палачей...

Городу – тысяча лет –
Терпкому долгому городу...
Страстному натиску дней,
Тайным подкопам народов
Не устает он противиться.

Сердце его – океан, нервы его – ураган!
Сколько стянула узлов эта упорная воля!
В счастьи сбиратель земель,
Сломленный – ужас вселенной –
Всюду в победах своих и разгромах
Он остается гигантом.
Гудит его голос, имя сверкает,
Светы его среди ночи пылают
Заревом медным до самого звездного свода,
О, века и века над ним!

В эти мрачные утра душа его
Дышит в каждой частице тумана
И разодранных туч:
Душа огромная, смутная, подобная этим соборам,
Стушеванным дымною мглою;
Душа беспокойная в каждой из этих теней,
Спешащих по улицам мрачных кварталов;
Душа его, сжатая спазмами, грозная,
Душа, в которой прошедшее чертит
Сквозь настоящее смутные лики наступающих дней,
Мир лихорадочный, мир буйного порыва,
С дыханием порывистым и тяжким,
Стремящийся к каким-то смутным далям;
Но мир, которому обещаны законы
Прекрасные и кроткие, – они
Ему неведомы, и он добудет их
Когда-нибудь из глубины туманов.
Угрюмый мир, трагический и бледный,
Кладущий жизнь и дух в один порыв,
И день, и ночь, и каждый час несущий
Всё – к бесконечности!

О, века и века над ним – городом буйным!
Старая вера прошла, новая вера куется,
Она дымится в мозгах, она дымится в поте
Гордых работою рук, гордым усильем сознаньем,
Глухо клокочет она, подступая к самому горлу

Тех, кто несет в груди уголь желанья
Громко крикнуть ее, с рыданьями кинуть в небо.
Отовсюду идут к нему –
От полей, от дальных селений,
Идут испокон веков, из незапамятных далей
Нити вечных дорог,
Свидетели их стремленья:
Этот живой поток –
Сердца его биенье.

Мечта! мечта! Она превыше дымов
Отравленных его вознесена.
И даже в дни сомненья и унынья
Она царит над заревом ночей,
Подобно купине, пылающей звездами
И черными коронами...

Но что до язв? То было и прошло...
Что до котлов, где ныне бродит зло?
Коль некогда сквозь недра туч багровых
В лучах изваянный, сойдет иной Христос
И выведет людей из злой юдоли слёз,
Крестя огнем созвездий новых!

Города

О, эти города, напитанные ядом гнилого золота!
О, каменные вопли, взлеты и жесты дыма,
И купола, и башни, и колонны
В звенящем воздухе средь кипени труда...

Ты возлюбил ли ужас и тоску их,
Странник,
Печальный и задумчивый,
На огненных вокзалах, что опоясали вселенную?

О, вихрь колес сквозь горы и пространство...

Набат глухой и тайный, что лихорадил душу твою.
Он в городах гудел по вечерам; их пламя
Неисчислимое и красное твой озаряло лоб,
Их черный лай и мстительные крики, и улюлюканье охоты
Были лаем, криком и травлей твоей души;
Всё существо твое глубоко искажалось их богохульствами,
И воля твоя была добычей их потока:
Вы ненавидели друг друга, обожая.

О, взлеты их, кощунства, преступленья,
Вонзенные, как в спину нож, закону!
Сердца колоколов и лоб их колоколен
Забыли их жертв число;
Чудовищные их нагроможденья заслоняют небо;
Ужас века сосредоточен в них;
Но их душа таит тот вечный миг,
Что в неисчетных днях собою метит время.

История была плодотворима.
Из века в век приливом их идей;
Их мозг и кость питались новой кровью,

Что в старый мир вливаются надеждой
И гением.

Они калят дерзанья, причащают
Пространством и колдуют горизонты,
Их притяжения вникают в дух, как яд;
И каждый вознесенный над другими –
Ученый ли, апостол, иль поэт –
Несет свой пламенник в пыланье их пожаров.

Они в неведомое строят лестницы
Для восхожденья дерзостных исканий,
Светлыми ногами топчут ложь, что заковала цепью
Мир с человеком, человека с Богом.
Видали ль ночью вы короны их огней
И храмы из стекла и золота, откуда
Чудовищные взгляды одетых медью стекол
Устремлены к созвездьям сивиллинским?
В кварталах молчаливых посещали ль
Лаборатории, в которых неотступно
От вывода до вывода, от связи и до связи
Сквозь бесконечности преследует ученый
Мельчайший трепет жизни?

Тот человек, что судит, мыслит, волит,
Ими весит и мерит сам себя.
Все тайны, все загадки мира
Им служат ставкой уже целый век
В борьбе великой судьбами.
О, ярость знаний и осторожность схваток!
Загадка здесь – ее следят и травят,
И настигают, как зверя свирепого,
Чтоб уловить мгновенье, когда
Ее глаза, раскрытые внезапно, разорвут
Покровы тьмы и истину откроют.
Тогда пусть ветры, волны, и небеса, и звезды,
И тяжкие мосты, что давят глыбы устоев каменных,
Базальты порта и градские стены

Трепещут на четыре стороны пространства,
Они не потрясутся столь полной радостью,
Как страстный дух искателя
Над новою победой.
Нечто в мире внезапно изменилось
Этим взрывом света из темноты;
И всё равно прославят, иль ославят гений того,
Кто выломал враждебные ворота,
Что защищали тайну, –
Сила его поглощена великой силой городов;
Их бытие еще полнее ею.

Так те, что мыслят, будущему мира
От времени до времени несут ярь мозга своего;
А между тем встают еще иные,
Те, что горят с толпой и для толпы.

Огни болотные и мученики грезы, __
Они провидят ее идущей по садам мучений
И крови – к светлому свершению времен,
Когда дух справедливости проникнет человека.
Ложь издала законы – тексты черных истин:
Их надо грызть всечасно,
Ожидая, пока не сломят их тараны мятежа;
А если надо кровавых удобрений для светлых всходов,
Если нужен великий гнев для полноты любви,
Если надо исступленье для сердца рабьего –
То гулы набатов черных взмоют города
Рыкающим приливом вкруг новых прав.

Так, наверху в кварталах старых, в тусклых залах,
Где светы газа безграничат жесты,
А голоса, и кулаки, и крики трибунов светлых
Утверждают потребность всех нормальным кругом
Таблицы, тексты, правила, системы и библии права;
Даются в передержках торжественных речей;
Для человека в мире – нет господина иного, чем он сам,
И в нем сам владычествует – мир;

Оратор говорит и сильно, и высоко, слово его сверкает.
Косматое и истребительное, как полеты кометы,
Как знамя безумное, простертое к победе;
А если он берет толпу трамплином –
Что до того? он тот, чья воля полна чрез край
Вскипающими токами расцветов;
Отчаянья, и ярости, и гневы,
И грозовое молчание горят в его руках;
Как некий тайный властелин, он видит
Подземное глухое набуханье внезапных сил.
Когда ж в согласье простом и неизбежном сопрягутся
Полет искателя с порывами трибуна,
То нет у неба такой грозы,
Таких громов у власти, у порядка такого произвола,
Чтоб раздавить собой победу мировую.

Толпа

В городах из сумрака и черни,
Где цветут безумные огни;
В городах, где мечутся, беснуясь,
С пеньем, с криками, с проклятьями, кипя,
Как в котле, – трагические толпы;
В городах внезапно потрясенных
Мятежом, иль паникой, – во мне,
Вдруг прорвавшись, блещет и ликует
Утысячеренная душа.
Лихорадка с зыбкими руками,
Лихорадка в буйный свой поток – меня
Увлекает и несет, как камень, по дорогам.
Разум меркнет,
Сердце рвется к славе, или к преступленью,
И на дикий зов единокупной силы
Я бегу из самого себя.

Ярость ли, безумие, любовь ли, –
Всё пронзает молнией сердца;
Всё известно прежде, чем сознанье
Верной цели в мозг впилось, как гвоздь.

Факелами потрясают руки,
Рокот волн на папертях церквей,
Стены, башни, вывески, вокзалы, –
Пляшет всё в безумьи вечеров,
Простирают мачты золотые светы
И отчаянные огни,
Циферблаты отливают кровью;
И когда трибун на перекрестке
Говорит, то ловишь не слова, –
Только жест, которым исступленно
Он клеймит венчанное чело
Императора и рушит алтари.

Ночь кипит и плещет грозным шумом,
Электричеством напитан воздух,
Все сердца готовы отдаться,
Душа сжимается безмерною тревогой, разрешаясь
Криками... и чувствуешь, что каждое мгновенье
Может вспыхнуть иль раздавить рождающийся мир
Народ – тому, кому судьба судила
Руки, владеющие молнией и громом,
И власть открыть средь стольких смутных светов
Ту новую звезду, которая пребудет
Магнитом новой всемирной жизни.
Чувствуешь ты, как прекрасно и полно
Сердце мое
В этот час,
В сердце мира поющий и бьющий?

Что нам до ветхих мудростей, до солнц
Закатных отпылавших истин?
Вот час, кипящий юностью и кровью,
Вот ярый хмель столь крепкого вина,
Что всякая в нем гаснет горечь;
Надежда широкая смещает равновесья,
Что утомили души:
Природа ваяет новый лик
Бессмертья своего;
Всё движется, – и сами горизонты идут на нас.
Мосты, аркады, башни
Потрясены до самых оснований.
Внезапные порывы множеств
Взрывают города,
Настало время крушений и свершений,
И жестов молнийных, и золотых чудес
На высотах Фаворов осиянных.

Как волна, потерянная в реках,
Как крыло, исчезшее в пространство,
Утони, душа моя, в толпе,
Бьющей город, торжествующею яростью и гневом.
Посмотри, как каждое безумье,
Каждый ужас, каждый клич калятся,
Расплавляются и прыщут в небо;

Собери в единый узел миллионы
Напряженных мускулов и нервов;
Намагничься всеми токами,
Отдайся
Всем внезапным превращеньям
Человека и вещей,
Чтоб ощутить внезапно, как прозренье,
Грозный и жестокий закон, что правит ими, –
Написанным в тебе.
Жизнь согласи с судьбою, что толпа,
Сама того не зная, возглашает
Этой ночью, озаренной томленьем духа.
Она одна глубинным чувством знает,
И долг, и право завтрашнего дня.
Весь мир и тысячи неведомых причин
Поддерживает каждый ее порыв
К трагическим и красным горизонтам,
Творимым ею.
Грядущее! я слышу, как оно
Рвет землю и ломает своды в этих
Городах из золота и черни, где пожары
Рыщут, как лев с пылающей гривой.
Единая минута, в которой потрясены века,
Узлы, в которые победы развязывают в битвах,
Великий час, когда обличья мира меняются,
Когда всё то, что было святым и правым, –
Кажется неверным,
Когда взлетаешь вдруг к вершинам новой веры,
Когда толпа – носительница гнева –
Сочтя и перечтя века своих обид,
На глыбе силы воздвигает право.

О, в городах, внезапно потрясенных
Кровавым празднеством и ужасом ночным,
Чтоб вознести и возвеликолепить – себя,
Душа моя, замкнись!

Завоевание

Земля дрожит раскатом поездов,
Кипят моря под носом пароходов;
На запад, на восток, на север и на юг
Они бегут,
Пронзительны и яростны,
Зарю, и ночь, и вечер разрывая
Свистками и сигналами.
Их дымы стелются клубами средь туманов
Безмерных городов;
Пустыни, отмели и воды океанов
Грохочут гулами осей и ободов;
Глухое, жаркое, прерывное дыханье
Моторов взмыленных и паровых котлов
До самых недр глубинных потрясает
Землю.

Усилья мускулов и фейерверк ума,
Работа рук и взлеты мыслей дерзких
Запутались в петлях огромной паутины,
Сплетенной огненным стремленьем поездов
И кораблей сквозь пенное пространство.
Здесь станции из стали и стекла,
Там города из пламени и теней,
Здесь гавани борьбы и сновидений,
Мосты и молы, уголь, дымы, мгла;
Там маяки, вертясь надо морем бурным,
Пронзают ночь, указывая мель;
Здесь Гамбург, Киль, Антверпен и Марсель,
А там Нью-Йорк, с Калькуттой и Мельбурном.

О, этих кораблей в путях заросший киль!
О, груз плодов и кож, для неизвестных целей
Идущий сквозь моря самумов и метелей,
Сквозь ярость бурь и раскаленный штиль!
Леса, лежащие на дне глубоких трюмов,
И недра гор на спинах поездов;
И мраморы всех пятен и цветов,
Как яды темные, запекшиеся руды,
Бочонки и тюки, товаров пестрых груды,
И надписи: Кап, Сахалин, Цейлон.
А возле них, кипя со всех сторон,
Взмывает, и бурлит и бьется в исступленье
Вся ярость золота... Палящее виденье!

О, золото! кровь беспощадной вседвижущей силы.
Дивное, злое, преступное, жуткое золото!
Золото тронов и гетто, золото скиний,
Золото банков – пещер, подземное золото,
Там оно грезит во тьме прежде, чем кинуться
Вдоль по водам океанов изрыскать все земли,
Жечь, питать, разорять, возносить и мятежить
Сердце толпы – неисчетное, страстное, красное.

Некогда золото было богам посвященным
Пламенным духом, рождавшим их молнии.
Храмы их подымались из праха нагие и белые,
Золото крыш отражало собою их небо.
Золото сказкою стало в эпоху русых героев:
Зигфрид подходит к нему сквозь морские закаты,
Видит во тьме ореолы мерцающей глыбы,
Солнцем лежащей на дне зеленого Рейна.
Ныне же золото дышит в самом человеке,
В цепкой вере его и в жестоком законе,
Бродит отсветом бледным в страстях его и безумьи.
Сердце его разъедает, гноит его душу,
Тусклым бельмом застилает божественный взор.
Если же вдруг разражается паника – золото
Жжет, пепелит и кровавит, как войны, как мор,
Рушит безмерные грезы ударами молота.

Всё же
Золото раз навсегда в человеке вздыбило
Волю – к завоеванью безмерного.
О, ослепительный блеск победителя – духа!
Нити металла – носители быстрого слова.
Сквозь сумасшедшие ветры, сквозь сумасшедшее море
Тянут звенящие нервы одного огромного мозга.
Всё повинуется некоему новому строю.
Кузня, в которой чеканят идеи, – Европа.
Расы древних культур, расчлененные силы,
Общие судьбы свои вы вяжете вместе с тех пор,
Как золото жалит ваш мозг общим желаньем!
Гавани, липкие молы от дегтя и вара,
Черные склады, кипящие штольни, гудящие домны,
Ваша работа вяжет всё уже узлы паутины
С тех пор, как золото, здесь на земле
Победило золото неба!
Золото жизни, иль золото смерти, – страстное золото
Азию тянет петлей, проливается в Африку;
Золото скиптр океанов, бродячее золото,
С полюсов белых срывается к рыжим экваторам.
Золото блещет в победах, в разгромах мерцает,
Золото кружится в звездных орбитах веков,
Золото властно ведет в державно намеченных планах
Мачты своих кораблей, рельсы своих поездов.
Вдоль по пустыням земли, вдоль по водам океанов...

Микельанджело

Когда Буонаротти вошел в Сикстинскую капеллу,
Он насторожился,
Как бы прислушиваясь,
Потом измерил взглядом высоту, –
Шагами расстояние до алтаря,
Обдумал свет, сочащийся сквозь окна,
И то, как надо взнуздать и укротить
Крылатых и ретивых коней своей работы...
Затем ушел до вечера в Кампанью.

И линии холмов и массы гор
В его мозгу теснились могучими изгибами,
В узлистых и разлатых деревьях,
Изогнутых и скрюченных от ветра,
Он видел напряженье спины, изгибы торсов,
И порывы простертых к небу рук....
В эти минуты в глазах его всё человечество –
Движенья, жесты, позы – принимало
Расширенный и полный облик всех вещей.
Он возвратился в город ночью,
То торжествующий, то недовольный собою,
Потому что ни одно из прожитых видений
В душе его не умиротворилось в статую.
На следующий день пред вечером
Недовольство в нем прорвалось, подобно грозди
Черных виноградин,
И к папе пошел он ссориться:
«Зачем он – Микельанджело – ваятель
Выбран, чтобы писать по влажной штукатурке
Святую легенду на потолке часовни?
Сикстинская капелла темна и плохо построена:

И самый яркий день в ней не разгонит ночи!
И что за толк трудиться над темным потолком
Чтоб мрак расцвечивать и сумрак золотить?
И наконец, откуда и кто ему доставит балки
Для подмостков такой величины?»
Папа, не меняя выраженья лица, ответил:
«Я прикажу срубить мой самый крупный лес».
И Микельанджело ушел обратно в город,
Враждебный папе, миру, людям, и ему казалось,
Что в закоулках дворца, скрываясь в тени,
За ним следят враги, заране осуждая,
Неистовство, и мрачность, и величье
Нового творенья, что зрело в его душе.
Стал сон его одним огромным взмывом
Трагических телодвижений, вздымавшимся в мозгу.
Он с вечера ложился на спину на ложе
И нервы продолжали гореть во время отдыха;
Он весь звенел, дрожащий как стрела,
Вонзившаяся в стену.
Чтоб растравить еще свои обиды ежедневные,
Он распалялся страданьями и просьбами своих.
И грозный мозг его, казалось, был пожаром
Огней снедающих и пламеней грозящих.

Но чем сильней его страдало сердце,
Чем глубже проникали горечь и обида,
Чем больше ставил он препятствий самому себе,
Чтоб задержать миг молнии и чуда.
Внезапно преображающий работу,
Тем полнее зрело в душе
Творенье пламенеющее и мрачное,
Чье торжество и страх он нес в себе.

То было в мае; звонили к утрене;
Он, наконец, вернулся в Сикстинскую капеллу.
Силой мысли
Он собрал свои идеи в связни:
Группы резкие и четкие, и линии широкие и ясные

Пред оком зыбились в спокойном ровном свете.
Подмостки были построены так крепко,
Что могли вести на небо,
Широкий, ясный свет сиял под сводами,
Лаская выгибы и зажигая стены;
Микельанджело взбежал по сходням
Легкий, шагая через три ступеньки.
Новый пламень разгорался под веками,
Пальцы с лаской ощупывали камень,
Который должен был одеться славой и красотой.
Затем он торопливо спустился
И твердою рукою двери
Замкнул на ключ.

Он затворился на дни, на месяцы, на годы,
Свирепо охраняя неприступность и тайну
Своей работы – одинокой и неисчетной;
Каждый день с рассветом, той же тяжелой поступью
Он переступал порог часовни,
И между тем как солнце вдоль стен описывало круг,
Он, как поденщик, – молчаливый и яростный,
Трудился над бессмертным созданием.

Уже
Двенадцать вспарушенных сводов замыкали
Семь пророков и пять сивилл,
Упорно проникавших в текст вещих книг,
Незыблемо сковавший
Живую зыбь грядущего.
Вдоль по карнизу пронизанные светом тела
Лепились дерзко, торсы их и спины населяли архитрав
Цветущей зрелостью и осмугленной плотью.
Пары нагих детей фронтоны подпирали;
Гирлянды здесь и там тянулись фестонами,
Змей медный выступал из глубины угла;
Юдифь кичилась кровью Олоферна;
Как зданье, рушился огромный Голиаф;
И к небесам вздымалась казнь Амана.

День ото дня, без отдыха, без срока,
Без ошибок и без поправок, росло и утверждалось
Творенье в стройной полноте;
Вскоре
Посередине свода развернулась Книга Бытия:
Бог, как атлет, боролся с предвечным хаосом,
С водами и с землей;
Солнце и луна двойной печатью отметили
На пламенном и новом небе свои места;
Иегова устремлялся в пространства,
Повитый светами и бурями несомый;
Небо, море и горы жили мощной жизнью –
Широкой, медленной и строго размеренной;
Ева в изумленьи перед своим Творцом,
Сложивши руки, колена преклоняла;
Адам же чувствовал перст Бога ревнивого,
Касающийся пальцев, – призыв к деяниям;
Каин и Авел готовили дары;
А Искуситель, став женщиной, тяжелой грудью
Украшал властительное древо;
Под золотыми лозами заветного точила
Ной опьяненный преклонялся к земле;
И черный Потоп распростирал в полете
Крыло воды над лесом и землею.

В работе титанической, что он вершил один,
Иеговы пламенем горел Буонаротти;
Он создавал искусство сверхчеловечное;
Он населил плафон свой новой расой
Существ великих, неистовых и мыслящих.
Гений его сверкал суровый и судорожный, _
Подобный духу Данта и Савонаролы;
Уста, что он отверз, вещали слова иные,
И очи, им разверстые, провидели иные судьбы;
Под лбами вознесенными и в гордых торсах бился
И рокотал его глубокий, его великий дух;

Он пересоздал по-своему и мир, и человека.
В холодный осенний день
Узнали, наконец,
Что работа в Сикстинской капелле окончена
И удалась.

И стала хвала расти, подобная приливу,
Волнами страстными и рокотом широким.
Но папа Юлий Второй молчал.
Его молчанье было, как ожог.
И мастер снова ушел в свое уединенье.
Он с радостью вернулся к старым своим мученьям.
И гнев, и гордость, и непонятная тоска,
Обиды, подозренья
Устремили снова
Свой ураган трагический сквозь душу
Микельанджело.

Дерево

Одинокое, –
Лето ль баюкает, треплют ли зимы,
Иней ли ствол серебрит, иль зеленеет листва.
Вечно, – сквозь долгие дни гнева и нежности –
Оно налагает свое бытие на равнины.

Сотни и сотни лет видит всё те же поля,
Те же пашни и те же посевы.
Ныне умершие очи –
Очи отдаленнейших предков
Видели,
Как петля за петлей заплеталась кольчуга
Крепкой коры и сильные ветви,
Мирно и мощно царило оно над работами дня,
Ложе из моха в косматых ногах раскрывая
В полдень усталым жнецам,
И сладок был сумрак его
Детям, любившимся здесь –
Некогда.

Ранним утром по нем в деревнях
Определяют погоду:
Оно причастно тайнам клубящихся туч
И солнц, на заре замутненных.
Оно – образ былого на страже осиротелых полей.
Но как бы глубоко пройдена плоть ни была его
Памятью, –
Только январь склоняться начнет,
И соки в старом стволе забурлят,
Всеми ветвями своими и завязью почек
    Руки и губы его! –

Оно, напрягаясь в едином порыве, кидает свой крик
В будущее...

Нитями вешних лучей и дождей закрепляет
Нежные ткани листов, напрягает узлы,
Ветви свои расправляет,
Выше к небу подымает чело,
Так далеко простирает жадные корни.
Что истощает болото и пашни соседние,
И порой
Вдруг остановится – само пораженное
Яростью этой работы – немой и глубокой.
Но чтоб расцвесть и царить во всей полноте своей силы
Выдержать сколько борьбы приходилось зимою:
Ветра ножи, проникавшие в тело,
Толчки ураганов и бешенство бури, –
Иней как острый напильник,
Ненависть дробного града и снежной метели,
Мертвый мороз, проникавший
Белым зубом до самых глубинных волокон, –
Всё было вязким страданьем и болью звенящей...
Но оно никогда и ни разу
Не отказалось от воли к расцвету –
Более полному, более пышному
Каждой новой весною.

В октябре, когда золото блещет в листве его,
Часто шаги мои, тяжко-усталые,
Но всё же широкие, я направлял в богомолье
К этому дереву, пронзенному ветром и осенью.
Как исполинский костер листьев и пламени,
Оно подымалось спокойно в синее небо –
Всё напоенное миллионами душ,
Певших в дуплистых ветвях.
Шел я к нему с глазами, повитыми светом,
Трогал руками его и чувствовал ясно,
Как движутся корни его под землей –
Нечеловечески мощным движеньем.

Я грубою грудью своей к стволу приникал
С такою любовью и страстью,
Что строем глубоким его и целостной мощью
Сам проникался до самого сердца.

Смешан и слит с глубокой и полною жизнью,
Я прилеплялся к нему, как ветвь средь ветвей,
Глубже любя эту землю, леса и ручьи –
Это великое голое поле с клубящимся небом.
Жребий не страшен, и руки
Жаждут пространство обнять,
Мускулы тело легчат,
И кричал я: «Сила – свята!
Надо, чтоб сам человек метил печатью ее
Дерзкие планы свои – грубо и страстно.
Рая ключарница – ей право выламывать двери».
Ствол узлистый без памяти я целовал...
Когда же вечер спускался с небес,
Я терялся в мертвых полях,
Шел неизвестно куда, прямо вперед, пред собой –
С криком, бьющим со дна сумасшедшего сердца.

Любовь

Спокойным вечером ласкающего мая
Идущие сюда гулять меж светлых дюн
Влюбленные
Не думают о том,
Что их любовь подобна
Плющу, завившему каменья этих стен.

Они идут так медленно, что тело их кажется усталым,
Но верески, но мхи, но мята, но полынь,
Но каждый камень, каждая песчинка
И скромная тропа, ведущая их шаг, –
Следя за отягченною любовью
Четой обнявшихся,
Творят молитву о вечно плодоносной почве
Фландрии.
А издали, за крышами домов
Высокая, резная колокольня
Глядит на них старинными часами.

Ты, девушка, ты, парень из деревни,
Любитесь крепче в этот мирный вечер:
Час благоприятен – только ветер слышит
Короткое дыханье сплетенных страстью тел.

В ваших сердцах сосредоточена та жизнь,
Что столько дней и столько лет упорно
Питается, растет и крепнет по опушкам
Суровой Фландрии.
И дюна мощная с ее широким светом,
И влажные поля с кустарником вокруг,
Лачуги скромные и тесные ограды,

Все любятся сейчас любовью вашей.
Они вас сделали такими, как вы есть:
Тебя – суровым, грубым, молчаливым,
Тебя – здоровой, крепкой и румяной,
Как полевой букет родных цветов.
Они ведь знают лучше, чем вы сами,
Влюбленный лепет ваших смутных чувств,
Слова любви – они ведь нашептали
Тем, кто любились здесь,
С тех пор, как Фландрия умеет говорить.
Вы любите, как некогда любили
Те, что спят на кладбище;

Вы любите согласно возрасту и жребию,
Как ваши предки смуглые любили русых жен,
И как со временем любиться будут те,
Которые родятся от вашей любви,
Когда умрете вы.

Ты, девушка, ты, юноша, вы, дети
Приморских деревень и горького песка,
Идите вечером, лицом на запад, к морю
В тот час, когда закат пылает на песках.
Жизнь будет вам тяжелой и суровой:
Мужчине – море, женщине – дитя,
Но дух, живущий в вас, суровый и упорный,
Умеет скрыть печаль и удержать слезу.
Вам долго маяться: и месяцы и годы,
Под шум и плач крикливой детворы,
В рыбацкой хижине средь снасти и сетей.

И будет вам единственным желаньем –
Чтоб жадная беда убогий ваш очаг
И счастье скромное не жалила до крови:
О злой сосед – свирепый Океан!
Улов потерянный, грозящая погибель,
Растущий вал, внезапный ураган
Под звездами жестоких равноденствий!
Вы будете терпеть, склонив упрямый лоб,

Тяжелый натиск разъяренной жизни –
Герои, – сами того не ведая!
Но Фландрия, которой нужно племя
Упорное,
Гордится и следит за каждым вашим шагом.
Поэтому, когда в вечерний час
Идете вы обнявшись –
Молодые, тяжелые любовью, –
Издалека резная колокольня
Глядит на вас старинными часами.

К Бельгии

Со дней последних битв, смывая дом за домом,
Всё смел и затопил сорвавшийся бурун.
И вот земля твоя: лоскут песчаных дюн
Да зарево огней за темным окоемом.

Антверпен, Брюж, Брюссель и Льеж – из рук твоих
Врагами вырваны и стонут в отдаленьи.
Твой стерегущий взор не видит их мученья,
В руках израненных защиты нет для них.

Как жены скорбные на побережьи моря
Ты учишься сносить удары ярых гроз,
Упорствуешь, молчишь, лия потоки слез,
И терпишь до конца, с судьбою гордо споря.

Ты, побежденная, безмерно велика!
Прекрасна, доблестна, светла, как в те века,
Когда венчала честь вождей победных главы
И гибнуть стоило и жить во имя славы!

На эту пядь земли, где, не закрыв лица,
Стоит герой – Король под бурей безвозвратной,
Ты собрала солдат – остатки силы ратной,
Что б здесь трагически бороться до конца.

Ты так вознесена своей судьбою славной,
Твой подвиг так велик, твой пламень так высок,
Что образ твой в сердцах пребудет одинок
И нет в иных веках тебе по духу равной.

Пред этой жертвою, что смерть твоих сынов?
Пусть Ипр в развалинах, Диксмюд разрушен, пашни
Затоплены водой, а труп сожженной башни
Огромный высится на фоне вечеров!

О, пусть вся родина лишь в этом пепле рдяном,
Ее мы любим так, что ниц упав пред ней,
Мы будем целовать страдальный прах камней,
Прижмем уста и грудь к ее священным ранам.

А если гнусный враг, недобрый выбрав час,
Сожжет последний дом, страстей исполнив меру,
О, Бельгия моя, храни восторг и веру:
Земля не умерла – она бессмертна в нас!

Защитники Льежа

Пусть мир войной кощунственной мятежим,
Пусть родину, открытую врагам,
Удастся размолоть германским жерновам, –
Бессмертна слава их – за всех погибших там –
Под Льежем!

Горе подобная
С устоев сдвинутой и рушащей лавины
В долины,
На города, на пашни, на равнины –
Так двигалась Германия на нас
Огромная и злобная.

В тот страшный час,
Когда бежали все, ища защиты... Где же?
Не всё ли рушилось? Не всюду ль смерть и мрак?
Они одни держались в Льеже.

Они боролись так
Затем, что ведали, что их отваге вверен
Священный стяг
И Франции, и Рима, и Афин.
Сверх сил боролись все, и каждый пребыл верен
И против толп – один.

Кто думал в эти дни проклятий,
Что враг со всех концов,
Что против неисчетных ратей –
Они – лишь горсть бойцов?
За город, за форты, дерясь поочередно, –
За боем бой

Выдерживали бодро и свободно;
И каждый шаг упорно кровеня,
Сражались на бегу, не знали счета ранам, –
И ловки и быстры под ураганом
Огня.

Когда же Цеппелин под небом серно-рдяным
Внезапно в ночь вонзая зоркий взгляд,
Их открывал прицелам и ударам –
Никто не шел назад:
Все, как один, вперед кидались с жаром
Столь ярым,
Что их уж не было на тех местах дорог,
Куда срывался огненный поток.
Когда в хмелю атак
Теснил ряды и шел на приступ враг,
Кривые молнии сомкнувшихся орудий
Хлестали веером живую стену грудей,
Косся за рядом ряд,
И, опрокинув, гнали их назад.

Лонсен и Шофонтен, Бонсель, Баршон
Гудели тяжкими, стальными куполами
И день, и ночь у них над головами;
Был воздух взрывами и громом потрясен,
И сталь, и медь им рушились на шеи...
А между тем толпы ребят
Вино и хлеб в траншеи
Таскали для солдат.

С веселым юмором сердец неукротимых
Беседа шла о подвигах простых,
И души даже самых молодых
В те ярые часы смертей неотвратимых
Опасность сплавила, так крепко закаля,
Что равных стойкостью не ведает земля.
В раскатах бури город,
Пылая, ликовал
И с пламенем вдыхал
Бесстрашие и порох.

Перерождаясь от огней,
Дышали тверже груди,
Существование людей
Преображалось в чуде;
Сверхчеловечеством был каждый озарен.

О, люди будущих времен!
Пусть мир войной кощунственной мятежим,
Пусть родину, открытую врагам,
Удастся размолоть Германским жерновам –
Бессмертна слава их – за всех погибших там –
Под Льежем!

< ДОПОЛНЕНИЯ >

Окровавленная Бельгия

Уж скоро тридцать лет,
Как в радостном и дружном напряженьи
Росло свободное движенье
Всечеловеческих побед.
А войны
Казались людям тех годов
Проклятым местом старой бойни,
Сокрытым чащею разросшихся цветов.

Был Запад горд под небом беспечальным
И мыслить, и творить в согласьи музыкальном,
Подобно плавному движению светил.
И каждый день прекраснейшие дали
Раздвигали
Прозренья тех, кто мыслил и учил..

Они поведали всемирно,
Что с человеком человек
Согласовать свободный бег
Отныне может только мирно;
Что право лепит силу так,
Как сок весною ствол вздувает;
Что справедливость побеждает,
Что мысль надежней, чем кулак;
Что правду высшего свершенья
Откроет скоро человек,
Что уж назрел прекрасный век,
Когда враждебные теченья
Должны свой бег соединить.

Так электрическая нить
С другою в соприкосновеньи
Рождает искру: да и нет
Вдвоем дадут единый свет.

Так в летних сумерках возвышенно мечтая
И тон апостольский делами подтверждая,
Они, гордясь собой и будущим людей,
Дивились сами смелости своей.
А чрез поля, холмы, леса и воды
Европа кликами несла им свой привет,
И эти возгласы, звучавшие в ответ,
Тревожили германские народы
Вдоль Рейна грозного...
Для них союз людей
Был праздной выдумкой, а их мечты достойны
Лишь свист бичей, сверкания мечей
И землю гулом полнящие войны.

Размеренная ненависть жила
У них в душе. Трудились мастерские
Всегда над новым примиреньем зла.
Упорные, искусные, сухие –
Они умели скрыть смертельных знаний плод.
В дни мира человек к другим идет
Доверчивей – они ж везде следили,
Шпионили и молча стерегли;
А их мыслители догматику несли
На оправдание насилию и силе.
Слова свирепые и мрачные порой
Вещались с высоты и правдой становились,
Они заранее жестокости учились
Во имя мудрости – грядущей, грозной злой.
Боренье воль, свободное кипенье
Страстей, и дум, и дел – широкой жизни пир –
Они отвергнули. Машинное их рвенье,
Казалось, погасить хотело прочный мир.

И наконец они дождались: в исступленьи
Холодной ярости, им заменявшей честь,
И жгли, и грабили, пролили огнь и месть
На страны, города, соборы и строенья –
Святилища наук, сокровища времен...
Ты – Франция! Ты – Бельгия! Врагами
Окровавленные, принявшие удар!
Поведайте, как в эти дни пожар
Метался в городах, клубился над лугами.

Вы бились доблестно за жизнь своих детей,
За честь могил, за мир родимых сеней, –
Они ж искали жертв для новых всесожжений
Жестокости своей.

В забытых хижинах – вдали военных станов,
Где тяжким топотом прошел поток уланов,
Мы видели ножи в груди у матерей
С червленными в крови и в молоке клинками,
И дряхлых стариков, стоящих вдоль путей
Коленопреклоненными рядами
Над ими же раскопанными рвами
И казни ожидающих своей.
Подростков-девочек – в руках ватаги пьяной.
Солдаты тешились кровавым кутежом...
Когда же плоть детей была сплошною раной –
Им вырезали грудь ножом.
Повсюду к городам из брошенных селений
Спешили беженцы с безумием в глазах;
За ними шел поток огня и разрушений,
Гудел набат в смятенных городах;
Страна была, как разоренный улей...

А если им, подбитый меткой пулей
Немецкий труп встречался на пути –
В карманах брюк серебряные ложки,
Браслет украденный случалось им найти
И детские отрубленные ножки.

О, Фландрия! Каких невыразимых дел,
Какого ужаса, безумия, трагизма
Ты стала зрелищем! Как страшен твой удел
Быть жертвой голода германского садизма!

Казнь
(Воспоминание из Верхарна)

Ты сложишь голову на каменном помосте
Под гулкий плеск толпы, средь буйных площадей...
И ярко вспыхнет кровь, и слабо вскрикнут кости...
И будет оргия и благовест церквей.

И солнца мутные, как красные виденья,
Сквозь дымы серные передвечерних действ
Увидят торжество и тайну искупленья
Тобою созданных эпических злодейств.

Толпа вокруг тебя, как древний образ змея,
На миг свой океан заставит замолчать
И будет, точно мать, ярясь и пламенея,
Твой черный гроб баюкать и качать...

И память о тебе распустится, как травы,
Вопьется, острая, как яд осиных жал,
Заблещет красками настоянной отравы,
Останется в мозгу прямая, как кинжал...

Ты сложишь голову на траурном помосте
Под гулкий плеск толпы, средь буйных площадей...
И ярко вспыхнет кровь, и слабо вскрикнут кости...
И будет оргия и благовест церквей.

ГРАФ ФИЛИПП-ОГЮСТ ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАН

АКСЕЛЬ

Действующие лица

Аксель Ауерсперг.

Архидиакон.

Мастер Янус.

Коммандор Каспар Ауерсперг.

Укко, паж Акселя Ауерсперга.

Господин Захария.

Готтхольд.

Гартвиг.

Миклаус.

Сосвященствующий во время заупокойной обедни.

Ева-Сара Эммануила де Моперс.

Настоятельница.

Сестра Алоиза.

Сестра Лаудация, ключарница.

Сестра Каликста, экономка.

Монахи из монастыря Святой Аполлодоры.

Хор старых военных служителей Ауерсперга.

Хор дровосеков.

Действие происходит в XIX веке около 1828 года. Первая часть — в женском монастыре Святой Аполлодоры, около побережий старой французской Фландрии. Три остальных части — на западе северной Германии, в очень древнем укрепленном замке, принадлежащем маркграфам Ауерспергам, уединенном среди лесов Шварцвальда.

Первая часть

Мир религиозный

Нежные сердца, приблизьтесь: здесь любят еще,
Но лишь очищенная любовь возжигается на алтаре.
Всё человеческое испарилось в этом пламени,
Всё, что осталось, – бессмертно.

Ламартин

§ 1 ...И принудьте их войти!

Хоры в капелле старого аббатства.

В глубине огромная оконница с расписными стеклами. Налево четыре ряда сидений. Они слегка подымаются полукругом к высокой круговой решетке, замкнутой и задрапированной тканями. В глубине около решетки низкая с каменными ступенями дверь. Она ведет в монастырь.

Направо против сидений семь ступеней и амвон алтаря, которого не видно. Ковер тянется до середины хор, по краю могильных плит. На второй ступени звонок и золотые кадильницы. Выше корзины с цветами. Только одна лампада между большими, обремененными ex-voto колоннами, которые поддерживают главный свод, озаряет здание: там, на клиросе, возвышается кафедра из белого мрамора.

Человеческая фигура, закрытая покрывалом, с босыми ногами в сандалиях, стоит под лампадой. В глубине появляются настоятельница аббатства и архидиакон, в священнических облачениях.

Священнослужитель склоняется перед алтарем и пребывает в молитве. Настоятельница приближается к закутанной фигуре и резким движением срывает покрывало с ее головы.

Таинственной красоты лицо появляется. Это женщина. Она недвижна, руки скрещены, веки опущены. Настоятельница вглядывается несколько мгновений молча.

Сцена 1

Сара, настоятельница, архидиакон, после сестра Алоиза.

Настоятельница. Сара! Скоро прозвучит Рождественская полночь, радостью преисполняя наши души!

Скоро алтарь озарится свечами, как ковчег союза! Наши молитвы поднимутся на крыльях песнопений! Но прежде чем этот час совершится в небесах, я должна вам поведать священное, мною принятое относительно вашей судьбы, решение.

Вспомните, Сара! Отец ваш и мать, чувствуя приближение смерти, призвали меня в свой замок, чтобы поручить вас мне. Семь лет живете вы в этом монастыре, свободная, как ребенок в саду. Но игры детей были вам всегда чужды, и я ни разу не видела, чтобы вы улыбались. Что знаменует характер столь прилежный и столь уединенный? Бесконечное перечитывание всех наших старых книг разве сможет научить смирению ваш дух?

Слушайте, Сара, вы – темная душа. На вашем всегда бледном лице сверкает отблеск неведомой древней гордыни. Она дремлет в вас... О! те созвучия, что вы находите в органе, выдали вас!.. Они так мрачны, что я просила сестру Алоизу заступить ваше место. Несмотря на сдержанность и простоту ваших редких слов и всех ваших поступков, я размышляла о вас долго и внимательно. Вы с молчаливой безразличностью подчиняетесь правилам нашего послушания. Берегитесь ожесточить свое сердце!

Дочь моя! Вы – лампада в глубине гробницы: я хочу оживить вас для надежды. Жизнь без молитвы – суета! Двадцать третий год ваших дней исполнился; то, что необходимо для спасения вашего, – это помазание, это помазание! Вы должны всецело отдаться Господу, усмиряющему беспокойные сердца. Конечно, согласно человеческому взгляду, я должна допустить, что вы свободны нас покинуть; но перед Господом я должна допустить вернуться в мир вас – одинокую, богатую и столь прекрасную посредине ваших искушений (коих не безызвестны мне обольщающие насилия настолько же, как смертельное отчаяние)? Не имею ли я права в этих обстоятельствах, раз вы доверены мне, действовать в делах истинного вашего счастья, раз вы сами не способы отличить его? Опыт наслаждений ведет к отчаянию: позже, вопреки собственной воле, у вас не хватит сил вернуться; я должна предвидеть это за вас. Как! Головокружение подстерегает вас

на краю бездны, и я не буду иметь прав защищать вас от него! Мое невмешательство было бы предательским попущением, за которое вы потребовали бы у меня отчета в последний день. Поддержать вас, когда вы готовы утонуть во мраке! Без руководителя, без семьи! И с этой пламенеющей душой, которую я угадываю под вашими опущенными ресницами!? Нет! Нет! Вы не сумеете прожить там по заветам Божиим! Сегодня же вечером я посвящу вас ему, да, сегодня ночью. (*Молчание.*)

Дочь моя, когда три месяца тому назад я вам раскрыла свои планы, я стерпела отказ с вашей стороны. Я прибегла к in-pace, к строгим лишениям и умерщвлению плоти... И в то время, когда вы, смирившись, исполняли наложенную епитимью, я приказала молиться за вас и сама предстательствовала с ревностью, принося мои слезы Тому, кто Сам – всепрощение.

Не принуждайте же меня вновь прибегать к строгостям, чтобы заставить вас подумать о самой себе, чтобы вас, так сказать, толкнуть к небу. Сегодня, в этот прекрасный вечер праздника, я растворила вашу темницу; я избрала эту святую ночь, чтобы посвятить вас Господу, посреди цветов, огней и благовоний. Вы будете горькой невестой этого брачного вечера.

Так благодать снизойдет на вас; забвение усмирит беспокойство вашего духа; вы почувствуете скоро бремя божественной любви; и наступит день (и он уже недалек, быть может), когда вы, трепеща воспоминанием этого святого часа, вы будете целовать меня со щеками, омытыми слезами экстаза и радости. И это будет трогательным и укрепляющим зрелищем для девушек, живущих под сенью этого алтаря. И вы поймете тогда, что дерзнула я сделать, исполнение чего приняла я на себя... Да будет же мир с вами. (*Она оборачивается.*)

Сестра Лаудация, зажгите свечи. (*Алтарь постепенно озаряется во время конца сцены.*)

Теперь, сестра моя и дочь моя, я сказала: вы богаты в миру. Сюда же входят освобожденные от гордости и богатства. Мы бедны, но то, что есть у нас, мы отдаем: бедность облагораживается милостыней. Вами унаследованы замки,

дворцы, леса и равнины. Вот документ, в котором вы отрекаетесь от всех своих имуществ в пользу общины. Вот перо. Подпишите. (*Сара разнимает руки, берет перо и равнодушно подписывает.*) Хорошо. Это так. (*Она смотрит на Сару, которая вновь погрузилась в свою неподвижность.*) Благодарю. (*Про себя, направляясь к архидиакону.*) Пусть Господь видит меня — и судит! (*Подойдя к старому священнику, она трогает его за плечо и, склонившись, шепчет несколько слов.*)

Архидиакон (*подымаясь, тихим голосом*). Пост, заключение и молитва рождают свет в этих гордых душах: так было нужно! Так нужно! (*Громко, приближаясь к Саре.*) Сара, сестра Эммануила в Господе! Сомнения, которые заставляли нас предполагать около вас присутствие злого духа, рассеялись. В такой день могли ли мы отогнать от себя все беспокойные мысли относительно вас: но милостыня, которую Господь дал вам возможность подать нам, заканчивает ваше, в наших глазах, очищение, освобождая от всякого подозрения в нетвердости. Она будет воинствовать за вас в минуты отчаяния и слабости. Я приму вас сейчас в круг тех, кто отныне будут вашими сестрами. Уже давно и они и мы смотрим на вас как на призванную и избранную. Послушничество ваше окончено.

Настоятельница. Дочь моя, мы оденем вас в венчальное платье и этот лоб украсим венцом посвящаемых дев в знак вашей грядущей свадьбы. Потом вы вернетесь сюда, на это место, среди песнопений. Вы будете здесь распростерты в ознаменование смерти, и на вас будет накинут покров наших покойников. Под этой плитой покоится святая, основавшая монастырь, и вы помолитесь ей особо до выноса даров. Когда обеты будут произнесены, ваши мирские волосы обрежутся ножницами наших уставов. После вас облекут в святую одежду, которую вы сохраните до конца испытания в сей юдоли. (*Юная монахиня, ребенок с милым лицом, в платье белом с синим, появляется сзади алтаря. Она кажется побледневшей. Она смотрит на Сару.*) Я, я скоро уйду на покой вечный; вы примете в наследие мой костяной посох и в свою очередь будете делать... то, что делаю я. (*Оборачиваясь.*) Сестра Алоиза, приблизьтесь! (*Монахиня подходит.*)

Сцена II

Те же и сестра Алоиза.

Настоятельница (*продолжая*). Сестра Алоиза, вот ваша подруга, вами другим предпочтенная, наша милая дочь, которую вы любите с нежностью. Ваш голос ей милее моего, и я полагаюсь на ваши добрые слова, которые отгонят те искушения, что могут обступить сердце в этот великий час. (*Молчание.*) Вы ведь ее очень любите, не правда ли?

Сестра Алоиза (*серьезно*). Да, мать моя.

Настоятельница. Доверяю ее вашему милосердию. Вы останетесь вместе с ней и помолитесь в часовне до последней четверти перед полуночью. (*Настоятельница подымается к подножию кафедры, где стоит архидиакон. Священнослужитель пробегает теперь пергаменты и бумаги, при свете лампы, которую сестра Лаудация поставила на ручке одного из сидений.*)

Сестра Алоиза (*в сторону, приближаясь к Саре*). Господи! (*Сжимая руки на плече Сары, голосом тихим, почти неразличимым.*) Сара, вспомни наши розы в аллее между гробницами! Ты явилась мне сестрой, которую я уже не ждала. После Бога – ты! Если ты хочешь, чтобы я умерла, – я умру. Вспомни, как я прижимала лоб к твоим бледным рукам вечером на закате. Я не могу утешиться, увидав тебя. Увы! Ты – возлюбленная!.. Тоска моя от тебя. Сила моя лишь в тебе. (*Молчание.*)

Уступи, стань, как мы, под монашеским покрывалом! Раздели с нами испытания одного мгновения. Ты же знаешь, что мы не можем жить. Тем скорее мы будем вместе на том же небе, с одной душой!.. Сара, ты видишь звездное небо в глубине моих глаз – туда удаляют вечно звездные небеса. Пусть ты придешь! Я хочу убрать тебя сама, как божью невесту, неизреченную супругу, божественное существо. Горе сделало меня красивой, и ты меня не оттолкнешь больше с грустью, если посмотришь на меня. Какие слова найти мне, чтобы смягчить тебя! Сара, Сара! (*Молча Сара разнимает руки: лоб ее склоняется к челу послушницы. Та берет ее за руку. Обе про-*

ходят через часовню. Сдавленным голосом, еще более тихим и неожиданным.)

О, не опирай своего лба! Мои колени подгибаются! (*Сара выпрямляется и, поддерживая одной рукой сестру Алоизу, ставшую белой, как ее покрывало, входит вместе с ней через боковой свод.*)

Настоятельница (*стоит, облокотившись спиной на колонну, задумчиво следя за ними*). Свершилось! Это дитя уже испытывает наслаждение и восторги адовы! Обольщение ангелов мрака! Чрезмерная, опасная красота Сары смущает и тревожит это избранное сердце своей непристойностью. (*Размышляя.*) Сестра Алоиза этой ночью обрежет ей волосы; и она останется без покрывала так до Крещенья.

Архидиакон (*подходя к ней*). Сестра, вот наследственные документы Сары де Моперс и акты, сюда относящиеся: они становятся собственностью монастыря; богатства, ими предоставляемые, пополнят ограниченность наших монастырских доходов; примите их и перешлите завтра в экономат.

Сцена III

Настоятельница (*принимая документы, равнодушно*). Благодарю вас, мой отец. (*Перед тем как их свернуть и связать, взгляд ее становится более внимательным.*) Это гербы!.. Где я их видела? Восточный гербовый щит, которые поддерживают эти необычайные золотые сфинксы... Эти герцогские перья... (*Она наклоняется около лампы над документами.*) Голубые – с Адамовой крылатой головой, серебряной; такое же семизвездие посередине; с девизом на буквы имени:

Macte **A**nimo! **U**ltima **PER**fulget **S**ola.*

Вещие слова, если Господу будет угодно: Сара – последняя в роде князей де Моперс. Но... эти драгоценные камни или геммы из различных эмалей, опоясывающие Адамову голову, геральдически неясны: я не понимаю...

Архидиакон (*приближаясь*). Вы хотите разобрать этот более чем странный, действительно, герб этого

* Смелей! Последняя [звезда] сияет одна *(лат.) Здесь и далее перевод с латинского языка выполнен О. В. Бударагиной.*

дома, но зато семивековой? Только что я как раз просматривал пояснение. Это действительно герб Моперсов, который они странным образом разделяют с некоей германской ветвью знатного австро-венгерского рода графов Ауерспергов, – славный ствол с многочисленными разветвлениями!

Настоятельница (*после невольного движения*). Ауерсперг? А... в этой истории ничего нет, что могло бы иметь значение относительно наследства Сары?

Архидиакон (*улыбаясь*). Ничто на это не указывает. Дело идет об одном рассказе времен рыцарства и крестовых походов, в котором чудесное преобладает над реальным. Вот: главы обеих этих фамилий были в одно и то же время, оказывается, посланниками, один Франции, другой Германии, при египетском султане (при султане Эль-Калебе, говорит летопись той эпохи). И один «маг», который присутствовал в тайном совете египетского властелина, сумел убедить обоих рыцарей заменить этими таинственными золотыми сфинксами двух львов, поддерживавших их общий герб. Девиз Ауерсперга более непонятен:

AltiUs rEsurgeRe SPERo Gemmatus!*

Оставим эти пустые предания. Посвящаемая должна приготовиться к приятию пострижения, не правда ли? Вы сообщили ей об обряде нашей литургии при посвящении?

Настоятельница (*озабоченная, прерывает его*). Mademoiselle de Maupers готовится к церемонии, да, мой отец. (*Молчание; затем как бы уступая вдруг внутренней необходимости.*) Прежде божественной службы дозвольте мне спросить у вас разъяснений на совокупность особенных обстоятельств, воспоминание о которых тревожит мой дух. Обстоятельства навели меня на мысль столь необычайную, что я не решаюсь принять собственным умом предчувствие это как уверенность: мне надо ваше мнение. Дело идет о Саре. Отче, сердце этой юной девицы, высокой и бледной, как пасхальная свеча, для нас закрыто.

Архидиакон. Я тоже не доверяю этой упрямой овце нашего стада. Но, во всяком случае, я думаю, что долгий

* Чаю воскреснуть и вознестись ввысь осиянный *(лат.)*.

монастырский режим обуздает, я хочу сказать, вернет нам это своенравное дитя; да, я уповаю, что мы направим милостиво ее мысли к Богу и всё пойдет хорошо! Что, поведение ее действительно предосудительно?

Настоятельница. Оно слишком холодно-безукоризненно. Я часто наказывала ее, чтобы испытать ее сдержанность. Она всё принимала; но, повторяю вам, отец, что покорность ее лишь внешняя, Кары бессильны над ней и лишь укрепляют ее гордость. (*Прерывая как бы сама себя.*) Эта девушка как сталь: она сгибается до самой сердцевины и после выпрямляется или ломается. У нее (если такое сравнение дозволено), у нее душа мечей. И не один раз ее вид смущал меня, да, меня, каким-то неведомым ужасом.

Архидиакон. Она никогда не пыталась бежать из монастыря?

Настоятельница (*качая головой*). Она чувствует, что над ней бодрствуют и днем и ночью; одна попытка к бегству ее привела бы к заточению еще более строгому.

Архидиакон (*глядя на нее, спустя мгновение*). Надо быть осторожной в таких суждениях, чтобы самой не оказаться под властию диавола! Следовало бы предварительно осведомить сестру Эммануилу о тех мерах, которые приняты относительно ее, вот и всё.

Настоятельница (*со слабой и холодной улыбкой*). Под власть диавола?.. Хорошо, отче, судите сами: вот факты в их точной последовательности. Я нахожу их мрачными... (*Она садится, опирается на подлокотник и несколько мгновений размышляет, после, медленно и слегка подымая глаза на архидиакона, который стоит перед нею.*) Вы знаете, что весьма древняя секта розенкрейцеров тому три века, во время одной войны, занимала это аббатство. Они оставили там, наверху, различные рукописи, касающиеся, говорят, Тирийских диалектов и наречий, на которых говорили в Гезере или в Тадморе – не знаю... Мы сохранили эти рукописи в качестве достопримечательностей. Прежде всего, не удивительно ли, что я часто заставала Сару погруженной в терпеливое изу-

чение этих трудов? Я прошу вас твердо отметить этот пункт, который может стать очень интересным.

А р х и д и а к о н (*сперва улыбается, потом омрачается*). Факт тот, что она сделала бы лучше, если бы размышляла над своим часословом. А затем эти книги далеки от того, чтобы быть книгами поучительными. Надо завтра же уничтожить их посредством сожжения... Розенкрейцеры, чтобы избежать костра, имели обыкновение скрывать под видом молитв свои гнусные формулы...

Н а с т о я т е л ь н и ц а. Теперь, и к сожалению, слишком поздно, эти книги в моей келье. Я помню, это было три года назад, зимним утром, накануне Сретения, я спустилась довольно рано в библиотеку; там я застала эту удивительную девушку. Она провела там всю ночь одна, несмотря на сильный холод. Она не видела, как я вошла, и не заметила, что я наблюдаю за ней! Она кончала сжигать на лампе первый лист пыльного требника, первый пергаментный лист того готического часовника с эмалевыми застежками, который был нам прислан когда-то из Германии одним из корреспондентов его святейшества патриарха Павла, нашего благочестивого епископа.

А р х и д и а к о н. Да... я вспоминаю... венгерским врачом, которого патриарх сам не знал и никогда не видел! Доктором... Янусом. (*Семисвечник около алтаря бросает очень яркий свет и потом тухнет сразу.*)

Н а с т о я т е л ь н и ц а (*зовет*). Сестра Лаудация, скорее! Лампу! Лампу! Отчего бы это могло быть? Вы отбудете епитимью в трапезной.

С е с т р а Л а у д а ц и я (*подбегает, сжимая руки, смущенная и растерянная*). Мать моя, я забыла заправить его сегодня вечером. Правда! Со мной этого ни разу не случалось с тех пор, как я ношу ключи у пояса. (*Она молча зажигает лампу; затем уходит за престол.*)

А р х и д и а к о н. Вы говорите, значит, сестра, что Сара уничтожила эту грамоту?

Сцена IV

Архидиакон, настоятельница одни.

Настоятельница. Отец, вы помните немного тот лист, о котором я вам говорю? Он был покрыт письменами странных форм, на которые мы, не имея возможности разобрать их, обратили мало внимания.

Архидиакон. Помню: конечно, какое-нибудь благочестивое возглашение?

Настоятельница (*всё более и более задумчивая*). Эти письмена ужасно странно напоминают те, значение которых сообщено в розенкрейцерских книгах! Лист пергамента был вклеен в молитвенник и скреплен печатью с этим гербом. (*Она показывает документы.*)

Архидиакон (*спустя немного*). Я еще не разбираю вашу мысль. Продолжайте, сестра. Каким образом этот поступок, столь маловажный... в некотором смысле даже похвальный?..

Настоятельница (*с остановившимся взглядом, как бы говоря сама с собою*). Все черты Сары светились в это мгновенье таинственной радостью! Глубокой и страшной радостью. Нет, то, что она прочла, была не молитва!.. В ней было нечто торжественно-неведомое, незабываемое. Я обратилась к ней вдруг, не спуская с нее глаз. Взгляд, который она подняла на меня, был так пуст, что он оставил впечатление опасности. После долгого молчания, страшно побледнев, она ответила мне, что она просто уничтожила воспоминание о суетной гордости: собственный свой герб, который она узнала на этой странице. Подозрительная ревность! Я перечла письмо патриарха, чтобы убедиться в истинности. Книга действительно принадлежала покойной владелице замка Ауерспергов – и это теперь поясняет слова Сары... Тем не менее, мой отец, признаюсь, что эта минута, которая длилась лишь одно мгновение, посеяла во мне известную мысль... о, смутную, быть может, даже суеверную мысль, но я от нее не могу отделаться! Подозрение, которое у меня относительно Сары, одно может дать ключ этого характера, непроницаемо-

го, серьезного и холодного, который нас смущает в ней. Разве вы не видали ее часто, как и я, гуляющей под монастырскими сводами, сосредоточенную, как бы потерянную в какой-то безмолвной грезе?

Архидиакон (*внимательно всматриваясь в нее*). Вы думаете, что эта девушка...

Настоятельница (*омрачившись*). Да... это мое тайное убеждение. Я думаю, что Сара де Моперс разобрала некое темное извещение, какое-то необычайное разъяснение – верховное внушение! Важную тайну, да, мой отец! Да, повторяю вам, важную тайну, вне всякого сомнения! Теперь она погребена вместе с этим сожженным листком.

Архидиакон (*помолчав*). Скажите мне, двери для публики будут крепко заперты сегодня вечером, не правда ли?

Настоятельница. Железные затворы церковного портала закрыты. Корабль останется пустым. Рыбаки и обитатели селенья будут слушать всенощную в городе.

Архидиакон. Хорошо. Когда же обеты будут произнесены, надо будет установить строжайший надзор за нею.

Настоятельница (*вполголоса*). Однако... Я думала, я обязана была думать, что эта душа не неведома нам! Она, значит, не приносит покаяния, она, когда в вашей исповедальне на коленях...

Архидиакон (*прерывая ее*). На это я не могу ответить вам, будем говорить лишь о том, что мы знаем. Пострижение дает особую благодать, а мы знаем, что она весьма нуждается в ней. Я боюсь, правда, самобичевание ей, может быть, до известной степени необходимо...

Настоятельница (*спокойно*). Конечно, ее надо спасти! От нее самой! И если в ее сердце живут адские плевелы, надо их искоренить для ее спасения. И посмотрите, мой отец, до каких пределов простирается соблазнительная власть этой девушки! Я просила самую юную из наших обращенных, сестру Алоизу, у которой простое сердце и ангельская душа, искать ее дружбы. Я надеялась таким образом,

рано или поздно, уловить хотя бы несколько слов... освещающих скрытые мысли Сары. И что же случилось? Неожиданная, невероятная вещь... Необычайная красота мадемуазель Сары де Моперс глубоко поразила сестру Алоизу: она стала молчаливой, как бы ослепленной.

Архидиакон (*вздрогнув*). Остерегайтесь! Это нечто вроде древней порчи! Нечистые лихорадки Земли и Крови выделяют мертвенные испарения, которые сгущают воздух души и вдруг совершенно скрывают лик Господний. И пост и молитва бессильны иногда! Опасный случай! Опасный случай! (*С дрожью.*) Ужасно!

Настоятельница (*ледяным голосом*). Мой отец, я умыслила еще иные опасности. В то время, когда сегодня ночью вы будете совершать над Сарою заупокойную обедню, ее поручительницей во время допроса будет именно сестра Алоиза: я избрала ее быть посредницей при покаянии. Что же касается вашей проповеди, вы можете обращаться к Саре, мой отец, так, как если бы вам надо было поразить сердце и мысль в известном смысле неверующей... (это неопределимо) и главным образом мысль. Ее мысль представляется мне одной из наиболее отвлеченных и глубоких!.. Мое стадо чистых душ не поймет вас: ничего предосудительного не произойдет. Она одна, я уверена в этом, последует за вами в эти бездны духовных исследований, которые ей слишком знакомы.

Архидиакон (*очень удивленный, с полуулыбкой*). Как? Что вы говорите? Или мы грезим?..

Настоятельница. Ах, если бы и смела обнаружить всю мою мысль! Если я прибавлю, что ее широкие познания, столько раз сквозившие в ее точных и редких ответах, дали мне понять слишком поздно, в то время, когда я думала предоставить ей играть в чтение, что ее удивительная восприимчивость постигла без посторонней помощи всё, до самых основных положений этой мудрости, скрытой там в тысячах столь различных произведений.

Архидиакон (*становясь задумчивым*). Мрачная сирота, воистину столькими книгами соблазненная и совращенная.

Настоятельница. Отнеситесь серьезно к тому, что я говорю: я считаю ее одаренной страшным даром понимания!

Архидиакон (*серьезно*). Тогда горе ей, если она не станет святой! Мечты погубили столько душ! В женщинах же этот дар становится чаще ковчегом, чем факелом... Пусть тогда она не читает до тех пор, пока ее вера, укрепившись, не осветит пустоту человеческих страниц! Вы должны были раньше объяснить эту особенность ее. Вижу, что мне придется сегодня вечером употребить красноречие в моем увещевательном слове. Юные умы, омраченные ранними размышлениями, чувствительны к мишуре смертных речей! Красноречие! Будто оно не лежало у ног тех, которые могли сказать «Отче наш»! И как будто нуждаются, например, ослепительные слова св. Павла «Omnis Christianus Christus est»* каких-нибудь украшениях и пояснениях, когда оно само объясняет Бога! Увы! Я понимаю доброго Златоуста, и его набожные слезы, и его стыд, разумеется, когда он видел, что его присные, вместо того чтобы проникаться внутренним смыслом его слов, скорее восхищены, как в театре, их гармонией, их сверкающей шелухой, их изветвленной красотой, его фразеологией! Как он просил тогда прощения у Бога и для них и для себя за этот смешной соблазн! Позор! Хорошие удары дисциплины, долгие и смиренные молитвы, хорошие лишения и хорошие посты – вот что дает основу нашей вере, вот то, что стоит чего-нибудь, что имеет значение и в смерти, вот что создает право и укрепляет наше сверхъестество. Что ж! Если необходимо красноречие, чтобы убедить эту душу в опасности... (*презрительно*) я употреблю сегодня вечером красноречие, да, истощив круг ученых текстов священной схоластики, я дерзну сам, в качестве ритора, побороть их греховные неточности, не забывая, однако, вещего слова псалмопевца: «Quoniam non cognovi litteraturam, introïbo in potentias Dei»**.

* Всякий христианин – Христос *(лат.)*.
** Не владея ученостью, взойду под власть Господа *(лат.)*.

Настоятельница. Тем не менее мне кажется, что она хорошо расположена! Быть может, она сама ищет молитвы, смотрите, ведь она же подписала тут, под моими руками, отречение от своих земных богатств.

Архидиакон (*посмотрев акт даяния*). О! Я забыл! Это справедливо! Сколько бедных накормится! Сотни! Сколько странников приютится!.. Да, быть может, действительно благодать осенила ее! Быть может, мы сами смущаемы одним из этих беспредметных подозрений, насылаемых духами зла в торжественные минуты для того, чтобы напугать нашу слабость.

Настоятельница. Сколько постелей для болящих! Сколько белых хлебов и крепительного вина! Сколько добра можно сделать этим золотом, отнятым у Маммона!

Архидиакон (*задумчиво*). Так оружие Всезлого обратится против него самого! Итак, да будет мир с нами! (*Оба преклоняют колени пред алтарем; после, подымая руки к небу.*)

Настоятельница и архидиакон (*вместе, полным голосом*). Слава Господу обездоленных, научившему Самаритянина! (*Колокола; алтарь теперь зажжен, и отблески его освещают всё кругом.*)

Хор монахинь (*за стеной, поет, приближаясь*).

O virgo! mater alma! fulgida Cœli porta!
Te nunc flagitant devota corda et ora
Nostra ut pura pectora sint et corpora!*

Раскрывается монастырская дверь, и монахини, в белых одеждах, сияющие и сосредоточенные, появляются и входят в полукруг сидений. Старик в стихаре служителя появляется и, обогнув алтарь, становится в правом углу, на первой ступени.

---

* О, Дева! Благодатная мать! Сияющие врата небес!
К тебе взывают нынче уста благоговейно преданных,
Чтобы были чисты наши помыслы и тела! *(лат.)*

Сцена V

Архидиакон, настоятельница, сестра Лаудация, сосвященствующий, служащий заупокойную обедню, монахини.

Орган. Четыре ряда сидений теперь заняты. Две монахини в праздничных одеждах приближаются к алтарю, берут кадильницы и кидают в них ладан. Другие, стоя на ступенях, с корзинами в руках, берут цветы пригоршнями и сыпят на амвон. Настоятельница с посохом в руке сидит на аббатском месте. Она одета в сверкающую мантию. Подымается песнопение. Архидиакон в черном ораре приближается. Сосвященствующий преклоняет колена. Звенит золотой колокольчик. Это входная.

Монахиня (*одна*). In te, Domine, speravi: non confundar in æternum*.

Хор. Amen**.

Архидиакон. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sanctâ!*** (*Затем он поднимается по ступеням к престолу. Предварения вечерни продолжаются вполголоса, в ожидании полночи. Вскоре звон проскомидии. Все монахини встают.*)

Сцена VI

Те же, Сара и сестра Алоиза.

Орган гремит. Сара, одетая в длинную тунику из белого муара, появляется с ожерельем из священных опалов на груди. Она опирается рукой на плечо сестры Алоизы, которая бледна, но улыбается. Померанцевые цветы переплетают ее распущенные волосы, которые спадают волнисто, чернея отдельными прядями, на ее платье. Ее лицо как бы высечено из камня. При ее появлении ей кидают цветы, и кадильницы приподнимаются. Она молча преклоняет колена на плите пред алтарем и распростирается ниц, прижимая лоб к перекрещенным рукам. Сестра Алоиза покрывает ее широким бе-

* На тебя, Господи, уповаю: да не постыжусь вовек (*лат.*; Пс. 70).

** Аминь (*лат.*).

*** Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым! (*лат.*; Пс. 42)

лым покрывалом, испещренным золотыми каплями, изображающими крупные слезы. Покрывало скрывает ее целиком. Мистическая свеча пылает над головой Сары на первой ступени алтаря.

Архидиакон (*на амвоне, обращаясь к присутствующим*). Есть ли здесь душа, которая жаждет распять свою смертную жизнь, безвозвратно причастившись жертвы божественной, мною приносимой?

Сестра Алоиза (*приближаясь*).

Ego pro defunctâ ilib! Ego vox ejus!*

(*Стоя около Сары, поет формулу посвящения.*)

Suscipe me, Deus! Secundum eloquium tuum, et vivam!**

(*Заупокойный колокол ударяет один раз.*)

Монахини (*процессией проходя вокруг Сары с зажженными свечами в руках*). Requiescat, et ei luceat porpetua Lux!***

Сестра Алоиза (*окропив святой водой смертный покров*). Resurgam!****

Монахини (*далекие голоса в звуках органа*). In excelsis*****.

Хор (*на сцене*). Amen******.

Теперь дряхлый прислужник на самом амвоне алтаря облек архидиакона ризами, в которых старые Великие приоры аббатств принимали монашеские обеты в полном облачении. Длинная черная мантия, застегнутая на плечах; малая митра на голове; опираясь на пастырский золотой посох, архидиакон под черно-пурпуровым балдахином, поддерживаемым четырьмя старейшими монахинями, попечительницами монастыря, в длинных покрывалах, опускается к распростертой Саре. Орган замолк.

Архидиакон. Если та, что умерла уже для земли и пресмыкается здесь, перед ликом Божьим, отрекается на-

---

* Я за эту усопшую! Я глас ее! *(лат.)*

** Прими меня, Господи! Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить! (*лат.*)

*** Да упокоится, и да сияет ей вечный свет! *(лат.)*

**** Воскресну! *(лат.)*

***** В вышних *(лат.)*.

****** Аминь *(лат.)*.

всегда от презренных радостей плоти и крови, да будет она благословенна у подножия алтаря.

Сестра Алоиза (*обеими руками указывая на Сару*). Ecce ancilla Dei*. (*После этих слов во время молчания, которое наступает, сестра Лаудация, по знаку настоятельницы, приближается к сестре Алоизе и вручает ей большие серебряные ножницы. Сестра Алоиза принимает их и, похолодев, закрывает глаза.*)

Архидиакон (*останавливаясь на третьей ступени, к Саре*). Ты ли, призванная свыше, воистину та, что хочет жить во смиренной чистоте, осеняющей нас? Та, что хочет воскликнуть к Престолу, вместе с Цецилией: «Fiat cor meum immaculatum ut non confundar!»** Та, что через немного дней успокоения, на прекрасных крыльях смерти отлетит в святейшем парении к духам, пламенеющим любовью и светом, к блаженным Серафимам, о которых говорит благочестивый Ареопагит? О женщина, если ты принимаешь послушничество добровольно, любви ради к Господу, восходя на костер, то, когда ты вступишь в вечность, ты станешь своей собственной воплощенной любовью. (*Заупокойный звон.*)

Ибо вечность, как превосходно говорит св. Фома, не что иное, как полное познание самого себя в единое мгновение. И «любовь моя – бремя мое», – сказал св. Августин. Низвергнись же, если ты – небесное сердце, в Того, кто сама любовь. Верь, и ты будешь жить; вера, согласно определению св. Павла, есть самая сущность того, на что должно надеяться. (*Заупокойный звон.*)

Ею ты воскреснешь, преображенная в собственное свое славословие; ибо душа есть гармония, как вдохновенно сказала св. Гильдегарда. «Pulcher hymnus Dei homo immortalis***», – сказал также Лактанций, ум красноречивый и достойный всякой похвалы. Только одно должна ты ненавидеть: всякую препону на возвратном пути твоем к Богу. Всякую грань, то есть зло! Ненавидеть изо всех твоих

* Вот служанка Господня (*лат.*).

** Да пребудет мое сердце непорочным, чтобы мне не постыдиться [вовеки] (*лат.*).

*** Бессмертие человека [есть} прекрасный гимн Господу (*лат.*).

сил! Ибо, как удивительно определяет св. Исидор Дамиэтский, избранные, склоняясь с высоты небес для созерцания мук кающихся, испытывают великую радость от зрелища их пыток, без чего ни сбор плодов божественных дел, ни славословия божественной справедливости (в чем и заключена одна из форм рая) не будут полными.

О, если ты не понимаешь еще духа наших догматов, если персть твоя еще трепещет их, да будет же тебе дозволено углубиться в них, потому что Господь создал тебя столь прилежной и настойчивой, как если бы ты была призвана стать подобной самым великим святым.

«Negligentiae mihi videtur, si non studemus quod credimus intelligere*», как весьма удачно выражается св. Ансельм. Но учись со смирением и главное – с чистым сердцем, если ты хочешь преуспеть в познании Бога: таким образом ты не утратишь того достоинства надежды, без которого даже смирение не имеет совершенной ценности... и вскоре, без сомнения, благодать раскроет тебе, что единственный путь понимания – это молитва.

Но не забывай того, что никогда ты не будешь чистым духом: даже твоя душа, твоя бессмертная душа, состоит прежде всего из материи, для того чтобы иметь возможность радоваться или страдать вечно, оставаясь различной от Господа. *Первоматерия*, говорит Ангел Учения, вопрос семьдесят пятый. И вспомни, что булла папы Климента V грозит отлучением всякому, кто дерзнет помыслить иное. И если вне духовного повиновения церкви твое понимание бунтует и мыслит искать Бога иными путями, увы! – для спасения твоего повтори себе это смущенное признание языческого ритора: «Такова тщета и бессилие человеческого разума, что не может постигнуть Бога, которому хотел стать подобным!» Умей же обуздать гордыню твоего самонадеянного разума. Как иначе искать залогов Божьих, если не в молитве? Вера не единственное ли свидетельство вещей невидимых? Никакое же иное, принесенное чувством или сознанием, не удовлет-

* Мне кажется нерадивым не стремиться понять то, во что верим *(лат.)*.

ворит, ты сама знаешь это, твоего духа. А тогда к чему искать?.. Верить не значит ли отдаться предмету своей веры и в нем осуществить самого себя? Утверждай так же, как ты сама утверждена: это самое разумное!.. И затем, молитвою приобретя чувство присутствия Божия, ты сохрани эту мудрость! Взмахом крыла ты достигла своей надежды. Когда ты не существовала, вчера еще, Господь глубоко верил в тебя, потому что вот ты здесь, целиком призванная из ничего творящей верой! Верни же ему эхо его призыва! Теперь твой черед поверить в него! Теперь твой черед его создать в себе, всем бытием твоей жизни! Ты здесь на земле вовсе не для того, чтобы искать доказательств, но для того, чтобы свидетельствовать, уравновесишь ли ты любовью и верой бремя спасения. (*Заупокойный звон.*)

Слушай же еще, пока колокол мертвых звучит над тобой. Если каждая из трех тайн, из трех сущностей божественных не казалась бы немыслимой и нелепой очам нашей персти и гордыни, какая бы заслуга была в нашей вере? И если бы они были возможны и разумны, приняла ли бы ты их как божественные, когда ты, прах, ты можешь измерить их своею мыслью? Если же они нелепы и невозможны, то они именно то, чем они должны быть, и, как учит Тертулиан, они нам прежде всего являют первое свидетельство своей истинности: их человеческая бессмысленность – единственная сверкающая черта, которая делает их доступными нашей логике одного дня, под условием веры. Очисти же навсегда свою душу от этого бельма гордыни, которая одна заслоняет ей созерцание Господа; перестань быть человечной, стань божественной. Мир смотрит на нас, как на безумцев, которые обольщены призраками до того, что свою жизнь жертвуют для детской грезы, ради тени какого-то выдуманного неба. Но кто из людей, когда наступит его час, не признает, что жизнь свою он расточил в горьких, никогда не осуществленных мечтах, в суетах, ею не удовлетворенных, в непрерывных разочарованиях, которые и не существовали в действительности, а только в его душе? А тогда с какого права мир будет смотреть на нас с высоты, если нам даже сознательно угодно предпочесть великую грезу о Боге смертельным лжам земли... Как? Сер-

дца наши пылают, ясность становится всё более глубокой и безмятежной. Небо, угаданное нами, проникает нас отныне блаженной любовью, молитва становится для нас видением, экзегетика – самым ключом очевидности, и дети века во имя горестного уныния, которое оставляют им обманные реальности чувства, смеют называть воображаемой нашу истинную радость! Прочь! (*Улыбаясь.*)

Иллюзия за иллюзию! А мы сохраним иллюзию Бога, которая одна дает своим верным слепцам и радость, и свет, и силу, и примирение. Никакая тварь, никакое бытие не уйдет от Веры. Человек одно верование предпочитает другому, и для того, кто сомневается даже в незаконченности своей мысли, сомнение, свободно им допускаемое в разуме своем, – опять-таки одна лишь из форм Веры, потому что в сущности оно так же таинственно, как наши таинства. Только сомневающийся остается со своей нерешительностью, которая становится пустым мигом его жизни. Он мыслит «анализировать», он копает могилу в своей душе и возвращается к небытию, которое отныне не может называться иначе, чем Адом, ибо уже всегда слишком поздно не быть. Наше бытие непреложно. (*Заупокойный звон.*)

Да, Вера покрывает нас! Вселенная только символ ее. Надо мыслить. Надо действовать. Мы не покоримся этому рабству: мыслить. Сомневаться – это значит тоже повиноваться ему. Нет действия, которое не было бы создано бессознательной мыслью! Нет мысли, которая не была бы слепа в своем довременном значении! Тогда, раз мы не можем стать ничем иным, чем нашею же мыслью, сочетавшеюся с оккультной плотью наших деяний, будем же думать и действовать так, чтобы Бог мог создаться в нас! И это прежде всего! Если мы хотим приобрести веру, иными словами, удостоиться поверить!

Все же метания, противные возвеличения нашей души в Боге, – потерянное время, которое лишь Спаситель один может искупить. Всё силится вокруг нас! Хлебное зерно, гниющее в земле и в ночи, видит ли оно солнце? Нет, но у него есть Вера. Поэтому оно растет смертью и через смерть к свету. Так

избранные семена всех вещей, исключая семян неверующих, в которых дремлет сомнение, его нечистоты и его соблазны, умирают целиком. Мы, мы пшеница Господня; мы чувствуем, что воскреснем в нем, кто есть, по вещему и великолепному слову одного теолога, местопребывание духа, точно так же, как пространство – тела. (*Заупокойный звон.*)

Верь в чаяние и молитву! и в сердце, полное любви! Таково наше учение! И если даже допустим невозможное, как предупреждает нас вселенский собор, ангел с небеси спустится, чтобы преподать нам иное, мы не поколеблемся, твердые и несокрушимые в вере нашей. (*Молчание.*)

Теперь, Ева-Сара Эммануила, княжна де Моперс, вспомните о власти слов, которыми клянутся перед наместниками Божьими, слов, по велению которых Слово становится плотью. Произнесите же свободно величайшие обеты, которые свяжут вашу душу.

Хор монахинь. Ecce inviolata soror calestis!*

Архидиакон (*продолжая и сменяясь с хором*). Ваша кровь, ваше существо и в этом и в ином мире...

Хор монахинь. Ecce conjux!**

Архидиакон. ...вашу надежду, единую и бесконечную.

Хор монахинь. Sacra esto!***

Архидиакон. Сара! Твое венчальное кольцо сияет на этом алтаре. Я люблю Бога – это значит «Бог меня любит», говорю я тебе!.. Люби же и «*делай затем, что ты хочешь*», – воскликнул св. Августин. Сара, слышишь ли ты эти, уже небесные, голоса, которые призывают тебя? Одно слово, и подыму десницу свою, чтобы разрешить тебя, и, навсегда посвященная свету, ты будешь связана на небеси! Тогда перед ликом Воскресшего заупокойное служение, внезапно преобразившись, станет литургией славы в облачении славы и празднества и заключится в радостной полунощи, несущей

* Вот чистая сестра небесная! *(лат.)*
** Вот невеста! *(лат.)*
*** Свята будь! *(лат.)*

благую весть! И лилию твоего отречения ангелы бросят в ясли Младенца. (*Похоронный колокол ударяет три раза подряд и замолкает.*)

Но... двадцать третий удар этого колокола, который числит годы умерших, напоминает мне, что я должен оставить тебя наедине с собственной твоей душой на последнее мгновение, которое тебе дано на размышление о решении безвозвратном. (*Передав епископский посох сосвященствующему, коленопреклоненному по правую от него руку, он подымается к престолу, чтобы взять Святые дары.*)

Сосвященствующий (*во время заупокойной обедни читает однообразным голосом текст св. Бернара для подготовления к Страшному суду*):

Attende, homo, quid fuisti antè ortum et quod eris usque ad occasum. Profecto fuit quod non eras. Posteà, de vili materiâ factus, in utero matris de sanguine menstruali nutritus, tunica tua fuit pellis secundina. Deindè in vilissimo panno involutus, progressus es ad nos – sic indutus et ornatus! Et non memor es quæ sit origo tua. Nihil est aliud homo quam sperma fœtidum, saccus stercorum, cibus vermium. Scientia, sapientia, ratio sine Deo Christo, sicunt nubes transeunt.

Post hominem vermis: post vermem fœtor et horror;
Sic in non hominem, vertitur omnis homo.

Cur carnem tuam adornas et impinguas, quam, post paucos dies, vermes devoraturi sunt in sepulchro, animam, verò, tuam non adornas, – quœ Deo et angelis ejus presentenda est in Cœlis!* (*Молчание.*)

* Внимай, человек, чем ты был до рождения, и чем ты будешь вплоть до самой смерти. Вначале тебя не существовало. Затем ты был сотворен из ничтожной материи, вскормлен месячной кровью матери, а покровом твоим была плева. После ты вышел к нам, запеленатый в дешевый лоскут, – так одетый и украшенный! И не помнишь ты, каково твое происхождение. Человек есть не что иное, как зловонное семя, вместилище нечистот, пища червей. Знание, мудрость, мысли без Христа Бога пролетают мимо, словно облака. После человека – червь, вслед за червем – зловоние и ужас. Так всякий человек превращается в *не*человека. К чему ты украшаешь и утучняешь свою плоть, которой через несколько дней в могиле суждено стать пищей червям, а душу свою, которой должно на небесах предстать перед Господом и ангелами, ты не украшаешь? *(лат.)*

С е с т р а А л о и з а и м о н а х и н и (*в унисон*).

Tuis autem fidelibus, vita mutatur, non tollitur! Et, dissolutâ terrestri domo, cœlestis domus comparatur!*

Звон долгого колокольчика. Сара открывает лицо, приподымается под канделябром и опирается на первую ступень алтаря. Опалы мистического ожерелья поблескивают между дымом ладана; дождь из лепестков лилий сыплется на ковер вокруг нее.

Она выпрямляется посреди кадильниц и свеч перед архидиаконом; теперь она стоит прямо, неподвижная, со скрещенными руками, с опущенными веками. На ее плечах сверкают золотые слезки погребальной мантии, длинные складки ее падают за ее спиной и тянутся по плитам.

§ 2. Отрекшаяся

А р х и д и а к о н (*спускается к ней с золотым гралем*). В эту великую ночь и для тебя тоже восходит она, звезда волхвов и пастухов! (*Он раскрывает св. Миро. Монахини склоняются на колени.*) Отвечай! Принимаешь ли ты Свет, Надежду и Жизнь?

С а р а (*голосом серьезным, очень внятным и очень мягким*). Нет.

А р х и д и а к о н (*роняет священную чашу на ступени алтаря, на котором св. Миро разливается*). Господи Боже! (*Он отступает, его рука конвульсивно сжимает золотую рукоять посоха; он опирается на него. Монахини поспешно удаляются, испуганные, задувая свечи, в беспорядке; молитвенники падают здесь и там. Шум сидений, внезапно покинутых. Все монахини, трепещущие, закрываясь в свои длинные покрывала, окружают настоятельницу, которая поднялась и смотрит на отрекшуюся. Оцепенение. Сестра Алоиза упала, как бы потеряв сознание, к ногам Сары. Корзины с цветами, еще курящиеся кадильницы разбросаны вокруг них.*)

С е с т р а Л а у д а ц и я (*сама с собою, творя крестное знамение*). Я понимаю теперь! Дурное знамение ночью:

* Жизнь верных тебе меняется, а не прекращается! Когда оставлен земной дом, обретается дом небесный! *(лат.)*

Божии светочи потухли... светочи безумных дев тоже потухли перед пришествием жениха!

Настоятельница (*бледнея и как бы задыхаясь*). Ночь ужаса! (*Бьет полночь. Перезвон радостных колоколов вдали.*)

Хор монахинь (*невидимый, вместе с органом, ликуя*).

Noël! Noël! Alleluia!
Hodiè contritum est pede virgines!
Caput serpentis antiqui!*

Настоятельница (*стуча посохом по плитам*). Прекратите! Прекратите пение!

Хор (*с органом, в то же самое время, покрывая ее голос*).

Noël! Alleluia! Noël!**

Монахини на хорах органа не видели того, что происходило перед алтарем, и хоры, под звон колоколов, ликуют славой Рождества. Кроме того, бездетные, эти избранные девы при вести о том, что младенец, царь Ангелов, рождается, чтобы умирить их мистическую жажду нежности, – что могут услышать они из того, что происходит на земле?.. Эти нежные души, навсегда девственные, больше не помнят о себе.

Хор (*с органом, под гул благовеста всех колоколов*).
Adeste fideles!
Laeti triumphantes!
Venite in Bethleem!***

Настоятельница (*с громким криком, в то время как песнопения продолжаются под возгласы «Аллилуйя!»*). Замолчите... О, это ужасно! (*Старик-священник убегает в ужасе из храма.*)

---

* Рождество! Рождество! Аллилуйя!
Сегодня попрана ногой девы
Голова древнего змия! *(лат.)*

** Рождество! Аллилуйя! Рождество!

*** Придите, верные,
Радуясь и ликуя!
Придите в Вифлеем! *(лат.)*

Хор (*ничего не слыша, в ликующем песнопении, под гул органа и колоколов*).

Natum videte regem Angelorum!
Deum infantem, pannis involutum!
Venite, adoremus Dominum!*

Сестра Лаудация бьет своим coirre в неистовстве; пение прекращается сразу; большие занавесы из саржи распахиваются, и видна пустынная церковь и в свете висячих ламп между колоннами – стулья, скамьи и запертый портал. В глубине, на освещенных органных хорах – сестры-певчие теперь безмолвствуют, ошеломленные.

Настоятельница (*крича вне себя*). Молчите! Молчите! (*Колокола, орган, песни смолкают.*)

Архидиакон (*с жутким вздохом*). Наконец!..

Настоятельница (*жестом ужаса, простирая свой крест к дверям хоров*). Бегите! Бегите, все мои дочери! Запритесь каждая в своей келье и там, распростершись в горячей молитве, молите о милосердии Божием. Сегодня ночью вам не будет всенощной. Сестра Каликста, сколько у нас в казне?

Сестра Каликста (*помолчав, считает*). Триста двадцать три золотых монеты, двадцать экю, да еще двенадцать су сегодняшнего сбора.

Настоятельница. Всё это вы отдадите завтра бедным.

Монастырские двери раскрываются, и монахини разбегаются и исчезают, как тени. Сестры-управительницы тоже покинули свои скамьи около органа, теперь лишь две или три темных фигуры, вероятно послушницы, уходят и проходят по пустынным хорам; они тушат свечи и закрывают нотные книги. Вскоре наступает тьма, и они удаляются тоже. Теперь уже все спустились в монастырь.

---

* Узрите родившегося Царя ангелов,
Бога-младенца в пеленах!
Придите, и да поклонимся Господу! *(лат.)*

Сцена VII

Сара, настоятельница, архидиакон, сестра Лаудация, сестра Алоиза.

Настоятельница (*спускается и приближается к архидиакону; после, стоя рядом с ним на ступенях алтаря, она продолжает голосом глухим и прерывающимся от страшного волнения, указывая на Сару*). Отец мой! Это поступок одержимой! Завтра же надо очистить церковь огнем! Я оставляю вас. Я леденею, я ошеломлена. Кощунство... О, кощунство столь велико, что лишь всеблагое Милосердие одно может омыть его. Всё, что вы ни прикажете относительно этой погибшей девушки, бывшей подруги нашей, будет исполнено. (*Сестра Лаудация, которая оставалась на коленях возле колонны, встает и вдруг подходит к Саре.*)

Сестра Лаудация (*яростно глядя на нее*). Зачумленная! (*Она подошла, чтобы ударить ее по лицу, но рука ее, уже приподнятая, вдруг останавливается, как бы таинственно парализованная. Сара даже не приподняла век, не вздрогнула.*)

Настоятельница. Сестра-привратница, не приближайтесь к этой несчастной и сдержите свое негодование в этом святом месте.

Сестра Лаудация (*про себя, задумчиво удаляясь через двери монастыря*). Какое неожиданное смущение удержало мою руку? Почему я не ударила ее?

Настоятельница (*очень тихо, архидиакону*). Помните главным образом о том, о чем я вас предупреждала: исследуйте глубину этого темного сердца. Тайна, мой отец, тайна! (*Она спускается и поднимает своими руками сестру Алоизу, которая приходит в себя.*)

Сестра Алоиза (*угасшим голосом, в то время как настоятельница уводит ее*). Прощай, прощай, Сара!

Настоятельница нетвердыми шагами довела ее до монастырской двери. Они выходят. Сестра Лаудация следует за ними, бросив последний зловещий взгляд на Сару. Потом слышен звук тяжелого замка, который запирается снаружи.

Сара и архидиакон остаются одни.

Сцена VIII

Архидиакон, Сара.

Архидиакон (*грозно*). Женщина малодушная! Ты устыдилась Того... кто устыдится тебя! Ты ужаснула души столь же чистые, как утренняя звезда. Ты презрела божественный гнев! Ты оскорбила Бога, который извел тебя из небытия и открыл тебе свое царство! Имя тебе Лазарь, и ты отказалась повиноваться вышнему слову, которое приказало тебе выйти из гроба. Ты не приняла места своего на пире, и это перед лицом моим, чей долг принудить тебя сесть за трапезу. Ибо точно так же, как законы образуют человека к исполнению долга, точно так же Господь, начало и конец каждого закона, всякой силы, может клонить и неволить чудесным образом все сознания и все свободы! (*Молчание.*)

Во имя твоего спасения, которого ради на горе, извечной тайной, он предал свой дух на кресте неотвратимом, в тебе хочу я видеть лишь жертву, околдованную князем адовым. На что надеешься? Что тебя освободят из монастыря? Нет, безумная, ты не выйдешь отсюда! Власть мирская укрыла бы теперь твое бегство, я знаю; но ты не выйдешь отсюда! Если в глубине твоего сердца кроется какая-нибудь одинокая тайна, подобно змее внутри скалы, забудь ее, ибо она останется бесплодна: она тебе будет бесполезна, потому что ты нищая, ты отреклась от своих богатств во имя веры, как бы повинуясь последней воле божественного откровения и благодати!

Нет, ты не пойдешь по большим дорогам, как бродяга, чтобы, подобно остальным людям, развеять по ветру то малое, что осталось тебе от твоей души! Это мы, слышишь ты, отвечаем за эту душу! Не мыслишь ли ты себя свободной перед нами, которые научили людей распоряжаться их силой и которые одни знаем, в чем сущность Права? Чем была женщина здесь на земле до христиан? Она была рабой... Мы сняли с нее узы, мы освободили ее, и ты посмеешь произнести перед нами слово «Свобода», как будто мы не сама Свобода! Слушай и взвесь мои слова: наша Справедливость и наше Право не зависят от законов человечества. Это мы

для их спасения, в сознании их, братоубийственном в самой своей сущности, основали и зажгли эти правящие идеи. Они забыли это, я знаю, но не говорят ли они ныне, как они говорили при Вавилонском столпотворении, не в состоянии согласиться одни с другими относительно искаженного смысла слова; эта кара за древнюю их гордыню. Наше преобладание на земле – единственная санкция для какого бы то ни было закона. Ничто не может нас проверить, потому что следствие не может усомниться в своей причине или начать исследовать ее под страхом потерять уверенность в собственном бытии; и всякий человек, раб или царь, может упрекать нас за нашу пищу лишь куском нашего собственного хлеба во рту. Мы – власть; нам она передана от Бога, и мы сохраним ее в наших глубоких руках до совершения времен. И это вопреки угрозам грядущего, вопреки иллюзиям науки и всем нечистым испарениям человеческого мозга, да исполнится слово Писания: Stat Crux dùm volvitur orbis*. Пусть бьют нас, пусть оставляют, пусть забудут, пусть нас ненавидят, презирают, пусть нас мучат и убивают, что ж из этого! Всё это суета! Бесплодный мятеж! Сильные нашим сознанием, на веки веков твердым и незыблемым, мы будем теми, кого св. Амвросий именует «Candidatus martyrum exercitus»!**

Наконец (и это то, что важно в этот ужасный час) в наших руках то Право, в троичную сущность которого верит каждый: так Сын рождается от Отца, и Дух Святой исходит от Отца и Сына! И нет иной первичной мысли ни на земле, ни на небеси.

Вследствие этого, Сара, так как чудом дана мне власть действовать в этом случае путем неуклонным и спасительным, я, во имя Господа, вооружаюсь силой против тебя, чтобы тебя спасти от твоей отвратительной природы. Ты вернешься в темницу! Ты будешь поститься там до тех пор, пока твоя жалкая плоть, которая мятежится, не будет укрощена. Твоя красота – это от ада, который подымается; волосы искушают себя! Взгляд твой – молнии соблазна! Всё это должно

---

* Стоит крест, пока вращается мир *(лат.)*.

** Пресветлое мученическое воинство *(лат.)*.

угаснуть и испепелиться; ибо это призрак внешнего мрака, в котором всё преображается и стирается... могильного беру в свидетели червя. Такой, как ты сейчас, ты не увидишь себя больше или умрешь. Ты думаешь, что Магдалина не была настолько же прекрасна? Знай же, с той минуты, как она познала себя, просветленная взглядом Господа, святая грешница на всю жизнь сохранила трепет ужаса. Молись, как молилась она, чтобы получить то, что озаряет нас! Пусть она будет твоим образцом до последнего вздоха! И ты будешь нашей сестрой, нашей святой, нашим ребенком! (*Молчание.*)

Настанет день, быть может, если раскаяние твое будет искренно, когда ты вернешься в наш круг. Сомневаюсь, но мой долг надеяться... ибо божественная милость и любовь беспредельны. До тех пор мы будем о тебе молиться, день и ночь, постясь в смущении и слезах!.. И я сам, произнося заклинательные слова, облачусь во власяницу в вашу честь. (*Он опускается. Непостижимая Сара ни разу не вздрогнула, не подняла глаз.*)

Но вот – неожиданная мысль, которой само небо осенило меня! Под этой плитою покоится святая основательница этого древнего аббатства, блаженная Аполлодора. Этот склеп, это соседство с чудотворными мощами – то in-pace*, которое вам подобает! Здесь Преблагая будет вашей заступницей, рядом с вами и во время бодрствования, и во время сна, освящая ваш хлеб и вашу воду, если вы будете жить в память ее! (*Наконечником своего тяжелого посоха он отодвигает затворы широкого могильного камня, после продевает его в кольцо. Камень, уступая усилиям священнослужителя, приподымается. Видны широкие землистые ступени могильного подвала: большая плита остается открытой, поднятая на своих петлях.*) Эта дверь ...janua... через которую я имею право принудить вас вступить в жизнь; ибо, как проникновенно сказал св. Игнатий Лойола, «цель оправдывает средства», и написано: «Принудьте их войти»... Приблизьтесь, дочь моя! дочь моя возлюбленная! Спуститесь сюда! Будьте счастливы! Милостыни, которую вы сотворили нам, вы обязаны,

* [Да покоится] в мире *(лат.)*.

без сомнения, этой последней милостью; воспользуйтесь же ею. Благословите же свое испытание, да будет оно достаточно для вас, и в свой черед... (*Смиренно склоняется перед нею.*) Помолитесь за меня!

Сара наконец подымает глаза на священника. Он смотрит на гробницу, которая раскрывается перед нею. Молча, с чертами лица, не выдающими никакого ее впечатления, она направляется к колонне. Она берет среди ex-voto, пожертвованных благодарными моряками, старую двуострую секиру-гизарм, после возвращается, по-прежнему медленная и бесстрастная. Подойдя к разверстому отверстию, она протягивает палец по направлению к провалу и делает широкий властный жест старому священнику, приказывающий ему самому спуститься в гробницу.

Ошеломленный архидиакон отступает. Сара наступает на него, на этот раз высоко подняв сверкающий топор! Старик смотрит вокруг себя, после смотрит на нее. Он видит, что он один: если только он раскроет рот, страшное оружие, зажатое в юной руке, спокойной и мятежной, обрушится на него, как гром. Он улыбается с выражением горького сострадания, печально пожимает плечами, и, как бы для того чтобы спасти ее от преступления еще более ужасного, он повинуется под холодным взглядом Сары. Он осеняет себя широким знамением креста и спускается по ступеням, которые он нащупывает своим посохом и метет своей длинной черной мантией; постепенно голова его в золотой митре опускается вниз и исчезает.

Голос архидиакона (*под могильным сводом*). In te, Domine, speravi: non confundar in æternum*.

Сцена IX

Сара одна.

Сара бросает топор. Одним движением опускает камень и равнодушно, концом ноги, задвигает затворы.

Сделавши это, она приближается к окну и дергает за веревку рамы; окно широко распахивается с шумом. Клуб снега и ночной ветер врываются в церковь и тушат свечи.

Тогда Сара в темноте разрывает погребальный покров, крепко связывает одну половину с другой. Потом, набросив страннический плащ на свои праздничные одежды и встав на аббатское

---

* На тебя, Господи, уповаю: да не постыжусь вовек (*лат.*; Пс. 70).

кресло, гибким и сильным порывом хватается за один из железных переплетов, хватает его рукой и одним прыжком выпрямляется на краю окна.

Потом она проскальзывает между решеток на внешний карниз и смотрит оттуда вниз, в пространство, в даль, в бесконечность. Снаружи глядит ночь, жуткая, темная, беззвездная. Ветер гудит и завывает. Падает снег.

Сара оборачивается, прикрепляет к решетке разорванное и скрученное покрывало, пробует узел, закрывает голову серым капюшоном плаща, потом наклоняется, уменьшается и исчезает снаружи, в дождливой и холодной ночи, безмолвно.

Вторая часть

Мир трагический

...quia nominor leo.
*Phedre**

§ 1. Хранители царственной тайны

Высокая зала с дубовым потолком, с него, посреди скрещивающихся балок, спускается железная люстра. В глубине огромная главная дверь ведет в сени, над ней гербовый щит Ауерспергов, поддерживаемый его большими золотыми сфинксами. Налево готическое окно, и сквозь него видны на горизонте нескончаемые дремучие леса. Направо, в стене, каменная лестница, наверху ее сводчатая дверь в одну из башен. Уже глубокие сумерки.

Зала так глубока, что дает впечатление колоссальных построек начала средних веков. Направо очаг, в нем разведен большой огонь, освещающий сцену. Под широким навесом стоят фолианты. На широких, близко стоящих друг от друга станках из черного дерева высятся кубы, звездные сферы, античные глиняные лампы, огромные остовы исчезнувших животных, сухие травы.

На стенах старинные военные трофеи, восточные хоругви, старые портреты владельцев замка и высоких баронов Германии. А между доспехами сарацин огромные коршуны и бурые орлы пригвождены с распростертыми крыльями.

На втором плане, налево и направо – двери, их скрывают расшитые завесы.

* ...Потому что я зовусь львом. Федр *(лат.)*.

Посредине залы стол приготовлен для ужина. По обеим сторонам стола стоят друг против друга два старинных кресла, а у подножия их брошены шкуры лисиц и черных медведей.

Около очага сидит старик большого роста и рассматривает оружие, которое он только что окончил чистить, он одет в камзол из коричневой шерсти, стянутый кожаным поясом, и старые кавалерийские рейтузы той же материи и оттенка, что и камзол. Его коротко остриженную седую голову покрывает прусский берет, на его груди орден Железного креста.

Сцена I

М и к л а у с (*один*). Так! Карабины, охотничьи ножи... всё блестит, фляга полна киршем: горе волкам! (*Он встает и оглядывается.*) Вечер настал. (*Идет к окну и смотрит вдаль.*) Как задувает там в соснах! Вереск гнется, и не видно летучих мышей, это к урагану. Надо прикрыть оконце, запах деревьев, он полезен нам днем и вреден ночью, особенно при наступлении весны.

Сцена II

М и к л а у с; Г а р т в и г и Г о т т х о л ь д (*входят слева*).

Два старика такого же сложения, как и Миклаус, довольно благородного вида, одетые по-военному; у обоих тоже ордена Железного креста.

Г о т т х о л ь д. Миклаус, пора зажигать факелы для ужина.

М и к л а у с (*спускаясь и потирая руки*). И огонь, потому что чувствуются последние холодные ветра. (*Он подходит к очагу и оправляет огонь.*) А доктор не спустится к ужину?

Г а р т в и г (*вздрагивая*). Нет; брр, не жалей лоз, нужно, чтобы всё пылало; столько сырости от этих камней. Мне кажется, что в том крыле замка не так неуютно, здесь можно замерзнуть; и странно, на дворе сыро, и ночью тяжело дышать; старая примета большой бури.

Г о т т х о л ь д (*осматриваясь*). Ветер сюда проникает через плющи, покрывающие гранит; да, эта комната леденит.

М и к л а у с (*подкладывая в огонь огромные полена*). Оттого эту комнату и посещают лишь в торжественные дни. Только доктор Янус сюда сходит иногда. (*Готтхольд зажигает канделябры, Миклаус следит за отблесками на стенах, на резьбе, на потемневших хоругвях И вспыхивающие при огне длинные шпаги, широкое сабли, кинжалы, глаза хищных птиц, углы рам, аркебузы, карабины бросают отблески, оживляющие старые портреты.*) Какое запустение! Посмотри-ка на картины. Суровые черты рейнских графов, гордые лбы предков его светлости господина Акселя стерлись; узоров на коврах почти не различить.

Г а р т в и г. А эти стальные доспехи, инкрустированные золотом, добытые во время первого крестового похода князем Эльциасом Ауерспергом, германским рыцарем, от сарацинского эмира Сахариля 1-го, они все съедены ржавчиной, а древко копья источилось под плесенью.

М и к л а у с (*серьезно*). Мне не хочется их чистить, здесь заклятое место. (*Три ветерана теперь стоят около белой скатерти и подсвечников, освещенные на неясном фоне теней, падающих со сводов зала. Их лица энергичны и озабочены, их преклонный возраст и монотонная жизнь в замке не угасили еще силу взгляда. Огромный шрам перерезывает сверху донизу лицо Готтхольда. Левый рукав Гартвига пуст до плеча и пришит к груди; на правой стороне лба Миклауса след от пули. И вокруг них в зале царит необычайная торжественность, и они подчинены этому настроению, не сознавая того; оно делает более значительными их слова и их молчание.*)

Г о т т х о л ь д (*Миклаусу*). Ты знаешь, что командор покидает нас? Отто, его слуга, уехал уже с сундуками своего господина, а отсюда до границы Пруссии далеко.

М и к л а у с. Как! Этот блестящий вельможа уезжает, даже не повидав доктора Януса?

Г о т т х о л ь д. Да, в эту ночь. Это прощальный ужин. Поставь-ка эти хорошенькие букеты из розмарина, ветвей

вербены, лесных роз и мяты между канделябров; цветы всегда придают праздничный вид. Тоже эту корзину с плодами; это самые лучшие, они были тронуты птицами, наш гость в этом знаток.

Г а р т в и г (*почти про себя*). Странный гость, который ничего не хочет видеть!

Г о т т х о л ь д (*недоверчиво*). Гм! и который видит всё.

Г а р т в и г (*смотря на него*). Да, это верно, ты тоже, ты...

Г о т т х о л ь д (*напевая*).

Глаз черный, волос красный –
Человек опасный.

М и к л а у с (*смотря на них*). У вас вид, у Гартвига и у тебя, словно вы в восторге оттого, что он уезжает.

Г о т т х о л ь д (*равнодушно*). Одним человеком меньше.

Г а р т в и г (*ворчливо*). Человек бледный, человек вредный.

Г о т т х о л ь д. А наш тускл, как серебро. Он масти Иуды.

Г а р т в и г (*через минуту, Готтхольду*). Такая лисица не даст хорошего меха, говорили у нас студенты в Гейдельберге... когда-то...

(*Все трое садятся около огня, теперь яркого и пылающего.*)

М и к л а у с. Но наш молодой хозяин, который доволен своим обществом, ведь это же его родственник. Покойный граф Ауерсперг его представил когда-то королю.

Г о т т х о л ь д (*мешая уголья*). Да, отец его вывел в люди, а он целых двадцать лет и не подумал о сыне. Нужно было это дело о наследстве, о доходах, чтобы он вспомнил там, при прусском дворе, о своем двоюродном брате, графе Акселе Ауерсперге, старшем главной ветви рода, живущем одиноко, со старыми слугами, в полуразвалившемся замке, затерянном в бесконечном Шварцвальде. Сумел же он тогда найти и провожатых, и спать в хижинах, и ехать столько

дней верхом но неезженым дорогам, по лесным прогалинам, по горным тропинкам.

Г а р т в и г (*озабоченно*). Вы правы, Готтхольд; этот человек нам не друг. Я всё вспоминаю его приезд на прошлой неделе; это был канун Вербного воскресенья, что ли? Когда господин Захария провел его через пустынные залы замка, и он, весь в орденах и крестах, очутился перед молодым графом, и вместо открытых объятий он стоял несколько минут как вкопанный. А нас, старых бородачей, в заржавленных доспехах, солдат прежних войн, теперь обреченных на изгнание, он совсем не узнал, а думается мне, что мы получили наш Железный крест более почетно, чем он свои ленты (без оскорблений); он нас даже не узнал.

Г о т т х о л ь д (*задумчиво*). Граф в этом трауре, который так идет к его могучему сложению, поднялся и приветствовал его с серьезной простотой; у него был вид молодого льва, породистость которого отражается в его глазах. Я был горд этим в ту минуту, как в тот день, когда я имел честь в первый раз вложить в его руку рапиру. И я смею думать, что теперь у графа одна из самых опасных шпаг в Германии, если и не самая грозная.

Г а р т в и г (*поднимая голову и улыбаясь*). Укко был не хуже этого царедворца в тот момент. Ловкий дьяволенок. Помню я, в одной руке он держал смычок от трех свирепых борзых, они заворчали при виде незнакомца, а он, улыбаясь, поклонился. И тихо спросил хозяина, не хотел ли бы тот спустить их на нежданного родственника.

Г о т т х о л ь д. Ха, ха, ха, шутник!

Г а р т в и г. Это остроумие прежних замков, это паж доброго старого замка. Это упорный и поражающий ум. Он точно длинная молния.

Г о т т х о л ь д. Он легок, как тень.

М и к л а у с (*со старческой гримасой*). Маленький противный чаровник, который мне устраивает слишком много шуток.

Г о т т х о л ь д (*улыбаясь*). Добрый Миклаус. Что же, обогреем наши последние мечты его молодостью, так же как

мы греем у этого огня наши седые бороды. Пусть он забавляется, – даже с нами. Его лукавая усмешка оживляет нас, а вид у него добрый.

М и к л а у с. Ну, ну, ладно. (*Мешая уголья.*) Но вернемся к начатому разговору; вы меня удивляете оба, думая, что граф не любит своего родственника. С первого же обеда он приказал достать фамильное серебро и исследовать лучшие соки винного погреба.

Г о т т х о л ь д. Что же это доказывает? Граф исполнил лишь долг гостеприимства, вот и всё.

М и к л а у с. Однако господин Захария...

Г а р т в и г (*оборачиваясь к нему*). В самом деле, что говорит об этом старый интендант? Это пролаза, финансист, достойный тех времен, когда каждый сеньор имел своего золотых дел мастера. Я не думаю, чтобы командор Каспар от него скрыл свои расчеты на наследство.

М и к л а у с. Конечно. Господин Захария его очень высоко ставит.

Г а р т в и г (*с удивлением Готтхольду*). У него ум слабеет, что ли?

Г о т т х о л ь д (*задумчиво*). Слова Миклауса не убеждают меня: я замечаю, как со времени приезда командора господин Захария озабочен, мрачен, молчалив; я не знаю... он не находит себе места, он беспокоен.

Г а р т в и г. Что-то есть у него на душе.

Г о т т х о л ь д (*тише*). И потом, он знает вековые тайны этого дома, не считая... той страшной...

М и к л а у с и Г а р т в и г (*вместе*). Тише, тише... Готтхольд. (*И все трое оглядываются с таинственным беспокойством. Готтхольд вздрагивает и ударяет своим окованным железом сапогом по красноватым головням. И они внезапно бросают в залу сноп искр и света.*)

М и к л а у с (*через минуту возвращаясь к разговору*). А я скажу в заключение, что граф Аксель не скучает с своим гостем. Ведь он с ним за одним ужином выпивает больше вина, чем раньше в двенадцать обедов; он начинает входить во вкус, чему я очень радуюсь.

Готтхольд (*поднимая голову*). Добрый Миклаус, ты должен бы был лучше знать нашего молодого господина.

Гартвиг. Он воздержан до того, что иногда постится целыми днями.

Готтхольд. Он отдаляется от всех утех своего возраста, он отдает свои лучшие годы на думы – там, в башне, столькими ночами, при свете рабочих ламп, склонясь вместе с доктором над старыми манускриптами.

Гартвиг (*Миклаусу*). Разве ты не понимаешь, что он предлагает тосты лишь из вежливости? И он прав, потому что хозяин замка должен оказывать почет своему гостю.

Миклаус. Ну, ну, как хотите. А по-моему, всю эту неделю он развлекается. А все эти охотничьи поездки с командором...

Гартвиг. Оставь... это лишь средство, чтобы быть одному, разве ты забыл, как он любит молчание; если он берет иногда как товарища Укко, то ведь этот мальчик около него становится нем, как его тень, и потом граф знает, как любит его бдительный этот сторож с соколиными глазами. А со всяким другим он пускает галопом своего жеребца Wunder и через минуту уже теряется из виду среди кустов и оврагов; Гунтер и Иов, менее старые стрелки, уже давно отказались следовать за ним, и командор Ауерсперг почти всегда возвращается в замок через полчаса после отъезда.

Миклаус (*задумчиво*). Да? А, так это меняет дело, я думал, что его кузен немного помешал ему эти дни в этих опасных травлях его по лесу.

Гартвиг (*улыбаясь*). Аксель не нуждается ни в чьей помощи для охоты на кабанов, медведей или орлов. (*Указывая на стены.*) Посмотри. Опасности? Клянусь св. Вильгельмом! Ты знаешь, что наш юный господин так силен, что одним движением руки он душит волков, не удостаивая вынуть свой охотничий нож. (*Тише.*) А что касается того, что угрожает ему издалека, двадцать тысяч лесничих Шварцвальда, рудокопы, дровосеки, резчики, старые солдаты, все! Все ему преданы больше, чем королю!

Миклаус (*размышляя*). Действительно, действительно, вы, может быть, правы. Все-таки странно, что он не

попросил доктора Януса хоть ненадолго оставить свои работы, чтобы немного познакомиться с гостем.

Готтхольд (*помолчав*). Доктору не надо видеть людей, чтобы знать их.

Миклаус (*смотря на него*). Э?

Готтхольд. Он видит их, он угадывает их в голосах тех, которые ему о них говорят.

Гартвиг (*смеясь, кладет руку на плечо Готтхольда*). Ну, Готтхольд, ведь доктор Янус все-таки не колдун?

Готтхольд (*значительно*). Разумеется. Если доктор не пришел, значит, командор, в сущности, безразличен и стоит очень мало. (*Молчание.*) Кстати... ты не замечаешь, Гартвиг, что мастер Янус не стареется. А он здесь уже много лет.

Гартвиг. Да, это так. (*Смеясь.*) Придется поверить, что звезды мешают стареться. (*Молчание; лишь огонь трещит в высокой зале.*)

Готтхольд (*странным тоном*). Я нахожу, что его глаза не похожи на глаза людей нашего века.

Гартвиг (*с принужденным смехом*). Теперь этот добряк Готтхольд хочет нас напугать.

Миклаус (*понижая голос, конфиденциально*). Что-то есть в этом мастере Янусе, что удерживает хорошее к нему чувство. Его манера делать добро леденит тех, кому он его делает. Готтхольд, ведь он часто нас лечил, и нас, и крестьян с опушек Шварцвальда, и все-таки ничего, с ним не чувствуешь себя хорошо. Вот уже двенадцать лет, как я ему прислуживаю, и, странно, я не могу даже привыкнуть, даже поверить в то, что он меня видит.

Гартвиг (*задумчив и тоже тихим голосом*). А мы разве хорошо видели его? Когда он появляется, то ему изумляешься, словно видишь его в первый раз. В тех редких случаях, когда он говорит, его слова, с виду простые, точно отражение двух зеркал; в них можно потеряться до бесконечности. Знаешь, если мы хотим сохранить немного здравого смысла до смерти, то лучше поменьше рассуждать о докторе.

Готтхольд (*так же значительно*). Этот человек непостижим. Впечатление от него остается в голове, несмот-

ря на все мелкие случаи жизни. Когда он приехал верхом, один, в самый день ожидаемой кончины графа Герарда Ауерсперга, в конце войны этого таинственного Наполеона, были утренние сумерки. Тогда ему показали завещание, которым граф (он, кажется, познакомился с доктором сам в походах) на него возлагал воспитание сына, я наблюдал его. Он точно уже знал и о смерти, и о последней воле. (*Уже несколько минут, как погода изменилась и порывы ветра предвещают приближение бури. Бьет пять часов.*)

Гартвиг. Слушай. Вот час, когда наша прекрасная, уважаемая госпожа Лизвия Ауерсперг, подобная владетельницам замка прежних времен, спускалась, задумчивая, всегда серьезная, в часовню к органу, тому двадцать лет назад.

Готтхольд (*Миклаусу*). Ты знаешь поворот большой галереи, куда по вечерам солнце бросает последние лучи? Она стояла там часто, целые часы, облокотившись, бледная, в траурном платье, словно ангел, держа на коленях свой молитвенник с эмалевыми застежками.

Миклаус, Готтхольд и Гартвиг (*вставая и обнажая головы*). Да покоятся с миром души умерших этого дома! (*Все садятся, молчание. За стеной шумит дождь.*)

Гартвиг. Ну, подбрось еловых шишек в огонь, и оставим прошлое. Годы – это порывы ветра, а мы – листья, ими уносимые.

Готтхольд. Всё равно. Когда Аксель Ауерсперг в какой-нибудь торжественный момент прервет это молчание, это прозвучит глухим ударом.

Миклаус (*качая головой*). От больших ветров хлопают большие двери.

Готтхольд (*почти самому себе*). Ах, потому-то он всегда по своей природе должен был стать... сверхчеловечным. (*Удары грома. Свет молнии. Дальний шум леса.*)

Миклаус (*поднимаясь и идя к окну*). Но что за погода. Небо изменилось во время наших воспоминаний. Буря на горах. К счастью, замковая башня еще прочна.

Г о т т х о л ь д (*стоя и глядя вдаль*). Да, горизонт озаряется молниями. Посмотрите на ели, они изнутри освещаются огнем. (*Они слушают бурю.*)

Г а р т в и г. Отсюда слышен треск веток. Какая буря! Хорошо еще, что пушки хорошо прикрыты и спрятаны в бойницах.

М и к л а у с. Как ветер хлещет наши старые крыши! И всё сильнее. В эту ночь не будет луны. Проклятое время. Конечно, командор не решится уехать сегодня.

Г о т т х о л ь д (*беспокойно*). Дождь почти проникает через плющ. А граф еще не вернулся с охоты. Хорошо, если он взял свой кожаный камзол. (*Лиловато-голубой свет освещает всю залу.*)

М и к л а у с. Сейчас будет удар!

Г о т т х о л ь д. Какая печальная и отвратительная молния, это правда.

М и к л а у с. Точно отверзлось око адово.

Г а р т в и г (*после глухого раската грома*). И это накануне Пасхи!

Сцена III

Те же и У к к о.

Укко выходит слева, запыхавшись; охотничий рог на плече, одежда из черного сукна, с широким кожаным, скрепленным жезлом поясом, с двумя орлиными перьями на меховом берете, с охотничьим копьем в руке.

У к к о. Добрый вечер, предки! (*Он ставит копье в угол и приближается.*)

Г а р т в и г, М и к л а у с и Г о т т х о л ь д (*оборачиваясь*). Укко!

У к к о (*весело*). Вы все трое мечтаете о прекрасных временах года.

Г о т т х о л ь д. Ты ушел с охоты; где ты оставил графа?

У к к о. В яме, за три мили отсюда, смотрящим на приближение грозы.

Г а р т в и г. Ну, а за день?

У к к о. Большая рысь, волчица с выводком, две лисицы и коршун. Коршун летал в громе, в черных тучах, когда пуля графа догнала его. А я убил двух лисиц. Но... дело идет о другом... и я хочу...

М и к л а у с. Выпей стакан рейнского и иди греться, гадкий гном.

У к к о (*пьет*). Спасибо. Мне не холодно. Мне нужно сказать...

Г а р т в и г (*трогая его за рукав*). Как! Ничего внизу? Он забыл надеть камзол. Он вымок, как трава!

У к к о. Это ничего. Знаете...

М и к л а у с. Вот сядь здесь: ты заболеешь, грейся...

У к к о. Я же говорю, не обращайте на это внимания... Представьте... себе...

Г а р т в и г (*озабоченно*). Что-нибудь случилось с графом?

У к к о. Нет, потому что я здесь. Если б вы знали...

М и к л а у с (*Готтхольду*). Я нахожу, что этот ребенок очень изменился со вчерашнего дня. Ты бледен, Укко? (*Укко смотрит на них, скрестив руки*).

Г а р т в и г. Говори скорее, ты нас беспокоишь.

У к к о (*топает с нетерпением ногой*). Черт возьми!

Г а р т в и г и М и к л а у с (*Готтхольду, молча сидящему у очага*). Помоги, Готтхольд. (*Укко.*) Мы тебя слушаем, Укко.

У к к о (*начиная рассказ*). Вчера вечером...

М и к л а у с (*вполголоса*). Слышите, какие удары грома, а?

У к к о (*вне себя*). А, вы не желаете меня слушать, в конце концов. Хорошо же! Я уйду. Вечные болтуны, других таких свет не производил...

Г о т т х о л ь д. Тише. Слово за детьми.

У к к о (*тем же тоном*). Да, вам всем троим почти триста лет, вы слушали столько ураганов, гроз, бурь, ужасных сражений, и вы обращаете внимание на какой-то дрянной вихрь именно тогда, когда я хочу рассказывать.

Г о т т х о л ь д. Ну, ну, буйная головушка!

Г а р т в и г. Потише!

У к к о (*так же*). А я, мне только семнадцать лет, я хоть бы позаботился обо всех этих молниях, ветрах, дожде и землетрясениях!

М и к л а у с. Хорошо. Расскажи же нам всё по порядку.

У к к о. Нет, я лучше уйду. Вы ничего не узнаете. Вот.

Г о т т х о л ь д. Будешь ли ты говорить, чертенок! Что произошло?

У к к о. Миклаус и Гартвиг не дадут мне говорить, и потом... Нет... вы меня не любите...

Г а р т в и г (*улыбаясь*). Злой дьяволенок.

У к к о. Вам неинтересно, что происходит со мной.

М и к л а у с. Скажи же нам наконец.

У к к о. Прощайте. (*Он делает несколько шагов к выходу; трое стариков схватывают его и приводят, полушутя, полусердясь. Тогда, стоя среди цветов стола, при свете канделябр, очага и лиловатых молний, он рассказывает, весь черный и сияющий, и трое слуг сидят вокруг него и слушают с любопытством. Он говорит, улыбаясь, как бы грезя, словно вдали, в шуме грозы, ему аккомпанируют арфы.*) Вчера в лесу при первой звезде я встретил маленькую фею, о, более прекрасную, чем все феи Гартца, молодую девушку. Она пела голосом, свежим, как журчанье ручьев, и шла под елями с маленькой корзинкой, наполненной вишнями. Свои две черные косы, лежащие на спине до талии, затянутой в черный бархатный корсаж, она убрала белыми буквицами. Время от времени она ласкала радостно прыгающую около нее большую, совсем белую собаку. Как она была хороша, глаза ее были нежны, как вечер.

М и к л а у с (*улыбаясь*). А, а, уже, молодой Укко... (*Готтхольд закрывает ему рот рукой.*)

У к к о. Я следил за ней несколько времени, прячась в густом кустарнике. Наконец я раздвинул терновник и пошел к ней. Лишь наши взгляды встретились, мы обменялись дружеской улыбкой. А мы никогда не видели друг друга. Мы пожали руки, не думая. Ее белый товарищ внимательно посмотрел на меня. Словно узнал меня. А минуту спустя он и

Хольф, моя борзая, были уже старыми друзьями. Молча я и она, рядом, прошли по дороге, ведущей к ручью, туда, где начинаются дубы. Там домик ее отца, Ганса Глюка, лесничего. Я вошел. Он поднял глаза; потом, посмотрев на меня, протянул руку и принял меня у своего очага. Луиза поставила два стакана на белую скатерть. Как она хорошо умеет приготовлять этот чудный, прозрачный кирш. Во время разговора она наливала его нам своей маленькой ручкой. Уже была ночь, когда она прощалась со мной на пороге, и я надел ей на палец семейное, завещанное мне кольцо. Молча она поцеловала меня в лоб, и две светлые слезы упали с ее ресниц на мои веки. Я убежал. Я задыхался. Хольф лаял и тащил меня назад к домику. А, Луиза Глюк! Он был с неба, и он был огненный, ее поцелуй. У меня в душе такое желание ее, что я не могу дышать, так я влюблен, так я люблю ее. Мы повенчаемся осенью, самое позднее; я... счастлив. Но если кто-нибудь из вас посмеет умереть до моей свадьбы, о, как я рассержусь!

Г о т т х о л ь д. Я буду твоим шафером, Укко!

У к к о (*смеясь и дергая длинную бороду Готтхольда*). Спасибо, спасибо, тысячу раз. (*Указывая на Миклауса и Гартвига.*) Вот несколько посаженых отцов.

Г а р т в и г. Как, но я помню, как она родилась позавчера, твоя маленькая Луиза...

У к к о (*задумчиво глядя на него*). Позавчера. Это верно. Но для обыкновенных людей это было шестнадцать лет тому назад.

Г а р т в и г (*вполголоса*). Уже!

У к к о. Один говорит «уже», другой – «наконец». Я начинаю думать, что это одно и то же слово.

М и к л а у с. Я нахожу странным, что Глюк, храбрый саксонский солдат, отдает свою дочь тебе, мой друг.

У к к о (*кладя руку ему на плечо*). Ты счастлив, что можешь находить хоть что-нибудь странным, в твои годы.

Г а р т в и г. Миклаус прав на этот раз. Ты красив, но ты – тень.

У к к о. Мой добрый Гартвиг, разве ты не страдаешь от тени твоей левой руки, когда погода меняется?

Г а р т в и г. Да, но почему, сынок?

Укко. Это спроси у пули, которая ее оторвала у тебя при Лутцене. Я хотел лишь тебе доказать, что тень кое-что значит.

Готтхольд. Ребенок прав тем, что счастлив, чем раньше, тем лучше. А вы наводите тоску. Но, внимание, я слышу шаги...

Миклаус. Да, в галерее рыцарей.

Гартвиг. Это, верно, наш гость. Еще дров в огонь, Миклаус.

Укко. А так как трудно выражать почтительную радость при виде его, поклон — и оставим его.

Готтхольд. Это действительно он.

Укко (*всем троим, таинственно*). Слушайте, будущий дедушка ваших крестников подарил мне сегодня утром кувшин розового кирша, лучше королевского. Друзья, я приглашаю вас попробовать его со мной в ружейной зале. Там мы будем у себя. Поджидая господина нашего доброго Акселя, рыцаря лесов, князя гор, повелителя потоков, я хочу пить с вами здоровье Луизы Глюк, моей невесты!

Миклаус, Гартвиг и Готтхольд (*приложив палец к губам*). Тсс...

Справа входит командор Ауерсперг. Вид вельможи. Около 40 лет. Дорожное платье черного сукна, с короткой пелериной. Высок. Элегантен. На груди много орденов.

Сцена IV

Те же. Командор Каспар Ауерсперг.

Командор (*глядя на них, самому себе*). Нет. Не эти. Это камни, а ребенок продаст душу за господина. Нужно другого, майордома, господина Захарию.

Укко. Если командор фон Ауерсперг желает здесь ожидать графа, вот капское вино, табак, огонь и книги.

Командор. Граф скоро вернется?

Укко. Самое позднее через час.

Укко и три старых солдата кланяются и уходят. Уже несколько минут, как ураган утих. Удары грома вдали и с большими перерывами; дождь почти перестал, но все-таки сквозь окна небо мрачно и покрыто тучами.

Сцена V

Командор Каспар Ауерсперг (один).

Командор. Великолепные старики! Это напоминает хорошее поле сражения, крепкую зиму и прекрасную смерть. (*Оглядывается.*) Что за совиное гнездо! Он сказал: «книги». Древняя история, конечно! Посмотрим. (*Открывает один фолиант.*) Вино еще сносно. Оно почти так же старо, как и те, которые разлили его по бутылкам, но его крепость перенесла, не слабея, этот возраст. (*Читая.*) «Трактат о вторичных причинах». (*Смеется.*) Ха, ха! Великолепное заглавие. «Трактат о вторичных причинах». Этот жаргон очень ясен! А, а, будем продолжать. (*Читая снова.*) Procul à delubro mulier semper!* Эпиграф, надо сознаться, не очень галантного человека. (*Читая дальше.*) «Глава первая. "Молчальники"». Черт! «Всякое слово в круге своего действия создает то, что оно выражает. Измеряй же эту волю, которую ты отдаешь вымыслам своего разума». (*Закрывает книгу и бросает ее на другие.*) Россказни! (*Зевает; затем задумчиво, взглянув на все предметы вокруг.*) Конечно, в этом я не сомневаюсь. Мой юный граф точно воспроизводит каббалу и истории шабаша. И, конечно, это мастер Янус нашептывает и вбивает ему в голову все эти вздорные суеверия, которые еще долго будут пороком Германии. Они, должно быть, говорят о святом Бёме и о розенкрейцерах. Действительно, они встречались в нашей семье. Некогда это было в моде. Я понимаю, почему этот сумасшедший счел за лучшее не являться перед моими мирскими глазами. Я бы разбил его лучшим способом: двумя или тремя язвительными шутками. (*Молчание. Он садится у стола и наливает себе вина.*) Признаться, этот дом с его обитателями кажется мне невероятным. Я кажусь себе парадоксальным. Здесь, с часами в руках, опоздали на три сотни лет. Я думал, что живу на заре XIX века. Глубокое заблуждение! Под этими сводами я заметил, что живу при императоре Генрихе, во время войн за инвеституру. Хорошо. За здоровье покойного императора. (*Пьет.*) Я бы хотел ясно

* Да не войдет никогда в святилище женщина! *(лат.)*

понимать эту анормальную жизнь, которую здесь ведут. Что же касается моего благородного кузена, то моя симпатия к этому молодому герою прошлых веков весьма умеренна. У него, правда, характер из не поддающихся определению. Но всякий человек, который к сорока годам интересуется чем-либо, кроме самого себя, не достоин жить. (*Молчание.*) Теперь посмотрим; я должен признаться, что этот знатный юноша очень хорошо держится, несмотря на свое немного фатальное лицо, он красив, высок, в нем даже есть какая-то дикая изысканность, она бы произвела большой успех при дворе, где набрасываются на всё новое. Я вижу отсюда музыкантш королевы, в вечер его представления, княгиню Сабельсберг и графиню Вальштейн. Эффект в первую минуту, как от пожара. Или я непостижимо заблуждаюсь. Он принял меня с необычайным благородством и как истый князь предоставил мне свою долю наследства, несмотря на свое потерянное богатство. Я уверен, что, хорошо направленный, граф Аксель Ауерсперг мог бы быть мне полезен у короля, эта старая история его отца и сокровищ там забыта. (*Помолчав.*) О, мое старое вожделение, до сих пор так и не осуществленное! (*Мрачно глядит вокруг.*) Здесь тоже колдовство. (*Взгляд его падает на стол.*) Мой прощальный ужин. Прекрасно сервированный стол. Лесные цветы; это с большим вкусом. (*Молчание.*) Рот вдыхает странный воздух. От этого старого дома во мне подымается какое-то неведомое ощущение. Я, кажется, начинаю влиять на моего молодого кузена; в таких натурах есть много детской слабости. Я старше его лет на 20, и это в связи с тем, что я родственник, позволило мне некоторую мягкость, скоро ставшую фамильярной, покровительственный тон в наших разговорах, короче, кажущуюся беспечность. И если ее умело и понемногу увеличивать, то ее будут сносить незаметным образом до нестерпимости.

Я хочу попробовать в этот вечер сломить влияние мастера Януса. Я докажу ему за десертом, что Великое Свершение – в том, чтобы проходить свой путь в мире, занимая даже силой место, куда хочешь сесть. (*Задумчиво.*) Как будто в действительности все фантасмагории земли и все сентенции философов могут стоить взгляда красивой женщины!

А молодость! Увы, прекрасная молодость! Вот она, настоящая магия! Прекрасное созданье, вот что понимается сразу, без усилий! Это ясно. (*Он заставляет струйки огней играть в хрустале своего бокала.*) Я думаю, что все эти абсурдные мысли пришли от соседства темного леса, потоков, долин и вынужденного одиночества, всё это излечится в неделю, там. Я уверен, что в моих руках молодой человек станет полезным орудием. (*Встает и прохаживается.*) Но я озабочен. Неестественно, что юноша, явно обладающий недюжинным умом, добровольно принимает это медвежье существование, как это делает граф Аксель Ауерсперг. Вся любовь к оккультным наукам не объяснит такого долгого, глубокого и добровольного отшельничества. Здесь что-то есть. (*Тише, странно-мечтательным голосом, обводя взглядом залу.*) Здесь что-то есть. (*Размышляет, рассеянно глядя на огни.*) Вот уже неделя, как я в этом забытом зубчатом древнем логове; его архитектура, окрестности и молчание могут заинтересовать лишь пустых идеологов. Конечно, я не стал бы здесь так долго скучать без странного, постоянного ощущения чего-то неизвестного. Так как оно не рассеялось, значит, оно серьезно, а я не люблю загадок. Я хотел бы его вывести на свет. До сих пор было бы неосторожно допрашивать господина Захарию; но так как я покидаю без сожаления сегодня это беспокойное логовище, я могу, когда старый интендант... (*Увидя входящего господина Захарию.*) Вот он.

Сцена VI

Командор Каспар Ауерсперг и господин Захария.

Господин Захария (*на пороге, глядя на командора*). Час настал: мой долг говорить. (*Тщательно закрывает двери.*)

Командор (*глядя на него, самому себе*). Если это тоже колдун, то нужно согласиться, что дьявол напрасно медлит тащить его. (*Оглядывая его с ног до головы.*) Ему лет сто, этому молодцу. Оглядим его внимательней; взгляд опущенный, дипломатичный, тонкие губы, да, но нос без про-

ницательности. Хорошо. (*Громко.*) Добрый вечер, господин Захария. Что с вами? Вы взволнованы? Клянусь моей бонбоньеркой.

Господин Захария (*серьезно, приближаясь к командору*). Ваша светлость, я имел честь встретить вас раньше, двадцать лет тому назад. Вы были другом покойного графа; вы должны любить его сына.

Командор (*про себя*). Преданность – его слабая струнка. (*Громко.*) Этот молодой человек с большой будущностью, и я пожертвую всем для того, чтобы он занял надлежащее ему место в свете.

Господин Захария. С вашего приезда я размышляю ночи и дни, ваша светлость. Минуты моей жизни уже сочтены. Ваше присутствие – неожиданность, которой я должен воспользоваться.

Командор. Мое присутствие?

Господин Захария (*озабоченно*). Да. Я должен открыть вам одну важную вещь. Одну вещь. Самую странную. Если вы хотите, то я должен торопиться. Это очень трудно рассказать; время идет, и вы уезжаете в эту ночь.

Командор. Вы слишком торжественны, чтобы быть серьезным, господин Захария.

Господин Захария. Ваша светлость, я всегда говорю, взвешивая слова. Почти невозможно найти точные выражения для тех фактов, которые я хочу вам изложить. Короче, если есть на земле тайна, достойная имени великой, то это, конечно, эта. При одной только мысли о ней у меня кружится голова. Вы это видите, мне трудно говорить об этом. (*Взрыв бури. Он оглядывается.*)

Командор (*через минуту*). Эта тайна касается графа и меня?

Господин Захария. Прежде всего. Потом Германии, потом всего мира.

Командор (*про себя*). Этот старик... гм... неожиданная откровенность, и она стесняет меня. Какой вид принять? Внимания или равнодушия. Лучше равнодушия, он будет стараться убедить меня. (*Громко.*) Говорите. Ты важен,

как восточный посол, ты пугаешь меня. Она очень длинная, твоя история?

Господин Захария. Я могу вас уверить, что вы не раскаетесь, выслушав ее до конца. Раньше, чем через полчаса, граф, без сомнения, не вернется. У меня ровно столько времени, чтобы всё сказать, а молчание меня тяготит уже столько лет. (*Командор наливает вина; скрестив ноги, опирается на стол, освещенный канделябрами. Господин Захария стоит перед очагом, рука его на спинке стула. Понижая голос.*) Ваша светлость помнит о необыкновенном событии, происшедшем в Германии и имевшем отголосок везде, в год смерти графа Герарда Ауерсперга?

Командор (*улыбаясь*). Событие... необыкновенное?

Господин Захария. Да.

Командор. Я не знал ничего необыкновенного под солнцем, господин Захария! Кроме... (*и, как бы пораженный дальним воспоминанием, вздрагивает, смотрит пристально на старого интенданта и с минуту молчит; затем значительным и изменившимся голосом.*) Начинай! (*При этих словах господин Захария вытаскивает из кармана своего плаща военную карту и разные бумаги, которые он молча раскрывает и кладет на стол перед командором Ауерспергом.*)

§ 2 [Сцена VIII]

Рассказ господина Захарии.

Господин Захария (*тоном человека, который произносит слова, уже давно составленные и заученные, а затем постепенно воодушевляется и импровизирует*). Вот свидетельства и документы; они относятся именно к тому моменту нашей истории, когда произошло то событие, о котором я говорю. Мы были тогда под ударами того нашествия, которое теперь кажется нам какой-то роковой грезой. К известиям о поражении наших войск в Средней Германии, проходившим одно за другим, вскоре присоединились полуофициальные слухи о том, что неприятель готовится неожиданным отступлением произвести атаку на различные государства, распо-

ложенные в тылу его предполагаемого движения. Тотчас все города, находившиеся в кольце предполагаемой опасности (в особенности избирательный и торговый город Франкфурт), содрогнулись при представлении о тех грабежах и насилиях, которым, без сомнения, будет предаваться французская солдатчина и особенно новобранцы, уже проявившие себя такой жестокостью там, в занятых провинциях. Наполеон, казалось, надвигался одновременно со всех сторон, потому что от этого странного капитана, который в три дня оказывался в тридцати милях от того места, где его предполагали, нужно было ожидать самых угрожающих непредвиденностей. Это был сплошной ужас: всем казалось, что нет даже времени употребить в дело суммы того военного займа, который только что перед этим был реализован. Вспомните, ваша светлость, вид наших центральных городов: запертые дома, траур, далекая перестрелка, постоянный гром пушек, набат, разносимый ветром по всем дорогам.

Командор. Дальше.

Господин Захария. И все-таки все эти встревоженные государства не подозревали о настоящей величине опасности, в этот момент еще увеличенной необычайным финансовым положением. Действительно, уже за пять недель до этих мрачных слухов скопление звонкой монеты, хлынувшей отовсюду благодаря панике и приливу бессмысленного доверия (случай нередкий во время войны), обременило подвалы Национального банка во Франкфурте. (*Развертывая старинную пожелтевшую бумагу.*)

Напрасно стараясь остановить этот поток, банк уже давно объявил, что его помещения позволяют ему принимать вклады лишь золотом. Вот отчет о суммах, находившихся тогда на всякий случай в бочках, под низкими сводами главной сокровищницы, и этих бочонков было около четырехсот, запечатанных печатью Союза.

Актив из золота в монетах общественных сбережений, гарантированных завещаниями, иммобилизированных внезапной приостановкой дел и торговли Германии на 42 миллиона талеров. Актив из текущих взносов военного займа на 76 миллионов талеров звонкой монетой. Мешков драгоцен-

ных вкладов, доверенных хранению города, содержащих отшлифованные бриллианты, драгоценности огромной цены, ривьеры и ожерелья из различных гемм, жемчуг, серебро, художественные изделия, слитки и куски чистого золота, итогом на 78 миллионов талеров. Присылка звонкой монетой из соседних банков Вюртемберга, Баварии, Саксонии и Великих герцогств как взносы без процентов, лишь под защиту города, на 75 миллионов талеров. Частных вкладов владетельных князей и горожан на 26 миллионов талеров, всё звонкой монетой, и т.д. и т.д.

Сумма сбережений, хранящихся в подземных тайниках и добавочных подвалах сокровищницы: около 350 миллионов талеров; да с излишком опущенных добавочных денег, невероятный, огромный актив, больше чем в 110 миллионов французских франков, оборот более чем двух третей золотых монет, и немецких, и иностранных.

Командор (*озабоченный, пристально глядит на него*). Да, понимаю, дальше.

Господин Захария. И вот, когда стало достоверным наступление неприятеля на этот пункт Германии, верховный финансовый совет Союза обратился к хранителю сокровищницы со следующим заявлением: «Узнав официально, что большая часть этих сумм имеет военное назначение, царственный победитель, если он направится к Франкфурту и займет его, может законно, ссылаясь на предупредительные и оборонительные меры войны, наложить запрещение на весь этот огромный актив. Так как все дальнейшие розыски будут представлять трудности или распри, каков бы ни был исход войны, нужно, следуя обычаю в таких исключительных положениях, принять сейчас же крайние распоряжения и поместить немедля все эти деньги на землю, лежащую вне военных действий и по возможности расположенную вне путей врага». Получив это заявление, финансовый совет банка собрал тайное заседание, выбрал для этого важного и опасного дела трех наиболее уважаемых генералов, находящихся на ближайших от города военных трактах: это были генерал князь Мутвильд, генерал граф Тюнгерн и, наконец, генерал

граф Герард Ауерсперг, принявший руководительство. (*Молчание.*)

Командор (*задумчиво, самому себе*). Да, этот факт из истории Германии остался совершенно загадочным.

Господин Захария. По его мнению, было достаточно двух тысяч саксонских солдат и восьмидесяти артиллерийских повозок. Тотчас были разосланы приказания командующим соседними дивизиями для пресечения неожиданных вылазок неприятеля. Решили направиться к юго-востоку, по малоезженым дорогам, с графом Ауерспергом во главе отряда, графом Тюнгерном в центре и князем Мутвильдом в арьергарде, и после долгого обхода достигнуть места, хорошо известного лишь трем начальникам экспедиции.

В тот же вечер четыреста драгоценных железных бочонков, под общим названием снарядов, военного провианта и тяжелых гранат, были подняты, положены и увязаны цепями и веревками на восьмидесяти повозках на главном дворе банка. Был отдан приказ об удалении из него всех служащих, и во время нагрузки он был окружен эскадронами стражи, и они дефилировали перед дверью, по пятидесяти человек на две повозки. В полночь покинули город, с погасшими фонарями, весь в полной темноте.

В какую же из крепостей, выбранных тремя генералами и регентами, сокровища отправились раньше всего? Конечно, это было объявлено в горах попозже. По всем рассказам разведчиков, через два дня, вглубь, к северо-востоку, граф Ауерсперг, опасаясь, может быть, какой-либо странной случайности, изменил намеченный маршрут и на свой риск во имя страшной ответственности, лежащей на его военной части, решился не доверяться больше никому и не предупреждать никого ранее полного исполнения принятой им тяжелой задачи.

Командор (*бледный, улыбаясь*). Сядь, Захария! Ты – старик; твой голос утомлен рассказом; выпей немного этого вина, блестящего и алого, как золото, о котором ты говоришь; это придаст тебе силы.

Господин Захария (*кланяясь, отказывается жестом руки; кажется, что мало-помалу он погружается в видения*). И тогда, конечно, в глубине его памяти возник недоступный замок, забытый в спокойных, глухих лесах, и тропинки, ему привычные с детства, показались для него удобными для этих узких, следующих за ним повозок, везущих на себе часть богатства всей Германии. Конечно, ему вспомнилось в этих же лесах недоступное убежище, забытое в течение веков, темное место, ход к которому известен ему одному, могущее сторожить до будущего мира то, что будет отдано его глубинам. И к этому месту решено было направить дорогами, вполне безопасными от всяких неприятельских встреч, людей и сокровища, за которые он отвечал перед отечеством. И запомните, ваша светлость: направить до этой пустынной области, где мы теперь находимся. (*Командор вздрагивает и смотрит на него с большим удивлением.*) Конечно, в столь непроходимых лесах, окружающих замок, должен быть скрыт под какой-нибудь скалой, теперь поросшей травой и кустами, вход в одно из тех обширных подземелий, прорытых еще до средних веков, с тайными проходами, известными лишь старшим в роде этой военной сеньории, которой они принадлежали и, в случае осады, служили для снабжения замка провиантом и для ночных нападений. И, вспомнив без труда дорогу к этому позабытому проходу, который в этой гористой части Шварцвальда должен открываться в глубине какого-нибудь обрывистого склона...

Командор (*прерывая его*). Я перестаю слушать тебя. Если даже действительно предположить, что граф Ауерсперг мог в этом фантастическом решении, которое ты ему приписываешь, подумать скрыть в своих владениях и без всяких подозрений эти важные «военные запасы», как поверить, что он решился довериться двум тысячам людей, которые, без сомнения, станут говорить, хотя бы между собой, о том странном деле, которое произошло накануне? И даже если допустить, что на минуту в его голове, отуманенной столькими важными опасениями, могла промелькнуть мысль эта, как поверить, что такие генералы, как князь Мутвильд и

граф Тюнгерн не отговорили его, отказав ему в помощи? Ты бредишь, Захария.

Господин Захария (*далеко в своих мечтах, словно не слыша возражения*). Да, это было, должно быть, в дождливые сумерки, еще более темные от густой листвы и высоких кустарников, когда он привел через широкие тропинки леса, в нескольких стах шагах отсюда, к еще невидимой пещере, но которая должна была открыться от толчка наследного владетеля, да, когда он привел... (*поднимает голову и пристально смотрит на командора*) простой наряд из двух сотен людей, быть может, и важнейшие повозки, оставив на расстоянии двух или трех миль, на опушке теперь уже ненужный остальной эскорт. При приезде в эту необитаемую и такую уединенную страну круг опасностей уже был пройден. (*Словно галлюцинируя.*)

При оклике графа Ауерсперга ползучая колонна повозок и всадников остановилась, и граф Тюнгерн, покинув центр, встал перед первой повозкой. Ауерсперг, сойдя на землю, пошел вперед довольно далеко один, узнавая дорогу по деревьям, и вот, при повороте старой изгороди из срубленных сучьев и высоких трав, он вдруг лег. Никого рядом с ним. Идя среди надвигающихся теней, он увидел скалы, поросшие мхом и травой, которые он по первому взгляду отличил от других седых камней в окрестности. Он пополз к впадине, тайну которой он однажды, с глазу на глаз, узнал от отца, получившего ее от деда, и, надавив особым образом так, что под землей заскрипели от ржавчины старинные могучие рычаги, он сдвинул две огромные скалы, обнаружив вековой вход. Тогда он быстрыми приказаниями призывает одну за другой повозки, которые, в свою очередь, проходят перед зияющим отверстием. При свете наскоро зажженных больших мрачных фонарей, по три человека с каждой повозки, привыкшие к пушечным маневрам, перерезали все перевязки, быстро взобравшись на задок, и по их покатости скользили железные бочонки, сдерживаемые раньше веревками. Они быстро катятся по подземному склону и, сами себя увлекая, с шумом докатываются до далеких границ обширной пещеры.

И повозка удаляется по лесной дороге, и ее скоро нагоняет следующая, и так далее, до последней.

Двух часов было достаточно. Два других генерала в молчании примкнули к обоим концам отряда, к которому в назначенном месте присоединится граф Ауерсперг. А он, оставшись один, во мраке ночи, закрыл запретный вход подвижными, сдвинутыми или поднятыми землистыми утесами. Всё было сделано. Головокружительное сокровище исчезло в непроницаемом мраке.

Теперь, ваша светлость, имея прежде всего глубокую уверенность, и совершенно естественную, в том, что четыреста железных бочонков содержали, как это понятно в артиллерии, лишь снаряды из свинца, стали и пороха и различные военные припасы (количество бочонков не позволяло догадаться об истине), как, наконец, в людях этого специального отряда, родом из саксонских провинций, наиболее удаленных от Шварцвальда, сбившихся с пути в лесу, среди тысячи извилистых дорог, понятных одному графу Ауерспергу, утомленных долгой дорогой, в страхе встречи с неприятелем, около этой воображаемой крепости, казематы которой, как им казалось, они нагрузили с глазами, так сказать, завязанными их внезапным приходом сквозь дождь и сумрак и их уходом ночью, быстро нагнанных в их неуверенном пути графом Ауерспергом накануне отправления в самые далекие пункты военных действий, как предположить в таких людях хоть какое-нибудь неясное подозрение? и какого же грабежа можно было опасаться в виду будущего мира?

Командор (*совершенно спокойно, глядя на господина Захарию*). Какой интересный рассказ ты выдумал, мой дорогой Захария! В истории, увы! совсем другое. Она говорит нам, что трем генералам, о которых ты говоришь, было действительно поручено высшим финансовым советом Союза перевезти в крепость, на восток Германии, бесчисленные народные богатства. Принужденный налетом французских войск к непредвиденному отступлению, конвой пошел вдоль баварской границы, потом к центру. И это по пути, обозначенному на военной карте.

Господин Захария. Вот она перед вами.

Командор. И это больше чем в 25 лье от всякой близости Шварцвальда. Каким-то действительно необъяснимым случаем генерал Ауерсперг и его два лейтенанта очутились однажды немного впереди конвоя, захваченного, вне всякого сомнения, неприятелем. Но с охраняемых высот они были, в свою очередь, замечены французской бригадой стрелков.

Господин Захария (*кладя палец на карту*). Вот точное место.

Командор. Неприятель, не имея возможности захватить их в плен, открыл по ним сильный огонь, продолжительный и смертельный, который не оставил ни одного в живых, уничтожив их менее чем в четверть часа. Граф Ауерсперг был найден, пораженный несколькими пулями в голову и грудь. Такова же приблизительно была участь и двух других. При виде такой более чем двусмысленной неизбежности, я могу только согласиться со всеми, что этот военный случай, в связи с разорительным пленом или непонятным исчезновением колоссальных сокровищ... заблудившихся... останется одной из самых необычайных загадок истории.

Господин Захария. Ваша светлость, для меня ясно, что какая-то умышленная измена, предательство, с запоздалым взрывом для тех вельмож, что его задумали, скрывается под видом «фатальности» военного убийства. А сколько раз, мне казалось, я нападал на их след в моих терпеливых поисках. Зачем вам говорить, что у меня есть доказательства того, что счетная книга для контроля квитанций, с именами вкладчиков, была уничтожена, сожжена? Узнайте лишь, что неприятель захватил в плен повозки, *еще оберегаемые, но пустые*, что граф Ауерсперг, перед входом в леса, отправил на военные действия, к границам центральных владений, остаток двух тысяч людей, к которым ему оставалось только присоединиться. Отсюда это малое количество всадников около него, во время этого случая, окончившегося смертью... ровно через два дня после тех событий, которые я только что восстановил.

К о м а н д о р (*помолчав*). На чем ты основываешь свое предположение?

Г о с п о д и н З а х а р и я (*понижая голос*). Вечером, за день до часа, когда он должен был быть убитым, граф Ауерсперг был здесь, в замке, около полуночи.

К о м а н д о р (*очень бледный, резко поднимаясь*). Ты уверен в этом?

Г о с п о д и н З а х а р и я (*спокойно*). Я бодрствовал в нижней зале башни, когда я сперва услыхал галоп его лошади, скачущей через большие крепостные ворота, а потом я вдруг увидел входящего графа Герарда, в полной форме, скрытой кавалерийским плащом.

К о м а н д о р. Он... здесь... зачем?

Г о с п о д и н З а х а р и я (*немного удивленный*). Я полагаю затем, чтобы обнять с прощальной нежностью, которая была последней, ту, которая очень скоро должна была подарить ему сына. Графиня Лизвия Ауерсперг, беременная тогда графом Акселем, удалилась сюда на время войны, слабая, всегда больная и едва ходившая. У нее была по крайней мере радость свидания с мужем перед опять соединившей их смертью. От нее навсегда осталось скрытым роковое известие послезавтрашнего вечера. Может быть, во время этого неожиданного и такого короткого свидания граф Ауерсперг оставил какое-нибудь неизвестное для нас письмо, предназначенное его сыну в случае, если бедствия или уже предчувствуемая смерть оставят его сиротой. Что сталось с этим письмом? Существовало ли оно? Я не знаю.

К о м а н д о р (*придя в себя и подумав минуту*). Господин Захария, помимо моей воли я сомневаюсь немного в истине ваших слов. Почему вы доверили мне эту тайну?

Г о с п о д и н З а х а р и я. Увы! Потому что я очень стар, ваша светлость, и потому что я скоро умру. Потому что бездействие здесь становится преступлением, и я не смел унести с собой угрызения совести за мое молчание. Потому что уже давно, вотировав ничтожные вознаграждения, государство, скупив по низким ценам все квитанции, фактически их уничтожило, и в действительности все эти

несметные сокровища *не принадлежат теперь никому*, потому что мой господин, которому я всё открыл в подробностях, еще более подтверждающих предположенное, не только ни разу не попытался и не размышлял обо всем, известном мне, чтобы открыть неисчислимые богатства, но даже строго запретил когда-либо напоминать ему об этом. Сегодня уже три года со дня этой тяжелой клятвы... и никогда ни слова. Я не знаю, что за страшную и необычайную науку открыл ему мастер Янус, но я, право, готов поверить, что он забыл. Никто из стоящих у трона не послушал бы меня, старика, забытого в этих безмерных лесах. Вы, ваша светлость, вы – власть имущий. Вас слушают короли. Я счел себя вправе нарушить клятву, такую преступную, для того, чтобы вы стали действовать во имя моего слишком равнодушного господина. И тогда слава, власть и богатство придут к нему, помимо его. И я хотел исполнить свой долг памяти его благородного отца, вашего родственника и друга. (*Слышен зов дальнего рога по равнине.*) Вот граф Аксель. Выскажите же теперь свое решение. (*Он торопливо свертывает свои бумаги и прячет под плащом.*)

Командор (*пристально смотря на него*). Господин Захария, вы умный и честный слуга! Всё, что я отвечу вам, это то, что я уезжаю этой ночью, и обо мне услышат в этом замке менее чем через три месяца. (*Радостное движение господина Захарии. Командор самому себе, размышляя.*) Да, мне готова комната менее чем в часе езды отсюда по нижней тропе – в гостинице «Трех лебедей», на перекрестке Лесного креста. Отто, мой камердинер, и два моих старых проводника меня ждут, я могу там быть около половины двенадцатого. Там я отдохну от первых шести лье пути. А на заре завтра на лошадь. И через несколько дней прочь из леса. И в дилижансе до Берлина. А там, реализовав остатки моего богатства, если я примусь осторожно, почему мне не попытаться одному, тайно, завоевать это фантастическое золотое руно? О, изумительное открытие. Если это так? (*Топот в сенях. Тише, палец на губах.*) Молчание!

В глубине залы показывается Аксель Ауерсперг. На вид ему 23–24 года. Высок и удивительно мужественно-красив. Изящная мускулистость и соразмерность его сложения указывают на большую физическую силу. На его лице, почти лучезарной бледности, под длинными каштановыми кудрями, задумчивое, таинственное выражение. Одежда его из черной кожи, со стальными пуговицами. Шапка из меха выдры, с орлиным пером. Через плечо – карабин, на поясе – топор. Одно мгновенье он стоит неподвижно на пороге залы.

§ 3. Истребитель

Сцена VIII

Те же и Аксель Ауерсперг.

Аксель. Кузен, приветствую вас.

Командор. Добрый вечер, Аксель. Хорошо ты поохотился?

Аксель (*улыбаясь*). Как всегда.

Командор. В эту адскую погоду? Ты, значит, «Черный Охотник». Слышишь?.. Бьюсь об заклад, что вся аллея переполнена демонами!

Аксель (*направляясь, чтобы повесить свой тяжелый карабин между двух орлов на стене*). В апреле гроза расходится быстро. Вы хотите по-прежнему покинуть нас сегодня вечером?

Командор (*обменявшись короткими взглядами с господином Захарией*). Так надо. Нельзя заставлять ждать короля. (*После этих слов господин Захария, очарованный, покидает залу.*)

Аксель (*улыбаясь*). Да здравствует же король! (*Тоном грациозной любезности.*) И... за стол!

Командор. Прекрасная идея. Я совсем проголодался. (*Садятся. Дождь перестал: гроза как будто удалилась в лесные чащи.*)

Сцена IX

А к с е л ь, к о м а н д о р, У к к о, потом Г о т т х о л ь д, М и к л а у с и Г а р т в и г.

Укко выходит из глубины. За ним Гартвиг; этот держит своею единственною рукою тяжелую корзину с вином; Готтхольд и Миклаус, входящие справа, несут серебряные блюда, переполненные яствами; Укко берет две запыленные бутылки и раскупоривает их.

К о м а н д о р (*сам с собою, задумчиво*). Можно подумать, что он забыл... сказал этот господин Захария. Надо прежде всего утвердиться в этом пункте.

У к к о (*наполняя наполовину хрустальные стаканы*). Бургундское вино.

А к с е л ь (*развертывая салфетку*). Значит, вы не будете пить вместе с нами «Майтранк». Это жаль; я думаю, что вы бы нашли в нем здесь свежую весеннюю прелесть.

К о м а н д о р (*тем же тоном, беззаботно*). Что делать!.. Твое здоровье. (*Пьет; потом, глядя на дичину, которую разрезает Готтхольд.*) Э! Это четверть кабана! Я это, кажется, понял, еще когда его проносили, по крепкому пару! Но я грежу; неужели эти поваришки не позабыли положить красного перца и ванили? (*Пробует.*) Нет, это предопределение судьбы!

А к с е л ь (*Миклаусу*). Немного воды, пожалуйста.

К о м а н д о р (*смеясь, тоном очень непринужденным*). Что касается дикого кабана, я отведал однажды превосходного у аулического советника Иоганна Гернера, в тот день, когда его величество король пожаловал мне титул камергера. Но он был приготовлен иным способом, если память не изменяет мне. Да. Отшельник потребовал себе в этот день французских трюфелей, английских специй и сицилийского лавра. Окруженный фестонами светлого желе из айвы, на ложе из ароматических трав, он явился нам на стол мечтателем. Аксель, я рекомендую этот рецепт твоему повару: дворянин не может заботиться излишне о своем столе.

А к с е л ь. Скажите мне, кузен: вы вернулись сегодня в замок после полудня; не утомила ли вас охота, – или

вы предпочли сохранить силы для тех двухсот лье, которые предстоят вам?

К о м а н д о р (*ест и пьет*). Мне хотелось сладко выспаться под далекие звуки твоего неутомимого рога; вот и всё.

А к с е л ь (*так же*). И вы видели хорошие сны? (*Укко молча наливает обоим сотрапезникам.*)

К о м а н д о р (*небрежно, с отдаленной намеренностью, почти неразличимой*). Золотые сны. Я грезил о том древнем царе Лидии, которому достаточно было закинуть сеть в реку Пактол, чтобы вытянуть ее полной рыбками из массивного золота. Дивные грезы!

А к с е л ь (*пристально глядит на него и после молчания подымает свой готический немецкий стакан*). За их осуществление!

К о м а н д о р (*про себя, неуверенно*). Гм... (*Громко, с улыбкой откидываясь на спинку своего сиденья*). Аксель, у меня сегодня приступ меланхолии – и не только оттого, что я покидаю вас. Конечно, этот стол блистателен, скатерть и эти старые богемские хрустали прекрасны на вид! Но... мы здесь одни, – а там на придворных ужинах золото при свете канделябров так идет к белым лицам женщин! Их глаза и насмешливые белые зубки, их улыбки, такие вздорные и такие очаровательные, так хорошо сочетаются с огнями! Красные цветы и особенно розы так благородно идут к черным волосам! И всё, вплоть до шелков, напитанных их ароматами, всё чарует своим непобедимым колдовством безумье веселого ужина! Ах, мой милый, если бы ты покинул свое изгнанье и согласился последовать за мною в этот мир – празднеств, роскоши и любви... (*Понижая немного голос, тоном разыгранного фатовства.*) Вот если бы ты хоть раз увидал хорошенькую княгиню Мутвильд, например?

А к с е л ь (*неуловимо вздрогнув при этом имени*). И что же бы тогда было, командор?

К о м а н д о р (*про себя, неопределенно*). Гм... (*Громко.*) Только ты лишишься сна! Подумай! Ребенок, вдова, остроумная настолько, что дождалась с опущенными глазками

смерти своего мужа... с ангельским терпением! Этот милый князь!.. Согласно преданию, его отец, почтенный генерал, разделил судьбу твоего отца, будучи застигнут отрядом неприятельских стрелков во время нашествия. Угасший род. (*Молчание. Аксель остается безразличен.*) Таким образом, не выходя замуж, княгиня Карола может сколько ей угодно развлекаться в своем берлинском дворце, под прикрытием своих гербов, затянутых траурным флером. И, говорю тебе, если бы она хоть раз сделала тебе желанный аванс на одном из своих ночных праздников! если бы она тебе дала заглянуть в свои сияющие голубые глаза и показала бы тебе свои прекрасные губы!.. меж хрусталем твоего бокала и пыланием свеч... ты потерял бы всякий сон.

Аксель (*улыбаясь*). Вы думаете?

Командор (*смеясь*). Он сомневается!.. Ах, пожалуйста, не клевещи на себя! Не обрекай своих будущих друзей на безделие.

Аксель. Неужели они до такой степени обаятельны, эти женщины, там, в жизни?

Командор. В большинстве случаев. И потом... (*конфиденциальным тоном*) это пьянящее удовольствие похитить их у их невыразимых супругов – и тройная воистину радость их покорить! Ни один мужчина после трех светских романов почти никогда не пожелает больше Прозерпины, если прелесть ее не приправлена разъяренной ревностью мрачного Плутона! Я читаю в твоих глазах удивление, свойственное твоему возрасту; но для нас в большинстве любовных интриг огненная пытка того, кто пламенно ее любит, составляет иногда главную приманку в той, что нас предпочла. Эта пряность, которую все ценят и которая часто определяет наши решения, составляет такую прекрасную приправу к этой забаве высокого вкуса, называемой любовью!

Аксель. Правда? Я думал, что еще встречаются женщины с сердцем более серьезным.

Командор. Все они наделены царственным милосердием; только между ними есть и нищие. В свете это называется добродетелью. Что же касается их чувств... (*он долго*

вдыхает сноп лесных цветков, поставленный перед ним среди различных стаканов) не всё ли равно, что у этих цветков с таким чувственным запахом сердце серьезное или легкомысленное?

А к с е л ь. Вы не хотите еще этого паштета из фазанов?

К о м а н д о р (*накладывая себе*). Суровый истребитель волков, я вам сказал бы, что обычно паштет является для меня самым тяжелым из металлов, но этот, созданный воистину вдохновенным умом, оправдывает неблагоразумие, которое я совершаю! (*Молчание.*) А вы, Аксель? Я нахожу вас плохим едоком и очень... озабоченным!

А к с е л ь. Я думаю о том, сколько рытвин должен был прорыть этот ливень по дорогам. Укко, ты отвяжешь двух псов, чтобы они примяли траву перед нами. Ты оседлаешь лошадей к десяти часам и привяжи потайной фонарь к луке. Я поеду на Вундере.

К о м а н д о р. Действительно, какой это странный час бьет.

А к с е л ь. Это не часы: это ураган застрял в башне и бьет набат колокольным языком. Я думаю, что теперь уже девять.

К о м а н д о р (*наблюдая Акселя*). А! А! Час, когда купец отправляется спать «с спокойною совестью»: нет наших добрых предков, чтобы пощипать его немного на большой дороге. Да! Когда-то мы слегка облегчали их добычу, это правда! Этих «честных» горожан, «честных» купцов, «честных» жидов – всего цвета человеческих произрастаний, и делали это, даже не справляясь, каких грабежей, какого лихоимства, каких обманов слишком законными плодами были их честные экономии. По правде сказать, я не слишком осуждаю эти приемы наших праотцев. Разве во все времена охотник не был вправе отнять дичь из клыков своих собак? В действительности же право, которым прикрывались в то время господа, вовсе не было правом сильного, а скорее правом смелого! Их было один против тысячи: им повиновались. Почему? Потому что сила у того, кто смел, единственный пробный камень людей хорошего рода! Я никогда не путаю честь и честность.

А к с е л ь (*как бы не слыша*). Мы составим вам компанию, Укко и я, до перекрестка Лесного креста, потому что там можно заблудиться на перелесках или встретиться с волками.

М и к л а у с. Карабины приготовлены, ваша светлость, а также рогатины и охотничьи ножи.

К о м а н д о р (*про себя, становясь вдруг холодным и мрачным, наблюдая Акселя*). Нет, это невозможно себе представить! Но наш господин Захария, кажется, прав; он так беспечен, что забыл. Кто знает? В случае чего за меня тьма и потоки! Ночные несчастья в Шварцвальде так естественны: решиться покончить теперь же, двумя выстрелами, – это украсит положение. Разве я не наследник? И... какого наследства, быть может!

А к с е л ь. Где же Вальтер Шверт?

Г о т т х о л ь д. Ваша светлость, он отправился в деревню возобновить запас провизии для замка.

Г а р т в и г. Он здорово промокнет, а кроме того, в эти бурные ночи бродят рыси...

М и к л а у с. О, Франц пошел проводить мажордома: они взяли с собою оружие, трех рыжих собак и Раша, собаку, которая не лает.

А к с е л ь. Бедный старик. (*Миклаусу.*) Ты согрей для него старого французского вина. Только... я не хочу, чтобы он впредь уходил так поздно.

К о м а н д о р (*вполголоса, рассеянно, положив салфетку на стол*). Как ты заботишься о них!

А к с е л ь (*взглянув в окно*). Небо разъяснило; вот и звезды. Вернетесь вы еще к нам, кузен?

К о м а н д о р (*подымая глаза и глядя на него*). И скоро, надеюсь.

А к с е л ь. За ваше будущее возвращение. (*Они пьют, потом встают.*)

К о м а н д о р (*улыбаясь и с внезапной непринужденностью сердечного порыва*). Аксель, вы положительно счастливец и... вот! Позвольте мне, прежде чем уехать, задать вам один вопрос, вполне интимный. Мне хочется кое-что сказать вам с глазу на глаз.

По знаку графа Ауерсперга, Миклаус и Готтхольд перенесли стол, еще освещенный, под свод, образованный каменной лестницей. Укко ставит два стакана и одну ендову на полку, помещенную под навесом очага; потом с помощью Гартвига ставит у огня два кресла.

Зала теперь представляет широкое пустое пространство. Аксель и командор говорят, прогуливаясь по ней. Три служителя и Укко удаляются в глубину залы.

Сцена X

Командор, Аксель (одни).

Командор (*про себя, изучая его*). Нет, этот ребенок и не думает об этом царственном секрете, окончательную тайну которого он мог бы мне выяснить, быть может. Как вырвать у него какое-нибудь указание, значительность которого была бы неуловима для него! Конечно, он должен знать кое-что, сам того не ведая! Надо... овладеть его безусловным доверием раньше, чем решиться на что-нибудь.

Аксель. Командор, я вас слушаю.

Командор (*всё еще про себя*). Будем же отцом, покровителем и добрым советчиком! Нет ничего, что стоило бы старых наставлений мудрости и нравственности, приспособленных для ослепления неопытных и для окончательного помыкания ими. Остальное же, что касается этой ночи, решено.

Аксель (*улыбаясь*). Итак?

Командор (*громко*). А, да! на этот раз я говорю совершенно серьезно. Ну, какого черта делаете вы здесь, граф, в этой старой развалине, в этом забытом замке, затворником посреди этих парадоксальных лесов, между тем как при дворе любого из наших королей вас ждет блестящая будущность? У вас знания, смелость, ум: это преступление перед самим собою оставаться так, сложа руки, посреди четырех разрушенных стен. Встряхнитесь-ка! Я требую, чтобы вы пошли по своей дороге. Ведь вы Ауерсперг: пробил час вспомнить об этом.

А к с е л ь (*беззаботно*). Поговорим о чем-нибудь другом.

К о м а н д о р. Аксель, я очень любил вашего отца; я должен говорить во имя нашего древнего имени. Что должна означать эта сильная дружба к вашему невидимому сотрапезнику, этому так называемому «мастеру Янусу»? Ваш наставник – допускаю! Вот уж не очень-то приятный сотоварищ, с которым должно быть очень весело зимними вечерами, если верить слухам о нем! Да и вправе ли вы приносить блеск целого рода в жертву каким-то, не знаю, изучениям...

А к с е л ь (*серьезно и просто*). Я должен предупредить вас, что всю мою сыновнюю почтительность я перенес на человека, о котором вы говорите. Отец мой познакомился в походах с этим старым военным товарищем, который дважды спас ему жизнь.

К о м а н д о р. Еще если бы это был человек действительно способный...

А к с е л ь (*наивным тоном*). Способный на что?

К о м а н д о р. Наконец, ты, юный ум, ты расточаешь самые прекрасные свои годы на пустые исследования этих так называемых герметических наук! Я пробежал заглавия нездоровых книг твоей библиотеки; ты опьяняешь себя этой сырой пылью? Ты даешь себя иссушить галлюцинату, который живет у тебя? Ты представляешь себе, что существуют еще «оккультные науки»? Но ведь это такое наивное простодушие, что оно становится смешным, мой бедный кузен! Что ты играешь в средние века – допустим! Здесь всё как нарочно устроено для этого; это невинно и не лишено известного величия. Но доводишь этот маскарад до того, чтобы воскрешать Алхимиков Великого Свершения! при помощи реторт и колб с трубками! Мечтать о сплаве меркурия с серой... Ах! этому я еще не могу поверить. Знаешь ты, какое жидкое золото остается на дне тигеля?.. Твоя молодость. Ну так к черту эти старые обноски, которые совсем не идут дворянину! Возьми меня в пример. Бери жизнь так, как она есть, без иллюзий и без слабостей. Иди собственным путем! Сделай свой пробег! И оставь безумцев их собственному безумию.

А к с е л ь. Кузен, я отдаю полную справедливость всем вашим словам. Стакан венгерского? (*Наполняет стакан командора.*)

К о м а н д о р. Выведем же заключение. Мне имя – действительная жизнь, слышишь? Ты думаешь, может, что вот так горяча свою фантазию (да еще живя в этих замках с зубцами, потерявших всякий смысл и в наше время терпимых лишь как исторические куриозитеты для развлечения путешественников), можно достигнуть чего-нибудь осязаемого и прочного? Тебе необходимо бросить этот ветхий склеп! Надо проветрить свой ум. Поедем вместе со мною! Я буду руководить тобою там, при дворе, где и ум ничего не значит без умения вести себя. Оставь здесь все свои химеры! Ступай по земле, как подобает Мужчине. Заставляй себя бояться. Стань властным. Грабь! Надо иметь успех! И выкинь в крапиву и в лесные потоки весь этот свой багаж отвлеченностей, над которым ты сам будешь смеяться до слез через три недели, если ты последуешь за мной в придворную жизнь. В последний раз убеждаю тебя вернуться на подобающую тебе дорогу. Что тебя может удерживать здесь? У тебя нет ни тайн, надеюсь, ни денежных оснований, никакой скрытой страсти! Если так, то к чему это нелепое самоизгнание?

А к с е л ь (*спокойно и усаживаясь около буфета*). Мой дорогой и любимый кузен, я тронут до слез тем интересом ко мне, о котором свидетельствуют ваши слова. Советы ваши обличают одного из самых красноречивых людей, – и, без сомнения, я воспользуюсь ими в свое время и в своем месте.

К о м а н д о р (*про себя*). Тысяча дьяволов – вот неразрешимое дитя!.. Что же предположить? Действительно ли он забыл? Хочет ли он замолчать по инстинктивному недоверию? И эта легенда, основана ли она на чем-нибудь в конце концов? Чем я рискую, если допрошу его более категорично в настоящий момент? Будет ли он молчать или ответит, я буду по крайней мере знать, чего держаться?.. Что ж, попробуем со стороны сердца. (*Громко*). Неужели ты пропустишь все случаи воскресить славу рода, ты, наша старшая ветвь? И неуже-

ли всё это ради удовольствия погрести свой ум в туманных размышлениях? Твое безразличие ставит меня в тупик. Положительно. (*Молчание.*)

Вижу, что мне самому надо предложить... вот... вот, например, история этого клада, ты знаешь, тех удивительных богатств, которых мой старый друг граф Ауерсперг, твой отец, имел поручение сохранить во время французского нашествия после нашего поражения; казна более чем трех королевств Германского союза, заключенная в звонкой монете и надлежащим образом упакованная в бочонках! Короче, если только я не обманут на этот предмет сногсшибательной легендой, расписанной досужим воображением, подобно стольким другим, по канаве смутного, но несомненного исторического факта, то кажется, – э?.. что сокровища эти вовсе не безвозвратно потеряны? Что восемьдесят повозок Национального банка во Франкфурте были уже пусты, когда две или три неприятельских бригады овладели ими во время этой несчастной стычки, в которой твой отец был убит; так что тысяча бочонков золота и слитков, не говоря уже о ящиках с драгоценными камнями, должны быть где-то не особенно далеко отсюда? В окрестностях этого имения, вероятно! Ну, вот, Ауерсперг, мне кажется, что даже полууверенность в действительности этого заслуживает быть по крайней мере углубленной. Так скажи, пробовал ли ты искать, думал ли ты об этом? Кажется, совсем не думал!.. А между тем признаюсь тебе, что, поскольку это касается снов, этот достоин некоторого внимания, потому что исторический факт дает ему некоторую реальную подкладку; и на этом фундаменте можно было бы создать предприятие, которое, будучи далее проблематичным, но направленное с толком, могло бы и может еще стать для нас более чем выгодным. Слушай! Я твой родственник, твой друг, и я старше тебя; наши интересы те же; ты можешь, следовательно, мне открыться? Я узнал об этой истории совершенно случайно, клянусь тебе, только сегодня. Ради Бога, собери все свои воспоминания, прежде чем я уехал! Что есть истинного во всем этом? (*Во время этой*

речи Аксель глядел на командора внимательно и неподвижно; он подымается к двери в глубине залы.)

А к с е л ь (*спокойно*). Одну минуту, прошу вас. (*Зовет.*) Господин Захария! (*Командор Ауерсперг спускается к очагу, большие языки которого внезапно освещают его ярким светом, и наливает себе вина. Господин Захария появляется в глубине залы, и за ним Укко.*)

Сцена XI

Те же, г о с п о д и н З а х а р и я и У к к о.

У к к о (*в сторону, улыбаясь, бросив взгляд на Акселя*). А, готовится удар грома.

Г о с п о д и н З а х а р и я. Ваша светлость звали меня?

А к с е л ь (*вполголоса*). Подойди-ка ко мне. (*Господин Захария приближается; Аксель глядит на него молча. Потом тихо.*) Ты говорил?

Г о с п о д и н З а х а р и я (*спустя мгновенье*). Во имя вашего рода, которому я служу уже восемьдесят лет, ваша светлость, я дерзнул попытаться спасти от забвения, прежде чем умереть, огромные сокровища.

А к с е л ь (*грозно взглянув, глухо*). Тише. (*Укко, шепотом.*) Две шпаги. И чтобы сию же минуту Готтхольд, Миклаус и Гартвиг были здесь, в своих старых мундирах, с факелами, и также со своими старыми мечтами. И, молчание!

Господин Захария выходит, шатаясь, через дверь в глубине залы. Укко исчезает направо, сделав утвердительный знак графу Ауерспергу.

Конец этой сцены происходит у порога, и Каспар Ауерсперг не слышит ничего. Уже несколько минут, как буря снаружи, утихнувшая на время, началась с новою силою. Ветер снова дребезжит стеклами, и сверкает молния.

Сцена XII

Аксель, командор, потом Укко и три военных служителя.

Командор (*сидит, повернувшись спиной, и греется*). Граф, будем же положительны, будем оставаться на земле. Я беру на себя привлечь полезное внимание королей Вюртембергского, Баварского и Саксонского на возможность отыскания этих невероятных исчезнувших сокровищ. И если, что очень хочется допустить, есть нечто действительно серьезное в основе всей этой правдоподобной истории, я чувствую себя достаточно искусным, слушай же меня внимательно, извлечь отсюда для нас обоих состояние более чем царственное. Выгода как-никак будет дважды чудесной: потому что я разорен, мой милый, и те несколько миллионов флоринов, которые ты согласился не оспаривать у меня из наследства нашего последнего кузена Вильферля Ауерсперга, представляют для меня тот пар, в который обратятся несколько капель этого золотистого вина, если я их пролью на эту докрасна разогретую лопатку для золы. Ну! не припомнишь ли ты каких-нибудь указаний, легким просветом скользнувших в беседах с твоими лесниками, касающихся, например, возможных выходов древних подземелий в этой горной части Черного леса? Не может быть, чтобы этот отряд из двухсот человек, проходивший по лесам, не оставил в старой памяти страны никакого следа о какой-нибудь стоянке, о каких-нибудь предпринятых ими мерах предосторожности. Неужели ты никогда ничего не слыхал по этому поводу, никаких толков даже самого общего характера? никакого намека в отцовских бумагах... в тайных документах предков? Это невероятно, в конце концов! Подумай, раз будут даны: во-первых, достоверность существования этих сказочных сокровищ, а во-вторых, один или два знака, утвержденных согласно частным или местным традициям, то без всякого сомнения, обосновав их известными вычислениями, знакомыми всем военным инженерам, можно открыть себе в несколько дней кредит в пять или шесть миллионов талеров. И я утверждаю, что не пройдет двух месяцев,

ну, в крайнем случае трех, четырех, если ты хочешь, серьезных работ и раскопок в окрестностях замка, употребляя, если это будет необходимо, и днем и ночью какую-нибудь тысячу наших рудокопов... И подумай о славе и о прибыльных результатах этой необычайной авантюры! Ведь это будет крик по всей Германии! Говори! (*Он оборачивается и видит графа Ауерсперга мрачно стоящим, скрестив руки, в глубине залы.*) Э? что такое? Что с ним случилось? (*Укко возвращается. Молодой паж молча показывает своему господину две боевых шпаги, которые он держит посередине. Готтхольд и Миклаус в их старых мундирах белых кирасиров появляются в глубине залы, каждый левой рукой подымая факел, а правой держа обнаженную шпагу. Пожелтевшие султаны их касок сливаются с волосами их белых усов. Молча они становятся каждый против одной из трех дверей и остаются неподвижными. Командор, немного изумленный, глядит на них.*) Это что же такое – какая-нибудь фантастическая церемония или, быть может, это твой «мастер Янус» хочет показать нам какое-нибудь прекрасное колдовство? Это было бы внимание с его стороны. (*Он поднимается.*)

Сцена XIII

Аксель, командор, Готтхольд, Гартвиг, Миклаус, Укко, затем в конце мастер Янус.

Аксель (*приближаясь к командору и кланяясь ему*). Мой кузен, только что вы произнесли несколько вольных слов, которые меня оскорбили. Вы дадите мне удовлетворение здесь же на месте. Вы больше не мой гость. Как место для дуэли зала эта превосходна, особенно в такую дурную погоду.

Командор (*после краткого молчания*). Сумасшедший, у тебя горячка.

Аксель (*продолжая*). Вы приобрели в Германии славу совершенного владения шпагой, милостивый государь; она будет нашим оружием. Мы будем драться без пощады и отдыха...

Командор (*прерывая его*). Как! Да разве принимают вызовы таким образом, когда граф Ауерсперг изволит находиться во внезапном припадке буйного помешательства?

Аксель (*спокойно заканчивая фразу*) ...до последнего исхода: смерти.

Командор (*кратко и надменно*). По поводу каких слов?

Аксель. О, часто во время дорожных приключений приходится обнажать шпагу, на повороте ли большой дороги или в переулке случайного городка... из-за ссоры, лишенной всякого точного основания, – из-за простого нападения. Поэтому мне вовсе нет необходимости слишком обосновывать внезапность моего вызова, особенно предлагая вам поединок в форме безусловно законной.

Командор. Ба!

Аксель. Судите сами. Пока я на ногах, вы не выйдете из этой залы; но вам достаточно будет, будучи пленником лишь в моем присутствии, тяжело меня ранить, и вас выпустят отсюда без всякого затруднения. Если же победа, предположим, будет вам стоить какой-нибудь раны, то вам под моей кровлей будут оказаны те же заботы, что и мне самому. Когда же вы будете здоровы, вас проводят до границы моих земель без каких бы то ни было знаков неприязни с моей стороны. Отвести секундантов, здесь присутствующих, вы не имеете права: они кавалеры Железного креста; пажа моего постольку же: я сам ручаюсь вам, что он происходит из рода столь же лояльного, сколько достойного. Свидетели эти сдержат верой и правдой, не прибегая ни к какой увертке или обману, то слово, которое я даю вам... и это слово – их господина и друга. (*Оборачиваясь.*) Поклянитесь. (*Отблески клинков и факелов, которые дрожат в руках старых солдат, рассыпают искры по стали кирас. Все трое безмолвно простирают свои шпаги. Укко под повелительным взглядом Акселя поднимает правую руку после некоторого мятежного колебания.*) Клятва принесена.

Укко (*просто, серьезным тоном*). Но против сердца.

Командор. Кажется, я крепко окружен? А, так! но... ведь это западня, этот ваш дом, мой кузен? Следовало

бы по крайней мере поместить вывеску для предупреждения путешественников, какого дьявола!.. Разумеется, я бы никогда не уклонился от поединка даже и при таких условиях; тем не менее, как отнестись серьезно к этому трагическому церемониалу, чересчур коробящему мой вкус своей старомодностью? Очевидно, всё это имеет целью известный ужасающий эффект, который, впрочем, не может испугать людей, привыкших носить шпагу. С моей стороны, я не могу удержаться от легкой улыбки. Поверьте мне, прекратите лучше как можно скорее этот парад, который бы уже стал для вас гибельным... если бы я занимался убийствами мальчиков.

А к с е л ь (*невозмутимо*). В случае же если моя рука окажется губительной, вам отведут место там внизу, в семейной усыпальнице. Во всяком случае, в акте об вашей непредвиденной кончине, который будет в скорейшем времени представлен королю, вы будете обозначены, заранее должен предупредить вас об этом, как погибший в одном из горных потоков этих бесконечных лесов. (*Указывая на перо, чернила и бумагу на одном из черных заставленных пюпитров, на правой стороне очага.*) Если вам необходимо сделать какие-нибудь распоряжения, то будьте добры написать их. (*Командор пожимает плечами, скрещивает руки и смотрит на него.*) Нет? Тем лучше. (*Направляется к Укко; паж передает ему две шпаги. Вернувшись к командору, он протягивает ему их рукоятями.*) Выбирайте.

К о м а н д о р (*с раздраженным нетерпением, надменно*). Дорогу!

А к с е л ь (*холодно*). В позицию!

К о м а н д о р (*берет, не глядя, одну из шпаг, глухо*). Берегись!

А к с е л ь (*спокойно*). Защищайся.

К о м а н д о р. В последний раз тем именем, которое мы носим оба, требую, чтобы вы формулировали ваши обиды против меня.

А к с е л ь (*вполголоса*). Факелы выше!

К о м а н д о р. Вы молчите? (*Аксель, который со шпагой в руке отошел, чтобы взять расстояние, отвечает лишь лег-*

ким утвердительным движением головы.) Трусость! (*Вспышка молнии сквозь окна сливается в высокой зале с отсветами факелов и мечей. Далекие раскаты грома. Аксель, вздрогнув, приближается к командору.*)

Аксель (*спокойный и грозный*). Посмотри на меня прямо, глаза в глаза. Какая иная искренняя встреча возможна между нами когда-нибудь, кроме встречи на шпагах? Неужели ты думал меня тронуть, пожимая мне руку? Увидеть мое настоящее лицо, когда я улыбался тебе? Твои неподобающие и убогие речи, я должен был их терпеть от гостя, сидящего у моего очага... но внутри себя я слушал иные голоса, а не твой.

Тем не менее я тебя слушал, как слушают неопределенные крики зверей, вдали, в лесах. О! Не вздрагивай и не беспокой своей шпаги: это бесполезные кривлянья перед нами.

Командор (*свистнув в воздухе гибким лезвием*). Безрассудный! я...

Аксель (*невозмутимо*). В свое время. Трижды ты требовал от меня ответа. Если хочешь, не слушай меня: разве я говорю для тебя одного?.. К чему мне заботиться о твоей невнимательности, особенно если ты даже и понять меня не можешь... Но считай себя предупрежденным: твое опрометчивое хвастовство лишило тебя права прерывать меня, и если ты узурпируешь его, то с этой минуты это лишь будет доказательством твоей наглости, которая может в конце концов утомить мое великодушие. Так поменьше шуму, и посмотрим немного, кто ты и кто я, раз ты этого хотел. (*Молчание, нарушаемое лишь шумом ливня и громом. Командор скрещивает руки, как бы решаясь быть невозмутимым зрителем.*)

Ты, который так охотно объявляешь «безумцами» других, какие доказательства своего собственного здравого смысла дал ты нам! Ты побуждал меня «искать счастья», предлагая себя взять образцом, и минуту спустя ты мне признавался в своем разорении! Прежде чем глядеть настолько свысока, почему не начал ты с того, чтобы самому исцелиться от твоей хваленой мудрости, которая привела тебя к таким результатам?

Но нет, ты уважаешь себя как ум, умудренный «опытом», прозорливый и сильный, не правда ли? И тебе кажется, что ты всегда можешь измерить победоносно, при помощи сарказма, досягновения тех познаний, которые для тебя недоступны, тех наук, доступ к которым закрыт для тебя, бесед, которых ясная и строгая красота не может тебе не казаться бесплодной, оставаясь навсегда докучной, следовательно, запрещенной.

А между тем, какими же интересными темами разговоров заменяешь ты так часто интерес, который несут, быть может, эти вещи? Серьезным исследованием приправ какого-то соуса или славословия вкусу паштета! Воистину, сколь ни незначителен, по твоему мнению, предмет моих любимых занятий, я не вижу, что я должен был выиграть сегодня вечером, взамен их слушая тебя.

Продолжим. Созерцая не знаю какие призраки сквозь вина за ужином, ты издевался над чистой иллюзией моей веры в единую супружескую любовь, да, единую, которая заслуживает имя любви.

Между тем, что восхвалял ты, попирая эту юношескую, девственную и столь законную мечту, которая от тебя требовала прежде всего если не уважения (ты мне не кажешься достойным испытывать его перед чем бы то ни было в мире), то по крайней мере твоего молчания? Что? Отвратительные радости прелюбодеяния. Так что под священным кровом моей матери ты заставил меня краснеть, и еще сейчас я чувствую стыд пред этими чистыми цветами за ту бесстыдную манеру, с которой ты их нюхал.

Ты возглашал, например, весьма надменно свою знатность, ты произносил это слово почти по всякому поводу, как мещанин. Между тем, какими доказательствами благородного происхождения оправдываешь ты сейчас здесь свою легкомысленную черствость? Ты был удивлен, что я заботился о честном служителе, состарившемся в моем доме, который в настоящую минуту еще находится в пути под грозой, посреди опасностей ночи, исполняя свою службу.

Наконец, в этом жилище над трауром, стариной и славой которого ты изволил столько издеваться, между тем как геро-

изму предков ты обязан тем немногим, чем ты кажешься, ты предлагал мне, если память меня не обманывает, поработить по твоему примеру незапятнанность моего сознания и моих дней призраку тысяч смешных интриг, чтобы зевать вместе с тобою в королевских прихожих, и ты назвал это «делать свою дорогу». Для тебя это возможно. Ты следуешь вкусам своей природы. Моя же природа не такова, вот и всё. Мимо! Моя дорога? Вот уже века, как она намечена. Каким же образом мог ты иметь притязание своими советами совратить меня с моего пути в то время, как, согласно твоим собственным признаниям, нуль является круглым итогом и «положительным» результатом, к которому в том, что касается твоего положения в государстве, твоего влияния, действительного уважения к тебе, благородной известности и состояния, привели тебя твои проницательные и скептические максимы, пустые, как скорлупа ореха, выброшенного обезьяной. Поэтому поменьше презрения и не третируй здесь безумцами никого, кроме самого себя. Если ты не был на высоте... даже своего мелкого честолюбия, то не осуждай случай: он ни при чем в твоей бездарности... если только ты не хочешь поставить ему в вину собственного своего существования. (*Командор Ауерсперг глядит на него с улыбкой презрительного равнодушия. Оба они являются сверкающими как бы в глубине кузницы, в центре непрекращающихся отблесков очага, факелов и молний.*) Да, я знаю, что в глазах большинства людей ничто не может оправдать неожиданную и сокрушающую сухость моих слов (*со странной улыбкой*), потому что, не правда ли, с удовольствием принять гостеприимный ужин и, будучи в прекрасном расположении духа, сообщить об этом своему хозяину, подымая веселый стакан, говорить с любовью о далеких милых женщинах, наслаждаться с чувственным опьянением ароматом этих лесных цветов, раз или два в увлечении дружеских речей заставить звучать гордость благородной крови, признаться даже без лишней скромности в малом интересе к трудным построениям и широким идеям, напомнить с тактичной любезностью, внушенной симпатией, о тех предназначениях, которые как будто позабыты тем, чья юность осудила себя

на добровольное изгнание... Разве это преступления, составляющие оскорбление гостеприимства? Почему же эти темы и беседы, столь любезные и привлекательные сами по себе, привели нас обоих неожиданно к положению столь... мрачному?

Ты уверял меня в «родственной дружбе», в «искреннем понимании», в «испытанной преданности», в «сердечной помощи», в «обширной опытности» в королевской среде, которой ты предлагал мне «пользоваться», и что еще? Ты предлагал мне забавы, блестящие романы, смеющихся женщин на празднествах!.. Все эти слова, столь завлекательные благодаря заключенным в них образам, что они признаются пригодными для того, чтобы завлечь и магнетически воздействовать, – да, это правда! – ты их произнес! и даже облек их заимствованную элегантность в твоем стиле, приобретенную из общения с царедворцами (*граф Ауерсперг принужден повысить голос, чтобы покрыть ужасающий и всё усиливающийся грохот урагана*), но под покровом того, что говорится, каждый передает, выявляет и изъясняет только самого себя. Поэтому измышленные тобою, прочитанные твоим существом, проникнутые твоим голосом, отраженные твоим духом вещи, обозначенные этими словами, пройдя сквозь твое существо и тобою возглашенные, доходили до меня, интимно воплощенные в твое присутствие, как бы оттиски твоего лика – отчеканенные из безразличных звуков, в оттенках, всегда противоречащих их смыслу и опровергающих его.

Ибо эти вещи, фиктивно заключенные в словах, которые сами по себе не могут быть иными, чем таящими возможности, продуманные тобою, казались мне лишь внешне схожими с теми, носящими те же имена, – которых красноречивая и живая иллюзия могла бы очаровать меня. Как действительно *узнать* их! Сухие, отталкивающие, беспокойные, холодные, враждебные самым своим именам, которые они в твоем языке как бы надели на себя для того, чтобы обмануть меня, я почувствовал в них, в твоих речах, обнаженных от их *реальных* образов, лишь запах высохшего сердца, лишь впечатление трупного бесстыдства души, лишь глухое предупрежде-

ние о затаенной вероломной мысли. И этот тройной состав, представляющий, в глазах моих, внутреннюю атмосферу, которой ты исключительно дышишь, твоей двусмысленной, ублюдной, померкшей, неискренней сущности, делал то, что слова твои звучали... как смутные междометия, выражавшие лишь чахлость тебя, тех вещей, которыми ты хотел соблазнить твои желания. Так что под коварными покрывалами твоей болтовни, расшитыми этими словами-призраками, появился предо мной, знай это, – лишь ты один, угрюмый и лживо изменчивый собеседник! (*Каспар Ауерсперг, с бровями чуть сдвинутыми, но с совершенно бледным лицом, продолжает смотреть на Акселя молча, не разжимая рук.*) И вместе с тем, какое мне дело? Разве я судья тебе? Разве мне тебя осуждать? или оправдывать? И кроме того, ведь вот уже наступал час для шамбеллана, чтобы вновь надеть свою цепь, вернуться к своим... удовольствиям, освободить, одним словом, мое уединение от своей ничтожной тени. Долг мой, завещанный мне моими, был, следовательно, только скрыть от него серьезное облегчение, которое представлял для меня его отъезд. Поэтому я готов был уже проводить тебя до своего порога с благосклонностью и пожелать тебе доброго пути. Ты был для меня прохожим, как всякий другой, и имел право на внимание, подобающее человеческой форме. Как-никак мертвым отдают честь! Вдруг я замечаю, что ты воспользовался своим досугом здесь! и что ты наткнулся на одну из самых важных тайн моего дома. (*Командор при этих словах вздрогнул и после с недоумением посмотрел на графа Ауерсперга: он остается немного ошеломленный с полуоткрытым ртом.*)

К о м а н д о р (*сам с собою, вздрагивая*). А! Так это потому!.. Так, значит, это правда!

А к с е л ь (*голосом столь суровым и глухим, что он походит временами на рыкание льва*). Правда. Ты разворошил еще тлеющий пепел. Ты не должен был ни осведомляться, ни слушать! Это большое несчастье для тебя, что ты уступил этому искушению. Ты замедлил в качестве шпиона в этом жилище. Я не допущу, чтобы ты разгласил мою тяжелую тайну, потому что я – дракон, который стережет ее. Прочтя неожидан-

но в твоих глазах намерение убить меня сегодня ночью для того, чтобы более свободно иметь возможность расточить эту великую мечту в каком-нибудь подлом предприятии, я смеялся, уверенный, что еще поймаю тебя на этом до твоего отъезда. Да, два раза за столом я прочел этот замысел в твоем голосе блистательного злоумышленника – и подглядел твои низкие мысли под моей маской рассеянности.

Командор (*сжимая кулак на рукояти шпаги и почти сам с собою*). Как! этот хвастун намерен целиком овладеть этой ослепительной горой золота!.. Прежде всего смутим совесть этих солдат. (*Овладевает собой, и после без всякого перехода тоном сухим и строгим.*) Эти напыщенные оскорбления оставляют меня совершенно равнодушным. Шпага у меня в руке, и через несколько минут... Тем не менее я должен предварительно высказать несколько соображений менее высокого характера, если вы ничего против этого не имеете, так как из слов ваших я заключаю, что вы находитесь вне закона. Вы укрываете здесь, в качестве наследника, склад значительных национальных имуществ. Вы уже виновны перед государством, граф Ауерсперг, в том, что в течение такого срока вы превращали их в недвижимость, и первый узнавший об этом немец может вас принудить *возместить* эти сокровища вашей стране! Удерживать здесь – значит похитить.

Аксель (*несколько изумленный, спустя мгновенье*). Э!.. Откуда появился этот суровый судья? За столом он восхвалял перед нами с жаром традиционных рыцарей с большой дороги, с гордостью именовал их «предками» и восхвалял их разбойничество. А теперь он является уже в своих речах законохранителем и преподает нам уроки честности. Что может обозначить это благородное изменение фронта?!

Командор (*с холодной усмешкой*). Слова мои были испытанием – на что я имел основания, как выясняется. Итак, вы замышляете похищение этой казны, доверенной вашей сыновней честности?

Аксель. И только что этот честный советчик обвинял меня в том, что я ничего не сделал для исполнения этого. Это новое испытание, не правда ли?

К о м а н д о р. В таком случае докажите, что я клевещу на вас, возместив, повторяю, Германии... (*останавливаясь*).

А к с е л ь (*улыбаясь*). Посмей сам договорить!

К о м а н д о р (*слегка кусая себе губы*). О, вы обязаны лишь официально заявить...

А к с е л ь (*пожав плечами*). Только что мой долг был возместить то, чем я не только не владею, но чего самое существование даже неизвестно наверно! А теперь мне достаточно просто заявить – и я оправдан!

Граф Ауерсперг, прежде чем принудить личным оскорблением к немедленному началу поединка, оборачивается к трем ветеранам, без сомнения, для какого-нибудь окончательного приказания.

Вдруг, поглядев на них, он вздрогнул... Конечно, при первом взрыве негодующего обвинения юного графа, они затрепетали в священном сочувствии, и в их смущенном понимании бронзовые звуки этого голоса даже смешивались иногда со сверканием молнии. Как ненавидели они этого опасного противника с холодными глазами и с голосом наемного убийцы! А! Как ни неистова будет готовящаяся схватка, они полны слепой веры в ее добрый и победоносный исход!.. Тем не менее при последних словах командора тень пала на их честные лица: беспокойство, в котором они сами не смели себе признаться уже в течение стольких лет, теперь поднимается в их прямых и простых сердцах.

Действительно, слова, произнесенные командором, будучи более доступны грубости их смиренного понимания, показались им как-никак скрывающими серьезную правду, о которой, из уважения к безупречной честности их юного господина, они всегда воздерживались думать: они готовы были бы отдать всю свою кровь, чтобы он соизволил ответить.

Граф Ауерсперг, поймавший этот взгляд, начинает понимать тайное намерение своего противника, которого он наблюдает теперь со страшной зоркостью.

Циклон удалился, и в течение долгой минуты в высокой зале не слышно ничего, кроме непрекращающегося шума ливня, который порывами ветра разбивается об стекла.

А к с е л ь (*после сильной внутренней борьбы*). Пусть! (*Указывая шпагой на старых солдат*). Только ради них одних,

слышите вы? Я снисхожу отвечать вам на этой уважаемой мною «законной» почве, на которую вы становитесь, имея в виду скандализировать этих людей своими придирками лотарингского крючкотворца. Я же не боюсь тени этого трепета крыльев летучей мыши.

Солдаты, свидетели дуэли, вставьте ваши факелы в кольца на стенах и будьте судьями. (*Он направляется к одному из сидений, садится и опирается правой рукой на стол, еще освещенный огнями: обнаженную шпагу он держит между скрещенных ног, опираясь левой рукой на эфес. Готтхольд, Миклаус и Гартвиг повинуются. Теперь они стоят неподвижно, правой рукой опершись на свои шпаги. Укко облокачивается на спинку кресла Акселя.*) Я утверждаю, что я вправе распоряжаться ими по моему усмотрению, здесь, что же касается фактов моего поведения – я принимаю, если вам угодно, допрос.

Командор (*бесстрастно, со шпагой в руке стоит в глубине залы*). Я сказал, милостивый государь, что самый элементарный долг ваш осведомить сию же минуту и до какого бы то ни было поединка государство, от которого вы зависите и которое, утверждая вас в правах наследства, этим дает вам право говорить здесь в качестве хозяина. Вы – его подданный, и как таковой вы должны известить или высших казначеев его, или правителей, или, наконец, тех его представителей, которые санкционировали своим именем всеобщую честность, выражают ее и являются ее доверенными.

Аксель (*очень холодно и раздельно произнося свои слова*). О, если бы им подобные не были вынуждены некогда устроить убийство моего отца для того, чтобы овладеть, приняв продолжение его дела в свою личную пользу, казною, официально ими же доверенною его мечу, – и чье предательство тем не менее бросило тень на его военную память, – эти замечательные ценности, о которых вы говорите, уже давно были бы в законных руках. Вы забыли, что здесь я один имею право обвинять! Государство же, если эти лица были его уполномоченными, солидарно с их действиями. Откуда следует, что его честность (которую они представляли) – мертвая, клятвопреступная и напрасная! сама себя, наконец, уничтожившая,

лежит у порога моего дома... Поэтому вполне законно, что узы моего долга относительно этого сознательного существа, уменьшенные этим клеветническим человекоубийством, вознаградить за которое оно меня не может, – несколько ослабли. И поэтому, так как неблагодарность, которую тщатся еще мне внушить или навязать отродия убийц, совершенно не связывает моей совести, я нахожу необходимым посвятить... свободные минуты... исправлению, на радость сообщников неловкостей этого преступления.

Командор (*спокойно*). Как! Разве это не самый удобный, наоборот, случай для вас вчинять иск самому государству, указав ему на представляющуюся, весьма допустимую вероятность? По какой же причине упускаете вы эту возможность?

Аксель (*по-прежнему отрывисто и холодно*). Раз государство, которое дало мне здесь смущающие примеры, позволило себе по-прежнему мне во вред, произвольным декретом, который отменяет всё без права апелляции вплоть до моих прав быть обвинителем, окончательно прекратить этот процесс, – я с этого момента ни при каких обстоятельствах не имею права сообщать ему свои более или менее химерические предположения... которые оно не облечено больше властью судить, которые оно само себе запретило выслушивать.

Командор. Вы унаследовали перед всеми не исполненный вами долг.

Аксель. Помилуйте! Ваша честность вводит вас в заблуждение. От солдата, умершего при исполнении своего долга, никакое государство, – и мое меньше всех, кажется! – не имеет права требовать ничего больше. Совершенный или нет, долг его исполнен, и ребенок этого солдата никогда не наследует никаких дел военной службы покойного.

Командор (*между тяжелыми раскатами грома*). Существуют случаи исключительные и непредвиденные, в которых каждый дворянин обязуется своею честью донести своему королю, приговор которого единственный не допускает апелляции.

А к с е л ь (*голосом медлительным, серьезным и горьким*). Вы забываете, что он был произнесен. Кто я, по мнению короля? «Отпрыск того, чья *сомнительная и уклончивая неспособность* погубила безвозвратно самые сбережения Германии». Вот вердикт, произнесенный без следствия, на основании видимостей (не без причины, однако!) над именем, в котором сосредоточены семь веков исторических деяний. Предполагая, что такой ярлык, надписанный на этом имени королем, не освобождает меня ото всяких обязательств дерзкого величества того, кто не поколебался оскорбить меня, я утверждаю, что он мне не позволяет, соблюдая чувство собственного достоинства, сообщить ему то... что никогда не может быть иным, чем угодливым и тайным *выражением доверия.* Ибо оно теперь получило бы скрытый характер формального обличения во лжи того приговора, которым он осмелился опрометчиво затемнить августейшую память моего отца. Но *на чем же* было основано подобное обличение во лжи? На *предположениях* авторитета столь неоспоримого, как мой дряхлый интендант господин Захария?.. А! Я повторяю, что самая щепетильная лояльность не может обязать меня рисковать покрыть себя таким бесплодным и смешным позором. Мне мое время необходимо для других занятий.

К о м а н д о р (*медленно*). Итак, если я возьму на себя осведомить вашего короля в выражениях тактичных и серьезных, которыми, быть может, удастся рассеять ту тень, которую оставило в истории имя вашего отца, – вы не откажетесь от этого?

А к с е л ь. Соображения, мне совершенно чуждые, суетность которых обнаружится от рассмотренья при свете самого законного благоразумия!.. Вот в каком виде является, не в мечтах, а в действительности, альтернатива моего сыновнего долга. Если мы предположим, что после изысканий, предпринятых с большими издержками, принимая на веру указание сомнительной легенды, – эти загадочные сокровища не будут найдены, то в этом случае на имя моего отца прольется поток раздраженных сарказмов, злословий разочарованного стяжания, задних мыслей, еще более ос-

корбительных относительно его памяти, особенно принимая во внимание то новое освещение, в котором явится его смерть, – и всеобщее заблуждение может только отягчиться. Если предположить, что богатства будут вдруг найдены, так как открытие их повлечет за собой неизбежные бесчестия и самый досадный скандал, – поскольку оно коснется безопасности, доверия и чести самих официальных представителей общества, то вот приблизительно содержание того, что, по свидетельству всего прошлого, целиком – государственная необходимость, которая одерживает верх над правосудием в делах этого порядка и о которой вы умалчиваете, неуловимо продиктует истории. Вот что узнает потомство:

«До сих пор еще неизвестно, с какими целями генерал Ауерсперг, за несколько дней до встречи с неприятелем, взял на свою ответственность – окружив это предосторожностями, которые сбивают и путают, – спрятать в наиболее потаенном месте одного из отдаленнейших своих владений громадные ценности, о которых идет речь.

История не может установить, какие побуждения заставили его решиться на это скрытие германской казны. Тем не менее сын его Аксель Ауерсперг актом благородного возмещения сумел заставить позабыть всё то, что непоследовательность его отца представляет в данном случае необычного и даже подозрительного, – и что на некоторое время бросило тень на герб этого знаменитого рода, дотоле безупречный».

Да, такова будет блестящая поправка к существующей молве, которою я сумею обновить память о моем отце-герое. Поэтому мое сыновнее благоговение, более проницательное, чем ваши советы, предупредило меня, что при таких обстоятельствах совершенно не в сыновних моих интересах подымать из могилы его тень.

К о м а н д о р. И, убедив самого себя этими парадоксальными тонкостями, вы принимаете, странно воздерживаясь от подачи своего голоса, заблуждение, тяготеющее над этим прахом, как совершившийся факт? Между тем как, повторяю вам, простое сообщение совету министров могло бы вопреки вашим неосновательным предрешениям вернуть

всё минувшее достоинство вашему имени, которое в то же время и мое.

А к с е л ь. О, в *моем* роде, милостивый государь, мы никогда не нуждались ни в ком для распоряжений о восстановлении чести нашего имени, так как родина, в течение веков утверждаемая подвигами нашими и наших пэров из военной аристократии, обязана нам самой высокой своей честью... И нет, значит, никого, кто мог быть достоин проверять честь тех, чья естественная обязанность есть сообщение реального смысла чувству чести других людей, и мы слишком мало заботимся об не имеющем для нас ценности уважении этих прохожих, как многочисленны бы они ни были, которые позволяют себе судить о ней. Мне, следовательно, нечего считаться с вашими последними словами. Здесь я живу в своем родовом доме, у очага изгнания, в стране изгнания, и родина для меня теперь лишь пустое место. Мне нечего заботиться о том, что может быть погребено в окрестностях этого жилища, так как мой отец не оставил мне никаких указаний по этому поводу. Ни один закон не принуждает меня этим заниматься, и никто не может не признать моего права отказаться от этой заботы.

К о м а н д о р. Отец ваш тем не менее завещал вам конфискацию благосостояния многих миллионов людей совершенно невинных. Во имя обиды, которую вы себе создали против некоторых, вы прикрываетесь опущением закона, чтобы выместить на всех свою досаду, столь же экзальтированную, сколь несправедливую.

А к с е л ь (*улыбаясь*). Воистину самый красноречивый из финансистов самого крошечного государства Запада ограничился бы в настоящую минуту тем, что посмотрел бы на вас молча: так удивительно слышать со стороны царедворца доказательство столь глубокого невежества. Если ваши познания относительно природы золота ограничиваются лишь умением тратить его, они недостаточны, чтобы было позволено отвечать вам.

К о м а н д о р (*бесстрастно, не поняв*). Увертки, торжественно возглашаемые, не могут убедить того, кто защищает интересы всех.

А к с е л ь. Интересы всех! Благородная цель, которою под возгласы столетий князья-грабители оправдывали во всех странах свои лихоимства и которая до сих пор еще дозволяет вымогать у народов благословения, когда их спокойно обкрадывают во имя их интересов. Нет, мне незачем приглашать сюда для грабежа обычных подвижников за «общественные интересы».

К о м а н д о р (*холодно*). Прекрасно! Если по этим особым мотивам вам не угодно взять на себя инициативу извещения заинтересованных государств, то предоставьте другим принять на себя ответственность, и вас вскоре освободят от этого золота, которое вам чуждо и с которым вам нечего делать.

А к с е л ь (*спокойно и надменно*). С какой стати дозволю я, имея возможность этому воспротивиться, чтобы тысяча или две человеческих скотов, на вашем жалованье, появились здесь неожиданно, оскверняли бы и долго, и насильственно, грубым смехом своего присутствия единственное место изгнания, в котором я с достоинством хороню свою жизнь? Я знаю, что людям закона может показаться совершенно простым, во имя этого «общественного интереса», лживость которого только что выяснилась, – под предлогом отыскания этого воображаемого, быть может, золота, чтобы колонны землекопов прошли на законном основании обезображивать эту землю, стоящую благородной крови целой расы, которая сосредоточена во мне, – и расхищать эту почву, которую мои предки в течение веков попирали с сыновним благоговением: что им до этих доводов чувствительности? Меня ведь вознаградят за тысячи этих старых деревьев – моих старых друзей, которые будут срублены и выкорчеваны? Нет. Молчание старого леса – графство, которого я являюсь маркграфом, – не продается. Оно дороже мне всяких слов: это священная собственность, которую я не допущу отнять у себя, и золото ваших банков не вознаградит меня за нее. И если бы даже пресловутое увеличение благополучия целого миллиона безразличностей должно было воспоследовать, я утверждаю, что куча булыжника лишь призрачно перевесит на весах дра-

гоценный камень и что благополучие это, по реальной справедливости, никогда не уравновесит того подлога, жертвой которого буду я.

Командор. Кого же сумеете вы убедить, что подобные богатства не стоят розысков, хотя бы ценою всех молчаний?

Аксель (*презрительно*). Себя самого. И этого достаточно. Думаю даже, что я уже давно доказал, что эта задача вовсе не такая трудная. Вполне допустимо, например, что вы предпочтете золото (даже призрачное) всем молчаниям, потому что молчание для вас не представляет ничего, кроме зевоты. В действительности же это слово пустое, когда вы узурпируете право произносить его, хотя и состоит из тех же звуков, не имеет даже тени сходства с тем, что я возгласил только что. И напрасно вы хотите смешать их в единое понятие... (*Улыбаясь.*) Поступок фальшивого монетчика или попугая.

Командор (*невозмутимо*). А если благодаря какому-нибудь неожиданно найденному отцовскому указанию вам случилось бы открыть эти великие сокровища, в чем бы состоял, по-вашему, долг ваш?

Аксель (*спокойно*). Еще глубже закопать их в землю, если бы это было возможно для меня, достоинства ради бедняков.

Командор (*после молчания*). Шалость, которая долго длиться не может, пока не пробьет час зрелости мысли!

Аксель (*серьезно*). Сомневаюсь, чтобы для вас он пробил когда-нибудь.

Командор. Хорошо. Вы считаете себя свободным, кажется, сознательно исказить поступок того, кто не оставил никаких указаний для того, чтобы лучше обеспечить временную безопасность этих национальных имуществ, дабы передать их неприкосновенными уполномоченным Германии, когда час наступит!

Аксель. И это его собственный час подготовили для него уполномоченные Германии. Поэтому здесь они или

нет, какое мне дело! Пусть они спят! И я по крайней мере разделяю со всеми остальными право ничего не знать о них. Благодаря преступному двуличию ваших доверенных никто не знает, что сталось с золотом: Германия отказала мне в законном праве на расследование относительно события, объясняющего и мотивирующего это исчезновение: время легло на эту старую историю... и так да пребудет.

К о м а н д о р (*невозмутимо*). В заключение, вы знаете происхождение богатств, спрятанных для меня с этой минуты, вне всякого сомнения, на вашей земле! Вычеркивать их таким образом – значит всё же распоряжаться ими; на какой же закон можете вы сослаться для этого?

А к с е л ь. Закон охраны забвения.

К о м а н д о р. По какому праву?

А к с е л ь (*подымаясь, спокойный и мрачный*). По праву, подписанному тою кровью, которая их укрыла и за них уплатила. (*После долгой минуты молчания.*) Я прибавлю тем не менее еще одну вещь, о которой вы меня не спрашиваете. В Германии есть столько несчастных, чья голодная нищета – дело рук ваших – надрывает сердце на вас взирающих, что было бы несколько подло самого себя лишать права оказать им помощь, – в том, например, случае, если бы золото, о котором мы говорим, явилось бы безусловно как случайная *находка.*

Действительно, вычеркнутое из воспоминаний, запрещенное официальными декретами, забытое своими вознагражденными вкладчиками, пусть сто лет пройдет еще, положение его не изменится. Что же остается от него? Легенда. Если оно существует еще, его знаки образуют нечто вроде руды, украшенной гербами, погребенной неизвестно где под лесом. Это вакантное чудо остается, следовательно, на волю всякого, кто, ведомый одним из предначертаний необходимости, бодрствующей над судьбами людей, явится ему предназначенным. Да, *законным* наследником его будет первый путник, который, когда земля оборвется под его ногами, вступит, как слепец, колеблясь, в коридоры, где пылают эти мертвые сокровища. Почему? Потому что он получит свои

полномочия от Случая, являющегося ныне его единственным *владельцем*.

Хорошо. Ни одна запись не раскрыла мне тайны того глухого места, скрытого под сводами земли и мрака, где спят имперские сокровища Германии. Отец мой не являлся мне, чтобы открыть место его нахождения. Если бы поэтому оно было вдруг найдено мною самим и я бы при этом не был виновен в каких бы то ни было розысках, – другими словами, если бы я сам выиграл право быть для него только прохожим, то во имя каких дутых угрызений совести или какой лживой разборчивости воздержался бы я от царственного долга защиты его ценности против низких употреблений, которыми толпы живущих не замедлили бы его обесчестить? Зачем швырять меня обратно Судьбе, – от которой я, тем не менее, принял жизнь! – новый ответственный дар, которым она как бы предписывает мне располагать? Повторяю еще раз, не предприняв ничего, чтобы овладеть этим наследством, когда я знал, что оно здесь, я бы почувствовал себя помазанным на владение или, если бы оно пришло ко мне со дна неизвестного. Каким бы громадным ни явилось мне оно в своем сверкающем ужасе, я стою на том, что оно было бы моим... Как потерянный кошелек, который богомолец нащупывает ногой вечером на дороге, в то время как глаза его были устремлены на звезды!

Командор. Я же думаю просто вот о чем, – недра земли принадлежат государству: если, узнав по слухам об этой важной тайне, сюда направят несколько отрядов рудокопов и военных саперов, вы будете принуждены вернуть государству его собственность, ибо его полицейские команды будут мало чувствительны к великолепию ваших речей.

Миклаус, Гартвиг и Готтхольд (*с коротким, уверенным и звучным смехом*). Ого!

Укко (*слегка пожимая плечами*). Жаль, что мне неохота смеяться.

Аксель (*командору*). Фантазия! Ни один удар киркою не прозвучит в этих лесах, и ни одни из этих несчастных не выйдет отсюда. И... именно для того, чтобы избежать

зловонных испарений, которые будут подыматься с места напрасной бойни, я предпочитаю убить вас одного.

К о м а н д о р. А, так? Я грежу? Вы замышляете бунт против закона? Против государства? Против короля?

А к с е л ь (*серьезно и пренебрежительно*). Один я знаю, какие глубокие опасности, какие смертельные западни таит и может нежданно выявить этот военный лес, которым мы правим уже три века! Четыреста или пятьсот солдат, высланные против этой земли, не сделают двадцати лье под сводами этого леса по направлению к крепости без совершенно случайной катастрофы: земля, по которой они ступают, опрокинется и прикроет их, и они исчезнут так же таинственно, как золото, которое они пришли искать. Отсюда результат: если подобные случайности осложнят самое начало предприятия и без того неопределенного и сомнительного, то предприниматели, пожалуй, задержат новые поиски столь случайных ради прибылей; время пройдет в нерешимости, в тщетных расследованиях, в пояснениях; потом заботливое придет забвение... словом, вещи останутся в том же положении, согласно моей тайной воле.

К о м а н д о р. Предполагаю, что вы знаете, что такое сила нескольких сот, тысячи, если надо, хорошо дисциплинированных и умно руководимых людей; так неужели ваша совесть холодно решится на такое преступное безумие?

А к с е л ь (*улыбаясь*). Здесь мне не в чем отдавать отчета, в этом пункте я не допускаю суда над собой. Одобрения, порицания и недоумения для меня одинаково безразличны; в «совести» моей разбираться имею право я один, и я решаю; и этим всё сказано.

К о м а н д о р. Эти бесстыдные заключения только сверхчеловечны, милостивый государь, а это значит слишком мало.

А к с е л ь (*подымаясь*). Ваша воля тщится не верить этому. Но ценность ваших доводов сведена к нулю, прения закончены – и не для того в наших руках шпаги, чтобы продолжать словесные прения. (*Заметив улыбку командора Ауерсперга при этих словах, он вдруг продолжает, снова становясь*

свирепым.) А! Вижу, что, почувствовав себя сильным после данного тебе слова, ты слепо полагаешься на свою опытность во владении этим оружием. Моя клятва должна была показать тебе, какую обратную веру должен питать я, чтобы пожелать освятить таинственной кровью законного поединка мои права на молчание и на забвение, особенно когда мне было бы так дозволительно устранить тебя без опасности. Так хорошо же, я предсказываю тебе: ты не уйдешь от моей шпаги. Это так же, как если бы ты наступил на гром. Я тебя похерю без гнева, как сбрасывают камень со своего пути, и смерть твоя не смутит в моем мозгу течения ни единой из моих мыслей, более высоких, чем те, которыми мы сейчас заняты, они же тебе недоступны. Ты ничто, и я вычеркну тебя, не боясь угрызений. В тебе нет души для меня: ты – вечная ночная бабочка, которая своей собственной волей прилетает, чтобы погибнуть в пламени вечного факела. И об этом вы теперь предупреждены. Я кончил.

Командор (*про себя*). О, я хочу узнать еще кое-что, прежде чем убить его! (*Громко, холодно.*) Ты отвлекаешь меня; ты устал; эта самая понятная из твоих речей. Резюмируем! Ты хочешь похитить у различных государств Германии суммы совершенно безмерные и – я тебя стесняю. Прекрасно. При таких обстоятельствах, граф... (*с пренебрежением бросает шпагу*) я не дерусь. С какой стати оказывать мне эту честь грабителям, будь они даже из моей семьи?

Аксель (*спокойно и серьезно, громким голосом*). Если бы мой любезный отец не оказал вам некогда, по своей слабости, чести коснуться его руки и признать вас своим родственником (в своей рассеянной снисходительности, под охраной которой вы находитесь уже в течение двух часов), я бы раньше еще наказал эту бесчестность, хвастовство и пустое бесстыдство; покончим же с этим. (*Спокойно, как бы отдавая простое приказание.*) Мой замок является стратегическим ключом Германской марки. Императорский рескрипт облекает сюзерена этого места правом вершить суд гражданский и уголовный, даже во время мира. (*Укко, указывая на карабин.*) Посему, во имя этого наследственного моего права, возьми

это ружье: прицелься этому человеку в сердце, и если он не подымет сейчас же своей шпаги, – стреляй! (*Укко бросается к стене, хватает ружье, взводит курок и, вернувшись, останавливается в трех шагах от командора и прицеливается.*)

Командор (*очень бледнея от неожиданности*). Там, в Пруссии, знают, что я здесь. Вам придется, следовательно, дать отчет в своих поступках и словах. Для того чтобы оправдать убийство, вы ссылаетесь сознательно на мертвый закон, на феодальное право, отмененное давностью. Вы притворяетесь, что не знаете, в каком веке мы живем.

Аксель (*равнодушно*). О, если вам угодно, можете отметить себя хоть завтрашним днем. Я есмь днесь.

Командор (*с нетерпеливым холодным гневом*). Оставьте! Это вы все говорите о вчерашнем дне и не предвидите завтрашнего. Я же, милостивый государь, удовлетворюсь быть человеком здравого смысла, жить в своем веке, быть человеком сегодняшнего дня.

Аксель. Тогда берегитесь: уже поздно.

Командор (*еще сдерживаясь, но весь трепеща, почти про себя*). Быть самому поверженным на плиты этим выспренним мечтателем, когда, передай я только его слова королю, достаточно хорошей горсти полицейской стражи, чтобы по простому распоряжению о невменяемости взять его за горло вот в этих самых развалинах и увезти в наморднике в какую-нибудь крепость!

Укко (*вполголоса*). Знак, и я стреляю, ваша светлость.

Командор (*смело скрещивая руки*). Хорошо же, убивайте! или же, согласно вами данному слову, отвечайте без уверток на этот вопрос: «*Где я и кто вы такой?*» Только прошу вас на этот раз быть точным и ясным. В нашем обществе мы не уважаем краснобаев.

Аксель (*с жестом нетерпения*). Здесь тоже не ценят пустословия. А, ты осмеливаешься требовать, чтобы я ради твоего любопытства сдержал больше чем свое слово. Хорошо же. (*Мрачно.*) Ты будешь удовлетворен. (*Укко.*) Опусти на минуту твое ружье. Три раза этот камергер угрожал нам

своими королями, своими жандармами и себе подобными, если свести этот павлиний хвост до обыкновенных размеров, то он окажется ключами, вышитыми на спине его мирного мундира: воистину это в конце концов достойно головокружения! Пусть же он узнает, где он и кто я: клянусь, что у него не хватит времени это позабыть. (*Он берет свою шпагу за середину и, приближаясь к командору, который глядит на него, скрестив руки, эфесом касается его плеча.*) Вы находитесь в этом единственном лесу, который своею ночью покрывает пространство в сто лье. Он населен двадцатью тысячами лесников, вооруженных опасными карабинами, старыми солдатами, рожденными от крови, наследственно мне верной. Я бодрствую в сердце его, в очень старом каменном замке, который отразил уже три осады. От края моего рва до самых отдаленных опушек и деревни и хижины управляются сами собою; пяти дней достаточно, чтобы все одновременно были осведомлены об отданном за этой стеной приказе, скорее выраженной просьбе, так как и при малой любви просьба действует сильнее приказания, а в этом лесу сердца настолько одичали, что даже вы не найдете между ними изменника. Впрочем, какое это имеет значение! О всяких запоздалых гостях, об одном ли или о многих, направляющихся ко мне, меня быстро извещают: соответственно их числу принимаются меры предосторожности, и при приближении все уже находятся настороже. Раз кто вступил в просторы леса, расстилающиеся один за другим, он не может уже жить, ориентироваться, устраивать себе ночлег, подвигаться вперед, не будучи замеченным. Лишенный прямой моей помощи, разве могли бы вы добраться до меня? Нет. Еще за много дней до вашего приезда сюда, ветер донес до меня, что два всадника... (*вдруг останавливается и вглядывается в него своими ясными глазами*) и один из них женщина... (*минута молчания; потом сам про себя, как бы окончательно разрешив свое сомнение, видя внимательное безразличие командора*) они не знают друг друга... (*холодно продолжает начатую фразу*) направляются к моему жилищу. За ними следовали, следили и подслушивали. Я направил к вам проводников, которые привели вас на мой

порог меньше чем в шесть дней. Вы только что упоминали об отряде полицейских, направленных к этой башне, чтобы овладеть моею особой?.. Что бы от них осталось в лесных чащах на мою добрую волю, если я сам не приказал бы их привести к моему подъемному мосту — спущенному перед ними именем короля? Что же? Они вошли бы — и еще с начальственным видом, без сомнения! в военный двор замка... Тогда, даже не беспокоя никого из моих слуг... (*Он идет к окну, раскрывает его и звуком своего охотничья свистка пронзает шум ливня и ночи. Раздается ужасающий лай, смешанный со звяканьем цепей; можно различить глухие удары тяжелых масс, разбивающихся о крепкие двери.*) Да, у меня там, вы слышите? тридцать ульмских догов большой свирепой породы; военные собаки. Эта дикая свора, которая слушается только моего голоса, служит мне для ночных охот; она непрерывно рыщет вокруг меня в окрестностях леса. Через несколько минут от ваших людей останутся одни кровавые кости на траве. Разумеется, я сумею выразить очень глубокое сожаление об этом прискорбном событии, свершившемся так неожиданно... что мне не было времени не только предотвратить его, но даже узнать о цели этого посольства! И я официально, в присутствии всех слуг моего замка, накажу моих собак, потому что я вовсе не хочу сойти за мятежника!.. Только я думаю, что после двух-трех проволочек в этом роде ко мне перестанут посылать такого рода посетителей. Оставьте же ваши детские угрозы, на которые улыбаются эти старые солдаты и этот мальчик.

При самом первом намеке, при одном предчувствии убийц, направленных против меня, которые, как я сказал, погибнут несомненно при первых же переходах в каком-нибудь рве, — я приму сейчас же оборонительные меры, с этого момента имея право смотреть на царственных особ, принимающих против меня такие меры, как на простых противников на поединке, избравших своим оружием убийство. Нет, мне неудобно отказываться от этого оружия, предпочитаемого королями. И, кроме того, не являются ли они сыновьями тех родоначальников династий, которые когда-то в глубине прошлого тоже возмутились против своих владык и сместили

их? И я постараюсь, доказав им, что характер мой в этом по отношению, по крайней мере, не ниже характера их предков, показать себя достойным той *чести*, которую они оказывают мне, сознательно или нет, всё равно.

В действительности я располагаю здесь несколькими стрелками, на которых можно положиться. Кроме леса, я имею под руками доброе количество рудокопов, с крепкими руками и суровыми лицами, которые еще помнят о тягостях своей юности в армиях, чьи плечи еще хранят шрамы, плохо зарубцованные временем. Никто, кроме меня, не может себе составить понятия о таинственном чувстве мести, совсем застывшем и которое крепнет в их жилах, когда они, зажав в руке кирку, бродят в глубине подземных галерей, думая о ваших изящных принцах. Быть посланными в такую столицу, где можно среди обыденности дождаться случая верной и быстрой пулей настигнуть короля, было бы для них жгучим опьянением, их единственной жаждой, которую бы они утолили охотно платой ваших палачей. Вы признаете, что у меня достаточно золота, чтобы оплатить эти их желания, и что план «цареубийства», как говорят в городе, был бы так искусно составлен мною, что их благополучное возвращение было бы более чем вероятно. И я уверен, что после двух или трех таких предупреждений и совпадений августейшие наследники моих соперников по короне не станут больше беспокоить моего уединения... что еще тем удобнее, что в моей неутомимой самозащите я не утомлюсь первый.

Допустим теперь (не следует ли предусмотреть всего?), что под влиянием советников, подобных вам, кто-нибудь из глав германских «партий», раздраженный в конце концов столькими неуспехами, и дорогостоящими и угрожающими, не будут в состоянии больше терпеть это постоянное нарушение их формальных приказаний, быть может, тоже и по некоторым подозрениям относительно этих возмутительных фактов, начиная остерегаться более сознательно не только меня самого, но и тех, кто молчаливо окружает меня, — допустим, говорю я, потому что ведь никто не может себе представить, до каких решений может довести какого-нибудь

владетельного князя его негодование[1] – что этот законный владыка направит сюда силы более или менее серьезные, – так, например, восемь или десять тысяч человек, с поручением занять военной силой Черный лес, сравнять с землей мои укрепления и привести меня живым или мертвым! Всё это с единственной целью, чтобы сила осталась на стороне закона.

Во имя человеческого права я заявляю, что воевать с одиноким изгнанником, виновным лишь в законной защите молчания и свободы, твердо решившимся отстоять свое одиночество во что бы то ни стало, предпочитая лучше взорвать себя на воздух, чем сдаться, Да, я утверждаю, что воевать с таким человеком – это деяние, достойное стать посмешищем истории, оно достойно презрения народов, оно – бесчестие для страны. Но какое мне дело!.. Благодаря моим предкам, которые в течение стольких лет с наследственным терпением, о котором я свидетельствую в настоящий момент, – укрепили мой замок, я готов противостоять этим воинственным фантазиям. Будучи рожден от крови воителей и зная точно протяжение почвы, которую может занять здесь корпус в десять тысяч человек, разделенный на колонны наступательные, штурмовые и запасные, я уже давно принял свои меры. (*Граф Аксель Ауерсперг садится снова в той же позе, как раньше, облокотившись, около свечей, озаряющих стол. Раскаты грома и круговые судороги потопа, кажется, приблизились уж несколько минут назад, замыкая высоты замка как бы для последнего натиска.*)

Прежде всего, да будет вам известно, что горная и лесистая местность вокруг меня препятствует какому бы то ни было передвижению артиллерии: здесь со всех сторон и на далекое протяжение раскинулись круговые и широкие долины, стремительные речные потоки, мириады скал и огромные деревья, столь стиснутые между собой, что, подпиленные у корней, они клонятся одно на другое и не могут упасть; их падение может задержать движение целого войска. Везти пушки в глубину подобной местности с целью идти ко мне напролом потребует действительно весьма тяжелых и очень

бесплодных жертв и кровью, и временем, и золотом... и лишь для того, чтобы потерпеть отражение. Никакая кавалерия не сможет передвигаться в этой местности, военные карты которой, исправляемые из года в год согласно новым требованиям военного дела, находятся *только в моих руках*; прибавлю, что я вовсе не дожидался вражеского нашествия, чтобы его изучить. Понадобятся иные средства, чтобы атаковать меня. *Будет казаться*, что лишь большие пешие отряды, вступившие в необычайный лес, одни смогут достигнуть, правда, с потерями и в беспорядке, до моих окопов, там – другими словами, под прямым огнем с моей стороны, раньше чем они получат возможность приступить к каким бы то ни было работам. Ибо зубцы этого замка в свое время были снабжены сорока восемью осадными орудиями, о! находящимися в полном порядке, и по одному призыву моему они будут хоть завтра обслуживаться гарнизоном суровых ветеранов, знакомых с их обращением. С высоты, на которой господствует этот замок, их мощный огонь покрывает круг больше чем в два лье, и местность этой зоны всегда держится мною наготове поставить достаточное количество хлеба, провизии, воды и даже боевых припасов. Что же касается моих казематов, их кладовые, как и раньше, хранят запасы на время долгой осады. Отсюда и та относительная бедность, которой я горжусь.

Поэтому при враждебном приближении ни один авторитетный жест, обличающий мою истинную власть, не выдаст меня и не даст догадаться об открытом мятеже. Ничего. Бесконечные пространства деревьев, трясин, пропастей, рвов сохранят свой характер, вначале сельский, потом мало-помалу дикий, – и первые ряды инфантерии, проникая вглубь, не услышат ничего от деревни до деревни, кроме веретена веревочников, топоров дровосеков, мирного молотка башмачников, ропота ключей и колыбельных песен. Ничто не будет обнаруживать ни сопротивления, ни опасности. Разве, согласно выбранным ими дорогам, я сделаю кое-какие новые промеры на расстоянии пяти-шести лье от моих траншей. Действительно, к чему поднимать на ноги тех, кого я могу назвать моим народом: до того точного момента пос-

ле их собственного первого нападения лес станет немного более мрачным. Как только первая деревушка будет потревожена пришлыми войсками, все они сами собой соберутся сюда! Для самозащиты в лесу мы имеем свою собственную систему, совершенно неизвестную вашим солдатам и которая будет для них тяжка, она разразится, как гром, над ними, я уверен в этом! Так что неожиданно какой-нибудь темной ночью во время тяжелого сна ваших тысяч солдат просеки вдруг станут раскаленными горнами, и в духоте воспламененного леса взрывы мин еще усилят треск тысяч карабинов, так что заря осветит только окончание бойни. Зимой же всё это только произойдет еще кратче, еще страшней: ибо в этих пространствах, подготовленных уже с древних лет, я располагаю широкими средствами уничтожения и могу привести в действие миллионы этих бойцов, которые не отступают никогда и которых называют деревьями; я знаю, как можно уморить голодом, искрошить, как нейтрализировать силы... которые во всяком случае будут весьма далеки от того, чтобы равняться с теми, которыми начальствую я... Симулируя поражение, я могу допустить по двум тропинкам штурмующие колонны к моим зеленеющим плоскогорьям и моим окопам и затем не только столкнуть на них с вершины колоссальные закругленные скалы, которые раздавят их неминуемо, но несколькими взрывами мин, при помощи старых военных погребов, которые идут вдоль них, я могу перевернуть почву настолько, что она даст этим тропинкам такой наклон, что... старый замок станет для них совершенно недоступен; огонь же его окончательно покончит с ним. И я сочту совершенно химеричным желание определить число беглецов, которые без проводников, без припасов, заблудившись в лесах, на смерть гонимые моими, пытались бы добраться до опушки, чтобы донести до своей земли тревожную весть о поражении. Вслед же за ним последует, конечно, взятие какого-нибудь соседнего укрепления, воззвание к недовольному дворянству и, вне всякого сомнения, война гражданская в Германии. В результате же одной или двух битв, данных согласно плану заранее выношенному, я знаю, какого виновного заставлю я

исчезнуть. Мое право останется неприкосновенно; ибо... разве я сам поставлю себя вне закона?

Вот *в каком месте* находитесь вы, господин камергер. Что же касается меня, я просто мечтатель немного неудобный, с которым королям вашим, быть может, более благоразумно не ссориться. А засим (для того чтобы на этот раз покончить со словами) вы, предполагаю, слыхали об одном юноше минувших времен, который из глубины своего замка Аламонта, построенного на Сирийском плоскогорье, именуемом Крышей мира, принуждал дальних королей платить ему дань. Его звали, сколько я помню, Старцем Горы? – Так вот... (*По его знаку Готтхольд и Миклаус взяли свои факелы; Аксель подымается и, весь освещенный красными отблесками всей залы, глядя на своего противника, спокойным голосом.*) Так вот я, я – Старец Леса!

Командор (*немного угрюмый, но ставший серьезным, оглядывая с ног до головы как бы для виду*). Мятежник! Вы осмелитесь взять на себя такие права?

Аксель (*с пламенем в глазах*). Никто и никогда не имел прав иных, кроме тех, которые он взял и сумел удержать. И знайте же, что я собираюсь овладеть ими всеми! При первом же враждебном шаге ваших повелителей.

Командор (*наблюдая его, вполголоса*). Имея возможность быть королем, почему не стать им?

Аксель (*указывая своей шпагой шпагу, валяющуюся на земле*). У меня иные заботы. (*Глубокое молчание.*)

Командор (*с холодной, бледной улыбкой, как бы принимая свое решение*). Окончательно вы делаете со мною всё, что хотите. Что же, давайте перережем горло друг другу: пусть! (*Нагибается и подымает свою шпагу; затем странным тоном.*) Я думаю, что снять верхнее платье было бы более по форме.

Аксель (*даже не обратив внимания на низкий и подозрительный смысл этих слов*). Принято. (*Оба они, воткнув в пол свои шпаги, поспешно раздеваются до пояса, бросая свое платье на два кресла. Мускулы обоих обнажаются: граф Ауерсперг гибкий, атлетический, волнистый; командор – мощный,*

быстрый и упорный. Взяв свои шпаги, они отходят один от другого на пять-шесть шагов, посредине залы.)

Командор (*твердо и отрывисто*). Солдаты, кавалеры Железного креста, я, Герман Каспар Ауерсперг, барон его величества нашего короля, командор ордена нашего Красного орла, беру вас в свидетели, что я протестовал против вызывающего поведения графа Акселя Ауерсперга, моего двоюродного брата, который, переступив относительно меня все грани угроз, фанфаронадами и оскорблениями ставит меня в крайнюю и безусловную необходимость... посягнуть на его жизнь. (*Быстрым взглядом он исследует ползалы вокруг себя.*)

Аксель (*вполголоса, улыбаясь*). Гордые слова: когда же действия?

Командор (*поднимая высоко шпагу*). На этот раз я дожидаюсь вас, милостивый государь.

Аксель (*спокойно, делая выпад*). Вот.

Оба противника, быстро сходясь, скрещивают шпаги. Выпады командора Ауерсперга следуют один за другим, торопливо, с быстротой спущенного курка и большой уверенностью. Аксель, надменный, отразил клинок столько же раз столь резкими отбоями, что брызнули искры. Так проходит несколько мгновений.

Теперь шпаги, предупрежденные и как бы оценив друг друга, уже не встречаются больше. Обманывая друг друга быстро сменяющимися ложными движениями, они угадывают и избегают друг друга. Они кажутся двумя трепещущими лучами, настигающими друг друга без конца и сверкающими при свете факелов, сплетающимися без видимого прикосновения, почти без звука. Неожиданно два смертоносных удара, отраженные в той же самой вспышке строгой обороной юного графа, нанесены ему один за другим с молниеносной быстротой. Аксель за эти несколько мгновений, как шпаги скрестились, ни разу не вытянул руку. Снаружи ежесекундно раскаты грома.

Командор (*про себя, отступая на шаг, как бы охваченный мрачным изумлением*). Э! но... я чувствую, что я погиб.

Глаза Готтхольда, до этой минуты озабоченного, следили за поединком и читали в движениях ложных выпадов. Теперь они загораются при виде того, что граф Ауерсперг быстро двинулся

вперед на один шаг, и слабость командора, без сомнения, кажется многозначительной старому солдату. Укко, со скрещенными руками, очень бледный, смотрит, стоя около Миклауса, факел в руке которого трясется, в глубине залы Гартвиг с кулаком, зажатым на рукояти шпаги, закрывает глаза, потому что слеза тревоги скользнула на его ус.

Между тем атаки противника на Акселя всё учащаются, искусные, точные, еле различимые движения острия, угрожающие блески сверху и снизу; Аксель стоит как бы высеченным из камня под защитой одной своей движущейся кисти руки, прикрытый своей непроницаемою шпагою.

Вдруг, после отраженного выпада, который, слегка преувеличенный легкой тенью раздражения и усталости, приоткрыл на мгновение противника, Аксель молнийным движением расстилающегося тигра развертывается в парирующем ударе – рука и шпага вытянуты горизонтально; вдруг между противниками в воздухе брызнули капли крови. Командор Каспар Ауерсперг испустил краткий и хриплый крик, глухо придушенный; он поворачивается на каблуках, взмахивает руками, роняя оружие, и шатается; колени его подгибаются; он падает вперед на обе руки; после легкой судороги он остается без движения лицом в землю; через три секунды образуется около его левого бока широкое красное пятно и продолжает увеличиваться.

Укко (*бросается, приподнимает его, поворачивает и ощупывает рану*). Сердце проколото. Всё кончено. (*Молчание.*)

Аксель (*сам с собою, задумчиво, глядя на своего противника, уже застывшего*). Ты прошел, прохожий! Вот ты низвержен в Немыслимое. В твоем узком самодовольстве истончались в течение дней твоей жизни лишь животные инстинкты, недоступные никакому божественному отбору! Ничто не призывало тебя по ту сторону мира! Ты завершил себя сам. Ты падаешь в глубину Смерти, как камень в пустоте – без притяжения, без цели. Быстрота подобного падения, умножаемая единственно идеальным весом, с этой точки неизмерима... и камень этот в сущности более *нигде*. Исчезни же! Даже с глаз моих. (*Громко. Трем старым солдатам.*) Подойдите. (*Готтхольд и Миклаус приближаются: они смотрят, склонившись под своими факелами, на тело, распростертое на*

полу. Укко окровавленными руками поддерживает бледное лицо на своем колене. Гартвиг подбегает из глубины залы и тоже смотрит. Длинные обнаженные шпаги сверкают вокруг трупа.) Спасибо, мои старые друзья, за то беспокойство, которое я причинил вашей нежности! Пусть успокоят господина Захарию. (*Указывая на тело командора Ауерсперга.*) В склеп, где гробницы, сегодня же ночью.

Готтхольд (*на ухо Акселю, рукой прикрывая свои слова от оглушающих ударов грома, которые теперь, вероятно, бьют громко в вершину замка*). Могила уже приготовлена, ваша светлость; она была вырыта для вас, согласно вашему формальному распоряжению в свое время.

Аксель (*невозмутимо*). Пусть: персть персти. (*Роняет свою шпагу, наполовину красную.*)

Уже несколько мгновений сводчатая дверь на вершине каменной лестницы безмолвно раскрылась перед неизвестным лицом. Вошедший – большого роста и удивительного сложения. Его лицо со строгими и законченными чертами кажется лицом человека не нашего века, не наших стран. Оно странно напоминает гиератические или царственные лики на рельефах очень древних мидийских медалей. На вид ему около пятидесяти лет, хотя сияние его серьезных глаз свидетельствует о некоей мощной и вечной юности тела.

Суровая красота всей его личности, сияющая бледность его лица, великолепие его взгляда, кажется, должны запечатлеться навсегда даже в памяти тех, кто его видел один лишь раз.

Его темные волнистые волосы, из которых только редкие серебрятся, разделены (они лишь немногим длиннее, чем это принято в армиях) на таинственственном челе, чья полнота располагает к размышлению. Его темная борода напоминает те фигуры, которые находят выгравированными на Ниневийских медных досках. Вспышки молний освещают его.

Его одежда, почти военной формы, черная, без шпаги, вначале кажется костюмом венгерских военных врачей, но многие детали совсем суровой простоты указывают на то, что это скорее одеяние кавалериста, всегда готового к долгим путешествиям, одеяние, которое достаточно дополнить фетровой шляпой с большими краями и плащом,

В ту минуту, когда он спускается в залу, Готтхольд и Миклаус с помощью Укко подняли бездыханное тело командора Ауерсперга

и, предшествуемые Гартвигом, который им освещает дорогу факелом, они направляются к главной двери.

Граф Ауерсперг надевает на себя платье, и в то время, когда он кончает застегивать свой полукафтан из потемневшей кожи, незнакомец, теперь уже спустившийся до нижних ступеней, появляется перед ними.

А к с е л ь (*про себя*). Мастер Янус! (*Молчание. После, с глубоким вздохом.*) Ах! Я чувствую, как становлюсь человеком только в присутствии этого живущего.

Третья часть

Мир оккультный

Как гостей принимай свои мысли,
Желания – как детей.

Лао-Тзе

§ 1. На пороге

Та же зала.

Сцена I

А к с е л ь, м а с т е р Я н у с.

А к с е л ь (*озабоченный и мрачный*). Учитель, я убил человека.

М а с т е р Я н у с (*зажигая один из древних глиняных светильников*). Так.

А к с е л ь (*вполголоса, потом сам с собою*). Из-за одной тайны... которую я не знаю, которую я вчера еще не помнил и которая вот уже целый час владеет мною. Я думал, что я разорвал эти узы. (*Раскрывает in-folio на одном из аналоев. Пробует читать.*) Душа моя рассеянна до того, что эти слова, которые столько раз ослепляли меня своим светом, кажутся мне чуждыми. – Свершилось! Произошло нечто, что меня связало с землею. Я чувствую это в себе. Я хочу жить.

Мастер Янус (*про себя, глядя на Акселя при свете светильника*). Вот ты созрел для высшего испытания. Пары крови, пролитой тобой ради Золота, смягчили твое существо: роковые токи обнимают тебя, проникая в сердце, – и под зараженным влиянием их ты стал только ребенком, умеющим говорить. Наследник страстей того человека, которого ты убил, древние жажды наслаждений, власти и гордыни ты вдохнул в себя и усвоил своей плотью, и они разгораются пламенем в твоих жилках. Отступник священных порогов, ветхий смертный воскресает в неузнаваемых глазах преступного Посвященного! Час наступает. Она тоже приближается, та, которая отреклась от идеала божественного тайны Золота ради, так же как и ты отречешься спустя немного от твоих высоких свершений ради этой презренной тайны. Так вот оно, конечное раздвоение двух родов, мною в глубине столетий избранных, *да победится простою и девственной Человечностью двойная иллюзия Золота и Любви,* – избранных для того, чтобы в одной из точек Статимого была утверждена власть нового Знака.

Аксель (*про себя вполголоса*). Мне кажется, что я просыпаюсь от чистого и бледного сновидения, которое я грезил в эфирных отлива бриллианта и воспоминание о котором сейчас сотрется. До сих пор я видел лишь свет этого мира иллюзий, разоблаченного предо мною этим человеком; с этого же мгновения явлена мне вся тень его. Великое сомнение охватывает меня. Жизнь кличет мою молодость, более сильная, чем эти мысли, слишком чистая для огненного возраста, правящего мною! Это смерть смутила меня, быть может, кровь... Не всё ли равно! Я хочу разорвать и эти узы и испытать жизнь. (*Грезит.*) Так свою юность я провел в этой потерянной крепости посреди этих диких скал, на которые я сам стал похож, – такой удивительный мудрец, как Янус, воспитал меня, как короля, и облек страшною властью, но лишь оборонительной, – я начальствую в этом ужасном Лесу; теперь же я чувствую, что сердце мое рвется к тем землям, садам мира, чьи берега отражаются в восточных морях, к тем дворцам с мраморными покоями, в которых блуждают белые

зачарованные принцессы и принцы из индусских сказок, не знающие, где спрятаны их сокровища; и я осужден изнывать между этих стен и травить в лесу зверей, чтобы развлечь свое отчаянье! Или мне следовало прибегнуть к этим адским заклинаниям, которые по крайней мере разрушают препоны и разрывают покровы мрачных тайн, быть может, я нашел бы это молниеносное золото!.. Еще дольше оставаться так, чужестранцем... лучше размозжить себе голову в пропасти.

Мастер Янус (*который читал в мыслях Акселя*). Тогда не стоило родиться.

Аксель (*как бы решившись, взглянув на него*). Учитель, я знаю, что согласно древнему знанию, для того чтобы стать всемогущим, надо в себе победить всякую страсть, забыть всякое вожделение, уничтожить все следы человеческого, укрепиться отрешением. Человек, если ты перестанешь граничить вещь внутри себя, то есть перестанешь ее желать, и если отвернешься от нее, она сама, подобно женщине, вернется к тебе, как вода, которая сама течет, чтобы наполнить место, ей раскрытое во впадине ладони. Ибо ты владеешь реальною сущностью всех вещей в чистой своей воле, и ты – бог, которым ты всегда можешь стать. Да, таков догмат и первый секрет истинного Знания. Ну, так этот призрак стоит слишком дорого: я – человек и не хочу стать каменной статуей.

Мастер Янус. Тебе выбор; но мир падает ниц только перед статуями.

Аксель. Какую же ценность тогда представляет для меня власть?

Мастер Янус. Ты, значит, так твердо стоишь за самого себя?

Аксель (*мрачно*). Ах! не переступив еще темных дверей, я начинаю опасаться этого мира видений, где все мои мысли могут сорваться в напрасное безумие.

Мастер Янус. Река боится стать морем – исчезнув в нем.

Аксель. Нет. Цель не стоит пути. Что? Безусловная жертва для того, чтобы найти в смерти, быть может, лишь

Сон – без сновидений? Ничто? – Ах!! Я очень усумнился – в богах!

Мастер Янус. Боги те, кто никогда не сомневается. Подобно им верой уходи в несозданное. Заверши самого себя в астральном свете! Возникни! Сбери жатву! Восходи! Стань цветком самого себя. Ты – лишь то, что ты мыслишь, мысли же себя вечным. Не теряй времени на сомнения в той двери, которая раскрывается; все мгновения, от которых ты отрекся в самом семени их, тебе останутся. Разве не чувствуешь ты, что твоя непогибающая сущность сияет по ту сторону всех сомнений и всех ночей?

Аксель. А если смерть выжжет во мне память?

Мастер Янус. Память? А сейчас вспоминаешь ты о вчерашнем? То, что проходит, то, что изменяется, стоит ли оно того, чтобы о нем вспоминать? О чем же хотел бы ты вспоминать?

Аксель. Устремления как следствия неверного опыта, быть может, тоже память; но кто же поручится мне, что я пребуду, сознавая самого себя в вышнем океане числ, видов и форм?

Мастер Янус. Умей же еще здесь стать тем, что угрожает тебе. Там: будь подобен лавине, которая есть только то, что она уносит с собой.

Аксель. А какое же воленье *несомненное* сосредоточит, по-твоему, в моем существе самое воленье этих враждебных сил?..

Мастер Янус. Одухотвори свою плоть: возвеликолепься. (*Вдруг в страшном раскате грома молния ломает одну из оконниц и низвергается в залу каплями огня, с ослепительным светом. Она блуждает по доспехам и предметам, висящим на стенах, потом устремляется к камину, вспыхивает зигзагом и исчезает.*)

Аксель (*спустя время*). Взгляни, Учитель! Как же можно серьезно принять мысль – которую эта жалкая, случайная молния могла прервать навсегда, уничтоживши мое существо.

Мастер Янус (*бесстрастно*). Существо твое – нет: твое *Статимое*, эту нищенскую суму! И крупинка пес-

ка для того достаточна. А ты еще колеблешься стряхнуть с себя эту зависимость, освободиться от нее? (*Говоря, мастер Янус обернулся к разбитому окну; он всматривался в темный мрачный воздух. Теперь же небо голубеет, яснеет и озаряется: дождь перестал. Далекие шумы умолкают; гроза утихает, как бы одумавшись с этим последним ударом грома. Ночь стала ясной: тихая чара колдует над лесами. Аксель с изумлением глядит в тишину ночи, столь неожиданно преобразившейся. После он молча сходит к очагу, садится, и взгляд его падает на пламя светильника, зажженного мастером Янусом.*)

А к с е л ь. Какое странное сияние от этого светильника. Это старый изаический светильник, найденный в Палестине розенкрейцерами. (*Задумчиво.*) Это пламя, которое глядит на меня, освещало Соломона, быть может. (*Размышляет несколько мгновений.*) Соломон! Это имя пробуждает во мне целые миры сновидений! Ах, кто даст мне найти Соломонов перстень! Перстень, сверкающий где-то в неведомой гробнице царя магов под знаком Востока!

М а с т е р Я н у с. Соломонова гробница – это грудь того, кто может воспринять Свет-несотворенный.

А к с е л ь. Свет-несотворенный, все люди обыкновенно называют его Богом.

М а с т е р Я н у с. Если ты не проникаешь смысла известных слов, то ты погибнешь в атмосфере, окружающей меня: твои легкие не выдержат ее удушающего бремени. Я не учу – я пробуждаю.

Если бы ты еще в пеленках, под закрытыми веками, не обладал уже этим зрением, пропитанным Светом, который проникает, познает и отражается в духовной сущности вещей, вселенских духом вещей, я бы не мог тебе дать его. Если глаза твои живы и ноги свободны – виждь и иди. Посвящение принимается только от самого себя.

А к с е л ь (*облокотившись, грустно улыбается*). А... стану ли я тогда подобен тем колдунам, для которых духи, потрясая под землею факелами, освещают смутные сокровища? Смогу ли я превращать металлы, как Гермес? Размещать магниты, как Парацельс? Воскрешать мертвых, как Аполло-

ний Тианский? Найду ли я тоже магические фигуры против Роковых Обстоятельств и против Ужасов Ночи? Составы, которые неволят и отвращают любовь? Силу Солнца, которой правят стихиями? Эликсир бессмертия? Метательный состав, как Раймонд Люлль? Философский камень, как Космополит? Буду ли я подобен магам великой легенды?

Мастер Янус (*невозмутимо, ногой ступив на лужу крови*). Истинные маги не оставляют своего имени в памяти прохожих и остаются им неведомы навсегда. Число их во времени – одно и то же число; но они составляют единый дух. Те мечтатели, которых ты назвал, были только орудиями, мудрыми смертными. Они не были освобожденными. Истинные маги, если они и презирают жизнь, то и смерти они не покорны.

Аксель (*вздрогнув*). Что же такое маг?

Мастер Янус (*с неопределенной ласковой улыбкой*). Если даже ты хочешь узнать то, о чем ты спрашиваешь, – взвесь раньше этот простой и тайный вопрос: «Почему даже мысль не пришла тебе в голову о том, что мне нечто угрожало, мне тоже во время той опасности, которая только что пронеслась над нами?»

Аксель (*удивленно и задумчиво*). Это правда!.. Разве ты?..

Мастер Янус (*отрывисто*). Я человек, который здесь, пред тобою. Что же касается всех этих слов, выкопанных из старого герметического языка, которые тебе доставляет удовольствие повторять, они прельщают твое юное сознание более блеском своих звуков, чем своим смыслом. Они для тебя – не больше чем услада мозга. Ты – в том возрасте, когда сверкание звезд каждое мгновение затемняет чувство неба. Лучше забудь эти выражения, которые в твоих устах – только слова. Живой смысл их еще не доступен тебе. Не играй ими. Каждое из твоих слов парит несколько мгновений около тебя, после... улетает. (*Идет к сломанному окну и раскрывает его жестом человека, распахивающего покрывало, после, указывая на утихшее небо и звезды.*) Посмотри лучше на небеса! Претворись в их молчаливый свет: мечтай развить в раз-

мышлении, очистить огнем испытаний и жертв бесконечный ток твоей воли. Стать адептом в науке сильных! Быть одним лишь сознанием, освобожденным от зароков и уз мгновения пред лицом Закона предвечного.

А к с е л ь (*с каким-то тайным унынием*). Кто же может познать Закон?

М а с т е р Я н у с. Разве есть иное познание, кроме воспоминания? Ты думаешь, что ты учишься; нет, ты находишь потерянное; вселенная – только предлог для развития этого всесознания. Закон – это энергия существ! Закон – это живое, свободное, глубинное знание, которое мятежит, одухотворяет, останавливает и претворяет в мирах чувственного и невидимого совокупность статимого. Всё трепещет им! Существовать – это значит ослаблять или усиливать его в самом себе и с каждым биением осуществлять себя в результате совершенного выбора. Ты выходишь из незапамятного. Вот ты воплощен в темнице относительного в одежде плоти. Влекомый магнитами Желания – первичным притяжением, уступая ему, ты уплотняешь проникающие узы, опутывающие тебя. Ощущение, обласканное твоим духом, превратит твои нервы в свинцовые цепи! И весь этот ветхий внешний мир, злобный, сложный и негибкий – который следит тебя для того, чтобы напитаться свободными воленьями твоей сущности – тебя, прах драгоценный, прах себя сознающий, он засеет в своих смесях и случайностях, и Смерть скажет последнее слово. Смерть – это совершенный выбор. Это безличное, это то, что стало. (*Молчание.*)

Некое смутное устремление неволит ли тебя еще к тому, чтобы вновь овладеть первородной истиной? Тогда внутри себя вступи в союз с разрушением Природы! Воспротивься ее смертельным магнитам. Стань воздержанием! Прими отречение! Освободи себя сам! Будь собственной своей жертвой. Обреки себя на костры любви Царственной Науки, чтобы умереть на них аскетом, смертью Феникса.

Так, отражая в Законе глубинную ценность твоих дней, все мгновения их, преломленные в нем, разделят твое бессмертие. Так в себе и вокруг себя ты уничтожишь все грани!

И, навсегда забыв то, что было иллюзией твоей личности, получив идею – свободный наконец – своего существа, ты станешь во Вневременном очищенным духом, различимой сущностью в Духе абсолютном – сообщником того, что ты именуешь божественностью.

Аксель (*сам с собою, молча*). Я – нищий король! Если бы сверкание сокровищ Отца было разоблачено передо мною, я бы мог избрать свободно. Но что же! Мне не дано даже подвига жертвы: судьба неволит меня жить грезами.

Мастер Янус (*читая в мыслях Акселя*). А чем же ты хотел бы жить? Чем же живут живущие, как не миражами – дешевыми надеждами, которые не осуществляются никогда? Разве тот, кто может выбирать, свободен? Нет, свободен только тот, кто, избрав безвозвратно, другими словами, не будучи в состоянии больше колебаться, этим поборол свои сомнения. Свобода на самом деле – только освобождение. Жаловаться на отсутствие опасности – это свидетельствовать о возможности рабства, это значит призывать искушение, удостоить помыслить об этом – это значит уже изнемочь под бременем. К тебе пришла земная мысль.

Аксель (*резко*). Когда же я буду человеком, хотя бы на мгновение? Земля прекрасна! В моих молодых жилах струится пламенная кровь. Великое преступление любить и жить! А ты считаешь меня погибшим, так вспомни: всё возвращается к первопричине. В какую сторону я бы ни наклонил факел, пламя в силу своей естественной памяти взовьется к небесам.

Мастер Янус. Каждый раз поскольку ты любишь, постольку умираешь. Если ты одним ударом раз и навсегда не освободишься от всякого сострадания к приманкам праха, твой дух, обременяемый каждой вновь осуществляемой мечтой, проникнется Инстинктом и скует себя сам цепями Тяготения, и, раз минует твой час, вот ты – игрушка, кинутая в Безликое всеми ветрами граней, с сознанием, растерзанным твоими старыми желаниями, рассыпавшийся напрасными искрами, и гибель твоя неуклонна. Поэтому никогда не обращай ни на что иное, кроме Света-несотворенного, совокупность твоих действий и помыслов.

А к с е л ь. Я хочу одного мига забвения: я имею право...

М а с т е р Я н у с. Разве в вечности легче стереть мгновение, чем столетие? Зачем различать их одно от другого? Каждое из мгновений твоей текучей действенности кинуто тобою круговратно и навсегда. Ты вновь встретишь его совершившим круг и закончившимся в тебе. Твоя личность – это долг, который должен быть уплачен до последнего волокна, до последнего ощущения, если ты хочешь обрести самого себя в неизмеримой нищете Статимого.

А к с е л ь. Ах! Мудрый ведь может отдохнуть от своей мудрости!

М а с т е р Я н у с. Только безумец может мечтать о том, чтобы бежать от того, что он любит.

А к с е л ь. Наконец, я же завоевал себе право перевести дыхание на вершине горы прежде, чем идти выше! Дай же мне бросить прощальный взгляд по крайней мере на то, что я оставляю.

М а с т е р Я н у с. Дух истинно высокий, другими словами, рассекающий духовный эфир своим божественным вознесением, который молит о милости приостановки и падения, будет ли он понятен для него самого? Стало, по существу, слишком поздно в тебе для этих призраков, в которых жизненность слова противоречит сама себе. Тот, кто останавливается на пороге и оборачивается, гордый пройденными ступенями, кто вступает и спускается обратно в собственной мечте, как бы мало определенна ни была она, тот мерит глубину своего падения той гордостью, которую он испытал от своего, не существующего отныне, восхождения.

А к с е л ь. Я могу отдаться течению моих страстей, не отдаваясь им, как пловец в реке.

М а с т е р Я н у с. Поток, по которому никто не поднимается против течения: не лги себе, соблазненное сердце! Только Освобожденный может замедлить, касаясь Земли и не переставая в то же время быть небесным, как луч солнца может блуждать здесь долу и благодетельным теплом живить землю – не покидая для этого своего родного небесного оча-

га. Стань сам светоносцем прежде, чем презирать... (*с легкой улыбкой*) наши сумерки.

Аксель. Я закутан, говорю я, в плащ Аполлония! У меня светильник и священный посох, чтобы перенести долгий путь! К чему же столько бессонных ночей, занятий, столько мыслей, увы! если я даже не приобрел права вернуться назад...

Мастер Янус. Здесь ты становишься лицемером собственной Надежды. На чувственном теле плащ портится, изнашивается и дырявится, пропуская ветер гробниц; в левой руке неустыдившегося светильник слабеет и меркнет, готовый угаснуть; а посох опоры в правой руке отступившего посвященного становится легче, становится ветвью мертвого дерева. Приобрести авторитет достоинств для того, чтобы безнаказанно совершать действия в низшей сфере, значит ли это быть достойным? Если твой дух облечен силой и святым светом, никогда не допускай со снисходительностью присутствия таких мыслей. Каждая, даже самая легкомысленная из твоих идей проникнута твоим существом, и этим самым она становится одним из скрытых моментов твоего будущего осуществления, которое зачинается твоей жизнью, а Смерть принуждает его воплощаться. Ибо сущности трепещут в бесконечной беременности того, что подводит им итоги, и Смерть кидает их в мир безусловный. Существование твое – лишь трепет твоего бытия в оккультном чреве, в котором вырабатывается твое окончательное будущее, твоя завершенная мысль, твой долг вновь покорить самого себя в мире.

Аксель. Тяжелый долг?

Мастер Янус. Если ты хочешь облегчить его, ты искажаешь, ты налагаешь узду на него. Думаешь ли ты, что можно вступить в сделку с безграничным и колебаться в сознании своих обязательств, не определив себя в собственных мучениях? Что же такое дисциплинарные упражнения аскета, как не ступени освобождения духа, который обретает и искупает самого себя, ширясь в своей неизмеримой сущности? Всякая приманка временного расточительства есть новая препона, столь же опасная, сколь и презренная.

Аксель. А если бы слово сынов женщины не досягало бы по ту сторону... этой лжи пространства, окутывающей землю? Нет! Нет! Если бы всё это грозящее учение было великой истиной, то как надо было бы проклинать ее: вселенная стала бы западней, расставленной для человечества.

Мастер Янус. Узнай же раз и навсегда, что нет для тебя иной вселенной, чем твое собственное представление об ней, отраженное в глубине твоих мыслей, – ибо ты не можешь ни видеть целиком, ни познать его, ни даже единой точки различить такой, как она есть в действительности. Если бы чудом ты мог в один миг обнять всевидением весь мир, то в следующее мгновение это стало бы новой иллюзией, потому что мир изменяется так же, как изменяешься ты с каждым биением твоего сердца, и таким образом внешний его лик, таковой, каким он может быть, в самой своей сущности призрачен, изменчив, преходящ и неуловим.

И ты – часть его! Где грань твоя в нем? Где его грань в тебе? Если бы он не был слеп и нем, то ведь тебя он назвал бы «вселенной»! Дело же идет о том, чтобы тебе уединиться от него! Тебе освободиться от него! В себе самом победить его обманность, его изменчивость, его призрачность – стереть его «Знак»! Такова истина, согласно той безусловности, которую ты можешь предчувствовать, так как сама Истина – только неясная идея того вида, через который ты проходишь, вида, который Совокупности придает формы своего духа. Если ты хочешь ею владеть – создай ее! Так же и всё остальное. Ты ничего не унесешь и сам не будешь иным, чем собственным творением! Мир никогда не будет иметь для тебя смысла иного, чем ты сам дашь ему. Возвеличь же себя, под покровами его сообщая ему тот высший смысл, который освободит тебя. Не умаляй себя сам, подчиняясь рабьим чувствам, которыми он теснит и сковывает тебя. И так как никогда ты не сможешь стать вне той иллюзии, которую ты себе составил о вселенной, то избери же себе наиболее божественную.

Не теряй времени ни в трепете, ни в дремотной лености, неверующей и беспредметной, ни в спорах на изменчивом языке праха и червей. Ты – творец самого себя в грядущем.

Ты – бог, который делает вид, что он забыл свою всесущность лишь для того, чтобы осуществить свое лучеиспускание. То, что ты называешь вселенной, это лишь следствие этого забвения, тайна которого в твоих руках. Признай же самого себя! Произнеси себя в Сущем! Дитя узников, изведи себя из темницы мира! Убеги от грядущего! Твоя «истина» будет тем, чем ты ее помыслишь, а сущность ее не бесконечна ли, как ты сам! Дерзай же родить ее самой лучезарной, другими словами, выбрать ее таковой... потому что она своим бытием предупредила уже твои мысли, долженствуя быть призванной под тем ликом, под которым ты узнаешь ее!.. Заключи же, наконец, из этого, что трудно вновь стать Богом, и переступи пределы, ибо даже эта мысль, если ты остановишься на ней, станет низшей: в ней заключено бесплодное колебание.

Вот закон того, на что можно надеяться: эта единственная очевидность, обличаемая нашею внутреннею бесконечностью. Долг же в том, чтобы испытать, кличет ли тебя Бог, которого ты несешь в себе! И вот те, которые дерзнули, которые пожелали, которые с доверием приняли закон окончательного отрешения от всех вещей и согласовали их жизнь, и все их поступки, и самые тайные свои мысли с высотой этого учения, в аскетизме освободив, свое существо, – и вот внезапно эти избранники духа чувствуют, как истекают от них и к ним приходят со всех сторон во всей обширности тысячи и тысячи невидимых и трепещущих нитей, через которые струится их воля на события мира, на фазы судеб империи, на влияющий свет звезд, на разнузданные силы стихий! И всё более и более растет в них эта власть с каждой ступенью чистоты, пройденной ими! Это санкция того, на что должно надеяться. Это порог оккультного мира.

Аксель (*который еле слушает в глубокой рассеянности, как бы не в состоянии больше ни верить, ни понимать*). О! эти потоки сверкающих богатств! Это даже не богатства! Нет: это талисман.

Мастер Янус. Какие ребяческие слова, дочери инстинкта, дым земли, произнес ты снова! Ты считаешь бедным себя, который одним взглядом может овладеть всем

миром! Ты, как люди, хочешь тоже «покупать», заключать контракты, перелистывать бумаги, – для того чтобы иметь уверенность в том, что ты владеешь вещью! Так ты не стал бы считать себя хозяином дворца, тобою созерцаемого, пока по договору ты не стал бы пленником его камней, рабом его лакеев, предметом зависти его гостей, обращающих на тебя пустые зрачки! Между тем как ты должен лишь войти туда, и одним своим присутствием, одним своим царственным взглядом ты мог заставить слуг повиноваться тебе, и предполагаемый «хозяин» этого самого дворца пролепетал бы им, склонясь перед светом лица твоего: «Ему повинуйтесь!..» Или болезнь юности настолько перевернула тебя, что ты забыл об этом? – Хорошо, если это ее опьянение руководит тобою, то, конечно, для тебя – так же целительно обладание звонкими золотыми монетами, как и нравоучениями озаренного. Если ты в состоянии носить кошелек, его надо наполнить. Но теперь тебе надо решить, потому что вот ты пал до возможности выбора: определи себя. Ответь, свободен ли ты лишь настолько, чтобы вырвать из своих мыслей суетное наваждение этого золота? Ты колеблешься? Ты видишь сам, что ты не свободен, так как не освободился.

Аксель. Холодные ветви на древе Познания: каковы же те плоды, что рождаются из их ледяных цветов?

Мастер Янус. Понимание – это отсвет творения. Если ты хочешь иных слов... Не пытался ли ты читать только что? Продолжай свое чтение. Быть может, эта книга тебе ответит лучше, чем я: я предлагаю лишь то, чего довольно.

Аксель (*подходит к in-folio, оставшемуся раскрытым, и читает громким голосом*). «Тебе Совершение, есливолишь его! Тебе трепещущая воля, которая сокрушает и претворяет силы Природы! Тебе владычество сокровенных сил! Вспомоществующая добродетель, освобождение от осужденных искушений! Любовь к добру чистой ради высоты его; сопричастие Причине бытия, Всемогуществу, и в конце на кажущейся вселенной – твоя тень! – побежденная и вновь ставшая самим тобою.

Тогда гений, небесным влекомый инстинктом, ты своими бесстрашными стопами попрешь вершины эмпиреев, паперть мирового Духа! Проникнутый своим Идеалом, сам в него себя перенеся, пропитанный астральным пламенем, обновленный испытаниями, ты станешь глубочайшим созерцателем собственной лучезарности. Недоступный призывам Смерти и Жизни, – другими словами, тому, что еще ты сам, – ты станешь в Свете, Свободой мыслящей, неуклонной, правящей»... (*Размышляет одно мгновение, после грустно.*)

Обещания, основанные на милостивом соучастии случайностей и которые подносят мне в выражениях неубедительной и смелой торжественности! Кто обеспечит мне длительность бытия, когда я устремлюсь к нему, к этому состоянию славы? Если я рассмотрю себя, тростинку одного дня, игрушку проходящего часа, кто я? Немножко человечества... А что такое Человечество? (*Презрительно улыбается.*)

Мастер Янус. Человечество дало тебе улыбку, которой вопреки своей совести ты оскорбляешь ее материнское достоинство.

Аксель (*омрачаясь*). Разве я никуда не годная душа, клок соломы, ребенок?

Мастер Янус. Негодуй. Гора – тоже холм. Смерим же высоту твоего! Но нет; душа твоя отяжелела духовным бременем этого золота; ты думаешь, что ты подымаешь мятеж, а между тем ты только рабски повинуешься низшим инстинктам, которые уже кипят в тебе, так что твой бунт есть уже одна из форм твоего возмездия.

Аксель. Мастер Янус!

Мастер Янус. А! выбирай. Я жду. Мне достаточно одного твоего молчания. Одно слово равнодушия или раздражения, и я покину тебя навсегда.

§ 2. Отрекшийся

Аксель (*спустя мгновение сам с собою*). Я не знаю этого человека, который воспитал меня. (*Садится и грезит.*)

Живые силы, которые соединяете в себе законы Сущ-

ности, Оккультные Существа, в которых сознают себя поколения стихий, случайностей и явлений, – о! если бы вы не были безличны! О, если бы отвлеченные имена и поясняющие пустоты, которыми мы скрываем ваше присутствие, были бы лишь напрасными человеческими звуками! И если бы в бесконечной цепи соотношений была такая точка, где человеческий дух, освобожденный от всякого посредничества, мог оказаться непосредственно сопоставленным с вашею сущностью и слитым с вашей энергией! Почему, почему этого не может быть? Что такое бесконечность, урезанная этою возможностью, столь вероятной, столь естественной? (*Как бы потерянный в своих мыслях.*) Во имя какой правды мог бы человек осудить известное учение, если не во имя иного учения, основы которого столь же спорны, как основы первого? И иной век, иные основы. Наука свидетельствует, но не объясняет: это старшая дочь химер; значит, все химеры с таким же правом, как самый мир, – самая древняя из них! *Только нечто чуть большее*, чем ничто... (*Резко.*) Ах! не всё ли равно! Это слишком мрачно! Я хочу жить! Хочу *не знать больше*! Золото – случай, вот слово Земли. Области священного избранничества, так как и вы тоже только возможны, прощайте!

Мастер Янус. Это тебе сделать реальным то, что без твоей воли только возможно.

Принимаешь ли ты Свет, Надежду и Жизнь?

Аксель (*после великого молчания подымая голову*). Нет.

Мастер Янус. Будь же отступником самого себя. Купай плоть свою в воздухе. Своими желаниями укрой линии творений, их наготу: рассей самого себя! Множь петли своих цепей! Стань ими сам! Стань снова недрами! Вкуси от плодов осуждения и тоски; ты скоро выплюнешь их пепел, потому что они – как те, что растут по берегам Мертвого моря. Обогати еще одной сущностью черный мир, в котором мучаются угасшие воли, которые не устремились, позабыв себя и презрев всё, к Свету-несотворенному! Больше ни высоких надежд, ни искупительных испытаний, ни сверхчеловеческой славы, ни внутреннего спокойствия. Так ты пожелал.

Ты стал собственным судией и низверг самого себя. Прощай! (*Аксель скрестил руки и стоит молча с остановившимся взглядом. Мастер Янус приблизился к каменной лестнице: он делает знак, простирая руку; удар колокола вдали, во мраке.*)

Сцена II

Мастер Янус, Аксель, Готтхольд.

Готтхольд (*входя*). Ваша светлость, так что Вальтер Шверт и управляющий встретили по дороге карету. Они должны были привести лошадей сюда. Это путешественница в трауре; она просит приюта.

Аксель (*рассеянно сам с собою*). Ах! Эта женщина, которая, вступив в лес, спросила дорогу к замку и которой я послал проводников.

Готтхольд. Она на одну минуту приподняла свою вуаль в нижней зале около огня; это молодая женщина, очень красивая, но я никогда не видел лица настолько бледного.

Аксель (*оборачиваясь*). Ну, так посмотри! (*Готтхольд отступает на шаг, ошеломленный ужасающей бледностью Акселя.*) Разбуди одну из горничных замка; пусть зажгут лампы и разведут огонь в какой-нибудь из менее опустошенных комнат. Скажи этой посетительнице, что граф Ауерсперг приветствует ее.

Готтхольд. Всё уже исполнено, ваша светлость, и я сейчас проведу эту неизвестную даму, которая, сопровождаемая Елизаветой, сейчас проследует в комнату вашего прадеда.

Аксель. Хорошо. Почему не слышно Укко? Это ему...

Готтхольд (*понижая голос*). Он вместе с Миклаусом, Гартвигом и господином Захарией облачает тело. Я сейчас пойду помогать им. Следует, чтобы это было исполнено нами одними.

Аксель. Ах! Это верно, я забыл. (*Он оборачивается и бросается на одно из сидений, облокачивается и как бы не обращает внимания на то, что происходит кругом.*)

Сцена III

Те же и С а р а.

В глубине по ту сторону порога появляется Сара, одетая в черное, с траурной вуалью на лице; ей предшествует молодая девушка в костюме шварцвальдских крестьянок: она подымает перед собой зажженный подсвечник.

Проходя снаружи в передней против широко раскрытой двери, Сара полуоборачивается по направлению к зале и замечает Акселя, который, склонившись около очага, ее не видит.

Она смотрит на него одно мгновение, не останавливаясь, и исчезает.

М а с т е р Я н у с (*сам с собою наверху каменной лестницы*). Покрывало и Плащ, оба отрекшиеся, скрестили свои пути: Дело завершается.

Четвертая часть

Мир страстной

§ 1. Испытание золотом и любовью

Галерея гробниц в подземельях замка Ауерспергов.

В глубине над гробницами высится родовой герб, иссеченный в гранитной стене.

Направо и налево, во всю длину залы, мавзолеи белого мрамора. Статуи рыцарей и дам, первые во весь рост или на коленях на своих гробницах, женщины в костюмах тех веков, в которые они жили, лежат навзничь с молитвенно сжатыми ладонями во всю длину могильных камней, мраморные борзые изваяны у них в ногах.

Погребальная лампада, подвешенная к главному своду, тускло освещает усыпальницу. Около порфировой чаши со святой водой большой молитвенный налой черного дерева, с потертыми подушками лилового, утрехтского бархата, с золотыми потемневшими кистями.

Налево по галерее, там, где стена делает угол, высокая отдушина с цветной оконницей, снаружи защищенная железной ре-

шеткой в форме розы, черная занавесь наполовину закрывает ее. В середине с этой стороны низкая дверка, пробитая в толще стены. Направо в глубине галереи, лицом к зрителям, железная стрельчатая дверь, двустворчатая, очень массивная, на высоте трех ступеней. Сквозь нее видны круговые ступени высокой каменной лестницы. Посредине между могил на треножнике бронзовая курильница, из которой подымается пламя.

Налево около стены Готтхольд и Миклаус, опершись оба на мотыки, смотрят на господина Захарию, надписывающего серебряной кистью на кресте черного дерева имя усопшего, которого они только что похоронили. Направо Гартвиг приводит в порядок различные вещи на каменном постаменте. Улыбающийся Укко стоит, облокотясь на налой, и тоже глядит на господина Захарию.

Сцена I

Миклаус, Укко, Готтхольд, господин Захария, Гартвиг.

Укко. Эпитафия? вот: Был он ветреник, легкомыслен, любил хороший стол и красивых женщин. Пусть же превосходный клинок, пронзивший его, предстательствует за нас пред светом небесным!

Готтхольд. Тише ты, крикун! Этот усопший имеет право на молчание.

Укко. Титул «усопшего» я не дам этому беспутнику, который не заслуживал даже звания живого. Здесь покоится блестящий бездельник, пресыщенный наслаждениями, который никого не любил и никогда не молился. Отныне присутствующий или отсутствующий, веселый или серьезный, что он для нас? Он издевался надо всем, теперь всё издевается над ним. Еще последняя горсть земли – и до свиданья!

Готтхольд. Помолчи-ка, Укко!

Миклаус. В конце концов он тень, как и всякий другой.

Укко. А? Так предлагаю вам обоим попробовать выудить тень из этого дырявого и пустого бурдюка.

Готтхольд. Ребяческий гнев! Слова заносчивого мальчишки...

Укко (*улыбаясь*). Врожденное негодование не остывает. Оно растет вместе с жизнью; оно себя не позволит переименовать в гнев. Что же, львы и шакалы как животные кажутся равными, а сами они знают на веки вечные, что они не одной породы.

Миклаус (*скрещивая руки на кирке*). Ты нас пугаешь, мой мальчик.

Укко. Вы сами про себя думаете то же самое, что я смею говорить громко.

Готтхольд. Больно быстро ты судишь о покойниках, а у самого молоко на губах не обсохло.

Укко. А кто из вас после смерти согласился бы разделить с ним эту, могилу? (*Молчание.*) Что, видите?

Миклаус (*задумчиво*). Как-никак, а это был дворянин, и в жилах его текла кровь смелых.

Укко. Смелость его была в крови, а не в сердце. А благородным он был настолько же, как медный, вычищенный мелом дукат, которого спустили за золотой червонец. А чего стоит фальшивая монета? Меньше чем вес ее металла.

Готтхольд. Тсс!..

Укко. Кто ж нас может услышать? Раз эти тяжелые железные двери закрыты, пусть сам гром падет, здесь ничего не будет слышно, до того толсты эти своды; а дно уходит вглубь горы.

Готтхольд. Я хочу сказать, что под этими плитами спят те, что носят то же имя, что и он.

Укко (*холодно*). Оказывать честь этому – бесчестить тех.

Господин Захария (*поднявшись, опираясь на большой черный крест*). Дитя, его бытие, так же как и твое, куплено кровью Бога. Сейчас ты в расцвете сил, но это проходит – и тогда голос не подымается так сурово против теней умерших. Лучше помоги-ка утвердить покрепче этот крест в свежей земле.

Укко (*ворчит*). Да еще крест сверху? Не слишком ли много для того, кто и не думал о нем никогда?

Готтхольд и Миклаус (*оскорбившись, строго*). Укко! Мы рассердимся.

У к к о. Пусть; но ручаюсь, что это вас он попросил бы замолчать, если бы мог нас услышать. Но довольно. Я должен уважать ваши... привычки. (*Сам с собою.*) В самом же деле, луч солнца или звезды может позолотить даже навозную кучу. (*Укрепляет крест на могиле.*) Вот; на всякий случай!

Г а р т в и г (*входит и бросает порошок в кадильницу*). Вот курения ладана.

У к к о. О, зачем так торопиться?

Сцена II

Те же и А к с е л ь, входит через низкую дверь в дорожном костюме и в черном плаще.

А к с е л ь. Скоро полночь: завтра в этот час я буду уже далеко... Я пришел проститься с вами.

Г о с п о д и н З а х а р и я (*горестно содрогнувшись*). Как, вы уезжаете, наш дорогой господин?

Г о т т х о л ь д (*бормочет*). Ваша светлость, мы слишком стары: нам бы хотелось, чтобы ваша рука закрыла наши глаза через немного дней.

А к с е л ь (*глядя на них после глубокого молчания*). Друзья! Друзья! Старые мои дети! Так надо. Простите! (*К Укко.*) Ты будешь приказывать здесь в мое отсутствие всем, кроме них, которых ты любишь и которые тебя любят.

У к к о (*ошеломленный, бормочет*)... Как, ты не берешь меня с собою? Не берешь меня с собою?

А к с е л ь (*совсем тихо с грустной улыбкой*). А твоя невеста, мой мальчик! А родина! Я должен уехать сегодня, в день Пасхи, на рассвете, и больше не увижу вас. Если вы хотите мне устроить прощание, хорошо; пусть с самой зари гремят наши прекрасные старые трубы; я услышу их издалека, и они напомнят мне наши гордые дни. А сегодня ночью, если нет у вас сна, пейте и пойте. Погребите на дне стаканов память о наших славных днях и стычках! Поцелуйте же меня.

Г а р т в и г, М и к л а у с, г о с п о д и н З а х а р и я и Г о т т х о л ь д. Прощай, Ауерсперг!

А к с е л ь (*обняв их одного за другим, к Укко*). Я был у лесника Ганса Глюка в лесу. Ты знаешь, что он ждет тебя завтра с утра для обручения?

У к к о. О господин!

А к с е л ь (*целуя его*). Мой сын! (*Раскрывает объятья; Укко бросается к нему со слезами, целуя его.*) На моем столе ты найдешь грамоту, подписанную именем Акселя: если я не вернусь, этот замок переходит тебе.

У к к о (*рыдая*). Увы!

А к с е л ь. Ваши руки и до свиданья. Теперь оставьте меня одного; и вот мой последний приказ: чтобы никто и никогда сюда больше не спускался. (*Четыре старика склоняются, глаза их наполнены слезами.*)

Г о т т х о л ь д (*вполголоса*). В последний раз мы видим его.

М и к л а у с (*вытирая глаза обшлагом рукава*). Его, чей взгляд поддерживал нас!

Г о с п о д и н З а х а р и я (*сам с собою, несколько угрюмо*). Ужасно. Великое сокровище потеряно безвозвратно! Я пережил слишком много дней с сегодняшнего утра. (*Они направляются к низкой двери. Укко, зажав лоб руками, колеблется одно мгновение, потом возвращается и кидается к руке Акселя, которую целует с немым отчаянием.*)

А к с е л ь. Прощай. (*Паж, шатаясь, нагоняет четырех стариков и выходит вместе с ними, вздрагивая от рыданий. Дверь закрывается. Аксель кидает свой плащ на молитвенный аналой.*)

Сцена III

А к с е л ь (*один, глядя вокруг себя*). Прахи, я накануне вашего сегодня. (*Молчание.*) «Прощай» здесь звучит пусто и падает вниз собственным отголоском... Созерцать скелеты – это смотреться в зеркало. Стоит ли говорить здесь? (*Садится на одну из гробниц, сжимает опущенные руки и с остановившимся взглядом отдается течению таинственных мыслей. После долгих мгновений, медленно приподымая голову.*) О вы,

усопшие, о, розенкрейцеры, праотцы мои! Если существуют слова, которые могли бы потревожить ваш сон, я забуду их; зачем утомлять ваши тени ребяческими мольбами – и предмет моих грез перед лицом Смерти – суета. (*Глядя на большой герб, иссеченный в стене, на который падает один луч лампады.*) Но вы, гранитные сфинксы с золотыми ликами, вы, что, мнится, несете тайну всебогатства, будьте же вызваны, существа из мира грез! Лики потустороннего, заклинаю вас самой ужасающей из всех вещей – безразличием Рока! Я приказываю вам пробудить от естественного ее молчания пустынную голову Смерти, которая отягчает символом знак рода, выраженного ныне мною; пусть череп этот даст мне понять, светом ли своих впадин, или иным чудесным действием, или словом, загадку этих сверкающих камней, что украшают его повязку, да будет мне раскрыто наконец сияние этих священных слов: Altius resurgere spero gemmatus.* (*Едва произнесены слова этого девиза, он вздрагивает, как бы прислушиваясь к шороху невидимых шагов, которые приближаются. Подымая голову, он как бы сразу забывает о сказанных словах и, во власти человеческой рассеянности, проистекающей от этого неожиданного шума.*) Что это такое? Крик ветра? Мне кажется вот уже несколько мгновений... да... лестница гулка, и кто-то идет очень тихо. Укко, вероятно?.. Нет! Ведь я запретил сюда возвращаться. (*Смотрит сквозь створы большой двери, ведущей к каменной лестнице; после с движением удивления.*) Женщина! Я видел ясно. Это женщина. Ах! Конечно, та, что приехала сегодня ночью! Что же это такое? Факел, который она держит над головой, мешает мне рассмотреть ее лицо. Она спускается в эти потерянные подземелья... уверенно, как будто она их знает! Какой-то предмет сверкает временами и отливается в ее руке: кажется, кинжал. Что же это значит? Но воистину ее бессонница сходна с моей! Походка ее уверенна... (*Глядит вокруг.*) Какое таинственное любопытство пробуждается во мне? Она близко. Нет, я хочу знать!.. (*Прячется за выступ стены.*)

* См. стр. 92.

Сцена IV

Аксель, Сара.

Сара, в черном одеянии, наполовину завуалированная, подымая одною рукой факел, другою сжимая крепкий кинжал, толкает оба створа тяжелой двери; они беззвучно раскрываются; она появляется во весь рост на каменных ступенях.

Молча с глубоким вниманием рассматривает она внутренность залы. Блуждающим взглядом она измеряет расстояния между гробницами. Потом она спускается с последних ступеней, входит, запирает за собой дверь и утверждает железный затвор. Идет к двери направо и точно так же задвигает во впадины стены железные задвижки.

Сделав это, она кладет факел на цоколь гробницы и направляется к массивной стене в глубине усыпальницы. Там, еще раз обернувшись на всю залу и на вековое молчание статуй, она останавливается задумчивая несколько мгновений, после внимательно смотрит на старинные стенные щиты. Потом, ступив ногой на выступ плиты, она приближается к гербу и рассматривает его с таинственным вниманием.

Наконец, взяв обеими руками рукоять своего кинжала, она сосредотачивает всю свою юношескую силу и упирает острие лезвия между глазниц геральдической Мертвой головы.

Сара. Macte animo! Ultima...*

Вдруг вся толща стены, разверзаясь широким сводчатым отверстием, сползает и исчезает медленно под землей перед Сарой, и сквозь нее видны мрачные галереи, широкие своды которых тянутся в самую глубь подземелья. И вот с высоты трещины, опоясавшей отверстие, по мере того, как она зияет всё шире, срывается прежде всего сверкающий ливень драгоценных камней, шумящий глухо дождь алмазов и мгновение спустя целый обвал гемм всех цветов, влажных от света, мириады бриллиантов с молнийными гранями, тяжелые бриллиантовые ожерелья без числа, огненные драгоценности, жемчуга... Этот текучий поток сверканий вдруг заливает плечи, волосы и одежды Сары: драгоценные камни и жемчуга прыгают вокруг нее со всех сторон, звеня по мрамору могил, брызгая снопами ослепительных искр, до высоты белых статуй, с треском разгорающегося пожара.

* См. стр. 91.

И теперь, когда часть стены уже до половины ушла в землю, вот с двух сторон широкого отверстия гремящие и звучащие водопады жидкого золота проливаются до самого подножья мрачного прохода.

Точно так же, как только что драгоценные камни, стремящиеся волны золотых монет ниспадают чудовищным потоком из треснувших бочонков, полусгнивших и не выдержавших тяжести своего числа.

Первые переполняли тяжестью своих богатств перекрестки громадной пещеры; вторые вздымаются сзади, в беспорядке скрещиваются и тянутся сотнями кряжей. Здесь и там в далеких промежутках отсветы факела освещают на фоне тьмы кое-где пожелтевшие лоскуты пергамента, еще скрепленные, несмотря на плесень, широкими оттисками красного воска.

Ближайшие золотые дюны, громоздившиеся около исчезнувшей стены, которая остановилась вровень с землей, сыпятся в изобилии, шуршат, жужжат и растекаются пламенеющим безумием по аллеям гробниц.

Тогда, опершись рукой на плечо очень древней статуи и рыцаря, Сара выпрямилась посередине всего этого сверкания, в котором множится в тысячах тысяч отблесков двойное пламя — могильной лампады и мерцающего факела, потом, по-прежнему бледная, серьезная, с опущенными веками, одетая в траур среди этого потока сверканий, она договаривает шепотом свой родовой девиз, который был прерван этим страшным извержением сокровищ.

...perfulget sola!*

Затем, простирая перед собою руку, она подымает на удачу горсть больших бриллиантовых ожерельев и как бы купает несколько мгновений свое лицо и глаза в их сияющих водах.

Между тем, в смутном предчувствии, конечно, чьего-то присутствия в зале, она обращает глаза к статуям и замечает в тени Акселя, который стоит во весь рост около гробницы и смотрит на нее молча.

Быстрым движением она роняет драгоценности, откидывает одним движением за плечо край своего черного шелкового плаща: за поясом ее сияют два тонких стальных пистолета. Выхватив один из них, она быстро целится в графа Ауерсперга, стреляет и далеко от себя кидает дымящееся оружие.

Аксель, раненный, устремляется к ней; но она уже успела нацелиться своим другим пистолетом: второй выстрел.

---

* См. стр. 91.

Раненный еще раз, но лишь легким прикосновением скользнувших пуль, которые оцарапали его грудь, Аксель настигает Сару; девушка с кинжалом, крепко зажатым в руке, ждет его, готовая кинуться, гибкая и смертоносная.

Аксель, ускользнув ложным выпадом, несмотря на быстроту, крепко ухватил ловкую и молнийную руку Сары. Мгновение спустя, непобедимый, хотя и смущенный необычайным сопротивлением этой женщины-врага, граф Ауерсперг охватил ее железной хваткой и держит безоружную, обессиленную, запрокинутую на его руке.

А к с е л ь (*грозно, подняв кинжал*). Ты! Хочу видеть цвет твоей крови. (*Но, не нанеся удара, он останавливается, пораженный удивительной красотой девушки.*)

С а р а (*хватая руку Акселя и насильно направляя ее против себя*). Так смотри же! (*Острие кинжала ранит ее плечо; но выступает лишь несколько капель крови, потому что граф Ауерсперг успел удержать движение Сары.*)

А к с е л ь (*сам про себя, как бы ослепленный, глядя на нее в беспамятстве*). Красота леса, озаренного молнией!

С а р а (*мрачно*). Убей и забудь.

А к с е л ь (*выпуская ее из рук*). Тебе драгоценнейшая часть и жизнь.

С а р а (*отходит и становится около курильницы. Презрительно после минутного молчания.*) Значит, я – соучастница.

А к с е л ь. В твоей гордости – лихорадка. Половина подобных богатств – не всё ли равно, что все.

С а р а. Германии – это золото, если это золото.

А к с е л ь. Германии? Нет. (*Улыбаясь.*) Миру.

С а р а (*надменно*). Хитрый ответ, достойный ночного грабителя.

А к с е л ь (*свирепо*). Забудь же по крайней мере, что я оставил тебе жизнь.

С а р а (*просто*). Разве я просила об этом?

А к с е л ь. Здесь достаточно золота, чтобы купить многие души.

С а р а. Не достаточно, чтобы смутить мою.

А к с е л ь. Кому, однако, говорить здесь о совести? Разве двойным покушением ты не отблагодарила меня за

гостеприимство? В каком месте ты появилась передо мною? Под этими светильниками, с этими драгоценностями в руках. Не для того ли, чтобы их *возместить* Германии?

С а р а. Нет, потому что я их не могла бы только *уступить* ей. (*Спустя минуту.*) Маркграф, это место ничье, и я пришла сюда лишь для того, чтобы овладеть потерянным скипетром, ибо необычное количество этого золота преобразило его имя. Какой путник не имеет права овладеть царской властью в любой стране, если божественный случай бросит ее знаки на его пути? Под условием, однако, что он подымет скипетр и будет приказывать, следовательно, окажется истинным королем; если же металлу он придаст такое значение, что захочет делить его, он создает, ты сам сказал, обязанность смиренно возместить свой долг. Разделить? Разве можно разорвать луч солнца? Пережить? Как же иначе, если не смертью могу свидетельствовать я, побежденная, о том, что я была вправе дерзнуть на этот захват, потому что я стояла вне всенародной справедливости, и единственная форма, в которой мой дух мог принять его, была воистину царственна.

А к с е л ь (*пристально глядя на нее*). Тогда вам этот скипетр, неприкосновенным и неделимым.

С а р а (*серьезно, после минуты молчания*). Пусть. Кто же ты?

А к с е л ь (*задумчиво*). Не всё ли равно! Прощай.

С а р а. О!.. Останься. (*Задумчиво, голосом горьким.*) Будь я победительницей, отказалась ли бы я? Нет. Посетительница случайного вечера вернулась бы в бурю. Я бы возвратилась к моим экипажам и страже, которые ждут меня на опушке вашего леса. Позже, когда легенда была бы забыта, я бы через далеких доверенных лиц приобрела бы этот уединенный замок, который близок мне с этих пор!.. Поэтому твое благородство никогда не перестанет быть в моих глазах незаслуженной милостыней, унижающее воспоминание о которой будет непрестанно обесценивать мою радость и грядущую гордыню... Нет! Одной мне остается... устраниться. (*Сама с собой.*) Не пройдет и часу – я выпью сок этого смертельного

перстня, и мы будем освобождены друг от друга. (*Смотрит на него.*) Но вы шатаетесь, и я вижу, как вы становитесь все бледнее с каждым мгновением. Верно, я только что ранила вас моими выстрелами, я жалею об этом. Я хотела только убить вас. Надо, чтобы остался жив один из двух. Погодите. (*Снимает свое кружевное покрывало и идет к могильной кропильнице.*)

А к с е л ь. Пустяк. Ваши пули оцарапали мне грудь... чуть-чуть. Не надо!

С а р а. Эти кружева, смоченные ледяной водой... Холодная вода; останавливает кровь. Приложите их – вот! (*Подняв кинжал, она приближается и молча срезывает железные пуговицы с платья Акселя. Потом, далеко откинув оружие, она невозмутимо перевязывает грудь Акселя большим черным покрывалом, напитанным могильной водой.*)

А к с е л ь (*сам с собою, глядя на нее*). Через эти стекла звезды одевают ее таинственными лучами. Это земля кидает мне вызов и меня искушает ее появлением. (*Громко, с неожиданным трепетом.*) Девушка, это великое сокровище, которым мы так пренебрегли после стольких грез о нем, не стоит того, чтобы умирать из-за имени, ему данного. Иное обстоятельство, более смутное и мрачное, возникает, чтобы произнести твой приговор. В то время, как ты говорила, отблеск твоего существа проник в мою душу; ты овладела биением моего сердца... и уже тень твоя – на всех моих мыслях... Но если я сам в себе ношу мое изгнание, я хочу остаться в нем одиноким. Я тот, кто *не желает любить*... Мечты мои знают иной свет. Горе тебе, потому что ты была искусительницей, которая смутила колдовством своего присутствия их древние надежды. Чувствую, что отныне сознание того, что ты есть, мне помешает жить! Поэтому жажду созерцать тебя бездыханной... и – можешь ты понять или нет – для того, чтобы забыть тебя, я стану твоим палачом.

С а р а (*как бы ослепленная, про себя, глядя на него в оцепенении*). Слова небывалые! (*Молчание; потом почти сама с собою, глухо.*) Если правда, что ты один среди рожденных женщиной можешь противиться Богу, овладевшему тобой, –

до того, чтобы предпочесть разрушение собственного своего неба... (*Содрогается.*)

А к с е л ь (*срывая с одной из гробниц тяжелую железную цепь*). Клянусь... Я закрою твои глаза моего рая!

С а р а (*улыбаясь*). О дивный миг! Хорошо же! Нет! Теперь слишком поздно. Ты должен был нанести удар, не раскрывая мне своей души в пылании этих сверхчеловеческих слов! (*Граф Ауерсперг рассекает воздух, крутя над своей головой цепями, и приближается, грозный, к Саре. Сара гибким движением избегает страшного удара и обхватывает его шею руками.*) Нет. Вот цепи, еще более тяжелые, – и... ты мой узник на этот раз. Попробуй освободиться! А! Видишь? Ты не можешь больше. Это невозможно. (*Она повисает в изнеможении с откинутой назад головой, глядя на него своими сияющими между ресниц глазами: волосы ее распускаются, скатываются и одевают ее. Она говорит голосом чистым, очень глухим, очень нежным, низким и сдавленным. Иногда она закрывает глаза совсем, и иногда ее строгая пламенеющая красота разгорается при свете факела светильника и драгоценных камней. Задыхаясь, с трепещущими ноздрями, с истомой в руках.*) Будь снисходителен к самому себе, дитя! Разве для себя хочу я жить? Не убивай меня. Зачем? Меня ведь нельзя забыть. Знаешь ли ты, от чего отказываешься? Все ласки других женщин не стоят моих жестокостей! Я самая мрачная из всех девушек. Мне кажется, что я помню иногда, как я соблазнила ангелов. Увы! И цветы и дети умирают в моей тени.

Дай соблазнить тебя! Я научу тебя удивительным словам, которые пьянят, как вина Востока! Я могу усыпить тебя ласками, которые убивают: я знаю тайну неистомных наслаждений, упоительных вскриков, сладострастий, в которых изнемогает всякая надежда. О! Похоронить тебя в моей белизне – и ты оставишь в ней твою душу, как цветок, погибший под снегом. Овить тебя моими волосами, в которых ты будешь вдыхать душу мертвых роз! Уступи! Ты побледнеешь под моими горькими ласками; и я нежна буду к тебе, когда ты будешь извиваться в этих пытках. Поцелуи мои – это так, как если бы ты пил небо. Первое дуновение весны над степями

менее влажно, чем мое дыхание, более проникновенное, чем дым курильниц в сералях Кордовы, более насыщенное забвением, чем благоухание кусков кедра, пригвожденных магами к деревьям Багдадских садов, чтобы унизить сады божественные. Узнай в моих глазах душу прекрасных ночей, в которые ты проходил по долинам и глядел в небо: я – то изгнание под неведомыми созвездиями, которого ты искал! Все сокровища отдам я для того, чтобы быть вечным твоим. О! Покинуть жизнь, не омыв слезами твои глаза, эти гордые голубые звезды, твои глаза надежды! О! Не заставив тебя трепетать глубокой музыкой твоего голоса, голоса любви! О! Подумай – это будет ужасно: это невозможно. Отказаться от этого, это выше моей смелости. Отдай себя, Аксель, Аксель!.. И я заставлю тебя лепетать на моих устах признания, которые причиняют наибольшую боль, – и все грезы твоих желаний пройдут в моих глазах, чтобы умножить твой поцелуй... (*Молчание.*)

А к с е л ь (*глухо, с закрытыми глазами*). Твое имя, если оно должно обжечь мои губы, я хочу повторить его!..

С а р а (*совсем тихо, склонив голову на плечо Акселя*). Сара.

А к с е л ь (*роняя цепи*). Сара! Я больше не одинок. (*Угрюмое молчание.*)

С а р а (*не подымая головы*). Так ты оставляешь мне жизнь?

А к с е л ь (*обвивает ее своей обезоруженной рукой и подводит ее к молитвенному аналою черного дерева с лиловыми бархатными подушками. С торжествующей улыбкой и немного юношеской напыщенностью*). Кто среди королей будет настолько безрассуден и этими звездными драгоценностями не зажжет ночи твоих волос! Тебе одной, тебе эти сверкающие груды, эти великолепия, которые ты воскресила!.. Дай мне только наглядеться на твою смертельную бледность. Хочу сидеть у твоих ног, в свой черед страдать страданьями человеческими! Любить, ведь это – это! Так... Сара? (*Она села; лучи сквозь оконницу зажгли черные шелка ее одежды.*)

С а р а. Милый юноша, угадавший через нескромные мои слова свою священную сестру! Ты тот, кого не ждала! Не

надо мне иных уборов, чем твой детский взгляд, в котором я вижу себя такой прекрасной! Бледна я потому, что узнала, какую любовь осуждена я претерпеть. А наши великие богатства... будем лучше жить нашими звездными снами. (*Он сел на подушке у ног Сары, скрестив руки на коленях прекрасной девушки; он смотрит на нее долго, как бы потерянный в безднах молчаливой радости.*)

Аксель. Да, подобная статуе Разлуки, ты должна была мне явиться в этом трауре, улыбающаяся и осыпанная драгоценностями посреди гробниц. Под твоими ночными волосами ты, как вечная лилия, вся сияющая цветами в бездне мрака. Какой трепет подымается при взгляде на тебя! Моя любовь? Мои желания?.. Ты теряешься в них, как если бы ты купалась в Океане. Если хочешь бежать от меня – они вокруг тебя. Они неволят и проникают тебя, возлюбленная! Они воздымают тебя и умирают в тебе... чтобы воскреснуть в твоей красоте!

Сара (*улыбающаяся, вдыхая запах волос Акселя*). Ты пахнешь увядшими листами ясных осеней, мой охотник. Вольное бытие твое проникнуто душою леса... Радость моя. (Она созерцает его, опьяненная и гордая.)

Аксель (*как бы в глубоком сне*). Сара, девственная подруга моя, сестра извечная, я не слышу больше твоих слов, но твой голос... (*Обвивая ее руками в порыве восторга.*) О цветок твоего существа, твой божественный рот! В одном поцелуе, стать... О! Свет улыбки – пить это дуновение неба – твое дыхание! Твою душу!

Сара (*привлекает на свою грудь лоб Акселя, потом серьезная, нежно касаясь его губ своими*). Моя душа? Вот она, возлюбленный мой! (*Они сидят в беспамятстве, без дыханья, без слов.*)

Аксель (*открывая глаза*). Ты дрожишь: сырость этих камней. (*Он нежно высвобождается.*) Там наверху в старых залах камины пылают день и ночь.

Сара (*улыбаясь*). Нет; эта дрожь от нас самих. Разве не лучше здесь дождаться нашего первого солнца.

А к с е л ь (*в беспамятстве, вдруг*). Видение, от которого я хотел бы умереть! Ты кажешься мне непостижимой! Откуда ты? Кем была ты в человечестве... до нас?

С а р а (*улыбаясь*). Это интересует тебя? О! возможно ли! (*Она раздвигает волосы на лбу.*) Потому что, правда, я забыла то, о чем ты спрашиваешь. С тех пор, как я – как императрица Востока, я не знаю никого, кроме тебя. Только час, как я существую: что было раньше этого часа, того нет. Вернуться к памяти жизни! Ты хочешь этого?

А к с е л ь. Какими переливами любви играет твой голубиный голос! Нет – оставь воспоминания! Не исчезай в суетных призрачностях земли! Лучше останься мне навсегда неведомой! Что мы даже в прошлом? Греза нашего желания.

С а р а. Мой милый муж, вот перстень, оставленный моими предками как залог брачных ночей: посмотри, что вырезано на его древней изумруде. (*Она приподымает немного правую руку: родовое кольцо, покрытое гербами, сверкает на одном из ее пальцев. Аксель рассматривает вещую драгоценность, безмолвно грезит, становится молчаливым и после глядит на нее.*)

А к с е л ь (*с серьезной улыбкой*). Да, надо верить... в то, что есть предназначение!

С а р а (*так же*). Несомненно, и если иллюзия тебе кажется прекрасной – пусть я тоже грежу ею.

А к с е л ь (*поднявшись во весь рост, глубоко озабоченный*). И так как, таинственная, она, кажется, волит осуществиться вокруг нас, поможем ей верой; она даст нам понять, что существа наши ждали друг друга. (*Молчание.*)

С а р а (*смотрит вокруг себя и как бы для того, чтобы разогнать мысль*). У меня тоже есть семья из мрамора в уединенном замке на севере Франции. Там спят мой отец Ивэн де Моперс, благородный крестьянин, и моя мать, царица, призванная на небо. (*Держась за руки, оба направляются к одному мавзолею; женская статуя, с молитвенно сложенными руками, распростерта на камне, в ногах ее высечена гончая.*)

Это твоя юная мать, правда? Да, у тебя этот же благородный лоб... и сколько грусти! О! сколько раз чувствовала я, что

ее нежная рука невидимо ложилась на мою, когда я раскрывала ее часослов, там, в монастыре! (*Склоняется; после вполголоса.*) Ты видишь: я отдаю твоему сыну всё, что есть я.

Аксель (*поднимая голову*). В монастыре?

Сара (*отходя, опираясь рукой на плечо Акселя*). Я говорю об одном аббатстве, в котором была замкнута вся моя молодая жизнь... Мне кажется, что и вспоминаю даже, что я страдала там.

Аксель (*вздрогнув, голосом низким, сдавленным и прерывающимся*). А! завтра же нищий будет бродить меж разрушенных камней этого здания! Его нет больше. Имя этого аббатства?

Сара (*нежным голосом, тихо отметая ногой докучливые драгоценности, лежащие в песке*). Брат мой Аксель! Оскорблениям так трудно коснуться меня, что в моей кротости к ним нет никакой заслуги. Подумай! Эти сердца, осужденные на пытку не любить меня, разве можно их еще наказывать за это несчастие! А если они и были виновны в каком далеком прошлом, раньше этой жизни, и создали себе этим теперешнюю смуту души, то разве они не достаточно несчастны быть такими? Мы должны только пожалеть их. Меня ненавидеть? Разве ты сможешь превысить для них это возмездие? (*Задумчиво. Оба они, кажется, совсем забыли о великих сокровищах.*) Конечно, я видала в этом монастыре жестокие глаза, в которых вера вспыхивала только отражая факел палача. Глазам этим небо не кажется достаточно мрачным; им кажется необходимым к его облакам посылать еще дымы костров. Я слышала биение угрожающих сердец, в которых дикий ужас Бога... – той идеи, конечно, которую они себе создали о Боге! – ослепляет себя сам до того, что считает себя Любовью, в которых «начало Мудрости» принимает в своей надменности, позабыв о своих пределах, себя за Мудрость – вечную. Разве не надеются они, что будущее мщение их белой беглянки оправдает их молитвы, которые в этот час они, конечно, возносят для моего спасения. (*Улыбаясь, но потом понемногу становясь грустной.*) Пусть же они меня жалеют или осуждают... для вида. Я оставляю им в моем грозном мило-

сердии ту недостойную идею, которую они составили об освободившейся от них! Действительно, в чем могут обвинить меня перед Богом эти создания, созданные запретительною строгостью, создания, которые умели только возмущать мою надежду? Душа моя не страшится этих злых судей, которые дерзают пренебрегать таким образом ужасным гневом Голубя. У этих туманных сердец – невинность Бездн, я знаю! Бездна говорит: «Я отражаю свет!» Всё отражает свет: они такая же, значит, правда, как и всякая другая; но... у каждого своя бесконечность! Предоставь же их душам заботу наказывать самих себя. Я же согласна наказывать бездны только моими крыльями.

Аксель (*дрожащим голосом, глухо*). Имя этого аббатства!

Сара взглянула на него – и вот она постигает, до какой неумолимой черты ее слова раскалили негодование ее юного избранника Мщение огнем и кровью пылает в глазах Акселя, который, конечно, свершит свою мечту об уничтожении в черные дни своего всемогущества.

Она трепещет в покрывале этой широкой и мстящей любви. После долгого молчания она падает к ногам своего юного возлюбленного.

В своих черных одеждах, вся освещенная лампадой, сверканием драгоценных камней, разбросанных вокруг нее, и соседним светом факела, она прижимает свои бледные руки к трепещущей груди юноши; тот отступает, охваченный волнением и как бы ослепленный; но она следует за ним на коленях по песку погребальной аллеи.

Сара (*странным и серьезным голосом*). Аксель! Пощади эту святую тюрьму, во имя тех стекол, в которых вечерний свет казался мне таким прекрасным! Во имя тех органов, которые под моими пальцами плакали такими тяжелыми рыданиями! Во имя тех холодных садов, в которых столько раз скиталась моя Печаль!.. Я прошу тебя еще во имя одной совсем юной девушки, такой же бледной, как и мы, но похожей на серафима в изгнании, и чье сердце, сожженное врожденной любовью, было так предано жертвам... что оно отдало мне цветы своих чистых грез, свою гибель предпочи-

тая спасению. Прости! Во имя этого ребенка, чье сердце я опустошила. О! ее чистыми глазами, еще смущенными моею мыслью, увы! ее Бог, снизойдя к ее небесной и одинокой нежности, освободит ее, конечно, от моей тени, ее глазами я, я! заклинаю тебя!

А к с е л ь (*вздрогнув, глухо*). Я прощаю эту обитель и ее правящих лишь во имя этой ночи, когда я увидел тебя. (*Останавливается с недвижным взглядом и сжатыми кулаками.*)

С а р а (*подымается, лучезарная, обвивая его, и целует его в лоб*). Аксель, мой юный король!

А к с е л ь (*удаляется вместе с нею к молитвенному аналою и видя как бы в первый раз мрачное сверканье одежды Сары*). Но почему этот траур в эту ночь радости, Сара?

С а р а (*очень просто*). Я ношу траур не по человеческому существу, – я не знала тех, кто был достоин этого знака печали, – но по более безвестной подруге, о! столь смиренной! Столь потерянной среди мира!..

Видишь, ты один сможешь понять меня! (*Она снимает иссохший цветок с груди.*) Взгляни на этот таинственный цветок, Аксель, так, как если бы мы были совсем одни на земле, потерянные между грезой и жизнью! (*Арфы в темноте повторяют гимн розенкрейцеров.*) Взгляни на неутешную розу! Она явилась мне в одной пустынной ограде, на заре опасностей: я убегала! Это было, когда я ушла из монастыря Святой Аполлодоры. Мои белые одежды, унесенные мною с мистического празднества, сливались со снегом, тяжелые хлопья которого, падая с веток укрывшего меня леса, заметали следы моих шагов. Вооруженная этим крепким кинжалом против нам подобных, а также против лесных зверей и вся трепеща еще сиянием свечей, я слушала в ночи потерянные колокола, которые отголосками мира напоминали о рождении младенца Эммануила, для которого, увы! я хотела умереть. Вдруг, при свете последних звезд, чудо этого цветка, подобно мне торжествующего над Зимою, привлекло мой взгляд, и видение это, казалось, возникало изнутри меня самое! Не безгранично ли согласие вещей и существ?.. Эту царственную розу, символ моей судьбы, это тайное и божественное соответствие не должна ли я была встретить с первых же шагов моих?

Ясное ее чудо приветствовало первое утро моей свободы! Это было как удивительное предупреждение, *образ, определенный, быть может, единственным словом, в которое я воплотилась часом раньше.* Она пронизала меня трепетом, эта роза, которая, казалось, распустилась в моей душе! Она узнала мои уста, Аксель, когда, презирая все опасности, я поведала ей в долгом поцелуе мои великие надежды! Она безмолвствовала под моими материнскими устами, о, я почувствовала в сердце своем, что она молила меня сорвать ее. Осторожно я сорвала весь ее стебель, несмотря на острые шипы, с мертвого кустарника, вокруг которого она обвилась и который поддерживал ее. Потом я отогрела моим дыханием дыхание ее ароматов в моих руках, в моих руках, которые сжимали еще это тайное оружие, выкованное в старые времена. (*Она указывает на крестообразный кинжал, упавший на землю.*) Слушай! Духи, разве я знаю... гении были замкнуты в ней... И тотчас разные случаи человеческой истории, до тех пор затуманенные для моей мысли, озарились в моей памяти царственным и сверхъестественным смыслом. Так я поняла, сама не будучи в состоянии объяснить себе, почему явилось у меня желание понять это, почему этот цветок, легший случайно так в моих руках на крест моего кинжала, образовал знак, который развеял некогда, как песок, самые гордые, самые несокрушимые империи. Этот знак, я видела его ясно, как он только что вспыхнул на каждой из этих могил (*указывая на пистолеты, брошенные на землю*)... при ударе этих предательских... когда я в тебя... (*Она страстно обвивает его руками.*)

А к с е л ь. Она, говоришь ты, вдохновляла тебя, Сара?

С а р а. О! Тысяча мыслей! Я вспомнила, например, что один из провидцев человеческих взял в основание форму лепестков этого цветка для того, чтобы объяснить в своих стихах священные и золотые круги рая новой надежды! Потом, думая о насмешливых людях, я не могла, несмотря на несказанную дрожь, удержаться от улыбки – вспомнив, что самый серьезный, о! самый промышленный из народов истреблял в междоусобиях сам себя в течение целого века из-за роз. (*Молчание.*) Да, она была моя единственная спутница, таинствен-

ная подруга моя, в долгом пути; когда, одетая богомольцем, я шла, глядя на звезду, которая горит над твоими лесами, и прохожие оскорбляли меня в сумерках! И милый запах этого цветка помощи оживлял меня, когда голод, бодрствование и сон утоляли мои одинокие ночи, прежде чем я дошла до первого большого города, в котором я продала жидам мое ожерелье из жемчугов и опалов.

А к с е л ь (*на коленях около нее, целуя ей ноги*). О, как обжигают мои губы твои бледные ноги, слава грядущих мраморов.

С а р а (*глядя на мертвый цветок*). На восходе солнц я чувствовала в ней, что ей отраднее умереть на моей груди, чем возродиться в изгнании. Вот почему я ношу траур по ее очарованию, теперь, когда ее дух отлетел к высочайшим сущностям света. Любя меня, она хотела умереть от моей тени! Дай я отру ею твои нежные ресницы! Смотри! Она как будто оживает! – Твои юные слезы она принимает за росу! – Но скорее... нет, нет! Я хочу над тобою просыпать ее лепестки, мой рыцарь, в предвестие всех жертв, которые найдет любовь моя, чтобы пленить тебя! (В молчании она осыпает лепестками цветка лоб и волосы Акселя; потом, становясь странной и серьезной, неожиданно.) Как я счастлива, что ты так интересуешься, несмотря на скудные слова мои, призраком исчезнувшего цветка!..

А к с е л ь (*поцелуями покрывая ее руки и в восхищении созерцая ее*). Я люблю тебя.

С а р а (*стоит рядом с Акселем, опершись на молитвенный аналой, и говорит так, как если бы она следила во сне между своих полузакрытых век смену миражей*). Милый мой, скажи! Хочешь уйти в те страны, где караваны проходят в тени пальмовых рощ Кашмира или Мизора? Хочешь уйти в Бенгал выбирать на базарах розы, ткани и девушек из Армении, белых, как мех горностая? Хочешь с оружием в руках поднять север Ирана, как молодой Киаксар? Или лучше мы направим паруса к Цейлону, где белые слоны с золочеными башнями, где огненная ара в листве и пронизанные светом жилища, где дожди-водометы кропят мрамор дворов? Хочешь

прожить несколько дней странной и далекой жизнью в этих фарфоровых дворцах в Иеддо, где японские озера? Там распускаются под луной снопы варварских цветов, похожие на связки надушенных кинжалов. Вечером нам захочется, быть может, вернуться, куря опиум в золотых и яшмовых трубках, покачиваясь в паланкинах. Или ты хочешь лучше, чтобы я купалась в тех водах, где отражался великий Карфаген, около базальтового дома, в котором на серебряных треножниках будут гореть ароматы? Или посетить нам красную Испанию? О! как великолепны и грустны должны быть дворцы Гренады, Женералиф, олеандры Андалузского Кадикса, леса Пампелуны, где лимонных деревьев так много, что звезды сквозь листья кажутся золотыми плодами! А остатки сарацинских храмов, погибшее искусство, угрюмые города! И еще дальше острова Блаженных, где зима, вся благоухая цветами, унижает весны других стран! Там скалы, которые заря преображает в огромные сапфиры, и волна приходит к ним, чтобы умереть в золотом и опаловом тумане, нежная, как последний поцелуй. А если ты хочешь, мы осуществим грезы о славе, мы совершим высокие деяния! Мы будем благословляемы народами! Но если хочешь, ты с мушкетом за плечами, я с арфой за поясом, одеты в богатые и пестрые лохмотья, мы пойдем бродягами петь по большим дорогам и на перекрестках Богемских городов, как смуглые цыгане; я буду предсказывать судьбу красивым девушкам, и люди будут кидать серебряные монеты в деревянную чашку нам на ужин вечером в корчме! Так мы можем скитаться с песнями от самого юга Болгарии до Баб-эль-Мандебского пролива. Хочешь, копытами наших упряжек мы заискрим набережные Невы или Дуная? Быть может, тебе захочется посмотреть на танцы польских и венгерских женщин, с празднествами и музыкой в глубине дворцов? Хочешь, дерзкими искателями приключений на нашем бриге со стальными пушками мы изрыщем Архипелаги от скал Гвинеи до пустынных побережий Гудсона? Потом подняться по Нилу? Осветить огнями внутренность пирамид Хефрена и Озимандии, чей золотой венец в нашей власти удвоить? Разве не можем уйти на берега Ганга и утвердить тоже

новую божественную религию? Мы будем творить чудеса, мы воздвигнем храмы, и, конечно, само небо будет нам повиноваться. А когда-нибудь мы отправимся в Меланезию ловить дивных рыб и гулять по Суматре под ядовитой тенью манцениловых деревьев? Хочешь увидеть лицо мое отраженным в реках, что текут около Голконды, Вишапура или Офира? Или путешествовать в Нубии по берегам Заиры, сумрачной реки, где вечер падает без сумерок? Хочешь поехать посмотреть Селевкию, где святые апостолы сели на корабли, отправляясь на завоевание мира? Хочешь жить в Антиохии между развалин? Там умоляющие плющи останавливают путь богомольца! Нет, лучше взовьемся, как альционы, к вечно синим и тихим овидям в Коринф, в Палермо, под портики Силистрии! Пойдем! На триремах мы проплывем над Атлантидой! Если только мы не уйдем созерцать ночные светы в земле Идумейской? А после и север! Какая радость подвязать к ногам стальные коньки на дорогах бледной Швеции! или уйти к Христиании по тропинкам и сверкающим фиордам Норвежских гор! Разве не можем мы поселиться, забытые, в хижине, засыпанной снегом, в какой-нибудь северной деревне? Хочешь увидеть печальные ланды Уэльса? Парки Виндзора и туманного Лондона? Рим – мрачный город великолепий? Легкомысленный Париж, залитый огнями? Как странно, должно быть, бродить по пестрым улицам Нюренберга, тихому полуночному городу! Хочешь расплескать отражение звезд в Неаполитанском заливе или в лагунах Венеции, волоча по борозде гондолы какую-нибудь удивительную ткань из Смирны или из Бассоры? Хочешь из какого-нибудь гельветийского шале смотреть, как заря разгорается на снегах Монте-Розы? Предпочтешь ли ты Антильский гамак бессарабским шатрам? Или восторг пространства? Мы унесемся с тобою вдвоем по гладкому льду на оленях или на страусах или в оазисе древней Гептаномиды будем смотреть из палатки на мирных коленопреклоненных верблюдов? Хочешь, мы погребем себя в Помпее в строе латинской жизни, как если бы Цезари еще правили миром? Или устремимся дальше на мрачный восток? Хочешь, я на твою руку обопрусь своей, посреди камней, которые были

висячими садами Ниневии! А те развалины, что были Фивами, Сардами, Гиерополисом, Анцирой, Сикионом, Элевзисом – город магов, Экбатана! Или тебе больше нравится мраморная башня около Эфрата, или под смоковницами Солима, или на вершинах Хореба? Хочешь пережить радостную восточную мечту? Сделаться купцами в Самарканде и торговать? Ты сделаешься посланником какой-нибудь далекой королевы и посетишь меня в Сабе. Озабоченными королями мы будем глядеть, как солнце по вечерам зажигает воды Красного моря! Но если ты хочешь, мы будем просто влюбленными и выберем себе хижину во Флориде и будем слушать колибри!.. Видишь, потому что мы всемогущи, потому что теперь мы подобны неведомым королям, что значит для нас предпочесть одну мечту другим мечтам? А что до страны нашего изгнания, то все области земли, не будут ли они для нас островом Тулэ?

Аксель (*с серьезной улыбкой*). Дитя! Лучезарное дитя!

Сцена V

Аксель, Сара, потом хор стариков солдат, потом вдали хор дровосеков, потом голос Укко.

Сара. Моря, возлюбленный мой, хочу великого моря! Поедем сперва в Италию! К ее развалинам из мрамора и пламени, к ее заливам, освещенным огнями празднеств! Быстро мы истощим ясное изгнание ее. О, ночи любви во дворцах!.. Мы купим самый мрачный из дворцов Флоренции; хочешь? Флоренция должна быть не менее прекрасна, чем была Пальмира! (*В это время далекие отголоски песни, хор суровых голосов, заглушенный толстыми стенами подземелья, доносится до них в глубоком молчании склепа.*)

Хор старых военных слуг.

Хозяин покидает разрушенный замок.
Прощайте, жажды любви, золота и сражений!
Мы очень стары и скоро, переступив грань,
Станем тенями.

А к с е л ь. Мои слуги бодрствуют сегодня ночью. Это по моей просьбе пьют и поют; они чествуют отъезд одного... чужестранца.

С а р а. Как только рассвет скользнет по этим стеклам, мы убежим с тобою в страну надежды! (*Как бы подавленная мыслью о грядущих радостях и закрывая глаза, она опирается рукой на мрамор гробницы.*) О, сладость жить!

Х о р (*заглушенный расстоянием*).

Прощай, черная гордость железного былого:
С нами гаснет ее глубокий отблеск!
Подобно закату зимнего солнца,
Ты умираешь, древний мир.

(*Вдруг снаружи небо голубеет, луч зари проникает сквозь бахрому занавесок отдушины. Раскрыв глаза, Сара увидала его и вздрогнула.*)

С а р а (*с криком*). День! Заря! Аксель, смотри!.. какое грядущее встает! (*Идет к окну подземелья, отдергивает занавес, и бледная голубизна утра наполняет склеп.*)

Х о р (*в глубине замка*).

В сне великом ты будешь с нами,
Грядущее! Будем же жить, потому что всё изменяется!
И да грянет наконец труба Архангела...
Если это пробуждение!

С а р а (*радостная, с торжествующей улыбкой, указав широким жестом на громадные сокровища и смутные драгоценности*). Идем! час настал; закутаемся в свои плащи. Там под лиловой листвой уже горят лучами наши меха, наше оружие; лошади бьют копытом по росистой земле. О мой юный возлюбленный! Как они унесут нас под ветвями, благоухающими грозой! Вот мчимся мы в лучезарном тумане: мы встретим хижину с мшистой крышей, усыпанной капельками росы, и птицы будут петь. Какое счастье пить вместе парное молоко, улыбаясь друг другу, стоя в траве, усыпанной мертвыми листьями! И мы мчимся дальше! Вот люди на дорогах! Потом деревня! Потом город!.. Города! Потом Солнце! Потом вселенная! (*Великое молчание.*)

А к с е л ь (*странным голосом, очень спокойно, глядя на нее*). Сара! Благодарю тебя — за то, что я тебя видел. (*Привле-*

кая ее в свои объятья.) Я счастлив, моя лилейная суженая! Моя любовница! Моя девственница! Жизнь моя! Я счастлив, что мы здесь вместе, полные юности и надежды, проникнутые воистину бессмертным чувством, одни, неведомые владыки, оба сверкающие этим таинственным золотом, потерянные в глубине этого одинокого замка в эту страшную ночь.

С а р а. Там всё кличет нас, Аксель, единственный повелитель мой, любовь моя! Свобода, молодость! Головокружение нашей власти! И – кто знает, великие дела ждут нашей помощи... грезы ждут воплощения! (*Она идет к отсветам зари и держит завесу приподнятой.*)

§ 2. Последний выбор

А к с е л ь (*серьезный и непроницаемый*). К чему осуществлять их?.. Они так прекрасны!

С а р а (*удивленная, немного оборачивается к нему и смотрит*). Что ты хочешь сказать, милый мой?

А к с е л ь (*по-прежнему спокойно и серьезно*). Опусти эти занавески, Сара: мне довольно солнца. (*Молчание.*)

С а р а (*тоскливо сама с собою, наблюдая его*). Бледный... глаза опущены – он обдумывает какой-то план.

А к с е л ь (*вполголоса, задумчиво, как бы сам с собою*). Какой-то бог завидует мне в это мгновение, мне, смертному.

С а р а. Аксель! Аксель! Ты уже забыл меня для божественной думы? Аксель, смотри – вот земля! Идем жить!

А к с е л ь (*холодно улыбаясь и отчеканивая каждое слово*). Жить? Нет. Наше бытие переполнено – и чаша его перелилась через край! Какие песочные часы сочтут время этой ночи? Будущее?.. Сара, поверь этому слову: мы истощили его. Все реальности завтра – чем будут они по сравнению с теми миражами, что мы уже пережили? Стоит ли по примеру малодушных людей, наших древних братьев, перечеканивать в монету эту золотую драхму с ликом мечты – обол Стикса, который сияет в наших торжествующих руках!

Качество наших надежд не дозволяет нам больше земли. Чего просить нам у этой жалкой звезды, на которой еще

медлит наша печаль, как не бледных отсветов подобных мгновений? Земля, говоришь ты? Что сумела когда-нибудь воплотить она, эта капля оледеневшей грезы, чьи часы умеют только лгать в высоте неба? Это она, разве ты не видишь, стала Призраком! Вглядись, Сара: мы разбили любовь к жизни в наших странных сердцах – *и в действительности* мы стали собственными своими душами. Принять с этого мгновения жизнь – это будет более чем кощунством пред нами самими. Жить? Наши слуги сделают это за нас.

Насытившиеся на всю вечность, встанем из-за стола и по всей справедливости оставим нищим, которые по природе своей только ощущениями измеряют ценность реальностей, заботу собирать крохи с нашего пира. Я слишком много мыслил, чтобы снизойти до действия.

Сара (*смущенная и встревоженная*). Ты говоришь сверхчеловеческие слова: я не смею их понять! Аксель! твой лоб должен гореть; у тебя лихорадка: дай мне исцелить тебя нежным моим голосом.

Аксель (*с царственной беспечностью*). Лоб мой не горит; и слова мои не суетны – единственная лихорадка, от которой действительно надо нам исцелиться, это лихорадка существования. Милая, слушай! И ты сама решишь после. Зачем пытаться воскресить одно за другим все опьянения, которыми мы насладились с идеальной полнотой, и желать преклонить наши столь царственные желания перед компромиссами всех мгновений, в которых их собственная сущность, ослабленная, без сомнения, завтра же исчезнет совершенно. Хочешь ты принять вместе с нам *подобными* все горести, которые готовит нам завтра, все пресыщения, болезни, постоянные разочарования, старость, еще дать жизнь существам, обреченным на скуку продолжения? Мы, чью Океан не утишит жажду, согласимся ли мы удовлетвориться несколькими каплями воды, потому что какие-то безумцы утверждали с ничего не означающими улыбками, что в конце концов в этом мудрость? Зачем снисходить сказать «аминь» всем этим метаниям рабов? Бесплодные изнурения, Сара! и недостойные этого чуда брачной ночи, в которую, девственные еще, мы навсегда прияли друг друга.

С а р а (*сдавленным голосом*). Это почти божественно! Ты хочешь умереть.

А к с е л ь. Внешний мир ты видишь сквозь свою душу; он ослепляет тебя! Но он не может нам дать ни одного часа, равного по сосредоточенности бытия единственному из тех мигов, которые мы пережили. Свершение действительное, безусловное, совершенное, это то внутреннее мгновение, которое мы испытали один от другого в могильном великолепии этого склепа. Это идеальное мгновение, мы пережили его: и вот оно непреложно, каким бы именем ты ни назвала его! Пытаться пережить его вновь из праха обманного, каждый день создавая его подобие, его внешний облик, не значит ли это искажать его, смягчать его божественную выразительность, уничтожать его в самых чистых областях самих себя? Остережемся же познать смерть, пока еще есть время.

О внешний мир! Не будем же обмануты в сиянии нашего света старым рабом, прикованным к нашим ногам, который предлагает нам ключи волшебных замков, а сам прячет в своей черной зажатой руке горсть пепла! Только что ты говорила о Багдаде, о Пальмире, не знаю, о Иерусалиме. Если бы ты знала, какие груды необитаемых камней, какую бесплодную и сожженную почву, какие гнезда отвратительных животных представляют в действительности эти деревушки, которые встают перед тобой, сверкая воспоминаниями, из недр этого Востока, который ты носишь в самой себе! И какая тоскливая грусть охватит тебя при одном взгляде на них?.. Ты их мыслила? Так довольно: не гляди на них. Земля, говорю я тебе, вздута, как блестящий мыльный пузырь, нищетою и ложью, и дочь первичного ничто, она лопается при малейшем дыхании тех, Сара, кто приближается к ней! Удалимся же от нее совсем! Сразу! Священным порывом!.. Хочешь? Это не безумие: все боги, которым поклонялось человечество, свершили это до нас, уверенные в небе, в небе их собственного бытия!.. И я по их примеру нахожу, что нам больше нечего делать здесь.

С а р а. Нет! Это невозможно! – это даже не сверхчеловечно – это нечеловечно! Возлюбленный мой! Прости! Мне

страшно! У меня кружится голова от твоих слов! О! Я буду защищать жизнь! Подумай! умереть так? Мы юные, мы полные любви, владыки царственного изобилия! Прекрасные и неустрашимые! Лучезарные умом, благородством и надеждой! Как? Сейчас? Не увидав еще раз солнца и не сказав ему «прости»! Подумай! Это так ужасно!.. Хочешь – завтра? Быть может, завтра я буду сильнее, потому что уже не буду принадлежать самой себе!

А к с е л ь. О моя возлюбленная! Сара! Завтра я буду пленником твоего ослепительного тела! Наслаждения скуют девственную волю, которая одухотворяет меня сейчас! Но скоро, потому что ведь это закон существ, если наши чувства начнут угасать и если должен пробить некий роковой час, когда наша любовь, бледнея, растопится в собственном пламени...

О, не будем ждать этого грустного часа... Разве решение наше не столь высоко, что не следует давать нашим душам времени пробудиться. (*Глубокое молчание.*)

С а р а (*задумчиво*). Я трепещу – но это, быть может, от гордости тоже! Разумеется, если ты настаиваешь, я повинуюсь тебе! Я пойду за тобою в неведомую ночь! Но вспомни все-таки о племени человеческом!

А к с е л ь. Пример, который я оставляю ему, стоит тех, которые оно дало мне.

С а р а. Те, что борются за справедливость, говорят, что убить себя – значит стать перебежчиком!

А к с е л ь. Нравоучения нищих, для которых Бог – лишь средство пропитания.

С а р а. Быть может, более прекрасно помыслить о благе всех.

А к с е л ь. В мире все пожирают друг друга; вот она, цена всеобщего блага.

С а р а (*немного потерянная*). Как отказаться от стольких радостей?.. Этому мраку отдать это сокровище! Разве это не жестоко!

А к с е л ь. Человек уносит с собою в смерть лишь то, от обладания чего он отказался при жизни. Воистину – мы

оставляем здесь лишь пустую шелуху. То, что составляет ценность этих сокровищ, заключено в нас самих.

С а р а (*голосом более глухим*). Мы знаем, что мы покидаем, но не знаем, что мы найдем.

А к с е л ь. Мы вернемся чистыми и сильными к тому, что вдохновило нас на головокружительный героизм пренебрежения.

С а р а. А представляешь ли ты себе смех человечества, если оно когда-нибудь узнает сумрачную историю нечеловеческого безумия нашей смерти?

А к с е л ь. Оставим апостолов смеха в их косности. Жизнь сама каждый день бичует их своим возмездием. (*Первые лучи зари проникают сквозь оконницу.*)

С а р а (*задумчиво, после молчания*). Умереть!

А к с е л ь (*улыбаясь*). О любимая! Я не предлагаю тебе пережить меня, так убежден я, что ты уже в сознании своем позабыла эту нищенскую приманку, которую называют «жить». (*Он глядит вокруг, как бы ища глазами кинжала.*)

С а р а (*подымает голову, бледная теперь, как свеча*). Нет. В этом перстне, под этим изумрудом, у меня есть молниеносный яд: выберем самую прекрасную чашу из этих чеканов... и да исполнится воля твоя.

А к с е л ь (*обвивая ее руками и созерцая в мрачном восторге*). О цвет мира! (*Спустя мгновение он оставляет ее и направляется к сверкающим грудам подземелья. Сара, в то время как он перебирает драгоценности и золотые предметы, собирает на гробницах большие бриллиантовые ожерелья и молча украшает себя ими.*)

С а р а (*тихо обращаясь к окну*). Какое прекрасное солнце!

А к с е л ь (*возвращается, держа в руках великолепную чашу, обделанную камнями, смотрит на Сару, потом, наблюдая ее, тихим голосом*). Хочешь, мы пойдем гулять по лугам, собирая цветы этой весны? Какая радость чувствовать утренний ветер в волосах! Пойдем! Наши уста встретятся на том же подснежнике!..

С а р а (*которая угадала грустную мысль Акселя*). Нет. Я люблю тебя больше, чем солнце: наши уста прикоснутся к

тому же следу на сверкающем крае этой чаши! Вот мой перстень... Обручальное кольцо невесты! (*Снимает свой родовой перстень, нажимает пружину изумруда и бросает на дно чаши Акселя несколько крупинок коричневого порошка, который скрыт в золотом гнезде камня.*)

А к с е л ь. Роса еще падает; нескольких капель ее ясных слез достаточно, чтобы растворить этот яд в святом потире. (*Он подымается на гробницу около отдушины, и между тем как Сара рассеянно ласкает мраморную гончую, подымая правую руку, в которой сияет трагический кубок, он протягивает ее наружу сквозь решетку окна.*) Так небо будет сообщником нашего самоубийства! (*Вдалеке среди лесов голоса поют утреннюю песню: они слушают.*)

Х о р д р о в о с е к о в (*в отдалении*).

Радость! Радость!
Здравствуйте, старые деревья, чья смерть дает нам хлеб!
В ясных утренниках под золотыми сенями
Дровосек, который будит птиц, слушай!
Ветер, голоса, листья, крылья —
Всё поет в глубине лесов:
«Слава Господу!»

С а р а. Слышишь их? Господь, говорят они! И они тоже – убийцы лесов!

А к с е л ь. Пусть прекрасный звук мирно упадет в душу последних лесов!

С а р а (*задумчиво, как бы сама с собою*). Я держала топор тоже! Но я не ударила. (*В равнинах призывы и трубы.*)

У к к о (*вдали*).

На скате цветущих гор
Вот невеста!
Роса на подол ее белого платья
Кинула вышивки из жемчужин.
Здравствуй, моя юная возлюбленная!
Перед девушками потупляются они,
Глаза германского отрока!
Поэтому шаги его будут звенеть по земле!

А к с е л ь. Это обручение детей! Скажи к ним слово счастья: мысль, пришедшая к ним от тебя, Сара, сделает их более милыми друг другу.

С а р а (*улыбаясь, оборачивается к окну*). Вы, беззаботные, что поете там на холме... будьте благословенны!

А к с е л ь (*спускаясь к ней*). Свет этой свадебной лампады бледнеет под лучами дня! Она гаснет. И мы тоже. (*Подымая чашу.*) Ветхая земля, я не построю замка мечты моей на твоей неблагодарной почве: я не понесу факела, я не буду наносить ударов врагам.

Пусть род человеческий, разубедившись в своих суетных химерах, в своих суетных разочарованиях и во всех обманах, что ослепляют глаза, засветившиеся для того, чтобы угаснуть, не соглашаясь больше на игру в эти мрачные загадки, – да, пусть покончит с нею, равнодушно покинув ее, по нашему примеру, не сказавши ей даже прощального слова.

С а р а (*вся сверкая бриллиантами, склоняет голову на плечо Акселя, как бы потерянная в таинственном восторге*). Теперь, потому что только одна Бесконечность – не ложь, вознесемся, забыв об остальных человеческих словах, в нашу собственную Бесконечность!

Аксель подносит к устам смертельный кубок, пьет, вздрагивает и шатается; Сара берет кубок, допивает остаток яда, после закрывает глаза. Аксель падает; Сара наклоняется к нему, содрогается – и вот они распростерты и сплетены на песке могильной аллеи, смешивая последний вздох на устах.

Потом они остаются неподвижными, бездыханными.

Теперь солнце желтит мраморы и статуи; факел и лампада трещат и гаснут. Струйки дыма подымаются сквозь сияющие линии лучей, просочившихся в отдушину. Золотая монета падает, катится и звенит о камень гробницы, как удар часов. И – нарушая молчание страшного места, где два человеческих существа сами обрекли свои души изгнанию небесному – врываются снаружи далекие шелесты ветра, гуляющего по лесным просторам, трепет пробуждающихся пространств, прибой равнин и ропот Жизни.

ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ

ОТДЫХ СЕДЬМОГО ДНЯ

Действие первое

Все лежат ниц перед Императором.

Приветствующий

Привет священному лику твоему!
С той самой грани, где означено начало времен,
Мириады людей видят солнце между небом и водами
и на земле Императора, который есть средоточие и середина.
И сегодня (так как по справедливости немногие допущены перед лицо твое), согласно обычаям
Суждено нам снова почтить лицо твое, сын небесный,
Имена твои суть: Первый, Единый, Единственный,
Скиптродержец, Облаченный в желтые одежды,
Владыка, Уравновешивающий
Согласие, Средство, Цель, Середина, Основа, Сущность, Первопричина.
Ты сидишь посреди всех людей,
Ты отец семьи, когда отец умирает, дети расходятся в разные стороны, пока он в доме, братья работают вместе.
Правитель жатв, поколения людей
Растут и чередуются кротостью твоего дозволения,
Владыко!
Ты еси общее благо, источник Почтения,
Основа Закона, печать Справедливости, распределитель
Вод, хранитель древности, согласно тому, как первое слово было дано людям.
Ты правитель таинств, трех сот таинств и трех тысяч обрядов, в руках твоих то созвучие, которым небо связано с землей,

подобно лунному свету. Вот почему, простираясь лицом к земле, мы приносим почтение Величию Твоему.

Все одновременно склоняются ниц.

Император

Какие вести несете Вы?

Первый министр

Перед лицом твоим слуги твои, которых ты видишь
и через которых простираешь руки свои.
Дожди нисходят с милостивого неба и рука воды
простирается над поверхностью земли.
Она не останется праздной и согласно порядку времен,
соблюдая обряд приносить большую жертву.
Из своих древних сокровищ
Она отдает часть в пищу людям, дабы они ели, смешивая ее со слюной своей, и дабы пламя сердца не угасло, но горело, давая свет, которым человек видит и слышит
и способен в разуме своем. И мужское объяло женское и вот рожден народ, которым ты управляешь, согласно законам музыки и наставлениям древности.
На западе земля приподнимается, чтобы почтить тебя.
Север граничит твою империю, и короли юга получили
печать твою и шлют тебе дары.
А на восток море,
Спокойное, безграничное, вечное:
С той стороны черная дверь неба, откуда восходит солнце.
Таковы пределы твоего царства.
Оно называется Серединной Империей,
Царством Утренней Тишины.
Оно овально, как чаша и светило дня лежит на ней подобно плоду, и великий змей его обвил, и никто не знает, где его голова, где хвост.
И обратно восхождению светлого неба
Реки согласным течением текут ему навстречу.
Люди, выходя из домов своих, ступают в траву земли,
будь они земледельцы или те, что живут на ладьях или сто тысяч городов.

Император

Что ты скажешь об Империи?

Первый министр

Все мирно, согласно древнему писанию
«Я слышу колокола храмов в городах».
Нет ни голода, ни язвы, ни войны.
Крестьянин собрал свой рис,
И чай, и шелк, и шерсть, и он продал их.
И на конце веревок, связывающих тюки,
сделал честный и крепкий узел.
Справедливость царит в судах, подобная квасцам,
которые от грязной воды отделяют чистую воду.
Вот что гонцы, приходящие с утра и до вечера доносят мне.
Но да будет дозволено мне говорить.

Император

Что хочешь ты сказать?

Первый министр

Привет священному лику твоему!
Почему угодно было Господину моему покинуть столицу и, прервав чередование обрядов,
Поселиться в этой пустыне, где гробница Древнего Императора?
Никто не знает ни его жизни, ни его царства, и знака его нет в истории.
Но большая каменная статуя, черты и члены которой стерты временем, лежит среди высоких трав.
Господину моему, извещенному дыханием снов, было угодно прибыть сюда и совершить здесь жертвоприношение
и построить здесь храм, и пребывать в нем, и не возвращаться в город.
Да будет угодно императору просветить нас.

Император

Что нового в царстве моем?

Первый министр

Что есть нового, Ваше Величество?

Император

Я приказываю говорить открыто.

Старейший из князей крови

Тогда я буду говорить, о Царь!
Народ твой простирает к тебе руки.
Ни вино, ни приношение хлеба и риса
Не удовлетворяет мертвых, ни одежды, которые оставляем им, бумажные деньги не обманывают их, их не ослепляет пламя, грохот бубнов и барабанов их не пугает. Но они бродят ночами в полях или в туманах по поверхности рек и подобно крысам кишат в домах. Они – этот народ без кишок; затем приходят они тревожить нас, затем собираются они на запах огня и скрежещут зубами, обоняя испарения кипящего сала. Как увидать их, которых демон подобно вору выкрал из их тела?
Но маленькие дети умирают или корчатся в судорогах. И люди не могут больше работать, но с сжатым сердцем, обвив вокруг лица край одежды, поворачивают голову из стороны в сторону.
И глубокой ночью, охваченные холодным ужасом,
Они вдруг просыпаются, как человек, который чувствует, что змея обвилась вокруг его бедра. Никакие молитвы не действуют.
Жестокий гость не умеет смеяться.
Они жестки, как старики, мрачны, как черви.
Священный череп барана с солнцем, написанным на одном его виске и с луной на другом, с женским шестиугольным знаком на лбу,
Не может замкнуть трещины в земле. Ни заклинание колдунов,
ни залпы мушкетов и петард не могут уничтожить вышлецов. Холодные,
Они томятся вокруг нас молчаливые, присутствуют за нашей едой, слушая, что говорят, и, когда свет гаснет, они трогают нас.

Они выходят из земли, подобно туману, и земледелец, который своим железом бороздит поле сражений, подымает их тысячами и десятками тысяч.
Владыко, найди исцеление! Сын неба, закрой двери земли. Запрети мертвым приходить слушать нас. Они прожили свою жизнь. Пусть же спят они теперь в своих гробах, которые мы им дали. И освобожденные от труда, пусть же не отнимают они пищи у нас.

Император

Я царь живых, и у меня нет власти
Над племенем мертвых.
Пусть тот, кто имеет что сказать, говорит.

Старейший из князей крови

Освободи нас от нечистого прикосновения мертвецов,
Потому что народ твой не видит над собой никого, кроме тебя.
Ибо кто знает, где живет царь Мертвых,
И кто из нас пойдет к нему и понесет наши жалобы.
Ради вас самих, обратитесь к нему, Ваше Величество!
Потому что царство его и без того достаточно обширно,
Для того, чтобы не выходить из берегов и не изливаться в наш мир.

Император

Что известно об этом царстве соседнем нашему?

Великий исследователь

Ни один путник не приносил оттуда пыли на ступнях своих, и никто не знает, что говорят мертвецы своим ледяным дыханием.
О Господи, мы в этом мире, как бедняк, который, выпрямляясь, касается крыши своей головой,
И, распростирая руки, трогает обе стены своего дома,
Вне – это слепая сторона, без границ, без осязаемостей.
Погружаясь в прошлые века, мы не находим никакого света.

Возьмем ли древние письмена – это неразрешимые загадки.
Мудрые умирают над ними, путая и подделывая, но поколения их не проникают трудности шестидесяти четырех куасов.
А малый народ, который платит банзам и колдунам, жжет бумагу,
свечи и благовония, он чтит богов, богинь и демонов.
Земля и небо кишат ими, и деревня, и море, и нивы, и горы, и улицы, и лавки.
Их малюют зеленой и красной краской, скрежещущих зубами, рычащих, с глазами, выступившими из глазниц, потрясающими ста руками, оружие, сосуды и гулкие музыкальные инструменты.
Ужасные властители.
И священники говорят,
Что всё, что умерло, воскреснет, и что никакая сила не может искоренить силу жизни, что всё дает новый росток,
надо еще раз умирать!
Вот что воспринимает мудрый в зеркале своего сознания, когда он созерцает небеса, противопоставленные одно другому, или землю с ее племенем людей и животных, или глубину восемнадцати адских бездн.
Но да будет так!
Пусть тело и душа истлевают вместе в деревянном ящике,
где разлагаются наши кости и наши внутренности,
И этого довольно, чтобы каждый
Жил в довольстве, соблюдая пять заповедей.
Но вот теперь мертвые не дают покоя и подобны они
людям, не знающим закона.
Ни стены не останавливают их, ни императорский указ не устрашает.

Император

Кто говорит о величии царства сего и ста тысяч городов,
Которые расположены подобно курильщицам в садах храма
по всему протяжению пространства его.
Но это иное царство обнимает его и нет никого, кто бы

не платил ему дани, и даже я сам – Император,
Туда уйду я и, павши ниц перед Яло, принесу ему поклонение.
Ведомо нам несчастье наших народов и наваждение страха
И то, что не тщетный ужас это и не греза спящего духа.
Собственный наш дворец не защищен от сих посещений,
И, размышляя об этом (ибо наш царский долг
В том, чтобы наш народ в защите от ужаса и насилия
Жил в мире под властью нашей простертой руки),
Мы видим, что небесный нарушен закон, ибо эта земля, которую обрабатывают они,
Принадлежит живым, и мертвые не имеют прав над ней.
И если смешиваются они с нами, если входят к нам и за трапезой присутствуют нашей, и следят наш сон,
Если наши нарушают права, то значит,
Что некий захват совершен был нами самими.
Безустым извещенный голосом снов, призванный дыханием, в котором не было теплоты жизни, покинув наш город,
Искать я пошел гробницу древнего императора.
Здесь лежит он одинокий в этом пустынном месте.
И нам угодно было принести ему жертвы, и мы, его наследник по неразрывной середине,
С босыми ногами, сняв знаки нашего императорского достоинства,
Мы склонились перед ним и спали на земле подле
Него, как сын спит рядом с отцом своим,
Ожидая, когда ему угодно будет ответить нам или дать знак.
И посему я приказал вырыть этот ров и, наклоняясь над ним, кличу.
Ибо менее пронзителен голос человеческий, чем дикий крик зверя, но он подымается до самого неба и пронзает толщу земли.
– Услышь, Император, то, что мы хотим сказать тебе!
1. – Услышь нас!
2. – Услышь нас!
3. – Господин! Господин! Господин!
4. – Восстань!
5. – Говори!

6.– Выйди! Говори! Мертвый, услышь слово живое! Глубокий, Тайный, Подземный!
Услышь нас в глубине. Услышь нас в толще земли!
Во тщете нашей внемли нам!
7. – Открой нам заклинание! Спаси нас! Скажи нам свое черное слово!
8. – О дневний царь! Владыко Запада! Услышь нас!

Старейший из князей крови

Ясно; он не слышит нас – он спит.
Как человек, созерцающий свет луны, услышав слабый
недалекий крик, не оборачивается, – так века
Окутали голову его, и неотвратимая смерть замкнула уста его.

Император

Некогда люди блуждали.
Он был одним из первых царей,
Которые, собрав войско, захватили землю,
Прогнали дикие орды и, подобно быку с его четырьмя ногами,
Упершись в землю, решили владеть ею.
Племя гигантов, и душа их крепко входила в тело,
как железо входит в дерево.
Посреди своих войск выступали они, подобные слонам, и, высоко стоя над своими народами, с оружием в обеих руках, с луком на животе, глядели они направо и налево.
Боги еще не были известны тогда, и пред Вышним Владыкой
не склоняли они колен.
Но веря в свою силу, стояли прямо
И осязали ветер, расширяя ноздри навстречу запаху
травянистой земли.
Внемли нам, о Царь! Ответь нам!
Это я – император, говорю тебе! Восстань! Ответь!

Великий исследователь

Он был равен тебе и потому мертвый не подвластен призыву твоему.

Слова, обращенные к нему,
Рассыпаются пеплом и власть голоса, как дым.

Император

Что же мне делать? Где найду я слово,
Чтобы глухие услышали, чтобы немые ответили, чтобы не имеющие тел появились?
Царь, услышь нас! Если к народу, что ты вел когда-то,
Ты питаешь еще некоторое сострадание, укажи причину, открой нам целение! В чем грех наш? Дабы народ был наказан.
Но если по справедливости необходимо, чтобы я – император, искупил и умер, я произношу молитву Шу под тутовым деревом:
Да погибну я, и семья моя, и род мой да будет искоренен с лица земли!

Заклинатель мертвых

Император, не так следует говорить с мертвецами!

Император

Кто этот?

Евнух

(приближаясь и падая ниц)

Привет священному лику твоему! Привет священному лику твоему!
Пусть недоступность твоя простит меня и не прикажет умереть!
Сей ведает тайны искусства.
Это человек из Пустынной – Страны – Гор, там, где ржет единорог и демоны имеют власть свою.
Три выдыхания сделал он через ноздри, изгоняя из своего сердца три порока,
Которые суть: гнев, желание и неведение.
Сидя прямо, как копье, сосредоточив оба глаза на оконечности своего носа,

Конец языка обратив против своего неба, он сознал самого себя.
И, освободив душу свою от закона необходимости, подобно бубну, когда ударяют в середину его,
Он потряс вселенную, заставив трепетать богов высших и низших,
Как собак прогоняет, подзывает он их, потрясая магической молнией!
Он изучил нравы мертвых, и, как тигр, что выслеживает рыб,
Как охотник, который ставит капкан в отверстие норы,
Дымом подымает дуб или из логова выводит хорька,
Своими заклинаниями вызывает он мертвых из-под земли
и ловит их в капканы своих магических фигур.

Император

Это искусство темно и запрещенное.
Где уважение? Где благочестие наше? Этот преступник,
Смеет ли он улавлять души человеческие и мучить их?
Подобные должны быть истреблены согласно приказанию закона.
И ты слишком дерзок, решившись привести его.
Что же касается той власти, которою овладели они,
Где же в таком случае наша власть и власть высшего управителя?
Не подобает человеку уклоняться от закона и зависеть только от самого себя.
Они рассказывают басни о мертвых и о перевоплощениях и говорят (о стыд! О ужас!),
Что движением какого-то колеса душа человеческая
Переходит в тела животных и что все явления тщетны и обманны и что нету, в сущности, ни добра, ни зла, ни лжи, ни правды.
Это ученье безбожно и отвратительно, и в пяти священных книгах
Мы не находим ничего подобного.
И где не будет, когда я сужу — моя власть, и мой суд — когда я

караю? То истинно, предвечно и неизменно, что зло наказуется вместе со злодеем и что каждый отвечает
Лишь за свои деяния. Вот что надобно знать. Всё же остальное есть бунт.
Что же касается этих людей, они живут во мраке, в непрерывном сношении с Навами и Демонами, и присутствие сего оскорбляет Величие, которым я облачен.

Евнух

Привет священному лику твоему! Необходимость!
Необходимость только может извинить меня!

Император

Ужас объял меня. Воистину мне слишком тяжко
употребить подобное средство!

Старейший из князей крови

Мертвые, если только они смешиваются с нами, заходят в наши дома и нарушают законы, этим самым ставят себя под власть твою. Воспользуйся этим человеком, который умеет обращаться с ними.
Разве можно говорить с варварами без переводчика?

Император

Ужас объял меня.

Я не привыкну к черному знанию. Я боюсь. Ничто доброе не может возникнуть из этих отвратительных обрядов.

Старейший из князей крови

Указание неба привело тебя к той гробнице.

Император

Я звал, и мне не отвечали.

Заклинатель мертвых

Великолепный император! Ты не говорил с мертвыми так, как следует.
Когда враг пришел, станешь ли ты ждать от него добра?

Придешь к нему с мольбой и упреками?
Необходимость ли гонит их или злая воля – они пришли вредить вам.
Навьё бродит по городам и селам, смущая твой народ.
Затем ли, что ищет себе нового воплощения или просто не находит себе места. Как животные, не понимают они человеческого языка и не слышат того, что вы говорите им.
Я же не буду просить, но, прикрывшись грозным словом,
Вооружась заклинанием открытым мудрецами, погруженными в глубины созерцания,
Как вора, пойманного за волосы или за руку во тьме ночи,
Я извлеку этого мертвеца из его могилы и заставлю его отвечать.

Император

Презренный! Смеешь ли ты приказывать душе великого Императора?

Заклинатель мертвых

Я – рука. Действовать будешь ты.

Великий Исследователь

Не отказывайся спасти страну свою.

Император некоторое время стоит в молчании, потом делает знак, что согласен. Заклинатель мертвых падает ниц перед ним и, поднявшись, начинает свои приготовления. Магический четвероугольник. Курения. Тьма. Сцена освещена только красными свечами, врытыми в землю. Заклинатель ударяет без усилия в большой бронзовый диск, выжидая, пока не замолкнут последние колебания звука. Все хранят молчание.

Заклинатель мертвых

(на коленях, вполголоса)

Ом! А, А, И, И, У, У, Ри, Ри, Ли, Ли, Е, Ай, О, У!
Ом! Ка, Кха, Га, Гха, На!

(Он заканчивает шепотом. И несколько раз повторяет то же заклинание. Подымаясь, громким голосом.)

Ом! а а и и у у ри, ри, ли, ли, е, ай, оу,

Анча! Уваха!
Внемли! Внемли!
Я заклинаю тебя силою букв!
Гласными, которые душа изгоняет из тела, разверзаясь до основания!
Тяжелыми и острыми А, И, И и согласными, которым рот дает выход через свои три двери: губы, язык и зубы,
Внемли основы! Приставляя одну букву к другой, так, как ребенка учат читать по слогам, я припадаю устами к твоему уху.
Внемли, о мертвый, язык живой! Внемли, о мертвый, язык людской!
Внемли слово, которое в пустоте души само себя мыслит и рождает себя из себя!
Внемли и говори!

Он ударяет в бубен. После, взяв черную курицу, он убивает ее и кропит кровью и рисом на магический четвероугольник.

Обоняй! Вот кровь! Ешь – вот рис!
Вдыхай горячую жизнь, вдыхай сердца всех зверей!
В ней чары воспоминаний, которыми душа живет сама в себе.
Вспомни самого себя, вернись!

Он ударяет в бубен.

Миг настал! Явись! Явись!
Я заклинаю тебя землей и огнем, который выходит из земли.
Им варят пищу и приносят жертвы богам и демонам,
И стражам, которые владеют четырьмя берегами мира,
Явись!

Раскаты под землей.

О, о ки! Ки! Явись, явись!
Вот я наклоняюсь, как человек, который дует на огонь,
Я заклинаю тебя землей и огнем.
И яростью земли, которая брызжет внутрь огня, точно в рот, который сосет,
Яростью, которая в вине, что пьют, в зернах ячменя и в семени мака,
И в бешенстве, которое преисполняет одержимых и колдунов

и которое владеет мною.
Я зову тебя! Я зову тебя!

Клуб пламени вырывается из-под земли.

Явись! Явись!
Вот я слил сердце мое с сердцем твоим;
я причастился тайны твоей, и лютое бешенство
преисполняет и сотрясает меня.
Запредельного коснулся я пальцем своим и
дыхание нового мира меня как меч пронзило.
Я встаю на ноги. Руками я разбиваю преграды, лежащие между нами.
Явись!

Падает в корчах. Земля дрожит. Подземный раскат, подобный удару грома. Густой столб пламени и дыма подымается из земли, и когда он постепенно расходится, то становится виден император Хоанг-Ти, вооруженный с ног до головы. Все падают ниц, за исключением Императора.

Император

Отвечай! Не из праздного любопытства осмелился я – малый человек, вызвать перед собою Твое Величество!
Молитвенно складывая руки, еще не рожденные
Для жизни, в которую вступил уже ты, запрещенные чту я таинства.
Но по некоему приказанию вопрошал я твою могилу. И необходимость неволила меня, и голос моего народа, который ропщет в ужасе. Но зачем говорить, когда ты сам знаешь бедствия наши.
Ибо подобно тучам саранчи,
Низринувшейся на поля и переполнившей жилища и одежды,
ужасное племя мертвых
Поднялось из земли и дышит нам в лицо и поганит нашу пищу.
Укажи причину! Укажи, владыко!
Где целение? Какую жертву должны мы совершить?
Какие обряды? Какое очищение?

Хоанг-Ти

Всякий, кто ест, умрет.

Император

Разве не должны мы есть, чтобы не умереть?

Хоанг-Ти

Не тревожьте земли.

Император

Должны ли мы питаться травой, как буйволы? Или семенами растений, как птицы? Или мясом и молоком животных, подобно кочующим племенам?
Или воздухом, подобно Фениксу?
И что станется с общностью, возникшей между людей,
если они не будут обрабатывать
Землю, которая отпечатки их ноги?
И если, не строя ни сел, ни городов, они не будут больше проводить
дорог?
Ты сам знаешь это – ты, кто привел народ этот сюда
и здесь поставил престол свой.

Хоанг-Ти

Землею мы владеем совместно *с* вами.

Император

Вам – недра. Оставьте нам плоды.

Хоанг-Ти

Платите нам оброк.

Император

Разве не совершили мы таинств и обрядов?

Хоанг-Ти

О бешенство! О бешенство!
Можешь ли ты допрашивать меня, подобно Судье?
Хочешь ли ты, приступив к тигру лицом к лицу, связать его веревками.

Берегись, чтобы, бросившись на тебя, я не унес тебя, и мы не пожрали бы тебя!
Буду говорить, но мало утешительное найдешь ты в словах моих.
Рукою возьми кисть руки своей. Что такое тело, как не земля, потому что, если ты зароешь тело в землю,
Оно истлеет и позвонки его рассыпятся,
И его ребра, и кости ног, подобно камням и ржавому железу.
А чем занять дух человека,
Как не телом, которое обволакивает его целиком,
Поэтому, когда тело погребается в землю, подобно многим торговцам, которые отдают свое состояние в общее дело, подобно братьям, которые владеют одним нераздельным имуществом,
Эта любовь
Не покидает духа. И так как тело тяжестью своей влечется вниз, то же делает душа.
Но более тонкая, она углубляется дальше и глубже,
И подобно голому червю, она живет в толще вещества.
Чтите могущество Адово! Чтите Черного Бога,
Пальцем касаясь уст и ресниц его и принося ему рис и хлеб.

Император

Разве душа, нашедшая себе место, не сохраняет его?

Хоанг-Ти

Какое место сохранять ей, если нет у нее тела, в котором она живет.
Тонкая, следует она, насколько дозволено ей за своими мыслями.
И ты видишь сам: ничего нет беспокойнее,
Чем дух нищего или скупца,
Потому что в постоянной тревоге, не в силах заснуть, бродят они и здесь и там. А кто же более лишен всего, чем мы?
Что же касается: ты видишь, что человеку свойственно всё забирать себе. И эти движения умирающего,
И слепого ребенка, который шевелит руками.
Кто же скупее нас, которым нечего давать и нечего брать.

И подобно скупцу, который все блага хочет иметь для себя одного,
Слитые с землей, мы владеем ею; но так как
Вы тревожите ее, добывая себе пищу, то и мы
Лишены покоя и нет между нами согласия.
Знай, что и мы голодны, и мы жаждем!
Не удивляйтесь же поэтому, землю разделяя вместе с нами, нашему присутствию и нашей враждебности.

Император

Древний Тигр, ты не говоришь мне всего, так
как без дозволения неба ясного и синего
Вы не можете вредить нам. Почему же теперь простираете вы всю руку над нами?

Хоанг-Ти

Я не могу отвечать. Я не прибавлю ни слова.

Император

Кто же изъяснит нам спасение?

Хоанг-Ти

Он, кто, спустившись к мертвым, вернется обратно.

Император

Кто ты?

Хоанг-Ти

Я великий Хоанг-Ти. Я основал царство. Убив вождей и князей, я принял власть над толпою. Я построил стену. Я определил начало года. Я установил циклы времен. Я утвердил смену дней властью приказа моего. Я прорыл великий канал. Провел дороги. Я сжег книги.

Император

О ты, знающий древнее откровение и нас лишивший его!
Кто был отец этого народа? Скажи нам начало и источник.

Хоанг-Ти

Воды покрывали лицо земли.
Тот, кого вы зовете Фу-Хи,
Вышел из ковчега, в котором было замкнуто семя всего живущего, вместе со своей женой,
Со своими тремя сыновьями и тремя невестками.
Отсюда происходит речение «Барк», что значит «восемь ртов».
И, выйдя, принес он жертву Богу небесному.

Исчезает.

Император
(присутствующим)

Подымитесь. Не бойтесь. Древний Император исчез.

Все поднимаются.

Первый министр

Владыко, мы слышали вас говорящим, и твой голос смешивали с голосом другого.
И душа наша трепетала в ужасе, подобно тому, как сука дрожит, слыша голос тигра.

Император

Эти слова живут во мне и, не понимая, я ношу их в себе?
Что? Почему? Зачем?
Мы без слов подымаемся в душе моей, без формы, без лица,
И подобно коню, запряженному в одну упряжку вместе с быком, она тревожит меня и влечет куда-то.

Первый министр

Что он сказал?

Император

Разве вы не слышали его?

Первый министр

Мы не поняли смысла его слов, которые были подобны изделию огня.

Император

Великий Хоанг-Ти появился сегодня перед нами:

Объединитель народов, установитель единства.

Он говорил, и я слышал, и он сказал мне причину наших бедствий.

Первый Министр

В чем она?

Император

Мы питаемся достоянием мертвых.

Первый Министр

Должны ли мы воздержаться от еды и питья?

Император

Он не сказал средства.

Великий Исследователь

Не много же пользы мы можем извлечь из слов его.

Первый Министр

Что же делать нам, ибо никто не смеет остаться один, потому что кто-то всегда стоит за его спиной.

И если, склонившись, работает он, собирая свой рис и хлеб, в то время, как темные покрывала проносятся над полями и бабочки кружатся над его головой,

Он чувствует, как холодный палец прикасается к его телу,

И если он спит, это как тяжесть зверя, который ложится на него, и ему снится, что тигр, взяв его голову между челюстей, хочет разгрызть череп. И подобно дереву, уязвленному в корнях, стоя он умирает.

Старейший из князей

О чьей помощи молить нам? К каким богам простирать руки? Приносим ли мы поклонение Солнцу, восходящему между двух деревьев, или звездному небу, когда Сириус всадником поднимается над морем,
Нету пощады от богов.
Воля их неопределенна, проявления их наполнены ужаса и кто разберется во множестве их?
Требования их неотступны, они перед ними, как ребенок в руках безумного мужа, и они не приходят к нам на помощь в годину наших бедствий.
В глубине темного храма, перед алтарем, под которым гнездятся
черные и пустые ходы,
В то время как пепел ладана переполняет кадильницы, мы падаем ниц с трепещущим сердцем,
И молим их, как трус, который льстит злому господину.
Они же, хотя мы их позолотили, их лики, наклоненные к нам сверху, они смотрят на нас, скрежеща зубами.

Император

Я сам пойду.

Великий Исследователь

Книги говорят, что древние Императоры совершали подобное.

Старейший из князей

Сведение слишком старо и сомнительно. Не место живому среди мертвых, у которых нет тела, потому что они оставляют его здесь.

Император

Я испытаю волю неба.

Старейший из князей

Оставишь ли ты народ свой без судьи и правителя?

Император

Я поставлю сына своего на место мое.

Старейший из князей

Оставишь ли его без отца?

Император

Я найду причину и средство.
Разве человек не дерево, которое ходит?
Как голову подымает он ввысь, как ветви свои простирает к небу,
Так и корни внедряет он в глубь земли.
Я найду их, нагнувшись, я коснусь ноги пальцем своим.
Я думал, что достаточно пасти народ мой со справедливостью,
властно и мудро,
И что небо, подобно Аду, закрыто для человеческого познания.
Но подобно тому, как искусный земледелец не может не знать ветров, времен года и влияний луны,
И разницу земель, их качества, теплоты и направление склонов,
и количество солей и подземных вод,
Подобно тому, как пастырь стад, растирая травы, пробует их на вкус и оглядывается на все четыре стороны,
Так и Пастырь человеческий, имеющий престол свой между Небом и Адом, поставленный блюсти Уровень и Середину, да правит в молитве и познании.
Поэтому растворись, Земля, и дай проход мне! Да не погибнет народ сей! Если же должно, чтобы некто умер, то
Как тот, кто предстает перед лицо Судии вместо сына вдовицы – вот я!
Растворись, Земля, дай проход мне, ибо вольною волей нисхожу я к тебе!

Старейший из князей

Не дозволишь ли Августейшей Императрице проститься с тобой?
Разве сына своего не заключишь ты в объятия свои?

Император

Я принял решение и исполню его теперь же.
Принесите мне императорский жезл.

Его приносят ему.

О, жезл, срезанный в священных пределах Запада!
Отец рода моего, опираясь на тебя, вступил в эту страну.
Я вознесся выше народа.
Растворись, Земля! Растворись, Земля!
Подобно тому, как ты раскрываешь грудь свою небу, когда
Оно нисходит к тебе, облаченное в дождь и в бурю.
Я сын его. На тебе воздвиг я престол мой, и, как ты, облачен я в земные одежды.
Я правлю людьми, которые живут на просторе твоем и дарами твоими.
Построив дом свой, они зажигают в нем свет.
Растворись! Дай проход мне!
Ибо, как человек, дом которого подкопан и который спускается вниз, чтобы проверить фундамент,
Ныне проверю я основы твои и коснусь усеста твоего.
В тебе корни жизни. Из тебя брызжет огонь и ключи Вод.
И животное, ищущее в тебе мордой, и человек, ищущий щепотью
пальцев своих – живут!
Приказываю тебе именем Неба, ибо такова воля вышнего Неба,
Чтобы живой, спустившись к тебе, о Мать плоти моей,
Я достиг бы начала и причины и вторичным рождением
Принес погибающему народу моему – спасение!
Разверзнись, Земля! Дай мне проход!

Земля дрожит и разверзается.

Все

Приветствуем тебя, великодушный Император!

Император

(склоняя колена)

Благодарю тебя, небо, за то, что ты услышало молитву мою. И вот подобен я теперь сироте и человеку, лишенному сана человеческого. Пусть же совершится то, что суждено, – умру ли я или подобно огню, тлеющему под жилым, принесу истину с собою – всё благо.

(Подымается.)

Будьте верны! Храните Царство! Поддержите юность сына моего, ставши по правую и по левую руку от него.
Ты же, Земля, прими меня! Вольного волей нисхожу я к тебе!

Он бросается в расселину. Земля закрывается над ним.
Все пребывают лежащими ниц.

Действие второе

Полная тьма.

Император

А! а! О, о!
Где я? Где?
Поглощенный,
Бездной всосанный, внедренный. Тьма, чернея,
Паутиной
Облепила мне лицо. Я слился с ее безмерностью.
Где я? Где я? Ничего.
В плотной мгле

Нет ни права, нет ни лева... Где здесь верх и где здесь низ...
Сзади, спереди
Ничего... И тьма, чернея,
Не растет и не редеет. Больше нет пространства,
Больше нет времени,
Тьма целиком омыла меня!
Я нигде, и высота бездны над головою моей.
Где я? Где?
Холодея,
Заблудившись, затерявшись,
С тьмою слитый, я не знаю, где идут мои шаги.
Нет ни зги... Ищет глаз и не находит...
Безразличье... Пустота...
Тот, кто здесь, тот вечно бродит...
А! А! Привет тебе, дно мира! Привет тебе, корень земли!
Привет тебе, основа тяготения!
Привет, обиталище мертвых! Волею сияющего неба,
Живой и облаченный в крест тела своего, низошел я к тебе,
Чтобы изведать тебя в законах твоих и в управлении твоем,
Чтобы вернуть мир племени человеческому
и племени звериному,
Сокрушив безбожие неведения нашего.
Я правлю царством, владея знанием и серединой.
А! А! Не оставляй меня так – одиноким и потерянным!
Я не один из твоих, обиталище! Но я Император живых
и как гость прихожу к тебе.
Я плюну на землю и, взяв на палец грязи этой темницы,
прикоснусь уха моего.

Он кладет землю в уши свои.

Кругом
Звучат
Слова
Шурша, спеша.
Без уст, без лиц.
Как те, что шепчет дух во сне.
Не пустынное это место, но полно скорбящих душ.
В глубине души я точно слышу стон,

Точно множество далеких сиротливых голосов.
А! А! Где я? Где я?
Я слышу
Рыданье, точно кто-то плачет. Я слышу крик,
Точно убивают кого-то...
Ужас охватывает меня, мне страшно.
Я буду тоже говорить. Я буду громко говорить,
Есть ли здесь кто, кто понимает язык живой?

Мать

А! А! И ты пришел сюда, сын мой?

Император

Кто говорит мне?

Мать

А! А!

Император

Я слышал, что-то говорило.

Мать

А! А! Это ты, сын мой?

Император

Кто-то сказал: это ты? – Кто ты?

Мать

О дитя мое! О мой мальчик! Мой первенец!
О царственное дитя мое – я мать твоя.

Император

Во тьме приветствую тебя, мать моя,
Я ничего не опустил. Я исполнил священный долг сыновий.
Я держал пост. Я соблюдал траур.
Имя твое занесено в таблицы, и я исполнил все обряды и жертвоприношения.

Мать

Дитя мое! Дитя мое! Увы! Увы! А! А!

Император

Что значат эти стоны?

Мать

О, дитя мое, это я в болезнях родила тебя,
Старое связуя с новым. День! День! Сын мой!
Это я дала его тебе.
Отдай его мне. Возьми меня, возьми меня, чтобы снова могла я жить и видеть.

Император

О мать! Рука моя проходит сквозь пустое пространство.

(Молчание.)

Что шепчешь ты надтреснутым голосом?

Мать

Да, это ты. Я узнаю тебя,
Как слепая сука, обнюхивая щенят своих.

Император

Ты не можешь меня видеть?

Мать

У меня нет глаз!
О сын мой! Я здесь, и меня нет здесь. Я навсегда погибла!
Я поглощена, низвержена, кинута в бездну,
Потеряна, стерта в колодцах опрокинутого неба.
Здесь ночь всемирного дня, здесь тень вечного света.
В прозрачном мире, лишенном грани, маюсь я и блуждаю.

Император

О ты, которая отдала мне часть своей плоти!
О мать костей моих, ты ли это?

М а т ь

Дитя мое, ты ли это?

И м п е р а т о р

О ты, которая даровала мне тело мое, неужели ты обратилась в ничто?

М а т ь

Вот – я узнаю плоть свою.

И м п е р а т о р

О мать! О мать! О мать! Горе!

М а т ь

О дитя! О сын! О сын мой, которого породила я!
О горе!

И м п е р а т о р

Разве нет спасения? Разве нет надежды?

М а т ь

А! А! Где же? Где же
Она? Где же свет, чтобы видеть?
Здесь нет света, дитя мое, здесь нет времени!
Нет времени! Нет конца! Нет меры!

И м п е р а т о р

Ужас охватывает меня, когда я слышу тебя говорящей в слепоте твоей, о существо, лишенное тела, о мать моя, о дух! Горе нам! Разве нет спасения? Все ли низойдем мы в этот безвозвратный мрак?

М а т ь

Вечное неведение разделяет нас.

И м п е р а т о р

О, я не буду колебаться в духе своем, я не дам смуте охватить себя, подобно человеку, потерявшему дорогу.

Я утверждаю здесь в глубине могилы, в сердце этого черного обиталища,
Сущий в ночи и сущий в призраках!
Я утверждаю и клянусь, что во всем пространстве неба
и земли и в глубочайших глубинах Адовых
Вместе с вечностью есть Справедливость, точная, непостижимая,
Предвечная, неразделимая с самой сущностью.
И она весит самое себя во всех вещах, и ничто не ускользает от меры ее.
И тебе, мать, это место было назначено не случайно.

Мать

А! А! Я не совершила никакого преступления!
Знай, что я не нарушила ни одной заповеди,
я была добродетельна, подобно женщине из Кина.
Скромная и молчаливая, я соблюдала пять указаний.
Я была ласкова к наложницам и жила в страхе мужа своего.
Увы! Что может делать женщина? Ей искалечили ноги,
И она не может стоять сама и ходить, и живет
властью другого, подобно животному на привязи.
Моя жизнь!
Я умерла старой, но сколь краткой представляется она!
Краткой и лишенной счастья. И вот место мое навсегда.
Слепая, брошена я в это слепое место, и жизнь моя слепота.

Император

Слепая?

Мать

Слушай, что я говорю тебе через тот свет, который проникает через
уши.

Император

Я не чувствую этого света.

Мать

А между тем ты в той же тьме, а не иной, чем я.
Но я была судима и осуждена беспощадным приговором!

И вместе со мной всё то множество, стоны которого ты слышишь вокруг себя. И нас много женщин и детей, которые, открыв глаза на солнце, не знали иного света.
И теперь без глаз, без рук,
В стране без возврата, в пространстве без края,
В дне вечного мрака, без ночи, без завтра,
Со стоном взывая «А! А! Где я? Где я?»,
Подобные нищим, дрожащим от холода,
Мы ищем, мы ищем
Исхода для нашего голода.

Император

Я не слышу слов, которые ты мне говоришь.
Император Мертвых
Согласно воле своей может распоряжаться своим царством.
Меня же само небо высокое и широкое
Воздвигло Императором Живых, дабы я правил в мире, охраняя их от страха и от вражьей руки.
Поэтому я низошел сюда,
Чтобы вопросить о причинах несправедливости, нам причиненной.
Ибо подобно фазану, перелетающему через ограду, чтобы клевать зерно бедного земледельца, подобно обезьянам,
Мертвые возвращаются на землю в нечистоте своей, смешиваясь с нами.
Докучливый властитель здесь.

Мать

Есть между нами плохо умершие, и, не находя себе места,
Они приходят на запах вашей пищи и вашего очага.
Другие вместе со злыми духами удалились в развалины и пустыни.
Подобно смеху, который звучит рядом,
Ваши голоса тревожат наше успокоение.

Император

Успокоение?

Мать

Сосредоточию нашего сердца на муках наших.

Император

Как оградить наш порог?

Мать

О сын мой, у меня нет власти здесь.

Император

Я дойду до самого Императора Мертвых.
Кто есть здесь, чтобы принять меня?
Потому что, когда Король или Правитель области является в мой дворец,
Я посылаю служителей моих к дверям, чтобы они вели его.
Но меня, Императора, оставляют одного, и я подобен наглецу, который проникает во внутренние покои.

Мать

А! Сын мой, кто-то здесь.

Император

Кто?

Мать

А! Звери ночи перемешаны с нами.

Император

О каких зверях говоришь ты?

Мать

О зверях, которым вы поклоняетесь в своих земных храмах, питая их.
Они лютее тигра, могильнее насекомого, угрюмее рыбы.
Их изображают рычащими в судорогах и бешенстве, и Будда улыбается посреди Них.
Сердце их пусто, как гроб, в котором сама смерть умерла, позор и холод идут перед ними, подобно их дыханию.

Нестерпимое бешенство не дает им покоя.
Они мечутся подобно бешеным собакам. Вот те звери, о которых я говорю.
Знай, что мы живем под властью безумных.
А, а! он,
Он здесь!

Император

Кто?

Мать

А!

(Молчание.)

Император

Мне холодно!
Я чувствую какой-то ужас, какие-то испарения захватывают мое дыхание!
Я вижу
Что-то,
Что чернее черноты,
Темнее моей слепоты.
Какой-то холод
Ползет по моим членам, какое-то оцепенение охватывает меня.
Меня охватывает отвращение, точно смерть плывет на меня.

Демон смеется.

Демон, это ты?
Я понимаю, почему ты смеешься!
Ибо нечто преступное, что живет во мне, подымается.
Я чувствую новое мне неведомое. Здесь ли ты, служитель Императора Преисподней?
Это ты, изверг?

Демон

Я здесь.

Император

А, а! Ужас этого слова! Снова жгучий холод, как палец в прянувшее тело.
Неведомое мне попустительство
Пробуждается в суставах костей моих, неведомое мне расслабление не противится.
Народ преисподней, Дух Преисподней толкает и вопит.
Дух зверства и убийства, дух грабежа и обмана,
Дух сладострастия и дух алчный, дух жестокости, дух безумия и неистовства!
Меня втягивает! Меня корчит и подымает.
Сорвалось нечто преступное, что живет в глубине меня самого.

Демон

Как называешь ты этот дух?

Император

Я называю его духом кощунства!

Демон

Хорошо. Вот уже новое слово преподано тебе.

Император

Я запомню это. Я сдержу подлый крик. Ты меня не соблазнишь. Плоть
Возбуждается женщиной, и подобно ей она любопытна, труслива и изменой предает спящий дух.
Но царь и законодатель спит сидя.
Человек, которого держат, не упадет.
Нелегко тебе расшатать ключ свода.
Я жив, Демон, и нет у тебя власти надо мной.
Я Император живых, и я низошел сюда
Дозволением неба, облаченный властью мига назначения.

Демон

Ты искал кого-нибудь,
Кто бы показал тебе внутренность обиталища.
Я здесь.

Император

Кто ты?

Демон

Я дух могильщик. Я восприемник умершего.
Я готовлю место
И, ведя его туда, наставляю о положении, которое уготовлено ему.
И подобно мастеру, кончающему начатую работу,
Я завершаю с ним горькое Знание.
Ты говоришь – да? Ты хочешь узнать урок, который я даю?

Император

Скажи.

Демон

Дух зла рожден в каждом человеке, который рожден.
И вначале, уступая неизведанной сладости
Творить злое, он падает: такова первая ступень,
Создается привычка, и на второй ступени,
Установленной в его сознании и в его воле,
Он грешит, зная, что он делает.
И эта ступень называется:
Склонением.
И вот третья ступень: и тот, кто достиг ее –
Зрелый среди людей и ему больше нечему научиться от меня.
Он достоин более низкой обители:
Зло
Больше не доставляет ему радости, больше не приносит ему выгоды.
Но этот человек делает зло по любви и, познав зло, он избрал его, слив сердце свое с нашим сердцем.

Император

Что есть зло?

Демон

Ты хочешь этого? Узнай же черные тайны!
Представь себе, что некто доверил тебе золото: этого мало.
Представь себе, что он отдал бедняку
Свою единственную дочь в жены и что он отдал ее в публичный дом.
Но этого мало.
Предположи,
Что человек таинственным образом
Передал тебе свою собственную жизнь. И всё же
это меньше, чем следует понимать.
Знай, что Владыка Небес создал тебя, дав тебе свой образ.

Император

Кто Владыка Небес?

Демон

Он есть. Подобно тому, как каждое число измеряется
Единицей, подобно тому, как сущность пребывает в своем свойстве,
Он есть, и его существо не различествует с его бытием.
Пойми же причину зла и источник нашей радости.

Император

Зло есть то, чего нет.

Демон

Тварь,
Узрев сущность, порученную ей, овладела ею
И поставила самое себя конечною целью.
Таково было первое нарушение и первое преступление.
Я дерзнул! Перед лицом Божьим я совершил бесстыдное деяние.
Поэтому мы предоставлены самим себе, здесь!

Нами первый человек был посвящен в преступление.
Он умер, и из смерти его родились тьма тем <?>
Семя зла заложено в вас вместе с алчбой пищи; радости и мудрости ваши те же, что и наши;
И ваше обиталище противопоставлено нашему.

Император

Разве нельзя исцелить, нельзя исправить?

Демон

Возможно ли тебе равняться с Богом. Может ли раб
Возместить кражу, что совершил свободный?
Нечто из самого существа Божия похищено и
Кто отдаст Бога ему самому?
И как Единому искупить грех
Всех людей?

Император

Разве он несправедлив? Горе матери моей в этом скорбном жилище.

Демон

Знай, что здесь нет невинных.
Как отрезанный член не прирастает к кости, также познай, что между небом Святых и Адом существует разделение неисправимое.
То, чего ищут эти неведующие души,
Не выход, а дверь в зло более черное,
Ибо каждая, выйдя из тела своего, избрала это место,
И, устроившись, приросла к нему, как ребенок к груди матери.

Император

Я знаю одно: я живу! Я живу!
Губы мои влажны, и на своей руке я чувствую дыхание ноздрей моих.
Значит, область живых различна с вашей, откуда же у нас этот ужас прикосновения мертвых?

Значит, есть черта, которую вы переступили, и если Небо дозволило это... –
– Я потерялся... Я ищу как слепой ощупью пальцев.
– Отвечай,
Разве не это место, где всякое зло любимо?

Демон

Да.

Император

Но есть по крайней мере одно зло, которого боится всякий живущий:
страдание.
Ему дано страдать, и указание это не случайно:
Им он может познать и исправиться. Отвечай!
Я знаю, что страдание существа здесь.

Демон

Это место – место наказания, и указание, им даруемое, только увеличивает его.

Император

Через наказание я постигну вину. Через вину я постигну закон.
Я хочу знать! Я хочу коснуться.

Демон

При этих словах мы спустились ниже.
И теперь мы во втором круге, там, где огонь наставляет нас своим
свойством.

Император

О каком огне говоришь ты?

Демон

Об огне без пламени и дыма! Это не пламенеющее крыло огня!

В горах огонь дровосеков, в городах пылающие здания, подобно восходящему солнцу
Извергают ветры искр и дыма, и бесчисленные
Лица толпы озарены, как золото.
Это не домашний огонь! Не огонь очага! Не огонь кузницы.
И жар его более жесток, чем дыхание горна, более неумолим, чем Солнце в Августе, когда, достигнув притина Неба,
В море слышит оно молнии и с землею сливает его в одном ослепительном объятии.
Убивает и душит этот огонь! Не имеет влаги пот, им рожденный, и знай, при одном запахе его ты расплавишься, как если бы ты был восковым! Он зовется огнем Наказания, и я объясню тебе его природу, если хочешь.

Император

Говори правду.

Демон

Узнай об огне, каково его действие: он разобщает, он приобщает, возвращая воздуху – воздух, земле – пепел.
Поэтому сравнивают его с Познанием, со Справедливостью – чистой, точной, ненарушимой.
Про него говорят, что он берет и поглощает,
подобно тому, как пищу, которую варят огнем, сердце
Претворяет в мясо, кости, жир, кровь и слезы.
Он уничтожает то, что имеет его, и из того, что уничтожает, родит зной и свет.
То же, что не может питать его, подобно железу, делает тягучим и мягким.
А то, что не может сделать мягким, он прокаливает.
Постигаешь ли ты, что я говорю?

Император

Да.

Демон

Бог, как любил свои создания в начале, так любит их до конца.
Он не отнимает у них то бытие, которое дал им, и для воле-

ний его нет раскаяния.
Самого себя любит он в них. В твари, которая сознает, он узнает себя.
И так как тварь, нераздельная с ним по сущности и в то же время сотворенная его действием из ничего, в корне своем зависит только от самое себя,
То он, склоняясь над ней, неволит
Подобно пламени, порхающему над сухим деревом,
в трепете чувствует присутствие его.
От дерева возьму я свое уподобление.
Согласно смыслу знака вашего «Восток», Солнце
Вызвало дерево из Земли властью Лика своего.
К небу простирает дерево ветви свои, а корни внедряет в землю.
Чем выше оно растет, тем шире распростирает свои множащиеся руки.
Ибо! Ах! Солнце, достигая лета и притина своего,
Развертывая листья, подобно руке, которую разжимают, неволит его отдать свои цветы и плоды.
Тем дальше, тем проникновеннее, тем глубже корни
Должны искать, вникать, расти, рыть, щупать, спускаться,
тем недоступнее, как рука, простертая от уст,
Будут они высасывать жар и вино земли.
Когда же оно достигнет роста своего, придет дровосек и
срежет его, и лишь только отделится оно от земли,
Огонь вливается и не оставляет ничего, кроме пепла.
Постигаешь ли ты это?

Император

Я слышу. Я понял.

Демон

Таковы требования Бога. Так устами припадает он к твари своей.
Ибо, сотворив ее, не мог сотворить иначе, как для самого себя и
Согласно своему изволению и закону.
Это и есть написанное в книгах: «Один огонь жжет в трех

пределах».
Это тот же огонь, что питает вас в жизни,
Он слава и слиянность блаженных в небесах,
Он же муки и ожоги геенны.
Перед лицом Божиим воскликнул я «Нет!» в день раскола.
Сердце обратив на самого себя, я не дал согласия своего.
Поэтому расплата постоянна, как и вина.
Ибо согрешив вне времени, мы согрешили без грядущего.
Действие пребывает.
И знай, что требования Господина не изменились.
Такова жажда и голод наши, такова пустота, которую ничто не может насытить, и поэтому, подобно земледельцам,
Живем мы среди вас, дабы жатва колосилась и
Птицы не клевали нашей казни – нашего хлеба.
Ибо ваш грех тот же, что и наш, и нет ему искупления!
Поэтому отчайся и богохульствуй! Познай
То богохульство, что подобает тебе, и то, что для
изучения его время тебе дано безмерное!

Император

Ты не ответил мне всего. Яснее разъясни казнь, которую терпят здесь.

Демон

Размысли же о том, что скажу тебе.
Вас создал Бог такими же, как и нас, и со согрешивших подобно нам взыщется тоже.
Тело и душа ваши созданы по образу и подобию Его.
На вас, отделенных от Бога, возложено было поддержать непрочную связь.
В ваши руки была предана земля, а также всё то вещество, из которого вы были созданы.
Земля рождает в труде, а женщина в муках.
Не имея никакой конечной цели, кроме самих себя, подобно сыну, отец которого умер,
Вы должны жить на свои собственные средства и поступать за свою собственную ответственность.
Познай же требование Господа и пустоту, что он оставил вам

заполнить, почивши.
Нос исследует, язык пробует и судит, желудок и кишки усваивают; и подобно тому, как нет на земле вещества, из которого вы не добывали себе пищи –
Из овощей и плодов, из семени растений, из мяса животных, из сахара и соли,
Точно так же, подобно питательному соку, повсюду ищите вы рассеянных частей вашей радости,
Живущей самообольщением.
Так на самих себя вы радуетесь, и это вина сверх вины.
Наказуемой здесь в этом втором круге.
Ибо призыв пребывает, и у вас нет возможности услышать его.
Пламя же, которое вы не можеет больше питать, обращается на вас.

Император

Плоть страдает ли вместе с душою?

Демон

Человек создан из плоти и духа. Согрешив весь, весь он наказан.

Император

Лишенный тела, как может он страдать телесно?

Демон

Наказание – одежда ему
И более: знай, что в последний день он обретет свое тело.

Император

Какова природа этой казни?

Демон

Ужас быть любимым, ненавистно быть преданным
Всененавидимому.
Осужденный, будучи тварью Божьей, против себя самого обращает ненависть.

Ибо есть два вида казни: дух сам налагает себе первую,
и вы зовете ее мукой духовной, а вторую
Независимую от вашей воли, называете мукой телесной.
Обе они претерпеваются здесь,
Облачен ли осужденный в плоть свою или нет.

Император

Возмездие не есть ли
Наложение, наказание, противоположное совершенному преступлению?

Демон

Кто беднее скупца? Кто более унижен, чем завистник?
Зло, коренясь, растит возмездие.

Император

Могу ли я узнать что-нибудь об этом месте, где я теперь?

Демон

Можешь ли ты видеть очами духа?
Знай, что если бы плоть твоя могла ощущать пламя,
в которое она погружена, она распалась бы прахом.
Это первый круг Огня, называется кругом Кипения.

Император

Почему?

Демон

Воду, которая наполняет это место, пламя осужденных
движет двойным током.
Человек, предоставленный самому себе, припадает
к своей же сущности.
Но, почувствовав себя поглощенным, он простирает руки и ладони рук
И трепещет, как птица, полетев искать себе пищу.
Таков двойной водоворот: себялюбие и жадность.

Император

Он один?

Демон

Ни один человек не подобен другому; ни один грех не подобен другому; ни один не наказан подобно другому;
Напиши это на стенах пагод, в которых поклоняются нам!
Скупые душат:
С горлом, сдавленным судорогой, ногти вонзив в ладони, стиснув зубы,
Корчатся они и не могут извергнуть золотого яйца из своего чрева.
Здесь не то, что в твоем мире, здесь каждый получает
Согласно своим способностям.
Блудники связаны одни с другими, смешаны в кучу одну, как размякшие трупы, как жир, который тает и течет.
По два, по три,
По десяти, по тридцати, гроздьями, как жабьи бородавки,
Кишат они в кипящей ночи, разлагаясь в жестоких судорогах.
Обжоры голодны. Завистники иссохли, жаждут, и слезы их как уксус.
Ленивцы спят в кошмаре и не могут пробудиться,
А гордец одиноко вбит в землю, подобно посаженному на кол.
Его участь – слепота и вечное одиночество.
Колени его вывернуты и движения заплетаются.
Или распростертый крестом, выносит он тяжесть своих рук.
Или в молчании силится приподнять голову на сломанных позвонках.
Но подошва его ноги живет и тонкое жало точит и разъедает ее.
Но зачем ненужные образы, когда всё объясняет огонь?
Ибо, как боль с точностью находит и гложет страдающий нерв,
Так осужденного преследует неуловимый огонь.

Император

Увы! Увы! О горе! О жестокость!
А между тем там наверху час, которым
День связан с ночью и видно из города, как
солнце садится за могильники.
Люди и деревья в горне сияния его кажутся тонкими и малыми;
Лодочник, который моет вечерний рис, точно в червленый диск
опускает свои руки и свою корзину;
Зажигаются в городах огни и в небе звезды,
И луч их так четок и тверд, что рыбы
выскакивают из воды, чтобы поймать его.
Племя людей! Слушай голос мой под полями в глубине земли!
О крысы, о мухи! Почему небу не угодно было, чтобы вы были подобны крысам и мухам, потому что животное, раз оно умерло, растворится, как вода в воде!
Мы же, умерев, должны жить.
И подобно рису, прорастающему сквозь отверстия мешка,
Неискоренимое племя мертвых изливается сюда, как река,
вышедшая из берегов.
Во мраке ждет нас жало вечных мучений.
Ни один не убежит! Где весло, где крыло, чтобы бежать?
Где оружие, чтобы освободиться?
Кто чист, кто свят? И когда мы мыслим быть такими,
где знание наше? И грех нашего рождения пребывает.
Враг в нас. Он движет, останавливает нас.
Как в темной комнате к тлеющий углям – глаза,
так сердце наше обращается ко злу.
Как женщину с бессильными ногами, безумный ветер качает нас.
Мы отмечены, сосчитаны, преданы и осуждены.
Поэтому и веселье свадебного пира прерывается, и радость отца, с раскрытым ртом созерцающего своего первенца!
Единственное средство – не зачинать, пресечь источник жизни там, где одно тело начинает становиться двумя.

Поэтому вы, которых постигло несчастье родиться,
Дорогу мертвым! Настежь двери и затворы! Принимайте гостей, раскройте им объятия,
В то время как они щупают и обнюхивают, подобно слепцу,
Который, найдя брата своего в иной одежде, узнает и не узнает его.

Демон

Теперь довольно тебе этого знания?

Император

Колени подгибаются подо мной: на вые бремя, что ломит меня.

Демон

Хочешь ли ты знать до конца? Хочешь ли знать, до каких пределов простирается рука мертвых?

Император

Я хочу.
Эти темные души грешили не ведая. Поэтому здесь и нет света.

Демон

Как собака на сало, на приманку бросились они, и крючок впился в их желудок.
Причина этого голода чувств, я объяснил тебе – рука, что берет.
Но человеку вреден дух и вместе со зрящим глазом – понимание:
Имая, он понимает.
Вспомни, что я преподал тебе: Человек,
Себя самого ставя конечной целью, тем менее может найти себе удовлетворение.
Тем теснее прилепится он к первопричине своей, через которую существует
в качестве человека – отдельным среди множества.
Такова работа бессознательного; но в человека

вложено сознание для того, чтобы посредством его
Понимания, что творит, он одобрял и выбирал бы лучшее.
И в конце конечного бесконечное, связано оно с причиной бесконечной.
Есть утоление чувству, но скупец всегда голоден.
И так как плотью человек становится человеком,
то и с нею он связан.
Те, которые здесь созерцатели Плоти.
Здесь начинается Противознание, здесь явлен Черный Свет!

Император

Могу ли я видеть их и говорить с ними?

Демон

Ты не можешь проникнуть в их твердую область.
Как морское дно в своей броне, как кораллы,
заточены они в собственном камне.
В самом веществе, в толще первозданных скал обитали они.
Они мозг костей Адовых, и Ад дал им место в самых костях своих,
В основе своей, в усесте своем
Всех вещей, что существуют весом, телом и мерой,
Изучают они Законы, соотношение и свойства
И, не сознавая различие свое с веществом,
В него же вросли они, обладавшие своим бесплодным знанием –
так срощены они с камнем.
Полость, которую они выскребли себе по величине
тела своего, есть то, что они знают.
Там пекутся они вечно.
Так двойное устремление их сердца обратилось на них.
Вещество возлюбили они, и они в нем
Сами себя обожествили, и вот скрюченные, с
Членами подогнутыми и слившимися с телом, подобные
листьям в почках, подобно зародышу во чреве матери.
Они сами владеют и душой и плотью своей
И в свете искомом им не отказано; вот она брезжит зарей!

Император

Какой свет?

Демон

Это не высшее солнце, при свете которого
Глаз, пронизывая пространство, читает Небо и Землю!
Нажав пальцем глаз, ты видишь, как во внутренней ночи
появляется сияние.
Сон кишит видениями.
Колдун, окоченевший в своем мрачном ясновидении,
Сквозь стены и пространство может достигнуть
указанного ему предмета.
Как светильник в комнате с закрытыми ставнями
Подземный огонь освещает внутреннее зеркало.
Они живут в непроницаемой пустыне, где Огонь – лед.
Толща камня, в которой души эти замкнуты,
Подобно фарфоровому кирпичу, который становится сияющим
и прозрачным от чрезмерного жара горна,
Более или менее освещена огнем, проникнута этим
кощунственным светом.
Такова область обратного познания, область
конца, обратившегося к причине с вопросом:
«Как?»
– Теперь довольно. Не спрашивай больше о том,
Чего ты не в силах вместить, о сокровенных
тайнах, скрепленных ненарушимыми печатями.
Под страхом смерти!
Под страхом, что, пораженный немощью,
ты уступишь словам, что я преподал тебе.
Под страхом, что душа твоя умрет!
Под страхом, что сердце твое убьет тебя.
Как умирают при молниеносном свисте
Меча обнаженного перед лицом!
Ибо безусловное открою я тебе.
Я вложу палец твой в сердце, в тайны беззнания нашего,
Святая Святых Адовых, Рая Ненависти.

Император

Я хочу этого.
Разве во имя свое я пришел сюда? Разве первый я обратился к вам?
Сидя на.четвероугольном троне, как старец,
который из дома своего через два ряда окон
Видит границы полей; одесную и ощую<ю> себя видел я всю землю,
Плодоносящую в пределах моего благословения.
Это вы пришли смущать нас подобно докучливым
просителям, хватая нас за подол одежды.
Поэтому я – Царь, Первосвященник, Отец.
Я спустился сюда, чтобы вопросить вас о причине и узнать истину.
Теперь козни твои не страшат меня: лучше усугублю боль,
Чем, вернувшись к своим, поднявшись к детям, делить их горький хлеб,
Приму обвинение в том, что обманул их.

Демон

Я... Я... Там. А, а, Сатана.
Мне страшно! Я трепещу! Я как человек, которого относит резкий ветер. Мой дух смущается и колеблется, он бунтует, он покорен.
Это он! Я не могу вести тебя дальше.

Император

Отвечай. Его здесь нет больше.

Слушает.
Мрак не отвечает.

И между тем мне кажется, что я слышу шум, как бы войска проходящего в тумане или взрыв смеха, трубный звук в пустыне, точно безумный пробудившийся среди ночи смеется одиноко.
Вот я одинокий странник в этой потерянной стране,
Пространства которой – казнь и пределы вина –
Озеро Смерти, обиталище чудовищ.

Слушай меня, ты, которого этот зверь назвал Владыкой!
Это ты привел меня сюда?
Не забудь меня теперь, но выведи целым и невредимым
На землю, чтобы мог я рукой осязать луч полдня.
Это внушает мне ужас. Разве не слышал ты, что сказал этот зверь?
Правда ли, правда ли, что это жилище наше навсегда?
Если это так, то не стоит и возвращаться в круг детей моих.
Но помни, что я вестник дыхания твоего, и не допусти меня проклясть тебя.
Ты! Скажи мне истину, яви мне ее, чтобы я мог ее понять и видеть.
Чтобы не восстал я среди своих детей к мукам, принося лишь поучения.
Я размышлял и нашел тягу в самом себе.
Я последовал тяге своей, и вот я достиг, я коснулся
горького слияния кощунства с небытием.
Что это?
В ночи я как человек в ладье, которую захватила рябь невидимых вод.
Откуда вдруг эта безопасность? Страх проходит.
Вот что тихий шепот мира; вот что дыхание вечера для путника – разрешение грехов. Некто здесь.
Кто радостный возле меня? Кто зрящий в этой ночи?
Невидимый в хаосе? Святой, неприкосновенный в этом
кощунственном граде?

Ангел Царства

Я старец жизни вневременной.

Император

Кто присутствует здесь вне временных? Кто здесь,
кто мудрее старости, проще ребенка?
Прикосновение к невинности! Радость и благоговейный
трепет объемлют меня! Кто ты?

Ангел Царства

Это я.

Император

«Это я».

Ангел Царства

Я святой: единый из всех созданий я был избран для цели неизъяснимой.
Я могуч, и мое пламенеющее послушание неуклонно.
Я прост, и природе моей неведомы чуждые естества.

Император

Слагая руки, склоняюсь во прахе. Приветствую тебя
во мраке этой темницы.

Ангел Царства

Я Ангел риса. Пусть другие пекутся о маисе, пшенице и просе.
Человек пальцем кладет рис в землю. И подобно тому, как семя
земли было сокрыто вдали древнего потопа,
Так рис посажен под водой для того, чтобы,
возродившись, рос он в свете
И зерном двойной жатвы наполнял руки и мешки.

Император

Ты один из существ блаженных! Подобно звезде, что ходит вокруг остий, и подобно ястребу, широкими кругами парящему и кружащему над горами и равнинами,
И глазом острым, зрящему то, что внутри дворов и загородей, и еловую шишку под деревьями, и ладьи на пламенеющих озерах,
Ты созерцаешь землю из четырех овидей. Молитвы наши
возносятся к тебе, согласно узаконенному чину.

Ангел Царства

Царь людей, как и ты, я тварь, как и ты, исполняю я
должность свою.

Есть народ мудрых. Мудрость была наказанием его.
Разумным себя считает он, но звериное проклятие нависло над ним.
Страху предан он и окружен опасностями неизъяснимыми.
И как император, что распростерт над народом своим, подобно дереву, влекущему и охраняющему пасущиеся стада, под сенью листвы своей,
Так я поставлен предстателем его, в небе поставлен
звездой, отмечающей день его.
Вот тысяча лет, и тысячи лет лет, и тысячи тысяч лет,
Как поколения его возвращаются на землю, и напрасно припадаете вы к могильному холму, украшая его, как невесту:
Они дурно умерли, и земля не дала им удовлетворения, и омраченное племя шевелится под вами;
Поэтому ты, первый император,
Ты дерзнул живой низойти сюда, чтобы разрешить узел жизни и смерти.
И так как ты искал истины – она здесь.
Спрашивай, и я отвечу тебе.

Император

Наставник адов изъяснил мне
Троичное разделение искупляющей жизни,
Но, приблизившись к этому сосредоточию,
в котором равновесится и опирается целиком
весь кощунственный храм,
Как бы охваченный ужасом, оборвался голос его.

Ангел Царства

Я спрошу тебя и испытаю знание твое.
Что знаешь ты о наказании, применяющемся здесь?

Император

Оно троично, согласно троичному делению:
Незнание, противо-сила, противо-знание.

Ангел Царства

Что означает это слово «противо» и в чем сущность этого наказания?

Император

Следствие, обращенное на причину.

Ангел Царства

Ты ответил верно.
В чем первопричина человека? В веществе?

Император

Нет. Вещество делает только то, что он становится
Тем, а не иным существом.

Ангел Царства

В сознании?

Император

Нет. Сознанием он постигает две вещи:
То, что он существует, и то, что он не существует.

Ангел Царства

Где же она, внепричинная Первопричина
Существования Существа самого в себе, которое говорит о себе: «я есмь».
Я, я не ведаю страха и раскрою тебе тайну греха:
Так же, как святая тварь устремлена к Богу, как к своей цели,
Так же Сатана радуется ей, как своей причине.

Император

Как?

Ангел смерти

Того, кто держит мир в руках своих подобно чаше с рисом,
Не подобает ли именовать изобильным?

Император

Да.

Ангел Царства

Но удовлетворение того, кто познает причины всех вещей,
Не будет ли более полным?

Император

Это истинно.

Ангел Царства

Но тот, кто знает причину внепричинную и сущность вненачальную,
Как назовем мы его обладание?
Как скупец, созерцающий с жадностью вес своего
Серебра и число своих владений,
Взгляд Сатаны проникает в глубины божественных сил.
И, видит свет, мудрость, любовь, справедливость, кротость и щедрость,
Которыми он был создан вначале и которыми он существует и ныне,
И, как безбожник, безумец и злой
Распоряжается миром, будто он создан только для них,
так и Сатана, зная Бога
Как причину, в конце концов подчиняет его себе.
Таково высшее извращение, такова тайна покоя.

Император

Какое наказание несет он?

Ангел Царства

Чем выше цель, поставленная существу, тем больше ему возможности достичь ее.
Тем полнее возобновление, тем суровее требование.
И как тех безумцев, что украли мир у Бога,
О них же тебе говорилось,
Неволят подобно должнику, схваченному за горло, к невоз-

можной расплате,
Так сей, чья кража была непосредственна, лицом к лицу выносит Бога.
Вот отец Зла и дети вместе с ним в постели его.

Император

Я коснулся глубин сущего, и рука моя теряет здесь свое головокружение.

Ангел Царства

Приветствую тебя, Сатана, в глубине бездны!
О, Ангел! Как первый день свидетельствовал ты ее, венчанный светом славы, ныне отвергая ее —
Не менее славишь ты ее Справедливость.
Око братьев твоих не может насытиться созерцанием расплаты твоей, Тварь Божья!
Таково почтение Господа к своему созданию, такова свобода, которую он вручил ему.
Вот место, где несправедливость искуплена, где наказание и вина существуют в ненарушимом равновесии.

Император

Говори, укажи спасение!
Как мы берем пищу свою от земли, так и земля, подобно руке с щепотью, приходит взять нас.
Нечто неразрушимое в нас! Подобный Луне, просветляющей ночь свидетельством своим,
О ты, вне времени созерцающий нашу сущность, спаси народ Ста Семейств!
Не допусти, чтобы навсегда он был прикован к неведению.
Успокой племя лишенных всего. Загради неминучую дверь.
Возвысь голос свой над нами так, как полки, собранные в одно место при зове трубном, дрогнув, начинают строиться в ряды.
Так, как слова, написанные в диске Солнца, чтобы всё множество разом, подняв глаза, узрело Слово Истины.
Живых спаси нас от Смерти! От неизбежной Смерти спаси нас!

Тройной мир дай нам и благословение тройной уверенности:
Неба над нами, земли под ногами нашими и глубины бездны.

Ангел Царства

Что хочешь ты узнать от меня?

Император

Мертвые приходят смущать нас. Причину знаю я теперь.
Укажи нам целение.

Ангел Царства

Ты знаешь истину.
Тот, кто сущность всего, кто есть причина всего – он же и конец.
Поэтому человек, созданный из тела и разума, нес ему дары, жертвы, предуготовления и посвящения,
И дабы, приняв его в себя, ему бы вернул его самого.
Шесть дней да творит он дела свои, питая тело свое и разум,
А на седьмой день, как служитель, что, украсив жилище, вводит туда Господина своего,
Да поднимет он руки к небу.
Таков закон, который нарушили вы, и земля поэтому,
Видящая, как дурно обходились вы с порученным вам, хочет отнять у вас то, что ее.
Вывеси на стенах, объяви в судах: Шесть дней народ мой да творит дела свои и работу свою,
Оратай да погоняет буйвола своего, лодочник ладью свою, ремесленник ткет, кует, пилит, строит, растирает масло и муку,
А на седьмой день да омоет он руки свои и голову и, облачась в новые одежды, пребывая в покое, славит великое Чаяние.

Император

Какое чаяние?

Ангел Царства

Слушай, сын мой, слова мудрости, песнь неугасимую, звучащую для тех, что познали молчание!

О тати! У творца вашего вы украли некогда творение его, и его драгоценное достояние, вашу волю.
И он, воздавая вам тем же,
Отнимает ныне у вас вину вашу и,
овладев природой вашей, совершает восстановление.
Это и есть чаяние, о котором я говорю: чаяние
того, что истинное богослужение будет дано вам.
Вот возмездие, вот примирение,
Вот справедливость, вот порядок,
Вот спасение, вот мир между Небом и Землей,
Подобный нежному союзу супругов, вот основа!
Хвалю тебя, Господи! Аминь.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Зала во дворце. Ночь. Входит наследник престола и с ним вельможи двора.

Составляют совет.

Старейший из князей крови

Дозволено ли мне говорить?

Князь наследник

Говори.

Старейший из князей крови

Всё потеряно. Город будет взят завтра.

Князь наследник

Мы знаем то, что нам остается сделать.

Старейший из князей крови

Вот смута, предсказанная треугольниками: мятеж поднимается за мятежом.
Толпа взяла верх, а царь – внизу.
Поэтому первый, как подобает, принесу я свое покаяние!

В тот решительный час, когда он сошел к мертвым –
Император, отец твой, поручил мне ваше величество.
Эти старые руки не сумеют защитить тебя.
Прочь должен был я увезти тебя, как человек,
что, взобравшись на скалу, ожидает морского отлива.
Я думал, что могу задушить этот мятеж под подошвой моего сапога.
Ибо в летописях истории говорится, что мятежи
кладут конец династиям.
Возникнув в одной точке, они разрастаются и охватывают всё.
Но этот мятеж не начался ни там, ни здесь, и
никто не стоял во главе его.
Все стороны разом, все органы Империи, как
члены тела, охваченные безумием судороги,
Прекратили свою работу и всё множество народа сдвинулось целиком, как если бы сама земля пошла на нас.
Как народ, преследуемый крысами или спасающийся от наводнения, когда великий Го прорвет плотины,
Смерть заполнила живое, и толща человеческая,
подавшись, двинулась разом.
Этот город, в котором мы заключены,
Единый держится посреди смятения, и завтра будет
зрителем того, как мы будем поглощены.
Мой долг был защищать тебя, и вот ты в руках врага.
Поэтому произношу я обвинение против самого себя.

Падает ниц.

Все остальные

Мы, владыко, точно так же приносим обвинение против самих себя.

Простираются ниц.

Наследник престола

Нет обвиняемого кроме меня.
Предполагать, что осуждение несправедливо – кощунство.

Недостойностью своей и непостижным гневом неба гибну я.
Народ мой, у тебя прошу я прощения
За слабость мою, за нерадивость мою, за проступки
мои, и за твои бедствия, и за твой мятеж!
Ибо Император поставлен на свое место,
Чтобы защищать народ свой от беды, и если не
может, то по справедливости погибает.
И ты, древний род, прости! Четыре века, как век несокрушимый,
Правил ты страной, и как молодая поросль растет от старых корней,
Так от тебя черная жизнь царствующий Император.
И вот подрублен я под самый корень, и древний
род погибает вместе. Лишенный своих птенцов и почестей своих,
Мертв ты и забыт.
Прости, род мой! Народ мой, припадая к земле,
прошу я у тебя прощения.

Простирается ниц.

Великий исследователь

Где скипетр – там власть.
Император, отец твой, нисходя к мертвым, унес древний жезл.
И поэтому народ, как животное, глаза которого
устремлены на господина,
Не видя в руке твоей верховного знака, мечется,
Объятый ужасом и духом вольности.

Старейший из князей крови

Насадитель династий принес его с собой, когда из пределов запада,
из-за травянистых степей пришел он сюда странником.
Империю эту нашел он раздробленной, разделенной между искателями власти, что подобно татям, оспаривали друг у друга человеческие тела, живые и трепещущие.
Он убил их всех и в свои руки принял Единовластие,

опираясь на жезл свой, занял священную Середину.
С жезлом этим связана судьба династии.
Баснословный слух гласит, что спустя времена, подобно дереву,
которое считают мертвым, а оно начинает зеленеть,
Жезл процветет ветвями и духи небесные, как
птицы, слетятся глядеть на него.

Наследник престола

Отец! Отец! Если где-либо пребываешь ты живым,
Услышь нас! Воззри на крайность нашу.

Евнух

Он был у мертвых. Быть может, он боится показать тебе лицо свое.

Наследник Престола

Я предвидел это. Никто не живет в этой части дворца, откуда
вход в святилище, где чтится династическая таблица.
Там велел я сложить императорское облачение и с ним золотую маску.

Дверь святилища открывается, и Император появляется в ней, облаченный в императорские одежды, с лицом, прикрытым маской.

Наследник престола

Приветствую тебя, старец! Приветствую тебя, отец!
Я больше ничего не могу сказать.

Падает ниц, и все падают ниц.

Император

(поднимая императорский жезл, который теперь имеет форму креста)

Вот царственное дерево!
О предки мои, о сын мой, о народ мой,
Я не похитил его у вас! Как древний изгнанник, взяв его в руку свою,

Из глубин Земли вновь несу я Жезл испытания и власти, на который опирается Император,
Меру мира, меру мудрости и державы! Гляди!

Наследник престола

Пророчество свершилось: ствол пустил ветви.

Император

Смотри!

Наследник престола

Ужас, смешанный с почтением, обымает меня, и благоговение невыразимое!
Вот знак Десяти, фигура человеческого креста!
Как муж, пробуждающийся от сна, как юноша, взглядом мерящий вселенную, как пловец, который, нырнув до дна, подымается, распростирая руки,
Так царственный скипетр с одной и с другой стороны простирает свои ветви.

Император

Смотрите все! Вот, что приношу я! Я держу в руках моих знак царства и спасения!
Се дивное пересечение, в котором Небо связуется
с землей посредством человека.
Се суть между правым и левым, раздел верха и низа!
Се таинство и жертва.
Се есть наисвятейшая середина, средоточие, из которого расходятся четыре луча, се несказуемая точка.
Вижль знак сей, о мир!

Наследник престола

Приветствуем тебя, Носитель Креста.

Император

Вновь появляюсь я у роковой двери! На пороге, разделяющем жизнь от смерти, стою я со знаком креста.

Я коснулся основы сущего, и рука моя оставила там свой след.
Я прошел через Ад! Сквозь растущую ночь тьмы шел я живой.
Я знаю причину зла, и у Смерти есть объяснение.
Слушайте меня – меня, вернувшегося из той стороны мира: я кричу, делая последний шаг свой!
Вот стою я прямо и объявляю, что Справедливость – справедлива,
Непогрешима, как сны, точна, как гири!
Вот я с этим крестом в руках!

Все

Привет тебе, знак спасения!

Император

Привет тебе, знак радости! Привет тебе, знак страдания!
Только тот, кто ведает твою радость, может принять твое страдание!
Есть откровение по ту сторону жизни!
Наказание по ту сторону жизни есть откровение той муки, что вы носите в себе здесь, не постигая ее.
И это не то, что вырванный волос!
Разрыв ее в экстазе ночи подобен разрыву души и тела, духа и позвонков!
Вот новый завет, вот новая опасность, которую приношу я от корней земли вместе с этим крестом.
О ты, человек живой, бедное существо, глухое, слепое,
Мне жаль тебя. Я пастырь людей,
Я слышу у трона своего шум народа, который жует, и нет у него ни глаз, ни ушей, и ко мне простирает он молящие уста свои.

Наследник престола

Вот горе наше! Восстанови единство! Изгони мертвых!

Император

Спасение ваше в руках моих. Я приношу очищение и запретительные обряды.

Завтра, когда солнце взойдет,
Подъяв это, я рассею мятежников.
А на закате, собрав народ, я возвещу ему.

Наследник престола

Теперь, отец, яви нам свой царственный лик!

Император

Ты хочешь увидеть его, сын мой?

Все

Да будет дозволено нам узреть свет лика твоего.

Император

Тогда смотрите.

Снимает маску и показывает лицо прокаженного – гладкое и опухшее. Нос провалился, от глаз остались кровавые дыры. Только один рот неприкосновенен.

Вот я!

Все

(закрывая глаза)

А! А!

Император

Так отец семьи, вернувшись к своим, не будет узнан, вы не зовете больше меня ни отцом, ни господином.
Подобный дымящейся головне, лишенный кожи,
Тлея еще, свидетельствую я об огне, в который спускался;
и плоть моя подобно дереву покрылась собственным пеплом.
На себе несу я свидетельство.
Глаза эти, познавшие мрак, не могли бы видеть больше вашего света.
Но знак несу я в руке, и сам я знак.
Ведите меня на стены города, ибо уж день близок,
Там, явившись, возглашу я весть свою.

Глашатай

Подобно тому, как река или напор морского прибоя,
прорвав плотины,
Уносит всю страну в стремлении своем, и скалы,
и деревья, и города вместе с людьми и богами,
Так, когда Державный Император, показавшись на стене, поднял крест, всё мятежное войско было подкошено, как бы секирой.
Часть бежала! Но большинство, падая на колени, одни на других простирали к городу лес рук, моля о пощаде.
И головы вождей подвешены в клетках над каждыми
из городских ворот.
В тот час, когда солнце, которое, только что недвижимое в небе, ударило в воды колодцев, отвесным лучом,
Начинает спускаться к земле через пространства послеполуденные.
Пусть все соберутся сюда и слушают! Ибо здесь отец наш,
Император, который, подвигнутый состраданием к народу своему,
низошел в глубь земли, и, вернувшись, лишь уста свои принес живыми,
Возвестит спасение и даст закон.

Входит Император. Долгое молчание.

Император

Я обращаюсь на восток, я обращаюсь на запад,
И я чувствую одно за другим два дыхания на своем
лице: дыхание моря и дыхание земли.
Холодное и чистое приходит одно с высокого неба
оттуда, где глубина девственных вод
Гнется под мятежами вечности;
А с другой стороны веет ветер земли, напоенный ароматами
и дымами, духом нив и деревьев, и текучих вод и людей,
и животных: чую на лице своем питающий ветер!
Отстраню ли его рукой – я как человек, что чувствует под своими пальцами нежность детской щеки.

Черное облако, как буйвол, кончивший пить, оперло морду, еще струящуюся влагой, на плечо горы.
Временное жилище бессмертного человека, благословляю тебя!
Толпы мужей и женщин, поколения детей, мир вам!
Место, нам отведенное, убежище ненарушимое, бытие в настоящем, приветствую тебя!
О, торжественность жизни! У меня больше нет глаз, но самый вес мой стал тоньше, чем зрение.
Силою, что держит вселенную в равновесии, стою я прямо.
Вот здесь предстоит нам перенести испытание безвозвратное,
Очи в неизмеримое небо, лицо к солнцу,
И казнь неотвратимая под ногами!
Привет тебе – священное преддверие! Храм вселенной, в котором человек бродит, подобно жрецу, пораженному забвением!

Голос

Привет тебе, благовестник!

Император

Се династическое древо возвысило вершину над стенами города,
Се я наследник ста императоров, вместил в себе мудрость!
О, богатство достояния моего! слеп я и вижу!
Но зачем говорю я: Вижу? Ибо все чувства мои стали
одно и слились с сознанием.
Оно же многосложный орган созерцания в восторге.
Ибо, подобно тому как человек ясным и сияющим утром созерцает землю,
И глаз его, отмечающий несходство двух былинок,
пронзает пространство и охватывает дали,
И подобно тому, как ночью в гуле моря и ветра слышатся
стенания ребенка, который плачет,
Так разум мой от острого смысла низменного понятия, привлекаемый высшей ступенью как мудрец, открывающий семь звуков,

Поднимается от причины к причине и взвивается языком пламени.
О, дивный вид! О, упоение!
И вот, замерев в восторге, я слышу лишь первичные шумы.
Ключ кипит. Журчат вещие воды.
Поймите же уподобление сна:
Тот, кто сосредоточит взгляд неподвижно, сперва перестает видеть формы, после цвета, после он закрывает глаза.
Затем, таким же образом, слух перестает различать и после слышать,
Затем затихает обоняние и осязание угасает,
Последним пребывает вкус и это ощущение Божества – Мудрости, от которой и душа и уста переполняются водою и медом.
Всё благо.
Зло в мире, как раб, который подымает воду;
Справедливость поддерживает всё, Сострадание вновь создает.
Я хотел говорить, и вот мне нечего сказать...

Наследник престола

Отец, вспомни нас, не отказывай нам во спасении!

Император

Не я несу добрую весть, я лишь предтеча ее.
Она не спящий Будда, не Тао, подобный облачному дракону, не водоворот Йанга и Йинга, не священных письмен неразрешимая запутанность.
Но подобная она грозовой молнии.
И когда явится в небе, то и мудрый и невежественный,
если разверсты глаза их – вместе увидят лик истины.
И я возвещаю ее князьям и ученым, которые подобно рыбам с раскосыми глазами блуждают в сумерках познания, и управителям, и старцам,
И умирающим, и тем, что рождаются, и лишенным
разума, и детям, и женщинам,
И нищему бродяге, и братьям моим прокаженным, и пре-

ступнику, коленопреклоненному у дверей суда, с руками и головой, продетыми сквозь доску;
Власть и истина, и справедливость, и нега, и радость, и свобода, и очищение,
И мир, и союз между Богом и человеком, как договор усыновления.
И ты, что слушаешь меня, – и ты причастен сему.

Наследник престола

Отец, дай нам познать эту весть!

Император

Не мне дано это... Но я спустился в ад, чтобы спросить его о причинах его нашествия.
И вот целение, преподанное мне, и ненарушимая грань вокруг нашего мира. Слушайте.

Голоса

Слушаем тебя, Владыко!

Император

Всякий, кто ест – умрет.
Земля дала плоти нашей те части, из которых она возникла, и берет их обратно, когда плоть умирает.
Скупой земле точно так же дано право над нашей душой, потому что землею жива она;
Но не в силах растворить ее, земля держит ее, как неоплатного должника.

Голоса

Истинны слова твои, Владыко!

Император

Слушайте же и отвечайте мне. Отвечай, сын мой, и слушай!
Если человек получил деньги для своего господина и отдал их ему честно,
К кому следует обратиться – к господину или к слуге?

Наследник престола

К господину.

Император

Единый есть Господь всех.
Он сотворил нас, и этим самым дал нам достояние наше и отвел нам область,
Ибо при посредстве мира, в котором он водворил нас,
строим мы нашу жизнь и наставляем понимание наше.
Область эта нам отведена, и человека поставил он
в ней как представителя своего.
В мире поместил он нас, как отец, который отдает
своих детей кормилице;
Но если мы отцом признать его откажемся, –
То земля примет нас в свое лоно.

Наследник престола

Что же нам делать?

Император

Шесть дней пусть трудится человек,
И пусть, раскрывая суровое тело земли, ведет по ней животворящие воды милостивого неба.
Дабы она приносила нам пищу и удовлетворяла потребности наши.
Но седьмой день да не застанет его за рабской работой:
Пусть вымоет он тело и наденет новые одежды,
И пусть прямо стоит на земле, как первосвященник
пред жертвенником,
И, подобно тому, как жгучим летом облако, проходя с одного склона неба на другой, покрывает поля освежающей тенью,
Так тень Господа надвинется на вас,
И ни мертвые, ни демоны не протянут больше руки к вашей пище.
И подобно диким зверям, которых заставляет отпрянуть ужасающий блеск огня,
Они не преступят границ нашей законной области.

Наследник престола

От всех вещей должно совершать нам жертвоприношения
и от нас самих.
Но как узнаем мы, отец, угодна ли жертва наша?

Император

Ты хорошо сказал, сын мой.
Ибо внимательным и острым взглядом, проникая мысль
мою, понял ты, что от слуги и до господина
Каждый дар влечет воздаяние.
Но человек похитил у Сущего то, что он сообщил
человеку, дабы тот познавал и чтил Его.
Где же приемлемое искупление? В чем заслуга приношения?
Власть даятеля?
Что же до меня – Царя мира сего – я исполнил посланничество
и принес целение.
Если же вы будете совершать, согласно тому, что возвестил
я, обряды очищения и торжественно славить Чаяние,
То слава Откровения придет с Горы и с Запада,
Тайна восстановления будет преподана вам и
подобающее жервоприношение установлено среди вас.
Воды затопят вас и из-под воды родитесь вы новым рождением.

Наследник престола

Отец, мы исполним предписания твои.

Император

А! А!

Наследник престола

Что с тобой?

Император

А! а!
Вновь вижу я бездну, из которой вышел.

И подобно тому, как в горах нет пропасти настолько глубокой,
Чтобы искусный земледелец, этажами воздвигая свои водоемы,
не достиг краев ее посадками риса.
Так под ногами вижу я бездну, воздвигнутую искусством адского земледельца.
Я постигаю закон и сущность ее.
Я вижу место, предуготованное для каждого человека:
Точно в провале ночи дерево, освещенное пламенем лампады,
вижу в сумраке всё строение отвратительного цветка!
И если бы сказал вам, что знаю – то вот цепенящий ужас,
как у человека, который чувствует, что земля волнуется
под ногами, видит, как рушатся стены дома!
Того, что сказал я – довольно.
Прощай.

Наследник престола

Как, ты снова покидаешь нас?

Император

Смерти принадлежу я и должен вернуться к матери,
где теперь место мое между вами?
Я спустился до дна, где корень непроницаемости, я коснулся
Основы, на которой покоится знание, и теперь снова,
взяв страннический посох, к Горе пойду я.

Наследник престола

О, отец, не оставляй без отца
Семью Ста Семей!

Император

Подобает ли прокаженному владеть царственным Средоточием?
Я только человек, и предел мой есть мера моих простертых рук.
Владыка этого безграничного царства, склоняясь над тьмами

тем человеческими,
Могу ли я двигать их руками, как крестьянин, мешающий чай в корзине, дабы каждый листок получил благодеяние солнца?
Уши мои – человеческие уши. Смогут ли они уловить грани лжи и правды, как оттенки пяти ударений речи? Ибо если увижу, что се есть благо, достаточно ли того, чтобы я совершил это?
Боюсь изменить то, что есть.
Правлю в слепоте ночи и справедливость моя – суд Жребия.
Если удержите меня здесь, то вот я – человек, который не знает, как поступать.
Поэтому я стыжусь: старику подобает удалиться со скромностью.
Ибо ребенок и юноша любят действовать сами, но тот, кто одряхлел в Мудрости,
Видит свет и вне желания подчиняется познанному закону.
Поэтому следует, чтобы он отошел от людей, ибо око его,
только что прозревшее,
Хотя и видит свет, но не видит еще в свете и подобен
он птицам, что носятся в сумерках.
Тебе, сын, престол мой. Мне – смерть.

Наследник престола

Отец, не лишай нас трупа своего,
Дабы тело твое покоилось в родовой усыпальнице между парами каменных зверей.

Император

Слушай ответ мой, и ты тоже внемли кощунству моему,
о народ суеверный!
Отец не засеменил меня, моя мать не породила меня,
Земля не напитала, люди не платили мне дани.
Но чистый, единый неприкосновенный, самодержавный,
Такой, как, посредством вторичной Причины, получил я от Оного,
Кому угодно было низойти в меня, волю быть, – Я семь,
в личности своей владею душой и телом.

И останки свои не присоединю я к поколениям отшедших,
обретая то, что осталось от отца моего – череп и кость бедра.
Костями своими не скреплю я Земли Ана,
Но как человек, который, гоня буйвола перед собой,
идет, чтобы в уединении сотворить жертву –
С собой унесу я эти развалины царского тела.

Наследник престола

О мой отец, пожалей ребенка – сына своего!!!
О Отец и Мать, пожалей тьмы тем!

Император

Расти! Прими престол мой со всею властью его,
с пышностью прими средоточие!
Пища да не отяжелит твоего сердца, женщина да не притупит его!
Умири внимание свое, чтобы слышать Царство так,
Как диск из чистого металла, который звучит,
когда опавший лист коснется его.
Одного не делай! Не предвосхищай грядущего!
Но по примеру Земли, которая все жатвы свои приносит одновременно, пусть начинания твои будут всегда в зрелом согласии между собой.
И вот Сердце Отца – Матери смущено при мысли о детях,
которых покидает он.
Сын мой! Прикажи принести мне священные императорские
одежды, ибо
Проститься хочу я с ними.

Приносят торжественные одежды.

Император

О башмаки! О платье! О скипетр! О шлем! О пояс!
Полной рукой беру я вас и ощупью узнаю останки свои.
О башмаки! Высота этих подошв, белых, как утренний туман,
Знаменует державное превосходство, сопутствующее ее
непорочной основе:

Человек-Царь прямо стоит на одной ноге и простирает вперед другую ногу.
А ты, славное облачение! Мертвые черви в коконах своих дали те нити, из которых ты соткано,
И я уподобляю их умершим, предкам нашим, которые мудростью и искусством своим
Ссучили волокна этой несокрушимой Империи.
И кто я, как не крестьянин, который в печи душит шелковичных червей, чтобы они не разорвали и не испортили кокона?
Ибо я Сокрушитель Мертвых. Дверь над ним запер я, и не придут они больше оспаривать у нас свое наследье.
Цвет твой – это цвет тела Земли, цвет Пшеницы и лишь
Императору, сыну синего неба, подобает облекаться в него.
Многообразие шитья твоего знаменует многообразье ее
плодов, а рисунок линий – тайну волшебной черепахи;
Дракон покоится на моем сердце. Птица Фанг распустила крылья на моем плече.
Руки и лицо прячу я в эту ткань и прикосновение проказы моей не загрязнит ее.
Одежда моя! Широта твоих полотнищ – это множество народа моего:
Ибо царь одет народом своим, который струится по плечам до самых подошв его,
Стоит или покоится он – Слава одеяние тела его.
Дайте мне погрузить в нее руки! Дайте мне войти в нее.
Дайте мне погрузиться в нее, как буйвол погружается в сочную траву!
О тьмы тем народа моего, целуя эту одежду, прощаюсь я с вами.

Наследник престола

Лишь Императорский Посох оставь нам, Отец!

Император

Храните его, и вас да сохранит этот знак
Спасения и Раздела.
Я же, я пойду вверх, подняв лицо и руки, ощупью,

Как тот, что следует за уходящим поводырем,
Через поля пойду, пойду к Горе.

Глашатай

Высеченные на каменной стене эти Древние слова:
«Скрытый-в-складке-плеча»
Единому избранному указывают дорогу.
Ибо великая Гора в складке шеи хранит, подобно драгоценному камню, хранит убежище тишины.
Иногда недужные, принесенные на противоположные вершины,
Исцелялись, узрев среди лесов, подобный луне, отразившейся между водяных лилий, священный приют, за каменной оградой с двойной крышей, выложенной золотыми черепицами.
Но того, кто хочет достичь его, не приведет ни одна дорога,
Ни вода, струящаяся по каменным желобам, ни, подобно человеку, сбитому с пути пением птицы,
Колокол, язык которого звучит неравномерными ударами, когда поворачивается колесо, наполнившееся водой.
Со дна глубокой Долины слышу я звон таинственного колокола.
И шестьдесят старцев пребывают
В храме «Скрытом-в-складке-плеча»;
Одни стары деньми*,
А другие посредине жизни узрели истину,
Как человек, спускающийся с горы в прорыве тумана,
вдруг видит землю, как на картине.
Есть дети между ними, и есть юноши – те, которые не дали видимости победить себя,
(ибо, что может противостоять взгляду человеческому,
его разверстому оку?)
Но свет был девой, которую они избрали, блаженство – матерью, которую они увели с собой.
Сквозь тишину лесов я слышу колокол, который два и три раза по-

* В автографе: Одни стары возрастом своим,

вторяет слово, исполненное счастья и грусти.

Никто не ведает веры, что исповедуют они; у них нет скрижалей.

У них не увидишь трех золотых великанов, ни изображения четырех стражей,

И бонза, ударяя о деревянную рыбу, не созывает их к богослужению.

Они ведут беседу с Безусловным, они сливаются с Неизменным,

внутреннее лобзание, во вкус которого погружаются они, – их сущность.

Они не говорят совсем, но в глубинах, осененных благодатью,

понимают все явления как язык,

И недвижимый камень, и охотящегося зверя, и растущие травы,

И ветер, и смену часов,

И там в глубине слабый человеческий голос;

И тень, описывающая круг, выявляет мысль.

Раз и еще раз я слышу деревянное било, которое ударяет о край молитвенного колокола.

Ни серебряные кимвалы, которые в руках феи Вод перезванивают слова «С и л и л и»,

Ни Царица Полдня, которая наполняет леса звуком золотых бубнов,

То ло ло.

Не имеют того восхитительного звука, которым звучит голос металла, дрогнувшего не от человеческой руки: У т.

Он не пойдет дальше, но подобно человеку, охваченному неодолимым сном, объятый самососредоточьем, растворится в слоге блаженства.

Безвременный звучит колокол, когда чаша переполнена.

Блаженны те, что живут в жилище «Скрытом»!

Есть между ними такие, которые не ведают радости, но живые

призывают они Ад к себе, а мертвыми они поглощают их.
И есть такие, которые вкушают в пути немного радости, что листок дерева, приносящего плод, что маленький плод, тающий между языков и нёбом.
И есть такие, что после многих трудов в час, лежащий между Солнцем и Луной, чувствуют прохладу.
Но эти избраны между десятками тысяч и между десятками десятков тысяч,
Дабы неисповедимо владели они полнотой, и была бы их участь не иметь радости иной, чем Радость.
Высшее Существо избрало их, дабы всецело отдались они ему.
чтобы были семьей, свидетелями и гостями пышности его.
И, как высокая гора собирает воды, питающие дикую землю,
Так ужасное племя людей живо
Милостью их представительства.
В небе прозвучало слово, невинное и нежное.

Новый Император

(облаченный в первосвященнические одежды)

Предстаю перед лицо зияющего неба. Склоняюсь на колена между курильницами.
Запрокидывая лицо, чту высоту.
Распростирая обе руки, обнимаю пространство.
Обращая к земле ладони рук, подобно человеку,
который, плывя на доске, чувствует вес своего тела,
Я сочетаюсь с глубиной.
Вверху, впереди, сзади, справа, слева, внизу,
Ты везде, и нет тебе ни верха, ни низа,
Ни меры, ни протяжения, ни видимости.
Перед пустотой предстою я!
Благословенно рождение мое и благословен этот час,
в который существую и живу!
Так как нет затворов над нами, и с этой стороны
раскрыта емкость неистощимого неба,

Привет тебе, голубая бездна! Я зову тебя границей, средняя область между пространством и тем, что вне пространства, между временем и тем, что вне времени,
Как чаша, как дыхание существуют пустотой своей, как лютня,
Как ось колеса, к которой сходятся спицы и которой вертящееся колесо – пусто,
Так все вещи в мире существуют твоей пустотой!
Подобно тому, как деревья леса, как гора, как облако отражаются в тихом пруду,
И не видно больше воды,
Так мир зеленый и синий, ни одна частица цвета не потеряна,
Это подобно тому, как крестьянин, лежа на боку, с кровати сторожит свои четыре маслины
И не знает, скользя по небесной реке,
Не видит ли он вместе с холмами, селениями, деревьями и водами,
И травянистого неба над головой,
Так, подобно всей земле целиком (как два человека, разделенные стеной, видят друг друга отраженными в воде, точно в былом свете, который дробится в многоцветностях по краям чаши),
Рисуется отсвет того,
Что по ту сторону этой пустоты сияет невидимостью.
И в чем же верховное отправление Императора, которому поручено неприкосновенное Средоточие? Как не в том, чтобы между Видимым и Невидимым поддерживать вечное согласие, прислушиваясь одним и другим ухом,
Дабы ни одна нота не звучала неверно.
В одном храме видел я когда-то
Весы, на каждой чаше которых стояло по светильнику.
Так что одно пламя весило другое.
Так пылающее солнце
И земля, вся облаченная пламенем красок своих (ибо что такое цвет,
Как не душа, зажженная огнем, что стремится проступить сквозь вещество?),

Горящая сама в себе, равновесят друг друга.
И если солнце с землею положить на одну чашу, то несомненно, что есть иное пламя,
Которое служит им противовесом по ту сторону этой пустоты.
Царство мое не над солнцем и не над плодами земными,
Я правлю волей людей посредством страха,
Дабы каждая с точностью полнила час свой,
И дабы вечности была сообщена точная мера времени.
Я – новый Император, Я – форма народа,
Как если бы все тьмы тем имел я в рукавах моей одежды,
подобно нищему взываю я: двери!
По ту сторону лазури, по ту сторону Тьмы, где огни кажут дорогу.
Подобно человеку, который из глубины храма созерцает служение,
не понимая его, молю я! Подобно сироте чудесно присутствую я.
Да будет же дано мне блаженство познания, и не только такое, как во мне,
Подобное смутному предчувствию сердца.
Да будет вручено мне знание точное,
И обряд, и держава, и жертва умилостивительная,
Внемли молитве моей! Низойди, о Небо, как воды весной,
вздувшись безмерно.
Устремляются на приготовленные рисовые поля.
И равновесие да не будет нарушено: когда ты нисходишь к нам,
да и мы поднимемся к тебе, и да не будем низвергнуты в царство Мертвых.

Глашатай

Ясна земля и украшена подобно храму, и я вижу вокруг себя
Горы, восседающие как Сто Старцев.
В обширной храмине равнины, точно шум машины жизни,
со всех сторон слышны скрипы колодцев, что подымают воду
к полям.
Мужчины, женщины, дети, по двое, по трое
Пляшут на струящемся колесе.

Всюду мир. Солнце садится.
Очищение в ясном воздухе! Слава в жертвенном сиянии!

Император

Мир, пища и благословение народу трудящемуся!
Исцеление недужным! Дождь и солнце нивам в свой срок!
Бесплодной женщине – мальчик-первенец! Нежная скромность детям! Добродетельному мужу почетная надпись!
И всем, вместе с наступающей ночью, отдых она!

Глашатай

Солнце прошло над нами, и уже короткие лучи стучатся в дверь земли.
И она раскрывается, чтобы принять его.
Миг торжественного Введения!
Утром появилось оно над безграничным морем и ныне к концу дня,
преступая конечный порог,
Приближается оно к алтарю!
Оно нисходит! Оно садится! В пламенозарности жертвоприношения поцеловало оно!
Оно опустилось и в миг исчезновения прорезало всё небо черным лучом.
Это час, когда великое море сзади него подымается с ложа,
Приходит и с гулом потрясает плечо земли.

Император

Изобилия лета над множеством множеств!
Точно пятый месяц, когда по всем дорогам идешь по колена в соломе,
Маленькие дети бегают повсюду, как толстые мыши.
Даже во всех расселинах, скрытых тенью земли, путник
Видит, проходя, две головы, одиноко встающие над водой.

Глашатай

И вот точно одно море излилось на другое море!
Подобно тому, как бледное масло теплится над водой,
Так над дымкой, что подымается над равниной, затопляя

медленно горы,
Пелена света делит небо и землю,
И вот в глубине, в последний раз проступающие в вечернем свете,
Налево вижу я поля, полые воды двух рек, холмы, увенчанные могилами,
А направо в гигантской ограде гор,
Вздымаясь укреплениями, пагодами и вышками,
Неизмеримость города, где кишит золотой народ,
Всё погасло: пара белых чапур сквозь темный и низкий воздух
летит в гнездо свое. У безмерной подошвы гор засветился огонек над поверхностью воды.

Император

Успокоение, как после принятия пищи; удовлетворение, как после объятия мужчины и женщины.
Обилие, подобное матери, которая обеими руками поддерживает сына и дочь, прильнувших к сосцам ее.

Глашатай

Всё погасло: вместе с насыщением желание умирает во мне.

Император

Мир народу в благословении вод! Мир детям божьим в причастии пламени!

Музы
(Ода)

Саркофаг, найденный по дороге в Остию. Лувр.

Девять Муз и Терпсихора посередине!
Узнаю тебя, Мэнада! Узнаю тебя, Сивилла!
Не жду, что ты чашу или собственную грудь,
Кумийская, судорожно сожмешь ногтями в вихре золотых листьев!
Но эта толстая флейта, издырявленная устьями для пальцев, указует,
Что не нужна она тому дыханию, которое преисполнило тебя,
Дева, и взневолило вспрянуть.
Не шелохнется, от выи ничто не нарушает дивных складок твоей одежды, до самых ступней ею укрытых.
Но знаю, о чем говорит эта голова, обернутая в сторону, это движение страстное и сдержанное, это лицо, которое слушает, всё пламенея ликованием оркестра.
Только руку не могла ты сдержать! Она приподнялась, сжатая,
Нетерпеливая яростно ударить первую меру.
Тайная гласная! Одухотворение возникающего слова! Перелив голоса, которому всё, что имеет душу, созвучно!
Терпсихора, нашедшая танец! Что сталось бы с хором без танца? Кто иная созданием безвыходных фигур могла бы двинуть
Восемь неукротимых сестер вместе, чтобы собрать вино бьющего ключом гимна?
За кем, если бы, сызначала не утвердившись в глубине духа ты, — звенящая дева,
Не утратила земного и низшего разума, пламенея крылом гнева, как соль, что трещит в огне, —
Соизволили бы войти девственные сестры?

Девять Муз! И ни одной нет лишней для меня!
На этом мраморе я вижу всех девять. Направо, Полимния, и налево от алтаря, на который ты облокотилась!
Высокие девы, равные ростом, строй красноречивых сестер!
Хочу поведать, в каком увидел их движении остановившихся и как переплетались они одна с другой.
И не только тем, что каждая рука
Сжимала протянутые к ней пальцы!

Прежде всего тебя я узнал, Талия!
С той же стороны я узнал Клио, я узнал Мнемозину, я узнал тебя, Талия!
Я узнал тебя, замкнутое согласие девяти Нимф, сокровенных ключей!
Фраза – мать! Потайная пружина речи, клубок живых женщин!
Творческое присутствие! Ничто не могло бы возникнуть, если бы вас не было девять!
И вот вдруг, когда новый поэт преисполнен внятным возрастанием
Темного ропота всей жизни, связанной пуповиной с потрясенной основой,
Порыв
Разрывает узы и дыхание само неволит сжатые челюсти,
Разверзается хоровод Девяти с единым криком.
Теперь он не может дольше молчать. Вопрос вырывается сам собою как у поденщиц, опьяневших среди конопли,
Он навсегда доверил его
Мудрому хору неугасимого эхо!
Никогда все Девять не спят вместе. Но, прежде чем великая Полимния выпрямляется во весь рост,
Это или Урания обеими руками раскрывает циркуль, схожая с Афродитой,
Когда та поучает, напрягая лук, Эрота;
Или улыбчивая Талия, большим пальцем ноги тихо бьет меру, или в молчании молчания
Мнемозина вздыхает...

Старшая, та, которая не говорит! Старшая, которой нет возраста! Мнемозина, которая не говорит никогда.
Она слушает. Она созерцает.
Она напоминает (будучи внутренним зрением духа).
Чистая, простая, ненарушимая! Она вспоминает самое себя.
Она отвес духа! Она соотношение, выраженное прекрасным числом.
Она несказанно поставлена
На самом пульсе бытия.
Она внутреннее время; бьющий ключом клад и перенятый ключ.
Сплав того, что не время, с времени воплощенным в слове.
Она не будет говорить. Ее дело не говорить. Она совпадает.
Она владеет, она помнит, и все сестры внимательны к движению ее век.
Тебе, Мнемозина, эти строфы и вспыхнувшее пламя внезапной оды.

Так неожиданно из сердца ночи, моя поэма бьет во все стороны сверкающими трезубцами молний!
И никто не может предвидеть, где, внезапно, задымится она солнцем:
На дубе ли, на мачте ли корабля, или в скромном очаге, как звезду, расплавляя горшок?
О моя нетерпеливая душа! Мы не станем возводить лесов, мы не двинем, мы не спустим никакой Триремы
На шумящие мерными строфами волны великого Средиземного моря,
Усыпанного островами, изысканного мореходами, окруженного пристанями всех народов!
Нам предстоит согласовать задачу более сложную,
Чем твой возврат, терпеливый Одиссей!
Все дороги утеряны! Без сроку гонимый и вспомоществуемый
Богами по горячим следам, не видя от них ничего, кроме, иногда,
Ночью, золотого луча на парусе и, на мгновение, в торжестве утра

Сверкающего лика с голубыми глазами, чью-то голову венчанную сельдереем,
Вплоть до того дня, когда ты остался один!
Какую вынесли борьбу мать и сын на Итаке, там,
Пока ты штопал свою одежду, пока ты вопрошал Мертвых,
До того дня, когда длинный Феакийский корабль привез тебя домой, околдованного глубоким сном.
И тебя тоже, пусть и горько это,
Мне надо покинуть и берега твоей поэмы, Эней, между двух миров простершей свои первосвященные воды!
Какая тишина посреди веков в то время, когда позади родина и Дидона пылают в сказочном пламени!
Ты изнемогаешь, гребец! Ты падаешь, Палинур, и рука твоя не правит больше кормилом.
И вначале ничего не было видно, кроме бескрайнего зеркала вод, но вдруг пробежала неизмеримая борозда,
И дрогнули воды, и целый мир отображен на волшебной ткани.
И вот в великом лунном сиянии
Тибр встречает корабль, обремененный судьбами Рима.
Но теперь, текучую покидая поверхность моря,
О Флорентийский рифмотворец! мы не пойдем за тобою шаг за шагом в твоих исследованиях.
До самого подымаясь неба, спускаясь до самого Ада,
Как тот, кто, утвердив на логической почве ногу, твердый делает шаг вперед.
И точно осенью, когда идешь среди стай маленьких птичек,
Вихри теней и образов взвиваются под твоими пробуждающими шагами.
Прочь всё это! Всякая указанная дорога скучна нам! Всякая лестница, по которой надо ступать!
О ты, душа! Поэма творится не из этих букв, которые, как гвозди, вбиваю я, а из белых пространств, остающихся на бумаге.
О ты, душа! не надо заранее составлять плана! О моя дикая душа, будем вольными и готовыми,
Как длинные и рвущиеся ленты ласточек в те дни, когда безгласный звучит призыв осени.

О моя нетерпеливая душа, подобная неискусному орлу! (как сумеем мы утвердить хотя бы единый стих?) Орлу, который не умеет даже свить себе гнезда! Да не будет же рабским стих мой!
Но таким, как морской орел, что ринулся на большую рыбу,
И ничего не видно, кроме ослепительного вихря крыльев и клочьев пены!

Но вы не покинете меня, умеряющие Музы!
И ты тоже, подательница, неутомимая Талия!
Ты, ты не живешь под кровом! Но как охотник в поле, заросшем голубой медункой,
Следит, не видя ее, за своей собакой в зарослях, так легкий трепет трав земли
Указует всегда настороженному глазу твой чуткий след;
О, рыщущая в кустарниках, тебя справедливо изображают с этим посохом в руке!
А другою рукой (готовая пролить оттуда неугасимый смех), как бы изучая странного зверя,
Ты держишь огромную маску, рыло жизни, трофей смешной и страшный.
Теперь ты сорвала ее, теперь овладеваешь ты великой тайной комедии, западней уподоблений, превращающей формулой.
Но Клио с пишущим острием в трех пальцах ждет, поставленная у угла лоснящегося ковчега,
Клио, писец души, подобная той, что ведет счеты.
Говорят, что тот пастух был первым живописцем,
Который, наблюдая на скосе скалы тень своего козла,
Углем, взятым из костра, обвел рогатое пятно.
А что же такое перо, подобное указателю на солнечных часах,
Как не острие нашей человеческой тени, движущееся по белой бумаге?
Пиши, Клио! Каждому явлению сообщай характер подлинности! Нет мысли,
Которой наша личная непрозрачность не оставила бы возможности записи.
О наблюдательница! О путеводительница! О ты, записывающая нашу тень!

Я назвал нимф кормилиц; тех, которые не говорят; тех, которые скрываются; я назвал Муз вдохновляющих, и теперь я назову Муз вдохновенных.
Ибо поэт, подобный дуде, в которую дуют,
Между мозгом и ноздрями для зачатия, подобного едкому сознанию запаха,
Раскрывает свою душу не иначе, как малая птичка,
Когда, готовая петь, всё свое тело она наполняет воздухом до самых недр своих костей.
Но теперь я назову великих Муз понимающих,
Вот с мозолью в складке ладони:
Одна с резцом, и другая, которая растирает краски, и еще другая, как всеми членами связана она со своими ладами,
– Но они – они работницы внутреннего звука, отголосок личности, нечто отвратимое,
Они излучение глубочайшего «а», сила темного золота,
Которое мозг сосет от самого дна внутренностей, как жир, и пробуждает в самых оконечностях членов.
Они то, что не терпит нашего усыпления. Вздох более полный, чем признание, которым во сне преисполняет наше сердце имя избранницы.
О драгоценное, дадим ли ускользнуть тебе? Которую из Муз назову я внезапно, чтобы поймать и удержать ее?
Вот та, которая держит лиру своими руками, вот та, которая держит своими дивными пальцами лиру,
Похожую на сручье ткача, сложный прибор пленения,
Эвтерпа с широким поясом, святая пламенница духа, воздымающая большую беззвучную лиру.
Вещь, что помогает произносить речи, клавицымбал, который поет и творит фразу,
Одной рукой лиру, похожую на основу, натянутую на станке, а другою своею рукою
Налагая бряцало, точно челнок.
Ни одного прикасания, которое всю мелодию целиком не несло бы в себе.
Перелейтесь через край, золотые звоны, пышный оркестр! Брызни, заражающее слово! Пусть новое слово, как озеро, кипящее родниками,

Выступит из всех расщелин! Слышу, цветет одна нота с необоримым красноречием!
Она пребывает (и лира в твоих руках),
Пребывает, как взмах, на котором напишется вся песнь.
Нет, ты не та, что поет, ты сама песня в тот миг, когда она рождается,
Действенность души, сложившаяся в звуках собственного слова!
Изобретение дивного вопроса! Внятная беседа с неистощимым молчанием!
Никогда не покидай моих рук, семиструнная лира, прибор, определяющий соотношение и тождество!
Пусть всё вижу я между твоих в меру натянутых струн! И землю с ее огнями, и небо с его звездами!
Но не достаточно нам лиры и звучной решетки ее семи натянутых нервов.
Бездны, которые высокий взгляд
Забывает, смело переходя от одной точки к другой,
Твоим порывом, Терпсихора, не осилить, не усвоить их диалектическому прибору.
Нужен угол, нужен циркуль, который властно раскрывает Урания, циркуль с двумя прямолинейными ветвями,
Что сходятся лишь в той точке, откуда они вырываются.
Нет такой мысли, как внезапная планета желтая или алая над овидью духа,
Нет такой системы мыслей, как Плеяды,
Совершающие свое восхождение по движущемуся небу,
Расстояние которых нельзя было бы измерить циркулем, вычислив каждое соотношение, как протянутой рукой.
Ты не нарушаешь молчания. Ни к чему не примешиваешь ты шума человеческого слова. О поэт, ты не споешь хорошо
Песню, если не будет в ней меры.
Но голос Твой необходим в хоре, когда приходить твой черед.
Грамматик! в стихах моих не ищи путей, ищи сосредоточия!
Мера! Обойми пространство заключенное между этими одинокими огнями.
Да не ведаю я того, что говорю! Да буду я лишь единой нотой в труде!

Да изникну я в своем собственном движении! (Лишь слабый нажим руки, чтобы направить).

Свою тягу да поддержу я сам, как тяжелая звезда сквозь вскипающий гимн.

А по другую сторону длинного ларя пустого емкостью человеческого тела

Поставлена Мельпомена, подобная вождю войск и основанию городов.

Ибо с трагическим ликом, как шлем приподнятым над ее лицом, опершись на колено, нога на кубическом камне, она созерцает сестер;

Клио на одном поставлена конце, Мельпомена стоит на другом.

Когда Парки определили деяние и знак, что отменится на циферблате времени, как час, выкладками его числа,

Тогда во всех концах мира вербуют они Чрева,

Которые родят актеров, им нужных,

В назначенный срок; и те родятся

Вовсе не с отцами своими схожие, но тайным узлом связанные

С неизвестными фигурантами, с теми, которых они узнают, и с теми, которых не узнают никогда, с теми, что выступят в прологе, и с теми, что явятся лишь в последнем акте.

Так и поэма вовсе не сгусток слов, не только

Те явления, которые обозначает она, но сама она знак, мыслимое деяние,

Создающее

Время, необходимое для его разрешения,

В употребление человеческому действию, изученному в его пружинах и тяготениях.

А теперь, предводитель хора, надо собрать твоих актеров, чтобы каждый из них играл свою роль, появляясь и уходя, когда надо.

Цезарь подымается в преторию, петух поет на своей бочке; ты их слышишь, ты хорошо понимаешь их обоих

В одно и то же время и классические приветствия и латынь петуха;

Оба необходимы тебе, ты сумеешь заставить действовать их обоих; всё сумеешь ты использовать в хоре.
Хор вокруг алтаря
Завершает свое развитие: он останавливается,
Он ждет, и появляется вестник, увенчанный лавром, и Клитемнестра с секирой в руке, ноги в крови супруга, пятой наступив на рот человека,
И Эдип с вырванными глазами, отгадчик загадок,
Встает в Фиванских воротах!
Но сверкающий Пиндар своему ликующему хору не оставляет паузы иной,
Чем избыток света и это молчание, из него пейте!
О великий день игр!
Ничто не может остаться в стороне, всё входит туда одно за другим.
Ода чистая, как прекрасное нагое тело, всё сверкающее солнцем и елеем,
Приводит за руку всех богов, чтобы включить в свой хор,
Чтобы встретить триумф полнотою смеха, чтобы в громе крыльев встретить победу
Тех, кто силою своих ног, по крайней мере, преодолели тягу косного вещества.

И теперь, Полимния, ты что стоишь посредине сестер, обернутая длинным покрывалом, как певица,
Опершись на алтарь, опершись на налой,
Довольно ожиданий, теперь ты можешь начать новую песню!
Теперь могу услышать твой голос, о мой единственный!
Сладок ночной соловей! Когда властная и верная скрипка начинает,
Тело вдруг очищается от своей глухоты, и все нервы на клавиатуре нашего чувствующего тела натягиваются
В совершенном строе, как под гибкими пальцами настройщика.
Но когда он сам подает голос, когда человек сам становится инструментом и смычком,
Когда сознающий себя зверь звенит в переливах его крика,
О фраза Альта, мощная и верная, о вздох Герцынейского леса,

о трубы над Адриатикой!
Менее глубинно звучит в вас первичное золото, чем это проникающее самую человеческую сущность.
Золото, или внутреннее сознание, которым каждая вещь владеет сама в себе.
Скрытое в недрах стихии, ревниво на дне Рейна хранимое Никсой и Нибелунгом!
Что такое песня, как не повесть о самом себе, которую каждый
Творит во внутренней ограде, шепот кедра и фонтана?
Но твоя песня, о Муза поэта,
Это не жужжание медуницы, не лепет ручья, не райская птица на гвоздичном дереве!
Но как Господь святой сотворил каждую вещь, так твоя радость в знании имени,
И как он сказал среди молчания: «Да будет!», так ты любвеобильная, ты повторяешь согласно тому, как он именовал,
Точно ребенок, читающий по слогам: «Да пребывает!»
О прислужница Божья, милости полная!
Ты утверждаешь в самой сущности, ты созерцаешь каждую вещь в Своем сердце, в каждой вещи ты ищешь: «Как сказать ее?»
Когда Он творил вселенную, когда Он распределял в красоте игру,
Когда Он распахнул двери огромному торжеству,
Некая часть наша, всё видя вместе с ним, ликовала в его творении.
Бдительность в его трудовом дне, действенность в его субботу.
Так, когда ты говоришь, поэт, в сладостном перечислении
Каждой возвещая имя вещи,
Как отец, ты таинственно ее именуешь в самой сущности, и так же, как некогда ты участвовал в ее творении, так теперь ты сотрудишься в ее существовали.
Каждое слово – повторение.
Такова песня, которую ты поешь в молчании, таково блаженное согласие,

Которого соединение и растворение ты читаешь в самом себе.
Поэтому, Поэт, я не скажу, что ты получаешь какой-то урок от природы, ты сам налагаешь свой порядок.
Ты созерцатель всех вещей!
Тебе нравится называть их по именам, одну за другой, чтобы увидеть, что они ответят тебе.
О Виргилий под наметом виноградным! Земля широкая и плодоносная
По ту сторону ограды не была ли тебе коровой,
Благосклонно научающей человека доить молоко ее вымени.
Но с первых же слов, о Латинянин,
Ты будешь законодательствовать: Ты повествуешь обо всем.
Он тебе объясняет всё, Кибела, он излагает твою плодоносность,
Он поставлен на место природы, чтобы сказать, что она думает! Вот весна слова! Вот температура лета!
Вот из вина прозябло золотое дерево! Вот во всех уделах твоей души
Разрешается гений подобно зимним водам!
И я – я рождаю плугом и времена года сурово работают над моей землей, крепкой и трудной.
Земной, плотный
Я обречен жатвам, я подчинен землепашеству.
У меня свои дороги от одной овиди до другой; у меня свои реки; во мне свои водоразделы.
Когда древнее полярное Семизвездье встает за моим плечом
В полноте ночи, я умею сказать ему то же слово, у меня есть земная привычка его сопутствия.
Я раскрыл тайну. Я умею говорить. Если я захочу, сумею сказать вам то,
Что каждая вещь «хочет сказать».
Я посвящен в молчание; есть неистощимое торжество жизни, есть целый мир, который должен быть восполнен, есть поэма ненасытимая, которую нам суждено полнить сборами жатв и всеми плодами земли!
– Земле оставляю я эту задачу; сам же улетаю в Пространство, раскрытое и пустое.

– О мудрые Музы! Мудрые, мудрые сестры! И ты сама, пьяная Терпсихора! Как мыслили вы уловить эту безумную, удержать ее за одну и за другую руку,
Связать ее гимном, как птицу, что поет лишь в клетке?
О музы, терпеливо изваянные на крепкой гробнице, живые, трепещущие!
Что мне до прерванного ритма вашего хора? Я отнимаю от вас мою безумную, мою птицу!
Вот та, кто пьяна не чистой водой и не воздухом вершин!
Опьянение, как от красного вина и вороха роз. Брызжет виноград под голой стопой! большие цветы, липкие медом!
Мэнада, обезумевшая тимпаном, вакханка, остолбеневшая в гремящем беге под пронзительные крики дудок!
Вся горящая! Вся умирающая! Вся истомившаяся! Ты протягиваешь мне руку, ты раскрываешь уста,
Ты раскрываешь уста, ты глядишь на меня оком, полным желания: «Друг! Слишком, слишком долго ждать! Возьми меня!
Что нам делать здесь? Сколько времени еще будешь ты равномерно занят между моих мудрых сестер,
Как хозяин среди толпы работниц? Мои мудрые, мои деятельные сестры.
А я, я горяча и безумна, я нетерпелива и обнажена!
Что тебе еще делать здесь? Поцелуй меня! Идем.
Разорви, сорви все путы! Возьми меня, свою богиню, с собою!
Не чувствуешь ты на своей руке моей руки?
(И действительно, я почувствовал ее руку на моей руке!)
«Разве не понимаешь ты моей тоски и что желание мое от тебя? Этот плод надо съесть нам, и великий костер зажжется из наших душ!
Слишком долго!
Слишком долго! Возьми меня, потому что я не могу больше!
Слишком долго! Слишком долго ждать!»
И взглянул я, и вдруг увидал я, что я один.
Отторгнут, отвергнут, покинут,
Без долга, без цели, снаружи – посередине мира,
Без прав, без сил, без причин, без возврата.

«Разве не чувствуешь ты моей руки на твоей руке» (И воистину я чувствовал ее руку на моей руке).
О подруга моя на корабле! (Ибо в год, который был этим,
Когда я увидел, что листва вянет и зачинается пожар мира,
Чтобы избежать смены времен, свежим вечером явилась мне заря, осенняя весна неподвижного света,
И я пошел за нею, как войско, которое, отступая, всё сжигает за собою, –
Вперед до самого сердца мерцающего моря!)
О подруга моя! Ибо не было около нас мира,
Чтобы указать нам место наше в сочетаниях его многообразного движения,
Но оторванные от земли, мы были одни друг с другом,
Жители этой черной движущейся пылинки, потонувшие,
Потерянные в чистом пространстве, где самая почва – свет.
И каждый вечер сзади, в том направлении, откуда мы покинули берег – на Западе
Мы видели то же зарево,
Насыщенное всем вспрянувшим настоящим, Трою реального мира, охваченную пламенем!
А я, как тлеющий фитиль мины, заложенной под землей, этот тайный огонь, который меня точит –
Разве не запылает он в ветрах! Кто вместит великое человеческое пламя!
Ведь ты сама моя подруга, твои длинные русые волосы в морском ветре,
Ты не могла удержать их связанными на голове; они плавятся! Тяжелые кольца
Скатываются по твоим плечам, великое ликование
Подымается и всё исчезает в лунном сиянии!
А звезды, не подобны ли они головкам сверкающих булавок, и всё здание мира, не построено ли оно из блеска столь же хрупкого,
Как царственная прическа женщины, готовая распуститься под гребнем.
О подруга моя! О Муза в морском ветре! О косматая мысль на носу корабля!

О обида! О возмездие!
Эрато! Ты глядишь на меня, и я читаю решение в твоих глазах!
Я читаю вопрос, я читаю ответ в твоих глазах! Ответ и вопрос в твоих глазах!
Радость, которая подымается в тебе отовсюду как золото, как огонь в соломе!
Ответ в твоих глазах! Ответ и вопрос в твоих глазах!

ПОЛЬ ДЕ СЕН-ВИКТОР

БОГИ И ЛЮДИ

Предисловие

ДОН-ЖУАН ФРАЗЫ
ПОЛЬ ДЕ СЕН-ВИКТОР
(11 июля 1825 † 9 июля 1881)

«Стоить написать целую книгу только для того, чтобы вы написали об ней одну страницу», – писал Сен-Виктору Гюго, прочтя статью о «Тружениках Моря»[1].

«Когда я читаю Сен-Виктора, я надеваю синие очки, чтобы не ослепнуть», – говорил о нем Ламартин[2].

Делакруа писал ему после статьи о Сиде: «Вот уже две недели я думаю о ней, из нее возникнут мои лучшие картины»[3].

«Сен-Виктор не бриллиант, – он изысканнее – он сапфир», – говорит Барбе д'Оревильи[4].

«Стиль Сен-Виктора – золотая чаша: всё, что он не нальет в нее, становится сверкающим», – писал Сен-Бёв в статье об «Hommes et Dieux»[5].

«Среди текущей литературы, – пишут Гонкуры в своем дневнике, – Сен-Виктор поистине благородный литературный характер. Это писатель, мысль которого живет всегда в соприкосновении с искусством или в мире великих идей и великих вопросов. Его любовь обращена прежде всего к Греции, потом к Индии, которую он описывает не видав, подобно вернувшемуся из грез Гашиша. Его слово, пылающее, восторженное, глубокое, картинное, реет вокруг возникновения религий, вокруг всех величавых и древних ребусов человечества; любопытный о колыбелях мира, о строе обществ, благочестивый и почтительный, он обнажает голову

перед Антонинами, которых называет моральной вершиной человечества, и создает свое Евангелие из морали Марка Аврелия. Когда он спускается с вершин и говорит о нынешних временах и нынешних людях, то его ирония звучит подобно Микель Анджеловской»[6].

И этот писатель, приводивший в такой восторг самых требовательных из своих современников, был принужден всю свою жизнь, подобно Теофилю Готье, нести бремя газетного фельетона. Свои сокровища он разбрасывал по столбцам ежедневных листков и едва удосужился собрать их в книги. В настоящее время мы имеем 5–6 его книг, но они далеко не исчерпывают всего им написанного. В его судьбе ярко выявлено несколько характерных черт условий литературной работы в XIX веке. Писатель по преимуществу изысканный и замкнутый, в котором смешаны классицизм с эстетством, собиратель редкостей, кузнец драгоценных слов и фраз, всем своим существом протестующий против современности и ненавидящий «злобу дня», вынужден служить ей всю жизнь в качестве журналиста; человек, все вкусы которого направлены к искусству вечному и классическому, должен еженедельно высказывать свое мнение по поводу всех глупейших водевилей второй Империи. От этого он спасается лишь тем, что никогда не говорит о своих темах по существу, и лишь по поводу их воскрешает картины того искусства и тех эпох, в которых пребывает его мечта и вкус. Так что достаточно из фельетонов его вычеркнуть первые и последние строки, и пред вами прекрасная историческая поэма в прозе, в которой ничто не напоминает той незначительной театральной новинки, которой она была вызвана.

Характерно и то, что этот блестящий писатель, пользовавшийся не только признанием избранных, но и широкой популярностью среди большой публики, почти мгновенно был забыт после смерти и теперь настолько же мало читаем во Франции, как и в России, где его не знают совсем. После его смерти группа друзей, во главе которой стоял Эрнест Ренан, начала собирать в отдельные книги разбросанные повсюду его статьи, сгруппировала несколько томов, но дело

не было доведено до конца, и большая часть им написанного погребена в старых газетных листах.

Такая судьба и быстрое забвение отчасти объясняются самыми особенностями его таланта: он был – так его называли при жизни – «Дон-Жуан фразы». Вся его сила только в определении. У него нет идей, нет критической инициативы, но для всего он находит образы точные, верные, неожиданные и ослепительные. Чтобы понять характер творчества этого поэта в прозе, по капризу своего века ставшего критиком и журналистом, надо ближе рассмотреть его личность.

«Я родился в кабинете древностей, – говорит он про себя. – Меня укачивала на своих руках прабабка, которая была фрейлиной Марии Антуанетты, и пудра старого двора, – этот снег монархического Олимпа, окутала мою юность фантастическим и пьянящим облаком. Мой ум свободолюбив, но у меня темперамент якобита. Я склоняюсь перед скипетром, власть меня околдовывает, перед царственностью мои колени сгибаются; я не могу раскрыть готского альманаха без внутреннего трепета; и если бы Претендент, блуждая в вересках Шотландии, протянул бы мне свою прекрасную руку – эту идеальную руку Стюартов, по которой его всюду узнавали, я бы ее поцеловал, опустившись на одно колено, со слезами на глазах».

Род графов де Сен-Виктор креольского происхождения, натурализовавшийся в Шотландии и эмигрировавший во Францию вместе с Иаковом Стюартом. Отец Поля – Максимилиан де Сен-Виктор занимал в литературе своего времени почтенное место, как эллинист, эротический поэт и историк-панегирист Иезуитского ордена. Свое образование Поль де Сен-Виктор получил в Риме в Коллегии Св. Игнатия. Иезуиты, бывшие во все времена искуснейшими скульпторами человеческой глины (что, конечно, не мешало им кастрировать воли, предрасположенные к этому), прекрасно меблировали его эрудицию и воспитали в нем изысканный вкус к истории. Его католической душе и классическим вкусам не приходилось слишком учителеборствовать с ними. Первой литературной работой его было сотрудничество со своим

отцом при составлении апологетической книги последнего «Les Fleurs des Martyrs». Девятнадцати лет он написал первую свою самостоятельную работу о «Видении Брата Альберика» (предшественника Данта), напечатанную в журнале «Correspondant» (1844). В эпоху Революции 48 г. Поль де Сен-Виктор был секретарем Ламартина, а затем прошел через дружбу и влияние сперва Барбэ д'Оревильи, потом Теофиля Готье. С 1855 г. он заступает его место, как драматический фельетонист в «La Presse» Жирардена.

В «Дневнике Гонкуров» мы находим случайное croquis, дающее его интимный портрет в эпоху его расцвета:

«У Сен-Виктора, на улице Гренелль, в глубине большого двора, маленький салон, тесно увешанный рисунками Рафаэля и великих итальянских мастеров. Входит Сен-Виктор, растрепанный, не завитый, в полном дезабилье, входит, как прекрасный мальчик, похожий на юношу Ренессанса в своем сияющем беспорядке. Он не создан для современного костюма, который его делает банальным...

...Сообщая нам свои литературные планы, он говорит о дерзком желании описать Метопы Парфенона. Он говорит с диким восторгом и отчаянием – отчаянием, что не найдет образов для этого, жалуясь, что во французском языке нет слов достаточно священных, чтобы описать эти торсы, "в которых божественность пульсирует подобно крови". "Парфенон! Парфенон! – повторяет он два-три раза. – Это слово преисполняет меня ужасом Священных Рощ"... И вот, воодушевленный античной красотой, подобно верующему, говорящему о своей религии, он рассказывает смеясь, но с каким-то ужасом в глубине всего существа, историю известного немецкого филолога Отфрида Мюллера, который осмелился отрицать солнечную божественность Аполлона и погиб от солнечного удара.

...Этот юноша, который после трех лет дружбы вдруг покрывается льдом и у которого иногда проскальзывают такие холодные рукопожатия, точно он подает руку незнакомцу»[7].

Десять лет спустя уже после смерти своего брата Эдмон Гонкур записывает: «Когда после вечера, проведенного

с этим куском мрамора, который зовется Сен-Виктором, я возвращаюсь домой, – мне хочется плакать»[8].

Но в шестидесятых годах дружба Гонкуров с Сен-Виктором была очень интимна, и дневники этих лет часто говорят о нем. В 61 г. они втроем путешествовали по Голландии, и одна из заметок дает самый глубокий и самый верный анализ характера и таланта Сен-Виктора.

«Мы возвращаемся из Голландии вместе с Сен-Виктором. Всё время он блещет неожиданными образами, которые то поэтично, то грубо рисуют людей и вещи при помощи антитез и сближений: образы бесчисленные и многообразные брызжут из этой памяти, напитанной неимоверною начитанностью, которая никогда не замыкалась в определенной эпохе или в отдельной области наук, но впивалась в сердцевину всех основных книг, во все редкости истории, во все трактаты теогонии и психологии. Он вносит в свой разговор добычу разума, собранную повсюду и рельефно представленную при помощи контрастов ловких, остроумных, иногда даже дико причудливых.

Весьма оригинальный в своем способе выражения, он мало оригинален в методе своего мышления; впечатление красоты и оригинальности вещей он получает только тогда, когда он заранее предупрежден о них книгой – всё равно плохой или хорошей; подобно мало развитым натурам, он верит печатному слову, и благодаря этому рабству в глубине души подчинен ходячему мнению. Поэтому в Музее он пойдет прямо с закрытыми глазами, как сомнамбула, к картине, освященной всеобщим признанием или высокой рыночной ценой, которая ослепляет его, если она громадна; а сам он неспособен открыть неизвестного, скрытого, безымянного шедевра. Затем он человек скорее усвоенного, чем инстинктивного вкуса, того всеобщего вкуса, который простирается на все: на форму мебели, на деталь туалета, на элегантную особенность растения, и раскрывает глаза только на то, что занумеровано: живопись, скульптуру, архитектуру, и проходит совершенно незрячий сквозь живую жизнь; он слеп к улице, слеп к проходящим, слеп к художественной красоте

существ и явлений, исключительный созерцатель картин и статуй»[9].

Гонкуры верно отметили главную слабость Сен-Виктора. Он принадлежит к тем ультракультурным талантам, которые способны воспринимать лишь ту действительность, которая уже раз прошла через человеческое восприятие, то есть действительность, уже закристаллизовавшуюся в искусстве. Их реальность – это реальность библиотек и музеев. Их творчество – творчество комбинаций и сопоставлений.

Талант такого рода приводит человека неизбежно к профессии критика. Но эти критики не расчленяют, не анализируют, а формулируют и определяют. Они не судят, а отбирают. У них темперамент коллекционеров. Их произведения напоминают кабинет редкостей, собрания драгоценностей, коллекции старинных предметов, музеи и библиотеки. Они отличаются пышностью, обилием, холодным порядком. Их дидактическое значение громадно, но их пламя морозно, как северное сияние.

Если они литераторы, то становятся Сен-Викторами, который является ярким выразителем типа. Если они живописцы – то Гюставом Моро. Пойдите в музей на улице Ларошфуко и вам покажется, что вы видите графическую транспозицию ослепительных образов Сен-Виктора. То же обилие драгоценностей и орнаментов, та же эмалевая яркость красок, та же любовь к вычурным и редким формам, к пластической стороне древних и новых религий, при отсутствии живого мистического чувства, тот же вкус к прекрасным метафорам и аллегориям, при отсутствии символического проникновения. Одним словом, будь Сен-Виктор поэтом, его место было бы среди Парнасцев, современником которых он был.

Книги Сен-Виктора представляешь себе скорее в виде зал Лувра, в которых расположены богатейшие, но отчасти разрозненные коллекции. Вот зал Истории театра «Les deux Masques». Греческие трагики – Эсхил, Софокл и Эврипид представлены там во всей полноте. Читая эти первые два тома, невольно вспоминаешь слова, сказанные о нем: «Сен-Виктор раньше утомляет мускулы глаза, чем мозг». Третий том «Двух

Масок», посвященный Шекспиру, Расину, Корнелю и комедии XVII и XVIII века – недокончен. Смерть помешала ему сплавить во единое целое эти фрагменты. Книги «Hommes et Dieux» и «Anciens et Modernes» являются залой исторического музея, в котором особенно блестяще представлен Ренессанс. Отдельные витрины посвящены Виктору Гюго, Осаде Парижа («Barbares et Bandits»), театру Дюма и Ожье... Статьи Сен-Виктора о литературе и о живописи, его переписка так и остались не собранными.

И теперь, тридцать лет спустя, можно повторить о нем слова Сен-Бёва, сказанные еще в 1869 году:

«Сколько раз приходилось мне жалеть, что эти страницы, написанные с таким блеском и воображением, рассеяны по всем ветрам, не собраны в отдельные книги, чтобы их можно было перечесть, и чтобы их автор, столь изысканный и единственный, занял подобающее ему место среди тех немногих избранных, к которым он принадлежит»[10].

Переходя к книге «Hommes et Dieux», по поводу появления которой написаны эти строки, Сен-Бёв говорит:

«"Боги и Люди" заглавие первой книги, которую он издает, правильно, не только потому, что он поместил в начале описания нескольких великих божеств древнего мира: Венеры Милосской, Дианы, Цереры, а также и Елены – этой богини красоты, но главным образом потому, что повсюду в суждениях Сен-Виктора веет и царит истинная религия искусства... Сен-Виктор классик в самом широком смысле этого слова... Исторические портреты являются, без сомнения, самыми замечательными в данной книге: Нерон, Марк Аврелий составляют великолепные контрасты; каждый разработан до конца; Людовик XI, Цезарь Борджиа, странный и вероломный Генрих III, Испания, особенно Испания при Карле II, составляют настоящую галерею, и любители живописи смогут надписать внизу каждой страницы соответствующие имена мастеров кисти»[11].

Гению русской литературы чужды таланты, подобные Сен-Виктору. Воспитанная на мощном реализме, она пока только создает новые ценности, и у русских писателей нет ни

склонности, ни охоты собирать и распределять исторические редкости. Тем более, такой писатель, как Сен-Виктор, может быть нужен русскому читателю. И если мы выдвигаем против него все те упреки, которые можем сделать музеям – «темницам искусства», то, с другой стороны, мы вправе сказать, что чтение его книги даст не меньше, чем посещение Прадо или Лувра.

Максимилиан Волошин.

Коктебель 2.X.1912.

Предисловие автора

Пусть читатель представит себе мастерскую, в которой художник собрал несколько наименее слабых своих этюдов, чтобы выставить их на суд публики: историческую картину рядом с офортом, рисунок с античной статуи рядом с портретом или фантазией. Вот образ этой книги, составленной из страниц, написанных по самым различным поводам. Напрасно стараться установить между ними мнимую связь: разнообразие тем будет рвать ее каждое мгновение; между ними есть лишь одно сходство: все они воспроизводят сцены и фигуры прошлого. Собирая эти рассеянные страницы, я приложил все старания, чтобы исправить их форму и заполнить пробелы.

Но если книге этой и не хватает единства композиции, то оно восполняется, по крайней мере, единством вдохновения, продиктовавшего эти страницы: глубокой любовью к искусству и правдивым исканием истины.

Часть первая

I. Венера Милосская

Да будет благословен тот греческий крестьянин, заступ которого отрыл богиню, покоившуюся уже две тысячи лет в глубине пшеничного поля. Благодаря ему идея красоты поднялась на высочайшую ступень; мир пластичного обрел свою царицу.

Сколько рухнуло алтарей, сколько очарований погасло при ее появлении! Как в библейском храме, все идолы пали перед нею лицом в землю. Венера Медицейская, Венера Капитолийская, Венера Арльская склонились перед Венерой дважды Победительной, которая своим появлением

отодвинула их на второй план. Созерцал ли когда-либо человеческий глаз формы более совершенные? Ее волоса, небрежно связанные, струятся как волны успокоенного моря. Под их прядями рисуется лоб ни слишком высокий, ни слишком низкий, но такой, который создан для пребывания мысли божественной, единой, неизменной. Глаза углублены под аркадой бровей, которая прикрывает их тенью, и поражает их той нечеловеческой слепотой богов, взгляд которых, нечувствительный к внешнему миру, в себя вбирает свет и разливает его по каждой точке их существа. Нос соединен с челом чертой прямой и чистой, которая являет линию самой красоты. Уста полуоткрытые, вдавленные у краев, оживленные тенью, падающей от верхней губы, выдыхают непрерывное дуновение бессмертных жизней. Легкое движение рта подчеркивает величественную округлость подбородка, отмеченного едва заметной извилиной.

Красота струится от этой божественной головы и разливается по всему телу подобно сиянию. Шея не имеет тех изнеженных лебединых выгибов, которыми непосвященный скульптор украшает своих Венер. Она пряма, крепка, почти кругла, как ствол колонны, поддерживающий бюст. Узкие плечи своим контрастом развертывают гармонии персей, достойных, как грудь Елены, служить формой для жертвенных чаш, персей, одаренных вечною девственностью, не утомленных прикосновениями губ Амура, персей, от которых могли бы вскормиться четырнадцать детей Ниобеи, не нарушив их очертания. Торс развертывается планами мерными и простыми, подобными эпохам жизни. Правое бедро, смягченное наклоном тела, продолжает свои волнистые линии под скользящею тканью, которая падает величественными складками с колена, выдвинутого вперед.

Но высшая красота – это красота несказанная. Язык Гомера и Софокла один был бы достоин прославить эту царственную Венеру; полнота греческих ритмов одна могла бы передать, не унизив их, эти совершенные формы. Каким словом выразить величие этого трижды священного мрамора, обаяние, смешанное с ужасом, которое внушает он, идеал величественный и простодушный, им раскрываемый? Двус-

мысленный лик сфинкса менее загадочен, чем эта юная голова, которая кажется такой наивной. С одной стороны, ее профиль дышит утонченной мягкостью; с другой стороны, рот сжимается в складку, в глазах скользит выражение презрительного вызова. Посмотрите ей прямо в лицо: успокоенный лик выражает только уверенность в победе и полноту счастья. Борьба длилась одно мгновение; единым взглядом Венера, выходя из волн, измерила свое царство. Боги и люди признали ее власть... Она ставит ногу на морскую отмель и, полуобнаженная, отдает себя на обожание смертным.

Но эта Венера не легкомысленная Киприда Анакреона и Овидия, та, что воспитывает Амура в любовных хитростях и в жертву которой приносят сладострастных птиц. Эта Венера небесная, Венера победительница, всегда желанная, никогда не достижимая, безусловная как жизнь, чье первосущное пламя пребывает в ее груди, непобедимая, как притяжение пола, которым она владеет, чистая, как вечная красота, которую она воплощает. Эта Венера, которую обожал Платон и имя которой – Venus victrix* – Цезарь накануне Фарсальского сражения дал паролем своей армии. Она – пламя создающее и охраняющее, вдохновительница великих дел и предприятий. Всё, что есть чистого в земных привязанностях, душа чувств, творческая искра, частица неба, влитая в сплав грубых страстей, всё это принадлежите ей по праву. Остальное – достояние Венер всенародных, оскверненных повторений ее типа, украшенных ее атрибутами и незаконно овладевших ее престолом. Некоторые предполагают, что ее поврежденная нога покоилась на сфере; этот символ дополнял бы ее величие. Звезды размеренно проходят вокруг Афродиты Небесной и мир гармонично вращается под ее ногой.

Венеру Милосскую приписывали Праксителю: сотрем это имя с ее незапятнанного цоколя. Пракситель с куртизанок ваял своих богинь. Он размягчил мрамор, обожествленный Фидием. Его книдская Венера опалила Грецию нечистой страстью. Современница Парфенона, великая Венера, как его герои и боги, родилась от непорочного зачатия. В этом царственном мраморе нет ни единого атома плоти; эти вели-

* Венера победительная (*лат.*).

чественные черты не отражают никакого подобия; это тело, в котором грация облечена силой, обличает рождение от духа. Она вышла из мужественного мозга, оплодотворенного идеей, а не присутствием женщины. Оно принадлежит тем временам, когда ваятель воплощал лишь сверхчеловеческие лики и вечные идеи.

О Богиня! лишь на одно мгновение явилась ты людям во всем блеске своей истины, и нам дано созерцать этот свет! Твой светящийся образ открывает Эдем Греции, когда при первых лучах искусства человек выявлял богов из чресл дремлющей материи. По каким амфиладам веков ты идешь к нам, о юная Владычица! В какие священные предания ты посвящаешь нас! Гомер сам не ведал твоего величия, он, накрывший твою тень сетью, в которой Вулкан застигает любодеяние. Чтобы воспеть тебя, была бы нужна та трехструнная лира, которую Орфей заставлял звучать молитвенно-строго в долинах рождавшегося мира! Вскоре твой первоначальный лик исказится и унизится. Поэты тебя истончат в изнеженностях Амафонта*: своими чувственными сказками они проституируют твою идею; на всех ложах земли они будут распростирать твое обесчещенное тело. Скульпторы сделают из тебя вакханку и наложницу; они увлекут тебя в оргии мрамора и бронзы. Твой благородный стан изогнут сладострастными позами; душа гетер проникнет твое божественное тело и развратит твой образ. Венера будет улыбаться, изображать стыд, выходить из ванны, причесывать волоса, глядеться в зеркало... Что до этого тебе, о Богиня! ты выходишь неоскверненной из этих кощунственных превращений. Данте показывает нам в своей поэме Фортуну, движущую колесо и проливающую на человеческий род таинственное распределение благ и зол, успехов и неудач, катастроф и процветаний. Люди проклинают и обвиняют ее. «Но она не слышит оскорблений. Спокойная, посреди первичных творений, она кружит сферу, радуется и пребывает в блаженстве». Так великая Венера вызывает случайно в душах великие мысли и низкие желания, священные

* Амафонт – древний город на Кипре, известный храмом Афродиты и культом Адониса. Оба святилища были финикийского происхождения и связаны культом Астарты. *Прим. перев.*

восторги и непристойную похоть. Но оскорбления не касаются ее, кощунство не оскорбляет, пена, взметенная ею, не достигает ее. Стоя во весь рост на своем пьедестале, сосредоточенная в самой себе, она спокойно кружит звездный шар:

«Volve sua spera e beata si gode»*.

Кто не чувствовал, входя в залу Лувра, где царит Богиня, тот священный ужас «deisidaïmonia»**, о котором говорят греки? Поза ее надменна, почти угрожающа. Высота счастья, которое выражает ее лицо, это неиссякаемое блаженство, которое черпает в самом себе существо совершенное, вас поражает и принижает. Нет ни скелета в этом гордом теле, ни слез в этих слепых глазах, ни внутренностей в этом торсе, где обращается кровь спокойная и размеренная, как соки растений. Она из каменной расы Девкалиона, а не из семьи крови и слез, порожденной Евой. Припоминается приписываемый Гомеру гимн Аполлону, в котором с таким олимпийским презрением и с такою жестокою ясностью улыбается эта строфа: «И музы, перекликаясь прекрасными голосами, хором начинают петь вечное счастье богов и бесконечное несчастье людей, которые по воле бессмертных живут безрассудными и бессильными и не могут найти исцеления от смерти, ни защиты от старости».

Предоставьте чаре действовать. Утомившись сомнениями и томлением современной мысли, отдохните у подножия царственного мрамора, как в тени древнего дуба. Вскоре глубокий мир прольется вам в душу. Статуя покроет вас своими торжественными очертаниями, и вы почувствуете себя как бы охваченным ее отсутствующими руками. Она тихо вознесет вас к созерцанию чистой красоты. Ее тихая жизненность проникнет ваше существо. Свет и мера настанут в душе, затемненной напрасными грезами, плененной гигантскими призраками. Ваши мысли примут спокойный черед античного мышления. Вам покажется, что вы рождаетесь вновь на заре мира в то время, когда юноша-человек легкой ногой попирал весеннюю землю и сверкающий смех богов звучал под сводами Олимпа, как веселый гром в ясном небе.

---

* Крутит свой шар, блаженна и светла (*ит.*). Пер. М.Л. Лозинского. (*Ред.*)

** Суеверный страх перед богами (*греч.*). Пер. Г.А. Стратановского (*Ред.*)

II. **Диана**

Мифология сделала Диану дочерью Латоны, но чрево, носившее ее, более обширно, а зачатие ее еще более божественно. Диана возникла из лесных родников, из древесных чаш, из шумов ветра, из таинств уединения. Все девственные элементы природы, всё, что есть чистого в теле и в душе, олицетворилось в великой дорической Девственнице. Сестра Феба, солнечного бога, Диана вначале является луной, как и он, единственной в небе: их двойное безбрачие выражает их эфирное одиночество. Но, как Аполлон, подобно статуе, возникающей из пламени плавильной печи, скоро высвобождается из солнца, точно так же и Диана отделяется вскоре от ночного светила. Ее лунный характер ослабевает постепенно; она всегда сохраняет его отблеск, но в ней преобладает Охотница, – героиня, живущая без покровителя, без господина, свободная от всякого ярма в глубине великих лесов.

Так обожествила ее Греция, так рисуется она воображению, такой поют ее поэты, такой резец ваятелей выявляет ее из мрамора, чистого и холодного, как она сама. Высокая и гибкая, она на целую голову превышает толпу своих нимф. Ее стан – это стан Аполлона, лишь чуть смягченный. Никакая слабость не смягчает ее надменной красоты, ее приоткрытый рот вдыхает лесной ветер; ее ноздри дрожат от запаха добычи; пристальные глаза ее мечут взгляды, быстрые и прямые как стрелы. Узкие бедра принадлежат скорее юноше, чем девушке. Ее грудь, уменьшенная упражнением героических игр, имеет крепость первой зрелости. Идея бега неразлучна с ее ногами, как идея полета с крыльями птиц. Критская сандалия обувает ее легкую ступню; короткий восточный хитон охватывает складками ее стройный стан и, схваченный аграфом, приподнят над коленом. Случается, что с торопливой грацией она завязывает свой плащ около бедер вместо пояса. Первое дыхание ветра расплетет ее волоса, волной приподнятые надо лбом или завязанные на затылке простым узлом. Всегда на бегу, всегда в движении, оборачивая голову, как на призыв рога, выхватывая стрелу из колчана, который бьет ее

по плечам, или укрощая лань, взвившуюся на дыбы под рукой, ее статуи являют образ вечного движения.

Так под звуки рогов и под завывание своры собак она пробегает по холмам и лесам, сопровождаемая хором своих нимф, неприступных и девственных, как она сама. Неукротимая ватага пересекает пропасти, переплывает реки, мечет стрелы в орлов, пронзает дротиками диких кабанов и медведей. В полдень лесные воительницы засыпают под широкими дубами, окруженные псами; в сумерках, когда львицы идут на водопой, они моют в холодных ключах запачканные в крови пальцы и запыленные руки. Суровый закон царит в этом блуждающем гинекее. Спутницы Дианы приносят обеты вечной девственности, священные рощи служат им скитами, горы – их монастыри. Богиня является, если можно так выразиться, настоятельницей лесов.

Какими чарами должно было наполнять леса ее тайное присутствие! Она освящала их урочища и обожествляла их шумы. Ветерок, шуршавший в листве, быть может, был ее божественным дыханием. Быть может, озеро, еще дрожавшее рябью, только что обнимало ее девственное тело. Ее сказочная охота чаровала лес; она слышалась сквозь все его шорохи. Пастухи и дровосеки в криках ветра слышали свист ее стрел; пятна света, пестревшие в тени, казались им отливами ее плеч. Какой религиозный ужас должен был охватывать молодого лаконского охотника, проникавшего в заросли Тайгета. Что если на повороте тропинки он увидит Богиню, опирающуюся на серебряный лук... Что, если он застанет ее нагой, выходящей из озера, оправляющую тунику стыдливым жестом!.. Если ветви, раздвигаемые на ходу, кинут ему в лицо каплю росы, он подумает, что это магическая вода, которую Диана брызнула на Актеона, и он чувствует, что на его висках уже прорастают ветвистые рога оленя. – Спасайся, смельчак, не оборачивая головы! Твои собаки уже косятся на тебя подозрительным взглядом...

Ночь особенно должна была множить ужасы, связанные со встречей с Бессмертной. Эти далекие грохоты, прерывавшие молчание, скачки ли это ее Нимф, или падение водопа-

дов? Разве нельзя принять посеребренные ветви за острия их копий, движущихся под лунным светом?

Лунный серп, опускавшийся за горы, запоздавший спутник принимал за диадему Дианы, уснувшей на дальней вершине.

Но полная Луна была она же. Сбрасывая каждый вечер, как охотничье платье свою земную форму, Диана ночью восходила на небо, чтобы оттуда править полчищами звезд, как днем она правила стаями своих нимф. С самого небесного свода не переставали сыпаться ее стрелы, то благоприятные, то гибельные. Это были мирные лучи, рассеивающие мрак и освещающие тропинки; но они же были и зловещим пламенем, вызывающим привидения и озаряющим черные козни колдовства.

Потому что, благодаря своему лунному происхождению, Диана сохранила характер таинственности. Она изменчива, как планета, ею олицетворяемая. Посмотрите на небо: ясный серп превращается в лик, искаженный гримасой. Взгляните на землю: она вам показывает то лицо благодетельного божества, то яростный профиль фурии. Ее отомщения безжалостны: Актеона она отдает на растерзание его же собакам, она убивает Калисто, свою неверную нимфу, она истребляет всех дочерей Ниобеи. В Илиаде возмущенная Юнона бросает ей, как упрек, ее «сердце львицы против женщин». В Пеллене никто не смел посмотреть в лицо ее статуи; когда ее несли в процессии, самые смелые отвращали взгляды. Говорили, что от ее взгляда деревья делаются бесплодными и опадают незрелые плоды. В Тавриде Диана радуется крови приносимых ей в жертву; в Спарте крикам юношей и девушек, бичуемых на ее алтаре. Во время жестоких бичеваний жрица, держа в объятиях ее деревянную статую, каждый раз, когда рука, наносящая удары, ослабевает, восклицает, что тяжесть сокрушает ее и что она сейчас ее уронит на землю. Но самой ужасной она бывает, надевая маску Гекаты, когда с высоты неба ее бледный диск, запутавшийся в облаках, реет над магическим треножником, вбирая приворотные зелья и заставляя вскипать отравы.

«Я призываю тебя, земная Геката! – восклицает у Феокрита Симета, составляя свои привороты, – перед тобой даже собаки дрожат от ужаса, когда ты приближаешься через могилы, вся в черной крови мертвых. Приветствую тебя, ужас наводящая Геката! Пребудь с нами до конца и сделай, чтобы эти отравы не уступали ни в чем ни ядам Цирцеи, ни Медеи, ни русой Перимеды».

Ориген передает нам литургическую молитву, обращенную к ней Фессалийскими колдуньями: по ужасу она не уступает заклятию трех ведьм Макбета: «Приди, адская, приди, земная, приди, небесная Геката, богиня больших дорог и перепутий, ты, приносящая свет, ты, идущая в ночи, ты, ненавистница света, ты, подруга и спутница ночи, ты, радующаяся завыванию псов и пролитой крови, блуждающая по могилам посреди привидений; ты, жаждущая крови и приносящая ужас смертным, Бомбо, Горго, Мормо! Многоликая луна! Благосклонным взглядом присутствуй при наших жертвоприношениях».

Еще позднее развращенная Азией дорийская богиня отождествляется с чудовищной Дианой Ефесского храма. Ее гибкий стан заключается в бесформенный футляр мумии; ее девственная грудь отягчается тройным рядом сосцов. Священниками ее становятся евнухи, а празднествами – непристойные маскарады.

Истинная Диана не ответственна за нечистые и извращенные превращения, которым подвергался ее образ. Эти греческие боги, такие человечные и близкие, связали себя в своем восточном прошлом обязательствами, по которым приходилось расплачиваться. Вышедшие из фаллических и оргиастических культов Азии, они высвободились из-под их рабства: из чудовищ они стали людьми, от бесформенности идолов они возвысились до красоты Гения, но под очищенными чертами они сохранили знаки своего первичного возникновения. По крайней мере время от времени они какой-нибудь стороной должны были принимать свой первоначальный лик. Священник не отдавал целиком своего идола лире поэта и резцу художника; он оставлял для себя темный

лик, скрытую сторону, иероглифическую и сокровенную форму. Отсюда те двойственные существования, которые так часто разъединяют и противоречат друг другу в божествах Греции. Афродита погружается временами в нечистые таинства Астарты; юный и нежный Вакх под фригийским именем Загрея вместо вина проливает человеческую кровь; Прозерпина отрывается от цветущих лугов Сицилии для черного трона Гадеса.

Но несмотря ни на что, Геката бледнеет перед Дианой-Охотницей; чистая Девственница искупает преступления Ефесского идола и нечистого светила. Она могла бы попирать ногами месяц, который носит на лбу. Как она прекрасна и благодетельна в этом благородном лике! Сколько доброты в ее суровом взгляде! Сколько добродетели в ее неприступном облике! Она достойна надписи, которую Афиняне высекли на цоколе ее статуи: «Всеблагой и всепрекрасной богине». Призываемая больными, она приносит к их одру смолистый запах лесов, ею выдыхаемый, исцеляющий все болезни. Из чувства деликатной справедливости Греция доверила ей покровительство над молодыми созданиями. Так как она сама не должна была познать сладости брака, то они хотели, чтоб она по крайней мере почувствовала кое-что из радостей материнства. Она была защитницей детей; даже маленькие животные были ей посвящены. Как Иллифия, она облегчала боли матерей. По делийским мифам, едва выйдя из чресл Латоны, она помогала рождению Аполлона. Таким образом, царственная дева выполняла в мифологии ту роль, которую играет в семье тетка, оставшаяся старой девой, изливающая на детей своих сестер любовь, заключенную в ее бесплодной груди. Чистота дает ей особую красоту; ее сияние кажется нимбом и божественность – святостью, и ее явления кажутся скорее явлениями Мадонны, чем богини. – Диану этого перепутья, говорит одна из эпиграмм Антологии, – Агелохея, дочь Демарета, юная девушка, еще живущая в доме отца, украсила платьем потому, что богиня сама явилась ей около ее станка вся сверкающая светом». Когда наступал час зрелости и ее девственные влияния уступали смуте, пробужденной Венерой, девушка ей посвящала свою последнюю

куклу. Как ex voto*, вешала она около ее статуи этот невинный фетиш, который вскоре в сердце ее должен был заместиться живым идолом.

В мифе о Диане есть только одна любовь, такая же незапятнанная, как свет, ее знаменующий, именно в звездной своей ипостаси она любит Ендимиона. Тогда она больше не Диана, она зовется Селеной, луною мирной и благоприятствующей. И сколько стыдливости в ее воздушном браке! Ее ласки – это отблески лунного света, ее поцелуи – это луч, который скользит по губам, замкнутым сном. Она отдается, развертывая свое сияние над телом молодого, уснувшего охотника. Спустившись вновь на землю, Диана сохраняет строгую недоступность даже по отношению к своим посвященным. В трагедии Эврипида Ипполит, самый дорогой из ее любимцев, слышит ее голос и не видит ее лица. Она не показывается ему, даже когда он умирает, но с небесным состраданием утешает его в последние мгновения. При ее приближении боль утихает, он умирает, но не страдает больше.

Если она избегает его последнего дыхания, если она не принимает его последнего взгляда, то потому только, что ее божественное достоинство запрещает ей быть свидетельницей смерти. «Прощай, прими мой последний привет. Мне не дозволено видеть мертвых, ни осквернять свой взгляд испарениями гробниц. Уже вижу, что ты подходишь к роковой мете». – Ее торжественное отбытие предшествует душе героя.

Страшная обязанность возложена на Диану: с ее тетивы слетает неожиданная смерть, повергающая человека полного сил и юношу в расцвете его молодости. Но для древних смерть неожиданная была эуфанасией, «доброй смертью», и они благословляли Диану за верность ее ударов, они называли «нежными» ее невидимые стрелы.

«О мать моя! – вопрошает в Одиссее Улисс, вызывающий души предков, у тени Антиклеи. – Каким образом Парка усыпила тебя долгим сном смерти? Страдала ли ты долгою болезнью, или Диана, посетив тебя, уронила на тебя свои не-

---

* По обету (*лат.*).

жные стрелы?» И Антиклея отвечает ему с сожалением: «Нет, не Диана в глубине моего дворца поразила меня своими нежными стрелами, но заботы об отсутствии твоем, о мой сын, лишили меня земного дня!»

В Диане язычество дало свой самый высокий и самый чистый идеал. Ему была необходима эта девственница, чтобы противопоставить ее божествам плоти и радости. Между тем как бессмертные наполняют прелюбодеяниями землю и небо, строгая богиня, уединенная в своих неприступных горах, своею суровостью протестует против распущенности Олимпа. Она дает пример воздержания и энергии, она воспитывает здоровые души в мощных телах, она создает школу героизма. ее пример действенен, ее влияние веет из глубины лесов и распространяется по Греции, подобное холодным ветрам, очищающим атмосферу. Это она побуждает юношей к мужественным упражнениям в гимназиях. Это она их отвлекает от домов куртизанок и портиков риторов. Когда ее лик исказился, когда ее культ извратился, добродетель покинула многобожие. Оно потеряло свою единственную стыдливость – свое последнее достоинство.

III. **Великие богини, Церера и Прозерпина**

I

Церера была самой почтенной из языческих богинь. Как Зевс, Гермес, Пан, Рея, она принадлежит к той незапамятной группе пеласгических божеств, которую можно назвать предками и патриархами Олимпа. Корень ее греческого имени Деметра – «мать-земля» – указывает на глубинность ее происхождения. Ее можно различить уже в первые эпохи Греции, еще скрытую покровом земной толщи, плодородие которой она смутно знаменует. Вначале она высвобождается из-под нее в чудовищной форме идола. Самые древние изображения представляют ее с лошадиной головой, овитую змеями, с дельфином в правой и голубем в левой руке. Это земля в диком состоянии, во власти слепых воль плодородия,

до того, как человек распахал ее поля и привел в порядок животное царство.

Мифология Гомерова века обтесала эту варварскую глыбу. Церера высвобождается из тины хаоса; из глубокой борозды проведенной сохой, из чащи колосьев она ринулась в мир; она является земледельцу в величественном виде благодетельной царицы. Она олицетворяет теперь уже не грубую природу, а материнскую землю, питающее поле, культуру строящую и цивилизующую. Сестра Зевса, царя небес, она соединяется с ним в мистическом браке. Прозерпина рождается от их любви. Дивная легенда освещает мать и дочь. Одна царит над телом человека, другая над его душой. Их физическая личность озаряется духовной аллегорией. Они становятся по преимуществу двумя «Великими Богинями».

Историю Цереры нужно читать не у Овидия, легкомысленного пересказчика древних символов, а в гомерическом ей посвященном гимне, хранящем на себе знаки первобытных преданий.

Прозерпина вместе с Океанидами собирает цветы на Нисейских лугах. В тот момент, когда она срывает стебель нарцисса, земля разверзается широкой бездной, из которой стремительно вылетает Плутон на своей колеснице. Он похищает девушку, которая тщетно сопротивляется его грубым объятиям. Геката и Солнце являются единственными свидетелями этого адского похищения. Колесница Плутона пожирает пространство и ныряет в море. Крики, которыми Прозерпина наполнила мир, достигли ушей Цереры. Вне себя она бросается вслед за похитителем. В течение девяти дней блуждает она по земле, потрясая горящими факелами. На десятый день Геката возвещает ей, что она заметила Прозерпину при свете своего бледного светильника; но она не смогла разглядеть лица бога, ее похищавшего. Наконец, Солнце, непреложный свидетель, от которого ничто не ускользает, раскрывает ей имя царя Аида. Церера, разгневанная, покидает Олимп; она отказывается быть богиней; она облекается в морщины и лохмотья старой женщины и уходит искать дочь по полям и по селениям. Изнеможенная усталостью, она останавливается в Элевсисе в тени оливы у колодца Партенио-

са. Дочери царя Келея, которые приходят туда, чтобы черпать живую воду медными кувшинами, расспрашивают почтенную чужестранку. Церера им отвечает выдуманной историей и просит найти в городе ей место служанки или кормилицы. Дочери Келея приводят ее к матери своей Метанире, которая поручает ей сына Триптолема. Богиня обещает охранять его от порчи: она не кормит его ни хлебом, ни молоком, но умывает амвросией и питает собственным дыханием. По ночам она погружает его в пылающий очаг, чтоб очистить от всякой земной примеси. Триптолем возрастает в силе и красоте, как сын Бессмертного. Любопытная Метанира тайком подглядывает за божественной кормилицей. Однажды ночью она видит, как та опускает ребенка в огонь, и испускает крик ужаса. Церера, разгневанная, вынимает ребенка из огня и осыпает мать суровыми упреками. Ее сын умрет, потому что она была маловерна. Она являет себя в сиянии своей божественности. «Я славная Деметра, радость богов и людей». Затем она приказывает, чтобы на холме Калихоры ей построили храм, в котором позже она будет наставлять своим таинствам. Храм воздвигается, и богиня удаляется в него, но потеря дочери делает ее глухой к молитвам и жертвоприношениям. Земля, неоплодотворяемая ее благословением, поражена бесплодием; голод свирепствует над человеческим родом. Напрасно боги, один за другим, приходят к Церере предстательствовать за людей. Она поклялась, что земля останется бесплодной, пока она не увидит своей любимой дочери.

Юпитер посылает к богу Аида Гермеса с золотой лозой. Плутон дает себя склонить; он дозволяет Прозерпине посетить свою мать. Прозерпина устремляется на сверкающей колеснице своего черного супруга; Гермес направляет ее в храм Элевсиса. Церера прибегает на топот мрачной четверни; поцелуями и слезами покрывает она голову своей дочери и спрашивает, не вкусила ли она какой-нибудь пищи в царстве мертвых: «Если нет, то ты можешь навсегда остаться на Олимпе около своего отца, Зевса; но если ты вкусила пищи в черном царстве, то тебе придется возвратиться туда. Третью часть года ты будешь проводить там вместе с твоим супругом, а две остальных со мной и с бессмертными богами». Но Плу-

тон, прежде чем отпустить Прозерпину, заставил ее съесть зернышко граната. Приговор произнесен. Церера смиряется перед законами Рока. Она снимает с земли отлучение, ею наложенное. Триптолем, ее выкормленник, получает от нее уроки и правила жизни. Она вручает ему священные семена, которые оплодотворят грудь земли. Она преподает ему искусство возделывать землю сохой; она научает его собирать пшеницу и делать хлеб. Триптолем осеменяет сперва родительское поле, потом всходит на колесницу, в которую Церера впрягает крылатых змей, и облетает мир, кидая с высоты неба семена будущих жатв.

Этот миф, столь патетический и чистый, скрывает, как все легенды Греции, естественный смысл. Прозерпина, поделенная между Аидом и землею, символизует явление произрастания, ежегодно погребаемого, прежде чем расцвесть. Плутон является слепою сущностью земной производительности. Церера своей материнской скорбью изображает в одно и то же время и любовь земли к своим детям, и ее отчаяние, когда зима обрывает ее листву и ее радость весеннего возрождения. Триптолем – это воспитание первобытного человека, посвящаемого в обряды земледелия. Таков общий смысл этой прекрасной легенды, одетой в стройные формы аллегории.

Воображение греков не переставало усовершенствовать типы этих благодетельных Божеств. Можно проследить, как из века в век они возрастают в красоте, в достоинстве и нравственном величии. К своему титулу кормилицы рода человеческого Церера присоединяет сан законодательницы. Она руководит образованием законов, исполнением обязанностей, союзом семейств, вечной основой которых является возделанное поле. Прозерпина преобразилась во мраке подземного мира: она приобрела там фантастический облик загробной Венеры; она там становится любовницей бессмертных душ. Юноши, преждевременно отнятые у жизни, засыпают в ее объятиях мистическим сном. Знаменитая Рувосская ваза изображает ее в боскете из мирт, принимающей юношу, приведенного к ней крылатым гением. Имя «Счастье, Felicitas» надписано поверх ее головы. Три

женщины ее окружают: одна, символизирующая «вечные пиры», несет блюдо с плодами, другая, завернутая в звездный плащ, именуется «здоровье»; третья, держащая пальцами нить Парок, названа «прекрасной». Сам умерший юноша обозначен надписью: «тот, кто проживет долгие годы».

Так уже в языческом Аиде Смерть потеряла жало и освободилась от ужаса. Радость и любовь царят там, где человек грезил ужас и одиночество; здоровье сверкает в убежище разрушения; новая жизнь открывается перед человеком, который думал, что проваливается в бездонную пустоту бездны.

Это превращение мрачного царства, без сомнения, обязано влиянию Прозерпины; это ее глаза освещают его этой упоительной зарей бессмертия. Как юная королева украшает печальный двор сурового короля, так она приносит в Аид любовь и юность. Ее грация действует даже на самого Плутона. Неприступный бог смягчается в ее нежном присутствии. Он чарует мертвых, на которых наводил ужас когда-то. Платон в своем «Кратиле» представляет его чистым духом, который приручает и удерживает души очарованием своих речей.

«Скажем же поэтому, Гермоген, что нет никого в том мире, кто пожелал бы возвратиться в этот мир, даже сами Сирены и они пленены его чарами вместе с остальными умершими; столь прекрасны речи, которыми Гадес умеет удержать их; судя по тому, что я только что сказал, этот бог является совершенным софистом и великим благодетелем тех, кто живет около него. Что же касается до его желания иметь дело не с людьми, облеченными в их тела, а лишь с теми, чья душа освобождена от болестей и страстей плоти, то не является ли это на твой взгляд, признаком философа и ясным пониманием того, что лишь в этом состоянии он может утвердить людей в желании добродетели, между тем как в то время, когда они увлечены безумием и страстями своих тел, даже его собственный отец, Хронос, не может удержать при себе, связывая их теми узами, которые носят его имя?»

Таким образом, благодеяние жизни и упование смерти, явление произрастания и чудо возрождения, поле, которое

кормит и поддерживает, могила, которая очищает и воскрешает, материнская любовь и детская почтительность, земное попечительство и вечные надежды, все высокие идеи, все чистые чувства, все святые верования воплощались в Церере и Прозерпине. Они были Мадоннами многобожия. Их религиозный характер сохраняется нетронутым посреди переодеваний, которые мифологический каприз навязал другим божествам. Между тем как Зевс оскверняет себя прелюбодеяниями, Афродита проституирует себя с детьми человеческими, Вакх себя унижает в азиатских оргиях, две Великих Богини остаются чистыми, суровыми и назидательными. Их культ – священная школа, их мистерия – таинства Греции.

Элевсис был языческим Иерусалимом. Там Церера, облеченная телом женщины, носила свой материнский траур; там находились и колодец, около которого сидела богиня и поле Рария, которое принесло первую жатву, и гумно, на котором Триптолем молотил первые колосья. В Элевсисе справлялись Элевсинии – бывшая святая святых многобожия. Что представляли собой эти мистерии, о которых все поэты, все историки, все философы говорят лишь с религиозным трепетом? Мы знаем их подготовления и внешние распределения. Кто раскроет нам их внутренний смысл? Пять из девяти дней празднества были посвящены предварительным очищениям. Сборным местом были Афины. Кандидаты на Посвящение собирались в символическом смятении на призыв Иерофанта; они совершали омовения в море; в Акропольском Элевсиниуме они приносили в жертву священный ячмень Рария; они проходили по улицам, потрясая факелами, потом, с душой, возбужденной этими религиозными приготовлениями, они уходили в Элевсис по «Священной Дороге». Процессия приходила туда ночью при свете факелов. Там в ограде храма, обширной как театр, справлялись Мистерии. Перед Посвящаемыми, облаченными в белые одежды, жрецы играли в костюмах священную драму похищения Прозерпины и скорби Цереры. Кимвалы подражали ее долгим воплям, пляски и крики радости славили возвращение юной богини на землю. В течение дня мистические напитки, очистительные посты,

стояние около оливы и колодца Партениоса поддерживали ревность веры. Наконец, начиналось посвящение, кандидаты меняли свои белые одежды на шкуры молодых оленей. Под руководством Иерофанта они блуждали во мраке среди лабиринтов, страшные голоса кричали им в уши, земля содрогалась под их ногами и, казалось, была готова раскрыться. Ужасные привидения вставали в темноте при отблеске молнии, затем таинственный жнец срезал в молчании колос. Вдруг загорался свет, подобный восходу солнца; пропилеи храма раскрывались с великим шумом, песни радости подымались из глубины святилища, покрывала падали и открывали образ сияющего Божества.

Точное значение этих обрядов ускользает от изыскания современной мысли. Посвященные приносили клятву сохранения тайны, и разоблачение наказывалось смертью. Древние писатели говорят нам о мистериях только скрытыми умолчаниями. Кажется, точно при этом они понижают голос и озираются вокруг себя. Демосфен в одной из своих речей заявляет, что «профаны не могли их знать даже понаслышке». Павзаний в своем «Путешествии» проходит мимо святилища Элевсиса, покрыв голову. «Что же касается внутренности храма, – говорит он, – сновидение запретило мне его описывать; непосвященные, которым не было дозволено видеть храм внутри, не должны даже и знать, что заключает он». Однако среди смутных образов, которые приоткрывают нам рассказы об этих обрядах, можно различить образ души, от призраков смерти переходящей к сиянию будущей жизни; ее духовное воскресение уподобляется возрождению собранного зерна, познание блаженства обещается избранным. Была ли эта доктрина изложением догматов или впечатлениями мистических зрелищ, говоривших душе открытой символам, но несомненно, что Мистерии были в Греции великой школой бессмертия души. Древность единодушно славит их таинственную святость, их религиозную действенность, их нравственную добродетель.

«Счастлив, – восклицает Пиндар, – тот, кто, быв свидетелем этого зрелища, опускается в недра земли! Он знает конец жизни, он знает ее божественное происхождение».

Диодор Сицилийский пишет, что «те, которые приобщались Мистериям, становились более благочестивыми, более справедливыми, лучшими во всех поступках». Андокид в одной из четырех оставшихся от него речей говорит афинянам: «Вы, посвященные, вы были свидетелями священных обрядов великих Богинь затем, чтобы показывать безбожие и спасать тех, кто защищает себя от несправедливости».

Между поэтами Греции можно отличить тех, что были отмечены Посвящением, по тону более проникновенному, по благочестию более страстному, по странным предчувствиям, которые воспламеняют или умиротворяют их стихи. Это Посвящение дает Пиндару святость Давида, а его лире аккорды, достойные арфы библейского псалмопевца; оно же сверхчеловеческим дыханием одухотворяет хоры Софокла. Даже в самих комедиях Аристофана, посреди этого гигантского карнавала переодетых богов и поруганных верований, вдруг, когда оргия насмешек достигает апогея, смех прекращается, гиканья смолкают, сцена становится серьезной, винные пары оргий сменяются дымами ладанов, слышится восторженный гимн: это – хор элевсинских Посвященных проходит с песнями. Таковы в «Божественной Комедии» процессии Ангелов, шествующие, склонившись над лютнями и прикрываясь крыльями посреди насмешек и богохульств ада.

II

Если древние книги безмолвствуют о мистериях, то скульптура говорит о них с величественным красноречием. Изумительный барельеф, недавно открытый в Элевсисе*, выводит обеих Великих Богинь из глубины их святилищ в самый момент их священнослужения.

Церера, опершись на большой скиптр, эмблему царственности Элевсиса, протягивает Триптолему зерно пшеницы, которым он должен осеменить поле Рария. Сзади

---

* Этот барельеф был открыт в 1859 г. в Элевсисе вблизи часовни, которая, как предполагают археологи, была построена на месте старого храма Триптолема. Франсуа Ленорман во время своего последнего путешествия в Грецию велел отлить его для нашей школы изящных искусств. Гипс этой удивительной скульптуры выставлен с тех пор в галереях школы. *Прим. автора*

Триптолема Прозерпина, держа в левой руке длинный факел, простирает правую над головой юноши в знак благословения. Изображение это стоит особняком среди памятников, известных до сих пор. Расписные вазы и монеты воспроизводят многие эпизоды из посланничества сына Келеева. Стоя на колеснице, запряженной крылатыми драконами, он получает от Цереры сноп колосьев. На другом изображении, сидя на той же колеснице с круглой шляпой Гермеса на голове, он бросает семена пшеницы, которые держит в поле своей приподнятой хламиды. Еще на другом изображении он разделяет апофеоз Цереры, приветствуемой Орами. Но здесь в первый раз древний памятник показывает нам Триптолема, получающего первичное зерно из рук Цереры. Присутствие Прозерпины еще увеличивает торжественность этого первого языческого причастия. Если бы сама земля, из которой вышел этот барельеф Элевсиса, не свидетельствовала бы его священной ценности, величественной простоты его композиции было бы достаточно, чтобы раскрыть нам ее. Нет сомнения, что здесь мы касаемся глубины мистерии. Завеса, украшенная символами, которая скрывала святилище храма, приподымается; она раскрывает нам в этом мраморе двойной характер Посвящения. В то время как Церера объясняет Триптолему явления земные, Прозерпина раскрывает перед ним тайны будущей жизни.

Никакой символический знак не отличает Цереру, ни серп, ни корона из колосьев, ни мак, ни свинья, которая обычно сопровождает изображение ее в позднейшем искусстве. Ее можно признать по одной величественности. Vera incessu patuit dea*. Богиня одета в длинное платье в симметрических узких складках, напоминающих желобки в колоннах Парфенона: тяжелая одежда, как бы корнями связывающая с землею мировую Мать, складки которой напоминают борозды, проведенные по возделанным полям. Пеплос обильными складками прикрывает ее грудь; короткие и крутозавитые волосы отличаются тою мужественною грубостью, которую древнее искусство давало прическам муже-женских божеств. Профиль ее поражает прямизной; это крайнее вы-

* Настоящую богиню видно по походке (*лат.*).

ражение греческого типа. Лоб переходит в нос без всякого изгиба, в толстых губах монументальный очерк, дающий божественным устам столько серьезности. Поза Цереры священственна; движение руки, опирающейся на скиптр, жест передающей Триптолему божественное семя, всё указывает на совершение священного обряда. Ее лицо запечатлено суровой благостью, она поучает и предуготовляет своего молодого неофита. Она раскрывает ему превосходные свойства питающего зерна; она благословляет его на мужественные труды, которые извлекут из единого семени вечные жатвы. Кажется, что слышишь речь, текущую из ее благородных уст с наставительной суровостью.

Триптолем, стоящий перед богиней, протягивает одну руку за напутственным причастием; другой он отбрасывает назад свою хламиду, отныне бесполезную. Атлет земли, он бросается нагим на борьбу со вспаханной землей. Его голова, обращенная к Церере, выражает религиозную внимательность. Он смотрит в лицо богини с простодушной верой и с бесстрашной открытостью. его юношеское тело говорит скорее о силе, чем о грации; героическая жизнь одухотворяет этот мощный торс, эти крепко поставленные ноги. Это тип селянина, сына царей-пастырей, воина, вооруженного не мечом, но стрекалом, которым подгоняют волов, и косой, которой срезают травы.

Прозерпина составляет пленительный контраст Церере и Триптолему. Это не мрамор, ставший плотью. Это мрамор, ставший тенью. Она кажется скорее отсветом, чем изваянием. Она кажется лишь своею тенью, обведенной на гладкой стене, той девушкой, которой греки приписывали изобретение искусства живописи. ее профиль дышит кроткой печалью. Факел, который она приподымает, указывает, что она возвращена земной жизни, но вскоре ей придется вновь вернуться в землю, вместе с зерном, которое дает Церера Триптолему. Она готовится перейти от дневного света в тень Аида, от несомненностей жизни к иллюзиям смерти; она готовится снова стать призраком... Уже воплощение испаряется, красота становится сверхъестественно прозрачной, формы утон-

чаются и стираются черты... Едва запечатленная на мраморе, она скользит в нем, как в белизне облака.

Самые ткани причастны мистичности ее форм: можно подумать, что сотканный дым обнимает это юное тело. Своею прозрачностью они напоминают одежды женщины, полулежащей на восточном фронтоне Парфенона, которая, согласно некоторым ученым, тоже изображает Прозерпину. По-видимому, эти воздушные ткани были отличительной чертой царицы теней, подобно тому как светящиеся покрывала являются атрибутом св. Дев Христианского искусства.

III

Греческие Боги исчезли. Мировой храм потерял великие образы, его украшавшие, но, отлетая, они освятили его. Стихии, которые они олицетворяли, действенные силы, сознанием которых они были, сохранили память о том, что они были божественны вместе с ними. Человеческие и материнские черты Цереры потерялись в широком неопределенном и равнодушном лице производительной Природы. Но ее религиозная сущность оживляет и теперь ослабшим дыханием. Великая Богиня запечатлела следы своих шагов на всех бороздах земли; она оставила некую святость на всех отправлениях сельской жизни. Еще теперь в глухих деревнях на местных праздниках крестьяне, сами того не зная, во время жатвы воскрешают ее забытое богослужение. Жест сеятеля, широким движением разбрасывающего семена, кажется благословением ее священника. Из года в год ее легенда, так интимно связанная с естественной историей земли, развертывает свои неизменные события. Каждую зиму вместе с умирающей растительностью погружается Прозерпина в темную пропасть земли, каждую весну она воскресает, увенчанная цветами. Природа вечно повторяет священную драму Элевсиса.

IV. Елена

Изумительный рисунок Прюдона, воспроизведенный в гравюре, представляет заключительную сцену III песни Илиады. Венера примиряет Париса и Елену. Елена, гордо задрапированная в широкие складки покрывала, с презрением отвергает изнеженные ласки Париса, который зовет ее к наслаждениям. Но Венера ироничная, почти угрожающая, обеими руками толкает ее к ложу прелюбодеяний, как в западню, поставленную богами.

Я долго грезил перед этой фигурой, чистой и грустной; она раскрыла мне новую Елену, не менее прекрасную и более трогательную, чем обычная; Елену, приносимую в жертву, страдающую, принуждаемую, противящуюся Венере, ею неволимую, обреченную на избыток любви, как рабыня на тяжкий труд.

Она переходит из рук в руки между героями Гомерова мира, подобная круговой чаше нектара за Олимпийскими пирами. Тезей ее похищает в десятилетнем возрасте в то время, как она танцует в храме Дианы.

«Он похитил меня, – говорит она во второй части Гётева Фауста, – меня, стройную лань, десяти лет, и город Афниды в Аттике принял меня».

Затем Ахилл увлекает ее в свою буйную жизнь, а потом делит как добычу с Патроклом. Менелай женится на ней и стягивает на ее челе повязки Гименея. Тогда является прекрасный пастух Парис, и Венера, чтобы сдержать обещание, данное на горе Иде, бросает ему в объятия свою роковую рабыню. С высоты Илионских башен в течение десяти лет она присутствует при войне, зажженной ее глазами, в элегической позе дочери Иефая, оплакивающей свое девство на вершине горы. Парису, убитому дротиком Пирра, наследует его брат Деифоб; затем в пламени Трои появляется Менелай, отрывает ее от ложа прелюбодеянии и увозит в Лакедемонский дворец. Но безжалостная Венера не оставляет добычи: Ахилл во тьме Аида вспоминает о дивной красоте, которой владел; ему удается вырваться из тюрьмы теней, он овладевает Еле-

ной во время ее сна, и крылатое дитя Эвфорион рождается из таинств этой магической ночи.

Между тем среди этих похищений, этих прелюбодеяний, этих блужданий пленницы, брошенной как добыча в борьбу мужей, дочь Лебедя остается чистой, как отчая птица, облаченной невинностью и величием.

Ласки и оскорбления скользят по ней, не проникая ее. Посреди восторгов, ею возбужденных, она сохраняет равнодушие статуи, вокруг которой кишит водоворот священных оргий. Это вина не ее, а богов, которые пользуются ее красотой, чтобы ею зажигать и ослеплять мир. Виноградник не ответственен за кровавые опьянения, им вызываемые; факел не причастен вине поджигателя, опаляющего его пламенем стены городов.

Проследите за Еленой от Илиады до Одиссеи: вы увидите ее всюду благородной, серьезной, внушающей почтение. Самый город, очаги которого она опустошает, чьих юношей она истребляет, окружает ее уважением и изумлением. «Дочь моя, – говорит ей старый Приам, – предо мной ты не виновна, это боги ополчили против нас греков и все ужасы войны». Старцы, сидящие у Скейских ворот, встают перед ней и шепчут между собой: «Воистину не без причины троянцы и ахейцы в прекрасных одеждах терпят столь ужасные бедствия из-за такой женщины: она похожа на бессмертных богинь». В последней песне Илиады она появляется вновь, скорбя и причитая над трупом Гектора девичьими словами Ифигении. Жалобы ее так нежны, что вам кажется, что голос лебедя просыпается в ней, чтобы оплакать умершего: – «Гектор! о самый близкий душе моей из всех братьев! Ах! почему лучше не я спустилась к Плутону! Уже двадцать лет прошло с тех пор, как я рассталась с родиной, и ни разу ни один упрек, ни одно горькое слово не сорвалось с твоих уст. И если в наших дворцах кто-нибудь из моих деверей или золовок оскорблял меня, о благородный Гектор! ты останавливал их словами полными доброты и ласковой речью. Увы! теперь с сокрушенным сердцем я плачу над тобой и над самой собой, несчастная, потому что во всем обширном Илионе нет ни

одного человека, который бы меня любил, мне прощал, и я ненавистна целому народу».

Наконец, мы находим ее в IV песне Одиссеи, во дворце Менелая, почитаемую всеми как самую добродетельную из супруг. При взгляде на величественный церемониал, которым Гомер окружает ее вступление в новую эпопею, можно подумать, что он хочет дать ей торжественное отпущение всех преступлений и убийств Илиады. Когда она спускается на встречу Телемаку из своей комнаты, наполненной благовониями, все взгляды обращаются к ней: «Она похожа на гордую Диану». Адраст ставит ей под ноги драгоценную скамеечку; Фило ей подносит серебряную корзинку, наполненную изумительными нитками, и кладет ей на колени золотую прялку с лиловой шерстью, символ ее владычества над домом.

Чтобы еще более полно очистить ее, предание утверждало, что только ее тень последовала за Парисом в стены Трои, между тем как истинная Елена, скрытая в Египте, тайно, ожидала решения судьбы. Позднее Греция обожествила ее и включила в созвездие Диоскуров. Ее память становится священной, ее запрещено касаться. Стесихор, оскорбивший ее в одной поэме, неожиданно слепнет. Извещенный музами, он отрекся от оскорбительных слов; тогда Елена великодушно возвратила ему зрение. Спарта воздвигла ей храм, в который некрасивые девушки приходили молиться о превращении черт их лица. В одной легенде Геродота она является, как Богоматерь красоты, возлагая руки на некрасивую девочку, принесенную кормилицей в ее храм, и предрекая, что она станет одной из самых красивых женщин Лакедемона. После Гомера поэты и риторы окружают ее всё возрастающим хором восхвалений. Феокритова эпиталама Елене представляет собою гимн обожания. «Дочерь Зевса спустилась в твою постель, – поют Менелаю спартанские девушки, – она, с которой не сравнится ни одна из женщин, ступающих по ахейской земле. Сколь прекрасен будет ребенок, похожий на такую мать, и мы, ее спутницы, четырежды шестьдесят девушек, натертые маслом, как мужчины, мы бегаем с нею по бе-

регам Эврота; но ни одна из нас не безупречна по сравнении с Еленой». Электра в «Оресте» Эврипида сперва осыпает ее оскорблениями, когда та ночью возвращается в Аргос, «боясь отцов тех, что умерли под стенами Илиона», но вскоре ее очарование покоряет мрачную девушку, она, – это надгробное изваяние, – охвачена трепетом чувственности, окружающим ее. Елена вырывает у Электры крик зависти: это Евменида, плененная одной из граций. «О красота! сколь ты гибельна для смертных и как драгоценна для того, кто владеет тобой! Елена по-прежнему остается женщиной прежних дней». Согласно одному из циклических поэтов, эта красота, как щит, прикрыла ее в пылающей Трое, против меча Менелая, поднятого над ее головой. При взгляде на нее клинок выпал из рук восхищенного супруга. На закате античного мира Елена появляется в последний раз в последней поэме Греции* и там принимает знаки высшего почитания. Поэт изображает греческих вождей, после взятия Трои ведущих к кораблям своих пленниц: Агамемнон ведет Кассандру, Неоптолем влечет Андромаху, Улисс толкает перед собой старую Гекубу, Менелай сопровождает Елену; отовсюду слышатся жалобы и рыдания. «Елена не плакала, но стыдливость таилась в ее голубых глазах и румянила прекрасные щеки; и бесчисленные мрачные мысли катились в глубине ее сердца и страх, что греки будут оскорблять ее, когда она подойдет к черным кораблям. От этого страха у ней тайно билось сердце, и, покрыв голову тканью, она, шаг за шагом, шла по следам своего супруга, со щеками, пылающими от стыда, как Киприда, когда обитатели Олимпа увидали ее в объятиях Марса сквозь петли сетей искусного Вулкана. Подобная ей и красотой и румянцем стыда, Елена шла с военнопленными троянками к прекрасным кораблям греков. Кругом же нее войска были ослеплены блеском и очарованием этой безупречной красоты, и никто не посмел ей бросить злого слова ни в лицо, ни за спиной, но все с упоением глядели на нее как на божество; потому что она им всем была желанной». – Как бы дополняя рассказ Квинта, удивительный барельеф (Кампанского музея) изоб-

* У Квинта Смирнского

ражает нам Елену, – возвращающуюся в Спарту на своей колеснице вместе с Менелаем не пленницей, но в триумфе, с лицом уверенным, с надменной осанкой, царственным жестом держа поводья четверни.

Эта великая женщина изображает красоту пассивную, не виновную в опустошениях, ею причиняемых, и в бедах, от нее исходящих: потому что Венера распоряжается ее судьбой, не владея ее духом. Смута, которую она поселяет в душе мужей, не волнует ее сердца; огонь, который сжег Федру и Медею, не касается этой спокойной груди, оттиски которой скульпторы снимали для жертвенных чаш. Она холодна, как все совершенные красавицы, предназначенные скорей пленять глаза, чем смущать чувства, любовь для которых должна была бы быть созерцанием. Всюду, где она ни появляется в драмах, поэмах, одах, античных элегиях, она остается серьезной, молчаливой, сосредоточенной в себе, как бы благородно опечаленной тою любовью, на которую она осуждена богами. Ее слова всегда сдержанны; желания, ею возбуждаемые, пугают и печалят ее; она покоряется, не разделяя их, как бы подчиняясь суровому закону. Когда Венера в Илиаде зовет ее к прелюбодейственному ложу, где ожидает ее Парис, она сначала отказывается повиноваться, с презрением девушки, отталкивающей сводню. – «Жестокая, – говорит ей она, – зачем ты хочешь снова соблазнить меня? Почему ты сама не идешь туда? Откажись от небесных путей, не направляй больше шаги к Олимпу, но, всегда бегающая за смертным, сноси его капризы до тех пор, пока он не сделает тебя своей супругой или рабыней. Что же до меня, то я не пойду туда, куда ты хочешь меня вести. Нет, я не хочу почтить его ложа. Все женщины Трои покроют меня стыдом, и душа моя будет предана нестерпимым мукам».

Но эта изумительная женщина не подчинена судьбе жриц плоти. Пусть Любовь, Рабство, Гименей хватают ее своими разгоряченными руками, берут и бросают и возвращают друг другу, она сохраняет в их объятиях таинственную девственность. Даже сама старость не может унизить ее; время не смеет ее коснуться. Она проходит через пространство

целого века в цикле античной поэзии всегда юная, всегда желанная. Она – живой образ идеальной красоты, человек может осквернять ее призрачные формы, но не может оскорбить ее вечной сущности.

V. Мелеагр

«За деревьями леса не видно», – говорит пословица, но случается также, что и лес мешает разглядеть дерево, а сад оценить цветок. Если бы Мелеагр дошел до нас один, то мы бы его поместили если не посреди Богов, то, по крайней мере, в группе полубогов греческой поэзии. Затерянный в обширных списках «Антологии», этот оригинальный и изящный поэт долгое время оставался позабытым. Его не отделяли от смутной толпы посредственностей и подражателей. Он сам, первый, собрал этот сноп, густота которого скрыла его. Можно сказать, что он собственными руками похоронил себя под розами. Представьте, чем были бы стихотворения Андре Шенье, разбросанные в Альманахе Муз. Антология в своих неудачных страницах, конечно, может быть названа Альманахом Муз древности. И Греция имела свое «Рококо» и свой «стиль Помпадур». Ее литература, перенесенная из Афин в Александрию, там заразилась дурным вкусом Азии. Рафинирование стиля и мысли размягчили благородную музу Пиндара; утонченности обесцветили ее, щегольство сделало пресной. – Это эпоха «малых поэтов», которые кишели при дворах Птоломеев и Селевкидов, настоящих музыкантов гарема, стихи которых кажутся написанными для пенья евнухов. Все высокие ключи вдохновения иссякли; родина раздроблена завоеваниями; смысл великих символов потерян; двусмысленные сказки заменили священное предание; подсахаренная и замаринованная мифология исказила царственную теологию первых веков; великие боги, воспетые Гомером и изваянные Фидием, превратились в маленьких непристойных идолов, в игрушки риторов и романистов. В это время Бедствие, более ужасное, чем Саранча, поражает греческую поэзию, перенесенную под египетское небо; это поветрие Амуров. Эрот Анакреона

отличается ужасающей плодовитостью пчелы, с которой его сравнивал поэт; он порождает тысячи маленьких ублюдков, лживых, манерных, мудреных и педантичных, которые превращают язык Софокла в жаргон волокит. Эти купидоны из мелочной лавочки кишат в Антологии и между божественными шедеврами. Там вы найдете, «Амура промокшего», «Амура утонувшего», «Амура птичку», «Амура пленника», «Амура земледельца», «Амура охотника», «Амура школьника», «Амура на продажу»... Это все шутливые посвящения Венере, букетики Хлое, ex votos* Киферы, пронзенные сердца, жеманные мадригалы и легкомысленные виньетки. Испорченный мед течет широкой струей; вы вязнете по колена в бумажных цветочках декаданса.

Надо сказать, что Антология имела четыре издания, из которых до нас дошло только четвертое. Первое, составленное Мелеагром, представляло цвет «мимолетной поэзии» древности; последнее, скомпилированное в X веке схолиастом Восточной Империи, не больше чем куча отбросов. Поддельные стихи проникли в эту «Глиптотеку», составленную раньше лишь из редкостей и произведений первого сорта. Сколько чистых камей и тонких печатей, подписанных именами Сапфо или Стесихора, исчезли из разграбленных витрин! И каким хламом были они заменены!

Но всё же их осталось достаточно для того, чтобы сделать из Антологии, в том виде в каком мы ее имеем, одну из самых ценных хранилищ древней Музы. Посредственность изобилует, но кое-где сверкает и совершенство. Чистое золото горит среди фольги и мишуры. Страницы Антологии можно сравнить со странными браслетами, бывшими одно время в моде: между турецким пиастром и византийской монетой сверкает дивная чеканка прекрасной сицилийской медали.

Мелеагр, по крайней мере, дошел до нас целиком, и его сто двадцать восемь эпиграмм составляет то, что можно назвать основой сокровищницы. Является ли Мелеагр чистым греком? Без сомнения, нет. Рожденный в Палестине, он провел свою юность в Тире и, удалившись, на острове Косе, там

* См. с. 345.

медленно старился подобно своему предку Анакреону. Он сам указывает на свое иностранное происхождение в пророческой эпитафии, сложенной им самим для своей могилы. «Кормилицей моей был остров Тир, аттической же родиной Сирийская Гадара. Я, Мелеагр, сын Эвкрата, вырос вместе с Музами и первое свое странствие совершил, сопровождаемый Менипейскими Грациями. Что ж удивительного в том, что я сириец? О, чужестранец! у нас одна родина – земля. Единый хаос породил всех смертных. Отягченный многими годами, я пишу это на дощечках в виду могилы, потому что тот, кто близок к старости, недалек от Плутона. Но если ты пошлешь привет мне, старому болтуну, то пусть и ты доживешь до говорливой старости». В другом месте Мелеагр грациозно сплетает свои три родины в загробном привете, о котором молит его Тень: – «О, чужестранец, приблизься без страха. С благочестивыми душами пребывает в Елисейских полях, с тех пор как он спит здесь последним сном, Мелеагр, сын Эвкрата, славивший сладкие слезы Любви, Муз и игривых Граций. Мужем он жил в божественном Тире, и на священной земле Гадары; милый Кос приютил и питал его старость. Поэтому если ты сириец, «с а л а м»! Если ты финикиец, «х а й д у и»! Если ты грек, «х а й р е»! И ты скажи мне то же».

Мелеагра можно определить, назвав его креолом афинской расы; чувствуется «смешанная кровь» в его стихах. Аттицизм в них уже украшает себя восточными преувеличениями; их тонкость становится переутонченностью: в его лихорадочном чувственном подъеме нет больше той полноты, которая характерна для вдохновения первых лириков. Сделав незначительные изменения, его эпиграммы возможно было бы приписать какому-нибудь индусскому или персидскому поэту.

Это заглавие Э п и г р а м м ы, которым обозначены все произведения А н т о л о г и и, не имеет, конечно, того смысла, которое придает ему наша поэтика. Греческие эпиграммы не отличаются, подобно нашим, сатирическим тоном. У них есть крылья и малый рост, но отсутствует жало пчелы. Это миниатюры идиллий, ракурсы од, остроумие, сведенное к единой черте, элегия, сведенная к единому вздоху, эротичес-

кие группы, мелкие, тонкие, как маленькие бронзы неаполитанского музея, эпитафии такие грациозные, что кажется, точно раздвигаешь надгробные цветы, чтобы их прочесть, сельские и морские сцены, умещающиеся на печати, оправленной в перстень.

Мелеагр лучше всех умеет чеканить эти поэтические статуэтки. Если бы его имя даже и не значилось на произведениях, манера мягкая и страстная, остроумная и нежная, отметила бы их среди тысяч. Самую отличительную черту их, как я уже сказал, составляет азиатская нега, оттененная самым элегантным и самым острым аттицизмом. Точно Алкивиад при персидском дворе, одетый в длинную одежду сатрапов, но придавший ей складки афинского плаща. Толпа его любовниц напоминает уже сераль. Сперва это Демо, потом Доротея, Фанион, Тимо, Тимарион, Зенофила. В каждой эпиграмме встает новая женщина и переплетается с теми, которые предшествовали ей. И в них самих, в этих девушках Финикии и Сирии, уже совсем нет простоты греческого гинекея. Жгучие желания, которые они внушают, странные ароматы, которыми дышат они, восточная роскошь их костюмов и туалетов, всё в них обличает жриц Астарты и поклонниц Адониса. Поэт сплетает их в один чувственный трофей, временами он славит не одну возлюбленную, а целый гарем. «Ни волосы Тимо, ни сандалии Гелиодоры, ни всегда благоуханное тело Демо, ни нежная улыбка большеглазой Антиклеи, ни свежие венки Доротеи, нет, нет в твоем колчане, Эрот! нет больше ничего, что вчера еще тебе служило стрелами: потому что все они соединены в моем сердце». – Ему нравится этот беспорядок любви; образы его возлюбленных пляшут перед ним, будто он опьянен вином, он от каждой берет различные черты красоты, чтобы создать свой многоликий идол. Их формы сливаются, как бы под звуки лиры: каждая вносит свой оттенок в венок, свою ноту в согласие: «Клянусь прядями Тимо, благоуханным телом Демо, чьи запахи чаруют сновидения, милыми играми Илиас; клянусь этой лампадой, озаряющей мои наслаждения и сжигающей мои силы, я храню на устах лишь малое дыхание, которое ты оставила мне, Любовь! Но если ты хочешь, скажи, и я отдам его».

Однако иногда эти эпиграммы, устав порхать около многих женщин, любовно отдыхают на одной, и взволнованный голос любви сменяет вскрики сладострастья. Он посвящает Зенофиле эту *Чашу*, в которую позже могла бы упасть слеза короля Фулы: «Моя чаша улыбается от радости, потому что коснулась красноречивых уст Зенофилы, о блаженная! Почему же теперь ее губы, приникшие к моим губам, не выпьют моей души единым духом!» И около той же заснувшей Зенофилы он изливает свою страстную ревность в такой мольбе: «Ты спишь ли, Зенофила, мой нежный стебель? О, почему не могу я теперь бескрылым Сном проникнуть под твои веки, для того, чтобы даже он, который колдует очи самого Зевса, не пребывал в тебе, потому что я один хочу владеть тобой!» – В другой раз он посылает мушку прожужжать свое послание около постели возлюбленной: «О, мушка, полети за меня, легкая посланница, коснись уха Зенофилы и прошепчи ей эти слова: Он бодрствует, он ждет, а ты, не помнящая тех, кто тебя любит, ты спишь! – Ступай, лети, лети, улетай; но говори очень тихо, чтобы не разбудить того, кто спит рядом и не пролить на меня его ревнивый гнев. Если ты мне вернешь это дитя, о, мушка! я тебя одену львиной шкурой и дам тебе палицу в руки». Не напоминает ли эта мушка, переодетая Геркулесом, изящных карикатур греческих ваз? Во всем сказывается и преобладает Греция. Она, достигшая высших пределов Красоты, создает, шутя, идеал красивого и игривого.

Тимарион только проходит по поэмам Мелеагра, но она оставляет в них огненную борозду. Без сомнения, это был один из тех капризов, которые отличаются яркостью и мгновенностью молний. «Сам Эрот, пролетая в воздухе, упал в твои сети, и твои глаза, о, Тимарион, сделали из него свою добычу». «В твоем поцелуе, о, Тимарион, есть клей, в твоих глазах – пламя. На кого ты взглянешь, того ты сжигаешь, кого коснешься – тот твой». Любовь к Фанион длится всего на протяжении трех эпиграмм; ее греческое имя, которое обозначает м а л е н ь к о е п л а м я, предвещало непостоянство влюбленного поэта; но этот проблеск любви освещает

пленительный мирской пейзаж Архипелага. «О корабли, хорошо оснащенные, легкие на воде, пересекающие пролив Гелейский, вдыхая грудью своих парусов дыхание Борея; если на острове Косе вы заметите на берегу маленькую Фанион, которая смотрит на синее море, то передайте ей эти слова, добрые корабли: любовь его возвращает не как морехода, а как земного странника. И если вы скажете это, то плывите как можно быстрее, плывите как хотите; благосклонный Юпитер дунет на ваши паруса».

Наконец является Гелиодора, настоящая владычица его сердца. Она кладет на него горящее клеймо, по которому, говорит Анакреон, узнают истинных любовников, «как парфян узнают по высоким тиарам, а лошадей по тавру, выжженному на ноге». Она была, должно быть, волшебницей; ее чара проходит в стихах поэта. Ее прелесть он восхваляет еще больше, чем ее красоту, а речи не меньше, чем уста. Ее представляешь себе одной из тех гетер, которых Платон принимал в число своих учеников. Наверное, каждое утро она произносила ту молитву, с которой древние обращались к Венере: «Помоги мне делать лишь то, что будет другим приятно, и не говорить ничего, что могло бы не понравиться». «В глубине моего сердца, – восклицает Мелеагр, – любовь сделала прекрасноречивую Гелиодору душой моей души». Он не только желает Гелиодору, он ее любит, ею восхищается, унижается перед нею. Одно ее имя восхищает и опьяняет его; как любовный напиток, он смешивает его с вином, которое пьет, и с ароматами, которые вдыхает. «Налей и скажи еще, и еще, и еще “за Гелиодору!” Скажи и смешай ее милое имя с чистым вином, чтобы я мог выпить это обожаемое имя. В воспоминание о ней дай мне ее вчерашний венок, еще влажный от ароматов. Посмотри, эта влюбленная роза вся в слезах, потому что она не видит ее больше в моих объятиях». Поэт сплетает великолепные гирлянды, чтобы украсить свою любовницу. Юная ионянка появляется в одной из его эпиграмм, подобно дантовой Беатриче, полускрытая дождем цветов: «Я заплету левкои, нежный нарцисс я заплету вместе с миртами, я заплету смеющиеся лилии, я заплету нежный шафран, и еще

пурпурный гиацинт, и потом я заплету еще розы, дорогие для влюбленных, чтобы связать венком на висках Гелиодоры прекрасные локоны ее волос». Если венок увядает на голове его идола, то ее красота кажется ему еще более лучистой: «Цветы осыпаются на челе Гелиодоры, но она сияет лишь еще ярче, цветок цветов!»

Гелиодора умирает юной в расцвете весны: поэт горько оплакивает ее, но не требуйте у него, однако, преувеличений современной скорби. В самом своем отчаянии греческая Элегия остается прекрасной. Рыдания не искажают грации его уст; слезы текут, не обезображивая его, точно капли дождя по лицу печальной статуи.

«Слезы я приношу тебе, Гелиодора, знаки моей любви, которые даже под землей последуют за тобой в царство Плутона, жестокие слезы! я проливаю их на твоей могиле, горько оплаканной, как возлияние в память нашей нежности; потому что ты дорога мне даже среди мертвых; и я, Мелеагр, жалостно восклицал (о, бесплодный дар Ахерону) увы! увы! где мой обожаемый стебель? Плутон похитил его у меня и прах загрязнил цветок в его расцвете. Но я молю тебя на коленях, о, земля, наша общая кормилица, прими на свою грудь, о, мать, прими ласково ее, много оплакиваемую покойницу».

Упоительные мелодии звучат в эпитафиях Мелеагра. Никогда флейта более сладкая, менее слезливая и более трогательная, не провожала на костер молодых девушек, пораженных раннею смертью. Его лира понижает тон, чтобы баюкать их уснувшие души; но гармония остается та же. Под чистый ритм этих погребальных песен мне видятся процессии корзиноносиц Парфенона, вместо корзины Минервы несущих на плече погребальную урну. «Не мужа, а Плутона приняла Клеариста на брачном пире, когда сняла свою девичью вуаль. Уже пели вечерние флейты у створчатых дверей новобрачных; уже заскрипели брачные двери под шумными руками, а утренние флейты залились слезами и молчание Гименея сменилось горестными воплями. Те же факелы, которые должны были освещать супругу, идущую к ложу, осветили ей лишь путь в страну мертвых».

Этой жалобной песне отвечают через века вопли, наполнившие дворец Вероны, когда мать утром нашла в постели

бездыханную Джульетту. «О, мой сын, в ночь накануне твоей свадьбы смерть легла в постель твоей невесты, и вот бедный цветок, весь измятый ею. Могила мой зять, могила мой наследник, могила сочеталась с моей дочерью... Наши приготовления к празднеству становятся похоронным торжеством. Концерт – похоронным звоном, свадебный пир – тризной, радостные гимны – заупокойным песнопением, наш свадебный букет достанется покойнице, и всё изменяет свое предназначение».

Мелеагру принадлежит еще и эта пленительная эпитафия, которая кажется написанной концом пальца на пыльной плите гробницы: «О, земля, наша общая мать, приветствую тебя! Будь легка теперь над моей Айсигеной, она так легко ступала по тебе!»

Я кончаю на этом последнем цветке. Мелеагр воздушен, как его Айсигена. Как и она, он так легко касался земли, что даже похвала может только скользнуть над ним. Его поэзия – лебединая песня крылатого Эрота Греции. После него придут александрийцы и римляне. Некоторое время они будут холить, как экзотическую птицу, этого грациозного Амура, но скоро задушат его своими пошлыми и грубыми ласками. В Мелеагре греческая прелесть улыбается в последний раз.

Интерес стихов Мелеагра и его современников из Антологии заключается тоже и в том свете, который на склоне античного мира они кидают на полувосточную Грецию Малой Азии и Архипелага. Можно представить себя перенесенным в Венецию XVIII в. Та же изнеженность нравов, та же чувственная нервность, тот же декаданс, праздный и сладострастный. Куртизанок там слишком много: их ласкают, их почитают, как венецианских Honestae Meretrices*, нескончаемая вакханалия предупреждает шестимесячный карнавал Венеции. Корабли скользят как гондолы, нагруженные любовью и нежными посланиями. Путешествия с одного острова на другой для встречи или погони за возлюбленной кажутся веселыми прогулками на Лидо. Продавщицы цветов, которые толпятся, нагруженные розами, на

* Благородные блудницы (*лат.*).

улицах Родоса и Кипра и которым поэты кидают мимоходом любовные вызовы, напоминают тех маленьких цветочниц, которые скользили между голубями на плитах площади св. Марка. Сами эпиграммы Антологии кажутся *Канцонами* и *Сонетами* Греции. На пространстве двух тысяч лет, в том же самом вечернем свете Венеция, отраженная, как в магическом зеркале, рисуется в ионийских пропорциях, в сияющей раме Эгейского моря.

VI. **Мумия**

Эллинское язычество сжигает тело на триумфальном костре; она труп превращает в прекрасное пламя. Человек растворяется как бриллиант, не оставляя после себя никаких шлаков разрушения. В чистом воздухе Греции смерть является в самой воздушной своей форме. Она задувает жизнь, как символический факел, попираемый ногой ее могильных гениев, который гаснет, испуская тонкую струйку дыма. Она отдает свои останки стихии уничтожающей и очищающей; она извлекает из них прозрачную, почти воздушную сущность, горсть белого пепла: пыль с крылышек бабочки Психеи.

Еврейство и христианство более сурово обращаются с человеческими останками; они возвращают плоть земле. Обнаженной и беззащитной кидают они ее могильным червям. Иов обращается к тлену и гнили: «Ты моя мать», и к могильным червям: «Вы мои братья и сестры!»

Один Египет предпринял борьбу против разрушения. Труп, который другие народы отдают разлагающей земле и пожирающему огню, он насытил нетленными ароматами; он стянул повязками его непрочные формы и, таким образом, спасаясь от превращения разложения, из умершего он делает мумию, другими словами, статую, вылепленную из глыбы смол.

Этот народ, занятый в течение долгих веков бальзамированием самого себя и созданием вечных гробниц, представляет единственное в мире явление. Проникните в квартал могильщиков в Фивах: город смерти расположен среди города живых; молчаливый как гробница, деятельный как

лаборатория. Громадные залы идут одна за другой: их бесконечные перспективы как будто теряются в вечности. Там под наблюдением мрачных жрецов, опоясанных шкурами пантер, в масках шакалов на голове, каста бальзамировщиков молча погружена в свои мрачные работы. Там тысячи трупов, обрабатываемых опытными руками, медленно возводятся в достоинство мумий, проходя через все ступени от превращенной куколки до грубо обтесанной статуи. Одни, лишенные внутренностей, наполняются ароматами; другие погружены в котлы со смолой, очистительный Стикс, который должен их сделать неуязвимыми для гниения, эти распростерты, стянутые бинтами тонких повязок, те, заключены уже в свой картонный футляр, и ожидают лишь кисти писца и лакировщика.

Город мертвых имеет свою иерархию мумий: существует своя аристократия, свое мещанство, своя чернь. Группа парикмахеров, художников и ювелиров приставлена к телу царя, священника и богача; они причесывают накладные волосы, привязывают к подбородку заплетенную бороду, вставляют эмалевые глаза во впадины маски; украшают его для могилы, как для брачной комнаты божества. Этот зловещий туалет удваивает свою роскошь и изящество, когда дело касается женщин: в городе мертвых для них существует гинекей, и их очаровательные формы, обработанные рукой художника, претворяются в неопределенную смесь ароматов и драгоценностей. Их груди позолочены как чаши, ногти как перстни, губы как ожерелья. Бальзамировщик дает им грациозные и скромные позы: почти все они благоговейно скрещивают руки на груди; есть другие, которые обеими руками прикрывают тайны своей красоты: Венеры Медицейские могилы. Еще более трогательна одна мать, найденная в Фивах, которая прижимает к сердцу маленькую мумию новорожденного ребенка. В этом случае искусство бальзамирования превосходит скульптуру. Эта группа материнства изваяна не в бесчувственном веществе, а из самой жизни, из самой плоти, из того, что страдало и трепетало.

Мумии второго класса заключены в менее богатых футлярах и под более грубыми саванами; нищие и рабы наско-

ро запакованы в корзины из пальмовых ветвей. Библиотеки сравниваются часто с кладбищами; в этом случае сравнение можно сделать наоборот, и оно как раз подойдет к египетскому городу мертвых. Разве не похожи на книги эти мумии, выстроенные вдоль стен в своих саванах из папируса, в своих оболочках, покрытых надписями и иероглифами? Одни, великолепно переплетенные, повествуют о царской славе и о таинствах священства; другие, в обычных картонных переплетах, заключают в себе лишь секреты повседневной жизни; наконец последние, сброшюрованные в дешевых обертках, рассказывают о нищете и наготе рабства, длящегося и по ту сторону могилы.

Единственное равенство, которое признает Древний Египет, это право на сохранение себя в смерти. Бальзамирование распространяется на бедного, как и на богатого: на раба, который работает под бичом надсмотрщика за три сырых луковицы в день над постройкой пирамиды, и на Фараона, который строит ее для того, чтобы в ней поставить свой гроб. Калеки, прокаженные, существа, искаженные слоновой болезнью, и им не избежать неумолимого рассола; в мертвом городе есть своя больница для прокаженных, в которой особые бальзамировщики солят и приготовляют их гнойное тело. Даже зародыш мумифицируется: то, что не жило, как бы переживает себя. Да только ли это? Священное безумие переступает границу животного царства; оно распространяется на зверей, на птиц, рыб, насекомых, на всё, что прошло через мир, не оставив в нем других следов, кроме отпечатка ступни на песке, гнезда на ветке, борозды на поверхности Нила. Бальзамируют кошек, собак, крокодилов, крыс, скарабеев, полевых мышей, змеиные яйца. Самая маленькая, самая мимолетная капля жизни, зафиксированная атмосферой ароматов, кристаллизуется и становится вечной. Египет восстает против того закона природы, который требует, чтобы всё возвращалось, всё растворялось в мировой химии, обновляющей вещество. Он принимает смерть, но он запрещает ей разложение. Ее силе гниения он противопоставляет энергичную фармацевтику, вековое упорство, теоло-

гию, которую можно определить как священную гигиену трупа.

Но куда давать эти недвижимые поколения, который после смерти занимают столько же места, как и при жизни? Египет не отступил перед этой задачей; народ-бальзамировщик стал могильщиком; он создал подземную архитектуру, которая повторяла, еще преувеличивая, колоссальность архитектуры наружной. Представьте себе человека, взгляд которого обладал бы силой проникать сквозь землю; в Египте перед ним бы встало ужасающее видение подземного мира, соответствующего миру внешнему, но в десять раз более обширного, в сто раз более глубокого, в тысячу раз более населенного. Каждый город уходит внутрь некрополем; каждый дом прикрывает могильную отдушину, под ногой каждого прохожего простираются в недра земли, как его корень, идущие один за другим ряды мумий, концы которых скрыты на недосягаемой глубине. Египет является только фасадом огромной гробницы; его пирамиды – мавзолеи, его горы – улья могил; земля его равнин дает глухой звук, они лишь эпидерма жизни, протянутая над гигантской свалкой трупов. Для того, чтобы дать место своим трупам, он сам превратил себя в кладбище; сам в известном смысле, посвятил себя Смерти.

Пример давался свыше: как только Фараон вступал на трон, он начинал строить себе могилу; пока он жил, над нею работали; высота или глубина гробницы измерялась длительностью его царства. Каждый день он видел, как растет пирамида или удлиняется подземный храм, который поглотит его мумию. Смерть была единственным горизонтом этих людей, посвятивших себя посмертным идеям и работам. Пройдите по жреческим или царским гробницам, высеченным в толще гор, вы пересекаете мрачные и великолепные амфилады комнат, зал, галерей, где тысячи рук тесали камни, расписывали стены, развертывали по скалам нескончаемые плоскости иероглифов. Игры, охоты, пиры, сражения, вся поэма жизни, высеченная и расписанная с величавым изяществом, погребена в этих катакомбах. И вся эта роскошь искусства находится там для того, чтобы развлекать эмалевые или на

цветном картоне нарисованные глаза мумий! Ни один живой взгляд не оскверняет музея этих склепов. Живописцы и скульпторы, которые украсили их от подошвы до карниза, работали для Ночи и для Молчания. Едва лишь тело вступало в обладание ими, как дверь исчезала под глыбами скал. Гора запиралась над могильным дворцом; она поглощала его, усваивала, сливала со своей бесплодной массой. Он продолжал существовать лишь на планах жрецов – единственных географов могильного мира. Что, если бы этот таинственный мир охранил свою тайну, если бы осквернители гробниц не владели бы чутьем гиен, указывавшим им скрытые могилы, и если бы Египет, не оскверненный до сих пор, вдруг раскрыл бы свой внутренний катафалк, портал которого составляет всю его поверхность, то какое зрелище развернулось бы перед миром живущих! Сорок забальзамированных веков. Страшный Суд мумий, история человеческая и естественная история, поколения людей и животных, со времен царей-пастырей до Птоломеев, попиравших почву Дельты, чудесно сохраненные! Вот Сезострис, вот Иосиф! Этого крокодила, украшенного серьгами, обожали в садках Мемфиса. Ладан курился перед этим ибисом, и время не коснулось ни одного пера его. Положите руку на этот саван, вышитый жемчугом: здесь билось сердце Клеопатры. И аспид, который ужалил ее руку, золотистую, как амбра, рядом с нею выпрямляет свою острую головку!.. По его запаху можно подумать, что он выполз из ее корзины с фигами и цветами.

В чем сущность загробного фетишизма, характеризующего египетскую расу? Искать смысла этих странных погребений надо в ее мифологии. По учению ее жрецов, душа зависела от тела, даже после их разделения она издали отражала его в своих последовательных воплощениях; по ту сторону пространства и времени она ощущала его искажение и разложение. Ее духовная индивидуальность зависела от неприкосновенности вещественных останков. Отсюда те бесконечные заботы о трупе и неприкосновенность, которая ему приписывается. Мумия является свидетельством того, что человек, отправляясь в неизвестные странствования,

оставляет ее своим поручителем, своим заложником, как закладную своей судьбы.

Присоедините еще к этой всемогущей причине благоговение перед мертвыми, доведенное до крайней степени. Это добродетель, разумеется, но добродетель роковая, когда она доходит до фанатизма. Этот культ Смерти был исторической язвой Египта, язвой еще более ужасной, чем те, которые посылал Моисей. Могила – плохая школа; она учит неподвижности, застылости, сну. Если целый народ занимается только тем, что подымается и спускается по лестницам гробницы, то для него быстро наступает упадок. Захочет ли он движения вперед, будет ли искать новых путей или попробует нарушить установленные грани, всюду он натыкается на целое войско мумий, выстроенных, как перед сражением. Смеет ли он себя считать более мудрым, чем его предки, которые так сурово глядят глазами, отягченными столетиями, и тело которых, покрытое иероглифами, отождествляется с догмой, которую он хочет нарушить? Можно ускользнуть из-под власти заповедей устных, незапамятных, исчезнувших вместе с людьми, некогда их воплощавши<ми> на земле; но невозможно пренебречь традицией забальзамированной, препарированной, осязаемой, жизнеподобной. – Возвращайся, дряхлый Египет, в борозду, прорытую быком, обожаемым твоим народом и символизующим твою угрюмую рутину! Возвращайся к твоим старым идолам с ястребиными, обезьяньими головами, между тем как обаятельные и надменные боги, которых они породили, сами того не зная, проливают на мир жизнь, свободу и свет! Высекай сфинксов с лицами, такими же звериными, как их спины, между тем как Фидий из Пентеликонского мрамора ваяет божества героизма и мудрости, высекай с трудом ударами молотка священные гримуары на твоих обелисках, в то время когда Гомер поет на тропинках Цикладских островов, когда слова Платона порхают над Грецией на крыльях пчел, приникающих к его губам. Ты пленён в кольце неподвижной змеи, кусающей свой хвост вокруг вечного циферблата! Замумифицированное прошлое заграждает твое будущее! Играй, народ-гном, с этими кладбищенскими

куклами, которые не дают тебе выйти из детства; лакируй их маски, раскрашивай их глаза, покрывай их футляры пестрыми каракулями, предписанными ритуалами; убаюкивай их в саркофагах, шепча непонятные причитания, которым научили тебя жрецы! А главное, чтобы не было шума: прочь поэзия, философия, красноречие! Последний из служек Изиды знает больше, чем они... В стране могил говорят шепотом.

А затем, из всех форм погребения бальзамирование самая оскорбительная. Эта неуклюжая пародия жизни возмущает сознание; эта поддельная вечность тела точно отрицает бессмертие. Мне кажется, что крылья души должны вязнуть в этой клейкой массе смол, мне кажется, что я вижу ее самоё запечатанной под этими повязками! Каким образом нечто столь легкое может оставлять за собой столь тяжелые останки? Тысячу раз лучше кажущееся уничтожение человеческой формы, чем такое искусственное и безобразное сохранение ее! Конечно, я понимаю ужас, связанный с безобразными образами разрушения тел; я понимаю, что глаза любовника или сына видят с ужасом медленное разложение любимого существа под землей, его покрывающей. Я завидую пламени греческого костра, который сжигал тюрьму, чтобы освободить пленницу; который, как орел апофеоза, похищал тело, прежде чем гниение имело время к нему приблизиться. Я жалею даже о столь жестоком, по-видимому, погребении гебров, которые, боясь осквернить лоно земли, зарывая в него труп, кладут его на вершину скалы, где он служит пищею хищных птиц. – «Что является, – спрашивает Зороастро Ормузда в Зенд-Авесте, – третьей вещью, неугодной земле, на которой мы живем, и мешающей ей оставаться к нам благосклонной?» Ормузд отвечает: «Когда, выравняв ее, строят гробницу, в которую складывают трупы». – «Когда человек умирает, – говорит еще Зенд-Авеста, – птицы с высоты гор устремляются в долины, где расположены селения, спускаются в ущелья и, кидаясь на тело умершего человека, разрывают его с жадностью. Затем птицы из долин подымаются на вершины гор. Их клюв, твердый как миндаль, уносит на горы мертвое мясо и жир. Таким образом труп человека из глубины долины пере-

носится на вершину гор». – Это воздушное погребение имеет еще свою поэзию и величие. Кто не предпочтет терзающих укусов коршуна медленному пожиранию могильных червей? Если не считать растворяющего и преображающего огня, то какое иное претворение жизни может быть более быстрым? Растерзанное тело становится широким размахом птичьих крыльев, оно подымается с ними на вершины, оно кидается с ними в эфир, оно становится причастным жизни горних сфер. Герой одной греческой песни радуется быть съеденным орлом: – «Ешь, птица, питайся моей силой, питайся моим мужеством, твое крыло станет шире на локоть, а когти длиннее на четверть».

Но в конце концов земля очищает так же, как огонь; как и он, в течение времени она превращает в прах. Мертвая форма, которую воображение с ужасом воображало на дне могилы, упрощается, утончается и исчезает постепенно из видимого мира: на место ее искаженных черт подставляются скоро линии идеальные, ускользающие очерки видения... И вот она вступает в область воспоминаний и теней! Мысль может ее вызвать точно так же, как она постигает идею или сновидение Как прекрасно и трогательно это преображение и как груба рядом с ним кажется отчетливость бальзамирования! Разве не является это трудное восстановление того, что потеряло свою ценность, ребяческим желанием придать значительность нашему исчезающему облику? Что ж! Красота стирается, юность увядает, одежда плоти рвется на каждом повороте дороги, а человек будет упорствовать в борьбе за призрачные остатки болезни и старости, того, что перестало быть даже маской, даже платьем жизни! Прекрасное зрелище для души, достигшей вечного, постоянно созерцать эти сброшенные лохмотья, в течение веков иссыхающие на другом берегу!

Точно так же и эти египетские мавзолеи, которые, громоздя скалы, чтобы похоронить мумию, возмущают ум своей чрезмерностью. Могила не должна слишком превышать меры человеческого тела; если душа бесконечна, то тело ограничено. Мир недостаточно широк, чтобы вместить па-

мять о героях, но одной горы слишком много для погребения его трупа. Для чего построена пирамида: для скелета Левиафана или для костей Фараона? Quot libras in Alexandro?* Урна, черный крест, изваянная чалма, разве этого не довольно тому, кто прожил несколько дней?

На кладбище в Нюрнберге я видел могилу, на мой взгляд, более величественную, чем все гробницы Египта, с колоссами, их охраняющими, и с панегириками, написанными на их стенах десятиаршинными буквами. Это простая плита, на которой написано одно-единственное слово Resurgam! «Воскресну!» -- великолепный крик, кинутый голым камнем, истлевшим гробом, костьми, превратившимися в прах; но он более гордо утверждает бессмертие, чем все пирамиды, саркофаги и нетленные мумии Древнего Египта.

Часть вторая

VII. **Нерон**

Нельзя измерять и судить Нерона по классическому типу Тирана. Политика не играет главной роли в его преступлениях; они способны запутать все рассуждения и расчеты. Логика не может разобраться в этом химерическом сплаве безумца и гаера, преступника и дилетанта. Он принадлежит исторической психиатрии, науке, еще не созданной, к которой относится большая часть дурных цезарей.

Нерон – испорченный ребенок, которому случай вместо игрушки дал в руки мир; ребенок злой и сильный, которому никакое противодействие не охлаждало мозга, не успокаивало нервов. Он хочет и он может; он хочет каждое мгновение и его воля, возбуждаемая немедленным исполнением, вздувается, ширится, преувеличенно и безмерно распространяется, судорожно кидается из стороны в сторону, бьется о грани невозможного. Луну в ведре воды! – требует в конце концов капризный ребенок, которому никогда ни в чем не отказыва-

* Сколько весит Александр Великий? (*лат.*)

ли. – Голову рода человеческого! – Это будет последнее желание цезарей.

Не зачатками добродетелей, а неопытностью своевластия следует объяснять тихое начало царствования Нерона. Он исследует души, он измеряет глубину человеческой подлости, он знакомится с путем преступления, по которому пойдет. Во время первых лет своего царствования самое большее, если он будет забавляться ночными шатаньями по Риму с разбиванием лавок и избиением прохожих. Это царские забавы. Народ подставляет спины и только смеется. Цезарю подобает забавляться. Вскоре он переходит к более серьезным упражнениям: он отравляет своего брата публично, нагло, посреди празднества. При первом глотке напитка, приготовленного Локустой, Британник падает мертвый, навзничь, на подушки своего ложа. Гости в ужасе; но лицо хозяина даже не дрогнуло; приноравливаясь к невозмутимости этого лица, они возобновили прерванное веселье: «После момента молчания, – говорит Тацит, – веселье пира продолжалось. Post breve silentium, repetita convivii laetitia».

Безнаказанность возбуждает его, одним прыжком он достигает пределов преступления. Агриппина мешает ему, он решается убить ее. Прежде всего он приказывает построить корабль, который должен ее раздавить или потопить со всеми другими. Матереубийство соединяется с иронией: прежде чем посадить ее на корабль казни, он устраивает в ее честь празднества в Байях и, прощаясь с матерью, которую посылает на смерть, целует ей глаза как бы для того, чтобы закрыть их. Но корабль испортился, волна, которая должна была поглотить Агриппину, «отхлынула в ужасе», как волна поэта, и вынесла ее на берег. Нерон раздражен промедлением. Оба серьезных его наставника, Сенека и Бур, немеют перед его гневом. Они не в состоянии больше обуздать юного тигра, они умывают руки, они боятся. Сам Бур указывает на человека, соответствующего громадности преступления. Аницет и его ликторы отправляются, чтобы убить Агриппину ударом в живот. Пролитая материнская кровь на мгновенье отрезвляет Нерона. Он раскаивается, он приходит в ужас,

его художественное воображение смятено и потрясено. «Лик земли, который, как говорит Тацит, не изменяется, как лицо человека», ему являет мертвое лицо матери, он слышит свист бичей Фурий и невидимые призраки вокруг могилы Агриппины трубят в заупокойные рога. В ночь после преступления он, как говорят, видел сон первый раз в жизни: тень матери открыла ему дверь сновидений. Но мир спешит успокоить своего господина. Центурионы и трибуны приходят целовать его руку, точно лижут кровь, ее обагрившую; благовония курятся по городам Кампании, его возвращение в Рим становится чудовищным триумфом. Сенат выходит ему навстречу в праздничных одеждах. Убийца восходит в Капитолий и приносит благодарность богам. Только три немых протеста подняли голос против восславленного преступления. Тразеа вышел из Сената, когда было постановлено, что день рождения Агриппины будет причислен к несчастным дням; неизвестная рука повесила ночью на правую руку статуи Нерона кожаный мешок, в который отцеубийцы по закону зашивались вместе со змеей и с обезьяной; и на одной из улиц Рима был найден новорожденный с такою угрожающей надписью: «Ребенок, брошенный из страха, чтоб он со временем не убил своей матери». Чудесные явления, как говорит Тацит, тоже протестовали против преступления. Оскорбленная природа мстила за себя чудовищными явлениями и метеорами. Солнце затмилось, одна женщина, как во время пира Атрея, родила змею, и в четырнадцати кварталах Рима ударила молния как бы для того, чтобы очистить город огнем.

Этот нравственный мир навыворот был создан для того, чтобы поколебать сердца самые сильные и смутить сознание наиболее ясное. Какое головокружение должен был вызывать он у распущенного юноши, который царил над ним с высоты своего всемогущества, не встречая никаких противодействий и преград? Под ним униженная земля, уравненная рабством; народы пригнетенные, распростертые, погрязшие; ничего, кроме смутной мозаики склоненных голов. Над ним далекие и безразличные Боги, равные ему, к которым унесет его по праву орел, взвившийся с погребального костра. «Ког-

да жизнь твоя закончится в этом мире, – пел ему Лукан, – ты вознесешься запоздалый к небесным сводам, захочешь ли ты держать скипетр небес или, как новый Феб, пожелаешь озарять мир, который не будет опечален потерей своего солнца, нет божества, которое не уступило бы тебе своего места, и природа предоставит тебе высказаться, коим из богов хотел бы ты быть и где захочешь утвердить власть над миром. Но не избирай себе одной из окраин вселенной; дуга мира потеряет равновесие и будет сокрушена твоею тяжестью. Избери середину эфира, чтобы там чистое и ясное небо ни одним облаком не помрачало сияния Цезаря!» Уединенный таким образом между этих двух пустот, между этих двух призраков ответственности и совести, римский Цезарь теряет всякое ясное сознание, всякое чувство соотношений, всякую меру справедливого и несправедливого. Его личность заполняет землю; он – цифра громадного нуля, который становится ничем, только для того, чтобы дать ему значение. Он более, чем бог, он – судьба; он владеет ее слепою властью, на его тиранию некому жаловаться, он отличается безответственными капризами, он требует для себя права казни безусловного, рокового, непонятного, каким, по видимости, владеет Природа.

Какое зрелище представляет царствование Нерона после убийства Агриппины! Общество дозволяет истреблять себя с безразличной покорностью армии. Нация представляет из себя одно заклейменное единообразным тавром рабства стадо, из которого господин без разбора выбирает жертвы для своих ежедневных гекатомб. Славные жизни гаснут во всех концах мира, как тысячи факелов приходящего к концу празднества. Для избранных уверенность в своем существовании является исключением. Тацит с удивлением отмечает счастье одного бывшего консула, разрешившего задачу существования: «Меммий Регул, – говорит он, – мог жить спокойно, потому что знатность его семьи была недавняя, а богатство не возбуждало зависти». Никакой борьбы, никакого бунта. Героизм, слава, добродетели сами идут под нож. Вскоре Нерон устраняет палачей и орудия казни. К чему эти цере-

монии, предполагающие возможность сопротивления! Указанная жертва должна доброй волей обречь себя на смерть; она должна ее принять от собственной руки. Самоубийство становится в Риме такой же модой, как в наши дни оно еще модно в Японии. В этой азиатской Венеции придворный или чиновник, совершивший проступок, не ждет, для того, чтобы умереть, приказания тайкуна. – Как только он признал себя виновным, как только он убедился в своей опале, он вскрывает себе живот крестообразным ударом, посредством двух сабель. Он изучил и упражняется с детства в технике этих ударов, на которые привык смотреть, как на свой вероятный конец. Точно так же и римские граждане, извещенные трибуном о том, что час настал, вскрывают себе вены и садятся умирать в ванну. Так поступают Osторий, Антин, Вестин, Торкват и столько других.

Было ли это справедливым нетерпением уйти из жизни, или машинальным жестом рабства, или привычкой смерти? Как бы там ни было, самые славные и самые сильные повинуются беспрекословно зловещим приказам, отданным Цезарем. Корбулон, победитель Востока, о котором Тиридат, изумленный тем, что такой человек терпит такого господина, с иронией сказал Нерону: «Ты имеешь в Корбулоне хорошего слугу», – убивает себя со словами: «Я этого заслужил». Плавту, сосланному в Азию, вдали от ликторов и преторианцев достаточно сказать одно слово, чтобы поднять легионы; а он подставляет свое горло под меч евнуха с фатализмом старотурецкого паши, целующего шелковую петлю, которую передает ему безмолвный служитель. Вет – человек старого Рима, извещенный о предстоящем приговоре, спешит его предупредить; он запирается вместе с женой и дочерью, пронзает их стилетом, которым убивает и самого себя, умирая строгим семьянином, как и жил. Сенека диктует изречения в своей окровавленной ванне, Лукан исправляет там свою поэму, Петроний вскрывает жилы, закрывает их, вскрывает вновь; он играет со смертью, вызывает ее, удаляет и подзывает снова; он поет, ужинает, вознаграждает рабов, наказывает других и сочиняет эротическую сатиру в антрактах своей сладостной

пытки. Тразеа совершает возлияние Юпитеру-Освободителю своею кровью, которая сочится скудно из его артерий, иссякших от старости. Хирургический ланцет, ставший орудием казни, является ужасным символом этого времени, когда смерть действительно была единственным и героическим лекарством против жизни.

Самый стоицизм, представлявший единственную строгую секту посреди римского разложения, единственное твердое зерно, вокруг которого мог бы созреть заговор, своим непротивлением делает только еще более наглым это распущенное царствование. Он его принимает как великую школу скорби и самопожертвования: вместо мечей он вонзает только сарказмы в сердце Нерона. Деметрий ему отвечает: «Ты грозишь мне смертью, природа возвращает тебе твою угрозу». Каний Юлий, идя на казнь, напутствуется философом, точно исповедником. «Вы спрашиваете меня, – говорит он своим друзьям, – бессмертна ль душа. Я сейчас это узнаю и, если смогу, возвращусь вам рассказать». Некоторые, помилованные Цезарем, не принимают его помилования и убивают себя, не желая упускать случая.

Если не считать трагических моментов, когда умирают герои и философы, это царствование является одним грандиозным фарсом, в котором государь является одновременно и лицедеем и импресарио. Обезьяна из басни, откладывая в сторону молнию, с которой пародирует Юпитера, он возвращается к своим естественным прыжкам и гримасам; впрочем, Нерон актер прежде всего. Империя для него лишь колоссальные подмостки, на которых он красуется перед партером народов. Певец, мим, атлет, танцовщик, актер, он проституирует свое царское величество во всех кривляньях цирка, во всякой театральной мишуре. Его путешествия в Грецию – это «Комический Роман» коронованного гаера. Путешествуя во главе армии из пяти тысяч клакеров, Августанов, – он поет, выступает борцом, позирует, декламирует на всех аренах Эллады. Он поет в нос, падает с колесницы, танцует неуклюже, потому что его тонкие ноги гнутся под тяжестью увесистого живота. И народ художников кричит,

аплодирует, изумляется, делает вид, что падает без чувств перед пируэтами и руладами божественного Нерона! Ему присуждают тысячу восемьсот венков; статуи прежних победителей на олимпийских играх кидают в канавы, чтобы расчистить место для его собственных. Страшный лицедей имел верный успех: его превосходство в трагедиях реальной жизни утверждало за ним первое место во всех родах драматического искусства. Выступать на сцене вместе с Нероном было так же опасно, как играть с леопардом из басни. Поэтому самый мощный атлет валится навзничь при первом ударе его кулака; возничий, участвующий вместе с ним в гонках, старается умерить бег своей колесницы до скорости сохи; самые мелодичные голоса становятся простуженными и угасают, когда им приходится петь дуэт вместе с Цезарем. Только один виртуоз из Коринфа осмелился спеть верно на одном из этих императорских спектаклей; ему аплодировали – он погиб! По знаку Нерона другие актеры, прижав его к колонне театра, проткнули ему горло ударами стилета.

Кровь была вином этих чудовищных оргий. Во всех фарсах Нерона Смерть играет роль. Посмотрите на этого возницу, одетого в зеленое, который гонит свою колесницу сквозь сады Ватикана. Четверня несется между двух рядов странных факелов. Слышен запах горящего мяса, пламя кричит, в дыму слышен хрип... Эти живые факелы – христиане, завернутые в солому и облитые смолой. Нерон мчится на своей адской колеснице сквозь иллюминацию из мучеников!

Любопытно наблюдать постепенный рост безумия этого галлюционата власти. Его мозг разжижается по мере того, как его сердце становится более жестким. Последние три года его царствования он является распущенным лицедеем, пародирующим богов. Он не владеет даже политикой убийства, короткой, но прямой логикой кинжала; он убивает направо и налево приступами, кризисами, беспричинно, как бы удовлетворяя физической потребности темперамента. Его роскошь, пороки, оргии, капризы становятся азиатски-преувеличенными. Чудовище – он жаждет чудовищного. Желания его – Химеры, ищущие добычи. Здравомыслящий Рим он наполняет фантасмагориями азиатского деспотизма.

Для того, чтобы перестроить, он сжигает его и на развалинах его сожженных кварталов строит себе Золотой Дом, дворец, занимающий пространство трех из Семи Холмов, с озерами вместо бассейнов, с равнинами и лесами вместо садов, даже подземелья его расписаны фресками, залы, выложенные слоновой костью, кружатся движением сфер и сеют дожди ароматов со своих сводов, меняющихся, как небо. Он ловит рыбу золотыми сетями; подковывает серебром своих мулов и буйволов; пятьсот ослиц назначает для ванн Поппеи; торжественно венчается с евнухом, плавает на кораблях из слоновой кости по прудам Агриппы, между двух аллей непристойных групп, расположенных по берегам. Одна из его любимых игр состоит в унижении гордости и в поругании стыдливости. Матрон он заставляет смешиваться с куртизанками, сенаторов биться против гладиаторов, а римского всадника ездить на слоне.

Избыток власти истощает быстро; в конце концов, репертуар деспотизма ограничен природой. Наступает момент, когда человеческое естество отдает тому, кто выжимает его, всю грязь, всю кровь и все слезы, которые он<о> содержит. Чем тогда развлекаться? Остается только невозможное; последние свои дни Нерон отдается невозможному. Тацит называет его «любовником невероятного: incredibilium cupitor». Один грек уверяет его, что может превратиться в птицу; он помещает его у себя во дворце, ожидая, когда у него начнут расти крылья. Один египетский скоморох пожирает сырое мясо; он хочет его усовершенствовать, сделать из него циклопа и приучить его есть человеческое мясо. Деревянная телка, в цирке отвечающая женскими криками на рев бешеного быка – это изобретение Нерона, пародирующего легенду о Пасифае.

Но если Нерон исчерпал мир и коснулся дна земных возможностей, то ему еще оставалось взобраться на небо. Он начинает с того, что массами низвергает богов, он обезглавливает их и на плечи их изуродованных статуй велит поставить свою голову; затем он обожествляет свою бороду и свой голос. Первую он освящает в Капитолии, второму заставляет

приносить жертвоприношения. Быть может, кощунство таит в себе еще неизведанное сладострастье: чтобы испытать его, он насилует весталку, оскверняет идол Сирийской Богини и купается в воде священных фонтанов. В Дельфах он конфискует земли Аполлона, оракул которого ему говорил об Оресте, и закрывает подземное Отверстие, из которого Пифия принимала божественное дыхание. На одно мгновение он заинтересовывается Магией, он собирает колдунов, разбирает вместе с ними восточные гримуары и внутренности своих жертв. Последняя его мания свидетельствует об удивительном разложении, она показывает нам римского цезаря под черепным углом африканского султана. Кто-то из плебеев приносит ему в дар маленькую статуэтку девочки; он влюбляется в эту куклу, провозглашает своим высшим божеством и три раза в день приносит ей жертву. Он дошел до амулетов, но еще дойдет до фетишизма. Разбив хрустальную вазу, которой он любил пользоваться, он воздвигает мавзолей в честь ее «Ман». Презренная природа этого бутафорского бога сказывается в его падении; он напоминает того библейского идола, который разбился на паперти Храма: из его золотой головы выскочила стая крыс.

Своевластие, которое страшно закаляет волю сильных, – которое Тиберию, например, на его Каприйской скале придает характер презрительности, не лишенной величия, – своевластие размягчает, истощает и притупляет слабых. Отнимите у человека совесть, моральное чувство, сердце и чуткость, если у него нет гения, чтобы заполнить эти пустоты, то что же ему останется? Подобие власти, приводимое в движение слабыми нервами, беспутная воля, лихорадочное возбуждение, дрожь опьянения, немного желчи в жилах, да пена на губах! Ничего, почти ничего. Наступает день, когда мир теряет терпение, когда группе кариатид, которых топчет ногами уже пятнадцать лет этот неистовый бог, надоедает сносить последствия его душевных кризисов; она отходит и дает ему упасть.

Виндекс поднимает Галлию, Гальба возмущает Испанию. При одной вести об этих отдаленных мятежах власть

Нерона падает. Неотложная опасность рождает в нем только детские вспышки гнева и бессмысленные планы. В яростном воззвании Виндекса его задевает больше всего то, что тот называет его «плохим музыкантом». Он пишет Сенату, призывая его в свидетели несправедливости этого упрека. Он обещает Богам, если они даруют ему победу, играть во время торжества на гидравлическом органе и протанцевать танец Турна. Он хочет обезоружить легионы Гальбы, выйдя к ним навстречу и заплакав перед ними. Затем он переходит к слабым военным попыткам, но его военные приготовления ограничиваются тем, что он обрезает волосы своим наложницам, раздает им топоры, чтобы образовать из них эскадроны амазонок. Даже его сновидения, – эти роковые сновидения, которые в древности такими величественными образами озаряют последнюю ночь умирающего, могли бы родиться только в мозгу карлика или воображении шута. Он видит во сне, что его пожирают муравьи, или что он едет верхом на обезьяне с лошадиной головой, испускающей ритмическое ржание. По временам наваждение начинается снова, он карабкается на обломки трона, еще не отнятого у него, и снова принимается за хвастовство и царские гримасы. Смутные идеи разрушения проходят в его душе: – избить всех военачальников, отравить Сенат на большом пиршестве, вторично сжечь Рим, выпустить на горящие улицы зверей из цирка. Безвредная пена бессильного бешенства, хвастовство тирана, впавшего в детство! Однажды ночью преторианцы оставляют свой пост на Палатине, и с Нероном покончено. Вокруг него пустеет, и эта пустота образует бездну, в которую он падает. Цезарь, еще вчера наводивший ужас, становится свирепым отверженцем, который бродит ночью по улицам и стучится в двери, которые не открываются перед ним. История императорских падений не знает зрелища более жалкого, чем Нерон, бегущий ранним утром за город, босоногий, с лицом, прикрытым платком, ползущий под кустарниками, чтобы проникнуть в подвал своего вольноотпущенника, точно преследуемая гадина, которая прячется в нору. Эта крайность еще преуменьшает его презренный характер. Распеленутый из своего пурпура, он

обнажает то, чем он был всегда, – трусливым и испорченным ребенком. Его последние мысли – это сожаления виртуоза и жалобы пресыщенного эпикурейца. «Так вот кипяченая вода Нерона», haec est Neronis decocta! – говорит он, зачерпнув ладонью воды из болота. Слыша всадников, которые ищут его по дороге, он декламирует стих Илиады: «Топот коней поразил мое ухо». Лицедей в душе, он думает о своем горле в тот момент, когда теряет и жизнь и царство. Смерть для него есть только потеря голоса; его последний вздох звучит визгливой нотой музыкального тщеславия. «Какой артист погибает», – восклицает он, убивая себя неловкой рукой. Qualis artifex pereo!

VIII. **Марк Аврелий**

Марк Аврелий коронованный стоик; судьба, которая кинула Эпиктета в рабскую темницу одного из отпущенников Нерона, возвела его ученика на мировой трон. Он славен тем, что душою, еще больше, чем саном, был исключением своего времени.

В то время, когда Марк Аврелий принял пурпур, Империя, расширенная Трояном и умиротворенная Антонином, уже начинает, тем не менее, склоняться к упадку. Рост ее народонаселения понижался, как уровень высыхающей реки; поверхность ее пересекалась пустынями; число браков уменьшалось в ужасающей пропорции, как если бы по молчаливому соглашению люди решили покончить с собой. Извне море варваров теснило римский горизонт; их передовые волны уже кипели у границ Империи. Оттесненные Трояном, они затопили уже при Адриане три провинции. Бог Терм, символ устойчивости римских покорений, в первый раз отступил во время его царствования. Внутри неизлечимый упадок. Своевластие сломало все пружины, исказило все законы, развратило все характеры. Рим уничтожился перед Цезарями; он сложил на них с себя бремя жизни и действия. Нужно, чтобы они думали, чтобы они предвидели, чтобы они судили, чтобы они управляли за миллионы этих пассивных и безвольных людей; они должны были стать душою этого

трупа, собою покрывшего землю. Даже слово было сделано их личной привилегией. Фронтон увещевает Марка Аврелия изучать красноречие из жалости к миру, который станет нем без его голоса: «Мир, который чрез тебя наслаждался даром слова, станет немым! Если кто-нибудь отрежет язык одному человеку, это будет жестокость. Какое же преступление лишить дара слова весь человеческий род?» Рабски согбенный Сенат пробуждался от долгих периодов спячки только для оскорблений павшего Цезаря и приветствия Цезаря восходящего. Патриции, развращенные придворным лакейством, больше не отличались от рабов. Народ был праздношатающейся чернью, отупевшей в цирках, опьяненной кровью гладиаторов и зверей, просящей у хозяина лишь резни да насущного хлеба. Нищета свободных людей и дезертирство делали в армии нескончаемые бреши; чтобы их заполнить, были вынуждены брать рекрутами рабов и гладиаторов. Официальная религия старого Рима была предана анархии восточного идолопоклонства. Боги уходят, приходят чудовища. Они располагаются и гримасничают посреди строгих божеств Лациума: Пантеон становится египетским зверинцем. Черные пары магии темнят атмосферу; Сирийская Богиня, влекомая жрецами-акробатами, ездит по улицам и перекресткам, торгуя лжечудесами и амулетами. Христианство, еще скрытое, подводит мины под то общество, которое позже оно должно перестроить.

Царить над этим хаосом был призван самый мудрый, самый чистый, самый добродетельный из людей. Марк Аврелий, восходящий на трон, это – Справедливец Горация, восседающий на развалинах рушащейся Вселенной. Какое испытание для столь высокой души! Его призванием была мысль. Инстинкты влекли его в область чистого разума; Судьба поставила его к рулю погибающего мира. Она с головою кинула его в эту человеческую толпу, которую он был рожден созерцать с берега. Он должен был руководить веком, к которому не принадлежал. Удерживать неизбежное падение, лечить язвы, им сознаваемые неизлечимыми, посвятить себя на служение обществу, которое он презирал и осуждал.

Его историку можно верить, когда он повествует о грусти, его охватившей после усыновления Антонином, предназначившим его к власти.

Он сделал, по крайней мере, всё, что мог сделать: его царствование это одна действенная Добродетель. Он сам снимает с себя свое всемогущество, чтобы разделить его между Сенатом и народом; он пытается возродить свободу в Империи. Под его влиянием суровый римский закон смягчается; он проникается греческой мягкостью. Его благодетельные указы нисходят к слабым и малым, они защищают женщину и ребенка, они защищают раба от хозяина и открывают ему всюду выходы к освобождению. Владыка мира думает о погребении бедных. Цезарь с высоты трона кидает свой плащ на обнаженный труп нищего, которого несут на костер. Он преследует доносчиков; он уничтожает конфискации, он закрывает родники крови, которые били на Арене. По его приказу гладиаторы сражаются, как греческие атлеты, мечами с закругленными концами. Первый и единственный из всех Цезарей, он дерзает отнять у народа человеческую бойню. Даже к играм цирка, очищенного от убийства, он относится с презрительным равнодушием, во время спектакля читая книгу или выслушивая доклады. Не имея возможности высказать им осуждения отсутствием, император всем своим поведением протестовал против забав своего народа.

На это благодетельное царствование обрушиваются все бедствия. Тибр, вышедший из берегов, угрожает потопить Рим; за наводнением следует голод, моровая язва приходит, чтобы добить истощенную Империю. Бретонцы подымаются, Катты наводняют Рецию и Германию, Парфяне прогоняют римлян из Малой Азии. Мир рушится, как бы для испытания человека, способного его поддержать. Марк Аврелий встречает лицом к лицу все опасности, он выдает припасы народу и отражает варваров. Едва побеждено это первое нашествие, начинается другое. Война с Маркоманами разражается с грозной суровостью. Она застает Империю опустошенной и вымершей от эпидемий. После Пунических войн Рим не бывал в такой опасности. На этот раз Марк Ав-

релий сам идет во главе легионов сражаться. Он опустошает свой дворец, чтобы добыть средства для войны; он оставляет его таким же обнаженным, как палатка, в которой он будет жить. В течение двух месяцев на форуме Трояна продают с аукциона императорские украшения, золотые и хрустальные чаши, царские вазы, драгоценные камни, картины, статуи, даже платья императрицы. Он уезжает больной на эту жестокую войну, которая длится годы в климате, убийственном для его слабой груди; он сражается на льду, зимует в снегу между болот, принимает пищу только утром и вечером, не раньше, чем обратится с речью к своим войскам. Его героизм укрощает варваров, его кротость их чарует и приручает. Его представляешь себе в этих суровых равнинах таким, каким он изображен на своей конной статуе в Капитолии: простым и серьезным, сидящим, как на троне, на своей мощной лошади, созданной для того, чтобы ломиться сквозь леса и топтать грязь Паннонии, великодушным жестом принимающим покоренные орды.

Сколько испытаний в этой высокой жизни! Сколько раздирающей борьбы в самой славе! Какие битвы должны были происходить в такой душе при столкновении стоика с цезарем! Как ни была чиста его власть, он владел ею против своих убеждений. Философ, ненавидевший пролитие крови, был принужден разрушать и истреблять. Что значила воинская слава для того, кто в своих «М ы с л я х» восклицает с такой высокомерной иронией: – «Паук гордится тем, что поймал муху; а меж людей один гордится тем, что затравил зайца, другой рыбу, те кабанов и медведей, этот Сарматов!» Поклонник единой Сущности, облеченный официальным первосвященством, должен всенародно приносить жертву тысячам богов политеизма и первоприсутствовать при церемонии Л е к т и с т е р н и й, во время которой подавалась трапеза идолам, возлежавшим на ложах.

Представьте себе Моисея, спустившегося с Синая и принужденного танцевать перед золотым тельцом! — Когда он уезжал в Германию, народ заставил его взять с собой халдейских магов. Мыслитель должен был тащить за собой толпу

астрологов. Возвратившись в Рим после своих походов, покорив варваров и спасши Империю, он говорит народу о своем долгом отсутствии, и народ кричит со всех сторон, чтобы засвидетельствовать, что он считал года: «восемь, восемь!» Но в то же время из толпы ему делают знаки пальцами, что они должны получить за нерозданный в эти годы хлеб по восьми золотых монет. Император улыбается и повторяет: «Да, восемь лет! Восемь червонцев!» Какое презрение должна была выражать эта улыбка к народу-нищему, который благодарил его, заставляя платить за собственное спасение! Ему пришлось перенести и мятеж, и предательство. Авидий Кассий, его лучший полководец, восстал против него, этот Кассий, о котором он говорил с таким великодушным смирением Веру, принесшему известие о его намерениях: «Если боги предназначили Империю Кассию, Кассий ускользнет от нас; потому что, ты помнишь слова твоего предка: "Ни один государь не убил своего преемника". Если же боги не предназначили ему Империи, то он сам попадет в роковую западню, не принуждая нас марать себя жестокостью... Что же касается того, что я должен его смертью обеспечить безопасность своих детей: да погибнут мои дети, если Авидий заслуживает любви больше, чем они, если жизнь Кассия для государства важнее, чем жизнь детей Марка Аврелия».

Даже собственная семья предает и позорит его. Луций Вер, его приемный брат, которого он добровольно приобщил к власти, коснеет в Антиохии в азиатских оргиях. Его жена Фаустина отдает себя в Гаэте матросам и гладиаторам; шуты в театрах издеваются над его супружеским позором. Его сын станет Коммодом, который будет иметь перед всеми дурными цезарями одно преимущество: ужас быть сыном Марка Аврелия. Столько испытаний и страданий не могут замутить родника кротости, бьющего в его душе. Этот стоик, созданный из бронзы, когда он мыслит, сделан из плоти и крови, когда он любит и нежен. Он воздвиг на форуме храм Доброте: чтобы создать это новое божество, ему было достаточно вывести его из своего сердца. Милосердие его было неутомимо; если бы он мог, он бы помиловал Кассия. Когда ему принес-

ли его голову, отрубленную центурионом, он отвратил лицо свое и велел похоронить ее. Сенат, приученный цезарями к истреблениям, хотел изгнать или казнить семью изменника; он выступает перед ними защитником: «Вы даруете прощение сыну Авидия Кассия, его зятю и его жене. Что́, говорю я, прощение? Они ни в чем не виновны. Пусть живут они в безопасности, зная, что живут в царствование Марка Аврелия». С деликатным сочувствием он запретил даже, чтобы детям Кассия было поставлено в упрек преступление их отца. Единственный упрек, который он позволил сделать Луцию Веру, был его собственный пример, его собственное присутствие. Он поселился у него на несколько дней и наказал его зрелищем своей стоической жизни в его дворце, переполненном мимами и куртизанками. Фаустина всегда оставалась ему дорога; он не знал или, скорее, не хотел знать ничего об ее распущенности. Она была дочерью Антонина, он боялся, отвергнув ее, оскорбить память своего благодетеля.

На ложе своей беспокойной семьи герой является только отцом, нежным и кротким; философ становится ребенком со своими детьми. Он радуется ласкам своих дочерей и называет их «маленькими малиновками». В его письмах к Фронтону есть такие чарующие уголки очаровательных пейзажей, где его можно видеть среди них, похожего на орла, выращивающего голубок. – «Вот опять настали летние жары, но так как наши детки чувствуют себя хорошо, то мне кажется, что у нас весенний воздух и весенняя температура». – «...Наш маленький Антонин (pullus noster*) кашляет немного меньше; в нашем гнездышке каждый молится за тебя, как умеет». Когда по окончании войны с Парфянами ему был дарован триумф, у него на колеснице за спиной стояли две его маленьких дочери. Трогательное и необычное зрелище для античного мира! Невинность и Семья справляли триумф вместе с Героизмом.

Эту душу приходится мерить не столько по его царствованию, полустертому несправедливой историей, сколько по книге его «М ы с л е й». Она заключена в ней целиком во всей своей силе и своем величии. Он писал их вечером, как бы при последнем рассеянном свете сумерек своей жизни, на дощеч-

---

* Наш птенец (*лат*).

ках, без определенного плана: собраны они были только после его смерти. Первая его книга помечена: «В стране Квадов, на берегу Грануи», вторая: «У Карнунта».

Большинство мыслей было, без сомнения, записано в лагере в палатке, когда, складывая бремя Империи вместе со своим оружием, он имел время заняться делами своей души. В этой царственной книге чувствуется ночная сосредоточенность: рожденная в безмолвии, она сохранила его торжественность. Строфами ли оды, или доводами философии являются эти краткие, сжатые, запыхавшиеся мысли, которые следуют одна за другой, без меры, без перехода, как вздохи сердца, переполненного восторгом? Глубокий вздох, между тяготой сегодняшнего и началом завтрашнего дня, признания, которые делает самому себе человек, рожденный для одиночества, вырвавшись на мгновение из толпы, крики восторга, которые вырывает у него видение Безусловного, обращения к Бесконечности, кинутые как стрелы, проверка совести, ответственной за судьбы мира! Никогда истина в своей реальности или в своем призраке не отыскивалась с бóльшим усердием, не была постигаема с большею страстью, не хранилась с большей любовью. Его постижение вещей похоже на обнаженное величие храма, лишенного символов и орнаментов. Для него Бог не отделен от мира, который является живым существом, неделимым, единственным, существующим в самом себе и развивающимся согласно ненарушимым законам. Бесчисленные формы существ являются действием этой производящей силы, которая находит удовлетворение в рождении и в вечном обновлении своих созданий. Мрамор и человек, растение и мысль неравным образом выражают его величие. Эта Неизбежность является и Провидением. Скорбь, смерть, зло, несправедливость – всё это призрачные диссонансы единой симфонии, гармония которой ускользает от нас, плохо понятые подробности единого согласия, к величавому единству которого они направлены. Всё велико и всё справедливо, всё прекрасно и всё согласовано. Марк Аврелий склоняется перед этим непреложным Божеством, пораженный ужасом и удивлением. Он покоряется его законам,

славословя его: «Всё, что примиряет тебя, о Мир, примиряет и меня самого. Ничто не может быть для меня преждевременным или запоздалым, что для тебя своевременно. Всё, что приносит время, является для меня сладостным плодом. О природа! всё приходит от тебя, всё в тебе, всё возвращается к тебе! Кто-то из героев трагедии говорит: “Возлюбленный город Кекропса!” А разве ты не можешь сказать о Мире: “О возлюбленный город Юпитера!” Он обожает его даже в уродствах, даже в его ужасах; как из камня высекают пламень, так он из грязи извлекает ему славословие. – «Даже пасть льва и смертельные отравы, всё, что может вредить, как шипы и грязь, является лишь сопутствием благородных и прекрасных явлений. Не воображай же, что в них может быть нечто постороннее тому Существу, которое ты почитаешь. Размышляй об истинном истоке всех вещей!» Тем не менее никто глубже, чем он, не испытал чувства призрачности смертной жизни, поглощаемой бесконечностью. Ни Соломон из глубины своего гарема, ни индийский Будда под смоковницей, где ему была раскрыта Нирвана, ни фиваидский Отшельник, изумлявшийся, что еще строят дома и города, – не обращали на мир взгляда более разочарованного и печального. – «Ах! все вещи уничтожаются в краткий срок! Тела тонут в лоне мира, воспоминания о них в лоне веков». Он говорит человеку: «Ты слабая душа, несущая труп». Он изумляется как безумию тому, что можно искать славы, наслаждений, счастья: «Это то же самое, как если бы ты влюблялся в пролетающих птиц?» Иногда, когда он вызывает поколения умерших за две тысячи лет, он напоминает нам, только в античных формах, призрак царя, делающего смотр умершей армии, как его рисует нам немецкий поэт. «Созерцай с возвышенного места эти бесчисленные толпы людей, эти тысячи религиозных церемоний, эти плавания сквозь штили и бурю, это разнообразие существ рождающихся, живущих вместе, уходящих... Вер умирает раньше Луциллы, Луцилла потом; Максим раньше Секунды, потом Секунда; Диотима раньше Эпитинхана, потом Эпитинхан; Фаустина раньше Антонина, потом Антонин; и так во всем. Адриан умирает раньше Целера, потом Целер. И все

эти люди с умом таким проницательным и те, опьяненные гордостью, где они? Где Харакс, Деметрий, Эвдемон и все, что походили на них? Призрачные, давно умершие существа. Некоторые на одно даже мгновение не оставили своего имени; другие перешли в ряды преданий, третьи исчезли даже из самых преданий». В описаниях тщеты всех вещей и ужаса разрушении у него являются образы и площадные выражения Шекспира. Как Макбет, он сравнивает существование с безумным фарсом. «Всё, что мы так ценим в жизни, – пустота, гниение, ничтожество. Собаки, которые кусаются, дети, которые дерутся, смеются и скоро плачут вновь... Тщета всякого великолепия, театральные зрелища, стада мелкого и крупного скота, битвы гладиаторов – всё это не больше чем кость, брошенная собакам, кусок хлеба, раскрошенный рыбам. Это изнеможение муравья, тащащего свою ношу, бегство испуганных мышей, куклы, которых дергают на веревочке!» Как Гамлет перед могилой Эльсинорского кладбища, он спрашивает себя перед бездной бесконечности, что сделала природа из костей Александра: – «Александр Македонский и его погонщик мулов разложились после смерти при тех же самых условиях, или они оба вернулись в ту же творящую сущность мира, или один, так же как и другой, рассеялись в атомах... Смрад и тлен на дне всего!»

Скептик от этой мировой тщеты приходит к чувственности и беззаботности. «Будем есть и пить, потому что мы умрем завтра!» – восклицает Экклезиаст, приведенный в отчаяние зрелищем мира и безнравственностью его судеб. Но посреди этих превратностей и этого мрака, под тяжестью роковых законов между бесконечностями, его давящими, стоик открывает в самом себе твердую, чистую, сияющую точку, при помощи которой он пересоздает весь нравственный мир. Миром правит Разум, исходящий от высшего сознания, частица божества, рассеянная в каждом существе, который раскрывает ему долг и приобщает его к дивно-прекрасному и царственно-справедливому делу творения. Марк Аврелий говорит об этом моральном существе, пребывающем в нем, как о живом Гении. Он приносит ему свои добродетели, как

внутренние жертвы; он очищает себя от всякого порока и грязи для того, чтобы лучше чтить его, как моют святилище, чтобы сделать его достойным бога, в нем обитающего. «Приноси богу, который внутри тебя, существо мужественное, гражданина, императора, солдата на своем посту, готового покинуть жизнь, когда прозвучит труба». Какое устремление к идеалу, какой порыв к святости! Вы следите за ростом его совершенствования, вы видите, как растут его героизм, справедливость и моральная красота: он подымается на вершину человеческой добродетели по ступеням величия. У него есть увещания, обращенные к своей душе, которые звучат как призывный рог, внезапно пробуждающий заснувшего бойца: «Покройся бесчестием, о моя душа! Да, покройся бесчестьем! Потому что до сих пор еще ты полагаешь свое счастье в душах других людей». В другом месте он обращается к ней, как к девушке, посвященной алтарю: «Украшайся простотой, стыдливостью и безразличием к тем вещам, которые занимают середину меж добродетелью и пороком. Нежно люби человеческий род и повинуйся Богу... Нужно жить с ним!»

Действительно, никогда человек не жил более интимно со своею совестью; он скрывается, он уходит в нее от внешнего мира, как будто идет молиться в священную рощу. «Ты ищешь себе убежищ: пастушеских гротов, сельских хижин, гор, морских побережий; к чему? Раз тебе дозволено уединиться в глубину самого себя». Страсти и иллюзии без горечи и без гнева изгнаны им из этого ненарушимого убежища; так священник тихо прикрывает двери святилища перед непосвященными: — «Что ты здесь делаешь, Воображение? Ступай с Богом! Ты пришло по старой привычке. Я не сержусь на тебя, но уходи!» Из этих уединений внутри самого себя он выходит укрепленный, успокоенный, вооруженный, как последним напутствием, умиротворяющим оптимизмом, который учит его сострадать злу, раскрывая его неизбежность — «душа лишается истинной справедливости всегда вопреки самой себе. Эта мысль да сделает тебя более мягким по отношению к людям». Его добродетель не ждет вознаграждения по ту сторону жизни, она удовлетворена сама собой. Разве

дерево просит награды, когда оно принесло плоды? – «Как лошадь после перебега, как пчела после того, как принесла свой мед, человек, сделавший добро, не кричит об этом на весь свет; он переходит к другому благородному деянию, подобно тому, как виноградник готовится принести другие грозди в свой срок». С какою ясностью готовится он к смерти! Она для него естественная осень человечества, благодетельный сбор плодов, который снимет новые жатвы. Его сравнения исполнены пастушеской грации: кажется, точно созерцаешь те идиллии, которые античное искусство высекало на саркофагах: «Есть много зерен ладана, предназначенных для того же алтаря; одно падает в огонь раньше, другое позже; но разницы нет». – «Следует покидать жизнь со смирением, как падает созрелая оливка, благословляя землю, свою кормилицу, и принося благодарность дереву, которое ее взрастило». – Теология стоиков не дозволяет ему верить в личное бессмертие; по временам он испытывает благородное сожаление. Его великая душа чувствует себя достойной воскреснуть в свете высшего существования, но с грустью свертывает крылья, не считая их способными вознести ее так высоко.

«Как случилось, что Боги, которые так хорошо и с такой добротой к людям распределили все вещи, забыли только об одном: почему истинно-добродетельные люди, которые в течение всей жизни были в известных сношениях с Божеством, которые были любимы им за свое благочестие, не воскресают после смерти, а погасают навсегда!» Но вскоре он ставит себе в упрек это возражение против высшего Закона: «Ты видишь хорошо, что делать подобные изыскания это значит спорить с Богом о его правах».

Эти размышления были мыслями Властелина земли, Империи, ставшей человеком, воплощенного Мира. Возвышенные беседы земного Пана с Паном небесным! По временам кажется, что слышишь голос одного из Отцов пустынножителей. Государь слагает свой пурпур на пороге идеального портика, куда он удаляется для размышления: ни малейшего следа его не осталось в его книге. Существо мыслящее кажется в нем совершенно отделенным от властителя Импе-

рии. Между тем, как Император судит, обращается с речью, издает указы, председательствует в Сенате, сражается с Квадами и получает триумф в Риме, философ, отвлеченный от водоворота, который увлекает его, размышляет в уединении. Иногда, однако, внешние события влияют на этот чистый разум. Отголосок тех времен, через которые он проходит, разносится в глубине его торжественного созерцания, как в храме крик страдания, слышимый извне. Какое преступление или низость вызвали у него эту патетическую жалобу: «Они не перестанут делать то, что делают, хоть ты умри!» – Вероятно, ему пришлось выслушать какой-нибудь позорный донос или испить до горечи похвал какого-нибудь льстеца, когда он восклицает с негодующим отвращением: – «Так вот мысли, которые руководят ими! Вот предмет их вождележений! Вот почему они нас любят и почитают! Приучайся созерцать их души обнаженными. Они воображают, что могут вредить своим злословием и служить своими похвалами. Суета!» Быть может, искушаемый однажды своевольным деянием, он, как заклятие, кидает в лицо искушению этот энергический варваризм, который так хорошо рисует ужас, внушаемый ему собственным всемогуществом: «Берегись о ц е з а р и т ь с я», ὅραμὴ ἀποκαισαρώθης. Кажется, что одиночество приводит иногда его в отчаяние; он видит себя одиноко сидящим на троне, как на морской скале посреди морального кораблекрушения своего века, и жаждет умереть. «Ты видишь теперь, как ужасно жить с людьми, чувств которых ты не разделяешь. Приходи скорее, о, Смерть! Потому что я боюсь, что в конце концов забуду самого себя». Есть минуты, когда, усталый править этим развращенным миром, он призывает мечи преторианцев и мечи наемных убийц. «Пусть люди видят, пусть они созерцают в тебе настоящего человека, живущего согласно природе. Если же они не могут вынести этого человека, то пусть убьют его! Это лучше, чем жить так».

Смерть застигла его на его посту, в Германии, Империи, штурмуемой новым приливом варваров. На тяжелый труд были осуждены императоры этих последних времен Рима: всегда на лошади, пробегая земли из конца в конец, снося все

климаты и все народности, седлая то африканского слона, то альпийского мула, в один и тот же год утоляя жажду водами Нила и Дуная, от песков Персии переходя к снегам Британии, выдерживая стрелы Парфян после дротиков германцев. Лозунгом всей их жизни был лозунг последнего дня Севера: Laboremus, «будем работать».

Марк Аврелий, больной и стареющий, уезжая в Паннонию, был мучеником Империи. По Капитолину, его смерть была искупительным самоубийством. «Едва пораженный болезнью, он стал воздерживаться от пищи и пития с намерением умереть». Чудовище начинало пробуждаться в Коммоде; он заметил это в последние дни и ушел от жизни, чтобы не видеть. Зная, кому он оставляет Империю, он мог бы написать, как умирающий Север: «omnia fui nihil prodest» – «я был всем, и всё ни к чему». Его друзья спросили, кому он поручает своего сына. «Вам, – ответил он, – и Бессмертным Богам, если он этого достоин». При виде того, как они покидают его смертное ложе, спеша, быть может, приветствовать нового Цезаря, у него вырывается жалоба, как бы скорбное прощание с человечеством: «Если вы уже покидаете меня, то прощайте, я иду впереди вас». Si jam me dimittitis, vale vobis dico, vos praecedens. Он предвидел эту измену в последний час. «Разве во время твоих последних минут, – говорит он в своих *«Мыслях»*, – не будет таких, которые скажут сами себе: наконец-то мы сможем вздохнуть, освободившись от этого педанта; конечно, он не делал зла никому из нас, но мы замечали, что втайне он нас осуждал. Да, размысли в самом себе; я ухожу из жизни, где те, что делили ее со мной, для которых я столько работал, столько приносил обетов, отдавался стольким заботам, те самые пожелают, чтоб я исчез, и будут надеяться, что это принесет им некоторое благо». Военный трибун пришел спросить у него последние распоряжения: «Ступай к восходящему солнцу, для меня настал час заката». На седьмой день болезни, закрыв голову военным плащом, как бы для того чтобы заснуть, он тихо испустил дух.

Быть может, умирая, он шептал слова, которыми кончается его книга и которые являются Novissima Verba*

* Последние слова (*лат.*).

его души: «Человек! ты был гражданином великого государства. Не всё ли тебе равно, был ли ты им пять или сто лет? То, что согласно с законами, не может быть несправедливо. Разве плохо быть изгнанным из государства не тираном, не неправедным судьей, но природой, которая сама сделала тебя его гражданином? Это то же самое, как когда актер получает расчет от того же самого претора, что нанял его. – Но я не сыграл пяти актов, я сыграл только три. – Ты говоришь верно, но это значит, что в жизни трех актов довольно, чтобы закончить целую драму. Определяет конец тот, кто некогда установил соответствие всех частей и кто сегодня является причиной их разъединения: ни то, ни другое не зависит от тебя. – Ступай же с миром. Тот, кто отпускает тебя, не ведает гнева».

Этот мир, недостойный его присутствия, имел, по крайней мере, достаточно стыда, чтобы пожалеть о нем. Рим почувствовал, что его последняя добродетель отошла вместе с этим великим человеком. Его апофеоз был не только официальной церемонией, пошлой канонизацией всех Цезарей, обожествлявшей безразлично Тиберия и Тита: он был актом восторженной веры в вознесение этой великой души к божеству, царственным образом которого она была на земле. Единый крик вырвался у множеств: «Не плачьте о нем, обожайте его. Он был уступлен людям Богами, теперь он вернулся к Богам». Сенат и народ, слившись в одном чувстве, чего не было никогда раньше и не случалось после, провозгласили его «Благосклонным Богом». Каждый человек, не имевший у себя изображения Марка Аврелия, был объявлен святотатцем. «Еще теперь, – говорит Капитолин, – его статую можно видеть среди Пенатов». Этот культ не прекратился: и в настоящее время Марк Аврелий остается в первом ряду благодетельных божеств меж духовных пенатов человечества.

IX. Аттила. Карл XII

I

Не истории, а эпопеи на варварском языке был бы достоин Аттила. Он изумил пятый век, столь уже привычный к ужасам. Казалось, что на землю ринулся четвертый Всадник Апокалипсиса. – «И вот Конь бледн, и на нем всадник, которому имя Смерть; и Ад следовал за ним. И дана ему власть над четырьмя частями света – умерщвлять мечом и голодом, мором и зверями хищными». Кто не видел в армии Аттилы Ада, сопровождающего Смерть? Гунны привели в ужас варваров: после них вандалы казались афинскими воинами. Готы рассказывали, что один из их королей сослал в глубину Скифии колдуний, которые там встретились с демонами, блуждающими по степям. От их сочетания родилось отвратительное племя гуннов: – «Человечье отродье, зародившееся в болотах, – говорит Иорнанд, – малорослые, тощие, ужасные на вид, не имеющие с человеческим родом ничего общего, кроме дара слова». Аммиан Марцеллин рисует их с таким же чувством, как Плиний в своей естественной истории описывает сказочных животных. Он с ужасом говорит об их приземистых телах, о чудовищной громадности их головы, об их приплюснутых носах, об подбородках, изрубленных шрамами, для того чтобы помешать расти бороде. «Их можно принять за двуногих зверей или за грубо вырезанные из дерева фигуры, что украшают перила мостов».

Нравы этих человеческих орд напоминали нравы волков, блуждающих в лесах. Они не могли жить ни в домах, ни в хижинах, потому что каждая каменная ограда казалась им гробницей. Галлы не боялись ничего, кроме того, что небо рухнет им на голову: гунны боялись только того, чтобы на них не упали крыши. Употребление огня было им почти так же неведомо, как животным. Они питались корнями и сырым мясом, отбитым под седлом. Одеждой их была туника из темной ткани и плащ из шкуры диких крыс. Они никогда не меняли своей туники, которая сгнивала на теле и покидала их сама, как спадает шерсть животных во время линяния. Вся их

жизнь проходила верхом: казалось, они были пригвождены к спинам своих лошадей, таких же безобразных, как они сами, и неутомимых. Они ели, и спали, и держали советы верхом на коне. Даже смерть не разделяла этих суровых кентавров: гунны погребали всадника вместе с конем. Понятие о божестве было им неведомо: магические бубны колдунов одни пробуждали в их толстых черепах смутную идею о сверхъестественном. Война была их стихией, их жизнью. Они жили только грабежами; истребление было их работой; они шли на резню, как на жатву. Их жестокость, совершенно звериная, утолялась только разрушением: обломав ветви, они срубали дерево; ограбив город, они его сжигали.

В середине четвертого века это дикое племя, до тех пор еле заметное на горизонте Азии, прорывается в мир варваров. По дороге оно собирает все славянские племена, все германские народности, всех кочевников Татарии. Ком снега становится лавиной, варварство нацией. С появлением Аттилы оно становится человеком и появляется на берегах Дуная перед ошеломленной Европой.

Странную фигуру представляет собой этот Калибан войны! Свирепость зверя в нем смешана с пороками тирана; он жесток, как вождь дикого племени, и извращен, как старый султан. Монгольское неистовство в нем сочетается с византийским вероломством. В нем есть людоед и дипломат. Не только ужасом, но и хитростью он ведет атаку на обе Империи – Восточную и Западную. Тигр становится кошкой, чтобы играть слабыми Цезарями, которые лишь символически господствуют над миром. Он их эксплуатирует, унижает, обманывает, льстит им, пугает, утомляет их посольствами и нелепыми переговорами; с ножом у горла он требует у них невозможного, и невозможное ему дается. Рим и Константинополь истощают все силы для того, чтобы удовлетворить капризы этого чудовищного баловня власти. – Однажды он принудил императора Феодосия ему отдать богатую наследницу, на которую зарился один из его солдат: испуганная девушка спаслась бегством, а Феодосий под страхом нашествия был принужден найти ей заместительницу. В другой раз он

потребовал у Валентиниана священные сосуды, спасенные епископом при разгромлении Сирмиума: император ответил, что он не может, не совершая святотатства, ему отдать эти освященные чаши; он предлагал вдвойне оплатить их ценность. – «Мои чаши, или война!» – был ответ Аттилы.

Из глубины своего деревянного дворца, населенного диким гаремом и толпой детей, этот калмыцкий хан наводил ужас на мир. Униженными просителями посланники империи приближались к царскому бараку; они подвергались долгим мытарствам, прежде чем быть допущенными вовнутрь досчатых оград и частоколов. Представ перед Аттилой, они оказывались лицом к лицу с малорослым человеком, коренастым, курносым, безбородым, почти черным, с глазами, горящими гневом.

Приск, участвовавший в посольстве, отправленном Феодосием к варварскому царю, сохранил нам картину этого почти сказочного двора. Он описывает нам Аттилу, торжественно вступающего в свою столицу под белыми покрывалами, несомыми девушками. Когда он проезжает перед домом своего министра Онегеза, оттуда выходит женщина, окруженная служанками, несущими мясные блюда и чаши с вином. Она приближается к нему и просит отведать яств, ею приготовленных. Аттила выражает согласие знаком; тогда четыре человека подымают на высоту его лошади серебряный стол, и, не ступая на землю, царь ест и пьет.

Несколько дней спустя Аттила пригласил посольство на большой пир. Римляне вошли в залу, установленную сиденьями и маленькими столами. Посреди возвышалась эстрада с царским столом и ложем, на котором возлежал Аттила. У его ног стоял Эллак, старший из сыновей, в позе раба, молчаливый, с опущенными глазами. Гостей обносили серебряными блюдами и наливали им мед в золотые чаши; но сам Аттила пил из деревянной чаши и ел из деревянной тарелки. Посреди пира поднялись два барда и на гуннском языке славили победу царя. Их гимн привел в восторг присутствующих. Исступленный энтузиазм охватил варваров, крики вырывались из грудей, слёзы текли из глаз; лица отражали ярость напа-

дения и защиты; зала походила на лагерь, готовый взяться за оружие. Затем явился шут, и его кривляния вызывали взрывы грубого хохота. Но посреди этих криков Аттила оставался неподвижен. Он в молчании председательствовал шумной оргией. Только когда Эрнак, младший из его сыновей, вошел в залу, луч радости осветил его мрачное лицо; глаза смягчились, и ласкающим движением он привлек ребенка к себе, потянув его за щеку.

Между тем Аттила приготовил, наконец, ответ послу Цезарей. Два гуннских посланника в один и тот же день предстали перед императорами Феодосием и Валентинианом. Они были уполномочены сказать и одному и другому: — «Аттила, мой господин и твой, приказывает тебе приготовить дворец, ибо он придет».

Он пришел, действительно, в этот страшный 451 год, предсказанный кометами, затмениями луны и кровавыми облаками, посреди которых сражались призраки, вооруженные пылающими копьями. Никогда мир не был так близок к концу. Это было не нашествие, а потоп. Гунны, Алланы, Геллоны, Остроготы, Гепиды, Авары, Болгары, Тюрки, Унгры — вся масса Варваров, как море, волновалась вокруг Аттилы. Если бы животные всего мира восстали против человека, соединившись вокруг чудовища, одаренного волей и сознанием, то это дало бы лишь слабую идею опасности, которой подвергалась цивилизация в эту мрачную эпоху. В несколько дней обе Германии и Галлия исчезают под водоворотами лошадей и всадников. Народы беспорядочно бегут перед этим человеческим ураганом, который уносит, сокрушает, избивает, опустошает и пламенем доканчивает дело меча. Со всех сторон слышен только грохот рушащихся городов и хрипение народов, которых душат. Кровь струится и образует потоки; города пустеют, леса переполняются; обработанная земля исчезает под обломками разрушения. Можно подумать, что гунны из глубины Азии принесли с собою пустыню, которую они развертывают, как саван над мертвым миром. Аттила преображается посреди грозы, им вызванной; в заревах сожженных городов он появляется в образе химерического зве-

ря. Некоторые летописи дают ему голову осла; другие свиное рыло; третьи лишают его дара слова и заставляют издавать лишь глухие рыкания. Освященная традиция видит в нем библейскую казнь, Бич, которым рука Господня, явившаяся из туч, обращает народы в прах. Он сам с гордостью принимает это грозное прозвище. Легенда передает, что Аттила, услышав, как один отшельник называет его «Бичом Божиим», подскочил в припадке сатанинской радости: — «Звезда падает, земля дрожит, я Молот, который дробит мир». Stella cadit, tellus fremit, en ego Malleus orbis! — Этим именем называют его епископы, стоящие с митрой на голове и с посохом в руке у городских ворот при его прохождении. В словах, к нему обращенных, чувствуется уважение: люди Евангелия, заклиная, приветствуют в нем Апокалипсического Дракона. «Кто ты?» — кричит ему св. Лу (St. Loup) с высоты стен Труа. «Кто ты, разметавший народы, как солому, и ломающий короны копытом своей лошади?» — «Я Аттила, Бич Божий» — «О, — отвечает епископ, — да будет благословен твой приход, Бич Бога, которому я служу, и не я остановлю тебя», — и, спустившись вместе со всем духовенством, он отворяет двустворчатые ворота, берет под уздцы лошадь царя гуннов и вводит его в город. «Войди, — говорит он, — Бич Божий, и ступай куда ведет тебя Его рука». Аттила вступает в город со всем своим войском, но чудесное покрывало окутывает город; мираж скрывает его от глаз варваров, они проходят через него, а им кажется, что они едут по широкой равнине.

Быть может, с западным миром было бы всё покончено, если бы Аэций не победил Аттилу на Каталаунских Полях. Гигантская битва, размеры которой ошеломляют. Двести тысяч мертвых; кровь, текущая водопадами по ложу ручья, превратившегося в реку; Аттила, окопавшийся сзади своих телег и кружащийся, пьяный от бешенства, вокруг костра из зажженных седел, в который он бросится, если неприятель займет лагерь! Эта битва гигантов из Эдды. Аэций превзошел Мария и достиг высоты Цезаря в этой эпической борьбе, а между тем слава едва освещает его имя сомнительным лучом. Конечно, история была несправедлива, не воздвиг-

нув алтарей этим героям последнего часа: Пробу, Постуму, Стилихону, Аэцию, которые так самоотверженно выдержали удары варваров и, подобно Иисусу Навину, принудили солнце Римской цивилизации замедлить свой кровавый закат. Но Варварство излучает ночь: люди и явления темнеют при его приближении; цивилизация сама становится варварской, сражаясь против него; К<нязь> Тьмы поражает одинаково побежденных и победителей. Даже самые победы, одержанные над ним, не покоряют воображения: их трубы издают глухие звуки, их лавры поросли колючками, как тернием. От них не остается следов больше, чем от охоты за волками в чаще лесов.

Отраженный в Галлии, хищник устремился на Италию и уничтожил ее. Города пылали, люди падали снопами, народы убегали в самое море, чтобы спастись от него. На протяжении всей этой жестокой истории характер ужаса не меняется: эта кровь, льющаяся равномерным дождем, в конце концов кажется такой же скучной, как и он. В судьбе Аттилы есть однообразие Ада.

Наконец он вернулся в свой посад, опьяневший от резни и обремененный мировой добычей. Он умер там смертью Олоферна в брачной постели, зарезанный германской Юдифью. Его войско выло вокруг его шатра, как свора собак над трупом охотника, который делился с ней добычей. Рабов, которые копали могилу, зарезали. Самый труп Аттилы продолжал убивать.

Несмотря на все его победы, истребления, битвы, ужасающий шум, который он произвел по всей земле, Аттила не поднялся до истинного величия. В его известности есть выкрики; его имя звучит, как бы лишенное смысла; его история входит в естественную историю стихийных бедствий. Он не более человечен, чем землетрясения, чем извержение вулкана, чем тифон Китайских морей. В той власти сокрушения, которую он проявил, есть нечто бессознательное, машинальное. Он является слишком роковым, чтоб быть виновным. История не снизошла до того, чтобы его обвинять; она снимает с него всякую ответственность; она возвращает его при-

роде, разрушительной силой которой он был. Его клеймить и осуждать значило бы подражать Ксерксу, наказывающему розгами разбушевавшуюся стихию. Убийство Клита приносит больше бесчестья Александру, чем кровь истребленного мира грязнит Аттилу; но и самая ничтожная битва греков, порожденная гражданской доблестью героизма, превосходит все завоевания Варвара. Марафонский солдат, потрясающий пальмовой ветвью, более велик, чем Аттила, принимающий королей и патрициев на спине своей тощей лошади, под копытами которой иссыхала земля.

И не в истории, относящей его к ископаемым хаотических эпох, а в преданиях начинается истинное существование Аттилы. Каждый народ берет эту неотесанную фигуру и лепит ее согласно своим инстинктам. Италия ее развенчивает, Германия идеализирует. В то время, как латинская традиция обращает Аттилу в призрак или чудовище, германские поэмы делают из него короля благочестивого и нейтрального, руководящего событиями, не слишком в них вмешиваясь, как Агамемнон Илиады или Карл Великий Круглого Стола. Нежданное превращение! Людоед становится патриархом; мировой убийца становится величественным Судьей Нибелунгских раздоров. – Венгрия, еще более смелая, с сыновним уважением повествует о диком прародителе своего племени. Аттила Мадьярских легенд является святым, как Давид, мудрым, как Соломон, великолепным, как Гарун аль-Рашид. Не папа Лев останавливает его на берегах Тибра, а сам Иисус Христос, спустившись с неба, ведет с ним личные переговоры и обещает его потомству корону Венгрии, как выкуп за Рим.

II

В истории существуют такие воскресения типов и характеров, что хочется верить в «Аватары» индусских мифов. Через пятнадцать веков Аттила появляется на севере в новой форме, умаленный в своих проявлениях, замкнутый в более тесном круге, но одушевленный тою же яростью разрушения. Карл XII, король шведский, является Аттилой, заблудившимся в семнадцатом веке.

Точно так же, как в царе гуннов, в этом неумолимом солдате, который занимался войной, как гимнастикой, из чистой потребности темперамента, нет ничего человеческого. Восемнадцати лет он вошел в походный шатер, как монах входит в келью для того, чтобы больше не покидать ее; hic sunt tabernacula mea hic habitabo in aeternum! Он действительно является настоящим монахом, принесшим страшные клятвы у ног одной из кровожадных валькирий, обожествленных его страной. Женщина, которую Писание называет более сильной, чем смерть, женщина, которая лишила сил Самсона, чаровала Цезаря и заставляла плакать Александра, никогда не входила в это сердце, замкнутое точно крепость. Он остался девственным, как Смерть, единственная любовница, которую он знал. Графиня Аврора фон Кенигсмарк, одна из красавиц того века, посланная польским королем, ее любовником, смягчить разгневанного покорителя, не могла добиться от него ни одного взгляда. Однажды, встретив его на узкой тропинке, она вышла из кареты и пошла к нему навстречу. Король ей резко поклонился, дернул повод и исчез. Это была единственная аудиенция, которой она могла добиться.

Как бы вы ни искали, вы не найдете ни одной слабости плоти в этом человеке, вылитом из бронзы: ни яства, ни женщины, ни удовольствия не привлекают его. Кровь отвратила его от вина: во время этого двадцатилетнего похода, которым была его жизнь, он, как Давид в пустыне, не пил ничего, кроме ключевой воды, зачерпнутой каской. Свою одежду из грубого голубого сукна с медными пуговицами он носил так же долго, как монах свою рясу; она изнашивалась у него на спине. Короли из фейных сказок никогда не расстаются со своей короной; он снимал свои сапоги, только ложась спать. Он относится с каким-то суеверием к этим семимильным сапогам, которые огромными шагами носят его по Европе. На Гутерсдорфском свидании с королем Августом, данным ему после победы над ним, он говорит только о своих сапогах. Шведскому сенату, умолявшему его вернуться в свое королевство, так давно лишенное короля, он отвечал, что пошлет в Стокгольм один из своих сапогов, чтобы он царствовал и

правил вместо него: одно из дурачеств этого льва в сапогах, повторять которое его больше не просили.

Война была его религией; для того, чтобы служить ей более достойно, он налагал на себя добровольные самоистязания. Раз он услыхал, что одна женщина прожила много месяцев, принимая только воду вместо всякой пищи. У него сейчас же явилось желание подвернуть себя этому тяжелому воздержанию, как Митридату мог прийти каприз испытать на себе новый яд. Целых пять дней он оставался без еды; затем он объелся, как людоед, и стал снова жить по-прежнему.

Только мистицизм славы может объяснить такой характер, такое отрешение от человеческих радостей и страстей. Говорили, что он принес обет бедности и воздержания: деньги для него были только средством, чтобы лить пули и отливать пушки. Один ливонский перебежчик, взятый в плен и приговоренный к виселице, предложил в обмен за жизнь открыть секрет приготовления золота. Он делал его в тюрьме по алхимическим рецептам. Слиток, найденный в реторте, был хорошего качества и хорошего веса. Сенат был поражен и ходатайствовал о его помиловании. Не стоил ли философский камень головы одного мятежника? Король, возмущенный, что с ним смеют торговаться о его мщении, в ответ ускорил день казни. Бесформенные монеты, отчеканенные в его царствование, рисуют его лучше, чем самые прекрасные медали. Это широкие медные квадраты, заштампованные королевскою печатью с четырех углов. Настоящая спартанская монета, сделанная точно наскоро для неотложных потребностей войны из кусков орудий, разбросанных по полю сражения и сплавленных на бивуачном огне.

Разберите эту необычайную натуру: вы не найдете в нем даже пружины честолюбия. Он обращает в милостыню свои завоевания, он другим раздает захваченные им провинции, он даже не трудится подбирать короны, им сбитые. Его царство не от мира сего; он сражается для того, чтобы сражаться, ради идеала вполне отвлеченного и сокровенного. Самые необузданные завоеватели имеют цель, план или устремление. Сам Аттила своими волчьими ноздрями обоняет сладострастие Рима. Идея пространства вмещается в узком

черепе Тамерлана: он грезит об Азии безмолвной, безлюдной и опустошенной, над которой он бы мог царить, распростершись во всю длину свою. Карл же Двенадцатый требует от земли только места для лагеря и поля для сражения. Его вооруженные скитания от севера до востока не обличают ни одного политического инстинкта, ни одного плана о земельных приобретениях, ни одной мысли о будущем. Как его друг Мазепа, он привязан к своей лошади, которая мчит его по всей земле.

Победы или поражения для него безразличны. Поражение рождает такой же гул, как победа, а он у войны никогда не просил ничего, кроме гула и дыма. В его храбрости не было ничего огненного и страстного, опасность была его стихией, мир убил бы его, как пресная вода отравляет морских рыб. Чтобы жить, ему был нужен грохот пушек и едкость пороха. После защиты Бендер, где он, как неистовый Роланд, выдерживал натиск целой армии, когда он пал наконец, раздавленный числом, с израненным лицом, с ресницами, сожженными порохом, он улыбался янычарам, его уносившим, тихий, счастливый, явно успокоенный, как человек, который задыхался от прилива крови и приходит в себя после кровопускания.

«Пьеса кончена, идем ужинать», – сказал один из его генералов, когда война, наигравшись с ним, прикончила его пулей в висок. Эти слова – приговор: они выражают это театральное царствование, в котором, по правде сказать, не было ничего реального, ничего исторического, которое было романтической драмой, разыгранной одним человеком для собственного удовольствия. Это была фантазия аравийской пустыни, перенесенная в северные степи: нападения на обоз, звон мечей, залпы ружей, бряцание сабель... вихрь промчался, снег улегся, пески сгладились... Что это было: видение или явь?

Что остается от Карла XII? Имя, которое звучит в ушах, как пушечный выстрел, но не волнует ни сердце, ни сознание. У его пылающего меча не было лезвия; он нигде не оставил своих знаков. Это был скорее инструмент военного виртуоза,

чем оружие великого человека. Блуждающая армия, которая не несет с собой ни Бога, ни идеи, ни новой цивилизации, проходит, как племя кочевников, в молчании Сахары. Но если слава шведского героя бесплодна, то его характер останется одним из изумительностей истории. Восемнадцатилетний король, покидающий столицу для того, чтобы сражаться до самой смерти, без отдыха, без передышки, без возврата, устремившись в Европу с горстью людей, как Александр во главе своей Македонской фаланги вглубь бесконечного Востока, всегда будет ослеплять воображение. Можно понять, почему одна султанша мечтала о нем в глубине сераля. Она называла его своим львом. «Когда же, – говорила она султану Ахмету, – поможешь ты моему льву пожрать царя?» Эпоха, в которую развернулось это необыкновенное существование, еще подымает его престиж. Свое сказочное появление одного из богов Эдды Карл XII совершает посреди политической и дипломатической Европы XVIII века. Очевидно, он заблудился в современном мире. Это был герой варварского и языческого Севера. И несмотря на молитвенник, найденный после смерти в одном из карманов его мундира, он должен был попасть не на христианское небо, а в кровавый рай скандинавской мифологии, где воители каждый день рассекают друг друга на куски, а вечером, собрав кое-как свои разбросанные члены, пируют вместе за столом Одина, едят из одной тарелки сало вепря Серимнера и провозглашают тосты, подымая черепа с пенным пивом.

X. Людовик XI

Из всех королей Франции, быть может, хуже всего потомство относится к Людовику XI. Постыдная непопулярность преследует этого короля, народного по преимуществу. Чувствуется не только ненависть, но и презрение в том облике, который сохранился от него в памяти народной. Вымысел, равно как и история, обращаются с ним как с лицом полутрагическим, полусмешным. Посмотрите его на сцене и в романах: он почти всегда является там злым и трусливым,

скупым и жестоким, чем-то средним между Тартюфом и Тиверием, Мнимым больным и Пателеном.

В этой легенде есть и правда и ложь, как в карикатуре есть сходство и выдумка. Что он был труслив, это клевета, которую серьезная история не повторяет. Он храбро сражался при Монтлери, при Льеже и на войне в Артуа. Легко раненный при осаде Арраса, он шутил об этом в одном письме с насмешливым воодушевлением, которое на мгновение освещает его мрачную фигуру светлой улыбкой Генриха IV. – «Господин великий Мастер, помощью Божией и его Пресветлой Матери я взял Аррас и теперь направляюсь к Божьей Матери Победительнице; по возвращении же навещу ваш околодок и приведу с собой добрую компанию. Судя по ране, нанести мне ее должен был герцог Бретонский, потому что он называет меня трусливым королем. Вы же достаточно давно знаете мой образ действий; и сами когда-то имели сердце на меня. И прощайте». Малодушие его агонии было скорее тоскою души, мучимой теми счетами, по которым ей придется отвечать, чем трусостью низкого характера. Так идущий с вызовом навстречу насильственной смерти трепещет и обращает лицо к стене, когда естественная смерть сама приходит за ним.

Его скупость обращалась лишь на него самого. Просматривая хозяйственные счета его двора, кажется, что перелистываешь счетную книгу холодного обиталища Гарпагона. Там можно найти и двадцать су за «два новых рукава к старому казакину», и «пятнадцать денье за коробку сала для смазки сапогов». Эта показная скаредность маскировала расходы более широкие и более расточительные. Это кажущееся жидоморство можно сравнить с фасадами лавочек, до сих пор еще встречающихся в Голландии. – Внешность их гнусна: вывеска мелочного торговца, покрытая ржавчиной, качается на ветру; мешок с пряностями и бочка селедок гниют у дверей, за тусклой оконницей в свинцовом переплете видна бледная фигура в очках, склоненная над ветхим регистром. Без сомнения, в этой мрачной конуре копят гроши и прячут их в копилки. Но войдите внутрь... Золото освещает ее; оно

струится, оно льется через край, от него лопаются мешки и ломаются весы. Хозяин учреждения швыряет миллионами в колоссальных спекуляциях. Из-за своего прилавка он направляет корабли в Индийский океан и подкупает раджей Малайского архипелага. – Точно так же и этот король, в шерстяной фуфайке и в грязном колпаке, был самым мощным денежным воротилой, какого Франция видала до тех пор. Никаких экономий, никаких сбережений. Он отвергает и презирает эту старую традицию сокровищ, спрятанных в землю и оберегаемых чудовищами, которую мифология, казалось, оставила в наследство королевской власти. «Он брал всё и всё тратил», – говорит Комин. Но это самое золото, которое рыцарство, его соперник, тратило на устройство турниров и украшение доспехов, он употреблял на покупку городов, на подкуп врагов, на совращение совестей. – Во время своей поездки в Аррас, он занял у одного из своих лакеев сумму в 320 ливров 16 су 8 денье «на свои удовольствия и забавы» и роздал пятнадцать тысяч золотых экю, чтобы выпутаться из скверной истории при Перонне. Можно утверждать, что это он открыл законы денежного обращения. Этот король, прославленный скрягой, является первым банкиром современного бюджета.

Что же касается жестокости Людовика XI, она была, быть может, и меньше, чем жестокость других государей его времени, но во всяком случае гораздо хуже. Человеческая кровь гораздо больше пачкает того, кто выпускает ее холодно, капля за каплей, чем того, кто в порыве гнева проливает ее потоками. Конечно, надо принимать в соображение и тот железный век, который приходилось ему ковать, и мятежи, против которых приходилось бороться, и предательство, которое нужно было наказывать. Но если мы и учтем характер этой отжившей эпохи, он всё же остается королем, который относительно допроса обычного и с пристрастием разделил бы мнение Перрена Дандена:

«Так можно провести без скуки час, другой».

Характерной чертой его жестокости была насмешливость. Он играл головами, прежде чем их отрубить. В одном из своих писем он рассказывает, зубоскаля, как он велел обез-

главить изменившего ему парламентского советника адвоката Ударта Де Бюсси. – «А для того чтобы, – говорит он, – его голову можно было сразу узнать, я велел ее нарядить в меховой колпачок, и она находится сейчас на Хесденском рынке, где он председательствует». В другой раз, торопясь скорей отправить на тот свет неверного слугу, он с веселостью советует своему сенешалу господину де Бресюир «сделать приготовления к свадьбе этого молодчика с виселицей». Он изобретал казни со злобной фантазией одного из тех итальянских тиранов, которых можно назвать художниками пыток. Его железные клетки, которые тяготели над преступниками, как карнизы над кариатидами, ужасные цепи, которые он заказывал в Германии и называл «своими девочками», сделали бы честь фантазии Эццелино. Та самая счетная книга, в которую мы только что заглядывали, открывает мрачное изобилие кандалов и засовов, списками которых покрыты целые страницы; в них слышишь лязг и звон: там есть чем оборудовать целые Бастилии. – «Мастеру Лоренсу Волм за большие кандалы двойной закалки и большую цепь со звонком на конце, которые он сделал и сдал для заключения мессира Ланцелота Бернского, тридцать восемь ливров. – За пару кандалов с толстыми цепями и гирями для закования двух военнопленных из Арраса, охраняемых Генрихом де-ля-Шамбр, шесть ливров. – За железо с закаленными кольцами, с длинною цепью и со звонком на конце и за наручники для других пленников – тридцать восемь ливров. – За кандалы с наручниками, с поножнями, заклепывающиеся на шее и поперек тела для одного узника – шестнадцать ливров. – Вышеупомянутому мастеру Лоренсу Волм – сумма в пятнадцать турских ливров и три су в возмещение расходов на постройку трех кузниц в Плесси-дю-Парк для выковки железной клетки, которую вышеупомянутый сеньор приказал там построить». – История, применяя к Людовику XI закон возмездия, тоже заперла его в клетку и волочит его через столетия, как дикого зверя подлой породы и сомнительной крови.

Ему бы простили еще его турецкие потопления, венецианские удавливания и деревья, увешанные висельниками, в замке Плесси-ле-Тур. Но есть такие неизвестные факты,

такие тайные казни, такие неведомые жертвы, которые кричат против него голосом более пронзительным, чем тысячи жертв Динанского погрома или Льежской резни. Например, этот Жан Бон, которого он сначала приговорил к смерти, а затем по особой милости удовлетворился тем, что выколол ему оба глаза. «Было донесено, что поименованный Жан Бон видит еще одним глазом. Вследствие чего Гино де-Лазьяр, чрезвычайный судья при королевском дворе, по приказанию вышеупомянутого государя, отрядил комиссию из двух лучников, дабы, если он видит еще, сделать ему прокол глаза до полной слепоты». Византийский император, посоветовавшись с евнухом, не мог бы поступить подлее.

У Бероальда де Вервилль я нахожу еще один анекдот, истинный или лживый, но подтверждающей репутацию висельника, оставленную старым государем. Вот этот рассказ, внешне комический, в сущности жестокий, рассказанный с тою странной веселостью, с которой эти старые рассказчики имеют обыкновение говорить о крови и о виселицах. Беззаботность ли это? или ирония? решить трудно. «Людовик XI подарил Тюрпенейское аббатство одному дворянину, который, радуясь подарку, приказывал себя называть господином де Тюрпеней. Случилось, что в то время, когда король жил в Плесси-ле-Тур, настоящий аббат, который был монахом, пришел к королю и принес ему жалобу, указывая ему, что по каноническим и монастырским уставам он приставлен к аббатству и что дворянин-узурпатор противу всякого закона наносит ему ущерб, и, уходя, он умолял его Величество оказать ему справедливость. Король потряс своим париком и обещал, что он останется доволен. Этот монах, назойливый, как все животные, носяшие рясы, стал часто хаживать к окончанию королевской трапезы, а тот, наскучив монастырской святой водой, позвал своего кума Тристана и сказал ему: – «Куманек, есть здесь один Тюрпеней, который мне надоедает, отправьте-ка его на тот свет!» Тристан, принявший рясу за монаха или монаха за рясу, пришел к дворянину, которого весь двор называл господином де Тюрпеней; и, подойдя, заговорил с ним; а затем, схватив его, дал ему понять, что король желает, чтобы он умер. Тот еще хотел сопротивляться,

умоляя, и умолял, сопротивляясь; но ему не дали возможности быть выслушанным. Он был придушен между головой и плечами так, что деликатно испустил дух, а три часа спустя кум сказал королю, что он выкурил его с этого света. Случилось так, что пять дней спустя, срок, когда души возвращаются, монах пришел в залу, где был король, который, увидав его, был очень удивлен. Тристан был тут же. Король его зовет и говорит ему на ухо: «А вы не сделали того, что я вам велел?» – Простите, государь, я это сделал, Тюрпеней мертв. – Хэ! я подразумевал этого монаха. – А я понял – дворянина! – Как, значит, это сделано? – Да, государь. – Ну ладно. – И, повернувшись к монаху: «Подойдите сюда, монах». Монах приближается. Король ему говорит: «Станьте на колени». Бедный монах испугался, но король ему сказал: «Благодарите Бога, что он не захотел, чтобы вы были убиты, как я это приказал сделать. А убит был тот, кто взял ваше имущество. Бог вас рассудил! Ступайте. Молите Бога за меня и не выходите из вашего монастыря»*.

Оговоривши всё это, приходится согласиться, тем не менее, что лисица совершила львиное дело и что этот дурной человек был очень большим королем. Он питал страсть к государству. Франция обязана ему своими лучшими провинциями. Ту же самую настойчивость, с которой крестьянин проводит борозду около борозды и стремится к своему наделу присоединить соседний участок, он положил на увеличение и закругление своего королевства. Оно было страстью и двигателем его жизни, ревностью, которая его пожирала. В своих письмах он говорит о городах и о провинциях, на которые он зарится, как влюбленные говорят о своих возлюбленных. Никогда честолюбие не пылало пламенем столь едким. Какою жгучею радостью дышит это письмо, написанное после взятия Руссильона. «Наконец-то я свободен и могу сладко покушать и вознаградить себя за все лишения, которые я в продолжение всей зимы терпел в этой стране. Я уезжаю во вторник и буду знатно шпорить. Выложите всё, что у вас есть

* Le Moyen de parvenir. Глава LXXXVIII. Брантом в главе о Дон-Жуане Австрийском (Vies des grands Capitaines étrangers) передает почти такой же анекдот.

самого лучшего, потому что, уверяю вас, я хорошо снарядился... думаю, что я ничего не потерял». Совсем торжествующий крик охотника, который возвращается в замок с убитым оленем на плечах, просунув голову между связанных ног животного. Нужно его еще послушать, когда после смерти Карла Смелого, он с пламенеющей страстью алчет Бургундии. «Нет в моем воображении иного рая, кроме нее. Я больше жажду говорить о ней с вами, чтобы найти в этих словах успокоение, чем когда-либо мне хотелось говорить с исповедником о спасении моей души».

Величие такой цели смягчает отчасти нечестность средств. В эту эпоху родина так тесно отожествлена с королем, их интересы так переплетены, их будущее настолько одинаково, что иногда становится трудно точно отделить в Людовике XI скверного человека от искусного монарха. В этой борьбе против великих вассалов, наполняющих его царствование, на его стороне если не нравственное чувство, то право. Он сражается незаконными средствами против целой армии изменников; он становится предателем против предателей и клятвопреступником против клятвопреступников. Герцог Бургундский, герцог Бретонский, коннетабль де Сен-Поль, граф д'Арманьяк, его собственный брат герцог Гиенский разбойничали по всей Франции и грабили ее до основания. Это была охота на короля, охота феодальная, яростная и дикая. «Я так люблю королевство, – говорил герцог Бургундский, – что вместо одного короля я хотел бы иметь шестерых». А герцог Гиенский: – «Мы пустим за ним столько борзых, что он не будет знать, куда бежать». И тем не менее он убегал, быстрый и лукавый, неистощимый в вывертах, заметая следы, путая дороги, множа на своем пути западни и лабиринты; и из года в год один из охотников попадал в капкан или был сзади вышиблен из седла; до тех пор, пока, наконец, великий ловчий этой междоусобной охоты, Карл Бургундский, не был свален стрелой лотарингского лучника в Нансийском рву. Тогда смиренный король, на которого так долго велась облава, отправился осматривать свои западни и обирать своих охотников. Тех, которые еще дышали, он по-

садил в клетку, как графа де-Перш, или обезглавил, как герцога Немурского и коннетабля: затем он наложил руку на их владения и разделил их по-царски. Какая добыча! Пикардия, Бургундия, Русильон, Прованс, Мен и Анжу! Все эти суровые волки, которых он победил, могли бы ему сказать то, что в греческой песни отрубленная голова Клефта говорит терзающей ее птице: «Ешь, птица, будь сильна моей силой! Будь храбра моей храбростью! Твое крыло станет длиннее на локоть, а твой коготь на четверть». Его гробница, о которой он распорядился сам, кажется эмблемой его царствования: он захотел быть изваянным на своей могиле в охотничьем костюме, с копьем у пояса и с гончей в ногах.

В этой изумительно-упорной войне против мятежников право на его стороне; но симпатия колеблется. Он боролся против изменников, но его измены еще хуже и вероломство его еще чернее, чем вероломство его противника. Это не маска из полированой стали, как у итальянского притворства, эта маска подвижная, гримасничающая, с вероломным взглядом и фальшивой улыбкой. Он протествовал, клялся на мощах, он брал в свидетели свою старую шляпу, увешанную амулетами; он обнимал тех, кого хотел задушить; он «ползал на коленях», как говорит хроника, и «крестился с головы до ног». К извращенности лицемерия он присоединял еще отвратительность своих пантомим. Ничья душа не была менее царственной, чем душа этого короля. У него отсутствовало чувство чести. В Китае существует пословица, которой матери с колыбели учат своих детей, и ей, быть может, этот народ обязан своей неизлечимой низостью: «Siao sin; умали свое сердце». Это его пословица. Он переводил ее так на свой язык: «Когда Гордость скачет впереди, – говорил он, – Несчастия следуют сзади». Он повторял эту подлую поговорку, когда после Перроны герцог Бурундский позорно увез его с собой, чтобы громить на его глазах Льеж, город, поднявший его знамя. И когда Карл спросил его, что следует сделать с мятежным городом, он отвечал такой жестокой притчей: «У моего отца около дома стояло большое дерево, на котором вороны вили гнёзда; эти вороны надоедали ему, он велел снять

гнёзда раз и два; через год вороны продолжали свое. Мой отец велел выкорчевать дерево, и с тех пор он спал спокойнее».

Его политика была такая же увертливая и подозрительная, как его характер, вся основанная на полиции, инквизиции и шпионстве. Она внушала отвращение и ужас тем, кто является еще в этом веке представителем рыцарского и царственного. Можно понять гнев сильных и буйных людей, сражавшихся против него, когда они чувствовали себя опутанными этой лицемерной дипломатией. Львиное рыканье Карла Смелого, бьющегося в его безысходных тенетах, вызывает изумление: «Я сражаюсь, – восклицает он в одном воззвании, – против всемирного паука». Он тщетно боролся против него. Это был сказочный, магический паук, который ловил героя в свои паутины, сейчас же восстанавливающиеся, как только они разорваны: он может сколько угодно дырявить их ударами богатырского меча, липкая тюрьма становится только чаще и плотнее.

Но еще раз приходится повторить: кто знает, если* это двуличное поведение не было необходимым фехтовальным приемом в сложной борьбе, которую ему пришлось выдержать. Представьте святого, как Людовик IX, или рыцаря, как Франциск I, бьющегося против этого урагана, ставшего человеком, который носил имя Карла Смелого. Он бы погиб при первой же схватке и, быть может, Франция вместе с ним. Героизма не было бы достаточно, чтобы победить этого неистового Роланда, в личности которого Средневековье, находившееся при последнем издыхании, сосредоточило все свои силы и всё свое могущество. Для того чтобы с ним справиться, необходимы были наговоры, бормотания, чары и чудесные превращения среди бела дня политического чернокнижника.

Приняв драму, нам остается только хвалить актера. Даже смешные его стороны увеличивают художественность игры. Потертый бумазейный кафтан, придававший ему вид старой лисы, выскочившей полуощипанной из западни, был костюмом его роли, и он не расставался с ним всю жизнь. Он

* Так в тексте. (*Ред.*)

делал из него живую антитезу позлащенному и разукрашенному рыцарству: Режущим контрастом он характеризовал свою оппозицию пышности и деяниям феодального мира. Народный король, выступивший против сильных, он носил плебейскую ливрею и шляпу. Во время коронационного обеда он без всякой церемонии снял корону, которая была слишком широка для его головы, и положил ее на стол, как если бы это был простой колпак. Этот жест предвещал и заранее изображал его царствование. У него всегда были приятели с низов и дружба с народом. Сеньор де Гальянт рассказывает в своей хронике, что в Париже «он часто ходил из улицы в улицу, из дома в дом обедать и ужинать, то у одного, то у другого, разговаривая отдельно с каждым, чтобы стать приятным народу». Он велел себя записать «братом и товарищем великого братства парижских буржуа». Он ценил в своих «кумовьях», как он их называл после выпивки, именно их простонародность. За науку ему приходилось платить. Тот купец, с которым он часто бражничал, наскучив, что его все называют мессером Жаном, просил ему дать дворянство. Людовик XI дал ему благородное звание, но с тех пор не говорил с ним ни слова и, замечая его, еще более вытягивал и без того вытянутую физиономию. Купец пытался жаловаться; тогда король уже королевским голосом сказал ему: «Когда я вас сажал за мой стол, я обращался с вами как с первым человеком вашего сословия и не мешал своим придворным почитать вас как такового, теперь же, раз вы пожелали быть дворянином, то в этом качестве вы предшествуемы многими, которые его заслужили мечами своих предков и собственными заслугами, и я бы их оскорбил, относясь к вам с прежнею благосклонностью. Ступайте, господин дворянин».

К народу он всегда чувствовал слабость. Его счетные книги, которые мы только что раскрывали на кровавых страницах, наполнены милостынями, поданными из рук в руки, также и записями, подобными следующим: «Одно экю женщине, в вознаграждение за гуся, которого королевская собака по имени Мюге задушила около Блуа». «Одно экю бедному человеку около Мана в вознаграждение за попорченный королевскими лучниками хлеб, которые перешли через его

поле прямиком для того, чтобы нагнать короля на большой дороге». – «Одно экю дано бедной женщине в вознаграждение за то, что королевские собаки и борзые загрызли ее кошку около Монлуа, если идти из Тура в Амбуаз». Моментами кажется, что читаешь хозяйственную книгу какого-нибудь Людовика Благочестивого. Чувствуешь себя почти растроганным, когда видишь, как он во время своей последней болезни приглашает пастухов из Пуату, которые поют перед ним напевы своей страны, аккомпанируя себе «на тихих и нежных инструментах».

К закату своей жизни, когда он стал поддаваться и становиться более мрачным, ему нравилось всё больше и больше уходить в народ и леса, прислушиваясь во время охот к жалобам крестьян и к мнению дровосеков, расспрашивая угольщика в его хижине и пастуха в шалаше. Еще позже, когда он совсем заперся за решетками в своей крепостной башне в Плесси и охотился только на мышей с маленькими собаками, нарочно дрессированными для этой кошачьей игры, ему доставляло удовольствие спускаться в людские и болтать с теми, кого он там встречал. – Однажды он встретил в своей кухне ребенка, который вращал вертел. Он спросил у него, что он зарабатывает. Поваренок, который никогда его не видал, отвечал: «Столько же, сколько король, потому что у него тоже только одна жизнь, как у меня моя. Бог питает короля, а король меня». Людовик XI, восхищенный, сделал этого поваренка пажом и обеспечил его судьбу. Фаворитами его были как известно, его цирюльник и его палач.

Эта фантазия властителя, который ищет своего доверенного очень низко, чтобы его возвысить до себя и говорить ему на ухо, встречается почти у всех королей типа Людовика XI. Кого в древней истории находят прежде всего на первой ступени трона цезарей, царей, султанов, абсолютных и подозрительных властителей, погруженных в мрачные мысли? Евнуха, вольноотпущенника, мужика, лодочника с Босфора. Деспот доверяется только малым, созданным мановением его собственной руки. – Как царь античного Мифа, он делает дырку в земле, чтобы сложить в нее свои тайны.

XI. Цезарь Борджиа

Если бы в истории, как в библиотеках, существовало свое отделение Ада, Цезарь Борджиа герцог Валентинуа заслуживал бы там особого места. Он представляет, быть может, единственное явление существа, рожденного, приспособленного и организованного для зла, и настолько же чуждого идеям человеческой нравственности, насколько обитатель другой планеты может быть чужд физическим законам земного шара. Великие преступники, которые ужасали мир размерами и родом своих преступлений, все, более или менее, имели слабые стороны и незащищенные места в своей броне, свои мгновения умиления или раскаяния. В их жизни всегда есть моменты, когда они останавливаются и оглядываются назад испуганным взглядом. Юность Нерона человекоподобна; Иван Грозный после убийства своего сына затворяется в Кремле, рыча от боли. Али-Паша дает старому дервишу, схватившему за узду его лошадь, остановить себя на пороге одной из мечетей Янины; он выслушивает, не поведя бровью, неистовые ругательства, которые старик изрыгает ему в лицо, и крупные слезы молча катятся по его седой бороде. Сам Александр VI, отец Цезаря, собирает консисторию после братоубийства своего сына и с ужасом раскрывает свою душу кардиналам, исповедуется и бьет себя в грудь. Цезарь же Борджиа отлит целиком в своей закоснелости. Ему не знакомы ни сомнения, ни усталость. В сложном и беспокойном веке, в котором он живет, он устраивает засады и убивает, пробирается ползком и прядает, как индийский тигр в своих джунглях. Он похож на него блеском, силой, гибкостью, жутким изяществом, прыжками и гибкостью движений. Подобно ему, он повинуется непроизвольному инстинкту разрушения. То, что поражает с первого взгляда, когда начинаешь ближе изучать это молодое чудовище, – это воодушевление и искренность, которые он вкладывает в совершение своих преступлений. Ничего принужденного, ничего театрального. В его честолюбии есть холодный порыв хищника, самое его вероломство связано с той остротой обоняния и слуха, которой природа наделяет диких зверей. Таким он нам рисуется на большом портрете во дворце Боргезе, который передает его

«диавольскую красоту» в полном смысле этого слова. Опустив одну руку на кинжал, а другой держа один из тех золотых шариков, которые употреблялись для духов, он смотрит вам в лицо с невозмутимой ясностью. Этот взгляд не выражает ни ненависти, ни гнева, только волю: волю роковую, неизбежную, заостренную, как меч, и воображение, проникаясь ею, чувствует ее лезвие и холод. Искусство редко уподоблялось жизни в более высокой степени. Это живой человек, вставленный в кедровую доску, как хищная птица, пригвожденная к дверям. Это образ злости, молодой, величественной, цветущей, исполненной гением и возможностями. Это мощное здоровье в порочности, неуязвимое для угрызений совести, он, впрочем, наследовал от своего отца. Александр VI был того же закала. – «Папе семьдесят лет, – доносит сеньории Франческо Капелло, венецианский посланник при римском дворе, – но он молодеет с каждым днем, его заботы и беспокойства не длятся дольше одной ночи. По природе он мало серьезен и думает только о своих выгодах. Его честолюбие направлено только к тому, чтобы сделать великими своих детей: других забот у него нет. Ne d'altro ha cura».

Точно бредишь, точно видишь сон, когда видишь Цезаря Борджиа, с воодушевлением и неуязвимостью демона действующего среди живописного ада Рима пятнадцатого века. Чудовищность происшествий делает их почти непонятными. Сын папы и куртизанки, он является человеком действия, этого единственного в истории понтификата, воплощающего адский фарс, о котором говорят древние легенды: Сатана в облачении и в митре, пародирующий божественные таинства на развалинах древнего алтаря. – В Антверпенском музее есть венецианская картина, прекрасно символизирующая, без ведома художника, царствование этого необычайного папы. На ней вы видите Александра VI, представляющего св. Петру пафосского епископа in partibus*, которого он только что назначил начальником своих галер. Св. Петр сидит на барельефе, изображающем пляску бесстыдной вакханалии: в глубине выделяется статуэтка Амура, поправляющего лук. Это

* Имеющий титул, но не исполняющий обязанности (*лат.*).

странное смешение: св. Петр, Борджиа, епископ Венериной епархии, идол, и надо всем языческая сатурналия – является образом разительных противоречий этого периода истории. Что такое царствование Александра VI, если не дьявольский карнавал старой Римской Империи, воскрешенной на несколько лет в костюмах и масках католицизма? Тиверий возвращается в мир, переодетый папой, и перекраивает Рим на свой образец. В Ватикане, как и на Капри, устраиваются оргии: во время свадьбы Лукреции Борджиа, во время пира, пляшут пятьдесят обнаженных куртизанок и подбирают между канделябрами, поставленными на землю, швыряемые им каштаны. Несколько дней спустя папа устраивает для своих детей зрелище: кобыла, преследуемая разгоряченными жеребцами, носится по одному из дворцовых дворов*. Когда Людовик XII, идя на Неаполь, подошел к Риму, Александр VI послал навстречу армии пятьдесят бочек вина, хлеба, мяса, яиц, фруктов, сыру; а для короля и его капитанов шестнадцать самых красивых публичных женщин города**. Как предусмотрительный хозяин, он приказал построить на месте стоянки палатки из ветвей. – Через двенадцать веков возобновляются кровавые игры цирка на том самом месте, где Нерон жег мучеников. Однажды после ужина Цезарь в охотничьем костюме приказывает привести шесть приговоренных к смерти, – gladiandi, на загороженную балками площадь св. Петра; он садится на коня, травит эту человечью дичь и убивает всех стрелами***. Папа, его дочь, зять и его любовница Джулия Белла присутствуют на балконе при этом возобновлении античных зрелищ: «Ave, papa, morituri te salutant!»**** Александр VI обирает наследства Священной Коллегии, как Калигула обирал наследства Римского Сената: эпидемия, которая истребляла состоятельных сенаторов, снова начинает свирепствовать между слишком богатыми кардиналами.

* Бурхард. Diarium romanum, ap. Eccard: Corpus historicum medii aevi, t. II, p. 2134.

** «Quae illorum necessitatibus providerent», Burchard, ap. Eccard, t. II, p. 2134.

*** «Et quasi tandem animalia perierunt. Ibid, t. II. 2121.

**** «Славься, папа, идущие на смерть приветствуют тебя!» (*лат.*)

Cantarella* Борджиев стоит грибов и составов Локусты. Отравив кардинала Орсини, папа с иронией говорит Священной Коллегии: «Мы его поручили хорошим врачам». Рим, в лице лучших своих представителей, подобно только что открытой группе Лаокоона, стиснут кольцами гидры отравительства. Смерть скрывается в перчатке, в плодах, в напитке, в царапине, сделанной перстнем, в запахе духов, в причастном вине и в Св. Дарах. Кажется, что самое присутствие Александра источает яд. Даже вспышки его гнева поражают громом. Людовик Капра, епископ Пезарский и кардинал Лоренцо Чибо умерли от страха по выходе с аудиенции, на которой он угрожал им.

Чтобы довершить сходство понтификата Борджиев с императорским Римом, Лукреция, дочь папы, бывшая четыре раза замужем и трижды кровосмесительница, повторяет грандиозное бесчестие Юлий и Друзилл дома Цезарей. Отец окружает ее кощунственными почестями. Он заставляет ее вместе с ее сестрой Санцией непристойно председательствовать во время празднеств св. Петра на мраморном аналое, на котором каноники поют Евангелие: Super pulpitum marmoreum in quo canonici Sancti Petri Epistolam et Evangelium decantare consueverunt. Слуги Лукреции носят епископские ливреи; прелаты ей прислуживают за столом; совершать мессу в ее присутствии дозволено только кардиналам. В отсутствие папы она вскрывает послания, составляет депеши и созывает Священную Коллегию. Мифическая папесса Иоанна точно воскресает и царит в ее лице.

Но в императорском Риме мы не найдем бандита с характером Цезаря Борджиа. Его тираны в большинстве случаев коронованные сумасшедшие; они страдают либо головокружением абсолютной власти, либо горячкой жестокости. Цезарь Борджиа их превосходит умом, всегда остающимся трезвым и ясным. В нем нет ничего больного, ничего безумного, ничего химерического. У него есть свой план – власть над Романией. У него своя политика, которая может быть кратко формулирована: «мертвые не возвращаются». Жестокая логика правит его жизнью, лишь внешне распущенной. Облегченный от бремени души, совести, угрызений и все-

* Яд, использовавшийся семейством Борджиа для устранения неугодных. (*Ред.*)

го нравственного багажа, который замедляет шаг обычных преступников, он шагает быстро, поспевает всюду, разрубает, вместо того чтобы развязывать, наносит удары, тем более верные, что его рука не дрожит никогда.

Его старший брат, герцог Гандии, был естественной главой этого дома Борджиев, из которого папа хотел сделать королевскую или княжескую династию. Его права старшинства отодвигали Цезаря на второй план. Его сделали кардиналом, как позже младших братьев делали аббатами или рыцарями мальтийского ордена. Цезарь сперва спокойно присутствовал при возрастающем величии своего брата; он предоставлял папе осыпать его богатствами, оделял его герцогствами, достоинствами и почестями. Это была терпеливость бандита в засаде, с радостью глядящего на человека, которого он сейчас ограбит, облачится в самые богатые его платья и украсится всеми его драгоценностями. Когда герцог Гандии созрел для того, чтобы быть убитым и замещенным, Цезарь его убил при помощи пяти наемных убийц, сел на лошадь, перекинул тело через круп лошади, головою вниз, и ночью бросил его в Тибр. Бурхард, этот Данжо Борджиев, дает нам такое описание убийства:

«Четырнадцатого июля сеньор Кардинал Валенсии (Цезарь Борджиа) и славный сеньор Иоанн Борджиа, герцог Гандии, старший сын папы, ужинали в виноградниках госпожи Ванноццы, их матери, около церкви св. Петра в Оковах. По окончании ужина герцог и кардинал сели на своих мулов. Но герцог уже перед дворцом вице-канцлера сказал, что прежде чем вернуться, он отправится куда-нибудь развлечься; он распрощался со своим братом и удалился, имея при себе лишь гайдука и человека, присутствовавшего замаскированным на ужине, который уже в течение месяца каждый день бывал во дворце. Достигнув площади Джюдетты, герцог отпустил гайдука, велев ему в течение часа ожидать на площади, а затем возвращаться во дворец, если он не вернется. Сказавши это, он удалился с замаскированным человеком, и я не знаю, куда он направился, но он был убит и брошен в Тибр около госпиталя св. Иеронима. Гайдук, оставшийся на площади Джюдетты, был там смертельно ранен и принят из

милосердия в какой-то дом; он не мог дать никаких указаний о том, что сталось с его господином. Утром герцог не вернулся, и его личные слуги известили об этом папу, который, очень обеспокоенный, старался себя убедить в том, что он развлекается с какой-нибудь женщиной и вернется вечером. Но когда этого не случилось, папа, глубоко опечаленный и потрясенный до глубины души, приказал начать розыски. Некий Джорджио Скиавони, державший паром на берегу Тибра и стороживший его по ночам, допрошенный о том, не видел ли он в среду ночью, что кого-нибудь кидали в воду, отвечал, что действительно он видел двух людей, пришедших пешком по переулку налево от госпиталя, в пятом часу ночи, и что эти люди смотрели по сторонам, не видит ли их кто, и когда они никого не заметили, то из переулка вскоре вышли двое других, которые тоже смотрели, и сделали знак всаднику, сидевшему на белой лошади и имевшему за спиною труп, голова и руки которого висели с одной стороны, а ноги с другой. Двое из людей, которые шли сзади всадника, взяли труп за руки и ноги, раскачали с силой и бросили его в реку, как можно дальше. Тот, который был верхом, спросил, потонул ли он; они ответили: signor, si*. Затем он дал шпоры коню, но, обернувшись, заметил плащ, плавающий по воде. Он спросил: «Что же я там вижу черное на реке? Они отвечали: «Синьор, это плащ». Тогда один из них стал бросать камни, что заставило плащ погрузиться. Свершивши это, и пеший, и всадники исчезли в переулке, ведущем по направлению Сан-Джиакопо». Это народное свидетельство заключается чертой, достойной Шекспира: «Папские камерарии спросили у Джорджио Скиавони, почему он не донес об этом факте правителю города. Он отвечал: "С тех пор, как я занимаюсь перевозом, я видел, как более ста трупов было брошено в этом месте реки, и об них еще ни разу не справлялись. Поэтому я думал, что этому случаю не будут придавать значения больше, чем предыдущим".

В самую ночь братоубийства Цезарь уехал в Неаполь, куда отправил его папа, присутствовать в качестве легата

* Да, синьор (*ит.*).

a latere* при короновании короля Фридриха. Он совершил великолепный въезд с хоругвями, развевающимися по ветру, при звуке труб, окруженный массой пажей, конюших, литаврщиков, всадников всякого оружия в пестрых костюмах, на лошадях, подкованных золотыми подковами.

Несколько времени спустя он отравил за столом кардинала Иоанна, своего двоюродного брата. Затем у него явилось желание сделать свою сестру Лукрецию герцогиней Феррарской. Она была замужем третьим браком за доном Альфонсом Арагонским, одним из батаров неаполитанского дома, юношей кротким и робким. Испуганный мальчик бежал в Неаполь, где спрятался за юбки своей матери. Цезарь был с ним так ласков, что уговорил его вернуться в Рим. Три дня спустя, в четыре часа ночи на лестнице св. Петра, он ударил его кинжалом. «Принц весь в крови прибежал к папе, восклицая: “Я ранен!” – и сказал ему кем; а Мадонна Лукреция, дочь папы и жена принца, находившаяся в то время в комнате своего отца, упала без чувств»**. На этот раз папа возмутился и приказал шестнадцати своим слугам непрестанно охранять юного принца. Цезарь сказал просто: «То, что не удалось за обедом, будет за ужином». Сказанное было исполнено. Однажды Цезарь, войдя в комнату и застав принца уже на ногах, приказал своей сестре и его жене выйти и задушил его при помощи Микелетто, своего обычного пособника. «Так как герцог не пожелал умереть от своих ран, то он был задушен», – говорит Бурхард в своем Diarium. Это обычный стиль этого честного альзасского прелата, которого случай сделал церемониймейстером Александра VI. Он пишет чернилами из лимфы свою кровавую хронику: его можно принять за евнуха, отмечающего привычной рукой убийства и распутства сераля. Но сила вещей вызывает у него по временам черты иронии и сарказма, достойные Тацита. В конце концов глупость писца гарантирует истинность его писания: таким людям, как Бурхард, можно верить на слово. У них нет достаточно воображения, чтобы придумать ложь. Ивиковы журавли – неотводимые свидетели.

* Со специальным поручением (*лат.*).

** (Relatione di Paolo Capello 28 сент. 1500).

Александр VI трепетал перед своим страшным сыном. Однажды тот убил одного из его любимцев, по имени Перотто, под мантией папы, куда он спрятался, так что кровь брызнула в лицо папе. – «Каждый день в Риме, – говорит одно венецианское донесение, – оказывается, что ночью было убито четыре или пять синьоров, епископов, прелатов или других особ. И дошло до того, что весь Рим трепещет перед герцогом, каждый опасаясь за свою жизнь». Дон Жуан де Червильоне не захотел уступить ему своей жены, он велел его обезглавить посреди улицы, по-турецки: булыжник служил плахой. Какой-то замаскированный человек кинул ему во время карнавальных скачек оскорбительную эпиграмму; Цезарь приказал его арестовать и отправить в Савельскую тюрьму; ему отрубили руку и язык и привязали последний к мизинцу отрезанной руки. – За перевод на латинский язык одного греческого памфлета против Борджиев, венецианец Лоренцо, несмотря на протесты республики, был кинут в реку. Асторэ Манфреди, синьор Фаэнцы, отказавшийся отдать свой город герцогу Валентинуа, был взят вместе с городом после шестимесячной героической защиты. Асторэ было шестнадцать лет, он был прекрасен, как греческий эфеб. Цезарь отправил его в Рим вместе с его младшим братом: он таскал обоих детей по всем клоакам Содома; затем через год их нашли в Тибре задушенными и связанными вместе за руки. Одну из лучших своих штук он сыграл с мессером Рамиро д'Орко, человеком топора и веревки, которому он поручил укрощение Романьи после ее завоеванья. Рамиро оправдал его выбор и казнями укротил дух мятежа. Но этот террор зажег новую ненависть, страна, казалось, была готова восстать вновь. Чтобы ее успокоить, Цезарь однажды утром на народной площади Чезене показал тело Рамиро, разрезанное на куски, и окровавленный нож рядом с трупом. Это зрелище привлекло к нему Романью, она приветствовала великодушного государя, который сломал топорище своего топора, когда оно пришло в негодность. Макиавелли, находившийся в посольстве при Борджиа, доносит сначала Флорентийской Синьории: «Истинная причина смерти Рамиро неизвестна; самое вероятное,

что можно сказать, что такова была воля герцога Валентинуа, дабы показать, что он может возвышать и уничтожать людей по своему желанию». Но позже в своей книге «Государь», он, возвращаясь к казни Рамиро, разбирает ее и восторгается ей как мастерским ходом. «Герцог, зная, что первоначальная суровость вызвала некоторое озлобление, и желая погасить это чувство в сердцах, дабы они ему были всецело преданы, хотел показать, что если некоторые жестокости и были совершены, то они исходили не от него, а от жестокосердия его министра... Образ действий его в этом случае может служить примером, и с ним небесполезно ознакомиться».

Перед тем же Макиавелли Цезарь Борджиа имел честь сыграть лучшую из своих трагедий – знаменитую западню Синигалии. Вителли, Орсино, Ливеротто, Гравина, четыре самых опасных полководца Италии, были туда завлечены, схвачены и задушены одною и тою же петлей! Цезарь превзошел самого себя, чтобы заслужить одобрение такого судьи. Такой зритель, поставленный лицом к лицу с таким трагиком, является в истории одной из самых любопытных встреч. Цезарь не заботится о присутствии Макиавелли, он замышляет, обдумывает, исполняет свое преступление перед ним с ревностью шахматного игрока, который чувствует за своим плечом взгляд опытного теоретика. Диавольским чудом этого великолепного Синигальского дела было не столько убийство, сколько поимка. Четыре жертвы, которых он заманил в капкан, были его смертельными врагами; десять раз они испытали лживость его слова; предчувствие катастрофы владело ими заранее. Один из них – Вителеццо Вителли, прежде чем отправиться в Синигалию, прощался со своей семьей, как умирающий... И, тем не менее, они все туда приехали, завороженные, как бы усыпленные смертельным магнетизмом. Цезарь их принял с «очаровательной любезностью» на пороге своего дома и велел их проводить в часовню, где они были немедленно задушены. Комическая черта этой трагедии – это Вителеццо Вителли с веревкой на шее, просящий своего палача выхлопотать у папы полную индульгенцию своих грехов. Александр VI очень смеялся над четырьмя ду-

раками Синигалии и говорил, что это Бог их наказал за то, что они доверились Валентинуа, после того, как клялись никогда ему не доверяться.

Хотя Макиавелли пишет своему правительству «донесение об этом деле» бронзовым пером, но оно дрожит от восторга. Художник политики нашел своего Государя. Он восклицает «Eureca!»*, как Архимед, решивший задачу: «Подводя итоги всему поведению герцога Валентинуа, я не только не могу найти в нем ничего достойного осуждения, но мне кажется, что его можно предложить, как образец, всем тем, кто достиг царской власти благоволением счастья и чужим оружием. Наделенный большим мужеством и высоким честолюбием, он не мог вести себя иначе, и выполнение его планов могло быть приостановлено только краткостью жизни его отца Александра и собственной его болезнью. Если только кто-нибудь находит, говоря о новом государстве, что ему необходимо обеспечить себя против врагов, приобрести друзей, победить силою или хитростью, быть любимым народами и внушать им страх, быть уважаемым повинующимися солдатами, уничтожать тех, кто могут и должны ему вредить, заменять старые учреждения новыми, быть одновременно строгим и любезным, великодушным и свободолюбивым, образовывать новое войско и распускать старое, пользоваться дружбой королей и князей так, чтобы они любили ему оказывать одолжения и опасались нанести ему оскорбления; тот, говорю я, не может найти примеров более современных, чем те, которые представляет политическая жизнь герцога Валентинуа».

Цезарь Борджиа дает ключ к Макиавелли: «Государь» списан с него. Эта загадочная книга истощила все комментарии. Одни приписывают ей иронию пророка Осии, сочетавшегося с проституткой и выставлявшего напоказ свое прелюбодеяние, чтобы ужаснуть Израиль аллегорией своего собственного позора. Другие хотят видеть в ней западню, расставленную Лоренцо Медичи, которому Макиавелли посвятил свое произведение, надеясь его погубить, толкнув на путь тирании. Другие же рассматривают ее как опера-

* Я нашел (*греч.*).

цию политического хирурга, который объясняет правителям действие органов и пружин власти с научным бесстрастием профессора Рембрандтского «Урока Анатомии», рассекающего труп перед своей аудиторией. Самым простым ее толкованием будет художник, обобщающий свою модель. Влияние Цезаря Борджиа на Макиавелли неоспоримо. Он видел его вблизи и за делом; он долго жил при этом дворе, «где никогда не говорятся вещи, о которых надо умалчивать, и где всё правление происходит в изумительной тайне». С холодным беспристрастием он изучает этого опасного человека, вооруженного всеми доспехами силы, всеми изворотами хитрости, заключенного в своем эгоизме, подобно крокодилу в своей броне, естественное и совершенное произведение ужасной Италии того времени. Он нашел его созданным для того, чтобы ею владычествовать и править, и, доказав его силу, разобрав его поступки, приведя в систему его жестокости и обманы, он сделал из него тип высшего порядка, идеал Тирана.

Не забудем, что книга «Государь» была написана во время одного из самых кровавых затмений морального чувства, переживавшихся миром, в эпоху, когда идея права исчезла из сознаний, когда всякая безвредная личность, будь она подданным или государем, неизбежно долженствовала быть уничтоженной. Герб, принятый Цезарем Борджиа: Дракон, побеждающий и пожирающий змей, был настолько же эмблемой его эпохи, как и его собственной. Кажется, что Италия XV века подпадает вновь под власть жестокого закона истребления слабых сильными, царящего в животном царстве. Правители того времени, стоявшие ниже Цезаря Борджиа по уму, равны ему в преступности. Бентиволио, правитель Болоньи, в одну ночь перерезал семью своего соперника, состоявшую свыше чем из двухсот членов. Оливеретто, один из жертв Синигалии, племянник Джиованни Фоглиани, правителя Фермо, пригласив своего дядю вместе с самыми значительными гражданами страны на большой пир, приказал их всех перерезать посреди празднества и захватил город, приведенный в ужас этим неожиданным нападением. Макиавелли, имея

перед глазами человека, стоявшего выше этих разбойников второго сорта, создает своего Государя по его подобию и соответственно тем противникам, против которых ему надо бороться. Он его учит строить козни, устраивать засады, душить своих врагов, раньше чем они успеют повредить ему, видеть в других людях лишь орудия либо препятствия, которые нужно устранить. «Т е л е м а к» пишется при дворе Людовика XIV «ad usum Serenissimi Delphini»*; «Г о с у д а р ь» пишется ad usum всехитрейшего и всежесточайшего Лоренцо Медичи, непосредственно после Синигальских избиений.

Впрочем, Макиавелли рассматривает человеческие деяния скорее с точки зрения естественника, чем историка. Он устанавливает законы успеха, не порицая, не оправдывая их: у него нет ни предпочтения, ни системы. Точно так же как в книге «Г о с у д а р ь» он преподает тирану искусство править народом, точно так же в своей «Р е ч и о Т и т е Л и в и и» он учит народ искусству свергать тирана. Его жестокий гений обоюдоостр; он учит владеть шпагой и фехтовальными приемами заговорщика и трибуна так же хорошо, как и деспота. Его творение можно себе представить в виде кабинета политических консультаций полных обходов, лабиринтов с двойными входами и выходами. Сулла может выйти из него через одну дверь со списком проскрипций, спрятанным под тогой, а Херея через другую с кинжалом.

Легенда или действительный факт – трагический ужин, на котором, если верить Бембо и Полю Жову, Александр и его сын испили смерть, перепутав стаканы? Дело шло о том, чтобы отравить пять кардиналов сразу; стол был накрыт в винограднике св. Петра в Оковах. Папа и Цезарь, приехав, спросили напиться. Дворецкий, посвященный в секрет смертельных фляг, отправился во дворец за корзиной персиков; а его лакей взял, не разбирая, одну из бутылок, и налил им подмешанного хиосского вина. Яд подействовал на старого папу с силой огня, он упал, как пораженный громом. Цезарь же поборол отраву, как укрощают змею; он создал себе желудок Митридата, способный переносить самые страшные

* Для употребления Светлейшего Дофина (*лат.*)

яды. Однако cantarella, этот подсахаренный состав, скрывавший едкое пламя, поразил его внутренности. Рассказывают, что он, для того чтобы исцелиться, велел себя погрузить в брюхо только что убитого быка. В этой сказке, если только это сказка, – есть красота мифа. Этот человек убийств и кровосмесительств, воплощенный в животное древних гекатомб и бестиальностей, вызывает чудовищные образы. Мне кажется, что я слышу Фаларийского быка и быка Пасифайи, отвечающих издали ужасающим мычанием на человеческие крики этого буцентавра.

Цезарь, как говорят, вышел облысевшим из огня отравы, но гибким, нервным и полным жизни, как змея, сбросившая старую кожу. «Герцог Валентинуа, – передает Макиавелли,– говорил мне во время избрания Юлия II, что он обдумал всё, что могло случиться, если его отец умрет, и нашел средство для всего, но что он никогда не мог себе представить того, что в этот момент он сам будет находиться при смерти». Ecetto che non penso mai, in sulla sua morte, di stare ancor lui per morire. Опасность была велика, если судить по той ненависти, которая поднялась со всех сторон. Тело папы, брошенное в одну из часовен св. Петра, без свечей и священников было предано на целую ночь насилиям и непристойным надругательствам нескольких рабочих. Утром они прикрыли полуразложившийся труп старой циновкой и бросили его в гроб, который оказался слишком узок: тогда они его запихали туда ударами ног и кулаков, стащили его в могилу и плевали в нее. Между тем на улице избивали приверженцев Борджиев. Фабий Орсини, убив одного из слуг герцога, прополоскал себе рот его кровью.

Однако Цезарь весьма величественно вышел из этого нежданного разгрома. Он не потерял перед врагами своего достоинства, укрепил Ватикан против города, вступил в переговоры с конклавом, с кинжалом у горла заставил кардинала-казначея выдать ему все богатства отца и сам поставил новому папе условия своего отречения и изгнания. Его выезд из Рима не уступал торжественности его въездов. Он удалился, лежа на носилках, несомых двенадцатью алебардистами и подкрытых пурпурной мантией. Рядом два пажа вели под уз-

дцы его лошадь в траурной попоне, а кругом скакали верхами с аркебузами в руках его старые рейтеры, почерневшие в огне всех гражданских войн Италии. Сатана, заклятый святым городом, покидал его вместе со своим воинством, но с адскою гордостью и высоко держа свой лоб, опаленный молнией.

С этого времени Цезарь «начал быть ничем», как сказал ему Саннацар в оскорбительном двустишии... Incipis esse nihil. Несмотря ни на что, счастье не покидало его, и ему удалось бежать при помощи веревки, перекинутой через пропасть, из крепости Медины, куда он был заключен испанским королем. «Вот отсюда, – говорил сторож крепости Брантому, показывая ему окно тюрьмы, – спасся чудесным образом Цезарь Борджиа: "Señor, por aqui se salvó César Borgià por gran milagro"». С крушением его честолюбивых планов преступления стали ему бесполезны, и весьма вероятно, что он их не совершал больше, а стал просто мужественным вождем кондотьеров. Люди его породы не делают зла ради зла, как хищные животные не нападают на добычу, когда они сыты. В течение семи лет следы его теряются до того дня, когда мы находим его снова, храбро сражающегося при осаде Вианы рядом с братом его жены, королем Наваррским. Он был там убит во время одной вылазки ударом копья. Безнравственная любовь, которую питала Фортуна к этому бандиту, проявлялась до последнего дня: она дала ему умереть солдатом. Этот Дантовский грешник пал как герой Ариоста.

XII. Бенвенуто Челлини

Бенвенуто Челлини было пять лет, когда однажды зимним вечером его отцу, игравшему на виоле около очага, показалось, что он видит животное, похожее на ящерицу, танцующую в самом пламени. Он приказал ребенку приблизиться и дал ему пощечину, от которой у того брызнули слезы из глаз. Но отец быстро их осушил ласками: «Милый мальчик, – сказал он ему, – я тебя ударил вовсе не для того, чтобы наказать, но только для того, чтобы ты помнил, что ящерица, которую ты видишь в огне, есть саламандра, животное, которое не видал ни один человек из живущих на земле».

Этот случай его детства был предвещанием и символом всей его жизни: он тоже был животным, живущим в пламени, человеком огня, гнева и желчи, который в течение шестидесяти лет метался в вихре страстей, первая же вспышка которых могла бы пожрать организм не столь мощный. Его мемуары, написанные в последние годы жизни, – это воспоминания Orlando furioso* реальной жизни. Рука старца, записывающего свою историю, дрожит, но не от старости, а от поздней гордости, от неутоленной ненависти или от удовлетворенного мщения. Это конь Мазепы, возвращающийся в свое стойло: он в крови, он в пене, он еще дымится. Из них можно видеть, чем было искусство XVI века: не роскошью, не вкусом, не дилетантизмом успокоенной эпохи, а страстью бурной и страшной, фанатичной до крайности, в некотором роде магометанством наоборот, пропагандирующим, навязывающим своих идолов с тем же самым пылом, с каким последнее их сокрушало. Жизнь Челлини была одним долгим приступом гнева, прерываемым упоительным вдохновением. Бандит с руками феи, он сеял драгоценности в крови убийств и засад, как Аталанта, кидающая свои золотые яблоки в пыль арены. Возрождение не имело сына более необычайного, чем этот гладиатор, владевший резцом, этот циклоп, чеканивший перстни. Странное противоречие самого утонченного воображения, соединенного с самым неуживчивым характером.

Для него характерно бешенство, ставшее у него хроническим. Он вне себя от рождения, он родился с пеной у рта. Всё инстинктивно в этой дикой натуре: и порыв первого впечатления, и быстрота выполнения, и страсть, порождаемая силой. Он рычит и щетинится на своих противников, как лев против тех, кто решится оспаривать его пещеру и его водопой. Мы видим, как в двадцать лет он врывается в мастерскую соперников-ювелиров. «Предатели, – воскликнул я, – вот день, когда я убью всех вас!» Позже, посреди улицы в Риме, он заколол Помпео, золотых дел мастера папы, с которым у него были счеты. «Я хотел только пустить ему кровь, – говорит он, – но нет возможности, как говорится, соразмерять свои удары». В Париже, вооруженный с ног до головы, он ворвался

* Неистовый Роланд (*ит.*)

в мастерскую Приматиччио, оспаривавшего у него одну статую, и со шпагой у горла заставил его отказаться от заказа. «Мессер Франческо, знай, что если я узнаю, что ты когда-нибудь, каким-нибудь манером вновь начнешь переговоры об этом заказе, который принадлежит мне, то я убью тебя, как собаку!» Во Флоренции он встречается с мрачным и гневным Бачио Бандинелли, который стер свои зубы о резец Микель-Анджело, еще более твердый, чем клинок, который кусает змея в басне. Тип завистливого художника, которого Данте мог бы поместить в своем Чистилище между тех душ, которые в позах кариатид корчатся, придавленные огромными камнями. – А его бременем мог быть один из барельефов Буонаротти, под которым он был бы раздавлен дважды – тяжестью мрамора и красотой шедевра. – Борьба между Бачио и Бенвенуто была ужасна. Нападение и защита здесь уравновешены: та же степень гордости, та же мрачность темперамента, та же сила едкости и гнева. Нужно видеть, как они спорят из-за каждой глыбы мрамора, которую присылают герцогу из Каррары или из Греции. Кажется, что они готовы ее разбить, чтобы побить друг друга ее обломками. Иногда они встречаются перед произведением, только что законченным одним из них. Тогда у подножия статуи начинается ссора, напоминающая барельефы античных цоколей, на которых два разъяренных барана бьют друг друга рогами. Но в этой гомерической ругани преимущество остается на стороне Челлини: он точно труба, гремящая проклятиями. Послушайте, как он поносит «Геракла» своего соперника; его слово стоит ножа Аполлона, снимающего кожу Марсия: оно проникает в мрамор, как в живое тело: «Говорят, что если обрезать волосы твоему Геркулесу, то у него не останется достаточно черепа, чтобы вместить мозг; никто не разберет, человечье ли у него лицо, львиное или бычье; говорят, что его голова не участвует в движении и не держится на шее; что его два плеча напоминают корзины вьючного осла; что его ноги скопированы не с человеческой ноги, а со старого мешка с дынями, поставленного стоймя около стены; что его спина производит впечатление мешка с длинными тыквами; напрасно стараются

понять, каким образом две ноги связаны с этим безобразным торсом, который не опирается ни на одну, ни на другую. Эта несчастная статуя падает вперед больше чем на четверть, что является самой грубой и самой отвратительной ошибкой, которую могут сделать всякие дюжинные артисты, которых мы знаем. Все находят, что руки свисают так некрасиво, что можно предположить, что ты никогда не видал людей голых и живых, что у правых ног Геркулеса и Кака не хватит даже одной икры на двух; а еще говорят, что одна нога Геркулеса стоит на земле, а другая точно поставлена на огонь»...

И он продолжает так, издеваясь, оскорбляя, вопя, пока дух не захватит. Нет ни одного мгновения отдыха, ни одного перерыва в этом наступательном существовании. Обнажить и пустить в дело свой кинжал было самым естественным и частым из его жестов. Для его злопамятства все обиды были равны. Он возмещал смертью неуважение и оскорбление, пустячную обиду точно так же, как жестокое оскорбление. А так как он сам короновал себя державным монархом своего искусства, то каждый проступок по отношению к нему становился оскорблением Величества. – Его брат убит в драке со стражниками; он «выслеживает, как любовницу», солдата, его убившего, пока, встретив его у дверей одного кабака, не убивает сзади ударом стилета между шейным и затылочным позвонком. Один хозяин гостиницы в Ферраре, к которому он зашел, потребовал, чтобы он заплатил вперед: тот же самый гнев, то же негодование. Он провел ночь, обдумывая план мести. «Сначала я думал поджечь дом, затем зарезать четырех лошадей, которые стояли в конюшне хозяина гостиницы». Но времени на это не было, и он, прежде чем уехать, разрядил свой гнев в гостинице, искромсав ударами ножа простыни на постелях. «Я так изрубил четыре постели, что сделал убытка по крайней мере на пять-десять экю». – Его ссоры с любовницами переходили в драку и убийства. Желая отомстить одной юной девушке, служившей у него натурщицей и ему изменившей с одним из подмастерий, он заставлял ее позировать в течение долгих часов в самых утомительных позах. Когда она хотела жаловаться, он избил ее чуть не до

смерти. «Придя в ярость, я схватил ее за волосы и таскал по комнате, колотя ногами и кулаками, пока усталость не заставила меня остановиться».

Впрочем, эта лихорадочная ярость была темпераментом его века. Нет ничего более любопытного, чем отношение Челлини с его покровителями. В них есть какая-то грубая и терпкая сердечность. – Один испанский епископ заставляет его ждать платы за вазу, он ее берет обратно под тем предлогом, что хочет окончить, а лакеям, которых присылают за ней, показывает зубы дракона, охраняющего сокровище. Епископ посылает шайку головорезов, чтобы застигнуть его в его собственной мастерской; он встречает их со штуцером в руке, а затем, надев кольчугу, с вазой в одной руке и кинжалом в другой дерзко проникает во дворец прелата. Он проходит через приемную, наполненную сбирами, сидящими с оружием в руках. «Мне казалось, что я прохожу посреди Зодиака, у одного было выражение Льва, у другого Скорпиона, у третьего Рака». Увидев его, епископ разражается проклятиями: он хочет получить свою чашу, Челлини требует своих денег. Дело кончается дружеским обменом, пересыпанным похвалами и ругательствами.

Он не робел даже в присутствии самих пап: он не уступал даже Клименту VII и Павлу III, этим страшным первосвященникам, которые держали свой пастырский жезл на страх своим стадам. Он менял сроки, заставлял их ждать, работал для них, как ему вздумается и когда бывало время. Вот как обычно проходили эти ссоры. – Папа рассчитывает на чашу или на тиару, которую он заказал; они не готовы, и художник посылает его гонцов к черту. Его требуют в Ватикан, он является с поднятой головой; его Святейшество в гневе, гремит и угрожает: «Как Бог свят, объявляю тебе, взявшему себе привычку не считаться ни с кем в мире, что если бы не уважение к человеческому достоинству, то я велел бы вышвырнуть тебя в окно со всей твоей работой». Челлини отвечает и подымает тон в диапазон этого голоса, который благословляет мир и отлучает Империи. Ватикан трепещет, кардиналы в беспокойстве глядят друг на друга; всё кончается целованием ноги и отеческой улыбкой.

Потому что великие художники были балованными детьми этих афинских пап Возрождения. Они им прощали все их выходки и все их капризы; они их осыпали своими щедротами и отпущениями: художники ссорились и мирились с папами безнаказанно.

Этот яростный Юлий II, пред которым всё трепетало, распускал свои морщины только для Микель-Анджело. Сманить у него его скульптора грозило анафемой. Когда художник от его суровости бежал во Флоренцию, он пишет Сеньории громовые послания, чтобы принудить его выдать. Микель-Анджело возвращается к нему в Болонье. Он входит в залу, где ужинает папа, окруженный Святейшей Коллегией, с видом прирученного льва, побитого своим хозяином. Юлий нахмурил седые брови и смерил его гневным взглядом: «Итак, вместо того, чтобы приехать к нам в Рим, ты ждал, что мы придем тебя искать в Болонью!» На что один из епископов его свиты сказал: «Пусть Ваше Святейшество на него не гневается, ведь люди этого рода невежды, которые не понимают ничего, помимо своего ремесла». Но папа, разъяренный, полупривстав, ударил своим посохом глупого попа: «Сам ты невежда, ты его оскорбляешь, когда мы сами, мы не хотим оскорбить его! Ignorante sei tu chi gli di villania, che non gliene diciam noi». У Челлини бывали с папами совершенно такие же сцены. Он мог наполнять Рим убийствами и наглыми выходками, но ему было достаточно показать перстень, драгоценность или камею, чтобы вновь войти в милость. – Так, когда ему удалось посчитаться с убийцей своего брата, Климент VII сперва приходит в гнев, призывает его в Квиринал и глядит на него угрожающим взглядом. Челлини достает из своей сумки застежку для мантии, посредине которой он выгравировал полурельефом изумительного Бога Отца, восседающего на большом бриллианте, поддерживаемом маленькими ангелами. В одно мгновение гнев папы рассеивается; его лицо просветляется, как бы озаренное отблеском божественной драгоценности. Это больше не гневный судия, не государь, готовый наказать, а любитель-идолопоклонник, рассматривающий и держащий в руках, дрожащих

от восторга, несравненную драгоценность. Benvenuto mio*, если бы ты был здесь в моей голове, ты не мог бы ее сделать иначе». – Первым действием Павла III было отпущение ему убийства Помпео, совершенного во время междуцарствия; а так как один из Преподобий нашел, что этот избыток милосердия противоречит закону, то папа ему сказал: «Знай, что люди, единственные в своем ремесле, как Бенвенуто, не должны быть подчинены законам, и он меньше, чем кто-либо другой».

Таким образом, в этом Риме времен Возрождения, который чествовал Олимпийских богов как святых и возил по улицам найденную группу Лаокоона так же, как сделал бы это с телом мученика, открытым в катакомбах, интересы искусства были поставлены выше государственной необходимости. Искусство было второй религией этих первосвященников-патрициев; они хотели, чтобы католицизм превзошел язычество даже в своих формах, чтобы Распятие было изваяно так же хорошо, как Юпитер. Искусство было первым делом и последней заботой их царствования. – Климент VII заказал Бенвенуто медали; он заболевает и приказывает их принести к своему смертному ложу. Старый, умирающий папа подымается на своих подушках, вокруг него зажигают свечи, он надевает очки; но пелена агонии уже заволакивает его глаза; он ничего больше не может различить. Тогда своими старческими руками он ощупью разбирает слабые рельефы этих прекрасных медалей, которых не может разглядеть; затем он испускает глубокий вздох и падает навзничь, благословляя в последний раз своего Бенвенуто.

Ни один век не питал такого наивного и глубокого удивления к шедеврам человеческих рук. Мир выходил из хаоса варварских веков, античная скульптура воскресла из могил; образцы неведомого величия и красоты выходили на свет. Под божественным влиянием человеческий гений, так долго остававшийся бесплодным, вновь обретал свои пластические силы: он замышлял и воплощал формы изысканные и величественные. Мир живых, ослепленный и восхищенный, созерцал этот неподвижный мир. Это было как бы

* Мой Бенвенуто (*ит.*).

вторым сотворением мира, столь же плодотворным, столь же самопроизвольным, как первое. Человек вновь оказывался в изумленном состоянии Адама, пробуждающегося среди неисчислимого племени существ, озаренных первой зарей.

Тогда можно понять, как высоко ценил шестнадцатый век своих великих мастеров, начиная с архитектора, строящего его дворцы, и кончая ювелиром, чеканящим его перстень. Особенно понимаешь тот прием, который оказывали варвары тем итальянцам, которые приезжали к ним, как волхвы Ренессанса с руками, полными редкостей и экзотических чудес. Нет ничего более трогательного, чем прием Франциска I, когда Бенвенуто Челлини по его зову переносит во Францию свою кузню Полифема. Он осыпает его щедротами, дает ему замок вместо мастерской, называет его своим другом. «Я утоплю тебя в золоте», — говорит он ему однажды. При каждом новом кувшине, чаше, статуе проливается целый дождь королевских восторгов и великолепных похвал: «Вот человек, который воистину достоин быть любимым!» Или еще: «Воистину я не думаю, чтобы древние создали когда-либо что-нибудь столь же прекрасное». Этот король, прямой и воинственный, но чувственный до конца ногтей, падает в восторге перед изящными фигурами, которые ваяет ему рука этого чародея. Он гордится пить из кувшина, в вине которого отражается изящная голова нимфы, изогнутой рукоятью. Ему нравится брать соль из раковины Амфитриты, обвившей Кибелу своими длинными флорентийскими ногами. Он не перестает восхищаться грацией и надменностью тосканского стиля, являющегося столь новым для него. Это изумление воина Тассо, перенесенного из сурового лагеря крестоносцев в сад одной из фей Востока, где цветы сыпятся дождем, птицы говорят, а Эрос парит в сияющем воздухе.

Однажды кардинал Феррарский повел короля, подавленного беспокойствами неудачной войны, посмотреть модель дверей, законченную Челлини. Озабоченный, суровый, он дал себя привести, но едва он увидал Фонтенблоскую нимфу, облокотившуюся на бедро оленя и сладострастно протянувшуюся по изгибу полукруга, как лицо его прояснилось: взгляд его просветлел радостью и улыбка влюбленного

фавна вернулась на его уста. Он не думал больше ни о императоре, ни о Милане: он был весь переполнен радостью художественного восторга, которая соответствовала у него ощущениям любви. «Мой друг, – сказал он Бенвенуто, ударив его по плечу, – я не знаю, кто счастливее: государь ли, который находит человека по сердцу, или художник, встретивший государя, умеющего его понять».

Можно ли удивляться после этих рассказов, гордости человека, который был приятелем пап и другом королей! – Казначей Франциска I хотел его заставить ехать на почтовых. «Так путешествуют сыновья герцогов, – говорил он ему, чтобы заставить его согласиться». «Я никогда не был сыном герцога и не знаю, как эти господа путешествуют, но сыновья моего искусства путешествуют не торопясь». Один мажордом Флорентийского герцога, которого он третирует по своему обыкновению, удивляется, «что он считает себя достойным разговаривать с такой персоной, как он. – Такие люди, как я, достойны разговаривать и с папой, и с императорами, и с королями. Во всем мире не найдется двух людей, равных мне; а людей, подобных вам, встречают десятками у каждой двери». Никогда тщеславие не бывало более необузданным: представьте себе павлина, вооруженного клювом и когтями хищной птицы. Всё должно уступать и склоняться перед ним. Один он владеет гением, славой и врожденным знанием. Он не оспаривает талантов своих противников, даже самых знаменитых. Нет, он их отрицает безусловно, от первого до последнего. Даже сама древность хороша только для того, чтобы служить фоном для его произведений. Приматиччио привозит из Рима бронзовые статуи, воспроизводящие лучшие ватиканские и капитолийские мраморы; но их выставляют в галерее, где царит Юпитер Челлини, и бедные античные фигуры не могут вынести присутствия этого бога-громовержца. Они уничтожены этим сопоставлением; еще немного, и он повергнет их на землю перед своим шедевром, как идолов перед лицом истинного бога. Апломб высокомерия не может идти дальше. Но ему недостаточно постоянных апофеозов, которыми он похваляется; однажды он украшает ореолом свою флорентийскую шапочку и сам

себя приобщает к лику святых. «Я не хочу пройти молчанием самую изумительную вещь, которая когда-либо случалась с человеком. Да будет известно, после видения, мною рассказанного, вокруг моей головы осталось чудесное сияние, которое было видимо небольшому числу моих друзей, коим я его показал. Его можно видеть вокруг моей тени утром в течение двух часов после восхода солнца, особенно когда трава покрыта росой, и в сумерки вечером. Я его замечал во Франции, в Париже, где оно было видимо лучше, чем в Италии, потому что в этой стране воздух больше насыщен парами. Однако я могу его увидать и показать другим где угодно, только не так ясно, как во Франции».

И всё же его любишь таким, как он был, таким, каким он написал себя желчью и кровью, и удивляешься этому гениальному bravo*. Его невоздержанности являются следствием силы, а страсти рождаются избытком жизни, доведенн<ым> до пароксизма. Ревность к искусству пожирает его; за статую он дерется, как за любовницу, он одобряет учеников Рафаэля, которые хотели убить Россо за то, что он унижал их учителя. «Великолепная сила формы, Vis superba formae, как выражается один латинский поэт того времени, его переполняет восторгом». Нужно слышать, как в своей «Речи об основах искусства рисунка» он поклоняется красоте человеческого тела, его костей, его членов, внутренних пружин, которые заставляют его двигаться и действовать. «Ты заставишь своего ученика срисовывать эти великолепные бедренные кости, которые имеют форму бассейна и так удивительно смыкаются с костью лядвии... Когда ты нарисуешь и хорошо закрепишь эти кости в твоей памяти, ты начнешь рисовать ту, которая помещается между двух бедер; она прекрасна и называется sacrum**... Затем ты будешь изучать изумительный спинной хребет, который называют позвоночным столбом. Он опирается на крестец и составлен из двадцати четырех костей, называемых позвонками... Тебе доставит удовольствие рисовать эти кости, ибо они великолепны. Череп должен быть нарисован во всевозможных по-

* Здесь: убийца (*ит., ист.*).

** Здесь: крестец (*лат.*).

ложениях для того, чтобы навсегда закрепить его в памяти. Потому что будь уверен, что художник, который не держит в памяти четко закрепленными всех черепных костей, никогда не сможет нарисовать мало-мальски грациозную голову... Я хочу также, чтобы ты удержал в голове все размеры человеческого костяка для того, чтобы затем более уверенно одевать его плотью, нервами и мускулами, божественная природа которых служит соединением и связью этой несравненной машины».

Этот энтузиазм свойственен всей эпохе. Известно, с каким усердием Микель-Анджело анатомировал трупы, вставляя свечу им в пупок, для того, чтобы работать над ними всю ночь. Скелет не является больше, как в Средневековье, чудовищным остатком сгнившей плоти, но остовом изумительной силы и красоты. Человек с восторгом склоняется над мертвой головой; он больше не ищет в ней отвращения, но тайны жизни: по дырам черепа он измеряет глазные впадины Аполлона, из его насмешливой гримасы он создает лучистую улыбку Венеры. Боги, нимфы, герои, ангелы, богини, населяющие своими прекрасными телами дворцы и храмы, расцветают на осемененных могилах, как цветы, возникшие из тлена. Шестнадцатый век провозглашает пластический триумф Смерти.

Всё, относящееся к резцу и ваялу, священно для Бенвенуто. Его искусство настолько владеет им, что он продолжает его даже в сновидении. Он ваяет неосязаемое, он чеканит сны. Заключенный Павлом III в замке св. Ангела, он видит видение: солнце, как огромный диск, являющееся то Христом, то Девой. «Солнце, лишенное лучей, казалось чашей расплавленного золота. В то время, как я созерцал это явление, середина светила вздулась и из нее вышел Христос на Кресте, образованный из той же сияющей материи. Он дышал такой благодатью и кротостью, что дух человеческий не мог себе представить и тысячной части ее... Затем середина вздулась снова, как в первый раз, и приняла форму обаятельной Мадонны, сидящей с Божественным младенцем на руках, и он, казалось, улыбался. Она была между двух ангелов невероятной красоты». Ювелир, пребывающий в сновидце,

чеканит солнце по образцу медалей. Своими достоинствами и недостатками, талантом, равно как и безумием, Бенвенуто Челлини является оригинальнейшим воплощением этой художественной Италии XVI века, которая в вереницах исторических лиц производила существа особливые. Странные создания, организованные как для зла, так и для гения, как для преступности, так и для вдохновения. Италия этой эпохи представляет необычайное зрелище обиталища диаволов, облагороженного и украшенного всеми искусствами. Она гордится образованнейшими чудовищами и бандитами-дилетантами, Периклами-отравителями и Фидиями-убийцами. Тигры скачут и таятся в садах Армиды. Ненависти жестоки, отомщения неумолимы, соперничества разрешаются ударами стилета: но дух Божий реет надо всей этой человеческой бурей; плодотворящие соки бьют через край, а искусство растет посреди этих разнузданных страстей, как бронза посреди пламени и плавильных шлаков, принимая дивную форму.

XIII. **Диана де Пуатье***

Диана де Пуатье одна из волшебниц истории. Одно ее имя вызывает, как звук сказочного рога, целую вереницу богинь, рассеянных по картинам и барельефам французского Ренессанса. Это две Дианы Жана Гужона: одна, опершаяся на большого оленя, который кажется заколдованным принцем; другая, любовно созерцающая благородного зверя, который с дерзостью лебедя Леды приближает свой рот к ее устам как бы для того, чтобы тайной силой поцелуя вернуть себе человеческий облик. Это нимфа Бенвенуто, возлежащая посреди собак и диких зверей. Это богини-охотницы Приматиччио и его школы, которые спускают стрелу, поправляют копье, вытягивают свои волнистые тела по краям бассейна или, нагие, идут по полям, окруженные толпою нимф, превышая их на целую голову. Воображение сливает в одном облике все эти стройные образы; оно им всем дает имя торжествующей владычицы, их вдохновившей. Пусть история кричит сколь-

* См. «Les Lettres inédites de Diane de Poitiers», опубликованные по манускриптам Национальной Библиотеки Жоржем Гиффреем.

ко угодно о том, что эта юная богиня была старой женщиной, что Диане де Пуатье на самой заре ее царствования было уже почти полстолетия; этому не веришь и не хочешь верить. Точным датам предпочитаешь влюбленный вензель, в котором королевское Н переплетается с двумя сплетенными полумесяцами. Потомство глядит на Диану ослепленными глазами Генриха II.

Рено в садах Армиды, Рожер, привороженный Альциной, Мерлин, плененный феей Вивианой в кустарниках Арденнского леса, дают лишь слабую идею об этом доверчивом короле, околдованном волшебницей, в то время уже бывшей в возрасте колдуньи. Он любил ее всю свою жизнь безусловно и нераздельно. В ее царствование не было ни одного момента затмения. Ни одно облако не заслонило ее символического полумесяца, ставшего светилом царствования. Сохранилось несколько писем Генриха II к своей фаворитке: они дышат страстной покорностью, никогда итальянское чичисбейство не говорило языком более смиренным: «Государыня моя, я прошу Вас известить меня о Вашем здоровьи... дабы сообразно сему я мог бы поступать. Ибо если Вы продолжаете чувствовать себя нехорошо, я не премину к Вам направиться и отдать себя в Ваше распоряжение, ежели только это Вам понадобится, а также и потому, что жить, так долго Вас не видя, для меня невозможно... Будучи удален от той, от коей исходит всё мое счастье, для меня невозможно иметь никакой радости... – Возлюбленный, друг мой, нижайше благодарю Вас за труд, который Вы себе дали сообщить мне новости о себе, что для меня в этом мире есть приятнейшая вещь, и я умоляю Вас держать свое обещание, потому что я не могу жить без Вас. И если бы Вы хоть немного знали мое времяпрепровождение здесь, то возымели бы сострадание ко мне. – Тем не менее я умоляю Вас иметь память о том, кто знал всего лишь одного Бога и одну подругу. И смею Вас уверить, что мне нисколько не стыдно назвать себя именем Вашего слуги, которое умоляю Вас сохранить мне навсегда».

Один раз даже этот столь малолитературный король сочиняет для нее стансы, в которых ключ истинной страсти пробивается из-под неуклюжей версификации.

«Никто не приносил клятву более строгой верности новому государю, чем моя любовь, о единственная Владычица моя! вопреки времени и смерти она будет верна вам.

Крепость верности моей не нуждается в глубоких рвах и крепких башнях, потому что вас я провозгласил своей дамой, королевой и владычицей, чтобы придать ей вечность несокрушимую.

. . . .

О Боже! Сколько раз сожалел я о времени, потерянном в молодости! Сколько раз я молился о том, чтобы иметь Диану единственной повелительницей, но я боялся, что она, будучи богиней, не снизойдет до этого и не обратит внимания на меня; а я без этого не знал ни счастья, ни радости, ни наслаждений, вплоть до того часа, когда я стал повиноваться ее приказаниям».

Официальная любовница Диана де Пуатье занимала между Генрихом II и Екатериной Медичи место третьей персоны в королевстве. Герб ее официального прелюбодейства украшал стены замков, купола дворцов и триумфальные арки королевских въездов. Король носил его даже на своих торжественных одеяниях, всегда усеянных лунными серпами. Даже во время коронования Екатерины инициалы Дианы, переплетенные с инициалами Генриха, красовались на всех декорациийях празднества. Когда король, возвращаясь из Италии, посетил вместе с королевой Лион, город дал в честь него балет, представляющий охоту Дианы, который был блистательным апофеозом фаворитки.

«Мадам де Валентинуа, – говорит Брантом, – возлюбленная короля, в честь которой охота эта была устроена, осталась ею весьма довольна и с тех пор всю свою жизнь любила очень город Лион». И на том турнире, на котором пал Генрих II под ударом копья Монгоммерри (Диане было в то время шестьдесят лет), он носил еще ее цвета. Чем объяснить такую странную и всепоглощающую страсть, которую Николя Паскье приписывает чарам заколдованного перстня? Диана была, разумеется, прекрасна, и прекрасна красотой,

иссеченной из мрамора; но даже на мраморе шестьдесят лет оставляют свои зазубрины. С одной стороны, Брантом восклицает: «Я видел герцогиню де Валентинуа в семидесятилетнем возрасте столь же прекрасную лицом, столь же свежей и столь же очаровательной, как в тридцать лет». С другой же стороны, уже с 1538 года латинские эпиграммы с циничной грубостью ставят ей в упрек «ее морщины, ее дряблую кожу, ее фальшивые зубы и седые волоса». Истина должна лежать между оскорблениями и лестью. Несомненно, что Диана героически боролась против своих лет. Она отличалась не только гордостью той богини, грозное имя которой она носила. Она была на нее похожа и мужественною деятельностью, и привычкой раннего вставания, и страстью к охоте, и вкусом к ледяной воде, в которой она купалась даже среди зимы. Такой режим долго поддерживал ее. Особенно эти холодные омовения были для нее истинным ключом юности, как утверждают летописцы. Венецианский посланник Лоренцо Контарини, который видел ее в 1552 году неослепленными глазами человека равнодушного, оставил нам ее портрет, столь же далекий от энтузиазма как и от желания унизить ее: «Особа, – говорит он, – которую король без всякого сомнения любит больше всех, это госпожа де Валентинуа. Это женщина пятидесяти двух лет, некогда супруга великого сенешаля Нормандии и внучка господина де Сен-Валлье, которая, оставшись вдовой, молодой, красивой, была оценена и любима королем Франциском и еще многими другими, как утверждают все; затем она перешла в руки настоящего короля, когда он еще был дофином. Он ее очень любил, продолжает любить, и она остается его любовницей, несмотря на свою старость, c o s i v e c c h i a c o m m é é*. По правде сказать, хотя она и никогда не употребляла косметик, а быть может, благодаря старательным заботам о своей красоте, ей далеко нельзя дать столько лет, сколько ей в действительности». – Немногие подлинные изображения, оставшиеся от Дианы, согласуются с этим беспристрастным портретом. На них она является мощной матроной с крупными чертами лица, с надменным лбом, жестким взглядом и повелитель-

* Такая старая, как есть (*ит.*).

ным носом. Ее грудь полновесна и плечи роскошны; ее рот, сжатый и впалый, кажется созданным не для поцелуев, а для секретов. Никакой изнеженности, никакой чувственности; облик римской Юноны, наделенной массивными формами венецианской патрицианки.

И не привлечениям чувственности следует приписать ее власть. Генрих II не обладал Пантагрюэлевским темпераментом своего отца. Он был скорее целомудрен, с медленной и тяжелой кровью, отяжелелый характер в гибком теле. Фавн породил окоченелого влюбленного. В его жизни можно с трудом найти только две связи: мимолетная связь в Италии, плодом которой явилась Диана де Франс, и небольшой роман с маленькой шотландкой, которую дворцовая интрига бросила ему в объятия. Диана де Пуатье, со своей стороны, отличалась, если не девственностью, то холодностью своей языческой святой. Вы не найдете ни одного каприза в этой деятельной жизни, все поступки которой ведут к одной цели, как стрелы, пущенные уверенной рукой. Ее редкие романы, если только она их имела до Генриха II, были исключительно политическими: орудие власти, а не наслаждения. Их связь была так прилична, что ее долго считали платонической. – «Дофин мало обращает внимания на женщин, – пишет Марино Кавалли, один из тех венецианских уполномоченных, которые являются лучшими шпионами истории, – он удовлетворяется своей женой. Что же касается разговоров, то он предпочитает вдову сенешаля Нормандии, которой сорок восемь лет. Он питает к ней истинную нежность, но предполагают, что в этом нет ничего чувственного и что привязанность эта подобна любви матери и сына. Утверждают, что эта дама взялась поучать, исправлять, наставлять советами дофина и направлять ко всем действиям, его достойным».

Марино Кавалли почти касается истины. Власть Дианы была в том романтическом и рыцарском очаровании, которое она имела над Генрихом. Она ослепляла его турнирами, обольщала грезами, вдохновляла его на воинственные подвиги, в любви питала его отвлеченностями и испанскими утонченностями и позировала перед ним скорее как «царица помыслов», – чем алькова. Тщеславие вечного траура, кото-

рый она носила по своему старому мужу, сенешалю де Брезе, прежде всего возвышало ценность победы над ней. Преодолеть добродетель Дианы это было почти то же, что соблазнить королеву Артемиду. Если б у нее спросили об ее тайне, она могла бы ответить так же, как Галигай ответила своим судьям: «Влияние сильной души на слабую, умной женщины на “болвана”». Но этот болван обладал воображением одного из паладинов Круглого Стола. Под длинным сонным и тусклым лицом Генриха II скрывалась фантастическая душа. Рыцарственные видения смущали его мозг, Амадис был его настольной книгой. В этом короле печального образа скрывался Дон-Кихот; Диана де Пуатье была его Дульцинеей; Дульцинеей обманчивой и столь же химерической, как Тобосская, преображенная искусствами, непрестанно позировавшая на мифологических фонах, ее молодивших. Все эти смутно похожие Дианы, которые вставали перед глазами короля, как Олимпийские видения, на каждом повороте парка, в каждой зале Шамбора и Фонтенбло, обожествляли для него его возлюбленную. Она появлялась вновь и вновь, то в одной фреске, то в другой, то в одной группе, то в другой, как бы в амфиладе магических зеркал. Отражение преображало женщину; белизна мраморов смешивалась с белизной тела; бессмертная юность божеств молодила матрону. Вечное превращение. Где кончалась герцогиня! Где начинались богини! Discrimen obscurum*. Лунный серп, призываемый в языческих заклятиях, завершал колдовское действо. Своды королевских дворцов, усеянные полулуниями, славили апофеоз Дианы, как звездные небеса в псалмах поют славу Господу.

В смысле этого колдовства замок Анэ был шедевром фаворитки: можно подумать, что он был построен по плану Ариостовского волшебника. Очаровательная вилла, населенная статуэтками, украшенная изящными портиками, оживленная обилием живых, журчащих вод; с садками, манящими к рыбной ловле, с псарнями, гудящими от лая свор, с птичниками, по которым топотали сокола, и с клетками для гепардов, выдрессированных для охоты, как в летнем дворце восточного султана. А кругом, по ту сторону садов,

* Незаметные различия (*лат.*).

усеянных боскетами, равнины и леса, переполненные дичью, окруженные мягким кольцом холмов. Таково было это волшебное царство. Король проводил в нем сказочные дни во власти феи этих мест. Посреди своих итальянских и немецких войн он тоскует по фонтанам Анэ, как Давидов олень по источникам.

Напрасно ищешь королеву в этой истории: она появляется лишь изредка, затемненная богиней с полумесяцем. Эта коронованная Cenerentola*. Долгое время Екатерина Медичи, бесплодная, боящаяся развода, в немилости у короля, которого отталкивали ее большие, выпуклые глаза и болезненная опухлость, стушевывалась перед своей соперницей. Не в силах будучи ее переодолеть, она кидалась в ее объятия. Диана ей покровительствовала, и утешала, и, время от времени, с высокомерным состраданием, властная, как Венера Илиады, кидающая Париса в постель Елены, она толкала короля к брачному ложу. Контарини определенно говорит в одной депеше к венецианскому сенату: – «Королева часто посещает герцогиню, которая, со своей стороны, оказывает ей важные услуги перед королем, и часто она сама увещевает его идти спать вместе с королевой». По рыцарскому ритуалу, в той возвышенной сфере, в которой Генрих и Диана поместили свою любовь, это не являлось неверностью любовника. Что значила матерьяльная супруга для любовницы души, династическая родительница перед вдохновительницей царства? Не раскрыла ли Рахиль палатки Иакова перед своей служанкой Валлой? Как дочь Лавана, Диана де Пуатье могла сказать, направляя короля в комнату Екатерины: «Вот моя служанка. Снизойди к ней; у нее будут дети, я воспитаю их на своих коленях и буду прославлена в них».

Библейский стих был исполнен буквально во второй раз. Екатерина имела детей, Диана их воспитала на своих коленях и была в них прославлена. Уподобление той богине, имя которой она носила, явствует из всех поступков: и в этом она верна своему типу. Мифология приписывала сестре Аполлона помощь женщинам во время родов и покровительство детям. Диана по отношению к королеве приняла на себя

* Золушка (*ит.*).

эту благосклонную обязанность. Она присутствовала при ее родах, ухаживала за ней во время послеродовых болезней, заведовала выбором кормилиц и доходила до мельчайших подробностей в заботах о здоровье новорожденных королевичей. Ее письма наполнены этими хлопотами о кормилицах и младенцах. Это сплошь распоряжения по хозяйству, приказания о перемене местожительства, вызванные малейшим опасением эпидемий или дурного воздуха, разрешение ссор лакеев и нянек, вызовы врачей, отправляемые лекарства. – Однажды она отправляет порошок единорога для одной из принцесс, больной корью: сказочное лекарство, которое, исходя от этой феи-охотницы, является уместным.

Это присвоение материнских прав, разрешенное королем и терпимое Екатериной, венчало ее могущество. Только дети могли удалить от нее ее возлюбленного и привести его к королеве. Диана же, принимая их под свою высокую руку, овладев заботами об их колыбелях и оставляя королеве только право рождать их, этим уничижала ее еще больше, чем раньше. Мать бездейственная, устраненная от воспитания, стушевывалась перед второю матерью, бдительной, деятельной, настоящим гением-покровителем династии. – Две картины того времени дерзко прославляют эту узурпацию материнских прав. Одна изображает Диану, сидящей нагой в своей ванне посреди детей французского дома, сосущих грудь или играющих в комнате. Другая представляет ее тоже обнаженной, согласно ее преимуществам богини, окруженной придворными дамами в праздничных платьях и торжественно принимающей новорожденного принца, которого ей подносит коленопреклоненная женщина. Королева, которую можно узнать сразу, удаляется медленными шагами на второй план. Она родила, и дело ее совершено. Это продолжение той же библейской истории. Валла зачала и родила сына Иакову. – Рахиль сказала: «Господь судил меня, Он внял моему голосу и дал мне сына». – Валла, служанка Рахили, зачала еще второй раз и родила второго сына Иакову. Рахиль сказала: «Я боролась против моей сестры в Божьей борьбе, и я победила ее».

Но пора перейти к серьезным делам. Устраните все те Олимпийские украшения, забудьте полумесяц, разгоните мифологическую фантасмагорию, которая прикрывает и преображает ее, и вы найдете женщину не государственную, но деловую, извлекающую выгоды из своего положения. Эта охотница опытная и в западнях и в облавах. Единственной ее страстью была жадность: громадная, ненасытимая алчность, которая не могла удовлетворяться Францией, раздираемой на куски и пожираемой в течение четырнадцати лет. Что такое лихоимство Помпадур и мотовство Дю-Барри сравнительно с грабежом Дианы де Пуатье? Мелкие кражи и хищничества. Диана всего хотела и всё, поглощала конфискации, бенефиции, процессы, продажу милостей и должностей, Анэ, Шенонсо, герцогство Валентинуа, провинции. Был момент, когда она заставила себе присудить «все пустопорожние земли королевства», что составляло ни более ни менее, как четверть Франции. Мы видим, как в одном из ее писем она торгуется вместе со своим кузеном господином де-Шарлю из-за испанских пленников, захваченных на море бароном де Ла-Гардом и подаренных ей королем. Дело идет о том, чтобы продать их как можно дороже: «Вы обратите внимание, кто даст больше из капитанов галер или из генуэзцев, и отдадите их ему». Капитаны галер предлагают всего по 25 экю за штуку: – «Но, – пишет Диана, – это не подходит, потому что всего вместе выйдет только около двенадцати тысяч экю». – Между тем турки, союзники короля, могли бы потребовать свою часть добычи: «Я прошу Вас поэтому быть осторожнее и действовать осмотрительно, потому что мне передавали, что султан отправил человека для того, чтобы поставить это на вид королю; я бы хотела, чтобы с делом с этим было покончено до его прибытия». Странное, почти невероятное зрелище! Диана Жана Гужона, открывшая лавочку на работорговом рынке.

Казни доставляли одну часть доходов фаворитки. Она сколачивала деньгу на Гревской площади. Для протестантов она была кровожадной Дианой Таврической. Она их обирала, приканчивая их на своем сундуке, имевшем форму алтаря. «Корова Коласа», как тогда называли Реформацию, была

ее коровой, и дойной, и убойной. – История нам сохранила трагическую сцену с одним кальвинистом-рабочим, которого она призвала в свою комнату для того, чтобы заставить его отречься в присутствии Генриха II. Этот человек, нисколько не испугавшись, говорил смело и защищал свою веру, а когда Диана захотела вступить в спор, то он разразился, как Илья, обращающийся к Иазавели: «Сударыня, удовольствуйтесь тем, что вы заразили Францию, но не вносите вашей грязи в священную область божественных истин». Король, взбешенный, хотел посмотреть, как его будут сжигать живым; но, пронизанный ужасом, он отступил перед пристальным взглядом, который мученик устремил на него из пламени.

Таким образом, посреди своих блестящих и божественных ликов Диана, как и ее покровительница, имела и лик адский. Огни, которые окружают ее на фресках Фонтенбло, где она фигурирует в образе Гекаты, являются отсветами зажженных костров.

Ее любопытные письма, недавно опубликованные, обнажают всю жесткость ее души и непоколебимую волю. Они кратки, сжаты, точны, фактичны, лишены прелести, ни одна слеза, ни одно излияние не смягчают этих сухих посланий, ни одного цветка в этих кустарниках крючкотворчества. Под некоторыми из них мог бы подписаться старый приказный регистратор. Лишь кое-где внизу страниц встречаются фразы благоволения и притворной скромности, похожие на лживые улыбки. Нельзя себе представить ничего более сухого и более ледяного. Кажется, что они написаны концом стрелы на песке или на снегу.

Величественные позы и внушительная благопристойность маскировали эту жизнь, полную обмана и корысти. Гордость Дианы не смягчалась никогда, она жила на пьедестале. После смерти короля она вышла, как королева, из театра, в котором царила так долго. Генрих II еще дышал, когда Екатерина Медичи отправила к ней посланного за сокровищами королевской короны, переполнявшей ее ларцы. «Она вдруг спросила у посланного: “Как, король разве умер?” – “Нет,– отвечал тот, – но его минуты сочтены”. – “Пока в

нем останется хоть капля жизни, – сказала она, – я хочу, чтобы мои враги знали, что я их не боюсь, что я не стану им повиноваться, пока он жив. Я еще не побеждена. Но когда он будет мертв, я не хочу жить после него; и все огорчения, которые мне станут причинять, покажутся лишь сладостями после моей потери. Поэтому, жив ли или мертв мой король, я не боюсь врагов"». (Брантом). – После смерти короля она сохранила со всеми и перед всеми и ту же надменную сдержанность, не отдала ничего, кроме Шенонсо, которым Екатерина удовлетворилась, как выкупом, и удалилась медленно, спокойно, отягченная добычей со всей Франции.

Она прожила еще семь лет в своем замке Анэ, очень скоро примирившись с новым царствованием; по-прежнему прекрасная, если верить Брантому, который поет гимны ее закату. Ее завещание, усеянное оговорками, ограничениями и условиями, похоже на моральное вскрытие. Церемониал ее погребения, панихиды, молитвы, посмертные милостыни, траурные платья для ее слуг, свечи и четки для бедняков, которые должны повторять друг другу: «Молите Бога о Диане де Пуатье», – там оговорены с пунктуальной точностью: «После того, как меня хорошо отпоют в церкви, я буду удовлетворена пышностями сего мира». Ее положительный характер кладет свой отпечаток и на этот контракт последнего часа. Умирающая Диана так же жестко вершит дела своей души, как вершила дела своей земной жизни.

Тем не менее искусство одержит победу над историей, мраморы возьмут верх над текстами, и картины прикроют реальность. Диана останется для потомства богиней-покровительницей Ренессанса. Она всегда будет являться в своей божественной наготе, опираясь на серебряный лук, на пороге одного из замков Турени, между Франциском I, глядящим на нее с широкой улыбкой сатира, и Генрихом II, созерцающим ее затуманенным оком Актеона... Рог звучит, стройные статуи встают в просветах буковых аллей, воды бьют и выгибаются снопами, царственный олень выходит из мглистых чащ и лениво ложится у ее ног. Приходит чародей, который навсегда закрепляет идеальную группу, и призрачный апофеоз становится вечным коронованием.

XIV. Генрих III

В длинном ряде цезарей, великих и низких, славных и позорных, но отмеченных римским типом, венчанных лавром и задрапированных в тогу, появляется вдруг юноша с накрашенным лицом, с подведенными глазами, со лбом, увенчанным тиарой; он одевается то священником, то женщиной, принимает титул императрицы, публично вступает в брак с солдатами и гладиаторами, ездит на колеснице, запряженной обнаженными куртизанками, обожает камень Солнца и на глазах у всех справляет на Капитолии свадьбу Луны с этим истуканом. Это Гелиогабал, мальчик из хора финикийской Астарты, посаженный пьяными преторьянцами на трон Траяна и Марка Аврелия. – Генрих III, втиснутый в линию королей Франции, кажется среди них столь же странным. Точно так же, как сирийский цезарь пересадил в Рим безумную роскошь, эротический фетишизм и непристойные нравы Востока, так Генрих III перенес во Францию причудливое ханжество и эксцентрические пороки итальянского декаданса. В нем нет ничего французского, ни одной галльской черты, никакой национальной физиономии. Мать сделала его вполне флорентинцем с примесью чего-то азиатского. Его портрет на фреске Вичентино во дворце Дожей, изображающей его въезд в Венецию по возвращении из Польши, намечает уже целый характер, лицо испитое, коварное, с двусмысленным выражением маски: глаза не смотрят прямо, брови очерчены полукругом; фальшивая улыбка кривит его тонкие губы. Плотно затянутый в свой черный казакин, в маленькой шапочке с загнутыми краями, между дожем и патриархом, он имеет вид венецианского арлекина, торжественно открывающего карнавал Республики.

И действительно, он открыл карнавал в своем новом королевстве. Он уехал еще доблестным и мужественным, а вернулся изнеженным, расслабленным, с разжиженным мозгом и испорченным сердцем. Представьте себе молодого итальянского монаха, ставшего, благодаря какому-то заморскому приключению, султаном или калифом: вот его образ. Разврат он смешивал с мистицизмом; чувственные наслаж-

дения приправлял самобичеваниями. Религия его была религией гностика или тамплиера; от нее исходил аромат извращенных фимиамов. Несомненно, что в нее входили и магия, и кощунство. Эротизм в соединении с благочестием всегда рождает чудовищ. Говорили, что он велел нарисовать в одном часослове своих миньонов и любовниц в костюме святых и дев-великомучениц и носил с собою в церковь этот кощунственный молитвенник. После его отъезда из Парижа, лигёры нашли в башне Венсенского замка, в котором он жил, все принадлежности колдовства: каббалистические надписи, магические палочки из орехового дерева, зеркала для вызывания духов, подозрительные сосуды, дубленую детскую кожу, покрытую дьявольскими знаками. Самой скандальной находкой было золотое распятие, поддерживаемое двумя непристойными фигурами сатиров, предназначенное, казалось, для алтаря черной мессы на шабаше.

Его жизнь была двойной оргией, религиозной и языческой. Одевается ли он в длинный мешок с отверстиями для глаз и бичует себя плетьми монахов-самоистязателей, или на манер Нерона бегает по улицам Парижа, оскорбляя женщин и избивая прохожих, это продолжение одного и того же фарса: это пресыщенный развратник, который кидается из одной крайности в другую для того, чтобы оживить свои угасшие чувства и оскудевший мозг. Мемуары того времени на одной и той же странице отмечают эти разнообразные выходки. В одном параграфе король появляется в маске, а в следующем в рясе. «В первый день масленичной недели, – говорит Летуаль, – король и брат короля отправились вместе со всеми своими миньонами и фаворитами по улицам Парижа верхом и в масках, переодетые в купцов, священников, адвокатов и во всяких других лиц, скакали, отпустив повода, опрокидывая одних и избивая других палками и жердями, особливо тех, кто были замаскированы, как и они; потому что король в этот день один желал иметь привилегию ездить по улицам в маске. Занавес падает и подымается вновь; перемена спектакля достойна изумления. – «В воскресенье 5 апреля король был в процессии первым и держал зажженную свечу в руке во время выноса даров; он пожертвовал двадцать

экю, с большим благоговением присутствовал при мессе и всё время перебирал свои четки из мертвых голов, которые он с некоторого времени всегда носит на поясе, выслушал всю проповедь до конца и внешне исполнял всё, что подобает истово верующему католику». – Эти четки из мертвых голов были для него бичом Тартюфа. Однажды, потрясая их с комическим жестом, он уронил такие слова: «Вот бич моих лигёров».

Маскарад был и сущностью, и формой этой любопытной личности. Он переряживал одновременно и свое тело, и свою душу, и пол, и мысль. Он делал фальшивой свою улыбку, красил лицо, клятвопреступничал и пародировал свой сан. Всё двуличие и вся хитрость флорентийской политики были воплощены и выражены в нем. Из года в год природа его становилась более изнеженной, а характер более ребячливым. Он играл в бильбокэ, он вырезывал миниатюры и плакал как ребенок, когда ножницы портили рисунок. Его прогрессирующий гермафродитизм сказывался в превращениях костюма, который постепенно менял пол. Сперва он начал носить серьги, затем ввел в моду пышные короткие панталоны выше колен, напоминавшие фижмы. Наконец, однажды он появился перед ошеломленным двором, одетый в казакин с круглым вырезом на обнаженной груди, с шеей в расшитых брыжжах, с волосами, перевитыми жемчужными нитями, сося конфекты и играя шелковым кружевным веером. Д'Обинье в своих Tragiques клеймит этот позорный образ. Кажется, что он держит в руках священный нож, свежевавший сатира, и вскрывает им туалет гермафродита.

. . . .

«...И на Крещенье это подозрительное животное без мозгов в голове появилось на балу в таком костюм: его шевелюра, перевитая жемчужными нитями, под шапочкой без полей на итальянский манер, ложилась двумя сводчатыми арками; его выщипанный подбородок, его лицо, вымазанное румянами и белилами, его напудренная голова заставляла думать, что видишь не короля, а накрашенную женщину. Подумайте, какое прекрасное зрелище, и как приятно было

видеть государя в казакине из черного атласа, испанского покроя, сквозь прорезы которого виднелись позументы и белые подтяжки, и дабы одежда соответствовала его сану, он щеголял еще белыми шелковыми гофрированными манжетами, полуприкрытыми широкими разрезными рукавами и сверх них еще рукавами, свисавшими до самой земли. Радуясь новому наряду, он весь день не снимал этого чудовищного костюма, настолько соответствовавшего его любовным вкусам, что каждый в первую минуту не мог решить – видит ли он короля-женщину или мужчину-королеву».

Тогда появляются миньоны. «Король-женщина» окружает себя командой молодых икогланов. Собственная инстинктивная слабость заставляла его искать защиты в сильных. Он избирал своих фаворитов среди самых смелых дуэлистов и самых дерзких наемных убийц, его Ганимеды были сложены, как Ахиллы. Круг сверкающих шпаг окружал этот королевский трон, попавший в женские руки, но господин, принуждая этих мужественных людей носить свой позорный костюм, надевал на них ливрею евнухов. – «Эти красивые миньоны, – говорит Летуаль, – носили длинные волосы, туго и очень искусно завитые, выбивавшиеся из-под маленьких бархатных шапочек, и брыжжи у рубашек из тонкого накрахмаленного батиста шириною в полфута, так что головы их над брыжжами казались головой Иоанна Крестителя на блюде». Летуаль на каждой странице возвращается к этим непристойным нарядам. По этим подчеркиваниям можно угадать негодование галльского духа, возмущенного восточными безумствами. – «В воскресенье 29 октября король приехал в Оленвилль на перекладных с толпой своих молодых миньонов, одетых в брыжжи и завитых, с поднятыми хохолками, с шапочками на головах, с накрашенными лицами и наглым видом; расчесанные, осыпанные фиолетовой пудрой и надушенные ароматными духами, которые наполняют благовониями улицы, площади и дома, где они бывают». Этот двусмысленный генеральный штаб стоил ему не меньше, чем сераль. Миньоны грабили Францию, обирали казну, вымогали доходы с городов и конфисковали ренты.

Король истратил одиннадцать миллионов на свадьбу Жуаёза. Описание ее и теперь ослепляет. Эта мрачная роскошь кажется еще чрезмернее, чем римские оргии. Семнадцатидневный пир, весь двор, одетый в золотые и серебряные ткани, груды жемчуга, дождь драгоценных камней, маскарады, кавалькады, турниры и морские бои... Не знаешь, читаешь Светония или Летуаля. Он же ввел при французском дворе византийский этикет, регламентирующей рабью угодливость. Он первый принял титул Величества, для нас после долгого употребления привычный, но возмущавший свободные умы того времени, точно он перерядился богом.

Сам Ронсар протестовал против этого муже-женского титула, который французских королей, казалось, облекал в длинные платья византийских императоров.

«Не удивляйся, Бине, если ты видишь, что наша Франция, когда-то увенчанная тысячами зеленых лавров, с тех пор увядших, служит теперь посмешищем для народов и королей.

. . . .

При дворе только и разговору, что о Его Величестве: Оно пришло, Оно ушло, Оно было, Оно будет. Не значит ли это, что королевство обабилось?»

До тех пор короли Франции жили со своими придворными в известного рода феодальном дружестве: Генрих III заменил его идолопоклонническим церемониалом. «Регламенты, данные королем, сохранить кои он настаивает и желает, чтобы они каждым отныне по отношению к нему соблюдались», опубликованные в 1585 году, открывают собой ритуал монархического лицемерия. Почести, воздаваемые королевской салфетке и рубашке, королевскому бульону и вину, там тщательнейшим образом переименованы. В них можно наблюдать, как государь замыкает себя за балюстрадами, отстраняет от себя дворян и царедворцев, заставляет их держаться на расстоянии и определяет те орбиты, близкие

или отдаленные, по которым они должны двигаться вокруг его обожествленной особы. В известных случаях они должны «отступать, прижимаясь к стене». Некоторые из параграфов этого руководства для рабов имеют историческое значение; между прочим, этот: «Когда его Величество отправляется в церковь или иное публичное место, оно желает и требует быть сопровождаемым всеми князьями, кардиналами, вельможами и дворянами до того времени, пока оно не сядет за стол, если только они не могут представить законного извинения для отсутствия». Роковой текст, который обратил французскую аристократию в слуг и парализовал все ее живые силы, приковав ее на два века к скамейкам передних.

Но всё же невозможно видеть без жалости этого издерганного государя, созданного для того, чтобы коснеть в глубине гарема или первоприсутствовать на празднествах маленького итальянского двора семнадцатого века, заблудившегося в этом жестоком и яростном столетии. Кругом него повсюду были одни западни, заговоры и предательства. Он был захвачен между двух огней религиозных войн: с одной стороны, феодальное протестантство, соединившееся вокруг короля Наваррского; с другой – народная чернь Лиги, направляемая Гизами, состоящая у них на жалованьи; еще дальше Филипп II из глубины Эскуриала, приводящий в движение всю эту сеть интриг; рядом с ним герцог Анжуйский, брат-ненавистник, готовый на братоубийство; за ним его мать Екатерина, эта старая пряха козней и западней, зловещая и уже древняя, как Парка, которая тайно из глубины своей кельи путает и распутывает свои таинственные нити. Одинокий среди всех этих партий и заговоров, Генрих III имел в своих руках только оружие вероломства; но он был слишком слаб, чтобы владеть им как следует. Напрасно предавал он всех, кого мог, его решительный маккиавелизм вызывал лишь всеобщую ненависть к нему. Презрение создавало вокруг него пропасть, которая расширялась с каждым днем. – Одна сатира того времени называет его двор Островом Гермафродитов. Это настоящее имя для этой развратной камарильи, вымиравшей от ненависти и страстей. Тем не менее он продолжал свои пародии и оргии, фантазии и ребячества. Его

двор распевал и дурачился посреди катастроф той эпохи, как галера Клеопатры во время резни при Акциуме.

Вот он «объезжает в крытом возке вместе с королевой все улицы и дома Парижа, собирая маленьких дамских собачек, которые к нему и к ней идут с удовольствием; точно так же ездит он по всем женским монастырям за тем же сбором собачек, к великому сожалению тех дам, которым они принадлежат». В его псарне насчитывалось не меньше двух тысяч собак всякой породы. Он отправлялся причащаться и исцелять золотушных, держа под мышкой свою болонку. – Дальше мы видим его возращающимся из Нормандии с багажом путешествующей султанши. «14 июля король прибыл в Париж, возвращаясь из Нормандии, откуда он привез большое количество обезьянок, попугаев и маленьких собачек, купленных в Диэппе». Он всегда отличался любовью к редким животным, являющейся признаком людей изнеженных. Вы всегда найдете обезьяну, которая прыгает по ступеням восточного трона. Каждому315 сералю соответствует зверинец. У Генриха III был свой; но однажды ночью ему приснилось, что его пожирают дикие звери. Его обуял страх, и на следующий день он велел перестрелять из аркебузов львов и медведей, откармливавшихся в клетках Лувра. – Точно так же поступил бы персидский шах, у которого первым министром был бы астролог.

И никогда, нужно сказать, король-бездельник не получал более суровых встрясок от более грубых рук. Он защищался женскими жалобами и рабьим вероломством. «Я это знаю, господа, – говорил он государственным депутатам, запретившим все новые налоги, – я это знаю, peccavi, я оскорбил Бога, я наложу на себя эпитимию и поставлю двор на менее широкую ногу. Там, где у меня было два каплуна, будет лишь один. Но как вы хотите, чтобы я вернулся к покрою платьев старого времени, как же мне тогда жить?» Когда штаты, не довольствуясь отказом ему в милостыне, оспаривали у него даже право продажи своих имуществ: «Вот, – говорил он, – страшная жестокость, они не хотят мне помочь своим имуществом, ни дать распоряжаться моим собственным», – и он расплакался. Парижский народ издевался над

его монашескими процессиями. Его собственные пажи передразнивали их, прикрывая себе лица носовыми платками с отверстиями на месте глаз. Король был принужден их высечь в количестве восьмидесяти человек во дворе Лувра. В другой раз школьники бегали по Сен-Жерменской ярмарке, наряженные в огромные брыжжи из бумаги, в насмешку над теми, которые он ввел в моду, и кричали ему почти в уши: «A la fraize on connoist leveau*».

Сами монахи смеялись над своим коронованным собратом. По отношению к нему они усвоили себе дерзость тех мусульманских дервишей, которые останавливают за узду лошадь султана, выезжающего из мечети, и швыряют ему в лицо оскорбления. – «Я был осведомлен из достоверных источников, – восклицал с кафедры монах Понсэ, – что вчера вечером, т. е. в пятницу, в день их процессии, вертела усердно работали для этих добрых кающихся, и, съевши жирного каплуна, они имели еще на постный ужин телячий хрящик, бывший для них наготове. А, нечестивые лицемеры! Вы издеваетесь над Богом под вашими маскарадными платьями, а для приличия носите бич самоистязания у пояса? Не там бы вам следовало его носить, а на спине и на плечах, и тогда это было бы вам по заслугам. Нет ни одного между вами, который бы не заслужил его вполне». Король отомстил ему как добрый государь: он сослал монаха в Меленское аббатство, «не причинив ему никакого зла, ежели не считать того страха, когда его по дороге туда бросили в реку». Впрочем, этого Понсэ нелегко было сбить с позиции. Герцог д'Эпернон, посетивший его перед отъездом и упрекнувший в том, что он смешил прихожан во время своих проповедей, получил от него в ответ великолепную отповедь, пригвоздившую его к месту: «Милостивый государь, я желал бы, чтобы вы запомнили, что я проповедую только слово Божие и что на мои проповеди приходят люди вовсе не для того, чтобы смеяться, если только они не грешники и не безбожники: а также, что я никогда в своей жизни не насмешил стольких людей, скольких вы заставили плакать». Другому проповеднику, подвергавшему критике его карнавальные выходки, король послал в подарок 400 экю,

---

* По упряжке узнают теленка (*старофр.*).

«чтобы купить на них, — прибавлял он, — сахару и меду, дабы помочь вам провести ваш пост и смягчить ваши слишком горькие и едкие слова». Монашеские ссоры, «Contesa di frati!» — как сказал Лев X о первых диспутах Лютера.

От слов скоро перешли к шпагам. Дуэли и убийства разредили ряды его миньонов. Квелюс и Можирон погибли первые в яростной стычке с дворянами дома Гизов. Два месяца спустя Сен-Мегрен при выходе из Лувра был убит двадцатью замаскированными людьми. Король опозорил себя, оплакивая их; он устроил для них похороны постыдной пышности. Так в древности оскопленные жрецы Кибелы под звуки кимвалов справляли траур по юному Атису. Церковь св. Павла, в которой он похоронил их, одного рядом с другим, осталась запятнанной, как храм Содома, ее не называли иначе как сералем миньонов.

Всё кажется низким и шутовским в этой презренной истории. Позже, когда, выгнав Генриха III из Парижа, Лига, испугавшись собственной победы, пыталась снова войти к нему в милость, она отправила ему в Шартр смехотворное посольство. В город вошел Капуцин, переряженный Христом, с картонным крестом на плечах, с лицом, запачканным куриной кровью, увенчанный венцом из искусственных терний. Солдаты, одетые, как в мистериях, шли по сторонам и делали вид, что бичуют его. Два монашка, переодетые святыми женами, плакали и падали в обморок, замыкая шествие. Толпа гнусавыми криками просила о милости и о прощении «Христовых страстей ради». — Ребенок разобиделся; для того чтобы его успокоить, с ним играли в богослужение.

Даже убивая, Генрих III кажется более подлым, чем страшным. Герцога Гиза он заманивает в ловушку и убивает рукою наемных убийц. История застигла его между двумя створками двери, которую он приоткрыл после того, как Balafrè* был убит, подобно шакалу, который выползает из своей норы на запах крови и еще издали чует добычу, зарезанную тиграми. И он остается там, защемленный и пойманный: в этом положении его видит потомство, эта приоткрытая дверь — его позорный столб.

---

* Отмеченный шрамом: прозвище Гиза.

XV. Испанский двор при Карле Втором

I

В семнадцатом веке Испания представляет собой явление смертельного упадка посреди нетронутого могущества. Исполин, пустой внутри, стоит еще во весь рост, опираясь ногами на оба мира. Его огромная Империя почти не пострадала: она потеряла Португалию, Голландию, Руссильон и Франш Конте: но это не больше чем ногти, обрезанные у гиганта. В Европе ей принадлежит еще королевство Неаполитанское и герцогство Миланское, Сардиния, Сицилия и Фландрия; огромный берег в Африке; царство в Азии со всем побережьем Индийского океана; в Америке – Мексика, Перу, Бразилия, Парагвай, Юкатан, Новая Испания; на море бесчисленные острова, между которыми Балеарские, Азорские, Канарские и Филиппинские, Мадера, Куба, Порто-Рико, Сан-Доминго.

И всё же эта огромная Империя, так долго душившая землю, является теперь лишь бессильным призраком. Европа ее презирает, она сделала из нее свою игрушку и посмешище. То, что было ужасом, стало пугалом, которого не боятся даже маленькие владетельные князьки. Грозная испанская армия, разбитая при Рокруа, не собрала даже своих отдельных частей; шайки нищенствующих инвалидов дряхлеют в своих гарнизонах, от ее гигантского флота остались одни обломки; остатки Армады гниют в ее портах. Ее подземная политика, которая подвела подкопы подо всем миром, теперь для всех ясна как день; нити, которыми она всё приводила в движение, перепутались. Ее Despacho Universal*, который был европейским Советом Десяти, кажется впавшим в детство: его устарелые интриги смешны, как путаницы комедий. Поражаемая извне Испания точит себя и сгорает внутри. Беспримерная убыль народонаселения опустошает ее с яростью эпидемии. Изгнание евреев и мавров лишило ее четырех миллионов людей, Америка взяла у нее тридцать миллионов: монашество еще сокращает численность этого поредевшего народа. Монастыри, множащиеся тысячами, распростирают

* Всемирный кабинет (*исп.*).

над королевством мистическое бесплодие Фиваиды; монахи в буквальном смысле становятся отцами-пустынножителями. Испания погибает из-за недостатка испанцев: с 1619 года Кортесы кидают этот вопль тревоги: «Больше не женятся, а женившись, не рождают больше. Никого, кто бы мог обрабатывать земли. Не будет даже кормчих для бегства в другие места. Еще одно столетие, и Испания угаснет».

Действительно, к концу века еле насчитывается шесть миллионов людей, рассеянных по всему полуострову. Триста опустевших селений в обеих Кастилиях, двести вокруг Толедо, тысяча в королевстве Кордуанском. Пословица говорит: «Жаворонок не может перелететь над Кастилией, не запасшись своим зерном». Леность, угрюмая и пышная, делает <это бесплодие еще более бесплодным. Испания отказывается> от работы, в которой видит знак рабства; ее идеал – праздная жизнь сеньора и священника. Промышленность презирается; торговля брошена, как кость, на съедение обращенным евреям и иностранцам; земледелие уничтожено двойной крепостной зависимостью от духовенства и от Грандеццы. Бедные с гордостью просят милостыню; богатый на арабский манер живет на сокровища, которые плесневеют в сундуках или в подземельи. Тяжелой работе с сохой крестьяне предпочитают пастушескую праздность. Владелец стад не считает для себя унижением стеречь свой скот: неподвижный, задрапированный в свои лохмотья, он гидальго Сиерры, дворянин пустыни. – Поэтому бесплодные пастбища заполняют и иссушают поля: можно подумать, что вы в Халдее во времена патриархов. Эстрамадура целиком отдана мериносам; одни только пастухи маркиза Гебралеона пасут стада в восемьсот тысяч овец.

Страшная бедность пожирает Испанию до самых костей. Как легендарный скупец, погребенный живым в своем подземельи, она умирает от голода на своих золотых рудниках. Ее постоянные войны, ее европейская полиция, ее международные гарнизоны, огромные расходы ее тяжелого двора роют пропасть, поглощающую доходы обоих миров. Бессмысленная фискальная система разрешает задачу вымогать, ничего не отдавая. От Мехико до Брюсселя народы

исходят золотом, а сундуки короля всегда пусты. Ничего не производящее королевство отдано во власть своих колоний. Бывают дни, когда Испания бродит в отчаяньи по набережной Кадикса, ожидая опоздавших галионов из Лимы или Вера-Крус. Случается, что их потопило море или захватил неприятель; иногда они дерзко конфискованы среди океана флотом какого-нибудь государя-кредитора. Тогда всё потеряно; боятся, что государство погибнет.

Эти ненадежные доходы, впрочем, являются лишь остатками наворованного. Итальянская пословица говорила об испанских правителях: «Сицилийский офицер грызет, неаполитанский ест, миланский пожирает». Можно было бы прибавить: вице-короли Мексики и Перу поглощают. Эти заморские правительства организовали грабеж: короли Испании и обеих Индий получали лишь объедки со стола своих вице-королей. Долги и чужеземные закладные еще уменьшали эти столь ненадежные доходы. Никогда богатство не бывало столь бесплодным. Американское золото только проходило через Испанию, чтобы обогащать другие нации. Один писатель того времени, уподобляя мир телу, сравнивает ее со ртом, который принимает пищу, разжевывает ее и растирает; но тотчас же отдает ее другим органам, довольствуясь сам лишь мимолетным вкусовым ощущением и случайными волокнами, застрявшими у него в зубах.

Эта нищета началась уже давно. В 1556 году Карл V, желая проехать в Испанию, в течение четырех месяцев должен был оставаться в Нидерландах из-за недостатка денег. Его отречение происходило в зале, еще затянутой трауром по случаю недавней кончины его матери: не было денег для другой обивки. – Переписка Филиппа II с Гранвелем – это один долгий крик голода. Истощив все средства, он предлагает продавать индульгенции во время одного из всеобщих отпущений грехов. Но министр ему отвечает, что Фландрия, которая имела даровое отпущение, не прибавит ни одного дуката к королевской казне. В семнадцатом веке лишения увеличиваются. Из жалованья по двенадцати экю в месяц офицеры Филиппа IV не получили и шести в течение десяти

лет. Один путешественник насчитывает лишь четырех богатых сеньоров во всем королевстве: дона Луи де Харро, герцога Альба, маркиза де Лаганн и графа д'Оннат. При Карле II торговля в некоторых провинциях возобновляет систему мены первобытного мира: скот меняют на зерно, сукно на полотно. Грандецца закладывает свою мебель и платья у ростовщиков. Фиск не накладывает никаких личных налогов, потому что плательщики, лишенные всего в своих опустошенных домах, не могут представить ничего для описи. Солдаты просят милостыню и дезертируют. Ночью они присоединяются к разбойникам и грабят прохожих. Нищета подымается до самого дворца, камеристки не получают своего содержания; лакеи короля снимают свои ливреи; лошади, покинутые конюхами, умирают от голода в конюшнях. Королева берет взаймы, чтобы платить своим дамам. Государство принуждено прибегать к мошенническим приемам для того, чтобы существовать. Оно то чеканит фальшивую монету, то захватывает слитки, отправленные купцам из Индии в Севилью, и взамен выдает им листы ренты, по которым не будет заплачено. – В 1679 году Карл II женился на Марии-Луизе Орлеанской; не знали, откуда взять деньги на свадьбу. В это время прибыли в Кадикс купеческие галионы; Совет решал, не должен ли он их конфисковать, в силу государственных соображений, для того, чтобы оплатить свадебные расходы.

Эта сказочная нищета породила целую особую литературу. Как в произведениях Рембрандта, в испанской библиографии существует отдел, который можно назвать с е р и е й н и щ и х. Откройте п л у т о в с к и е р о м а н ы, которых пишут так много, начиная с XVI века – и вам покажется, что вы находитесь в одном из тех осажденных городов, в которых едят крыс и кузнечиков. Голод, худоба, истощение, чахотка описаны там с фантастической энергией. Даже самая карикатурная преувеличенность свидетельствует об ужасах действительности. Эти иссохшие лиценциаты, голодные бакалавры, нищие, кости которых стучат, как трещотки прокаженных, и которые, забыв, как и чем едят, подносят к глазам кусок им брошенного хлеба. Какая бедность и какой голод

в этих постоялых дворах Дон-Кихота, где связки трески сохнут на пыльной доске рядом с куском заплесневелого черного хлеба! Весь роман Сервантеса оставляет в вас впечатление пустыни, через которую проходит караван на голодный желудок. Пища там редкость, хороший стол там кажется чудом. Долина Гамашской свадьбы играет в книге роль обетованной земли в Исходе.

II

Но самая ужасная рана Испании, язва, которая создает в ней порчу и ее пожирает, – это Инквизиция. В рукопашной борьбе с Африкой испанский католицизм заразился ее истребительным гением и престол Христа переделал в алтарь Молоха. Богу Голгофы он кадил парами крови и дымом костров. Он считал себя правовернее Рима: Святейшая Инквизиция, окруженная языками пламени, пренебрегала папскими советами и цензурой. Ее можно уподобить Плутону, противополагающему Олимпу свое адское самодержавие. Инквизиция была неугасимым пожаром. В XV веке ее кратеры вскрылись во всех концах Испании. Торквемада обратил Кастилию в море пламени. В течение восемнадцати лет десять тысяч осужденных сожжены живыми; семь тысяч сожжены заочно, в изображениях. Около 1483 года в Андалузии насчитывалось до пяти тысяч опустелых домов. Статуи Апостолов, воздвигнутые на четырех углах каменного костра Севильи, покрылись толстым слоем жирной сажи от сгоревших тел.

Этот священный каннибализм странным образом совпал с покорением Мексики. Страшные монахи, сопровождавшие армию Кортеса, нашли там богов-людоедов, питаемых духовенством из палачей. Убийство было догматом, пытки обрядами этого жестокого культа. Великий жрец облачался для служения в ризы, красные от запекшейся крови; он вырывал сердце у жертв, привязанных к камням алтаря, и золотой лжицей вкладывал его в чудовищный рот идола. Освящение великого храма в Мехико было отпраздновано бойней шестидесяти четырех тысяч жертв. Тапиа, лейтенант Кортеса, насчитал сто тридцать тысяч черепов в подземель-

ях святилища. – Инквизиция при этом зрелище была, казалось, охвачена кровавым соревнованием. Это была эпоха ее наиболее обильных казней. Говорили, что она вдохновлялась этими мрачными богами. Она принесла Христа в Мексику, но обратно в Испанию вернулась с Вицли-Пуцли.

Между тем, вскоре стало не хватать добычи для этой ищейки с зажженным факелом в зубах, которую Святейшая Инквизиция избрала себе эмблемой. Мавры стали редки, еретики исчезли; оставалось лишь Еврейство, не подчинившееся изгнанию, упорное в своей вере, терпеливое, потому что чувствует себя вечным. Другие народы отпускали его на выкуп и презирали; они отмечали его позорным знаком и запирали в «Град Мучений», в гетто. В общем, в течение больших промежутков они его оставляли жить и торговать на свободе. Под условием, чтобы Шейлок возвращался в определенный час в свою нору, он мог там спокойно высиживать свои сокровища. Одна Испания никогда не допускала ни переговоров, ни перемирий с Израилем. Из четырех стихий она ему предоставляла только огонь. Еврей упорствовал, впившись корнями в эту неблагодарную землю, и этими упрямыми корнями Инквизиция питала свои костры. Еврейство было рождественским поленом ее черного очага, этим неистребимым поленом, которое тлеет всю зиму. Оставшиеся евреи сделались христианами для того, чтобы избежать костра, но закон о подозрительных тяготел над Маранами, как называли обращенных евреев. – При малейшем признаке отклонения, при слабом указании на возврат к еврейству – Марана хватали, как еретика, и кидали в огонь.

Инквизиция не только тиранизировала героическую Испанию, она ее ожесточила и развратила. Для того чтобы не стать ее жертвой, нация стала ее соучастницей. Святейшая Инквизиция породила ужасное племя сообщников, доверенных людей, шпионов и сыщиков. Самые высокие существования были отданы во власть самых отвратительных доносчиков. К концу XVI века каждый кастилец делается шпионом шпиона.

Чем больше ночи и пустоты скопляется вокруг, тем чудовище становится недоверчивее. Сами короли трепетали

перед ним. Оно принуждало их официально присутствовать при ее аутодафе. – Филипп II повелел одному вице-королю подставить свою спину под бич Святейшей Инквизиции за то, что он ударил одного из ее сочленов. Утверждают, что ради Инквизиции он пожертвовал своим сыном Дон-Карлосом. При вступлении своем на престол он сказал, отдавая ей в руки своего учителя архиепископа Толедского: «Если у меня самого в жилах будет кровь еретика, то я сам отдам свою кровь». – Передают, что Филипп III искупил слово сострадания, которое вырвалось у него во время одного аутодафе несколькими каплями крови, выпущенною из его руки ножом палача.

Впрочем, Инквизиция скоро утеряла свой первоначальный дух; потому что и самое зло может вырождаться. Ее фанатизм обратился в невежественную и извращенную рутину. В начале это был крестовый поход; вскоре она стала только полицией. Ангел-истребитель обратился в альгвазила. Черная злость стала основой ее характера. В ее католичестве жестокость Молоха была перемешана с нетерпимостью Ислама.

В Лувре есть одна картина, которая кажется ее семейным портретом: все типы Святейшей Инквизиции там собраны, как в группе апофеоза. Это «Св. Василий, диктующий свое учение» Герреро Старшего. Посередине холста восседает св. Василий, страшный старик с львиным лицом, борода которого развевается, как волны гривы; он изрыгает проклятия. Направо исступленный монах заносит, как стилет, свое перо, готовясь писать. Овал капюшона мрачно обрамляет его отвратительное лицо. Жестокое неистовство кривит его рот и узит его впалые глаза. Налево отвратительный епископ запрокинут в высокомерной позе. Сзади подымаются головы монахов, яростные, угрожающие, и глаза их пламенеют, как угли костра. Над этим демоническим синедрионом реет Св. Дух. Но под этой мрачной кистью божественный голубь приобретает кости и зрачки коршуна; он низвергается на св. Василия, точно хочет выклевать ему глаза. Даже самые головы херувимов, которыми наполнено небо картины, делают гримасы раздраженных детей. Это ад,

собравший свой вселенский собор. Кажется, что видишь тех демонов, которые в легендах надевают священные облачения, чтобы пародировать обряды церкви.

Вымирание сделало из Испании самую бедную страну Европы, ее религиозный терроризм создал из нее самую печальную и самую нелюдимую национальность. В конце семнадцатого века это вырождение выражается в ее дворе и олицетворяется ее королем. Для того чтобы коснуться ее сущности, надо спуститься в мадридский дворец; болезнь, от которой умирает Испания, надо изучать на Карле II.

III

Филипп II создал испанский двор по своему образу и подобию: недвижимый, как монастырь, охраняемый, как гарем: в регламентах его этикета чувствуются и монах и евнух. Впрочем, дух грозного короля царил там больше, чем его пример, потому что Филипп II, собственно говоря, не имел двора. Посреди того века, который был им потрясен, в сосредоточии интриг, им приводимых в движение, он создал себе искусственное и недостижимое уединение. Это был сфинкс, владеющий словом всех человеческих загадок, но остающийся в пустыне, зарытый в песке. Эскуриал, построенный в зловещей местности, по плану орудия пытки, является не столько дворцом, сколько гробницей. Своими сухими линиями, обнаженными стенами, монастырскими дворами, симметрическими лабиринтами, кладбищенскими садами, своей архитектурой, полукрепостной, полумонастырской, и усыпальницей, которую он таит в себе как последний смысл всей своей постройки, он походит на те крипты, которые фараоны с первого дня своего царствования строили для будущего своего трупа. Там Филипп II заперся среди небольшой толпы монахов, без сановников и без придворных. – «Двор, – говорит одна итальянская реляция, сделанная около 1577 года, – в настоящее время весьма малолюден, потому что там встречаешь лишь тех, кто имеет отношение к личным покоям короля, или к его совету, так как большинство из cavalieri privati*, которые там находились, или к услугам короля, или

* Частные лица (*ит.*).

для искания почестей, видят, что его Величество живет всё время в уединении, или в деревне, мало показываясь, редко давая аудиенции, награждая скупо и поздно, не могли там оставаться под бременем расходов, не получая ни выгоды, ни удовольствий».

Филипп II превратился в монаха в этом политическом монастыре; это Тиберий-Анахорет в глубине мистической Капреи. Земной шар его – мертвая голова, государственные бумаги его – библия. День и ночь он присутствует там, читает, пишет, делает справки и отметки на письмах и депешах, приходящих к нему тысячами с четырех стран света. Вступая в Эскуриал, он как бы дал обет молчания. Вся его политика совершается на бумаге, он не разговаривает даже со своим секретарем, сидящим за его столом: он сообщается с ним записками – даже для мельчайших своих распоряжений. Депутации, которые он принимает, не слышат от него ни одного слова: после их речей он склоняется к уху своего министра, который вместо него отвечает неизменное «veremos»*. «Среди всеобщего молчания словесности, – говорит один историк V века, – я слышу только скрип моего пера, скользящего по пергаменту». Точно так же среди молчания ужаснувшейся и испепеленной Испании – слышишь только перо Филиппа II, скрипящее по бумаге. Чем дальше он живет, тем больше он сжимается. Вскоре келья Эскуриала становится для него слишком просторной; свои последние годы он проводит заживо похороненный в склеп с окном, у подножия главного алтаря церкви. Около этой уже похоронной гробничной комнаты он велел поставить свой гроб. – Есть одна картина Сурбарана, представляющая св. Бонавентура, уже после смерти возвращающегося в свою келью, чтобы окончить начатую книгу. Это точный образ этого короля-призрака, заканчивающего в глубине гробницы мрачное дело своего царствования.

Образом Филиппа II определяются и трое его потомков: они усваивают себе его позу, если не могут усвоить его непоколебимой души. Его мрачный облик является как бы каноном, установленным священниками, по которому высе-

---

* Понимаем (*исп.*).

кались все идолы Египта. Филипп III, Филипп IV, Карл II повторяют его, постепенно умаляя. Если бы род Карла V продлился, тень Филиппа II еще царила бы над Мадридом. Испанский двор соблюдал намеченные им правила. Его отправления, сложные и однообразные в одно и то же время, напоминают механизм больших часов, заводимых раз в год, которые на следующий день начинают тот же самый круг, что они пробежали накануне, указывая те же цифры, звоня в те же часы, приводя в движение, согласно временам года и месяцам, те же аллегорические фигуры и лунные фазы. Король и королева были деревянными фигурами, показывающимися в известные сроки на часовой башне этого монархического механизма. С одного конца года до другого, королевская чета, приводимая в движение неизменными пружинами, выходила, парадировала, возвращалась и двигалась с машинальной неизменностью. «Нет ни одного государя, который бы жил так, как испанский король, – говорит один путешественник того времени. – Его занятия всегда одни и те же и идут таким размеренным шагом, что он день за днем знает, что будет делать всю жизнь. Можно подумать, что существует какой-то закон, который заставляет его никогда не нарушать своих привычек. Таким образом, недели, месяцы, годы и все часы дня не вносят никакого изменения в его образ жизни и не позволяют ему видеть ничего нового. Потому что, просыпаясь, сообразно начинающемуся дню, он знает, какие дела он должен решать и какие удовольствия ему предстоят. У него есть свои часы для аудиенций иностранных и местных и для подписи всего, что касается отправления государственных дел, и для денежных счетов, и для слушанья мессы, и для принятия пищи. И меня уверяли, что он никогда не изменяет этого порядка, что бы ни случилось. Каждый год, в то же самое время, он посещает свои увеселительные дворцы. Говорят, что только одна болезнь может ему помешать уехать в Аранхуэц, Прадо или Эскуриал на те месяцы, которые он привык пользоваться деревенским воздухом. Наконец те, что говорили мне об его расположении духа, уверяли, что оно вполне соответствует выражению его лица и осанки, а

те, что видели его вблизи, уверяют, что во время разговора с ним они никогда не замечали, чтобы он изменял позу или движение и что он принимал, выслушивал и отвечал с тем же самым выражением лица, и во всем его теле двигались только губы и язык.

Это вялое существование отражается в портретах Филиппа IV, написанных Веласкесом во всех видах и в разные возрасты. Двадцать ли ему лет, или шестьдесят, изображен ли он на охоте, или на войне, верхом ли на поле сражения, или на коленях в своей молельне – это всегда одна и та же молчаливая и серая маска с опущенными губами и с сонными глазами. Этот неопределенный взгляд, сосредоточие которого повсюду, а луч зрения нигде, изумлял уже его современников. Так как Филипп IV родился в страстную пятницу, а испанское суеверие приписывает лицам, родившимся в этот день, свойство видеть в том месте, где совершено убийство, тело убитого, то народ приписывал потерянному взгляду короля желание избежать этого вечного видения трупов. Поразительный и мрачный символ! Тому, кто знает историю его царствования, кажется, что Филипп IV всегда отвращает взгляд для того, чтобы не видеть трупа Испании, лежащего у его ног. Торжественное пробуждение, печальное, как извлечение из могилы, месса, выслушанная из-за решетки, совет, первоприсутствуемый в молчании, публичный обед, превращенный в кулинарную церемонию, однообразная прогулка в старых каретах с опущенными занавесами, охоты, кровавые и литургические, как гекатомбы, длинные беседы наедине с исповедником, аудиенции, в которых всё совершается в жестах и пантомимах, церемония укладывания в постель, похожая на похороны, столько в нее вкладывалось серьезности и торжественности, – такова была жизнь королевского дворца. Одна подробность характеризует непреложность этого механизма: этикет определял сумму денег, которую должно было стоить каждое путешествие в Аранхуэц, именно, сто пятьдесят тысяч экю. Было запрещено расходовать больше или меньше. Часто Карл II оставался среди лета в Мадриде, не будучи в состоянии собрать этой суммы. Половина или чет-

верть были бы достаточны, но каббалистическая цифра была неизменна. Этикет регламентировал даже подарки королей своим любовницам и каким образом они должны были их избирать или объявлять о немилости, когда они переставали нравиться. Шедевром этого королевского ритуала было цареубийство; однажды испанский этикет убил короля Испании. Филипп III, задохнувшись от чада жаровни, позвал на помощь; офицер, приставленный к жаровне, был в отсутствии; кариатида треножника покинула свой пост. Он один имел право к ней прикасаться. Его искали по всем коридорам и по всем комнатам: когда он вернулся, король был уже мертв.

Немногие празднества разнообразили по временам этот неподвижный церемониал. Это были бои быков, почти такие же кровавые, как зрелища древнего цирка, аутодафе, зажигаемое по большим праздникам, как человеческие фейерверки, процессии – полумистические, полугалантные, во время которых чичисбеи дворцовых девушек имели право ухаживать за своими возлюбленными; во время святой недели ночные прогулки разодетых женщин, ищущих по церквам своих любовников. Вакханалии Мадрида кружились вокруг Голгофы.

Потому что одн<ой> из странностей испанского благочестия было соединение чувственности с суровостью и нетерпимости с разгулом. В его мистицизме была истерия. Оно одевало своих Мадонн в туалеты актрис, румянило им лица и украшало мишурой. Сводницы обожали часовни; свидания давались около кропильницы, которая играла роль раковины Венеры, подвешенной у порога церкви. Житие св. Девы, написанное Марией Агреда, великой кастильской святой XVII века, заставило покраснеть Боссюэта. В картинах Мурильо это языческое благочестие является во всей наготе. Небесной ли царице или земной инфанте дают серенаду его влюбленные ангелы, играющие на скрипках? С какою странною страстью его юные святые приносят Жениху сердце, которое они только что вырвали, окровавленное и пламенеющее, из своей разверстой груди! Его рай похож на небесную Андалузию: можно подумать, что туда поднимаются по шелковой лестнице из испанских романов. Святые девы его Зачатий

смущают зрителя, очаровывая его. Мне кажется, что я вижу в них гурий, возносящихся на небо на мусульманском полумесяце.

Обряды испанского церемониала не совершались, как во Франции, легкомысленно и с грациозной вежливостью. Сумрачный костюмами и лицами, угрюмый от надзора Инквизиции, управляемый внутри старыми, неумолимыми женщинами, более пунктуальными относительно этикета, чем аббатиссы относительно устава, мадридский двор мрачными костюмами и лицами напоминал духовенство в похоронных облачениях, совершающее служение около раки забальзамированного короля. Костюмы отличались ужасающим безобразием; вечный траур омрачал дворец; приблизиться к королю можно было только одетым в черное. Воротники, которые охватывали шеи мужчин, как железные ошейники, их одежды с длинными басками, их узкие штаны, их тяжелые плащи и круглые очки, предписанные модой, уродовали красоту и старили молодость. Костюм женщин пугал; он привел в ужас Сен-Симона, когда тот увидал его в первый раз во время своего посольства. Это были монашеские нагрудники, мантильи, скрывавшие глаза, корсажи, твердые, как доспехи, фижмы, которые придавали телу крутые откосы крепостей. Жены, мужья которых были в путешествии, носили кожаный пояс или веревку; даже на балах они не покидали своих четок, и зёрна их, машинально перебираемые, отмечали ритм менуэтов. Прибавьте еще ко всем этим элементам уныния молчание смерти. Каждый считал свои слова, потому что знал, что они будут взвешены. Каждая придворная дама имела своего чичисбея; но вне определенных дней он не имел права с нею говорить иначе, как издали и жестами. На спектаклях и в церкви, от одного окна до другого, поднятые руки обменивались таинственными знаками. В этом королевском городе мертвых любовь объяснялась иероглифами. Можно было подумать, что это немые сераля ухаживают за женами султана.

Шуты и карлы пытались развлекать этот могильный двор, подобно фавнам, прыгающим вокруг античных саркофагов. «Здесь есть два карла, – говорит в своей переписке ма-

дам де Виллар, – которые всегда поддерживают разговор». – «Мы были изумлены, – рассказывает один путешественник, посетивший в 1654 году сады Аранхуэца, – наглостью шута королевы, который подошел к одному из нас с жестяной трубкой в руках, делая вид, что он туг на ухо». Впрочем, звон этих официальных шутовских бубенцов не будил отголосков. Шуты входили в общий распорядок дворца: над их гримасами не подобало смеяться больше, чем над гримасами каменных масок над порталами дворца. Однажды королева Мария-Анна, супруга Филиппа IV, во время обеда стала смеяться над кривляньями дежурного шута. «Она была предупреждена, что это не подобает Испанской королеве и что ей следует быть более серьезной; чем изумленная, будучи молодой и только что прибывшей из Германии, она им отвечала, что не сможет удержаться, если не уберут этого человека, и что не следовало его ей показывать, если не хотят, чтобы она смеялась» («Relation du Voyage d'Espagne»*).

Иностранные принцессы, становившиеся невестами испанских королей, уезжали в ужасе перед своей судьбой. Тяжело было променять пышность Версаля или наивные нравы Германии на это мертвенное величие. Едва лишь новая королева переступала границу, всё менялось вокруг нее: лица вытягивались, платья темнели; погребальная процессия окутывала ее своими черными плащами и платьем, вышитым черным стеклярусом. Можно было подумать, что это погребальный покров, брошенный на кармелитку, произносящую свои обеты. Женщины и слуги ее дворца неожиданно отсылались: мрачная Испания лишала ее привязанностей, как с послушницы снимают светские одежды. Она переходила в руки угрюмых сановников и мрачных дуэний, которые рассматривали ее инквизиторским взглядом. Она переставала быть молодой, она переставала быть женщиной, она становилась чем-то хрупким и священным, охраняемым подозрительными взглядами. Ей приходилось покинуть веселые уборы своей родной страны и облачиться в угрюмые кастильские одежды. Этикет ожидал ее у порога границы, чтобы заковать ее в свои цепи.

---

* Рассказ о путешествии в Испанию (*фр.*).

Мемуары того времени рассказывают о страданиях юных французских и немецких принцесс, выданных из политических видов замуж за этих суровых королей. Мы видим, как они заливаются слезами, приближаясь к Испании. Он похожи на Прозерпину, бьющуюся в объятиях Плутона, уносящего ее на черной колеснице.

Мария-Анна Австрийская, готовясь стать супругой Филиппа IV, проезжала через один город, известный своим производством шелковых чулок. Депутаты этого города явились к ней, чтобы поднести великолепные образцы своей промышленности; но мажордом, сопровождавший королеву, швырнул корзину в лицо тем, кто ее подносил: «Aveis de saber, – сказал он им, – que las reynas de Espana no tienen piernas». Что значит: «Знайте, что у испанских королев нет ног». Этим он хотел сказать, что лица их ранга никогда не касаются земли. Но молодая королева поняла метафору старого придворного буквально. Она воскликнула, обливаясь слезами, «что она хочет во что бы то ни стало вернуться в Вену и что если бы она знала до своего отъезда, что у нее хотят отрезать ноги, она бы лучше хотела умереть, чем отправиться в путь...» По прибытии в Мадрид мажордом рассказал королю об этой наивности королевы: «Он нашел ее столь забавной, что слегка улыбнулся», – что и было отмечено придворными, как был бы отмечен луч солнца астрономами Исландии: «Это была для него, – говорит мадам д'Онуа, – самая изумительная вещь в мире, так как потому ли, что он считал для себя то необходимым, или это было одно из черт его темперамента, но было отмечено, что он не смеялся больше трех раз в своей жизни». («Memoires de la Cour d'Espagne»*, 1692).

Выходка этого мажордома характеризует то странное существование, на которое этикет обрекал испанских королев. Мы можем его изучать почти день за днем на самой милой из его жертв. Мемуары того времени рассказывают нам мартиролог Марии-Луизы Орлеанской. Третьего ноября 1679 года дочь Генриэтты Английской вступила в Испанию, чтобы стать супругой короля Карла II. Это была в иных формах древняя казнь, когда живую связывали с трупом и кидали в могилу вместе с ним.

---

* Воспоминания об испанском дворе (*фр.*).

IV

Карла II можно определить одним словом: это Людовик XIII в последней степени сухотки и сплина. Он родился, отмеченный знаками рахитизма. Спарта выбросила бы этого властителя полумира. В пять лет он не мог еще ходить иначе, как опираясь на плечи мамок. Искусство врачей гальванизировало этого недоноска, не будучи в состоянии оживить его. Всю жизнь он томился между золотухой и лихорадкой. Испорченное построение челюсти, характерное для его семьи, у него становилось уродством. Его редкие портреты вызывают дрожь; эта бледная и угрюмая маска недоноска истощенной расы. Тупость его ума соответствовала болезненности тела; меланхолическая летаргия составляла основу характера. Его невежество могло спорить лишь с невежеством мусульманского принца, запертого в Семибашенном замке. Он не знал собственных своих государств: когда французы овладели Монсом, он думал, что Людовик XIV отнял это укрепленное место у Вильгельма III. Чертовщина испанского благочестия еще более расшатала его слабый мозг; он считал себя одержимым и несколько раз заставлял изгонять из себя бесов. Легенда повествует о святых, у которых на теле появлялись раны Распятого: про Карла II можно сказать, что он носил на себе стигмы истории. Все бедствия, все падения, все болезни Испании воплотились в последнем потомке Карла V.

До своего брака Карл II питал к женщинам отвращение и ненависть. Его болезненное детство прошло в гинекеях, и он знал только печальные лица дуэний и воспитательниц. Шелест юбки в комнате заставлял его спасаться потайными лестницами. Когда женщина подавала ему прошение, он отворачивался, чтобы не видеть ее. И по своему слабоумию и по физической своей чахлости, этот неудачный король был, казалось, обречен на безбрачие Расслабленных Жюмоежа. Но любовь, которая «сильнее, чем смерть», по Писанию, на мгновение воскресила этот труп. Портрет Марии-Луизы Орлеанской совершил чудо: поверив живописцу, он внезапно и страстно полюбил молодую принцессу и попросил ее руки у Людовика XIV, который только что подписал с Испанией

Нимегский договор. Он стал иным человеком. «Он не хочет расставаться с этим портретом, – говорит мадам д'Онуа, – он хранит его всегда у сердца; он обращается к нему с нежными словами, изумляющими придворных, потому что он говорит языком, которым не говорил никогда; его любовь к принцессе рождает в нем тысячу мыслей, которые он не может доверить никому; ему кажется, что все недостаточно разделяют его нетерпение и желание поскорей ее увидеть; он пишет ей без конца и почти каждый день отправляет нарочных, чтобы отнести его письмо и привезти новости о ней». Любовь преобразила его: идиот мыслил, немой говорил, сомнамбула внезапно проснулась. У него вырывались слова, подобные вспышкам молнии посреди ночи. – За несколько месяцев до его свадьбы одна ревнивая куртизанка, переодетая в мужское платье, заколола своего любовника у самых ворот дворца; король приказал ее привести к себе; он выслушал ее историю; затем сказал, обращаясь к окружающим: «Воистину я должен поверить, что нету в мире состояния более несчастного, чем состояние того, кто любит, не будучи любим. – Ступай, – сказал он женщине, – и постарайся быть более благоразумной, чем ты была до сих пор; ты слишком много любила, чтобы поступать сознательно».

Впрочем, даже и этому призраку трудно было избежать жгучих влияний, его окружавших. Намечая физиономию Испании XVII века, необходимо остановиться на эротическом безумии, бывшем, быть может, самым ярким ее выражением.

Вырождающиеся народы, как и отдельные личности, в минуты бедствий, чтобы забыться, отдаются часто физическому и моральному головокружению. Греция опьяняет себя софизмами и риторикой, Рим тупеет на цирковых бойнях, Византия предается словопрениям вселенских соборов, Венеция становится куртизанкой и убивает себя во время карнавала. Испания, более идеальная и более гордая, в самом падении сохраняла позу всемогущества и, чтобы забыть свою нищету, прибегала к возбуждениям любви. Это уже не пылкая и наивная рыцарственность Романсеро, это утонченная и болезненная галантность, в которой огонь фанатизма сме-

шивается с ребячествами благочестия. Точно африканский ветер, дующий в боскетах Страны Нежности*. – Женщина становится идеалом и почти фетишем; она требует странного, иногда кровавого культа. Ей нужны гиперболы в действиях и словах: человеческие жертвы дуэлей и утонченные фимиамы чичисбейства. Любовь в Испании усвоила себе приемы чистого безумия; двор был наполнен неистовыми Орландами и Селадонами. – Граф Вилламедиана, влюбленный в королеву Елизавету, жену Филиппа IV, поджег театр, для того чтобы унести ее на своих руках. – Когда одна из придворных дам делала себе кровопускание, хирург омачивал в ее крови платок; любовник платил ему за эту реликвию серебряной и золотой посудой. Обычай предписывал давать за это не меньше шести тысяч пистолей.

Этикет допускал эротические экстравагантности. Двор имел своих официальных безумцев от любви. Их называли Embevecidos, т. е. «опьяненными любовью». Даже если они не были испанскими грандами, они могли оставаться с покрытою головой перед королем и королевой: они считались ослепленными видом своих возлюбленных и неспособными видеть что-либо иное и знать, где они находятся. Король дозволял им непочтительность, как султан терпит оскорбления и проклятия от факиров. Это известное идолопоклонство заимствовало свои обряды от религии. Даже ее умерщвления плоти она превращала в жертвоприношения любви.

Среди придворных было модой самобичевание во время поста; мастера монашеской дисциплины преподавали им как фехтмейстеры искусство розги и ремня. Юные флагелланты пробегали по улицам вечерами весенних дней Святой недели. Почти азиатский костюм делал их похожими на вертящихся дервишей. Они надевали батистовые юбки, расширяющиеся колоколом, и остроконечный колпак, с которого свешивался кусок материи, прикрывавший лицо.

Этот спектакль самобичеванья они приходили устраивать под окна своих возлюбленных; плети были перевиты

* Pays de Tendu, аллегорических стран, измышленных M-elle de Scudéri и другими романистами XVII века.

лентами, полученными от них на память. Самая большая элегантность состояла в том, чтобы хлестать себя одним движением кисти, а не всей руки, так, чтобы брызги крови не попадали на платье. Дамы, извещенные заранее, украшали свои балконы коврами и зажигали свечи. Сквозь приподнятые жалюзи они ободряли своих мучеников. Встречая знатную даму, самобичеватель должен был стараться ударять себя так, чтобы кровь брызнула ей в лицо; эта любезность вознаграждалась милой улыбкой.

Иногда два кавалера-самобичевателя, сопровождаемые лакеями и пажами, несущими факелы, встречались под балконом одной и той же женщины. Тогда орудие аскетизма превращалось в оружие поединка: господа хлестали друг друга плетьми, а лакеи колотили друг друга факелами; место оставалось за более выносливым и мужественным. Эти кровавые лицедейства завершались большим ужином.

«Кающийся садится за стол вместе со своими друзьями. Каждый по очереди говорит ему, что на памяти людей никто не совершал самобичевания с большим изяществом: все действия его преувеличиваются, а особенно счастье той дамы, в честь которой он совершил эту галантность. Ночь проходит в беседах такого рода, и случается, что тот, кто так доблестно изувечит себя, оказывается настолько больным, что не может присутствовать в церкви в первый день Пасхи». (Relation du Voyage d'Espagne).

V

Между тем новая королева продолжала свой путь в Испанию, как Ифигения к алтарю. Дочь Генриетты наследовала очарование и кротость своей матери. Францию она покидала с отчаянием. Был момент, когда она надеялась стать супругой Дофина. Когда Людовик XIV сообщил ей, что она станет испанской королевой, она кинулась с рыданьями к его ногам. Король сказал ей:

«Что же больше я бы мог сделать даже для своей дочери?» Она ответила трогательными словами: «Но для вашей племянницы вы могли бы сделать больше». За несколько дней до

отъезда, когда король входил в церковь, она упала к его ногам и снова умоляла его; Людовик XIV грубо отстранил ее и ответил с сухой иронией, ему свойственной: «Прекрасная сцена: Королева Католическая мешает Всехристианнейшему Королю войти в церковь». В его последних словах, к ней обращенных, звучала суровость угрозы: «Государыня, – сказал он, целуя ее, – я надеюсь, что говорю вам "прощайте" навсегда, потому что величайшее несчастие, которое может случиться с вами, – это ваше возвращение во Францию». Никогда более кроткое существо не было с большей холодностью принесено в жертву государственным интересам.

Третьего ноября 1679 года Мария-Луиза Орлеанская прибыла около Сен-Жен-де-Люц на берег Бидассоа, этого официального Стикса, отделявшего Францию от Испании. Входя в позолоченный деревянный дом, построенный на берегу, где принц д'Аркур должен был передать ее в руки маркиза Асторгас, когда ей пришлось, как Марии Стюарт, сказать последнее прости милой Франции, она была охвачена тем ледяным ужасом, который ожидал всех новых королев на пороге Испании. Она охотно бы сказала жене маршала Клерамбо, своей статс-даме, то, что Монима Расина говорит в дивных стихах своей наперснице:

«Если бы ты любила меня, Федима, то заплакала бы, когда, увенчав зловещим титулом, меня оторвали от груди милой Греции, и в эту варварскую страну увлекли твою госпожу».

«В этот миг, – рассказывает madame д'Онуа, – лицо ее достаточно ясно выражало всю печаль, которую причинила ей наступившая разлука с Францией... Увы! сколь печальны были эти минуты для юной принцессы, воспитанной при самом прекрасном и самом любезном дворе мира! Она знала и уважала тех, кто ее сопровождали; они же обожали ее, если только возможно употребить такое выражение; и вдруг она осталась с людьми, которых она совсем не знала и которые не могли ей показаться достаточно любезными, чтобы произвести на нее первое приятное впечатление. Она так мало знала их язык, что не понимала их слов и лишь с трудом могла отвечать. Нужно еще прибавить к этому, что их манера быть

услужливыми так мало напоминала французскую, что она весьма страдала от этого. Всё было церемонно, всё было принужденно; испанцы хотели, чтобы она с первого же дня усвоила себе всё, что испанки изучают в течение всей жизни.

Они не принимали в соображение различия двух наций, которые во всем противоположны друг другу, и так как они думали, что следует с самого начала указать ее Величеству то место, которое ей придется занимать всю жизнь, то не стали ничего откладывать, и с этого момента она почувствовала то рабство, которое упорный характер камареры-махор сделал таким тяжелым».

Действительно, посредине моста появился гений этих мест в образе старой женщины и принял новую королеву под свою власть.

Герцогиня Терра-Нова, ее камарера-махор, подвигалась ей навстречу, сопровождаемая придворными дамами. Она вошла вместе с нею на барку с застекленной комнатой. С этого момента королева принадлежала ей душой и телом.

Камарера-махор была официальной тюремщицей королевы, воплощенным или, скорее, окостенелым этикетом; страшная дуэнья, вооруженная всеми суровостями благочестия и старости, которая сторожила свою коронованную воспитанницу с гримасами ответственного дракона, сидящего на сокровище. Посвятить молодую королеву в испанский церемониал, образовать ее согласно его требованиям, подчинить его рабству, научить ее ходить, есть, говорить, двигаться по законам непоколебимой симметрии, следить за ее взглядами, замечать все ее речи, указывать на каждое слово, на каждый жест, отступающий от писанного правила, переделать, так сказать, и ее тело и ее душу – таковы были ее грозные и почти абсолютные полномочия. Они давали ей над королевой права настоятельницы над послушницей. Шпионка расы ревнивой, как сама любовь, камарера-махор была ответственна перед Испанией за натурализацию ее королевы.

Герцогиня Терра-Нова из дома Пиньятелли – была внучкой Фернанда Кортеса.

«Это худая и бледная женщина, с длинным морщинистым лицом, с маленькими и суровыми глазками; она самая надменная особа в мире, и наружность ее соответствует этому вполне. Она холодна и сурова, очень опасна как враг, соблюдает испанскую серьезность, все ее шаги и жесты строго рассчитаны. Она говорит мало, но я хочу или я не хочу, говорит так, что охватывает дрожь. Дон-Карлос Арагонский, ее двоюродный брат, был убит бандитами, специально ею выписанными из Валенсии, потому что он требовал у нее возвращения герцогства Терра-Нова, ему принадлежавшего, но которым она пользовалась» (Mémoires de la Cour d'Espagne).

Этот характер был характером самой должности; соперничеством суровости и старости. Вот портрет в стиле Рибейры, написанный Сен-Симоном с графини Алтамира, бывшей камарера-махор при Елисавете Фарнезе, супруге Филиппа V.

«Она исполняла свои обязанности очень старательно и очень самовластно, оставаясь, однако, вежливой с дамами, из которых ни одна не посмела бы ей манкировать, и все трепетали перед ней. Она была мала ростом, безобразна и плохо сложена, ей было около шестидесяти лет, но казалось не менее семидесяти пяти, и вместе с тем осанка величественная и серьезная, которая импонировала».

Королева, переданная в руки герцогини Терра-Нова, отправилась ночевать в Ирен, где приготовленный для нее ужин дал ей первое понятие об испанской нищете: «Он был так скуден и так плохо приготовлен, что она была крайне изумлена и почти ничего не ела». На следующий день она села на лошадь, сопровождаемая герцогиней Терра-Нова, «представлявшей ужасную фигуру на своем муле». Карл II встретил ее около Бургоса в деревне Квинта-Напалла. Когда он увидел ее, луч радости осветил его печальную фигуру. «Mi reina! Mi reina!»* – шептал он с восторгом. Она несколько раз пыталась броситься к его ногам и поцеловать его руку, но он каждый раз мешал ей и приветствовал ее, по обычаю страны сжимая ее руки обеими руками. Однако у них не было никакой возможности объясниться: король не понимал по-

* Моя королева! Моя королева! (*исп*).

французски, королева еще не знала ни слова по-испански. Французский посланник служил им переводчиком.

Свадьба была справлена почти инкогнито в этом бедном селенье. На следующий день кортеж малыми переходами направился к Мадриду. Выслушав Te Deum в соборе Богоматери Атошской, королева удалилась, чтобы замкнуться в Buen-Retiro.

VI

Пленение юной королевы началось в Буен-Ретиро, куда этикет запер ее раньше, чем она успела сделать свой первый публичный выход. Камарера-махор всё время проповедовала королю во время путешествия и пугала его тем, что королева «юная, живая, с блестящим умом воспитанная в свободных обычаях французского двора» будет готова разбить церемониал, если же с первых дней не почувствует всей его неуклонности. Автоматы боятся всего непредвиденного: Карл II дал герцогине Терра-Нова полную власть в воспитании королевы. «Герцогиня Терра-Нова, – говорит madame д'Онуа, – решив отнять у королевы совершенно ту небольшую долю свободы, которой она пользовалась, и желая остаться единственной госпожой над волей ее величества, объявила, как только та удалилась в Буен-Ретиро, что до самого публичного ее выхода она не допустит к ней никого, кто бы это ни был.

Для молодой королевы было очень печально и обидно оказаться вдруг таким образом отдаленной от тех лиц, которые могли бы доставить ей утешение, удовольствие, или даже дать полезные советы. Она держала ее запертой в Ретиро, не позволяя ей даже выходить из своих комнат. Единственным ее развлечением были длинные и скучные испанские комедии, в которых она почти ничего не понимала, да грозная камарера, которая безотлучно была у нее пред глазами с лицом суровым и нахмуренным, никогда не смеявшаяся и за всё умевшая сделать выговор. Она была заклятым врагом всех удовольствий и обращалась со своей госпожой, как гувернантка с маленькой девочкой» (Mémoires de la Cour d'Espagne).

Госпожа де Виллар, французская посланница, наконец добилась у короля разрешения увидеть королеву инкогнито;

но она наткнулась на запрещение камареры. Ее известили, что король разрешил это посещение; она ответила в первый раз, что «она этого не знает». Госпожа де Виллар настаивала; она направила к ней придворного, который умолял ее осведомиться. Та отвечала, «что она не сделает ничего и что королева не увидит никого, пока будет в Ретиро».

Когда королева хотела поговорить с маркизой Лос-Бальбасес, которую встретила в одном из апартаментов дворца, «камарера взяла ее за локоть и заставила вернуться в свою комнату».

Эта насильственная педагогика простиралась вплоть до туалета: к когтям мегеры присоединялись еще руки неряхи.

Однажды герцогиня, увидав, что волосы несколько растрепались на лбу королевы, плюнула себе на пальцы, чтобы слепить их. «На что королева остановила ее руку и с королевским видом сказала ей, что даже лучшая эссенция не годится для этого, и, достав свой носовой платок, долго терла свои волосы в том месте, где эта старуха так неопрятно их замочила» (m-me d'Aunoy).

После своего первого выхода королева вышла из затворничества в Буен-Ретиро, но лишь для того, чтобы перейти к тому, что г-жа де Виллар называет «ужасною жизнью дворца». Аскетические книги, описывая Ад, говорят о бронзовых часах, висящих над бездной: маятник неподвижно висит в пустоте остановившегося времени и стрелки вечно указывают два слова: «Всегда!» – «Никогда!». Дни испанского двора свободно могли бы отмечаться стрелками этих адских часов: их медленность кажется вечностью, их расписание непреложно, как судьба.

Церемониал упразднял волю и свободу действий: он функционировал, как механизм, сквозь колёса которого проходит существо или предмет, и заботился о судорогах человека не больше, чем о пассивности вещи.

Согласно этикету, испанские королевы должны были ложиться спать летом в десять часов, а зимой в половине девятого. Первое время Марии-Луизе случалось забывать эту неизбежную цифру: ей случалось еще не кончить ужина, когда наступал час королевского сна. Тогда ее женщины, ни

слова не говоря, начинали распускать ее прическу; другие разували ее под столом. В несколько минут она была раздета, ее волосы распущены и сама она отнесена в постель. Ее укладывали спать с «куском во рту», говорит в одном письме госпожа де Виллар.

Этикет проникал до самого алькова; супружеская любовь имела свой распорядок и свою униформу. Когда король приходил, чтобы провести ночь с королевой, он должен был поверх башмаков надевать мягкие туфли, иметь на плече черный плащ, в одной руке держать свою шпагу, а в другой потайной фонарь, придерживая правым локтем кувшин, а левым бутылку, подвязанную веревками. Эта бутылка двусмысленной формы была похожа на ту, которую на картине Жерара Доу «Женщина, страдающая водянкой» врач рассматривает с таким озабоченным видом. Нельзя удержаться, чтобы не представить себе фигуру Карла II с его лицом призрака, в этом наряде полуторжественном, полушутовском! Вообразите себе статую Командора, снабженную всеми атрибутами «manneken-piss»*.

Даже самая любовь короля могла только отягчать тоску королевы; в ней была молчаливость неотвязной идеи и уныние мономана.

«Король никогда не хотел терять королеву из виду, – говорит г-жа де Виллар со своей тонкой придворной иронией, – и это очень обязывало». Три или четыре часа в день он играл с нею в бирюльки, «игра, в которую можно потерять одну пистоль лишь при самой необычайной неудаче». Для развлечения он ее возил по мадридским монастырям: это была только перемена места заточения. Письма и мемуары описывают нам эти унылые посещения: Король и королева сидят в больших креслах; монахини и менинь и склоненные перед ними, внизу; дамы проходят процессией и целуют им руку как реликвию, выставленную на один день в монастыре; за завтраком услуживают карлы, одетые в парчу, с длинными волосами... можно себе представить, как эту картину написал бы Веласкес.

---

* Писающий мальчик (*фламанд.*); деталь фонтана в Брюсселе. (*Ред.*)

Два больших празднества ознаменовали королевскую свадьбу: бой быков и аутодафе. Этой принцессе, воспитанной в изяществе Версаля, Испания подносила, как свадебный подарок, бойню и казнь, палачей и гладиаторов. Бой быков был великолепен; шесть грандов или сыновей грандов там быкобойствовали, как говорит г-жа де Виллар, которая чуть не упала в обморок, там присутствуя. «Это празднество – ужасающее удовольствие, пишет она г-же де Куланж, – если бы я была королем Испании, оно бы не повторилось никогда». Три месяца спустя состоялось торжественное аутодафе, которое при вступлении на престол и свадьбах королей Испании заменяло фейерверк. Без сомнения, это было самой жестокой частью посвящения юной королевы в таинства испанского этикета. Инквизиция точно испытывала властителей, принуждая присутствовать их на своих спектаклях; она короновала их пылающим углем Исайи. Прежде чем вступить на трон, они должны были пройти через ее пламя: это было огненным крещением их царствования.

Огромный эшафот, над которым царила кафедра Великого Инквизитора, был воздвигнут на Plaza-Major. В семь часов утра король, королева, гранды, посланники, придворные дамы, празднично разодетые, заняли места на балконах, с которых был виден этот трагический театр. В восемь часов процессия началась. Сто угольщиков, вооруженных пиками, шли во главе: это была привилегия поставщиков костра. За ними следовали доминиканцы, предшествуемые зеленым крестом, обвитым крепом; герцог Медина Цели, наследственный хоругвеносец Инквизиции, присные Святейшей Инквизиции в плащах, испещренных черными крестами, и тридцать человек, несшие картонные изображения, из которых одни представляли бежавших приговоренных, другие умерших в тюрьме. Мятежные останки этих избежавших казни были влекомы в гробах, украшенных нарисованными языками пламени. За ними следовали вереницей двенадцать осужденных с веревкой на шее и с факелом в руке, их картонные колпаки были расписаны шутовскими рисунками. Инквизиция высмеивала своих жертв; она наряжала их как манекенов, прежде чем кинуть в свои потешные огни. За ними следовали пятьдесят других приговоренных, одетые в желтые

одежды с желтыми крестами. Это были евреи, которые, будучи взяты лишь в первый раз, подвергались пока только бичеванию в темнице. Наконец появились m o r i t u r i* празднества, двадцать евреев и евреек, осужденных на костер. Они шли, одетые в свое проклятие и в свою казнь. Их одежды и колпаки пылали. Те, которые раскаянием заслужили милость быть задушенными до костра, были отмечены опрокинутыми языками пламени; но пламя тех, кого должны бы сжечь живыми, стояло прямо и нарисованные дьяволы, карабкаясь по их одеждам, разрывали их. Рты наиболее упорных были заткнуты кляпами.

Зловещая толпа, влекомая веревками, проследовала под королевским балконом, – как гладиаторы перед ложей Цезаря. «Этих несчастных протащили так близко от короля, – говорит г-жа д'Онуа, – что он слышал их жалобы и стоны, потому что эшафот, на котором они стояли, касался его балкона. Монахи, некоторые искусные, другие невежественные, с яростью вступали с ними в споры, чтобы убедить их в истинах нашей веры. Среди них были евреи, весьма ученые в своей религии, которые с большим хладнокровием отвечали поразительные вещи». Была отслужена заупокойная обедня; во время чтения Евангелия священник покинул алтарь, и король Испании, с обнаженной головой, приблизился, чтобы у колен Великого Инквизитора принести присягу Святейшей Инквизиции. В полдень началось чтение решений и приговоров, прерываемое криками и мольбами осужденных. Между приговоренных к костру была семнадцатилетняя девушка «дивной красоты». Ребенок не хотел умирать; она отбивалась, как бы уже чувствуя укусы пламени, и, обращаясь к королеве, молила о помиловании. «Великая королева, – говорила она ей, – неужели ваше королевское присутствие ничего не изменит в моей несчастной судьбе? Взгляните мою юность и подумайте, что дело идет о религии, которую я впитала с молоком матери». «Королева отвратила взор, выражая сострадание, но она не посмела ничего сказать, чтобы спасти ее» (Mémoires de la Cour d'Espagne). Вероятно, она была уже очень порабощена страхом, если могла сдержать горькую жалость,

---

* Идущие на смерть (*лат.*).

переполнявшую ее сердце. Кто знает? Быть может, одна из ее слез потушила бы пламя ужасного костра.

Чтение приговоров длилось до девяти часов; прерванная месса возобновилась: тогда королю и королеве было дозволено удалиться. Но двор и народ сопровождали осужденных, привязанных к ослам, за Фуенкаральские ворота, где был воздвигнут костер. Эта старая Испания была закалена в огнях Инквизиции. Гидальго хорошего рода бывал взволнован зрелищем еврея, жарящегося на костре в рубашке, пропитанной серой, не больше, чем римский патриций осмоленными христианами, которых зажигал Нерон. В испанской Сицилии дамы во время аутодафе кушали шербеты, которые им подавали монахи, как туристы пьют лакримакристи в траттории отшельника, глядя на дымящийся Везувий.

Казнь была ужасна. «Мужество, с которым приговоренные шли на казнь, действительно необычайно, – говорит г-жа д'Онуа. – Многие сами кидались в огонь, другие сжигали себе руки, потом ноги, держа их над огнем, сохраняя при этом такое спокойствие, что приходилось только жалеть, что души столь мужественные не были просвещены лучами веры. Я туда не ездила; потому что, не считая того, что было уже за полночь, я была так потрясена всем виденным днем, что чувствовала себя дурно». Г-жа де Виллар оказалась не более мужественной; она описывает г-же де Куланж этот ужасный день с жалостью, перемешанной с отвращением. Французская кротость протестовала против этих африканских жестокостей. Кажется, что видишь двух галльских женщин, покидающих римский цирк в тот момент, когда гладиатор падает, а весталки показывают ему опущенный палец. «У меня не хватило мужества присутствовать при этой ужасной казни евреев. Это было отвратительное зрелище, судя по тому, что я слышала; но что касается чтения приговоров, присутствовать там необходимо, если только вы не имеете удостоверения от врачей о тяжкой болезни, так как в противном случае вы прослывете еретиком. Нашли даже весьма нехорошим то, что я как бы слишком мало развлекалась всем происходящим; но те жестокости, которым были подвергнуты перед смертью эти несчастные, этого невозможно вам описать».

VII

Между тем одиночество королевы всё увеличивалось. Почти все ее женщины были отосланы; с нею оставались только двое: ее кормилица и одна горничная. Но камарера-махор сделала жизнь им настолько суровой, а король, ненавидевший всё, что имело отношение к Франции, кидал им, проходя, такие мрачные взгляды, что они попросили отпустить их. Тогда ее уединение в испанском затворничестве стало полным. Только госпожа де Виллар могла ее видеть изредка. Эти редкие визиты, совершавшиеся под наблюдением, как посещения чужеземки в монастырской приемной, тем не менее были очень желанны. Однажды г-жа де Виллар показала ей письмо, в котором madame де Севиньи говорила о ней — и пленница сквозь решетку с грустью обоняла этот цветок Версаля. «Я дала прочесть королеве то место, где madame де Севиньи говорит о ней и об ее хорошеньких ножках, которые грациозно танцевали и так красиво ступали. Это ей доставило большое удовольствие. А затем она подумала о том, что ее хорошенькие ножки теперь не имеют занятий иных, как несколько раз обойти вокруг комнаты, да каждый вечер в половине девятого отнести ее в постель». Чтобы развлечься, коронованная Розина пела, как птица в клетке. «Она сочиняет оперы, она дивно играет на клавесине и довольно хорошо на гитаре; ей ничего не стоило научиться играть на арфе. Благочестивые книги доставляют ей не очень много утешения. Это и неудивительно в ее летах. Я часто говорю, что хотела бы, чтобы она забеременела и имела ребенка» (письма г-жи де Виллар). Следует ли упомянуть о том, что бедная королева находила утешение еще в любви хорошо покушать. Она ела много и часто, с тем животным удовольствием, которое испытывают во время еды очень одинокие существа. Вместе с этим она начала сильно толстеть — по-турецки, как султанша, замкнутая в низких комнатах гарема. «Испанская королева, — пишет г-жа де Виллар, — располнела до такой степени, что еще немного, и ее лицо станет совершенно круглым. Ее шея слишком полна, хотя и остается одной из самых красивых, которые я когда-либо видела. Она спит обыкновенно

десять–двенадцать часов; четыре раза в день она ест мясо; правда, ее завтрак и ужин являются лучшим ее питанием. За ее ужином всегда бывает каплун вареный в супе и каплун жареный».

Этот версальский аппетит очень изумлял в стране, привыкшей к почти арабскому сухоядению, где герцог Альбукеркский, например, обладавший двумя тысячами пятьюстами дюжинами золотых и серебряных блюд, за обедом съедал одно яйцо и одного голубя. Ее аппетит мог бы пленить Людовика XIV, который, по свидетельству Сен-Симона, так забавлялся, когда дамы ели и, особенно, когда они «ели до отвала» в каретах при переездах в Марли. Но Карл II, сидя за столом против своей жены, смотрел на нее с изумлением призрака, обедающего вместе с живой. «Король, – говорит г-жа де Виллар, – смотрит, как ест королева, и находит, что она ест слишком много».

Мы имеем также трогательный рассказ о посещении ее г-жой д'Онуа, относящемся к той же эпохе. Она ее застала сидящей на полу в зеркальном кабинете, как идола в нише. На ней было платье из розового бархата, расшитое серебром, и тяжелые серьги, падавшие на плечи. Она трудилась над рукодельем из золотых оческов с голубым шелком.

«Королева говорила со мной по-французски, стараясь при этом говорить по-испански в присутствии камарера-махор. Она приказала мне посылать ей все письма, которые я получаю из Франции, в которых будут новости, на что я ей возразила, что те новости, о которых мне пишут, недостойны внимания столь великой королевы. "Ах, Боже мой! – сказала она, с очаровательным видом подымая глаза, – я никогда не смогу относиться равнодушно к чему бы то ни было, что приходит из страны, которая мне так дорога". Затем она сказала мне по-французски очень тихо: "Я бы предпочла видеть вас одетой по французской моде, чем по испанской". – "Государыня, – отвечала я ей, – это жертва, которую я приношу из уважения к вашему величеству". – "Скажите лучше, – продолжала она, улыбаясь, – что вас приводит в ужас строгость герцогини"» (Mémoires de la Cour d'Espagne).

Необходимо было наблюдать за собой в этом дворце, переполненном слухами и западнями. В этих комнатах умирающего королевства говорили шепотом: малейший звук мог его внезапно пробудить. Повсюду подсматривающие глаза, подслушивающие уши, коварные языки, которые преувеличивали слова. Однажды королева пригласила во дворец халдейского священника из города Музала – древней Ниневии. Она расспрашивала его об его стране при посредстве переводчика и среди прочих вопросов спросила: «Так же ли сурово охраняются женщины в Музале, как и в Мадриде?» Камарера-махор из этого кроткого лукавства создала целое преступление; она тотчас же побежала сообщить об этом королю, который рассердился и нахмурился. Это создало между ним и королевой облако немилости, и понадобилось несколько дней, чтобы оно разошлось.

В другой раз ночью королева услыхала, что ее маленькая болонка, которую она очень любила, выходит из комнаты. «Испугавшись, что она не вернется, она встала, чтобы найти ее ощупью. Король, не находя королевы, встает в свою очередь, чтобы искать ее. И вот они оба посреди комнаты в полной темноте, бродят из одного угла в другой, натыкаясь на всё, что лежит у них по пути. Наконец король в беспокойстве спрашивает королеву, зачем она встала. Королева отвечает, что для того, чтобы найти свою болонку. Как, говорит он, для несчастной собачонки встали король и королева! И в гневе он ударил ногой маленькое животное, которое терлось у его ног, и думал, что убил его. На ее визг королева, которая очень любила ее, не могла удержаться, чтобы не начать очень кротко жаловаться, и вернулась, чтобы лечь в постель очень опечаленная» (Mémoires de la Cour d'Espagne). На другой день король поднялся озабоченный и угрюмый. Он уехал на охоту, ни слова не сказав с королевой. Под вечер, когда молодая женщина, беспокоясь о его немилости, оперлась на подоконник, чтобы издали увидать его возвращение, камарера-махор сделала ей выговор строгим тоном и прибавила, что «не подобает испанской королеве смотреть в окна».

К ней не подобало тоже и прикасаться под страхом смерти. Повелительный девиз: не касайтесь королевы! – не

был пустой формулой. Королева в Испании в буквальном смысле слова была неприкосновенна; к ней прикасались, как к священным сосудам лишь освященными руками. «Если бы королева оступилась и упала, – говорит г-жа д'Онуа, – и если бы около нее не оказалось ее дам, чтобы ее поднять, хотя бы вокруг стояло сто царедворцев, то ей пришлось бы подняться самой или оставаться на земле весь день, скорее чем кто-нибудь решился помочь ей встать». В первый раз она чуть не убилась на охоте. Этикет требовал, чтобы она прыгнула на коня из дверей кареты. Лошадь отступила в тот момент, когда она прыгнула, и она упала на землю с размаха. «Когда король присутствует, то помогает ей он, но никто другой не смеет приблизиться к королевам Испании, чтобы до них дотронуться и помочь им сесть в седло. Предпочитают, чтобы они подвергали опасности свою жизнь или рисковали расшибиться». В другой раз Мария-Луиза впервые села на андалузскую лошадь во дворе дворца. Животное взвилось на дыбы, королева упала, а ее нога запуталась в стремени: лошадь ее тащила за собой, и она рисковала разбить себе голову о плиты. «Король, который видел это с балкона, был в отчаянии, а двор был переполнен аристократией и стражей; но никто не решался прийти на помощь королеве, потому что мужчинам не дозволено ее касаться и о с о б л и в о е е н о г и, если только это не первый из ее прислужников, надевающий туфли: нечто вроде сандалий, которые дамы надевают поверх башмаков, что очень увеличивает их рост. Королева опирается также на своих "Мениное" во время прогулки; но это были дети, слишком малые для того, чтобы спасти ее от опасности, в которой она находилась». Наконец, два дворянина Дон-Луис де Лас-Торрес и Дон-Хайм де Сото-Махор отважно бросились на эту арену этикета. Один схватил лошадь за узду, другой взял ногу королевы и освободил ее из стремени. «Не промедлив ни секунды, оба выбежали, бросились к себе и приказали быстро оседлать коней, чтобы бежать от гнева короля. Молодой граф Пенеранда, их друг, приблизился к королеве и почтительно сказал ей, что те, кто имел счастие спасти ей жизнь, подвергаются смертельной опасности, если только она милостиво не будет заступничать за них перед королем.

Король, торопливо спустившийся для того, чтобы увидать, в каком состоянии она находится, выразил крайнюю радость, что она не ранена, и весьма хорошо принял ее предстательство за этих благородных преступников (г-жа д'Онуа.) Таким образом: «Не касайтесь королевы!» — было в Испании отголоском девиза эшафота: «Не касайтесь топора!»

VIII

Между тем камарера-махор стала невыносима для королевы. Читая мемуары г-жи д'Онуа, кажется, что перечитываешь одну из ее сказок. Так злые феи истязают принцесс, заключенных в стеклянных башнях. Мария-Луиза привезла из Франции двух попугайчиков, которые умели говорить только по-французски, за что король их возненавидел. Чтобы стать ему угодной, камарера свернула шеи этим маленьким Вер-Вер королевского монастыря.

Королева сдержалась, узнав об этой казни; но когда герцогиня, войдя в ее комнату, склонилась, чтобы поцеловать ее руку, согласно обычаю, она, ни слова не говоря, дала ей две крепких пощечины. Можно представить себе ярость этой надменной вдовствующей дамы, которой принадлежало несколько провинций в Испании и целое королевство в Мексике. Это было оскорбление почти от равного равному, оскорбление величества, совершенное королевой. Она созвала целое народное ополчение из своих родственников и в сопровождении четырехсот дам, самого высокого происхождения, явилась к королю требовать возмездия за это поношение. Карл II вначале возмутился и, приняв самый суровый из своих ликов, отправился бранить виновную. Но королева прервала ее словами: Señor est es un antojo. «Государь, это прихоть беременной женщины». При этих словах гнев короля превратился в ликование, потому что он жаждал сына с нетерпением султана тысяча и одной ночи. Он одобрил пощечины, данные королевой, объявил, что они даны очень ловко, и прибавил, «что если двух ей недостаточно, то он разрешает ей дать герцогине еще две дюжины». Дуэнья могла протестовать и жаловаться сколько угодно, она получала в ответ только: Cailla os, estas bofetadas

son hijos del antojo. «Молчите, это пощечины прихоть беременной женщины». А прихоти беременности имели в Испании силу закона. Если беременная женщина, будь она даже крестьянкой, желала видеть короля, он выходил на балкон, чтобы ее удовлетворить.

Домашняя тирания камареры стала настолько невыносимой, что королева, доведенная до крайности, попросила у короля ее увольнения. Такая просьба была беспримерна. Никогда королева Испании не сменяла своей камареры-махор. Эта должность была несменяема; она имела характер официального помазания. Мария-Луиза, наконец, добилась отставки ужасной герцогини. Она удалилась так же, как пришла, сухой, надменной, непреклонной. Ее прощание с королевой казалось прощанием жрицы, покидающей идол, оказавшийся неверным своему собственному культу.

— «Ее лицо было еще более бледно, чем обычно, а глаза сверкали еще страшнее. Она приблизилась к королеве и сказала ей, не выражая ни малейшего сожаления, что ей досадно, что она не умела ей служить так хорошо, как хотела бы. Королева, доброта которой была беспредельна, не смогла скрыть своей растерянности и умиления, а так как она обратилась к ней с несколькими обязательными словами утешения, та прервала ее и с надменным видом заявила, что королеве Испании не подобает плакать из-за таких пустяков; что та камарера-махор, что заступит ее место, конечно, лучше исполнит свой долг, чем она, и, не вступая в дальнейшие разговоры, взяла руку королевы, сделала вид, что поцеловала ее, и удалилась». Но, выйдя из комнаты, она не смогла сдержать своего бешенства, схватила китайский веер, лежавший на столе, сломала его пополам, кинула на пол и с яростью растоптала его ногами. Воображение заканчивает эту сцену: оно видит, как она уезжает на фантастической колеснице злых фей, хлещет своих крылатых драконов и сыпет над дворцом злые наговоры.

Однако несколько месяцев спустя герцогиня Терра-Нова вернулась, чтобы благодарить королеву за вице-королевство, пожалованное ее зятю. Это свидание достойно быть увековеченным, но чтобы понять всю его живописность, надо себе

представить герцогиню Альбукерк – камареру-махор, заступившую ее место.

Это была женщина лет пятидесяти, более кроткая нравом, но столь же отвратительная лицом, «с маленькой повязкой из черной тафты на голове, которая спускалась ей до бровей и так крепко сжимала лоб, что глаза ее всегда припухали». Герцогиня Терра-Нова, войдя в апартаменты королевы, казалась вначале слегка смущенной; она извинилась, что многие болезни и недомоганья мешали ей так долго посещать дворец, и прибавила: – "Я должна признаться Вашему Величеству, что я даже не знала, смогу ли я пережить горе разлуки с Вами". – Королева отвечала ей, что она осведомлялась всё время о состоянии ее здоровья и что лучше перестать им говорить о том, что доставило ей такое горе; и действительно, она перешла к другим речам. Герцогиня Терра-Нова взглядывала время от времени на герцогиню Альбукерк так, как будто хотела пожрать ее, а герцогиня Альбукерк, глаза которой были нисколько ни более красивы, ни более мягки, чем ее собственные, тоже искоса посматривала на нее, и обе они время от времени обменивались кислыми словами» (г-жа д'Онуа). – Какая сцена для Гойи, великого карикатуриста испанского двора, если бы он при ней присутствовал! Дракон и Тараск, оспаривающие друг у друга геральдический пост!

IX

Отъезд герцогини Терра-Нова немного прояснил мрачное уныние дворца. Устав смягчился, и власяница этикета на несколько узлов распустилась на плечах королевы. Ей было дозволено ложиться только с половины одиннадцатого и смотреть в окна. Госпожа де Виллар иронически прославляет эти победы. – «Со времени сменения камареры-махор все чувствуют себя прекрасно. Воздух дворца совсем переменился. Теперь мы, – королева и я, – смотрим сколько нам угодно в окно, в которое только и видно, что большой сад женского монастыря, называющегося Incarnation и связанного с дворцом. Вам трудно себе представить, чтобы юная принцесса, родившаяся во Франции и воспитанная в Пале-Рояле, может это считать удовольствием; я делаю всё,

чтобы заставить ее ценить это удовольствие больше, чем сама ценю его». – Но если стеснение и ослабло, то уныние тяготело по-прежнему, это уныние беспросветное, удушливое, как воздух в закрытом помещении, которое госпожа де Виллар почти осязательно дает почувствовать в одном из своих писем. – «Уныние дворца ужасно, и я иногда говорю королеве, входя в ее комнату, что мне кажется, что его чувствуешь, видишь, осязаешь, так густо оно разлито кругом. Тем не менее я не упускаю случая, чтобы постараться убедить ее в том, что с этим нужно свыкнуться или, по крайней мере, постараться как можно менее чувствовать его».

Марии-Луизе приходилось еще бороться против интимного врага, ненависть которого, замаскированная улыбками, работала лишь исподтишка. Королева-мать, Мария-Анна Австрийская, вдова Филиппа IV, была из той породы австрийских принцесс, ханжей и насильниц, ограниченных и злых, которые столько раз разоряли Европу... Регентша во время детства Карла II, она сперва правила Испанией через посредство отца Нитарда, своего исповедника, дурака иезуита, – rara avis in terris!* – затем при помощи Валенцула, – закосневшего Жиль-Блаза, который был одновременно и ее домашним шпионом, и платоническим любовником. Дон-Жуан, признанный батар Филиппа IV, стал во главе Грандеццы и низверг этих ничтожных фаворитов. Он взял Карла II из гинекея, в котором тот прозябал, и посадил его на трон. Это было точное повторение трагикомедии, поставленной Люинем и разыгранной Людовиком XIII против регентши и Кончини. Как Мария Медичи в Блуа, так Мария-Анна Австрийская была изгнана в Толедо; и Карл II, поддерживаемый Дон-Жуаном, начал свое призрачное царствование. Королева-мать, преданная Австрии, хотела женить своего сына на одной из дочерей Императора. Дон-Жуан разбил эти планы и устроил брак короля с Марией-Луизой. Он умер в то время, как велись переговоры о браке. Через несколько дней после его смерти королева-мать была вызвана из ссылки, но уже слишком поздно, чтобы расстроить свадьбу, которая уже состоялась. Отсюда ее глухая ненависть против принцессы, за-

* Редкая птица на Земле! (*лат.*)

ранее отметившей место Франции по отношению к испанскому трону, и те черные интриги, которыми она ее окружила.

В истории их скорее угадываешь, чем можешь нащупать. Эти камарильи старых дворов действуют подкопами и во мраке. Там есть таинственные существа, которые роют, ведут подкопы, устраивают заговоры, часто подготовляют большие события, но лиц их нельзя различить. Неведомые исповедники, личные секретари, темные писцы, секретные камерарии, фавориты in petto*, министры tu partibus**, доверенные лакеи. Эти ночные сообщники днем стушевываются перед официальными лицами. Их видят редко, звук их голоса еле различишь. Прислушиваясь к их тайным совещаниям, вы услышите только смутный шепот, подобный тому, что веет в церкви сквозь решетки исповедален. Часто политика целого королевства переворачивается сверху донизу в несколько часов этими гномами переулков и чуланов. Утром министры видят свои планы нарушенными и нити перепутанными, как те сказочные земледельцы, которые, встав на заре, находят свои нивы опустошенными невидимыми Духами. Кого подозревать? Кого бояться? Быть может, этого монаха, который проходит, бормоча молитву... Быть может, этой неизвестной дуэньи, которая крадется по коридору в потайную комнату.

Ad augusta per angusta***.

X

После нескольких дней пробуждения Карл II вновь впал в свою летаргию. Бледная луна медового месяца, которая на одно мгновение оживила его унылое существо, промелькнула, как блуждающий огонек по развалине. Граф де Ребенак, преемник маркиза де Виллар по Мадридскому посольству, раскрывает своему государю тайны королевской спальни с дерзостью дипломата, трактующего случай политической медицины. Он рисует ее как место, посещаемое призраком, и заявляет Людовику XIV, что у испанского короля никогда не

* Ближайшие (*лат.*).

** Имеющие титул, но не исполняющие обязанности (*лат.*).

*** К вершинам через теснины (*лат.*).

будет детей. С первых же лет брака Европа произнесла свой приговор: было ясно, что роду Карла V суждено угаснуть в нем. Поднялись честолюбия, появились претенденты; вскоре вокруг Испании началось жужжание целого роя наследников. облепивших дом умирающего богача. Бесплодие приводило в отчаяние печального монарха; он чувствовал его одновременно как позор и как угрызения совести; оно отдавало страну чужеземцу; великая империя погибала от его слабости, а он умирал ее смертью.

Карлу II нельзя отказать в чувстве своей расы: он был испанцем во всем великолепии этого слова, презирал другие национальности, высоко нес свой скиптр из тростника и поломанную корону, царствуя над призраком, как если бы восседал на троне во всей славе. Странное сочетание! Надменность владыки мира, соединенная с бессилием короля-тунеядца, гордость бога, затаившаяся в теле недоноска. Идея завещать свое королевство gavachos'ам, как он называл всех иностранцев, для него была невыносима. Вскоре он впал в меланхолию еще более черную. Охота стала его единственным наслаждением, он любил ее скорее, как аскет, чем ловец зверей, любил ради уединения, ради возможности уходить в пустыню.

«Король, – говорит г-жа д'Онуа, – брал обыкновенно с собою на охоту только первого конюшего и великого ловчего. Он любил оставаться один в этих пустынных просторах, и иногда заставлял себя подолгу искать себя». Пустыни, что окружают Эскуриал, ужасают, как пейзажи каменистой Аравии. Земля, заживо сожженная, распростирает свой скелет: обнаженные горы, серые скалы, каменистые овраги. Посредине этого бесплодного хаоса – монастырь Филиппа II вздымается, как побелевшая гробница Библии: птицы замолкают, пролетая над ним. Он мог бы испугать столпников и молчальников Фиваиды. – Оттуда Карл II послал однажды королеве в ларце из филигранного золота, вместе с четками ту записку, которая включена в стих Рюи-Блаза: «Сударыня, сегодня сильный ветер и я убил шесть волков».

Ограбленный Францией, он всегда ненавидел ее; эта ненависть еще увеличилась, когда Людовик XIV стал пре-

тендовать на его наследство: она стала доходить до кризисов мономании. Когда один французский нищий приблизился к карете королевы, чтобы попросить милостыню, король приказал его убить на месте.

В другой раз два голландских дворянина, одетые по французской моде, почтительно посторонились перед королевской каретой, им было дано понять со стороны короля: «чтобы они впредь остерегались при встрече с Их Величествами становиться со стороны королевы и с нею раскланиваться». Даже животные не были безопасны от этой неистовой галлофобии. Королева не смела ласкать своих собак в его присутствии: «так как он не мог переносить этих маленьких животных, потому что их привозили из Франции, и когда он их видел, говорил: Fuera, fuera, perros frances!» Что значит: Прочь! прочь! французские собаки! (г-жа д'Онуа).

Проходили годы, но королева не становилась матерью. Ни обеты, ни паломничества, ни подношения мадоннам не могли совершить чуда: печаль короля превратилась в мрачное безумие. Его слабый мозг всегда был открыть виденьям и кошмарам, он верил в колдуний, как подобает королю, сжигавшему их живыми. Ему пришла мысль, что графиня де Суассон, находившаяся в то время в Мадриде, наговорами лишила его возможности иметь детей. Австрийская камарилья пользовалась этими болезненными галлюцинациями, его безумие было использовано опытными руками. Монахи и казуисты партии вмешались, на него были выпущены все дьяволы, поражающие браки бесплодием. Эта адская комедия должна была привести к разрыву с королевой. Если бы французский посланник не успел вовремя сорвать маски с этих обманщиков, то их дело было бы сделано.

Марии-Луизе, раз подвергнутой пустой церемонии заклятия, обвиненной в колдовстве, опозоренной суеверием и поставленной в смешное положение, оставалось бы только удалиться в монастырь. И мы бы имели на пороге XVIII века зрелище королевы, прогнанной с трона кропильницей. Но следует предоставить слово графу де Ребенак, рассказывающему Людовику XIV этот мрачный фарс коронованно-

го «Мнимого порченного». Мы будем вынуждены опустить несколько строк: дипломатия того времени отличается такими же вольностями, как и казуистика: при случае она справляется с трактатом Санчеса: «De Matrimonio»*.

«Некий доминиканский монах, друг исповедника короля, имел откровение, что король и королева околдованы; я должен заметить, между прочим, Ваше Величество, что испанский король уже давно полагает, что он околдован, и именно графиней де Суассон. Был поставлен вопрос о том, чтобы снять колдовство, если только наговор был сделан после брака; если же он был сделан до, то нет никакого средства к его устранению. Церемония эта должна была быть ужасной, потому что, Ваше Величество, и король и королева должны были быть совсем обнажены. Монах, одетый в церковные облачения, должен был совершить заклинания, но самым гнусным образом, а затем в присутствии же монаха они должны были убедиться в том, снят ли наговор на самом деле. Королева была настойчиво королем принуждаема дать согласие на это, но никак не могла решиться. Всё это происходило в большой тайне, и я не знал ничего об этом, когда получил записку без подписи, предупреждавшую меня, что, если только королева даст согласие на то, что предлагает этот монах, – она погибла, и что западня эта устроена ей графом Оропесой. Предполагалось вынести заключение, что королева была околдована еще до брака; он, следовательно, становился не имеющим силы, или, по крайней мере, сама королева стала бы ненавистной королю и народу. А так как все такие козни, даже самые черные, обнаруживаются этого рода путями, то отец-исповедник королевы и я, мы направили все усилия, чтобы исследовать это дело. Прежде всего мы узнали от самой королевы о том, что происходит, и она приняла свои меры предосторожности. Затем мы узнали, что вопрос был уже поставлен некоторым теологам, и что кое-кто из них уже высказался в смысле незаконности брака. В конце концов, Ваше Величество, это было ужасное дело и опасная западня для королевы, и мы не нашли более верного пути избежать ее, как тайно опубликовать всю историю, и с тех пор король

* О браке (*лат*).

Испании больше не вспоминает о ней...» (Архив иностранных дел.)

На следующий год, – 1689, – смерть, отмеченная трагическими знаками, почти внезапно унесла Марию-Луизу. Наговор, которого страшился король, пал на королеву. Как шабаш колдуний, эта политическая чертовщина закончилась убийством. Локуста довершила дело, не законченное Канидией.

XI

При вступлении Марии-Луизы на Испанскую землю не было недостатка в предзнаменованиях; королеву древности они заставили бы вернуться обратно. В день ее приезда Барселонский колокол, которому народ приписывал пророческий голос, стал звонить сам собою заупокойным звоном. В Буен-Ретиро королева слегка оперлась рукой на большое зеркало, и стекло треснуло сверху донизу. Это предзнаменование повергло в ужас придворных дам. «Они долго рассуждали по этому поводу и решили со вздохом, что их королеве долго не прожить». Марии-Луизе, казалось, было на роду написано быть отравленной; ее мать умерла от яда и она сама в детстве уже коснулась губами смертельного кубка. Госпожа де Севиньи передает этот таинственный случай и необычайные слова, которые прорвались у Людовика XIV, обыкновенно столь несообщительного и сдержанного. Одну минуту это заставило трепетать весь монастырский мир. «У юной принцессы четырехдневная перемежающаяся лихорадка; она очень огорчена: это мешает удовольствиям этой зимы. На днях она была у кармелиток на улице Булуа. Она попросила у них средства против перемежающейся лихорадки; ей дали питье, после которого у нее сделалась сильная рвота. Это наделало много шуму. Принцесса не хотела говорить, кто дал ей питье; наконец, это узнали. Король серьезно обратился к Monsieur (брату короля): "Ах! Это кармелитки! Я знал, что они мошенницы, интриганки, сплетницы, золотошвейки, цветочницы; но я не думал, что они еще и отравительницы". От этих слов земля потряслась; все ханжи сплотились. В конце концов всё разрешилось виршеплетством, но что сказано,

то сказано, что подумано, то подумано, чему поверили, тому поверили. Это-то и оригинально».

В трагической смерти Испанской королевы была таинственность исчезновения. Отравления похожи на змей, чей яд они выделяют; они пресмыкаются, ползают, проскальзывают и исчезают. Там, где они прошли, остается часто лишь едва заметный след или смутная молва: шип змеи, уползающей в свое логово.

Главная обвиняемая этого темного процесса – Олимпия Манчини, графиня де Суассон, племянница Мазарини; государственная женщина, созданная для преступления, истинное место которой было бы во дворце Цезарей или в Ватикане Борджиев. Воспитывавшаяся вместе с юным королем, она первая привлекла его взгляды; но у этой смутной любви не было времени определиться: она миновала, как облако, на минуту бросившее тень на детские игры. Почти королевский брак не мог утешить Олимпию и заменить тот апофеоз, о котором она мечтала; тогда она кинулась, чтобы забыться, со страстным увлечением в объятья маркиза де Вард, Дон-Жуана того времени, одного из тех великих капитанов старинной галантности, которым Лозены и Ришелье годились бы только в адъютанты. Обоюдными усилиями этот фат, не знавший ни в чем удержу, и эта исступленная женщина вдвоем вели за собой всю жизнь и все интриги двора.

Олимпия, ревнуя мадемуазель Лавальер, отнявшую у нее последние остатки королевской интимности, поднимала против нее целые бури: но все ее ухищрения расстраивались одною силой искренней любви. Она низвергала министров, но не могла поколебать эту «маленькую фиалку, скрытую под травой», – как госпожа де Севиньи назвала Лавальер, – но корень которой таился в сердце короля. Де Вард заплатил военные расходы: он был поражен одной из тех молниеносных немилостей, столь частых при дворе в то время, напоминавших падение полубогов, низвергнутых с Олимпа. В течение двадцати лет проведший в опале в своем маленьком владении Эг Морт, павший Дон-Жуан был принужден разбивать сердца провинциалок. Олимпия вскоре сама погубила себя срамотою шабаша. Это была эпоха, когда Ла-Вуазен держала

в Париже свою лавочку предсказаний и отрав. Ее порошок наследства производил в городе опустошение настоящей моровой язвы. Очень высокопоставленные персоны и очень знатные дамы приходили за советами к ужасной Сивилле, восседавшей на своем зараженном треножнике, и, когда наступил день процесса, она привела за собой в Огненную Палату на хвосте своего ведьмовского помела и графиню де Суассон, и герцогиню Бульонскую, и маршала Люксембургского. Маршал вышел оттуда с высоко поднятой головой, а герцогиня с чистыми руками; но Олимпия осталась замаранной показаниями отравительницы. Ей пришлось поспешно бежать и весь остаток своей жизни странствовать по Европе, из одного города изгоняемой в другой, подобно подозрительным тюкам с чумной печатью, которые таможни и лазареты пересылают друг другу.

Она появилась при Испанском дворе после шестилетнего изгнания в Нидерландах, и ее слава предшествовала ей! Мы видели уже, как Карл II был зачарован ее взглядом, точно ночная птица взглядом змеи. Эта галлюцинация была, может быть, только видом предчувствия. Восток приписывает идиотам дар ясновидения; он предполагает, что их затемненный мозг пронизывается молниями провидения. Как бы там ни было, Карл II приказал графине вернуться во Фландрию; но Олимпия имела поддержку в Австрийской партии, которая, может быть, и вызвала ее в Мадрид, точно так же, как Локуста вызывалась к одру императриц, медливших смертью. Она выдержала грозу и упрямо не желала уезжать. Французский посланник, наблюдавший за ней, держал Людовика XIV в курсе всех ее предприятий. «Госпожа де Суассон, – пишет ему он, – из чувства мести стала на сторону, враждебную королеве, и кинулась в объятия графа Оропесы и графа Мансфельда. Она убедила их, что испанская королева была виновницей ее несчастия, по сочувствию к Вашему Величеству, которое, утверждает она, дало мне приказ, если только возможно, удалить ее из Мадрида. С этой точки зрения, государь, оба эти человека стали смотреть на нее, как на особу, раздраженную против Испанской королевы и враж-

дебную интересам Вашего Величества и по этим причинам им обоим подходящую. Кроме того, это помогло им показать огромность своего влияния, при помощи которого они могут в короткое время изгнать и вернуть кого угодно».

В другом письме граф Ребенак точно предчувствует, что присутствие графини де Суассон в Мадриде представляет опасность для королевы. «Я буду следить за ней самым внимательным образом, – пишет он королю, – и сделаю всё возможное, чтобы воспротивиться тому доверию, которое может когда-нибудь возникнуть у Испанской Королевы к ней». Несколько дней спустя он в этом разубеждается, и подозрительность его ослабевает: «Я нашел, что Испанской Королеве иногда нравились ее беседы, но что у нее никогда не было никакого доверия к ней; мне она не показалась опасной с этой стороны».

Выслушаем теперь показание Сен-Симона в его Мемуарах. Бронзовые уста, разверстые посреди века, точно Венецианская Львиная пасть на площади Св. Марка, его книга приняла в себя все секреты, все исповеди, все доносы своего времени. Эти тайны он разоблачает теперь с молниеносным блеском. Tuba mirum spargens sonum!* То, что Сен-Симон сделал для матери, он делает и для дочери. Вы вспоминаете тот страшный свет, который он бросает на таинственную кончину Мадам Генриетты. С тою же самой интонацией и уверенностью он рассказывает смерть Испанской королевы.

«Граф Мансфельд, – говорит он, – был посланником императора в Мадриде; и графиня де Суассон вступила с ним по приезде в интимную дружбу. Королева, которая дышала только Францией, возымела страстное желание ее увидать; Испанский король, который уже был много наслышан об ней и к которому с некоторого времени стали часто доходить слухи, что королеву собираются отравить, с великою трудностью согласился на это. В конце концов он позволил, чтобы графиня де Суассон иногда приходила к королеве после обеда, по потайной лестнице, и та принимала ее наедине вместе с королем. Посещения эти учащались и всё время с тем же

* Труба [предвечного], дивно рассеивающая звук (*лат.*).

отвращением со стороны короля. Он, как милости, просил у королевы никогда не дотрагиваться ни до какой пищи, которой бы он не отведал или не выпил первый, потому что он хорошо знал, что его не хотят отравить. Было жаркое время; молоко редкость в Мадриде; королева его захотела, а графиня, которая мало-помалу начала оставаться с ней наедине, стала ей хвалить превосходное молоко и обещала ей достать его прямо со льда. Утверждают, что оно было приготовлено у графа Мансфельд. Графиня де Суассон принесла его королеве, которая его выпила и умерла несколько часов спустя, как ее мать, Мадам. Графиня де Суассон не дожидалась исхода и заранее сделала приготовления к бегству. Она недолго теряла времени во дворце, после того, как увидела, что королева выпила молоко. Она вернулась к себе, где ее вещи были увязаны, не смея больше оставаться ни во Фландрии, ни в Испании. Как только королева себя почувствовала нехорошо, все поняли, что она выпила и чьих рук это дело. Испанский король послал к графине де Суассон, которой уже не оказалось дома. Он отправил за ней погоню во все стороны, но она так хорошо заранее приняла меры, что ускользнула».

Но Сен-Симон является, так сказать, посмертным свидетелем и говорит со слов тех сообщений, которые он получил во время своего испанского посольства, тридцать лет спустя после смерти королевы. Его рассказ напоминает протокол о преступлении, оставшемся безнаказанным, составленный по скелетам, выкопанным в тайном месте. В самый же момент, на другой день после катастрофы, очевидцы теряются в умозаключениях и умолчаниях; они ищут ощупью; их обвинения спутаны и противоречат друг другу.

Отрава играет большую роль в XVII веке; она принимает участие в его делах, как и в развязке его трагедий. Эти дворы, разогретые до температуры сералей, рождают восточные преступления. Но что характеризует эти испепеляющие удары грома, это тот малый шум, который они вызывают падая, фатализм, с которым принимают их короли, даже когда они низвергаются на их собственную семью, великое молчание, которое скоро образуется и сгущается вокруг них! Кажется,

что, раздвинув облако, их окутывающее, боятся увидеть там фигуру одного из земных богов. Мимо них проходят, отвращая лицо и подымая руки к небу, едва осмеливаясь произнести имя шепотом.

Французский посланник, извещая Людовика XIV о смерти его племянницы, выражает вначале лишь еле заметные подозрения. «Курьер, – говорит он, – принесет Вашему Величеству самое печальное и самое прискорбное из всех известий. Королева Испанская скончалась после трех дней непрерывных болей и рвоты. Один Бог, Государь, ведает причины этого трагического события. Ваше Величество знает по многим письмам о тех печальных предвестиях, которые я имел об этом. Я видел королеву за несколько часов до ее смерти. Король, ее супруг, дважды отказывал мне в этой милости. Она сама потребовала меня и с такой настойчивостью, что меня пропустили. Я нашел, государь, на ее лице все знаки смерти; она их сознавала и не была этим испугана. Она держалась, как святая по отношению к Богу и героиней по отношению к миру. Она мне приказала уверить Ваше Величество, что, умирая, она оставалась, так же, как была при жизни, самым верным другом и слугой, которого Ваше Величество имело когда-нибудь». Тем не менее посланник пытался установить те знаки, которые преступление оставило на королеве: но умершая была окружена надежной стражей; таинственные распоряжения наложили на нее запрещение. Он хотел присутствовать при вскрытии тела; его требование было отвергнуто; он поставил на пороге комнаты, где лежало тело, хирургов, которым было поручено проникнуть туда тотчас же, когда она откроется, и исследовать труп: но предохранительные меры уже были приняты: дверь осталась замкнутой, как плита могилы. Несколько дней спустя подозрения посланника начинают определяться; он доносит Людовику XIV имена целой группы виновных. «Это, государь, граф Оропеса и Дон Эммануэль Лира. Мы не включаем сюда королевы-матери; но герцогиня Альбукерк, главная фрейлина королевы, держала себя столь подозрительно и выражала столь большую радость в то самое время, когда королева умирала, что

я не могу глядеть на нее иначе, чем с ужасом, а она преданная креатура королевы-матери». Он называет еще Франкини, врача королевы, который упорствовал, вопреки его мнению, в своем человекоубийственном лечении и который теперь избегает его, как бы опасаясь его взгляда. «Поэтому, государь, поведение его мне кажется подозрительным. Я знаю сверх того, что он говорил одной особе из числа его друзей, что при вскрытии тела и в течение болезни он действительно заметил необычайные симптомы, но что он рискует жизнью, если бы стал говорить об этом, и что всё случившееся заставляет его уже давно страстно желать отставки»... «Теперь публика убедилась в отравлении, и никто в этом не сомневается; но зловредность этого народа столь велика, что многие его одобряют, потому что, говорят они, королева не имела детей, и рассматривают преступление, как государственный переворот, заслуживающий их одобрения... К сожалению, слишком верно, Государь, что она умерла насильственной смертью».

Во Франции преступление казалось очевидным. Людовик XIV официально объявил об отравлении королевы Испанской. Это было, по его обыкновению, за ужином: в это время он произносил самые веские свои слова. Приятия пищи он обратил в торжественный обряд, а стол в алтарь. Сидя один, почти всегда безмолвный, под балдахином, за балюстрадой, окруженной сановниками бокала и салфетки, он, казалось, совершал священный обряд. И тогда, если он подымал голос перед присутствующим двором, то казалось, что это первосвященник, прерывающий богослужение для того, чтобы провозгласить новый догмат. В дневнике Данжо мы читаем: «Король сказал за ужином: “Испанская королева была отравлена пирогом с угрями; графиня Паниц, служанки Цамата и Нина, отведавшие после нее, умерли от той же отравы”». Королевские слова переходили из уст в уста, варьируя подозрения. Г-жа де Севиньи, вспоминая о Бренвилье, пишет: «Это весьма попахивает костром». Мадемуазель в своих мемуарах обвиняет «герцога де Пастрон, что он дурно говорил о королеве. Его слова много принесли ей несчастия и способствовали ее трагическому концу». В другом месте

она говорит: «Граф де Мозель (Мансфельд?) был причиной ее смерти, как мне говорили» – Г-жа де Лафайет, присутствовавшая при смерти ее матери, не сомневается в отравлении. «Воистину, – говорит она, – смерть, которой умерла Испанская королева, прибавила еще нечто к горю Monsieur, потому что она умерла отравленной. Она всегда это подозревала и писала об этом всем приближенным Monsieur. Наконец Monsieur отправил ей противоядие, которое пришло на другой день после ее смерти. Испанский король страстно любил королеву; но она сохраняла к своей родине любовь слишком сильную для такой умной женщины».

Свидетельница агонии матери, г-жа де Лафайет, рассказала также и смерть дочери. Мы обязаны ей знанием трогательного сходства между обеими жертвами. Когда английский посланник, призванный к смертному ложу Мадам Генриетты, спросил ее, не отравлена ли она: – «Я не знаю, – говорит г-жа де Лафайет, – ответила ли она утвердительно, но я хорошо знаю, что она его просила ничего не сообщать ее брату королю, чтобы избавить его от этого горя и особенно озаботиться о том, чтобы он не захотел мстить, что король в этом не виновен». – Таким образом она была не только «кротка перед лицом смерти, как была по отношению ко всему миру», согласно слову Боссюета, она была кротка даже по отношению к убийству и предательству. Быть может, очаровательная принцесса хотела умереть так же грациозно, как она жила: быть может, она поняла, что непристойно умирать отравленной при французском дворе, и если смерть приходит там в необычной форме, то следует принять ее в молчании и охранить ее тайну.

Испанская королева была не менее «кротка перед лицом смерти», чем ее мать. Она уподобилась ей и своей утонченной сдержанностью, и своим святым молчанием. Она сама набросила на свою умирающую голову покрывало жертв, обреченных подземным богам. «Королева, – говорит г-жа де Лафайет, – просила французского посланника уверить Monsieur, что она, умирая, думала лишь о нем, и бесконечное число раз повторяла ему, что она умирает естественною смертью.

Эта предосторожность, ею принятая, очень увеличила подозрения, вместо того, чтобы их уменьшить». — Как благородно и патетично это мученичество королевского приличия и достоинства трона! Как трогательно это смиренное подчинение государственной тайне, которая приносит ей смерть и которой она подчиняется, не понимая ее! Это Ифигения Расина, поправляющая на своем челе жертвенные повязки.

«Не смущайтеся, вас никто не предал;
когда вы прикажете, вам будут повиноваться».

XII

Мария-Луиза унесла с собою ту тень разума и тот проблеск души, которые сохранял еще Карл II. Он пережил ее на десять лет, если только агония есть жизнь. Его женили вновь, на Марии-Анне Нейбургской, сестре Императрицы; но эта женитьба in extremis*, без всякой надежды на потомство, была только политической махинацией, это была австрийская интрига, проникшая в постель умирающего для того, чтобы овладеть его наследством. Великий поэт преобразил эту бледную и сомнительную фигуру; без него вторая жена Карла II осталась бы за горизонтом истории; королева Рюи-Блаза сверкает бессмертной красотой избранниц искусства. Как Евфросина Гёте, она могла бы сказать: «Там, в царстве Персефоны, реют смутные тени, утерявшие свои имена; но та, которую воспевает поэт, стоит в стороне, в том образе, который ей свойственен, и присоединяется к хору героев... Один поэт так же создал меня, и песни его довершают во мне то, в чем жизнь мне отказала». — Но, отбросив эту идеальную форму, история находит лишь женщину жадную и свирепую, обманными стяжаниями осаждающую изголовье больного мужа. Преданная Австрии, новая королева страстно поддерживала права эрцгерцога Карла на испанское наследство.

Изменница своему собственному роду и тому делу, которому она вначале служила, королева-мать вела к трону сына Баварского Электора; между тем как Людовник XIV,

* У последней черты (*лат.*).

опираясь на мощный внутренний заговор, направлял к границам королевства целую армию, требуя его для своего внука. Опутанный таким образом безвыходными интригами, преследуемый домашними раздорами, мучимый сомнениями, которые сознание близкой смерти превращало в ужас, несчастный больной, над империей которого солнце не заходило никогда, являл миру зрелище умирающего, отданного в руки грабителей. Как его предок Карл V, он присутствовал при собственных похоронах; он, так сказать, чувствовал себя расчленяемым вместе со своим королевством. Кругом него были только западни, сети, заговоры да честолюбие, ожидавшее его смерти, как срока расплаты. Каждое утро в испытующих взглядах министров и дипломатов он мог читать холодный подсчет возможностей своей близкой кончины. Его можно сравнить с умирающим, уже лежащим на столе анатомического театра и уже окруженным хирургами, готовыми занести на него свой скальпель. Договоры о разделе составлялись и обсуждались у него на глазах; каждая партия по очереди заставляла его их подписывать и разрывать. – Романцеро повествует, как труп Сида, привязанный к своему коню, выигрывал сражения: он, живой труп, которого кощунственные руки заставляли делать движения и качать бессмысленной головой, он машинально присутствовал при дележе Испании.

XIII

Его физический упадок в последние годы жизни принял образ разложения; тело его было узлом сложных болезней: в тридцать восемь лет он казался восьмидесятилетним стариком. Портрет Каррено, написанный в эту эпоху, рисует его в состоянии почти трупном: провалившиеся щеки, безумные глаза, свисающие волосы, судорожно сжатый рот. Потерянный взгляд духовидца идеализирует эту обезображенную голову; кажется, что видишь Гамлета в пятом акте драмы. Ни один ужас не миновал его агонии. Чтобы доконать его пораженный разум, камарилья снова отдала его в руки магов и колдунов. Дьявол был вызван и вопрошаем в его присутствии;

он подтвердил, что болезнь короля происходит от наговора, зелье, приготовленное из человеческого мозга и подмешанное в шоколад, иссушило его нервы и испортило кровь. Чтобы излечиться от адского зелья, он должен был каждое утро выпивать чашку освященного масла.

Инквизиция вмешалась и арестовала колдунов; она поймала исповедника короля в том, что и он был замешан в этой темной интриге; но Карл II никогда не смог оправиться от этого кошмара. Как Орест во власть Фуриям, так он с этого времени отдан Демонам. Ночью три монаха бодрствовали и бормотали псалмы вокруг его кровати, чтобы отогнать от нее призраки.

Он поднимался с этого ложа головокружений лишь для того, чтобы целыми днями блуждать по Сиеррам, окружающим Эскуриал, подобно тем неприкаянным душам, что бродят вокруг своих могил. Там, по крайней мере, шум мира, спорящего за его Империю, не достигал до него; там он не слыхал больше заупокойного звона над могилой его династии, звучавшего набатным колоколом над вооруженной Европой. Он мог бы воскликнуть, как Давид, бегущий в пустыню: «Сила моя иссохла, как глина, я могу счесть все мои кости; они же, они глядят на меня. – Они разделили одежды мои и о них кидали жребий».

Испания любила его несмотря ни на что; она страстно была привязана к этому тщедушному воплощению своей неприкосновенности и мощи. Он был единственною связью стольких королевств, единственной фикцией, которая мешала этой огромной империи рассыпаться и раствориться. Его духовные и телесные немощи лишь увеличивали преданность народа. У народов бывает эта нежность: они любят тех государей, которых жалеют; они прощают всё тем, кто не ведает, что творит.

Известна любовь Франции к Карлу VI, к этому бедному сумасшедшему королю, которого она прозвала Возлюбленным, как мать, изобретающая нужные имена больному ребенку. Среди ужасающих бедствий эпохи ни одна жалоба не подымается против пассивного и безответственного су-

щества, от которого, однако, исходят все бедствия. О здоровье его беспокоятся, о возвращении ему потерянного разума молятся Богу, Св. Деве, Святым, даже Дьяволу. Дикие мятежи Душителей, которые бродят с воплями по мрачным улицам старого Парижа, стихают, когда проходят под окнами Лувра. Они зовут «дорогого государя», он появляется трепещущий и покорный: наступает пауза умиления, сострадания, нежности: «Да здравствует король!» Мятежники продолжают свой путь и вновь принимаются за убийства.

После его смерти – это был всеобщий траур и слезы: «“Ах! дорогой государь, – восклицал Парижский народ, – никогда у нас не будет другого, такого доброго! Ты идешь к покою вечному, мы же остаемся здесь в горестях и скорби”. Таким образом Франция, сама бывшая в агонии, забывала собственные свои беды и умилялась над безумцем, от которого она погибала». – «Бедный дурак, – говорит король Лир своему верному шуту, который, дрожа от холода, следует за ним сквозь ночь и снег. – Бедный дурак! Есть еще одна часть моего сердца, которые страдает за тебя». Насколько еще более трогательным становится это доброе слово, когда его говорит народ о своем короле!

Испания, как и Франция, любила до самой смерти своего «околдованного» короля – Hechizado: это прозвище, которое она дала ему. Она не вменяла в вину ему ни несчастия, ни поругания, ни падения, ни хищения его царствования. Его безумие окружало его обаянием детства и невинности. Тем не менее однажды Мадридский народ, голодавший благодаря министрам-скупщикам, ворвался во двор дворца и потребовал короля. Королева появилась на балконе и сказала, что король спит. «Он спал слишком долго, – ответил голос из толпы, – теперь время ему проснуться». Тогда королева ушла со слезами, а несколько минут спустя появился король. С потерянным видом дотащился он до окна и приветствовал свой народ, шевеля губами. Наступило великое молчание, точно в комнате умирающего; затем посреди этого множества, которое только что рычало от ярости, раздались крики любви. Оно приветствовало умирающего и затем мирно разошлось.

XIV

При приближении последнего часа демон могилы, которым в течение двух веков были одержимы государи его рода, внушил Карлу II странный поступок. Любопытство ко гробу, любовь к смерти, болезненное желание приоткрывать двери гробницы и созерцать ее тайны были наследственны в его династии. Самый отдаленный его предок Карл Смелый вносил в резню мрачное исступление; пары, подымающиеся с поля сражения, пьянили его, как винный туман разгульного пиршества. «Вот прекрасное зрелище!» – говорил он, въезжая в Нельскую церковь, переполненную трупами. – Иоанна Безумная, мать Карла V, таскала за собой на носилках по всей Испании забальзамированный труп своего мужа – эрцгерцога; она распростерла его на свадебном ложе и бдила над ним в течение сорока лет. – Карл V в монастыре святого Юста устраивал репетиции своих похорон. – Филипп II замуровал себя живым в одной из крипт Эскуриала рядом со своим гробом, стоявшим в углу, как обычная семейная мебель. За несколько часов до смерти он приказал принести череп и возложил на него королевскую корону. – Филипп IV часто спал в гробу, заказанном им заранее, как бы для того, чтобы усвоить себе его меру и посмотреть, как в нем спится. – Эти короли, обрекшие Испанию на неподвижность Египта, подобно его фараонам были мономанами могилы.

Карл II был, в свою очередь, захвачен этой могильной страстью. Он пожелал, прежде чем умереть, навестить своих умерших предков. Быть может, к этому мрачному свиданию его толкало желание увидать Марию-Луизу; быть может, тайный голос дал ему тот совет, который получил от своих друзей поэт Эбн Зайят: Dicebant sodales si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. – «Спутники мои говорили мне, что скорби мои уменьшатся, если я посещу могилу моей возлюбленной».

Испанские короли погребены в Эскуриале, в подземной часовне, называемой Пантеоном. Она помещается в центре дворца под главным алтарем церкви. Огромное здание явля-

ется, так сказать, лишь крышкой королевского склепа. Это осьмиугольная зала, стены которой, одетые яшмой, представляют ряд параллельных ниш, наполненных бронзовыми ларями. Направо лежат короли, налево королевы.

Огромная люстра спускается прямо со свода. Нельзя представить себе ничего более ужасного, чем эта погребальная комната; в жестком сокращении она сосредоточивает в себе весь ужас и уныние, разлитые по лабиринтам города мертвых. Ее великолепная обнаженность пугает: эти лоснящиеся яшмы и полированные мраморы сверкают жестким ледяным блеском. Путешественнику кажется, что он стиснут между ледяных глыб; смертельный холод довершает иллюзию. На географической карте страны мертвых склеп Эскуриала занял бы то место, которое на земных полушариях принадлежит полярному кругу. Смерть кажется там еще более мертвой, чем в каком бы то ни было другом месте. Никаких украшений, никаких знаков, которые даже на кладбищах напоминают о деяниях и разнообразии жизни: противупоставленные одна другой ниши симметричны, как библиотечные полки; гробницы однообразны, как ящики бронзового комода. Кажется, что они скрывают не людей, а вещи; в них чувствуются скорее папирусы, чем мумии. Они рождают мысль о тайных архивах королевства, сложенных и запечатанных в подземелье. Напрасно вы будете искать там образов и эмблем истории: одна хронология царит в этом синоптическом подземелье. К чему разнообразить гробницы не изменяющейся династии? В течение двух веков Испания имела только одного короля в четырех лицах. Если различествует власть, то дух остается неизменным: твердой стопой или неуверенной, они следуют по той же линии. Карл II – это Филипп II, впавший в детство.

XV

Король спустился в эти катакомбы, столь бледный и болезненный, что его можно было принять за мертвеца, возвращающегося к своему ложу. Он приказал открыть все гроба в порядке времени и преемственности. Карл V предстал перед

ним почти совсем разложившимся от времени; затем Филипп II, менее зловещий, быть может, чем он был при жизни. Филипп III, его дед, сначала явился чудесно сохранившимся, но воздух, смертельный для мертвых, заставил его внезапно распасться прахом. Его мать, Мария-Анна Австрийская, находившаяся еще в первом сне могилы, казалось, была готова проснуться. Так, последовательно встал перед ним образ Испании, окоченелой и пустой внутри, стянутой узами, более тесными, чем бинты бальзамировщика, дающей иногда подобие жизни и величия, но готовой рассыпаться при первом прикосновении внешнего мира.

Самая трагическая фантасмагория величайшего из поэтов превзойдена этой сценой реальной истории. Полубезумный Гамлет на Эльсинорском кладбище, стоящий одной ногой во рву, куда он немного спустя провалится, подбирающий черепа, вокруг которых шуршат сухие листья, сорванные северным ветром, и обращающийся к ним с меланхолическими словами, менее патетичен, чем этот умирающий, король, воззывающий призраки королей, цепь которых он заключает. Как датский принц, он мог бы обратиться с речью к каждому из этих мертвых. Перед гробом Карла V он мог бы воскликнуть: «Едва ли этот сундук мог бы вместить одни имена его владений, а между тем Его Величеству необходимо здесь уместиться во весь свой рост». Над черепом Филиппа II он мог бы сказать: «Вот голова того, кто мнил, что может обмануть Бога!» Между тем Карл II без всякого признака волнения глядел, как проходил перед ним этот род, дважды умерший, потому что он оканчивался вместе с ним. Когда его мать пред ним появилась, он холодно поцеловал ее иссохшую руку. Но когда пришел черед Луизы Орлеанской, когда он вновь увидал юную и кроткую женщину, бывшую его единственной радостью и единственной любовью, сердце его разбилось, слезы брызнули, с распростертыми руками он упал на раскрытый гроб, долго целовал умершую, и слышали, как он воскликнул среди рыданий: – «Моя королева, моя королева! – Mi reina! – не пройдет года, как я буду вместе с вами».

Несколько месяцев спустя Карл II умер, завещав Испанию герцогу Анжуйскому.

XVI

«Ничто так не влияет и на великое и на большое, как механика внешнего распределения дня государей. Этому научает постоянный опыт тех, кто посвящен во внутреннюю жизнь своим положением или делами, а также и тех, кто, стоя в стороне, пользуется доверием этих посвященных, которые не стесняются говорить с ними открыто. Я скажу, между прочим, что, по моему опыту в течение двадцати и даже более лет в той или другой области, это знание является одним из лучших ключей между всеми другими, и его всегда не хватает истории и часто мемуарам, из которых самые интересные и поучительные были бы еще интереснее, если бы менее пренебрегали этою областью, на которую не знающие ей цены смотрят, как на багаж, недостойный войти в повествование. Тем не менее я вполне уверен, что нет ни одного государственного министра, ни фаворита, ни одного из тех людей разных положений, которые являются посвященными во внутреннюю жизнь государей по неизбежным условиям их службы и полномочий, которые не согласились бы в этом с моим мнением».

Эти строки Сен-Симона могли бы служить эпиграфом к тому эскизу, который мы только что набросали. Жанровая картина часто объясняет картину историческую. Мы хотели рассказать не политическую историю царствования Карла II, но его интимную хронику, летопись его падения, дневник его вырождения. Описывая внутреннюю жизнь двора Карла II, мы сделали, так сказать, вскрытие тела. Болезнь находится здесь, а не в другом месте: Испания умирает от болезни своих королей. В XVII веке монархия становится личностью; народы теряют свой многоликий характер и коллективное существование: они воплощаются в короле, резюмируются в индивидуальности. Они процветают или погибают – не только благодаря гениальности или неспособности государя, но даже из-за состояния его здоровья, сильного или слабого, из-за его порочного или здорового поведения. Поэтому можно понять то значение, которое приобретает частная жизнь человека, мозг которого есть закон, а нервы – двигатели нации. Всё в нем становится историческим: его темперамент, его привыч-

ки, его недомогание, его приближенные, его фаворитки, образ жизни, серьезный или легкомысленный, рассеянный или уединенный, налагаемый на него церемониалом. Если он человек высшего порядка, то всё же какой-нибудь стороной он зависит от этих постоянных влияний; если же он человек средний, то они овладевают им и властвуют целиком: тогда политические вопросы разрешаются в спальне.

А неестественное и странное существование, к которому этикет приговаривал большинство властителей XVII века, было, казалось, создано для того, чтобы уродовать их характер и ослабить их ум. Этот король, внешне самодержавный, в действительности является рабом своего всемогущества. Величие осуждает его на уединение; он так высок, что становится недосягаем. Жизнь замирает на пороге его дворца, как растительность на первых уступах высоких вершин. Между ним и народом все связи прерываются, все пути перекопаны: он становится так же чужд реальности вещей и людей, точно он живет на другой планете. Пленение еще присоединяется к уединению. Для этой монархической мифологии необходим культ, делающий из государя вещественного бога. Такая необычайная фикция может себя поддерживать, только окружаясь таинствами церемониала. Этикет овладевает королем и зачаровывает его в волшебном круге, которого он не может переступить. Он диктует ему слова, считает его шаги, регламентирует его поступки. Каждое царствование присоединяет еще одну ведомость к этим королевским повинностям. Традиции копятся, формальности усложняются, отправления двора, умножаясь, кончают тем, что делят между собой тело монарха. Отдавши им свою свободу, свое время, свой досуг, он принужден отдать им и свою личность. Каждый из членов его тела принадлежит сановнику, облеченному по отношению к нему исключительными полномочиями. Правая его рука принадлежит одному придворному, левая – другому. Он не может надеть рубашки без шамбеллана, а галстук без помощи присяжного крахмальщика. Часто этикет врывается даже в альков и ловит королевскую чету в сети Вулкана.

Чрезмерный во Франции, где он погубил монархию своими крайностями, этикет в Испании становится почти безу-

мием. Монастырская придирчивость там перепутана с гиперболами сераля: короля обожают и гарротируют, королеву обожествляют и запирают в тюрьму. Теократия, правящая от их имени, обрекает их на ту неподвижность, которую Египет предписывал своим богам: как этих богов, она охотно наделила бы их звериными головами.

XVII

Такой культ в итоге должен был унизить своих идолов. Самые сильные расы, самые мощные гении не могли противостоять его принижающему режиму. С Карла V до Карла II династия вырождается на глазах. Она ослабевает физически и падает нравственно, непрерывными градациями. Поставив в ряд портреты и сравнивая царствования пяти королей этой династии, вы увидите в этом ряде вырождающихся голов, как постепенное склонение вертикальной линии незаметно превращает профиль Аполлона в голову лягушки.

Королевы умирают от этого рабства, которое заставляет тупеть королей. Они быстро сменяются в Испании, почти так же быстро, как мертвые в германской балладе. Каждый король хоронит двух, трех, иногда, четырех. Скука убивала их на медленном огне. Непрозрачный и разреженный воздух этого почти африканского двора – был смертелен для принцесс, рожденных в умеренных королевствах.

Филипп V и его наследники являют разительный пример смертоносного действия испанских нравов. Эта новая династия, которая, казалось бы, должна была омолодить Испанию и оживить ее обедневшую кровь, не выдерживает болезненного оцепенения, царящего в Мадридском дворце. Расы Филиппа II больше не существовало, но ее яд не погиб вместе с нею: он оставил нездоровые миазмы. Традиция более сильная, чем рождение, овладевает новой династией, кидает ее в свое льяло и отливает по старому типу. Она прививает ей органические пороки того изжившего себя рода, которому она наследует: фаворитизм, ипохондрию, беспечность, мрачное и ребячливое благочестие, монашескую праздность.

Филипп V в точности воспроизводит Карла II: можно подумать, что это метампсихоза. Разница только в темпе-

раменте: бессилие уступает место сатириазису, но крайности эти приводят к одинаковым результатам. Прикованный своим благочестием к супружеской постели, Филипп V становится рабом своих двух жен: он зависит от них, как голодающий от той, которая его питает. Первая, королева Мария-Луиза Савойская, при помощи принцессы дез'Урсен лишает его свободы, как идиота, она делает его невидным и недоступным; она запрещает ему игру, охоту, прогулку, разговоры. Занавески брачного алькова опускаются между ним и миром, как непроницаемая стена. Госпожа дез'Урсен одна имеет право приоткрывать их и прерывать это вечное tête-á-tête. Вторая его жена, Елисавета Пармская, еще теснее делает его пленение. Впрочем, оно нравится ему самому, и он ничего другого и не желает, как те узники, тело которых усвоило себе форму их темницы и которых пространство смущает, он чувствует себя хорошо только в своем заключении.

Сен-Симон в подробностях описывает это скованное цепями объятие: это пытка Сиамских Близнецов, отягченная представительством и этикетом. Король и королева имеют одну постель, одни апартаменты, один аналой, одну карету; даже один гардероб, если только об этом нужно говорить. Они постоянно на виду друг у друга. В течение всего дня, исчисленного по секундам, королева свободна лишь полу-четверть часа: по утрам, когда король одевается и Assafeta* его обувает. Геометрический параллелизм их существований делает в этот момент легкое уклонение. Королева тогда может шепнуть одно слово на ухо своей наперснице или получить от нее бумажку, быстро засунутую в ее guardinfante**. Вне этого уклонения, торопливого вздоха между тяготами дня и тяготами ночи, королева не выходит из тени короля. «Цепь была так сильно натянута, – говорит Сен-Симон, – что она никогда не покидала левого локтя короля. Я видел много раз в Майле, как она, увлекшись рассказом или разговором, начинала идти немного медленнее короля и оказывалась на четыре, на пять шагов назад; тогда король оборачивался, а она в два прыжка вновь становилась на свое место, не преры-

* Кормилица, нянька (*исп., стар.*).

** Кринолин (*ит.*).

вая разговора или рассказа с теми немногими придворными, которые за ней следовали и которые, как она, и я вместе с ними – торопливо наверстывали то пространство, на которое отстали». Даже исповедь не уединяла ее. Король наблюдал за ее беседой со священником из смежной комнаты; он считал минуты. Когда предписанное время истекало, он входил в комнату, и исповедь кончалась.

Эта натурализация, столь быстрая и столь радикальная, является одним из самых странных явлений истории. Когда Сен-Симон, знавший Филиппа V еще герцогом Анжуйским, вновь встретил его испанским королем во время своего посольства 1718 года, он был ошеломлен. Французский принц превратился в испанского монаха: точно портрет Миньяра, переписанный Сурбараном. «Первый же взгляд, который я бросил, делая мой первый поклон испанскому королю по приезде, так сильно изумил меня, что я должен был призвать себе на помощь все душевные силы, чтобы прийти в себя. Я не заметил никаких следов герцога Анжуйского, которого искал в его лице, очень вытянувшемся, измененном, гораздо менее говорившем, чем когда он уезжал из Франции. Он был очень сгорблен, уменьшился в росте, подбородок вперед, очень далеко от груди, ступни совсем прямые, друг друга касавшиеся и заплетавшиеся во время ходьбы, хотя он ходил быстро и колена его почти на четверть отстояли одно от другого. То, что он сделал честь сказать мне, было сказано хорошо, но с такими паузами, так затягивая слова, с таким бессмысленным видом, что я был озадачен».

Аналогия прошла до конца. Завещая свою корону герцогу Анжуйскому, Карл II передал ему и свое безумие. Подобно ему Филипп V сошел с ума от тоски после сорока лет царствования в тюремном заключении. Он бродил по залам Буэн-Ретиро и Эскуриала, в лохмотьях, с длинной бородой, такой же угрюмый и грязный, как король Лир, блуждающий среди вересков Корнуельса. Иногда он оставался по шести месяцев в постели, не снимая рубашки, которая истлевала у него на теле, не обрезая себе ни бороды, ни ногтей. Его безумие отличалось шекспировскими фантазиями: он хотел ездить на лошадях, изображенных на гобеленах, которыми

была обита его комната. В другой раз он спросил, почему, раз он умер, его так долго не хоронят. Женский голос певца Фаринелли один мог успокаивать его бред. Его призывали, когда у короля начинались приступы, как на помощь помутившемуся разуму Саула призывали Давида и его арфу: Adducite mihi psaltem*.

XVIII

Преемники продолжают его с нечувствительными изменениями. Никакого просвета, никакого сопротивления Гению этих мест, который их поглощает и угашает. В Людовике I, сыне Филиппа V, уже не было ни одной французской черты. Его мрачный характер и слепое благочестие напоминали Филиппа II. Когда он умер, семнадцати лет, после шести месяцев царствования, Инквизиция оплакивала в нем своего Иоаса. Фердинанд VI наследовал болезнь и врача своего отца. В течение двадцати пяти лет Фаринелли баюкал его неизлечимую меланхолию арией Гассе: «Per questo dolce amplesso»**. Итальянский кастрат приобрел во время его царствования такое же влияние, каким пользовались евнухи при дворе Византийских цезарей. Он там играл роль правителя дворца. Карл III, единственный подающий признаки жизни в этой процессии коронованных сомнамбул, не смог избежать конечного безумия: смерть жены поколебала его разум. Для того чтобы развлечься, он бросался на охоту, как в стычку, избивал массами оленей и косулей, загоняя их иногда целыми стадами в ограду и расстреливая их из пушек. Каждый вечер его относили в постель, пьяного от усталости и от крови. Царствования Карла IV, Марии-Луизы и Годоя надо искать в этих страшных карикатурах Caprichos***, где Гойа выгравировал его острием более едким, чем стих Ювенала, повествующий о семейной жизни Клавдия и Мессалины.

Испания остается созданной по образу ее королей: такой мы ее показали в начале этого этюда, такой мы ее видим до Карла III. Та же самая убыль населения, то же бесплодие,

* Найдите мне человека, хорошо играющего на гуслях (*лат.*). Первая книга Царств, XVI, 17; синодальный перевод. (*Ред.*)

** После этого нежного объятия (*лат.*).

*** Фантазии (*исп.*).

та же леность, то же презрение к промышленности, то же порицание труда. Брешь, сделанная на мгновение вступлением новой династии в великой китайской стене, отделяющей полуостров от Европы, вскоре закрывается снова, более неприступная, чем когда-либо. Инквизиция продолжает свое царство невежества и террора: свирепость ее только возрастает. Филипп V отказывается присутствовать при ее аутодафе; она обходится без него – и ни одной головней не зажигает меньше. Насчитывают тысячу шестьсот жертв сожженных живыми в течение сорока лет его царствования; семьсот восемьдесят двух сожженных в изображениях, двенадцать тысяч подвергнутых бичеванию, позорному столбу, или замурованных in pace*. Этот гнусный священный огонь иссушает Испанию, душит ее гений, ожесточает ее нравы и отравляет в ней все ключи деятельной и интеллектуальной жизни. Пока он длится, пока он пылает, Испания не меняется, как сожженная область, окружающая вулканы. Проходят короли, династии сменяются, но сущность остается неизменной, и Филипп II царствует вечно.

Часть третья

XVI. **Комедии смерти**

I

Смерть в Древней Греции имела все отличительные признаки Эроса: красоту и факел. В музеях едва можно отличить гений смерти от гения сна. Это прекрасный отрок, прислонившийся к дереву или колонне, с руками, сложенными на голове: его нога лениво попирает потухший факел. Павзаний говорит об одной статуе Ночи, которая держала в объятиях обоих своих детей – Сон и Смерть. Обнявшиеся и сплетенные, они касались друг друга устами и грезили одни сны. Нет ничего менее мрачного, чем барельефы мавзолеев

* В мире, в покое (*лат.*).

и саркофагов. Часто по их стенам развертываются вакханалии. Мрамор танцует и опьяняется, как бы для того, чтобы развлечь Манов, в нем заключенных, окружая их самыми улыбчивыми образами жизни. Греческому гению особенно нравилось украшать раннюю смерть; он прикрывал ее прозрачным покрывалом метаморфоз. Это Гиацинт, сорванный Аполлоном, Гил, увлеченный нимфами в воды реки, куда он опускал свою амфору, или Адонис, погребенный Венерой в постели небесных ласк. С какою грацией погибают юные воины Илиады! Они отделяются под лезвием меча от героической фаланги, подобно фрагментам разбитого барельефа.

Наивное сожаление, что они не увидят больше солнца, их единственная жалоба. Поэт сравнивает их лишь с цветами или со сжатыми колосьями. В Афинах тела юношей сжигались на заре; пламя их костра сливалось с первыми огнями восхода. Менандр в самом прекрасном отрывке, оставшемся от него, славит преждевременную смерть: он придает ей ликованье и свежесть радостного утреннего ухода. «Человек, любимый богами, умирает молодым, о Парменон! самый счастливый, говорю я тебе, тот, кто, не познав горестей жизни и насладившись прекрасным зрелищем солнца, воды, облаков и огня, спешит вернуться туда, откуда пришел. Проживи он целый век или немногие годы, эти явления он всегда будет видеть такими же и никогда не увидит ничего прекраснее, чем они. Смотри на жизнь как на странствие; а на этот мир – как на чужеземный рынок, куда приходят люди: толпа, торговля, азартные игры, постоялые дворы. Если ты уйдешь одним из первых, то путешествие твое будет лучше; ты уходишь снабженный всем необходимым и не имея врагов. Запозднившийся устает и теряет деньги. Он стареет, впадает в нищету, встречает недругов, которые готовят ему западни, и уходит с горечью, так как прожил слишком долго».

Смерть была прекрасна в Греции, потому что она не была искажена ни страхом другого мира, ни ужасами разрушения. Что представляли собою Аид и Елисейские поля? Страну летаргическую и смутную, населенную тенями более бледными, чем сонные видения. Это призрачное существование возмущало действенность героических времен. Ахилл

энергично протестует против такого существования, когда отвечает Улиссу, поздравляющему его с тем, что он и после смерти царствует над душами: «Сын Лаэрта, благородный Улисс, не хвали мертвого. Я предпочел бы быть поденщиком на земле, не имеющим крова и с трудом добывающим себе пропитание, чем царствовать над всем племенем мертвых». Но в этой жалобе героя, лишенного своей красоты и силы, чувствуется больше тоски, чем боли. А кроме того, пламя древнего погребения украшало смерть, очищая ее. Гниение не оскверняло трупа; человеческая форма исчезала, не теряя своего совершенства. Она оставляла за собой лишь горсть пепла, сохраняемую в мраморной урне. Человек нетронутым улетал в чистую сферу воспоминаний, как благородная или изящная идея, воплощением которой он был на земле.

Только в сумерках язычества смерть облекается в черты гнусного скелета. Вначале, впрочем, он является скорее предметом забавы, чем ужаса. Он больше шут, чем трагик могилы. Этот зловещий остов зовет человека наслаждаться хрупким телом, которое распадется завтра. На его ядовитую усмешку он отвечает взрывом чувственного смеха. Серебряный скелет с подвижными позвонками, которого Петроний заставляет танцевать на столе у Тримальхиона, играет роль эпикурейской марионетки: он возбуждает жажду и распущенность в собутыльниках. – «О горе, горе нам, несчастным! – восклицают они. – Как ничтожен человек! Как непрочна, увы, нить его жизни!.. Такими мы будем все, после того, как нас поглотит Орк! Будем же жить, пока нам дозволено наслаждаться!»

Heu! heu nos miseros! guam totus homuncio nil est!
    Quam fragilis tenero stamine vita cadit
Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.
    Ergo vivamus dum licet esse bene.

Какою глубокой тишиной дышат римские могилы! Их эпитафии кажутся надписями, приглашающими прохожих насладиться их миром. Securitate perpetuae. – Bonae quieti*.

* Вечная безмятежность. – Благой покой (*лат.*).

Мне вспоминается еще резной камень во Флорентийском музее, который изображает скелет, танцующий перед пастушком, играющим на двойной флейте. Ребенок подымает глаза, но не отнимает флейты от губ; призрак не нарушает его песни, которую прервет, быть может.

II

Появление смерти относится ко временам христианства, которое возвращает тело земле, унижает и оскверняет его, желая возвеличить душу. С тех пор смерть отбрасывает те покрывала, которыми воображение древних прикрывало ее безобразную наготу. Она находит свой образ в скелете, занимает свою косу у времен языческих и странствует по миру, помрачая его. У нее нет больше ни возраста, ни красоты, ни тела, один лишенный плоти костяк, увенчанный гримасничающим черепом. Она больше не спит, она притопывает ногами и яростно жестикулирует: вместо того, чтобы манить человека ко сну, она тревожит его томлениями и угрозами вечности. Сквозь клетку ее сухих костей пламенеют адские огни. Средневековье было очаровано этим призраком. Есть эпоха, когда оно было, можно сказать, влюблено в смерть. Таков был XIV век, создавший драму в тысячах картин – танец мертвых.

Кто хочет иметь понятие об этом жестоком веке, должен себе представить кладбище пятого акта Гамлета, где живые убивают друг друга над трупами мертвых и валятся кучей в могильные рвы. Сначала страшные войны обескровили человеческий род, затем настали голода, обессилившие его, наконец в 1348 году вспыхнула та знаменитая черная язва, от которой, по Фруассару, «добрая треть человечества умерла». На этот раз мера переполнилась – крайний ужас превратился в крайнюю веселость: отчаяние разразилось хохотом. Смерть стала божеством этого мира крови и слез. Ее сравнивали с жизнью и находили очаровательной. Morte nihil melius, vita nihil pejus: «Нет ничего лучше смерти, ничего хуже жизни». Это девиз одной книги того времени. Этот сардонический смех является признаком великих кризисов: когда жизнь становится слишком безобразна – человек не держится за нее

больше и отрекается от нее. Все эти катастрофы надорвали нервы человечества. Пляска святого Гюи была заключительным галопом этой оргии отчаяния. Она начинается в 1374 году на берегах Рейна и оттуда распространяется с молниеносной быстротой по Голландии, Фландрии, Франции и Германии.

Укушенных этим адским тарантулом внезапно захватывал танец: танец бешеный, безумный, сотрясаемый судорогой, покрытый пеной эпилепсии. Можно было видеть, как танцующие хватались за руки на улицах, составляли огромные круги и вертелись, пока не падали, окоченев от усталости. Без сомнения это и было начало плясок смерти. Как было не поверить, что смерть там присутствовала, как невидимый водитель судорожного танца, подстрекала к прыжкам и подхлестывала, заставляя самих рыть себе могилу собственными неугомонными ногами. Впрочем, церковь всегда с радостями пляски соединяла идею проклятия. В легендах того времени «танец-до-смерти» является наказанием Божьим, наложенным на грешников. Нюренбергская хроника рассказывает по этому поводу ужасную легенду. – В Дарнштеде, около Гальберштадта, нечестивые мужчины и женщины танцевали однажды вокруг церкви во время мессы, за что были осуждены танцевать вечно. Тут же они сплелись в хороводы и стали кружиться нескончаемо. Эта бесконечная пляска стерла им ноги, им пришлось прыгать на руках. Пономарь увидал дочь свою в хороводе, хотел ее оттуда вытащить за руку, но рука осталась у него в руках, а про́клятая девушка, не подавая признака боли, продолжала плясать вместе с другими. Наконец, через год день в день, они упали мертвыми в бездну, разверзшуюся от ударов их ног.

Как бы там ни было, но, едва возникнув, Танец Мертвых стал всенародным, он вышел на подмостки сцены, длинными фресками развернулся по стенам монастырей и кладбищ, обрамил страницы часословов и расцветил оконницы, его находят змеящимся даже по ножнам мечей, даже по крышкам кубков. В XVI веке Гольбейн гениально резюмирует этот мрачный цикл. Это последняя вспышка Пляски Мертвых. Выйдя из тьмы Средневековья, она останавливается на пороге Возрожденья.

III

Идея всех Танцев Смерти одна и та же: равенство людей перед смертью, нивелировка кладбища, примененная к подавляющим неравенствам жизни. От папы до раба, от первосвященнического трона до вспаханной борозды, смерть вприпрыжку обходит тысячи этажей человеческого Вавилона. Она не прибегает к трагическим жестам, она приглашает людей в свой круг, паясничая. Но ее злая ирония усиливается, когда она обращается к великим земли, тогда ее насмешки переходят в зубоскальство и становятся свирепыми. Вглядитесь: сквозь эту маску, лишенную плоти, можно угадать голову плебея. Слабый мстит сильному, заколачивая его в гроб, униженный хоронит живым притеснителя. – Что такое Танец Смерти? Жакерия – в вечности.

Смерть начинает с папы, она застигает его на вершине славы, в тот момент, когда германский император, Цезарь, Август, Меченосец Божий, пресмыкается у его ног и целует его туфлю. – Non tibi, sed Petro*, как будто говорит униженный император, как сказал его предок Фридрих, в базилике святого Марка целуя ногу Александра III. Но как и его предшественник, папа ответил бы без сомнения: Et Petro, et mihi!** Какой порыв гордости должен охватывать на этой вершине человеческого величия, его, бедного монаха, который когда-то, быть может, носил суму и пригонял в монастырь осла, нагруженного подаяниями! Насколько стерлось в памяти его то напоминание, которое в день восшествия на престол было ему дано священником, задувшим перед ним факел и трижды пропевшим: Pater sancte, sic transit gloria mundi!*** Смерть напоминает ему об этом, она приподнимает пурпур балдахина и грубо хлопает его по плечу... Смущенные кардиналы уже удаляются на конклав.

Еще более запанибратски обращаясь с императором, смерть прыгает ему верхом на плечи и крадет с него корону. Чтобы добраться до короля, она переодевается кравчим и наливает в его золотой кубок вино дальних странствий. Затем

* Не тебе, но Петру (*лат.*).

** И Петру, и мне (лат.).

*** Святой отец, так проходит земная слава! (*лат.*)

она идет к королеве, к кардиналу, к епископу, к имперскому князю. – Когда она приходит к аббату, призрак становится шутом и широкий Лютеров смех раздвигает его челюсти. Аббат – толстый монах с обширным животом и тройным подбородком. Смерть сняла с него митру и, напрягая берцовую кость, запрокинувши голову, пастырский посох закинув на плечо, с комическими усилиями тянет его за полу рясы.

Каноник на изображении более древнем составляет прекрасный контраст этой монашеской карикатуре. Это достойный старец с суровыми чертами лица, серьезно сидящий на своей скамье. Обеими руками он держит молитвенник, над которым прошла его жизнь. Смерть приближается к нему на цыпочках, она ему говорит на ухо, как бы для того, чтобы не прерывать богослужения, что час пробил и надо следовать за ней. Старый священник смотрит на нее со спокойным видом, он делает ей знак подождать, пока он кончит начатый антифон, и отмечает знаком то место службы, в котором она прервала его, как будто он будет продолжать ее на небе.

Но танцующий скелет вскоре вновь становится верен своей шутовской природе. Проповедник стоит на кафедре, он декламирует с широкими жестами и не замечает, что смерть за его спиной подражает его телодвижениям, пародирует его жесты и своей голой челюстью передразнивает грозные и патетические движения его рта. Разыгрывая эту комедию, страшный лицедей снимает с него эпитрахиль и четвероугольную шапочку и бесстыдно нахлобучивает ее на свой череп. – Священник несет отпускную молитву умирающему. Смерть, одетая пономарем, идет впереди него, держа в одной руке фонарь, другою же звоня в колокольчик. Нищенствующий монах приносит в монастырь мешок, наполненный десятиною и подаяниями, смерть останавливает его мимоходом за конец капюшона и забирает одновременно и милостыню и собирателя. – По тому фамильярному виду, с которым она приближается к врачу, вы угадываете, что она посещает сотрудника. – Между тем как астролог, сидя в своем кресле, созерцает пламенную сферу, подвешенную к своду его кельи, скелет подсовывает ему шар более глубокий и более таинственный: мертвую голову. Со взломом забирается

она в подземелье скупого, грабит его тайники, опустошает чашки весов, высыпает из мешка золото, отнятое у бедных, и делает из него саван ростовщику.

В числе приглашенных на танец есть такие, которые сопротивляются, и их приходится увлекать силою. Таков этот рыцарь, закованный в латы и изукрашенный, как боевой конь; у него смерть отнимает его доспехи, один за другим. – Таков еще этот капитан, который обнажает против нее свой тяжелый оборукий меч, на что насмешливый призрак отвечает выпадом, вытаскивая из ножен мертвую кость.

Напротив, другие из этих приглашенных встречают ее сердечно или равнодушно. Проклинаемая наверху, внизу она принята радушно, часто желанно. Не является ли она утешительницей безутешных и надеждой отчаявшихся? Индусы дают Яме – Богу Смерти – два лица: одно страшное и грозное, другое благосклонное и кроткое. – Земледелец по широкой борозде ведет свою тощую упряжку, смерть ему является батраком, с кнутом в руке. Лошади пугаются, но старый крестьянин невозмутим. Его большая голова, темная и морщинистая, как та глина, которую режет его соха, выражает лишь дремотную покорность. Он устал от солнца, он ляжет в могилу, как в полдень лошадь в борозду, примостив камень под голову. Как трогательно и меланхолично четверостишие, написанное внизу старого эстампа:

В поте лица своего
Ты будешь добывать свой скудный хлеб,
И после долгих трудов и усталости
Вот смерть кличет тебя.

Она не менее сладка и бедному носильщику, плетущемуся в город, вдвое согнувшись под своим тяжелым тюком. Лоб его в поту, дыхание коротко; он напоминает тех дантовских грешников, которые с огромными камнями на плечах взбираются по тропинкам Чистилища, останавливаются иногда, глубоко вздыхают и шепчут голосом таким тихим, что поэт едва может их расслышать: «Più non posso» – «Я не могу больше!» – нет даже ни одного столба, чтобы прислонить свое

бремя... Но приходит смерть, милосердная и сочувствующая; усмешка ее рта складывается в неопределенную добрую улыбку. Она осторожно распутывает ремни тюка и обращается к несчастному с таким милосердным призывом:

Придите и следуйте за мной
Вы, чье бремя слишком тяжело.
Довольно вам изнывать под ним.
Я сниму его с вас.

Шут тоже не боится смерти. Она отняла у него колпак и волынку и тащит его со смешными прыжками. Шут отвечает гримасой на гримасу и уходит, танцуя с ней вместе. Не всё ли трын-трава этому человеку шуток и забав? Он не жил, он прошел над жизнью, фантастичный и мимолетный, как китайская тень. Что изменилось в его судьбе? Когда он лежит в земле, между облетевшими цветами и потушенными факелами оконченного бала, маска не перестает гримасничать и смеяться. Жив он или мертв, к нему не относятся серьезно. А когда Гамлет на кладбище подберет его череп, овеваемый осенним ветром, то опять-таки он услышит лишь меланхолические дурачества.

В убогую хижину смерть приходить за ребенком; она уводит его от очага, где горит огонь, и уводит в дверь, открытую в темноту. Бедняжка со слезами зовет мать, которая ломает руки. «О смерть!» – говорит он с надрывающей наивностью в одном немецком двустишии. «О смерть! Как же мне понять это? Ты хочешь, чтобы я танцевал, а я еще не умею ходить». Мрачная процессия обыкновенно заключается ребенком, но художник Пляски Смерти в Базеле к ней присоединил еще потрясающий эпилог. Он нарисовал самого себя на монастырском кладбище, им расписанном; смерть приближается к нему в тот момент, когда он дает последний удар кисти своей фреске. «Ганс Гуг Клаубер, – говорит она ему, – оставь свои кисти!» – «Hans Hug Klauber! lass mohlen stohn!»

И старый живописец поднимается, чтобы, в свою очередь, вступить в мрачный хоровод, им вызванный.

IV

Такова в быстром сокращении эта странная концепция, которая в форме зрелища, картины, рисунка или книги в течение более чем века властвовала над воображением Средневековья. Можно сказать, что в эту эпоху смерть была в моде в буквальном смысле слова; все умы размышляли об ней, все сердца бились при ее приближении. Каждый мечтал о ней, как любовник мечтает о своей возлюбленной, когда час свиданья приближается, и она может появиться с минуты на минуту... – не она ли подымается по лестнице, разве вы не слышали, как шуршат складки ее платья? – разве вы не слышите, как стучат ее кости и свистит ее коса? – Ее живописцы рисуют ее с любовью; они стараются разнообразить ее неподвижный череп; они придают ему игру физиономии, столь же выразительную и полную оттенков, как игра лица; ее хрупкий остов они заставляют пародировать все движения живого тела; они меняют ее возраст, пол и характер.

Вот смерть-старуха: ее голова трясется и связки расхлябаны; вот она напрягает мускулы атлета: ее пустой торс походит на пещеру, покинутую львом. На других изображениях она подражает безумным жестам молодости, ее можно принять за стройный скелет танцовщицы или школьника.

Сквозь эту игру форм сквозит одна и та же мораль: братство всех людей, с ужасом видящих себя в объятиях нелицеприятного уничтожения.

Тридцать лет тому назад Грандвиль пытался создать Танец Смерти для XIX века. На его рисунках можно было видеть скелет, наряженный грумом, адвокатом, аптекарем, национальным гвардейцем, проходящий по улицам и посещающий дома современного Парижа. Но этой пародии на суровые образы старого времени не хватало веры. Смерть в холодных литографиях Грандвиля принимает прозаическую форму официальной «кончины», этого бюрократического призрака, делопроизводителя кладбища.

V

Не только в Плясках Смерти, но и в аллегориях поэзии и живописи смерть почти всегда является в образе скелета. То в костюме охотницы, с рогом у рта и с соколом на перчатке, она выезжает за человеческой добычей. То она является на королевских похоронах, опершись на высокое копье, увенчанное короной умершего короля. Петрарка показывает ее на триумфальной колеснице древних цезарей; Альбрехт Дюрер сажает ее на лошадь с песочными часами в руке, позади задумчивого рыцаря, углубляющегося в мрачный лес. Рембрандт вызывает ее из полуоткрытой могилы перед двумя обрученными в праздничных одеждах. Скульпторы Ренессанса заставляют ее с театральным эффектом распахивать двери мавзолеев.

Между тем иногда человеческое воображение дает смерти черты менее безобразные и отталкивающие. Современная Греция сохранила ту антипатию, которую внушал эллинскому гению физический образ разрушения. Ее народные песни изображают смерть в архаическом образе Харона, древнего перевозчика теней. Как гений этрусков, Харон увозит души умерших на лошади. «Юношей он заставляет идти впереди, стариков сзади, – а нежных маленьких детей сажает рядами на свое седло. Старики его просят, а юноши умоляют: “О Харон, остановись у какой-нибудь деревни, на берегу свежего ключа: – старики напьются, юноши будут играть в диск, а совсем маленькие дети станут собирать цветы”. – “Ни у какой деревни, ни у какого свежего ключа я не стану останавливаться: – матери, приходящие за водой, узнают своих детей, мужья и жены узнают друг друга, и невозможно будет их разлучить”». В другой песне агония пастуха, пораженного во цвете лет, принимает пластическую форму битвы атлетов. Харон поджидает его в ущелье. «“Откуда идешь ты, стройный пастух, с расчесанными кудрями?”

– Я иду за хлебом и сейчас же вернусь. “А меня, пастух, Бог послал за твоей душой”.

– Моей души я не отдам так: я не слаб и не болен, подходи, мы поборемся с тобой на этой мраморной площадке. Если ты меня поборешь, Харон, то бери мою душу; но если

победителем останусь я, то оставь меня и ступай своей дорогой.

Они пошли и боролись с утра до полудня. Но в час обеда Харон повалил пастуха». – Какой контраст между этой сознательной борьбой сильного существа против смерти, и теми иеремиадами, которыми герои пляски мертвых отвечают на приглашение смерти! Здесь нет больше ни тумана, ни кошмара, ни гримасничающих фантасмагорий. Сияющий воздух Греции разгоняет видения. Смерть является борцом, который убивает, а не призраком, взгляд которого цепенит. Коснувшись почвы Греции, она снова становится простой и естественной, как ее древние боги.

И фаталистический Восток тоже не заставляет смерть делать гримасы; он не изменяет в ее присутствии своему ненарушимому спокойствию. Мусульманские кладбища – упоительные сады; гуляющие садятся на могильные камни, как на диваны, и делают возлияния кофеем побелевшим костям, скрытым под лужайками. Мусульманская смерть носит имя Азраэля. Это один из тех невозмутимых ангелов Корана, которых можно принять за Немых божественного Сераля. Его видят иногда, когда чума угрожает городу, блуждающим по улицам и базарам и отмечающим концом своего копья двери обреченных жителей. Прекрасная легенда, приводимая Магометом, характеризует его неизбежность. Однажды Азраэль, проходя в видимом образе перед Соломоном, пристально поглядел на одного человека, сидевшего на ступенях его трона. Этот человек спросил: «Кто этот таинственный прохожий, взгляд которого пронзил меня?» Соломон поведал ему, что это ангел смерти. Человек, испугавшись, просил царя приказать ветру перенести его в Индию, что и было тотчас исполнено. Тогда ангел сказал Соломону: «Вот почему я так внимательно поглядел на этого человека: мне был дан приказ отправиться за его душою в Индию, и я был изумлен, встретив его в Иудее».

Теперь смерть сложила свою косу, свои песочные часы, свой факел, свои крылья ангела или хищной птицы, все поэтические и страшные признаки, которыми украсило ее воображение. Наука изучила ее работу и увидела в ней лишь

феномен преходящего организма, побеждаемого после нескольких лет борьбы химическими процессами, которые стремятся его разрушить и растворить.

Смерть больше не приходит извне, чтобы напасть и побороть человека, – она рождается вместе с ним и возникает из собственной его сущности. Этот скелет, которым Средневековье олицетворяло ее, является основой и опорой нашего существа, которое, проносив несколько дней свою одежду из плоти и органов, сперва ее снашивает, а затем сбрасывает. Лишенная своего сверхъестественного посланничества и той фантастичной индивидуальности, в которую ее облачила вера, смерть приобрела грозную ясность закона природы, она потеряла всё, вплоть до своего имени, отнятого наукой, не отделяющей ее от жизни, необходимой пищей которой она является. Отвратительный призрак, которого человек наделял своими симпатиями и ненавистями, был менее ужасен, быть может, чем этот сфинкс, неопределенный, отвлеченный, бесстрастный, погруженный в природу, подчиненный приливам ее рождений и отливам ее разрушений и, согласно этим неизменным переменам, кидающий существо к свету или поглощающий в ночь.

XVII. Цыгане

«Жил-был некогда цыганский король», – говорит капрал Трим дяде Тоби в «Тристраме» Шенди. И это все; начатая история прерывается и так и остается неоконченной. История цыган вся в этом сказочном вступлении: жил-был народ, называвшийся цыганами, богемцами, цынгарами, ромами, gipsies'ами, gitanos'ами и т. д. Историки больших дорог знают не больше капрала Трима. Долгое время происхождение этого необычайного племени оставалось так же загадочно, как истоки Нила, с берегов которого они пришли, судя по их собственным утверждениям. По санскритским словам, встречающимся в их языке, составленном из всех наречий земли, наука узнала об их таинственном происхождении. – Таковы раковины, привозимые из Бомбея и Цейлона: если приблизить к ним ухо, то услышишь отголосок Индийского

Океана. – Каким образом неподвижная Индия породила это кочующее племя? Как случилось, что оно не вынесло из своей родной страны, которая кишит богами, ни одного идола, ни одного фетиша, ни одного обряда? Вопросы остаются без ответа. Вопрошаемый сфинкс не дает разгадки. Он смотрит на вас с коварной и грустной улыбкой; он бормочет вместо ответа: «Египетские дела». Это не касается g o r g i o s*.

Можно понять изумление христианской Европы, когда в XV веке, во всех концах ее земли, вдруг появились эти необычайные орды, казалось, упавшие с другой планеты. Летописцы осеняют себя крестом, описывая этот сброд черных людей, гримасничающих детей и диких сивилл. Они шли маленькими шайками, большими отрядами, в сопровождении охотничьих собак, с графами в лохмотьях и с герцогами в отрепьях впереди, верхом на апокалипсических одрах, и ютились у городских ворот под грязными палатками или в повозках, которые точно сохранились после поражения Синнехариба. Здесь они рассказывали, что осуждены папой блуждать по свету в наказание за отступничество. Там – что Бог сам обрек их на странствия в наказание за то, что они отказали в гостеприимстве святому семейству во время бегства в Египет. Восточное лукавство мистифицировало готическую доверчивость. Средневековье поверило этим скоморохам, загримированным кающимися и пилигримами; оно выдавало им буллы, проходные свидетельства, подорожные, жаловало им всякие странные и наивные привилегии. Между тем втершаяся раса втихомолку наводнила Европу. Эта восточная проказа захватывала целиком весь христианский мир.

Только что это была лишь одна черная точка в Валахских степях: вскоре вся Европа была испещрена их подозрительными и грязными становьями.

Легче описать пути облаков или саранчи, чем проследить следы их нашествия. Таинственность, присущая этому странному народу, обволакивает его вечные странствия. Ветер стирает следы их ног. Там, где их было сто, их уже тысяча. Они плодятся с невероятной быстротой насекомых. Испания

* Не принадлежащие к цыганам (*цыганск.*).

проснулась однажды, покрытая этими гнидами, как «Вшивый» ее Мурильо. Они отправили целую армию в Англию, и она переплыла через море, невидимая, как те колонии крыс, которых выгружает корабль, пришедший из-за тысяч лье. Прежде, чем он поднял якорь, страна уже заполонена ими. Пассажиры ничего не видели и ничего не слышали, кроме глухого шороха на дне трюма.

Такими они были, такими они и остаются. Ни одна из черт их первоначального типа не стерлась, и на просеках Шотландии, и под кактусами Андалузии вы найдете тех же самых смуглых людей, с горбатыми носами, с желтыми белками, с волосами жесткими, как конский хвост, которые пугали старых летописцев. Калло подпишет «с подлинным верно» под пышными лохмотьями, в которые они драпируются; он узнает их ироикомические кибитки, нагруженные кастрюльками и цимбалами, мишурой и живностью, мегерами и красивыми девушками, с важностью сопровождаемые смешно наряженными бродягами, и детьми с горшками на голове. Это всё один и тот же народ, блуждающий без очага и пристанища, без законов, без религии, рассеянный по всем тропинкам мира, по которым они роят свои черные караваны, и всюду тождественный самому себе. Он сохранил свою мечтательную леность, себялюбивую независимость, неведение добра и зла, упорный мятеж против законов работы и принуждения. Безнравственный и поэтический, как природа, он требует от тех цивилизаций, между которыми он проходит, лишь права убежища в ее обширном храме. Другим – города, охраняемые полицией, крепкие дома, зиждительный очаг, прикрепляющая к земле нива, безопасное существование, умственные труды. Цыганам – густые леса, каменистые сьерры, своды разрушенных мостов, шатры, каждое утро сворачивающийся вокруг страннического посоха отвратительный котелок, в котором варятся, за неимением другой добычи, еж и крот. Им распущенность и случайности инстинктивной жизни, повинующейся лишь побуждениям плоти и влияниям луны.

Их кражи напоминают хищения диких зверей. Они крадут изо дня в день без всякой мысли о будущем и о запа-

сах. Они завладели правом волка над табунами, правом коршуна над птичьим двором, правом змеи над скотом, который они отравляют ядами, вынесенными из джунглей, чтобы на следующий день идти выпрашивать трупы. Из всех видов работы цыган занимается только пародиями: водит медведей, стрижет мулов, предсказывает судьбу; и этой игрушечной монетой оплачивает свое пропитание. Он находит тоже удовольствие в хитростях и наваждениях барышничества. День ярмарки для него то же, что ночь шабаша для колдуна. В руках этого фокусника Россинант становится мощным, как Буцефал. Скелет, разбитый на все четыре ноги, который еще накануне едва волочил копыта, с заволокой на шее, превращается в горячего скакуна, дымящегося и бьющего копытом. Соблазненный g o r g i o раскошеливается, чтобы купить его; он на него вскакивает, дает ему шпоры... И во время галопа апокрифический зверь вдруг начинает иссыхать у него между ногами; его живот тает, как снег на солнце; его поддельная грива остается в руке ошеломленного деревенщины. Иногда еще цыган становится кузнецом; но с наковальней он обращается виртуозно. Шум мехов напоминает ему ветер, дующий между деревьев, стук молотков радует его ухо; его подвижный ум танцует и пляшет вместе с искрами. «Они сыпятся, розовые, рдяные, как сотни прекрасных девушек, и в то же мгновение угасают, описав красивый круг». Это куплет из цыганской песни.

Вот его ремёсла; что же касается до искусств, то он знает только одно – музыку. Это текучее искусство, в котором мысль растворяется, – истинная стихия его души. Цыган разговаривает только посредством своей скрипки, но и здесь он отстаивает свою независимость. Цыганская музыка – это звучная f a n t a s i a: никаких правил, никакой дисциплины. Ритмы прыгают, ноты сыпятся, мелодия, едва возникнув, разбегается зигзагами в лабиринтах фиоритуры; рыдание разрешается взрывом хохота, анданте, замирая, влачившееся по струнам, превращается в галоп бешеной стретты. Это штрихи, которые уносят душу, арабески феерического богатства, фразы, которые плачут, точно голоса женщин, жалуются

между золотистых дощечек заколдованного инструмента, переходы внезапного энтузиазма, подымающие воображение до самого неба, то кидающие его в преисподнюю земли. – Я помню, как слышал Marche de Rakocy* в исполнении виртуоза, воспитанного в их школе... Напев, подхваченный с молниеносным блеском, терялся в неразличимых шорохах... Только что это было ура эскадрона, несущегося в атаку с обнаженными саблями... Сейчас это точно военная песня армии насекомых.

Великая поэзия цыганства, это цыганка. Когда она красива, ее красота становится наваждением. Ее цвет лица, осмуглевший на солнце, таит прелесть тех плодов, которые влекут их отведать; а кошачьи глаза, в которых нет ни одного луча нежности, околдовывают каким-то магическим ясновиденьем. В ее стоптанных туфлях скрываются ноги, достойные опираться на пьедестал; она поражает своими волосами, густыми и крепкими, за какие некогда привязывали пленниц в колеснице победителя. Мишура идет к этой девушке случая и вымысла; живая ложь, она гармонируется со всеми неправдами туалета и украшений. Ее гибкое тело удивительно вяжется с полосатыми и яркими тканями. Стекляшки, бусы, амулеты, искусственные жемчуга, красные ягоды, турецкие монеты – вот та чешуя, которой отливает эта змея. Дурной вкус подобает идолам. – «Если у тебя родится дочь, – говорит одна из священных книг Индии, – дай ей имя звучное, обильное гласными, сладкое для уст мужчины». Цыганки не забыли этого наставления старых браминов. Они зовутся – Морелла, Кларибель, Прециоза, Меридиана, Агриффина, Орланда: именами цветов и звезд. В таборе они играют роль зеркала в охоте на жаворонков. Соблазнить чужестранца, прельстить покупателя, ослепить gorgio, выманить своими неотступными глазами перстни с его пальцев и секины из его кошелька, такова их задача, и они выполняют ее с хладнокровием сирен. Одну из немалых тайн цыганского табора представляет целомудрие его женщин посреди огней и пряностей адского кокетства. Дон-Жуан развернул имена

* Марш Ракоци (*фр.*)

всех рас в своем международном списке; вы найдете там даже написанные справа налево китайскою тушью. Но читайте внимательно: вы не найдете ни одного цыганского имени. Последняя из «Gipsies», которой предложат в любовники лорда Англии, подымется с негодованием креолки, обвиненной в том, что она отдалась негру.

Говорят, что каирские альме меркнут рядом с московскими цыганками. Они увлекают молодежь знатных семей и разоряют их вотчины подобно нашествию иноплеменников. Мода и страсть требуют их присутствия на кутежах.

Они пляшут там танцы Иродиады, такие танцы, что кажется, что они укушены в пятку ядовитым насекомым. Воздух загорается от кружения их платьев, их безумные глаза, их сладострастные жесты обещают пламенные наслаждения. Трепет любви пробегает по зале, головы кружатся, сердца порываются, золото и драгоценности пригоршнями летят к их ногам... они же остаются холодными, как саламандры, танцующие в глубине костра. Раздув это огромное пламя, они ускользают, и кто последует за ними, увидит, что они бегут далеко в поле к ночному табору или спешат к черномазому скомороху, храпящему в конюшне на навозе. Есть злость в истерике их пляски: можно подумать, что эти жестокие плясуньи забавляются, дразня страсти и истязая желания. Их любимый костюм кажется эмблемой этой свирепой игры. Это юбки с нашитыми кусками красной материи, вырезанной в форме сердец: сердец раненых, сердец пронзенных, сердец пойманных, как бабочки на лету танца, сожженных в пламени этих глаз, бесплодных и ослепительных, и наколотых на сверкающую юбку, их соблазнившую, булавками «порчи», сердца врагов, выставленные напоказ, как головы гяуров на зубцах сераля, коллекция убитых сердец, выставленная жестокой красавицей, которая украшает себя ими, как пантера пятнами своей шкуры!

Эта верность мужчинам своего племени является не столько добродетелью, сколько инстинктом крови. Их охраняет презрение, а не стыдливость. Эти самые женщины, которых не сможет соблазнить золотой дождь, продадут за одну гинею честь молодой девушки. Только среди цыган можно

встретить своден-девственниц. Эти горностаи превосходно умеют расхваливать грязь и заводить в тину.

Красота цыганок вспыхивает и проносится как метеор. Они быстро стареют, и безобразие пожирает их. Всё в них — крайности, нет середины между Пери и чудовищем. Встретивший на дороге одну из этих старух-уродин останавливается, точно окамененный взглядом Медузы. Солнце их сжигает, дождь покрывает ржавчиной, ветер губит, годы искажают и сгибают пополам. Их лицо представляет одно нагромождение морщин, которые резко обозначаются при свете голубого неба. Одни глаза сохраняют звездный блеск, пророческие зарницы заступают место чувственного пламени.

Из своего свободного царства крылатого танца они спускаются в таинственную империю мрака, они только переменяют трон. Сколько неверующих поверило оракулам, исходящим из этих замогильных уст! Сколько сердец было вскрыто этими зрачками, горящими, как угли, и читающими во мраке! Сколько людей, пришедших с улыбкой на устах, вышли из их пещеры задумчивыми, как Макбет после появления ведьмы.

Люди сумели разобрать египетские иероглифы и ниневийские клинообразные надписи, никто еще не разгадал загадку этого племени, живого и существующего. Обязанность ли философа или натуралиста разобрать его душу, по-видимому, лишенную всех способностей мышления и морального чувства. Народ без традиций, состоящий из индивидуальностей, лишенных памяти! Какое чудо сохранило этот слиток столь подвижных молекул? У него нет истории; придя к нам в сказочном облаке, он привык жить в нем и так сгустил все тени, что сам не мог бы отличить теперь реальностей от своих вымыслов. Никаких воспоминаний о первобытной истории, никакой тоски по родной земле. Можно подумать, что в первый же день своего исхода он перешел вплавь реку Забвения. У него нет Бога. Его религия подобна религии журавлей, которые вьют гнезда сообразно времени года, не отличая карниза готического собора от балкона пагоды. Католик в Испании, протестант в Англии, магометанин в Азии, он переходит из Церкви в Мечеть, от обрезания к крещению,

с невозмутимой беззаботностью. Народ в Валахии говорит, что «цыганская церковь была построена из сала, и собаки ее съели». В их атеизме нет ничего кощунственного, они не отрицают, они не утверждают, только их непостоянный дух ускользает от стеснений догматов, как их подвижное тело от оседлого существования. Этот признак расы наблюдался и был засвидетельствован во все эпохи. Таллеман де Рео рассказывает, что королева Анна Австрийская поместила в монастырь для обращения молодую танцовщицу по имени Лианса, которая забавляла двор Людовика XIII. «Она едва не довела всех до неистовства, – говорит он, – потому что начинала танцевать, как только речь заходила о молитве».

Каким образом цыгане могли бы подняться до идеи божества, когда у него едва ли есть сознание собственной личности? Он так же мало знает о себе, как птица о естественной истории, каждая ночь стирает для него события предшествующего дня, каждое утро он пробуждается к существованию, как бабочка, вылетающая из своей куколки. Расспросите его о минувшей жизни, он путается, бормочет и рассказывает вам отрывки своих снов... – Борроу передает слова старого гитано, которые проливают странный свет на то, что совершается в этих темных головах. «Помню, – сказал ему его проводник Антонио, – что, будучи еще ребенком, я начал однажды бить осла. Мой отец тотчас же схватил меня за руку и стал мне выговаривать: – Не бей этого животного, потому что в нем живет душа твоей сестры. – Разве ты можешь этому поверить, Антонио? – воскликнул Борроу. – На что цыган ответил: – Да, иногда, но иногда и не верю. Есть люди, которые ни во что не верят, даже в то, что они сами существуют! Я знал одного старого Калоре, очень старого, ему было за сто лет, который всегда повторял, что все вещи, которые мы видим, – одна ложь, и что не существует ни мужчин, ни женщин, ни лошадей, ни мулов, ничего из того, что кажется нашим глазам существующим».

Не в этом ли ключ загадки? Не являются ли эти слова нравственным паролем кочевого племени? Они объясняют его наивную извращенность, звериные нравы, беззаботность

о завтрашнем дне, и почему оно проходит равнодушно через города и леса, не различая одни от других. Цыган не живет, он грезит, он проходит с чувством собственного небытия между призраков и всех вещей, он проходит по миру, как светящийся призрак по полотну – без планов и без глубины. Поэтому все действия ему кажутся безответственными и ненужными, как движения тени, лишенной сущности. Зло стирается, добро исчезает, он не больше, чем сомнамбула, заблудившийся в огромной и насмешливой фантасмагории. U m b r a*, – говорит одна римская гробница. – N i h i l**, – отвечает ей соседняя могила. Прошлое, настоящее и будущее цыган заключено в этих двух словах.

Как бы там ни было, их остерегаются, но без ненависти, этих детей Рока, этих праздных королей уединения, этого племени, скорее вредного, чем злого! Они украшают восточными группами пейзажи Европы. Муза часто посещает их становья, каждый раз она уводит оттуда в поэзию или в музыку бессмертные типы: Эсмеральду, Миньону, Фенеллу, Прециозу. Их караваны проносят посреди трудолюбивых цивилизаций Бог весть какой химерический стяг безделья и свободы. Часто воображение, утомленное стеснениями общественной жизни, расправляет крылья мечты, чтобы скитаться за их шатрами. В тот день, когда они исчезнут, мир потеряет, правда, не добродетель, но одну частицу своей поэзии.

XVIII. **Корсиканские вопленицы*****

На Корсике, когда человек убит пулей или кинжалом врага, его тело переносят в дом, его кладут на стол, с непокрытым лицом, его друзья собираются в комнату, где лежит труп, и G r i d a t u – причитания – начинаются. Сперва это великое смятение воплей и жалоб, буря скорби, рассекаемая, как молниями, пламенеющими клятвами мщенья. Мужчи-

* Тень (*лат.*).

** Ничто (*лат.*).

*** V. Tommaseo, «Canti popolari Toscani, Corsi, Illirici, Greci», и «Les Chants populaires de la Corse», recueillis par M. Fèe.

ны выхватывают кинжалы из ножен и стучат ружейными прикладами по плитам, женщины потрясают распущенными волосами и омачивают платки в ранах покойника. Иногда их охватывает головокружение, они хватаются за руки и пляшут вокруг тела, испуская отрывистые крики, погребальный танец Caracolu. Угрюмое молчание следует за этим кризисом. Тогда одна из родственниц усопшего отделяется от группы женщин и прижимает свое ухо к устам мертвого, как бы для того, чтобы принять от него пароль, затем звенящим голосом она запевает vocero*.

Vocero, это военная песнь этих исступленных похорон, патетическое – Эвое! – этой вакханалии скорби. Женщины, ее поющие, импровизируют коротким и задыхающимся ритмом, точно следующим за биением их сердца. Некоторые культивируют этот дар кровавых слез и председательствуют в качестве жриц проклятия на всех похоронах, требующих их присутствия. В этих мрачных церемониях они играют роль тех пророков бедствий, за которыми посылали библейские цари, чтобы предать анафеме своих врагов. Но чаще всего вопленницы – мать, жена или сестра умершего, и бешенство, ее увлекающее, является голосом крови, которая вопиет, и богохульствами, громом пораженного сердца.

Искусство чуждо этим песням ропота и первого порыва: любовь и ненависть, жалобные проклятья в них сливаются и перебивают друг друга диссонансами рыданий. Извинение их ярости – в их порыве. Литературное Vocero казалось бы изысканным, как кинжал, украшенный жемчугами. Оно должно быть таким, как оно есть, обезумевшим от гнева, пьяным от слез, поющим «через уста раны», как говорится в одной из песен Романцеро.

Обычно прелюдия Vocero нежна и жалобна: гроза начинается вздохом. Это трогательные воспоминания интимной жизни, имена любви, даваемые сестрой или женой, которые звучат в ушах, как поцелуй, касающийся лба умершего. – «О, возлюбленный твоей сестры!» – восклицает молодая вдова, – потому что, по известного рода очаровательной стыдливости, женщины в Vocero говорят почти всегда о муже, как

---

* Плач по покойнику (на Корсике) (*ит., диал.*).

о брате. – «О, олень мой темношерстный! – Сокол мой бескрылый! – вижу я тебя моими глазами! – Трогаю тебя своими руками, о, возлюбленный твоей сестры! – целую родники крови твоей! Возможно ли это? – Не могу еще этому поверить! – О ты, слаще меда! Лучше хлеба! – Кажется, что Бог его сделал, о Мария! твоими руками».

Paria Dio l'avesse fattu,
O Maria, cu le to mane.

Эти страстные литании идут строфа за строфой. При каждом перерыве яростной своей жалобы, вопленица вновь перебирает эти четки скорби и любви. Она вызывает обожаемую тень во всех образах первобытного воображения, она переносит его душу в голубку на крыше, в цветок на лугу, в фазана зарослей, в морской парус, во все родные и милые образы сельской жизни. Точно слышишь, как невеста Песни песней обращается к своему возлюбленному с метафорами обожания. За этими словами следуют жалобы, рыдания, обеты вечного отчаяния, с энергией, напоминающей скорбь античного мира: «Я хочу послать в Аско купить сажи, я хочу выкраситься в черный цвет, как вороновы перья, жизнь моя стекается и убегает, как волны реки. Разве вы не видите мои глаза? Они превратились в два родника, для того чтобы плакать о двух моих братьях, убитых в тот же день. Сегодня много дела колоколам, что звонят по умершим! Но больше всех обижена я – это на вас, господин кюре, потому что вы главный враг моей семьи, – за три года семерых вы отняли у нас».

Но главный вопль причитаний, покрывающий собою все остальные, это мщение. Тогда женщина исчезает, чтобы уступить место Немезиде, поющей заклание и принесение в жертву. Ничто не может равняться с диким воодушевлением этих проклятий, возглашаемых на суровом корсиканском наречии, которое является, если можно так выразиться, завываниями итальянского языка. Сестра дает обет сменить свое платье на куртку бандита, на свои серьги купить пистолеты, и за отсутствием других, самой совершить в е н д е т т у за своего брата. «Чтоб отомстить за тебя, – будь уверен, – ее будет достаточно».

Per fa la to bindetta,
Sta sigùru, basta anch'ella.

Мать клянется скроить своему сыну красный жилет из окровавленной рубашки его отца, для того, чтобы он носил цвет убийства, пока не отомстит за него. Жены хотят собрать кровь своих мужей и по каплям рассеять ее по стране, как смертельный яд. Жажда мщения в некоторых из этих песен переходит в бешенство, или, скорее – в истерию жестокости; является нечто общее с одержимостью бесами и с бредом Пифии, корчащейся на своем черном треножнике. Это ярость неотступной идеи, доведенной до исступления женским воображением и мстительным инстинктом племени. Это Немезида, «целиком в добычу впивающаяся». Корсиканские женщины родятся мстительницами, как спартанские рождались героинями. Религия, которой они следуют так ревностно, тогда уничтожается пред лицом кровавого культа, их охватившего. «Лучше я отрекусь от своего крещения, – чем мне не увидать его отмщения!»

Se un bidissi la bindetta
Mi burria sbattizza –

восклицает двоюродная сестра одного человека, убитого в западне.

Электра Эсхила покажется бесстрастной рядом с сестрой Джиованни Маттео, убитого двумя людьми, по имени Риччиотто и Маскароне, которым помогал в этом сельский священник. Вопленица обращается сперва к родственникам умершего; она спускает их, как коршунов, на добычу. Угрозы пророков естественно повторяются в ее устах, и ярость ее подымается до высоты их проклятий: кажется, что эта корсиканская крестьянка поносит своих врагов с вершины одной из библейских гор. «Что же медлишь ты, Чекко Анто? – Вырви же внутренности Риччиотто и Маскароне; кинь их птицам; пусть стая воронов растерзает их мясо и обнажит кости!» Ее блуждающий взгляд останавливается на племяннике, еще ребенке; она видит в нем будущего мстителя, она на него указывает, она его провозглашает, она дает ему крещение

крови. «Не плачьте больше, мои сестры! – Радуйтесь! Пусть Карлуччио только вырастет, – он прольет всю кровь Маскароне!» Гнев ее обращается, становясь еще более грозным, против кюре, соучастника убийства. Тогда всякие человеческие интонации исчезают: это вой волчицы, смешанный с глухим треском разгрызаемых костей и раздираемого мяса. «Почему нет здесь предо мною в корзине – внутренностей того священника, – я бы их рвала зубами и держала бы их в своей руке».

Ch'eo la stracci cu li denti
E la palpi di mià manu.

И песнь мщения начинается вновь, неистощимая в проклятиях.

«В доме этого священника живет дьявол. Злой священник, отлученный от церкви! – Собака, гложущая Святое Причастие! – Cane rodi – sagramentu! – Чтобы умер ты от поношений, судорог и отчаяния!»

Наконец наступает момент, когда слова обращаются в пену на ее устах; нервы ее надрываются и глаза закрываются; она обмирает от ненависти, как вакханка в порыве страсти. Чувствуешь, что у нее едва хватает силы пробормотать эти два стиха, которые для ярости являются тем же, чем для страсти последний вздох оды Сафо: – «я чувствую жажду крови! – я хочу смерти!»

Di sangue sentu una sete!
Di morte sentu una brama!

Тут вопленица ослабевает; ей необходимо проспать свою желчь; и она погружается в сон у подножья смертного ложа, как Евмениды Орестейи и на пороге Дельфийского храма. Удивляешься, что она еще остается живой после такого исступления, что она не падает мертвой, как тот легендарный воитель, сердце которого лопнуло, так сильно он дул в рог, после того, как она так яростно трубила в то, что Шекспир называет «отвратительной трубою проклятий». Читая ее зажигательную песнь, вспоминаешь о гимне одного индусского предания, жар которого был так велик, что сжигал, как

пламя, тех, которые осмеливались запеть его. Но подобно тому, как тень Клитемнестры неожиданно пробуждает Эвменид, призрак брата скоро выводит сестру из ее оцепенения. Она неожиданно вскакивает; родник слез начинает бить и кипеть. «О, Маттео! возлюбленный своей сестры, – сон одолел меня; но я хочу остаться с тобой и плакать до рассвета». Призыв к отмщению возобновляется, неутомимый, как набатный колокол: «О дьявол! как могло случиться, что за человека, связанного со столькими людьми, никто не счел делом чести вступиться, слушая мои жалобы? – Если никто из вас не отомстит за него – вы ничтожества». Она жалеет, что у нее нет сына, которому можно передать этот долг крови; она проклинает свое бесплодное чрево, не породившее мстителя: «О, если бы у меня был сын! – О, если бы у меня был ребенок! Я бы вырезала ему пояс из моего окровавленного фартука, «чтобы он никогда не забывал – кровь моего брата и, ставши большим, учинил расправу».

Представьте себе впечатление, которое производят эти вопли на гневные души тех, что их слушают. Слезы являются колдовским фильтром, которым женщины доводят до исступления, а здесь слезы поют и падают на кровь. Таким образом, Vocero было всегда призывным рогом войн Вендетты. На его призыв оружие отвечает трепетом, кинжалы острятся, ружейные курки скрипят под мужскими пальцами; и с наступлением ночи сын, брат или родственник уже бродят в черных зарослях маки.

Иногда, по странному противоречию, в эту песню, призывающую к убийству, бывает вплетена молитва, точно образок на шее у разбойника. Припоминаются тоже и средневековые кинжалы, на которых выгравировано «Отче наш», или ангельское славословие. Это торжественное вмешательство идеи Бога в разнузданность человеческих страстей нигде не выражено лучше, чем в одном историческом Vocero, которое складывается естественно, как драма. В нем есть все: и сцена, и перипетии, развязка. Один врач, по имени Маттео, был позван к умирающему, в деревню Соро. Это смертное ложе было западней, устроенной врагами; больной убил врача. Семья, извещенная, отправилась в дорогу, чтобы встре-

тить тело и отдать ему последние почести. Одна из его двоюродных сестер шла во главе и пела. Процессия встретила около одного моста тело врача, которое жители Соро несли в ту деревню, где он родился. «И когда мы пришли на мост, – появился, как облачко: ни креста впереди, ни священника с эпитрахилью. Только его подбородок подвязали платком». Несущие тело приветствуют родственников и хотят протянуть им руку; но Вопленица отстраняет их: «Приблизимся к Маттео и пожмем ему руку. От других, которые ничем не походят на него, – нам ничего не нужно. О Маттео, голубь мой! – они убили тебя твердой рукой». Затем она обвиняет его убийц с яростью и с угрозами. Ее негодование заражает и одну из ее спутниц; дух Вендетты охватывает ту, и обе они, одна за другой, обрекают убийц на скорую гибель. Жители деревни, около которой остановилась процессия, выходят из домов; они сочувственно предлагают Вопленице поесть: но она отказывается есть хлеб и пить вино той страны, которая дозволила убить Маттео; она ее проклинает, поносит, отряхает ее прах, призывает громы на ее нивы и стада: «Ешьте сами ваш хлеб, – сами пейте ваше вино; мы ничего этого не хотим. Вашей крови хотим мы, чтобы отмстить за нашу, которую вы пролили, разве не презренна та страна, в которой убит мой брат? Да низойдет огонь на нее, и пусть никто не живет в ней более!» Тогда посреди воплей одна из старух подымает свой голос. «Успокойтесь, сестры мои, и прекратите этот великий шум. Маттео не хочет мщения, потому что он на небе вместе с Господом. Посмотрите внимательно на этот гроб, – посмотрите, милые сестры. Иисус Христос над ним, – он, научивший прощать. Не возбуждайте ваших мужей, море и без того бурно. Подумайте о том, что если мы захотим иметь, то в свою очередь нам придется отдавать».

Хор трагедий Софокла не говорит голосом более царственным, чем эта смиренная старуха из темного Корсиканского захолустья. Можно подумать, что это святая первых веков христианства, которая с распятием в руке кидается в середину жертвоприношения друидесс, и бросает на алтарь, где бьется жертва, изображение Бога милосердия.

Эта страсть отмщения, которая так долго владела Корсикой, была, в конце концов, неизбежностью ее истории, настолько же, как инстинктом ее характера. Обвинять в этом нужно особенно тиранию Генуи, которая обращалась с покоренным островом, как с кораблем, взятым на абордаж, и правила ею при помощи вымогательства и грабежа. Во время Генуэзского владычества для Корсики не существовало гласного суда. Этой справедливости, в которой ей было отказано, она требовала с оружием в руках. Кровь, пролитая на этой девственной и полудикой земле, оказалась ужасающе плодоносной. Каждая пуля отражалась убийственными рикошетами; каждая могила становилась амбразурой, за которой скрывался новый бандит. Убитый убивал, в свою очередь, рукой своего сына, своего брата, своего друга; семьи убитых наследовали их ссоры; деревня принимала участие в доле семьи и вооружалась против ее врага; мщения вступали в союзы, передавались, переплетались, перекрещивались и порождали человекоубийственные потомства. Так произошла та сложная сеть вражды, которая вскоре покрыла весь остров. Вендетта имела свое генеалогическое дерево, свой смертоносный Анчар, выросший из самого сердца Корсики, корни которого вросли в самые фибры ее почвы.

Отсюда тоже и эта трагическая привычка к смерти, игравшей роль во всех событиях жизни. Как медные скрижали Драконовых законов, все обиды на Корсике имели смерть, как единственную санкцию и наказание. Украденный петух, говорят, был причиной того, что почти все жители одной деревни перерезали друг друга. Сама любовь угрожала вместо того, чтоб умолять: Serenate* старых времен острова, так же яростны, как Voceri. В них не играют на гитарах в честь молодых девушек; в них звонят им отходную и поют «De Profundis»**. Страсть появляется в них как неистовство; красота, как жертва, обреченная ножам. Влюбленный оскорбляет свою возлюбленную и требует ее сердце или жизнь. Любовь – это не изящный пастушок, вздыхающий под балконами Люцинд; это бандит, черный от порохового дыма,

* Серенады (*ит.*).
** Из глубин (*лат.*).

который воюет со штуцером в руке. «Пусть тот, кто женится на тебе, – о прекрасная богиня моя!.. не очень рассчитывает на свою жизнь... Я хочу тебя, – божественная возлюбленная, – мертвой, если не могу иметь тебя живой».

E ti vogliu, o cara diva,
Morta, se non posso viva.

Воспрещается под страхом смерти ухаживать за тою женщиной, за которой уже ухаживают эти свирепые домогатели: «Я хочу изрезать на куски язык ухаживателей и кинуть его собакам... Пусть кровля и дом развеются дымом! Пусть вся семья оплакивает свое разорение. Если я, паче чаяния, за это примусь, никто не уйдет с миром; ежели я на это решусь, – не выходи из дому. Разве ты не слыхала, как по всей стране люди говорят, что наделает делов любовник Беатрисы? наделает столько, что с утра и до вечера, – только и слышно будет, что крики да колокольный звон». Эти ужасные серенады могли бы петься на мотивы заупокойной обедни. «Слушай хорошенько, что я скажу тебе: я так же мало думаю, как о фиге, о том, чтобы уйти в маки. Кто на тебе захочет жениться – тот мертв... поэтому советую тебе раскаяться поскорее, или готовиться к похоронам».

Даже самая колыбель в варварские эпохи Вендетты не была защищена от ее мрачных влияний. Кормилицы вызывали вокруг ребенка не Фей, а Фурий. Одна из этих колыбельных песен может заставить содрогнуться: она была пропета одной старухой из округа Циккаво своему внуку. «...Когда ты станешь юношей, ты будешь носить оружие; не будешь ты бояться ни стрелка, ни жандарма; а если тебя оскорбят, ты станешь хорошим бандитом... Все твои предки были славными людьми, они были ловки и проворны, кровожадны и дерзки... Пятнадцать из них было убито, ровно столько, ни одним не меньше; люди великой отваги, цвет нашего племени... Быть может, ты, мой мальчик, тот, кто должен за них отмстить».

Кажется, что слышишь старую Атропос, шепчущую заклинания около колыбели. Кажется, что видишь Тизифону, подносящую к губам новорожденного свою грудь, переполненную ядом.

Но Корсика сохраняла всегда, даже в своих преступлениях, наивное величие. Карабины ее бандитов имели в известном смысле кодекс чести, подобно дуэльным шпагам. Известного рода естественное право руководило войнами Вендетты; у нее были свои вызовы, картели, отсрочки, перемирия, договоры и места убежища. Все статьи этого кодекса были всегда соблюдаемы со щепетильной честностью. Мрачная история Вендетты не знает ни одного подкупа, ни одного доноса.

В настоящее время свободное дыхание нового духа проникло в самые отдаленные области Корсики. Ее дикая Немезида, заклятая светом, посещает лишь самые дикие горные трущобы. Вскоре, без сомнения, она исчезнет, и Vocero останется лишь жалобой осиротевшего очага.

Потому что Vocero на Корсике не только руководит кровавыми похоронами убиенных, оно сопровождает также и мирные погребения. Тогда интонация его меняется, и голос становится нежнее: это уже не трагический набат, призывающий к мщению, это колокол, поющий отлетевшей душе прощания оставшихся в живых. Жрицами этих домашних трудов могилы остаются женщины. Инстинкт всех народов всегда прибегал к голосу женщины для разговоров со смертью, как он избрал его же для призыванья сна. Рим имел своих наемных плакальщиц, публичные фонтаны пошлых слез, в которых каждый мог черпать свое возлияние скорби, инструменты причитаний, от которых требовался лишь диапазон рыдания. Но в языческом мире не было случая, чтобы музыка погребальных торжеств превращалась в импровизации скорби, как у некоторых народов. Греция, Испания, Италия имеют, как и Корсика, своих вопелениц: смиренных женщин, сердце которых звенит лишь будучи разбито. В скорби нет явления более трогательного, чем это внутреннее преображение, которое поражает невежественную крестьянку священным безумием Сивилл и заставляет ее говорить в течение часа на том языке, который завтра она позабудет.

Церемониал обыкновенных погребений на Корсике иной, чем церемониал трагических смертей. Мертвый, и в

том случае, лежит на столе, с непокрытым лицом; но свечи освещают комнату и тело одето в праздничные одежды. Если это священник, то ему кладут в руки чашу, как бы для того, чтобы он поднялся на небо в позе Вознесения Даров. Если это девушка, то ее одевают в лучшее ее платье и кладут у порога двери, ногами внутрь дома.

Эти похороны, с открытом лицом, являются одним из самых трогательных зрелищ религиозной Италии. Сколько раз нам приходилось встречать ночью на улицах Рима эти похороны молодых девушек, которые можно сперва принять за таинственный свадебный обряд. Юная покойница, одетая в белое, лежала на своем смертном ложе, окруженная frati, окутанными как тени; голова ее сияла в ореоле свечей, священники пели над нею псалмы милосердия и благословения, звонки маленьких певчих впереди процессии казались птичьими криками. При ее приближении прохожие останавливались и преклоняли колена; женщины посылали поцелуи и крестные знаменья; цветы и ветви сыпались из окон на белый саван. Всё было гармония, сияние, пальмы, ангельские восторги, небесные приветствия вокруг свадебного гроба, который нес уснувшую девушку прямо к Богу, при мерцании его факелов и звезд.

Но кровавые Voceri на Корсике отличаются упоительной нежностью. Привязанность в сердцах всего этого народа, так же чрезмерна, как и ненависть. Он умеет любить так же, как умеет ненавидеть. Пчелы любят строить свои соты в дуплах, разбитых грозою дубов. Никто не говорил со смертью языком более естественным и нежным. Здесь одна женщина, обращаясь к своему мужу и боясь, что он недоволен ею, смиренно предлагает ему развестись с нею и уступить ему дочь, если только он согласится воскреснуть. «Если ты не хочешь больше оставаться в нашей стороне, я пошлю тебя в Бастию, и ты там останешься вместе с твоей Нунция-Мария. Быть может, мое присутствие тебе надоело, Джиованни!» Другая говорит своему супругу: «Ты был для глаз моих, как парус в море», и, одним стихом, запечатляет себя в этой позе гомеровой грации и наивности: «Дорогой предмет моих желаний, ты не укроешь меня больше под своим подбородком».

Nun m'ascunderachiu piu
Sottu lu vostru bavellu.

Молодая девушка, поющая Vocero над одной из своих подруг, дает покойнице поручения на небо: «Я хочу быстро написать маленькое письмо и вам передать его; я не стану его запечатывать воском, я могу доверить вам; вы передадите его моему отцу, как только будете там».

Но шедеврами этих естественных элегий являются Voceri, которые поются матерями над их дочерьми, похищенными преждевременной смертью. В них слышишь деревенских Гекуб и Ниобей, более красноречивых в своей простой скорби, чем созданные поэтами. Послушаем эту песнь матери, оплакивающей дочь, умершую шестнадцати лет. Так должна была плакать та, которая «не могла утешиться, потому что их не было».

Вот дочь моя, – юное дитя шестнадцати лет! Вот распростерта она на столе после долгих страданий, вот одета она в лучшие свои одежды.

В лучших своих одеждах сейчас уйдет она, потому что Господь не хочет ее дольше оставить здесь. Та, что рождена для рая – не может состариться в этом мире.

Дочка моя! твое лицо такое белое и розовое, созданное для рая, как смерть изменила его! Когда я вижу тебя так, мне кажется, что ты погасшая звездочка.

Посреди лучших и самых красивых девушек ты была, как роза посреди цветов, как луна среди звезд. Ты была самой прекрасной, среди самых прекрасных.

Юноши нашей страны, в твоем присутствии, вспыхивали как факелы. Ты же, ты была любезна с ними, но близка – ни с одним.

Все в церкви, с первого до последнего, глядели только на тебя. А ты ни на кого не смотрела. А едва кончалась обедня, ты говорила: пойдем, мама!

Кто утешит меня когда-нибудь, единственная надежда своей матери? Ты уходишь туда, куда Господь тебя зовет. Увы! Почему Господь так сильно захотел иметь тебя? О, как рай станет хорош теперь!

Но как же и земля станет теперь печальна для меня! Единый день будет длиться тысячу лет, думая о тебе, спрашивая без конца: где же моя дочка?

Посреди родственников, в которых нет преданности, посреди соседей, в которых нет любви, если я слягу больная в постель, – кто отрет мне пот? Кто даст мне каплю воды? Кто помешает мне умереть?

О, если бы я по крайней мере могла умереть, как ты умерла, о надежда сердца моего! И если бы я могла вознестись на небо и найти тебя там, и быть с тобою, не теряя тебя больше никогда!

Проси же Господа, чтобы Он взял меня из этого мира, потому что я не могу так оставаться. Иначе скорбь моя не сможет окончиться».

Закончим на этой трогательной жалобе, которая искупает все исступления Вендетты, как одна слеза Ангела потушила бы, как говорят, все огни Адовы, если бы упала на них. Остановимся около этого чистого ложа, на котором спит так свято оплаканная девушка: оно заслонит от нас неистовые процессии, окровавленные тела и сцены раздора, мимо которых мы прошли. Видение этой юной умершей, следуя за столькими трупами, иссеченными ножом и пронизанными пулями, успокаивает взгляд, как прекрасное видение. Эти жалобы кажутся приятными после стольких криков. Так в пятом акте Гамлета зритель испытывает меланхолическое успокоение, когда белый гроб Офелии, появляясь на кладбище, прерывает лязг мечей и ярость отмщений.

Мрачное действие приостанавливается на мгновение, ненависти замирают, страсти успокаиваются: нежные слова освежают воздух драмы, напитанный кровью и грозой.

«Пусть из твоего прекрасного, незапятнанного тела расцветут фиалки! Цветы на этом цветке! – Я думал, милое дитя, украсить твое свадебное ложе, а не следовать за твоим гробом».

XIX. Деньги

Народная поэзия в наивных аллегориях часто воспевала «Страсти» винограда, пшеницы, ячменного зерна, избиваемых цепами, выжимаемых давилом, сжигаемых на решетке, прежде, чем утолить жажду и голод людей. Если бы у политической экономии были свои поэты, то они могли бы воспеть долгое и суровое мученичество, которое испытали деньги прежде, чем достичь власти над землею.

Средневековье олицетворяло их в образе наряженного в смешные одежды жида, которого грабят, освистывают, оскорбляют, запирают в темницу Гетто. Оно не отличало банковых операций от ростовщичества. Ненависть, которую оно питало к «ростовщику», наивно выражена в картинах фламандских мастеров XV века, часто его изображавших, согласно не исчезнувшим еще традициям. Обыкновенно это мрачный старик, одетый в платье с кожаным поясом, в странном колпаке, надвинутом до бровей. Лицо его морщинисто и подозрительно; глаза, расширенные очками, сидящими на худом носу, блеском и пристальностью напоминают глаза ночных птиц; раздвоенная борода, похожая на щипцы, завершает это лицо-гримасу. Он сидит перед столом, заваленным монетами, его тощие пальцы тянутся к своему сокровищу, кажется, что он греется около него, как у жаровни. Сзади, через плечо наклоняется его жена. Но женщина ли это? Скупость стерла все признаки пола с этого изборожденного лица. Ее маленькие серые глаза отражают мерцание металла; в ее узкий рот хочется опустить монету, как в копилку. Страшная пара так схожа между собой, что их можно принять друг за друга; так делаются схожими изображения двух различных монет, стертых долгим обращением.

Это позорное изображение вы найдете повсюду, на картинах, в сказках, в летописях, в повестях той эпохи. Средневековье обрекало деньги на бесплодие; тех, кто пытался их умножить, оно преследовало и отлучало. Не понимая денежных оборотов, оно относилось к ним с подозрением; в примитивных операциях возникавшего банка оно видело магию. Тайна капитала, который растет сам собою, беспокоила его,

как опасное алхимическое явление. Один еврей знал тайну золота в этот железный век. Он изобрел кредит – эту алгебру богатства; он владел ключами таинственных базаров востока. Гетто своею черной массой, вздымавшееся посреди города, было похоже на магнитную гору «Тысяча и одной ночи», привлекавшую к себе железные части всех кораблей, рассеянных по морю. Дукаты и денье всего города просачивались в него невидимыми путями. Рано или поздно этот высокий барон, этот надменный сеньор, который приказал бы вымыть свою прихожую, если бы жид вошел туда, испытывал нужду в деньгах, чтобы заплатить выкуп или предотвратить опалу. Тогда, волей-неволей, приходилось проходить сквозь Кавдинские ущелья жидовского царства. Он входил туда с наступлением ночи и стучался в дверь Исаака или Нафанаила, человека, про которого говорили, что он пронзает Св. Дары, а в страстную пятницу распинает ребенка. Ему выходил открывать старик с лампой в руках, предварительно посмотрев в решетчатое окошечко, глядящее на улицу, как суровый глаз. Это больше не был смешной пария, который днем пробирался по улице с опущенной головой, украдкой, касаясь стен своей грязной туникой, отмеченной желтой каймой: тюрбан патриархов окутывал его лысый лоб; широкое восточное платье давало ему вид священника или судьи. Дом сверкал азиатскими вазами и тканями; он благоухал тем ароматом, который привозят из Индии корабли, нагруженные пряностями. За пестрой занавеской появлялась голова девушки с орлиным носом и алмазными глазами: это была дочь хозяина, которая с любопытством разглядывала чужестранца. Еврей и христианин, сидя рядом, обсуждали данный заем, при свете факела с семью разветвлениями, являвшегося образом Библейского семисвечника. И часто княжеский лен с полями, селеньями, рыбными прудами и лесами, кишащими дичью, лоскут за лоскутом переходил в сундук, откуда Иудей доставал мешок займа.

Ничто так не увеличило ненависти к евреям, как эта наука о богатстве, которая была известна только им. В некоторых государствах Европы государи, нуждавшиеся в деньгах,

исчерпав все средства, под угрозой войны, если долг не будет заплачен, брали иногда казначеем еврея, как, будучи поражены смертельной болезнью, от которой отказались все врачи, они призывали к своей постели колдуна или астролога. Финансовый Моисей творил чудеса; он превращал мараведосы в дукаты и высасывал деньги из народа досуха. Но ценою каких проклятий и какого гнева! Послушайте лучше этот яростный вопль испанского поэта против еврейского фиска Дона Педро Кастильского, назначившего министром своей казны богача Самуила Леви. «Тогда приходят жиды, готовые пить кровь разоренных народов. Сговорившись, они приносят свои подсчеты и обещают свои дары и свои уважаемые драгоценности... Вскоре они говорят королю: конечно, евреи являются вашими слугами и, если вы будете оказывать им милости, то они подымут вам ренту выше самых стен; окажите ее им, государь, потому что Вы будете иметь прекрасный сбор податей. Государь, говорят евреи, мы вам отплатим за услугу; за нее мы вам дадим на триста больше, чем в прошлом году, и мы вам без обиняков обещаем хорошую котировку, если вы примете те письменные условия, что мы вам принесли». Король отвечает: «Мне, действительно, нравится оказывать им милости. Они намного повысили мои ренты в этом году». И он не видит, о, подлый, что вся эта кровь течет из-под его же ребра.

...Et mou cota, il cutado,
Que toda esta sangre caye de su costado.

«После этого приходит дон Авраам или дон Самуил с их сладкими, медоточивыми словами и делают еще такую надбавку, что во всем королевстве весы подымаются на сто с половиной. И через всё это проходит народ, весь истерзанный, оплакивая свои несчастья. Там, где жили тысяча человек, теперь не наберется и трехсот. Заемные письма сыпятся на них градом, богатые и бедные бегут в великих страданиях. Король достиг этого при помощи евреев, весьма ловких на высасывание новых налогов». (Rimado de Palacio. Поэма Перо Лопес де Айала.)

Между тем у евреев явились ученики. В XV веке один писец башни св. Иакова, по имени Николай Фламель, составил себе состояние, спекулируя после их изгнания на их домах, продававших их за бесценок. Народу больше нравилось приписывать его богатство колдовству. В течение тридцати лет парижане глядели с разинутыми ртами на дым, выходивший из крыши его убогой лачуги, убежденные, что хозяин этого дома и днем и ночью раздувает огонь великих алхимических исканий. – Позже, один великий человек, Жак Кер, открыл будущность промышленного мира с интуицией Колумба, угадавшего и утвердившего существование Америки. Применяя свой торговый гений к делам разорившегося королевства, он установил торговлю с Левантом, разрабатывал рудники, изобрел статистику, организовал систему налогов, и снабдил Францию из собственной своей казны, более королевской, чем королевская, деньгами на выкуп ее, занятой врагами, территории. Франция приняла эти деньги дьявола, но изгнала даятеля. Его обвинили в лихоимстве, в отравлениях, в магии, из него сделали золотого тельца отпущения всех хищений его времени и изгнали его в пустыню. Он отправился умирать на один из островов Архипелага, на навозную кучу старого Иова.

Что ж удивительного? Эпоха была бедная. Богатство она соединяла исключительно с ленными и наследственными владениями, все другие источники были для нее подозрительными махинациями. Большие состояния, которые возникали среди нее, не связанные корнями с вековыми владениями, казались заклятыми сокровищами, колдовскими постройками. «Тем более, что они были видимы издалека, среди всеобщей нищеты. Это были пирамиды в пустыне. Голодный и подозрительный араб, видит в них жилище злых духов, блуждает вокруг их на своей тощей лошади, мерит их подозрительным взглядом и, наконец, осмелев, оскверняет и грабит их». – Впрочем, Средневековье по самой природе своей должно было презирать сбережения и барыши. Темперамент аскета и рыцаря заставлял его отвергать деньги как нечто чуждое. Оно много тратило и презирало наживу. Про-

мышленность, торговля, спекуляции, всё это было для него рабским делом и подозрительным чернокнижием. Царство его было не от того мира, который производит, потребляет, покупает, торгует и придает сырому материалу тысячи промышленных форм, оно существовало в той идеальной среде, где рыцарство объезжает дозором землю, не имея иных средств пропитания кроме своего копья, где сама война – мистична, где меньше придают значения доходам, получаемым с земли, чем власти над нею, где золото служит лишь для того, чтобы платить выкупы да чинить доспехи, где для прославления королевского герба цветут лилии, которые по писанию «не сеют, не жнут». И насколько деньги держат себя униженно на всем протяжении этого железного века! Они страшны в магических формулах еврейства и в сундуках у буржуазии, там они прозябают в темноте, дают невидимые ростки и множатся в молчании. Работа скрытая и таинственная, как рост минералов под землею.

Но время идет, общественный строй усложняется, потребность увеличивается, промышленность развивается, горизонт торговых сношений, до той поры такой тесный, постепенно начинает отступать вместе с исследованием мира. С другой же стороны, монархии, концентрируясь, приобретают огромные аппетиты, которые надо удовлетворить во что бы то ни стало. Появляются короли-дельцы: Филипп Красивый, Карл V, затем Людовик XI во Франции; Генрих VII в Англии, Фердинанд V в Испании, а еще позже – Карл V. Тогда служители золота подымаются в чинах; мытарь подымает голову; опозоренного и ненадежного ростовщика сменяет банкир, властный и надежный. Особенно в Германии, начиная с XV века, подымается и процветает высокий банк, освященный Фуггерами, между тем как рыцарство при последнем издыхании, гонимое из замка в замок, падает вместе с Гетцем фон Берлихинген – своим последним представителем. Архистратиг Михаил растоптан ногами Маммона. Фуггеры восседают на троне в Аугсбурге в своей «золотой палате», они кредиторы королей, ростовщики владетельных князей, у них же занимают выборные фонды при избрании императо-

ров. Когда Карл V останавливался у них, то они его распиской в восемьсот тысяч флоринов подожгли связку корицы, лежавшую в камине его комнаты. Великолепное благовоние, достойное алтаря римского цезаря, за которое император заплатил им, презрительно уронив, когда ему во Франции показывали коронные драгоценности: «У меня в Аугсбурге есть ткач, который мог бы купить всё это».

Мюнхенский музей в одной и той же зале представляет этот разительный контраст, между восходящими финансами и вырождающимся рыцарством. С одной стороны – двустворчатый портрет Антона Фуггера с семейством, работы Гольбейна. Портрет официальный, почти династический. Отец, одетый в меха, как северный король, с головой надменного буржуа, глядящего на вас с высоты авторитета ума и богатства, тут же дети, выстроенные в два ряда на коленях с четками в руках: мальчики уже серьезные и чопорные, как эрцгерцоги, девочки затянутые в шерстяные платья с тяжелыми складками, исполненные ханжества и спесивости, молящиеся с истовостью маленьких жертвовательниц, которые могут уже построить церкви своим святым. И небо раскрывается, чтобы оказать честь этим богатым клиентам, и в облаках, на золотом фоне, им является Богоматерь.

Насупротив этих триумфальных портретов, находится два «Вооруженных Рыцаря» Альбрехта Дюрера. Они только что сошли с коней и стоят, держа их под уздцы. Их печальные и озабоченные головы выражают усталость беспредельную. Они скорбно глядят перед собой, как бы не зная, куда держать путь, и кажется, что, нося свои доспехи, они совершают тяжелую принудительную работу. Сядут ли они вновь на своих лошадей, таких же усталых, как они сами, фыркающих, опустив головы? Я думаю, что они кинут свои доспехи в придорожные кусты, наденут казакины и дорожные плащи и займутся счетоводством в Аугсбурге или в Нюренберге.

Задолго до Германии Италия реабилитировала деньги, их пышность и деяния их. Торговля, банк, спекуляция – все эти, некогда заклейменные вещи, воцарились в ее пределах со всем тщеславием власти. Между тем как рыцарственные

монархии сражались на пустой желудок и ломали копья на турнирах, маленькие республики полуострова оставались дома за своими прилавками, не менее славными, чем престолы. Их торговые флаги не уступали штандартам, расшитым гербами: в свою расточительность они вкладывали гений. Какое зрелище представляет Венеция, процветающая на водах! Ее образ встает из Веронезова «Пира в Кане», который рисует нам ее купцов, пышных и смуглых, как калифы, чествующих королей за своим столом. – Флоренция возвела на трон деньги, правившие ею. Кто такое Медичи, как не коронованные миллионеры? Облагороженные этим всемогуществом, деньги творили чудеса; они оплатили все расходы Ренессанса – это уже говорит все. Благодаря их щедрости воскрес античный мир, возникли монументы, племя статуй украсило города, живопись создала дивные произведения. Грубое золото, добываемое торговлей, очищалось в горнах искусства, которое возвращало его преображенным в чаши, алтари, барельефы, канделябры – бесценные шедевры человеческих рук. В то время Италия являет в действительности ту ослепительную сцену, второй части Фауста, где Плутус, бог богатства, появляется, но уже не слепой и безобразный, как в карикатурах Лукиана и Аристофана, но прекрасный, величавый, царственный, воистину божественный, возлежащий на коврах триумфальной колесницы, поглаживающий свою азиатскую бороду рукой, украшенной перстнями. «Достоинство его не поддается описанию, но его лицо свежо и округло, как полная луна, его цветущие щеки распускаются под пышным тюрбаном, и богатое довольство чувствуется в складках его платья. Что сказать о его повадке? Мне кажется, что я угадываю в нем властителя». Каприз в образе крылатого Гения ведет под уздцы четверню; его сияющая рука разбрасывает по дороге пригоршни драгоценностей. «Посмотрите, мне достаточно щелкнуть пальцами и в тот же миг светы и искры брызнут вокруг колесницы; берите, вот жемчужное ожерелье! Вот вам золотые застежки, серьги, запястья; вот вам диадемы и драгоценные камни в перстнях... Драгоценности сыпятся дождем, как в сновидении!»

Чем ближе надвигается современность, тем влияние денег увеличивается. Англия слагает свои феодальные доспехи и покоряет Индию из глубины торговой конторы. Вся Голландия является лишь верфями судохозяев. У обоих этих народов торговые дела так глубоко входят в политику, что оба эти понятия отожествляются. Богатство там приобретает вес политического влияния; оно усложняется элементами власти, завоеваний и суверенитета. – Еще недавно этот купец, который подымается по лестнице Лондонской Биржи с зонтиком под мышкой, выдавал пенсию Великому Моголу, смещал с трона Раджей, направлял армии, багаж которых переносился на спинах слонов; несколько буржуа, склонившись над картами в мрачном зале East-India-House, присоединяли королевства, и за одно заседание проводили в волнение больше народов и больше перемешали границ, чем Европейский конгресс по окончании какой-нибудь войны. Точно так же этот Амстердамский торговец, который курит трубку на пороге своей темной лавки: в Европе это торговец колониальными товарами; на Яве это набоб, принц, почти король. – Мы говорили только что о карикатурных картинах старых мастеров Фламандской школы, изображавших денежного человека: картины и офорты голландских артистов XVII века, изображающих в своей манере Евангельскую притчу о пяти талантах, и о заимодавце, составляют полный контраст. Какая разница стиля и точки зрения! Какой внушительный образ трудолюбивого богатства! – Банкир, великолепно одетый, сидит на эстраде в царственной позе. Вокруг него из склоненных мешков сыпятся слитки и восточные пряности: точно торговля высыпает рог изобилия к ногам своего короля. Направо от владыки широкие весы колеблются под грузом золота; внизу помоста озабоченный кассир, нахмурив брови от напряжения счета, итожит цифры в громадной книге. – Душа народа запечатлелась в этих гордых образах; эмблема нового царства, не лишенная величия.

Пришествие денег наступило позднее во Франции. Всё их приветствовало и держало их на расстоянии: аристократ, идеи, нравы, мало возможностей развернуться, благодаря торговой робости нашей страны. Кроме того, во времена ста-

рого режима деньги олицетворялись в образе откупщиков, столь же отвратительных и ненавидимых, как жид и ломбардец в Средние века. Откупщики вызывают смех в театре под комической маской, однако в них не было ничего комического. Это были вершители смертных приговоров фиска, палачи золота, в трагическом и жестоком смысле этого слова. С тираническим прожорством они царили над своей областью, осложненной налогами, векселями, процентами, подушною податью, соляным сбором. Привилегией их было патентованное лихоимство; бюджет Франции в том виде, как они его установили, – был организованным грабежом. Народ им был отдан на откуп, точно участок земли; они были свободны выжимать его до самых костей, только бы была уплачена властителю условная аренда. Их мошенничества выражались во внезапных состояниях, невероятных и беспричинных, которые выставлялись на показ и в их бесстыдной роскоши, и в их королевских особняках, и в этих кандальных «Folies»*, сохранивших свое имя. Все миллионы, украденные ими, возвышались там, обращенные в камень, в вещество, осязаемые; их можно было смерить аршином. Золото, трудолюбивое и патриотичное в Голландии и Англии, оставалось во Франции эгоистичным и бесплодным; оно брало и не отдавало.

Финансисты здесь были лишь золотыми тельцами на подножном корму. – Пробегите у Сен-Симона портреты князей этих мытарей. Какие ужасные физиономии! Алчность проконсула смешана в них со свирепостью паши. Вот Вуазен, из интендантов возвысившийся до министерства: «Сухой, жесткий, не одаренный ни любезностью, ни уменьем жить... Грубо самоуверенный в способности своей делать что угодно и на всё найти ответ; человек почти невидимый и не желающий быть видимым, хмурый выпроваживатель, любящий обрывать, отвечающий сухо и решительно в двух словах, и на возражение поворачивающий спину, или затыкающий людям рот чем-нибудь решительным и властным; его письма, лишенные всяких слов вежливости, являются лишь лаконическим ответом, весьма авторитетного тона, либо кратким

* Безумства (*фр.*).

извещением о том, что он приказывает, как власть имеющий; и всегда на все: такова воля короля». – Вот Демарец, фальшивомонетчик, пойманный Кольбером на месте преступления, призванный к управлению финансами после долгой опалы и применяющий к истощенной Франции допрос с пристрастием – десятинный налог. Сен-Симон наводит страх рассказом о его возвращении; золоту, добытому его грабежами, он придает ужас крови, текущей из тела, растерзанного орудиями пытки. – «Подушная подать, удвоенная и утроенная, по произволу провинциальных интендантов, товары и припасы всякого рода, обложенные вчетверо их стоимости; вспомогательные и всякие другие таксы на все возможные предметы: всё это разоряло и благородных и простолюдинов, и сеньоров и духовенство, и всё же того, что из этих сумм доходило до короля, было недостаточно, хотя он и выпускал кровь из всех своих подданных, не делая различия, и выжимал их до последней возможности... Меньше месяца понадобилось для проницательности этих гуманных комиссаров, чтобы дать благоприятный отзыв об этом мягком проекте циклопу, который им поручил его. Он пересмотрел вместе с ними составленный ими эдикт, весь пронизанный молниями против неисполнителей. Таким образом, наскоро было сварганено это кровавое дело, и немедленно, после подписи, припечатано и зарегистрировано среди заглушенных рыданий... Ни сбор, ни доход даже и приблизительно не оказались такими, как себе представляли в этом бюро антропофагов, и король тоже не заплатил никому ни денье, что он делал и раньше». – Вот еще Самуил Бернар, составивший себе огромное состояние на банкротстве в сорок миллионов, вступивший в союз с Моле и Мирпуа, и сопровождаемый в садах Марли, перед ошеломленным двором, Людовиком XIV, доведенным до крайности. – «Король, – рассказывает Сен-Симон, – сказал Демарецу, что будет рад его видеть с Г. Бернаром, а вслед за этим сказал последнему: “Вы человек, который никогда не видал Марли, приезжайте его посмотреть во время моей прогулки: а затем я вас возвращу Демарецу”. Бернар следовал за королем и тот всё время говорил только с Бергейком и с ним;

водя их повсюду и показывая им всё с тою любезностью, которую он так хорошо умел применить, когда намеревался осыпать человека милостями. Я любовался, да и не я один, на это проституирование короля, столь скупого на слова, по отношению к такому человеку, как Бернар. Мне недолго пришлось догадываться о причинах, и я дивился, до чего могут быть доведены иногда самые великие из королей».

Это презрение к денежным людям, впрочем столь жестоко справедливое, было всеобщим. Перечитайте у Лабрюйера бессмертную главу об откупщиках: каждая черта его, как стигма, прожигающая и клеймящая. Лесаж обобщал их в персонаже, составленном из грубости Жеронта и скупости Гарпагона. Тюркаре стал типом. Имя его стало классической этикеткой на денежном сундуке и мешке. Даже когда разорившееся дворянство вступало в брачный союз с финансовыми парвеню, то какими оскорблениями оно заставляло их платить за эту честь! – Мадам де Гриньян женила своего сына на дочери генерального откупщика Сент-Амана. «Представляя ее в свете, она извинялась и, жеманясь и стараясь придать более приятное выражение своим маленьким глазкам, говорила, что время от времени необходимо унаваживать даже лучший чернозем». – Граф д'Эврё не снизошел до того, чтобы прикоснуться к дочери Кроза, которая принесла ему сто пятьдесят тысяч приданого и двадцать один миллион наследства в перспективе. Разбогатев на Системе, он вернул приданое своей жены и отослал ее к отцу. В доме ее мужа ее не называли иначе как «маленький слиток». – Одна комедия времен Регентства, «Школа буржуа» д'Алленвиля, рисует нам некоего маркиза, запутавшегося в долгах, который женится на маленькой Бенжамине ради состояния ее матери, г-жи Абрагам. Но кроме приданого в двести тысяч ливров ренты ему нужна еще премия в сто тысяч ливров на уплату долгов. И еще он находит, что это значит оподлиться за бесценок. Впрочем, он глубоко презирает девицу, которой сын снисходит отдать свою руку, и со злою наглостью издевается над семьей, им эксплуатируемой. В заключение письмо, в котором он оскорбительно насмехается над этим родством, попадает

в руки матери; свадьба расстраивается. «Черт побери! – восклицает маркиз. – Вот царственная женщина, эта г-жа Абрагам; я еще не знал всех ее достоинств. Я забылся, я готов был обесчестить себя, женившись на ее дочери; она больше заботится о моей чести, чем я сам, и останавливает меня на краю пропасти. Ах! Поцелуйте меня, добрая женщина, я никогда не забуду вам этой услуги».

Теперь деньги получили свободу; их изумительная способность проникать всюду сделала из них нечто столь же вездесущее и всепроникающее, как стихия. Волна денежных дел, некогда ограниченная пределами одной подозрительной корпорации, залила все иерархии и классы. Финансы перестали быть таинственным делом одной секты мытарей и стали раскрытой главной книгой общественного богатства. Капитал вышел из тех трущоб, в которых он коснел; он взял штурмом и обновил природу. Как пар освобождает вещество от уз тяготения и заставляет его подыматься в воздух, так спекуляция отнимает у золота вес и инертность металла. Она его распространяет, приводит в движение, утысячеряет его самым движением, подобно тому, как умножается камень, кинутый рикошетом по воде. Это золото, так долго спавшее и тяжелое на подъем, это золото, которое древность в много говорящем символе показывало нам хранимым под животом неподвижного чудовища Холка или Гесперид, оно улетает на ее призыв и из тайников скупца и из сундуков скопидома; оно убежит вскоре и из тех закромов, куда человек Востока еще прячет его, как бесплодные зерна. Оно ломает цемент камней и сталь замков, чтобы уйти клокотать в своем большом горне. Кредит, этот идеал денег, дает самоуверенность подозрительному и рутинерскому экю старых времен. Он заставляет его верить в идею, в изобретение, в открытие; доверяясь его обещаниям, оно отдается мечте и неизвестности. Цифры, им встревоженные, расправляют крылья, чтобы видеть издалека и предупреждать будущее. Учет утверждает рождающийся проект и строит золотой мост, по которому ему нужно пройти, чтобы коснуться реальности. Все потоки различных интересов приливают к центру бирж, которые их перемешивают, приводят в столкновение друг с другом, выявляют их

истинность, рассеивают их химеры и поддерживают инертный металл в состоянии постоянного кипения и клокотания. Рядом со старой Фортуной, планомерной и наследственной, катящей свое колесо по неизменной колее, поднялась новая Фортуна, случайная, как азартная игра; быстрая, как случай, переменная, как общественное мнение, движениям которого она следует. Деньги были кастой, они стали демократией. Маммон называется теперь «Легион», как дьявол Писания, и Пандемониум, им воздвигаемый, – это мир преображенный и обновленный.

Часть четвертая

XX. **Роланд**

La chanson de Roland

(Poëme de Theroulde). In quo praelio, Eggihardus, regiae mensae praepositus, Anselmus, Comes palatii et hrouoplandus, britanici liminis praefectus, cum Aliis compluribius, interficiuntur.

«Эггихард, стольник королевский, Ансельм, дворцовый начальник, и Роланд, правитель Бретонской области, вместе со многими другими погибли в этом сражении». Эта краткая заметка из сухой хроники Эгинхарда, является единственным историческим свидетельством, оставленным Роландом. След ступни на сухом песке – и это все, что осталось от человека, который в течение веков наполнял своей памятью все миры поэзии. Легенда имеет свои великолепные капризы, достойные феи и королевы; она так же любит возвеличивать смиренных, как история иногда забавляется унижением великих. Между тем как история повергает в забвение или отодвигает в тень героев живших, действительных, подлинных, часто потрясавших землю, прикрывая дымкой Сезостриса и Кира, пощадив от всего царствования Траяна, лишь мало говорящие барельефы, овитые вкруг колонны, простирая ночь варварства над высокими деяниями Аэция и Посту-

ма, равных Сципионам, более великих, чем Марий, – легенда избирает иногда неизвестную личность, затерянную в пыли летописей: выращивает ее, зачаровывает, сосредоточивает на ней все оплодотворяющие токи, все силы восторга народного воображения. И неведомый человек встает, блистая славой, из своей забытой могилы; и незнакомец, который, может быть, и не сражался и не побеждал, облачается внезапно славой столь же пышной, как слава Цезарей и Карлов Великих, восседающих на троне своем.

Такова была и судьба Роланда. Кто этот военный правитель Карла Великого, убитый в Ронсевале во время одной из стычек арьергарда? Какой-то воин, столь мало знаменитый и памятный, что историограф его господина даже не прибавил эпитета к его имени. В течение трех веков ни один летописец не упоминает о нем: кажется, что память о нем, как и его тело, рассыпалась прахом. Но легенда, избравшая его, бдит над ним среди ночи и молчания: медленное ее развитие оживляет его. Смутные воспоминания, разрозненные предания, поэтические грезы овладевают этой Тенью, ее преувеличивают и преображают. Тысячи воинственных призраков, исчезнувших во мраке варварских времен, возвращаются в ее облик и возвеличивают ее безмерно. Она поглощает армии, ассимилирует племена, резюмирует целые народы. Как тот сказочный воитель, который наследовал силу тех, кого поражало его копье, Роланд наследует всё геройство и все подвиги целой эпохи. Триста лет после Ронсеваля, в утро Гастингской битвы, песня о нем, затянутая одним трувером и подхваченная хором всего норманнского войска, открывает рыцарству того героя, который должен стать его воплощением. Христианский Ахилл восстает, но не из-за Стикса, а из Леты, отныне неуязвимый для забвения.

С этого времени Роланд покоряет прошлое: он овладевает Карловинским миром и становится его главой и типом. Двенадцать пэров круглого стола, более реальные, чем он, не могут устоять против этого химерического победителя. Люди с плотью и кровью бледнеют, а тень человека становится всё ярче. Сам Карл Великий стушевывается с того момента, как он появляется, как Агамемнон в Илиаде, перед сыном Пелея. Он истребляет больше чудовищ, чем Геракл, больше Сарацинов, чем Сид; с одной дубиной он побеждает гигантов,

вооруженных с ног до головы; он один выдерживает натиск целой армии; он бьется на дуэли с Оливье на одном из островов Роны, и битва длится в течение пяти дней и пяти ночей. Время изменяет свое течение, и пределы исторического мира передвигаются, чтобы дать ему дорогу. Предвосхищенные крестовые походы отступают на три века и смиренно вступают в число его подвигов. Он берет Константинополь до Бодуена, а Иерусалим раньше Годефруа. Он зачаровывает всё, что ему служит, и всё, к чему он прикасается. Его лошадь Вельантиф говорит, как библейская ослица, как кони Илиады; его меч Дурандаль – фея из несокрушимой стали; его рог, когда он в него дохнёт всею грудью, срывает с петель ворота городов, разрушает подземные ходы, и от его звука выпадают зубы и волосы тех, кто его слышит. Роланд заполняет собою все страны и народы. Слава его владеет даром вездесущия; а его меч брызжет молнии во всех четырех концах мира. Воображение, воззвав, умножает его. Сделав из него великого героя, она превращает его в физического гиганта; она увеличивает его тело соответственно той душе, которой наделило его. Он проходит повсюду и всюду оставляет за собою рубцы молнии и следы колоссальных ступней. Огромная пробоина, рассекающая Пиренеи у башен Марборе, была сделана ударом его Дурандаля; Франциск I, подняв в Блейе крышку его гроба, бледнеет, как земледелец у Виргилия, находящий в своей борозде огромные костяки людей минувших времен. Англия отметила его появление у одного болота, носящего его имя. Италия полна его славой и реликвиями: его статуя, источенная временем, стоит на страже у дверей Веронского собора, против статуи Оливье: Павия выдает за его копье гигантское весло, подвешенное ко своду ее собора. В Риме, на улице Spada d'Orlando можно видеть Дурандаль, высеченный из камня в стене, а в Спелло гигантский каменный фаллос, под которым написано это двустишие:

Orlandi hic Caroli magni metire nepotis
Ingentes artus; caetera facta docent.*

---

* Члена громадность Орланда, потомка Великого Карла,
видя, ты не дивись: вспомни деянья его (*лат.*).

Пер. А.В. Маркова (*Ред.*).

Германия видела, как он скакал, таинственный и грозный, подобный Рыцарю Смерти Альбрехта Дюрера, во мгле ее лесов. На одной из скал Рейна он построил замок Rolandsek: согласно одному преданию, он умирает в нем от любви, глядя на женский монастырь. Венгрия видела, как он пересекал ее степи. Его гигантский облик можно разглядеть, как бы в мерцании северного сияния, в туманных легендах Исландии. Турки, по свидетельству Пьера Белона, его считали одним из своих и показывали его меч, повешенный на воротах замка в Бруссе. Грузины, как утверждает Бусбек, позабывшие Язона и Медею, в шестнадцатом веке воспевали Роланда на своих грубых гуслях, сделанных из трех струн, натянутых на доску. – Оттуда, несомый гиппогрифами, он углубляется в бескрайности Азии, и если внимательно прислушаться к смутным гулам преданий, то даже в джунглях Индии, даже в снегах Татарии можно различить глухой отзвук его шагов.

Прославив Роланда, поэзия канонизирует его. На самых горных вершинах Рая Дант вправляет его душу, как живую реликвию, в светящийся крест, пересекающий планету Марс, вместе с душой Маккавея и Карла Великого: «И при имени великого Маккавея я увидал движение светового вихря, и радость была бичом этого небесного кубаря. Равным образом и при именах Карла Великого и Роланда: мой внимательный взгляд следил за их светами, как глаз охотника следует за соколом в его полете».

Но Роланда первоначального, – такого, каким он вышел, закованный в доспехи, из головы Рыцарства, следует и искать в поэме Терульда. Орла надо искать в тех воздушных сферах, где он родился. Вне этой суровой Илиады XI века вы найдете лишь его призрак, блуждающий среди миражей. Только там действительно живет Роланд, не исторический, но эпический и одухотворенный в своем легендарном облике реальным бытием века, его создавшего. Каким первобытным шедевром является эта поэма, мощно высвобождающаяся из необработанного языка, как Мильтонов Лев из чресл хаоса! Это детство искусства, но детство геркулесово, одним порывом достигающее высоты. Герои, язык, идеи – всё там кажется железным. Quantum ferrum! Quantum

f e r r u m!* – как воскликнул король Д и д ь е, увидав с высоты башни до самого горизонта колыхавшиеся стальные волны армии Карла. Поэма похожа на те сверхчеловеческой величины доспехи, которые можно видеть в арсеналах: с недоумением спрашиваешь себя, для каких гигантов были они выкованы?

Начиная с первой же песни, вы перенесены в мир почти сверхчеловеческий: Карл Великий, окруженный своими Перами, со своей «белой бородой, лежащей на панцире», является патриархом феодального мира. Поэт его старит, чтобы сделать более почитаемым: древностью он подчеркивает величие; вместе со славой Цезаря он дает ему возраст Авраама. Ссора Роланда с Ганелоном, предательство графа Майнского, вместе с королем Марсилием тайно замышляющего истребление армии, представляют великолепные сцены. Но лишь при описании битвы вспыхивает гений Терульда. С того момента, когда Оливье, взобравшись на дерево, извещает Роланда, вступившего вместе с арьергардом в Ронсевальские теснины, о приближении Саррацинской Армии, поэтом овладевает порыв вдохновения, который не ослабевает до конца. «Товарищ Роланд! трубите в ваш рог, Карл услышит и вернется со своим войском!»

Cumpaing Rollans kar sunez vostre corne,
Si l'ouat Carles, si returnerat l'ost! –

трижды восклицает Оливье, но Роланд считает недостойным звать на помощь прежде, чем началась битва: «Неугодно Господу, чтобы кто-нибудь здесь на земле мог сказать, что я трубил для язычников! Такой упрек никогда не будет сделан моему роду. Нет; но я буду наносить большие удары Дурандалем, и сталь окровавится до самого золота рукояти». Мавры приближаются: сто против одного франка, тысячи против десяти. Епископ Турпен верхом на коне, с высоты скалы, отпускает грехи войску, идущему на смерть. «Вместо покаяния он им приказывает хорошо наносить удары».

Par penitence les cumandet a ferir.

Этот епископ-воитель в шлеме вместо митры, с копьем вместо посоха, всем сердцем отдающийся битве и пропове-

* Сколько железа! Сколько железа! (*лат.*)

дующий под звук военных рогов, является одной из самых оригинальных фигур рыцарства. Грубоватая веселость примешивается к его героизму. Он напоминает Архангела Михаила, потрясающего огненным мечом над мятежными Ангелами, то Moyne'а Рабле, сражающегося вместе с Гаргантюа против Пикрошоля.

Начинается битва, яростная с первого же натиска. Роланд ударом рогатины пронзает грудь Альрота; Оливье со всего размаха наносит Фоссерону, «властителю стран Дафана и Авирона», удар копьем; Турпен низвергает короля Корсабликса. Только и видишь, что разбитые щиты, пробитые панцири, пустые колчаны, раздавленные шлемы, доспехи, рассеченные до живого мяса. Копья и мечи гремят, как молоты, кующие по человеческой наковальне. Мужественный смех разражается среди бойни: галльский жаворонок кидает свою трель среди клекота орлов. – «Хороша наша битва!» – кричит Оливье Гереру, только что убившему эмира. «Вот настоящей баронский удар!» – говорит Турпен, видя, как граф Санчо пронзает одного сарацина насквозь. – «Вам не везет! – говорит Анжелье, убивая Ескромица. – «Против этой болезни нет лекарств! – восклицает Готье де Люц, выбивая из седла Эсторгана. Роланд носится во все стороны в самой гуще, кровавой пеной орошая свою лошадь, которая уже вся покрыта ею. На пятнадцатом ударе копье его ломается. Тогда он обнажает Дурандаль. Оливье, который уже в течение часа сражается одним древком от копья, выхватывает, в свою очередь, О т к л э р. Оба зачарованных меча обрушиваются на сарацинов, подкашивая их целыми снопами, отсекая члены, отрубая головы, одним ударом рассекая пополам и лошадь и всадника.

Но эта человеческая жатва всё воскресает и множится под мечами франков. Король Марсилий обрушивается на них с большею частью своего войска до сих пор не принимавшего участия в битве. Ряды их редеют, высокие бароны падают один за другим; при пятой схватке их остается не больше шестидесяти. Восклицания еще только что радостные и уверенные, превращаются в крики бедствия: «Барон, это неудачная игра!» – кричат французы опрокинутому О з е и с у: «Ах! как убывает наших», когда Герер, Беранже

и герцог Осторский падают одновременно от копья Грандонья, короля Каппадокийского. Роланд решается затрубить в свой рог. Оливье отговаривает его с трагической иронией. «Ах, это будет слишком большим позором для всех ваших родственников, которые всю свою жизнь будут носить этот стыд!» Роланд подносит к губам свою трубу; он дует в нее с таким бешеным напряжением, что кровь брызнула у него из горла и височная кость лопнула. Крик отчаяния пронзает горы; за тридцать лье оттуда он достигает до слуха императора, который угадывает в нем душу героя. «Это Роландов рог, – говорит Карл, – а он трубит в него лишь в пылу битвы». Изменник Ганелон хочет помешать ему понять смысл этого отчаянного призыва. «Какая там битва! Разве не знаете вы своего племянника Роланда? из-за одного зайца он готов скакать и трубить целый день». Но Роланд продолжает яростно трубить своим окровавленным ртом: это точно предсмертный хрип, пронизывающий воздух. «Долгий же звук у этого рога!» – восклицает Карл Великий; а старый герцог Найм Баварский отвечает ему: «Это трубит герой: вокруг Роланда сражаются. Клянусь моей совестью, что тот, кто хотел вас ввести в обман, предал его. Поэтому провозглашайте ваш девиз и спешите на помощь к своему племяннику. Не ждать же вам, когда Роланд придет в отчаяние». На этот раз Карл Великий уже не сомневается. «О Боже, дела наши идут плохо и очень плохо! Мой племянник Роланд покинет нас сегодня. Слышу по его рогу, что не жить ему. Поэтому, кто хочет повидать его, пусть скачет резво». И войско, повернув поводья, скачет галопом к теснинам.

Карл Великий прибудет слишком поздно: пятьдесят тысяч язычников из Карфагена, «у которых на всем лице белы только зубы», кидаются на витязей, оставшихся в живых.

Дурандаль пламенеет и разит как гром. Но что может поделать один топор против целого леса? Оливье ранен насмерть: ослепленный кровью, он бродит еще по полю сражения и бьет наугад. Его меч обрушивается на нашлемник Роланда и рассекает его до носовой стрелки. «Роланд смотрит на него и спрашивает с мягкостью: господин, мой товарищ, сделали ли вы это нарочно?

Sire cumpain, faitesle vos de gred?

Это я – Роланд, ваш самый близкий друг.

Вам нечего биться со мной. Оливье отвечает: я вас слышу, но не вижу, друг, Господь да охранит вас! Я вас ударил: простите меня. Роланд отвечает: вы не причинили мне ни малейшего вреда, и здесь перед Богом я прощаю вас». Братья приветствуют друг друга и расходятся, чтобы умереть.

Их остается лишь трое: Роланд, Готье де Люц и Тюрпен. Готье убит; у Тюрпена в теле четыре рогатины; Роланд перевязывает его раны, а затем отправляется обыскивать поле сражения и приносит одного за другим своих убитых товарищей и укладывает их тела в ряд перед Архиепископом: умирающий благословляет трупы. Но когда приходит черед Оливье, Роланд падает без чувств, подавленный горем, принося тело своего друга, крепко прижатое к сердцу. Архиепископ сползает в долину, чтобы принести ему напиться, но умирает на пути. Роланд подымается, прежде чем умереть. Он хочет разбить Дурандаль о скалы, но героический меч «гремит, не ломаясь и не зазубриваясь». Тогда витязь скорбит над ним, как над девушкой, которую он принужден оставить варварам. «Ах, мой Дурандаль, ваше счастье не равняется вашей доброте, но вашим господином не будет человек, который может бояться другого человека! Долго вы были в руках доблестного воина, подобного которому никогда уже не увидит Франция, страна свободы». Он собирает последние силы, чтобы разбить его о гранит; Дурандаль опять звенит, но отскакивает без всякой зазубрины. «Увы! Мой Дурандаль, как ты чист и светел! Как ты блещешь и пламенеешь на солнце! Разве мало я покорил с твоею помощью стран и земель, где царствует теперь Карл Великий с цветущей бородой! Ах, как горько и больно мне за этот меч! Лучше умереть, чем оставлять его язычникам. Да спасет Бог-Отец Францию от этого позора!» В третий раз пытается витязь разбить его; камень разлетается вдребезги под его ударами, но бессмертный меч не тронут; тогда он восклицает, прижимая его к груди: «Ах, Дурандаль, прекрасный и священный, в твоем золотом эфесе заключено много мощей. Язычники не имеют права владеть тобою. Сколько я завоевал тобою земель, которыми властвует Карл, с цветущей бородой, и император их храбр и богат!» Чувствуя, что смерть приближается, он ложится на траву в тени сосны, положив

под себя меч и рог. «Граф Роланд ложится под сосной; к Испании обращено его лицо. Многие вещи приходят ему на память; он вспоминает о странах, завоеванных его доблестью, о милой Франции, о своих сверстниках, о Карле Великом, его воспитавшем. И не может удержаться от вздохов и слез. К Богу простер он перчатку правой своей руки. Архангел Гавриил принял ее из его руки. Умер Роланд. Душа его у Господа на небесах!» Герой Гомера может позавидовать этой перчатке, простертой к небу умирающим витязем. Кажется, что Роланд возвращает Богу свою душу, точно меч.

Поэма должна была бы окончиться со смертью Роланда. Тем не менее, в ней есть еще изумительная страница, та, когда прекрасная Альда «с золотой гривой волос и бледно-лазурными глазами, как у сокола после полета» предстает пред Карлом Великим. «Где Роланд, воин, поклявшийся, что возьмет меня в жены?» Карл плачет горячими слезами и теребит свою седую бороду. «Горе! Ты спрашиваешь о том, кто умер». И он предлагает ей взамен своего сына Людовика. Альда отвечает: «Эти речи мне чужды. Неугодно Господу, чтобы я оставалась в живых после Роланда!» Говоря это, она бледнеет и падает к ногам Карла мертвая навсегда.

Это единственный момент, когда любовь входит в эту поэму, девственную как смерть: она кидает молнию и исчезает. Вне же этой страницы, женщины изгнаны из Песни о Роланде, как из монастыря монахов-воинов. Даже воспоминание о них не проникает туда. У витязей нет возлюбленных иных, чем их мечи; их плоть чувствительна лишь к железу. Умирая, они целуют свой меч, к мечу обращаются они с последними словами.

Такова эта поэма, которой не хватает только доступного языка. Нашу расу упрекают за отсутствие эпического гения: у кого было его больше, чем у нее в Средние века, когда Chansons de Gestes* вырастают легионами? Одна древняя Индия может равняться с этим обилием. Небывалые сокровища высоких легенд, величавых образов и поэтических идей погребены в этих книгах; но ржавчины и тернии варварского наречия делают их недоступными. Они охраняются хриплыми речениями готических диалектов, точно безобразными геральдическими чудовищами. Это убило

* Героические поэмы (*фр.*).

То: мертвая буква убила живую мысль. Франция не имела, подобно Италии, счастья дождаться Данта, который собрал бы эти разрозненные материалы и сосредоточил их в едином вечном памятнике. Pendent interrupta*. Природной высоты недостаточно для творений человеческого гения: для них необходима ясность слова, опытная рука и художественная техника. Циклопические стены Греции свидетельствуют своей массой о мощи богатырского племени: путешественник скользит по ним взглядом и спешит в Парфенон любоваться Фидием.

Поэтические судьбы Роланда подвергались постепенному вырождению. После поэмы Терульда, строгой и обнаженной, как шатер, он проходит по амфиладе поэтических вымыслов, искажающих его высокую историю.

Скептическая Италия XVI века пользуется им для своих романических эпопей как Кондотьером на все руки: она обременяет его банальною удалью и лживыми подвигами. Ариост делает из Роланда героя своей громадной поэмы, и этот апофеоз является падением. Воинственный мученик Ронсеваля там превращается в оперного паладина, влюбленного и полоумного, рассекающего на куски картонных гигантов, осаждающего фантастические города, скачущего по облакам, сражающегося против призраков; и сам остается призраком, которым играет насмешливый маг, его воззвавший. Вырвем его из-под власти этих кощунственных выдумок. Как того нищего из «Тысячи и одной ночи», которого после одного дня воображаемого царства отнесли во время сна обратно, на нищенский одр, вынесем Роланда из царства Сновидений и положим его снова на окровавленные скалы Ронсевальских теснин. Его почетное место, его идеальный пост там, в этом Пиренейском проходе, где он пал, прикрывая своим телом рождавщуюся Францию.

XXI. Декамерон Боккаччио

Поэты часто говорили о тайных узах, связующих Любовь и Смерть. Декамерон Боккаччио как будто вдохновлен этим загадочным сродством. Никогда поэма более радост-

* Застыли прерванные [дела] (*лат.*).

ная не открывалась фронтисписом более мрачным. В этот заколдованный сад, где загорается заря Возрождения, вы входите по длинной аллее, загроможденной могильщиками, факельщиками и похоронными дрогами. Во Флоренции черная язва; мертвые странствуют по улицам, сотнями строятся в ряды и следуют на кладбище за бледным священником, самому себе читающим отходную. Средневековье кончается и справляет последний свой день Пляской Смерти. Жизни погасают, как тысячи свечей в соборе, когда богослужение окончено. «Увы! – восклицает рассказчик. – Сколько великих дворцов, прекрасных домов и благородных обиталищ, недавно еще полных кавалерами, дамами и семьями, вдруг оказались пустыми! Сколько богатых наследств и великих сокровищ остались без наследников! Сколько доблестных мужей, прекрасных женщин и красивых юношей, которых сами Галиен, Гиппократ и Эскулап нашли бы крепкими и цветущими здоровьем, обедали утром со своими родителями, товарищами и друзьями, а к вечеру отправились на тот свет к своим предкам».

Из чресл этой смерти Боккаччио выводит ростки новой жизни. На пение Dies Irae* он отвечает рассказами о любви: он сеет цветы Ренессанса по земле этого громадного кладбища, и жизнь прорастает из гробниц тысячами обликов, смеющихся и грациозных. Поэты часто устраивали гнездо для Венериной птицы в военном шлеме; Боккаччио, более дерзкий, заставлял ее петь в мертвой голове.

Посреди траура, которым одета Флоренция, семь юных дам и трое красивых молодых людей встречаются в церкви Santa-Maria-Novella. Они условливаются бежать вместе из города смерти. Пампинея предлагает свою виллу; все соглашаются и замыкаются там, как в оазисе здоровья и мира. Под свежими ее сенями начинается Платонов пир, каждое утро король или королева, избранные по жребию, председательствует за дневным празднеством. Танцы следуют за трапезами, и музыка сменяет разговоры. После полуденной сьесты, дамы и кавалеры, составив круг на лужайке сада, один за другим рассказывают любовные истории. Заупокойный звон звучит вдали; но издали его можно принять

* Судный день (*лат.*).

за праздничный перезвон. Ветерок, шумящий в апельсинных деревьях, быть может, отравлен заразой: но что ж из того, что в кубке скрыт яд, если напиток восхитителен? Хорошо задремать убаюканному этими молодыми голосами, растроганными или смеющимися, под звук виол, под отголоски этого, кажется, кончающегося мира.

Таким образом, Гений Ренессанса пробудился точно так же, как уснул Гений языческий: смеясь над смертью. Во время всех Страшных Судов истории мы можем наблюдать, как распространяется, подобно известного рода благодати, эта ироническая беззаботность о настоящем и будущем. Антоний и Клеопатра, окруженные войсками Октавиана, организуют то, что они сами называют: «Обществом тех, которые должны умереть вместе», и эта мрачная компания, дни которой сочтены, наполняет Александрию меланхоличными выходками. Не напоминает ли еще этот упоительный и зловещий парк Декамерона те трагические Термы, куда приходили, чтобы забыться среди ароматов, молодые патриции, осужденные Цезарями; где Петроний, со вскрытыми венами, среди кровавых испарений своей ванны, диктовал эротические стихи? Эти молодые женщины, которые забывают среди упоений элегантной сельской жизни свою семью, своих близких, своих друзей, свой вымирающий город, внушают ужас, смешанный с очарованием. Замок Пампинеи кажется жестоким ковчегом, пассажиры которого, увенчанные цветами, смеются над тонущими в великих водах Потопа.

Декамерон – это насмешливая хроника умирающего общества, которую читают у изголовья смертного ложа. Герольд Ренессанса ведет, дурачась, похоронную процессию Средних Веков, как те античные мимы, которые на похоронах подражали жестам и наружности покойного. Греческие ваятели овивали хороводами фавнов и вакханок края саркофагов; флорентийский рассказчик чеканит эротические барельефы и статуэтки распутных монахов на строгой гробнице, где готический мертвец со сложенными руками и вытянутыми ногами сурово спит последним сном.

Таким образом, нескольких лет достаточно, чтобы изменить течение веков и направление умов. Представьте себе Данта свидетелем чумы XIV века, пережившим ее гекатомбы.

Какую страшную песнь смерти запел бы он над погибшим поколением! Каким мощным дуновением кинул бы он эти великие рои душ к их вечному предназначению! Он созерцал эту бойню человечества из Иосафатовой долины; Боккаччио же взял точку зрения с Тибуртинской виллы Горация. Можно подумать, что мрачное начало его книги есть лишь художественный прием, рама из кипарисов, которая должна лишь оттенить чувственность его рассказов и красоту его женщин. Шехерезады могилы, они поют под косою, которая так широко косит вокруг них. Какая радость жить в разгаре смерти! Как радостен сбор винограда посреди этой осени человеческого рода! Если чума захватит одну из рассказчиц во время ее рассказа, она спустится в Аид, как Прозерпина, с цветами в руке.

Едва лишь полвека отделяет Декамерона от Божественной Комедии, а переходя от одной книги к другой, вы проходите пространство между двумя полюсами. Если у ста Песен Данта есть антиподы, то это сто Новелл Боккаччио. Между тем как поэт, переполненный ненавистью и любовью своего родного города, переносит их в другой мир, из которого он творит Флоренцию, адскую и небесную, рассказчик рассылает свои рассказы по всем городам и странам. В книге своей он строит воображаемый город Cosmopoli, который, заменив идеальный Рим, должен на столько веков стать моральной столицей беззаботной Италии. Страсти Средневековья, еще истекающие кровью и пламенеющие; раздоры белых и черных, Гвельфов и Гиббелинов, которые Дант продолжает и в вечности, как будто время не может утолить их, Декамерон едва дозволяет догадываться о них. Они там кажутся такими же остывшими и далекими, как борьба Гракхов и проскрипции Суллы. Насколько мрачно и дико кажется итальянское Средневековье в концентрических кругах Божественной Комедии! Насколько оно кажется радостным и легкомысленным в Лабиринте Декамерона. Свирепым преданиям гражданской войны, выкрикаемым из глубины пламени чудовищным осужденным, наследуют насмешливые повести, рассказываемые очаровательными дамами. Любовные хитрости, вероломство куртизанок, веселые супружеские измены, мещанские фарсы расцвечены по золотому фону

старой флорентийской культуры. Политическая индифферентность Боккаччио могла равняться только с его религиозной беззаботностью. С самого порога книги повесть о «Трех Перстнях» свидетельствует о религиозной терпимости новых времен. Испорченная и павшая церковь, которая вырывает у Данта яростные проклятия и заставляет его кидать пап в огненные рвы ада, внушает рассказчику лишь непристойные Фаблио и монастырские карикатуры. Поддельные чудеса и подложные мощи, кельи, посещаемые Инкубами, с кровью и плотью, священники, застигнутые мужьями в супружеской постели, как в сетях Вулкана, исповедальни, служащие сводням в любви, да накладные крылья Ангела, скрывающие распутства Frate*. Из мира мертвых, еще гремящего голосом Данта, Боккаччио вызывает только потешных призраков, которые являются с улыбкой на губах и хитро подмигивают одним глазом. Тингуччио возвращается из Чистилища лишь для того, чтобы рассеять сомнения своего друга Меччио, который боится совершить смертный грех, заводя любовные шашни со своей кумой. Видение Анастаза дельи Онесте в Равеннском лесу вначале кажется ужасающим. Он видит смуглого всадника на черной лошади, который преследует нагую и растрепанную женщину, у которой его собаки грызут грудь и пожирают сердце. Эта дьявольская охота достойна мчаться по живым лесам Дантова Ада. Но, дочтите рассказ... дикий охотник – это отвергнутый любовник; а терзаемая женщина – это жестокая красавица, и приговоренная к такой казни за то, что слишком долго мучила его. Дантовская фантасмагория оканчивается анакреоновскою моралью.

Подобно античной маске невозмутимая ясность прикрывает эти вольные шутки. Боккаччио рассказывает Флорентийские сплетни стилем Тита Ливия. Его цицероновские периоды драпируются в консульскую тогу Каландрино и Буффомалько. Римское наречие, на котором рассказываются эти супружеские комедии, дает им ту серьезность, которой облекаются с течением времени вековые дурачества. В его книге есть сцены с ветреными женщинами и доверчивыми мужьями, которые напоминают античные барельефы, на которых полуобнаженные нимфы, резвясь, удерживают за рога серьезных баранов.

* Монах (*ит.*).

Но не доверяйте этому торжественному добродушию: за ним скрывается самый четкий и самый проницательный флорентийский гений. Разуверение во всем, утонченное чувство практической жизни, чувственность положительная и деликатная в одно и то же время, характерная для итальянского эпикуреизма, ироническое подчинение условиям жизни каждое мгновение прорываются из-под кажущегося простодушия рассказчика. Часто также тонкое лукавство некоторых повестей, когда они передаются Фиаметтой или Неифилой, заставляет .вспоминать улыбку Леонардовой Джоконды. Есть и другие, мощное и дерзкое бесстыдство которых вызывает перед глазами великих нимф Джорджоне, гуляющих обнаженными по долинам, пылающим солнцем, перед молодыми венецианцами, облокотившимися на край колодца.

Однако в Декамероне Боккаччио не всё смех и забавные шутки. Он производит на ум скорее впечатление ослепительного лета, прерываемого яростными грозами, немного слез, но раскаты грома: никаких проявлений нежности, но там и здесь ослепительные молнии страсти. Когда в Декамероне появляется истинная любовь, она свирепствует там не меньше, чем чума в его вступлении. От нее умирают и смертью внезапной, как от физической раны, рассекающей грудь, пронзая сердце. – Джеронимо, влюбленный в Сильвестру, после двух лет отсутствия, найдя ее вышедшей замуж, проникает ночью в ее комнату. Он ее просит, чтобы она дала ему место в своей постели, чтобы умереть, и действительно умирает там, тихо, естественно от задушенного желания. – Симона, обвиняем<ая> в том, что она отравила своего возлюбленного, оправдывается тем, что в свою очередь съедает ядовитое растение, от которого и умирает.

Но самая прекрасная и пленительная из этих легенд о людях, пораженных любовью, – это история Лизы, дочери Бернардо Пуччини, аптекаря в Палермо, которая полюбила Петра Арагонского. Не протестуйте против профессии ее отца, потому что сам король не устыдился ее. Аптекарь в те старые времена еще не был тем смешным персонажем, каким сделал его Мольер; он был отчасти врачом, отчасти алхимиком. Вместе со своими странными лекарствами, с пилюлями

из драгоценных камней и золотом, превращенным в напиток, арабская терапевтика передала ему и формулы наговоров и заклинаний. Представьте себе юную Лизу, сидящую за прилавком своего отца, под византийским образом Николая Угодника, патрона аптекарей и шарлатанов, окруженную дивными сицилийскими майоликами с мавританскими рисунками, наполненными серой амброй и безоарами, и эта обстановка не покажется вам недостойной портрета.

Итак, Лиза Пуччини, увидавши однажды во время празднества, как Петр Арагонский бился на копьях со своими баронами, по каталонской моде, страстно влюбилась в него: di lui ferventemente s'innamoro. Праздник кончен, а она не перестает думать об этом «Высоком возлюбленном»; но, не надеясь до него подняться, она вскоре смертельно заболевает. Чувствуя, что конец ее приближается, она просит своего отца позвать к ней Минуччио д'Ареццо, молодого музыканта, любимца короля Петра. Минуччио приходит и тихонько играет на виоле у постели больной. Но музыка только усиливает лихорадку: оставшись наедине с Минуччио, Лиза признается ему в той страсти, от которой она умирает. «Зная, как мало моя любовь может соответствовать любви короля, и не будучи в силах ни погасить, ни успокоить ее, я решила умереть; но мне легче будет умирать, если король будет знать, что я умираю за него, и я рассчитываю на тебя, чтобы он об этом узнал скорее». – Минуччио, тронутый, принимает это печальное поручение. Он идет к Мика ди Сиена, «весьма изрядному мастеру в рифмах, по тем временам» – assai bouon dicitore in rima a quei tempi, – и поэт по его просьбе пишет канцону, которую Минуччио перекладывает на музыку, на мотив печальный и нежный. На следующий день он поет ее пред королем, сидящим за столом со своими баронами. Мелодичная жалоба трогает его прямо за сердце; он различает в ней тайное признание и хочет знать, к кому оно относится. Тогда Минуччио рассказывает ему историю Лизы и как она умирает от любви к нему. «При этом рассказе король был объят великим ликованием, fece gran festa; он воздал Лизе великие похвалы, говоря, что столь мужественная девушка вполне заслуживает сострадания, и приказал Минуччио пойти утешить ее от его

лица и передать ей, что он в тот же день после вечерни навестит ее».

В назначенный час Петр Арагонский сел на коня и остановился против дома Бернардо. Он приказал себя проводить к постели молодой девушки, которая, предупрежденная Минуччио, ждала его, приподнявшись на подушках, в позе больной, ожидающей последнего причастия.

– Madonna, – сказал ей король, беря ее за руку, – Madonna, что это значит? Вы молоды, вы бы должны были быть радостью для других, и вы даете горю так подавить себя! Мы просим вас, ради вашей любви к нам, утешиться и постараться выздороветь». От этих ласковых слов и от прикосновения королевской руки девушка почувствовала себя такой счастливой, как будто она была в раю. Она обещает королю выздороветь и действительно поправляется на глазах. Несколько дней спустя Петр Арагонский, который обо всем сказал королеве, возвращается вместе с нею, сопровождаемый всем двором, в дом аптекаря и обращается к Лизе, вставшей с постели и поправляющейся, со словами: «Прекрасная девушка, великая любовь, которую вы к нам возымели, высоко вас в наших глазах поставила, и мы хотим, чтобы вы приняли себе мужа из наших собственных рук, что не мешает нам объявить себя отныне вашим рыцарем, не прося у вас за это обещание ничего, кроме одного поцелуя». Лиза, краснея и склонившись на одно колено, отвечает ему смиренно и благородно: – «Государь, я знаю, что меня сочли бы безумной, если бы знали, что я влюблена в вас. Но Бог мне свидетель, что даже в тот час, когда эта любовь охватила меня, я не забывала, что вы – король, а я дочь Бернардо. Но вы знаете, что нельзя повелевать своему сердцу и что любят не по выбору, а по желанию. Мое привлекало меня к вам, и я пыталась ему противиться. Но я не смогла и любила вас, и теперь люблю и буду любить всю жизнь. В тот момент, когда я вас полюбила, я решила всегда принимать вашу волю, как мою собственную. Поэтому я не только выйду замуж и буду любить того, за кого вы захотите, чтобы я вышла замуж и полюбила; но если бы вы пожелали, то я кинулась бы в огонь с радостью. Что же до того предложения, что вы делаете мне, стать моим рыцарем, вы мой повелитель и король, то вы сами чувствуете, как мало

такая честь подобает мне. Поэтому я не хочу отвечать на это, а что касается поцелуя, то я дам его лишь с разрешения королевы». – Добрая королева дозволяет этот целомудренный поцелуй, и король целует в лоб девушку, ставшую его дамой. Затем он выдает ее замуж за одного из своих приближенных, по имени Пердикона, подарив ей вместо приданого фьефы Кателлабота и Кефалу. – «А затем, – заключает свой рассказ Пампинеа, – он всю свою жизнь оставался рыцарем Лизы Пуччини, и на всех турнирах всегда появлялся с девизами, ею ему данными».

Не улыбайтесь; ирония нарушила бы очарование этой прекрасной и наивной истории. Рыцарство там блещет во всем своем расцвете; королевская власть является там благодетельной и чистой, такой, как она представлялась ребяческому воображению первых трубадуров. Это переносит вас в золотой век монархии, во времена Карла Великого и Артура. Этот молодой король, мудрый, как патриарх, целомудренный, как кельтский герой, является в то же время совершенным рыцарем. В его воздержании нет никакой напыщенности: это воздержание не какого-нибудь римского Сципиона, но витязя, познавшего все секреты любви и знающего цену того, от чего он отказывается. Это великодушное бескорыстие придает ему нечто почти божественное. Петр Арагонский у изголовья Лизы Пуччини напоминает мне небесного жениха, как его можно видеть на мистических обручениях старых мастеров, когда он надевает перстень на палец юной девушке, теряющей сознание от порыва любви.

Свирепая энергия того века, приходящего к концу, сказывается также в мщениях, наполняющих собою почти целый Д е н ь книги. – Три брата сицилийца закалывают любовника своей сестры, а тело его закапывают в пол. Девушка отрывает тело своего возлюбленного; она отрезает ему голову ножом, прячет на дно вазы, наполненной землей, сажает в нее Салернский Базилик и поливает его днем и ночью слезами. Братья отнимают у нее эту трагическую урну, а она умирает, как только лишается ее. – Если в Декамероне есть свои Сганарели, то там мы можем найти и Отелло, стóящих шекспировского. Там встречаешь грозных супругов, отлитых из бронзы Эццелино и Руджиери; неронов в малых размерах,

диаболических тиранов, злость которых так ужасна, что становится почти величественной. – Таков тот муж, который заставляет жену съесть сердце ее любовника, изрубленное и приготовленное; та спрашивает, что это за восхитительное блюдо: «С нами Бог! – отвечает он. – Я не удивляюсь, что вы находите после смерти вкусным то, что живым вам нравилось больше всего в мире». – Se m'aiti Dio! io ne me ne maraviglio se morto ve piaciuto cio che vivo piu che altra cosa vi piaque.

К группе серьезных фигур Декамерона принадлежит, несмотря на ее репутацию непристойности, Невеста короля Гарбского, эта Алласиель, столь фатально прекрасная, обреченная судьбой на все излишества любви и, сама того не желая, вызывающая ураганы преступлений и катастроф. Ее любовники убивают, чтобы покорить ее, и в свою очередь убиваются другими влюбленными. Львы или дикие быки, разрывающие друг друга вокруг великолепной самки, которая спокойно ожидает исхода битвы, – вот образ Алласиель посреди ее претендентов. От одного похищения, она переходит к другому, как античная пленница, из объятий дворянина в руки бандита, из дворца герцога в гарем султана, даже старики получают свою часть этой красоты, отданной грабителям. Алласиель вначале противится каждому из насилий, налагаемых на нее судьбою; потом она уступает и смиряется и кончает тем, что начинает любить тех, кто любит ее до убийства, до смерти, оставаясь безответственной и желанной еще, после стольких приключений и поруганий: так как, говорит в заключение рассказчик с улыбкой древнего Соломона, Bocca bacciata non perde ventura anzi rinnuova come fa la luna*.

О суета славы! Человек в поте лица своего строит памятник всей своей жизни; проходит время, отламывает один камешек, делает его бессмертным, а всё остальное превращает в прах. Боккаччио был знаменитый ученый, погруженный в высшие научные исследования своего времени. Он сложил несколько больших аллегорических и мистических поэм, составлял классические энциклопедии, исторические

---

* Уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются (*ит.*) Пер. А.Н. Веселовского (*Ред.*)

трактаты, исполненные эрудиции. Его жизнь прошла, как и жизнь Петрарки, в поисках и исследованиях античных манускриптов. В пятьдесят лет он отказался от светской учености, надел священническую одежду и замкнулся в толкованиях Божественной Комедии. В течение десяти лет он проповедовал слово Данта в церкви, со рвением теолога исследующего и комментирующего Писание. А вся его слава заключена в книге непристойных рассказов, написанных для забавы одной принцессы, – в книге, от которой он с энергией отрекался в последние дни своей жизни!

«Пощадите, – писал он своему другу Майнардо, – не читайте этой книги женщинам. Слушая мои новеллы, они примут меня за скверного сводника, старого кровосмесителя, грязного человека, и не найдется никого, кто бы стал за меня свидетельствовать и сказал бы: он написал это, когда был молодым человеком и был к этому принужден тем, кто имел власть над его душой». Тщетные угрызения, бесполезные протесты! Воображение будет всегда представлять себе Боккачио с чертами милого сатира, сидящим в кругу молодых женщин, которых он заставляет то краснеть, то улыбаться. Потомство посмеялось над раскаянием старика; оно осудило его на бессмертие Декамерона.

XXII. **Агриппа д'Обинье. Les tragiques**

I

Агриппа д'Обинье одновременно является поэтом, солдатом и дипломатом героического века протестантизма. Всё в нем необычайно, вплоть до его детства. Ему едва минуло четыре года, когда отец отдал его во власть одного из тех страшных педагогов XVII века, под розгами которого слабенькие школьники наших дней погибли бы в течение нескольких недель. Он научился читать по еврейской Библии и разбирал по слогам стоическую латынь Сенеки. В возрасте, когда других младенцев только отнимают от груди, он испил до дна кубок чернил, не подслащенный медом, из которого в те времена классическая муза питала своих выкормков.

Когда он исчерпал своих преподавателей, отец повез его в Париж искать новых учителей. Проезжая через Амбу-

аз, старый гугенот столкнулся лицом к лицу с отрубленными головами своих братьев по оружию, воткнутыми на копья. «Палачи, – воскликнул он, – они обезглавили Францию!» Затем, положив руки сыну на голову, добавил: «Дитя мое, не надо щадить ни своей, ни моей головы, чтобы отмстить за эти достойные головы. А если ты не исполнишь этого, то да будет на тебе мое проклятие». Ребенок поклялся, и никогда клятва не была выполнена более строго. Эти отрубленные головы были для неофита тем, чем для отшельника служит череп: постоянным напоминанием. Своими окровавленными устами они вдохнули в него веру и ненависть: он прожил всю жизнь под их черным взглядом. Едва он прибыл в Париж, как гонение заставило его бежать вместе с наставником его Бероальдом. Скрываясь, они попали в засаду католических рейтеров, которые отвели их инквизитору, по имени Демохарес. – Демохарес! Такое имя стоит целого портрета. Так и видишь этого зловещего педанта с тисками вместо линейки в руках. Д'Обинье был приговорен к смерти: в ожидании казни стражники увели его провести ночь вместе с ними. В этот вечер был бал в кордегардии; при первых же звуках скрипки ребенок вскочил и начал танцевать. Было ли это поэтическим прощаньем с радостями жизни и юности или энтузиазмом молодого мученика, бросившегося навстречу райскому блаженству? Но как бы там ни было, этот предсмертный танец тронул сердце его тюремщиков. Один из них разбудил его на рассвете и отворил перед ним двери тюрьмы. Он вскочил на первую попавшуюся лошадь и во весь карьер домчался до Монтаржиса, где, пыльный и задыхающийся, пал к ногам герцогини Феррарской.

Между тем отец его умер, а воспитатель, которому он поручил его, посадил его под замок, чтобы помешать присоединиться к протестантской армии. Но однажды ночью он выскочил в одной рубашке через окно своей комнаты, встретил отряд всадников-гугенотов, вскарабкался на круп лошади капитана и, полуголый, отправился в крестовый поход во имя своего Евангелия.

Вот заря этой бурной жизни, кровавая заря, полднем которой будет недвижимое солнце Библии, остановившееся посреди неба, чтобы дольше озарять священную резню. Мо-

лодость д'Обинье – это станс из поэмы Ариоста, поставленный в заголовке песни Божественной Комедии; это – фанфара, звук которой гаснет в мрачном песнопении Dies irae. С момента своего вступления в гражданскую войну молодой солдат становится мрачным. Посреди светской армии Генриха IV он кажется воинствующим дервишем ислама, попавшим на французский турнир. Страстный в битве, неумолимый в совете, он всегда был сторонником крайней партии, войны до последней крайности и сжигания кораблей. Его господин, которому он служил с суровой грубостью, любил и в то же время боялся этого друга, надежного, но оскорбительно резкого. Д'Обинье негодовал на его уловки и слабости, он отрывал его от романов, лаял на луну его медовых месяцев, как свирепый и верный сторожевой пес. По правде сказать, его место было вовсе не под светским шатром Генриха IV, но в том лагере Святых Кромвеля, где капралы бывали охвачены пророческим вдохновением, а солдаты пели псалмы, стоя на страже. Его религия была вовсе не политическим и умеренным кальвинизмом того времени, но реформацией Гуса или Людлоу, отвлеченным культом в пустом храме, религией ужаса и трепета, уединенным обожанием грозного, безликого, безобразного Божества, которое дозволяет чертить свое имя лишь в мистических иероглифах, на золотом поясе своего первосвященника.

II

Его надо искать в пустыне, в той моральной пустыне, которой он пометил свои Tragiques*. Можно подумать, что они были написаны в пещере на горе Кармель, на каменной скрижали, буквами в десять локтей, полудиким пророком. Послушайте это предисловие поэта, низвергающего на мир песнь гнева! Можно подумать, что это пророк Елисей, спускающий медведя, который должен пожрать богохульников:

«Ступай, книга, ты слишком прекрасна для рожденной в могиле, из которой освобождает тебя мое изгнание; из нас двух я хочу погибнуть один; дитя мое, иди жить, а твой отец пойдет умирать.......

* Les tragiques donnez au public par le larcin de Promthée. Au detert (sic). M. O. G. XVI.

...Будь смела, не прячься, входи к нечестивым королям: не стыдись и не бойся убогого своего платья, не унижайся и не утаивай ни своих достоинств, ни своего сердца.

...Если у тебя спросят, почему твое чело не украшено моим именем, отвечай им, что ты – последыш, переодетый, робкий и скромный; что истина всегда разрешается от бремени в тайном месте.

.... Сотни раз я раскаивался и мне хотелось уничтожить свою книгу. Я хотел убить свое безумие; но этот шутовской ребенок успокаивал меня. В конце концов я разлюбил его, потому что он начал нравиться».

Чрез эту медную дверь, слыша за спиной лай Цербера, вы входите в инфернальную поэму, представляющую невыразимую смесь тривиальностей и ужасов, в которой непристойные карикатуры латинской сатиры встречаются рядом с исполинскими призраками Апокалипсиса. Представьте себе эпопею кальвинизма, написанную непередаваемым стилем Иезекииля, двор Валуа, озаренный огнями Гоморры, миньонов Генриха III и куртизанок Брантома в их бесстыдных туалетах, влекомых за волосы на фоне пожаров.

Какой лик и изнанку картины представляют эти «Королевские въезды». В одном великолепие и свет Рубенса, на другой мрачная чернота Караваджио!

«Некогда наши старые короли, истинные отцы и истинные короли, питомцы Франции, объезжая по временам свою страну, делали великолепные въезды в города различных областей. Каждый ликовал и знал почему. Четырехлетние дети кричали: “Да здравствует король!” Города употребляли тысячи и тысячи уловок, как лучшие кормилицы, грудь которых, переполненная молоком, жаждет открыться и показать, что у нее есть чем питать, есть что разливать...

...Тираны наших дней совершают въезды иным образом; у города, который встречает его, – лицо мертвеца, а государь смотрит на толпу такими же глазами, как Нерон смотрел на пожар Рима. Когда тиран забавляется в том городе, куда он вступил, – город недвижен как труп, он ступает по его мертвому телу, и если он проливает в честь государя, то не молоко, а кровь»...

Последуйте за этим Альцестом, закованным в доспехи с ног до головы, в Лувр времен Валуа. Он вносит туда свою

непреклонную веру, резкую откровенность и режущее слово. Это – железный человек, который задирает и оскорбляет людей, одетых в бархат. Даже у Ювенала не найдется тирады, исполненной более едкой иронии, чем та, с которою он отвечает юноше, приехавшему из провинции ко двору и осведомляющемуся об именах блещущих там дворянчиков с наружностью гермафродитов.

«Наш новичок подходит к старику и отвлекает его в сторону, чтобы осведомиться о присутствующих. От него он узнаёт имена, о которых он не получил никаких сведений из истории Франции; этот седовласый придворный, удивляясь, что кто-нибудь не знает королевских миньонов, рассказывает об их величии, о том, что вся Франция служит скамеечкой для их ног и платит им дань. Юноше, который спрашивает: “Верно, они большие землевладельцы, что их имя не имеет имени у историков?” – он отвечает: “Нисколько, это миньоны короля”. “Отняли ли они у Испании новую провинцию? Своими советами предотвратили они несчастье? Страну ли освободили своею доблестью? Или спасли короля? Или начальствовали армией и при помощи ее имели счастливую победу?” На всё он получает один ответ: “Молодой человек, полагаю, что вы совсем новичок здесь: это миньоны короля”».

Д’Обинье один из расы иудейских аскетов, троглодитов и пожирателей саранчи, которые выходили иногда из своих пещер и появлялись на азиатских оргиях, с челом, посыпанным пеплом, и с анафемой на устах. Он повторяет их чудовищные преувеличения. Всё разрастается и вздувается в этом экзальтированном мозгу. Католические образы отражаются в нем такими же чудовищными, как идолы Ваала. Эти придворные дамы, которые нам кажутся такими грациозными и очаровательными в хрониках того времени, ему кажутся апокалиптическими блудницами, восседающими на драконах о семи головах. Исключительное и усердное чтение Библии рождало галлюцинации в душах, охваченных пламенем первых порывов реформации; оно в них рождало миражи. Они теряли способность отличить Рим от Вавилона, а Филиппа II от Сеннахериба; у них всё превращалось в восточные гиперболы. Их проклятия отличаются многословием и пафосом библейских проклятий.

«Они плюют на луну, и неужели у небес нет больше ни грома, ни огня, ни язвы? Неужели никогда не отойдут от трона, на котором ты восседаешь, Смерть и Ад, спящие у твоих ног?»

Вся книга «Les Tragiques» целиком является одним призывом к молниям Еговы и к мечу ангела-истребителя. Поэт обозревает в них весь свой век, как Иона век Ниневии, и, восклицая «Горе! Горе!», пророчит меч и огонь. Для него нет середины, нет чистилища – либо Небо, либо Ад. Мир разделен на два лагеря: с одной стороны Рим, с другой Женева. Те же, кто останутся между ними, теплые, средние, безразличные, не избегнут падения осужденного города. «Ибо, – говорит он с изумительной поэзией, – когда удар истребительной молнии ниспровергает на землю мощные дубы и гордые кедры, вы увидите, что мельчайшие травки, цветы, боящиеся ветерка, побеги кустарников, белка в норке, птица в гнезде, под этим сводом, который превращал град в росу, кабанья берлога, оленье логово, пчелиный улей и хижина пастуха, пользовавшиеся их тенью, получает и свою часть в возмездии».

Но поэт подымается до вершин гнева и энтузиазма лишь тогда, когда он поет Мученичество Реформы. Глава «Огонь» названа удачно: она жжет и сверкает. Вы проходите по ней как бы между двух рядов жертвенников: дым аутодафэ смешивается с фимиамами кадильниц Сиона. Мученики поют в облаках дыма псалмы освобождения; они поют до тех пор, пока пламя не начинает лизать их губы; их костры преображаются в неопалимую купину, и неопалимые крылья Серафимов в глубине пламени трепещут на их дымящихся лбах.

«Гус, Иероним Пражский, образы слишком знакомые свидетельствующих, которых Содом влек по улицам, увенчанных бумажными коронами и славой, осужденных Престолом, чьи слуги, увенчанные золотыми коронами, были пастырями из бумаги и лишь по имени, <Престолом,> который золотым епископам надевал бумажные короны».

Какой образ этого английского мученика, подымающего к небу руки, которые огонь уже обратил в кости скелета!

«Здесь твое место, непобедимый Гокс! ты, давший обет держать руки высоко поднятыми посреди пламени, если власть огня уступит твоему рвению и памяти. Его лицо было

сожжено и мускулы, обращенные в пепел и угли, осыпались, когда Гокс, уступая мольбам братьев, опустил как венец на свою голову кости, которые были когда-то его руками».

Его картина Варфоломеевской ночи так же ужасна, как самая бойня, им описанная. Звон набата, крики убийц, хрипы жертв, треск аркебузов повторены его торопливыми, как бы задыхающимися от гнева, стихами.

Убивают всюду – и в альковах и на улицах; он захватывает чувственность на месте преступления. Далила отдает филистимлянам обессиленного Самсона. Эту ироническую и трагическую картину д'Обинье пишет мазками крови.

«Не было мальчика, ребенка, который не пролил бы чьей-нибудь крови, потому что каждый стыдился, что его увидел с незапятнанными руками. Тюрьмы, дворцы, замки, гостиницы, священные убежища, комнаты и кровати государей, их власть, их тайны, самая грудь их были отмечены знаками резни.

......Принцессы убегают со своих кроватей, из своих комнат от ужаса, но не от сострадания, чтобы не касаться окровавленных и отрубленных членов, обладателей которых трагический день привел искать спасения в гнезда притворной любви.

Блудница отметила трон своими цветами, как зубцы капканов ржавеют от крови оленей; эти постели были дымящимися капканами, не постелями, а могилами; Любовь и Смерть поменялись факелами».

В другом месте он показывает нам двор Карла IX, смотрящий через окошко Лувра на реку, по которой плывут трупы, – тысячи похотливых и жестоких лиц из римского цирка.

«Между тем, пока в городе идет работа, Лувр шумит, как военный лагерь, и теснится вокруг эшафота, потому что через окна, амбразуры, с террас все смотрят на воды, если это еще воды! Дамы, полупричесанные, разгоряченные, стараясь понравиться своим любовникам, наблюдают раненых, их члены, их красоту, и грязно острят над их бессилием. В этот час, когда небо дымится кровью и душами, они жалеют только о волосах женщин. В таком виде двор в день ликования прогуливался по обнаженным внутренностям Франции».

Это рассказывает уже не поэт, а человек, спасшийся израненным из бойни, который кричит «устами своих ран»: per la pocca de su herida, как говорится в испанской песне. Затем, как в пятом акте «Гугенотов», среди воплей избиения подымаются лютеранские песнопения, и подобно фимиамам ладана отделяются от порохового дыма и вздымаются прямо к небу. Среди легенд о первых христианских мучениках не найдется сцены более трогательной, чем эти женщины-кальвинистки, ищущие тела своих мужей при свете луны по обоим берегам Сены.

«Если кто идет на общий берег искать своего убитого, то он берет в свидетели только луну. Но и среди бела дня при самых тщательных поисках не легче различить разрозненные члены. Если нежная дочь, или нежная супруга, в поисках отца или мужа, боясь ошибиться, извлекает сходное тело, то говорит: “Я нашла, я целую своего супруга или, во всяком случае, – христианина”».

Эти паузы нежности не часты, но пленительны в поэзии д’Обинье. Это – мед, сделанный дикими пчелами с тройным жалом, в разорванной пасти библейского льва; он кажется слаще того, что достают из ульев. Какою нежной печалью дышат эти стихи о последних мучениках реформации!

«Весна и лето церкви миновали; вы собраны мною, зеленые завязи; распуститесь же еще раз, цветы, такие белые, такие живые, хотя вы и кажетесь последними и запоздалыми. Простые и драгоценные, мимо вас нельзя пройти, не заметив и не почувствовав благоуханье небесной ограды. Осенняя роза прекраснее всякой другой. Вами радостна осень церкви».

Необходимо еще процитировать эту свежую живопись земли, обработанной и расцвеченной рукой человека:

«Ее возлюбленные земледельцы украшают ее прекрасное лоно такими дивными красками, проводят ручейки по зеленым ее лугам, по диким цветам, испещренным эмалью. Они – живописцы, вышивальщики, а позже их широкие ковры чернеют виноградом и золотятся колосом. Тенистые леса для них еще привольнее, они свевают с них пот и прикрывают их своею сенью».

Но, повторяю, такие мелодии флейты или арфы редко встречаются в «Les Tragiques». Поэт не отрывает своих уст от громовой трубы, направленной против стен Рима, как трубы Иисуса Навина против Иерихона. Какой порыв в этих обличениях! Какой размах в проклятиях! Эта ярость тона сбивает под конец; стих начинает хрипеть от крика. Подобно тому как Роланд в Ронсевальской долине трубит в свой рог, пока у него не разрывается сердце, кажется временами, что жилы лопаются в груди этого глашатая анафем и что рог его окрашивается кровью и желчью разодранных легких. Затем дыхание возвращается к нему, воодушевление вспыхивает снова, злоба возобновляется, пена вновь подымается к губам; он начинает грозить, свидетельствовать, обличать снова. Чем дальше, тем глубже уходит он по каменистым тропам пророческой Иудеи, где встают неимоверные видения, развертываются пламенные миражи, где всё влечет душу к необычайным и страшным идеям: иссякшая цистерна, высохшая смоковница, крик онагра, камень, зазвеневший над чешуей змеи, орел, чертящий в раскаленном воздухе свой гигантский полет. Он теряет всякое представление о времени, всякое соотношение между словом и явлением. Он больше ни в Париже, ни в Женеве; он на Патмосе, на вершине скалы, потерянной между морем и вечностью. Ахав и Генрих III, Иезавель и Екатерина Медичи, Папа и Антихрист, жрецы Ваала и монахи, любовь в Лувре и прелюбодеяние Израиля, – всё это сливается в его глазах в смутное видение, бесконечное, ужасное, которое наполняет пространство и время вне различия планов и веков. Это наводящий ужас разгром Апокалипсиса, небесный свод, низвергающий казни на землю, чудесные явления, заступающие место естественных законов; звезды осыпаются, язвы распространяются, кровь кричит, могилы разверзаются, бледные кони скачут в воздухе; и поверх всего этого надвигается Страшный Суд из глубины раскрытых небес, с кругами ангелов, мерцающих, докуда взгляд хватает, и посредине во весь рост Христос, мечущий громы.

«Воздух стал весь лучами, так он усеян ангелами».

В этой заключительной картине встречаются дантовские образы. Поэт показывает деревья, воды, огонь, горы, свидетельствующие против гонителей на Суде Божием.

«Зачем, – скажет огонь, – из языков моего пламени, предназначенных для поддержания жизни, сделали вы палачей, прислужников вашего тиранства? Воздух тоже восстанет против них и будет просить справедливости у святого Судии, говоря: зачем тираны, яростные звери, вы отравляете меня падалью, чумой и трупами вами замученных? «Зачем, – скажут воды, – вы претворили в кровь серебро наших ручьев? – А горы, нахмурив чело: Зачем вы избрали нас своими безднами? Зачем, – скажут деревья, – превратили вы дивные деревья в отвратительные виселицы?»

Его описание отчаянья осужденных вызывает перед глазами исступленные группы Микель-Анджеловых фресок.

«Если ваши горящие глаза будут кидать жадные взгляды надежды на кинжал – кинжал не убивает больше. Какая глубокая услада в смерти, скажете вы. Но смерть умерла и не может вас убить. Хотите ли яда? Напрасные ухищрения. Вы кидаетесь в бездну – нет бездны. Бежите к огню сгореть, огонь леденит; хотите утонуть – вода как пламень, она жжет вас. Чума не окажет вам милосердия. Захотите удавиться – напрасно стараетесь затянуть петлю. Зовете ли ад, но из ада исходит лишь вечная жажда невозможной смерти».

III

По прочтении Les Tragiques становится понятна та дружеская опала, в которой Генрих IV держал д'Обинье после победы. Фанатизм этого рода закален в бою как меч, после сражения его надо прятать в ножны. Ошибкой д'Обинье было то, что он не заметил, что час истории изменился. Товарищ претендента не мог смириться и стать подданным короля. При королевском дворе он продолжал сохранять бесцеремонность и свободные манеры лагерной жизни. Но существуют такие грубые советы и резкие вспышки, которые государь может выслушивать под дубом Карла II или на бивуаке при Кутрас; но они невозможны в залах Лувра и в лепных гостиных Виндзора. Кроме того, д'Обинье не стесняясь называл обращение своего господина в католичество вероотступничеством. Известен его резкий ответ Генриху IV, когда тот спросил, что он думает об ударе кинжала, нанесенном Шателем: «Государь, Бог от которого вы отреклись лишь

устами, пронзил вам уста, но как только отречется сердце, он пронзит вам сердце». Между тем, как все вокруг него вступали в сделки с совестью, делали уступки, мирились и приспособливались к изменившимся временам, непреклонный сектант застыл в своей непоколебимой вере. Он отказался от возможной карьеры, ограничился заведыванием крепостями, и с их высот с негодованием присутствовал при зрелище новых времен. Убийство Генриха IV нанесло ему удар прямо в сердце; он порвал с миром и удалился в Сен-Жан д'Анжели, где написал Всемирную Историю своего времени. Книга была сожжена рукой палача, и д'Обинье бежал в Женеву. Протестантская Мекка с триумфом встретила исповедника своей веры. Своею великой душой он наполнил эту маленькую республику, строптивую и яростную, укрепил ее стены, вооружил Берн, взбудоражил Швейцарию, вел переговоры с Англией, чтобы спасти Ла-Рошель, и давал мощный отпор всем интригам и западням, которые устраивала против него Франция. Парижский парламент приговорил его к смерти, а он ответил ему своей свадьбой, состоявшейся в тот же самый день, когда его изображению отсекали голову: старый солдат с седой бородой снова вступал в брак с простодушием патриарха книги Бытия. Взятие Ла-Рошели, поражение его партии, предательство сына, изменившего Богу своего отца, омрачили его последние дни. Он умирал медленно, долго, окоченев в своей вере – обратившейся в развалины, и медленно разрушаясь вместе с нею, но не поколебавшись в своих основах. Его внучкой была г-жа де-Ментенон, которая преследовала протестантов и изгнала их из Франции. В истории встречаются такие контрасты, что невольно начинаешь думать, что ирония является одной из забав судьбы.

XXIII. **Дон-Кихот**

Художественные произведения, как и люди, изменяют иногда с течением времени и лицо и характер. Книга Сервантеса, которой в течение долгого времени изумлялись как шедевру беспримесной веселости, в настоящее время волнует нас как герои-трагическая драма. Чем дальше Дон-Кихот отступает в прошлое, тем симпатичнее и серьезнее он стано-

вится. В его образе, великом и печальном, мы приветствуем последнее проявление рыцарства.

Является ли это превращение оптической иллюзией текущей минуты? Не думаю. Если бы Дон-Кихот был только карикатурой, то он не смог бы приобрести такого уважения в человечестве. Человеческое воображение, в сущности, печально и серьезно. Оно допускает в свою интимную жизнь из вымышленных существ лишь тех, что его трогают и облагораживают. Шуты, если только они гениальны, часто пользуются большими его милостями: как средневековые короли, оно дозволяет и им всяческие вольности и наслаждается их обществом. Но если они и остаются его любимцами, то друзьями они не становятся никогда. К веселости, ими возбуждаемой, примешивается доля презрения: они развлекают ум и разгоняют темные настроения, но сердце остается замкнутым для них. – Внезапная немилость, поражающая старого Фальстафа, никого не трогает; Панург может утонуть вместе со своими баранами, не возбудив в нас никакого сожаления; и если бы агония Скапена в комедии Мольера была бы подлинной, а не притворной, она бы ни на одно мгновение не смутила бы веселость его «Проделок». Напротив, Дон-Кихот и смешит, и трогает нас; он вызывает и смех, и уважение к себе, и самые ожесточенные насмешники тайно сострадают его несчастиям.

Потому что храбрый Ламанчский рыцарь под одеждой безумца скрывает душу героя, и самые нелепые его поступки являются искажением высокой идеи. Покровительствовать слабым, наказывать злых, исправлять несправедливости, бороться с преступлениями, быть мечом спасительным и мстящим на всех больших дорогах человеческой жизни: вот программа его предприятия. У его химер порывы орлов, его безумие парит над ним на крылах Победы. Его единственная ошибка была родиться тремя столетиями позже. Рыцарские мистерии уже давно окончились; мавры давно удалились за кулисы Африки; гиганты вновь обрели средний человеческий рост; колесницы, запряженные драконами, стали сооружениями из полотна и раскрашенного картона; а он, оставшись один на опустелой сцене, в своих старомодных доспехах, упорно продолжает играть свою роль, не получая реплик, и

сражается в пустой комнате с призраками. Заштатный паладин, сказочный портрет, ищущий своей рамы в исторических временах, Дон-Кихот является живым анахронизмом Сида и Бернарда дель Карпио.

Освободите его иллюзии от необычайных форм, в которые он их облекает, и вы найдете самые высокие доблести. Его пожирает ревность чести, жажда справедливости смущает его разум, лихорадка энтузиазма вызывает в нем бред. Для этого старого ребенка, величавого и простодушного, мир делится на две строго очерченных области: с одной стороны, неутешные принцессы, плененные королевы, очарованные и гонимые влюбленные: с другой стороны – свирепые великаны, коварные волшебники и вероломные тираны. Середины нет. Нет никакой мерки: обычные реальности жизни ускользают от него. Добро он постигает только в его возвышенных и царственных формах; зло является ему лишь в образе зверей и чудовищ. Его идеал справедливости парит выше человеческих законов, учреждений. Он не ведает, кто такое алькад, альгвазил ему чужд, жезл коррегидара кажется ему смешной тростью, он воображает, что Святая Германдада делает подлую конкуренцию странствующим рыцарям. Его идея самопроизвольного и свободного права, являющегося следствием возвышенного вдохновения, делает его враждебным всякому установленному судопроизводству. Как он говорит где-то, что у него нет «закона иного, чем его меч, и уставов иных, лишь собственная воля». В срок меньший, чем нужен турецкому кадию, чтобы вынести приговор, он решает, что справедливо, что несправедливо, кто прав, кто виноват, кто грешен, кто невинен из тех людей, которых он встречает. Как небесные птицы авгуров, пролетая налево или направо, судили казусы и разрушали сомнения, так счастливые и зловещие грезы, мелькнувшие в его голове, заставляют его осуждать или миловать тех, кто отдался на суд его каприза. Несколько слов исповеди ему достаточно, чтоб отпустить грехи всей каторги; в своей ненависти к регулярной полиции он братается с разбойниками – рыцарь Господень пожимает руку рыцарям дьявола через головы судей и трибуналов.

Любовь его не менее произвольна, чем его героизм; как ваятель из бесформенной глыбы извлекающий богиню, Дон-

Кихот посредством умозрения из тяжелой крестьянки создает небесную красоту. Личность материальная для него мало значит: по правде сказать, он не вполне уверен, существует ли она; творец иногда сомневается в своем создании. Когда герцог спрашивает у него, не является ли Дульцинея дамой фантастической: – «Об этом можно было бы много сказать, – отвечает Дон-Кихот, – один Бог ведает, существует ли в мире Дульцинея или нет, и фантастично ли ее существование или нет. Такого рода вещи не следует исследовать до самой глубины. Я не породил и не создал моей дамы, но я ее вижу и созерцаю в глубине души такой, какой подобает быть даме, дабы соединить в ней все добродетели, которые могут ее сделать славнейшей между всеми». Но какое значение имеет грубая жизнь плоти и крови для этого идола его души? Как божество, Дульцинея должна остаться неосязаема; Дама его мечты унизилась бы, став супругой его тела. – «Что же касается того, что я требую от Дульцинеи, – говорит он Санчо, – она стоит не меньше, чем самые знатные принцессы на земле... Я себе ее представляю именно так, как говорю, и рисую ее себе в воображении такой, какой я ее хочу, как относительно привлекательности, так и относительно знатности; и, таким образом, ни одна женщина не может уподобиться ей, ни Елены, ни Лукреции, ни одна из женщин прошлых веков греческих, римских или варварских».

Таков Дон-Кихот, воплощенный идеал, абстрактность, ставшая человеком. На забрале его смешной каски написан вызов внешнему миру: «Что общего между мною и вами?» Реальность мстила ему за это презрение жестокими средствами: на пути самых гордых его порывов она ставит самые подлые преткновения; прекраснейшие его миражи она развеивает прахом. Все его мечты рушатся, все видения искажаются и обезображиваются. Грязную в е н т у он принимает за великомерный дворец, а безобразную Мариторну за ослепительную султаншу. Каждое его предприятие кончается потасовкой: он завоевывает тарелку для бритья, он вызывает на бой ветряные мельницы, обезглавливает мехи с вином, избивает марионеток, обращает в бегство монахов и пономарей. Опасность, даже тогда, когда она может быть серьезна, не желает коснуться его: львы, клетку которых он отворяет,

с презрением поворачивают ему спину; река, в которую он бросается, плюет на него пеной и выносит на берег; быки его топчут ногами, не задевая рогами. – «Иди себе калечиться в другое место», – точно говорят ему все существа и все вещи, которых он вызывает на бой. На его удары копья Рок отвечает ударами палок: он ищет эмиров, а встречает погонщиков мулов; он видит, как сверкают широкие арабские сабли, а они разрываются хлопушками у него на черепе; он жаждет ран, а получает лишь тумаки.

Он всегда избит и никогда не ранен: он обречен на компрессы, корпия же ему заказана. И это не все: сея нелепые благодеяния, он пожинает заслуженную неблагодарность. Воображаемые жертвы, на помощь к которым он спешит, обращаются против него же с раздраженными лицами. Ребенок, которого он вырывает из-под розги учителя, осыпает его ругательствами; каторжники, цепь которых он разбивает, прогоняют его ударами камней; думая, что освобождает пленного, он оскорбляет похороны; Санчо подбрасывают в течение одного лишь часа, Дон-Кихот же в течение всего своего крестового похода порывается в высоту и падает плашмя в грязь.

И всё же Ламанчский рыцарь остается благородным и великим посреди всех неудач, что сыпятся на него; осмеянный, он остается неуязвим для презрения. Всё вокруг него лжет, кроме его отваги. Пусть его приключения воображаемы, – неустрашимость его реальна; если опасность мистифицирует его, – это не его вина. Если мельницы действительно были гигантами, а стадо баранов языческим войском, он всё же ринулся бы на них с копьем наперевес. Он купается в крови бурдюков с героической яростью витязя Romancero, он падает на пол чердака с таким же величием, как пал бы на поле битвы. В тот момент, когда он кидается на почудившийся ему треск копий и видит пред собою шесть молотков валяльщика, Санчо разражается громким смехом; но он говорит, ударив его древком копья: – «Уж не думаешь ли ты, что если бы эти валяльные молотки действительно оказались бы опасным приключением, у меня не хватило бы мужества, чтобы довести предприятие до конца? Разве обязан я, будучи

рыцарем, уметь распознавать звуки и различать, происходит ли шум, который я слышу, от валяльных молотков или от чего другого?..»

Впрочем, безумие его только мономания: его мозг поражен единой трещиной, героической, как зазубрина на мече. Вне этой неотступной идеи Дон-Кихот является самым мудрым и красноречивым из людей. Какой высокий разум и какое величие души сказывается в тех советах, которые он дает Санчо, относительно управления его островом! Какой утонченный вкус в его суждениях о литературе! У него могли бы поучиться самые тонкие гуманисты Мадрида и Саламанки. Его тирада о военном служении напоминает «речь, увенчанную шлемом» Sermo Galeatus*, о котором говорит св. Иероним. Он рассуждает о любви с утонченной изысканностью провансальского трубадура. Его уменье держать себя несравненно: этот деревенский гидальго, лукавством случая обреченный на общество пастухов и погонщиков мулов, достоин обращаться с речью к королям и любезничать с инфантами. В языке его есть величественность; его речь – это постоянное sursum corda**. Некоторые из его поучений Санчо звучат как призыв боевого рожка; некоторые из его приветствий к гостям звучат благородным пафосом восточного гостеприимства. Когда он принимает авдитора на пороге венты, можно подумать, что это калиф, открывающий перед принцем двери своего альказара. В языке, которым он разговаривает с герцогиней, смешиваются гиперболы арабской поэзии с очаровательными утонченностями любезности. Он не изменяет своей воспитанности и по отношению к простолюдинам и судомойкам, с которыми он имеет дело: он прикасается, не пачкая себя, к их пошлости и к их лохмотьям. Лачуга, когда он входит в нее, становится похожа на дворец; за ужасные трапезы, ему предлагаемые, он садится так же величественно, как если бы он занимал место за круглым столом. Атамана разбойников он называет «ваша милость», а Мариторну – «высокой и прекрасной дамой». Все женщины равны перед его любезностью, все мужчины равны

* Клятва Галеата (*лат.*).

** Возвысимся духом (*лат.*).

перед его добротой. Этот сумасшедший рыцарь является совершенным кавалером.

Сервантес не сразу достиг совершенства в изображении этого типа. Чувствуется, что он замыслил его в раскатах смеха, а закончил с умиленной улыбкой. В первой части книги поэт жестоко обращается со своим героем; он подвергает его безобразным побоям; он обращается с ним непристойно. Если он никогда не затрагивает его нравственной чистоты, то он физически грязнит его. Хотелось бы разорвать ту страницу, где Дон-Кихота и Санчо тошнит друг на друга от того отвратительного противоядия, которое они только что проглотили: книга остается перепачканной им. Но вскоре художник был захвачен своим творчеством, он его чистил и довел до совершенства во всех отношениях. Чем дальше подвигается Дон-Кихот в своих романтических предприятиях, тем выше становится его доблесть, его великодушие, его справедливость. Шутовские выпады, искажавшие его благородный профиль, постепенно исчезают; моменты его просветлений сближаются; целые дни проходят без приступов. Тогда вам может показаться, что вы видите Альфонса Мудрого, проезжающего по Кастилии утверждая новые законы и произнося приговоры.

Даже сам Санчо, таская всюду за Дон-Кихотом свое толстое брюхо на коротеньких ногах, начинает постепенно утончаться. Как глиняный сосуд персидского поэта, находясь постоянно вблизи этого цветка рыцарственности и изящества, он начинает благоухать его высокими ароматами. Его простонародный здравый смысл прекрасно вяжется с идеализмом его господина, и из этого сочетания возникают диалоги несравнимой мудрости. Начиная со второй части поэмы обжорство Санчо уменьшается на глазах, грубость его смягчается, преданность господину крепнет под побоями и очищается постами. Он любит его за его самое безумие, величие которого он смутно чувствует. Корыстолюбивый лакей превращается в бескорыстного и верного оруженосца. «Я признаю, – говорит он герцогине, – что если бы у меня было хоть на грош ума и здравого смысла, то я давно уже поки-

нул бы моего господина; но так уж, видно, судила мне судьба на мое несчастие; волей-неволей, а я должен за ним следовать. Мы – земляки, я ел его хлеб и люблю его; он признателен и подарил мне своих ослят, а сверх всего я верен. Поэтому немыслимо, чтобы нас это могло разделить, до того дня, когда кирка или лопата не выкопают для нас одной постели».

Обещанный остров осуществляется, и, когда Санчо на нем водворяется, воспитание его уже закончено: животное стало человеком, частица души Дон-Кихота одухотворяет отныне его тяжелое существо. Санчо судит, как Соломон и как Гарун-Аль-Рашид, и мудрость Востока говорит его устами.

Растущая симпатия к Дон-Кихоту еще увеличивает ту жалость, которая рождается при виде тех мистификаций, которым он подвергается. Погонщики мулов, которые колотят его, правы потому, что он сам напал на них; но умные люди и аристократы, которые его высмеивают, только желая поразвлечься, возмущают до глубины души. Эта чернь в шелковых одеждах падает ниже черни в лохмотьях. Вы негодуете, видя его посаженным в клетку педантичным кюре и шутником-цирюльником, как зверь на потеху ярмарки. Вы презираете этого герцога и эту герцогиню – лицемеров, которые привлекают его в свой замок, чтобы отдать на посмешище дуэньям, горничным и лакеям. Самая скорбная часть книги несомненно та, где Дон-Кихот служит игрушкой этим провинциальным дворянам, которые заставляют его играть роль gracioso*. Невольно приходит на память Сампсон, призванный перед филистимлян, «чтобы забавлять их», и раздавивший их под развалинами храма. «Сампсон сказал: пусть я умру вместе с филистимлянами! Он напрягся с силой; дом рухнул на князей и на весь народ, который был там; и те, которых он убил, умирая, были более многочисленны, чем все те, кого он истребил при жизни». Как сила в этот момент возвращается к судие израильскому, так хотелось бы, чтобы разум вернулся к Ламанчскому герою и чтобы он с мечом в руках устремился на издевающихся филистимлян, как он, но только с меньшим правом, напал на марионеток мастера Пьетро.

---

* Здесь: слуга: слуга-арлекин (*исп., стар.*).

Впрочем, Сервантес отмстил герцогине за ее поведение относительно Дон-Кихота. При своем первом появлении в его книге в сумерки, на белом иноходце, с соколом на перчатке, подобная «воплощенному изяществу», она пленяет и ослепляет. Но нескромность одной из дуэний открывает нам, что у этой Дианы-Охотницы язвы на обеих ногах, и Дон-Кихот отмщен.

Какою мрачной развязкой заканчивается эта многообразная Одиссея! Дон-Кихот побежден бакалавром, переряженным в рыцаря Белой Луны: чтобы соблюсти условие поединка, он должен вернуться в свою деревню и отказаться от рыцарства. Но его душа надламывается вместе с мечом; отрекаясь от своей мечты, он прощается с жизнью. «Прощайте», – мог бы он воскликнуть вместе с шекспировским Отелло. – О! теперь навсегда прощайте, войска с белыми плюмажами, и вы, великие воины, честолюбие превращающие в добродетель! О прощай, прощай, ржущий конь и пронзительная труба! Прощай, королевское знамя и вся красота, гордость, пышность и торжество славной войны! Прощайте! Задача Дон-Кихота окончена».

Задача его кончена действительно. Дон-Кихоту, лишенному своего идеального посланничества, остается только умереть. Вместе с доспехами он слагает свою гордость; он плетется по большим дорогам, по которым он проезжал когда-то как высокий носитель справедливости. Из странствующего рыцаря он превратился, как он сам выражается, в «пешего оруженосца». Дон-Кихот, расставшийся с Росинантом, – это искалеченный кентавр. Свиньи лезут через его тело, и он не обращает на это внимания. «Оставь, пусть идут, – говорит он Санчо, который собирается их рубить, – это оскорбление – наказание за мой грех, и Небо право наказывать побежденного странствующего рыцаря, отдавая его на съедение лисицам, осиным укусам и предоставляя его топтать свиным ногам».

Ослабление его безумия является предвестием близкого конца: он не принимает уже больше постоялые дворы за укрепленные замки: зловещий признак! Malum signum! Malum signum! – как бормочет он сквозь зубы, когда,

возвращаясь в свою деревню, он слышит этот крик ребенка, пронзающий ему сердце: «Она умерла, твоя дама, и ты ее не увидишь больше!» Так Дант в Vita Nuova* видит во сне заплаканные фигуры, которые проходят, восклицая: «Твоя прекрасная дама покинула этот век». Как ни различно бывает их построение, но великие книги, как горные вершины, имеют эти отголоски, которые отзываются через столетия. Дульцинея и Беатриче, под различными формами, являются дочерьми одной и той же мечты, призраками одного и того же идеала.

«Хорошо, хорошо, тише, дети мои, – отвечает Дон-Кихот на шумную встречу, устроенную ему его экономкой и племянницей. – Отведите меня в постель, потому что я не очень хорошо себя чувствую». Он засыпает, и, проснувшись, он пробуждается тоже и от сна своей жизни. Излечившись от своего безумия, он тотчас же заболевает смертельною болезнью. Лунатик, вдруг пробужденный, скользит с крыши, по которой несли его невидимые крылья, и разбивается о землю или о мостовую. Точно так же и Дон-Кихот, сорвавшись с высоты своих видений в реальный мир, не может пережить этого падения. Энтузиазм был маслом, поддерживавшим пламя в его иссохшем теле; как только он исчезает, Дон-Кихот умирает. Издевательства, которые преследовали его в течение всей жизни, не оставляют его в покое и на смертном одре. Кюре и бакалавр хотят еще раз обмануть его последние часы видениями рыцарства; но Дон-Кихот с ласковой настойчивостью заставляет их замолчать. «Сеньоры, не будем так торопиться; теперь уже не время шутить, потому что в прошлогодних гнездах в этом году нет больше птиц. Я был сумасшедшим, а теперь разум снова вернулся ко мне; я был Дон-Кихотом Ла-Манческим, а теперь я снова Алонсо-Кисано Добрый. Пусть ко мне приведут священника, чтобы исповедоваться, и нотариуса, чтобы составить завещание».

И он вручает свою великую душу Разуму, который возвращается к нему в суровом образе Смерти, как он вручил бы свой меч победоносному противнику.

---

* Новая жизнь (*ит.*).

В Древней Греции каждый остров, каждая местность имели особого бога, воинственного или сельского, земледельческого или морского, созданного по образцу страны и списанного с характера ее обитателей. Это туземное божество наполняло ее своим присутствием и влиянием. И статуи стояли на каждом повороте дороги, на вершине каждого холма, легенда его смешивалась с историей, оракулы его звучали из пещер, его дыхание вдыхалось вместе с воздухом.

Идеальный и воображаемый, как боги Греции, Дон-Кихот, как и они, принял власть над страной, его породившей: он стал там гением места. Его длинный призрак не покидает путешественника, проезжающего через Ламанчу и обе Кастилии. Сухость серых равнин напоминает его худобу; дикие профили скал, окружающих узкую тропу Сьерры, смутно намечают его угловатый облик; Испания и Дон-Кихот кажутся списанными друг с друга. Ждешь, что он покажется из каждого облака пыли, привставший на стременах своей измученной лошади; нет ни одной мельницы, машущей крыльями, которая не имела бы такого вида, точно она вызывает его на бой. Вечером невольно ищешь его копье по темным углам посады, где свирепые Мариторны подают вам протухшую ветчину и вино, пахнущее козлом, что оживляло его скудные трапезы; кажется, что различаешь его странный силуэт среди теней, отбрасываемых на стену коптящей лампой. И ждешь, что, раздвинув саржевые занавески оборванной кровати, куда вас провожает хозяйка, увидишь Дон-Кихота, вытянувшегося во весь рост, с пристальным взглядом, с надменными усами, с забинтованным лицом, завернувшегося в простыню, складками напоминающую саван, такого, каким он явился донье Родригес или, скорее, еще таким, каким восседает Сид на своем погребальном кресле.

«В Сан-Пьетро-Кардена забальзамирован Сид, непобедимый победитель мавров и христиан. Он сидит на кресле: его благородная и мужественная фигура разодета и украшена. Лицо его, овеянное великой серьезностью, открыто; его добрый меч Тисона стоит сбоку. Он не кажется мертвым, но живым и очень чтимым» (R o m a n c e r o. 51).

XXIV. **Жиль Блаз**

Жиль Блаз одна из тех книг, которые перечитываются четыре или пять раз в жизни: впечатление меняется каждый раз. Очарование не ослабевает, но оценка исправляется. В герое Ле-Сажа хотели видеть средний тип человеческой породы. Для этого в нем слишком много энтузиазма и недостаточно самолюбия. Рассмотрите поближе этот многогранный характер; вы найдете в нем лишь вульгарные черты подначального человечества.

Посмотрите, как уезжает он из Овиедо, рысью на своем муле; никакого сожаления об отце, ни слезы о матери, он ни разу не вспоминает о своем старом дяде, воспитывавшем его в детстве. О Панурге говорили, что он явился плодом любви свиного окорока к бутылке, настолько он лишен всякой человеческой нежности; Жиль Блаз нисколько не более чувствителен: он, как и Фигаро, «чей-то сын», и этим всё сказано.

Он уезжает, позвякивая бубенцами своего мула и червонцами в кошельке. Нищий со штуцером дает ему первый урок благоразумия; паразит с яичницей заставляет проглотить первую досаду. Разбойники останавливают его в лесу и завербовывают в свою шайку. Гибкость, с которой Жиль Блаз приспосабливается к этой новой жизни, изумительна. Разумеется, он и плачет и приходит в отчаянье, и чувствует отвращение к своим товарищам, но с волками по-волчьи и выть, и Жиль Блаз исполняет свои обязанности в шайке без особых угрызений совести. Он обворовывает монаха с тою же веселостью, с которой играл бы глупую роль; он делает свой выстрел из карабина по карете донны Менсии с покорностью рекрута, решившегося делать свое дело. Но вот он свободен и бежит вместе со знатной дамой; но из рук разбойников он попадает в загребущие лапы судей, и отныне Жиль Блаз навсегда разучится различать справедливость больших дорог от справедливости судов и канцелярий.

Жиль Блаз вступает в свет через прихожую и, хотел ли этого Ле-Саж или нет, но его герой останется лакеем во всех своих превращениях. Он сохраняет и криводушие, грабительские инстинкты, и рабское низкопоклонничество. «Когда боги, — говорил один древний писатель, — хотят сделать человека рабом, они отнимают у него половину души». Жиль

Блаз, надевая ливрею, теряет ту возвышенную часть души, которую независимость уносит вместе с собою. Чем бы он ни занимался, отныне от него будет пахнуть кухней и лакейством. Даже под самый конец, когда он грабит казну испанского короля, вы узнаёте человека, который утаивал гроши на покупках провизии.

И может ли призвание быть более явным и определенным! Он лакей на все руки. Посмотрите на него у изголовья лиценциата Седильо, когда он изображает преданность в надежде на наследство и проливает слезы наемной плакальщицы. Обманутый завещанием умершего, он поступает на службу к врачу, отправившему его на тот свет. Санградо вооружает его своей пинтой теплой воды и ланцетом более губительными, чем кинжал и бокал с ядом в трагедиях. Он обваривает кипятком и выпускает кровь из своих больных и со смехом рассказывает о подвигах этой убийственной медицины: «Мы лечим так, что за шесть недель мы наделали столько же вдов и сирот, как осада Трои. Казалось, что чума прошла по Валлодолиде, столько там было похорон».

Из провинции он переходит в столицу и со службы у буржуа на службу к вельможам и модным франтам. Там его крылья развертываются, а пороки облагораживаются; там, в школе мадридских Маскарильев, он проходит двойной курс мошеннической риторики и бесстыдства. Для любовных похождений он надевает костюм своего господина; а взамен служит ему своим почерком для подделки любовных записок. Воспитание его заканчивается за театральными кулисами. Одна актриса делает из него мажордома своей любовной гостиницы. Он видит вблизи вельмож бутафории и принцесс рампы; он посвящается в тайны сценической кухни и лавочек любви. На этот раз его охватывает отвращение; он покидает этот мир мишуры и гибели. «Дело сделано, я не хочу больше жить вместе с семью смертными грехами».

Эти покушения на добродетель длятся недолго; вскоре мы встречаем Жиль Блаза примкнувшим к компании мошенников. Вместе со своими товарищами он наряжается в грозные сутаны Инквизиции, для того чтобы обворовать кассу старого купца-еврея. И никаких оговорок, никаких угрызений совести! «Мы пропустили своих лошадей по на-

правлению к Сегорбе, благодаря бога Меркурия за столь счастливую удачу».

Чем дальше он подвигается, тем больше предрассудки его рассеиваются. Путешествия обостряют его аппетит и расширяют его совесть. Плохо принятый совет, который он дает старому фату относительно измены его любовницы, навсегда исправляет его от излишнего рвения; отставка, им полученная от архиепископа Гренады, навсегда излечивает его от истины. В доме одного расточителя он изучает практику и теорию хищения; он приобретает там, ухаживая за его любимой обезьяной, гибкость спины, необходимую для интриг. И вот он научен всякого рода проделкам и вывертам и свободен от всяких принципов и правдивости. Тогда Фортуна обращает на него внимание, делает его фаворитом герцога Лермы и возносит на вершину своего колеса. И он стоит на нем в позе Меркурия Джиованни да Болонья, нога в воздухе и кадуцей в руке.

Герцог поручает ему любовную переписку испанского Инфанта. «Я и не раздумывал о том, хорошо это или дурно; высокое положение доверителя ошеломляло мою совесть. Какая честь для меня быть распорядителем удовольствий великого принца!» Его двусмысленные поручения оплачиваются общественной казной; он продает с аукциона милости и благоволения; он держит лавочку привилегий и бенефиций; он пьет чарку до дна; он получает доходы со всех продаж церковных мест и хищений казны. Хорошего аппетита, Жиль Блаз! – мог бы сказать Рюи Блаз, его славный собрат. От этого ремесла общественного ростовщика сердце его подлеет; сухая испорченность, свойственная придворной жизни, ожесточает его душу; не сморгнув глазом, узнает он о бедственном положении своих престарелых родителей; он бесстыдно отрекается от своих друзей по нищете. Немилость и тюрьма исправляют его на короткое время; но при первом повороте счастья он возвращается ползком к своему природному лакейству. Мы находим его в кабинете Оливареса, строчащим пасквили против своего изгнанного благодетеля. Вместе с пером писца он подымает вновь и кадуцей сводника. Блестящий Скапен прежних дней продолжает свои проделки, но уже с поседевшими волосами Лепорелло: только

падение его второго покровителя может его принудить оставить службу.

Таков Жиль Блаз, сведенный к своему простейшему выражению и взятый вне того вихря приключений, посреди которых он исчезает, замаскированный быстротою своих вольтов: посредственный интриган, энергичный и ограниченный в одно и то же время, восприимчивый к порокам, неуязвимый для страстей, не имеющий честолюбия иного, чем личное благосостояние, неспособный, даже когда у него вырастают крылья, и ветер надувает паруса, покинуть плоскость обыденных интересов; одним словом, подначальный и душою и сердцем. Я отказываюсь в этой забавной, но унизительной маске комического лакея видеть тип среднего человека, каким его старались представить. Самим многообразием своих превращений и переодеваний он ускользает от портретной четкости. Это не столько характер, сколько человеческое вещество, которое художник мнет пальцами, как кусок воску, и придает ему один за другим лики всех пороков, что он хочет изобразить и те смешные стороны, что он хочет выразить. Единственная черта, которой он не изменяет, – это хорошее расположение духа, и эта жизнерадостность составляет очарование этой прозаической эпопеи, которой он является не героем, а скорее фактотумом. Разумеется, исповедь Жиль Блаза, если ее лишить всех прелестей повествования, испугает даже опытного исповедника; но неизменная улыбка, с которой кающийся нам ее рассказывает, вынуждает нас всегда давать ему отпущение. Он рассказывает о своих подлостях с таким естественным видом, что их относишь на счет самой его природы. Вместе с этим graeculus'ом* плутовства и изворотливости сам подлеешь – иначе нельзя выразиться; невольно смеешься над его ловкими, как пируэты, вывертами, посредством которых он отделывается от досадных признаний. Ему остаешься благодарен за его уменье относиться легко к жизни, и за постоянную веселость. Он сражается с судьбой при помощи такого блестящего и неравного оружия, он принимает неудачи с таким умом и без гримас, он настолько мало изумляется своим переходом от падения к апофеозу, после ужаснейших поражений он так

* Грек (*лат., пренебрежит.*).

радостно отправляется «играть в лунки», что самый суровый стоик почувствует к нему симпатию, отказавши ему в своем уважении.

Il mondo va da'se*. Это вывод всей книги, и его не следует ни унижать, ни преувеличивать. Горизонт ее узок и уровень невысок; в ней нет тех молний глубокого наблюдения, которые до глубины пронзают людей и явления. Она озарена театральным светом, который окрашивает в искусственные цвета тысячи фигур, толпящихся там. Чем фигуры эти выше по положению, тем сходство их уменьшается и искажается. Те, что находятся на низших планах, поражают ум точностью и четкостью рисунка; но персонажей, что находятся наверху сцены, едва можно признать. Знатные дамы Ле-Сажа ничем не отличаются от его актрис и субреток; Испанскй двор, – такой, как он нам изображает его, напоминает не то подозрительный темный картежный дом, не то воровской притон. Это Теньер, оставивший свои кабачки для дворцов исторической живописи. Там, где глаз Лабрюйера проникает до глубины и проницает души, театральный бинокль Ле-Сажа замечает только детали и подробности. У него совершенно нет интуиции, дополняющей зрительный опыт. Окно его выходит на улицу, но вовсе не царит над городом. Большие пороки, как и большие добродетели, выходят за пределы его заметливого взгляда.

Веселость уносит его и наполняет своим дыханием всё это долгое повествование, напоминающее широкую равнину без подъемов и движения; она лишает ее монотонности. Как ни испорчено в глубине это общество, но оно нравится своим уменьем жить; и себя невольно ловишь на сожалении, что не живешь в ту эпоху. Его пороки оскорбляют не больше, чем смешные стороны, а несчастия забавляют, как театральные катастрофы. Какой мудрый взгляд на жизнь и на ее превратности! какой философский взгляд над мир, как на трагикомедию с переодеваниями! Все эти люди пьют до дна, едят с аппетитом, любят в свои сроки и не протестуя следуют естественным законам. Они совершают со смехом такие проступки, которые вызвали бы в нас мучительнейшие угрызения совести. Они не углубляют своих страданий и не пре-

* Мир живет сам по себе (*ит.*).

увеличивают несчастий; они живут по-семейному со своей нищетой, не приживая с ней меланхолии. В их мире неведомы мечтательность, идеалы, сплин – эти дорогие и жестокие болезни современности, так мучительно усложняющие реальные жизненные напасти. Веши там принимают так, как они есть; там ничто не анализируют, даже собственного несчастия; в воздухе разлита какая-то радость, развевающая их печали и делающая легким их существование.

И несмотря на всё это, после чтения Жиль Блаза вы встаете с иссякшей душой и жаждущим духом. Это отсутствие страстей, нищета идеалов, эта положительная и холодная манера созерцания зрелища человеческой жизни, это хладнокровное зубоскальство по отношению к беззакониям и несправедливостям, всё это, в конце концов, оставляет горький осадок. Пробегая эту прекрасную книгу, вы готовы за одну слезу заплатить не меньше, чем за стакан воды в пустыне ослепительной и безводной. Закрыв ее, вы испытываете потребность перечесть страницу Гомера, мысль Марка Аврелия, песнь из Данта, что-нибудь, что возвышает душу над плоскостью, что возбуждает героизм, что влечет к чистой красоте. Sursum corda!*

А потом вам вспоминается Ламанчский рыцарь, который веком раньше скакал, высокий и прямой, в своих доспехах по тем же дорогам Испании, где весело припрыгивает Жиль Блаз в погоне за счастьем. Какую противоположность величие его души представляет рядом с прожженностью этого искателя приключений. Какая разница в их судьбе! Между тем как Дон-Кихот карабкается по каменистым тропам суровой Сиерры в поисках пещеры дракона, башни великана, очарованного ключа, Жиль Блаз мародерствует по обходным тропинкам в поисках хозяина, которого можно надуть, жида, которого можно обворовать, или нежданной прибыли. И рыцарь возвращается в свою унылую ламанчскую башню разбитый телом и душой, чтобы лечь в постель и умереть. А Жиль Блаз, наоборот, возвращается богатый и радостный в свой замок Лириас. В итоге он удовлетворен теми спектаклями, которых он был зрителем, и теми интермедиями, в которых сыграл свою небольшую роль. – Лавры срезаны. Дон-Кихоту

* См. с. 606.

больше нечего делать в этом мире. Жиль Блаз же, который вовсе не является animal gloriae* и этих овощей не ест, может отдохнуть и мирно стариться: у него всегда будет возможность сажать капусту.

XXV. **Фейные сказки**

I

Нет библиофила, который бы не знал первого издания «Histoires ou Contes du témps passé avec des moralitès», изданных Шарлем Барбеном в 1697 году. Почтенная и очаровательная книжка, напечатанная крупными буквами, как бы для того, чтобы ее читали с большим удобством и мутные очки дедов, и ослепленные глаза маленьких детей. Фронтисписом ей служит прекрасный эстамп, пожелтевший от времени, изображающий старуху за веретеном в комнате, освещаемой старинным светильником; она рассказывает свои сказки трем ребятишкам столпившимся вокруг нее с разинутыми ртами. Вокруг старухи изгибается надпись: «Сказки матери моей Гусыни» – Contes de ma Mère l'Oye.

Действительно, не является ли она нашей общею матерью, эта старая пряха? Она баюкала наши первые сны, она давала крылья нашей рождавшейся мысли; она выпускала голубую птицу летать по поднебесью нашей колыбели. Смиренная Шехеразада Франции. У нее нет ни золотых уст, ослепительного воображения ее великой восточной сестры. Она не рассказывает своих историй на террасе сераля, облокотившись на постель Калифа. Пред нею не расстилаются, как пред арабской рассказчицей, вдохновляющие горизонты Багдада, откуда можно увидать столько волшебных стран, начиная с Сирии, кончая глубинами Индии. В «Тысяче и одной ночи» великолепие сказок отражает, преувеличивая пышности цивилизации и природы востока. Там всё чудо и колдовство: деревья поют, вода говорит, драгоценные камни любят, цветы задают загадки. Сказочные птицы уносят в клюве талисманы пилигримов и тюрбаны купцов, наполненные червонцами; в желудках у рыб находят бриллианты. Волшебный ковер, пере-

* Славоядное животное (*лат.*).

носящий трех принцев из Китая в Индию, задевает в воздухе крылья птицы Рок, распахнув которые она затмевает солнце. – Пройдитесь по этим чудесным городам. Раскрашенные дома отражаются в спящих водах; цепные леопарды сторожат выстланные кашемирами дворы, где бьют копытами лошади, происходящие от коня Иова. Базары, мрачные и великолепные, тянутся, куда глаз хватает, рядами маленьких лавочек, переполненных страусовыми перьями и чашами с драгоценными камнями. Там и здесь пригвожденные к навесам уши служат вывеской купцов, обманщиков. На городских площадях стоят слоны с раскрашенными хоботами и башнями на спине, наполненными акробатами и гаерами. В храмах суровые идолы, сидящие скрестив ноги, следят повсюду своими рубиновыми глазами за теми, кто глядит на них. Деспотизм и Рок поражают толпу ослепительными неожиданностями. Кафтан визиря нежданно падает на плечи раба; нищий пробуждается на троне калифа; царские сыновья просят милостыню у ворот мечети. – Ефрат журчит там под платанами и несет по волнам таинственный ларец с «Убитой женщиной». По улицам проходят паланкины, сопровождаемые орущими евнухами и исступленными цимбалистами. Полудикие, огромные негры топят в реке неверных одалисок, зашитых в мешки. Амина, закутанная в свои муслиновые вуали, ходит по фруктовому базару и базару пряностей, делая закупки для угощения трех гладильщиков. «Маленький Горбун» бьет в тамбурин в лавке портного. – Посмотрите на этот караван мулов, нагруженный большими кожаными бурдюками, проходящий через городские ворота... Это проходит воровская шайка: в каждом из этих мехов сидит по разбойнику из пещеры Сезама. – Эта женщина, закутанная в плащ, что мелькнет вдоль стен, как летучая мышь, и проскальзывает в дверь кладбища, это вурдалак, идущий поужинать свежим, только что погребенным трупом. – Ступайте за этой старухой, которая издали делает вам таинственные знаки, она проводит вас в дом – ожидает вас Цепь-Сердец, лежа на янтарной софе, перед столом, уставленным лимонадами, ширазскими винами и имбирными пирожками. – Однако остерегайтесь этого человека, закутанного в черный бурнус, что бродит по городу в сопровождении почтительного спутника. Он проникает в ночные тайны у ворот Караван-Сараев и под смоковницами,

что растут над цистернами. Временами его бровь хмурится, его скрытный глаз мечет молнию, точно кинжал, вынутый из ножен... Черный Ангел, который острием копья метит по ночам двери тех, что умрут утром, не столь страшен. Проходите с трепетом мимо этого полуношника; сосредоточьтесь в себе и припомните все, что вы делали в течение дня. Назавтра отрубленные головы выстроят свои бороды по зубцам дворца. Это верховный судия, повелитель правоверных, Калиф Гарун-аль-Рашид совершает свой обход в сопровождении своего верного Визиря.

Как мусульманин оставляет свои башмаки у дверей мечети, так Европеец на пороге этой книги оставляет свои беспокойные и деятельные мысли. Тишина теплых стран, веющая от нее, сообщается душе. Страстей немного, никаких движений мысли; любовь является там лишь в материальной форме покорных супруг и бездушных пери. Кровь проливается там с безразличием, как бы взамен запрещенного вина. Там рубить головы так же естественно, как собирать апельсины. Там не ищут счастия, его находят в сокровищах, или открытых, или полученных в награду за гостеприимство. Работа заключается в ленивом ожидании покупателя, сидя на циновке и перебирая зерна четок. К чему бороться и воевать? Неподвижный фатализм править этим миром, столь подвижным с первого взгляда, переполненным превращениями и катастрофами. Бог есть Бог, у каждого человека свой гений, у каждой судьбы своя звезда. Меч Султана блуждает над правоверными, как молния; благоволение его реет над ними подобно орлу: он выбирает в толпе Божьих избранников и возносит их до ступеней трона. – Смиряйся и жди, склонив голову: быть может, она падет завтра, если на то будет воля Аллаха... быть может, она подымется, увенчанная короной.

II

В противоположность этому, Мать-Гусыня наших сказок родилась в лесах Германии, под небом, покрытым туманами; и если вы одним скачком перейдете от арабских сказок к ее легендам, то вам покажется, что вы от полуденного блеска перешли к лунному свету. Нет больше ни гениев с орлиными крыльями, ни сияющих Пери; но есть гномы, живущие под мхом, бородатые карлики, собирающее сокровища в скалис-

тых пещерах, никсы с зелеными зубами, стерегущие на дне воды души утопленников, людоеды, пожирающие свежее мясо, вампиры, пьющие горькую кровь, девы-змеи, пресмыкающиеся в подземельях, крысоловы, уводящие маленьких детей, колдуньи, верхом на испанских кошках, мандрагоры, поющие под виселицами, гомункулы, живущие, как пиявки, на дне бутылки... Целая мифология, безумная и зловещая, дьяволом которой является Юпитер, а местом шабаша – Олимп. В этой необычайной чертовщине нет, разумеется, ни гармоничной красоты греческого мифа, ни блеска восточной сказки. А, несмотря на это, сколько поэзии в ее кошмарах! Сколько полярных сияний в этих ночах севера! Сколько восхитительных видений встает на каждом повороте этих сказочных лесов! – Это Виллиса, танцующая кончиками мертвых ног по бледной траве лесных лужаек; это безумная, лишенная души, Ундина, расчесывающая золотые волосы на берегу ключей; это царевна-Лебедь, сбрасывающая, прилетая на землю, платье из перьев; это валькирия, которая серебряными коньками режет опаловые скандинавские льды; это рои эльф и домовых, одни имена которых блестят как капли росы на солнце: Origan, Marjolaine, Saute-aux-Champs, Saute-Buisson, Saute-au-Bois, Verd-Joli, Jean-le-Vert, Jean-des-Arbrisseaux, Fleur-de-Pois, Grain-de-Moutarde: уменьшенные фавны, монады сильванов, частицы амуров, души цветов, эликсиры растений, воплощенные атомы, одухотворенные шарики воздуха! – И, наконец, это Фея, царица этого улья крылатых гениев, юная, как заря, отливы которой она отражает, тысячелетняя, как гора, в которой она живет, изменчивая, как луна, в свете которой она танцует, коварная, как вода, которой касаются ее воздушные ножки. Фея, – это древняя нимфа в ее текущем и бесплотном состоянии; существо с тысячью лиц, с тысячью масок, с тысячью оттенков, то зверь, а то звезда: форма призрачная, туманная, подвижная, как природа Запада, образом которой она является.

Этот страшный и очаровательный гримуар, осложненный чужеземными преданиями, переходил из века в век, осложняясь и запутываясь на устах кормилиц и старых женщин. Кормилицы, главным образом, являлись хранительницами этих рассказов. Из их крестьянской груди пролился

этот Млечный Путь феерий, таким смутным сиянием пересекающий небо нашего детства. Шарль Перро написал свою книгу под диктовку этих легковерных муз. Естественным аккомпанементом его книги может служить шум веретена и убаюкивающее качанье колыбели.

Книга, единственная меж всеми, в которой старческая мудрость переплетена с детской невинностью. Она воплощает ложь, она убеждает в невозможном, она приручает химер и гиппогрифов и заставляет их резвиться у очага, как домашних животных. Перро делает ручными и человечными всех сказочных существ, которые танцуют в легендах на бесконечно далеком расстоянии от реальной жизни. Этим воздушным духам, живущим под властью Луны, он дает вместо балласта крупицу французского здравого смысла; он облекает их ясностью и правдоподобием, он придает им интимный характер родственного племени. Рассказчик уводит ребенка играть в страну сновидений, и тому кажется, что он резвится в саду своей матери.

Его феи, согнувшиеся пополам и опирающиеся на свои магические жезлы, напоминают сгорбленных бабушек той эпохи, с их длинными крючковатыми палками. Его молодые принцессы, такие вежливые и благоразумные, точно вчера вышли из Сен-Сирского института. Королевские сыновья, которые встречают их в лесу, возвращаясь с охоты, надменным видом и любезностью напоминают Дофинов Франции. Стиль Людовика XIV, озаряющий эти готические феерии, дает им новую прелесть. Невольно радуешься, встречая во дворце Спящей Красавицы фрейлин, камергеров, мушкетеров, 24 скрипач<а> и «Швейцарцев с прыщеватыми носами из Версальской большой Галереи». Нам нравится, что злая королева хочет съесть маленькую Аврору «под соусом Робер». «Мушки от хорошей мастерицы» как нельзя более идут сестрам Сандрильоны. Когда Мальчик-с-пальчик, занимаясь в течение известного времени ремеслом курьера и собрав «достаточное состояние», покупает для своего отца и братьев «вновь учрежденные должности», это заключение истории кажется вполне естественной развязкой. Наивный и заманчивый маскарад! Кажется, что видишь Оберона в костюме Маркиза, прогуливающегося с Титанией, причесанной «а ла

Фонтанж», в воздушном портшезе, в сопровождении Ариеля и Пока, переодетых пажами.

Оттенок XVII века, запечатлевшийся на этих незапамятных мифах, теперь кажется не анахронизмом, а гармонией. Не стал ли он уже феерической эпохой, этот век Великого короля, когда целый народ придворных жил в заколдованном кругу этикета, посреди статуй и фонтанов волшебного парка. Охотничьи трубы Марли и Рамбулье звучат для наших ушей так же отдаленно, как рог короля Артура в лесах Бросelианды. Тяжелые кареты, которые перевозили длинными процессиями этот пышный двор из дворца во дворец, с праздника на праздник, имеют для нас такой же странный вид, как крылатые драконы и тыквы, запряженные мышами. Хороводы фей и менуэты маркиз рисуются в таком же туманном и голубоватом отдалении. – Точно так же рыцарская история были уже делом давно минувшим, когда фландрские ткачи развертывали их на своих гобеленах. Теперь – эти вековые ткани кажутся современными тем романам, что вытканы на них: их старость вполне сливается с древностью последних.

Впрочем, сказки Перро вполне сохранили под своими костюмами Рококо фантастический характер тех легенд, из которых они вышли. Несмотря на то, что он расчищен Ле-Нотром и подстрижен Ла-Кентиньи, этот волшебный лес хранит свои древние отголоски, и корни его связаны с самыми глубокими преданиями. Феи Перро пришли прямо из кельтских лесов; его людоеды происходят от индусских Ракша и Гомеровых циклопов. Мальчик-с-пальчик – это французское воплощение тех карликов, которые играют ловкие штуки с гигантами в германских преданиях. Кот в сапогах приходит прямо с шабаша, и тот страх, что он внушает, объясняется кошачьими перевоплощениями колдуний. Дворец Спящей Красавицы соответствует своими потайными переходами пещере Семи Спящих и той горе в Тюрингии, где император Фридрих посреди своего двора спит, облокотившись на каменный стол, вокруг которого трижды обвилась его рыжая борода. Туфелька Золушки связана с сандалией Родопы, похищенной орлом и кинутой им на грудь Псамметиху, Египетскому Фараону, который отправил по всей земле искать женщину, ее обладательницу, и женился на ней, как только нашел. Ослиная кожа восходит, быть может, к Золото-

му Ослу Апулея. Археологи, рассмотрев очень внимательно, узнают в Синей Бороде одного Бретонского короля VI века, по имени Коморуса, удавившего своих жен, которых потом воскресил святой Гильдас. Время от времени старые формулы выделяются среди ясного языка рассказчика, подобные архаическим надписям, замурованным среди новых камней перестроенного здания. – «Сестра Анна, сестра Анна, не скачет ли кто по дороге? – Вижу только, как пыль алеет да трава зеленеет». – «Дерни за задвижку, отмычка отомкнется». – «И пришла из-за тридесятого царства». – «И ушла она далеко, далеко, в дальние дали». – Это звенит далекий и надтреснутый голос Предания, прерывая современный рассказ.

Но, повторяем еще раз, талант Перро сказался в том, что он сумел облечь эти старые сказки, блуждавшие по миру, в те формы, которые способны пленить детское воображение. – Один великий поэт (Виктор Гюго) показывает нам Немейского льва, Лернейскую гидру, трехглавого Гериона, Эриманфского вепря, всех чудовищ, побежденных Гераклом, блуждающими по комнате Омфалы, глядя на ее прялку униженными глазами. Точно так же в книге очаровательного рассказчика гении и людоеды, феи и гиганты, бесформенные чудовища из хаоса мифов, ужасы легенд, гроза деревень, приходят, смиренные и прирученные его кротким духом, и мирно обхаживают колыбель ребенка.

XXVI. **Манон Леско**

Существуют легкомысленные книги, которые любишь, несмотря на их непристойность, любишь, сожалея, что не можешь омыть их запятнанные страницы. Манон Леско является исключительным романом, который обаятелен самою испорченностью своей и героиню которого ни за что в мире не хотелось бы реабилитировать. Менее виноватая, или менее безнравственная, Манон уже не была бы сама собой. Пятнышко грязи идет, как мушка, ее безрассудной головке. Это знак, по которому ее узнают ее любовники.

Не может быть двух имен для определения этого бесчестного и очаровательного создания, это «публичная девушка», во всей непристойности этого слова. Она принадлежит к тому роду женщин – падших со дня рождения, для которых

решетки монастырей и ставни гаремов кажутся специально изобретенными. В ней нет ничего, кроме слабости и ребячества, легкомысленного и чувственного. В каком уголку ее ветреного мозга могла бы приютиться идея долга? Она уходит и возвращается, разрывает и отдается; сердце хранит для любовника, а тело отдает первому встречному. Она находит вполне естественным, что Дегрие плутует в картах, чтобы содержать ее; ей кажется совсем простым, что он живет на хлебах и пользуется кошельком того человека, которому она продается.

Она нравится нам такой, и мы не хотим ни одного пятна убавить в ней, и если мы жадно слушаем ее бесстыдную исповедь, то мы отказываем ей в крещении, которое вернуло бы ей невинность. Она нужна нам, как дева наслаждений, и в то же время, как дева скорби. «Слушай, – говорит байроновский Сарданапал своей возлюбленной, перед костром, на который он готовится взойти, – если ты не можешь без холодного ужаса подумать о том, чтобы кинуться вместе со мною в будущее сквозь эти языки пламени, то скажи: я не стану любить тебя меньше; о, нет! быть может, я полюблю тебя еще больше за то, что ты уступила своей природе».

I shall not Love thee lees; noy, perhaps more,
For yielding to thy nature...

В этом тайна нашей любви к Манон Леско. Мы любили ее за то, что она уступила своей природе, за то, что она пленительно естественна в своих пороках, как и в любви. Она легкомысленна, и ветер уносит ее; она хрупка и дает разбить себя; она без ума от своего кавалера, но она также «безумна телом», по энергичному выражению Средневековья, которым оно определяло женщин ее класса. Она может жить только в роскоши, в удовольствиях и безделье, и она черпает средства для жизни где может, от зеленого ли поля нечестной игры, или от ложа продажной любви; и во все свои поступки, и стыдные и дурные, она вносит какую-то наивную грацию, которая нас пугает и в то же время обезоруживает. Хорошо ли это? Дурно ли? Манон этого не знает. Она не больше ответственна за свои поступки, чем Gazza Larda* за свои кражи. У Манон нет души, как у Ундины немецкого поэта.

* Сорока-воровка (*ит.*).

Сколько надо было огня, чтобы очистить эту грязь! Поэтому вся эта маленькая книжка горит в лихорадке; она обжигает и трепещет: это «французская ярость», перенесенная в область любовных порывов и заблуждений. «Я приблизился к владычице моего сердца», — говорит Дегрие, когда видит Манон в первый раз; он кидается в ее объятия, потеряв голову; и из этих объятий, таких же неотвратимых, как земное тяготение, ни измены, ни несчастье, ни позор не смогут вырвать его никогда. С самой первой до самой последней страницы рассказ сохраняет тон, экзальтацию и уносящий порыв дифирамба. Можно составить целую ектению любви из слов обожания, с которыми он обращается к своей героине: «Моя дорогая Королева! Идол души моей! Владычица моего сердца!» И это по всякому поводу; в другой книге эта горячность выражений казалась бы напыщенностью, но для этого стиля она естественна — настолько раскалена она вся.

Какая внезапность и какое постоянство! какой порыв и какое упорство! А в конце какая дерзость в этой отверженной любви! Это повесть «О влюбленной куртизанке» наоборот: любовник кладет свою обнаженную грудь ей под ноги и сам отдается ей в рабство. Никогда, это адское или небесное видение, которое стирает целиком всю природу, чтобы ярче выделить образ обожаемой женщины, которое дает ей над человеком власть существа абсолютного, потому что она едина; никогда, повторяю я, этот ослепительный призрак не был написан красками более яркими. Дегрие ни разу не уклоняется в сторону во время этого длинного рассказа; Манон наполняет его целиком — своим ли присутствием или отсутствием, своими ли падениями и повторениями их, и своею нежностью и своими слабостями. Обожать ее, когда он ею владеет, искать ее, когда он ее теряет, прощать ей, когда она виновата, освобождать ее, когда она в плену, оплакивать ее кровавыми слезами, когда она умерла, вот единственные мысли, его волнующие, неотступное занятие этого существа, которое как бы создано исключительно для того, чтобы служить другому. Даже собственное бесчестие его является только следствием этого добровольного ослепленья. Он ворует для Манон, так же, как Орест убивается для Гермионы: со сладостным изуверством. Для него на земле есть только она, а всё остальное

в мире лишь добыча. Наивный цинизм, с которым он исповедуется в своих мошенничествах, свидетельствует о том, как мало угрызений оставили они по себе. Чувствуется, что ему трудно в этом раскаиваться и что он в глубине души считает хорошо заработанными эти украденные монеты, которые имели честь оплачивать ленты и драгоценности Манон.

Когда любовь достигает этого пароксизма, она начинает внушать какое-то почтительное сочувствие, как безумие, как эпилепсия, как эти таинственные болезни, которые насылаются как бы чьей-то сверхъестественной волей на слабую персть человечью. Отсюда и возникает та непреодолимая симпатия, которая охватывает вас при чтении этой странной книги; поэтому текут горячие слезы, которыми даже самые чистые глаза орошали ее страницы. Понизьте на одну ступень жар сердца, ее раскаляющего, пусть страсть Дегрие ослабеет хотя бы на одно мгновение, и эта история мошенника и погибшей девушки станет в тот же миг почти отвратительна, но внезапное пламя, зажженное глазами Манон с первых же слов рассказа, растет с каждой страницей, сжигая их грязь, набрасывая магические покрывала на их обнажения, при каждом новом позоре вспыхивая еще ярче, еще горячей, до тех пор, пока не погасает среди Саванн Нового Света, как скорбное самосожжение в пустыне. Чем ниже его любовница падает и губит себя, тем исступленнее любит ее Дегрие. Он как бы мерит порыв своей любви глубиной ее падений. Он любит ее в госпитале; он обожает ее на позорной телеге, увозящей проституток в ссылку.

Потому что о Манон нельзя себе делать иллюзию: она не принадлежит даже к аристократии «п а д ш и х». Больших куртизанок, застигнутых в правонарушениях общественной жизни, отправляли в С е н т - П е л а ж и; для плебеек же братства тюрьмой служил госпиталь. Да, Манон и телом и душой принадлежала к племени этих двусмысленных нимф, которыми Начальник Полиции распоряжался по-турецки, как паша на Кипре, если бы остров Афродиты сохранил древний культ. При малейшем скандале, по первой же жалобе какого-нибудь отца или дяди, а часто только потому, что приходил сезон такого рода охоты, полиция выпускала своих ищеек в погоню за публичными женщинами. Их нагружали в телеги и отправляли в госпиталь, откуда их выпускали только для

того, чтобы отправить в колонии под началом негроторговца белым товаром. Тем хуже для девушки соблазненной, но еще честной, которая оказывалась завлеченной посреди этого набега, насильственного и неорганизованного: Венера разберет своих. Такое печальное соответствие Отплытию на Цитеру Ватто являет этот плот потерпевших крушение в распутстве, гибнущий в пустыне!

«Они едут населить Америку любовью!» – восклицает с берега Лафонтен, полуплача, полуулыбаясь.

Предо мною лежат две гравюры XVIII века, живо передающие мученичество этих «безумных дев». Одна называется «Весталки стриженые и бритые»; потому что первым действием причудливой юстиции было остричь их наголо. Их там около дюжины проституток; они выстроены перед трибуной насмешливого судьи, пышный парик которого словно издевается над их обнаженными головами. Рядом с ним секретарь озабоченно регистрирует эту стрижку паршивых овец. Две из них находятся в руках палача-цирюльника, который показывает судье только что снятые скальпы. Они рыдают, предаются отчаянью и со стыдом прикрывают руками обнажившийся череп. Те, которые должны быть обриты в свой черед, ползают с мольбами у ног судьи. Можно подумать, что это Madame Дю-Барри тридцать лет спустя, умоляющая, но уже не о волосах, а о голове: «Господин Палач! Господин Палач! не делайте мне больно». Мальчишка уносит обеими руками корзину, переполненную прядями волос, свисающими в беспорядке. А в глубине, – мучительная и противная подробность, – две уличных собаки, забежавшие в эту гнусную преторию, тянут за два конца забытую косу, которая путается и рвется у них в зубах.

Другой эстамп называется «Отправление весталок в госпиталь». Это телега первых и последних страниц Манон Леско; телега, наполненная скованными, связанными, стиснутыми женщинами. Одни смеются, другие плачут; эти протягивают руки к своим любовникам, которых они заметили в толпе; те презрением или наглостью отвечают на гиканье черни. Стражники с ружьями на плечах сопровождают эту позорную колесницу, запряженную двумя здоровыми битюгами. Куда их везут? этот омнибус Венеры Всенародной так напоминает телеги Террора, что

можно подумать, что их отправляют на гильотину. И Манон фигурирует среди улова этого невода позора! Этого довольно, чтобы назвать то имя, тот камень, который можно в нее бросить. Но не будем жалеть о тех слезах, что она заставила нас пролить. Она очаровательна, несмотря ни на что, потому что она кротка, потому что она наивна, потому что она настолько же не знает, что она делает зло, насколько девушка с о. Таити не знает, что она нага. Она, как ребенок, не ведает нравственности. Эта «*хорошенькая язычница*» г-жи де Севиньи; вода крещения никогда не касалась головки этой эротической нимфы. Как ни противься, но невозможно не быть соблазненным «этими глазами – острыми и томными», «этим лицом, способным обратить всю вселенную в идолопоклонство». В чем секрет этого странного очарования, которому даже самые строгие не могут не поддаться? В удивительной простоте, в неподражаемой естественности, в правде плоти и крови, которая вас волнует самою своею обнаженностью. Но нельзя анализировать очарования. Это чувствуется, но не поддается объяснениям. «Велика ли твоя возлюбленная?» – спрашивает влюбленный одной из шекспировских драм у своего товарища по приключениям. А тот отвечает: «Как раз в уровень моего сердца».

Аббат Прево хорошо сделал, что послал Манон умирать в пустыню. Что бы из нее вышло в Париже, грязном и порочном, где она заблудилась? В каком дурном месте, на каком перекрестке, на какой прогнившей соломе темницы пришлось бы ей умирать? Этой Марии Египетской Регентства необходимо было очищение пустын<ей>. Один путешественник рассказывает, что колонисты, которые женились на сосланных женщинах, смотрели на них как на очищенных переездом через Океан. И разве нет, действительно, в Океане очистительных свойств? Не пробуждается ли европеец, перенесенный в экзотический мир посреди неведомых растений и животных, от своего прежнего существования, как от сновидения? Ему кажется, что он переселился на другую планету; для него начинается новая жизнь. Франция XVIII века из глубины своей утонченной цивилизации смутно тосковала по свежести пустыни. Она мечтала о «лесных бродягах» своих колоний; «Индия» рисовалась ей издали окутанной успокоенным светом Едема. Чтобы понравиться своему веку, Аббат

Прево похоронил Манон в степях Лузианы, а позже Бернарден де Сен Пьер заставит Виргинию родиться в тени кокосовой пальмы посреди антилоп и райских птиц тропического острова. С двух полюсов поэтического мира грешница Манон и девственница Виргиния устремляются в те же странствия, с теми же попутными ветрами, к неведомым берегам. Старая Европа заклеймила одну и только успела разбить другую. Виргиния бросается в море, умирая от стыдливости; Манон прячет свое опозоренное тело в песках Саванны.

XXVII. Mademoiselle Аиссе

«Здесь есть новая книга, которая называется: “Мемуары знатного человека, удалившегося от света”. Сама она не многого стоит, но в ней есть сто девяносто страниц, которые нельзя читать, не обливаясь слезами». Эти сто девяносто страниц те, что заключают в себе «Историю кавалера де Грие и Манон Леско», а плачет, читая роман Аббата Прево, – Мадемуазель Аиссе. Столь прекрасные слезы могут омыть Манон и очистить ее историю.

Восемнадцатый век не знает фигуры более трогательной, чем эта черкешенка, сто двадцать лет назад похороненная в склепе церкви Святого Роха, вместо того, чтобы почить последним сном в одном из кладбищенских садов Босфора, окутанной в кашмировый саван Султанш, как подобало ей по праву. По характеру, как и по происхождению, она стоит в стороне от беспокойной группы женщин той эпохи: ни известности, ни влияния у нее не было. Память о ней целиком заключена в маленькой книжке писем; алавастровая урна Мавзолея! Дочь Азии, мановением волшебной палочки судьбы перенесенная с Константинопольского базара в мир Регентства, Аиссе прошла мимо чужеземной оргии под стыдливым покрывалом восточных женщин. Единственное отличие ее в том, что она любила в то время, когда все разучились любить. В древности были города и острова, Кипр и Коринф, например, посвященные исключительно культу чувств. Среди всех эпох нашей истории первая половина XVIII века кажется исключительно посвященной чувствительности. Она его окутывает, наполняет, волнует и возбуждает, при-

давая обществу характер элегантной вакханалии. Это была моральная эпидемия, такая заразительная и всеобщая, что казалось, что она вызывается каким-то физическим током, каким-то дуновением нечистого ветра, влияющего на нравы поколения. Неотразимое искушение окружало женщину и принимало все формы, чтобы погубить ее стыдливость. Туалет ее раздевал, мебель звала ее к падению, книга развращала ее ум, музыка размягчала душу, беседа издевалась над ее совестливостью, картины и статуи обожествляли чувственные наслаждения. Этот апофеоз распутства славил не стыдливую любовь, а желание быстрое и торопливое, вязавшее и развязывавшее, как пояса, однодневные связи. Чувство осмеивалось, над верностью издевались, страсть сводилась к любви мимоходом; ухаживание переходило во внезапные нападения. Часто в этом карнавале роли менялись; женщина делала первые шаги, вызывала. Новый тип, появившийся в последние годы Людовика XIV, царит при Регентстве; это модный кавалер, за которым ухаживают, которому льстят, которого чтут, чтобы победить, ему стоит только захотеть, чтобы соблазнить – только выбрать, и самые гордые красавицы борются из-за его каприза. Леторьер в один день рассылает самым знатным дамам Версаля циркулярное объяснение в любви. Три поколения женщин обожают герцога Ришелье. Его почти вековое очарование становится суеверием и обычаем. К концу столетия он напоминает старых идолов, уже давно не совершающих больше чудес, но к которым набожные женщины приходят молиться по-прежнему. В восемьдесят пять лет он щеголял своей последней любовницей.

Желание извращалось в этих цинических играх. Обольщение, ставшее умной и развратной тактикой, приводило к бесчестию женщины, как фехтовальное искусство наемного убийцы к смерти своего противника. Мужчина не снисходил для обольщения до маски чувства или нежности; он нападал с помощью иронии острой и холодной, как лезвие шпаги. Он одерживал победу своей сухостью, покидал с наглостью, радовался страданию и слезам. Есть один момент в XVIII веке, когда распутство воистину становится сатаническим. Что представляют из себя в реальной жизни герцог Фронсак, маркиз Лувуа, граф Клермонт, а среди вымыслов «Méchant»*

* Злой (*фр.*).

Грессе и «Вальмон» Лакло – как не преступников в кружевных манжетах? Старые процессы о колдовстве передают, что колдуньи, признаваясь судьям в любовных сношениях с диаволом, жаловались на ледяной холод его объятий. Любовницы развратников («Roues») того времени, без сомнения, могли бы сделать такое же признание. По этому «преступному пути» можно далеко уйти: бездна призывает бездну; моральная жестокость ведет к кровожадной свирепости. Это элегантное вырождение превращается в помойную яму и заканчивается бойней. Амур, бывший на заре столетия пастушком, превращается в палача и пытает своих жертв в кровавых лучах его сумерок.

Оригинальность Аиссе не столько в ее необычной судьбе, сколько в примере благородной нежной страсти, который она дала испорченному обществу. Существуют портреты Наттье и Ларжильера, изображающие знатных дам той эпохи в костюмах весталок, поддерживающих огонь на треножнике. Такой портрет Аиссе определял бы всю ее жизнь. Она ее сожгла, поддерживая священный огонь любви.

Ее история начинается как сказка. Де Ферриоль, посланник короля Людовика XIV в Константинополе, увидал однажды на невольничьем рынке четырехлетнюю девочку, выведенную на продажу. Она происходила из одного черкесского селения, разграбленного и разрушенного турками. Она носила имя Аиши или Гаиде, как байроновская героиня, но во Франции оно показалось слишком странным, и из него сделали Аиссе. Она была найдена, как говорили, во дворце одного из принцев своей страны. Действительно, позже, когда мадемуазель Аиссе смутно припоминала свое детство, она видела себя, как бы в сновидении, во дворце, наполненном рабами, коленопреклоненными вокруг нее. Де Ферриоль во время посланничества перенял турецкие нравы; он купил девочку и отправил ее дозревать во Францию к своей невестке, госпоже де Ферриоль: из этого семени одалиски он хотел себе вырастить любовницу-рабыню, самую восхитительную Авигею, о которой может мечтать старик.

Аиссе выросла и стала очаровательна, это можно проверить по портретам, изображающим ее в первом цвете юности. Это чистая, почти детская головка, озаренная большими невинными глазами, такими, которые восточные поэты

сравнивают с газельими. У нее сохранился взгляд черкешенки на лице, ставшем французским по своему любезному выражению и оживленности. Восхитительное и единственное в своем роде противоречие. В этом лице, оттененном умом, томностью и наивностью, есть и дама, и девушка, и гурия.

Появление мадемуазель Аиссе в свете вызвало в то время большое любопытство. Эта юная азиатская принцесса, спустившаяся с Кавказа в парижские гостиные, казалась настоящим оперным эффектом. Молодая гречанка, как ее называли, вскоре вскружила все головы. Регент одну минуту хотел ее сделать своей любовницей. Но рабыня не желала поступиться свободой своего сердца; она объявила, что уйдет в монастырь, если его преследования будут продолжаться. – А между тем, какая женщина казалась бы более фатально обреченной на рабство любви, чем эта девушка, рожденная в тех горах, откуда набираются гаремы, с детства носившая на лбу знак пальца евнуха и купленная на базаре старым развратником? Кто не предсказал бы судьбы блестящей куртизанки этой одалиске, переодетой в европейское платье как бы для того, чтобы лучше завлечь желание. Ее происхождение, ее кровь, ее звезда – все, казалось, вело ее к тысяче и одной ночи удовольствий. Напрасные предзнаменования, лживые гороскопы! Единая любовь, смущаемая сожалениями, очищенная раскаяниями, искупленная смертью, суждена была этой послушнице гарема. С первых же слов она является в скромной позе той юной турецкой принцессы из расиновского «Баязета», которая старается на сцене извинить свое экзотическое происхождение, преувеличивая свою бледность и сдержанность.

Задавали себе вопрос, бросил ли г-н де Ферриоль, через десять лет вернувшийся из своего посольства, платок своей пленнице и был ли этот платок поднят? Относительно этого существуют сомнение и неуверенность. И все же, несмотря на свидетельство одного двусмысленного письма, я принадлежу к тем, кто не может допустить такого рабского смирения в душе столь гордой. Каким образом та, что должна была умереть от наиболее благородной и ревностной любви, могла подчиниться праву паши? – В первый раз она встретила кавалера д'Эйди у Madame Дю Деффан; она его полюбила с первого взгляда и до смерти. Юноша был достоин та-

кой возлюбленной. Все воспоминания того времени говорят о нем, как о Танкреде, влюбленном в Клоринду. Вольтер в письме к Тьерио, говоря о своей трагедии «Adelaïde Duguesclin»*, вторично посвящает его в рыцари прикосновением своего пера: «Это чисто французская тема и вполне мною продуманная; я вложил туда сколько мог любви, ревности, исступления, приличия, честности и величия души! Я вывел некоего сира де Куси, весьма достойного человека, каких теперь не встречаешь при дворе; это вполне безупречный Рыцарь, как кавалер д'Эйди или кавалер де Фрулей».

Письма д'Аиссе и кавалера д'Эйди были утеряны: их любовь остается подернутой как бы стыдливой светотенью. Можно только издали различить сплетенную пару, бегущую и ускользающую, подобно группе Паоло и Франчески, проскользнувшей в печальном тумане пред взорами Данта. Аиссе в одном из писем, подвергая критике утрированную игру одной актрисы, рисует самое себя, когда говорит, что честная любовь должна быть скрытной.

«Мне кажется, что в роли влюбленной, насколько бы положение ни было ужасно, необходимы прежде всего скромность и сдержанность; вся страсть должна выражаться в тоне голоса и интонациях. Страстные и несдержанные жесты надо предоставить мужчинам и волшебникам; юная же принцесса должна быть скромной». Разлуки, беспокойства, препятствие, рождение дочери – «такой хорошенькой, что ей необходимо простить ее появление на свет», говорила ее мать, – это были единственные события их таинственной связи. Но пламя эфира, не оставляющее ни дыма, ни пепла, нисколько не менее жгуче. Аиссе была одной из тех душ, которых всякое трение жизни ранит; страсть была для нее смертельна: горностай погиб от своего пятна. Она страдала от того, что было запрещенного в ее счастье, и от избытка нежности, в которой упрекала себя. Из трогательной щепетильности она не приняла руки кавалера д'Эйди, которую он предлагал ей в течение двенадцати лет с самой нежной настойчивостью. «Я слишком люблю его славу», – говорила она, как сказали бы на ее месте Монима или Арисия. Между тем жизнь ее не была из счастливых; ее романическое рабство превратилось в ре-

---

* Аделаида Дюгеклен (*фр.*).

альную зависимость; она была связана с семьей де Ферриолей стеснительными связями, отягчавшимися с каждым днем. Посланник, умирая, завещал ей скудный пожизненный пансион, который у нее оспаривала его невестка. Г-жа Ферриоль, бывшая куртизанка, превратилась с течением времени в сварливую дуэнью. Аиссе томилась под неблагодарной сенью этого дома, замороженного равнодушием и скупостью; но дом ее приковывал. Признания, вырывающиеся у нее, похожи на подавленные вздохи. «Мне надо по сто раз в день напоминать себе о том уважении, которое я должна питать к ней. Нет ничего печальнее, когда побуждением к исполнению долга служит только сознание долга». Стесненная таким образом в своих порывах, принужденная сдерживать свои чувства, больная от той среды, в которой жила, от этой атмосферы холодного недоброжелательства, в котором нежные души задыхаются, мадемуазель Аиссе сгорала в этой обстановке кажущегося довольства. Любовь в ее печальном существовании была как один из тех потоков, что протекают сквозь старые монастыри. Она никогда не знала ее во всей свободе и полноте; она страдала от того, что могла испить лишь от убегающих вод и запретных наслаждений. Никогда счастье, впрочем такое непостоянное, не могло ее заставить забыть о своей виновности; письма ее как бы омыты слезами этого трогательного раскаяния. Рожденная для добродетели и отвлеченная от нее неодолимою страстью, она сохранила к ней как бы тоску по родине. Ее имя постоянно у нее на языке, как имя родины у изгнанницы. «Увы! – пишет она одной очень благоразумной и строгой даме, с которой часто советовалась, – почему вы не m-me де Ферриоль? Вы бы научили меня быть добродетельной». И дальше: «Мне доставляет искреннее удовольствиее открывать вам сердце; мне не стыдно исповедоваться вам во всех моих слабостях. Вы одна влияли на мою душу; она была рождена, чтобы быть добродетельной... Я показалась вам существом, достойным сочувствия и согрешившим, не вполне ясно это сознавая. К счастью, деликатности самой страсти я обязана познанию добродетели. Я полна недостатков, но я уважаю и люблю добродетель». И еще: «Каждый день я вижу, что только добродетель имеет ценность как в этом, так и в том мире. Мне не было дано счастие соблюсти свое поведение, но я уважаю и преклоняюсь пред людьми добродетели; и уже

одно желание быть в числе их влечет для меня за собою массу лестных вещей: сострадание, всеми высказываемое мне, делает то, что я почти не чувствую себя несчастной». Узнав о свадьбе одной молодой особы из Женевы, которую она знала, она восклицает, завидуя ее счастью: «Ах! Вы живете в счастливой стране, где еще женятся, когда умеют любить и любят! Да будет угодно Богу, чтобы и здесь было то же». Религия освятила это мученичество совести, Бог привлек к себе эту истомившуюся душу. Она уже давно страдала от своей вины, как от неизлечимой раны; христианские укоры совести добили ее. Аиссе умерла, раскаявшаяся и примиренная, по-прежнему любя своего дорогого кавалера, но уже в надежде на сияние вечное.

Так угасло это очаровательное видение. Она появилась посреди оргии того времени, как Психея на Олимпийском пире, образ души, присутствующей при опьянении чувств, не принимая в нем участия. Собственный грех ее был поучением и добрым примером. Этому миру вакханок и куртизанок она показала поэзию покрывала и изящество сдержанных падений. Посреди шумного распутства эпохи ее маленькая келья затворницы, отворявшаяся только для верного любовника, была похожа на молчаливое гнездо, где любовь, изгнанная из всех душ, находила убежище и свертывала крылья.

Имя ее, так сладко звучащее на губах, не погибнет; оно присоединилось к именам Элоизы, Беатрисы, Лауры, Лавальер, станет частью этого созвездия чистых и пылающих сердец, которых влюбленные призывают, как звезд-покровительниц.

Разумеется, Аиссе самая бледная, наименее заметная, наименее великолепная из этих звезд любви первой величины: поэтому, быть может, она и самая трогательная. Ее робкое сияние всегда будет привлекать печальные мысли и взгляды к тому краю неба, где мерцает она.

Какая разница судьбы, если бы де Ферриоль оставил ее на невольничьем рынке. Она была бы кинута на диван какого-нибудь гарема; она проводила бы свои дни в составлении селямов, в подкрашивании ногтей и век, вдыхая запах духов. Быть может, она была бы счастлива, но прозябание не жизнь; в конце концов, она выиграла, переменив жребий. Если она страдала, то она и любила, а один час страсти стоит сам по

себе целой вечности мусульманского рая. Один день Аиссе более ценен, чем все существования многих поколений, взятые вместе.

XXVIII. **Свифт**

Английский гений не имеет представителя более неистового и отталкивающего, чем Джонатан Свифт. Он воплотил в нем безудержную гордость, мрачный эгоизм, исступленную ненависть, злую иронию, необщительность характера – все смертные грехи своей расы и страны. В этом диком мизантропе нет ни одной симпатичной черты; во все стороны он ощетинен гримасами и угрозами. Не знаешь, с какой стороны и подступиться к этому комку когтей и шипов. Он внушает то отвращение, то ужас: прекрасным символом его гения может служить свернувшийся дикобраз.

Вся его жизнь была одним злостным тиранством, прерываемым приступами ярости. Тирания эта началась с рабства. В двадцать лет секретарь у сэра Вильяма Темпля, в тридцать – домовый священник у лорда Беркелея, в обоих должностях, в сущности, замаскированный слуга, Свифт испил до дна все унижения и оскорбления. Он испытал, как трудно восхождение по лестнице службы и как горек хлеб лакея. Он освободился от этого подчиненного положения при помощи своих убийственных памфлетов, уподобляясь беглому рабу, расчищающему себе дорогу ударами кинжала. Свобода прессы только что создавалась; Англия была преисполнена изумлением перед газетой, как нынешние негры перед «бумагой, которая говорит». Свифт почти мгновенно стал силой; аристократия, духовенство, министры пользовались одни за другим этим едким пером, наносившим смертельные раны, и страшились его. Бывший писец Вильяма Темпля, наемный священнослужитель лорда Беркелея был советником министерств и диктатором партий.

Он жестоко злоупотреблял этим изменением счастья, возмещая за презрение ругательством, за наглость проклятием. Выскочки-куртизанки мстят подавляющей роскошью за детство, проведенное в нищете: выдвинувшийся памфлетист осыпал оскорблениями тот класс, презрениями которого насытился.

Его неукротимое высокомерие сокрушало гордость племени вельмож и министров. Рассказывают о его причудах, похожих на удар клыком. – Он возвращает банковский чек, посланный ему первым лордом казначейства в благодарность за статью, требует извинений, получает их и пишет в своей газете: «Я вернул мое благоволение господину Гарлею». – Герцог Букингемский выражает желание с ним познакомиться; Свифт отвечает: «Это невозможно – он мне не сделал достаточно авансов». Ему отвечают, что герцог не имеет обыкновения сам делать первый шаг. «Я отвечал, что ничего поделать не могу, так как всегда ожидаю первых шагов в соответствии со знатностью людей, и от герцога больше, чем от всякого другого человека».

В другой раз ему представилось, что государственный секретарь Сен-Джон принял его с натянутым лицом. Это его приводит в негодование и возмущает, как оскорбление величества. «Я предупредил его, что не желаю, чтобы со мною обращались как со школьником, что все министры, делающие мне честь своей интимностью, должны, если они что-нибудь против меня имеют, сообщить мне это в ясных выражениях, а не давать мне труда об этом догадываться по холодности и изменению их обращения со мной; что такого рода вещь я бы с трудом перенес даже со стороны коронованной особы, а расположение подданного, конечно, уж не стоит такой цены; что я имею намерение сделать такое же точно заявление лорду хранителю печати и г. Гарлею, дабы они обращались со мной соответственно». Сен-Джон защищается, ссылаясь на две бессонные ночи, одну, посвященную попойке, другую – работе, то, что Свифт принял за холодность, было лишь усталостью. Он соблаговолил принять это объяснение.

Несмотря на свое перо и свое влияние, Свифт не смог достигнуть власти. Страсти его были еще сильнее, чем честолюбие. Он отказался и от посоха и от печати, потому что не мог воздержаться от сарказма от удовольствия уколоть противника. Нельзя было сделать епископом скептика, который в *Сказке о Бочке* сравнивал христианские секты с одеждами, более или менее расшитыми. Нельзя было сделать лордом человека, который писал в своем «Гулливере»: «Аристократ – это несчастный человек с прогнившим телом и душой, который вобрал в себя все болезни и пороки, за-

вещанные ему десятью поколениями развратников и дураков». Свифт был из тех, кого партии поддерживают, но не возвышают. Сосланный в Дублин на деканство св. Патрика, в бедствии страны своего изгнания он почерпнул новые материалы для своей ярости. Англичанин по происхождению, ирландец по месту рождения, он воспринял всю ненависть своей приемной родины против собственного народа; он заставил рыкать ее голод, сочиться ее раны, звенеть ее цепи. Порабощенная Ирландия нашла в нем самого яростного и мощного из своих трибунов, потому что этому хищнику нельзя отказать в некоторых благородных страстях. Он ненавидит несправедливость, лицемерие его возмущает: «Испорченность власть имеющих, – как он говорит – пожирает его плоть и иссушает кровь». Но он не умеет любить, он умеет только ненавидеть. Он защищает дело угнетенных без всякой симпатии; заступаясь, он их презирает почти настолько же, как и угнетателей. Его жажда справедливости проистекает из постоянного раздражения. В его рвении есть горечь, а в преданности – желчь.

Несомненно, что характер такого рода не был создан для того, чтобы прельщать; его внешняя оболочка соответствовала внутреннему содержанию, будучи резко безобразной и угрюмой. Он мог бы сказать вместе с Ричардом III Шекспира: «Я поссорился с Любовью еще во чреве матери». Кроме того, он цинично проповедовал презрение к женщинам. Природа создала его бесполым, но он насиловал эту бесполость. Я не знаю ничего более отвратительного, чем его письмо к молодой особе по поводу ее замужества. Он пачкает ее свадебную фату; грубыми руками педанта он обрывает цветы ее венка и иллюзии ее сердца: «Вам остается, – пишет он ей, – немного лет быть молодой и красивой в глазах света и лишь немного месяцев оставаться таковой же в глазах своего мужа, который не дурак. Потому что я надеюсь, что вы не мечтаете о тех очарованиях и восторгах, которыми брак манил и будет манить всегда, с единственной целью разбивать их тотчас же. Впрочем, ваше соединение было лишь делом благоразумия и доброй дружбы, без всякой примеси той смешной страсти, которая существует только в театральных пьесах и романах». Он продолжает этим же грубым тоном, переходя от обид к оскорблениям, обращаясь к этой молодой девушке, как к самке,

которую готовят к случению. «Подобно тому, как теологи говорят, что некоторые люди больше прилагают усилий, чтобы погубить свою душу, чем надо употребить, чтобы спасти ее, так и ваш пол прилагает больше усердия и стараний для достижения разных сумасбродств, чем было бы необходимо для того, чтобы быть благоразумным и полезным. Когда я думаю об этом, я не могу поверить, что вы действительно человеческие существа. Вы представляете из себя породу, едва ли на одну ступень стоящую выше обезьян. И, кроме того, обезьяны умеют выкидывать шутки еще более забавные, чем вы, и являются в общем животными менее дорогими и менее вредными. С течением времени и обезьяну можно научить удовлетворительно разбираться в бархатах и парчах, а украшения эти, сколько я знаю, будут ей к лицу не менее, чем вам».

И тем не менее это мерзостное существо было любимо. Успех среди женщин карлика Астольфа и Негра из Тысячи и одной ночи не более изумительны, чем страсти, внушенные Свифтом. Это была любовь наоборот: Галатея, ухаживающая за Полифемом, Миранда, влюбившаяся в Калибана. Прежде всего добивалась его руки одна молодая девица, по имени мисс Уоринг; для того, чтобы ее испугать, он так описал ей брак, что описание Арнольфа рядом с его кажется туалетным зеркалом. «Способны ли вы, – пишет он своей невесте, – отказаться от собственных склонностей, чтобы усвоить мои, не иметь иной воли, чем моя, и решиться на полное самоотречение? Будете ли вы терпеливо сносить мои вспышки гнева, часто несправедливые, и мое расположение духа, почти всегда отвратительное? Сумеете ли вы содержать дом и внести в него уют на триста фунтов стерлингов? Будете ли вы ангелом смирения, какого я не надеюсь найти в этом мире? Если вы считаете, что способны на всё это, тогда выходите за меня замуж».

Мисс Уоринг отступила пред этим портретом. Эсфирь Джонсон пленилась оригиналом. Это была красивая молодая девушка, которую он знал у первого своего патрона, Вильяма Темпля. Он был ее учителем и стал ее господином. Этот ребенок привязался к нему со страстью, которая была похожа на одержимость. Она последовала за ним в Ирландию. Она вступила в его деканство, как в монастырь. Девушка принесла обеты целомудрия в объятиях этого бессильного старика.

Но другая девушка, мисс Ваномридж, в свою очередь, влюбилась в Свифта. Бессильное и страшное пугало привлекало к себе голубиц. Свифт предоставлял себя обожать с неуклюжей застенчивостью; он предоставлял обеим платоническим любовницам тянуть его за две полы его окургуженной рясы. Он называл их поэтическими именами – Стеллы и Ванессы; иногда даже он выковывал для них тяжеловатые мадригалы: подарок старого циклопа своим нимфам. Но его любезность гримасничает и лезет из кожи вон. В его стихах чувствуется евнух, для которого любовное письмо является задачей неблагодарной, как урок, заданный в наказанье.

Между тем Стелла, узнав, что у нее есть соперница, заболела от отчаяния и ревности; чтобы излечить ее, Свифт женился на ней. Ледяной и комичный брак. Контракт оговаривал его бессилие. Тем не менее Ванесса умерла от горя. – В этой полушутовской, полутрагической истории есть тайна; она может заставить поверить в привороты. – Стелла с тех пор только чахла и вскоре умерла сама. Но, уходя, она, по крайней мере, унесла с собой разум убившего ее старика. Нечувствительный к страданиям своих двух жертв, Свифт не был в состоянии бороться с их призраками. Его старость была терзаема ужасами тоски и безумия. Он испытал медленную пытку: чувствовать, как идиотизм постепенно овладевает им, точно гангрена. Его способности утрачивались одна за другой; он потерял сперва зрение, потом память, затем разум. Его ипохондрия превратилась в бешенство. Он умер, согласно собственному своему предсказанию, «как отравленная крыса в норе».

Талант Свифта – это сам человек: ловкость палача, человеконенавистничество ипохондрика, смех тирана. Он напоминает то Аполлона Рибейры, с окровавленным ножом в зубах, глядящего на дымящееся тело Марсия, то шекспировского могильщика, паясничающего над открытыми могилами и ударом кирки проламывающего мертвые головы. Как памфлетист, он страшен и единственен. Никогда мщение не совершалось более холодно и челюсти хищника не двигались более флегматично. «Горе! – воскликнул Август, оставляя империю Тиверию. – Горе римскому народу, которому суждено стать добычей этих столь медленных челюстей».

Miserum populum romanum qui sub tam lentis maxillis erit!* – Это восклицание Августа вспоминается невольно, когда присутствуешь при казнях Свифта. Подобно ему жалеешь несчастных, попавших в руки этого методического мучителя. Ни одной вспышки, ни одного содрогания, ни одного из тех порывов гнева, которые, сокращая казнь, облагораживают ее, придавая ей характер битвы. Он разнимает свою жертву на части симметрично, он ее делит и подразделяет, он готовит особую боль для каждого члена, и особую судорогу для каждой связки. – Таков он в своих сатирических портретах, например, в портрете лорда Уартона, напоминающем анатомический препарат.

Свифт-моралист не перестает быть памфлетистом. Ненависть его из частной становится общей. Он хотел бы, чтобы у человечества была одна голова, чтобы плюнуть ему в лицо. В рассказах своих он только и заботится о том, чтобы унизить его и надругаться над ним. Он развенчивает все его страсти, разбивает все его порывы, бесчестит все его чувства. Для него тело лишь аппарат для позорных отправлений, душа – восприемник пороков и сумасшествий, красота – пустой обман зрения, неспособный противостоять стеклу микроскопа. Религия для него резюмируется в фанатике, наука в шарлатане, политика в доносчике, цивилизация – в стаде дураков и мошенников. В своем Гулливере он создает Я г у, нечто вроде отвратительных и свирепых обезьян, сравнивает их с людьми и объявляет, что они выше. Его Гиганты и Карлики одинаково унижают нас, одни принижая нас до состояния насекомых, другие пародируя муравейником. По существу своему, это путешествие Гулливера более печально, чем странствие Данта по Аду. Вы будете напрасно искать там выхода к небу. Какая разница с вымышленным морским путешествием Пантагрюеля Рабле, с которым его так часто сравнивали! Корабль Пантагрюеля плывет в открытом океане Природы и Науки; ветер будущего вздувает его паруса; заря Ренессанса пылает на горизонте. Как и корабль Гулливера, он пристает к символическим островам Лжи и Невежества; но веселые великаны, плывущие на нем,

* Бедный римский народ, в какие он попадает медленные челюсти! (*лат.*). Пер. М.Л. Гаспарова. (*Ред.*).

презирают их чудовищ, разгоняют их призраки и заклинают их демонов раскатами громового смеха. Гулливер Свифта странствует без надежд и без идеалов. Химерические страны, которые он посещает, показывают ему человеческие пороки то чудовищно преувеличенными, то смешно искаженными. Он познаёт, что человечество и неисправимо и неизлечимо, и что всё суета и бедствие. Вселенная в том виде, как она ему представляется, является лишь обширной системой адов и темниц, катящихся в пустоте. Вплоть до самой идеи бессмертия Свифт старается всё обезобразить и унизить. На острове Лугнаг Гулливер встречает Струдбругов, племя бессмертных; но эти бессмертные являются стариками, одряхлевшими и впавшими в идиотизм, которые, болтая вздор, тащатся через свою постылую вечность, каждое десятилетие увеличивает их дряхлость, каждое столетие отягчает их бессилие. Существа, которых Греция сделала полубогами, для Свифта являются лишь глупцами, впавшими в детство.

Свифт пугает и шокирует нас даже тогда, когда он морализует. Поучения свои он облекает в форму антифразиса; но в сарказмах своих он соблюдает такую серьезность, что невольно себя спрашиваешь, не искренна ли она. Эта вечная ирония отличается ужасающей неподвижностью маски, которую надевали античные лицедеи; ее судорожный смех недвижим; кощунства и непристойности вырываются из ее уст, не расширяя и не сокращая их. Его наставления прислуге могли бы скандализировать Маскариля и возмутить Скапена. Он проповедует ей воровство, обман, пьянство, безделье, шпионство, ложь, небрежность к детям, всяческий вред дому и ненависть к господам. Нравственные намерения возможны, но как различить их на этом неподвижном лице? Ни один знак не намекает вам на то, что автор шутит и разоблачает пороки лакеев, делая вид, что поучает их. Домоправителю, дворецкому, кучеру, лакею, груму, кухарке, кормилице, няньке, горничной, — каждому посвящена отдельная глава в этом практическом руководстве мошенничества. В нем искажены малейшие подробности службы; автор развращает каждого соответственно его занятиям: горничной он раскрывает хитрости сводниц; лакея обучает плутовским приемам. Это Макиавелли, читающий лекцию в лакейской.

Но если вы захотите увидать гений Свифта во всем его отталкивающем безобразии, надо прочесть маленький памфлет, названный им: «Скромное предложение о том, как помешать детям ирландских бедняков быть в тягость их родителям и стране, и как сделать их общественно полезными». Его скромное предложение заключается в том, чтобы резать детей, как телят, их жарить и есть. Можно было бы понять народного трибуна, который во время голода создал бы этот чудовищный образ, чтобы привести в ужас тиранов, в словах которого чувствовались бы крики иссохших грудей и разрывающихся внутренностей. Но Свифт излагает эту чудовищную идею со своей обычной флегмой; он не кидает ее в припадке ораторского исступления, он ее излагает как предложение, объясняет, обсуждает, и пункт за пунктом выдвигает все его выгоды. Он похож на жреца Молоха, ставшего протестантским пастором и старающегося пропагандировать ритуалы своего прежнего Бога, приспособляя их к практическому духу своей новой религии. – Он начинает с того, что устанавливает, что хорошо откормленный ребенок в возрасте двенадцати месяцев, жареный или вареный, тушеный или запеченный, представляет очень питательную и здоровую пищу; затем он просит публику принять в соображение, что на сто двадцать тысяч детей можно сохранить двадцать тысяч на продолжение рода, «что составляет больше того, что является обычной нормой для баранов и крупного скота», а остальные сто тысяч могут быть в годовалом возрасте распроданы богатым и знатным людям всего королевства, «причем матерям всегда рекомендуется кормить их грудью в последние месяцы усиленно, дабы сделать их достаточно мясистыми и жирными для хорошего стола». Он всё предвидел и вычислил: вес, которого ребенок может достигнуть, собственную стоимость и цену рыночную, то употребление, которое можно делать из их кожи, надлежащим образом обработанной. Он излагает финансовые и экономические результаты этих детских боен: уменьшение числа папистов – главных производителей каши; доходы страны, возрастающее на пять-десять тысяч гиней – годовую стоимость содержания съеденных детей; достоинства нового блюда, входящего в кухню джентльменов, «отличающихся утонченностью вкуса»; стимул к заключе-

нию браков, которые становятся доходным промыслом; поощрение и побуждение материнской любви, «так как женщины будут уверены в обеспечении жизни их бедных малюток, установленном, так сказать, самой публикой». И эта шутка людоеда продолжается таким образом в пространстве двадцати пяти страниц, логически обоснованная, обработанная, как серьезный доклад, подтвержденная цифрами, уснащенная кулинарными и гастрономическими рецептами! Так мог бы говорить таитиец – англичанин и член парламента, предлагая палате своей страны вернуться к каннибализму... Сердце восстает, вкус возмущается! Спрашиваешь себя: дозволяет ли даже крайний предел отчаяния такие фантазии, не является ли ирония, доведенная до этих ступеней, соучастницей тех ужасов, которые она выдумывает?

Свифт великий человек в Англии, в Дувре он уже уменьшается, в Кале он становится обычного роста. Его гений островитянина неспособен акклиматизироваться ни в какой иной стране. Он с изумительной мощью воплощает в себе свирепость саксонской расы. Но его талант, приводящий Англию в восторг, в других странах возбуждает мрачное недоумение. – Ваал царит в Карфагене, а Тифон – в Египте: их жестокий гений входит в состав народной души, их безобразие характеризует страну, их уродство нравится народу как выражение его собственной оригинальности и силы. Но Рим отказывается поклоняться этим грубым иноземным идолам; вечный и вселенский град не допускает их в свой Пантеон.

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

Читателю*

Не знаю, почему моя книга могла бы тебе не понравиться.

Роман или рассказ могут быть неприятной выдумкой, не больше. Если же они представляют неожиданный смысл еще и по другую сторону того, о чем повествуют, то следует радоваться этому полуумышленному дополнению, не требуя излишней последовательности, и рассматривать повествование лишь как плод таинственных соответствий, какие, вопреки всему, существуют между явлениями.

Так следует принять истории, составляющие «Черный трилистник» или «Сказки самому себе», так следует отнестись и к рассказам о «Маркизе д'Амеркер». То вычурные, то необычайные приключения, в которых он действует, рисуют его достаточно ярко в полфигуры, в полутаинственном свете, и если рассказанным событиям не удастся развлечь тебя, то, быть может, ты не останешься равнодушным к очарованиям нежной Гертулии и не станешь презирать речей старого Гермократа; а если, в конце концов, и шестая женитьба Синей Бороды, и история о Кавалере, который спал в снегу, только слабо заинтересуют тебя, то ты сможешь, по крайней мере, полюбить те пейзажи, по которым проходили эти тени, мимолетные и серьезные, дома, в которых жили они, вещи, которых касались их призрачные руки.

Здесь ты найдешь и зеркала, и шпаги, и хрустальные чаши, и лампады, и, изредка, снаружи, ропот моря и дыхание леса. Прислушайся тоже к пению фонтанов – то равномерному, то прерывистому; сады, оживленные ими, – симметричны. Там статуи из мрамора и бронзы, подстриженный тисс. Горький запах буксуса делает безмолвие ароматным, и розы цветут около кипарисов. Любовь и смерть там целуют друг друга в уста. Воды отражают тени деревьев. Обойди

* Прим. Это предисловие составляет введение к книге А. де Ренье «La Canne de Jaspe», которая начинается рассказами о маркизе д'Амеркер.

вокруг бассейнов. Пройди по лабиринтам, посети боскет и читай мою книгу страница за страницей так, как будто ты, прогуливаясь в уединении, остановился и концом высокой яшмовой трости поворачиваешь на сухом песке аллеи жука, камень или мертвый лист.

МАРКИЗ Д'АМЕРКЕР

Я не имею намерения писать жизнь маркиза д'Амеркера. Пусть другие работают над осуществлением этого прекрасного плана с терпением и тщательностью бесконечной, я не имею намерения следовать за ними в их осторожных изысканиях, которыми руководит желание осветить, шаг за шагом, существование, замечательное не только своими обстоятельствами, но и посмертным интересом, им возбужденным.

Действительно между теми, кто интересуется особенностями и механизмом исторических событий, возник живейший интерес к этой личности. Расследование ведется со многих сторон, и совместные усилия стольких усидчивых изысканий не замедлят, разумеется, осветить загадки судьбы.

Ничто не забывается так быстро, как та слава, какую знал при жизни маркиз д'Амеркер. Будучи в свое время на виду приключениями на войне настолько же, как любовными связями, щегольством и подвигами дерзкого волокиты, он казался предназначенным скорее для досугов рассказчиков, чем для бдений историографов, и не малой неожиданностью было узнать об его участии в наиболее серьезных исторических событиях, и не только о том, что он был в них замешан, но проводил их с начала до конца, правя всеми перипетиями интриг.

Это вступление маркиза д'Амеркера в историю произошло мало-помалу и укрепляется по мере того, как присутствие его оказывается руководительством, и он отнимает ложные знаки отличия у известных исторических фигур, ставших апокрифическими, нарочито преувеличенными для мимики, которая ему самому была неприятна, масками, под которыми можно различить тонкую улыбку их таинственного наущателя. Таким образом, он оказывается человеком, который руководил своей эпохой. Раскрываются его тайные деяния, и кажется, что, в конце концов, есть причины видеть

в нем одну из пружин своего времени. В противном же случае он останется образцом исключительных соответствий, – столь чудесным образом факты его жизни, как бы сами собою, подходят к тому смыслу и значению, которые им хотят приписать. Вся его жизнь представляет одни поразительные совпадения. Вероятности высятся вокруг него такими лесами, что становятся почти чертежом самой истины.

Я не хочу мешать удивительному преображению памяти того, кто имеет так много прав на мои симпатии. С детства я восхищался маркизом д'Амеркером. Между его семьей и моей существовала связь, и мне доставляет удовольствие видеть, принятым ныне всеми, то мнение, которое разделялось отчасти моими родными. Они часто говорили об этом замечательном человеке, и рассказы о его разнообразных приключениях, которые не замалчивались предо мной, приводили меня в восторг. Интерес, ими возбужденный, никогда не изгладился из моей памяти, и глубине именно этого детского очарования впоследствии я был обязан честью посещать героя стольких прекрасных историй.

Маркиз д'Амеркер провел последние двадцать лет своей жизни в глубочайшем уединении, что было достаточно для того, чтобы газеты передавали весть о его смерти без всяких комментариев.

Он покинул страну после блестящей опалы и своего падения. Он странствовал. После наступило забвение. Он оставил по себе кроме того шума, который наделал когда-то таинственный его побег, лишь поверхностную репутацию нескольких военных и любовных подвигов да воспоминание о некоторых странностях, сохранивших ему смутную известность, которая и послужила исходной точкой для позднейших изысканий, последовательные открытия которых вознесли его так высоко.

Случилось, что, будучи юношей в тот промежуток молчания, который предшествовал смерти маркиза д'Амеркера, я услыхал в гостинице далекого и маленького городка это имя, которое для меня было связано с целой интимной легендой. Я навел справки здесь и там и убедился в том, что этот Амеркер действительно был не кто иной, как знаменитый маркиз, о котором я мечтал в отрочестве. Я сделал попытку его увидать; он дал мне просимое свидание, на кото-

рое я не замедлил явиться. В глубине площади я увидал отель маркиза д'Амеркера. Это было обширное здание, построенное из известняка. Три окна под фронтоном открывались на балкон с выгнутой решеткой, который, с каждой стороны двери, поддерживали барельефные кариатиды; другие окна были закрыты ставнями, окна же нижнего этажа защищены железными решетками. Фронтон и вазы, которые украшали крышу, бросали на фасад, один – косой треугольник, другие – ряд зазубренных теней. Посередине пустынной площади струя фонтана ниспадала в плоский водоем. Собака, спавшая на солнце, ловила на лету мух. Там и здесь слышалось их жужжанье. Несколько сидевших на стене казались в нее врезанными; три слетело с ручки звонка, когда я звонил.

Знойное оцепенение площади дало мне оценить прохладу широких сеней. Штуковые арабески мерцали на стенах, выложенных желтым и зеленым мрамором. Лакей провел меня, хромая, через столовую, в которой еще не был убран обеденный прибор. На серебряной тарелке свертывалась кожура плодов. Вино в стакане граненого хрусталя алило скатерть пурпурной тенью. Чувствовался легкий запах специй, конфет и табаку.

– Г-на маркиза здесь нет, – сказал человек, приподымая портьеру. – Я пойду доложить ему. Он играет в шары.

Я стоял в длинной галерее, застекленные двери которой открывались в сад. С розового куста, оплетавшего стены снаружи, свисало несколько роз. Одна великолепная – пурпурная и торжественная – прижимала к переплетам оконницы нежную плоть своих лепестков, другая, белая и маленькая, казалась упоительно блеклой, сквозь зеленоватую воду стекла, через которое были видны два цветника, граничившие плоский бассейн и очерченные полукругом высоких подстриженных буксов. Туда сходились три расходящиеся аллеи, и перспектива их отражалась наоборот в трех больших зеркалах, возвышавшихся в глубине галереи на золотых консолях в рамах резного дерева. Здесь и там на колонках стояли античные бюсты. Крытая гобеленами мебель прислоняла к стенам свои массивные табуреты и монументальные кресла. Посередине стола стояла прекрасная ваза черного с жилками агата, рядом с ней лежал очешник, из которого наполовину были вынуты золотые очки.

Маркиз, говорили мне, по-прежнему подвижен, несмотря на свои восемьдесят лет. Каждый день он играет свою партию в шары. Он прервал ее, чтобы принять меня.

Он шел из глубины средней аллеи, и большой рост его уменьшался тем, что он опирался на палку. Полы тканого шелками плаща били его по щиколкам. Он подошел к стеклянной двери, и от движения, что он сделал, чтобы растворить ее, засверкали на пальцах камни перстней. Он глядел в мою сторону, не видя меня, благодаря сверканью стекол, о которые стучал золотой набалдашник его трости, что он придерживал локтем.

Входя, он сбросил фетровую шляпу на стул, обнажил маленькую голову с белыми, под гребенку остриженными волосами. Смуглое, оливкового оттенка лицо озарялось очень бледными голубыми глазами. Руки его жили, нервные и сильные, не окоченелые и не худые, не слабые от усталости, не скрюченные от ожесточения, как часто бывают руки стариков.

При моем имени маркиз любезно приветствовал меня.

– Добро пожаловать, – сказал он, – я хорошо знавал ваших двоюродных дедов – Адмирала и Посланника.

Говоря это, он взял на столе в агатовой вазе тонкую трубку, набивши ее, закурил и стал прохаживаться легкими шагами, останавливаясь иногда передо мною. Клубы дыма прерывали его фразы.

– Я как сейчас вижу Адмирала, – говорил он мне, – никакого сходства между ним и его братом ни в росте, ни в сложении. Его фигура поражала. Я служил под начальством обоих, и если в этом есть честь для меня, то потому, что предприятия их требовали и смелости и проницательности. Если они не берегли себя, то они не щадили и других. Их эскадра и их канцелярия – были не легким ремеслом. Я испытал и то и другое и смею уверить, что морская дисциплина была не более строга, чем требовательность дипломата.

Да, я так и вижу вашего дядю в его зеленом мундире и пунцовых чулках, стоящим на палубе; корабль его оставлял за собою запах пороху и кухни. Марсовой и поваренок там задирали друг друга. Изобилие его обедов равнялось только ярости его абордажей. В трофеях его трезубец Нептуна скрещивался с вилкой Комуса.

А другой со своей миной священника и лицом опрятной старушки. Все средства ему казались годными. Он пользовался всякими уловками. Разве он не возил с собою трех чревовещателей, чтобы безукоризненно имитировать его голос во время тех свиданий, от которых он желал сохранить себе возможность отречься, и где специальный мим изображал его фигуру. Его гардероб состоял из всевозможных маскарадных костюмов; его аптека была составлена из всех ядов и всех косметик; он пользовался ловкостью наемных убийц, искусством акробатов и улыбками женщин.

В последний раз я встретил их обоих очень старыми, и того и другого, одного в маленьком городке, другого в уединенной деревне. У Адмирала была подагра, а Посланник был глух. Один занимался коллекционированием раковин, другой разводил тюльпаны. У них было очень много прекрасных экземпляров, и каждый год они посылали друг другу какую-нибудь раковину, похожую на тюльпан, или тюльпан, похожий на раковину, и так до тех пор, пока оба они не умерли, не отходя от своих витрин или своих теплиц, и в последний раз скрестили свои руки, которые так грубо и так тонко правили людьми, и последнее движение которых было прилепить этикетку на раковину и поставить номер на луковицу.

– Да, – ответил я, – это были удивительные фигуры, и то, что мы знаем о них, заставляет только пожалеть о том, что они сами ничего не записали из того, что они знали. Почему не рассказали они о всех подробностях своих маневров или о ходах своих интриг.

Маркиз положил на стол потухшую трубку, которая просыпала на мрамор пепел своей маленькой черной урны.

– Фи! – воскликнул он, почти покраснев от гнева,– записывать свою жизнь, ставить самого себя на место случая, который по предназначенному копит в памяти людей то, от чего лепится оттиск медали или рельеф саркофага! Да, некоторые совершили ошибку, эту претенциозную непредусмотрительность.

Описывать свою жизнь, разыскивать последовательность наших поз, мотивы наших поступков, место наших чувств, строение наших мыслей, восстановлять архитектуру нашей Тени! Всё имеет значение только в той перспективе, в которой случай располагает осколки, в коих мы переживаем

себя. Судьба окутывает себя обстоятельствами, усвоенными ею. Есть некий таинственный отбор между ветхим и вечным в нас самих.

Промахи и неловкости подготовляют иногда деяния великолепные. Молниеносный удар шпаги, наносящий рану и пронзающий, может иногда требовать совершенно неграциозного напряжения мускулов. Судорожно скорченные на эфесе пальцы направляют молнию лезвия. Всё только перспектива, только эпизод. Статуя из тысячи промежуточных жестов воплощает только окончательный.

Какую ничтожную память сохранили бы вы обо мне, если бы вы узнали всё от меня самого! Вы бы, может, и не удивились вовсе тому, что я – Полидор д'Амеркер, принятый и в постелях принцесс и при дворе королей, носивший и меч и маску, живу здесь в этом доме, старый и одинокий, если бы я вам объяснил, почему я здесь. Я разрушил бы несвязанность, художественно необходимую.

Каждый знает мои пять лет заточения в одиночной тюрьме, но никому еще неизвестно, как я попал туда и как я вышел оттуда. Моя опала остается тайной и бегство чудом. Побочных подробностей факта не существует. В Архивах нет ни одной бумаги, касающейся моего приговора, и ни один из инструментов, послуживших мне для моего побега, найден не был.

Человек, объясняющий свои поступки, уменьшает себя. Каждый для себя должен сохранить свою тайну. Всякая прекрасная жизнь слагается из отдельных моментов. Каждый бриллиант единственен, и грани его не совпадают ни с чем, кроме того сияния, которое получают они.

Для самого себя можно еще раз в мечте пережить каждый из прожитых дней; для других же следует являться в своей прерывности. Собственная жизнь не рассказывается, и каждому следует оставить удовольствие вообразить себе ее.

Маркиз ходил взад и вперед по зале. Конец его трости звенел о паркет. Луч солнца переливался в перстнях на его руке. Я глядел на него. Длинный плащ его задевал угол стола и сметал серый пепел, рассыпанный его трубкой, и я думал о его жизни, необычайной изменчивостью своих обстоятельств, балами и сражениями, дуэлями и романами, полной

неожиданности и вспышек, ропот и отголоски которой он навсегда затаил в глубине своей памяти.

Таково было мое первое свидание с маркизом д'Амеркером. Он говорил мне именно эти самые слова. С тех пор уже удалось восстановить канву этой жизни, из которой знаменитый маркиз делал такую тайну. Силуэты стали статуей. Несколько анекдотов, приводимых нами здесь, относятся ко времени его юности; маркиз д'Амеркер рассказывал о ней охотно и мало-помалу оставил со мною свою сдержанность. Мое благоразумие никогда не рисковало беспокоить его. Я слушал, не предлагая вопросов. Этою сдержанностью я заслужил его доверие, до того, что он позволил мне списать длинное письмо, где дело шло о нем. Оно рассказывало об одном эпизоде его юности, который нравился ему самому и весьма позабавил меня. Читатель найдет его среди этих историй. За исключением этого, все остальные воспоминания имеют источником наши беседы, во время которых я слыхал их рассказанными этим знаменитым рассказчиком.

Я не имею иных претензий, кроме точного воспроизведения того характера, который он придал им сам, передаю ли я их содержание, или вкладываю повествование в его собственные уста. Быть может, эти краткие истории, события которых показались мне примечательными, послужат, без моего ведома, для заполнения каких-нибудь прорывов в том изучении, которое собирает всё, что имеет какое-нибудь отношение к нашему герою.

Сам же я, тем не менее, не очень верю в их подлинность, и предпочитаю видеть в них замысловатые сказки, которыми любил играть стариковский ум, располагая свою прошлую жизнь в орнаментальных перспективах. События, о которых он рассказывает, и черты, которые он приписывает себе, представляют странную смесь выдумки и истины. И то и другое чувствуется в них, и сочетание их не лишено искусства. Я ценю забавность этих приключений, другие, быть может, откроют в них и смысл и значительность, я же предпочитаю вслушиваться в их интонацию и представлять себе аллегорически человека в маске, играющего на флейте, в сумерках, под арками боскета из остролистника и роз.

Приключение морское и любовное

Мое беспокойное детство быстро сменилось трудною юностью, но это можно было простить, так как благодаря ей я семнадцати лет очутился на борту «Несравненного», на котором развевался флаг вашего дяди Адмирала. Эскадра готовилась уже к отплытию, когда отец привез меня в порт. Из гостиницы я следовал за ним по улицам, и он иногда оглядывался, здесь ли я, потому что боялся какой-нибудь выходки с моей стороны и возможности потерять случай от меня отделаться.

Набережные кишели. Крючники, согнувшись под тяжестью ящиков, проходили, расталкивая толпу. Нас затирали и толкали. Пот струился с загорелых лбов, и слюна пенилась на углах губ. Крепкие бочонки пучились на каменных плитах, рядом с толстыми осевшими мешками. Приходилось прыгать через цепи и путаться в канатах. Длинные сходни, перекинутые с кораблей на землю, гнулись посередине под шагами грузчиков. Корабли переполняли гавань. Там и здесь среди перекрещенных рей вздувался поднятый парус, и мачты еле заметно двигались в синеве неба. Тут было сборище всевозможных кораблей, раскрашенных в красный, в зеленый, в черный цвет, сверкающих лаком, тусклых и стертых. Пузатые борта терлись о подтянутые бока. Одни были сильно вздуты, как кожаные мехи, другие заострялись в веретено; на носах были видны очертания фигур, гримасничали маски, вырисовывались эмблемы. Вырезанное из дерева виднелось лицо богини, лик святой или звериная морда. Рты улыбались свиным рылам, – всё вместе было варварски наивно или нелепо. Из трюмов шел запах снеди и аромат пряностей. Острый дух рассолов смешивался с запахом смолы.

Маленькая шлюпка взяла отца, меня и мой багаж, чтобы доставить нас к эскадре, бросившей якорь на рейде. Мы пробирались сквозь безвыходные нагромождения порта; весла .ритмично подымали то водоросль, то кожуру плода. Зеленовато-мутная вода, засоренная отбросами, казалась мраморной от маслянистых пятен, и в ней плавали внутренности животных. Мало-помалу дорога стала свободнее, препятствия реже, мы обогнули несколько больших судов со вздутыми бортами. Словно присев, они выплевывали струй-

ки грязной воды через морды своих носов; кухонный дым спиралями подымался вокруг мачт; какой-то юнга, взобравшийся на снасти, кинул в нас гнилым яблоком. Я подобрал его и на гнили плода заметил след зубов, которыми этот сорванец смеялся нам, сидя верхом на рее.

Шлюпка начала слегка покачиваться, и, миновав мол, мы увидели эскадру; она стояла там в сборе и казалась высокой на голубом море. Четыре корабля, и еще один побольше в стороне. Мы направлялись к «Несравненному». Флаг с гербами развевался на шегле большой мачты. Жерла орудий блестели в пушечных портах. Снасти бросали тонкую тень на гладкую воду; прозвонил колокол.

Гребцы торопились, налегая на весла, немножко пены брызнуло мне на руки. Мы причалили и по веревочной лестнице взобрались на борт. Было как раз время. Якоря подымались на ворот. Готовились к отплытию. Я остался один; мой отец поспешил к Адмиралу. Отход оборвал наше прощание. Начались перекрестные свистки; раздавалась команда через рупор. Натянутые паруса вздулись. Отец мой был уже в шлюпке. Мы приветствовали друг друга издали; больше мы никогда не встречались.

Грубый спор, мой выход с хлопанием дверью, день гнева, проведенный в блуждании по полям, суровость пейзажа, окружавшего замок, сильный ветер этого жгучего лета, резкость надменной натуры, каприз неуступчивой гордости, всё это вместе с оскорблением, полученным от отца, несправедливость и нелепость которого я переживал снова и снова, сделало из меня какого-то исступленного бесноватого, и, набрав полные карманы булыжника, с яростью в голове и в руках, вечером, с методичным бешенством я разбил камнями все стекла на фасаде замка, так что один удар ранил в лоб дворецкого и раздробил бокал, который протягивал ему отец, после чего все дамы вскочили в ужасе из-за стола и убежали.

Садовники нашли меня на другой день в чаще парка, где я просыпал хмель моей дикой выходки.

Эти честные работники, одряхлевшие у нас на службе, не очень были удивлены такой вспышкой. Они увидели в этом, без сомнения, естественное продолжение моих ребяческих проступков — распахнутых мною птичников, истоп-

танных лужаек, сломанных затворов и однажды варварски срезанных всех лучших роз сада, которые я разбросал по аллеям.

Во время этой выходки мне было семь лет. Воспитание мое с тех пор перешло из рук женщин в руки учителей, которые сменялись каждый месяц нескончаемой вереницей. Я вспоминаю престранные фигуры. Среди них были и толстые, и худые, с большими животами и плоскими спинами, с обликом духовных лиц и с учеными манерами, были истертые лица старых церковников и глупые физиономии юных мирян, от одних так и несло ризницей, от других библиотекой. Я вспоминаю о них, как о нарушителях моей свободы, и от них всех остались мне кое-какие познания в латыни, еще меньше в греческом, никаких – по математике, отрывки из истории, и от одного из них, – к которому я был достаточно расположен и который где-то кончил свою жизнь поэтом, – точные сведения по мифологии вместе с знанием богов, их знаков отличия и любовных историй.

Мои же – начались рано. Мансарды и житницы были местом моих похождений. Моим первым забавам служили матрацы горничных и связки сена пастушек. Мне были знакомы и призывные звонки, прерывавшие любовную игру, и лай собак, смущающий во время объятий. Я обнимал талии служанок и мял деревенские груди. Жеманство камеристок оттеняло наивность крестьянок. Но скоро жаргону одних и деревенскому говору других я стал предпочитать веселых девушек соседнего города. Благодаря одной из них и скандалу оргии, немного шумной, и случилась моя ссора с отцом, из-за его неуместных упреков, последствия которой я мог обдумывать на свободе на борту «Несравненного», под свист свежего ветра, который, вместе с зыбью, несся с открытого моря.

«Несравненный» имел на своем скульптурном носу морскую фигуру, крылатую, покрытую чешуей, позолоченную, а на корме – четырех гениев, поддерживавших, каждый одной рукой, по фонарю с переменным светом и дувших своими золочеными ртами в закрученные раковины.

Разноцветные птицы восточных вод и белые нырки северных морей вились вокруг блуждающих огней нашего корабля.

Голова морского бога отражалась в зеркальных водах и покрывалась брызгами шумных волн. От тропического солнца трескалась ее иссохшая позолота, и луны полярных ночей серебрили ее ледяную улыбку. Она видела недвижными глазами своими выгибы заливов и углы мысов; ее уши внимали безмятежной гармонии прибоя на песчаных отмелях и бушеванию волн у береговых скал.

Разные чужеземные люди подымались на палубу. Мы принимали бородатых людей в одеждах из жирной кожи. Они приносили нам, ничего не говоря, рога оленей, моржовые клыки и медвежьи шкуры; желтые и церемонные карлики предлагали нам шелковые коконы, резную слоновую кость, лаковые вещи и вырезанных из нефрита, похожего на лягушечью икру, насекомых и божков; негры протягивали нам легкие перья, осыпанные золотой пылью, а с одного уединенного острова прибыли к нам женщины с зеленоватой кожей, и они плясали, жонглируя красными губками.

В течение четырех лет я странствовал таким образом по всем морям. Якорь наш впивался в кораллы мадрепор и в граниты рифов. Ветер, вздувавший наши паруса, дышал то запахом солнца, то запахом снега. У всех берегов делали мы запасы пресной воды. Зеленоватая вода болот, чистая вода каменистых ключей оставляли одна за другой на дне бурдюков свой ил и свой песок.

Я посетил много портов: кишащих под солнцем, вязнущих под дождем, стынущих среди льдов, таких, в которых стоят большие корабли, таких, которые ютят раскрашенные фелуки, и таких, в которых прячутся лишь несколько пирог из коры. Города являлись нам в лучах зари и на закате, то великолепные, то жалкие, громоздившие ступени своих дворцов или прислонявшие к холмам нестройные кучи своих хижин, такие, в которых по ночам слышится гул музы или в сумерках – песня рыбака, вытаскивающего сети.

Мы приветствовали дожей в мраморных палатах и эскимосов в глиняных юртах. В грязных вертепах мы пресыщались голыми рабынями; в великолепных залах мы ухаживали за нарядными дамами. Дымные лучины и светлые канделябры озаряли наши сны.

Так я узнал все моря. Мы эскортировали королевских особ и охраняли купеческие корабли. Иногда наши орудия рыкали. Расстилался серный дым, разрываемый золотыми молниями. Я узнал и трепет корабля от пушечных залпов, и сотрясение от ядер, вонзающихся в киль. Порванные паруса повисали на сломанных мачтах. Я видел, как тонули корабли. Поджигательные снаряды пиратов не уступали железным крючкам корсаров. Но море еще страшнее тех, что кровенят его. Я видел все его лики: детский лик утр, его лицо полудней, струящееся золотом, его вечернюю маску медузы и бесформенные лики ночи. Добродушная его угрюмость сменялась буйством ураганов. Некий бог обитает в его изменчивых водах; иногда он подымается среди хрипа ветра и рокота зыбей, ухватившись за гриву волн и космы водорослей; облик его создается из пены и водяной пыли; его таинственные руки выпускают когти, и стоя, во весь рост, с торсом из смерча, в плате из тумана, с облачным лицом и молнийными глазами, он вздымает свой призрак из валов и шквалов и, неисчислимый, рушась среди чудовищного лая волн, под гиканье пастей, раздираемый когтями, исчезает в грохоте своего падения, чтобы вновь возникнуть из слюны собственного бешенства.

Море было однообразно тихо и зеркально, когда мы вступили в воды острова Леранта. Мы шли издалека после долгого плавания по туманным водам. Ледяные глыбы растаяли при нашем приближении к этим теплым областям; небо понемногу разъяснило, появилось солнце. Пурпурный флаг вился в легком ветерке, фигура на носу отражалась в зеркале, непрестанно разбиваемом перед ней быстро несущимся кораблем, который дробил хрусталь, и однажды, на закате дня, вахтенный крикнул: «Земля!» Берег показался на одно мгновение в зеленом и розовом сиянии, но с наступлением сумерек влажный туман окутал корабль и затянул всё море вокруг нас. Мы медленно подвигались по лиловой воде, в мягкой сырости этих воздушных тканей, прозрачных и волнистых.

Лоцман правил осторожно. Причал был опасен, и место знаменито своими кораблекрушениями. Смутные суеверия окружали этот знаменитый и очаровательный остров, божественный и некогда обитаемый сиренами.

Вдруг, взяв на штиль, «Несравненный» замедлил ход и остановился: якорь заел; тонкий паутинный туман, зацепившись за мачты, повис завесами.

Мы были очень близко от невидимого острова. Мало-помалу распространился восхитительный запах деревьев и цветов.

Приказ о том, что никто не должен покидать борта, резко положил пределы нашему любопытству. Никто этой ночью не должен был сходить на землю. Шумы с острова долетали к нам издали, как бы утончившись от мглы.

Мои товарищи ушли один за другим. Огни погасли. Я облокотился на борт, вслушиваясь в неуловимый трепет снастей и в шаги часового, и так стоял в темноте, насторожив ухо. Позже мне показалось, что я слышу музыку. Она упоительно пела там, прерываясь, как бы просачиваясь сквозь поры тумана. Мягкая губчатость ночи заглушала звуки, но, в конце концов, мне удалось различить концерт на флейтах.

Решение мое было принято быстро. Лоцман дал мне указания. Корабль стоял на якоре посередине песчаной бухты в пятистах туазах от берега. Я спустился в свою каюту, привязал на шею маленькую буссоль и прокрался на нос корабля, где была фигура. Быстро раздевшись, в последний раз определил направление и по спущенной веревке беззвучно соскользнул в море.

Вода была теплая и нежная, и плыл я без шума. Скоро корабль исчез из глаз. Вода журчала у ушей. По временам я ложился на спину, чтобы проверить направление. Скоро я услышал шум волны на береговом песке. Туман просветлел и стал прозрачным паром. Я встал на ноги. Пловучие водоросли коснулись моих обнаженных бедр. Запах речных цветов слился с ароматом морских растений. Маленькая роща казалась темным пятном. Она доходила до самого моря, откуда вздымалась белизна мраморной террасы. От нее вела вниз лестница. Со ступеней тихо стекала вода. С каждой стороны стояло по женской статуе; отлив обнажил их бедра и превратил их в сирен. Гладкая чешуя их хвостов была влажной под моими руками. Я приблизился к одной, потом к другой и, приподнявшись, поцеловал каждую в губы. Уста их были свежие и соленые. Я взошел по ступеням. Наверху – остано-

вился. Звезда блестела над деревьями; широкие аллеи открывались в толще их. Я пошел по средней; она вела к площадке, круглой и обрамленной аркадами из букса, под которыми били, журча, фонтаны.

Посередине в большой перламутровой раковине спала женщина. Вода, сбегавшая сзади нее с высокой скалы, роняла брызги на ее грудь и щеки. Она спала, закинув одну руку под голову, вытянувшись в раковине, созданной для ее морского сна. Кругом был ночной полусвет, в котором мерцало ее длинное зеленоватое платье. Она улыбалась во сне. Улыбка ее пробудилась под моим поцелуем. Волнистая раковина была удобна нашим соединенным телам. Я взял ее; вздох приподнял ее грудь, волосы ее распустились и, молча, в прозрачной и пахучей тени, под ропот фонтанов, нежданно и длительно, мы отдались, – она, быть может, нагому образу своей грезы, а я таинственной богине благоуханного острова.

– Кто ты, – сказала она мне совсем тихо, подбирая свои волосы, влажная прядь которых прильнула к ее взволновавшейся груди, – кто же ты, приходящий так таинственно в замкнутые сады пробуждать безмятежно спящих? Откуда пришел ты? У твоих губ соленый вкус моря, а тело твое божественно обнажено. Зачем избрал ты мрак, чтобы явиться? Морские боги давно уже правят островом, пройди же по своим владениям. Я построила этот приют во славу Любви и во славу Моря. С моей террасы он виден весь. Приливы смешивают хлопья своей пены с пухом голубей, живущих на моих деревьях. Ветер, точно прибой, гудит в певучих вершинах. Кажется, что глухие отливающие волны воркуют. Я украсила сады мои раковинами и водометами, и я воздвигла на ступенях моего порога статуи Сирен, когда-то обитавших в этих местах. Они ли послали тебя ко мне, их сестре, земной, увы? Но зыбь моих грудей согласуется с мерой волн, волны моих волос точно извивы водорослей, и мои ногти похожи на розовые раковины. Я – упоительная и соленая, и это зеленоватое платье так прозрачно, что тело мое сквозит сквозь ткань, точно сквозь воду, которая непрерывно струится по мне. – Она улыбалась, говоря эти речи, потом замолчала и приложила палец к губам.

В то же мгновение флейты запели в иллюминованных боскетах; фонари зажглись на деревьях; послышались шаги и смех.

Мы оба поднялись. Что-то волочилось за моей ступней, и я подобрал длинную водоросль, которой, как поясом, обвил свои бедра. Глубина аллеи осветилась. Факелоносцы, танцуя, освещали путь процессии мужчин и женщин в великолепных костюмах. Шелковые ткани домино вздувались от трепета вееров. Маскарад рассыпался по всему саду. Факелы отражались в фонтанах, и струи воды засверкали, переливаясь брызгами драгоценных камней. Весь лес зазвенел музыкой. Прекрасная нимфа положила мне руку на плечо и, протянувши другую к странной толпе, которая окружила нас, закричала ясным голосом:

– Отдайте честь богу – нашему гостю: он пришел по лестнице Моря к благочестивой куртизанке Сирене из Леранта, которая спала; он поцеловал губы Сирен, что стоят у морских дверей, и уста его тихо сказали мне свое имя. Он наш гость.

И оба, обнявшись, впереди музыкантов и общества, которое громко приветствовало нас, мы пошли по аллее, в которой пели фонтаны и флейты, ко дворцу, сиявшему, как магический подводный грот, где по столам вздымалась пышная пена серебра и где под потолком сталактитами сияли хрустальные люстры; мы вошли и – нагой, серьезный и радостный– я поднес к губам, после того, как она коснулась ее своими, прекрасную золотую чашу, достойную Амура, имевшую форму женской груди.

Письмо г-на де Симандр

Пользуясь отпуском одного из моих людей, который направляется в ваши края, чтобы написать вам, мой милый кузен, и беру в то же время на себя смелость рекомендовать вам этого бездельника. Это славный парень; вы без сомнения сумеете его использовать. Он умеет найтись во всех обстоятельствах, у него удивительная выдержка, и мне бы хотелось, чтобы сын ваш именно в этом походил на него, потому что ваш Полидор будет темой моего письма, так как мое соб-

ственное здоровье прекрасно, а годы предохраняют меня от того рода приключений, к которым он более чем склонен.

Поэтому о себе я не стану говорить. Меня вы знаете вдоль и поперек, с эфеса до острия, с первой позиции до выпада. Я остаюсь тем же, что прежде, и совершенно не замечал бы течения лет, если бы разница между людьми нашего времени и современною молодежью не заставляла бы меня чувствовать то, что отделяет нас. Наша юность непохожа на ихнюю, и старость наша слишком далека от них.

Полидор известил меня о своем прибытии и о намерении приехать сюда речным путем ради приятности дороги и живописности берегов. Медленность барок ему больше нравится, писал он, чем почтовая спешка; плеск весел ему кажется более гармоничным, чем галоп коренника. Это, по крайней мере, я сумел разобрать в мудреной и лаконичной его записке, которая обеспокоила меня духами своих восковых печатей и совсем ошеломила галиматьей своих бессмыслиц, тогда как претенциозные росчерки его почерка меня привели в положительное отчаянье.

Я снял очки и сложил их на стол. Я набил трубку и, ожидая, пока этот волокита спустится по реке и высадится на Нонбурской пристани, стал курить, глядя на небо, сквозь стекла моих окон, лаская своего пса и так проводя понемногу время.

Вы тоже могли бы познакомиться и с этим кусочком неба, и с моей собакой Диогеном, и с местами, в которых я обитаю, мой дорогой кузен, если бы вы когда-нибудь решились на то, что предпринял Полидор; но местопребывание моего воеводства и старый замок, в котором я представляю авторитет государя, советчиком фантазии которого вы являетесь, разумеется, не может соблазнить ничем такого интригана, как вы. У вас свой пост при дворе, и вы не станете рисковать упустить просвет какой-нибудь возможности, теряя время на посещение берлоги старого служаки вроде меня. Впрочем, хотя вы и ненамного моложе меня, но говорят про вас, что вы более подвижны, потому что реверансы, пируэты и ожидания в приемных калечат меньше, чем конные форпосты. Осады и засады наделали то, что я вот иду уже вспять, а вы всё еще движетесь вперед, расфранченный и игривый, нюхая табак из бриллиантовых придворных табакерок, тогда

как я достаю свой из глиняных горшков кордегардии, – и вы будете читать сквозь черепаховый лорнет то, что я пишу вам при помощи моих роговых очков.

Несмотря на некоторую дальнозоркость, дорогой кузен, зрение мое еще хорошо, и я люблю глядеть на то, что могу созерцать каждый день. Мне близки те предметы, которые окружают меня. Я знаю своих офицеров и по имени каждого из моих солдат. Я узнаю каждого часового по тому, как он стучит прикладом о старые камни крепостных стен. Окно мое выходит на прямую буковую аллею, по которой я прогуливаюсь; облокотившись на решетку, я вижу отвесную стену; направо и налево толстые башни делают ее еще массивнее своей солидной кладкой. Они поддерживают обширную укрепленную террасу, на которой стоит замок, и воинственный и нарядный, среди деревьев и цветников. Это действительно прекрасное место. Отсюда виден весь город с его домами, глубокими улицами, развернутыми площадями, угловатыми колокольнями и набережной вдоль реки, пересеченной мостом.

Однажды, около четырех часов, когда я смотрел оттуда на фуражиров, возвращавшихся с работы с большими вязанками сена (они смеялись, некоторые жевали стебельки цветов), мне доложили, что прибыли барки.

Они были в завороте реки сзади большого острова, поросшего тополями. Я спустился к пристани, чтобы посмотреть, как они станут причаливать. Они приближались понемногу, лавируя меж песчаных отмелей по намеченному фарватеру. Можно было различить четыре – одну за другой. Все были с белыми собранными парусами; борта были выкрашены в яркие краски. Весла больше не действовали. Лодочники пихались шестами. Наконец они пристали. Их закрепили у набережной и спустили сходни.

Полидор поднялся с подушек, на которых он лежал на носу ладьи. Легкий тент защищал его от солнца; шелковая ткань была растянута поверх четырех серебряных древков; он приподнял ее край рукою, осыпанной перстнями. Костюм его изумил меня; на нем было широкое разноцветное одеяние, а в петлице у него верещал один из этих пестрых тюльпанов, которых зовут попугаями. Впрочем, сама барка была сплошной птичьей клеткой. Я немного неосторожно, быть может,

соскочил на палубу, потому что клетки, переполненные любопытными птицами, всполошились с хлопаньем крыльев и криками, а я носком сапога попал в мандолину, которая тоже валялась там. Кучи книг, в которых я запутался, рухнули в воду и погрузились, увлекаемые тяжестью своих переплетов. Голубоватые, темно-красные, зеленые и пурпурные их сафьяны и инкрустированные кожи, казалось, сквозь воду, в которую они погружались, превращались в разноцветных рыб,– зеленоватых мурен и оранжевых карпов. Чтобы завершить смятение, маленькая обезьянка, которой я наступил на хвост, с криком влезла на снасти и, добравшись до вершины мачты, уселась там и щурила глаза на своем голом лице.

Полидор сделал вид, что он ничего не замечает, и усадил меня; он выказал себя более церемонным, чем экспансивным, но проявил утонченнейшую любезность. Он пригласил меня обедать.

Барки зашвартовались в линию, и можно было удобно переходить с одной на другую. Накрытый стол ждал нас на второй. Вечер был прекрасный и теплый, а обед – превосходный. Обезьянка, спустившаяся со своей мачты, прыгала вокруг нас, жонглируя стеклянными шариками, которые разбивались, распространяя приятные ароматы.

В конце обеда, придя в хорошее расположение духа, я стал намекать Полидору, что не сомневаюсь в том, что третья барка ревниво скрывает какую-нибудь прекрасную даму, в которую он влюблен. Он улыбнулся и, взяв меня за руку, попросил следовать за ним. Эта барка была устроена несколькими будуарами и салонами для отдыха. Она была обита драгоценными шелками; хрустальные и бронзовые люстры незаметно покачивались от легкой речной зыби; в середине была зеркальная ротонда.

Предложению моему поселиться в замке Полидор предпочел пребывание на своих барках. Четвертая, в которой я оставил его, состояла из удобных комнат. Я пожелал ему доброй ночи и удалился.

Несколько дней спустя он навестил меня. Он нес под мышкой книгу и зонтик для защиты от солнца. Я показал ему замок. Он живо заинтересовался мхами, покрывавшими старые камни. Мне он показался бледным, и я поставил ему в упрек однообразие его жизни. Мои офицеры, добрые

малые, умеющие повеселиться, могли бы его развлечь в его уединении. Он отказался. «Нет, – сказал мне он, – я предпочитаю мой плавучий дом. Река навевает сладкий сон: она баюкает еле слышно, и течение ее так же беззвучно, как течение жизни, и, чувствуешь, она тебя несет и в то же время не уносит течением. Я люблю мое сидячее уединение; я люблю остроконечную и очаровательную тень, которую каждый вечер бросает на воды ваш замок. Сквозь большую арку моста я вижу тополя на острове; здесь так недалеко море, что некоторые чайки залетают даже сюда, я люблю их полет; лет ласточек тоже развлекает меня; летучие мыши чертят свои круги, и моя обезьянка сторожит их по вечерам. Они птицам то же, что она человеку, и подозрительны и близки».

Увидав, что Полидор упорен в своих странностях, я не стал нападать на них и, перестав им заниматься, вернулся к своим делам.

Я собирался сделать объезд в стране. В назначенное утро, вместе со свитой переезжая мост, я увидел Полидора, который кланялся мне со своей барки. Он только что выкупался в реке и стоял, еще весь струящийся водой. Голый, он вовсе не был, как я думал, худым и слабым. Солнце сверкало каплями на его белой коже, и он казался в этом ярком утре гибким, нервным, с крепкой кожей и внушительными мускулами. Я ответил ему на поклон; он нырнул, и вода брызнула вокруг него.

По моем возвращении я был ошеломлен теми слухами, которые меня встретили. Полидор убил двух человек на дуэли и вел по всей стране необузданную и неожиданную жизнь. Город и его окрестности шумели молвой, и обычное их спокойствие казалось завороженным. Целый век строгой морали растоплял свою пристойность, как воск, на алтаре дьявола. Веял ветер безумия. Строгие обеды прежних времен превращались в оргии; сдержанные кадрили оканчивались сарабандами; прежние интриги становились скандалами.

Полидор неуклонно вел за собой это безумие, с улыбкой на устах, с розой в петлице. Зараза охватила окрестности. Один за другим замки, тихие в глубине своих тенистых аллей, оцепеневшие среди своих бассейнов, корректные среди своих парков, осветились иллюминациями.

Распахнулись для танцев залы. Потешные огни заплелись в гирлянды. Праздничные кареты и дорожные коляски встречались посреди дороги, спеша на торжество или на похищение. Начались стройки. Лестница каменщика, прислоненная к стене, оказывала услуги любезнику. Начались маскарады.

Однажды утром барки, куда щеголи собирались каждое утро получать от Полидора распределение дня, оказались безгласны. Сходни не были спущены; обезьянка больше не влезала гримасничать на мачту. Всё казалось погруженным в сон. В полдень никто не вышел. Стали беспокоиться. Эти элегантные господа оживленно переговаривались. Отсутствие Полидора изумляло их менее, чем отсутствие слуг. Наконец было решено осмотреть барки. Ко мне обратились за советом, и я отдал приказ. Первая была пуста. В клетках ни одной птицы; порванные струны мандолины и книга, раскрытая на вырванной странице. В столовой опрокинутый стакан оставил красное пятно на скатерти.

Достигли гостиных. Двери заперты. Их взломали. Все толпились, чтобы взглянуть. Мы вошли. Никого. Но в большом будуаре, устроенном ротондой, где все зеркала были разбиты их гневом, нашли одних, с распущенными волосами, склоненными или лежащими совершенно нагими, девять красивейших дам города, из которых каждая, без сомнения, туда проникла тайно, и они оказались там соединенными по удивительному капризу их единственного, многоликого и менявшего их Любовника.

Необыкновенные обеды

Это были интересные обеды, которые каждую неделю устраивала княгиня де Термиан.

Высокая решетка замыкала золочеными копьями вход в ее гордое жилище. Можно было различить издали в глубине аллеи, которая вела к нему, мощные кованые двери, сжатые орнаментальными затворами, и надменную высоту главного портала. Чеканные цветы гирляндами заплетали подпоры и распускались на фронтоне, с которого, как двойной плод из хрусталя и бронзы, свисали, вздуваясь, два больших фонаря, каждый на конце цепи.

У этой решетки останавливались экипажи гостей. Здесь надо было слезать; ни одно колесо никогда не оставило колеи на песке громадного двора, пустынного, как морская отмель, и лишь кое-где тронутого точно клочками пены пятнами мха. Низкая дверь одна открывала доступ внутрь. В хорошую погоду приглашенные пешком пересекали песчаную площадь; в другие же дни их ждал порт-шез с носильщиками. Никто и никогда не нарушал этого запрещения. Фасад дворца дремал под запертыми жалюзи. Ласточки острым полетом чертили серую массу здания. Комнаты, в которых жила княгиня, находились с противоположной стороны, окнами в сад, и занимали только одно крыло дома, остальная часть которого оставалась пустой. Она жила там очень уединенно, а князь оставался за границей. Мне его показали однажды на Лорданских водах, куда он приезжал лечить водами лимфу, жгучими красными пятнами проступавшую у него на лице. Это был худощавый и невзрачный человечек, странный во всем, нервный, маленького роста, подчеркнутого Орденской лентой, которую он не снимал никогда. Он чувствовал себя хорошо в этом обществе, языка которого он не понимал и где его принимали из уважения к его высокому сану, и прогуливал там свою спесь и свою немоту вплоть до своего возвращения на виллу Терми, откуда он уезжал лишь для своего ежегодного курса лечения да редких поездок к жене. Каждый раз он проводил у нее по несколько часов. Княгиня принимала его в больших залах дворца, открывавшихся ради этого случая. Всегда он уезжал до наступления ночи. Тогда салоны закрывались снова; развязывались шнурки и падали тяжелые занавеси; портьеры висели тугими привычными складками, гасильник тушил свечи, многочисленные слуги, появившиеся для церемониала, тотчас исчезали и возвращались в службы, где они жили, так как для обычных услуг было достаточно нескольких.

Водометы в саду, которые кидали вверх свои радужные ракеты, смолкали, один за другим, и на дворе, вместо сверкания ливрей, не было видно никого, кроме старого садовника, подбиравшего лист концом своих грабель или подстригавшего пышные шары карликовых апельсинов, которые поднимались по ступеням подъезда.

В этом-то доме, снова становившемся молчаливым после пышности этих приездов и церемониала отъездов, княгиня принимала каждую неделю тех немногих лиц, которые составляли ее интимный круг. Она жила скорее отшельницей, чем одинокой, и не пропускала, во время некоторых больших празднеств, случая показаться во всей изысканности своей красоты, с улыбкой и надменностью, необходимой для предотвращения фамильярностей, снисходя тем не менее к обычаям, которым удовлетворяла честь ее присутствия. Но проходило это снисхождение, и жизнь замыкалась снова. Даже любопытство допустило существование этой таинственности, не делая больше попыток проникнуть ее. Мне говорили о ней в первые времена моего пребывания, и если бы случайность встреч не поставила бы меня в сношения сперва исключительно светские, потом дружественные с одним из участников этих таинственных обедов, я бы никогда и не подумал искать чести быть туда допущенным. Друг мой никогда не пропускал ни одного обеда, и ничто ни разу не могло задержать его.

В назначенный вечер каждый прибывший, рассказывал он мне, когда я расспрашивал о ритуале этого необычайного культа, высадившись около решетки и перейдя через двор, находил в сенях старого лакея, с седыми волосами; каждый получал от него маленький зажженный светильник. Без провожатого он направлялся один к комнатам княгини. Длинный путь усложнялся скрещениями лестниц и коридоров. Шаги звенели по плитам проходов, по мозаикам галереи, скрипели по паркету больших зал или заглушались коврами в гостиных. Приходилось раздвигать завесы, распахивать двери, отпирать замки. Свет маленького светильника освещал вереницы статуй и ряды бюстов, мраморные улыбки, строгость бронз, чью-то наготу, чей-то жест. Свет, скользя, выгибал край вазы, будил позолоту кресел, мерцал в хрустале люстры. Пустые коридоры оканчивались пустынными и круглыми сводчатыми залами и, через сотни ступеней, через десятки дверей, посетитель достигал, наконец, комнат княгини де Термиан.

В тот день, когда я должен был быть введенным, я довольно рано зашел к моему другу г-ну д'Орскам. Он устроил так, что я должен был занять за столом княгини то место,

которое оставлял свободным его отъезд. Он уезжал на следующий день, и вся передняя была переполнена его сундуками. Конюшни были распахнуты, прислуга распущена, весь отель уже принял необитаемый вид. Я искал д"Орскама во всех этажах и готов уже был спуститься в сад, надеясь встретить его там, когда напев волынки направил меня на самый верх дома. Я поднялся к мансардам и, раскрыв одну дверь, увидал его в маленькой, совершенно пустой комнате. Облокотившись на подоконник, он наигрывал на волынке, позабытой там, вероятно, кем-нибудь из лакейской. Он не слыхал моего приближения и продолжал раздувать толстый мех, из которого он извлекал глухую мелодию. Увидев меня, он выпрямился и швырнул инструмент, который испустил дух с жалобным вздохом.

«Я готовлюсь к путешествию, – сказал он мне, – завтра дорожная карета довезет меня до побережья, корабль перевезет меня через море, и я увижу свой старый дом... Никогда, быть может, – прибавил он, – у меня не хватило бы силы уехать, если бы не эта старая дудка и ее скудная музыка. Я вновь увидал в ней мою страну, ее сероватые и розовые степи, ее леса, ее побережья, танцы на убитом гумне, цвет лица наших девушек и фигуры юношей. Я вдохнул ее запах – сладости и соли, цветов и водорослей, пчел и чаек!.. Раз там – всё это покажется мне нестерпимым. Что сделает из меня скука? Какого-нибудь маниака вроде князя де Термиан. Вы его знаете, вы слыхали о его жизни в Терми. Это зловещий город, громадный, с покинутыми дворцами, полуразрушенными особняками среди зеленоватых болотных садов, с безвыходными переулками, с запахом воды и лихорадки, но ведь это там он находит единственное развлечение, которое забавляет его. Он охотится на кошек. Эти животные кишат там. Их можно видеть всюду: полудикие, они бродят по стенам и спят на солнце среди камней. По ночам они дико мяучат. Г-н де Термиан перестрелял их тысячи. Он устраивает засады, выслеживает их и кладет на месте. Странное удовольствие. Они, быть может, лишь марионетки какой-нибудь воображаемой трагедии. Малый их рост предохраняет от их свирепости, а судорога их агонии вызывает страшные лики. Кто знает? Вся жизнь необъяснима. Отпечаток оборотной стороны нельзя угадать по лицу медали. В каждом зеркале видно только обратное отражение

того, кто смотрит. Что же касается князя, то что сказать вам? Вы сами узнаете больше, и если вам, как и мне, придется когда-нибудь уехать, вы поймете мою тоску и почему меня охватывает трепет при мысли об этой разлуке, когда я думаю, что не увижу больше решетки, сеней, обширных зал, что больше не буду я держать в руке маленького светильника, от которого моя тень прыгала сбоку. Существуют удивительные вещи, от которых нельзя излечиться никогда. Час приближается. Пойдемте, потому что подобает быть точными».

Мы поставили свои светильники и потушили их.

Пять лиц уже находилось в салоне, куда вышла к нам княгиня. Я склонился к ее руке и поцеловал ее. Затем она взяла меня под руку, и мы прошли к столу, где она сделала мне знак занять место против нее. Д'Орскам сел по правую от нее руку, а остальные приглашенные заняли места по своему усмотрению. Я воспользовался первой минутой молчания, чтобы взглянуть вокруг.

Самый пожилой из общества звался г-н де Берв. Он жил в своем замке в окрестностях города и слыл за ученого, погруженного в герметические науки. Сосед его, имени которого я не знал (его мне назвали позже), был иностранец, уединившийся сюда после долгих морских странствий. Он привез с собою оружия, водоросли и кораллы.

Я знал двух остальных, людей умных и достойных. Последний и самый молодой казался совсем юношей, но лицо его было в странном противоречии с его волосами, седыми преждевременно.

Обед был утончен в смысле мяс, фрукт и вин, украшен роскошью серебряных сервизов и совершенством фаянсов. Прислуживали два старых лакея. Корзина, в которой редкие цветы окружали глыбу льда, распространяла по комнате прохладный аромат, и высокие канделябры из золоченого серебра, по одному с каждой стороны стола, воздвигали сложную архитектуру своих свеч. Мало-помалу завязался разговор. Каждый из собеседников принял в нем участие с умом и воодушевлением. Княгиня слушала внимательно. Волосы ее, прямо приподнятые надо лбом, лежали тяжелой массой на затылке. Красота лица ее была в его очертаниях, в изгибе

носа, в восхитительной линии рта и, главным образом, в удивительных глазах.

Обед кончался, и я заметил, что внимание гостей было устремлено на стенные часы. Маятник качался равномерно; стрелки, соединенные вместе, разъединились, и пробило час в глубоком молчании, наступившем вокруг этого звука. Последний удар вибрировал долго.

Д'Орскам поднялся, и вместе с ним весь стол. Княгиня, тоже вставшая, была неподвижна со стаканом в руке; я слышал звон ее перстней о хрусталь. Она дрожала. Д'Орскам был страшно бледен. Она поднесла кубок к устам и протянула ему. Он допил его. «Прощайте, – сказала ему она, когда он выпил, – прощайте же. Вы уезжаете. Так надо. Я не стану вас удерживать. Час пробил; каждый час бьет в свое время. Сохраните на память маленький светильник, который помогал вам добраться до меня. Пусть он бдит у вашего изголовья. Велите, чтобы его положили вместе с вами в могилу. Прощайте. Свет да будет с вами».

Д'Орскам склонился в последний раз перед княгиней, пожал руку каждому из нас и исчез в двери, которая осталась раскрытой. Мы слышали, как он спускался по лестнице, потом звук разбиваемого стекла, и когда я вышел в свою очередь вместе с молодым человеком с седыми волосами, мы увидели внизу у последней ступени, на камне, на котором иверни их трещали под нашими ногами, осколки маленького стеклянного светильника.

По довольно странному обычаю, в который посвятила меня княгиня, когда я покидал ее, каждый из воскресных гостей должен был посетить ее в один из дней недели. А так как я был последний, то мой черед был назначен на субботу. Д'Орскам в наших беседах об этой необычайной женщине предупредил меня об этом странном ее капризе и о том, каким образом происходили эти свидания.

Г-жа де Термиан принимала в сумерках, позже или раньше – соответственно времени года. Она сидела в круглой комнате, освещенной сквозь тусклые оконницы рассеянным светом. Это были долгие часы бесед как бы с живой тенью. Мой друг рассказывал мне со страстью об этих умственных приключениях, которые длились иногда до зари.

Себя чувствовали как бы в присутствии таинственного существа, в котором говорил неведомый голос, и тоска о нем оставалась навсегда. Не входя в объяснения о характере этих прорицаний, он дал мне понять, что красота их была выше человеческой и навсегда вязала жаждой слышать их вновь, и всегда приближение и обетование этого скрытого божества заставляло меня с нетерпением ждать часа моего вступления в этот вещий Элевзис.

Поддаваясь в свой черед тому общему обаянию, которое соединило вокруг г-жи де Термиан тех, кого появление ее на пороге влекло в грот ее уединения и ее таинств, я спорил сам с собою об его опасностях. Она казалась мне цветком, распустившимся при входе путей подземных и опасных. Она казалась мне трещиной в запредельное, которая засасывала души, незаметно и яростно, восхитительной колдуньей, которой нельзя заклясть. Я вдыхал провалы магической спирали. Всю неделю я был беспокоен и взволнован. Бессонница меня измучила. Великая усталость пригнетала меня. Наконец жданный день наступил.

С утра я предчувствовал, что он будет бесконечным. Чтобы отвлечься от моих мыслей, я вышел из города и блуждал по полям. Лето кончалось. Я шел вдоль по реке; она текла зеленая и жидкая по длинным склоненным травам; я следовал за ней, она извивалась недалеко от дворца г-жи де Термиан, и мне пришла мысль обойти его вокруг, но, дойдя до конца аллеи, которая ведет к решетке, я остановился и присел на каменный пограничный знак. И мне показалось, что сумерки наступили сразу; старый отель вздымал свою сероватую массу. Я услыхал, как я позвонил у решетки: песок большого двора скрипел у меня под ногами. Я себя видел и себя слушал. Никого в сенях. Я зажег маленький светильник, который был оставлен для меня. Я рассмотрел грани его черного хрусталя с алыми жилками. Все двери сами собою раскрывались передо мной; галереи звучали далекими отголосками. Я подошел к комнатам княгини. Я позвал. Пустая гостиная вела к овальной сивиллинской комнате, о которой говорил мне д'Орскам. Я обыскал всё до последнего уголка. Старания мои были напрасны. Наступила ночь. Я увидел себя со светильником в руке в зеркале; мне казалось, что я узнаю в этом своем собственном образе кого-то, за кем я должен был сле-

довать, братского руководителя моей грезы. Мы прошли из комнаты в комнату весь гигантский дворец. Я терялся в нем и вновь находил дорогу. Пыль чердаков сменяла известку подвалов. Светильник мой потух. Я блуждал ощупью бесконечные часы. Наконец мрак засерел; белая линия просочилась под одной дверью. Направляясь в ту сторону, я задел ногой о какой-то предмет. Я поднял его. Это было что-то тяжелое и холодное. Коленом я толкнул засов двери, которая раскрылась, и белый свет зари осветил в моих руках мраморную голову статуи.

Она улыбалась и была похожа на г-жу де Термиан. Я глядел на нее и понемногу почувствовал, как она становится легче и тает в моих пальцах, на которых она оставила лишь легкий прах, который был развеян легким ветром...

Я написал г-же де Термиаи о том сне, который я видел про нее и который удержал меня спящим до самого утра, против ее дворца. Она никогда не ответила мне на мое письмо, и я не искал случая увидать ее снова. У меня осталось прекрасное воспоминание о видении ее лица, которое, быть может, было лицом самой Красоты.

Смерть г-на де Нуатр и г-жи де Ферлэнд

Пурпур с кровью пышно распустившейся красной розы, казалось, струился за оконницей стеклянной двери. Лепестки трепетали, и шипы стебля царапали стекло. На дворе был сильный ветер, и под черным небом омрачались в саду взволнованные воды. Старые деревья качались со стоном; торсы стволов вытягивали ветви и поддерживали трепещущую листву. Дыханье ветра просачивалось сквозь дверные щели, и маркиз, сидя в большом кресле, локоть положив на мраморный стол, медленно курил. Дым от его трубки подымался прямо, пока, не попав в струю сквозного ветра, не начинал кружиться, расплетая свои кольца в отдельные волокна. Маркиз прикрыл свои колени затканною цветами полою плаща. Сумерки не утишили урагана. Большая роза колебалась, с гневом шевеля своими шипами. Перед окнами носилась взад и вперед маленькая летучая мышь, блуждающая и ошеломленная.

«Для того, чтобы попасть в Окрию, – продолжал г-н д'Амеркер, – надо было взять одну из двух дорог. Морская, кратчайшая, мало привлекала меня. По другой надо было ехать шесть дней верхом. Я остановился на ней. Меня уверили в сносности гостиниц, и на следующий день на рассвете я уже ехал по равнине. Высокие землисто-желтые холмы вздымались на горизонте; я быстро достиг их. Лошадь моя шла резво, и я опустил ей повода. Большая часть пути прошла без приключений. Ни одной встречи ни в пустых гостиницах, ни на пустынных дорогах. Я приближался, и утром шестого дня мне оставалось только пересечь конец леса. Местность показалась мне необыкновенно дикой. Обвал чудовищных скал громоздил там зазубренные хребты, вздымал косматые лошадиные груди и тянул уродливые лапы. Пятна на камнях подражали крапу на коже, лужи воды светились, как глаза, и бархат мхов был похож на шерсть разных мастей. Желтая почва была промыта водороинами и кое-где выгибалась каменистыми позвоночниками. Местами ключ – глухой и тихий. Красноватая хвоя сосен шерстила землю рыжим руном.

По выходе из леса, внизу раскрывалась сухая равнина, покрытая буграми и кустарниками. Я остановился на мгновение, чтобы посмотреть на ее однообразное пространство, замкнутое скалистым гребнем, за которым находилась Окрия. Я уже был готов продолжать путь, когда услыхал сзади галоп, и всадник на темно-рыжей лошади нагнал меня и раскланялся. Охотничий костюм рыжей кожи преувеличивал его сложение – среднее, как и его рост. Темные его волоса кое-где светлели красно-бурым отливом, а остроконечная борода слегка рыжела. Солнце, стоявшее уже на закате, обливало его темно-красным светом, и цвет всей фигуры его вязался с охрой далей и с золотом окружающей листвы; он казался измученным долгой скачкой; мы спустились конь о конь по довольно крутой дороге.

Узнавши, что я еду в Окрию, он, сам тоже направляясь туда, предложил мне провести меня кратчайшим путем. День погасал. Теперь мы следовали вдоль оголенных изгородей, ограждавших бесплодье каменистых полей. На одном перекрестке мы встретили стадо коз. Они щипали сухую траву. Бороды их торчали клином, под стук маленьких копыт болталось дряблое вымя. Посреди них выступал козел

со скрученными рогами, непристойный, высокомерный и вонючий.

– Ну право же, у него вид старого сатира, – сказал мне мой спутник с коротким, дребезжащим смехом. Он остановился и разглядывал животное, которое с любопытством смотрело на него.

Солнце садилось. Бледно-золотой свет окрашивал предметы. Земля, которую мы попирали, была горклой и желчной, а сзади нас дикая гора высила свои громады исчервленной охры. Мой собеседник продолжал:

– Да, эта земля полна таинственности, и здесь происходят вещи поразительные; исчезнувшие породы возрождаются; доказательства уже почти в моих руках, и я подстерегаю лишь несомненность.

Он осторожно достал из своей сумки ком желтоватой земли и протянул мне. Глина слегка осыпалась в моей руке.– «Видите вы след, – и он указал мне на стертый почти знак, – это след фавна. У меня есть также указания на присутствие кентавра. Я несколько ночей сидел в засаде, чтобы его застигнуть. Его не видно, но слышно, как он ржет. Должно быть, он молод, у него узкая грудь и еще неуклюжий зад. При луне он приходит глядеться в водоемы и больше не узнает себя. Он последний в своей породе, или, скорее, вновь ее начинает. Она была истреблена и гонима так же, как порода нимф и сатиров, ибо они существовали. Рассказывают, что пастухи некогда застигли одного спящего кентавра и привели его к проконсулу Сулле. Переводчики спрашивали его на всех известных языках. Он отвечал лишь криком, похожим и на блеянье и на ржанье. Его отпустили, ибо люди того времени еще немного знали истины, после померкшие. Но всё, что существовало, может возродиться. Эта земля благоприятна для сказочных свершений. У сухой травы цвет руна; голос ключей лепечет двусмысленно; скалы эти похожи на недосозданных животных. Человек и зверь живут достаточно близко, чтобы между ними могло возникнуть кровосмесительство. Время разъяло формы, некогда сочетавшиеся. Человек уединился от всего, что его окружает, и замкнулся в свое бессильное одиночество. Думая совершенствовать себя, он пошел назад.

Боги меняли некогда облик по своему выбору и принимали тело своих страстей – орлов или быков! Существа

промежуточные вместе с богами разделяли это свойство; оно дремлет в нас; наша похоть создает в нас внезапно возникающего сатира; почему же не воплощаемся мы в страсти, которые вздымают нас на дыбы! Надо стать тем, что мы есть; надо, чтобы природа восполнилась и вновь обрела утраченные состояния».

Мой спутник не переставал говорить с лихорадочным увлечением. Я следил с трудом за его речью, которую он продолжал, казалось, не обращая внимания на мое присутствие. Солнце между тем село, и, по мере того, как сумрак сгущался, его необычайная фигура точно угасала мало-помалу; он терял рыжий блеск, которым свет этого заката напитал его одежду из темно-красной кожи, его бороду и волосы. Весь его внешний облик потемнел; потом и возбуждение его стихло вместе с переменой пейзажа. Скоро мы увидели мерцание воды в реке.

Распространяемая ею влажность делала берега зелеными. Мост переступал ее своими арками. Ночь спускалась быстро. Мой спутник не говорил больше, и я видел рядом его черный облик, выступавший на окрестном мраке. Доехав до конца моста, булыжники которого гулко звенели под копытами, он круто остановился перед фонарем, висевшим на столбе. Глядя на него, я себя спрашивал, неужели этот человек, протягивающий мне руку, и есть мой недавний странный собеседник. Его лицо казалось мне иным, его темные волосы и борода больше не золотились; он вырисовывался, стройный и изящный, и с вежливой улыбкой, расставаясь со мной, он сказал свое имя на случай, если во время моего пребывания в Окрии мне будет угодно посетить Адальберта де Нуатр».

Первым лицом, которое посетил в Окрии г-н д'Амеркер, вовсе не был г-н де Нуатр. Даже воспоминание о необычайном этом спутнике стерлось несколько в его душе; он не пытался его разыскать и прекрасно обошелся без встречи с ним. Он не видел его ни на прогулках, ни в тавернах, ни у куртизанок, которых он посещал часто, потому что доступ к ним открывается быстро для человека с его именем, обладающего хорошими лошадьми, бельем и драгоценностями. Две из самых блестящих даже оспаривали его друг у друга с ожесточением. Одна была брюнеткой и отбила его у другой,

которая была белокурой, но та, в свою очередь, отняла его, хотя он предпочел бы удовлетворять их обеих по очереди, чем выбирать между ними.

Любовь к кутежам и игре быстро связала его с несколькими самыми элегантными молодыми людьми в городе. Его скоро стали приглашать на все увеселения. Он там понравился, а так как старики любят принимать участие в бесчинствах молодежи, то он познакомился через посредство всеми любимых наслаждений со многими серьезными особами, доступ к которым без этого был бы для него труден.

Эти сношения поставили его на равную ногу с лучшим обществом Окрии. Встречая его так часто у своих любовниц, эти господа, в конце концов, ввели его к своим женам, и г-н д'Амеркер скоро ознакомился с большими молчаливыми отелями в глубине мощеных дворов. Он сидел за роскошными обедами, пробовал блюда искусных кухней, смаковал вина вековых погребов и видел под хрустальными люстрами торжественное следование местных сановников и красавиц.

Среди всех одна особенно привлекала его. Ее звали г-жа де Ферлэнд. Она была стройная и рыжая. Тело ее, продолговатое и гибкое, поддерживало языческую голову, увенчанную волосами, волнистые струи которых кончались завитками. Пламенная масса этих волос казалась и текучей и чеканной, в ней была дерзость шлема и грация фонтана. Это шло к ее виду и осанке Нимфы-воительницы. Она была вдова и жила в старом отеле посреди прекрасных садов. Г-н д'Амеркер быстро стал там постоянным гостем, проводил там целые дни, приходя во все часы, тщетно дожидаясь часа любовных свершений. Эта целомудренная Диана любила убирать свою красоту складками туник и лунным серпом, так что имя, которое носила она, было ею заслужено. Она любила незримые мелодии, любовный сумрак и журчанье воды. Три фонтана журчали гармонично и ясно среди залы из зелени. В саду был также маленький грот, куда г-жа де Ферлэнд приходила часто отдыхать. Свисающий плющ смягчал там свет; стоял зеленоватый и прозрачный полумрак.

Это там она заговорила в первый раз с г-ном д'Амеркером о г-не де Нуатре. Она описывала его, как человека со странностями, но начитанного и очаровательного, с громадным запасом знаний и утонченным вкусом. Впрочем, он жил

очень уединенно, часто уезжал путешествовать и был большим любителем книг, медалей и камней.

Г-н д'Амеркер, не входя в подробности своей встречи с г-ном де Нуатром, рассказал о ней, как о случае, когда он высказал себя очень обязательным, и принял предложение г-жи де Ферлэнд, отправиться к нему вместе, – он, чтобы поблагодарить своего дорожного спутника, она, чтобы навестить друга, который с некоторого времени забыл ее. Итак, в назначенный день они отправились к г-ну де Нуатру.

Уже при входе, посредине сеней, бросалась в глаза античная бронза, изображавшая Кентавра. Мускулы пружились на его широкой лошадиной груди; круглый круп сиял; бока, казалось, трепетали; поднятое копыто застыло, и конное чудовище подымало нервной рукой сосновую шишку из оникса над головой, увенчанной виноградными гроздьями. Повсюду, куда ни водил их хозяин, г-н д'Амеркер дивился исключительному подбору вещей, относившихся к истории полубогов земных и морских и к магической мифологии древности. Терракоты являли их изображения, барельефы воззывали сказания о них, медали напоминали об их культах. Гарпии с острыми когтями, Сирены крылатые или рыбоподобные, кривоногие Эмпузы, Тритоны и Кентавры, – каждый имел там свою статуэтку или статую. Библиотеки содержали тексты об их происхождении, об их жизни, об их природе. Трактаты рассуждали об их видах и формах, перечисляя все роды Сатиров, Сильванов и Фавнов, и один из них, крайне редкий, который г-н де Нуатр показывал не без гордости, содержал в себе описание Паппосилена – чудовища ужасного и целиком обросшего шерстью. Тетради в удивительных переплетах сохраняли рецепты фессалийских зелий, посредством которых колдуньи Лукиана и Апулея превращали человека в сову или оборачивали в осла.

Г-н де Нуатр с удивительным радушием показывал посетителям свой кабинет. Иногда легкая улыбка кривила его рот. В его глазах, очень черных, моментами мерцали медные блестки, и в его бороде переплетались три золотых волоска. Прощаясь, он сжал руки г-же де Ферлэнд в своих пальцах с острыми ногтями, и, пока он глядел на нее, г-н д'Амеркер увидал, как металлические блестки множатся в его глазах,

которые пожелтели каким-то беглым блеском, страстным, неукротимым и почти тотчас же потухшим.

Первый этот визит не остался последним; г-н д'Амеркер еще часто видал мраморные сени, где шел, подняв копыто над своим мраморным пьедесталом, бронзовый кентавр, с шишкой из оникса, сиявшей в его руке. Г-н де Нуатр никогда не давал никаких объяснений относительно происхождения и цели этих необычайных коллекций, собранных в его доме. Он не говорил о них иначе, как для того, чтобы отметить редкость книги или красоту предмета. Больше ничего, и никакого намека на обстоятельства их первой встречи. Его сдержанность вызывала подобную же со стороны г-на д'Амеркера. Такие отношения церемонной дружбы охраняли секрет одного, не допуская любопытства другого, и оба, казалось, были согласны выказывать обоюдное забвение.

«Г-жа де-Ферлэнд была в тревоге уже несколько дней, когда она попросила меня зайти к ней. Я поспешил на ее зов и нашел ее нервной и озабоченной. На мои настояния поведать мне причину ее смуты она отвечала уклончиво, но кончила признаниями в том, что она живет в странном ужасе. Она рассказала мне, что каждую ночь собаки завывают, но не столько от гнева, сколько от страха. Садовники открыли на песке аллей следы шагов. Трава, истоптанная то здесь, то там, обличала чье-то ночное присутствие, и, к моему великому изумлению, она показала мне комок глины, на которой был виден странный оттиск. Это был беглый, но достаточно отчетливый след. Разглядев ближе отвердевший знак, я заметил несколько желтых волосков, засохших в глине. Незримый вор, очевидно, посещал сад и следил за домом. Напрасно ставили капканы и пробовали устраивать ночные обходы. Несмотря ни на что, г-жа де Ферлэнд не могла в себе победить непреодолимого ужаса. Я успокоил, как мог, милую трусиху, и, покидая ее, обещал вернуться на следующий день.

Это был день конца осени; раньше шел дождь. Улицы оставались грязными; в сумерках осыпались желтые и красные деревья. Большая решетка отеля оставалась открытой, привратник дремал в своей каморке. Я вошел в переднюю и ждал лакея, который бы мог доложить госпоже де Ферлэнд

обо мне. Ее комната, выходившая в сад, была в конце галереи. Я подождал еще. Ничто не шевелилось в обширном и безмолвном доме. Никто не приходил, и время шло. Слабый шум достиг моего уха: я стал слушать внимательнее, и мне послышались заглушенные вздохи, после – падение опрокинутой мебели. Я колебался, всё стихло. Вдруг раздирающий крик вырвался из комнаты г-жи де Ферлэнд. Я перебежал галерею и толкнул дверь, которая распахнулась настежь. Было уже темно, и вот что я увидел. Г-жа де Ферлэнд лежала полуобнаженная на полу, ее волосы разлились длинной лужей золота, и, склонившись над ее грудью, какое-то косматое животное, бесформенное и брыкающееся, сжимало ее и впивалось ей в губы.

При моем приближении эта глыба желтой шерсти отскочила назад. Я услышал скрип его зубов, а его копыта скользили по паркету. Запах кожи и рога смешивался с нежными духами комнаты. Со шпагой в руке я ринулся на чудовище; оно носилось кругами, опрокидывая мебель, царапая обивки, избегая моих преследований с невероятной ловкостью; я старался загнать его в угол. Наконец, я пронзил его в живот; кровь брызнула мне на руку. Зверь кинулся в темный угол и вдруг, неожиданно, толчком опрокинул меня, вскочил на открытое окно и, в звоне разбитых стекол, соскочил в сад. Я приблизился к г-же де Ферлэнд; теплая кровь текла из ее разорванного горла. Я приподнял ее руку. Она упала. Я прислушался к ее сердцу. Оно не билось. Тогда я почувствовал себя охваченным паническим ужасом; я бежал. Передняя оставалась пустой, дом казался таинственно покинутым. Я снова прошел мимо спящего привратника. Он храпел с открытым ртом, недвижимый, в какой-то летаргии, которая позже показалась мне подозрительной, точно так же, как и отсутствие всех слуг в этом уединенном отеле, в котором г-жа де Ферлэнд, казалось, предчувствовала какую-то скотскую западню, которая готовилась вокруг ее красоты. Была ночь; я бродил по улицам в невыразимом смятении. Начался дождь. Так длилось долго. Я всё шел, сам не зная куда, когда, подняв глаза, я узнал дом г-на де Нуатра. Я знал, что он друг начальника полиции, и мне пришла мысль посоветоваться с ним и в то же время сообщить ему о трагическом событии этого страшного вечера. К тому же этот отель, так неожидан-

но пустынный, мое присутствие на месте преступления, всё это создавало против меня, благодаря связи необъяснимых фактов, чудовищное подозрение, которое необходимо было предупредить безотложно.

Я позвонил. Слуга мне сказал, что г-н де Нуатр в своей комнате, которую он не покидает уже несколько недель. Я быстро взбежал по лестнице. Часы пробили одиннадцать, я постучался и, не дожидаясь, открыл дверь и остановился на пороге; сумрак наполнял обширную комнату. Окно должно было быть открыто, потому что я слышал, как стучал дождь снаружи по мостовой пустынной улицы, на которую выходил задний фасад дома. Я позвал г-на де Нуатра. Ответа не было. Я ощупью подвигался в темноте. Немного угольков тлело в камине. Я зажег об них факел, который нащупал рукой на консоле. Пламя затрещало. Распростертое на паркете ничком, лежало тело. Я повернул его наполовину и узнал г-на де Нуатра. Широко раскрытые его глаза глядели, стеклянные, из агатовых вывороченных век. На углах его губ пенилась алая слюна. Его рука запачкала мою кровью, когда я коснулся ее; я откинул черный плащ, в который был завернут труп. В животе у него была глубокая рана, нанесенная шпагой. Я не испытывал никакого страха. Нестерпимое любопытство овладело мною. Внимательно я осмотрел всё вокруг. В комнате всё было в порядке. Кровать раскрывала свои белые простыни. На паркете из косоугольников светлого дерева рисовались грязные следы; они шли от окна к тому месту, где лежал г-н де Нуатр. Странный запах кожи и рога осквернял воздух. Огонь затрещал. Две рядом лежащие головни вспыхнули, и я увидал тогда, что несчастный упал ногами в камин, и что пламя сожгло его башмаки и обуглило тело.

Эта двойная смерть взволновала Окрию. Меня призывали в высший суд и, после показаний, мной данных, меня больше не тревожили.

Связь между этими трагическими фактами навсегда осталась сомнительной и неустановленной. Так как г-жа де Ферлэнд не оставила наследников, то всё имущество ее перешло к бедным, вместе с тем, что г-н де Нуатр, тоже бездетный, оставил ей по завещанию, в котором он отказал мне, в память о нем, бронзового кентавра, украшавшего сени его дома, который держал в руке шишку из оникса».

Лакей вошел, хромая, и одну за другой зажег свечи в подсвечниках и большой канделябр, который он поставил на стол. Потом он растворил застекленные двери, чтобы закрепить наружные ставни. Ветер всё продолжался. Снаружи доносился запах роз и букса, и, привлеченная светом, маленькая летучая мышь носилась по обширной комнате. Она блуждала под потолком, точно она хотела нам начертить круг, без конца возобновляемый, но каждый раз прерывавшийся резкими зазубринами. Ее нежные крылья быстро бились. Маркиз сидел, завернувшись в свой широкий плащ из шелка, затканного узорами, и мы глядели на быстрое животное, которое с терпеливым ожесточением исполняло свое таинственное дело, прерываемое петлями его спешки, и путалось в обманных извилинах и в безвыходных сетях своего полета, который чертил воздух магическими росчерками своего прерывного заклятия.

Поездка на остров Кордик

С шумом захлопнутая дверь пробудила эхо, дремавшее в глубине длинной галереи между двух кариатид, что стояли в конце ее. Каменные бедра поддерживали их торсы из бледного мрамора, отливавшие вечной испариной, и сплетения их поднятых рук подпирали высокий золотой потолок. Мозаика пола мерцала, и я шел медленными шагами в гулкой пустоте этого места, размышляя о том, что душа государя была скользкой и опасной, как эти плиты, и так же испещрена странными фигурами и переплетенными арабесками.

Несогласие, возникшее между его высочеством и мною, тревожило меня. Мое упорство столкнулось с его капризом. Целый час он силился побороть то, что он называл моим упрямством. Я снова видел его в обширном кабинете, наполненном оружием и куклами, так как он увлекался стальными лезвиями и любил играть уродцами; он был знатоком мечей и марионеток; он имел пристрастие к доспехам на стенах и к чучелам, он собрал целую коллекцию одних и большое собрание других; но в глубине души оружие занимало его меньше, чем марионетки. Их лица из раскрашенного воска, их тряпичное тело, руки из гибких прутьев были удобны для игры в гримировку, в наряды и позы, для переодеваний в раз-

личные костюмы и мундиры, и маленький рост их служил государю для опытов в миниатюре; по ним он регламентировал затем форменную одежду солдат, ливреи лакеев и даже дамские туалеты; он считал себя в этом весьма искусным и сам заимствовал иногда кое-что от своих кукол, не столько ради развлечения, сколько с тайной надеждой вызвать удивление грациозностью своих переодеваний и изяществом маскарадов.

Я снова видел его окруженным своими куклами и настаивающим с упорством маниака, соединенным с опытностью дипломата на том, к чему он желал склонить меня. Временами он останавливался перед зеркалом, чтобы оправиться, и я видел отражение его беловатого лица и большого носа; полы кафтана задевали его по ногам, и он возвращался ко мне, желая, в конце концов, больше настоять на своем, чем убедить меня в правоте своего мнения. Характер государя был мне достаточно известен, чтобы в обыкновенных случаях с помощью какой-нибудь увертки ускользнуть от насилий его фантазии и от западней его настроений, но на этот раз гнев делал его ясновидящим, и ничто не могло отклонить его от задуманного предприятия, ничто, даже смешные стороны, на которые я указывал ему, доведенный до крайности, рискуя этим вызвать опасную вспышку его тщеславия. Всё было напрасно, и по легкому дрожанию его и по нехорошему свету его желтых глаз я понял, что кривые пути привели меня к тому перекрестку, откуда расходятся дороги, что легко могут оказаться дорогами опалы.

Я вернулся домой, чтобы размыслить о трудности моего положения, и всё еще искал средства выйти из неприятного осложнения, когда, на другой день утром, мне принесли эстафету. Его высочество приказал мне собраться, не медля, на остров Кордик, оставить мою карету на берегу и переправиться одному, чтобы явиться в известное место, где я найду его инструкции. Поборов свою тревогу, я решил счесть за доброе предзнаменование тот оборот, который принимали события. Высочайший гнев казался мне слабеющим, и я возымел надежду ускользнуть от последствий, опасаться которых заставляла меня одну минуту его чрезмерность; скучное путешествие и в конце какое-нибудь дурачество, которому я охотно подчинюсь, представлялись мне возможным

исходом. Часто подобные приключения разрешались таким образом, и на ухо сообщались случаи, когда очень важные особы должны были претерпеть, как наказание, злостные буффонады государя-маниака, забавная злопамятность которого удовлетворялась посмеянием или досаждением, и я решил охотно прибавить за свой счет еще лишний рассказ к легендам, делавшим из нашего странного господина тему для сочинителей романов и рассказчиков новостей. Во всяком случае, он принадлежал гораздо больше анекдоту, чем истории. Его маленький двор был удивителен. Падения там были похожи на кувыркания, акробатничество честолюбий соседило с пируэтами тщеславий.

Тяжелые лошади с заплетенными хвостами били копытами о мостовую. Кучер подбоченился на своих козлах; я сел, дверца хлопнула, колеса завертелись, карета миновала ограду. Дворец высился в глубине большой площади, сероватый в утреннем сумраке. Почетный двор был пуст. За стеклом одного окна в северном крыле, где находились личные апартаменты государя, я заметил его, наблюдавшего за моим отъездом, приподняв рукой занавеску, которую он опустил, когда я проезжал.

Дорога мчалась, дерево за деревом, межа за межой, город за городом. Почтовые станции чередовались с гостиницами; звенели сводчатые мосты; подъемы замедляли лошадей, которые рвались на спусках; паром перевез меня через реку.

Я никогда не посещал острова Кордика. Опасный морской пролив отделял от побережья его рыбацкий порт и его невозделанные земли... К утру третьего дня я почувствовал близость моря. Деревья росли кривые, малорослые, узлистые, как бы для того, чтобы лучше противиться своими карликовыми мускулами натискам ветра. Воздух свежел. На одном повороте я увидал воды. Они простирались, нежно-серые под бледным небом. Вскоре дорога свернула на узкий полуостров, каменистый и песчаный, лишенный всякой растительности вплоть до смиренной деревушки на его оконечности... Карета остановилась, я слез. Море шумело предо мною на маленькой отмели, по которой мягко отпечатывались следы. Несколько лодок стояло в бухте; одна из них согласилась перевезти меня на остров: я отплыл, взяв с собой дождевой плащ, и глядел, как уменьшается мало-помалу на

берегу моя карета, неподвижная, с толстым кучером в зеленой ливрее, со своими расписными дверцами и лошадьми в яблоках, рывшими копытом влажный песок, в котором уже сочилась вода прилива.

Лодка медленно покачивалась; вода вокруг нее становилась синей под ясным небом. Волны вздували свои зеленоватые округлости; иногда одна разверзалась пеной, большинство же выгибало свои спины неприметными хребтами. Глубокое внутреннее движение воодушевляло их, мачта скрипела. Якорь, еще струясь той глубиной, откуда его вытащили, сжимал свои крабьи клешни; он лежал на палубе, ракообразный и шершавый; кружили чайки. Наконец, появился на горизонте берег, сперва низкий, и стал расти мало-помалу. Он выходил из моря по мере того, как мы приближались; скоро мы увидели его высокие туманные скалы; они рисовались всё четче. Мы плыли вблизи острова; обогнув каменный мыс, мы увидели порт. Очутившись на берегу, я направился в поиски за гостиницей, а затем пошел бродить вдоль моря. Отлив обнажил дно бухты; водоросли сочились между плит набережной, они свисали, липкие и лоснящиеся. Дети играли, катая валуны по плитам. Курил, чиня парус, старый рыбак.

Мне захотелось взобраться на прибрежный утес, куда вела тропинка, обрывистая и поросшая травой. Мех рыжих вересков покрывал его спину; оголенные его бедра отвесно падали в море. Терпкий зной накалял камень. С конечной точки моего пути раскрывался вид на часть острова. Она была продолговата, лишена деревьев, ужасала пустынностью своих мхов, похожих на шерсть, из-под которых проступали лбы камней – костяк ее бурой наготы.

Солнце село, багрянея, весь остров стал сиреневым, как бы обветшав во внезапной осени сумерек. По морю скользили кое-где возвращающиеся лодки. Землисто-желтые паруса были похожи на увядшие листья – единственные, которые ветер носил вокруг этого острова, лишенного деревьев, где я невольно спрашивал себя, с какой, собственно, целью отправил меня государь, и где, благодаря скуке. которую я уже начал испытывать, раздражение его для меня обращалось в мщение.

Паруса цвета охры всё еще скитались по лиловатому морю. Геральдические облака покрывали гербами небо; баркасы вошли в порт в то время, когда я спустился; гостиница моя выходила на набережную, и вечером, поднявшись в свою комнату, я слышал, как они, пленные в гавани, глухо жаловались и терлись канатами своих якорей.

Когда я проснулся на следующий день, небо было серо и плотно; резкий ветер вытягивал бегущие облака; зеленоватое море белело пеной, и натиск волн тревожил скалы. Я взял проводника, чтобы он довел меня до указанного места, где должна была разрешиться загадка моего путешествия.

Место это было – каменный стол, расположенный на южной оконечности острова. Мы пересекали нескончаемые верески; паслись стада черных баранов. Каждый из них был привязан веревкой к колу, чтобы стада не перепутались. Они спокойно жевали. Приближение наше пугало их. И они, как бы охваченные безумием, начинали кружиться вокруг своих кольев, и на этой дикой равнине эти бараны колдуны, казалось, чертили зловещие круги.

Я расспрашивал человека, который меня вел. Он рассказал мне о страшных зимах на острове, об ураганах, кидающихся приступом на берега, о распахивающихся дверях, об опрокинутых домах, о жителях, принужденных ползать от силы ветра, обо всем этом несчастном зверином племени, защищающемся от непогоды скотскими позами и шерстяными одеждами. Мы все шли; ветер крепчал по мере того, как местность повышалась. Чувствовалась его хватка. Его угрюмость переходила в грубость; коварные нападения обманывали; даже его исчезновение сбивало с толку. Мы были теперь на плоскогорье, отвесно рухнувшем в море глыбами, снизу штурмуемыми приливом. Это был двойной вопль, один несвязный, другой застывший. Клочья пены пролетали над головой. Высокий каменный стол подымался в этом месте. Там под осколком скалы я нашел, как меня и предупредили, высочайший приказ; я прочел, ошеломленный, что в том случае, если стану упорствовать, изгнание в этой суровой земле вразумит меня. Надо было выбирать на месте. Жестокость этого приговора показала мне всю его серьезность. Ожида-

емое дурачество принимало трагическую личину. Огоньки в желтых глазах мне не солгали.

Я поглядел вокруг. С самого горизонта устремлялись огромные взводни. Их сила взрывалась белыми пенами, угрюмые скалы отражали свирепый прибой. Их зевы и крупы противились натиску валов, изрыгая пену и струясь влагой. Ветер свистел в жестких травах. Гордость моя возмутилась; смятение моря вошло в мою душу; я блуждал в течение всего дня. Я слишком хорошо знал полицию его высочества, чтобы мечтать о побеге. Жребий казался неотвратимым. Я понял ошибку своей дерзости. Воспротивившись капризу маниака, я задел тщеславие деспота, и в опасном манекене, слишком часто служившем мне предметом забавы, моя бравада пробудила наследственную злопамятность потомка древней расы, семена которой пребывали скрытые в душе этого странного высочества. Я забыл, что в том кабинете, где были собраны куклы и оружие, одиноко, в стороне, под золотым орлом с развернутыми крыльями, рука Справедливости из пожелтевшей слоновой кости сжимала на стене свой грубый кулак, кулак предка – основателя династии.

Я ходил весь день. Я спускался к маленьким отмелям, выщербленным среди яростных скал. Песок там был розовый, синеватый или серый, иногда почти красный, я открывал гроты, зеленовато-золотистые, полные кругляков, водорослей и раковин, со сталактитами, которые делали их похожими на внутренность фантастических карет. Вся моя жизнь припомнилась мне со всеми ее празднествами, маскарадами и наслаждениями. Я слышал смех женщин. Обнаженные, одна за другой, вставали они из моря. Я понял тогда обаяние любви и радость красоты... Я чуствовал себя к ним влекомым всеми силами моей юности, которую нежданный приказ неволил к внезапному выбору между гордостью и вожделением. Я возвратился в маленький порт. Вечер был печален.

Снова я видел черных баранов, кружащихся около своих кольев; мне казалось, что они чертят вокруг меня магические круги, как если бы они заговаривали мою судьбу зловещими знаками своего головокружительного плена. Пленные баркасы тоже стонали на якорях. Они не могли выйти сегодня

в море. Моряки, собравшиеся без дела на набережной, спали или играли в кости. Один из них, очень старый, долго глядел, как я хожу взад и вперед, после отвернулся с презрением и плюнул на землю.

Он угадывал, быть может, низость моего тайного упадка сил; страх изгнания сломил мою гордость; вожделения моей молодости влекли меня вдаль от ужасного острова, ни смысла которого я не понял, ни горького величия которого я не почувствовал. На следующий день я уже был на материке. Лошади в яблоках взвивались в моей упряжке, кучер в зеленой ливрее хлестал их лоснящиеся крупы, заплетенные хвосты отгоняли мух, в расписных дверцах отражалась дорога, дерево за деревом; решетка моего дома растворилась передо мною. Мозаики галереи переплетали под моими ногами свои фигуры и арабески, и, в обширном государевом кабинете, переполненном куклами и мечами, против древнего кулака из слоновой кости, чью тяжесть я испытал на своем плече, перед этим насмешливым и смягчившимся фантошем, расставившим свои тощие ноги и распускавшим павлиний хвост своего мундира в круглых бриллиантовых звездах, я склонился, в знак моей покорности, к руке, которую его высочество изволило протянуть, и поцеловал перстень с печатью, оттиск которой я узнал на том письме, что свирепый ветер вырвал у меня из рук и унес в море, бушевавшее вокруг обнаженного, скалистого и пустынного острова Кордика.

Знак ключа и креста

По мере того, как я знакомился с улицами города, мне вспоминалась одна из историй, рассказанных когда-то маркизом д'Амеркером. Не называя того места, где случилось это приключение. он описал его так подробно, что сегодня я узнавал его, по мере того, как передо мною вставал этот старый город, благородный и монастырский, разрешающийся в ограде своих развалившихся укреплений, на берегу желтоватой реки, супротив обнаженных гор на горизонте, город с тенистыми и залитыми солнцем улицами, с древними замкнутыми особняками, с церквами, с переменным звоном многочисленных монастырей.

Я нашел его точно таким, каким он описал мне его, этот город: нагромождением старых камней, мрачным и сияющим, застылым в пыльном окостенении от зноя и одиночества и своими еще сохранными памятниками являвшим скелет былого величия. Он опустел понемногу, потерял свои пригороды, ссохся в своих стенах, которые не мог больше наполнить. В середине громоздились дома сплошной глыбой, еще огромной; дальше были разбросаны только развалины жилищ, и всё было погружено в оцепенелую грезу, лишь изредка прерываемую жужжанием шмеля или перезвоном колоколов.

Улицы, мощенные плоскими камнями или убитые булыжником, странно пересекались, чтобы закончиться квадратными площадями. Там были рынки. Окрестные стада сходились на них и расходились, разрозненные случайностями торга. Ярмарки и церковные службы составляли поочередно единственное занятие жителей. Город остался деревенским и набожным. Быстрый топот овец стучал по мостовой, и гулко звучали сандалии монахов. Пастухи и паства смешивались. Затхлый дух руна сливался с запахом власяниц. Воздух пахнул ладаном и крепким потом. Стриженые овцы и бритые тонзуры, пастухи и священники...

Я пришел на развилье двух дорог. Здесь струя воды стекала в источенный временем водоем. Я вспомнил этот родник. Г-н д'Амеркер хвалил свежесть его воды. Улица направо должна была вести к ограде Черных Отцов. Я направился по ней. Излучины ее вели в самое сердце города. Несколько бедных лавок раскрывали свои лотки. Четки висели рядом с плетеными кнутами. Вдруг улица расширилась. Ее преграждал высокий фасад старого особняка. Я уже видел такие же – в разных местах, но этот бросался в глаза своей необычайностью.

Он подымался на цоколе очень старой кладки. Окна – высоко над землей под решетками. Должно быть, воспользовались фундаментами какого-то древнего жилища, и над ним теперешнее здание, надстроенное, вздымало свою строгую архитектуру. За углом отеля улица круто поворачивала и спускалась кривыми и крутыми лестницами. Спуск огибал заднюю часть здания и обнажал устои – бывшие стены ста-

рого укрепленного замка, гладкий каменный круп которого покоился на материке скалы.

Я узнал отель Гертелер.

Улица кончилась, показались деревья; большая аллея тополей продолжала ее. Старые каменные гробницы, пустые, стояли рядами в высокой траве, где шаги протоптали узкую тропинку. Направо тянулась стена, и в ней была низкая дверь. Я вздрогнул, увидав ее. Она вела в лечебный сад Отцов, монастырь которых выглядывал из глубины аллеи своим порталом. Прежде чем продолжать путь, я приблизился к маленькой двери в стене. Она была массивна и обита гвоздями. Замочная скважина имела форму сердца. Подойдя к воротам, я позвонил; привратник ввел меня в монастырь. Громадные коридоры вели в обширные залы. Мы поднялись по лестницам; брат-сторож приподымал рясу. Мы не встретили никого. Часовня, в которую я не вошел, гудела монотонным пением псалмов. Мне показали несколько дворов с аркадами. Один из них был очарователен – квадратный, полный цветов, населенный голубями; они сидели по карнизам, как живой тяжелый фриз.

Оттуда была видна колокольня церкви. Часы на ней как раз били время. Большой желтый подсолнечник глядел в темную воду колодца и отражал в глубине его свой лик золотого потира.

Ничто не изменилось с того дня, как маркиз д'Амеркер посетил старый город. Неизменность внешнего вида подтверждала, что и обычаи сохранились те же. Щелканье бичей сливалось еще с дребезжанием серебряных колокольчиков, и монастырские колокола перекликались своими звонами, как в то время, когда маркиз д'Амеркер с посохом в руке, с босыми ногами в сандалиях, в монашеской рясе постучался в двери монастыря. Он спросил приора, которым был в то время Дом-Рикар. Мне показали его увенчанную митрой могилу посреди окружавших ее безыменных усыпальниц. Он сохранял могущественные связи в миру, от которого удалился, протягивая туда руку за милостыней и предоставляя ее взамен, по мере надобности, для деликатных посредничеств, за которыми обращались к его благоразумию и мудрости. Маркиз д'Амеркер объяснил ему свой костюм, причины своего прибытия и подробности возложенного на него поручения.

После двадцати лет службы на высших военных постах, один местный дворянин, г-н де Гертелер, вернулся сюда, чтобы поселиться совсем. Немного спустя он женился на мадемуазель де Каллисти. Она была бедная девушка, хорошего рода, очень красивая. Супруги жили в отеле Гертелер. Городская знать бывала у них, и самым частым посетителем был г-н д'Эглиоль. Он приходился родственником г-ну Гертелеру, который был в молодости его начальником и очень его любил. Образ жизни в отеле Гертелер был весьма прост. Никакой роскоши, очень мало прислуги; но жизнь там получала торжественность от высоты зал, от широты лестниц, от всей анахронической пышности старого дома.

От скуки ли пребывания в этом скудном обветшавшем городе после суеты шумной службы, благодаря ли внезапно воскресшей любви к приключениям, но через шесть лет, в один прекрасный день, г-н де Гертелер и д'Эглиоль исчезли, и никто не мог узнать куда. Проходило время. Розыски не привели ни к чему. Угадывалась какая-то тайна. Г-жа де Гертелер плакала. Ходили странные слухи, и шум мало-помалу достиг двора, где еще помнили этих лиц.

Однажды разговор об этом двойном исчезновении зашел при г-не д'Амеркере, который объявил, что сможет разгадать загадку. Ему предоставили полную свободу действий, и он уехал.

Первой его заботой было надеть монашеское платье, чтобы этой одеждой обеспечить себе возможность проникать всюду, и в щели двери, и через трещины совести, и Дом-Рикар облегчил ему все способы этого расследования. Первые розыски остались безрезультатными. Облегчаемые таинственностью его костюма и видимостью его положения, они были терпеливы и разнообразны. Он изучал окрестности отеля Гертелер, разведал о привычках и ощупал жизнь его обитателей. Он вслушивался в еще животрепещущие слухи о событии. Всё было напрасно. Он пожелал видеть г-жу де Гертелер. Ему ответили, что она больна, и он не смог преодолеть затворов, которыми она оградилась. Каждый день проходил он мимо отеля. Он шел по улице, которая подымается вдоль фундаментов, и останавливался против фасада. Очень часто он доходил до этого фонтана, о котором мне рассказывал. Холодная вода освежала его рот; на возвратном пути,

спускаясь по ступеням, он рассматривал огромное здание из камня и скалы. Он хотел бы припасть к нему ухом и подслушать его тайну; ему казалось, что во чреве старого дома живет призрак загадки, уже близкой к забвению, ради которой он пришел, чтобы потревожить ее молчание. Наконец, потерпев неудачу, он уже готов был отказаться от предприятия. Он распрощался бы с Дом-Рикаром, если бы не настояния старика, который удерживал его при себе. Старый монах наслаждался обществом этой овцы, столь не похожей на стадо, которое направлял его деревянный жезл по однообразным тропам уставов.

Однажды, около пяти часов после полудня, маркиз д'Амеркер, выйдя через старые ворота, шел между высоких трав аллеи. Время дня было грустно и величаво; деревья преграждали тенями погребальную аллею, ящерицы бегали по теплым камням древних могил и скользили в их трещинах. Одной рукой маркиз д'Амеркер отряхал свое длинное монашеское одеяние, а другой держал ключ, чтобы отпереть имеющий форму сердца замок лечебного сада, в котором он любил прогуливаться. Он хотел взглянуть на него еще раз до своего отъезда, еще раз подслушать, как будет скрипеть подошва его сандалий по гравию аллей, снова почувствовать, как ряса задевает о шпалеры из букса. Симметричность цветников ему нравилась; на их квадратах росли нежные травы и редкие цветы; в маленьких бассейнах цвели водяные растения. Они погружали в воду свои корни и распускались, отражаясь в ней. На скрещениях аллеи, в фаянсовых вазах, расписанных эмблемами и фармацевтическими девизами со змеями по бокам, произрастали ценные разновидности. Через стену были видны верхушки тополей; в соседних огородах, отделенных высокими зелеными трельяжами, слышен был шорох граблей, удар кирки о лейку, легкий треск садовых ножниц, срезающих побеги; здесь же всё было погружено в молчание; цветок гибко склонялся под тяжестью насекомого; реяли ласточки; стрекозы задевали зеленоватую воду; мясистые змееподобные травы сплетались и расплетались в виде кадуцеев

Маркиз д'Амеркер направлялся к двери этого странного замкнутого садика, когда увидел, что из глубины аллеи к нему идет женщина, одетая в черное; она шла медленно,

как бы ощупью. Он внутренне постиг каким-то внезапным ясновидением, что эта высокая и мрачная фигура не может быть никем, кроме г-жи де Гертелер. Он замедлил шаг, таким образом, чтобы встретиться с ней в тот момент, когда она остановится перед низкою дверью. Дойдя до двери, он вложил ключ в замок. Звук заставил вздрогнуть одинокую путницу. Она колебалась. Он нагнулся, как бы стараясь отпереть. Она хотела воспользоваться мгновением и пройти мимо, но вдруг очутилась лицом к лицу с ним, так как он резко полуобернулся. Он увидел бледное и красивое лицо, изможденное бессонницами и страданием, взволнованные глаза, полураскрытый рот и руку на задыхающейся груди. Тогда он быстро вошел, оставив в прикрытой двери, в железном сердце замка, ключ.

На следующий день, когда он мечтал на маленьком дворике с аркадами, его известили, что женщина под вуалью хочет с ним говорить. Она пришла. Он узнал г-жу де Гертелер и усадил ее на каменную скамью. Голуби тихо ворковали по капителям пустынных галерей; воркование их смешивалось со вздохами, вздымавшими грудь кающейся; он осенил ее, коленопреклоненную, широким крестным знамением и, склонив голову, руки спрятав в рукава, слушал скорбную исповедь. Это была страшная и трагическая история. Зачем было рассказывать ее? Но тайна казалась ей разоблаченной. Этот монах, отмыкающий ключом замок в форме сердца, показался ей насильственно растворяющим путь к ее совести. Она увидела в этой встрече указание судьбы и в жесте – таинственный намек, а также и символ, ниспосланный освободить ее душу, заточенную в ужасе молчания.

Брак ее с г-ном де Гертелер не был браком по любви. Она уважала его, но боялась его гордого характера, суровость которого пугала ее доверчивость и приводила в отчаяние ее нежность. Минули годы. Одной зимой г-н д'Эглиоль появился в их доме и вошел в ее интимную жизнь. Он был красив и еще молод. Она отдалась ему: это были дни радости и ужаса, прожитые в страхе быть открытыми и в томлении угрызений совести. Г-н де Гертелер не замечал ничего. Как и обыкновенно, он часто бывал в отсутствии; он только постарел, и широкая морщина прибавилась еще к тем, что уже бороздили его лоб.

Однажды вечером г-жа де Гертелер удалилась в свою комнату около полуночи. Она чувствовала себя печальной. Г-н Эглиоль не появлялся в течение суток, а он никогда не пропускал ни одного дня. Г-н де Гертелер уехал верхом с утра, несмотря на то, что шел дождь. В то время, когда она причесывала волосы перед зеркалом, она увидела, как дверь отворилась, и вошел ее муж. Он был в высоких сапогах, но на них не было никаких следов грязи; платье его казалось пыльным, длинная паутина свисала с его локтя, и он держал в руке ключ. Ничего не говоря, он направился прямо к стене комнаты, где на гвозде висело распятие из слоновой кости, сорвал его, разбил о пол и на место его повесил тяжелый заржавленный ключ. Лицо его было гневно и бледно. Г-жа де Гертелер застыла на одно мгновение, не понимая; после, вдруг, поднеся руки к сердцу, вскрикнула и упала навзничь.

Когда она пришла в себя, страшное событие стало ей понятно. Ее муж заманил г-на д'Эглиоль в какую-нибудь западню. Старое обиталище, построенное на фундаменте крепости, таило в своих глубинах невидимые убежища и вечные тайники. Крик, ее собственный крик, звенел еще в ее ушах, но он, казалось, шел снизу, заглушенный грудами камня, пронзая своды, высившиеся один над другим, доходя до нее из тех уст, от которых навсегда отделила ее толща стен. Она хотела выйти. Дверь не поддавалась. Затворы замыкали окно: слуги жили далеко.

На другой день г-н де Гертелер принес ей пищу. Каждый день он возвращался. Паутина всё висела на рукаве его пыльной одежды, сапоги стучали по плитам, большая морщина на лбу врезывалась в бледность пыток и бессонниц. Каждый раз он выходил молча и на слезы и на мольбы отвечал лишь кратким жестом, указывая на ключ, висевший на стене.

То были трагические дни, которые несчастная прожила, устремляя глаза на ужасное ex voto, которое всё росло и становилось огромным. Ржавчина казалась ей красной от крови. Она чувствовала, как кровь сочилась в уединении ее отчаяния. Дом будто вымер. Вечером послышались шаги, и г-н де Гертелер вошел еще раз, неся лампу и корзину. Волосы его поседели, он даже не поглядел на несчастную, которая ползала у него в ногах, но не переставал с жадностью созерцать грозный ключ.

Тогда г-жа де Гертелер поняла алчное желание, снедавшее ее мужа, жгучую жажду, томившую его: увидеть труп своего соперника, убедиться в своей мести, ощупать ту гниль, которою стала плоть возлюбленного; словом — взять ключ, что он пригвоздил к стене, заменив знак прощения, образ которого из слоновой кости он разбил, знаком вечного злопамятства, который он повесил, как незыблемую бронзовую эмблему. Но, увы, мщение неутолимо; оно навсегда остается желанием; в нем и жестокость, и муки; оно постоянно возвращается к той же тревоге, до самого конца жизни, до самого дна памяти.

Г-н де Гертелер почувствовал, что разгаданы его одинокие пытки, и страдал еще больше. На черном мраморе его гордости были кровавые борозды.

Однажды ночью, когда г-жа де Гертелер дремала, лежа на кровати, она услыхала, что дверь тихо растворяется, и увидела своего мужа на пороге. Он держал в руках притушенную лампу и шел тихо, как тень, так что плиты не звенели, как будто мрачный лунатизм его неотступной мысли сделал из него невесомый призрак; он пересек комнату, поднялся на цыпочки, взял ключ и вышел. Наступила мертвая тишина. Муха, пробужденная светом, зажужжала и смолкла. Замок не щелкнул. Неизъяснимый толчок поставил на ноги г-жу де Гертелер. Босая, скользнула она в коридор; ее муж спускался по лестнице; она последовала за ним. Из нижнего этажа он продолжал спускаться; ступени углублялись в темноту. Она слышала в глубине подземных коридоров шаги, которые шли впереди нее. Они были в древних подвалах старого отеля. Стены сочились сыростью. Они проходили под круглыми сводами. Последняя лестница врезала свою спираль в скалу. В глубине на влажной стене еще мерцал отсвет маленькой лампы, которой не было видно. Наклонившись, г-жа де Гертелер слушала. Какой-то скрежет долетел до нее, и свет погас. Внизу открывалась круглая комната. Полураскрытая часть стены прикрывала узкий проход. Она прошла еще дальше. В конце, ощупью, она угадала незаметно приоткрытую дверь. Она раскрыла ее. Г-н де Гертелер сидел на земле около своей маленькой лампы в какой-то квадратной дыре, мощенной плитами и крытой сводом; он смотрел и был недвижим

с широко раскрытыми глазами. Он глядел на нее и не видел. Тошный смрад шел из подземелья; на камне, вне пределов тени, лежала уже позеленевшая высохшая рука. Госпожа де Гертелер не вскрикнула.

Разбудить ли ей этого несчастного лунатика, которого яростный сон привел в трагический подвал? Наложить ли ей на его гордость еще наказание этой неожиданности? Нет! Месть за позор была справедлива. Зачем показывать ему его унижение. Она почувствовала жалость к его блуждающим глазам, которые глядели на нее, ее не различая, к его лицу, со следами пыток, к его волосам, побелевшим от молчаливых страданий, и поняла, что для того, чтобы спасти эту боль, от него надо скрыть тайну его ночного падения и дать ему с миром утолить свою страстную жажду в вечном молчании могилы, так чтобы он никогда не узнал, чья невидимая рука замуравила его лицом к лицу с его кощунством. Г-н де Гертелер всё смотрел на нее. Очень спокойно опустилась она на колени, поцеловала зеленоватую ладонь, которая раскрывала на камне свои высохшие пальцы, и, притворив дверь снаружи, ощупью вышла и нажала пружину стены, которая закрывала проход. Она поднялась по спирали лестницы, по подземным ступеням, по лестницам этажей и на ржавый гвоздь в своей комнате повесила трагический ключ, который покачался одно мгновение и остановился неподвижно, отмечая час вечный. Голуби пролетали и вновь возвращались, порхая под аркадами маленького двора. В одно и то же время пробили часы на колокольнях города. Несчастная женщина, рыдая, протянула маркизу д'Амеркеру большой ключ и уронила к его ногам. Он поднял его. Ключ был тяжел. Ржавчина его казалась красноватой. Г-жа де Гертелер, коленопреклоненная, умоляла жестами, в беспамятстве, с судорожно сжатыми руками, видя, что он удаляется от нее. Маркиз д'Амеркер спустился к другому дворику, находившемуся ниже и благоухавшему в самой середине монастыря. Цветы там распускались между буксов равной высоты в партерах. Большие розы гирляндами обвивали колодезь с каменной окраиной. Они царапали шипами платье монаха, нагнувшегося над ним; вода брызнула. Высокий золотой подсолнечник склонял свой потир с медом. Голубка тихо ворковала, и маркиз д'Амеркер, возвратясь к

кающейся, всё еще лежавшей ниц, прошептал ей на ухо слова отпущения, которые, если и не разрешали ничего на небе, зато хотя на земле давали горестной душе мир.

Великолепный дом

Дом, который я построил для мадам де Серанс, был обширен и великолепен. Благороднейшие каменоломни доставили для него камень и мрамор; дерево было привезено из самых прекрасных лесов. Архитектор, лысый старик, действовал согласно старинным правилам. Со знанием зодчего он соединял искусство планировать сады. Он умел расположить в них и бассейны, и бьющие фонтаны. Он умел разбить боскеты, запутать лабиринты, завершить конек крыши самыми прихотливыми флюгерами.

После выбора местоположения и композиции перспектив, он простер свое искусство и на внутренние детали. За внешностью фасадов он распределил всё скрытое в комнатах: люстры, свисающие с потолков, как сталактиты диких гротов, ковры, мягкие, как газоны, стенные шпалеры – узорные, как цветники, зеркала – чистые, как водоемы.

Весь день его видели озабоченным, перепрыгивающим через рвы, взбирающимся на леса, под дождем и под солнцем, вслед за садовниками или каменщиками. Удары кирки сливались со стуком молотков; оструганные балки лежали поперек тесаных камней. Вытянутые и дрожащие корни больших и ветвистых деревьев погружались в новую землю, чтобы в ней ожить. На быках провозили статуи, и каждый вечер, когда заходило солнце, тень дома увеличивалась работой дня.

Старик распоряжался всем: кладкой камней, укреплением деревянных обшивок, посыпанием аллей песком и уравнением воды в бассейнах, стрижкой кустов и узорными решетками, неутомимый, с компасом в руке, с развернутыми планами, счастливый тем, что он мог еще раз создать произведение архитектуры, страстно им любимой, былая мода на которую уже проходила и чья изысканная симметрия уступала место импровизациям вольного вкуса. Его мания в согласии с моим желанием торопила работы, которые надо было закончить к условленному сроку.

В этот день, заранее назначенный, всему надлежало быть готовым: цветы должны были благоухать в партерах между буксами аллей и пирамидами остролистника, обелиски из тиса – стоять на средних площадках, и статуи – улыбаться своими мраморными лицами, опираясь голыми ногами на пьедесталы, овитые гирляндами, и воды – готовыми кинуть в воздух свои ракеты, распустить свои снопы, переполнить водоемы, напоить весь сад нежным журчанием. Все ключи должны были находиться в дверных замках, все украшения – на стенах, каждая вещь – на своем месте, со всею законченностью деталей, – с винами и фруктами, поданными на стол, и повсюду – много прекрасных зеркал, – так мне хотелось, чтобы отразить божественную улыбку, ночные волосы и грациозную поступь несравненной мадам де Серанс, таинственная красота которой должна была заглянуть в них только один раз и навсегда.

Никогда не было более сияющего утра. С рассвета грабли сгладили аллеи, лейки ожемчужили освеженные цветы. Воздух был мягкий, чистый и легкий. Это ясное утро конца лета предвещало лучезарный день. Теплое солнце ласкало статуи и смягчало их мрамор; бассейны сверкали; ни один листок не должен был упасть, ни одна роза – облететь; были оставлены только самые сильные, и мощная их зрелость обеспечивала им долгую свежесть.

В полдень я приблизился к решетке, чтобы принять мадам де Серанс. Она вышла из кареты, и я поцеловал ей руку. Я поблагодарил ее за приезд и напомнил обещание. Она тихо улыбалась. Наступило мгновение молчания, и она протянула мне три розы, которые держала в руке по своему обыкновению. Я взял их и, поклонившись, удалился от нее и от великолепного дома. Три раза оборачивался я, целуя каждый из трех цветков, и каждый раз видел, что она глядит на меня.

Мадам де Серанс шла одна по аллее. Большие деревья сопровождали ее одно за другим, молча; в конце раскрывалась перспектива садов. Они были, в самом деле, удивительны. Купы листвы простирали свежую тень. Три флейтиста перекликались из глубины, спрятанные в запутанной раковине лабиринта; журчащие воды украшали молчание этого уединения, но одни только статуи улыбнулись прекрасной посетительнице.

Фронтон дома упирался на порфировые колонны.

Мадам де Серанс вступила в прохладные сени. Комнаты открылись одна за другой для молчаливой ее прогулки. Между ними были и простые, и другие – пышные, маленькие и большие, созданные для любви, для сна или грезы, для радостных раздумий и для склоненной грусти.

Мадам де Серанс провела весь день в великолепном доме. Сзади крыльцо спускается в палисадник. Здесь – только одна дорожка вокруг зеленого газона, на котором дремлет квадратный водоем. В нем отражаются два маленьких сфинкса из обожженной глины. По углам большие завитые сосуды из хрусталя придают вьющимся розам, цветущим в них, сходство со странными водяными цветами, вырастающими из прозрачных чащ. Вечер наступает здесь упоительно; вечер наступил.

В высокой столовой был сервирован ужин из отборных мяс, сладостей и фруктов. Оттуда, оставив на персике оттиск своих улыбающихся зубов, мадам де Серанс должна была подняться в спальню. Все зеркала увидели ее, и одно из них отразило ее обнаженной и сохранило навсегда в своем хрустале невидимый образ той, которая поставила на карту и проиграла мне свою тень.

В те времена я был игроком, и счастливым игроком. Согласно старому суеверию, я замыкал мое золото в кошельке из кожи летучей мыши. Я не столько верил в действительную силу этой странной приметы, сколько был пленен ее необычайностью. Мне нравилось дополнять мой характер некоторыми причудливыми черточками для того, чтобы сделать его интересным как для других, так и для себя самого.

И вот каждый вечер я оказывался в игорном доме или в ином месте, где играли. И тайная, и открытая игра были одинаково в ходу; картежные притоны были переполнены, потому что увлечение костями и картами, доходившее до неистовства, привлекало к зеленым столам самое блестящее общество. Волосатые пальцы мужчин судорожно сжимались на столах рядом с нежно-сверкающими руками женщин. Ожидание вызывало трепет на очаровательных устах и слюну на ртах отвратительных; проигрыш выражался и грациозными гримасками и нахмуренными губами. Золото звенело, и в

промежутках молчания слышны были стук бросаемых костей и полет карт, беглый и вещий.

Золото выигрышей просачивалось в соседние жизни, где проигрыш точил трещины. Возникали продажности, внезапные и угрюмые, одни нежданные, другие подстерегаемые. Рушились подточенные и треснувшие души и рассыпались в прах. Золото переходило из рук в руки для утоления желаний. Создавался рынок, аукцион и торг. Каждый искал, что ему продать или кого купить. Некоторые имели прибыль на посредничестве, многие спекулировали на нужде, все плутовали на качестве. Каждая страсть могла удовлетвориться, только бы случай ей благоприятствовал.

Нарумяненные и томные юноши, мужественные и наступательные женщины торговали своими извращенными ласками. Скачки богатства, его суетность и неожиданность придавали каждой прихоти торопливую поспешность. Самые счастливые утомлялись счастьем, благодаря однообразию его длительности. Фантазии ожесточились; возникли – чудовищные. Из-за какого-то нелепого соревнования старались превзойти один другого в распутствах, и удовольствие, от них получаемое, было меньше, чем тщеславие их совершить. Это была эпоха крайнего разгула и порочной изобретательности; я тоже участвовал во всем, и примеры, которые я делал, остались славными. Если мы не встретили рассвета за свечами, истаявшими во время игры, то заря заставала нас за вином и любовью. Тогда мы убеждались в обмане нашего двойного опьянения. Оно томило нас усталыми телами и распустившимися волосами, трупами призраков, которые нас обольстили. Мы расходились с тоскою.

Каждый вечер, каковы бы ни были приключения дня или труды ночи, приводил меня, вопреки себе самому, к игорным столам. Среди многочисленных игроков, сменявших один другого, поражала с самого моего приезда и в течение всего моего пребывания одна дама удивительной красоты. Она являла одновременно и упорство, и небрежность, садилась всегда на одно и то же место, вдыхая цветы букета, с которым не расставалась никогда.

Среди стольких игроков с переменной удачей лишь наше счастье оставалось неизменным, и это постоянство успеха

указало нас друг другу. Около нас собирался круг, и маркиз д'Амеркер вызывал не меньше зависти, чем мадам де Серанс.

Однажды я очутился рядом с нею, и мы, заговорив о нашем двойном счастье, постоянство которого изумляло, решили скрестить, как противники, наши удачи и посмотреть, чья уступит. Решив это испытание, мы назначили время и место поединка.

Была прекрасная августовская ночь, когда я сел за стол против мадам де Серанс. Племя игроков шумело об этой дуэли. Уже заключались пари об исходе, прежде чем началась игра. Были поставлены крупные суммы. Каждый из наших жестов вызывал ответные удары и имел последствия... Многочисленные интересы зависели от искусства наших ходов и от случайности наших козырей.

Салон мадам де Серанс, где я был наедине с ней, тремя окнами выходил в прекрасный сад, ароматы которого достигали до нас. Свечи сияли каждая очком света. Мадам де Серанс положила на стол букет роз; самая прекрасная из них висела на конце надломленного стебля, и лепестки ее опадали один за другим в течение этой патетической ночи. Тонкие руки партнерши стасовали гибкие карты. Игра началась. Я выиграл чудовищную ставку; она была удвоена; я выиграл снова, после еще, и еще, и еще... Золото поднялось столбиками. Остальное было представлено жетонами. Мадам де Серанс тихо улыбалась. Мы играли на драгоценности; ясный ее голос называл их одну за другой; бриллианты бросали снопы света; переливались рубины; стекали жемчужины капля за каплей. Она проигрывала: тогда мы начали ставить на карту поместья. Звучные и грациозные имена вызывали их по очереди: замки среди лесов в глубине дубовых аллей или сквозь завесу сосен, дома на речных берегах, рыжие поля пшеницы, коричневые пашни, зеленеющие луга, фермы с мычащими быками, голубятни, где воркуют голуби, пески, скалы, стога, пасеки... Мадам де Серанс не переставала улыбаться.

Молчание наступило между нами. Положив руку на стол, она поднялась в своем платье из зеленого муара. Пахли цветы в открытые окна; столбик золота рассыпался по ковру; свеча лизнула пламенем колпачок, и он треснул. Мы пристально взглянули друг на друга. Мадам де Серанс покраснела, как

будто самое себя почувствовала последней ставкой. Жестом, заставившим ее вздрогнуть, я указал на стол, по которому рассыпал карты, что сжимал в пальцах. Раскрашенные их лица, казалось мне, гримасничали и улыбались. Бородатые короли пересмеивались с бритыми валетами. Алебарды одних перекрещивались мечами других. Дамы вдыхали запах пестрых тюльпанов. Я почувствовал, что сейчас буду говорить, но еще сам не знал, что скажу, и голос, в котором я узнал свой собственный, прошептал медленно, между тем как жестом я приглашал мадам де Серанс окончить прерванную партию: «Всё, – сказал я, – ставлю всё против вашей тени!..»

Так я играл и выиграл тень мадам де Серанс. Чтобы сохранить навсегда ее образ, я построил этот великолепный дом: одно из его зеркал сохраняет в своем хрустале невидимое отражение, которое двери его замкнули навсегда. Они не откроются для меня, и удивительная тайна станет, – когда разрушится дворец, хранящий ее, – вечным прахом, в который превращаются и существа, и вещи, и их тени.

ПОЭМЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ

Кровь Марсия

Как голос вод в лесных ключах различен,
Так у дерев есть голос – долгий, смутный...
Прислушайся: у каждого свой голос в ветре.
И ствол немой передает листве живой
Подземные слова своих глухих корней.
Весь темный лес – один широкошумный голос.
Прислушайся, как дуб шумит, береза
Лепечет, замирая, глухо ропщут буки,
И стонут ясени, а беглый трепет ивы
Звучит почти как речь невнятная,
И слышатся в порывах
Морского ветра
Таинственные жалобы сосны...
Ее кора и ствол обагрены
Горячей кровью бедного сатира...

Марсий!
Я знал и видел
Марсия,
Чьей дерзкой флейтою была побита Лира.
Я видел, как он был привязан
Руками и ногами
К стволу сосны,
И рассказать могу,
Что было
Меж Богом и Сатиром,
Ибо видел,
Как он привязан был, лишенный кожи,
К стволу сосны.
Он кроток был, задумчив, скрытен

И молчалив;
Маленький и с сильными ногами,
С ушами длинными, заостренными,
С темной бородкой,
В которой вились нити седых волос.
Зубы были
Ровны, белы, и смех его короткий, редкий
В глазах светился
Какой-то ясностью –
Печальной и внезапной –
Молчаливой...
Ступал он четко, сухо,
Ходил походкой быстрой и танцующей,
Как некто, в глубине себя несущий
Какую-то большую радость, но молчащий.
Он редко улыбался, говорил немного,
Поглаживая темную бородку,
С серебряною проседью.

В дни осени,
Когда сатиры празднуют сбор винограда
И пьют из бурдюков, и славят дивный плод,
И тамбурин
Гудит, грохочет, бьет;
В дни осени,
Когда они танцуют,
Скача с копыта на копыто, вкруг
Больших амфор и красного точила,
С лозою меж рогов
И с факелом в руках;
В дни осени,
Когда всё пьяно, Марсий
За их толпой
Шел легкими шажками, не мешаясь
В их оргию,
И не алила
Струя вина его лохматой шерсти: он

Сорвавши гроздь, серьезный, сев на землю,
Ел осторожно ягоду за ягодой
И в руку
Сплевывал пустые шкурки.

Он жил один у рощи гулких сосен.
Была его пещера низка и глубока –
В плече скалы у горного ключа.
В ней помещалась
Постель из мха,
Глиняная чаша,
Миска деревянная,
Скамейка
И связка тростников в углу.
А рядом,
В защите от ветров,
Он, будучи искусен в плетении корзин
И лаком
До меда свежего, поставил ульи.
И гул роев сливался с гулом сосен...
Так жил Марсий-Сатир.

Днем
Бродил он по полям, повсюду, где текут
Подземные, таинственные воды;
Он ведал все ключи:
Те, что из скал сочатся за каплей капля,
Те,
Что из песков бегут и бьют в траве,
Те, что жемчужатся,
Те, что кипят,
Обильные, скупые,
Истоки рек, начала ручейков,
Те, что в лесах, и те, что на равнине,
Священные ключи и сельские колодцы –
Он знал все воды
Окрестности.

Марсий был искусен
Из тростника вырезывать свирели:
Умел обрезать
В должном месте ствол,
Чтоб стал он
Сиринксом или флейтой,
Сделать дырки для пальцев
И одну большую для губ,
Смиренное дыхание которых
Вдруг наполняло лес таинственною песнью,
Нежданною и чистой,
И росло, смеялось, плакало, роптало и шуршало.
Марсий был искусен и терпелив.
Он иногда работал на заре иль при луне,
Поглаживая темную бородку,
С серебряною проседью.

Он знал прекрасно тысячи приемов
Срезать тростник – короткий или длинный,
И о звуке:
Как следует приставить губы, сделать,
Чтоб брызнул звук пронзительный и чистый,
Иль нежный, иль глухой, короткий или тихий,
Как сохранять дыханье,
Как сидеть,
Как ставить руки
Локтями вниз,
И многое другое...

Он не любил играть, когда могли услышать.
Он никогда из грота не спускался,
Чтоб вызывать на состязанье в пеньи
Окрестных пастухов, как прочие сатиры.
По вечерам, когда все люди спали,
Беззвучно он скользил по влажным травам
И уходил, порою до рассвета,
На склоны гор, и, севши там меж сосен,
Глядел, в молчаньи, в бесконечность, в ночь...

И флейта лес дыханьем наполняла,
И чудо! – каждое, казалось, пело
Во мраке дерево. Его таким я слышал.
И был велик, таинственен, прекрасен
Огромный лес, живущий в малой флейте,
Со всей своей душой, с листвой, с ключами,
И с небом, и с землей, и с ветром.

Но те, что слышали его,
Смеялись, повторяя:
«Этот Марсий сошел с ума,
Его напевы плачут, потом смеются,
Вдруг смолкают, возникают...
И, Бог весть почему,
Умолкнув, плачут снова».
– «Он не умеет петь по правилам,
И прав, играя только для лесных деревьев», –
Так говорил фавн Агес – знаменитый
Певец, завистливый соперник.
Он был стар, имел один лишь рог,
И не любил он
Марсия.

В то время Аполлон
Остановился, проходя страною Аркадийской,
На несколько часов у жителей Келены.
Был собран хлеб и близки сборы
Винограда.
А так как грозди были тяжелы,
И полны житницы,
И все довольны,
То с радостью приветствовали бога-
Кифареда.
Прекрасен был, стоявший в диске солнца,
Касаясь струн великолепным жестом,
Надменный бог, торжественный, довольный
И царственный. Порою отирал

Он пот с чела. И струны лиры пели,
И черепаха рокотала глухо.
И гимн вставал, размеренный и строгий,
Над мирною и пурпурной землею.
А лира пела под руками бога,
Как бы охваченная пламенем...

Толпились все кругом –
И пастухи, и пастыри,
Пастушки, рыболовы, дровосеки
Сидели вкруг него;
И я – старик – один в живых из всех,
Кто некогда внимали звукам
Великой Лиры.
И фавны, и сильваны, и сатиры
Окрестных рощ, равнин и гор
Сошлись, чтобы послушать Аполлона.
Один лишь Марсий
Оставался наверху –
В пещере,
И, лежа,
Слушал сосны, пчел и ветер.

О Марсий!
Туда они пришли искать тебя...
Когда умолкла лира, все хотели,
Чтобы Певец послушал наших песен.
И кто на дудочке, а кто на флейте,
Будили эхо.
По очереди каждый пел.
И доходили песни до уха бога –
Наивные, глухие, грубые.
Порою два певца перекликались,
И песни двух соперников, сменяясь,
Фальшивили, и ритмы их хромали.
А Аполлон их слушал благосклонный,
Безмолвный, стоя в сияньи солнечном,

Внимательный и к пастухам, и к фавнам,
Неутомимый, снисходительный,
Бесстрастный...
Пока не появился Агес. Был он стар,
Морщинист, безголос, страдал одышкой,
А когда-то искусен был на флейте,
Но с годами лишились силы пальцы. И когда
Беззубым ртом он дунул –
Из флейты знаменитой родился звук
Такой пронзительный и режущий,
Что Аполлон не мог не улыбнуться,
И сделал вид, что поправляет струны лиры.
Но старый Агес
Заметил улыбку
И был расстроен.
«Раз он улыбнулся, услыхав меня,
Наверно рассмеется, услышав Марсия», –
Подумал Агес,
И богу о сатире начал говорить.
Как съевший меду уж не помнит воска –
Улыбку Лирника, когда он рассмеется
Над Марсием,
Они забудут.

Он пришел.
Толпа раздалась,
Чтоб пропустить его.
Он шел, спеша,
Сухими, быстрыми, короткими шагами,
Как некто, кто торопится скорее кончить дело.
Он нес с собою флейту –
Маленькую,
Верную,
Из одного куска.
Он сел на землю против Аполлона,
Скромный, опустив глаза
Пред богом ослепительным,
Стоявшим в диске солнца с золотою лирой!

И он запел...
Сперва казалось,
Как будто ветерок шуршит в саду,
Как будто воды текут в траве иль по пескам...
Потом, как будто, дождь, потоки, ливень...
Потом, как будто, ветер или море, –
Потом он замолчал... И снова флейта
Запела ясно... Вдруг мы услыхали
Жужжанье пчел, и ропот гулких сосен...
Покамест пел он, обернувшись к солнцу, –
Светило медленно закатывалось.
И Аполлон теперь стоял в тени,
Обеззолоченный и сразу ставший темным
Из светлого,
Как будто вдруг вошедший в ночь.
А Марсий между тем,
Ласкаемый последними лучами,
Аливщими лицо, багрянившими шерсть,
Пел, упоенный солнцем, и казалось,
Что к флейте золотой он прижимал уста.
И слушали все Марсия-Сатира.
И, приоткрывши рты, все ждали смеха бога
И смотрели на лик божественный,
Который теперь
Казался ликом медным.
Вдруг, ясными глазами на бога глядя, Марсий
На два куска сломал об ногу флейту.
Тогда огромный вопль, звериный, долгий,
Вопль радости и гиканья, восторга, топанье ногами
Внезапно поднялись и смолкли сразу,
Потому что средь возгласов и смеха
Аполлон
Стоял один – жестокий и безмолвный
И не смеялся, всё поняв.

Марсий говорит:

Пусть так! Он сам хотел! Я победитель бога.
Привет тебе, земля, так долго и так много
Меня питавшая! Леса мои! Родник
Текучих вод, где я срезал сухой тростник,
В котором трепетно смеется и рыдает
Мое дыхание – растет и ропщет, тает,
То всхлипами ручья, то шумами листвы.
Лица, над водами склонившегося, вы
Уж не увидите. Мне не следить глазами
В небесной синеве за стройными ветвями!
Накажет грозный бог Сатира. Взрежет нож
Мой мягкий бурый мех, сдерет покровы кож,
Кровавя шерсть мою. Умру я. Но напрасно
Завистник царственный, соперник мой опасный,
Рукой неопытной наладивши свирель,
Мой голос отыскать захочет... А теперь
Вы тело Марсия, дрожащее от боли,
Из кожи вынете, зане – не всё равно ли,
Что я уйду с земли: мой голос не умрет,
Покамест ветр морской в стволе сосны поет.

Медали из глины

Снилось мне, что боги говорили со мною:
Один, украшенный водорослями и струящейся влагой,
Другой с тяжелыми гроздями и колосьями пшеницы,
Другой крылатый,
Недоступный и прекрасный
В своей наготе,
И другой с закрытым лицом,
И еще другой,
Который с песней срывает омег
И анютины глазки
И свой золотой тирс оплетает
Двумя змеями,
И еще другие...
Я сказал тогда: вот флейты и корзины —
Вкусите от моих плодов;
Слушайте пенье пчел
И смиренный шорох
Ивовых прутьев и тростников.
И я сказал еще: Прислушайся,
Прислушайся,
Есть кто-то, кто говорит устами эхо,
Кто один стоит среди мировой жизни,
Кто держит двойной лук и двойной факел,
Тот, кто божественно есть —
Мы сами...
Лик невидимый! Я чеканил тебя в медалях
Из серебра нежного, как бледные зори,
Из золота знойного, как солнце,
Из меди суровой, как ночь;
Из всех металлов,

Которые звенят ясно, как радость,
Которые звучат глухо, как слава,
Как любовь, как смерть;
Но самые лучшие – я сделал из глины
Сухой и хрупкой...
С улыбкой вы будете считать их
Одну за другой,
И скажете: они искусно сделаны;
И с улыбкой пройдете мимо.
Значит, никто из нас не видел,
Что мои руки трепетали от нежности,
Что весь великий сон земли
Жил во мне, чтобы ожить в них?
Что из благочестивых металлов чеканил я
Моих богов,
И что они были живым ликом
Того, что мы чувствуем в розах,
В воде, в ветре,
В лесу, в море,
Во всех явлениях
И в нашем теле
И что они, божественно, – мы сами...

Ваза

Тяжелый молот мой звенел в прозрачном воздухе.
Я видел реку, сад, луга
И дальние леса под небом,
Которое синело с каждым часом,
А после становилось лиловым, розовым
При наступленьи сумерек.

Тогда я подымался, потягивался
Счастливый дневной работой,
Устав склоняться с зари и до сумерек
Над глыбой мрамора,
В которой я тесал края
Невыявленной вазы, и молот веский
Стучал о камень,
Радуясь быть звонким в прозрачном воздухе,
Давая меру утру и радостному дню.

Рождалась ваза в камне округленном.
И, легкая и чистая, она вставала
Еще бесформенная в строгости своей.
А я – тревожный –
Сложивши праздно руки –
Я ждал по целым дням, направо и налево
При малейшем шуме обращая голову,
Уж больше не полируя выгибов, не подымая молот.
Струя воды
Стекала из фонтана, как будто задыхаясь,
Я слышал в молчании,
Как с дерева – на ветку с ветки –
Падал плод; вдыхал
Летучий аромат цветов далеких,
Доносимый ветром.

Часто мне слышалось,
Как будто кто-то шепчет,
И однажды,
Когда я грезил с открытыми глазами,
По ту сторону реки и луга
Запела флейта.

Однажды
Среди листвы охряно-золотистой
Я увидел танцующего Фавна
С ногами, поросшими волнистым бурым мехом.
В другой же раз я видел,
Как, выйдя из лесу, он сел на придорожном камне,
Чтоб с рога снять рукою мотылька.

Однажды
Кентавр чрез реку переплыл:
Вода струилась по человечьей коже и по шерсти;
Он сделал несколько шагов по тростникам,
Понюхал ветр, заржал и вновь пустился вплавь.
На следующий день я видел
Следы его копыта на траве.

Нагие женщины
Прошли, неся корзины и снопы,
Далеко на краю равнины.
Однажды утром трех я встретил у фонтана,
Одна заговорила со мной. Она была нагая,
И мне сказала: Камень изваяй
Согласно формам тела моего в твоем сознаньи,
И пусть он улыбается моим лицом;
Слушай вокруг себя часы, танцуемые сестрами моими:
Их легкий хоровод сплетается, кружась
И с песней расплетаясь.

И я почувствовал, как теплый рот коснулся моей щеки.

Тогда равнина и сад, и лес
Затрепетали странным шумом, и фонтан
Забил живей, переливаясь смехом.

Три Нимфы, взявшись за руки, плясали
Вкруг легких тростников; из леса
Фавны рыжие стадами выбегали; голоса
Сквозь легкие деревья сада пели
С проснувшеюся флейтой в настороженном воздухе.
Земля гудела топотом Кентавров,
Который приближался из глубины звенящих горизонтов;
И были видны на потных крупах
Хромые Сатиры, ужаленные пчелами,
С кривыми тирсами, со вздутыми мехами;
Рты волосатые с румяными губами целовались;
И хоровод – огромный, исступленный –
Тяжелые копыта и ноги легкие, туники, шкуры, крупы –
Кружились бешено вокруг меня, а я – суровый –
Я на лету ваял по выгнутым краям широкой вазы
Водовороты жизни вскипающей.

От аромата перепрелой земли
Мои пьянели мысли.
И в запахе плодов и гроздий раздавленных,
Под топот копыт, под шорох ног,
Под градом смеха, в вихре хоровода,
В зверином духе козлов и жеребцов
Я высекал из мрамора всё, что вокруг кипело.
Средь жарких тел и влажных дуновений,
Средь ржущих морд и говорливых ртов
Я чувствовал на пальцах влюбленные и беглые
Дыхания ноздрей и поцелуи губ.
Настали сумерки, и я взглянул округ.

Опьяненье умерло с оконченной работой.
На цоколе – с подножья и до края
Большая ваза вставала нагая в молчании...
Высечен спиралью на мраморе
Хоровод рассеянный, еще звучащий
В последних отголосках, доносимых ветром,
Кружился со своими козлами, богами, нагими Нимфами,
Кентаврами и Фавнами в молчаньи по выгнутым краям.
Меж тем, как я – один – среди суровой ночи
Я проклинал зарю и плакал к сумраку.

Ода

Любовь!
Я занавесил твое лицо в глубинах снов,
Любовь!
Я занавесил твое лицо в глубинах дней моих,
И светлые глаза, и медленные губы,
Которые мне на ухо шептали в сумерках,
А волосы твои, волнистые и теплые,
Я увенчал фиалками и листьями,
Я распустил твоих голубок на заре,
Я притушил ногой твой черный факел,
Сломал твой лук, твои рассыпал стрелы,
Любовь!
Я занавесил твое лицо на дне воспоминаний
И дней моих.
Потому что Весна запела на заре
Над тихою рекой, заросшей камышами,
Потому что Апрель смеялся в звонком гроте,
Связывая на пороге серебряные флейты,
Потому что в рощах шел русый дождь из солнечных лучей,
А голубые тропы бежали в лес,
И наконец звезда взошла над морем,
Та самая, что поднялась над кипарисами.
О Любовь с глазами жестокими истомой и стыдом,
Благодаря которой столько весен прошли – без сладости,
Я занавесил твой взгляд, и я оставил в тени
Твое лицо с глазами бледными от смеха и истомы.

Если б Лето, рыжее от хлеба и красное от роз,
Если б Лето,
Таинственное зрелостью и силой,

Если б Лето зеленых утр и золотых закатов
Со спелыми плодами, висящими подобно жарким каплям
К устам изнеможенным,
Если б Лето
Палящих солнц, полудней и созвездий,
Лето, поющее на ветре всем спелым золотом тяжелых нив,
Лето, кричащее, сочащееся кровью всех роз своих,
Не опьянило меня, о нежная Любовь,
Разве я бы прикрыл твои уста
Тяжелой розой,
Сладкой моим устам?

Вот Осень.
Весна и Лето умерли за часом час;
Осень оплакивает их струями всех своих фонтанов:
Рыдают водометы, бассейны всхлипывают,
Плачут источники,
И гроты – в слезах из сталактитов,
А в глубине аллеи,
Где листья мертвые печалятся
Поблекшим пурпуром и золотом увялым,
Вот ты – Любовь! Лицо твое завешено,
Венки – засохли,
И сломанный лежит твой лук и стрелы.
Раздую ли я пепел, в котором умер
Высокий факел твой,
Чтоб озарить им сумеречный вечер?
Ты не хочешь больше видеть меня,
Любовь! Любовь!
Уста твои так холодны с моими,
И слышу я на дне отжитых дней
Прошедшее, что плачет
Струями всех своих фонтанов.

Любовь

«Амур, ты хочешь роз, которых ты коснулся?
В них жар и злость уст, что шепчут в темноте
Имя твое, Амур!
Как скиптр хочешь этот цветущий стебель дрока?
Хочешь венцом на лоб я изогну
Прямую ветвь с листами блестящими и гладкими
Молоденького лавра?
О говори! Весь сад с листвой шумящей –
Тебе; его весна – лишь для тебя;
Его цветы, растенья, воды ждали
Со мною вместе часа твоего.
Взгляни же: вот твой храм и статуя...
Но почему же ты молчишь,
Амур, мои дары так малы. Я знаю.
Вон мой дом – за буками.
Следуй за мной. Вот ключ от двери.
Войди. Мой стол накрыт.
Плоды и молоко, вода, вино – отведай,
Позволь мне, милый гость, склонившись на колени,
Твою сандалию тихонько развязать
И целовать твои босые ноги, что привели тебя.
Они дорогой изранены. Ты утомлен. Но отчего
Твой взгляд, молчание и горькая улыбка?
Разве не так тебя приветствуют?
Пей же; и я из той же чаши выпью...
Мне страшно. Вот ты встал. И диким блеском
Горят глаза, что мне казались такими нежными.
Что с тобою? Что сделал я? Ты сразу вырос.
Тень наполняет комнату. Светильник погас.
Мне страшно. Ты руки мои схватил руками.

О не ломай мне пальцы. В них нету мужества.
Твое дыханье опрокидывает и жжет лицо.
Я трепещу. Мне страшно. Ненавижу тебя.
Как тяжко тело – твое. Ты хочешь жизнь мою?
Она твоя – Любовь!»
«Я – Любовь! Слушай меня. Руки мои крепки.
Тщетно моим легким шагам закрывать двери
Благоразумных домов и тайного сада;
Если боятся, что я войду – здесь я!
Я посетитель тайных оград, гость беспокойный.
Пускай светильник притушенный иль дымный факел
Озаряют мое лицо неясным светом, это – я!
Нет времени бежать, когда меня увидят...
Пусть медный звон или песок отметят
Черед, когда придет мой неизбежный час,
Не привлекай к себе мой взгляд разгневанный,
Но жди меня и радостно и просто –
С открытой дверью, с убранным столом.
Ибо, если мне суждено войти к тебе,
Ни тяжкие запоры, ни ключ и ни замок,
Ни пес, кусающий и лающий, – ничто
Не может, знай, мне помешать войти,
Если хочу прижать уста к твоим устам,
Что б ты ни делал, днем и ночью, и вопреки тебе.
Руки мои – неотвратимы. Повинуйся. Я – Любовь!»

Прощанья

Есть сладкие прощанья на пороге раскрытой двери.
Уста к устам – на час единый,
Иль на единый день;
Уносит ветер
Шелест шагов стихающих,
Приносит ветер
Шелест шагов счастливого возврата;
Вот шуршат они по каменным ступеням
Белой лестницы;
Вот приближаются, и ты идешь
По коридору, задевая то плечом,
То локтем о штукатурку стен...
Ты остановилась. Я чувствую тебя
За дверью запертой;
Ты дышишь тяжело, и сердце бьется часто,
Я слышу тебя
И раскрываю поспешно дверь –
Твоей улыбке, о милая!
Есть долгие прощанья на берегу морском,
Тяжелым вечером, в котором задыхаются.
В сумерках уж кружится маяк.
Ясны огни.
Страдают...
Волна приходит, развертывает пену, отступает
И плещет о корму и сваи.
Во мраке медлят руки
Расстаться и снова сплетаются;
Красноватый отблеск фонарей
Окрашивает кровью дурных предвестий
Заплаканные лица

Тех, кто расстаются на набережных моря,
Так же, как на пустынных перекрестках,
Так же, как на повороте дороги, убегающей
Под ветром иль под дождем,
Так же, как у угла стены, к которой прислоняются
Пьяные от грусти и любви,
Глядя на руки, разлученные на много дней,
Иль навсегда...

Есть еще иные прощанья,
Когда слова еще приглушенней,
Когда лицом к лицу
В тревоге безысходной Жизнь и Смерть
Целуются во мраке, приподнявшись, уста к устам,
Как будто для того, чтоб крепче запечатлеть
Во времени и в вечности
Губы к губам, дыхание к дыханью,
Свое двойное братство.

Оделетты

* * *

Я бы мог крикнуть любовь мою
Громко
В день
Жаркий и яркий
Золото-рыжего лета, которое
Ее пьянит и безумит
И возносит со смехом навстречу
Всем эхо!

Я бы мог сказать:
Счастлива любовь моя.
Поглядите на пурпурный плащ, что влачится
У ног ее!
Руки ее переполнены розами –
Они облетают,
Поя благовонием воздух;
Небо так ясно
Над домом ее
Из теплого мрамора –
Белого с жилками,
Схожего с телом
Нежным для губ...

Но нет,
Я одел ее власяницей и шерстью;
Плащ ее спущен
До самой земли;
Она проходит, едва улыбаясь,
А поет так тихо,
Что не обернется никто.

Чтоб сорвать ее песню расцветшую
В этом вечере, ей упоенном.
Нет у нее ни сада, ни дома,
И ей хочется казаться нищей,
Чтобы лучше скрыть, что она любима.

* * *

Мне маленького тростника довольно было,
Чтобы заставить трепетать высокую траву,
И целый луг,
И ивы,
И ручеек поющий тоже;
Мне ручейка довольно было,
Чтобы заставить петь весь лес.

Прохожие мою слыхали песню
В глубинах сумерок сквозь собственные мысли.
Чуть слышную и ясную,
То близко, то вдали,
Прохожие, сквозь собственные мысли
Прислушавшись на дне самих себя,
Ее услышат снова и будут слушать долго
Ее напев.

Мне довольно
Тростинки, срезанной у водоема,
Куда однажды пришла любовь.
Чтоб отразить свой лик,
Серьезный и заплаканный,
Чтобы заставить плакать прохожих,
Дрожать траву и трепетать ключи.
И я дыханием тростинки заставил петь
Весь лес.

Пожелание

Я пожелал бы глазам твоим равнину
И лес зеленый, русый,
Далекий,
Дымчатый,
На самом горизонте под ясным небом.
Или холмы
Спокойных очертаний,
Туманные и медленные,
Тающие в истомном воздухе,
Или холмы,
Иль дальний лес...
Я пожелал бы,
Чтобы ты слушала
Глубокий, сильный, нежный,
Великий и глухой, широкий голос моря,
Печальный,
Как любовь;
А временами рядом,
В минуту молчания
Чтоб ты слыхала
Воркованье
Голубя
И нежный, слабый,
Подобный любви,
В тени укрытый,
Ропот источника.

Я пожелал бы для рук твоих цветов,
А для твоих шагов
Песчаную тропинку, поросшую травой,

Которая ведет немного вверх, то вниз,
И вьется и, кажется,
Уводит в глубь молчанья,
Песчаную тропинку, на которой
Оставят легкий след твои шаги,
Наши шаги
С тобой!

* * *

Если б я лучше знал мою любовь, если б я лучше
Знал мою жизнь,
Если б я лучше
Знал мои мысли –
Я бы не связал моей жизни
С твоими мыслями,
С твоими днями,
Я бы не сплел твоей жизни
С моей любовью!

Разве дают тому, кого любят,
Цветок с шипами, ранящий пальцы?
Разве ведут напиться к ключу,
Воды которого горьки?
Разве дают
Прекрасным рукам,
Ткущим лишь радость,
Прясть грубую паклю
И жирную шерсть
Прях подневольных?

Вот ты стоишь посреди моей жизни,
На перекрестке путей моих;
У ног твоих ключ; роза склонила
Опасный свой стебель. Ты сорвала ее.
А прялка судьбы
Неужто так мало весит
Своими неясными нитями,
Что ты улыбаешься
Тому, что стоишь одна в моей любви
И взяла ее за руку?

* * *

Нет у меня ничего,
Кроме трех золотых листьев и посоха
Из ясеня,
Да немного земли на подошвах ног,
Да немного ветра в моих волосах,
Да бликов моря в зрачках...
Потому что я долго шел по дорогам
Лесным и прибрежным
И срезал ветвь ясеня,
И у спящей осени взял мимоходом
Три золотых листа...
Прими их. Они желты и нежны
И пронизаны
Алыми жилками,
В них запах славы и смерти.
Они трепетали под темным ветром судьбы,
Подержи их немного в своих нежных руках –
Они так легки, и помяни
Того, кто постучался в твою дверь вечером,
Того, кто сидел молча,
Того, кто, уходя, унес
Свой черный посох
И оставил тебе эти золотистые листья
Цвета смерти и солнца...
Разожми руку, прикрой за собой дверь,
И пусть ветер подхватит их
И унесет...

Морская ода

Я слышу море
Ропщет вдали,
Когда порою доносит ветер сквозь сосны
Его глухой и горький шум, который
Рокочет и свистит, приглушенный,
Сквозь рощу красных сосен на ясном небе...

Порою,
Его извилистый и гибкий голос
Как будто подползает к уху и снова отступает,
Всё глуше в глубины сумерек,
И замолкает на много дней,
Как будто засыпая
Вместе с ветром,
И забываешь о нем...
Но однажды утром он запевает снова,
Со шквалами, с приливом
Еще сильней и безнадежней...
Я слушаю его.

Это шум воды, страдающей, грозящей, жалующейся,
Невидимой за соснами,
Спокойной иль клокочущей,
Согласно закату – алеет он или исходит кровью,
Пылает углями иль угасает в пепле...
Без этого великого дыханья, которое растет и затихает,
Рокочет и баюкает –
Без него мои часы и мысли
На этой сухой
Истресканной земле,
Вздутой желтыми буграми,

На которых растут усталые и жалкие цветы.
Без него бы на этом бесплодном и суровом месте,
Откуда виден жалкий горизонт
Молчания и одиночества,
Мне было б слишком грустно,

Потому что – ты видишь – я один. Вся жизнь
Зовет меня еще к прошедшему, которое кричит, смеется
Тысячами красноречивых уст:
Там сзади меня она стоит нагая,
Протягивая руки.
А я лежу на глыбистой земле, ломая ногти:
Ибо нет ничего, чтоб изваять мою мечту
И сделать вечной в хрупкой форме,
Кроме немного праха –
Нет больше ничего, чтоб вылепить певучие медали...
А я умею создать в охряной глине
Лицо из сумрака и профиль из лучей,
Заставить улыбаться Печаль и плакать Красоту.

А в глубине души любовь рокочет и гудит,
Как там за соснами гудит и ропщет море.

Раковина

Море, когда оно устало, лениво простирает
До самой овиди свое зеленое
Струящееся тело.
Луна, на водах серебрясь, порой обнажает
Его; а после утром зори одевают
Его текучий сон и пробужденье зыбкое
Одеждой пламенной из солнца и туманов,
Осыпанной алмазами великих золотых полудней.
Если только ярость внезапная и мрачная
Не вздыбит его – взметенное, ревущее –
Пастью ветра и зевами валов
Свой пенный гнев кидающее в небо...
Но горечь изрыгнув до дна, оно устало
Засыпает на отмелях у ног твоих,
Влача среди песков и щебня
Зеленую, растрепанную гриву из водорослей...
Раздвинь их и возьми руками эту
Раковину – радужную и струящуюся,
Как бы прислушивающуюся к чему-то...
И перламутр изогнутый тебе расскажет
На ухо о море, которое умолкло...

Видение

Галоп зыбей опенил овидь моря.
Смотри: они несутся. Волны
Свирепы. Ветер хлещет
И гонит их яростный табун.
Смотри: одна обрушилась, другая сзади –
Предательская, более высокая
Вскочила ей на круп и смяла под себя...
Сама разбилась. Между тем, как шпоры
Невидимые бесят третью. С ржаньем
Взвивается она и рушится при кликах ветра,
Задохнувшегося, и вод дымящихся в поту и в мыле.
Грудь урагана! Гривы пены!
Стоя в горьком ветре, я смотрю
На бесконечный бег морских коней и жду,
Что вот – один из них из вод текучих
Покажется, расправит вдруг струящиеся крылья,
И я рукой за гриву ухвачу
Морского, неукротимого Пегаса.

* * *

Приляг на отмели. Обеими руками
Горсть русого песку, зажженного лучами,
Возьми и дай ему меж пальцев тихо течь.
А сам закрой глаза и долго слушай речь
Журчащих волн морских, да ветра трепет пленный,
И ты почувствуешь, как тает постепенно
Песок в твоих руках. И вот они пусты.
Тогда, не раскрывая глаз, подумай, что и ты –
Лишь горсть песку, что жизнь порывы воль мятежных
Смешает, как пески на отмелях прибрежных.

Пленница

Ты вырвалась; но я видал твои глаза.
Я знаю вес в руке твоей упругой груди,
И вкус, и линию, и цвет, и выгиб тела,
За коим гонится моя слепая страсть.

Пусть ты поставила меж нами ночь и лес,
Но вопреки тебе, красе коварной верен,
Обдумал форму я, изникшую во мраке,
И воссоздам ее. Уже горит заря.

Я статую твою воздвигну глыбой, чтобы
Заполнить пустоту, где ты была нагой.
Плененная навек в бездушном веществе,

Ты будешь корчиться немой и всё же гневной,
Живой и мертвою; изваянная мной
В лучистом мраморе иль в золотистой глине.

Девочка

(Надгробная медаль)

О, пожалей меня – мне нечего отдать Эроту –
Ни летнего цветка, ни плода осени:
Земля, где выпал мой жребий неувенчанный,
Не вырастила мне ни колоса, ни розы,
А Парки, ткущие часы и дни,
Не выткали, как дань ему, тунику
Плодоносную – нивная Помона,
Под которой зреет очерк груди девичей.
Я даже не могу отдать, как жертву богу,
Голубку моей убогой наготы, –
Ибо плоть моя неопушенная не может согреть твоей руки.
Но протяни ее, Эрот, к оболу, –
Прими сию медаль, где профиль детский
Мое лицо тревожное – цветет на хрупкой глине.

Тревога

Взяв медную трубу, взойди на башню.
Заря кровавит враждебный горизонт,
Багрянит мостовую, фронтон и черепицы –
Зловещая – пророчит недобрый день.
Склонись: – внизу у ног твоих широкий очерк
Зубчатых стен, хранящих город,
И поклонясь богам, стоящим в перистиле,
Широким жестом подыми тяжелую букцину.
А дабы тренога разнесла на все четыре стороны
Призыв воинственный и свой призывный клич,
Надуй щеку и зубом прикуси металл.
Но раньше, чем голос твой раздастся в гулкой бронзе,
Всею грудью, раскрывши рот родному ветру,
Вдохни округ отчизны воздух чистый.

Антоний и Клеопатра

Сегодня вечером я видел, как умирала Клеопатра! Я видел,
Как Нильский аспид ужалил грудь ее и голое плечо
И встал на хвост, свистя, среди зеленых смокв.
Выпал тяжелый скиптр из рук полуразжатых,
Но узкий лоб ее еще зажат венцом...
А тот, кто вознесен любовью выше царей,
Счастливый смертный, что для ее объятий был избран,
Он точно спит. Смерть поцеловала его накрашенные губы
Так нежно, что когда вошел Октавиан,
Напрасно он искал на пурпурном полу
Пятна кровавого от проступивших капель.
А между тем ты будешь плакать, Александрия,
Когда их унесут к подземному их ложу —
Твою царицу влюбленную и римского любовника!

Потому что скоро придут бальзамировщики
С духами, с ароматами, неся в бутылках плоских
Смолы текучие и темные составы;
Льняные повязи могильными змеями
Опояшут прекрасную Лагиду,
Которая отныне нетленная и легкая, пустая
Под вязами, которые не сможет развязать никто,
В гробу из кедра с кречетом на крышке
Будет холодной, неподвижной и царской мумией!

Но кто украл ключи от склепа твоего,
Царица! Пробудись! Вот снова
Кровь молодая бьется в жилах и поет
Горячая в твоем живом и достославном теле!
И снова старый Нил сверкает пред очами,

Ты видишь Египет свой, находишь своих богов,
И снова жизнь твоя божественная и блестящая
Развернута. Склонился в обожаньи мир.
Заря лучится от красоты твоей;
Единый взгляд твой стоит вечности.
Цари к твоим коленам склоняют свои венцы;
Ты ставишь ногу на ступени их престолов –
И самый чистый мрамор сохраняет
Горящий след твоей стопы верховной.
Вкусивши раз безумья этих уст,
Антоний не может оторваться от ложа твоего.
На этом мощном торсе испарина любви,
И воды Цидна с его смешались кровью.
Волшебница, довольно жеста твоей красы,
Чтоб подползла волчица, чтоб орел,
Еще вчера сурово паривший в латинском небе,
Тебя ласкал крылом и ел из рук твоих.
Но берегись, судьба к великим мира
Завистлива! Галера гибнет порой у пристани!
Ты пал, Антоний, а назавтра Цезарь
Покажет Риму прикованную к колеснице
Клеопатру, побежденную и опозоренную,
Если только аспид не спасет тебя!

Так каждый вечер ты умираешь и встаешь из гроба,
Клеопатра, бессмертная, живая навсегда,
Потому что однажды вечером в каком-то кабаке,
При свете догоревшей сальной свечки,
Некто, сидя в конце стола за кружкой эля,
То погружаясь в мысли, то прихлебывая,
В то время как вокруг ругались и галдели,
Увидел в глубине прошедшего твой образ,
Взял за руку тебя с порога твоей могилы,
Чтоб возвести на шаткие подмостки,
Откуда влюбленный голос твой заставил повторять века
Имя Марка Антония и Вильяма Шекспира.

Пленный принц

Я персидский принц, и всё мое царство –
Этот малый листок.
Где я нарисован. Он не шире ладони
Моей руки или чужой.

Я, любовавшийся восходами солнца
С террас пятисот дворцов
И влекший, как шлейфы, звучные толпы,
Куда бы я ни шел,

Я навеки пленен на этой странице,
Где облик мой закрепил
Свежею кистью живописец Ирана,
Старательно окаймив.

Но что для сердца великодушного принца,
Знающего игру судьбы
И ничтожество смертных пред взором Аллаха,
Изгнанье в дальней стране?

Затем, что и в темнице этой бумаги
Я благороден и горд,
И мой дивный рубин одиноким светом
Багрянит мой тюрбан,

Затем, что я сижу теперь, как и прежде,
На розовом коне,
А кречет с высоты моего запястья
Треплет цветы гвоздик,

Затем, что у пояса моя кривая сабля
    В бархатных ножнах
И со мною мой круглый щит, прикрепленный
    К индийскому седлу,

Затем, что, как прежде, перед вами я еду
    По этим тихим холмам.
Где восходит на небо опрокинутым луком
    Между кипарисов луна,

Затем, что со мною моя принцесса
    Рядом на своем коне
Слушает, как среди этой грустной ночи
    Заливается соловей.

И на ухо, из благоговенья к любви, мне шепчет
    Близкий ее мечте
Из Саади или Омара-кайяма
    Глубокий и нежный стих.

Человек и боги

Земля еще горит следами былых богов.
Еще все боги живы в человеке, как хмель в вине –
Он тлеет, ждет, трепещет, грезит, бродит раньше,
Чем встать и выпрямиться в человеке,
Который чувствует, как в нем единым взмахом –
От горла до сознанья прянет быстрый огнь и яростное пламя.
Боги живы в человеке, и плоть его – их прах.
Их грозное молчание слышно умеющему слушать
В ветре их вещие уста. Жив человек – и боги будут живы!
Поэтому иди, гляди, следи и слушай:
Умей увидеть факел в руке, покрытой тенью,
Смотри на воду текучую иль дремлющую,
На реку или ключ, фонтан или ручей,
Покамест в ней не станет видима Наяда или Нимфа.
Смотри так долго на дуб, сосну иль ясень,
Покамест ствол раскроется, кора не разомкнется
Над голою Дриадой, смеющейся от радости свободы.
Если душа твоя дика, полна высоких шумов,
Ты будешь видеть в закатах солнца,
В крови дымящейся и в пурпуре горящем
Всегда пылающий костер Геракла,
Покамест в нас – расплавленной мечтой – трепещет
Справедливость, окрылявшая его могучую десницу.
И так во всем – в огне, в воде, в деревьях, в ветре,
Что дует с гор иль веет с моря –
Ты уловишь эхо былых богов.
Так глина сохраняет навеки вкус вина;
И ухо твое еще хранит в себе
И песнь Сирен и ржание Кентавра.
Иди и, пьяный от древних таинств,

Которыми украшено прошедшее земли,
Смотри перед собой на всё, что остается
От них в мерцаньи зорь и в сумраках ночей.
И знай: ты можешь по воле своего безумья
Вновь воссоздать Сатира из козла,
А этот конь в ярме, что пашет поле, может,
Если захочешь ты, ударив золотым копытом,
Пегасом стать – крылатым и летучим.
Ты – человек, а глазу человека
Дана живая власть – творить земле богов!

Дионисии

Я землю пробегал, ища былых богов...
Она одета тем же сказочным туманом,
Откуда некогда их облики родились.
На погибах холмов еще приносит осень
Гроздь вескую — серпу и хмельную — точилу.
Но виноградари, бредущие устало,
Склонивши головы, однообразным кругом,
Ступая тяжело по плантажу, по грязи
Нерадостно ведут согбенные под ношей
От виноградника к точилу — колесницу
Сбора — безмолвную и вялую.
Амфора в их руках безрадостна, как урна.
Напрасно стонет жом, напрасно брызжут грозди
Под голою пятой: никто не славит в танце
Ни пыла радости, ни смеха своей любви,
И я не вижу больше красной и сильной руки,
Поднявшей в исступлении, как в древней оргии,
Корзину алую и обагренный серп,
Ни бога, ведущего смеющуюся ярость
Торсов обнявшихся и влажных потом грудей,
Который — вечно-стройный с отроческим телом —
Высоким тирсом правит воскресшим торжеством
И, гроздь держа у губ, а плющ у бедр — кидает
Шишки сосновые и крики призывные
В разнузданные толпы и мешает
В смятеньи яростном, ликующем и звонком
Хмельных Силенов с окровавленными Менадами.
Как гулкий тамбурин из жесткой кожи с медью,
Еще рокочет ветр в глубоких чащах леса;
Он бродит, подвывает и потягивается,

И кажется, когда прислушаешься к звукам
Таинственным, глухим, и вкрадчивым, и диким.
Средь рыжего великолепья осенних рощ,
Которые он рвет то зубом, то когтями,
Что слышишь тигров, влекущих колесницу
Неистового бога, чей сон насыщен духом
Великолепных бедр, вздувавшихся под ним,
И он, вытягиваясь, чувствовал дыханье
Горячее простершегося зверя
Среди пахучих и темных трав, где до утра
Покоился их сон – и божий, и звериный.

Ночь богов

О человек!
Я долго шла вслед за тобой, но ты меня
Не слышал: эхо повторяло твои шаги,
Тебе ж казалось, что ты идешь один в рассветных сумерках,
И ты бы продолжал идти, меня не замечая,
Быть может, всегда один, ища меня напрасно,
Быть может, если бы сегодня вечером, я на пути твоем –
Знакомая во сне, неведомая взору –
Не встала вдруг – нежданной и таинственной –
Перед тобой – глядящим на меня
Без страха и без удивленья, ибо
Благочестивая надежда, которой ты отдал жизнь,
Тебя оставила без родины, без алтарей, без таинств
На этой пустой земле, где ты искал богов.

Я долго шла вслед за тобой, невидимая оку,
О прохожий, я видела тебя трепещущим от радости,
Когда тебе казалось, что ты готов настичь добычу,
Охотник на богов без стрел и без сетей...
Я шла вслед за тобой по лесу, где ты мечтал
Сильвана подстеречь или застичь Дриаду,
Когда на утренней заре она скользнет
Из-под седой коры узлистого ствола.
Напрасно топор твой рубит дерево. Там пусто. Напрасно
Склонялся ты подолгу над ключами,
Чтобы увидеть в водах бегущих и напрасных
Нимфу, что там живет и не покажет больше
В ручье прозрачном тело нагое и текучее,
Которое по выгибам и сжатьям берегов
Скользит, убегая с пугливою волной.
Напрасно, о пастух, среди родимых стад,

Млеком их вскормленный и их руном одетый,
Близ пчелиных ульев, с флейтою в руках,
Под летнею луной ты выжидал Сатира
И дробь копыт танцующей походки.
Напрасно всё! я часто заставала тебя склоненным
В сумерках у родника, в песке упорно ищущим
Святую накопыть крылатого коня.
Море перед твоим благочестивым взглядом
Не разверзало волны ликами божеств.
Никто из тех, кто населял поляны и пещеры,
Желаньям грез твоих не выявлял лица;
Ни даже те, кто некогда, всечасно и повсюду
Выходили из рощ, из гор, с нагорий, с побережий
И смешивались с жизнью человека.

Пройди по лугу цветущему, взойди на одинокую вершину,
Войди в плодовый сад, в питомник, в виноградник,
Исследуй лес, холмы и поросли, и рощи –
Нет никого. Пройди, о путник, в ворота Города,
Который свободная работа и рабский труд
С утра до ночи переполняют двояким говором:
Там поют, смеются, говорят, спешат, живут и умирают;
Горит очаг, костер пылает, печь дымится,
Свирепый молот бьет по наковальне;
Один кует косу, другой чеканит латы;
В единой бронзе сплавляются различные металлы.
Для арены, где льется кровь, для пашни, политой потом –
Вот выгнутый сошник, а вот короткий меч.
Вот якорь корабельный, вот морской трезубец.
Вот золотой орел, вот медная волчица:
Он клювом бьет, она кусает пастью
Немых рабов, вертящих жернова;
Ибо Город в единый день и каждый день съедает
Целый посев, сжигает целый лес,
И тлеет, как заря, в глубинах вечеров.
Но средь различных дымов,
Над ним клубящихся, его чернящих небо,

Нет ни единой струйки ладана, взносящейся к богам!
И ни один из молотков, звенящих в кузнях,
Направленный рукой благочестивой, не чеканит
Ни в ковком серебре, ни в золоте верховном
Ни лика вещего, ни профиля богов.

Так почему же ты, подобно прочим людям
Забывчивым, не позабыл имен, которыми нас звали?
Зачем ты ищешь нас, упрямец милый,
Всегда привязанный к невидимым следам?
Разве без нас земля не плодоносна, не прекрасна?
Разве она не та без колесниц Кибелы,
Благочестивый друг? И разве море
Волною, как прежде горькой, не поет
Своих усталых жалоб и звонкой радости,
Хотя сквозь ветер, доносящий их, не слышны
Голоса Сирен, зовущих в свои объятия?
Что ж хочешь ты? Ты разве недоволен,
Что стадо безраздельно принадлежит тебе,
Что ты не должен отдавать Богиням-Охранительницам
Ни белой кобылицы, ни черного барана?
Для одного тебя не слишком много ль плодов
От виноградника, от дерева, от сада,
И тайный долг неволит, как дар богам отдать,
Гроздь тяжелейшую и самый полный колос?
Разве тебе не жаль пролить в честь бога, в его кратер,
На алтаре избыток своей амфоры?

Ступай. Жни свой ячмень и сей свою пшеницу.
Не всё ль равно, куда исчез божественный Изгнанник,
Который подымал в разгар осенних оргий
Корзину с гроздьями и обагренный серп!
Будь человеком! Ешь, пей и плачь и смейся.
Желанье короче, чем кажется. Любовь
Не длится долее, чем облетает роза.
Сорви цветок! Вкуси плода. Живи вещами,
Не думая о том, что было божественным когда-то.

Но чувствую, мой сын, что речь моя напрасна.

Так слушай: я одна из тех,
Которых звали бессмертными.
Одна живу я полгода на земле и вижу Солнце.
Другие, сошедшие в Аид, забыли
Хода и выходы; одна я знаю,
Каким путем извилистым восходят
К сиянью дня, к лазури, потому что
Я – земная и подземная –
Царица дважды в моем двояком царстве.
Ты так хотел. Прими в уста зерно
Плода таинственного, что я держу в руке,
Закрой глаза: их ночь багровая еще полна
Отсветов золотистых земного вечера.
Следуй за мной. Молчи. Будь осторожней.
Спустись еще. Открой глаза. Смотри!

Ты видишь – там внизу, катя слепые воды,
Сквозь зыбкий мрак и призрачные светы
Черная река кольцом струящимся замкнула
Обрывистый, песчаный, молчаливый остров,
Последнее убежище богов.
Время не пощадило их. Они дряхлеют.
Седы их бороды, и волосы их белы.
Ты видишь: охмелевший Вакх берет и наклоняет
Амфору без вина, а тирс его –
Сухая ветвь без виноградных гроздий и без плюща,
Меркурий беспокойно сравнивает с ней нагую трость –
когда-то кадуцей –
Теперь не оплетенный мистическими змеями.
Усталые Сатиры спят возле Эгипанов,
Потягиваясь тяжко, обломаны рога
На лбах плешивых Фавнов,
Ты в этих привиденьях блуждающих не узнаешь ли –
Призраки богов, которых мир считал
Великими и грозными, благими и злопамятными,

Жестокими к ослушнику, суровыми к рабу,
Верховными, бессмертными, живыми,
Которым курился фимиам и багровел алтарь
Вседневной кровью неисчислимых жертв
И от которых теперь остались только Тени?

Они томятся в грезах, уповая,
Что сон их солнечный, прекрасный, амброзийный
Возникнет вновь, окончится изгнанье,
На острове подземном, окруженном
Беззвучной, черною и мертвою водой струящегося Стикса,
Ибо толпа ночная их устала от ночей.
Сандалию подвязывает Марс, как бы готовясь в путь,
Венера – еще прекрасная – спустила ногу
В воды Преисподней, а Нептун благоразумно
Ощупывает брод своим трезубцем.

Гляди на тех, кто были когда-то средоточием
И олимпийской радости и силы олимпийской,
Кто были некогда оракулом и роком,
Пещерным шепотом и словом сибиллинским,
Священным эхо, двойною лирой, флейтой, лирой,
Кимвалом, кликами, безумием и пляской,
Дыханьем розы, ароматом лавра,
Священной одой, воинским припевом,
Раскатом колесниц, ударом грома,
Шелестами неба и трепетом земли,
Волнами желтыми колеблющихся нив,
Лесом, качаемым дыханьем долгим ветра,
Глухим жужжаньем полных ульев,
Ключом, ручьем, рекой, они мешали в чашах
Вино и воду, кровь и молоко,
Носили скиптр и гибкий тирс,
Кидали молнии и стрелы, наполняли
Землю и небеса смятеньем
Широких своих страстей;
Все эти боги жизни, вскипающей и буйной, –
Теперь лишь тени. Их жизнь – молчанье.

И все они задумчивым и долгим взглядом следят
За головокружительной и мрачной скачкой
Пегаса, который в напрасном беге,
Взметая гриву, мчится кругами по острову,
Порой взвиваясь ввысь, порою припадая,
То будто ржет, но ржания не слышно, –
То насторожится и станет сразу, как вкопанный,
Четверокопытием взрывая пепл и прах,
То, взвившись на дыбы – весь сказочный и черный
Порывом яростным, с трагической надеждой
Расправит два крыла
И бьет бессильно слишком грузный воздух,
И падают они – мятежные
В отчаянном усильи к полету безысходному.

Теперь прощай, мой сын. Вернись к себе. Забудь
При полном свете жизни и любви
Сей преисподний мир, где ты познал воочью
Судьбу богов, которых ты искал.
Ступай и не гляди назад. Иди, чтоб жить!
А мне, тебя приведшей, заказаны пути
Наверх. Мой час в Аиде пробил.
Часть моего земного года окончена,
Я снова стану тенью и возвращусь
В толпу богов мне чуждой,
Ибо весна меня на землю призывает, а осень
В глубокий Тартар уводит Персефону.
Но ты, которого ничто не держит во мраке преисподнем,
Ступай отсюда. Ты увидишь сегодняшний рассвет;
И на пороге вновь обретенного живого дня
Твои глаза опомнятся от мрачных наваждений
Слепого острова и нелюдимых мест,
Где бродят навсегда потерянные тени былых богов.

Иди. Но прежде, чем переступить порог жилища твоего,
Стряхни песок с подошвы
Влажной от черного пути
И смоченной в воде подземных рек.

Отелло

Я думаю о вас, сеньор Отелло. Здесь,
В тех местах, где некогда вы жили. В этом порте
Ваша галера красная бросала якорь:
Весь Кипр единым криком приветствовал
Прибытье Мавра с мощною десницей,
Издалека приплывшего, чтобы защищать его.
Я вижу вас. Подошвы ваших ног
Касались этих плит, чей мрамор еще так тверд,
И ваша воинственная тень прошла по этой стене.
Я слышу, как звучит ваш голос мощный, властный;
Вы сделали салют у этой двери,
Где сейчас заходит геральдическое солнце.
Перед крылатым львом, доныне различимым,
Которым Венеция, во дни высокой славы,
Когда-то метила ворота своих далеких городов.

Но лев, давно источенный годами,
Теперь хранит, увы, одни развалины!
От Фамагусты теперь осталась дикая руина,
Торжественная, грузная, немая,
Которая двумя своими башнями хранит
Высокий готический собор средь пыльных пальм,
Качающих вершины в прозрачном, тихом, жарком,
Безмолвном воздухе.

Медали

Смотри: из серебра, из янтаря, из бронзы,
Из золота, согласно городам и странам
Запечатлен на них незыблемым чеканом
Гражданский символ или атр<иб>ут богов.

Сии сокровища, что весишь ты в ладони,
Пускай их оттиск груб иль безупречен стиль,
Монеты Греции, Сицилии и Рима
Обол и драхма и статер – всё суета.

Эгина, Кос, Халкис, Кизик и Сиракузы,
Тарент! Сейчас не примут их в меняльной лавке,
Им жизнь оставила одну лишь красоту.

Но их металл так чист, как ритмы оды,
Тем с большей гордостью в себе несет теперь
И Розу Родоса и Колос Метапонта.

ПЬЕР КОРНЕЛЬ

Монолог Эмилии

из «Цинны»

I акт

Эмилия

Успеха не страшись, пятнающего память,
Добро и зло равны пред солнцем славы.
Измена счастия опасностью грозит
Твоей лишь жизни, но отнюдь не смерти. Вспомни
Паденье Кассия и гордый жребий Брута:
Сиянье их имен не помрачалось ею.
Разве их замыслы погибли вместе с ними?
Разве их не зовут последними из римлян?
Идем по их путям, куда зовет нас честь!

ОГЮСТ БАРБЬЕ

* * *

Как только закатится ваша звезда,
В последний сверкнувшая раз,
Идите вы прочь поскорее тогда –
Толпа позабудет о вас.

И памятник вам не воздвигнет народ,
Хоть прежде он вас прославлял,
Потому что ему только памятен тот,
Кто беспощадно его истреблял.

АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ

К Нинон

Однако, если б я сказал вам, что люблю вас, кто знает, смуглая с голубыми глазами, что бы вы ответили мне? Любовь, вы знаете, причиняет страдание: это безжалостная болезнь, на которую вы сами сетуете, но тем не менее вы, быть может, накажете меня за нее.

Если б я сказал, что шесть месяцев молчания скрывают долгие муки и безрассудные обеты, Нинон, вы проницательны и, несмотря на беззаботность, вам нравится всё предугадывать, – вы б ответили мне, быть может: «Я знаю».

Если б я вам сказал, что сладкое безумие сделало из меня вашу тень и водит меня по вашим следам? Оттенок недоверия и грусти, вы это знаете, Нинон, делает вас еще красивее, – вы бы ответили мне, быть может, что не верите этому.

Если б я сказал вам, что уношу в душе до самых ничтожных слов наши вечерние разговоры? Оскорбленный взгляд, вы это знаете, сударыня, преображает два голубых глаза в две вспышки пламени, – быть может, вы запретили [бы] мне видеть вас?

Если б я сказал вам, [что] я не сплю ночей, а каждый день плачу и молюсь на коленях? Нинон, когда вы смеетесь, пчела, вы знаете это, может принять за цветок ваши алые губы, – если б я вам сказал это, то вы, быть может, рассмеялись бы над этим.

Но вы ничего не узнаете, – ничего не говоря, я прихожу сидеть рядом с вами у лампы и болтать с вами; я слышу ваш голос; я вдыхаю ваш воздух; и вы можете сомневаться, догадываться, улыбаться втайне, но глаза ваши не заметят ничего, способного вызвать вашу суровость.

Втайне собираю я таинственные цветы; вечером за вашей спиной я слушаю, как поют на рояли ваши гармоничные

руки, и в водовороте наших веселых вальсов я чувствую, как вы гнетесь, точно тростинка, в моих руках.

Ночью, когда свет так далеко уводит нас друг от друга и когда, вернувшись к себе, я закрываю двери на засов и как ревнивец вызываю тысячи воспоминаний, и там, один, лицом к лицу с Богом, полный скупой радости, я открываю как сокровищницу мое сердце, полное вами.

Я люблю и умею отвечать с напускным равнодушием, я люблю и ничем не выказываю это; я люблю и один знаю об этом; и мне дорога моя тайна и дорого мое страдание; и я дам клятву любить без надежды. Но я счастлив. Я вас вижу – и этого довольно.

Нет, я не рожден для этого высшего счастья – жить у ваших ног и умереть в ваших объятиях: всё мне говорит о этом, увы! даже самое страдание мое! Однако если б я всё же сказал вам, что люблю вас, то, кто знает, темноволосая с синими глазами, что бы вы ответили мне?

<Сын Тициана>

Когда еще ребенком я читал Петрарку, я мечтал обладать хотя бы частью его славы. Он любил как поэт, он пел как влюбленный; один лишь он умел владеть языком богов.

Один лишь он владел тайной уловить мимоходом биение сердца, длящееся единое мгновение, и, осчастливленный единой улыбкой, он острием золотого стилета чертил ее отражение на чистом бриллианте.

О вы, пославшие мне дружеское слово, которое вы написали вчера и забудете завтра, вспомните обо мне, посылающем вам эти слова благодарности.

Во мне живет сердце Петрарки, но у меня нет его гения, и здесь, на земных путях, я могу только протянуть руку тому, кто меня зовет, и отдать жизнь тому, кто меня любит.

ВИКТОР ГЮГО

РЕВОЛЮЦИЯ

Статуи

I

Всадник медный высился во мраке.

Вокруг теснился город с бесчисленными крышами.
Колокольни на бурых овидях казались
Пастухами, пасущими стада домов.
Собор Парижской Богоматери вздымал две башни,
И каждая во тьме безлунной ночи ужасалась
Призраку своей чудовищной сестры.
Притин затянут был такою толщей мрака,
Что все мерцанья бездны в ней изникли.
Лишь ветер, задыхаясь под сводами ночными,
Распахивал порою двери отчаянью;
Клубились облака, как складки завесы черной;
И день не должен был, казалось, возродиться,
Ни утро приоткрыть лучистое окно.
Казалось, в безмерности унылой, над которой
Чудовищная ночь замкнулась навсегда,
Что солнце – очаг потушенный, истлевший уголь
Должно развеяться летучим дымом –
Такое над смутною землей и в тверди темной
Мрак лил беспамятство.

А небо
Бог весть каким загробным зрителем, разверзло
До дна безмерные пещеры темноты.

Спокойный, с мечом у пояса, одетый
В узорные доспехи средневековых витязей,
Он сидел верхом в вооруженьи бранном,
Герой – улыбкою, а ростом исполин,
Держа узду железною перчаткой, –
Гигант, король, спокойный, недвижимый, – он каменил

Казалось, ночь своим извечным жестом
И, сливаясь с недоброй тенью, плавил
Ночную медь свою с небесной чернотой.

В каждой статуе со взглядом загадочным и пристальным,
В этом видении высот и призраке вершин, –
Есть грозная недвижность бездны –
Как часть могилы – она причастна вечности.
И этот бледный конь, не ржавший никогда,
И этот безмолвный воин, встающий знаком
Последнего молчанья и свидетельства,
И этот цоколь, царящий над людьми, вознесший
Свой мрачный мир над их живою бурей,
И сей колосс, встающий над гробницей
И славою насилующий память,
Хранящий лик тирана, палача, который
Как пугало не может отпугнуть пролетной птицы,
Вся эта фигура – чудовище горячечного бреда;
И даже днем при ярком свете солнца,
Когда она видна во всех своих деталях,
И даже когда толпа кишит вокруг нее,
Она одета всё тем же тайным ужасом.
Но только ночью статуя – король задумчивый,
Суровый воин, мрачный император, –
В себя вбирает весь свой мрак и весь свой ужас.

Таким он чудился во мгле безмерной ночи.

Всё то, что в призраке таится от апофеоза,
Всё то, что царский лоб хранит от августейшей ярости
В трагическом плененьи бронзы,
Весь ужас монумента, всё, что зрачок хранит от молнии,
когда он сам нетленен;
Вся странная и призрачная жизнь небытия,
Всё то, что остается от героя, когда-то славного,
Когда кончина его возносит на черных крыльях,
Всё то усилие, которое в могиле напрягает
Усопший царь, чтобы воскреснуть богом,
Величье часа и величье места,
Всё, слившись в бронзовом гиганте, углубляло

Верховное его уединенье и суровость.
А Сена струилась с печальным шорохом
Под этим всадником, исчадьем бездн и ночи.

Ветер кидал свой крик, плевали пену воды,
Устои моста в тумане мрея,
Как смутные обличья призрака и хаоса,
Разверзали под августейшей статуей и над струями
Реки униженной и плачущей и злой –
Им – ходы темные, ей – триумфальность арки.

Внезапно в тишине – и было неизвестно,
Кто говорил в молчаньи непробудном,
В котором спит глухая глубина,
Над головой царя, на ухо статуе,
Глядящей пристально в пространство,
Исполненное ночью и порывом ветра
Голос, налетевший, как льдяный дых,
Сказал: «Ступай взглянуть, на месте ли твой сын».

* * *

О, если б кто-нибудь в тот час бродил
По набережным и береговым раскатам,
При мутном свете коптящих фонарей,
Во мгле, что делает Париж дремучей леса,
Он услыхал бы лязг, как будто исходящий
Из неимоверных доспехов темноты,
И ощутил бы ужас, ползущий в позвонках,
Его язык бы стал шептать признанья
(О, кто не знает тайных угрызений?), власы бы
Вздыбились и зубы защелкали во рту,
Ибо на пьедестале, на фоне низких туч,
Клубящихся в свирепом ветре,
Статуя, о, ужас! шевелилась.

Нечто не застывает вечно – даже бронза.

Король пошевелил уздой, а лошадь головою.

И сотряслась земля. С глухим и долгим гулом
Заколебались крыши, церкви, башни,
Священные порталы, обремененные веками.

Чудовищные мышцы бронзы вздулись,
Круп дрогнул, вознесенное копыто,
Под которым росла трава сквозь щели мостовой,
Ступило на землю, другое ж, замкнутое в архитраве,
Приподнялось; гигант склонил чело.
Конь, напрягая медные поджилки,
Прошел до края цоколя, и как по сходне
Не торопясь, спустился с пьедестала:
Виденье сна, запретное для глаза!

Тогда глухой проулок с диковинной и жуткой кличкой
Кабак, дворец и дом, трущобы и притоны,
И сотни кровель, отраженных в Сене,
И перекрестки, по которым днем
Струится смутный бег бесчисленных шагов,
Особняки зубчатые, как крепость,
И вывески, висящие над дверью,
И барки, канатами притянутые к кольцам,
Оцепенев пред этим неведомым нашлемием,
Чьи перья ни один не двигал ураган,
И, слыша конский топ, как гуды наковальни,
В то время как на башнях
Ошеломленные часы не смели бить,
Увидели, как в толще сгустившегося мрака
Медный всадник на бронзовом коне
Спокойно двигался: прямой, застывший, мертвый,
Сопровождаемый подземным гулом.

И воды трепетали под закругленьем арок.

* * *

Невыразимый ужас! Статуя в движеньи.

Вес этой тени изумляет мостовую.
Она идет, подняв чело в бесстрастном
Оцепененьи трупа, и линии ее недвижны под огромным
Дыханьем бездны,
Весь страшный распорядок ночи перевернут,
По прохождении ужасного предмета
В холодных склепах, где стоят гроба,
Ошеломленные скелеты, повернувшись,
Зловещую допрашивают ночь: «Что это было?»
И ночь не знает, что им отвечать.
Когда бы глаз проник в чудовищное царство,
Он бы испуганных увидел привидений,
Бегущих перед мрачным Незнакомцем.
Не всё ли мужество афея Дон-Жуана,
Что он сей Лярвы взгляд стерпел, не побледнев?
Вот призрак, о который зазубрился бы меч,
А палец, дерзнувший прикоснуться, почувствовал бы холод.
Любовь и действенность, месть, гордость, справедливость,
Влекомые чудовищным подобьем!
Ответственность божественного лика,
Плененного гранитом или бронзой!
Чей воспаленный мозг в горячечном бреду
Видал блуждающих ошеломленных статуй
На улицах горящих городов.
Немыслимые эти сущности ступают,
Неся с собой оцепененье тьмы,
Мрак бьет набат, и даже сновиденье,
Которое в безмерности полнощной различает
Сквозь замкнутое веко целый страшный мир,
Ночная греза, сжившаяся с миром привидений
Теряется при виде этой мрачной породы призраков,
Входящих [в] облачную сферу сна,
И содрогается, затем, что шаг гостей незваных
Иной, чем шаг живых и мертвецов.

II

Он двигался, и содрогались бездны.
Исподние мостов, где шепчут воды,
Кладбища, чующие короля,
Погосты под сенями порталов или башен,

Где некогда во время коронаций
Кареты плыли; свалки и канавы,
В которых кровь убийств сочится лужами и образует топь,
И тумбы, на которых стояли Равальяки,
Колодцы тайные на дне старинных башен,
Ошейники в стенах темничных камер,
Подъемные мосты и рвы у крепостей,
И мостовые, по которым дождь
Зимой сквозь решето потоками струится,
Все трепетали от его шагов.

Итак, как достоверно (в свидетели могилу я беру!)
Что за спиной царя – кто б он ни был, –
Встает зловещим призраком – держава,
То весь Париж с лачуги до собора
От каждой гнусной складки до колонны
Зарокотал вокруг копыт коня.
То был великий вопль, торжественный и дикий,
Всей древней нищеты и отжитого рабства,
Протяжный вой мятущихся столетий,
Огромный крик времен и катастроф.
Всё прошлое рыдало в этом крике,
Все, что ушло, что пребывает днесь,
И плоть, и кровь, и пламя, и железо
Сквозь ночь хрипевшее призывы к небесам;
Разверзшиеся ложесна – могилы.
И в этой диком реве разражались
Убийства, выстрелы, великолепье власти,
Мелькали воин, девушка, ребенок,
Свистали пули штурмов по бойницам,
В Сальпетриерах женщины рычали,
Жаровни раздувались по застенкам;
Стонали тюрьмы, выли казематы,
И гнусный Сен-Лазар, и мрачный предок
Всех парий мира старого – Бисетр;
Отчаянье со свитой прокаженных,
Трон в свите витязей; Смерть в свите палачей;
Мать, волосы дерущая горстями;
Те Deum'ы победоносных битв;

Всё было там: парады, к арусели,
И четверной галоп четвертований,
Топор, и плаха, кол, и бич, и цепь –
Весь гнусный арсенал, который тащит
Фемида дряхлая с повязкой на глазах,
Что некогда о платьи Иисуса
Кидала кость, и числит Бога в списке
Злодеев, состоявших под судом.
Всё было там: убийства и комплоты,
Ночной набат и Карлов аркебуз,
И колокол крылом задевший филин;
И крики, что вода глушит под Нельской башней,
Брунгильда, Фредегонда и Марго,
Постель опорожнявшая в могилу,
Позорный столб и рядом с ним трофей.

Но временами, как ветер между шквалов,
Как океан смиряющий отлив,
Шум утихал и слышен был в молчаньи
Лишь мерный шаг чудовищных копыт.

И бледный ужас полз с взволнованного неба,
Где тучи расплетались и вились;
И в беспредельности катились волны мрака.

Всадник бронзовый свернул по площади Дофина
На узкие откосы реки, что с юга
Выводят к старому жилищу дозорных рыцарей,
А с севера к палате, которой завещал Несмон
Одежды и портрет свой кисти Приматиса.
Он объехал башни Дворца Юстиции,
Откуда падают в народ слепые жребии;
Прошел чрез Мост Менял и достиг по набережной
Отель де Вилля и Гревской площади;
Он пересек аркады, где теперь вздымается
Новый дворец с тяжелыми надстройками,
Оставил за собой порталы Сен-Жерве,
Взял налево сквозь лабиринты улиц –
Теперь исчезнувших пещер былого века,
Где дома имели облики бандитов,

Серьезный и медленный вошел чрез паперть,
Где некогда царица под вуалью ожидала Басомпьера,
На площадь, окруженную аркадами.

* * *

На площади за темною листвой
Мерещился высокий белый призрак –
Мраморный всадник.

Замкнутый, надменный
На цоколе посереди амвона,
Венчанный лаврами, как римский кесарь;
Сверхчеловеческий и царственный.
На цоколе – десница правосудья.
С раскрытым локтем, с пястью на бедре
В другой руке державный скиптр власти.
Деревья трепетали в смутном страхе,
Вершины их метались, как от ветра.

Статуя к статуе пошла во мраке.
И та, что двигалась, вгляделась в ту,
Что грезила печально, недвижимо
Под черной сенью сумрачных ветвей.

И медный всадник мраморному молвил:
«Ступай взглянуть, на месте ли твой сын!»
Как дремлющий от дальних звуков рога
Луи Тринадцатый очнулся; белый
Держатель скиптра, черный меченосец –
Бледный кесарь и гордый витязь,
Спустившись по широкой лестнице подножья,
Площадь пересекли и вышли чрез решетку;
Поверх же крыш великий призрак – Бастилия
Смотрел, как удалялись они по направлению к Парижу,
Всадник медный шел впереди
И пальцем, простертым вдаль, указывал дорогу.

Они прошли не сводчатую арку,
По «Pas de la Mule» и, следуя
По линии бульваров, что днем кипят толпой,
К городу направились, сейчас безлюдному.

И крыши старых предместий с бесчисленными гнездами,
Четыре льва фонтана Шато д'О,
Ворота Сен-Мартен, ворота Сен-Дени,
И кабаки, в которых еще звенит веселый звон стакана,
Видали, как прошли два строгих профиля.
Они шли рядом молча, не говоря «сюда»,
Так оба всадника вступили на одно
Из мощных перепутий города, где посредине
Высился иной недвижный всадник.

Сей человек не человеком был, но богом.

Лоб его, изваянный для голубого неба,
Вздымался с вызовом, как будто негодуя на мрак,
Вкруг головы его темнело солнце;
Он лучился мрачно; храня великолепье рока,
Которое дает умершим пьедестал
И тот священный ужас, что исходит от победителя,
Когда в Монархе разрушающем таится творящий Бог.
То был король из бронзы, как и первый,
Но без седла, без поножей, без лат,
Он был прекрасен, как Аполлон, и наг, как Геркулес.
Во мраке можно было различить четыре согбенные фигуры
Рек: Эско и Рейн, Истер и Дуб,
Под четырьмя копытами коня;
Казалось, спокойно слушал он звучащие в ветрах
Взрывы сражений и вопли взятых городов.
Грива его казалась львиной;
Без голоса, без жеста
Он повелевал; казалось, простирал он
Меч королям; десницу – Богу,
Ступню ноги для поцелуев земной толпы.

Он сам собою был извечно упоен.

Два всадника направились к нему,

И ветер задержал свое дыханье,

И ночь разверзла слепое око, стараясь увидать,
И человек в доспехах
Воскликнул громким голосом: «Людовик
Четырнадцатый именем, проснись!
Ступай взглянуть, на месте ли твой внук?»

И медный бог с челом, мерцающим сияньем звездным,
Разверз свой мрачный рот: «Кто говорил со мной?»
И взгляд его блуждал, как будто просыпаясь.
– Я. – Кто ты? – Я твой отец!
– А кто мой внук, которого ты назвал? –
– Он тот, кого прозвали Возлюбленным. –
– Где ж он, предмет народных поклонений? –
– На площади за садом Тюильри. –
– Идем.

И черный полубог приветствовал обоих королей,
Спустился с царственного пьедестала, и все трое
Конь о конь направились сквозь ночь.
И дед своих потомков был выше головой.

* * *

Они прошли по набережным, оставив позади
Балкон, с которого взирает на Париж
Варфоломеевская ночь, – темный призрак,
Минули Лувр – нагроможденье
Бесформенных стен и крыш,
Который подобно дворцам Аргоса или Фив,
Имеет Агамемнонов, Эдипов и Электр.
Сена отразила трех призраков,
Трех королей: солдата, кесаря и бога.
А старый Лувр, приоткрывая королевские оконницы,
Узнал Людовика Тринадцатого и удивился, не видя Ришелье.

Они же молча двигались по направлению к Елисейским
Полям.

Прибытие

О, кони мрачные, как нелюдимо они скакали!
Дыханием не трепетали их роковые ноздри,
И чернота их глаз не загоралась взглядом.
По мере же того как, хладные, глухие и молчаливые,
Они вникали в чресла великой ночи,
Бесконечность, взирающая молча на небывалое,
Сгущала мрак в глубинах окоема;
А деревья, охваченные могильной дрожью,
Простирали калеченные руки-ветви
Меж тем, как вдоль решеток Тюильри
Всё тем же шагом – головокружительным и мерным
Скакали два черных всадника, а третий – белый!

Пред ними, подобный мысу, о который дробятся волны,
Угол террасы выступил; они минули
Мрачный переход, и лязг копыт о камни замолк.
Мрак стал молчанием. Они достигли цели.

Струились воды реки, покрытой мраком.

* * *

О, ужас! Посредине пустынной площади,
В том самом месте, где их глаза
Искали торжествующую статую,
Вставали безобразно в пустоте
Два черные столба и бледный треугольник.
Треугольник висел меж ними, голый, в высоте,
А снизу намечался смутный круг,
Похожий на окно, разверстое в пространство;
Два облака на небе начертали
Таинственную цифру: Девяносто три.

То был неведомый и страшный эшафот.

Мрачный вздымался он; и сзади
Угадывался спуск в неслыханную пропасть;
Деревья взирали на страшное виденье;

И ураган задерживал дыханье
Пред темным и тощим очерком;
И вся природа казалась растерянной, столько в
этой отвратительной машине,
Багровой, как резня, и черной, точно траур,
Стоящей на пороге, быть может, неба, а, быть может, Ада,
Было сосредоточено небытия, и ужаса, и гнева!

Под бледным треугольником дрожала крутая лестница.
Которой эшафот, чудовищный и мрачный,
Сообщался со всемирною могилой.
Пурпур, подобный тем, которые струятся,
Дымясь вдоль стен огромных боен,
Сочась меж черных булыжников,
Чертил, виясь, таинственное слово: «Справедливость».
И было ясно, что это свирепое орудье,
Невыразимое для глаза и окончательное,
Было построено отчаяньем
И вставало из слёз, страданий и развалин.
Что эти два столба на темных перекрестках,
Где человек бродил печальный и слепой,
Когда-то отмечали дороги ночи;
И можно было различить слова:
«Власть» на одном, а на другом «Безумье»;
Круг же, который раскрывался под тяжким лезвием,
Напоминал ошейник и, увы! – корону.
И смутный ужас грёз подсказывал,
Что этот треугольник был скован
Из всех мечей: с Ахава до Аттилы;
Вся беспредельность смерти таилась в нем,
Взнесенная до облаков, до самой грозной тверди.

Чуть трепетали невидимые образы.
Ни крика, ни дыхания, ни шороха. Порою –
И это увеличивало ужас трех королей –
Меж двух кровавых и трагических пилястров
Туман редел, и были видны звёзды.

И чувствовалось, что сам Бог, великий невидимец,
Причастен этим странным, трагическим вещам,
Вечность тяготела вся целиком над этим местом;
И эта роковая площадь казалась гранью времен.

* * *

Короли читали слово, начертанное на земле.

Око, которое в тот миг могло бы наблюдать
Фигуры эти, одетые спокойствием и льдом,
Увидело б, как статуи заметно побледнели.

Они молчали, и округ молчало всё;
Если бы время перевернуло свои песочные часы,
То был бы слышен шорох стекающей песчинки.

И в грозном мраке обнажилась голова.
Она была бледна. С нее стекала кровь.

И трое королей затрепетали; медный предок,
Сжимая рукоять меча, спросил
Отрубленную голову:

«Искупление на грозном этом месте
Свершилось не без воли карающего ангела?
Кару за какое преступление несешь ты, голова?»

– Я – внук внука твоего!

– Откуда ты упала?
        – С трона.
О короли! Рассвет ужасен.
– Призрак! что означает эта странная машина?
– Это конец, – сказала голова.

– А кто ее построил?
        – О мои предки, вы!

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Из книги «Страшный Год»

I. Расстрелянные

Война, которая ждет Тацита и оттолкнет Гомера:
Победа завершается всеобщею резнею,
Удовлетворенные безжалостны. Я слышу
Речи:
«Надобно покончить со всеми недовольными».
Альцест сегодня расстреливается Филинтом.
Валяйте. Всюду смерть. Но ни единой жалобы.
Невызревшая рожь, подкошенная роком.
О, народ!
Его ведут к подножью глухой стены.
Пусть так. Они повержены враждебной бурей.
Муж говорит солдату, взявшему его на мушку: «Прощай,
товарищ».
Жена же говорит:
«Мой муж убит. Довольно.
Не знаю, прав ли он иль нет, но знаю,
Что вместе мы влачили нашу долю,
Мы были скованы единой цепью. Ежели отнимут
Его, к чему мне жить? А раз
Расстрелян он, то надо, чтоб умерла и я. Спасибо».
И по перекресткам растут нагроможденья трупов.
В толпе других проводят двадцать девушек.
Они поют. Их красота, спокойствие, невинность
Тревожат смутную толпу. Прохожий
Вздрагивает. «А вы куда?» – он спрашивает самую красивую.
«Мне кажется, что нас ведут расстреливать».
Зловещий грохот внутри казарм Лобо:
То гром распахнутых и замкнутых дверей могилы.

Там груды расстрелянных, но слез не видно.
Как будто их смерть едва касается,
Как будто они торопятся бежать из мира жестокого, слепого,
И с радостью встречают свое освобожденье.
Никто не дрогнет. К той же стенке ставят
Внука и деда. Дед насмехается, а мальчик –
Кудрявый, радостный кричит со смехом: «Пли!»
И этот смех и это трагическое равнодушье – откровенье.
О, ледяная бездна. О, загадка, перед которой теряется
пророк:
Так, значит, они не держатся за жизнь, так, значит, жизнь их
такова,
Что им уйти из мира безразлично.
И это в мае месяце, когда всё хочет жить, когда
Душа сливается с расцветом всех вещей.
Тем девушкам сбирать бы розы,
Ребенку бы играть лучом зари,
Зиме бы старика растаять в майском солнце!
Их душам быть как полные корзины
Цветов и запахов, жужжащих пчел
И полниться весенним птичьим пеньем,
Быть трепетом любви, быть лепестком рассвета...
И что же? В этот прекрасный месяц радости и хмеля –
О! ужас, – смерть встает – внезапная, слепая,
Безглазая, безжалостная!
О, как они должны кричать, взывая к небу,
Рыдать и трепетать и звать на помощь город,
И нацию – всю Францию, и нас, –
И нас, которые глубоко ненавидят
слепую гражданскую войну и эту бойню,
О, как они должны молить штыки и ружья, пушки,
С руками простертыми, сжав кулаки: ослепшие от слез, –
Лезть на стены, цепляться за прохожих,
Стараться убеждать, бороться у могилы,
Кричать: «На помощь к нам, спасите, убивают!»
Нет! Чуждые всему, что совершается,
Они глядят на смерть, которая пришла за ними:
Ну пусть! Они не сделают ей чести удивляться.

Они сжились издавна с этим зловещим призраком.
А в их сердцах могила давно уже вырыта:
Здравствуй, смерть!
Жить вместе с нами – это их душило,
И они уходят. Что сделали мы им?
О, позднее открытье. Кто ж мы сами, ежели они
Кидают этот мир и всех людей
Без сожаления, без крика, не желая унизиться до слез?

II. На баррикаде

На баррикаде посреди камней,
Запятнанных преступной кровью и омытых кровью праведных,
Мальчишка лет двенадцати захвачен вместе с коммунарами.
«Эй, ты! из ихних, что ль?»
Ребенок отвечает: «Мы были вместе».
«Ладно, – промолвил офицер: – ты будешь расстрелян с ними вместе.
Стань в очередь».
Сверкнули выстрелы. Ребенок видит,
Как рухнули товарищи к подножию стены.
Он просит офицера: «Позвольте сбегать домой,
Чтоб матери отдать часы».
– «Ты хочешь улизнуть?» – «Нет, я вернусь».
– «Все эти негодяи – трусы. Где ты живешь?»
– «Там, около фонтана. И я вернусь, мой капитан».
– «Брысь, постреленок». Мальчишка убежал – убогая уловка.
Солдаты хохочут вместе с офицером.
Хрип умирающих мешается со смехом.
Но смех утих, когда внезапно мальчик –
Бледный и гордый – появился вновь,
Сам подошел к стене и им сказал: «Я – здесь».
Бессмысленная устыдилась смерть, и офицер его помиловал.
Дитя, я сам не знаю – в этом урагане,
В котором смешалось всё: добро и зло, геройство и злодейство,
Что в эту схватку тебя влекло, но говорю,
Что дух незрячий твой – высокий дух,

Мужественный и прямой – ты сделал на дне последней бездны
Два шага: один навстречу матери, другой – навстречу смерти.
Ребенок, который предпочел спасенью, бегству, жизни,
Весне, расцвету, детским играм – стену,
У которой пали его друзья, – прекрасен.
Слава поцеловала тебя в чело, о мужественный отрок!
Ты был бы в древности отмечен Стезихором,
Чтоб защищать одни из врат Аргоса,
Ты был бы вписан в ряды священных отроков
Тиртеем в Сицилии, Эсхилом в Фивах,
Твое бы имя было начертано на медных досках,
Ты был бы одним из тех, вослед которым дева
С кувшином на плече, у водопоя, где дремлют буйволы,
Глядит задумчиво, не в силах оторвать взволнованного
взгляда.

ШАРЛЬ БОДЛЕР

Благословение

Когда по велению верховных судеб
В сей унылый мир нисходит поэт,
Его мать с проклятьями подымает к небу
Кулаки и жалуется Господу:

«О, лучше бы мне родить клубок эхидн,
Чем выкармливать грудью этот позор.
Да будет проклята ночь мимолетных ласок,
Когда я зачала искупленье свое!

Раз ты меня выбрал из всех женщин
Быть омерзением супругу моему,
Раз я не могу швырнуть, как записку
Любовную, этого урода в камин,

Я выплесну на орудие твоего гнева
Всю ненависть, что переполняет меня.
Я так изломаю этот жалкий кустарник,
Что он не распустит зараженных цветов».

Так, захлебываясь пеною злобы,
Она, не понимая предначертанной судьбы,
Себе готовит на дне Геенны
Костер, предназначенный для преступных матерей.

Меж тем невидимым покровом духов
Обездоленное опьяняется солнцем дитя.
И во всем, что ест и пьет, он находит
Амброзию и нектар – пищу богов.

Он играет с ветром, он беседует с тучей.
Он поет в восторге на крестном пути,
И Ангел-хранитель путей его – плачет,
Видя его веселым, как птичка в лесу.

Все, кого он хочет любить, со страхом
Наблюдает его, а потом, осмелев,
Наперебой стараются вызвать слезы
И пробуют свою свирепость на нем.

Они мешают с плевками и пеплом
Его скудную пищу – вино и хлеб,
Лицемерно швыряют все, чего он коснется,
И стыдятся ступать по его следам.

Жена его ходит, крича по базарам:
«Раз я так прекрасна, что он обожает меня,
Хочу, как древние истуканы,
Быть раззолоченной с головы до ног!

Хочу упиться нардом и миррой,
Коленопреклоненьями, жертвенным мясом, вином,
Чтобы узнать, могу ли я, на смех в сердце,
Меня обожающем, заступить богов.

А когда мне наскучат кощунственные балаганы,
Хрупкую и сильную руку наложу на него,
И ногти мои, подобные когтям гарпий,
До самого сердца сумеют найти путь.

Как птенчика, что трепещет и бьется,
Я вырву алое сердце из его груди,
А потом швырну его наземь с презреньем,
Чтобы накормить моего любимого пса!»

К небу, где видится сияние трона,
Благочестивые простирает руки поэт,
И широкие молнии его лучезарного духа
Озаряют смятение яростных толп.

«Да будет благословен дающий страданье,
Как божественное целение наших распутств,
Как лучшую и самую чистую сущность,
Что готовит сильных для святых блаженств!

Знаю, что поэту уготовано место
В священных рядах Ангельских сил,
Знаю, что он из званных на вечный праздник
Тронов, Начал, Властей и Господств!

Знаю, что страдание – единственная доблесть,
Которой не умалят ни земля, ни ад.
Для того, чтоб сплесть мой венок, надо
Искусство всех времен и миров.

Все потерянные сокровища древней Пальмиры,
Все металлы и жемчуг неведомых морей,
Собранные вашею рукой, – недостойны
Моего ослепительного венца.

Он будет соткан из чистого света,
Собранного в горне первичных лучей,
Которого смертные очи во всем их блеске –
Лишь замутненные и жалкие зеркала».

ЖОЗЕ МАРИА ДЕ ЭРЕДИА

Бегство кентавров

Сорвавшись с дальних гор гудящею лавиной,
Бегут в бреду борьбы, в безумьи мятежа.
Над ними ужасы проносятся кружа,
Бичами хлещет смерть, им слышен запах львиный...

Чрез рощи, через рвы, минуя горный склон,
Пугая гидр и змей... И вот вдали миражем
Встают уж в темноте гигантским горным кряжем
И Осса, и Олимп, и черный Пелион...

Порой один из них задержит бег свой звонкий,
Вдруг остановится, и ловит запах тонкий,
И снова мчится вслед родного табуна.

Вдали, по руслам рек, где влага вся иссякла,
Где тени бросила блестящая луна –
Гигантским ужасом несется тень Геракла...

Ponte Vecchio

Там мастер ювелир, работой долгих бдений,
По фону золота вплавляя тонко сталь,
Концом своих кистей, омоченных в эмаль,
Выращивал цветы латинских изречений.

Там пели по утрам с церквей колокола,
Мелькали средь толпы епископ, воин, инок;
И солнце в небесах из синего стекла
Бросало нимб на лоб прекрасных флорентинок.

Там юный ученик, томимый грезой страстной,
Не в силах оторвать свой взгляд от рук прекрасной,
Замкнуть позабывал ревнивое кольцо.

А между тем иглой, отточенной как жало,
Челлини молодой, склонив свое лицо,
Чеканил рукоять тяжелого кинжала.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

* * *

Стон и рыданья
И трепетанья
Дальной
Скрипки осенней
До истомленья
Печальной.
Под рокот шумный
Я вспоминаю
Былое,
Пережитое
И как безумный
Рыдаю.
Ночной порою
Я вьюсь с толпою
Видений...
Как лист опавший,
Увявший,
Осенний...

СТЕФАН МАЛЛАРМЕ

Лебедь

Могучий, девственный, в красе извивных линий,
Безумием крыла ужель не разорвет
Он озеро мечты, где скрыл узорный иней
Полетов скованных прозрачно-синий лед?

И Лебедь прежних дней, в порыве гордой муки,
Он знает, что ему не взвиться, не запеть:
Не создал в песне он страны, чтоб улететь,
Когда придет зима в сияньи белой скуки.

Он шеей отряхнет смертельное бессилье,
Которым вольного теперь неволит даль,
Но не позор земли, что приморозил крылья.

Он скован белизной земного одеянья,
И стынет в гордых снах ненужного изгнанья,
Окутанный в надменную печаль.

* * *

... О, зеркало, – холодная вода, –
Кристалл уныния, застывший в льдистой раме!
О, сколько вечеров, в отчаяньи, часами,
Усталая от снов и чая грез былых,
Опавших как листы в провалы вод твоих,
Сквозила из тебя я тенью одинокой...
Но – горе! – в сумерки, в воде твоей глубокой
Постигла я тщету своей нагой мечты...

ПЬЕР ЛУИС

Танец цветов

Антис, лидийская танцовщица, закутана семью покрывалами.
Она развертывает желтое покрывало, и ее черные волоса
растекаются.
Розовое покрывало скользит с ее уст. Покрывало белое, падая,
обнажает ее руки.
Свои маленькие груди она высвобождает из-под красного
покрывала
– и оно развертывается.
Она роняет зеленое покрывало, скрывавшее двойное
полукружие спины.
Голубое покрывало срывает с плеч, но последним,
прозрачною тканью еще закрывает свою зрелость.
Юноши умоляют ее; она качает головой, закидывая ее назад.
Под звуки одних флейт она надрывает ее немного, потом
разрывает совсем.
И, в движениях танца, срывает цветы своего тела.
И поет: «Где мои розы? Где мои душистые фиалки? Где завитки
моего сельдерея?
– Вот розы мои, я их отдаю вам! Вот фиалки мои – хотите их?
Вот мой кудрявый сельдерей!»

АНДРЕ СЮАРЕС

Грихапатни

Торжественное вступление года

Ты моя жена.

О сладостное умиление приятия! Как дверь, раскрывающаяся перед новой супругой, порог сердца просветляется, как взгляд, отдается и преклоняется, как рука, чтобы принять ее. Отдайся, дай склону вынести тебя до брачной жизни.

Приди — ты супруга моя.

Ты будешь спать между моих рук. Я возьму твои детские ноги между моих ног и колени твои сожму моими крепкими ногами. Твоя печень прижмется к моему сердцу, а твое сердце к моей печени. И двойное дерево крови — красное и черное сплетут свои ветви сквозь кожу. И посредине тела я стану твоим живым корнем. Теперь мы образуем пару.

И ты будешь на своем месте, в свою очередь. Ты закроешь глаза в полном самоотречении доверия. Ты будешь грезить на моей груди. Твое дыхание я почувствую на своем горле; и свой подбородок я опру на твою голову; я буду держать тебя так, как жнец вяжет сноп, опирая его на землю. Моя рука, которая причиняет тебе боль, если я не думаю об ней, охватит твою спину, как обруч любви, и ты будешь прижата к стене моих забот с этих пор: к моему сердцу мужчины-защитника.

И в темноте ты будешь держать руку на моем бедре, как та, что приносит клятву на плоти и свидетельствует о своем праве; и мое сердце будет там в своей красной хламиде, твой судия и твой свидетель...

Ты больше не будешь одна как зерно едомое, потерянная в лесу городов, где всё — зубы, укус и гниение. Я буду желать для тебя, я буду знать за тебя.

И ты будешь той, которая любит и которую оковы — освобождают. Пока ты будешь спать — я бодрствую. Невидимый тобою, я с нежностью буду целовать лен твоих волос, зреющий под моими устами; и я буду созерцать твою душу в твоем сне. И ты не узнаешь никогда всей моей нежности.

Ибо я человек, а ты мое дитя. Ты моя жена. Войди. Но будь прекрасна. Войди.

Возвращение – Солнцестояние

Я был там, где я теперь, в первый раз. Грежу ли я или грезил тогда? Я вспоминаю то, что я уже вспоминал, когда я узнал, что в те времена, в которых всё с тех пор изменилось, я видел эти не высвободившиеся почки на ветвях. Их глазки щурятся на меня в сыром парке: с тою же лаской они глядели на меня когда-то. Все страны под небом населены такими же выходцами с того света, как я. Если я пойду против солнца от долины Плоермеля (где каждый дуб сосет кости святого) до гробницы Кунгов в Киу-Фао, где князь семьдесят седьмого поколения владеет навсегда леном империи, наследуя несравненному мудрецу, если я совершу весь путь от одного бедра до другого по сводчатой спине земли, бедной старицы, то я – призрак – не встречу никого, кроме призраков. В каждом жесте – призрак! Каждое слово – гробница, из которой встает тысячелетний гость. Язык мертвых трепещет в устах живых с первого дня Авеля.

Я смотрю на свои ногти в надвигающихся сумерках: в каких веках некогда в этом самом месте, в этот самый час, этот же лист падал, как перо этого дерева, и я смотрел так же. Все луны туманностей проходят в зеркале этих грустных миндалин, и, как я видел в них иронические отливы жемчужины, так я нахожу в них насмешливый блеск. Я прожил, не зная об этом. Я вспоминаю о временах, когда я существовал вне бытия, и это всё. Бесконечная рукопись записана в моем теле, и мне не дано лишь время от времени прочесть больше одного слова, больше одной строки: я не имею права развернуть неразрешимый палимпсест; но завтра или сегодня вечером какой-нибудь ответ, какая-нибудь строфа всплывут написанные чернилами нежданно более черными, и разоблачат передо мною целое существование. Эта тайна в тайне и привлекает, и тревожит меня.

Материнский вяз среди бочарных ладов, я омочил свои волоса в самосветящейся заре и прислонял голову к стенам кельтской башни, обросшей стенницей, косматой от желтого мха. А дальше, – вот башни Сиены, они цвета запекшейся

крови под сеткой русых локонов: здесь я был горячкой кирпича, который трескается в горне страстей; по колени в крови между гирляндой роз и строем высоких лилий, я имел вид девы в шлеме из колосьев, с волосами, рассыпавшимися по плечам; и все-таки, прижимая к своей кольчуге пленную девушку в слезах, я, раздавливая землянику ее грудей, молился Богоматери, благочестивый и преступный. А вначале задолго раньше они поймали меня в засаде в красной пустыне, где Ефрат имеет свое половодье и извергает пену, убегая от рая: правоверные изрешетили мое тело; меня сажали в клетку десять раз; я был распят на синих и черных стенах Асура; и я ел человека пред очами Цезаря.

Когда-то, когда-то видел я великую зыбь Тихого океана и валы, подобные движущему<ся> горизонту холмов, к чудовищной ноге Патагонии, к мысу Горну, где море оторвало от таранной кости целые корзины пальцев и пяток.

Я сохранил нос водореза, который невозмутимо встает из пены и проходит сквозь шквалы. Я сохранил брезгливое рыло, вертикальное пламя взгляда и усталые веки. Дикий, как Индийский океан, каждая волна которого – прыжок льва в муссоне, потрясая своей гривой, я завидую жизни, которая проявляется так – без граней. Самая богатая душа – сама<я> обильная скорбями, а все они рождаются от наших возрождений.

О смертельная алчба, смертельная тоска быть всегда и оставаться навсегда вне иной памяти одними прыжками. Дрожжи мысли переворачивают мир, как мешок: глубинная тайна брызжет наружу, и первичная форма прячется. Наконец, правда ли, что это я вспоминаю то, что я никогда не видел и о чем я не знаю ничего, кроме того, что мне кажется, что я это уже видел? То, что я думаю теперь, я, значит, уже думал. Вся жизнь кажется молчаливым пересказом, словом уже слышанным, но не понятым, слогом, прочитанным в движении губ: они мимируют слово, и его не надо им произносить. Такое желание, которое воскрешает в человеке движение и голод первого минерала, свидетельствует [доказывает] вечность.

Я был этим кораллом. Я пророс зубом атоллового рифа под морской десной. Эта буря – я ей был, я есть она. Во все<х>

страданиях – ужасающая радость жизни! Почему не могу я возрождаться, возрождаться бесконечно, каждое мгновение, всей своей совокупностию!

С глазу на глаз

Царица с обнаженными руками, ты идешь в свете красного вечера.

Как медленно плывет сирена по волнам цветной оконницы! Твой звездный шаг на августовском небе тих, как воды: но эта неподвижность, которая всё же движется, это порыв упоения, трепет дрожащих глубин. Злые глаза ламп на драгоценных камнях и золотые щиты ласкают тебя. Отсветы ходят по цветам королевского жасмина, как ящерицы на стене слоновой кости, увенчанной зарослью абрикосов. И тайна лучей, которые связывает и развязывает мелодия, под звоны гремучих змей и грустных тамбуринов, качается на этих руках из амбры.

Она бледна, и бледность ее горит. Ее кровавая улыбка – пурпурная гвоздика на устах осужденного. Ты пахнешь горящими угольями и душистым горошком на краю водоема во дворе, розового, как щека, сада Дамаска. Затянутые сетко<й>, оплетенные парчами и эмеродами, твои ноги похожи на два цветка водяных лилий под наметом капилляров. У тебя бёдра Балкис и ароматы Суламифи. Ты жемчужина, наполненная неумирающими ароматами. Правда, воздух становится благоуханным от каждого твоего движенья, сосуд коварства, курильница наслаждений.

Как солнечная пчела опускается наконец в сердце долины, своды залы жужжат стрелами; стрелки сводов сочатся странными язвами.

Царица вечера, цветок мук, золотая муха дрожит у твоих подмышек, столь сладостен запах этой жемчужины.

И ночные бабочки желания, покинув купол апельсиновых деревьев, ищут молодых грудей под золотою сетью двух остроконечных персиков, которые можно прикрыть ладонью в тени завитой решетки, в сумерки.

– Ты сказал верно: я страстная девственница. Я жадная к победам в жадной тоске бытия! Я танцую, я улыбаюсь,

и <ты> возбуждаешь меня. Ты делаешь вид, что не видишь меня. Глаза мои пропели «Я хочу», и твои холодные глаза не говорят ничего. Как огонь в жерле очага, моя кровь говорит на губах: «Я, немая, хотела бы, чтобы ты меня любил; а ты меня ненавидишь. Ты принудишь меня ненавидеть тебя. А все-таки ты в моих цепях, и жизнь твоя зависит от одного знака.

– Ты могла бы соблазнить меня, роза Востока. Далеки от меня твои глаза, далек от меня твой запах, далеко от меня твое дыхание теплой земляники под лепестком греха. Не открывай для меня дверей твоей кровавой церкви между колоннами из слоновой кости двойным стеблем твоих бедер: я не приношу молитв этим богам: я не склоняю колени моей силы на пороге этого храма.

– Если ты закроешь глаза, я могу сделать так, что ты не раскроешь их вновь.

– Я знаю, что ты закроешь их. Ты убьешь меня: тогда мои глаза будут обращены к тебе всегда. Лилия гробниц, я не тебя люблю. Адская Роза, я не сорву тебя. Я не боюсь ночи, о ты, украшение тьмы! Я – Предтеча.

– Сейчас я буду, я буду танцевать головой вниз на руках. Солнце село, ты должен лечь. Раньше, чем наступит завтра, луна увидит нас на террасе вдвоем. Гордец, я дотронусь твоего языка моим языком, и ты не сможешь меня укусить. Я возьму твою силу через твой рот. Я отсеку твою голову, моя любовь.

– Возьми же ее! Царица Азии, отрежь мне голову и брось ее в море.

– Я завью и надушу тебя, чтобы ты сгнил.

Так властный Бунтовщик, который волнует народы, чтобы омыть их от вечного рабства, отверг жизнь вместе с чарами царственной колдуньи и искусствами искусительницы.

В этот вечер в темнице, на плите заката черный палач отсек топором молящуюся голову. Кровь брызнула до желтого тюрбана негра, и бледный человек с большими глазами не заставит никого потуплять глаза.

Галки кричали, и сорока, которая издевается над прохожими, рассекла воздух от ююбового дерева, что растет на ро-

зовом дворе, до зубцов башни, где, распустив хвост, вывесила длинный траурный флаг.

Тогда Эфиопец, зубы которого сверкают, как ряд миндалин на смоляном прянике, положил голову на золотое блюдо.

Зевая, понес он ее вдоль по мрачному и нескончаемому коридору, раздавленному сводами. При свете ламп, которые спускались от ключей сводов, как желтые пауки на конце нити, на диске с врезанными камнями дрожали не то капли, не то рубины, не то слёзы и изумруды. Наконец, когда он был на ковре комнаты, где дымится сандаловое дерево в сладком ладане женщины и где солнца шелков утишают темную бессонницу черного дерева, он остановился и протянул бледную голову задумчивой Царице.

И другая голова поднялась, чтобы увидеть голову человека, и зеленая луна показалась за оконницей.

День господа

Все нищие, выстроившись в ряд, ждут у дверей, что монахи дадут им суп и объедки монастыря.

Уже июньское заходящее солнце бьет им в лицо; бороды в крови, щеки в золоте – всё их достояние. Они держат в руках – один разбитый горшок, другой котелок или чугун, как бомбу, треснувшую посредине, кто сковороду без ручки, кто старую коробку из-под сардинок. Они не говорили, экономя по крайней мере силы. <...>

O mors, ero mors tua*

Со всем пламенным унижением [смирением] любви я целую землю. Я нищий, обладающий сокровищем. Губы мои прижимаются к плоти страданий, где нет ни одной складки, ни одной морщины, которая не была бы бороздой матки, ресницей матери.

Я не позволю сказать, что всё кончено здесь и что в человеке, о природа, ты обречена на смерть. Три месяца, потом четыре, после пять, после шесть. И одиннадцатый – могильщик, который готовит яму в дождливой и черной земле. Как

* Смерть, буду смертью твоей (*лат.*).

сладко совсем не быть от мира сего. Затем три года, после четыре года, пять лет, десять лет. И после год никакой; бездна всё взяла.

О господи, господи! Почему возложена на нас повинность [бремя] счастья? Между тем я хочу его, я веду год к плохому исходу. Хозяйка-боль раскрывает дверь, чтобы принять прохожего с женщиной в маске, которая должна умереть от родов.

Кто, увы, может слишком возлюбить свою плоть. И кто может слишком покорить ее? Для всякой плоти – я женщина, которая рождает. Я стерплю все неудачи, кроме той, которая отделяет плоть от плоти. О пожирающая тоска не быть *ничем*. Я борюсь с небытием, я держу его за горло. Я кидаюсь на черный вихрь – бездна – бездне и истребление – истреблению. Слишком ужасно быть навсегда повешенным во тьме ночи.

Быть там, как день! Слушать то, что есть в том, что проходит! И еще что? Вселенная в призрачной различности и волны ее напрасных рождений. Я как свет между тремя пространствами [измерениями]; поэтому я слушаю: диалоги между тремя гробницами [могилами].

Облака висят груды на груды, и они разрываются. Обнажайся, природа. Пусть небо, замороженное созвездиями, реет над туманом: этот траур так же неизбежен, как падение листьев. Буря мечет связки струй в мои окна. Это пригоршни неба, мрачное засыпание могилы во тьме. Мне кажется, что этот унылый ураган никогда не должен окончиться. Под дикими овациями ливня мое окно распахивается одним взмахом, как девушка, которая отступает и кричит, уступая насилиям ветра: гигантская птица ночи биет меня в лоб, плещет крылиями в окне и кидается мне в лицо как вызов. Я ныряю вместе с барками ловцов сардинок у Фромвёрского пролива. И моя мысль шатается, как мачта в провалах зыбей, как ветви тиса в северном ветре на кладбище острова.

Но ракета чистого желания брызжет из моего существа – церковный гимн невинности. Материнство – это вся женщина, и всё же вопреки ей живешь для того, что<бы> быть отцом в своей душе для того, чтобы освятить себя. Я сожгу вещество в полыме бессмертного присутствия. В тигле химической печи и в отвратительной толще я буду искать

белого огня, крупицы вечной уверенности. О! я хочу этого! Мир очищения обещан любви.

Освободи ме<н>я, душа моя, от злых козней! Эта ночь кончится тоже.

Уже слышатся звезды на хорах: они пронзили дождевые покрывала; эти белые голоса, дрожа, поют чистейшую мелодию, которая теряется в высотах времени.

И вот Солнце – настоятель пламени вступает под купол; и мало-помалу, выходя из ночных созерцаний в своей траурной ризе, оно восходит к алтарю, чтобы возгласить литургию дня.

Дерево

Да буду я одиноким деревом в великолепном ужасе пустыни. Человек, подымайся к солнцу: солнце не может спуститься к тебе.

Да будет тело уединения <из> бесконечных песков и костей, которые поют под рыжеватой кожей камней. Да возьму я свой корень из-под огня, да расту я – весь целиком в ствол прямой, как стрела полудня, как золотая нить Феба, которая падает из неподвижной точки, когда Феб-зодчий кидает свой перпендикуляр в плоские пространства, измерить, что́ сто́ят миры, чтобы растворить храм жизни.

Под корой, которая сочится нежной смолой слёз – да буду я бриллиантовой мезгой, костным мозгом дня в неразрушимой колонне. Соки, которые брызжут и восходят так же прямо, как ласточка от земли к своему небесному источнику, да буду я этой струей и ничем больше! Не надо веток, не надо сложенных рук, ни одного ребяческого листика, ни одного гнезда!

Пустыня – я жажду тебя, бесплодное богатство, девственное золото, океан в соломе, рыжий глаз святой Азии, сны, молчащие в экстазе пред царственным ликом, шкура молчания, взлохмаченная песками, гусиная кожа под взглядом тигра.

О, тишина! Тишина! Тишина!

Тих, как свет (свет – это крик горна), этот звук трубы, которая тянет вечную ноту. Такой сильный, такой чистый,

что его не слышно больше в морях пространства, потому что он – сущность и форма, и материя, и инструмент, и звук. Бог действенен в человеке лишь через человека. Свет, свет во всем! Луч солнца – это атом атома, яйцо материй. Пусть же дух человека оплодотворит его!

Прозрачность, горний дворец, надо мне взойти на императорскую террасу. Летнее пребывание текучего царства, прозрачность, обет всей моей жизни, совершенная ступень, на которой ничто не напоминает покинутого. Я грежу о торжественной прозрачности солнца на стенах того, что было Вавилоном, донести до тебя в горних мою жизнь, как единый плод, твоим устам – бездна прозрачности.

Там быть свободным и расти в святой Сахаре Месопотамии! Я буду растительным пальцем, который встает из погребенных веков и неизмеримого молчания над крылатым и свирепым быком – простертой десницей Ниневии. Нагой в обнаженности роковой равнины, я понесу на голове круглую шляпу неба, которая от утра до сумерек всё будет отодвигаться от земли вместе с восхождением моей головы. Пламенное дерево под солнцем, которое не чувствует больше ни ветра, ни бури в своих ветвях, потонув в зараженной области людей, я снова возникну из чрева матери, лежащей между рек. И нет больше дерева. Я не тот, кто отнимает пространство у солнца.

Но, одинокая наконец, пальма света да наполнит вселенную своими золотыми руками, своими лучистыми ладонями. Да будет она струей, которая жжет, которая сеет огонь средоточий со всеми ростками! Всё, о свет, лишь для света! А там, внизу, делай свое дело – вечная мысль. Зрей, прозрачность! О тишина, тишина, тишина света!

ГЮСТАВ ФЛОБЕР

От переводчика: ПРЕДВАРЕНИЕ О ПЕРЕВОДАХ

Из «Трех повестей» Флобера[1] две – «Иродиада» и «Юлиан Милостивый» были переведены на русский язык Тургеневым.[2] Поэтому их судьба в русской литературе пошла не по линии Флобера, который, несмотря на страстную и бескорыстную пропаганду А.И. Урусова[3], не пользовался в России популярностью, достойной его имени, мастерства и значения, но по линии Тургенева, и «Юлиан» и «Иродиада», включенные в Полное собрание сочинений И.С. Тургенева[4], этим самым вошли в состав русской классической литературы. Таким образом, вопрос о Тургеневе как переводчике и не подымался, хотя и приходилось иногда слышать частные и бездоказательные утверждения «из публики»: «Тургенев перевел Флобера плохо»[5], – которые как будто бы и находили себе подтверждение в недавних сенсационных разоблачениях Тургенева как исказителя тютчевских и фетовских стихов.[6] Поэтому я был немало смущен, когда Госиздат предложил мне перевести «Простое сердце» и «Юлиана». Но уже самое заглавие повести «Юлиан Милостивый» – вместо буквального «Юлиан Гостеприимец» – показало, что тургеневский перевод не исключает возможности иных, более близких Флоберу вариантов. Эпитет «милостивый» взят Тургеневым из церковных Четьи-Миней[7], как более привычный православному уху, и это не противоречит художественным принципам Флобера, который в этот период избегает слов редких и малоупотребительных, определенно предпочитая работать в материале готовом и уже испытанном. Но если эта вольность в переводе заглавия может быть оправдана стилем, она не находит себе оправдания в содержании повести и в самом характере Юлиана, который является скорее жестокосердным, чем милостивым. Флобер, недаром отбросив эпитет Святого Юлиана в латинской агиографии[8] «нищий, бедняк»,

заменяет его не менее привычным в Средневековье эпитетом «гостеприимец». Достаточно припомнить духовный орден рыцарей Гостеприимцев (Иоаннитов).[9] Когда я начал сличать оригинал с переводом, то подобных неточностей оказалось очень много. Тургенев всюду обнаруживает склонность русифицировать Флобера и притом в ложном старорусском стиле баллад Алексея Толстого.[10] Так, он говорит о ковшах, которых не хватает на пиру, переводя «ковшом» термин «олифант», т. е. рог из слонового клыка. Но и сам Флобер далек от исторической точности. Я не знаю, какими первоисточниками он пользовался, творя «Юлиана», и у меня нет под руками для справок классического труда Максима Дюкан о первоисточниках Флобера.[11] Но из финала повести видно, что Флобер исходил не от литературных памятников эпохи, а из чисто зрительных: «Такой я прочел историю Юлиана на расписной оконнице одной из церквей моей родины».

Только этим можно объяснить непреднамеренные анахронизмы, которыми в изобилии пестрит текст Флобера, как, например, цыган, предсказывающий отцу Юлиана судьбу его сына. Средневековье совершенно не знает цыган. Их появление во Франции отмечено 1427 годом, т. е. XV веком, когда уже брезжила заря Ренессанса. Исходи Флобер из литературных документов, у него была бы возможность заменить цыгана иной отверженной расой, которых Средневековье знало много и которые социально играли ту же роль: овернским ли *мараном*, пиренейским ли *каго*, бретонским ли *каку*, которых считали потомками прокаженных и относились как к таковым.[12]

Вообще Флобер рисует Средневековье вне исторической эпохи, и потому вся бытовая часть рассказа изобилует анахронизмами и нелепицами. Так, при описании замка, в котором родился Юлиан, говорится о сундуках, которые ломились от количества белья, которым с особой любовью занималась мать Юлиана; между тем, рубашка и вообще полотно появляются только в XVII в. в Голландии[13], а в XIII в., когда психологически происходит действие Юлиана, только впервые узнают льняные «посконные» ткани. Так что в эпоху Юлиана посконная рубаха это единственная роскошь, кото-

рую может себе позволить в смысле белья феодальная аристократия.

Не менее произвольно у Флобера и описание соколиной охоты и ловчих птиц. Тургенев, переводя флоберовские «каталоги», излюбленные писателями романтизма с легкой руки Виктора Гюго[14], не упускает случая блеснуть знанием охотничьих терминов и словечек, но никак не исправляет флоберовских нелепиц при описании самой охоты. Пишущему эти строки в юности доводилось самому принимать участие в киргизских охотах[15] с молодыми беркутами на фазанов и зайцев. По Флоберу, охота происходит в воздухе. Юлиан замечает высоко парящую птицу, спускает сокола и наблюдает две точки, которые кружатся в воздухе, а потом сокол возвращается к нему на перчатку, держа в когтях пойманную дичь. Между тем, в реальности охота происходит так: дичь – фазан или заяц – бежит по земле в глубине колючих зарослей, стараясь скрыться от зоркого глаза ловчей птицы, которая парит над нею в воздухе и оттуда клювом вперед падает камнем на добычу и пробивает ей череп. Весь пафос соколиной охоты заключается в яростной скачке конных охотников через заросли кустарника, рвы и колючки. Охотники должны настичь сокола, когда он уже успел убить дичь, но не успел ее растерзать. Иначе он не вернется к хозяину. Обычно охотники застают сокола охватившим добычу когтями и гордо оборачивающим голову к охотникам. В то время, как одни спешиваются, чтобы отнять добычу, киргиз достает *привадку* – кусок сырого мяса – и на призывный свист <сокол> делает взмах крыльев и садится на кожаную перчатку хозяина, который тотчас замыкает цепочкой его ногу.

Флобер мог этого не знать, но едва ли не знал этого Тургенев, а в переводе нет никакого намека на желание исправить ошибку оригинала. Он переводит буквально так, как Флобер представлял себе эту картину, невозможную и не соответствующую действительности.

Я не счел возможным вносить какие-либо исправления в текст Флобера, но подстрочное примечание[16] стало необходимо.

Переводчик М.А. Волошин. Коктебель

ЛЕГЕНДА О СВ. ЮЛИАНЕ СТРАННОПРИИМЦЕ

I

Отец и мать Юлиана обитали в замке среди лесов, на склоне холма.

Четыре угловые башни заканчивались островерхими крышами, покрытыми свинцовыми черепицами, а цоколь стен опирался на глыбы скал, обрывавшихся до самой глубины рвов.

Двор был вымощен обтесанными камнями, как церковный пол. Желоба, изображавшие драконов пастью вниз, извергали дождевую воду в цистерны; а на подоконниках всех этажей в расписных глиняных горшках цвели душистые васильки и гелиотропы.

Вторая ограда, образуемая частоколом, включала прежде всего плодовый сад, а затем цветник, в котором сочетания цветов чертили вензеля; далее – виноградные шпалеры с прохладными беседками, наконец – особое место, где пажи развлекались игрою в шары. С другой же стороны находились псарня, конюшни, пекарня, винодельня и амбары. Вокруг расстилался зеленый выгон, также замкнутый – густой колючей изгородью.

Мир длился так давно, что подъемная решетка ворот уже не опускалась, рвы были полны водой, ласточки вили гнезда в трещинах бойниц; и лучник, который весь день ходил по крепостному валу, едва солнце начинало припекать, возвращался на сторожевую вышку и засыпал сном праведника.

Внутри повсюду блестели железные оковки, тканые ковры по стенам защищали от холода, шкафы были переполнены полотном, в подвалах громоздились бочки вина, дубовые рундуки ломились под тяжестью мешков серебра.

В оружейной палате между знаменами и мордами диких зверей висело оружие всех времен и народов, начиная с пращей амалекитян и копий гарамантов и кончая короткими мечами сарацин и кольчугами норманнов.

На главном вертеле кухни можно было зажарить целого быка; часовня не уступала пышностью королевской молельне. В отдаленном конце двора была даже римская баня, но добрый сеньор не пользовался ею, не желая следовать языческим обычаям.

Всегда закутанный в лисьи меха, он обходил свои владения, творил суд над вассалами, разрешал споры соседей. Зимой глядел он на хлопья падающего снега или заставлял читать себе разные повести. С первыми весенними днями он выезжал на своем муле по малым тропинкам вдоль зеленеющих нив, беседовал с вилланами, давал им советы. После многих приключений он взял себе в жены девицу знатного рода.

Она была очень бела телом, степенна и немного высокомерна. Рога ее головного убора касались притолоки, шлейф суконного платья влачился на три шага позади нее. Домашний распорядок был установлен строгий, как в монастыре; каждое утро она распределяла работы между служанками, присматривала за вареньями и благовонными мазями, сама пряла или вышивала напрестольные пелены. По неотступным ее молитвам бог даровал ей сына.

Тогда настали великие торжества, и трапеза длилась три дня и четыре ночи при свете факелов, под звуки арф; полы были усыпаны зелеными ветвями; подавались самые редкие пряности и куры величиной с ягненка; ради забавы, из пирога выскочил карлик. А так как посуды не хватало, потому что гости все прибывали, приходилось пить из рогов слоновой кости и из шлемов.

Роженица на празднестве не присутствовала. Она спокойно лежала в постели. Раз вечером, проснувшись, она увидала в лунном луче, падавшем через окно, какую-то движущуюся тень. То был старец в грубой монашеской рясе, с четками у пояса и сумой через плечо, по всем признакам — отшельник. Он приблизился к ее изголовью и сказал, не разжимая губ:

— Возрадуйся, о мать! Сын твой будет святым!

Она хотела закричать, но, скользнув по лунному лучу, он тихо поднялся в воздухе и исчез. Застольные песни раздавались все громче. Ей послышались голоса ангелов, и голова ее упала на подушку, над которой, в оправе из карбункулов, висела кость великомученика.

На следующее утро все опрошенные слуги сказали, что никакого отшельника не видели. Наяву это произошло или во сне, но, несомненно, то было откровение свыше; однако она никому ничего не сказала, боясь, что ее обвинят в гордости.

На рассвете гости разошлись, и отец Юлиана, проводив последнего и находясь за потайной дверью вне стен замка, увидал вдруг нищего, представшего перед ним в тумане. Это был цыган с заплетенной косичками бородой, с серебряными запястьями на обеих руках, с горящими зрачками. С вдохновенным видом он бормотал, запинаясь, несвязные слова:

– А-а... Сын твой... Много крови!.. Много славы!.. Во всем счастье! Сродни императору!

И, наклонившись, чтобы поднять милостыню, он изник в траве, сгинул.

Добрый хозяин замка глядел направо, налево и громко звал. Никого! Свистел ветер, расходились утренние туманы.

Он приписал это видение усталости, так как спал слишком мало. «Если я расскажу, надо мною будут смеяться», – подумал он. Тем не менее он был ослеплен блестящей судьбой своего сына, хотя обещания и не были очень ясны, и он сомневался даже, действительно ли все это слышал.

Супруги скрывали свою тайну друг от друга, но оба любили ребенка одинаковой любовью, благоговели перед ним, как пред богом отмеченным, и окружали его бесконечными заботами. Его постелька была набита самым тонким пухом; над нею теплилась неугасимая лампадка в виде голубя. Три кормилицы ходили за ним. Крепко запеленатый, розовый, синеглазый, в парчовой мантии и в чепчике, шитом жемчугом, он походил на младенца Иисуса. Когда у него прорезывались зубы, он ни разу не плакал.

Семи лет мать научила его петь, а отец, чтобы сделать его мужественным, посадил на рослую лошадь. Ребенок улыбался от радости и скоро уже знал все, что касается боевых коней.

Старый, очень ученый монах обучил его священному писанию, арабскому счислению, латинской грамоте и искусству делать малые раскрашенные рисунки на пергаменте. Они работали вдвоем, вдали от шумной суеты, на самом верху башни.

После урока они спускались в сад и, прогуливаясь, изучали цветы.

Иногда в глубине долины появлялся караван вьючных животных с погонщиком в восточной одежде. Хозяин замка, увидев, что это купец, посылал за ним слугу. Чужестранец доверчиво сворачивал с пути; введенный в приемную, выкладывал из своих ларей куски бархата и шелка, золотые и серебряные изделия, благовония, диковинные предметы неизвестного употребления; и под конец уходил с большой прибылью, не потерпев никакого насилия. Иной раз у дверей стучалась толпа паломников. Их мокрая одежда дымилась перед очагом. Насытившись, они рассказывали о своих странствиях: о блужданиях кораблей по вспененному морю, о переходах по раскаленным пескам, о свирепости язычников, о сирийских пещерах, яслях и Гробе Господнем; потом они дарили молодому господину раковины со своих плащей.

Часто хозяин замка чествовал своих старых товарищей по оружию. За кубком вина они вспоминали о войнах, о штурмах крепостей, об осадных машинах, о необычайных ранах. Юлиан, слушая их, иногда вскрикивал, и тогда отец его не сомневался, что он будет воителем. Но по вечерам, при выходе от вечерни между преклоненных нищих, он с таким достоинством и скромностью подавал милостыню из своего кошеля, что мать надеялась в свое время увидеть его архиепископом.

В капелле его место было рядом с родителями; и как бы ни продолжительна была служба, он оставался коленопреклоненным на своей молитвенной скамеечке, со сложенными руками, а шапочка его лежала рядом, на полу.

Однажды во время обедни, подняв голову, он заметил белую мышку, которая вышла из норки в стене. Она просеменила по ступеньке алтаря два-три раза направо и налево и вернулась в ту же скважину. В следующее воскресенье его смутила мысль, что он снова может ее увидеть. Она вернулась. И каждое воскресенье он ожидал ее с раздражением, ненавидел и решил избавиться от нее.

Закрыв дверь и накрошив хлебца на ступеньки, он встал против норки с палочкой в руке.

После долгого ожидания показалась розовая мордочка, а потом и вся мышка. Он ударил ее совсем легко и оцепенел

при виде маленького недвижного тельца. Капля крови запятнала камень. Он быстро стер ее рукавом, выбросил мышь и никому об этом не сказал.

Разные птички клевали зерна в саду. Он придумал класть горошины в трубку тростника. Услышав щебет на дереве, он подкрадывался, подымал тростинку, надувал щеки – и пичужки сыпались ему на плечи в таком изобилии, что он не мог удержаться от смеха, счастливый своей злой выдумкой.

Однажды утром, возвращаясь домой по куртине, он увидел на гребне стены большого голубя, который красовался на солнце. Юлиан остановился посмотреть на него. Стена в этом месте была пробита, и осколок камня подвернулся ему под руку. Он размахнулся – и камень полетел в птицу, которая покатилась чурбанчиком в крепостной ров.

Проворнее молодого пса он кинулся вниз, повсюду шаря и царапаясь о кустарники.

Голубь с перебитым крылом трепетал, запутавшись в ветвях бирючины. Это упорство жизни раздражало ребенка. Он начал его душить. От судорог птицы сердце его стало биться и переполнилось диким и бурным упоением. При последнем содрогании голубя он почувствовал, что силы оставляют его...

Вечером за ужином отец объявил, что в его годы пора учиться псовой охоте, и пошел за старой тетрадью записей, где в вопросах и ответах были изложены все тонкости ловитвы. Учитель раскрывал в ней ученику искусство дрессировать собак, вынашивать соколов, расставлять западни; как распознавать оленей по помету, лисиц – по следам, волков – по оскалу; какой лучший способ различать их тропы, высматривать логова и подымать их оттуда; какие ветры самые благоприятные; перечислял охотничьи крики и правила травли.

Когда Юлиан знал наизусть все эти вещи, отец подобрал для него хорошую стаю собак

Она состояла из двадцати четырех берберийских борзых, более резвых, чем серны, но совершенно неудержимых; семнадцати пар бретонских собак, красно-пегих, надежных, горластых, с сильной грудью; сорока гриффонов, мохнатых, как медведи, – для охоты за кабанами и опасных забежек. Татарские псы огненного цвета, величиной с осла, с широки-

ми спинами и прямыми ногами, натасканы были на зубров. Черная шерсть испанок отливала, как атлас. Заливчатое тявканье тальботов не уступало певучему лаю английских гончих. На отдельном дворе рычали, потрясая цепью и вращая зрачками, восемь аланских догов – страшных животных, которые впивались в тело всадников и не боялись даже львов.

Всех собак кормили пшеничным хлебом, лакали они из каменных корыт, и клички у них были звонкие.

Но соколиный двор, пожалуй, превосходил псарню. Добрый сеньор за дорогую цену достал кавказских беркутов, вавилонских сероголовых подорликов, германских ястребов и перелетных соколов, пойманных на береговых утесах холодных морей в дальних странах. Все они помещались под навесом, крытым соломой; а у нашеста, к которому они были привязаны соответственно росту, перед каждой из птиц было положено по кому дерна, на который их время от времени спускали размяться.

Всевозможные ловушки – и тенета, и силки, и железные капканы – были заготовлены в изобилии.

Легавых собак часто водили в поле, где они тотчас делали стойку. Доезжачие, подкравшись, с осторожностью расстилали огромную сеть над их неподвижными телами, и по приказу псы поднимали лай. Перепела взвивались. Тогда окрестные дамы, приглашенные вместе с мужьями, детьми и служанками, – все кидались на них и легко ловили руками.

В другой раз били в барабан, чтобы поднять зайцев; лисицы падали в ямы, а развернувшаяся пружина хватала волка за ногу.

Но Юлиан презирал эти удобства и хитрости. Он предпочитал охотиться вдали от всех, один на своем коне, с любимым соколом. Это был почти всегда большой скифский кречет, белый как снег. На его кожаном клобучке развевался султанчик, золотые бубенчики звенели на синеватых лапах. Он крепко держался на руке господина, в то время как конь шел галопом и равнины все развертывались. Юлиан, развязав путы, спускал его неожиданно. Смелая птица взвивалась в небо, как стрела, и можно было рассмотреть две неравных точки, – они кружились, соединялись и исчезали в лазури. Кречет вскоре возвращался, терзая добычу, и, трепеща крыльями, садился на перчатку к хозяину.

Так Юлиан травил цапель, коршунов, ястребов и воронов.

Он любил, трубя в рог, следовать за псами, которые мчались по склонам холмов, прыгали через ручьи, подымались в леса. А когда олень начинал стонать от укусов, он убирал его быстрым ударом, а после наслаждался бешенством псов, пожиравших куски туши на дымящейся шкуре.

В туманные дни он забирался в болото и выслеживал диких гусей, уток или выдр.

Три конюха с рассвета ожидали его у крыльца; а старый монах, высунувшись из слухового окна, напрасно делал ему призывные знаки, – Юлиан не оборачивался. Он уходил в солнечный зной, в дождь, в бурю, пил пригоршней воду из ключей, ел на скаку дикие яблоки, усталый – отдыхал под дубом. Возвращался он поздней ночью, весь в крови и в грязи, с колючками в волосах; от него пахло диким зверем. Он стал таким, как они. Когда мать его целовала, он принимал ее ласки холодно и, казалось, мечтал о другом – о важных вещах.

Он убивал медведей ножом, быков топором, кабанов рогатиной; и ему случалось одной палкой отбиваться от стаи волков, глодавших трупы под виселицей.

Однажды зимним утром он выехал еще до восхода солнца, хорошо вооруженный, с арбалетом за плечами и колчаном стрел у седельной луки.

Земля ровно звенела под копытами датского жеребца, за которым бежали две барсучьих таксы. Дул резкий ветер, и капли дождя леденели на его плаще. Часть горизонта просветлела, и в белесоватых сумерках он увидел кроликов, прыгавших около своих нор. Обе таксы тотчас на них кинулись и, хватая их, перегрызали спинные хребты.

Вскоре он углубился в лес. На конце ветви, отяжелев от холода и подвернув голову под крыло, спал тетерев. Юлиан мечом наотмашь отсек ему обе лапы и, не подобрав, продолжал путь.

Три часа спустя он очутился на вершине горы, такой высокой, что небо казалось почти черным. Прямо перед ним скала, похожая на длинную стену, нависала над бездной. На краю ее два диких козла глядели в пропасть. Не имея стрел

(конь его остался внизу), Юлиан задумал спуститься к животным. Босиком, скорчившись, добрался он до первого и вонзил ему нож под ребра. Второй в ужасе прыгнул в пустоту. Юлиан кинулся его ударить, но, поскользнувшись правой ногой, упал на труп убитого животного, раскинув руки, лицом над самой бездной.

Спустившись снова на равнину, он пошел вдоль ив, окаймлявших реку. Низко летевшие журавли время от времени проносились над его головой. Юлиан без промаха убивал их бичом.

Между тем в воздухе стало теплее, иней растаял, поплыли тяжелые туманы, показалось солнце. Вдали засверкало застывшее свинцовое озеро. Посреди озера сидел зверь, какого Юлиан не видал никогда, – бобр с черной мордочкой. Он убил его стрелой, несмотря на расстояние, и было досадно, что нельзя унести его шкуру.

Затем Юлиан вошел в аллею больших деревьев, вершины которых образовали при входе в лес подобие триумфальной арки. Дикая коза выскочила из чащи, на перекрестке попался олень, барсук вылез из норы, на зеленой траве павлин распустил свой хвост. А когда он их всех умертвил, появились другие козы, лани, другие барсуки и павлины, а там – дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси – бесконечное множество животных, и с каждым шагом все больше и больше. Трепещущие, они кружились вокруг него и глядели умоляющими и кроткими взорами. Но Юлиан не уставал убивать: то натягивал арбалет, то обнажал меч, то ударял ножом, ни о чем не думая, ничего не помня. Он охотился в какой-то неведомой стране, с незапамятных времен, и все совершалось бессознательно, с той легкостью, какую испытываешь во сне. Его остановило необычайное зрелище: стадо оленей заполняло долину, имевшую форму цирка; скученные, один подле другого, они отогревались собственным дыханием, которое дымилось в тумане.

Мечта о необычайной бойне на несколько мгновений захватила Юлиану дух острым наслаждением. Он слез с коня, засучил рукава и начал стрелять.

При свисте первой стрелы все олени разом повернули головы. В их сплошной массе образовались впадины. Раздались стоны, и стадо заколыхалось.

Края долины были слишком круты. Олени метались в естественной ограде, ища выхода. Юлиан целился и стрелял; стрелы падали, как дождь во время грозы. Олени, обезумев, дрались, взвивались на дыбы, карабкались друг на друга, их тела с перепутанными рогами воздвигались широким холмом, который рушился и передвигался. Колыханье их боков постепенно замирало, и наконец все они околели, лежа на песке, с пеной у ноздрей и с вывалившимися внутренностями.

Всё стихло.

Наступала ночь, и за лесом, между ветвями, небо было красное, как кровавая завеса.

Юлиан прислонился к дереву. Расширенными глазами он созерцал небывалую бойню, не понимая, как он мог это сделать.

С другой стороны долины, на опушке леса он увидал оленя, лань и ее детеныша.

Олень был черный, чудовищного роста, с шестнадцатью отростками на рогах и белой бородой. Лань, палевая, как осенний лист, щипала траву, а пегий детеныш на ходу сосал ее вымя.

Арбалет зажужжал еще раз. Олененок был убит тут же. Тогда мать, глядя в небо, заголосила воем глубоким, раздирающим, человеческим. Юлиан в раздражении выстрелом в грудь положил ее на землю. Большой олень видел это и сделал скачок. Юлиан послал ему свою последнюю стрелу. Она вонзилась ему в лоб и там осталась.

Старый олень будто и не почувствовал: шагая через трупы, он шел на него, готовый ринуться и поднять на рога. Юлиан попятился в невыразимом ужасе. Чудесный зверь остановился и, сверкая глазами, торжественный, как патриарх, как судия, между тем как вдали звенел колокол, повторил три раза:

– Будь проклят! Проклят! Проклят! Настанет день, и ты убьешь отца и мать, свирепая душа!

Он преклонил колени, тихо закрыл глаза и испустил дух. Юлиан был ошеломлен, затем подавлен внезапной усталостью. Отвращение и огромная тоска переполнили его. Закрыв лицо руками, он долго плакал.

Коня он потерял, собаки его оставили. Окружавшее его одиночество, казалось, грозило бесчисленными бедами.

Тогда, охваченный страхом, он побежал через поля по первой попавшейся тропинке и вскоре очутился у ворот замка. Ночью он не спал. При мерцании висячего светильника он все время видел большого черного оленя. Пророчество не давало ему покоя, и он боролся с ним. «Нет! Нет! Нет! Я не могу их убить!» А потом подумал: «А если бы я вдруг захотел...» И он боялся, что дьявол внушит ему нечестивые помыслы.

Три месяца мать в тревоге молилась у изголовья его кровати, а отец, вздыхая, бродил по коридорам. Он призвал самых знаменитых лекарей, которые прописали много снадобий. Недуг Юлиана, утверждали они, причинился либо от зловредного ветра, либо от любовного томления. Но юноша на все вопросы отрицательно качал головой.

Силы возвращались к нему; его водили гулять во двор; старый монах и добрый сеньор поддерживали его под руки. Вполне оправившись, он упорно отказывался от охоты.

Отец, желая развлечь Юлиана, подарил ему большой сарацинский меч.

Он висел в арматуре на верху колонны. Понадобилась лестница, чтобы достать его. Меч был так тяжел, что выскользнул у него из рук и, падая, так близко задел доброго сеньора, что разрезал его плащ. Юлиан подумал, что убил отца, и лишился чувств.

С тех пор он стал бояться оружия. При виде обнаженной стали бледнел. Эта слабость приводила семью в отчаяние.

Наконец старый монах, во имя господа, чести и предков, приказал ему возвратиться к занятиям, подобающим дворянину.

Конюхи целыми днями занимались метанием копья. Юлиан быстро достиг совершенства в этом искусстве. Он попадал в горлышки бутылей, сбивал зубцы флюгеров, на расстоянии ста шагов вонзал копье в дверные гвозди.

Однажды летним вечером, когда предметы в сумерках становятся смутными, стоя под виноградным наметом, он заметил вдали два белых крыла, трепетавших на высоте виноградных шпалер. Не сомневаясь, что это аист, он метнул копье.

Раздался пронзительный крик.

Это была его мать; лопасти ее чепца были пригвождены к стене.

Юлиан бежал из замка и не вернулся.

II

Он вступил в шайку искателей приключений, проходивших мимо.

Он узнал голод, жажду, лихорадку и вшей, приучил себя к грохоту стычек и к виду умирающих. Кожа его обветрилась, тело огрубело от доспехов. Будучи очень сильным, мужественным, воздержанным и дальновидным, он без труда достиг командования отрядом.

Вступая в битву, Юлиан увлекал за собою своих воинов широким взмахом меча. По узловатой веревке взбирался он ночью на стены крепостей; ураган раскачивал его, искры греческого огня приставали к латам, кипящая смола и расплавленный свинец струились из бойниц. Часто удар камня раздроблял его щит. Мосты, обремененные людьми, проваливались. Действуя одной палицей, он одолел однажды четырнадцать всадников. На поединках он побеждал всех охотников. Более двадцати раз его считали убитым.

Божьей милостью Юлиан всегда выходил невредимым, потому что он защищал духовных лиц, сирот, вдов и особенно стариков. Когда ему случалось видеть впереди себя старика, он его окликал, чтобы взглянуть ему в лицо, точно боялся убить по ошибке.

Беглые рабы, мятежные крестьяне, лишенные состояния незаконнорожденные, всякие смельчаки стекались под его знамена, и у него составилось целое войско.

Оно росло, он стал знаменит, союза с ним искали.

Юлиан оказывал помощь поочередно – то французскому дофину, то английскому королю, то иерусалимским храмовникам, то парфянскому сюрене, то абиссинскому негусу, то калькуттскому императору. Он сражался со скандинавами, покрытыми рыбьей чешуей, с неграми, ехавшими с круглыми щитами из бегемотовой кожи верхом на рыжих ослах, с золотистыми индусами, потрясавшими над своими диадемами широкими саблями, отполированными, как зеркало. Он побеждал троглодитов и антропофагов. Он пересекал области столь знойные, что волосы от солнечного жара сами вспыхивали, как факелы, другие – столь холодные, что руки отделялись от туловища и падали на землю, и, наконец, страну таких туманов, что люди шли, окруженные призраками.

Республики в затруднительных случаях обращались к Юлиану за советом. При переговорах с послами он добивался неожиданно выгодных условий. Если какой-нибудь царь вел себя дурно, то он являлся внезапно и усовещивал его. Он освобождал народы и отворял темницы королевам, заключенным в башнях. Не кто иной, как он убил медиоланского змия и дракона из Обербирбаха.

Император Окситании, победив испанских мусульман, взял себе в наложницы сестру кордовского калифа; с нею он прижил дочь, которую воспитал по-христиански. Калиф, делая вид, что он тоже хочет принять христианскую веру, явился к нему якобы в гости в сопровождении огромной свиты, перебил весь гарнизон, а его самого бросил в подземную темницу и обращался с ним жестоко, чтобы силой вырвать у него сокровища.

Юлиан поспешил ему на помощь, разбил войско неверных, обложил город, убил калифа, отрубил ему голову и перекинул ее, как мяч, на ту сторону укреплений. Потом он вывел императора из темницы и вновь возвел его на трон в присутствии всего двора.

Император за такую услугу предложил ему много корзин с деньгами. Юлиан отказался. Думая, что он хочет еще больше, император предложил ему три четверти своих сокровищ. Новый отказ. Затем – разделить между ними царство. Юлиан поблагодарил, не принимая. Тогда император заплакал от досады, не зная, каким образом выразить свою благодарность, но вдруг ударил себя по лбу и шепнул несколько слов на ухо приближенному. Тут ковровая завеса поднялась, и появилась девушка.

Большие черные глаза ее светились кротко, как две лампады; чарующая улыбка приоткрывала уста; локоны волос цеплялись за драгоценные каменья открытого платья. Под прозрачной туникой угадывалась юность ее тела. Вся она была нежной, пухленькой, стройной.

Юлиан был ослеплен любовью, тем более что до сих пор он был целомудрен.

И вот он женился на дочери императора и взял за нею замок, доставшийся от матери. Когда свадьба была окончена, после взаимного обмена бесконечными любезностями они расстались с отцом.

Жили они во дворце белого мрамора на мавританский лад, построенном на мысу, среди апельсиновой рощи. Цветочные террасы спускались до самого берега залива, где розовые раковины хрустели под ногами. За замком расстилался веером лес. Небо было неизменно синим, а деревья склонялись попеременно то под морским бризом, то под ветром с гор, окаймлявших горизонт.

Комнаты, полные сумрака, озарялись окладкою светлого мрамора стен. Высокие колонки, тонкие как тростники, поддерживали своды куполов, украшенных рельефами, наподобие сталактитовых гротов.

В залах били фонтаны, мозаика выстилала полы, сквозили резные перегородки, – тысячи архитектурных изяществ, и всюду такая тишина, что ухо различало шуршание шарфа и эхо вздоха.

Юлиан больше не воевал. Он отдыхал, окруженный мирным народом. Каждый день перед ним проходили толпы, преклоняя колени и по-восточному целуя руку.

Одетый в пурпур, пребывал он, облокотившись, в амбразуре окна и вспоминал свои прежние охоты. Ему бы хотелось преследовать в пустыне газелей и страусов, скрываться в бамбуковой роще, подстерегая леопардов, пересекать леса, кишащие носорогами, восходить на вершины неприступных гор, чтобы оттуда вернее метить в орлов, или на морских льдинах сражаться с белыми медведями. Иногда во сне он видел себя праотцем Адамом в раю, посреди всех зверей. Простирая руку, он их убивал. Или они проходили перед ним попарно, согласно росту, начиная со слона и льва, кончая горностаями и утками, как в тот день, когда они вступали в Ноев ковчег. Из глубины пещеры он метал в них неотвратимые копья. Но появлялись другие звери – и так без конца. Он просыпался, дико вращая глазами. Друзья Юлиана, принцы, приглашали его на охоту. Он всегда отказывался, надеясь подобной епитимьей предотвратить несчастье, потому что ему казалось, что судьба его родителей зависит от умерщвления животных. Но он страдал, что не может видеть отца и мать, а его охотничья страсть становилась нестерпимой.

Чтобы развлечь Юлиана, жена его приглашала жонглеров и танцовщиц.

Она прогуливалась с ним в открытых носилках. В иные дни, возлежа у края ладьи, они смотрели на рыб, блуждающих в глубинах вод, ясных, как небо. Часто она бросала ему в лицо цветы; прижавшись к его ногам, играла на трехструнной мандолине; затем, сложив руки на его плече, робко спрашивала:

– Что же с вами, мой повелитель?

Он не отвечал или разражался рыданиями. Наконец однажды он признался в своих ужасных мыслях.

Она стала оспаривать их очень рассудительно: отец и мать его, вероятно, уже умерли; но если бы он их и увидел, то какими судьбами, чего ради совершит он столь гнусный поступок? Значит, его страх не имеет оснований, и он снова должен приняться за охоту.

Юлиан с улыбкой слушал ее и все-таки не решался удовлетворить свою страсть.

Однажды августовским вечером они были в опочивальне. Жена его только что легла, а он стал на колени для молитвы, когда услыхал брех лисицы и легкие шаги под окном; ему померещились в сумраке тени животных. Соблазн был слишком велик. Он снял свой колчан. Жена его удивилась.

– Я тебе повинуюсь!–сказал он. – К восходу солнца я вернусь.

Тем не менее она опасалась, что с ним приключится что-то недоброе. Он успокоил ее и ушел, дивясь переменчивости ее нрава.

Немного спустя паж доложил, что двое незнакомцев, за отсутствием господина, желают тотчас же видеть госпожу.

Затем в комнату вошли старик и старуха, сгорбленные, запыленные, в холщовой одежде, опираясь на палки.

Приободрившись, они заявили, что принесли Юлиану вести о его родителях.

Она приподнялась, чтобы их выслушать.

Но, обменявшись взглядами, они спросили, любит ли он их еще и говорит ли о них иногда.

– О, да! – ответила она.

Тогда они воскликнули:

– Ну, так это мы! – и сели, потому что были слабы и разбиты усталостью.

Но ничто не доказывало молодой женщине, что ее муж был действительно их сын.

Они ей представили доказательства, описав особые знаки, которые он имел на теле.

Она соскочила с постели, позвала пажа, и родителям Юлиана подали ужин.

Хотя они были очень голодны, но ничего не могли есть, а она наблюдала в стороне, как дрожали их костлявые руки, когда они брали кубки.

Они задавали тысячи вопросов о Юлиане. Жена его отвечала на каждый, умалчивая о тех мрачных мыслях, которые касались их самих.

Видя, что он не возвращается, они покинули свой замок. Они странствовали уже много лет по смутным указаниям, не теряя надежды. Понадобилось столько денег на речные переправы, монастырские гостиницы, королевские пошлины и чтобы удовлетворить требования грабителей, что кошель их был пуст, и они жили теперь подаянием. Что за беда, раз они скоро обнимут своего сына! Они радовались его счастью: что у него такая милая жена; не могли на нее наглядеться и нацеловаться с нею.

Богатство покоев очень их изумило, и старик, осмотрев стены, спросил, почему здесь находится герб императора Окситании.

Она отвечала:

– Это мой отец.

Тогда он вздрогнул, вспомнив предсказание цыгана, а старуха подумала о словах отшельника. Несомненно, что слава ее сына только заря небесной лучезарности. И оба они сидели ошеломленные, в сиянии канделябра, освещавшего стол.

Они, должно быть, были очень красивы в молодости. У матери еще сохранились все ее волосы; их тонкие завитки, белые, как снег, спускались на щеки. А отец своим высоким ростом и длинной бородой напоминал церковную статую.

Жена Юлиана предложила им не дожидаться его. Она сама уложила их в свою постель, закрыла окно, и они заснули.

Наступал день, и за цветной оконницей уже начинали щебетать птички.

Юлиан пересек парк. Сильной поступью шел он через лес, наслаждаясь мягкостью травы и сладостью воздуха.

Тени деревьев тянулись по мхам. Местами луна бросала на лужайки бледные пятна, и он не решался ступить, принимая их за лужи воды или за поверхность стоячего болота, сливавшуюся с цветом травы. Всюду была тишина, и он не находил ни одного из зверей, которые недавно бродили вокруг его замка.

Лес сгущался, тьма стала глубже. Проносились порывы теплого ветра, полные расслабляющих ароматов. Он увяз в груде сухих листьев и прислонился к дубу, чтобы перевести дух.

Вдруг из-за его спины прыгнула темная масса – кабан. Юлиан не успел схватить свой лук, и это его огорчило, как несчастье.

Выйдя из леса, он заметил волка, пробиравшегося вдоль изгороди. Юлиан пустил в него стрелу. Волк остановился, повернул голову, взглянул на него и продолжал свой бег. Он трусил, соблюдая то же расстояние, временами останавливался и, как только Юлиан прицеливался, снова начинал бежать.

Юлиан прошел таким образом бесконечную равнину, потом песчаные холмики и наконец очутился на плоскогорье, которое господствовало над большими просторами земли. Между полуразрушенными склепами были разбросаны могильные плиты. Он спотыкался о кости покойников. Кое-где сиротливо наклонялись сгнившие кресты. Но в неясной тени могил шевелились какие-то призраки. Это были гиены, перепуганные и дрожащие. Стуча по плитам когтями, они подошли его обнюхать и, зевая, обнажали десны. Юлиан выхватил саблю. Они разом бросились врассыпную, и долго длился их торопливый и хромой галоп, пока они не исчезли вдали в клубах пыли.

Час спустя Юлиан встретил в овраге разъяренного быка; наклонив рога, он рыл копытом песок. Юлиан направил копье в отвислые складки подгрудка. Копье разлетелось вдребезги, как будто животное было из бронзы. Юлиан закрыл глаза, ожидая смерти. Когда он их открыл – бык исчез.

Тогда его душа сжалась от стыда. Высшая воля разрушала его силу. Он снова пошел в лес, чтобы вернуться домой.

Лес был перепутан лианами; он их рубил саблей, когда куница вдруг скользнула у него между ног, пантера перепрыгнула через его плечо, змея спиралями поползла вверх по ясеню.

В листве сидела чудовищная галка и глядела на Юлиана. Здесь и там между ветвями появлялось множество искр, точно небосвод пролился на лес всеми своими звездами. Это были глаза животных – диких кошек, белок, сов, попугаев, обезьян.

Юлиан пустил против них свои стрелы; оперенные стрелы садились на листву словно белые бабочки. Он стал швырять камнями; камни, никого не задевая, падали на землю. Тогда он начал проклинать себя, рвался в бой, рычал неистовые слова, задыхался от бешенства.

И все животные, которых он когда-либо преследовал, теперь появились и образовали вокруг него тесное кольцо. Одни сидели на задних лапах, другие дыбились во весь рост. Он стоял посредине, оледенев от ужаса, не в силах шевельнуться. Последним усилием воли он сделал шаг; те, что находились на деревьях, развернули крылья, сидевшие на земле передвинулись, все его сопровождали.

Гиены шли впереди него, кабан и волк – сзади; справа бык мотал головой, а слева змея извивалась в траве, между тем как пантера, выгибая спину, подвигалась бархатными шагами и огромными прыжками. Он шел как можно медленнее, чтобы не раздражать зверей, и видел, как из чащи кустарника выходят дикобразы, лисицы, гадюки, шакалы и медведи.

Юлиан бросился бежать, и они побежали. Змея свистела, зловонные звери источали слюну. Кабан касался клыками его каблуков, волк ерзал мохнатою мордой по его ладони. Обезьяны гримасничали и щипались, куница свертывалась в клубок под его ногами. Медведь сбил с него шляпу тыльной стороной лапы, пантера с презреньем уронила стрелу, которую несла в пасти.

В мрачных ухватках зверей сквозила насмешка. Наблюдая его уголком зрачков, они, казалось, обдумывали план мести. Оглушенный жужжанием насекомых и ударами птичьих хвостов, задыхаясь от всех этих запахов, он шел, как слепой, с закрытыми глазами и вытянутыми руками, не имея даже сил молить о пощаде.

Крик петуха задрожал в воздухе, другие откликнулись. Наступил день. По ту сторону апельсинных деревьев он узнал конек на кровле своего дворца.

На краю поля, в трех шагах от себя Юлиан увидел красных куропаток, порхавших по жнивью. Он расстегнул плащ и бросил на них, как сетку. Когда он его приподнял, то увидел только одну куропатку, давно уже мертвую и сгнившую.

Это наваждение привело его в раздражение еще большее, чем прежние. Жажда бойни вновь охватила его. За отсутствием зверей он готов был убивать людей.

Он пробежал три террасы, кулаком выбил дверь, но внизу лестницы мысль о любимой жене смягчила его сердце. Она, конечно, спит, он застанет ее врасплох.

Сняв сандалии, он тихо повернул затвор двери и вошел.

Свинцовая оправа оконниц темнила бледную зарю. Юлиан запутался в платье, брошенном на полу; дальше он наткнулся на стол, еще заставленный посудой. «Должно быть, ужинала», – сказал он про себя и направился к кровати, стоявшей в темноте в самой глубине комнаты. Подойдя к изголовью, чтобы поцеловать жену, он нагнулся к подушке, на которой, одна рядом с другой, покоились две головы. И он почувствовал на губах прикосновение бороды.

Юлиан отступил, думая, что сходит с ума; но он снова вернулся к кровати и, шаря пальцами, наткнулся на очень длинные волосы. Чтобы удостовериться в своей ошибке, он медленно провел рукой по подушке. Это действительно была борода мужчины! Мужчины, спавшего с его женой!

Разразившись безмерным гневом, он обрушился на них с кинжалом. С воем дикого зверя, с пеной у рта он топал ногами. Затем остановился.

Мертвые, пораженные в самое сердце, даже не шевельнулись. Юлиан внимательно прислушивался к их двойному, почти совпадающему хрипу, и по мере того как он ослабевал, другой голос издалека продолжал его. Сначала еле внятный, этот жалобный и долгий стон приблизился, вырос и стал жестоким. С ужасом узнал Юлиан крик большого черного оленя.

Он обернулся, и ему показалось, что в обрамлении двери стоит призрак его жены со светильником в руке.

Гомон бойни ее разбудил. Одним широким взглядом она поняла все и, убегая в страхе, уронила светильник. Юлиан его поднял.

Его отец и мать лежали перед ним на спине, с зияющими ранами на груди. Их лица были величественны и кротки и, казалось, хранили вечную тайну. Брызги и пятна крови ярко выделялись на их белой коже, на простынях кровати, на полу и на распятьи из слоновой кости, висевшем в алькове. Багряный отблеск оконницы, через которую било солнце, освещал эти красные пятна и еще много других разбрасывал по всей комнате.

Юлиан подошел к убитым, говоря себе, желая убедить себя, что это невозможно, что он ошибся, что бывает же иногда сходство необъяснимое. Наконец он слегка наклонился, чтобы рассмотреть старика поближе; тогда он заметил между не вполне прикрытыми веками потухший зрачок, который обжег его огнем. Затем он направился к другой стороне ложа, где лежало другое тело, седые волосы которого прикрывали часть лица. Юлиан, пальцами отстранив начесы, приподнял голову. Он рассматривал ее, придерживая вытянутой онемевшей рукой, а другою держа светильник. Капли крови, сочившейся с тюфяка, одна за другой падали на пол.

Вечером того же дня он явился к жене и не своим голосом приказал прежде всего ему не отвечать, не приближаться к нему и даже не смотреть на него; а потом ей надлежало, под страхом вечного осуждения, исполнить все его приказания, которые ненарушимы.

Похороны следовало устроить согласно письменному расписанию, оставленному им на аналое в комнате убиенных. Ей он оставлял свой дворец, своих вассалов и все свое достояние, не унося с собою даже той одежды, что была на нем, и сандалий, которые надо было взять на верху лестницы.

Она повиновалась воле Божьей, ставши причиной его преступления, и должна молиться о его душе, так как с этого дня его больше не существует.

Усопших похоронили с пышностью в монастырской церкви, в трех днях пути от дворца. Монах с опущенным капюшоном следовал за процессией вдали ото всех, и никто не дерзал заговорить с ним.

Во время литургии он лежал ниц, крестом, не подымая лба от праха, посредине главного входа.

После погребения видели, как он направился по дороге, что вела в горы. Он много раз оборачивался и наконец исчез.

III

Юлиан пошел по миру, питаясь подаянием. Он протягивал руку всадникам на дорогах, приближался, преклоняя колена, к жнецам или стоял недвижно у изгороди дворов, и лицо его было так печально, что никто ему не отказывал в подаянии.

Из самоуничижения он рассказывал свою повесть, и все разбегались, осеняя себя крестным знамением. Как только его узнавали в деревнях, где он побывал однажды, – запирались двери, ему кричали угрозы, в него швыряли камнями. Самые сострадательные ставили ему миску на краю окна и опускали навес, чтобы его не видеть.

Отвергнутый повсюду, он стал избегать людей, питался кореньями, падалицей, растениями и ракушками, которые собирал по отмелям.

Иногда с высокого косогора он видел множество скученных крыш с каменными стрелками, мосты, башни, черные перекрестки улиц, откуда доходил до него непрерывный гам.

Потребность принять участие в жизни других заставляла его спускаться в город. Но зверское выражение лиц, шум станков, безразличие речей леденили его сердце.

В праздничные дни, когда соборный колокол с рассвета приводил в ликование весь народ, он смотрел на жителей, выходивших из домов, на пляски посреди площадей, на фонтаны браги на перекрестках, на дамасские ткани перед княжескими дворцами; а когда наступал вечер, смотрел сквозь окна нижних этажей на длинные семейные столы, где прадеды держали на коленях маленьких детей. Рыдания душили его, и он возвращался в поля.

Он созерцал с любовным порывом жеребят на лугах, птиц в их гнездах, насекомых на цветах. Все при его приближении убегали подальше, либо прятались с испугом, либо торопливо улетали.

Он искал уединения. Но ветер доносил до его слуха как бы предсмертные хрипы; капли росы, падая на землю, напоминали ему другие капли, более тяжелые. Солнце каждый вечер окрашивало облака кровью, и каждую ночь в сновидении повторялось его отцеубийство.

Он сделал себе власяницу, усеянную железными шипами. На коленях поднимался он на холмы, где стояли часовни. Но беспощадная мысль омрачала великолепие всех дарохранительниц и терзала его, несмотря на покаянное изнурение плоти.

Юлиан не роптал на Бога за то, что он осудил его на такой поступок, однако приходил в отчаяние при мысли, что мог его совершить.

Его собственная личность внушала ему такое отвращение, что, в надежде на избавление, он подвергал себя риску всех опасностей. Из охваченных огнем домов он вытаскивал параличных, со дна пропастей доставал упавших детей. Но бездна извергала его, и пламя не трогало.

Время не успокаивало его страданий. Они стали непереносимы. Он решил умереть.

Однажды, стоя на краю колодца, он заглянул в него, чтобы узнать глубину воды, и увидел перед собою худого старика с седой бородой, столь жалкого на вид, что он не мог удержаться от слез. Тот тоже заплакал. Не узнавая своего отображения, Юлиан смутно припомнил похожее лицо. И вдруг воскликнул: «Да ведь это отец!» После того он не думал уже о самоубийстве.

Таким образом, неся на себе все бремя воспоминаний, он прошел через много стран и наконец подошел к реке, переправа через которую была очень опасна, благодаря силе течения и вязкому илу по берегам, на большое расстояние. Давно уже никто не отваживался переправляться через эту реку.

Старая лодка, погруженная кормой, поднимала свой нос над тростниками. Юлиан, осмотрев ее, нашел пару весел, и ему явилась в голову мысль посвятить свою жизнь на служение людям.

Он начал с того, что устроил по вязким берегам насыпи, по которым можно было бы пройти до самой воды. Он обломал себе все ногти, выворачивая огромные камни, которые он перетаскивал с места на место, прижимая к животу; он

скользил, увязал в иле и много раз был на волосок от гибели. Починив лодку корабельными обломками, Юлиан построил себе хижину из глины и древесных стволов.

Как только стало известно, что переправа открыта, явились и путники. Они призывали Юлиана с другого берега, махая флажками; он тотчас вскакивал в лодку. Она была очень тяжела; ее перегружали поклажей и разными тяжестями, не считая вьючных животных, которые, брыкаясь от страха, увеличивали тесноту. За труд он не брал ничего; но некоторые давали ему остатки съестных припасов, вынимая их из своих мешков, или ненужную, изношенную одежду. Грубые люди богохульствовали. Юлиан кротко их уговаривал, они отвечали ругательствами; он довольствовался тем, что благословлял их.

Маленький столик, скамья, ложе из сухих листьев, три глиняных чашки – это была вся его обстановка. Два отверстия в стене заменяли окна. С одной стороны простиралась бесплодная равнина, усеянная здесь и там белесоватыми лужицами, с другой – большая река катила свои мутно-зеленые воды.

Весною сырая земля издавала запах гнили. Потом беспокойный ветер подымал пыль и закручивал вихри. Она проникала всюду, загрязняла воду, скрипела на зубах. Позже поднимались облака москитов, их жужжание и укусы не прекращались ни днем, ни ночью. А затем наступали жестокие холода, придававшие всем предметам жесткость камня и возбуждавшие в людях неистовую потребность съесть мяса.

Целыми месяцами Юлиан не видал никого. Часто он закрывал глаза, пытаясь памятью вернуться к дням своей молодости. Он видел двор замка, с борзыми на крыльце, со слугами в оружейном зале, а в виноградной беседке – белокурого отрока между стариком в меховой одежде и дамой в высоком головном уборе. Вдруг все исчезало – и оставались два трупа. Тогда он кидался ничком на свое ложе и повторял, рыдая: «Ах, бедный отец! Бедная, бедная мать!» – и впадал в забытье, преследуемый загробными видениями.

Однажды ночью, во сне, ему почудилось, что его кто-то зовет. Он насторожился и различил только рев волн. Но тот же голос повторил:

– Юлиан!

Он доносился с того берега, и это показалось Юлиану необычным, ввиду ширины реки. И в третий раз кто-то позвал:

– Юлиан!

Голос был громкий и звенел, как церковный колокол.

Засветив фонарь, он вышел из хижины. Бешеный ураган переполнял ночь. Мрак был глубок, и то здесь, то там метавшиеся волны белизной своей разрезали мглу.

После минутного колебания Юлиан отвязал канат. Река тотчас же стихла, лодка скользнула по ней и причалила к противоположному берегу, где ожидал человек.

Он был закутан в рваную холстину, лицо его походило на гипсовую маску, а глаза были краснее угольев. Приблизив к нему фонарь, Юлиан заметил, что его покрывала отвратительная проказа. Между тем в его осанке было что-то, напоминавшее величие короля.

Когда он вошел в лодку, она необычайно погрузилась в воду под тяжестью его; сильный толчок привел ее в равновесие: Юлиан принялся грести.

При каждом взмахе весел прибой волн поднимал нос лодки. Вода, чернее чернил, с бешенством неслась по оба борта. Она взрывала пропасти, выгибалась горами, и ладья прыгала вверх и ныряла в глубину, где кружилась, носимая ветром.

Юлиан наклонялся вперед, развертывал руки и, упираясь в дно ногами, откидывался назад, выгибая поясницу, чтобы придать себе больше силы. Град хлестал его пясти, дождь стекал по спине, ярость ветра его душила. Он остановился. Тогда лодку понесло вниз по течению. Но, понимая, что дело шло о вещах очень важных, о приказе, которого он не смел ослушаться, Юлиан снова взялся за весла, и щелканье уключин опять перебило рев бури.

Маленький фонарик горел перед ним. Птицы, пролетая, то и дело закрывали его, но Юлиан все время видел зрачки прокаженного, который стоял на корме неподвижно, как столб.

И это длилось долго, очень долго!

Когда они вошли в хижину, Юлиан запер дверь и увидал, что прокаженный сидит на лавке. Род савана прикрывал

его, спускаясь по пояс; и плечи, и грудь, и худые руки путника исчезали под чешуей гнойных прыщей. Глубокие морщины бороздили его лоб. Подобно скелету, у него была дыра вместо носа; из синеватых губ выходило дыхание, густое и удушливое, как туман.

– Я голоден! – сказал он.

Юлиан подал ему, что имел: кусок старого сала и корку черного хлеба.

Когда он все это поглотил, на столе, на миске, на черенке ножа проступили те же пятна, которыми было покрыто его тело.

Затем он сказал:

– Я жажду!

Юлиан достал кувшин, и, когда брал его, оттуда поднялся аромат, от которого раскрылись его сердце и ноздри. Это было вино. Какая находка! Но прокаженный протянул руку и залпом выпил весь кувшин.

После этого он сказал:

– Мне холодно!

Юлиан зажег свечой связку папоротников посреди хижины.

Прокаженный подошел греться; присев на корточки, он дрожал всем телом и, видимо, ослабевал; его глаза уже больше не горели, язвы кровоточили, и почти угасшим голосом он прошептал:

– На твою постель...

Юлиан с нежностью помог ему добраться до постели и накрыл парусом своей лодки.

Прокаженный стонал. Приподнятые углы рта открывали его зубы, хрипы потрясали грудь, а живот при каждом вздохе подводило до позвонков.

Он закрыл веки.

– Точно лед в моих костях! Ляг со мною!

Юлиан приподнял парус и лег на сухие листья рядом с ним, бок о бок.

Прокаженный повернул голову.

– Разденься, чтобы я почувствовал теплоту твоего тела!

Юлиан снял одежду и нагой, как в день рождения, снова лег в постель; бедрами он чувствовал прикосновение прокаженного, холодного, как змея, и шершавого, как напильник.

Юлиан пытался его ободрить, тот же отвечал, задыхаясь:

– Ах, я умираю!.. Приблизься еще, отогрей меня! Нет, не руками! Нет! Всем телом!

Юлиан лег на него совсем, уста к устам, грудью на грудь.

Тогда прокаженный сжал Юлиана в своих объятиях; глаза его вдруг засветились светом звезд; волосы протянулись, как солнечные лучи; дыхание его ноздрей стало сладостнее благоухания роз. Клубы ладана поднялись из очага, волны его запели.

Между тем неизъяснимое упоение, сверхчеловеческая радость затопила душу млевшего Юлиана; а тот, чьи руки продолжали его обнимать, все вырастал и вырастал, касаясь стен хижины головой и ногами. Крыша взвилась, звездный свод развернулся, и Юлиан вознесся в лазурное пространство, лицом к лицу с Господом нашим Иисусом, уносившим его на небо.

Вот и легенда о святом Юлиане Страннноприимце, – почти так же она изображена на расписной оконнице в одной из церквей моей родины.

ПРОСТОЕ СЕРДЦЕ

I

В течение полувека все хозяйки Пон-л-Эвека завидовали г-же Обен из-за ее служанки Фелисите.

За сто франков в год она готовила и занималась хозяйством, шила, стирала, гладила, умела взнуздать лошадь, нашпиговать дичь, сбить масло и оставалась верна своей хозяйке, несмотря на то, что та не была особой приятной.

Хозяйка когда-то была замужем за очень красивым юношей без состояния, умершим в начале 1809 года, оставивши ей двух малолетних детей и большое количество долгов. Тогда она продала свои дома, кроме фермы в Туках и фермы Жефоссы, доходы с которой достигали пяти тысяч франков самое большое, и покинула свой дом в Сен-Мелене, чтобы поселиться в другом, менее дорогом, находившемся за рынками и принадлежавшем ранее ее предкам.

Этот домик, крытый черепицей, находился между переулком и проходом, выходившим к реке. Его пол был расположен на разных уровнях, что заставляло каждого оступаться. Узкие сени отделяли кухню от салона, в котором м-м Обен сидела с утра до вечера около окна в соломенном кресле. Против панели, выкрашенной в белый цвет, стояло восемь стульев красного дерева. Старое пианино поддерживало, под барометром, пирамидальную гору кардонок и коробок. Две кушетки, обтянутые гобеленами, стояли по обе стороны желтого мраморного камина в стиле Лудовика Пятнадцатого. Часы посредине камина представляли собою храм Весты, и вся квартира пахла немного сыростью, потому что полы были ниже уровня сада.

В первом этаже была прежде всего комната «мадам», очень большая, оклеенная обоями с бледными цветами, на которых висел портрет «мосье» в костюме щеголя того века. Она сообщалась с более маленькой комнатой, в которой стояли две детские кроватки без матрацев. После шел салон, всегда запертый, наполненный мебелью, покрытой сверху одной

большой простыней. Затем коридор вел в классную комнату; книги и связки бумаг заполняли полки библиотеки, которая с трех сторон окружала широкий письменный стол из черного дерева. Два панно, обернутых спинами, исчезали под рисунками пером, под пейзажами, написанными гвашью, и гравюрами Одрана, воспоминаниями лучших времен и померкшей роскоши. Круглое окно во втором этаже освещало комнатку Фелисите и открывало вид на окрестные поля.

Фелисите поднималась с зарею, чтобы не пропустить заутрени, и работала до самого вечера не переставая; когда обед был кончен, посуда в порядке и дверь крепко заперта, она зарывала головешку в пепел и засыпала перед очагом с четками в руке. Никто, торгуясь на рынке, не выказывал такого упорства, как она. Что касается до чистоты, то блеск ее кастрюль приводил в отчаяние других служанок. Экономная, она ела медленно и пальцем собирала крошки на столе от своего хлеба – хлеба весом в двенадцать ливров, который выпекался по особому заказу специально для нее и съедался в течение двадцати дней.

Во всякое время года она носила ситцевый платок, прикрепленный к спине булавкой, чепец, который скрывал ее волосы, серые чулки, красную юбку, длинную кофту и поверх нее передник с нагрудником, как у больничных сиделок.

Лицо ее было худо, а голос пронзителен. В двадцать пять лет ей давали сорок, а с пятидесяти у нее уже не было возраста. Всегда молчаливая, прямая, со считаными жестами, она казалась вырезанной из дерева и двигалась как автомат.

II

В жизни Фелисите, как во всякой другой жизни, была своя любовная история.

Ее отец-каменщик убился, упав с лесов; затем умерла ее мать, сестры рассеялись, а ее принял фермер и определил совсем еще маленькой девочкой пасти коров в поле. Она зябла под лохмотьями и пила воду из луж, лежа на животе, была бита из-за всяких пустяков и наконец прогнана за кражу тридцати су, которую она никогда не совершала. Она поступила на другую ферму служанкой на скотный двор, и так как она нравилась хозяевам, то товарки ей завидовали.

Однажды вечером в августе (ей было тогда восемнадцать лет) они захватили ее с собою на собрание в Кольвиль: она была ошеломлена огнями, горевшими между деревьями, пестротой платьев, кружевами, золотыми крестиками, и оглушена топотом грузчиков и этой всей массой народа, танцевавшей одновременно. Она держалась скромно в стороне, когда молодой парень, по-деревенскому одетый, куривший трубку из двух колен, облокотясь на дышло кибитки, обтянутой парусиной, пригласил ее на танец. Он заплатил за сидр, кофе, печенье и фулеровой платок и, думая, что она его понимает, предложил ее проводить домой. И, миновав овсяное поле, он ее грубо опрокинул – она испугалась и стала кричать – он удалился.

На следующий вечер, по дороге в Бомон, она хотела перегнать большой воз с сеном, который медленно двигался вперед, и, огибая его колеса, она узнала Теодора.

Он к ней подошел с совершенно спокойным видом, говоря, что нужно извинить всё, что было, потому что он в тот вечер «выпил».

Она не знала, что отвечать, и ей очень хотелось убежать.

Затем он стал говорить об урожае и об коммунальных воротилах, о том, что его отец покинул Кольвиль для своей фермы в Эко, и теперь они соседи.

Она сказала: «Ах!»... Он же добавил, что хотел бы там обосноваться, но вообще же не очень торопится и дождется жены по своему вкусу. Она склонила голову, а он ее спросил, что она думает о браке. Она, улыбаясь, ответила, что не хорошо смеяться над нею.

«Но я не смеюсь, клянусь вам!» – и левой рукой он ее обнял за талию, так что она шла с ним, поддерживаемая его объятием. Ветер был мягок, звезды мерцали, огромный воз с сеном чернел впереди; четыре лошади, замедлив шаги, поднимали пыль. Затем без всякого приказания они свернули направо. Он ее поцеловал еще раз. И она исчезла во мраке.

На следующей неделе Теодор добился свидания.

Они встречались в глубине дворов, за стеной, под уединенным деревом. Она не была невинной барышней на манер городских; животные ее многому научили, но разум и инстинкт собственного достоинства не позволяли ей отдаться

слабости. Это сопротивление приводило любовь Теодора в неистовство настолько, что для того, чтоб удовлетворить [ее] (а быть может, совсем наивно), он предложил жениться на ней. Она ему не поверила. Он принес великие клятвы.

Вскоре он признался в досадных вещах: его родители год назад ему купили рекрута, но со дня на день его могли призвать снова – мысль о военной службе его приводила в ужас. Это малодушие для Фелисите было доказательством его чувства, ее же чувства от этого удвоились. Она убежала ночью, и Теодор, придя на свидание, измучил ее своими беспокойствами и настояниями.

Наконец он ей объяснил, что сам пойдет в префектуру за разъяснениями и передаст их ей в воскресенье между одиннадцатью часами и полночью.

Час настал, и она побежала к своему возлюбленному.

Вместо него ее встретил один из его друзей.

Он ей объяснил, что она не должна больше его видеть. Чтобы гарантировать себя от набора, Теодор женился на очень богатой старухе из Туков, мадам Леуссе.

Это было отчаяние, лишенное всякого порядка. Она с криками бросалась на землю, призывала имя Божье, плакала одна в полях до самого восхода. Затем она вернулась на ферму и объявила о своем намерении уйти; в конце месяца получив расчет, она завернула весь свой маленький багаж в носовой платок и отправилась в Пон-л-Эвек.

Перед гостиницей она обратилась с вопросами к хозяйке во вдовьем чепце, которая как раз искала себе служанку. Девушка знала немного, но в ней было столько доброй воли и так мало требований, что мадам Обен ей сказала наконец:

«Ладно, я вас принимаю».

Через четверть часа Фелисите поселилась у нее.

Сперва она там жила в священном трепете, который в ней вызывал «стиль дома» и воспоминания об «мусие», которое царило надо всем! Поль и Вергиния, один семи лет, другая четырех, казались ей созданными из драгоценного материяла; она их возила на спине, как лошадь, а мадам Обен ей запретила целовать их каждую минуту. Тем не менее она чувствовала себя счастливой. Мягкость всей обстановки растопила ее грусть.

По четвергам обычные гости приходили сыграть партию в бостон. Фелисите приготовляла заранее карты и грелки. Они приходили ровно в восемь часов и удалялись прежде, чем часы пробили одиннадцать.

Каждый понедельник с утра старьевщик, который жил при входе на улицу, раскладывал по земле свои ржавые вещи. Потом город наполнялся жужжанием голосов, в котором смешивались ржание лошадей, блеяние овец, хрюкание свиней, с сухим стуком колес на улице. Около полудня на пороге появлялся крестьянин высокого роста, с фуражкой набекрень и с горбатым носом – это был фермер из Жефоссов. Через несколько времени его сменял Лиебар – фермер из Туков, маленький, красный, толстый, в серой куртке, в штиблетах со шпорами.

Оба они предлагали своей хозяйке кур и сыры. Фелисите неизменно расстраивала их хитрости, и они уходили исполненные к ней глубокого уважения.

В неопределенные дни, в неопределенные сроки г-жу Обен навещал маркиз де Греманвиль, один из ее дядей, разоренный человеческою подлостью, который теперь жил в Фалезе на последнем клочке принадлежавших ему земель. Он появлялся всегда в час завтрака с отвратительным пуделем, лапы которого пачкали всю мебель. Несмотря на все усилия оставаться джентельменом, до того, что он приподнимал шляпу, когда произносил: «Мой покойный отец», привычка настолько им владела, что он наливал себе стакан за стаканом и отпускал сальности. Фелисите тогда вежливо выпроваживала его:

«Довольно, г-н де Греманвиль, до следующего раза!»

И она запирала за ним дверь.

Она с особым удовольствием открывала ее г-ну Бурэ, старшему поверенному. Его белый галстук, его лысина, жабо его рубашки, его манера нюхать табак, закругляя локти, повергали ее в тот трепет, который в нас вызывает созерцание людей необыкновенных.

Так как он надзирал за имениями г-жи Обен, он запирался вместе с ней на целые часы в кабинете покойного «барина» и, боясь чем-нибудь себя ославить, высказывал чрезмерное уважение к магистратуре и щеголял иногда латынью.

Для того, чтобы приятным образом способствовать образованию детей – он им подарил географию в картинках. Они представляли собой различные страны земли, людоедов с перьями на голове, обезьяну, похищающую девушку, бедуина в пустыне, охоту на кита с гарпуном и т.д.

Поль объяснял все эти картинки Фелисите, в этом, в сущности, заключалось все ее литературное образование.

Дети же получили его от Гюйо, маленького чиновника из мэрии, знаменитого своим прекрасным почерком, который всегда точил о голенища свой перочинный ножик.

Если день был хороший, то с раннего утра отправлялись на ферму в Жефоссы.

Двор шел по косогору, дом стоял посреди двора, море вдали казалось серым пятном

Фелисите доставала из своего мешка куски холодной говядины, и завтракали в комнате, которая собой представляла продолжение молочной. Это был последний остаток дачи, ныне не существующей. Обои на стенах висели клочьями, шевелившимися на сквозняках. Г-жа Обен поникала головой, удрученная воспоминаниями; дети не решались при ней разговаривать.

«Идите же играть», – говорила она; и они убегали.

Поль влезал на чердак, ловил птиц, бросал рикошетом камешки вдоль по лужам, бил палкой по большим пустым бочкам, которые звучали гулко, как барабаны.

Вергиния кормила кроликов, бросалась собирать васильки, и быстрота ее ног открывала ее маленькие, вышитые гладью штанишки.

Однажды осенним вечером домой возвращались по сенокосам.

Месяц в первой четверти освещал часть неба, и туман, подобно шарфу, вился по извилинам Туков. Быки, расположившись посреди полей, спокойно смотрели на этих четырех человек, проходивших мимо. На третьем пастбище один из них поднялся, а остальные стали полукругом перед ними.

«Ничего не бойтесь», – сказала Фелисите и, бормоча нечто вроде заклятия, она потрепала по загривку того, который был ближе всего к ней. Тот сделал прыжок и обернулся. Но когда следующее место было пройдено, поднялся чудо-

вищный рев. Это был бык, скрытый туманом. Он направился к двум женщинам. Г-жа Обен побежала.

«Нет, нет, не так скоро!»

Тем не менее они ускоряли шаги и слышали сзади звонкое дыхание, которое приближалось. Его копыта, как молотки, ступали по скошенному лугу; вот он перешел в галоп! Фелисите обернулась, схватила двумя руками куски сухой земли и бросила ему в глаза. Бык наклонил морду, потрясал рогами и трепетал от ярости, продолжая устрашающий рев. Г-жа Обен в конце луга, растерявшись, не знала, каким путем лучше перейти высокий край. Фелисите все время пятилась перед быком, не переставая бросать ему в глаза куски дерна, которые его слепили, и продолжала кричать:

«Скорее, скорее, торопитесь!»

Г-жа Обен спустилась в ров, толкая перед собою Вергинию, затем Поль, упавший несколько раз, стараясь взобраться на кучу щебня, наконец этого достиг упорством и мужеством.

Бык загнал Фелисите к железнодорожному переезду, его слюна уже забрызгала ей лицо, еще секунда, и он бы поднял ее на рога. Но у ней было время проскользнуть между двух балок, и огромный зверь остановился в изумлении.

Это приключение в течение многих лет служило темой для разговоров в Пон-л-Эвеке. Фелисите не возгордилась и даже не подозревала, что она сделала что-нибудь героическое.

Ее интересовало состояние Вергинии, так как у той, как следствие перенесенного испуга, началась нервная болезнь и доктор Пупар рекомендовал ей морские ванны в Трувиле.

В ту эпоху они еще не были посещаемы. Г-жа Обен собрала сведения, посоветовалась с Бурэ и начала приготовляться как бы в длинное путешествие.

Багаж был отправлен накануне в повозке Лиебара. На следующий день он привел двух лошадей, на одной из которых было бархатное седло и бархатная попона, а на другой свернутый плащ образовывал нечто вроде сидения. Г-жа Обен туда села за его спиной, Фелисите взяла на себя заботу о Вергинии, Поль же вскочил на осла Лешаптуа, одолженного [под условием] особой заботы о нем.

Дорога была так плоха, что ее восемь километров потребовали двух часов. Лошади увязали до щиколоток в грязь и для того, чтобы освободить ногу, делали резкие движения бедрами или спотыкались о колеи, а иногда им нужно было выпрыгивать. Лошадь Лиебара в некоторых местах просто останавливалась, он же терпеливо дожидался, пока она снова пойдет, и рассказывал о людях, дома которых выходили на их пути, приплетая к их истории свои моральные соображения. Так, посреди Туков, когда они проезжали под окнами некой м-м Леуссе, которая вместо того, чтобы взять молодого человека...

Фелисите не слыхала конца фразы: лошади шли рысью, осел галопом; все растянулись вдоль тропинки, которая огибала забор, навстречу вышли два парня, и путешественники спешились перед навозной лужей у самого порога.

Тетка Лиебар, увидавши свою хозяйку, начала всячески выказывать свою радость. Она подала завтрак, который состоял из голубя, рубцов, кровяной колбасы, тушеной курицы, пенистого сидра, торта с вареньем и пьяных слив, сдабривая все любезностями по отношению к госпоже, к барышне, которая стала *великолепной*, и к Полю, который удивительно *возмужал*, не забывая покойных дедушек и бабушек, которых Лиебары знали очень хорошо, будучи связаны с семьей уже в течение нескольких поколений. Ферма, как и они сами, носила характер старины. Балки потолка были источены червями, стены черны от копоти, окна серы от пыли. На дубовом поставце были собраны всякого рода хозяйственные принадлежности, кастрюли, тарелки, оловянные сковороды, капканы для волков, уздечки для баранов, огромная клистирная трубка вызвала смех у детей. Во всех трех дворах не было ни одного дерева без грибов у корней и без кустов омелы в ветвях. Ветер сорвал и сбросил на землю многие из них. Они проросли снова из середины: все гнулись под тяжестью плодов. Соломенные крыши, сделанные точно из коричневого бархата неравной толщины, были способны переносить самые сильные штормы. Между тем каретный сарай превратился в развалины. Г-жа Обен сказала, что она это будет иметь иметь в виду, и приказала разнуздать животных.

До Трувиля оставалось полчаса езды. Маленький караван снова пустился в путь для того, чтобы пройти через Эко-

ры; так называлась скала, возвышавшаяся над ладьями. Три минуты спустя в конце набережной они вступили во двор *Золотого агнца* к тетке Давид.

Вергиния с первых же дней почувствовала себя менее слабой благодаря перемене воздуха и действию купаний. Она купалась в рубашке за отсутствием костюма, и Фелисите переодевала ее в домике таможенника, приспособленном для купания.

Однажды после обеда они предприняли прогулку с ослом за Черные Скалы в сторону Эннеквиля. Тропа поднималась сперва по холмистой местности, как лужайка парка, а затем выходила на плоскогорье, где пастбища чередовались со взделанными полями. На опушке дороги, в хаосе корней поднимались дроки; кое-где большое дерево чертило на лазури зигзаги своими сухими веточками.

Отдыхали почти всегда в одном и том же месте, на лугу, так что спереди было открытое море, Довиль налево, Гавр направо. Оно горело на солнце и было гладко, как зеркало, и так тихо, что еле был слышен его ропот; невидимые воробьи чирикали, и огромный свод неба все это покрывал собою. Г-жа Обен сидя работала над своею вышивкой, Вергиния рядом с ней плела солому, Фелисите собирала цветы лаванды, Поль, скучая, делал попытки убежать.

В другие разы, проехав до Тука на лодке, они собирали раковины. Отлив обнажал водоросли, анемоны и медуз; дети бегали за клочьями пены, которую уносил ветер. Сонные волны, опрокидываясь на песок, развертывались во всю длину отмели докуда хватал глаз, но со стороны земли она имела границей дюны, отделявшие ее от *Болота* – широкой луговины в форме ристалища. Когда они возвращались этой дорогой, Трувиль в глубине, на склоне холма, вырастал с каждым шагом, и все его неровные дома, казалось, распускались в веселом беспорядке.

В дни, когда бывало слишком жарко, они [не] покидали свои комнаты. Ослепительный свет вне дома чертил световые полосы на пластинках жалюзи. Никакого шума по всему селению. Внизу на тротуаре никого. Это разлитое молчание увеличивало безмятежность всех вещей. Вдали молотки конопатчиков ударяли по обнаженным килям лодок, и тяжелый бриз доносил запах дегтя.

Главным развлечением было вечернее возвращение барок, которые, миновав портовые вехи, начинали лавировать. Их паруса были приспущены до двух третей мачт; с мизанью, надутой как шар, они приближались, скользили среди плеска волн до самой середины порта, где якорь неожиданно падал. Барка занимала свое место у набережной, матросы кидали за борт трепещущих рыб; их уже ожидали повозки, вытянутые в ряд, и женщины в шерстяных чепцах торопились взять корзины и обнять своих мужей.

Однажды одна из них подошла к Фелисите, которая немного времени спустя вернулась в свою комнату совсем радостная. Она вновь отыскала свою сестру Настасью Баретт; и Настасья Баретт появилась, держа младенца у груди правой рукой, а левой ведя мальчика-юнгу с кулаками на бедрах и с беретом, надвинутым на ухо.

Через четверть часа г-жа Обен ее выпроводила.

Они встречались всегда у кухонных дверей или на прогулках – муж не появлялся.

Фелисите к ним привязалась. Она купила им одеяло, рубашки, печку; явно, что они эксплуатировали ее доброту. Эта слабость раздражала г-жу Обен, которой не нравилась фамильярность племянника – он говорил «ты» ее сыну; и так как Вергиния кашляла и сезон уже миновал, они вернулись в Пон-л-Эвек.

Бурэ дал ей разъяснение относительно школы. Лучшая считалась Канская. Поль и был туда отправлен, он молодцом простился с семьей и с домом, очень довольный тем, что он будет жить в доме, где у него будут товарищи.

Г-жа Обен согласилась расстаться с сыном, потому что это было необходимо. Вергиния все реже и реже вспоминала о нем. Фелисите не хватало его шума. Но новое занятие должно было ее развлечь; начиная с Рождества она должна была водить девочку на уроки катехизиса.

III

Преклонив колена перед входом, она вступала под большой свод с двумя рядами стульев, открывала место г-жи Обен, садилась и обводила глазами вокруг себя.

Мальчики направо, девочки налево переполняли места хора; кюре стоял около кропильницы; на оконнице абсиды Святой Дух парил над Богоматерью; на другой оконнице Она была изображена на коленях перед младенцем Иисусом, а по ту сторону престола деревянная группа изображала архангела Михаила, убивающего дракона.

Священник сначала излагал краткую священную историю. Она видела собственными глазами рай, потоп, Вавилонскую башню, города в пламени, погибающие народы, низверженных идолов; от этих ослепительных картин в ней осталось благоговение перед Всевышним и трепет перед его гневом. Почему они Его распяли, Его, который любил детей, насыщал толпы, исцелял слепых и по смирению захотел родиться среди бедных на навозе стойла? Посевы, жатвы, сборы винограда, все обыденные вещи, о которых говорит Евангелие, встречались и в ее жизни; прохождение Бога придало им ореол святости; и она лишь более нежно полюбила овечек из-за любви к Агнцу, голубей – из-за Духа Святого.

Ей было трудно себе представить его облик, потому что Он был не только птицей, но и огнем, а иногда дыханием. Быть может, это его свет, который ночью бродит по краям болот, Его дыхание гонит облака, а его голос [делает] благовест таким гармоничным; и она пребывала в состоянии обожания, радуясь свежести стен и церковному безмолвию.

Что касается до догматов, то она ничего в них не понимала и даже не старалась понять. Кюре говорил, дети повторяли, она засыпала и просыпалась неожиданно от стука их деревянных башмаков по плитам.

Таким образом на слух она выучила катехизис, в ее детстве ее религиозным воспитанием никто не занимался, а тут она стала подражать всем действиям Вергинии, постилась, как она, и говела вместе с нею. В День Господень они вместе устраивали в своей комнате моления.

Первое причастие ее волновало заранее, она беспокоилась о башмаках, и о четках, и о молитвеннике, и о перчатках. С каким трепетом он помогала матери ее одевать!

Во время обедни она пребывала в невыносимой тревоге; г-н Бурэ закрывал ей часть хора, но как раз напротив стая девочек в белых венках поверх вуалей казалась снежным по-

лем; она издали узнавала свою милую девочку по ее шейке, более тонкой, и по ее сосредоточенной позе. Ударил колокол. Головы склонились; наступило молчание. Под гром органа певчие и толпа грянули: *Се Агнец Божий...*; после началась процессия мальчиков. Шаг за шагом, со сложенными руками, они двигались по направлению к ярко освещенному алтарю, преклоняли колена на первой ступени и принимали облатку одна за другой и в том же порядке возвращались на свои молитвенные места. Когда была очередь Вергинии, Фелисите нагнулась, чтобы ее лучше видеть, и с той силой воображения, которую дает истинная нежность, ей казалось, что она сама была этим ребенком, ее лицо стало ее лицом, она была одета в ее платье, ее сердце билось у нее в груди; в момент, когда она открыла рот, опустивши веки, она едва не потеряла сознание.

На следующий день ранним утром она отправилась в сакристию, чтоб принять причастие от г-на кюре. Но, принимая его благоговейно, уже не испытала того же упоения.

Г-жа Обен хотела сделать из своей дочери девушку вполне совершенную, а так как Гюйо не мог преподавать ни музыки, ни английского языка, то она решила ее отдать в монастырь Урсулинок в Гонфлере.

Девочка не протестовала, Фелисите вздыхала и находила, что мать бессердечна, затем она подумала, что ее хозяйка, может быть, права.

Наконец однажды старая ковровая карета остановилась у их дверей, и из нее вышла монахиня, приехавшая за барышней. Фелисите помогла поднять багаж наверх, сделала наставление кучеру и положила в сундук шесть горшков с вареньем и дюжину груш с букетиком фиалок.

Вергиния в последний момент задохнулась от подступившего рыдания; она обнимала свою мать, которая целовала ее в лоб, повторяя:

«Ну, ну, немного мужества!»

Сходня поднялась, карета тронулась.

Тогда г-жа Обен упала без чувств, а вечером все ее друзья, чета Лормо, г-жа Лешаптуа, *эти* барышни Рошфейль, г-н Губвиль и Бурэ явились, чтоб ее утешать.

Разлука с дочерью была для нее очень болезненна. Но три раза в неделю она получала от нее письма, а другие дни

сама писала ей и гуляла в саду, немного читала и этим заполняла пустоту часов.

Утром, как обыкновенно, Фелисите входила в комнату Вергинии и смотрела на стены; она тосковала потому, что ей некому было расчесывать волосы, некому шнуровать ботинки, некому подтыкивать одеяло в ее постельке – не видеть постоянно перед собою ее милой фигурки и не держать ее постоянно за руку, когда они выходили вместе. В своем безделье она попробовала плести кружево, но ее слишком грубые пальцы рвали нитки; она ничего не слышала, потеряла сон и, согласно собственному ее выражению, была «минирована».

Для того чтобы «рассеяться», она просила разрешения принимать у себя своего племянника Виктора.

Он приходил по воскресеньям после обедни с красными щеками, с обнаженной грудью, весь пропитанный запахом полей, через которые он шел. Тотчас она доставала его прибор. Они завтракали друг против друга; и, сама стараясь есть как можно меньше из экономии, она до такой степени пичкала его разными яствами, что он засыпал. Она его будила при первом вечернем колоколе, чистила его панталоны, завязывала его галстук и вместе с ним отправлялась в церковь, с материнской гордостью опираясь на его руку.

Его родители всегда поручали ему что-нибудь принести. Либо пакет сахару, либо мыла, либо водки, либо иногда денег. Он приносил свое белье на починку, она принимала эти поручения, счастливая случаем, который заставит его опять вернуться к ней.

В августе месяце отец увез его с собой в каботажное плавание.

Это было время каникул. Приезд детей ее утешил. Но Поль становился капризным, а Вергиния выходила из возраста, когда ей можно было говорить «ты», и это ставило между ними преграду.

Виктор последовательно перебывал в Морле, в Дюнкерке и в Брайтоне и по возвращении из каждого путешествия привозил ей подарок. В первый раз это была коробка, оклеенная морскими ракушками; во второй раз чашка для кофе; в третий большой пряник в виде матроса. С каждым разом он мужал и становился красивее, хорошего роста, с маленькими

усиками, с добрым открытым взглядом, в маленькой кожаной шапочке, сдвинутой на затылок, как у настоящего моряка. Он любил ей рассказывать разные истории, насыщенные морскими словечками.

В понедельник 14 июля 1819 года (она не могла забыть этой даты) Виктор объявил ей, что его отправляют в дальнее плавание и что ночью после завтрака пассажирским пароходом из Гонфлера он должен догнать свой корабль, который скоро снимается с якоря в Гавре. Он пробудет в плавании года два.

Перспектива такого долгого отсутствия привела Фелисите в отчаяние; для того, чтобы еще раз с ним проститься, в четверг вечером, после обеда барыни, она надела калоши и единым духом отмахала четыре лье, которые отделяют Понл-Эвек от Гонфлера.

Когда она была против распятия, вместо того, чтобы пойти налево, она взяла направо и потерялась среди проходов и должна была возвратиться по пройденному пути; люди, к которым она обращалась, советовали ей поторопиться, она обошла вокруг порта, наполненного судами, спотыкаясь о якорные цепи; затем почва понизилась, огни сошлись и перепутались, и ей показалось, что она сошла с ума, когда увидала лошадей в небе.

Другие ржали на набережной, испуганные морем. Кран, который их поднимал, опустился на палубу судна, где путешественники толкались между бочками сидра, корзинами с сыром и мешками зерна; слышно было кудахтание кур и ругательства капитана; только один юнга, облокотившийся на корзины, оставался безразличным ко всему этому. Фелисите, не узнавши его, [кричала] «Виктор!»; он поднял голову, она бросилась к нему, когда неожиданно подняли сходню.

Пакетбот, который женщины провожали пением, вышел из порта. Его снасти скрипели, а тяжелые волны бились об его корму. Парус повернулся, и больше никого не было видно. На море, посеребренном луной, он казался большим черным пятном, которое постепенно бледнело, уходило внутрь, исчезло.

Фелисите, проходя около распятия, хотела поручить Богу то, что она любила больше всего на свете, и она долго молилась, стоя во весь рост, с лицом, залитым слезами, с

глазами, обращенными к облакам. Город спал, таможенные прогуливались; вода непрерывно падала сквозь отверстие шлюза с шумом водопада. Два часа пробило.

Приемная в монастыре не будет открыта раньше рассвета. Запоздание, конечно, рассердит барыню; и, вопреки желанию обнять другого ребенка, она вернулась. Служанки в гостинице поднимались, когда она входила в Пон-л-Эвек.

Бедный мальчик в течение стольких месяцев будет качаться по волнам! Предыдущие поездки ее не испугали. Из Англии и Бретани люди возвращались, но Америка, колонии, острова, – все это были неведомые области на другом конце мира.

С тех пор Фелисите думала исключительно о своем племяннике; в солнечные дни она мучилась от жажды, во время грозы боялась за него удара молнии. Слушая воющий ветер в печной трубе, она видела его во власти той самой бури на вершине переломанной мачты, всем телом опрокинувшимся назад под покровом рушащейся пены, или же (воспоминания из географии в картинках) он был съедаем дикарями, или, взятый в плен обезьянами, умирал на краю пустынной отмели. И ни с кем никогда она не говорила о своих беспокойствах.

У г-жи Обен были свои относительно дочери.

Добрые сестры находили, что она почтительна, но слишком деликатна. От малейшего впечатления она заболевала. Пришлось оставить занятия на фортепияно.

Мать требовала от монастыря правильной корреспонденции. По утрам, если почталион не приходил, она волновалась; и она ходила по зале от кресла до окна. Это удивительно! Четыре дня ни одной строчки!

Чтоб ее утешить собственным примером, Фелисите сказала:

«А я, сударыня, вот уже шесть месяцев не получаю ничего!»

«От кого же?»

Служанка ответила с кротостью:

«Но... от моего племянника!»

«Ах, ваш племянник!»

Пожимая плечами, г-жа Обен продолжала прогулку, что означало: «А я об нем и не думала!.. И, кроме того, какое мне

до него дело! Нищий, юнга, велика важность!.. Между тем моя дочь ... подумайте только!..»

Фелисите, хотя и получила суровое воспитание, почувствовала негодование, но после забыла.

Ей казалось так просто потерять голову из-за судьбы маленькой девочки.

Оба ребенка имели для нее одинаковое значение; связь ее сердца их соединяла, и судьбы их становились одинаковы.

Аптекарь ей сказал, что корабль Виктора пришел в Гавану, он прочел эти известия в газете.

Благодаря сигарам Фелисите представляла себе Гаванну страной, где все только курят, и Виктора она себе представляла в облаках табачного дыма, толкающегося между негров. Сможет ли он, «если понадобится», [вернуться] сухим путем? В каком расстоянии это было от Пон-л-Эвека? За этими сведениями она обратилась к г-ну Бурэ.

Он взял свой атлас, затем начал объяснения, что такое широты; у него появилась великолепная улыбка педанта перед обалдением Фелисите. Наконец он отметил карандашом на отрезках овального пятна незаметную точку и прибавил: «Вот здесь».

Она наклонилась над картой; этот клубок разноцветных линий ничего ей не говорил, но утомлял ее зрение; и Бурэ предложил ей объяснить ему, что ее затрудняет; она попросила указать ей дом, в котором живет Виктор. Бурэ поднял руки, чихнул и страшно расхохотался; такая наивность возбуждала в нем неудержимую веселость; а Фелисите не понимала причины, она ждала, что он покажет ей портрет ее племянника, настолько ее понимание было ограниченно.

Дней пятнадцать спустя Лиебар в базарные часы, как обычно, вошел в кухню и передал ей письмо, переправленное ее зятем. Не умея читать, она обратилась к помощи хозяйки.

Г-жа Обен, которая считала петли вязания, отложила его, распечатала письмо и с глубоким взглядом сказала:

«Вас извещают о несчастии... Ваш племянник...»

Он умер. Подробностей никаких.

Фелисите упала на стул, упершись головой в переплет, и опустила веки, которые сразу покраснели. С опущенным

лбом, с повисшими руками, с неподвижным взглядом она повторяла с расстановкой:

«Ах, бедный паренек, бедный паренек!»

Лиебар смотрел на нее, глубоко вздыхая. Г-жа Обен немного дрожала.

Она предложила ей поехать в Трувиль навестить свою сестру.

Фелисите жестом ответила, что это ей совсем не нужно.

Наступила пауза. Лиебар нашел, что эта самая подходящая минута, чтоб уйти.

Тогда она сказала:

«Это им решительно все равно!»

Ее голова опустилась снова, и машинально она поднимала время от времени длинные спицы на рабочем столике.

Две женщины прошли по двору с чаном, в котором мокло белье.

Увидевши их через окно, она вспомнила о своей стирке; вчера она намочила белье, сегодня его надо было отжать. И она вышла из комнаты.

Ее доска, ее бочонок были на берегу Туки. Она кинула на песок груду рубашек, взяла скалку, и сильные удары гулко зазвучали по соседним задам. Поля были пусты, ветер волновал реку. В глубине волновались длинные подводные травы, как волосы утопленников, плывущих под водой. Она сдерживала свое горе и до вечера держала себя мужественно, но, оставшись одна в своей комнате, она отдалась своим чувствам, лежа животом на матрасе, лицом уткнувшись в подушку, прижав кулаки к вискам.

Гораздо позже от самого капитана корабля она узнала подробности о смерти Виктора.

Ему слишком много пустили крови в госпитале во время припадка желтой горячки. Четыре врача его едва могли удержать. Он умер немедленно, и старший доктор сказал:

«Ладно, еще один!»

Его родители обращались с ним безжалостно. Она предпочитала их больше не видеть, они же сами не сделали никакого шага, может быть, по забывчивости, может быть, по жестокосердию бедняков.

Вергиния слабела с каждым днем.

Удушье, кашель, постоянная лихорадка, мраморность щек говорили о глубокой болезни организма. Доктор Пупар советовал поехать в Прованс. Г-жа Обен сию же минуту взяла бы дочь домой, если б не климат Пон-л-Эвека.

Г-жа Обен договорилась с кучером, который каждый вторник отвозил ее в монастырь. В саду была терраса, с которой открывался вид на Сену. Вергиния там гуляла, опираясь на ее руку, по опавшим листьям плюща. Иногда солнце прорезало тучи и заставляло ее щурить глаза, когда она смотрела на паруса вдали и на весь горизонт от замка Танкарвиль до Гаврских маяков. Затем она отдыхала под навесом из виноградных листьев. Ее мать достала маленький бочонок прекрасной малаги; потешаясь над возможностью напиться пьяной, она выпивала два глоточка, никогда не больше.

Силы ее восстанавливались. Осень прошла тихо. Фелисите обнадеживала г-жу Обен. Но однажды вечером, когда она ходила к соседям, она увидела у дома кабриолет г-на Пупара. Он был в прихожей. Г-жа Обен завязывала шляпу.

«Дайте мне мою грелку, кошелек и перчатки, да поскорее!»

У Вергинии оказалась опухоль в груди; быть может, уже не было надежды.

«Подождите еще», – сказал врач.

И оба вошли в экипаж под хлопьями снега, который кружился. Наступала ночь. Было очень холодно.

Фелисите побежала в церковь, чтобы поставить свечу. Затем она побежала за кабриолетом, который нагнала час спустя, легко прыгнула сзади, держась за рессоры, тогда ей пришла мысль: «Двор не заперт, а если залезут воры?» Она соскочила.

На следующий день с рассветом она была у доктора. Он вернулся и опять уехал в окрестности. Она осталась в гостинице, надеясь, что кто-то принесет ей записку. Наконец, на рассвете, она села в дилижанс в Лизие.

Монастырь находился в глубине крутого переулка. Не дойдя до середины, она услыхала странные звуки – заупокойный благовест. «Это о других», – подумала она; и Фелисите резко дернула молоток.

Через несколько минут послышалось шарканье туфель, дверь приоткрылась, и появилась монахиня.

Добрая сестра с видом сочувствия сообщила, что «она только что отошла» В это время заупокойный колокол Святого Леонарда ударил сильнее.

Фелисите поднялась на второй этаж.

С самого порога она увидала Вергинию лежащей на спине со сложенными руками, с открытым ртом, с головой навзничь, под черным крестом, наклоненным между двух неподвижных занавесок, менее бледных, чем ее лицо. Г-жа Обен в изножии постели, которую она обнимала руками, судорожно всхлипывала. Настоятельница стояла направо. Три подсвечника на комоде казались красными пятнами, и туман белел сквозь окна. Монахини вынесли г-жу Обен на руках.

В течение двух ночей Фелисите не покидала умершую. Она повторяла те же молитвы, кропила святой водой, садилась и созерцала ее. В конце первой бессонной ночи она заметила, что лицо пожелтело, нос заострился и глаза впали. Она их поцеловала несколько раз и не была бы слишком потрясена, если бы Вергиния вдруг их открыла; для подобных душ сверхъестественное всегда просто. Она занялась ее туалетом, расправила ее саван, положила ее в гроб, надела ей венок и расправила ее волосы. Они были светлые и для возраста ее необычайно длинны. Фелисите отрезала толстую прядь, половину которой спрятала у себя на груди, решив с ней не расставаться никогда.

Тело было привезено в Пон-л-Эвек согласно намерениям г-жи Обен, которая следовала за гробом в закрытой карете.

После обедни понадобилось еще три четверти часа, чтобы дойти до кладбища. Поль шел впереди и рыдал, г-н Бурэ шел последним, а затем главные обыватели с женами в черных плащах и Фелисите. Она думала о своем племяннике, который не получил этих последних почестей, и это усугубляло ее грусть, как будто бы вместе с Вергинией хоронили и его.

Отчаяние г-жи Обен не имело границ.

Сначала она бунтовала против Бога, находя несправедливым, что Он отнял дочь у нее, которая никогда не делала

зла и совесть которой была до такой степени чиста! Но нет! Она должна была увезти [ее] на юг! другие врачи могли бы ее спасти! Она обвиняла себя и кричала в отчаянии посреди своих сновидений. Одно особенно ее преследовало. Ее муж в платье матроса возвращался из длинного путешествия и со слезами ей говорил, что он получил приказ увезти Вергинию. И они советовались, где найти укромное место, чтоб ее спрятать.

Однажды она вернулась из сада потрясенная. Только что (она показывала место) отец и дочь, одна за другим, ей явились, ничего не делали и только смотрели на нее.

В продолжение многих месяцев она оставалась в своей комнате, ничего не делая. Фелисите кротко ее уговаривала; нужно себя сохранить для своего сына и для другого в память «ее».

«Ее? – переспросила г-жа Обен, как бы пробуждаясь. – Ах да! да!.. Вы ведь ее не забываете!»

Это был намек на кладбище, куда ей был строго запрещен вход.

Фелисите же посещала его каждый день.

Ровно в четыре часа она огибала край домов, открывала ограду и останавливалась перед могилой Вергинии. Это была маленькая колонна из розового мрамора, с плитой внизу и с цепью, замыкавшей палисадник. Клумбы исчезали под покровом цветов. Она поливала их листики, посыпала песком и становилась на колени, чтобы лучше вскапывать землю. Г-жа Обен, когда она смогла туда прийти, почувствовала огромное облегчение, нечто вроде утешения.

Годы проходили, совершенно похожие друг на друга, без всяких событий, кроме возвращения больших праздников: Пасхи, Вознесения, Всех Святых. Внутренние события делали дату или их относили к более позднему времени. Так, в 1820 году два стекольщика цементировали прихожую; в 1827 году часть крыши, обвалившись во двор, чуть не убила человека; летом 1838 года была очередь г-жи Обен печь просфоры; Бурэ в эту эпоху таинственно отсутствовал; и все старые знакомые мало-помалу умерли: Гюйо, Лиебар, м-м Лешаптуа, Роблен, дядя Греманвиль, давно уже разбитый параличом.

Однажды ночью кондуктор мальпоста привез в Понл-Эвек известия об июльской революции. Через несколько

дней был назначен новый супрефект, барон де Ларсоньер, бывший в Америке консулом, который приехал с женой [и] свояченицей, у которой было три девочки, достаточно взрослых. Их можно было видеть на лужайке, одетых в широкие блузки. При них был негр и попугай. Они посетили г-жу Обен, которая не замедлила отдать им визит. Как только они показались, Фелисите побежала ее предупредить. Но взволновать ее способно было одно – письма ее сына.

Он не мог остановиться ни на одной деятельности и все время проводил в кабачках. Она платила его долги; он делал другие; и вздохи, которые вырывались у г-жи Обен, вязавшей у окна, достигали до Фелисите, которая в кухне вертела колесо.

Они гуляли вместе вдоль шпалер по саду и всегда разговаривали о Вергинии, спрашивая себя, понравилась бы ей та или иная вещь и что бы она сказала в тех или иных обстоятельствах.

Все ее маленькие вещи занимали шкаф в комнате с двумя кроватями. И г-жа Обен навещала их как можно реже. Однажды летом она решилась, и бабочки разлетелись из шкафа.

Ее платья висели в линию под полкой, на которой лежали три куклы, серсо, игрушечная кухня и тазик, который она употребляла. Также они достали юбки, платки и, прежде чем их сложить, растянули их на двух кроватях. Солнце освещало эти бедные вещи, подчеркивая пятна и складки, образовавшиеся от движения тела. Воздух был теплый и синий, свистал дрозд, все, казалось, было погружено в глубокую нежность. Они нашли плюшевую шапочку с длинной шерстью и коричневого цвета, но она была поедена молью. Фелисите потребовала ее для себя. Глаза их уставились друг на друга и наполнились слезами. Наконец хозяйка раскрыла руки, и служанка в них бросилась. Они крепко обняли друг друга, уняв свою боль в поцелуе, который и их уравнял.

Это было первый раз в их жизни, г-жа Обен не была натурой экспансивной. Фелисите ей была признательна как за благодеяние, и обслуживала ее с тех пор с преданностью звериной и с религиозным благоговением.

Доброта ее сердца все развивалась.

Когда она слышала на улице барабан идущего полка, она становилась около дверей с кружкой сидра [и] предлагала пить солдатам. Она ухаживала за холерными больными, покровительствовала полякам; был один, который хотел на ней жениться. Но они поссорились, потому что однажды утром, вернувшись из церкви, она застала его на кухне, куда он забрался самовольно и ничтоже сумняшася доедал винегрет, который сам себе приготовил.

После поляка был отец Кольмиш, старик, про которого говорили, что он творил ужасы в 93. Он жил на берегу реки в развалинах свиного хлева. Уличные мальчишки подсматривали сквозь щели стены и кидали камушки, которые падали на его нищенский одр, где он лежал, постоянно сотрясаем кашлем, с очень длинными волосами, с воспаленными веками и с опухолью на руке величиной с его голову. Она ему достала белья, пыталась вычистить его логово, мечтала его водворить в пустой пекарне, чтобы не стеснял хозяйки. Когда опухоль на руке прорвалась, она ему перевязывала ее каждый день, иногда принося ему кусок хлеба и сажая его на солнце на связку соломы; бедный старик, дрожа и исходя слюной, благодарил ее угасшим голосом и, боясь ее потерять, протягивал к ней руки, когда видел, что она уходит. Он умер; она заказала мессу за упокой его души.

В этот день произошло счастливое событие: в момент обеда явился негр м-м де Ларсоньер, держа в руках попугая с его клеткой, палкой, цепью и висячим замком. Записка баронессы извещала г-жу Обен, что ее муж назначен префектом и они уезжают сегодня вечером и что она просит принять эту птицу как знак своей симпатии и памяти.

Попугай давно владел воображением Фелисите, потому что он приехал из Америки; это имя ей напоминало Виктора настолько, что она справлялась относительно его у негра. Однажды она ему даже сказала:

«Г-жа Обен будет особенно счастлива его иметь у себя!»

Негр повторил эти слова своей хозяйке, которая, не имея возможности взять его с собою, постаралась от него отделаться таким образом.

IV

Его звали Лулу. Тело его было зеленое, концы крыльев розовые, лоб голубой, горло золоченое.

У него была утомительная привычка кусать свою жердочку, вырывать перья, разбрасывать извержения, разбрызгивать воду своей ванночки. Г-жа Обен, которой он надоел, подарила его Фелисите совсем.

Она начала его учить; вскоре он научился повторять: «Милый мальчик! Ваш слуга, сударь! Привет тебе, Мария!» Он был помещен около дверей, и приходящие удивлялись, что он не откликается на имя Жако, потому что все попугаи обычно зовутся Жако. Его сравнивали с индюшкой, с поленом: столько ударов кинжалом в сердце Фелисите! Странное упорство со стороны Лулу, он никогда не разговаривал с момента, когда замечал, что на него смотрят!

И тем не менее он искал общества, потому что по воскресеньям, в то время, когда *эти* барышни Рошфейль, г-н де Гуппевиль и новые знакомцы: Онфруа, аптекарь, г-н Варен и капитан Матие составляли партию в карты, он так бил в стекла крыльями, что невозможно было слышать друг друга.

Фигура Бурэ ему казалась, вероятно, очень смешной, как только он его замечал, он начинал хохотать изо всех своих сил. Раскаты его смеха раздавались во весь двор, эхо их повторяло, соседи кидались к окнам и тоже смеялись; чтобы пройти незаметно для попугая, г-н Бурэ стелился вдоль стены и, надвигая шляпу, старался скрыть свой профиль, достигал реки и затем входил сквозь садовую калитку; взгляды, которые он кидал на птицу, были лишены всякой нежности.

Лулу однажды получил взбучку от посыльного из мясной, когда позволил себе запустить голову в корзину. С тех пор он всегда старался ущипнуть его сквозь блузу. Фабю грозил ему свернуть шею, хотя он совсем не был жесток, несмотря на татуированные руки и пышные бакенбарды. Напротив! У него была скорее слабость к попугаю, настолько, что он из озорства пробовал выучить его ругаться. Фелисите, которую это приводило в ужас, перенесла клетку в кухню. Цепка была снята, и он свободно ходил по комнатам.

Когда он спускался с лестницы, он опирался о ступеньки, горбинкой своего клюва поднимая сперва левую, а по-

том правую лапу; она же боялась, что от такой гимнастики начнутся обмороки и головокружения. Он заболел и больше не мог ни говорить, ни есть. Под его языком образовалась опухоль, какая бывает иногда у кур. Она его вылечила, удалив кожицу собственными ногтями. Г-н Поль однажды имел неосторожность дунуть ему в ноздри сигарным дымом; другой раз г-жа Лормо дразнила его концом зонтика, тогда он проглотил наконечник; наконец он пропал.

Она посадила его на траву, чтобы его освежить, отсутствовала не больше минуты; когда она вернулась, попугай исчез! Она сперва искала в кустарниках, потом на краю воды, на крышах, не слушая хозяйки, которая ей кричала:

«Осторожнее, вы сошли с ума!»

Она осмотрела все сады Пон-л-Эвека, она останавливала прохожих.

«Не видали ли вы где-нибудь случайно моего попугая?»

Тем, кто не знал попугая, она его подробно описывала. Вдруг ей показалось, что по ту сторону мельниц, у подножия холмов порхает что-то зеленое. Но на холмах ничего! Мальчишка, подбиравший мячики, уверял ее, что он его только что видел в Сен-Мелене, в лавке тетки Симоны – она побежала туда. Там не поняли, о чем она, собственно, говорит. Наконец она вернулась изнеможенная, в порванных туфлях, с отчаянием в душе; когда она сидела на скамейке около хозяйки и рассказала все свои неудачные поиски, легкая тяжесть опустилась ей на плечо. Лулу! Какого черта он пропадал? Может быть, просто гулял по соседству?

Ей трудно было оправиться, а вернее, она не пришла в себя никогда.

После простуды у нее сделалась ангина, а немного позже заболели уши. Три года спустя она была совсем глуха; она говорила очень громко даже в церкви. Хотя ее грехи для нее не были позором и, никого не скандализируя, могли распространяться во всех углах прихода, кюре нашел более пристойным принимать ее исповедь только в ризничей.

Призрачные гулы в ушах совсем помутили ее сознание. Часто ее хозяйка говорила ей: «Боже мой, до чего вы глупы», а она ей отвечала: «Да, сударыня» – и что-то шарила вокруг себя.

Малый круг ее впечатлений сузился еще более – ни перезвон колоколов, ни рев коров для нее больше не существовали. Все существа кругом двигались безмолвно, как призраки. Единственный звук, который теперь достигал до ее ушей, это был голос попугая.

Чтобы ее развлечь, он подражал шуму вертела, резкому крику торговца рыбой, пил столяра, жившего напротив, а при звонках он передразнивал г-жу Обен:

«Фелисите, звонят! Откройте дверь!»

Между ними велись диалоги, он произносил до пресыщения три фразы своего репертуара, а она отвечала словами, не имевшими большой связи, но в которых раскрывалось все ее сердце. В ее отъединении Лулу был почти сыном-любовником. Он перебирал ее пальцы, кусал ее губы, карабкался по ее платку; и когда она наклоняла голову на манер кормилицы, большие крылья чепца и крылья птицы трепетали одновременно.

Когда клубились тучи и когда гремел гром, он испускал крики, вспоминая, вероятно, ливни лесов своей родины. Журчание воды приводило его в безумие; он начинал летать и биться под потолком, все опрокидывал и через окно вылетал в сад; но вскоре возвращался на свои насесты и, подпрыгивая, чтобы высушить перышки, показывал то свой клюв, то свой хвост.

Однажды утром в свирепую зиму 1837 года, когда она поместила его перед камином из-за холода, она нашла его мертвым посреди клетки с головой вниз, с когтями, запутавшимися в проволоке. Его, конечно, убил мороз? Она думала, что он отравлен петрушкой, несмотря на отсутствие каких бы то ни было улик, ее подозрения падали на Фабю.

Она так плакала, что хозяйка ей сказала:

«Ну, сделайте из него чучело!»

Она спросила совета у аптекаря, который всегда был в хороших отношениях с попугаем.

Тот написал в Гавр. Некий Феллаше взялся за это дело. Но так как почтовые посылки пропадали на мальпосте, она решила отвезти его до Гонфлера сама.

Безлистые яблони сменяли друг друга по дороге. Канавы были покрыты льдом, собаки лаяли вокруг ферм. Руки спрятав под накидку, в маленьких деревянных башмаках и в

шляпке с опущенными и подвязанными полями, она быстро шла посреди дороги.

Пройдя через лес и миновав Гот-Шен, она достигла Сен-Гратиена.

Сзади нее в клубах пыли, увлекаемый спуском, крупным галопом, как шквал, надвигался мальпост. Видя женщину, которая не обращает внимания и не сходит с пути, кондуктор приподнялся над верхом, почтальон кричал тоже, между тем четверка лошадей, которую он мог сдержать, ускоряла свой бег; первая пара ее задела; но неожиданным напряжением вожжей [он], взбешенный, на всем скаку поднял большой кнут и нанес ей удар от живота до шиньона так, что она упала навзничь.

Когда к ней вернулось сознание, ее первый жест был открыть корзинку. Лулу, к счастью, был невредим. Она чувствовала ожог правой щеки; а рука, которую она подняла, была в крови. Кровь сочилась.

Она присела на придорожной версте, вытерла лицо носовым платком, съела корку хлеба, положенную из предусмотрительности в корзину, и утешилась от своей раны, глядя на птицу.

Придя на вершину Экемовиля, она увидела огоньки Гонфлера, которые мерцали в ночи, как звездная куча; а дальше смутно простиралось море. Тут ее остановила слабость; и несчастия ее детства, и разочарование первой любви, и отъезд племянника, и смерть Вергинии, как волны прилива пришли одна за другой, подступили к горлу и вызвали удушье.

Она выразила желание говорить с капитаном парохода и, ничего не говоря, что она посылает, сделала ему ряд наставлений.

Феллаше задержал попугая очень долго. Он все время обещал на следующей неделе; через шесть месяцев он оповестил, что отправляет ящик; [и больше] уже об этом вопрос не поднимался. Можно было думать, что Лулу никогда не вернется. «Они его у меня украли!» – думала она.

Наконец он прибыл – блистательный, прямой, на ветке, которая привинчивалась к подставке красного дерева, с поднятой лапой, с наклоненной головой, кусающий орех, который набивщик чучел позолотил из любви к величавому стилю.

Она заперла его в свою комнату.

Это убежище, куда она впускала мало людей, имело вид одновременно и часовни, и ярмарки, столько в ней было собрано вещей религиозных и предметов странных.

Большой стенной шкаф мешал отворять двери. Насупротив окна, выходившего в сад, круглое окошко, архитектурно называемое бычьим глазом, глядело во двор; на столике около ложа из соломы стоял кувшин с водой, два гребешка и кубик синего мыла на разбитой тарелке. На стенах висели четки, медали, несколько церковных статуэток Богоматери, кропильниц из кокосового ореха; на комоде, покрытом шерстяным покрывалом, как престол, коробка из ракушек, которую ей подарил Виктор; затем лейка, каучуковая груша, тетрадки с чистописанием, география в картинках, пара ботинок; и на гвоздике от зеркала подвязанная своими лентами маленькая плюшевая шляпка! Фелисите этот культ воспоминаний простирала так далеко, что сохраняла один из сюртуков покойного барина. Всякое старье, которое г-жа Обен не знала куда деть, она забирала к себе в комнату. Таким образом у нее были искусственные цветы на краю комода и портрет графа Дартуа в углублении чердачного окна.

При помощи полки Лулу был водворен на камине, выступающем внутрь комнаты. Каждое утро, просыпаясь, она видела его в утреннем свете и вспоминала минувшие дни и самые незначительные действия, без боли, исполненная внутренней безмятежности.

Не общаясь ни с кем, она жила в оцепенении лунатика. Ее оживляли только процессии Дня Господа. Она шла к соседям выпрашивать факелы и ковры для украшения алтаря, воздвигавшегося на улице.

В церкви она созерцала всегда Святого Духа и замечала, что у него есть что-то от попугая. Это сходство ей показалось еще более разительным на Эпиналевой лубочной картинке, изображавшей Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Своими алыми крыльями и изумрудным [телом] это был действительно портрет Лулу.

Купив картинку, она повесила ее на место графа Дартуа таким образом, что одним поворотом глаза она могла их видеть вместе. Они ассоциировались в ее сознании, попугай освятился своим сходством со Святым Духом, который, в

свою очередь, стал ей близок и понятен. Бог-Отец для того, чтобы явиться, не мог выбрать голубя, потому что эти птицы не имеют голоса, но скорее одного из предков Лулу. Фелисите молилась, глядя на лубочную картинку, но время от времени она поворачивалась и к чучелу попугая.

У нее было желание записаться в общину служительниц Богоматери. Г-жа Обен отговорила ее.

Наступило большое событие: женитьба Поля.

Пробывши сначала клерком у нотариуса, потом в торговле, потом в таможне, потом в налоговом управлении, и сделав первые ходы для перехода в пути сообщения, он в тридцать шесть лет, как бы вдохновленный небом, неожиданно открыл свой путь: регистрация! и проявил столь высокие таланты, что инспектор предложил ему руку своей дочери вместе с протекцией.

Поль, ставши серьезным человеком, привел ее познакомить с матерью.

Она, презирая обычаи Пон-л-Эвека, держала себя принцессой и оскорбила Фелисите. Г-жа Обен почувствовала облегчение после ее отъезда.

На следующей неделе пришло известие о смерти г-на Бурэ в одной гостинице в нижней Бретани. Слух о самоубийстве подтвердился; поднялись сомнения в его честности. Г-жа Обен, проверяя его счета, не замедлила усмотреть ряд подчисток: отклонение недоимок, скрытую продажу дров, фальшивые квитанции и т.д. Более того, у него был незаконный ребенок и сношения с особой [из] Дозюле.

Эти мерзости ее потрясли очень. В марте месяце 1853 года у нее началась боль в груди; язык ее, казалось, был закопчен, пиявки не успокоили ее подавленного состояния, и на девятый вечер она скончалась, имея от роду семьдесят два года.

Ее считали моложе, чем она была из-за ее темных волос, замыкавших рамой ее бледное лицо, на котором можно было заметить следы оспы. Очень немногие друзья пожалели о ней, так как в ее манерах была надменность, не позволявшая к ней подойти близко.

Фелисите оплакала ее так, как обычно хозяев не оплакивают. То, что хозяйка умерла раньше ее, спутало все ее

идеи, казалось ей противным общему порядку вещей, недопустимым и чудовищным.

Десять дней спустя (время пути до Безансона) приехали наследники. Невестка обыскала все ящики, отобрала мебель, продала остальную и вернулась в регистрацию. Кресло хозяйки, ее столик, ее грелка, восемь стульев были увезены; места гравюр виднелись на перегородке в виде желтых четырехугольников, они с собою вместе увезли две кроватки с их матрасами и не оставили ничего из вещей Вергинии! Фелисите обошла все этажи, пьяная от тоски.

На следующий день на двери была афиша; аптекарь ей крикнул в ухо, что дом продается.

Она пошатнулась и должна была присесть.

Ее приводило в отчаяние покинуть комнату, такую удобную для бедного Лулу. Кидая на него взгляд отчаяния, она молилась Святому Духу и усвоила себе языческую привычку произносить свои молитвы на коленях перед попугаем. Иногда солнце, бросая луч сквозь слуховое окно, попадало ему в стеклянный глаз и било оттуда большим световым лучом, повергая ее в экстаз.

У нее была рента в триста восемьдесят франков, завещанная ей хозяйкой. В саду она брала овощи, что же касается одежды, то у нее ее было столько, что ей хватило бы до конца ее дней, она экономила на освещении, ложась спать на заходе солнца

Она не выходила из дому, чтобы не проходить мимо лавки старьевщика, в которой было выставлено кое-что из старой мебели. Со дня своего обморока она волочила ногу; а так как силы ее убывали, то тетка Симон, разорившаяся на мелочной торговле, приходила ней каждое утро колоть дрова и качать воду.

Ее зрение ослабело. Ставни больше не отпирались. Прошло много лет. Дома никто не нанимал и никто не покупал.

Боясь, чтобы ее не выгнали из дома, Фелисите не просила ни о каком ремонте. Дранки на крыше сгнили; во время зимы подушки ее были мокры, после Пасхи у нее началось кровохаркание.

Тогда тетка Симон обратилась к доктору. Фелисите хотела знать, что у нее, но она была слишком глуха, чтобы

расслышать ответ. Она разобрала только одно слово: «воспаление легких». Это ей было знакомо, и она кротко ответила: «Ах, как у барыни», находя вполне естественным последовать за хозяйкой.

Приближалось время алтарей на улицах.

Первый всегда ставился внизу на берегу, второй против почты, третий посреди улицы. По поводу последнего были несогласия, и прихожане окончательно решили на дворе г-жи Обен.

Удушье и лихорадка увеличивались. Фелисите огорчалась, что ничего не могла сделать для алтаря. Если б по крайней мере у нее было хоть что-нибудь туда поставить! Тогда она стала мечтать о попугае, но это бы было непристойно, возражали соседки. Но кюре дал разрешение; она была так счастлива, что просила позволения после своей смерти завещать ему свое единственное богатство — Лулу.

Со вторника до субботы, кануна Богоявления, ее кашель еще усилился. К вечеру лицо ее было воспалено, губы прилипли к деснам, и появилась рвота; на следующее утро она почувствовала себя настолько слабой, что позвала священника.

Во время соборования около нее присутствовало три женщины. Затем она заявила, что ей необходимо говорить с Фабю.

Он пришел в праздничном костюме, чувствуя себя очень не по себе в этой мрачной атмосфере.

«Простите меня, — сказала она, делая попытку протянуть к нему руку, — я ведь думала, что это вы его убили!».

Что значит подобные сплетни? Заподазривать в убийстве такого человека, как он! И он был возмущен и готов был начать скандал.

«Вы видите, что она уже сама не знает, что говорит!»

Фелисите время от времени разговаривала со своими видениями. Соседки удалились, тетка Симон осталась завтракать.

Но позже она взяла Лулу и, поднеся его к Фелисите, сказала:

«Ну! скажите же ему до свидания!»

Хотя он и не был трупом, но черви его ели; одно из крыльев было сломано, вата торчала из живота. Но она, теперь

уже слепая, поцеловала его в лоб и прижала к щеке. Тетка Симон его взяла, чтобы поставить на алтарь.

V

Травы пахли летом; мухи жужжали, солнце играло на реке и нагревало черепицу. Тетка Симон вернулась в свою комнату, мирно заснула.

Ее разбудил колокольный звон; из церкви выходили после часов. Бред Фелисите кончился. Думая о процессии, она ее видела так ясно, как будто бы она там была.

Все школьники, певчие и пожарные шли по тротуарам, в то время как по мостовой выступали прежде всего: швейцар, вооруженный своей алебардой, звонарь с большим крестом, учитель, надзирающий за мальчишками, монахиня, пекущаяся о девочках, из которых три самых хорошеньких, завитые, как ангелочки, бросали в воздух розовые лепестки; диакон с растопыренными руками умерял музыку; два кадильщика, которые с каждым шагом оборачивались к Святым Дарам, несомым под балдахином из выцветшего бархата четырьмя церковными старостами, и г-н кюре в своих богатых ризах. Толпа народу напирала сзади между белых покрывал, скрывавших стены домов; процессия остановилась внизу на берегу реки.

Холодный пот смачивал виски Фелисите. Тетка Симон вытирала его бельем, повторяя себе, что будет день, когда и ей придется пройти через это.

Ропот толпы увеличивался, был несколько моментов очень силен и стал удаляться.

Окна задрожали от выстрелов. Это почтальоны приветствовали ковчег с Дарами. Фелисите, поводя глазами, сказала как можно тише: «Как он себя чувствует?», беспокоясь о попугае.

Агония началась. Хрип, все более и более и более ускоряясь, поднимал ее ребра. Накипь слюны появилась в углах ее рта, и все ее тело сотрясалось.

Вскоре можно было различить глухое сопение тромбонов, ясные голоса детей и глухой хор мужских голосов. По временам это все смолкало, и гул шагов, заглушенный цветами, казался стадом, идущим по траве.

Духовенство показалось во дворе. Тетка Симон влезла на стул, чтобы заглянуть в бычий глаз, и таким образом оказалась над алтарем. Зеленые гирлянды спускались над алтарем, украшенным оборками из английских кружев. Посреди маленького киота с мощами, с двумя маленькими деревцами по углам, во всю длину шли серебряные факелы и фаянсовые вазы, откуда торчали подсолнечники, лилии, пионы и пучки гортензий и наперстянки. Этот кусок ослепительных цветов спускался наклонно с первого этажа до ковра, покрывавшего мостовую; редкие предметы привлекали взгляды. Золоченая сахарница была покрыта веночком из фиалок с подвесками из Алансонских камней, которые сверкали на фоне мха, два китайских экрана оборачивались своими пейзажами. Лулу, спрятанный под розами, показывал только свой голубой лоб, похожий на пластинку из ляпис-лазури.

Церковные старосты, певчие и дети выстроились с трех сторон двора. Священник медленно в[з]ошел по ступеням и возложил на кружева большой золотой диск, который сверкал всеми лучами. Все встали на колени. Настало великое молчание. Кадильницы, качаясь во весь размах, скользили на своих цепочках.

Голубой дым достиг до комнаты Фелисите, она раздула ноздри, впитывая его с мистическим упоением, и опустила веки. Губы ее улыбались. Удары ее сердца задерживались один за другим, каждый раз все тише, как фонтан, который иссякает, как эхо, которое замирает; и когда она испустила последний вздох, она увидала, что небеса разверзлись и гигантский попугай парит над ее головой.

ЮНОШЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

С ЛАТИНСКОГО

КВИНТ ГОРАЦИЙ ФЛАКК

Весна

Трава зеленеет, ручьи убежали.
Деревья покрыты листвою,
Земля обновилась и берег ласкает
Река своей тихой волною.
Уж голые нимфы, откинув покровы,
Ведут по лесам хороводы.
Не верь же в бессмертье: мгновенно счастье
Умчат проходящие годы.
Весна развевает губительный холод,
А лето весну заменяет,
За летом идет плодоносная осень,
И снова зима наступает.
Луна, убывая, опять прибывает;
А мы же с печалью и страхом,
Спустившись в подземное царство к Энею,
Навеки становимся прахом.
Кто знает, не смерть ли приносит с собою
Грядущего дня наступленье?
Все жадный наследник получит, что, может,
Доставило б нам наслажденье.
Когда ты умрешь и Минос над тобою
Прочтет приговор свой сурово,
Тогда уж ни деньги, ни знатность, ни слезы
Назад не вернут тебя снова.
Из страшного ада не может Диана
Вернуть Ипполита с собою,
И даже Тезей остается бессильным
Оковы разбить Перифою.

11 февраля 1897
Феодосия

С АНГЛИЙСКОГО

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

I

О, плачь о тех, кто там сидел
У Вавилонских рек,
Чей храм разбит и опустел,
Чей край забыт навек.
О, плачь о тех, кто там рыдал,
Кто ига носит гнет.
На месте том, где храм стоял,
Другой народ живет.
Когда же кончит он страдать,
Омоет раны он,
И зазвучит твоя опять
Святая песнь, Сион!
Когда ж, Иуда, песнь твоя
Услышится опять,
И звуком радостным сердца
Заставит трепетать?
Израиль! вечно ты идешь
Измученной стопой.
Скажи мне, где же ты найдешь
Спасенье и покой?
Имеет тигр угол свой,
Свое гнездо у птиц,
И человек – свой край родной,
А ты – ряды гробниц.

11 апреля <1894>
Коктебель

II

Ты плакала, крупные слезы
Туманили очи твои.
Казалось, что падают капли
Блестящей и светлой росы.
Смеялась ты – искра сапфира
Весь блеск потеряла б лучей
В сравнении с блеском и светом
Прекрасной улыбки твоей.
Оттенками нежными солнце
Дарит облака иногда
И медленно сумерок тени
Их с неба сгоняют тогда.
Улыбка твоя, дорогая,
Льет радость в мой сумрачный ум
И светлым лучом разгоняет
Всю горечь мучительных дум.

12 апреля 1894
Коктебель

III

О ты, погибшая во цвете красоты!
Тебя не тяготит могила тишиною,
Там розы над тобой раскинули цветы
И тихий кипарис чуть шепчет над тобою.
Там тихая печаль, склонив свое лицо,
Мечтательно сидит над светлою рекою,
И часто над тобой вздыхает тяжело,
Даря тебя своей прозрачною слезою.
Рыдать? к чему? зачем? Довольно этих слез!
У смерти нет к печали сожаленья.
«Забудь!» – мне говорят головки алых роз.
Забудь! Забудь! Но где найти забвенье?

14 апреля <1894>
Коктебель

IV

О, если там, в стране иной,
Любовь по смерти встретит нас,
Не омраченная слезой,
Блеснет улыбка ясных глаз.
О, как мила тогда она,
Та неизвестная страна!
И я хотел бы умереть,
Подняться в вихре над землею,
Туда навеки улететь,
Найти и счастье, и покой.
От всех несчастий отдохнуть
И в вечном свете потонуть.
О! это правда! Это так!
Не за себя трепещем мы,
Когда, свершая этот шаг
Чрез эту пропасть вечной тьмы,
Боимся мы перешагнуть,
Чтоб снова к вечности примкнуть.
О, если б снова в жизни той
Сошлись влюбленные сердца,
Душа сошлася бы с душой
И мы бы жили без конца,
Вкуся струю воды живой,
Любовью чистой и святой.

15 апреля <1894>
Коктебель

С НЕМЕЦКОГО

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

Раздел земли

«Возьмите мир, – сказал Зевес с Олимпа. –
Возьмите снова мир, он должен вашим быть.
Я вам его даю на вечное владенье,
Но Вы его должны по-братски разделить».
И всякий поспешил, куда влекло желанье,
Что только мог скорее захватить.
Крестьянин взял полей произведенья,
Охотник в лес пошел, чтоб там следить зверей;
Купец взял все, что мог вместить в амбарах,
Аббат себе старинное вино;
Король же, захватив заставы и проходы,
Сказал другим: «Вот это – все мое!»
Когда раздел земли давно уж был окончен,
Сошел тогда поэт с заоблачных вершин
Увы! ему ничто с раздела не осталось,
У каждой вещи был уж господин.
И пал он в горести тогда пред троном Зевса:
«О, почему лишь только я один
Лишен всего, средь всех твоих творений!
Ведь я поэт – твой преданнейший сын!»
«Я отдал людям мир на вечное владенье, –
Ответил Бог. – Теперь уж он не мой.
Но где ж ты был, когда делили землю?»
«Я был, – сказал поэт, – я был тогда с тобой.
Мой взор тогда твоим сияньем упивался,
Мой слух был поражен гармонией твоей,
И счастьем упоен в восторге бесконечном

Я позабыл о выгоде своей!»
«Как быть! – ответил Зевс. – Весь мир другими занят.
Там всякий захватил, что мог, лишь для себя.
Но если хочешь жить со мною, тут на небе –
Оно всегда открыто для тебя!»

10 ноября 1893
Феодосия

ЛЮДВИГ УЛАНД

Проклятие певца

Стоял когда-то замок, высокий и большой,
До моря голубого царил он над страной.
Сады, луга и парки раскинулись кругом,
И били в них фонтаны блестящим серебром.
Сидел король в том замке, прославленный войной,
Сидел один на троне, суровый и немой.
Что думал он – был ужас. Речь – приговор была.
Глядел он – все дрожали. Писал – и кровь текла.
Раз два певца явились в тот замок роковой,
Один почти ребенок, другой – старик седой.
Старик с блестящей арфой, за повод вел коня,
А юноша шел рядом, молчание храня.
Старик прервал молчанье: «Ну, будь готов, мой сын!
Припомни наши песни, как ты их пел один.
Сбери свою всю силу. Опасность ждет тебя.
Нам нужно тронуть сердце и душу короля».
И вот они уж в замке стоят перед толпой.
Сидит на пышном троне король с своей женой,
Король ужасен. Гнева движенья все полны.
Она ж кротка, прекрасна, как тихий свет луны.
Старик провел по струнам и пенье полилось,
Далеко в темном замке от сводов отдалось.
Песнь юноши звучала светло, как солнца взор,
Старик же вторил глухо, как духов причный хор.
Они про верность пели, про лучших дней мечту,
Про славу, про свободу, любовь и красоту.
Про то, что можно тронуть любовью сердце вдруг,
Про то, что укрепляет и возвышает дух.
Придворных круг веселый стоит теперь немой,
Глаза суровых воинов наполнены слезой.

Сама же королева, бледна, поражена,
Певцам бросает розу с своей груди она.
«Вы мой народ смутили! Жену прельстили здесь!» –
Вскричал король свирепо, дрожа от гнева весь.
И в грудь певца вонзает он меч блестящий свой,
И вместо чудных песен кровь хлынула волной.
Как громом пораженный, в смятенье замер зал,
А юноша убитый на грудь отца упал.
Старик на труп холодный накинул плащ тогда
И тотчас с ним оставил тот замок навсегда.
Лишь выйдя за ворота, коня остановил
И арфу дорогую о камень там разбил.
Опять взглянул на башни и на сады из роз
И, к замку обернувшись, сурово произнес:
«Будь проклят, гордый замок! Отныне никогда
В твоих стенах веселья не будет и следа,
Но только кровь да стоны, рабов покорный вид,
Пока тебя дух мести во прах не сокрушит.
Проклятье вам, о парки, фонтаны и цветы –
Взгляните вы на эти недвижные черты!
О, пусть деревья эти иссохнут навсегда –
Покамест не наступит день Страшного Суда.
Да будет проклят изверг! Проклятие певца
Тебя лишает славы, кровавого венца.
Твое исчезнет имя. Но и столетий мгла
Не скроет от потомков содеянного зла!»
Старик сказал – и небо услышало его.
Теперь на месте замка уж нету ничего.
Одна только колонна годов тяжелый гнет
Пережила, но скоро и эта упадет.
И днесь над этим местом царит какой-то рок,
Кругом одна пустыня – лишь камни да песок.
Проклятье роковое свершилось до конца,
Забыт и уничтожен – вот это месть певца!

5 июля 1895
Коктебель

Бертран де Борн

На скале среди развалин
Аутфорт, дымясь, лежит.
А владелец пред палаткой
Короля в цепях стоит.

«Ты ль мечом своим и песней
Смуту нес среди людей?
Ты ли против слов отцовских
Возмутил моих детей?

Ты ли тот, кто так хвалился
И так гордо говорил,
Что тебе довольно даже
Половины этих сил?
Половины, видно, мало,
Не пора ли все собрать,
Чтоб построить снова замок
И оковы разорвать?»

«Да! Ты прав, король-владыка!
Пред тобой Бертран де Борн,
Кто зажег одною песней
Перигор и Бентадорн.
Кто бельмом для властелина
На глазу был до конца,
Из любви к кому презрели
Дети ярость их отца.

Дочь твоя сидела в зале
Как невеста. Пир кипел...
И посланец мой ей песню
Мной сложенную пропел:
Чем она гордилась раньше,
Про певца с его тоской...
Пел, пока ее уборы
Не увлажились слезой...

И в тени оливы сонной
Сын не мог твой усидеть,
Когда песнь борьбы и гнева
Я велел пред ним пропеть.
Конь оседлан, и я знамя
Сам понес пред ним вперед,
И стрела его пронзила
При Монфорте у ворот.

Он лежал в моих объятьях,
Но не раною томим,
А сознаньем, что умрет он
Под проклятием твоим.
Он к тебе пред смертью руку
Через море простирал,
Но твоей нигде не встретил,
Лишь мою сильней сжимал.

И с тех пор, как этот замок,
Сила сломана моя...
Нет ни всей, ни половины...
Нет ни лютни, ни копья.
Да! Сковать не трудно руки,
Если гордый дух разбит.
Песня скорби и печали
Лишь в душе моей звучит».

И король склонился долу...
«Ты мне сына соблазнил,
Дочь увлек своею чарой...
И меня ты победил!
Вот рука – то знак прощенья,
Для тебя и для него.
Цепи прочь! Меня коснулась
Сила духа твоего».

26 июня 1896
Коктебель

Граф Эберштейн

Бал в полном разгаре. И блеск и движенье...
Граф Эберштейн пляшет – он весь увлеченье.
И тихо ночь
Уходит прочь.
С ним в паре идет королевская дочь.

Все в бешеном танце по залам кружатся,
Она ж ему шепчет – не может сдержаться:
«Ты весел, рад,
Но говорят,
Что в ночь твой замок будет взят».

«Э! – думает граф. – Вы любезны так были...
Затем-то на праздник меня пригласили»...
Граф хмурит взор,
Спешит во двор
И к замку несется во весь опор.

А к замку, закрыты туманною мглою,
Ползут уж солдаты... Но их под стеною
Ждет граф. Им он
Отвесил поклон
И сразу отбил их со всех сторон.

Когда же наутро король сам явился,
Уверен, что замок ему покорился, –
Взошел на вал...
Он видит бал –
Сам граф там со свитой своей танцевал.

«Брать замки украдкой, король, не беритесь,
А лучше сперва танцевать научитесь,
Дочь ваша умней
И танцует смелей –
Мой замок раскроется только пред ней».

Пир в замке у графа. Бал в полном разгаре.
Граф Эберштейн пляшет – граф нынче в ударе.
И тихо ночь
Уходит прочь,
С ним в паре идет королевская дочь.

Все в свадебном танце по залам кружатся,
И он ей уж шепчет – не может сдержаться:
«Я так богат
И горд, и рад –
В ночь чей-то замок будет взят!?»

4 сентября 1896
Коктебель

Три песни

Король сидел в зале. Толпился народ.
«Певцы! Кто мне лучшую песню споет?»
И смело выходит певец пред толпою,
В руках его арфа и меч под рукою.
«Три песни я знаю. Средь празднеств и дел
Ты первую песню забыть уж успел:
Мой брат втихомолку убит был тобою,
Изменою подлой убит был тобою.
Вторую же песню я ночью сложил –
Я в ней свое мщенье и злобу излил:
Сегодня на смерть со мной должен ты биться,
Пока не убью тебя, должен ты биться».
Он прочь швырнул арфу, снял мантию с плеч
И поднял с угрозой карающий меч.
И долго и бешено битва кипела –
Лежит короля бездыханное тело.
«Теперь же я третию песню спою,
Последнюю, лучшую песню мою:
Моею рукою пронзенное смело
Лежит короля бездыханное тело!»

12 ноября 1896
Феодосия

Дочь трактирщицы

Три молодца шли раз за Рейн. По пути
В знакомый трактир довелось им зайти.
«Хозяйка! Что, есть, чай, вино у тебя?
Но где же прекрасная дочка твоя?»
«Вино вы в трактире найдете всегда.
А дочка скончалась моя, господа!»
Зашли они в дом. Холодна и бледна,
В гробу неподвижно лежала она.
И первый покров, что над трупом висел,
Откинул и долго в лицо ей глядел:
«Ах! Если бы Бог твою жизнь продлил,
Как сильно б тогда я тебя полюбил!»
Второй же закрыл ее вновь, постоял
И, прочь отвернувшись, навзрыд зарыдал:
«В расцвете весны ты оставила свет...
Как страстно любил тебя столько я лет!»
Но третий отдернул покров и припал
И долго немые уста целовал:
«Тебя я любил, и любя не забуду,
И вечно безумно любить тебя буду!»

13 декабря 1896
Феодосия

‹Блаженная смерть›

Я был убит
Восторгом страсти,
Был погребен
В твоих объятиях,
Был оживлен
Твоим лобзаньем
И небо видел
В прекрасных взорах.

2 января 1897
Феодосия

АВГУСТ ФОН ПЛАТЕН

Похороны Алариха

Ночью *у* Бузенто слышно у Козенцы песня раздается,
Звук той песни будит эхо меж брегами и от вод пустынных глухо отдается.
В дымном факелов мерцанье тени там мелькают тихо:
Это готы погребают ныне лучшего из смертных, короля их Алариха.
Вдалеке страны родимой, вдалеке родного края
Он погиб в расцвете жизни, светлой юностью сияя.
И под мраком темной ночи, отведя реки теченье,
Там во мгле могилу роют готы в горестном смущеньи.
И, окончив труд тяжелый, вглубь зияющей могилы
На коне в тяжелой броне труп героя опустили.
И на месте погребенья, где почил навеки смелый,
Саркофаг воздвигли пышный, посадили лотос белый.
А затем с могучим ревом, беспощадной силы полны,
Устремились вновь по руслу разъярившиеся волны.
И звучала песня готов: «Спи, наш добрый вождь любимый!
Здесь теперь ничто не тронет твой покой ненарушимый».
И звучала долго песня, то гремя, то замирая,
И всю землю облетела и от края, и до края.

25 октября 1893
на лат<инском> ур<оке>. Феодосия.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Два гренадера

Во Францию два гренадера брели
(В России в плену они были).
И вот, уж дойдя до немецкой земли,
Печально главу опустили.
И слышат они роковые слова:
Конец их отчизне положен,
Врагами разбита родная страна
И сам император низложен.
И горько заплакали вместе они
По бедной отчизне желанной...
Один тут промолвил: «О, горе, увы!
Болят мои старые раны!»
Другой же ответил: «Я умер бы тут,
Теперь моя песня уж спета.
Но дома ведь дети, жена, меня ждут;
Придется пойти им по свету.
Но, что же мне дети, но, что мне жена!
Удел их теперь непреложен,
Когда погибает родная страна
И сам император низложен.
О, брат мой! Исполни желанье мое:
Не дай мне найти тут могилу!
Возьми же с собой ты тело мое,
Чтоб быть мне во Франции милой.
Когда же ты станешь меня погребать,
Мой крест положи ты со мною,
Ружье мое в руки ты должен мне дать
И шпагу с оправой стальною.
И тихо, и чутко, как верный солдат,
Я буду лежать в ожиданьи,

Пока не услышу, как пушки гремят,
И коней веселое ржанье.
То едет он сам над могилой моей,
Во славе победной воитель.
Я встану тогда из могилы своей
И выйду к тебе, повелитель!

20 ноября <1893>

Enfant perdu*

Забытый часовой в войне освобожденья
Без смены на посту провел я тридцать лет.
Мне не было в борьбе надежды на спасенье,
Я знал, что не вернусь домой уже. О, нет!

Я день и ночь не спал. Я спать не мог спокойно,
Как спал в палатках там весь сонм моих друзей.
Когда я засыпал в дремоте беспокойной,
Храп этих храбрецов гнал сон с моих очей.

И часто в ночи ты сжималась, грудь, тоскою,
И страх охватывал (глупцам неведом страх),
Тогда, чтоб их прогнать, затягивал порою
Я песню вольную в рифмованных стихах.

Да! Бодро я стоял, наставив чутко ухо!
И, если б хитрый враг подкрался в тишине,
Я ловко бы всадил в его дрянное брюхо
Кусок свинца на память обо мне.

С другой же стороны и так могло случиться,
Что этот негодяй и сам умел стрелять,
Теперь я не могу уж более таиться,
Смертельно ранен я, и кровь нельзя унять.

Свободен пост! Уж смерть передо мною...
Эй, смену поскорей, чтоб время не ушло!
Но я не побежден – оружие со мною.
Лишь сердце ранено и кровью изошло.

9 июня 1896

---

* Буквально: потерянное дитя (*фр.*); фразеологизм, имеющий значения «смертник», «волонтер», «доброволец», «охотник», «партизан», «разведчик». (*Ред.*)

* * *

Когда ты будешь во гробу,
Сыром гробу лежать,
Тогда я вновь к тебе сойду,
Чтобы тебя обнять.
Тебя обнявши, я бужу
Улыбку мертвых губ,
Смеюсь и плачу, и дрожу
И обращаюсь в труп.
Гроба раскрылись... Полночь бьет.
Танцует теней рой...
Но мы лежим... И кто дерзнет
Нарушить наш покой?
Гроба раскрылись... Жизнь и свет!
День мщенья и суда...
Но мы лежим. Нам дела нет!
Мы вместе – навсегда...

18 июля 1896
Коктебель

Бертран де Борн

В нем гордость духа отражалась,
На лбу – глубокой думы след.
Чье сердце им не покорялось?
Бертран де Борн, герой-поэт!
Своими страстными речами
Себе он львицу покорил,
И дочь ее же, с сыновьями
В свой замок песней заманил.
Как сам король пред ним смирился!
В слезах забыл свой гнев отец,
Когда пред ним он сам явился,
Бертран де Борн, герой-певец.

10 сентября 1896
Феодосия

Чайльд Гарольд

Похоронный челн по сонной
Глади синих вод скользит.
Охраняя труп, немая
Стража черная стоит.
В блеске света труп поэта
Там лежит. Его глаза
Голубые, как живые,
Все глядят на небеса.
Слышен дальний звон печальный,
Словно нимфы стон больной,
Бьются волны в борт челна
С бесконечною тоской.

20 декабря 1897

* * *

Прекрасная звезда из мрака восстает.
Она мне с высоты улыбку счастья шлет.
Она сулит мне жизнь и свет.
Не лги, о нет!

Как в море к месяцу вздымается волна,
Так и душа моя гигантских сил полна,
Летит к тебе, увидя свет.
Не лги, о нет!

10 декабря 1897

* * *

Ты лежишь в моих жарких объятьях,
Ты живешь в моем сердце всегда.
Для тебя я – широкое небо,
Для меня ты – царица, звезда.
Там под нами внизу копошится
Рой людишек. И целые дни
Они ссорятся все, да дерутся –
И по-своему правы они...
Колпаком потрясая дурацким,
Они спорят, не знаю о чем,
Иль колотят друг друга, ругают
Иль лезут вперед напролом.
Как мы счастливы оба с тобою,
Что от них далеки мы всегда...
Ты склоняешь головку на небо,
О, моя дорогая звезда!

20 декабря 1897

Олаф

Пред собором ждут их двое.
Оба в красный плащ одеты.
И один – король могучий,
А другой – палач придворный.
Палачу король заметил:
«Я по пенью заключаю,
Что к концу идет венчанье:
Приготовь топор свой острый».
        Перезвон и рев органа.
        И народ идет из церкви
        Пестрой лентой. Посредине
        Идут двое новобрачных.
        Как мертвец бледна, печальна
        Молодая королевна,
        А Олаф могуч и светел,
        И уста его смеются.
        Алым ртом своим смеяся,
        Обратился к королю он:
«Добрый день, мой тесть!
Сегодня... ты мне голову отрубишь?
Я умру сегодня. Только
Дай мне свадьбу справить с честью:
С пиром, с музыкой и с пляской.
Дай прожить, пока не выпью
Я до дна последний кубок
И спляшу последний танец –
Дай до полночи прожить мне!»
        Палачу король промолвил:
        «Зятю нашему желаем
        Дать мы жизни до полночи:
        Приготовь топор свой острый».

В разгаре пир. Олаф до дна
Последний кубок осушает.
Припав к нему, его жена
Навзрыд рыдает...
Палач стоит у дверей...
Олаф танцует... Пляски, пенье...
С женой своей под шум, под звон
До исступленья
Танцует он...
Палач стоит у дверей...
Звенит веселой скрипки звук,
И флейты грустный вздох несется,
И сердце, кажется, от мук
На части рвется,
Палач стоит у дверей...
Олаф танцует... горд, прекрасен...
«Как я люблю», – ей шепчет он:
«И как ужасен
Могильный сон!»
Палач стоит у дверей...
Олаф! Уж полночь бьет... Пора!
Прекрасный сон промчался!
Довольно с дочкой короля
Ты счастьем наслаждался...
Заупокойные псалмы
Бормочут вкруг монахи...
Палач, одетый в красный плащ,
Стоит у черной плахи.
Олаф готов... Кругом огни
Горят, переливаясь...
Смеются алые уста,
Он молвит, улыбаясь:
«Привет вам, и солнце, и месяц! Привет
Вам, звезды на небе высоком!
Привет и вам, птички зеленых степей,
Поющие в поле далеком!
Привет тебе, море! Привет вам, цветы,
Расцветшие с дивною силой!

Привет вам – фиалки, цветущие здесь,
В прекрасных глазах моей милой...
Фиалки – глаза моей милой! За вас
Вся жизнь пронеслась... И умчалась.
Привет и зеленому дубу тому,
Где ты мне впервые отдалась!»

28 января 1899

‹Странствуй!›

Когда тебя женщина бросит, тогда
Влюбляйся в другую, ей-богу!
А лучше оставь поскорей города,
Котомку возьми, и в дорогу!
Ты озеро встретишь: там ивы растут,
Склоняясь в лазурном просторе,
И все свои скорби ты выплачешь тут,
И все свое жалкое горе.
Потом, поднимаясь на горы, вздохнешь
Не раз над опасной стремниной,
Когда ж, наконец, на вершину взойдешь,
Услышишь ты клекот орлиный.
Ты сам тогда станешь орлом и душой
Воспрянешь, исчезнет тревога,
Свободно вздохнешь и поймешь, что тобой
Потеряно слишком немного.

24 апреля 1899
Коктебель

* * *

Раз мне снилось: прогуляться
Ты отправились на небо,
Ты да я – ведь без тебя
Мне и небо хуже ада.
Там я праведников видел
И святых, которых тело
На земле терпело муки
Для спасения души.
Как сычи кругом сидели
Капуцины, эремиты,
Те, кто были помоложе,
Хуже всех, казалось, были,
Мимо нас ходили строго
Лица желтые, худые,
Плеши, бороды (меж ними
Было множество евреев).
И никто не бросил взгляда
На тебя, моя малютка,
Когда ты, смеясь, шалила
И кокетничала с ними.
Лишь один тебя заметил;
Средь толпы он выделялся
Красотой – и светлый облик
Был божественно прекрасен.
Безмятежность в ясном взгляде,
Всепрощенье на устах –
И глядел он, как когда-то
Он глядел на Магдалину.

Да! Я знаю: чистым взглядом
Посмотрел он. Кто же чище
И правдивее его?
Но меня кольнула ревность;

Признаюсь: на небе скверно
Я почувствовал себя.
Мне мешал (помилуй Боже!)
Сам Христос, спаситель мира.

<1899>

<Желанное счастье>

Когда розы расцветали
И свистали соловьи,
Меня нежно обнимали
Ручки белые твои.
А теперь уж осень. Розы
Отцветают средь куртин,
Нет и песен соловьиных,
Ты ушла – и я один.
Ночи холодны и длинны.
Возвратишься ль ты опять?
Иль о прошлом счастье вечно
Мне придется вспоминать?

1899

Германия
<Зимняя сказка>

Глава I

Уж скучный ноябрь стоял на дворе,
Уж хмурилось небо сурово,
Уж листья давно облетели, когда
Я ехал в Германию снова.
Едва ж я немецкой границы достиг,
Как сразу сильнее забилось
В груди моей сердце, и даже слеза
Невольно из глаз покатилась.
Когда ж я услышал немецкую речь,
Со мной что-то странное сталось,
И чувство – как будто бы сердце мое
Приятным теплом обливалось.
Арфистка-малютка запела вдали,
Запела с действительным чувством,
Но страшно фальшиво. Однако я был
Растроган немецким искусством.
И пела она о терзаньях любви,
О муках и о воздаяньи,
Там в мире высоком, прекрасном, ином,
Где нет ни тоски, ни страданья.
И пела она о терзаньях земных,
О том, что уж радость умчалась,
О том, каким счастьем в былые года
Когда-то душа упивалась.
И песнь отречения пела она:
То «баюшки-баю» поется
Большому дитяти – народу, когда
Не в меру оно разревется.
Я знаю не только мотив и слова,
Но знаю и авторов славно,

Как тянут они втихомолку вино
И ратуют за воду явно,
Я новую, лучшую песню хочу
Сложить вам, друзья, в назиданье,
Хотим мы уж здесь на земле положить
Для царства небес основанье.
Хотим на земле уже счастья вкусить,
Терпеть не желаем мы муки,
И брюхо не смеет растрачивать то,
Что создали честные руки!
На свете достаточно хлеба для всех,
Всем радость сияет и грезы,
Для всех одинаково мирты цветут
И сладкий горошек и розы.
Да! Сладкий горошек, конечно, для всех,
Едва только стручья созреют,
А небо для ангелов будет и птиц –
Пускай себе в небе там реют.
И вырастут крылья по смерти у нас,
И, взвившись могучим пареньем,
Взлетим мы на небо и будем там есть
Небесные торты с вареньем.
Прекрасная, новая, чудная песнь!
И флейт, и литавров звучанье!
Долой «Miserere» и похорон звон
Смолкает покорно пред нею.
Да! Гений свободы с Европой теперь
В союз неразрывный вступают
И радости первых восторгов любви
И страсти блаженство впивают.
Хоть не был попами их брак освящен,
Но признан он всеми на свете.
Да здравствуют вечно невеста, жених
И все их грядущие дети!
Вся песня моя – это свадебный гимн
Победный, могучий, прекрасный!
Огромные звезды из гордой души
Встают лучезарны и ясны,
Горят вдохновеньем, пылают огнем,

Текут огневыми реками...
Я так преисполнен неведомых сил.
Что вырвал бы дубы с корнями.
Волшебным напитком мне хлынуло в грудь
Дыханье Германии милой:
Так древний гигант с материнской груди
Вставал с обновленною силой.

27 октября 1897
Москва

Глава II

Так духи-малютки, кружась надо мной,
Играли победные трели,
Чиновники ж прусской таможни меж тем
Пожитки мои осмотрели.
Раскрыли, разрыли, обнюхали все –
Рубашки, штаны вытряхали,
Все кружев, все разных сокровищ моих
Все книг запрещенных искали.
Не знали вы, где их искать, дураки!
Лишь даром белье перерыто!
Я много везу контрабанды со мной –
Она в голове моей скрыта!
Тончайшие кружева есть у меня –
И брюссельских кружев дороже!
О, если б вам кружева те показать,
Какие б вы скорчили рожи!
О, сколько сокровищ в моей голове!
Грядущего царства клейноды,
Жемчуг, бриллианты, священный венец
Всемирного храма свободы.
А книг запрещенных нельзя перечесть:
Есть сотни различных названий.
Я должен сказать вам, что ум мой гнездо
Для всех запрещенных изданий.
Поверьте, что в книжном шкафу Сатаны

Их выбор гораздо скромнее,
И фон-Фаллерслебена книги – ничто
Пред библиотекой моею.
«Заметьте, – сказал мне один пассажир,
Стоявший бок о бок со мною, –
Как этот таможенный прусский союз
Раскинулся сетью густою!
И этот союз, – продолжал он, – оплот
Народности нашей, и вскоре
Он разные мелкие части сольет
В большое немецкое море.
Он внешнее даст нам единство, сольет
Нас, как бы сказать, матерьяльно.
Духовную связь же цензура нам даст
Невидимо, но идеально.
Составится внутренний новый союз –
Единство и в мыслях нам нужно.
И будет Германия целой страной
Как внутренне, как и наружно».

29 октября 1897
Москва

Глава III

Средь Ахена в древнем соборе стоит
Великого Карла гробница.
У Карла же Майера в Швабии дом –
Не следует смешивать лица.
Но я не желал почивать бы, как Карл,
В гробнице в соборе огромном.
Как мелкий поэт предпочел бы я жить
На Неккаре в Штуккерте скромном.
На улицах Ахерна грустные псы
Взывают с глубоким смиреньем:
«Прохожий! Пожалуйста, дай нам пинка:
Он будет для нас развлеченьем!»
И в этом гнезде я бродил целый час,

Рассматривал зданья и стены
И как-то наткнулся на прусских солдат:
В них нету большой перемены.
Все прежний их серенький плащ, воротник
Высокий и красного цвета.
«Сей цвет знаменует французскую кровь!» –
Пел Кёрнер в минувшие лета.
Все прежний сухой, педантичный народ.
По-прежнему, в каждом движеньи
Видна угловатость, как прежде, лицо
Застыло в немом самомненьи.
Как прежде ходульны они, будто все
Из дерева сделаны, или
Как будто они проглотили тот хлыст,
Которым их некогда били.
Капральская палка вовек не умрет.
Она глубоко в них внедрилась.
И только их прежнее грубое «он»
Отеческим «ты» заменилось.
Усы их явились, как новый варьянт,
На смену к напудренным носам:
Что прежде болталось у них за спиной
Теперь оказалось под носом.
Не дурно придумано, я нахожу,
Та форма, что коннице дали,
Особенно каска: воинственный шлем
С заостренной шашкой из стали.
Он так поэтично и грозно глядит
И так романтически-дико,
Что нас переносит невольно к поре
Героев Уланда и Тика.
Мне чудились рыцари средних веков,
Теснились вассалы толпою,
И слуги, носившие верность в груди,
А щит и копье за спиною.
И чудились мне крестоносцы, бои
И дамы на пышном турнире.
Глубокой и искренней веры пора,

Ей нету подобного в мире.
Да! Каска мне нравится. Юмору в ней,
По-моему, скрыто немало,
Она результат королевских идей
И именно в точку попала.
Боюсь только я, что ее острие
Грозовые тучи притянет,
И над романтической каской гроза
Нежданно-негаданно грянет.
Да, впрочем, наверно, на случай войны
Убор и полегче найдется.
Уж слишком тяжелым окажется шлем,
Когда удирать им придется.
На вывеске Ахенской почты вверху
Та черная птица сидела,
Которую я ненавижу, и вниз
Со злобой в глаза мне глядела.
Проклятая птица! Хоть раз попадись
Ты в руки ко мне, с наслажденьем
Я б когти и перья твои обкорнал,
Твоим упиваясь мученьем,
Затем бы к шесту я тебя привязал
Поднял высоко над толпою
И рейнских стрелков отовсюду собрал
Потешиться меткой стрельбою.
Тому, кто проклятую птицу сшибет,
Кто будет в стрельбе победитель,
Надену венец я, – и грянет народ:
«Да здравствует наш повелитель!»

30–31 октября 1897
Москва

Глава IV

Уж поздно под вечер приехал я в Кёльн.
Там слушал я Рейна журчанье,
Воздух немецкий мне веял в лицо,

И это имело влиянье
На мой аппетит. Я поужинал там.
Яичницу ел с ветчиною
И жажду свою за столом утолял
Рейнвейна прозрачной струею.
Как прежде Рейнвейн золотистой струей
В зеленом бокале сверкает,
И если не выпьешь бокал весь за раз
То он тебе в нос ударяет.
И так упоительно колет в носу
Что с ним бы вовек не расстался...
...Я вышел на спящие улицы. Мрак
Над городом тихо сгущался.
Старинные зданья какие-то сны
В душе навевали невольно,
Вставали виденья седой старины
Священного города Кёльна.
Здесь некогда жизнь духовенства текла
Спокойно, смиренно и свято,
Жизнь темных людей, о которых писал
Нам Ульрих фон Гуттен когда-то.
Монахи с монашками здесь же канкан
Плясали чертям на отраду,
И Кёльнский Менцель-Гохстратен писал
Здесь пасквили, полные яду.
Здесь в пламени ярком пылавших костров
И книги, и люди горели.
И звон колокольный гудел, и под звон
«Κυριε ελεισον» все пели. –
Жестокость и глупость вступили здесь в брак
У всех на виду как собаки.
Про их нетерпимость теперь говорят
Их дети, рожденные в браке.
Смотри! Колоссальные стены встают
В дали, озаренной луною.
Угрюмо и мрачно ушли они в высь,
То Кёльнский собор пред тобою!
Бастилией духа он должен был стать.

Мечтали монахи из Рима:
«Здесь будет германская мысль изнывать,
В гигантской темнице томима».
Тогда пришел Лютер, и слово его
Как гром над землей прокатилось:
«Довольно!» И с этого самого дня
Постройка тюрьмы прекратилась.
Не кончен собор – знаменательный факт!
И тем грандиозней, прочнее,
Он памятник силе германской воздвиг
И с ней протестантской идее.
А вы – палачи! Вы бессильной рукой
Хотели бесстыдно и смело
Достроить развалины старой тюрьмы,
Окончить начатое дело!
Пусть я не дождусь! Напрасно лишь вы
Трясли кошельком, унижались,
Просили о помощи даже жидов!
Все происки тщетны остались.
И будет концерты великий Франц Лист
Давать в честь собора напрасно,
И будет без пользы стараться король
И так декламировать страстно.
Не будет окончен наш Кёльнский собор,
Хотя для постройки и сами
Премудрые швабы прислали сюда
Огромную барку с камнями.
Не будет окончен, хоть подняли крик
Вороны и совы ночные,
Которые любят хвалить старину
И прячутся в башни пустые.
И время такое наступит, что он
Не только не станет кончаться,
Но даже огромные залы его
В денник для коней превратятся.
«Но если в конюшню собор превратят,
То что же нам сделать такое
С тремя королями, которые там

В гробницах лежат на покое?»
Я слышу вопросы. Неужто ж в наш век
Придется и этим стесняться?
Не все ли равно трем восточным царям,
Где будут их кости валяться?
Совет мой упрятать всех трех королей
В три клетки (там место найдется),
Которые в Мюнстерской башне висят,
Она Санкт Ламберти зовется.
На случай же, если один пропадет,
Найдется ему заместитель.
И вместо царя из восточных краев
Очутится западный житель.

27 ноября 1897

Глава V

И так-то мечтая, пришел я к мосту,
Где были портовые зданья.
Там тихо струился наш батюшка Рейн,
Сверкая при лунном сиянии.
«Привет тебе, батюшка Рейн! Расскажи
Что было все время с тобою?
Как часто в далекой, чужой стороне
Тебя вспоминал я с тоскою».
Когда я умолк, из речной глубины,
Где глухо теченье боролось,
Послышался тихий, брюзжащий, глухой
Надтреснутый старческий голос:
«С приездом, голубчик, спасибо,
Что ты не забыл меня. Верно
Лет тридцать прошло, как не виделись мы,
Жилось в это время мне скверно.
Я в Бибрихе камни все время глотал
По порции каждые сутки,
А тут еще Беккер стихи написал,
Ужасная тяжесть в желудке.

Он пел мне о том, что я дива, что я
Невинною дивой остался,
С которой священный венец чистоты
Никем никогда не срывался.
Вот глупая песня! Когда я ее
Услышал – я так рассердился,
Что бороду рвал я, и если бы мог,
То сам бы в себе утопился.
Я вовсе не дива. Французам про то
Известно. В прошедшие годы
Не раз ведь сливались с моею водой
Французов победные воды.
Дурацкая песня и сам он дурак!
Он так надо мной рассмеялся,
Что мой политический прежний престиж
Теперь уж совсем подорвался.
Ведь мне, если снова французы придут,
Придется краснеть от смущенья
При виде их, – мне-то, который всегда
Молился об их возвращении.
Я так их любил всегда, милых моих
Французиков. Все ль щеголяют
По-прежнему в белых штанишках?
Все так же ль поют и играют?
А я бы охотно на них посмотрел.
Боюсь вот, что нам помешали
Различные сплетни об этих стихах,
Об этом проклятом скандале...
Какой-то мальчишка – Альфред де Мюссе,
Простой барабанщик их роты –
Теперь уже смеет смеяться и мне
Свои барабанит остроты».
Так батюшка Рейн недовольно ворчал,
Он был, очевидно, в волненьи.
Желая его успокоить, сказал
Тогда я ему в утешенье:
«Не бойся ты больше, мой батюшка Рейн,
Французских насмешек: французы

Далеко не то, чем ты прежде их знал
И носят другие рейтузы.
Штанишки их красного цвета теперь,
И даже застежки другие.
Уж больше не скачут они, не поют,
А думают думы большие.
У них философия нынче в ходу:
Все Кант или Фихте, да Гегель.
Все пьют они пиво, да курят табак,
Не прочь и от партии кегель.
Филистеры, словом, не хуже, чем мы,
А может, и хуже и гаже,
И вольтерьянцев не только уж нет,
Но есть Генгстенбергерцы даже.
Альфред де Мюссе, как ты сам же сказал –
Мальчишка, и брось все заботы,
Не бойся его: мы ему запретим
Печатать плохие остроты.
А если он снова сострит невпопад,
Мы сами ответим, и меток
Наш будет ответ про его же дела
У разных парижских субреток.
Итак, доброй ночи, мой батюшка Рейн,
Не слушай ты всякого вздора,
Я лучшую песню тебе пропою.
Прощай. Мы увидимся скоро.

30 ноября 1897
Москва

Глава VI

Вослед Паганини всегда, говорят,
Шел Spiritus Familiaris,
Имея то образ собаки, то вид
Покойного Георга Гаррис.
И к Наполеону являлся сей дух,
Пред каждым событьем печальным.

Сократ имел «демона». Демон тот был
Не бредом, а чем-то реальным.
И сам я, когда до глубокой ночи
Сидел за работой, порою
Видал, как какой-то закутанный гость
Стоял за моею спиною.
Он что-то держал у себя под плащом,
Что изредка странно блестело
И формой своей с топором палача
Какое-то сходство имело.
Как звезды, светились глаза у него,
Мощь виделась в крепком сложеньи.
Однако он ужаса мне не внушал
И молча стоял в отдаленьи.
Уж многие годы минули с тех пор,
Как видел я гостя немого,
Но вот в эту тихую лунную ночь
Средь Кельна мы встретились снова.
Блуждая вдоль улиц, я видел, что он
За мною идет в отдаленьи,
Как тень моя. Стоило только мне стать
Он тоже стоял без движенья.
Стоял без движения, будто бы ждал,
И шел ли я тихо иль скоро,
Он шел за мной следом. И так мы пришли
На самую площадь собора.
Я больше не вынес и, став перед ним,
Сказал: «Отвечай мне короче,
Зачем ты преследуешь всюду меня
В глубоком безмолвии ночи.
Тебя я встречаю всегда в те часы,
Когда в моем сердце родятся
Великие чувства, и мозг мой горит,
И мысли, как молнии, мчатся.
Ты смотришь так мрачно в упор на меня,
Скажи же мне: что ты скрываешь
В плаще, что так странно сверкает порой.
Кто ты? И чего ты желаешь?»
И он мне ответил, сквозь зубы цедя,

Сурово, слегка флегматично:
«Пожалуйста, брось ты меня заклинать
И так восклицать патетично!
Я вовсе не призрак прошедших времен
И вовсе не труп из могилы,
Терпеть не могу философии я,
Риторику ж слушать нет силы.
Я, в сущности, практик: я вечно молчу
И редко кого беспокою.
Но знай – что ты только замыслишь в душе,
Все будет исполнено мною.
Пред этим, быть может, и годы пройдут,
Но я утомленья не знаю,
В действительность грезы твои проводя.
Ты думаешь – я исполняю.
Ты будешь судьею, а я палачом,
И с рабской покорностью, слепо
Я тотчас исполню решенье твое,
Хотя б оно было нелепо.
Как консулы Рима в минувшие дни
Носили топор пред собою,
Так точно твой ликтор несет свой топор,
Но только несет за тобою.
Твой ликтор я сам, я всегда за тобой
Иду молчаливою тенью
С своим топором наготове. Так знай,
Я мыслей твоих исполненье!

20 декабря 1897,
апрель 1899

Глава VII

Вернувшись домой, я заснул, так заснул,
Как будто дитя в колыбели.
Да! Сладко в немецкой постели лежать,
Особенно в мягкой постели.
Как я о родимых перинах мечтал,

Какие терпел я страданья,
Когда я на жестких матрацах лежал
В бессонные ночи изгнанья.
На наших перинах так мягко лежать,
Витая в роях сновидений.
Немецкая мысль здесь лишь видит себя
Свободной от всяких стеснений,
Она так свободно взвивается ввысь
К пределам небесных владений,
Немецкая мысль! О, как горд твой полет
Во время ночных сновидений!
И самые боги, увидя тебя,
Бледнеют в сознаньи бессилья,
Сияние звезд затемняли не раз
Твои исполинские крылья.
Россия и Франция взяли себе
Всю землю, Британия – море,
А мы покорили себе царство снов
В безбрежном, воздушном просторе.
И здесь мы всесильны, здесь нечего нам
Бояться войны, нападенья –
Другие народы на ровной земле
Свои основали владенья.

И так я заснул, и пригрезилось мне,
Что снова на улице Кёльна
Брожу я при ярком сияньи луны,
В душе моей тяжко и больно.
И снова мой спутник, закутанный в плащ,
Идет в отдаленьи за мною.
Устал я, измучен. А мы все идем
Под этой блестящей луною.
Все дальше и дальше. И в сердце моем
Кровавая рана зияла,
И капля за каплею теплая кровь
Из раны на землю стекала.

Апрель 1899
Коктебель

* * *

Небо будничло и серо.
И в тумане расплываясь,
Скучный город смотрит в Эльбу,
В мутных водах отражаясь.
Здесь носы так длинны, скучны,
Все, сопя, туман вдыхают
И, торжественно краснея,
Победительно чихают.
Чудный юг! О, как люблю я
Твое небо и природу,
И хочу увидеть море
И хорошую погоду.

28 янв<аря> 1899

<Генрих>

Босиком, в одной рубашке,
Император Генрих, каясь,
На дворе стоит в Каноссе.
Ночь ненастна и дождлива.
А в окне старинной башни
Бледный месяц озаряет
Череп лысого Григория
И роскошный бюст Матильды.
Генрих бледными губами
«Отче наш» тихонько шепчет,
А в глубоком царском сердце
Дума зреет, думы бьются.
«Там, в земле моей немецкой,
Высоко поднялись горы,
А в глубоких горных шахтах
Для секир растет железо.
Там, в земле моей немецкой,
Лес разросся над горами
И в стволах высоких сосен
. . . .
Ты, народ мой, добрый, верный,
Ты родишь мне также мужа,
Кто моих злодеев козни
Размозжит своей секирой»...

<Ок. 14 января 1900>

* * *

Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где свободный веет воздух
И дышать свободней груди.

В горы, где синеют ели,
Звонки, зелены, могучи,
Воды плещут, птицы свищут,
И по воле мчатся тучи!

1901

НИКОЛАУС ЛЕНАУ

Трое

Спаслось из битвы трое их,
И путь их был так тих, так тих...
Из ран глубоких кровь текла,
Струя была красна, тепла
И с седел капала, дымясь,
Смывая конский пот и грязь.
Был тих и мягок шаг коней,
Чтоб кровь не шла еще сильней.
И идут все они сплотясь,
Едва, едва, в седле держась.
Один другим в лицо глядит,
Один другому говорит:
«Меня невеста будет ждать.
Как грустно – рано умирать».
«Меня же ждут лишь дом и двор,
А все ж конец мой слишком скор».
«Я одинок. Что вижу в даль,
Лишь то – мое. А жизни жаль».
И трое коршунов летят
И с высоты на них глядят.
И делят их: «Я съем его,
Ты съешь того, а ты – того».

<1897>

ФЕРДИНАНД ФРЕЙЛИГРАТ

Видение в пустыне

Это было ночью. Мы среди пустыни караваном стали.
У усталых коней на пращах широких бедуины спали.
Низких гор вершины при спокойном свете месяца блестели,
Да верблюдов кости, павших средь пустыни, вкруг меня
белели.
Я лежал усталый, на седло склонившись тихо головою.
Разостлав широко плащ свой над собой.
Около винтовка и копье валялось.
Всё кругом уж спало – только мне не спалось.
Тишь – немая! Лишь порою пламя треснет, задымится,
Лишь порою где-то крикнет заблудившаяся птица.
Лишь порой затопчат кони, в тишине переминаясь.
Лишь порою вскрикнет всадник, за копье свое хватаясь.
Вдруг земля поколебалась. Месяц вдруг покрылся тьмою:
Звери мчатся по пустыне беспорядочной толпою.
Пробудясь, вскочил погонщик и упал вдруг, как от раны,
И в испуге тихо шепчет: «Это духов караваны!»...
Да, они! Смотрите, мчатся! Сколько там их? Миллионы!...
На высоких седлах едут разнаряженные жены:
Вон рабыни с кувшинами, как библейская Ревекка.
Мчатся всадники стрелою, чрез пустыню прямо в Мекку.
Их всё больше, больше, больше! Снова толпы прибывают.
Боже мой! Немые кости вид животных принимают!
Даже там, где раньше только лишь песок ложился в груды,
Возникают вдруг из праха люди, кони и верблюды!
Эту ночь, когда все те, что здесь в пустыне погибали,
Чьи рассыпанные кости мы вчера еще топтали
И чей прах носился ветром, здесь гулявшим на раздолье,
Возрождаются и мчатся в град святой на богомолье.
Цепь теней растет все больше! Так конца не видно было,

А другие вспять уж мчатся, отпустив коня удила.
От Гвинейского залива и до скал Бабельмандеба
Через всю пустыни мчатся тени мрачного Эреба.
Не робей! Держите коней! Бог нам сила и ограда!
Не дрожите, как пред тигром, перепуганное стадо.
Предоставьте их одеждам по пустыне развеваться,
Крикни: «Алла!» – и тотчас же мимо нас они промчатся!
Только станет мрак в пустыне от зари рассеиваться –
Эти призраки ночные снова в тени обратятся.
Чу! Светает! Меркнут звезды, слышно ветра трепетанье,
И в пустыне раздается коней радостное ржанье!

20 февраля 1895
Феодосия

Месть цветов

На подушках белоснежных
Дремлет девушка спокойно.
Сон глубок. Глаза закрыты,
На щеках румянец знойный.
Рядом с ней в красивой вазе,
Изукрашенной богато,
Целый сноп цветов роскошных,
Свежих, полных аромата.
Жарко! В комнате повсюду
Духота и зной разлиты,
Небо гонит прочь прохладу:
Окна плотно все закрыты
Тишина... Кругом ни звука!
Тише, чу! Вот легкий шепот.
По ветвям и меж цветами
Пробегает шелест, ропот...
Вот из чашечек цветочных
Тихо духи выплывают
Все одеты легкой дымкой,
Всех короны их венчают.
Из пунцовой, яркой розы
Вышла дама. Как волною
Вьются локоны, и жемчуг
Перемешан в них с росою.
Из цветка зеленой Дафны
Вышел витязь с видом смелым,
С небольшим мечом блестящим
И пером сребристо-белым.
Из широких белых лилий,
Из цветов болотной тины

Вышли девушки в одеждах
Из тончайшей паутины.
Из большой чалмы турецкой
Вышел негр, видом строгий.
На его тюрбане ярком
Месяц светится двурогий.
Из короны королевской -
Царь со скиптром, весь сверкая,
А из ирисов красивых
Егерей толпа большая.
Из нарцисса – грустный мальчик,
Весь покрыт росой блестящей.
Он направился к постели
И прильнул устами к спящей.
А за ним другие духи
Стали вкруг ее постели,
И летали и кружились,
И так грустно, грустно пели:
«Ты нас вырвала жестоко
Из земли нашей родимой.
Здесь в неволе, в тесной вазе,
Увядать осуждены мы.
О, как сладко и спокойно
Мы в саду благоухали,
И лучи сквозь ветви сада
Горячо нас целовали.
Как любили нас зефиры,
Наши венчики ласкали.
Мы, как эльфы, часто ночью
В лунном свете танцевали.
Нас роса тогда кропила,
Оживляли волны света.
Мы умрем, но мы сначала
Отомстим за это!»
Пенье смолкло. Неподвижно
В вазе, убранной богато,
Спят цветы. Кругом молчанье,

И струятся ароматы.
Снова шепот! Щеки спящей
Яркой краскою покрыты.
Духи реют и струится
Прежний запах ядовитый.
Когда первый проблеск света
Сквозь окно проник свободно –
Все исчезло. На постели
Труп покоился холодный.
И заря блестящим светом
Край щеки озолотила.
Спи среди сестер увядших!
Месть цветов тебя убила.

3 июля 1895 года
Коктебель

* * *

Люби, пока любить ты можешь!
Люби, пока еще живешь!
Но час придет – и над могилой
Ты слезы горькие прольешь.

Старайся в сердце сохранить
Свою любовь на старость лет,
Покамест в мире сердце есть,
Что бьется радостно в ответ.
И если кто свою любовь
Тебе отдаст – ты сделал все,
Чтоб каждый миг с тобой и час
Был в жизни лучшим для него.
И строго взвешивай слова:
Ведь сделать больно так легко–
Сказал шутя, а он уйдет,
Тобою ранен глубоко.

Люби, пока любить ты можешь!
Люби, пока еще живешь!
Но час придет – и над могилой
Ты слезы горькие прольешь.

И станешь ты, потупя взор,
Там, над могилою его.
И станешь ты его искать,
Но не увидишь никого.
И скажешь: «О, взгляни сюда!
Я плачу здесь один, грустя...
Прости за то, что сделал я –

То было сказано шутя».
Но он не слышит, не придет
Опять обнять тебя, любя,
И не промолвит никогда,
Что он простил уже тебя.
Он это сделал. Он тебя
Простил от всей души давно.
Но тише! Он уже достиг
Всего, что в жизни нам дано...

Люби, пока любить ты можешь!
Люби, пока еще живешь!
Но час придет – и над могилой
Ты слезы горькие прольешь.

26 апреля
1887

Старые, знакомые лица

Когда-то много я имел товарищей, друзей
Во время детства моего, в дни юности моей.
Теперь их нет, давно уж нет знакомых, старых лиц.
Тогда был весел, счастлив я, так много я мечтал,
Так часто ночью средь друзей безумно пировал.
Их больше нет, давно уж нет знакомых, старых лиц.
И я любил. Она была так чудно хороша!
Где ты теперь? Твоя уж дверь закрыта для меня.
Их больше нет, давно уж нет знакомых, старых лиц.
Был у меня и верный друг. Кто лучшего имел?
Жестоко бросил я его, ему отдав в удел
Сидеть и грустно вспоминать знакомых, старых лиц.
И годы детства моего я мыслью пробегал –
Пустыней мне казался мир, в котором я блуждал,
В котором я с такой тоской искал знакомых лиц.
О, друг мой! друг! О, если б ты мне был бы брат родной,
Тогда бы, может, я сидел теперь опять с тобой.
Сидел с тобой и вспоминал знакомых, старых лиц.
Одни ушли, одни со мной порвали навсегда.
Иные умерли... Их всех увижу ли когда?
Их больше нет! Давно уж нет знакомых, старых лиц!

12 ноября 1895
Феодосия

Мираж

«Мой взор скользит между судов, стоящих в гавани кругом,
А ты любуешься, смеясь, моим беретом и пером».
«Я так люблю тебе внимать под равномерный всплеск весла
О той стране, что для тебя когда-то матерью была».
«Ну, хорошо! Склонись ко мне на грудь своею головой.
Сомкнулись веки, сон слетел... Смотри – пустыня пред тобой.
Вон шалаши, вон тот народ, в котором был и я рожден.
Пустынный край! Печальный край! Палящим солнцем выжжен он.
Кто едет там, чрез страны львов? Чей след оставлен на песке?
То караван из Тимбукту. Вот блещут копья вдалеке,
Знамена веют и сквозь пыль сияет пурпур золотой,
И важно шествует верблюд с своею гордой головой.
Они идут, теснясь толпой, песок вздымая золотой,
И вот уж их закрыла даль своей туманной пеленой.
Ты можешь их догнать легко: их путь далек, их след широк.
Но что там видно на земле сквозь ветром взвеянный песок?
Смотри: как камень межевой, лежит оставленный верблюд.
Над трупом коршуны кружат и жадно пищу клювом рвут.
Они устроили здесь пир. А там подальше, средь песку,
Лежит тюрбан – его араб здесь обронил на всем скаку.
А вон кустарник – он обвит какой-то белой пеленой.
Вон мех разорванный лежит... Но кто там? Кто это ногой
Так топчет мех? Глаза горят... Зачем его так страшен вид?
Зачем он здесь? То смуглый шейх пределов Билед-уль-Герид.
Он замыкал весь караван; но конь издох и он забыт...
Его любимая жена в его руках без чувств лежит.
Как чудно взор ее сверкал, когда он в путь пускался с ней.
Теперь... теперь... Ужасный вид! Одни среди немых степей.
Песок горячий, что в ночи своею гривой лев метет –
Теперь метет ее коса; песок ее колени трет;

Песок забился в волоса; песок наполнил уши, рот;
И тело нежное ее своим дыханьем ветер жжет.
И сам эмир уж изнемог, не в силах вынести борьбу;
Неверен шаг, померкнул взор и жилы вздулися на лбу.
С горячей, страстною тоской к ее устам он вновь припал
В последний раз, и на песок с проклятьем бешеным упал.
Она очнулась и глядит: «О Боже! где я? Милый мой,
Ты спишь? Смотри, небесный свод висит над нами как стальной.
Где желтизна немых пустынь? И бледный свет кругом разлит...
То свет от моря, что вблизи алжирских скал всегда шумит.
Оно сияет, как поток – прохладный, влажный и сырой;
Оно как зеркало блестит. Вставай! То Нил перед тобой!
Но нет! Мы шли тогда на юг! Так это, верно, Сенегал!
А может, море! Слышишь, бьет о твердый берег тяжкий вал.
Но все равно! Вставай, идем! Там есть вода! Скорей, скорей!
Проснись! Вода потушит жар холодной влагою своей.
Струя холодная воды нас снова к жизни возвратит.
Смотри – то Фесте вдалеке с своими башнями блестит.
Вон у сереющих ворот по ветру веют знамена!
Вон минареты; вон видна вдали зубчатая стена;
Вон там, на рейде целый ряд высокомачтных кораблей,
А вон наш прежний караван: ряды верблюдов, лошадей...
Язык горит! Мой милый, встань! Уж близко ночь! Идет туман».
И угасавший, мутный взор вновь поднял он: «Мираж! Обман!
Потеха духов», – сорвалось с его засохших бледных губ.
Он замолчал. Мираж исчез. Пред ней лежал холодный труп.

Так мавр с восторгом говорил о бедной родине своей.
И Дездемона, преклонясь на грудь вождя, поток речей
Ловила жадно. И, пристав, он выйти ей спеша помочь,
В дворец Брабанцио повел его единственную дочь.

27 февраля 1896
Феодосия

Негритянский князь

В долину спускалося войско его.
Сияла повязка на лбу у него,
И львиная шкура свисала с плеча,
Вкруг били литавры, угрозой звуча
Над этой могучей и дикой толпой...
Запястьем украшенной, черной рукой
Он милую обнял и молвил шутя:
«Готовься к грядущей победе, дитя!
Вот чудные перлы тебе я принес,
Вплети их меж черных кудрявых волос,
Где море шумит у коралловых скал,
Их в бездне отважный пловец отыскал.
Вон страуса перья. Ты их белизной
Украсишь свой черный убор головной.
Укрась и палатку... Чтоб ужин нас ждал!
И влагой наполни победный бокал!»

Откинулся полог палатки пред ним
И, ярко сверкая доспехом своим,
Он вышел свободен, красив и могуч,
Так месяц, сияя, выходит из туч.
Навстречу восторженный ропот летит,
И ржанье коней, и топот копыт.
Сердца верных негров навстречу летят
И Нигера волны приветно шумят:
«Веди нас к победе, веди нас на бой!»

С утра и до ночи нестройной толпой
Сражалися негры. И звуки трубы
Их вновь возбуждали для новой борьбы.
Скрывается лев, уползает змея

Под гром барабана. На солнце блестя,
Как символы смерти летят знамена,
И кровью покрылась пустыни желтизна...

Так поле сраженья шумит и гремит.
Она ж ему пир приготовить спешит.
Цветами палатку его убрала,
В бокал его пальмовый сок налила,
Жемчуг, что морская волна родила,
В роскошные косы свои заплела.
И села у входа в невольной тоске,
Внимая, как битва гремит вдалеке,
Не слышит, как солнце палит с высоты,
Не видит, как тихо увяли цветы...

Уж солнце садится... Спускается мрак.
Роса серебрится. Мерцает светляк,
Вечерней прохладой дышать через ил
На берег пологий ползет крокодил...
В пустыне раздалось рыкание льва...
Слон вышел к реке... Зашуршала трава...
Жираф быстроногий сокрылся в кусты...
Сомкнулись ресницы... Закрылись цветы...
Она в ожиданьи глядит и дрожит...
И видит: израненный негр к ней бежит.
«Погибла надежда! Потерян наш бой!
Врагами захвачен возлюбленный твой
И белыми куплен!»
На землю упав,
И черные косы свои растерзав,
Она зарывала в безумной тоске
Горячие щеки в горячем песке...

Широкая площадь шумит и гудит,
И к цирку народные волны катит.
Под общим напором дрожит балаган,
Паяц балагурит и бьет барабан.

Скорее! Скорее! Все рвутся туда.
Там всадники скачут туда и сюда,
Наездниц сверкает блестящий наряд,
И статные кони галопом летят.
У самых дверей, где завеса висит,
Угрюмым, нахмуренный негр там стоит,
Упорно и злобно он бьет в барабан,
Обтянутый шкурою льва. Обуян
Тяжелою думою, он не глядит
Как платье воздушных наездниц блестит.
Сурово поникла его голова –
Он смотрит на шкуру сердитого льва...

И видит он... Нигер струится вдали...
По синему морю бегут корабли...
Что снова идет на врагов он войной,
Что будто он снова вернулся домой...
Она же цветы для него принесла,
И жемчуг в тяжелые косы вплела.
И в гневе бессильном, тоской обуян,
Он злобным ударом прорвал барабан...

8 апреля 1896
Феодосия

ДЖОН ГЕНРИ МАККЕЙ

* * *

Оставил я город, и дом, и людей
И вышел на волю широких степей,
Которых дыханье столиц не мертвит,
Где путь мой свободный в тумане бежит.
За долгие месяцы в первый лишь раз
Огонь пожирающий пытки угас,
Исчезли и цепи, и страшные сны
И веет дыханье немой тишины.
А сзади остались погибшие годы
Потерянной жизни, разбитой свободы,
Скитаний средь скучной людской суеты
Без смысла, без цели, без дум, без мечты.
Нас прежде покрыла полночная тень,
Чем мы увидали ликующий день
И скользким в их жизненном долгом скитаньи
Ни разу лучом не светило сознанье,
Ни разу в течение жизни своей
Они не свернули с избитых путей!..

<1900>
Берлин

ГЕРХАРТ ГАУПТМАН

Из «Ганнеле»

Странник

Блаженная страна – огромный чудный град,
Где дружба и любовь и вечный мир царят.

(*Звуки арф, сначала тихие, потом полные и звучные.*)

Там зданья из мрамора, золотом крыша горит,
Вино в водоемах пурпурной струею журчит.
По улицам белым рассыпаны всюду цветы,
И свадебный звон колокольный там вечно звучит с высоты
Торжественных башен, зеленых как май молодой,
Облитых зарею вечерней, обвитых гирляндой цветной.
Двенадцать прекрасных и белых как снег лебедей
Кружатся над ними в звучащей одежде своей
И смело несутся все выше в цветущий лазоревый мир,
Могучим крылом рассекая металло-звучащий эфир.
В ликующем, вечном стремлении они все летят и летят,
Как арфы далекие звуки их белые крылья звучат,
Все вечно стремятся к Сиону, встающему в дали морской,
И бледно-зеленую дымку влекут они вслед за собой.
Внизу же сплетаясь руками и слившись душою вполне,
Там празднично-светлые люди проходят по чудной стране.
Широко, широко там море, краснеет краснее вина,
И люди спускаются в море, в него погружаясь до дна.
И их лучезарные члены купаются в пене морской,
И пурпур их всех омывает от грязи и скверны людской.
И гордо сияет и блещет их тел неземных красота,
Они же, ликуя, выходят, омытые кровью Христа.

Теперь Странник оборачивается к ангелам, которые уже закончили свою работу. С робкой радостью и благоговением они обступают их и образуют полукруг около Ганнеле и Странника.

Полотна тонкие несите вы, малютки.
Голубки кроткие, летите поскорей
И оберните это слабенькое тело
Так изнуренное и жаром и ознобом;
Касайтесь нежно, чтоб не сделать больно,
И легко рея на простертых крыльях
Несите вы ее, травы едва касаясь,
Под мягко-трепетным мерцанием луны,
Сквозь сонные благоухания цветов,
Пока ее прохлада храма не обвеет.

(*Маленькая пауза.*)

Пока она лежит на шелковой постели,
Там в ванне мраморной скорей смешайте воду
Из горного ручья с пурпуровым вином,
Чтоб чистою волной обмыть ее болезнь.
Сорвите ветви вы цветущие с кустов:
Жасмин, сирень, облитые росою
Ночной, чтоб влага светлых капель
Душиста и свежа дождем ее кропила.
Возьмите нежный шелк и член за членом
Как листья лилии тихонько осушите
Из чаши золотой вином из сока фруктов,
Надавленных туда, ее вы подкрепите.
И землянику, теплую от солнца,
Малину, полную приятно сладкой кровью,
Пушистый персик, золотистый ананас,
И желтые большие апельсины
Вы принесите ей на блюдах драгоценных.
Пусть яствами она насытится, а сердце
Ее пусть празднует рассвет иного утра.
Пусть взор ее любуется дворцами,
Пусть бабочки, пестрея и сверкая,
Кружатся перед ней на зелени балконов,
И пусть идет она по белому атласу
Чрез гиацинты и тюльпаны... А над нею,
Склоняясь, шепчутся зеленых пальм короны,
И отражается весь мир в стенах зеркальных.

Утешьте взор ее полями красных маков,
Где в первых проблесках алеющего утра
Играют духи золотым мячом,
А сердце нежной музыкой обвейте.

Ангелы

(поют громче)

Мы уносим тебя в неизвестное,
Баюшки-баюшки, в царство небесное,
Баюшки-баюшки, в царство небесное

Во время пения ангелов сцена темнеет. Из темноты все слабее и слабее, все отдаленнее и отдаленнее слышится пение. Затем становится опять светло, и видна комната богадельни, где всё то же, что и было до появления первого видения. Ганнеле – бедное больное дитя лежит опять в постели. Доктор Вахлер нагнулся к ней с стетоскопом. Диакониса, держа свечу, тревожно наблюдает за ним. Только теперь пение замолкает.

Доктор Вахлер

(выпрямляясь)

Вы правы.

Сестра Марта

Умерла?

Доктор

(печально склонив голову)

Да, умерла.

<1898>

Из «Потонувшего колокола»

Между камнями и травами, там, далеко в глубине,
Колокол дремлет на дне.
Кверху подняться желая,
Света он жаждет. Несется, блестя,
Рыбок сребристая стая.
Самая младшая дочка моя
Около вьется, в немой тишине,
Плачет, боится и кружится вновь.
Колокол что-то лепечет во сне.
Будто во рту его кровь.
Подняться он хочет, стряхнуть с себя сон.
О, горе, когда прозвучит его звон!

<*1900*>

ПЕРЕВОДЫ ИЗ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ АВТОРОВ

* * *

Шумя, за волною катилась волна.
«Как жизнь быстротечна», – сказала одна.
«Чем жизни короче – короче печали», –
Волны другие кругом отвечали.

10 октября <1894>

* * *

Мягкий свет. Луна
Над спокойным морем.
А душа полна
Безотчетным горем.
Да и ты сама,
Как оно, красива,
Как оно страшна
И всегда фальшива!

21 августа 1895
Феодосия

КОММЕНТАРИИ

Четвертый том Собрания сочинений Максимилиана Волошина включает вышедшие при его жизни переводные книги («Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы», Поль де Сен-Виктор – «Боги и люди», Анри де Ренье – «Маркиз д'Амеркер»), а также переводы с французского, печатавшиеся в составе авторских книг Волошина (Ж.-М. де Эредиа, С. Малларме) и в периодических изданиях или альманахах и не опубликованные при жизни Волошина (по текстам, сохранившимся в его архиве). В отдельный раздел выделены юношеские переводы (преимущественно из немецких поэтов), выполненные Волошиным в 1890-е годы. В том не вошли переводы, не завершенные Волошиным, – рассказы «Святой Сатир» Анатоля Франса (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 408) и «Гермократ» Анри де Ренье (там же, ед. хр. 432).

Условные сокращения

Адамантова – *Адамантова В.* Поэтика перевода М.А. Волошина. New York; Ottawa; Toronto: Legas, 1993. (С. 245–306: Приложение: Неопубликованные переводы М.А. Волошина).

БВ – газета «Биржевые ведомости» (Санкт-Петербург–Петроград).

БП – *Волошин М.* Стихотворения и поэмы / Сост. В.П. Купченко и А.В. Лавров. СПб.: Наука – Петербургский писатель, 1995. (Б-ка поэта. Большая сер. Изд. 3-е).

Верхарн-16 – *Верхарн Э.* Окровавленная Бельгия / Авториз. пер. с фр. Н. Кончевской с предисл. авт. к рус. изд.; стихи переведены М. Волошиным. М.: А.А. Левенсон, 1916.

Верхарн-19 – *Верхарн Э.* Стихотворения / Пер. и предисл. М. Волошина. Одесса: Омфалос, 1919.

Гейне-1 – *Гейне Г.* Собр. соч. В 10 т. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1956. Т. 1.

Гейне-2 – *Гейне Г.* Собр. соч. В 10 т. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1957. Т. 2.

Гейне-3 – *Гейне Г.* Собр. соч. В 10 т. М.: Гос. изд-во худож. литературы, 1957. Т. 3.

ГИМ – Государственный Исторический музей. Отдел письменных источников (Москва).

ГЛМ – Государственный Литературный музей. Отдел рукописей (Москва).

ЕРО-76 – сб. «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год». Л.: Наука, 1978.

Из лит. наследия-1 – сб. «Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. I». СПб.: Наука, 1991.

Из лит. наследия-2 – сб. «Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. II». СПб.: Алетейя, 1999.

Из лит. наследия-3 – сб. «Максимилиан Волошин. Из литературного наследия. III». СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.

ИМЛИ – Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Отдел рукописей (Москва).

ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

ЛН. Т. 98. Кн. 2 – Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М.: Наука, 1994. Кн. 2. С. 251–399 (Переписка <В.Я. Брюсова> с М.А. Волошиным (1903–1917). Вступ. статья, публ. и коммент. К.М. Азадовского и А.В. Лаврова).

ЛТ – *Волошин М.* Лики творчества: Книга первая. СПб.: Издание «Аполлона», 1914.

ЛТ-88 – *Волошин М.* Лики творчества / Изд. подготовили В.А. Мануйлов, В.П. Купченко, А.В. Лавров. Л.: Наука, 1988. (Серия «Литературные памятники»).

Посев – «Посев. Одесса – Поволжью: Лит.-критич. и науч.-худож. альм.». Одесса: Всеукр. гос. изд-во, 1921.

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).

РЛ – журнал «Русская литература» (Ленинград–Санкт-Петербург).

РНБ – Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редкой книги (Санкт-Петербург).

СиП-2 – *Волошин М.* Стихотворения и поэмы / Под ред. Б.А. Филиппова, Г.П. Струве и Н.А. Струве при участии А.Н. Тюрина. Paris: YMCA-Press, 1984. Т. 2.

Стих. – *Волошин М.* Стихотворения: 1900–1910. М.: Гриф, 1910.

Труды и дни – *Купченко В.П.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002.

Тт-1 – творческая тетрадь Волошина (стихи 1903–1907, ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 5).

Тт-2 – творческая тетрадь Волошина (стихи 1907–1918, ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 6).

Тт-3 – творческая тетрадь Волошина (стихи 1919–1931, ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 7).

ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО

Эмиль Верхарн (1855–1916)
Emile Verhaeren

Верхарн: Судьба. Творчество. Переводы. Печатается по изданию: *Волошин М.* Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы. М.: Творчество. 1919.

Творчество и личность Эмиля Верхарна привлекали Волошина на протяжении многих лет. Возникновению его интереса к этому бельгийскому поэту в немалой степени способствовало их личное знакомство на банкете, устроенном в честь Верхарна парижским журналом «La Plume» (начало 1904). К этому году относятся и первые переводы Волошина из Верхарна; последние же выполнены в 1917. Большинство их в этот период было опубликовано, по преимуществу, в журналах и газетах. Позднее Волошин решил объединить их в одной книге, сопроводив эту своеобразную антологию необходимыми пояснениями и очерком жизни и деятельности Верхарна. Вскоре (в 1919) книга эта появилась, причем в двух вариантах, с разными титульными листами: первый по времени увидел свет в Одессе (издательство «Омфалос»), второй – в Москве (издательство «Творчество»). По своему составу эти издания почти не отличались: помимо переводов (в первом случае их было 19, во втором – 18), оба они включали в себя вводный очерк, «биографические даты» и «предварение о переводах», в котором Волошин обосновывал свои переводческие принципы – применительно к поэзии Верхарна и вообще.

На выход в свет московского издания названного сборника (в ряду «книг о Верхарне») откликнулся В. Брюсов, которому тема эта была весьма близка. «Верхарн, – писал он, – прочно вошел в русскую литературу, сроднился с ней, нашел в России широкий круг читателей, поклонников, последователей и подражателей. На русскую поэзию Верхарн оказал не меньшее влияние, чем самые выдающиеся наши поэты, и "верхарновские" ноты, "верхарновская" манера письма постоянно встречаются в стихах наших молодых поэтов. Можно сказать, что русская литература ассимилировала, усвоила себе Верхарна, как раньше Шиллера, Байрона, Гейне и некоторых других». Что же касается собственно труда Волошина, то о переводах его Брюсов отозвался более чем холодно; «вступительный очерк» же был, по его мнению, лишен новизны и оригинальности, хотя и давал «неосведомленному читателю достаточно полное понятие, кто

был Эмиль Верхарн и что он написал» (Художественное слово. 1920. № 1. С. 55–56).

Судьба Верхарна

[1] *Англия ∾ повесила лучших ирландских поэтов.* – После подавления английскими властями ирландского национального восстания (1916) за участие в нем были казнены поэты Патрик Генри Пирс, Томас Мак-Донах и Джозеф Мери Планкетт.

[2] *Война открылась смертью Жореса...* – Жан Жорес (1859–1914) – французский политический деятель, лидер социалистического движения, пацифист – был убит 31 июля 1914.

[3] *Вивиани* Рене (1863–1925) – французский политический деятель, один из руководителей социалистической партии; министр труда (1863–1910), премьер-министр (с июня 1914 по октябрь 1915).

[4] *Леметр* (Лемэтр) Жюль (1853–1914) – французский писатель и литературный критик.

[5] *Реми де Гурмон в последней своей книге...* – Речь идет о книге «В бурю» («Pendant l'orage», 1915) французского писателя и критика Реми де Гурмона (1860–1915).

[6] *...в музее Гиме.* – Парижский музей восточного искусства, основанный лионским коллекционером Эмилем Гиме.

[7] *«На половине жизненной дороги»...* – Начальная строка «Божественной Комедии» Данте.

[8] *«Городок С.-Аман, – говорит его биограф Базальжет ∾ Северного моря».* – Леон Базальжет (1873–1929) – французский литературный критик. Цитата из его очерка: *Bazalgette L.* Emile Verhaeren. Paris: Sansot, 1907. P. 9–10.

[9] *Так, Реми де Гурмон ∾ заревом пожара».* – Серия цитат из «Литературных прогулок» (*Gourmont R. de.* Promenades littéraires. Paris: Société du «Mercure de France», 1904. P. 216–227).

[10] *...кермессами.* – Т. е. праздниками в честь местных святых в Голландии, Бельгии и на севере Франции.

[11] *...Мариус-Ари Леблоны ∾ Альбой».* – Мариус-Ари Леблон – коллективный псевдоним французских писателей Жоржа *Атена* (1877–1955) и Эме *Мерло* (1880–1958); цитируется: *Leblond Marius-Ary.* Emile Verhaeren. La survivance flamande de l'Espagne // Mercure de France. 1904. Février. T. XLIX. № 170. P. 304–306. *Карл V* (1500–1558) – испанский король с 1516, император Священной Римской империи с 1519; отрекся от престола в 1556. *Филипп II* (1527–1598) – испанский король с 1519. *Эскуриал* – дворец-монастырь близ Мадрида; усыпальница испанских королей. *Галион* – вид галеры, старинного многовесельного судна, на котором гребцами были невольники. *Артевельде* Якоб ван (1290–1345) – вождь революционного правительства г. Гента (Фландрия). Герцог *Альба* (1507–1582) – испанский полководец, правитель Нидерландов.

[12] *Иорданс* Якоб (1593–1678) – фламандский художник.

[13] *Ван Остаде* (Ван-Стид) – фамилия двух голландских художников, братьев Адриана (1610–1685) и Изаака (1621–1649).

[14] *Ван Эйк* (Ван-Ейк) Ян (ок. 1390–1441) – нидерландский художник.

[15] *Мемлинг* Ханс (ок. 1440–1494) – нидерландский художник.

[16] *...апокалиптическим Патмосом этих видений.* – Согласно легенде, на этом греческом острове было создано Откровение Св. Иоанна Богослова (Апокалипсис).

[17] *Екклезиаст* – «Книга Екклесиаста или Проповедника», входящая в Ветхий Завет; здесь в переносном смысле.

[18] *Св. Игнатий (Лойола;* 1491–1556) – основатель ордена иезуитов; канонизирован католической церковью (1622).

[19] *«Видение Верхарна ∾ Танкред де Визан ∾ состоянием».* – Танкред де *Визан* (1878–1945) – французский литературный критик; предположительно цитируется: *Visan T. de.* Sur l'œuvre de Verhaeren // Vers et prose, III, 1905. P. 98–112.

[20] *«Одна из оригинальных черт ∾ Боссюэта ∾ чисто словесного красноречия».* – Цитируется этюд, упомянутый в примеч. 11. *Боссюэ* (Боссюэт) Жак Бенинь (1627–1704) – французский писатель и историк.

[21] *В предисловии к своей последней (прозаической) книге ∾ могилы для мертвых»...* – Речь идет о книге «Окровавленная Бельгия» («La Belgique sanglante» 1915); цитируются «Посвящение» («Dédicace») и гл. «Преступления» («Les Crimes»).

[22] *...смерть ∾ под колесами поезда...* – Верхарн погиб 26 нояб. 1916 в результате несчастного случая в Руане.

[23] *...германская кровь была органически смешана с латинской...* – Отец Верхарна был фламандцем, мать – француженкой.

Переводы

Человечество. Русь. 1905. 14 авг. № 188. -- Стих. С. 34–35. -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-1, л. 44, с датой: 30 июня <н. ст.>.

«Humanité». Сб. «Вечера» («Les Soirs», 1888).

Вольный перевод, первоначально отнесенный самим Волошиным к «воспоминаниям» о Верхарне; см. письмо к А.М. Петровой из Парижа (1 июля 1905 <н. ст.>) с текстом стихотворения (Из лит. наследия-1. С. 174–175). Обращение к этому стихотворению было вызвано революционными событиями в России.

Ужас. Русь. 1907. 1 янв. Илл. прилож. № 1.-- Стих. С. 34. -- Верхарн-19.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 409, л. 7–8. Первоначальное заглавие – «Страх». Перевод выполнен в марте 1904 (см.: БП. С. 669. № 404).

«La Peur». Сб. «Видения на моих путях» («Les Apparus dans mes chemins», 1891).

На север. Двадцатый век. 1906. 5 апр. № 10. -- Стих. С. 29–30. -- Верхарн-19.

Автографы: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 409, л. 5, 12, 13. Перевод выполнен в марте 1904 (см.: БП. С. 669. № 405).

«Au nord». Сб. «Лозы моей стены» («Les Vignes de ma muraille», 1897).

Осенний вечер. Русь. 1907. 1 янв. Илл. прилож. № 1. -- Стих. С. 32–33. -- Верхарн-19.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 409, л. 9.

«Soir d'automne». Сб. «Лозы моей стены» («Les Vignes de ma muraille», 1897).

Ноябрь. Русь. 1907. 1 янв. Илл. прилож. № 1. -- Стих. С. 31–32. -- Верхарн-19.

Автографы: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 409, л. 1–3, 4, 6. Перевод выполнен в марте 1904 (см.: БП. С. 669. № 406).

«Novembre». Сб. «Обочина дороги» («Les Bords de la route», 1891).

Декабрь. Верхарн-19.

Перевод датируется предположительно: 1904 (см.: БП. С. 670. № 409).

«Décembre». Сб. «Двенадцать месяцев» («Les Douze mois», 1895).

Святой Георгий. Верхарн-19.

«Saint-Georges». Сб. «Видения на моих путях» («Les Apparus dans mes chemins», 1891).

Он на челе несет сверканье мира... – Здесь *миро* – ароматическое масло, употребляемое в церковных обрядах.

Статуя: Монах. Русская Мысль. 1917. № 2. С. 125–126 (1-я паг.). -- Верхарн-19.

Автограф – Тт-2, л. 147 об. Датируется концом 1916 (см.: БП. С. 670. № 410).

«Une Statue». Сб. «Города-спруты» («Les Villes tentaculaires», 1895).

Город. БВ. 1917. 6 (19) янв. Утр. вып. № 16022 (под заглавием «Город-спрут»; рубрика «Критика и библиография»). -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 140 об.–141, с датой: 19 29/XI 16. Коктебель.

«La Ville». Сб. «Бред полей» («Les Campagnes hallucinées», 1893).

Душа города. Красное знамя. 1917. № 3/4, июнь. С. 64–67. -- Страна. 1918. 3 мая (20 апр.) № 31, под заглавием «Души городов». -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 144 об.–146, с датой: 19 2/XII 16.

«L'Ame de la ville». Сб. «Города-спруты» («Les Villes tentaculaires», 1895).

Города. Верхарн-19.

Датируется летом 1917 (см. упоминание перевода в письме Волошина к В.Я. Брюсову от 7 сент. 1917: ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 384).

«Les Villes». Сб. «Буйные силы» («Les Forces tumultueuses», 1902).

Толпа. Красное знамя. 1917. № 3/4, июнь. С. 62–64. -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 149. Датируется: 1917 (см.: БП. С. 670. № 416).

«La Foule». Сб. «Лики жизни» («Les Visages de la vie», 1899).

Завоевание. БВ. 1917. 28 мая (10 июня). Утр. вып. № 16254 (рубрика «Искусство в дни Революции»). -- Красное знамя. 1917. № 3/4, июнь. С. 68–70. -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 143–144, с датой: 19 30/XI 16 Коктебель.

«La Conquête». Сб. «Многоцветное сияние» («La Multiple splendeur», 1906).

Микельанджело. Верхарн-19.

Датируется 9 мая 1917 (см.: БП. С. 670. № 415)..

«Michel-Ange». Сб. «Державные ритмы» («Les Rythmes souverains», 1910).

Дерево. Русская Мысль. 1917. № 2. С. 121–123 (1-я паг.). -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 142–143, с датой: 19 23/XI 16 Коктебель.

«L'Arbre». Сб. «Многоцветное сияние» («La Multiple splendeur», 1906).

Любовь. Русская Мысль. 1917. № 2. С. 123–125 (1-я паг.). -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 146 об.–147, с датой: 19 4/XII 16.

«Amours». Сб. «Вся Фландрия. II. Гирлянда дюн» («Toute la Flandre. II. La Guirlande des dunes», 1907).

К Бельгии. Верхарн-16. С. 145–148. -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 126, с датой: 19 28/VIII 15 <н. ст.>.

«A la Belgique». Сб. «Окровавленная Бельгия» («La Belgique sanglante», 1915).

Защитники Льежа. Верхарн-16. С. 53–57. -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л. 127 об. –128, с датой: 19 2/IX 15 <н. ст.>, Biarritz.

«Ceux de Liège». Сб. «Окровавленная Бельгия» («La Belgique sanglante», 1915).

<Дополнения>

Окровавленная Бельгия. Верхарн-16. С. 15–20. -- Верхарн-19.

Автограф: Тт-2, л.124 об. –125, с датой: 19 27/VIII 15 <н. ст.>.

«La Belgique sanglante». Сб. «Окровавленная Бельгия» («La Belgique sanglante», 1915).

Казнь (Воспоминание из Верхарна). Русь. 1905. 14 авг. № 188.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 409, л. 11 (с припиской: «Мысленно посвящаю этот перевод русскому самодержавию»). Датируется 3 июля 1905 (н. ст.); см. ниже.

«La Tête» («Голова»). Сб. «Крушения» («Les Débâcles», 1888).

Вольный перевод, что подчеркнуто подзаголовком; отклик на революционные события в России. См. признания Волошина в письме к матери от конца авг. (ст. ст.) / начала сент. (н. ст.) 1905 (Из лит. наследия-3. С. 347–349) и в письме к М.В. Сабашниковой из Парижа (3 июля 1905; н. ст.), где приведен и текст стихотворения с подзаголовком «Из Верхарна» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 107, л. 35). Перевод был послан для публикации А.В. Амфитеатрову, на которого произвел не самое лучшее впечатление (см.: Переписка А.В. Амфитеатрова и М.А. Волошина / Публ. Н.Ю. Грякаловой // Минувшее: Ист. альм. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. [Вып.] 22. С. 381–383). Резкой критике подверг перевод и В.Я. Брюсов в анонимно напечатанной заметке «О Максе Волошине и древнем змее»: «Положим, г. Волошин осторожно называет свои стихи не “переводом”, а “воспоминанием о Верхарне”. Но тогда приходится сказать, что воспоминание о Верхарне у г. Волошина сохранилось довольно смутное. Передавая стихи по-русски, не мешает получше помнить текст или значение французских слов» (ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 357).

П.Р. Заборов

Граф Филипп-Огюст Вилье де Лиль-Адан (1838–1889)
Comte Philippe Auguste Villiers de l'Isle-Adam

Аксёль. Из лит. наследия-3. С. 10–108 (публ. П.Р. Заборова).

Источники текста: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 412 и 413.

Драма Ф.-О. Вилье де Лиль-Адана «Аксёль» («Axël») – центральное произведение этого французского писателя, сыгравшее важную роль в возникновении и становлении западноевропейского символистского театра. Создавалась драма на протяжении двух деся-

тилетий и в ее окончательном виде была опубликована лишь посмертно. Волошин, считавший Вилье де Лиль-Адана «одним из величайших гениев, посетивших землю», открыл для себя «Аксёля» в начале 1900-х гг., но понял драму и в полной мере оценил позднее, а затем решил осмыслить ее в специальной статье и перевести – то и другое для журнала «Аполлон». К концу авг. 1909 работа была завершена и вскоре отослана в Петербург. Статья увидела свет в № 3/4 журнала за 1912 (см. наст. изд., т. 3, с. 7–40), перевод же напечатан не был ввиду его огромного объема. Не удалось также Волошину опубликовать его в другом журнале, равно как и выпустить отдельной книгой, хотя он неоднократно пытался это сделать (в 1910, 1912, 1917–1918, 1922).

При всех несомненных достоинствах этого перевода (кстати, до сих пор единственного русского перевода драмы Вилье де Лиль-Адана), в нем имелось немало существенных изъянов, в значительной степени вызванных трудностью стоявшей перед Волошиным задачи: «эксцентричность» лексики и «причудливость» синтаксиса произведения требовали особых стилистических средств, найти которые переводчику удавалось далеко не всегда. По крайней мере, максимальная точность, к которой он стремился, часто оборачивалась лишь формальной близостью к оригиналу. Впрочем, обилие буквализмов (таких, например, как «мирские волосы» и «мирские глаза», «немного фатальное лицо» и «это вакантное чудо») отчасти компенсировалось мастерской передачей «высокой» и особенно «герметической» лексики и фразеологии: в первом случае Волошин широко использовал славянизмы и, в частности, библеизмы (например, «на небеси», «персть персти», «Я есмь днесь»), во втором – философскую терминологию (например, «Статимое», «Сущее», «Свет-несотворенный»), а нередко вынужден был прибегать и к словотворчеству (например, «возвеликолепься», «экономат», «галлюцинат»). Однако, ряд слов Волошин перевел весьма приблизительно и даже неверно (например, «восток» вместо «запад», «миллион» вместо «тысяча»), а церковный католический термин «coirre» оставил вообще без перевода. По всей вероятности, Волошин рассчитывал устранить эти неисправности в процессе издания своего труда, к которому относился далеко не безразлично, но сделать это ему, как известно, не было суждено.

П.Р. Заборов

Поль Клодель (1868–1955)
Paul Claudel

Отдых Седьмого дня. Из лит. наследия-2. С. 228–282 (публ. В.Е. Багно).

Источники текста: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 421, 422 и 423.

Волошин работал над переводом пьесы Клоделя «Отдых Седьмого дня» («Le repos du septième jour», 1896, опубл. 1901) в апр.–мае

1908, издание предполагалось осуществить на средства В.С. Гриневич (в составе задуманного сборника драм и очерков Клоделя), но оно не состоялось (см.: Из лит. наследия-3. С. 370–372). В нояб. 1912, в ответ на предложение издательства «Грядущий день» перевести «Музыкальные новеллы» Э.-Т.-А. Гофмана, Волошин предлагает напечатать перевод «Аксёля» Вилье де Лиль-Адана и «Отдых Седьмого дня». В письме к А.Л. Волынскому (10 нояб. 1912), комментируя свое предложение, поэт замечает: «У меня есть два перевода еще не напечатанных и на русский язык до сих пор не переводившихся. Именно: “Axël” Вилье де Лиль Адана и “Отдых Седьмого дня” Поля Клоделя. Оба эти произведения я с<к>лонен считать гениальными, потому и перевел их. Первое лежит уже два года в Редакции “Мусагета”, а второе три в портфеле “Скорпиона”, и оба без всякой надежды быть когда-либо напечатанными. Надо ли прибавлять, что другие изд<ательст>ва отказались от них, даже не читая? Быть может, “Грядущий день” заинтересовался бы этими переводами, которые – могу ручаться за это, сделаны со всею художественной точностью и любовью, какие в моих силах?» (ГЛМ, ф. 9, оф. 1354). В июле 1918 Волошин предлагает С.А. Абрамову издать книгу о Клоделе, куда должны были войти переводы «Отдыха Седьмого дня», оды «Музы» и статья о творчестве французского поэта (ЛТ-88. С. 623). Однако оба эти предложения не получили издательской поддержки.

В статье «Клодель в Китае» Волошин пишет: «В глубоком уединении своей пагоды, окруженной кладбищами сотен поколений, написал Клодель свою трагедию “Отдых Седьмого дня”. <...> “Отдых Седьмого дня” – это трагедия пищи и земли, трагедия растительных, древесных первооснов человека. <...> Идеологии Запада и Востока органически переплелись и сочетались в этой трагедии. Эсхил и Конфуций, Плотин и Лао-Тзе образуют тот уток, которым она выткана. Она не является новым звеном в той цепи трагедии личности, основные этапы которой означены именами Гамлета, Манфреда, Фауста, Акселя..., она поворот трагического сознания бытия в иную сторону, она предтеча грядущих мистерий европейского духа. Пока же она стоит совершенно одиноко среди искусства последнего века» (наст. изд., т. 3, с. 131–132).

Музы. Аполлон. 1910. № 9. Июль–авг. (раздел «Литературный альманах»). С. 29–40.

Перевод первой из пяти «больших» од Клоделя («Les Muses», 1905) был выполнен до 20 мая 1909 (см. ниже). В первой публикации он был сопровожден статьей Волошина «Предисловие к “Музам” Поля Клоделя» (там же, с. 19–28). Вторая его статья о Клоделе – «Клодель в Китае» – также была опубликована в «Аполлоне» (1911. № 7. С. 43–62). Обе статьи вошли впоследствии в «Лики творчества» (см. наст. изд., т. 3, с. 94–133).

В письме к С.К. Маковскому (20 мая 1909) Волошин отмечал: «Это великолепная, но дьявольски трудная вещь, которую я с трудом одолел, но горжусь переводом» (ЕРО-76. С. 250). Впрочем, перевод вызвал критику Иннокентия Анненского, который писал Волошину (13 авг. 1909): «Маковский показывал мне клоделевских "Муз" в Вашем переводе, и я просидел за ними часа четыре... Ну, уж и работа была. Но отчего, скажите, Вы послали брульён <черновой набросок (*фр.*). – *Д. Т.*>? Нет ли тут просто недоразумения? Я сверил половину с текстом... Нет, Вы должны переработать это. Этого требуют музы прежде всего. А потом и имена: и Ваше и Клоделевское. Чертовски трудно, конечно, но если не Вы, то кто же будет русским переводчиком Поля Клодель?» (*Анненский И.* Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 489–490). В письме к С.К. Маковскому (30 июля 1909) Анненский указал на ряд неточностей и ошибок, допущенных при переводе «Муз»; некоторые из них Волошин устранил при публикации (см.: ЕРО-76. С. 235–236).

Д.В. Токарев

Поль де Сен-Виктор (1825–1881)
Paul de Saint-Victor

Боги и люди. Печатается по изданию: *Сен-Виктор П. де.* Боги и люди / Пер. М. Волошина. М.: М. и С. Сабашниковы, 1914.

Книга французского прозаика, эссеиста и критика Поля де Сен-Виктора «Люди и боги» («Hommes et dieux») была опубликована в 1867 году и впоследствии неоднократно переиздавалась.

Первое упоминание Волошиным имени Сен-Виктора относится к 6 (19) июля 1905: в этот день поэт, вернувшись из Лувра, где вместе с А.Р. Минцловой посетил залы Древнего Египта, прочел очерк Сен-Виктора «Елена Прекрасная» (один из 28 очерков, составляющих книгу «Люди и боги»). «В постели я читал "Елену" Сен-Виктора, – отмечает он в дневнике. – Когда я заснул, то, верно, через час или через полтора я проснулся от неожиданного и страшного потрясения. Точно вихрь вдруг остановился в груди и потряс ее. За несколько секунд во сне я предчувствовал его. Была тяжесть, точно кто-то положил руку на левое ребро и давил его. Проснулся сразу. Было еще ощущение, точно кто потряс сильно за плечи. Глядел с радостным ужасом в темноту, сознательно и ожидая. Но глаза сомкнулись, и я заснул» (наст. изд., т. 7, кн. 1, с. 227). Возможно, что именно чтение «Елены» спровоцировало этот ночной кризис: в нарисованном французским эссеистом портрете знаменитой гречанки Волошин мог разглядеть черты той, кто занимала в это время его мысли, – Маргариты Сабашниковой. Отрешенность и холодность Маргариты (в дневнике говорится о «мертвой, бесчувственной» руке

этой «безумной» девушки), чувству которой «нет выхода в земных условиях» (наст. изд., т. 7, кн. 1, с. 232), получала психологически точную интерпретацию у Сен-Виктора, увидевшего в Елене Прекрасной образ идеальной асексуальной красоты: «Смута, которую она поселяет в душе мужей, не волнует ее сердца, – пишет Сен-Виктор, – огонь, который сжег Федру и Медею, не касается этой спокойной груди, оттиски которой скульпторы снимали для жертвенных чаш. Она холодна, как все совершенные красавицы, предназначенные скорей пленять глаза, чем смущать чувства, любовь для которых должна была бы быть созерцанием» (с. 360 наст. тома).

Через две недели (23 июля (5 авг.) 1905) Волошин и Сабашникова вместе читают Сен-Виктора (наст. изд., т. 7, кн. 1, с. 233). Вскоре (7 (20) сент. 1905) Волошин пишет Маргарите Васильевне: «В моей комнате лежали присланные мне 4 тома St. Victor'a «Les deux masques» – история греческого театра. Я их стал просматривать с любовью и предвкушением. Там целые груды драгоценных камней» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 109).* Но прежде чем у Волошина созрел конкретный план по переводу «Людей и богов», начало которому должен был положить перевод «Венеры Милосской» для журнала «Аполлон» (февр.– первая половина марта 1909; см.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 261, л. 22), он обратился к другому произведению французского эссеиста – «Древние и новые» («Anciens et modernes», Paris, 1890). Этюд «Музей артиллерии», вошедший в указанную книгу, послужил Волошину, наряду с тремя эссе Мориса Метерлинка, основой для статьи «Демоны Разрушения и Закона», опубликованной в журнале «Золотое Руно» (1908. № 6. С. 59–69) и воспроизведенной впоследствии в «Ликах творчества». По наблюдению Н.В. Котрелева, Волошин в «Демонах Разрушения и Закона» «дает сложную композицию из фрагментов различных статей и своих наблюдений, интуиций, ассоциаций, подчиняя чужой материал логике собственной читательской мысли, потребностям выражения собственной культурно-исторической мифологии, для которой усвоенные положения и наблюдения М. Метерлинка и П. де Сен-Виктора оказываются отправными точками и переосмысленными слагаемыми. Существенно изменяет Волошин стилистику исходных текстов, гомогенизируя ее и усиливая эмфазу, уже наличную в романтически напряженной прозе французского и бельгийского писателей. В результате текст реферата для Волошина стал настолько своим, что многие его фрагменты вошли позднее в стихотворную ткань произведений из цикла "Путями Каина"» (ЛТ-88. С. 636).

* В библиотеке Дома–музея Волошина в Коктебеле хранятся несколько книг Сен-Виктора: «Hommes et dieux», 1867; «Anciens et modernes», 1890; «Barbares et bandits (La Prusse et la Commune)», 1871; «Les deux masques», 1880–1883; «Victor Hugo», 1884; «Le théâtre contemporain», 1889.

К этому же времени относится и статья о Ж. Барбе д'Оревильи (1908), в которой Волошин ставит Сен-Виктора в один ряд с любимым им Вилье де Лиль-Аданом (наст. изд., т. 3, с. 51). Двумя годами позже в статьях цикла «Современный французский театра» (1910) он вновь обращается к авторитету Сен-Виктора, ссылаясь на его книгу «Современный театр» («Le théâtre contemporain», Paris, 1889) – см. наст. изд., т. 3, с. 177.

Весной 1912 Волошин вступает в переговоры с издателем М.В. Сабашниковым по поводу перевода «Людей и богов» и принимает следующие условия: перевод нужно сдать к 1 сент. 1912; гонорар – 600 рублей; 30 экземпляров бесплатно. К концу сентября, с небольшим опозданием, связанным, в частности, с временной отлучкой человека, которому Волошин диктовал, рукопись перевода была закончена. Редакторская работа над ней была поручена издательством Е.А. Бальмонт, второй жене К.Д. Бальмонта. 8 янв. 1913 (н. ст.) она написала Волошину из Парижа:

«Я сейчас читаю кор<ректу>ры Вашего перевода. Вы будете читать другие. Я нашла много неточностей и есть и ошибки. Я задерживаю так долго кор<ректу>ры, справляясь о разных словах и выражениях, которые, мне кажется, надо проверить. <...> Если не согласитесь с какими-нибудь исправлениями, напишите мне, мне очень интересно. Какой неимоверной трудности этот перевод. И какая чудесная книга. К.Д. <Бальмонт> приехал и стал читать St. Victor'a и восхищается им» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 229).

Следующее послание Волошину было отправлено через день, 10 янв. 1913 (н. ст.): «Милый Макс, – пишет Е.А. Бальмонт, – только что отправила кор<ректу>ры Вашего перевода Саб<ашнико>ву и письмо Вам в заказном ему, как получила от него Ваш адрес и известие, что они уехали до 5-го в деревню. Значит, Вы не получите еще большого письма. Самое главное вот же. Я нашла много неточностей; есть и ошибки в Вашем переводе. <...> Мне очень интересно, как Вы найдете мои поправки. <...> Я очень много читала и вдумывалась в Ваш перевод, он мне очень нравится. Если у Вас есть кор<ректу>ры – пошлите мне их возможно скорее с половины старой <статьи> "Испанский двор и Карл II". У меня их нет» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 229).

Очередная открытка была послана через месяц, 10 февр. 1913 (н. ст.): «Милый Макс, сейчас получила Ваше письмо и тоже жалею, что благодаря недоразумению мы оба сделали лишнюю работу. У меня кор<ректу>р С. Виктора нет. Я их напрасно ждала и выписывала. Конечно, поправьте Вы кор<ректу>ры и пошлите мне в сверстанном виде листы» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 229).

Недоразумение заключалось в том, что издатель М.В. Сабашников послал Е.А. Бальмонт черновик перевода Волошина, в котором редактор и нашла, совершенно естественным образом, неточ-

ности и ошибки. Это задело поэта, который, возвращая корректуру книги Сабашникову, отметил, что между поправками редактора есть «такие исправления неверностей и рассеянностей», которые он сделал бы сам. Однако большинство редакторских исправлений Волошина никак не устраивало, что дало ему повод изложить в письме Сабашникову (начала марта 1913) свою философию перевода:

«...Рядом с этим и больше всего идет исправление моего словаря (который у меня вовсе не случаен), замена одних слов другими – нарушающими музыкальный и ритмический смысл фразы. Наконец, среди этих исправлений есть и просто искажающие смысл. Я позволял себе исправлять только, напр.: "les question <так!> ordinaires et extraordinaires" я перевожу: "Допросов обычных и с пристрастием" (т<ак> к<ак> речь идет о «пытках»). Но Ек<атерина> Алекс<еевна>, не понимая, о чем идет речь, зачеркивает мой перевод и пишет "вопросов важных и неважных". Такие поправки я позволял себе исправлять. Так же и явные грамматические неверности – напр<имер> "ужаснувшийся", котор<ый> она исправляет на "ужаснутый".

Но другие все исправления, хотя бы они мне и очень не нравились, – я, согласно выраженному Вами желанию, не исправлял.

Но это все для меня нарушает собственность моего перевода и я буду просить Ек<атерину> Алекс<еевну>, чтобы она позволила напечатать его – с пометкой "под редакцией Ек. Ал. Бальмонт".

Всё это, по-моему, произошло оттого, что ей попалась первая корректура набора – со всеми теми предательскими опечатками, которые обычно делают наборщики, и она, приписывая этого рода небрежности мне, исправляла их и там, где мною были поставлены слова взвешенные и продуманные. Ведь я-то очень изучил Сен-Виктора – и именно со стороны стиля. Когда я *перевожу* – то моя задача всегда в том, чтобы настолько усвоить себе стиль и манеру автора, чтобы не переводить, а писать так, как должен был бы писать он сам, если бы писал по-русски. Это отводит меня часто от точности буквальной, но зато дает возможность угадывать его намерения и выражать мысль больше в духе языка.

Ведь перевод предназначается не для тех, кто может прочесть эту книгу по-фр<анцузс>ки – и не для того, чтобы им пользоваться как подстрочником, а для то<го>, чтобы *заменить* подлинник по-русски.

Если в стиль писателя входят мало употребительные или старинные слова, то я стараюсь найти для него таковые же и по-русски и т. д. Вообще, всегда стараюсь найти не *точное*, а *равносильное*; для меня это первое условие худ<ожественно>го перевода, который я всегда понимаю в смысле "adaptation", а не "traduction".

Если бы Вы предоставили мне свободу пользоваться поправками Ек<атерины> Ал<ексеевны> как указаниями, то я был бы очень благодарен и ей, и Вам, потому что она сделала очень большой труд, просмотрев так внимательно мой перевод.

Но если эти поправки *обязательны* – то ведь этим уничтожается, с одной стороны, ценность моего перевода как *моего* труда, и, с другой стороны, я оказываюсь в очень ложном положении перед Екат<ериной> Алекс<еевной>, которой очень благодарен за ее труд над моим переводом, но никак не могу подписать моим именем большинство вариантов, данных ею» (РГБ, ф. 261, карт. 3, ед. хр. 29).

Конец полемике был положен письмом Е.А. Бальмонт Волошину 16 февр. (н. ст.) 1913:

«Мне ужасно досадно, дорогой Макс, что это глупое недоразумение с присланными мне корректурными черновиками повлекло столько осложнений для Вас. Я думала, что после нашего обмена письмами оно давно кончилось, и всё ждала второй части С. Виктора, чтобы видеть отделанный перевод Ваш, чтобы прочесть его, как я читала все переводы этой серии. Я с самого начала не имела претензии *редактировать Ваш* перевод, о чем и сказала Мих<аилу> Вас<ильевичу> раньше. Но когда получила кор<ректу>ры, не зная, конечно, что это черновики, стала читать их, меня поразили ошибки, я стала исправлять всё сплошь и тогда уже и стиль и выражения, что не позволяла себе обыкновенно делать. Когда объяснилось из Вашего письма, что мне Мих<аил> Вас<ильевич> по недоразумению послал Ваш *черновик*, я же тотчас ответила Вам, Макс, что жалею о потерянном времени, но нисколько не претендую, чтобы Вы приняли все мои поправки. Я бы Мих<аила> Вас<ильевича> совершенно не стала бы вмешивать, если бы сначала знала, что Вы в Москве, а потом Ваш адрес. Мне просто был и теперь интересен Ваш перевод в окончательном виде, и поэтому я просила послать мне 2-ую часть С. Виктора.

Ни о какой обиде для меня не может быть речи, конечно. Ведь я же писала Вам, что меня интересует, *что* Вы примете из моих поправок, из этого уже было ясно, что я вовсе не настаиваю на своих вариантах. Я слишком хорошо знаю – сколько людей – столько стилей, столько манер переводов. Наша и Ваша очень разнятся. Я ученица Б<альмон>та и совершенно следую его манере: переводить близко и точно, не русифицируя, не стилизуя по-русски иностранный язык. Переводить так, чтобы читатель представлял себе язык оригинала.

Таким образом, я совершенно не согласна с Вашим переводом (хотя вижу, что я сделала ошибку) "questions ordinaires et extraordinaires" старо-русскими терминами. Всегда рискованно употреблять для одного определенного понятия выражение такого же определенного понятия, поставленного только в иную историческую обстановку.

Но не будем рассуждать об этом. Это потеря времени, мы друг друга не переубедим. Пожалуйста, не считайтесь с теми моим поправками, которые сделаны по недоразумению; объяснять каждое слово долгий и ненужный труд; я увижу в *Вашей* окончательной редакции Ваш перевод, который меня очень интересует. О каждом слове мож-

но спорить. “Espagne terrifiée et anéantie” по-моему: Испания ужаснутая и уничтоженная. Я сейчас пишу Мих<аилу> Вас<ильеви>чу, что у нас с ним чистое недоразумение, если он думает, что я не хочу “поправлять” Вас.

Почему Вы не сказали ему, что я уже писала Вам о том, что мои переделки вызваны недоразумением: я приняла черновики за окончательный перевод» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 229).

Судя по всему, автору перевода и редактору удалось придти к согласию; во всяком случае, обозначение «под редакцией Е.А. Бальмонт» в русском издании П. де Сен-Виктора отсутствует. Интересный момент: Волошин надеялся, что сможет просмотреть исправленную корректуру, и был удивлен, получив уведомление о том, что книга уже вышла в свет (см. его письмо к М.В. Сабашникову, отправленное 2 дек. 1913: РГБ, ф. 261, карт. 3, ед. хр. 29).

Книга под заглавием «Боги и люди» вышла в свет в издательстве М. и С. Сабашниковых (в серии «Страны, века и народы») во второй половине нояб. 1913 тиражом 3000 экземпляров. В конце месяца Волошин получил, как и было обещано, 30 авторских экземпляров, за которыми ездил в Феодосию.

На друзей поэта перевод произвел чрезвычайно благоприятное впечатление. Так, свое восхищение Волошину высказал К.Ф. Богаевский (9 дек. 1913): «Дорогой Макс, большое спасибо тебе за присланную книгу. Как она прекрасна! Я прочел только первые две статьи: Венеру Мил<осскую> и Диану, и всё время у меня в душе поднимались какие-то пуссеновские видения. Книга эта тобою так великолепно переведена, что читаешь ее точно в подлиннике» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 267). По мнению Ю.Л. Оболенской (письмо 4 февр. 1914), Волошин в «Ликах творчества» превзошел Сен-Виктора по глубине и яркости нарисованных портретов: «Вы мне гораздо больше нравитесь, чем St. Victor, как ни старалась, – пишет она поэту. – Его портреты гораздо менее глубоки и ярки и взяты как-то очень нормально, под одним углом. Тогда как у Вас десять раз всё перевернуто, показано со всех сторон. Вообще он монотоннее и кажется мне гораздо более внешним» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 900). И в другом письме (14 дек. 1913): «Какой Вы кубист рядом с ним <Сен-Виктором. – *Д. Т.*>!» (там же).

Волошин отвечал Оболенской (13 февр. 1914): «Что до отсутствия мыслей у Сен-Виктора – это меня самого тоже раздражало во время перевода (это отразилось в предисловии). Поэтому не трудно в этом отношении быть богаче. А для того, чтобы не возгордиться Вашим мнением о “Ликах”, я вспоминаю слова Теофиля Готье: “Новая мысль? Новая мысль может каждому дураку прийти в голову. Всё дело в том, как ее выразить...” В этом смысле Сен-Виктор был мне всегда школой» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 82).

Критики были более сдержанны: в основном, ими скорее отмечались художественные достоинства переведенной книги, нежели

качество перевода. К примеру, П. Кожевников в газете «Утро России» отозвался о книге, как о «талантливой описи», «художественном каталоге»: «Всё в ней художественно зарегистрировано, занумеровано, всё в порядке и спокойно на своих местах. И было бы смешно искать в ней не только чего-нибудь для нас злободневного, но даже откликов на боевые вопросы современной автору литературы» (Утро России. 1913. 21 дек. С. 6). Снисходительнее к Сен-Виктору Л. Ляшкевич: «“Боги и люди” – замечательная книга. Это кошница, полная великолепных благоуханных образов, чеканных сравнений и эпитетов, то нежных и волнующих, как звуки любимой мелодии, то метких и сильных, как удары судьбы» (День. 1914. 28 марта. Лит. прилож. «Отклики» № 12. С. 12). Ему вторит Е. Венский: «Перед нами искуснейший из миниатюристов, вызывающий меткими и изящными выражениями чудные образы прошлого. Как выпуклы они, выразительны, как художественно отделаны! Замечательная книга! Слово “читается“ неприложимо к ней. Большими глотками пьешь эту удивительную литературность, махровым цветком распустившуюся на тучной почве французской культуры». Не забывает Е. Венский и осторожно похвалить переводчика: «Дурной перевод совершенно утопил бы Сен-Виктора, но г. Волошин благополучно перенес его на русскую почву. Переводчику можно поставить в вину одно: он несколько растягивает фразы. Конструкция русского языка допускает более сжатое и сильное изложение» (Россия. 1914. 16 марта. Воскр. прилож. С. 16). А.К. Дживелегов, видный историк и филолог-итальянист, более критичен в отношении качества перевода: «Передать на другом языке весь этот блеск так, чтобы он не потускнел, – задача очень трудная, и г. Макс Волошин не везде счастливо одолевает эти трудности», – замечает он, не давая, впрочем, никаких конкретных примеров (Русские Ведомости. 1914. 21 мая. С. 6). Б.М. Эйхенбаум в отзыве на книгу Сен-Виктора, напротив, подчеркивает тот факт, что «предисловие М. Волошина ярко рисует весь облик Сен-Виктора, как писателя. Совершенно верно, что он способен был “воспринимать лишь ту действительность, которая уже раз прошла через человеческое восприятие”. Именно поэтому он – не только Дон-Жуан, но и Дон-Кихот литературы. Перевод сделан весьма литературно. Не знаю, “нужен” ли, действительно, русскому читателю такой автор, но, во всяком случае, интересен и развлекателен», – завершает он свою рецензию (Русская Мысль. 1914. № 5. Отд. III. С. 168). Более уверен в полезности книги Сен-Виктора для русского читателя В. Ирецкий, отметивший в газете «Речь» точность определений, данных переводчиком в предисловии: «М. Волошин в интересно составленном предисловии к книге очень верно указывает, что русской литературе пока чужды таланты, подобные Сен-Виктору, умеющие собирать и распределять исторические ценности. Это делает книгу вдвойне интересной для нас» (Речь. 1914. 14 апр. С. 3).

Итак, между первым знакомством Волошина с трудом Сен-Виктора и выходом ее русского перевода прошло восемь лет. Нельзя не отметить, что примерно столько же времени заняло формирование опубликованной «Аполлоном» книги статей «Лики творчества»: первая по хронологии статья цикла «Сизеран об эстетике современности» относится к июню 1904, а сама книга выходит в свет в дек. 1913, спустя месяц после «Богов и людей». Находясь под влиянием творческого метода французского эссеиста, покоренный его, как говорит он сам в предисловии к переводу, «ультракультурным» талантом, Волошин выстраивает свой цикл, во многом руководствуясь тем принципом, который был заявлен Сен-Виктором в предисловии к «Богам и людям»: книга уподобляется французским писателем мастерской художника, который «собрал несколько наименее слабых своих этюдов, чтобы выставить их на суд публики: историческую картину рядом с офортом, рисунок с античной статуи рядом с портретом или фантазией». Конечно, «Лики творчества» обладают бóльшим внутренним единством, нежели «Боги и люди», которым, по признанию самого Сен-Виктора, «не хватает единства композиции»; однако и для волошинского цикла характерно такое же внимание к разнообразным проявлениям творческого гения, к «ликам» творчества, какое является отличительной чертой стиля Сен-Виктора. Интересно, что Волошин, обдумывая общую композицию «Ликов творчества», планировал использовать четырехчастную структуру, уже применявшуюся Сен-Виктором: так, четыре части «Богов и людей» посвящены мифологическим персонажам, историческим фигурам, этнографическим феноменам и литературным героям соответственно; Волошин же собирался прибавить к уже опубликованной первой книге еще три, которым были даны характерные подзаголовки: «Искусство и искус», «Театр и сновидение», «Современники».

Точное определение того творческого «наследства», которое Волошин получил от Сен-Виктора, дает Н.Я. Рыкова, один из авторов статьи «М.А. Волошин – литературный критик и его книга "Лики творчества"»: «Эта книга <"Боги и люди". – *Д. Т.*>, составленная из самых разнообразных статей о литературе, искусстве, истории самых различных времен и народов, тоже лишь в очень слабой степени анализирует то или иное явление культуры – будь то статуя Венеры Милосской, роман Сервантеса или судьба злосчастной французской принцессы, ставшей себе на горе королевой чуждой и антипатичной ей Испании. Стиль этих очерков – свободный разговор на данную тему, рассказ о произведении искусства, литературы, о явлении культуры, дающий читателю информацию методом художественной литературы, а не рассуждения на тему литературы, искусства, истории. Эссеистский метод Волошина – развитие и углубление той манеры, которую усвоил Поль де Сен-Виктор. Несомненно, именно поэтому книга его в переводе Волошина – один из самых безукориз-

ненных образцов прозаического перевода на русский язык» (ЛТ-88. С. 584).

Любопытно проследить, какую правку Волошин вносит в свой перевод на примере главы «Фейные сказки». Известно, что опубликованные Волошиным прозаические переводы нередко страдают буквализмом (см.: Адамантова). На первый взгляд, подобная тенденция прослеживается и в той правке, которую переводчик вносит в свой текст (см. наборную рукопись «Богов и людей» и корректуру книги в гранках: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 417): если в исходном варианте он иногда допускает неточности, то затем он старается дать более точный эквивалент французского слова. Например, «нищий» заменяется на «раб» (esclave), «у порога мечети» на «у дверей мечети» (à la porte), «фландрские пряхи» на «фландрские ткачи» (tisseurs de la Flandre), «животное» на «зверь» (bête), «распланирован» на «расчищен» (débrouillé), «мелкий дух» на «кроткий дух» (doux esprit). В то же время заметно, что точность перевода в приведенных примерах совсем не означает его буквальности: переводчик просто находит более адекватное русское слово, позволяющее точнее выразить смысл, заложенный в оригинале. С другой стороны, стремление уйти от буквализмов приводит подчас к тому, что Волошин зачеркивает правильно переведенное слово и исправляет его на менее точное, но более, как ему кажется, «литературное»: так, «волосатые» (velus) карлики становятся «бородатыми», «магические палочки» (baguettes fatidiques, дословно «вещие палочки») – «магическими жезлами», «рои карликов» – «роями эльф и домовых» (volées de lutins et de farfadets). В некоторых случаях переводчик устраняет языковые кальки: «амбровая софа» (sopha d'ambre) заменяется на «янтарную», а туфельки Сандрильоны (Cendrillon) на туфельки Золушки.

Предисловие
Дон-Жуан фразы: Поль де Сен-Виктор

[1] *«Стоит написать ∾ о «Тружениках Моря».* – Это и некоторые другие высказывания о Сен-Викторе Волошин почерпнул в книге Ш.-О. Сент-Бёва «Новые понедельники» (*Sainte-Beuve Ch.-A.* Nouveaux lundis. Paris: M. Lévy, 1868. T. X. P. 438). См. также: *Hugo V.* Correspondance. 1836–1882. Paris: Calmann Lévy, 1898. P. 288.

[2] *«Когда я читаю ∾ Ламартин.* – См.: *Sainte-Beuve C.-A.* Nouveaux lundis. P. 441.

[3] *Делакруа писал ∾ лучшие картины».* – См.: *Ibid.* P. 438.

[4] *«Сен-Виктор не бриллиант ∾ говорит Барбе д'Оревильи.* – Возможно, что это высказывание почерпнуто Волошиным в оставшейся нам недоступной книге «L'Esprit de Jules Barbey d'Aurevilly: Dictionnaire des pensées, traits, portraits, et jugements tirés de son oeuvre critique» (Paris, 1908).

[5] *«Стиль Сен-Виктора ∾ писал Сен-Бёв в статье об «Hommes et Dieux»*. – Ошибка Волошина: на самом деле, Сент-Бёв лишь приводит эту цитату, отмечая, что не знает ее автора; см.: *Sainte-Beuve C.-A.* Nouveaux lundis. P. 441.

[6] *«Среди текущей литературы, – пишут Гонкуры ∾ подобно Микель Анджеловской»*. – См.: *Гонкур Э.* и *Ж. де.* Дневник: Записки о литературной жизни. В 2 т. М.: Худож. литература, 1964. Т. 1. С. 175.

[7] *«У Сен-Виктора ∾ подает руку незнакомцу»*. – Там же. Т. 1. С. 169, 171.

[8] *«Когда после вечера ∾ мне хочется плакать»*. – Там же. Т. 2. С. 156.

[9] *«Мы возвращаемся ∾ картин и статуй»*. – Там же. Т. 1. С. 316, 330.

[10] *«Сколько раз ∾ которым он принадлежит»*. – См.: *Sainte-Beuve C.-A.* Nouveaux lundis. P. 439–440.

[11] *« "Боги и люди " ∾ имена мастеров кисти»*. – См.: *Sainte-Beuve C.-A.* Nouveaux lundis. P. 443–445.

Выражаю глубокую благодарность Р.П. Хрулевой за ценные сведения и помощь в работе над комментариями.

Д.В. Токарев

Анри де Ренье (1864–1936)
Henry de Régnier

Маркиз д'Амеркер. *Ренье А. де.* Маркиз д'Амеркер / Пер. М. Волошина. М.: Альциона, 1914.

Печатается по: *Ренье А. де.* Собр. соч. В 17 т. / Пер. с фр. под общ. ред. М.А. Кузмина, А.А. Смирнова и Ф. Сологуба. Л.: Academia, 1925. Т. 1. С. 41–142.

Перевод первой части сборника рассказов Ренье «Яшмовая трость» («La canne de jaspe», 1897).

Первоначально Волошин перевел для журнала «Аполлон» (1910. № 6, март) лишь предисловие «К читателю» и шесть фрагментов произведения («Рассказы о маркизе д'Амеркере»). Полный перевод, изданный отдельной книгой (1914), был тогда же высоко оценен Б.М.Эйхенбаумом (Северные записки. 1914. Март. С. 193–194). О намерении издательства «Academia» воспользоваться этим переводом Волошина А.А. Смирнов сообщил ему 2 дек. 1923 (см.: *Заборов П.Р.* М.А. Волошин и А.А. Смирнов // Труды Отдела древнерусской литературы ИРЛИ. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. Т. 70. С. 652–653). В своей вступительной заметке к «Яшмовой трости» в Собрании сочинений Ренье (т. 1) Смирнов с большим сочувствием характеризовал книгу, в которой находил «сильную струю эстетического симво-

лизма», что, по его мнению, делало ее в глазах современного читателя «памятником литературной “старины”», впрочем, «интереснейшим» и «красивейшим». Что же касается «Маркиза д’Амеркера», то в качестве главных достоинств рассказов этого цикла он называл их «великолепный вымысел» и «стилистическую пышность». Весьма одобрительно отзывался Смирнов и о переводе Волошина, в котором, по его мнению, эти особенности произведения Ренье были переданы «с такой художественной полнотой» (с. 37–38). Правда, для данного издания перевод подвергся некоторой правке, по всей вероятности, принадлежавшей всё тому же Смирнову. При этом была восстановлена нарушенная ранее Волошиным последовательность рассказов: в издании 1914 «Знак ключа и креста» предшествует «Поездке на остров Кордик».

В архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 432) сохранилась также рукопись выполненного менее чем наполовину перевода еще одной новеллы Ренье из того же сборника (цикл «Черный трилистник») – «Гермократ, или Рассказ о его похоронах».

Поэмы и стихотворения

Переводы Волошина из поэзии Анри де Ренье восходят к пяти сборникам стихотворений этого выдающегося представителя французского символистского движения – «Игры поселян и богов» («Les Jeux rustiques et divins», 1897), «Медали из глины» («Les Médailles d’argile», 1900), «Город вод» («La Cité des eaux», 1902), «Крылатая сандалия» («La Sandale ailée», 1906), «Зеркало часов» («Le Miroir des heures», 1910).

Первые два стихотворных перевода из Ренье (без авторских названий) – «Нет у меня ничего...» и «Снилось мне, что боги говорили со мною...» (наряду с прозаическим переводом стихотворения «Пленница») – были включены Волошиным в его статью о французском поэте, которая увидела свет в журнале «Аполлон» (1910, № 4). Перевод второго из этих стихотворений был воспроизведен целиком и в другой статье – «Аполлон и мышь», опубликованной в пятом альманахе «Северные цветы» (1911). Обе статьи вошли затем в «Лики творчества» (см. наст. изд., т. 3, с. 71–93, 134–157). При этом статья о Ренье была дополнена еще одним примером из его поэзии – стихотворением «Приляг на отмели. Обеими руками...», переведенным Волошиным позже (1911).

В «Литературном альманахе “Аполлона”» (1914) вышла в волошинском переводе (выполнен в 1911) поэма Ренье «Кровь Марсия». Двадцать его стихотворений было переведено Волошиным во время лекционного турне по городам Черноморского побережья (февр. – май 1919) и по возвращении из этой поездки, уже в Коктебеле (июнь 1919). Среди них – упомянутое выше стихотворение «Пленница» (этот новый перевод был включен в статью «Анри де

Ренье», оставшуюся неизданной при жизни автора; см.: Из лит. наследия-1. С. 318–323; т. 5 наст. изд.). Четыре своих перевода из Ренье того времени Волошин отдал в одесский альманах «Посев», где они и появились (1921). Позднее (дек. 1922) он перевел сонет «Медали».

Почти всё, сделанное им в данной области, Волошин предполагал объединить в книге, план которой сохранился в его архиве (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 328). В соответствии с этим планом (так и не реализованным), в основном, и печатаются здесь его переводы поэм и стихотворений Анри де Ренье.

Стихотворные переводы из Ренье, оставшиеся при жизни Волошина неизданными, были объединены ранее в публикации, подготовленной П.Р. Заборовым (см.: Из лит. наследия-1. С. 302–324).

Кровь Марсия. Литературный альманах «Аполлона». СПб.: Кн-во «Аполлон», 1914. С. 7–15.

Автограф: Тт-2, л. 70–73.

Об окончании работы над переводом поэмы Волошин сообщил С.К. Маковскому 16 июня 1911 (Труды и дни. С. 272).

«Le Sang de Marsias». Сб. «Город вод» («La Cité des eaux», 1902).

Медали из глины. Аполлон. 1910. № 4. С. 23–24. -- «Северные цветы: Альм. 5-й кн-ва “Скорпион”». М., 1911. С. 99–100. -- ЛТ. С. 94–95 и 176–177.

Все тексты – в составе статей Волошина.

«Les Médailles d’argile». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d’argile», 1900).

Ваза. Из лит. наследия-1. С. 321–323.

Автограф: Тт-3, л. 11 об. –13; с датой: 4 III <19>19.

«Le Vase». Сб. «Игры поселян и богов» («Les Jeux rustiques et divins», 1908).

Ода. Из лит. наследия-1. С. 308–309.

Автограф: Тт-3, л. 8 об. – 9; с датой: 27 фев<р.> 1919. Одесса.

«Ode». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d’argile», 1900).

Любовь [Эрот]. Из лит. наследия-1. С. 313–314.

Автограф: Тт-3, л. 13; с датой: 5 III <19>19.

Заглавие «Эрот» – в машинописной копии стихотворения.

«L’Amour». Сб. «Сандаловая аллея» («La Sandale ailée», 1906).

Прощанья. Из лит. наследия-1. С. 320.

Автограф: Тт-3, л. 8; с датой: 26 фев<р. 19>19 г.

«Adieux». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d’argile», 1900).

Оделетты:

«Я бы мог крикнуть любовь мою...». Из лит. наследия-1. С. 310–311.

Автограф: Тт-3, л. 10; с датой: 28 II <19>19.

«Odelette» («J'aurais pu dire mon Amour tout haut...»). Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900);

«Мне маленького тростника довольно было...». Из лит. наследия-1. С. 311.

Автограф: Тт-3, л. 11 об.; с датой: 4 III <19>19.

«Odelette» («Un petit roseau m'a suffi...»). Сб. «Игры поселян и богов» («Les Jeux rustiques et divins», 1908).

Оделетта (odelette, *фр.*) – уменьшительное от «ода»; стихотворный жанр французской поэзии.

Пожелание. Из лит. наследия-1. С. 311–312.

Автограф: Тт-3, л. 11; с датой: 28 II <19>19. Одесса.

«Vœu: Odelette». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

«Если б я лучше знал любовь мою, если б я лучше...». Из лит. наследия-1. С. 312–313.

Автограф: Тт-3, л. 12; с датой: 27 фев<р.> 1919.

«Odelette» («Si j'avais mieux connu mon amour, si j'avais mieux...»). Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

«Нет у меня ничего...». Аполлон. 1910. № 4. С. 21–22. -- ЛТ. С. 92.

Текст – в составе статьи Волошина «Анри де Ренье».

Автограф: Тт-2, л. 64 об.

«Odelette» («Je n'ai rien...»). Сб. «Игры поселян и богов» («Les Jeux rustiques et divins», 1908).

Морская ода. Из лит. наследия-1. С. 309–310.

Автограф: Тт-3, л. 9 об.–10; с датой: 27 II <19>19.

«Ode marine». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Раковина. Посев. С. 3.

Автограф: Тт-3, л. 14 об.–15; с датой: 19 10/V 19. На шхуне «Казак».

«La Conque». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Видение. Посев. С. 3–4.

Автограф: Тт-3, л. 16; с датой: 19 10/V 19, около Очакова.

«Apparition». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

«Приляг на отмели. Обеими руками...». ЛТ. С. 99. -- Сб. «Норд». Баку, 1926. С. 26.

Текст первой публикации – в составе статьи Волошина «Анри де Ренье».

Автограф: Тт-2, л. 69 об.; с датой: 19 5/V 11. Кокте<бель>.

«Sur la grève» («На отмели»). Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Пленница. Из лит. наследия-1. С. 323.

Автограф: Тт-3, л. 11 об.; с датой: 1. III. 1919.

Перевод в прозе: ЛТ. С. 96 (см. также наст. изд., т. 3, с. 79).

«La Prisonnière». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Девочка: (Надгробная медаль). Посев. С. 4.

Автограф: Тт-3, л. 14; с датой: 5/IV <19>19 Одесса (В день вступления григорьевцев).

«Puella». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Тревога. Посев. С. 4.

Автограф: Тт-3, л. 16–16 об.; с датой: 19 13/V 19. 9 ч. утра. Около Тендры.

«L'Alerte». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Антоний и Клеопатра. Из лит. наследия-1. С. 314–315.

Автограф: Тт-3, л. 21; с датой: 19 12/VI 19. Коктебель.

«Antoine et Cléopâtre». Сб. «Зеркало часов» («Le Miroir des heures», 1910).

Пленный принц. Из лит. наследия-1. С. 315–316.

Автограф: Тт-3, л. 27 об.; с датой: 18 июня 1919. Коктебель. Утро. Во время выстрела и десанта.

«Le Prince captif». Сб. «Зеркало часов» («Le Miroir des heures», 1910).

Человек и боги. Из лит. наследия-1. С. 316–317.

Автограф: Тт-3, л. 28; с датой: 19 июня 1919. Коктебель.

«L'Homme et les dieux». Сб. «Город вод» («La Cité des eaux», 1902).

Дионисии. Из лит. наследия-1. С. 317.

Автограф: Тт-3, л. 28 об.; с датой: 20 июня 1919. (Нов. ст.). Коктеб<ель>.

«Dionisiaque». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Дионисии – в Древней Греции празднества в честь бога Диониса.

Ночь богов. Из лит. наследия-1. С. 304–308.

Автограф: Тт-3, л. 5–8; с датой: 26 февр. 1919. Одесса.

«La Nuit des dieux». Сб. «Медали из глины» («Les Médailles d'argile», 1900).

Отелло. Из лит. наследия-1. С. 317–318.

Автограф: Тт-3, л. 29.

«A Othello» (фрагмент). Сб. «Зеркало часов» («Le Miroir des heures», 1910).

Медали. Из лит. наследия-1. С. 318.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 427, л. 3; с датой: 27 XII 1922.

«Les Médailles». Сб. «Зеркало часов» («Le Miroir des heures», 1910).

Пьер Корнель (1606–1684)
Pierre Corneille

Монолог Эмилии из «Цинны». I акт.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 427. Другой автограф – Тт-3, л. 84 об.; предположительно датируется весной 1921 г..

Фрагмент третьей сцены первого акта трагедии «Цинна, или Милосердие Августа» («Cinna ou la Clémence d'Auguste», 1640).

Огюст Барбье (1805–1882)
Auguste Barbier

<Как только закатится ваша звезда...>. Адамантова. С. 287.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 20 об.; с датой: 15 сентября 1892.

Отрывок из поэмы «Идол» («L'Idole», май 1831), ямб VII сборника «Ямбы» («Iambes», 1831).

Речь идет о Наполеоне Бонапарте.

Альфред де Мюссе (1810–1857)
Alfred de Musset

К Нинон.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 431.

«A Ninon» (1837). Сб. «Новые стихотворения» («Poésies nouvelles», 1836–1852); прозаический перевод.

<Сын Тициана>.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 431.

Сонет «Le fils du Titien» (3 мая 1838); прозаический перевод.

Входит в одноименную новеллу А. де Мюссе. В архиве Волошина сохранились также наброски стихотворного перевода другого сонета из той же новеллы – «Beatrix Donato fut le doux nom ...» («Донато Беатриче имя той...»; перевод строки принадлежит Волошину).

Виктор Гюго (1802–1885)
Victor Hugo

Революция:

Статуи. Адамантова. С. 247–255 (текст разделен на две части, обозначенные римскими цифрами).

Печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 419) с учетом текста машинописной копии (там же, ед. хр. 420).

Поэма «Революция» («La Révolution», 1857), ч. I («Les Statues»). Сб. «Четыре вихря духа» («Les Quatre vents de l'esprit», 1881);

Прибытие. Адамантова. С. 255–257.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 418.

Поэма «Революция» («La Révolution», 1857), ч. III («L'Arrivée»). Сб. «Четыре вихря духа» («Les Quatre vents de l'esprit», 1881).

Ч. II поэмы («Les Cariatides») Волошиным не переведена.

Гражданская война: Из книги «Страшный год»:

I. Расстрелянные. Красный Крым. Симферополь, 1919. 18 марта. № 59 (под заглавием «Расстрелянные коммунары»).

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 425.

«Les fusillés» (20 июня <1871>). Сб. «L'Année terrible» (1872).

II. На баррикаде. СиП-2. С. 347–348.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 425. Другой автограф – Тт-3, л. 84; с датой: 19 15/III 21. Симфер<ополь>.

«Sur une barricade, au milieu des pavés...» (27 июня <1871>). Сб. «L'Année terrible» (1872).

Шарль Бодлер (1821–1867)
Charles Baudelaire

Благословение. Адамантова. С. 258–260.

Автограф: Тт-3, л. 210; с датой: 19 16/VI 22.

«Bénédiction». Сб. «Цветы зла» («Les Fleurs du mal», 1857, 1861).

Первое стихотворение сборника.

Жозе Мариа де Эредиа (1842–1905)
José-Maria de Heredia

Бегство кентавров. Око. 1906. 22 авг. № 14. -- Стих. С. 28–29.

Черновой автограф: Тт-1, л. 50. О датировке этого и следующего переводов (до 9 окт. <н. ст.> 1905) см.: БП. С. 668. № 399.

Сонет «Fuite de centaures». Сб. «Трофеи» («Les Trophées», 1893).

Ponte Vecchio. Око. 1906. 22 авг. № 14. -- Стих. С. 29.

Черновой автограф: Тт-1, л. 50.

Сонет «Sur le Pont-vieux» («На Старом мосту»). Сб. «Трофеи» («Les Trophées», 1893).

Опущено посвящение (на итальянском языке): «Antonio di Sandro orefice» («Антонио ди Сандро, золотых дел мастеру»).

Ponte Vecchio (ит.) – мост во Флоренции, сооруженный через р. Арно (1345); застроен ювелирными лавками и мастерскими.

Поль Верлен (1844–1896)
Paul Verlaine

«Стон и рыданья...». Радянське літературознавство. Киев, 1977. № 3. С. 87 (публ. И.Т. Куприянова).

Печатается и датируется по автографу в письме к А.М. Пешковскому от 1 (14) марта 1904 (ИМЛИ, ф. 79, оп. 1, ед. хр. 26).

«Chanson d'automne» («Осенняя песня»). Сб. «Сатурнические поэмы» («Poèmes saturniens», 1866).

Стефан Малларме (1842–1898)
Stéphane Mallarmé

Лебедь. Вопросы Жизни. 1905. № 2. С. 98–99. -- Стих. С. 59.

Черновой автограф: Тт-1, л. 37 об.

Сонет «Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui...» (1887).

«...О, зеркало, – холодная вода...». Вопросы Жизни. 1905. № 2. С. 93. -- Аполлон. 1910. № 4. Янв. С. 20. -- Стих. С. 59. -- ЛТ. С. 91.

Черновой автограф: Тт-1, л. 35 об.

Фрагмент незавершенной поэмы (первоначально – сценического произведения) «Иродиада» («Hérodiade», 1864–1867; впервые опубликовано в 1869).

Оба перевода были выполнены по просьбе А.В. Гольштейн для ее статьи «Стефан Малларме», опубликованной под псевдонимом «А. Баулер» (Вопросы Жизни. 1905. № 2. С. 61–100). Тексты переводов были отправлены Волошиным В.Я. Брюсову из Парижа 24 сент. (н. ст.) 1904 с указанием, что они сделаны «на днях» (ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 346).

Пьер Луис (1870–1925)
Pierre Louÿs

Танец цветов.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 379.

Перевод выполнен около 1908.

Стихотворение в прозе «La danse des fleurs». Сб. «Песни Билитис» («Chansons de Bilitis», 1894).

Тексты, составившие сборник, были выданы П. Луисом за переводы из древнегреческой поэтессы начала VI в. до н. э., ученицы и последовательницы легендарной Сапфо.

Андре Сюарес (1868–1948)
André Suarès

Грихапатни; Возвращение – Солнцестояние; С глазу на глаз; День Господа; O mors, ero mors tua; Дерево.

Печатаются по черновым автографам: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1. ед. хр. 429 (янв. – начало февр. 1910; см. ниже). В прямых скобках ука-

зываются имеющиеся в автографах варианты перевода отдельных слов.

Андре Сюарес – французский поэт, критик, эссеист, оставивший обширное и разнообразное литературное наследие. Обращение Волошина к творчеству Сюареса произошло по инициативе последнего: в письме 30 дек. 1909 он предложил Волошину перевести ряд фрагментов – стихотворений в прозе из недавно выпущенного им сборника «Щит Зодиака» («Le Bouclier du Zodiaque», 1908); одновременно Волошину был послан и этот сборник, изданный ничтожным тиражом. «Меня уверяют, что среди русских писателей, в наибольшей степени способных к поэтическому переводу, самым подходящим для меня явился бы господин М. Волошин», – писал Сюарес и далее называл девять выбранных им фрагментов, указывая при этом соответствующие страницы книги (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л.: Наука, 1981. С. 251–252). Предназначались эти переводы, как явствует из наброска ответного письма Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 439, л. 1), для журнала «Аполлон», в котором Сюарес дал согласие сотрудничать. Волошин выполнил просьбу Сюареса, но не в полной мере: перевел он лишь шесть из девяти фрагментов, намеченных Сюаресом («Grihapatni», «Retour – Solstice», «Tête-à-tête», «Jour du Seigneur», «O mors, ero mors tua», «L'Arbre»), и 8 февр. 1910 отправил их Е.А. Зноско-Боровскому, сопроводив далеко не восторженным комментарием: «Посылаю Вам, Евгений Александрович, просимые переводы из Суареса. Я перевел те, которые он сам обозначил, кроме двух: по-моему, этого вполне достаточно. Он поэт интересны<й>, но всё же лишь продолжатель и ученик Клоделя. Вещи у него неровные. Наравне с поразительными словами – безвыходная реторика. Я перевел его беспощадно точно, иначе он утратит весь смысл. Но зачем нам так много Суареса, когда мы еще не дали Клоделя. Весь “Bouclier du Zodiaque” навеян “Connaissance de l'Est” <“Познанием Востока”> Клоделя. А именно эту книгу я хотел использовать и исчерпать для своей статьи об экзотизме Клоделя. Клодель грандиознее, проще и совершенно чужд реторике» (РНБ, ф. 124, ед. хр. 973). Сходным образом охарактеризовал Волошин произведение Сюареса и в письме к Зноско-Боровскому от 4 марта того же года, посылая тому по его просьбе книгу Сюареса: «Я в ней немного разочаровался при ближайшем ознакомлении. Слишком много “для шику”» (РНБ, ф. 124, ед. хр. 973). Так или иначе, но переводы эти не были опубликованы ни в «Аполлоне», ни в каком-либо другом издании, хотя Волошин, по-видимому, интереса к ним полностью не утратил: во всяком случае, известно, что в 1913 он пытался получить обратно свою рукопись (т. е., предположительно, беловой автограф переводов), которая, по

словам М.Л. Лозинского в письме к В.И. Анненскому-Кривичу, ему «была опять нужна» (РГАЛИ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 83).

В сохранившемся черновом автографе переводов из Сюареса имеется лакуна: отсутствует бóльшая часть стихотворения «День Господа».

Грихапатни (grihapatni, *инд.*) – хозяйка дома.

Плоэрмель (Плоермель) – французский город; в XIV в. столица провинции Бретань.

...до гробницы Кунгов ∾ наследуя несравненному мудрецу... – т. е. Конфуцию, о гробнице которого идет речь.

Эмероды – изумруды.

Юювовое дерево – зизифус, дерево из семейства крушиновых.

Фромвёрский пролив находится у берегов Бретани (Франция); расположен между архипелагом Молен и островом Уэсан.

П.Р. Заборов

Гюстав Флобер (1818–1880)
Gustave Flaubert

От переводчика: Предварение о переводах. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб.: Академический проект, 1994. С. 199–201 (публ. И.С. Приходько).

Публикуемый текст является контаминацией двух текстов – машинописного, не доведенного до конца и изобилующего разного рода погрешностями, и рукописного в его первоначальной версии (ИРЛИ, ф. 562, оп.1, ед. хр. 428). Предназначалось для т. 5 (1934) Собрания сочинений Г. Флобера в десяти томах под общей редакцией А.В. Луначарского и М.Д. Эйхенгольца (М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1933–1938; фактически издание составило восемь томов, два заключительных в свет не вышли) и, по-видимому, было известно редакции.

[1] *Из «Трех повестей» Флобера...* – Сборник «Три повести» («Trois contes», 1877) включал в себя «Простое сердце» («Un cœur simple»), «Легенду о Святом Юлиане Гостеприимце» («La Légende de Saint Jullien l'Hospitalier») и «Иродиаду» («Hérodias»).

[2] *...переведены на русский язык Тургеневым.* – Оба перевода появились в «Вестнике Европы» (апр. 1877) еще до выхода в свет «Трех повестей» в оригинале (Тургенев переводил с рукописи).

[3] *...пропаганду А.И. Урусова...* – Князь Александр Иванович Урусов (1843–1900), видный адвокат, общественный деятель и литератор; горячий почитатель Флобера, он в течение ряда лет собирал

материалы об этом писателе; после смерти Урусова его «флоберовская коллекция» была передана в парижский музей Карнавале.

[4] *...включенные в Полное собрание сочинений И.С. Тургенева...* – Имеется в виду первое Полное собрание сочинений И.С. Тургенева в 10 томах (СПб.,1883) и все его переиздания.

[5] *«Тургенев перевел Флобера плохо»...* – Утверждение, что переводы эти «не могут считаться адекватной передачей текста подлинника», содержится и в статье М.К. Клемана «И.С. Тургенев – переводчик Флобера», помещенной в Собрании сочинений Г. Флобера (М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1934. Т. 5. С. 149).

[6] *...искажения тютчевских и фетовских стихов.* – Под редакцией И.С.Тургенева были изданы сборники стихотворений Ф.И. Тютчева (1854) и А.А. Фета (1856), вызвавшие многочисленные нарекания и полемику в литературных кругах.

[7] *...из церковных Четьи-Миней...* – т. е. из жизнеописаний святых, канонизированных православной церковью.

[8] *...в латинской агиографии...* – т. е. в жизнеописаниях святых, канонизированных католической церковью.

[9] *...орден рыцарей Гостеприимцев (Иоаннитов).* – Духовно-рыцарский орден, основанный крестоносцами в Палестине (1099; иначе – Мальтийский орден).

[10] *...в ложном старорусском стиле баллад Алексея Толстого.* – Жанр этот широко представлен в поэтическом творчестве А.К. Толстого; соответствующий раздел в полном собрании его сочинений: «Былины, баллады, притчи».

[11] *...классического труда Максима Дюкан о первоисточниках Флобера.* – Имеются в виду «Литературные воспоминания» («Souvenirs littéraires», 1882) французского писателя М. Дюкана (1822–1894), где речь, впрочем, шла лишь об источниках романа Флобера «Госпожа Бовари».

[12] *...овернским ли м а р а н о м ∾ как к таковым.* – Marrans, cagots, cacous (caqueux, caquins) – диалектальные названия «отверженных» народов разного происхождения, проживавших на территории средневековой Франции.

[13] *...рубашка ∾ в XVII в. в Голландии...* – Родина ткацкого ремесла в Европе – Фландрия, где оно возникло в XIV в.

[14] *...флоберовские «каталоги» ∾ с легкой руки Виктора Гюго...* – Столь характерный для Флобера «поток вещей» – эстетический принцип, «унаследованный» им от французских романтиков.

[15] *...в киргизских охотах...* – О пребывании Волошина в Средней Азии (1900–1901) см.: *Купченко Вл.* Странствие Максимилиана Волошина. СПб.: Logos, 1997. С. 7–14.

[16] *...подстрочное примечание...* – Никаких следов такого примечания ни в машинописи перевода, ни в его печатном тексте не существует.

Легенда о св. Юлиане Странноприимце. *Флобер Г.* Собр. соч. В 10 т. / Под общ. ред. А.В. Луначарского и М.Д. Эйхенгольца. М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1934. Т. 5. С. 63–93.

Перевод этой повести, как и другой, входящей в тот же сборник «Trois contes» (1877) – «Un cœur simple» («Простое сердце»), был выполнен для названного издательства. О намерении редакции обратиться к нему с таким предложением Волошин узнал от А.Г. Габричевского и через него же сообщил о своем согласии. 24 окт. 1929 к Волошину с официальным письмом обратился М.Д. Эйхенгольц (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1333, л. 2–3), известивший его об «основных условиях договора» (60 р. за печатный лист) и «сроке представления рукописи» (1 марта 1930). Перевод был отослан досрочно и принят редакцией, которую он, по-видимому, в целом удовлетворил. Опубликован он был после существенного усовершенствования, произведенного Эйхенгольцем или кем-то из его сотрудников, поскольку во время подготовки рукописи к печати Волошина уже не было в живых. Изменению подверглось множество мест перевода, включая и заглавие: «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» вместо «Легенды о св. Юлиане Гостеприимце» в рукописи Волошина (см.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 428). Впоследствии перевод Волошина неоднократно переиздавался.

Простое сердце.

Публикуется впервые по автографу (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 428, л. 8–37).

Выполненный для Собрания сочинений Г. Флобера и принятый издательством (см. письмо М.Д. Эйхенгольца к Волошину 12 февр. 1930. – ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1333, л. 5–6), перевод этот, однако, так и не был опубликован: редакция предпочла ему старый перевод Н. Соболевского, впрочем, слегка подновленный, доработка же перевода Волошина требовала слишком больших усилий. Прежде всего, в этом переводе недоставало многих слов и даже целых фраз: так, остались непереведенными: *tapage des ménétriers* (л. 4), *il se relentirent* (л. 5), *entourées de capucines* (л. 14), *avec un haussement d'épaules* (л. 14), *Puis elle pleura en écoutant la Passion* (л. 14), *Ces choses dépassaient sa compétence* (л. 19), выпали и два имени собственных: *Robelin* (л. 7) и *femme Leroux* (л. 18). Большое число слов и выражений Волошин перевел приблизительно, а подчас и просто неверно: например, *deux panneaux en retour,* т. е. «на шарнирах», у него «два панно, обернутые спинами» (л. 2); *ancien avoué* – «старший по-

веренный» (л. 9) вместо «бывшего», *claire-voie* – «железнодорожный переезд» (л. 12) вместо «изгороди», *bonnet de coton* – «шерстяной чепец» (л. 17) вместо «бумажного», *lutrin* – «кропильница» (л. 19) вместо «аналоя», *tapissière* – «ковровая карета» (л. 23) вместо «мебельного фургона», *un pilote* – «настоящий моряк» (л. 24) вместо «лоцмана», *halaient* – «провожали» (л. 26) вместо «тянули», *longitudes* – «широты» (л. 29) вместо «долгот», *bard* – «чан» (л. 30) вместо «носилок», *congestion* – «мороз» (л. 46) вместо «прилива крови», *cabas* – «шляпка» (л. 46) вместо «корзинки», *eaux et forêts* – «пути сообщения» (л. 50) вместо «лесного департамента», *porcelaine* – «фаянс» (л. 56) вместо «фарфора» и т. п. Немало встречается у Волошина всевозможных буквализмов, таких как «ливр» (фр. *livre*), *«великие клятвы» и «великое молчание»* (фр. *grands serments* и *grand silence),* «совсем радостная» (фр. *toute joyeuse),* «девушка вполне совершенная» (фр. *une personne accomplie*). Наконец, перевод его изобилует неуклюжими синтаксическими конструкциями, неточными транскрипциями имен и названий, не говоря уже об орфографических и пунктуационных ошибках, допущенных в процессе печатания текста на пишущей машинке (возможно, что в издательство перевод был представлен в более исправном виде, однако таким текстом мы не располагаем). Тем не менее, перевод этот всё же несет на себе отпечаток литературного таланта Волошина, убедительно свидетельствуя о его стремлении (пусть и не вполне реализованном) передать стиль одного из шедевров французской реалистической прозы. Правда, для удобства читателей текст этот пришлось по возможности освободить от особенно досадных погрешностей, унифицировать, модернизировать и в нескольких случаях даже дополнить, сохранив при этом некоторые черты его своеобразия и присутствующий в нем колорит эпохи.

П.Р. Заборов

ЮНОШЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

С латинского

Квинт Гораций Флакк (65–8 до н. э.) Quintus Horatius Flaccus

Весна (Трава зеленеет, ручьи убежали...).

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 87 об.–88.

Оды, кн. IV, 7, «К Манлию Торквату» («Diffugere nives, redeunt iam gramina campis...»).

Ода многократно переводилась на русский язык (см.: Античная поэзия в русских переводах XVIII–XX вв.: Библиогр. указатель / Сост. Е.В. Свиясов. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 275, 298).

С английского

Джордж Гордон Байрон (1788–1824)
George Gordon Byron

Еврейские мелодии. I – IV.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 38–39. «Hebrew Melodies», 1815.

Этот цикл в оригинале состоит из 24 стихотворений. Четыре стихотворения, переведенные Волошиным и образующие микроцикл, соответствуют в оригинале стихотворениям 5-му, 10-му, 8-му и 3-му.

I. **«О, плачь о тех, кто там сидел...»** – Oh! Weep for Those («Oh! weep for those that wept by Babel's stream...»).

II. **«Ты плакала, крупные слёзы...»** – I Saw Thee Weep («I saw thee weep – the big bright tear...»).

III. **«О ты, погибшая во цвете красоты!..»** – Oh! Snatched Away in Beauty's Bloom («Oh! snatched away in beauty's bloom...»).

IV. **«О, если там в стране иной...»** – If That High World («If that high world, which lies beyond...»).

Ред.

С немецкого

Все публикуемые переводы из немецкой поэзии относятся к юношеским опытам Волошина. Начав переводить пятнадцатилетним гимназистом, – первый перевод с немецкого (из Платена), которому предшествовал единственный перевод с французского (из О. Барбье; 1892), датирован 10 окт. 1893, – Волошин вплоть до 1901 переводил исключительно немецких поэтов. Репертуар переводимых авторов ограничивался классическим «набором гимназиста»: Шиллер, Гейне, Уланд, Ленау, Фрейлиграт, к которым в 1898 добавился вошедший в моду Гауптман, а в 1900, во время второго заграничного путешествия, случайно открытый Волошиным немецкий поэт-анархист Джон Маккей. По признанию самого Волошина, все эти поэты так или иначе оказали влияние на его творчество (Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей / Собрал Ф.Ф. Фидлер. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. С. 166).

Интерес молодого Волошина к немецкой поэзии в полной мере разделялся его близкими и в значительной степени ими же и возбуж-

дался: мать, Е.О. Кириенко-Волошина, сама переводившая, в частности с немецкого; А.М. Петрова, страстная поклонница творчества Гейне; А.М. Пешковский, вместе с которым Волошин осваивал премудрости немецкого языка, а затем делил «радости» немецкой жизни во время пребывания в Берлине (1900); Е.Ф. Юнге, пробовавшая свои силы в переводе с немецкого и снабжавшая юного Волошина сведениями о новинках немецкой литературы, «благосклонная слушательница детских стихов», как назовет ее позднее сам Волошин; чуть позже Е.В. Деген, критик и переводчик, с которым Волошин познакомился в Москве (1897) и к мнению которого он прислушивался особо, – все они так или иначе сочувственно следили за первыми шагами Волошина на литературном поприще, помогая советами, посылая книги, читая его переводы, критикуя их или же хваля, как это видно по переписке, относящейся к данному периоду.

Собственно с немецких поэтов началось вхождение Волошина в литературу. Одной из его самых ранних поэтических публикаций стал перевод баллады Уланда «Бертран де Борн» (Русский Туркестан. 1900. 15 окт. № 7. С. 1), а первым литературно-критическим выступлением – статья «В защиту Гауптмана: По поводу переводов г. Бальмонта (“Ганнеле” и “Потонувший колокол”)» (Русская Мысль. 1900. № 5. Отд. II. С. 193–200).

Решение предложить свои переводы с немецкого для печати созрело у Волошина осенью 1897, хотя собственно запас переводного материала был не слишком велик, поскольку Волошин не занимался переводами систематически, а переводил лишь от случая к случаю: к этому моменту им было переведено около двадцати стихотворений с немецкого. «У меня есть план, – сообщает Волошин матери 28 окт. 1897, – пустить в оборот свои переводные стихотворения, может, их примут в каком-нибудь журнале, например, в “Вестнике иностранной литературы”, где помещаются только переводные вещи. Только, кажется, трудно вообще попасть в журнал без протекции...» (Из лит. наследия-3. С. 140). Руководствовался Волошин при этом в основном прагматическими соображениями: «...если мне удастся найти сбыт своим переводам, – пишет он далее, – то это, мне кажет<ся>, будет гораздо выгоднее и удобнее уроков. Тогда можно было бы систематически и специально заняться стихотворными переводами. Уроки в Москве дают все студенты, а стихотворными переводами занимаются немногие, и <...> шансов получить работу гораздо больше, если действительно переводы мои хороши, как говорил вам Досекин» (Из лит. наследия-3. С. 140–141).

Мать всячески поддерживала эти планы, считая, что Волошину вообще следует сосредоточиться на переводах и прежде всего выучить должным образом немецкий язык. «Не будь брандахлыстом, – пишет она Волошину 21 янв. 1897, – если любишь поэзию, изучи немецкий язык и станешь славным переводчиком славных поэтов» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645, л. 75 об.).

Волошин-студент, судя по всему, действительно знал немецкий язык весьма посредственно. Оказавшись в Берлине в 1900, он с большим трудом изъясняется на этом языке, в чем сам откровенно признается в письмах к А.М. Петровой и Е.О. Кириенко-Волошиной этого периода, иронически описывая свои встречи с немцами. «Мне-то, в сущности, было бы всё нипочем, – рассказывает Волошин в письме к матери 3 янв. 1900 о своем посещении Русской читальни, – но когда я замечал страдальчески-растерянное выражение лиц моих собеседников, бывших не в состоянии уловить хоть какой-нибудь смысл в причудливых комбинациях немецких слов, судорожно вылетавших из моего рта, то мне становилось стыдно и я мучился угрызениями совести» (Из лит. наследия-3. С. 188). При этом, как явствует из его берлинских писем, трудности вызывала не только разговорная речь, но и современный газетный язык: «...читаю и “Vorwärts”, на который уже успел подписаться, но в котором почти ровно ничего не понимаю», – сообщает он матери (Из лит. наследия-3. С. 187).

Поверхностное знание языка естественным образом сказалось на уровне переводов: Волошин использует, как правило, лишь первые значения слов, порою искажает смысл, опускает конкретные детали, не обращает внимания на композиционную структуру и некоторые стилистические приемы, не чувствует стилистических оттенков – иронии и экспрессии у Гейне, архаичности у Фрейлиграта, напевности баллад Уланда, оставляя без внимания и специфику балладного жанра как такового.

Кроме того, именно слабое знание языка мешало молодому поэту оторваться от буквального следования переводимому тексту, чтобы полноценно реализовать художественный принцип другого поэта-переводчика (с которым Волошин, судя по его статье о Гауптмане, упомянутой выше, был вполне солидарен):

«Я стараюсь, насколько возможно, быть верным оригиналу, но только там, *где верность* или точность *не вредят художественному впечатлению.* <...> Я думаю, что не следует переводить *слова,* и даже иногда *смысл*, а главное, надо передавать *впечатление*» (Из письма А.К. Толстого жене (сент. 1867) // Вестник Европы. 1897. Т. 3. № 6. С. 623–624; выделено автором).

Пребывание в Германии оказалось, наверное, полезным в смысле дальнейшего освоения языка, но не приблизило молодого Волошина к немецкой культуре, интерес к которой заметно ослабевает уже к 1901: Берлин, который с первого раза произвел на Волошина тяжелое впечатление, как он писал об этом А.М. Петровой (22 нояб. / 4 дек. 1899), не выдержал конкуренции с Парижем (см.: Из лит. наследия-1. С. 88–90).

С этого времени переводческие интересы Волошина связаны исключительно с французской литературой. В 1912 Волошину было предложено перевести «Музыкальные новеллы» Э.-Т.-А. Гофмана для издательства «Грядущий день», однако он ответил отказом: «Я очень благодарен Вам, – писал Волошин А.Л. Волынскому (10 нояб. 1912), – что, предпринимая это издание, Вы вспомнили обо мне, но я не могу принять на себя этот перевод: я не люблю немецкого языка и не чувствую духа его и поэтому считаю себя не вправе переводить такого писателя, как Гофман. Все мои симпатии на стороне французской культуры» (ГЛМ, ф. 9, оф 1354). Позднее, под влиянием Рудольфа Штейнера, Волошин откроет для себя другую Германию и другую немецкую культуру, центром которой станет Гёте, однако это важное открытие не оставило в творчестве Волошина-переводчика никаких следов.

Фридрих Шиллер (1759–1805)
Friedrich Schiller

Единственный перевод из Шиллера, выполненный Волошиным (1893), принадлежит к числу его самых ранних переводческих опытов. Судя по записной книжке Волошина-гимназиста, именно тогда он активно читает Шиллера и дает его читать своим соученикам. 9 марта 1893 Волошин отмечает: «Чернцов обещал принести завтра «Дон Карлоса» Шиллера. <...> Будет, значит, что читать» (*Волошин М.* «Средоточье всех путей...»: Избранные стихотворения и поэмы. Проза. Критика. Дневники. М.: Моск. рабочий, 1989. С. 495). Через полтора месяца (26 апр.) он записывает: «Шиллер, Диккенс, Гюго и Достоевский – вот четыре писателя четырех наций, перед которыми можно только преклоняться» (Там же. С. 501). Отвечая на вопросы «тургеневской анкеты» (1898), Волошин назовет среди любимых литературных персонажей маркиза Позу, героя шиллеровской драмы «Дон Карлос»; в аналогичной анкете (1899) маркиз Поза – единственный литературный герой, отмеченный Волошиным как «любимый» (Труды и дни. С. 58, 63). Позднее в поэме «Девятнадцатый век» Волошин включит Шиллера в число главных выразителей ушедшей эпохи (см. наст. изд., т. 2, с. 524).

Раздел земли.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 32 об.–33. Черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 13, л. 2.

«Die Teilung der Erde» (1795).

Волошин начал переводить это стихотворение 28 окт. 1893. Окончательный вариант датируется 10 нояб. 1893.

Людвиг Уланд (1787–1862)
Ludwig Uhland

Людвиг Уланд, широко известный в России благодаря переводам В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, М.Л. Михайлова, А.А. Фета и др., принадлежал, по признанию Волошина, к числу тех поэтов, которые оказали влияние на его творчество. Первый перевод из Уланда был выполнен им в июне 1895. В 1896 Волошин получил от Е.Ф. Юнге том стихотворений Уланда. По этому поводу Е.О. Кириенко-Волошина писала сыну (12 июня 1896): «П<авел> П<авлович> (Теш. – *М. К.*) <...> перелистывал книжечку стихотворений Уланда, присланную тебе M-me Юнге для перевода, и удивлялся вкусу последней, не понимая, как можно советовать переводить такую дребедень» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645, л. 62 об.). Ироническое отношение ближних к немецкому поэту-романтику, уже вышедшему к концу XIX в. из моды, не помешало Волошину продолжить работу над балладами Уланда, которыми он занимался на протяжении 1896 года. Последний перевод датирован 2 янв. 1897.

Проклятие певца.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 62–63. Черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 17–18 об.

«Des Sängers Fluch» (1814).

Сбери свою всю силу. Опасность ждет тебя... – Несколько искажен образ. В оригинале буквально: «Собери всю силу, всё чувство и всю боль».

Король ужасен. Гнева движенья все полны... – Искажен образ. В оригинале буквально: «Король ужасно прекрасен, как кровавое северное сияние».

Как духов причный хор... – В оригинале буквально: «как приглушенный хор духов»

А юноша убитый на грудь отца упал... – В оригинале буквально: «упал на руки учителя».

Покамест не наступит день Страшного Суда... – Данный образ отсутствует в оригинале.

И днесь над этим местом царит какой-то рок... – Данный образ отсутствует в оригинале.

Бертран де Борн («На скале среди развалин...»). Русский Туркестан. 1900. 15 окт. № 7.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 70 об.–71 об.; черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 41.

«Bertran de Born» («Droben auf dem schroffen Steine...», 1829).

Относится к числу первых стихотворных публикаций Волошина. Публикуя перевод баллады, Волошин сопроводил ее следующей заметкой, сведения для которой были почерпнуты им из

«Иллюстрированной всеобщей истории литературы» Иоганна Шерра, неоднократно издававшейся в русском переводе под редакцией П.И. Вейнберга:

«Трубадур Бертран де Борн – одна из самых красивых и характерных личностей XII века. Поэт и рыцарь, с одинаковым искусством владевший мечом и лютней, он является одним из наиболее талантливых и характерных представителей беспримерного расцвета провансальской поэзии, распустившейся в XII веке в полном блеске под непосредственным влиянием животворящего ветерка мавританской культуры, повеявшего в одичавшую Европу со снежных вершин Пиренеев. Этот расцвет провансальской лирики был так блестящ и могуч, что даже и в наше время, семь столетий спустя, отблески его сверкают в наивно-прекрасных песнях Мистраля и в группе национальных провансальских поэтов, следовавших за ним, которая внесла свою долю во французскую лирику XIX столетия.

Бертран де Борн родился в 1140 г. в Перигоре и долго жил в Пуатье при дворе Элеоноры Плантагенет <...>, жены Генриха II. Всю свою жизнь он провел в бесконечных сражениях и битвах, принимая горячее участие в распре Генриха Плантагенета с его сыновьями: Генрихом, убитым при Монфорте, и Ричардом Львиное Сердце, возбуждая их против отца пламенными сирвентами, в которых слышались “звук мечей и победные крики”, по словам Иоганна Шерра. Он увлек в свой замок Аутофорт <*фр.* – Hauteforte, *нем.* – Autafort> дочь Генриха Плантагенета и обаянием своей личности имел неотразимую власть на человеческим сердцем.

Ein edler Stolz in allen Zügen
Auf seiber Stirn Gedankenspur,
Er konnte jedes Herz besiegen
Bertrand de Born, der Troubadour.

На наш взгляд, песни Бертрана де Борна – это песни вполне военного человека. На все темы он смотрит исключительно с военной точки зрения: когда он описывает весну, например, он говорит: “Небеса очищаются от туч; скоро по зеленеющим полям замелькают разноцветные значки... Скоро снова можно будет драться...”. Теперь эти песни, пожалуй, покажутся несколько наивными, но это происходит только от их чересчур откровенной формы; а если вникнуть в суть совершающихся в Европе событий, то Бертран де Борн, пожалуй, окажется далеко не настолько уж устаревшим поэтом.

Небольшая поэма Уланда является одним из наиболее сильных его произведений и изображает взятие Аутофорта Генрихом II Плантагенетом».

И меня ты победил... – Буквально: «Тронул мое сердце».

Граф Эберштейн. Русский Туркестан. 1900. 12 нояб. № 19.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 73–73 об.; черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 40 об.

«Graf Eberstein» (1814).

Бал в полном разгаре и блеск и движенье... – Опущено обозначение конкретного места действия. В оригинале буквально: «В замке Шпейер...». *Шпейер* (Speyer) – столица земли Пфальц (на Рейне).

И тихо ночь / Уходит прочь... – Образ отсутствует в оригинале.

Я так богат / И горд, и рад... – Образ отсутствует в оригинале.

Три песни.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2., л. 79 об.–80. Черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 47 об.

«Die drei Lieder» (1807).

В переводе не сохранена строфическая структура оригинала.

Дочь трактирщицы.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2., л. 80–80 об. Черновик и подстрочник: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 49.

«Der Wirtin Töchterlein» (1808).

В переводе не сохранена строфическая структура оригинала.

«Дочь трактирщицы» была одной из самых известных баллад Уланда в России. В 1820 ее перевел В.А. Жуковский, дав ей название «Три путника». Баллада стала народной песней; помимо народного варианта мелодии существует пять композиторских переложений. Волошин перевел это стихотворение в дек. 1896 и вскоре отправил его матери. 10 февр. 1897 Е.О. Кириенко-Волошина отвечала: «“Дочь трактирщицы” мне нравится по содержанию, но перевод плохует, в особенности это место: “И первый покров, что над трупом висел...”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645, л. 80).

...покров, что над трупом висел... – Образ отсутствует в оригинале.

В расцвете весны... – Образ отсутствует в оригинале.

<Блаженная смерть> («Я был убит...»).

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 84. Черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 51.

В переводе отсутствует заголовок.

«Seliger Tod» (1807).

Август фон Платен (1796–1835)
August von Platen

Творчество Августа фон Платена, поэтического и политического соперника Гейне, долгое время оставалось в России почти неизвестным. К концу XIX в. на русском языке существовало всего два опубликованных стихотворных перевода из Платена. В обоих случаях речь идет о переводе баллады «Похороны Алариха» (Русский Вестник. 1883. Т. 227. С. 42; Труд. 1891. Т. X. № 10. С. 402–403). Пуб-

ликуемый перевод Волошина относится к числу его самых первых переводческих опытов, выполненных в 1893. Волошин перевел лишь одну балладу Платена и более никогда к этому автору не обращался.

Похороны Алариха

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 32.

«Das Grab in Busento» (1820).

В переводе изменено название: в оригинале баллада называется «Могила в Бузенто»; нарушена строфическая структура.

В основе баллады лежит легенда, по которой король вестготов Аларих I (ок. 370–410), умерший от малярии в городе Козенца во время похода на Сицилию и далее в Африку, был похоронен неподалеку от города Козенца на дне реки Бузенто, русло которой, по преданию, было временно отведено для того, чтобы таким образом уберечь от разграбления сокровища Алариха, добытые его армией в Риме, павшем под натиском вестготов 14 авг. 410. Баллада принесла Платену европейскую известность.

И на месте погребенья ∾ посадили лотос белый... – Данный образ отсутствует в оригинале.

...Спи, наш добрый вождь... – Данный образ отсутствует в оригинале.

Генрих Гейне (1797–1856)
Heinrich Heine

С творчеством Гейне Волошин познакомился в юности. В наброске автобиографии (1925) он вспоминал: «Я родился в день Св. Духа и поэтому в юности любил стихи Гейне о рыцарях Св. Духа» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 2, л. 24). Первая попытка перевода из Гейне относится к осени 1893 («Два гренадера»). В этот период Волошин дает читать соученикам гейневские «Книгу песен» и «Лютецию» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 448/1, л. 7 об.). В 1894 он пишет стихотворение «Прекрасны бывают старинные сказки...», в основе которого лежит германская легенда о ребенке, плачущем жемчужными слезами, использованная Гейне во второй части книги «Французские дела» («Französische Zustände», 1831–1832). Увлечение немецким поэтом, усилившееся, вероятно, под влиянием А.М. Петровой, большой почитательницы Гейне, в полной мере разделялось другом юности Волошина А.М. Пешковским. 10 июня 1896 Волошин пишет А.М. Петровой о летних занятиях Пешковского: «И, наконец, третье его занятие это немецкий язык. Теперь он получил Гейне и зачитывается» (Из лит. наследия-1. С. 12).

Основной период работы над переводами из Гейне приходится на 1897–1898 годы. По свидетельству Е.В. Дегена (в письме к Е.Ф. Юнге 3 апр. 1900), в то время Волошин был буквально «поме-

шан на Гейне» (ГИМ, ф. 344, ед. хр. 41. л. 29). О том же вспоминал и университетский товарищ Волошина Л.Л. Кобылинский (Эллис), чьи слова, обращенные к нему, Волошин занес в дневник (25 нояб. 1907): «Помнишь, как ты читал переводы из Гейне? “Палач стоит у дверей”. Еще тогда Гейне был. И потом вдруг – поворот» (наст. изд., т. 7, кн. 1., с. 284). В ответах на «тургеневские» вопросы (1898 и 1899) о вкусах и увлечениях Волошин ставит Гейне на первое место (Труды и дни. С. 58, 63). Позднее, заполняя анкету Ф. Фидлера, Волошин снова выделит Гейне из круга тех поэтов, которые оказали влияние на его творчество (Первые литературные шаги: Автобиографии современных русских писателей / Собрал Ф.Ф. Фидлер. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. С. 166).

В гимназические годы Волошин не только переводит Гейне, но и пишет «под Гейне»: 21 янв. 1897 он отправляет матери два стихотворения («Душа моя широка...» и «Плещут в море волны...»), выдавая их за перевод из Гейне (Из лит. наследия-3. С. 133–134). В ответном письме (27 янв. 1897) Е.О. Кириенко-Волошина сообщает о своих впечатлениях: «...твой перевод из Гейне и сами стихотворения мне очень нравятся, в особенности “Душа моя широка”. По-моему, перевод прекрасный, хотелось бы прочесть оригинал, чтобы вполне в этом убедиться» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645, л. 75 об.). 4 февр. 1897 Волошин раскрывает мистификацию (Из лит. наследия-3. С. 135), что вызывает некоторое раздражение у матери, но не меняет ее оценки присланных стихотворений. «Гейне или не Гейне, стихи или не стихи, Макс это или не Макс, но это что-то мне, повторяю, нравится, и на твою обыденную канитель, переливание из пустого в порожнее совсем не похоже», – пишет она 10 февр. 1897 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 645, л. 81).

В этот период Волошин воспринимал Гейне прежде всего как романтического поэта. «Помнится мне от тех времен, – запишет он уже в 1932 году, – очень яркое общее романтическое настроение. Шутка и поэзия. Бетховен и Гейне» (*Волошин М.* Путник по вселенным. М.: Сов. Россия, 1990. С. 253). Однако уже после первого заграничного путешествия, предпринятого Волошиным (1899), образ «поэта-романтика» несколько меняется, уступая место «поэту-борцу». 17 нояб. (н. ст.) 1899 Волошин посещает могилу Гейне на Монмартрском кладбище в Париже, о чем он в тот же день подробно пишет А.М. Петровой (Из лит. наследия-1. С. 86). Впечатления от этого посещения нашли поэтическое воплощение в стихотворении «Камни Парижа», начатом в янв. 1900 и содержащем скрытые цитаты из Гейне, который видится теперь Волошину как тот, «кто бессменно стоял на часах / У трупа заснувшей свободы». Фрагмент этого стихотворения был опубликован Волошиным в его статье «Эпилог XIX века», в которой он, в частности, пишет о Гейне: «От 30 до 48 года Гейне является самым ярким выразителем души XIX

века» (Русский Туркестан. 1901. 1 янв. № 1). Новый взгляд на Гейне нашел отражение и в лекции Волошина «Опыт переоценки художественного значения Некрасова и Алексея Толстого» (1902), в которой он, сравнивая Некрасова и Гейне, называет последнего «великим политическим поэтом» (РЛ. 1996. № 3. С. 134–146. Публ. О.А. Бригадновой).

Гейне был своеобразным «спутником» Волошина во время его пребывания в Берлине (1900). Сообщая А.М. Петровой о своих впечатлениях от немецкой жизни (28 дек. 1899 / 9 янв. 1900), Волошин солидаризируется с Гейне: «Я <...> понимаю теперь и Генриха Гейне, говорившего, что немцы злоупотребляют своим правом быть глупыми и что немецкая жизнь тянется как волос по молоку. <...> Гейне они ненавидят. “О, это был дурной человек. Ведь вы знаете, от какой болезни он умер?” – говорили мне мои хозяйки. И это думает вся Германия, которая до сих пор не поставила ему памятника на своей почве» (Из лит. наследия-1. С. 92).

Во время второго заграничного путешествия (лето 1900) Волошин в «Журнале путешествия» вспоминал Гейне, находясь в Италии, где ему приходилось иногда передвигаться «в типично грязном итальянском дилижансе, напоминавшем <...> путешествия Гейне» (наст. изд., т. 7, кн. 1, с. 43). Он планировал также «нанести визит» Гейне на о. Корфу, т. е. осмотреть памятник поэту, находящийся там, что, однако, не удалось из-за отсутствия денег, как сообщал Волошин А.М. Пешковскому 11 (24) янв. 1901 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 99, л. 1 об.). В том же «Журнале путешествия» Волошин особо подчеркнул роль Гейне в его восприятии Греции: «Позже, когда я прочел Байрона и Гейне, Греция снова развернулась передо мной, со своим гармоничным жизнерадостным миросозерцанием и со своими светлыми изгнанными богами. И теперь тень Гейне, обитающая на Корфу, в воздвигнутом в честь него храме, благословляла мое прибытие в Грецию» (наст. изд., т. 7, кн. 1, с. 102).

Позднее, когда юношеское увлечение немецкой поэзией сменилось устойчивым интересом к поэзии французской, Волошин тем не менее сохранил привязанность к Гейне, о котором он вспоминал и во время своих летних прогулок с М.В. Сабашниковой в 1905 (наст. изд., т. 7, кн. 1, с. 235, 241), и когда работал над статьей «Пророки и мстители» (1905), в которой он цитирует фрагмент из работы Гейне «К истории религии и философии в Германии» (наст. изд, т. 3, с. 284), и в 1909, когда писал И.Ф. Анненскому в связи с его «Второй книгой отражений», особо выделив в ней очерк «Гейне прикованный», добавив: «...умирающий Гейне мне ближе всего» (РГАЛИ, ф. 6, оп. 1, ед. хр. 307, л. 11). Последним отзвуком гейневских тем в творчестве Волошина стало стихотворение «Порох» (1922), в котором он развивает образы, сходные с образами «Путевых картин» Гейне.

Два гренадера. Адамантова. С. 296–297.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 33–33 об.; черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 13, л. 1 об.

«Die Grenadiere». Сб. «Книга песен» («Buch der Lieder», 1827; цикл «Страдания юности», раздел «Романсы» – «Junge Leiden. Romanzen»).

Перевод начат 29 окт. 1893, окончательный вариант датирован 20 нояб. 1893. В переводе изменено название: в оригинале стихотворение называется «Гренадеры». Не сохранена строфическая структура оригинала.

Конец их отчизне положен... – В оригинале иной стилистический регистр; буквально: «Франция пропала». Ср. перевод М. Михайлова: «...увидеть / В позоре родную страну...» (Гейне-1. С. 32).

И сам император низложен... – В оригинале буквально: «Император взят в плен». Ср. перевод М. Михайлова: «И сам император в плену!» (Гейне-1. С. 32).

По бедной отчизне желанной... – В оригинале буквально: «Из-за печальной вести». Ср. перевод М. Михайлова: «Печальные слушая вести...» (Гейне-1. С. 32).

Мой крест положи ты со мною... – В оригинале буквально: «Почетный крест на красной ленте». Ср. перевод М. Михайлова: «Ты орден на ленточке красной...» (Гейне-1. С. 32).

Enfant perdu. Адамантова. С. 297. Опубликовано также в составе письма к А.М. Петровой 10 июня 1898 (Из лит. наследия-1. С. 13).

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 70–70 об.; черновики: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 32–32 об., 33.

«Enfant perdu». Сб. «Романсеро» («Romanzero», 1851; кн. II: «Ламентации» – «Lamentationen»).

Волошин послал этот перевод А.М. Петровой, сопроводив его следующим комментарием: «...я перевел одно стихотворение Гейне и напишу вам его в письме. Вы себе не можете представить моего положения – мне ведь тут некому его прочесть. Прочесть некому! Разве это не трагедия!?!» (Из лит. наследия-1. С. 12).

Enfant perdu. – Так во французской армии называли солдат, находившихся в передовом дозоре движущегося военного отряда и на дальнем посту охранения.

Свободен пост ∾ *время не ушло!..* – Искажен смысл. В оригинале буквально: «Свободен пост! – Зияют раны – / Один упал, другие встают на его место –...». Ср. перевод В. Левика: «Свободен пост! Мое слабеет тело... / Один упал – другой сменил бойца!» (Гейне-3. С. 108.)

«Когда ты будешь во гробу...».

Печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 72). Черновики – в рабочей тетради со стихотворениями и стихотворны-

ми переводами 1894–1899 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 34 об.; 34 об.–35).

«Mein süßes Lieb, wenn du im Grab...». Сб. «Лирическое интермеццо» («Lyrisches Intermezzo», 1823).

Работа над переводом была начата 9 июля 1896, окончательный вариант датирован 18 июля 1896. В переводе отсутствует строфическое членение оригинала.

Бертран де Борн («В нем гордость духа отражалась...»). БП. С. 457.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 73 об.

«Bertrand de Born» («Ein edler Stolz in allen Zügen...»). Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; раздел «Романсы» – «Romanzen», 12).

В переводе отсутствует строфическая структура: в оригинале романс состоит из трех четверостиший.

Бертран де Борн, герой-поэт! – Искажен смысл. В оригинале буквально: «Бертран де Борн, трубадур».

Чайльд Гарольд. Адамантова. С. 300. Опубликовано также в составе письма к А.М. Петровой (янв. 1898): Из лит. наследия-1. С. 41.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 70.

«Childe Harold». Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; раздел «Романсы» – «Romanzen», 3).

В переводе отсутствует строфическое членение: в оригинале стихотворение состоит из трех четверостиший.

В янв. 1898 Волошин посылает перевод этого стихотворения А.М. Петровой и пишет, что посвящает его В.А. Воллк-Ланевской (Из лит. наследия-1. С. 41).

«Прекрасная звезда из мрака восстает...». Адамантова. С. 298. Опубликовано также в составе письма к А.М. Петровой (янв. 1898): Из лит. наследия-1. С. 41.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 76.

«Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht...». Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; цикл «Катарина» – «Katharina», 1).

Перевод посвящен А.М. Петровой (Из лит. наследия-1. С. 41).

«Ты лежишь в моих жарких объятьях...». Адамантова. С. 300. Опубликовано также в составе письма к А.М. Петровой (янв. 1898): Из лит. наследия-1. С. 41.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 76 об.

«Du liegst mir so gern im Arme...». Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; цикл «Катарина» – «Katharina», 4).

В переводе отсутствует строфическое членение оригинала.

Перевод посвящен А.М. Петровой (Из лит. наследия-1. С. 41).

Иль лезут вперед напролом... – Данный образ отсутствует в оригинале. Буквально: «Разбивают друг другу в кровь головы дубинками». Ср. перевод Д. Горфинкеля: «Дубинками больно тузят» (Гейне-2. С. 63).

Олаф. Русский Туркестан. 1900. 12 нояб. № 19.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 100–101.

«Ritter Olaf». Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; раздел «Романсы» – «Romanzen», 10).

В рукописи Волошина сохранено полное название стихотворения: «Рыцарь Олаф».

В переводе нарушено строфическое членение оригинала.

Олаф танцует ∾ горд, прекрасен... – Данный образ отсутствует в оригинале. Буквально: «И когда они танцевали в гудящем зале...». Ср. перевод Е. Книпович: «И пляска длится, и зал дрожит...» (Гейне-2. С. 82).

Привет и вам, птички зеленых степей / Поющие в поле далеком... – Образ искажен. В оригинале буквально: «Благословляю вас, птички, щебечущие в вышине». Ср. перевод Е. Книпович: «И славлю птиц я в вышине / Веселое щебетанье» (Гейне-2. С. 82).

<Странствуй!> «Когда тебя женщина бросит, тогда...». Адамантова. С. 297–298.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 407, л. 3 об.

«Wandere!» («Wenn dich ein Weib verraten hat...»). Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; цикл «Ollea» – «Zur Ollea», 4).

В переводе отсутствует заголовок и строфическое членение оригинала.

«Раз мне снилось: прогуляться...». Адамантова. С. 299.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 407, л. 96 об.–97 об.

«Jüngstens träumte mir: spazieren...». Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; цикл «Катарина» – «Katharina», 7).

В переводе отсутствует строфическое членение оригинала.

Как сычи кругом сидели... – Данный образ отсутствует в оригинале. В оригинале буквально: «Я видел там избранных...», – и далее следует перечисление. Ср. перевод этой строфы, выполненный Е. Эткиндом: «Я отшельников там видел, / Капуцинов и прелатов, / Стариков, а также юных, – / Эти хуже сохранились» (Гейне-2. С. 67–68).

Желанное счастье. Адамантова. С. 299–300.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 407, л. 96 об.

«Geträumtes Glück». Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; цикл «Китти» – «Kitty», 4; в разделе «Дополнения» (1828–1844) к «Разным <стихотворениям>»).

В переводе отсутствует строфическая структура оригинала.

Розы отцветают средь куртин... – Данный образ отсутствует в оригинале. В оригинале буквально: «Теперь осень лишила розу листьев». Ср. перевод этой строки, выполненный Д. Горфинкелем: «Нынче осень губит розу...» (Гейне-2. С. 133).

Германия: Зимняя сказка. Адамантова. С. 287–294 (главы 1–3, 6–7). Главы 1–2 опубликованы также в составе письма Волошина к матери 28 окт. 1897 (Из лит. наследия-3. С. 141–144).

Главы 4–5 печатаются по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 72–75.

Автограф глав 1–6: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 68 об.–76; автограф глав 6–7: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 407, л. 4–7.

Deutschland: Ein Wintermärchen (1844).

В переводе нарушено строфическое членение оригинала.

Во второй половине XIX в. было опубликовано четыре перевода этой поэмы Гейне: В.И. Водовозова (1861), В.Д. Костомарова (1863), Заезжего (В.М. Михайлова; 1875), Д.Д. Минаева (1881). Волошин приступил к переводу поэмы осенью 1897, о чем он сообщает в письме к матери (28 окт. 1897): «...в последнее время я занимался между прочим переводом поэмы Гейне "Германия. Зимняя сказка" и перевел пока две главы, которые и привожу тут. Напишите, пожалуйста, какое впечатление производит на вас перевод и какие вы найдете недостатки. Я хочу перевести всю эту поэму. Она огромная, 27 таких глав. Переводя в неделю по 3–по 4 главы, я переведу ее в два месяца» (Из лит. наследия-3. С. 141). Тогда же Волошин пишет А.М. Петровой: «Я предпринял капитальный труд – именно я перевожу «Германию. Зимнюю сказку» Гейне. Помните, какие были скверные переводы, которые вы читали: ну вот, я <и> задался гордой целью дать хороший литературный перевод "Германии". Пока за эту неделю я перевел три песни (из 27), которые и прилагаю к письму. Какое впечатление произведет на Вас перевод. Напишите, пожалуйста. И отметьте те места, которые вы найдете слабыми или шероховатыми» (2 нояб. 1897: Из лит. наследия-1. С. 26). 11 дек. 1897 Волошин сообщал Петровой, что показывал свой перевод поэмы Е.В. Дегену: «Он сам ее когда-то пробовал переводить, но находит, что мой перевод лучше, и советовал продолжать перевод» (Из лит. наследия-1. С. 35). До конца 1897 Волошин переводит еще несколько глав (третью, четвертую, пятую, часть шестой) и приостанавливает работу. 24 февр. 1898 Волошин сообщает Петровой, что «"Германия" застряла на VI-ой песне» (Из лит. наследия-1. С. 49).

В 1899 Волошин возобновляет работу над переводом, но, переведя до конца шестую главу и половину седьмой, снова откладывает перевод и больше к нему не возвращается. Небольшой фрагмент четвертой главы в собственном переводе Волошин приводит в очерке «Листки из записной книжки», посвященном Германии (Русский Туркестан. 1901. 9 февр. № 18; см. также т. 4 наст. изд.).

О том, каким счастьем в былые года / Когда-то душа упивалась... – Искажен смысл. Буквально: «О потустороннем мире, где душа парит, просветленная, в вечном блаженстве». Ср. перевод В. Левика: «О светлом рае, где душа / Сияет в блаженстве вечном» (Гейне-2. С. 269).

Так духи-малютки, кружась надо мной, / Играли победные трели... – Искажен смысл. Буквально: «Пока малышка разливалась соловьем о небесных радостях». Ср. перевод В. Левика: «Малютка все распевала песнь / О светлых горних странах». (Гейне-2. С. 270).

Грядущего царства клейноды ∾ Всемирного храма свободы... – Искажен смысл. Буквально: «Алмазы будущего, храмовые сокровища нового бога, великого неизвестного». Ср. перевод В. Левика: «Венцы грядущим победам, / Алмазы нового божества,/Чей образ высокий неведом». (Гейне-2. С. 271). *Клейноды* – войсковые знаки отличия и символы власти в украинских казачьих и польских войсках.

...Фон-Фаллерслебена книги... – Август Генрих Гофман фон Фаллерслебен (1798–1874) – немецкий политический поэт, чьи стихи были под запретом в Пруссии.

...таможенный прусский союз... – Возник в 1834–1840, способствовал укреплению позиций Пруссии в экономической жизни Германии.

Средь Ахена в древнем соборе стоит / Великого Карла гробница... – Ахен был резиденцией Карла Великого. В Средние века германские императоры короновались в Ахене.

У Карла же Майера в Швабии дом... – Карл Майер (Karl Mayer, 1786–1870), немецкий поэт, входивший в «Швабский поэтический кружок».

Пел Кёрнер в минувшие лета... – Теодор Кёрнер (Theodor Körner, 1791-1813), немецкий поэт, участник войны против Наполеона, автор военно-патриотических стихов. Особой известностью пользовался его сборник «Лира и меч», 1814).

Жизнь темных людей, о которых / Нам Ульрих фон Гуттен когда-то... – Имеется в виду знаменитый сатирический памфлет начала XVI в. «Письма темных людей» («Epistolae obscurorum virorum»), одним из авторов которого был Ульрих фон Гуттен (1488–1523).

И Кёльнский Менцель-Гохстратен писал / Здесь пасквили полные яду... – Якоб ван *Гогстратен* (Хохстратен) (Jakob van Hoogstraeten (Hochstraaten), 1460–1527) – приор ордена доминиканцев в Кёльне, инквизитор. Вольфганг *Менцель* (1798–1873) – немецкий поэт, оппонент Гейне, выступал против «Молодой Германии». Гейне, посвятивший Менцелю, в частности, памфлет «О доносчике» («Über

den Denunzianten», 1837), сравнивает его здесь с Якобом ван Гогстратеном, доносы которого на Рейхлина послужили поводом к написанию «Писем темных людей».

“Κυριε ελεισον” – «Господи, помилуй» (*греч.*). В оригинале дано латиницей: «Kyrie eleison». Молитва, воспринятая в западных церквах из «восточного обряда», где она известна под названием «ектения»; в западной церковной традиции является частью вводного раздела “Литургии Слова” (обряд покаяния).

А вы – палачи!.. – Изменен смысл. В оригинале буквально: «Вы, жалкие плуты Соборного Союза». Имеется в виду Соборный союз, учрежденный в 1842 для сбора средств на завершение строительства Кёльнского собора.

Хотели бесстыдно и смело... – Образ отсутствует в оригинале.

Пусть я не дождусь!.. – Образ отсутствует в оригинале.

И будет без пользы стараться король / И так декламировать страстно... – Имеется в виду король Людвиг I Баварский (годы правления 1825–1848).

...огромные залы его / В денник для коней превратятся... – В 1796 французские войска заняли Кёльн и превратили Кёльнский собор в сарай для фуража.

С тремя королями, которые там / В гробницах лежат на покое?.. – По легенде, в Кёльнском соборе покоятся мощи трех волхвов.

..три клетки (там место найдется), / Которые в Мюнстерской башне висят / Она Санкт Ламберти зовется... – Имеется в виду башня Святого Ламберта в Мюнстере с тремя железными клетками, где в 1537 были выставлены тела казненных «перекрещенцев» Иоанна Лейденского, Книппердолинга и Крехтинга.

Лет тридцать прошло... – Изменен смысл. В оригинале: «Тринадцать лет».

Я в Бибрихе камни всё время глотал... – Имеется в виду затопление судов, груженных камнями, в гавани Бибриха (земля Нассау) по указу гессенского министра, вследствие чего корабли вынуждены были причаливать к другому берегу, что было выгодно для земли Гессен.

А тут еще Беккер стихи написал... – Николаус Беккер (Nikolaus Becker, 1809–1845) – мелкий чиновник из Кёльна, автор стихотворения «Он им не достанется...» (1840), направленного против притязаний французов (в лице Тьера и его партии) на левый берег Рейна.

...Альфред де Мюссе ∾ Свои барабанит остроты... – Имеется в виду стихотворный ответ Мюссе на «Рейнскую песнь» Николауса Беккера, начинающийся словами: «Мы им уже владели, вашим немецким Рейном...».

Но есть Генгстенбергерцы даже... – Эрнст Вильгельм Генгстенберг (Ernst Wilhelm Hengstenberg, 1802–1869), теолог, профессор Берлинского университета. Один из идеологов национального прус-

ского движения, основатель влиятельной «Евангелической церковной газеты» (1827), направленной на борьбу с рационализмом.

Георг Гаррис – Джордж Гарри (Georges Harry), литератор, автор книги о Паганини (1830), устроитель его концертных поездок.

«Небо будничо и серо...».

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 101 об.

«Himmel grau und wochentäglich...». Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; цикл «Новая весна» – «Neuer Frühling», 44).

В переводе отсутствует строфическое членение оригинала, часть образов утрачена, в отдельных случаях искажен смысл. Ср. перевод В. Коломийцева:

Небо, как всегда, невзрачно!
Город – все в нем как и было!
Он глядится в Эльбу – мрачно,
Обыденно и уныло.

Все носы, как прежде, длинны
И сморкаются тоскливо;
Гнут ханжи все так же спины
Или чванятся спесиво.

Юг прекрасный! Я тоскую
По богам твоим, по свету,
Наблюдая мразь людскую
Да еще погоду эту!

(Гейне-2. С. 24).

<Генрих> «Босиком, в одной рубашке...».

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 16, л. 7.

«Heinrich» («Auf dem Schloßhof zu Canossa...»). Сб. «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1844; раздел «Современные стихотворения» – «Zeitgedichte», 9).

В переводе отсутствует заголовок и строфическое членение оригинала.

Основано на историческом сюжете: конфликт германского императора Генриха IV и папы римского Григория VII, пытавшегося добиться подчинения светской власти папскому престолу. По настоянию Григория VII, отлучившего Генриха IV от церкви, немецкие князья объявили императора низложенным, после чего он отправляется в Каноссу, в замок маркграфини Матильды, где тогда гостил папа Григорий VII, и униженно пытается получить прощение. Впоследствии Генриху IV удается отомстить Григорию VII: в 1080 он с приближенными к нему епископами созвал в Бриксене собор, на

которром Григорий VII был в свою очередь низложен и отлучен от церкви.

И в стволах высоких сосен... – Буквально: «В стволе самого высокого дуба». Далее пропущена одна строка: «растет деревянная рукоять для секиры». Ср. перевод Б. Томашевского: «И растет в стволе высоком / Рукоятка для секиры» (Гейне-2. С. 112).

«Ухожу от вас я в горы...». Русский Туркестан. 1901. 2 марта. № 26 (раздел «Листки из записной книжки»).

«Auf die Berge will ich steigen...». Фрагмент пролога к «Путешествию по Гарцу» («Harzreise», 1826).

Николаус Ленау (1802–1850)
Nikolaus Lenau

Трое.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 64–64 об.

«Die Drei». Сб. «Новые стихотворения» («Neuere Gedichte», 1844).

Волошин начал работать над переводом этого стихотворения в дек. 1896 и сделал сначала прозаический подстрочник (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 49).

Фердинанд Фрейлиграт (1810–1876)
Ferdinand Freiligrath

Поэзия Фрейлиграта была хорошо известна в России XIX в.: его стихи переводили Ф. Миллер, Н. Михайловский, А. Баратынская, К. Павлова и др. Особой популярностью пользовалось стихотворение «Люби, пока любить ты можешь...» в переводе А. Плещеева, которое легло в основу русского варианта романса на музыку Ф. Листа. Все публикуемые ниже переводы Волошина из Фрейлиграта были сделаны им в 1895 – начале 1896. Кроме того, в архиве Волошина сохранился фрагмент подстрочника к стихотворению «Поступь льва» («Löwentritt»), перевод которого так и остался незавершенным (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 20 об.).

Видение в пустыне.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 54–55 об.; черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп.1, ед. хр. 3, л. 6–6 об.

«Gesicht des Reisenden» (1838).

В переводе изменено название стихотворения; в оригинале буквально: «Лицо путника».

Низких гор вершины... – Опущен топоним. В оригинале буквально: «перевалы гор Нила».

Всё кругом уж спало – только мне не спалось... – Данная строка отсутствует в оригинале.

Сколько там их? Миллионы... – Образ отсутствует в оригинале.

От Гвинейского залива... – Образ отсутствует в оригинале.

...тени мрачного Эреба... – Образ отсутствует в оригинале.

...Бог нам сила и отрада!.. – Образ отсутствует в оригинале.

Месть цветов.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 61–62. Подстрочник: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 16–16 об.; стихотворный черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 16 об.–17 об.

«Der Blumen Rache» (1831).

Работа над переводом была начата 2 июля 1895, окончательный вариант датирован 3 июля 1895. В переводе отсутствует строфическое членение оригинала.

Из цветка зеленой Дафны... – Образ искажен. В оригинале буквально: «Из шлема аконита».

Из цветов болотной тины... – Образ отсутствует в оригинале.

Весь покрыт росой блестящей... – Образ отсутствует в оригинале.

Оживляли волны света... – Образ отсутствует в оригинале.

...Неподвижно / В вазе, убранной богато, / Спят цветы... – Образ отсутствует в оригинале.

«Люби, пока любить ты можешь!..». Адамантова. С. 302–303 (с искажениями).

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3а, л. 12–12 об.

«O lieb, so lang du lieben kannst!..» (1841).

Перевод вписан рукою Волошина в альбом Е.А. Воллк-Ланевской 26 апр. 1897. Первый вариант, отличающийся от окончательного рефреном, был сделан 12 нояб. 1895 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 64 об.–65; черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 21, 22); летом 1898 Волошин еще раз вернулся к этому тексту, внес некоторые поправки в рефрен, несколько изменил часть основного текста и отложил работу, не доведя ее до конца (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 91).

Парафраз первой строки рефрена использован Волошиным в стихотворении «Что за тишь, что за гладь!...» (1894): «И люби, пока можешь любить...» (наст. изд., т. 2, с. 282).

Старые, знакомые лица.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 64; черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 21.

«Die alten bekannten Gesichter». Немецкий текст является переводом стихотворения «Старые знакомые лица» («The old familiar faces», 1798) английского поэта и прозаика Чарльза Лэма (Charles Lamb, 1775–1834).

Мираж.

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 65–66 об.; черновики: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 23 об.–25; л. 25–26 об.

«Mirage» (1837).

Сюжетно стихотворение связано с рассказом Отелло дожу Венеции и сенаторам о том, как он увлек Дездемону повествованиями о своих скитаниях (Шекспир У., «Отелло», акт 1, сцена 3). Черновой вариант датирован 25 февр. 1896, окончательный вариант – 27 февр. Несколькими днями раньше (21 февр. 1896) Волошин сообщал матери: «...перевожу одно замечательное стихотворение Фрейлиграта “Мираж”, рассказ Отелло Дездемоне» (Из лит. наследия-3. С. 121). 1 марта того же года он написал ей о том, что закончил перевод, и добавил: «...он мне, кажется, очень удался» (Из лит. наследия-3. С. 122).

...Склонись ко мне на грудь своею головой... – Образ отсутствует в оригинале...

Тимбукту – город в Западной Африке (Французский Судан).

...туманной пеленой... – Образ искажен. В оригинале буквально: «Воздух цвета серы».

А вон кустарник – он обвит какой-то белой пеленой... – Образ отсутствует в оригинале.

Вон мех разорванный лежит... – Имеется в виду бурдюк для хранения воды.

Билед-уль-Герид – Билед-уль-Джерид, оазис в южном Тунисе.

Его любимая жена в его руках без чувств лежит... – Образ искажен, в оригинале буквально: «Измученная жаждой, его любимая жена повесилась на поводьях».

И Дездемона, приклонясь на грудь вождя... – Образ отсутствует в оригинале.

Негритяиский князь. Русский Туркестан. 1901. 4 марта. № 27.

Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 67–68; черновики: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 27–28; 28–29.

«Der Mohrenfürst» (1838).

Работа над переводом была начата 6 марта 1896, окончательный вариант датируется 8 апр. 1896. В первом варианте перевода стихотворение называлось «Князь негров», во втором – «Негрский

князь». Готовя текст к публикации, Волошин изменил только название и никакой иной правки не внес. В оригинале стихотворение состоит из двух частей. В рукописи композиционное членение было сохранено, в тексте, опубликованном в «Русском Туркестане», разбивка на главы снята.

Сияла повязка на лбу у него... – Образ несколько искажен. В оригинале буквально: «Кудри подвязаны пурпурной повязкой».

Над этой могучей и дикой толпой... – Неточная передача образа. В оригинале буквально: «Дикая толпа колыхалась, как термиты».

Где море шумит у коралловых скал... – В переводе не сохранена топонимика. В оригинале буквально: «Где море Персии разбивается о кораллы».

...На солнце блестя, / Как символы смерти летят знамена... – Утрачен образ. В оригинале буквально: «Высоко реет знамя, увешанное черепами, и возвещает смерть».

И села у входа в невольной тоске... – Образ отсутствует в оригинале.

Широкая площадь шумит и гудит... – С этой строки в оригинале начинается вторая часть.

Под общим напором дрожит балаган... – Образ отсутствует в оригинале.

Там всадники скачут туда и сюда... – Образ искажен. В оригинале речь идет о скачках, буквально: «турецкий вороной и британский гнедой вырываются вперед».

Наездниц сверкает блестящий наряд... – Образ отсутствует в оригинале. Буквально: «Женщины – внушительного роста».

Угрюмый, нахмуренный негр там стоит... – Образ отсутствует в оригинале. Буквально: «Стоит с серьезным видом».

Упорно и злобно он бьет в барабан... – Образ отсутствует в оригинале. Буквально: «Он громко бьет в турецкий барабан».

Как платье воздушных наездниц блестит... – Образ отсутствует в оригинале.

И жемчуг в тяжелые косы вплела... – Образ искажен. В оригинале буквально: «Украсила волосы жемчугом».

И в гневе бессильном, тоской обуян... – Образ отсутствует в оригинале. Буквально: «Его глаза увлажнились».

Он злобным ударом... – Образ отсутствует в оригинале.

Джон Генри Маккей (1864–1933)
John Henry Mackay

Настоящая фамилия немецкого поэта, прозаика и драматурга Д.-Г. Маккея – Фаркур (Farquhar). Родился в Шотландии, бóльшую часть жизни провел в Германии и Швейцарии. Последователь Макса Штирнера и пропагандист его идей, Маккей снискал славу по-

эта-анархиста. Автор первой биографии Штирнера («Max Stirner: Sein Leben und sein Werk», 1898). В 1898 познакомился в Берлине с Рудольфом Штейнером, вместе с которым подготовил к печати брошюру «Являются ли анархисты убийцами?» («Sind Anarchisten Mörder?»). Внимание Волошина к творчеству Маккея привлек, вероятно, Е.В. Деген, поместивший в журнале «Мир Божий» обзор современной немецкой поэзии, в котором он среди прочего подробно пишет о Д. Маккее (1900. № 5. С. 224–250). В библиотеке Волошина сохранилось два тома стихотворений Маккея с пометами Волошина: «Sturm» и «Dichtungen». Обе книги Волошин приобрел во время своего пребывания в Берлине. 14 янв. 1900 он писал оттуда Я.А. Глотову: «Купил себе 2 томика стихотворений поэта-анархиста Джона Генри Макая <так!> – буду переводить и пришлю, когда переведу» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 29, л. 19 об.). Тогда же Волошин намеревался купить по совету Е.Ф. Юнге роман Маккея «Падение Альберта Шнелля» («Albert Schnell's Untergang», 1895) для Е.О. Кириенко-Волошиной, которая просила поискать интересных авторов для перевода; см. письмо Волошина к ней 14 апр. 1900 (Из лит. наследия-3. С. 202–203). Кроме публикуемого стихотворения, иных переводов Волошина из Маккея не обнаружено.

«Оставил я город и дом, и людей...». Адамантова. С. 304.
Автограф: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 16, л. 6.

Герхарт Гауптман (1862–1946)
Gerhart Hauptmann

Герхарт Гауптман, пользовавшийся в России конца XIX – начала XX вв. необычайной популярностью, стал для молодого Волошина вторым по значимости немецким писателем после Гейне. Отвечая на вопрос «тургеневской анкеты» о любимых писателях (1899; Труды и дни. С. 63), Волошин называет имя Гауптмана рядом с именем Гейне, а в ответах на ту же анкету годом ранее (Труды и дни. С. 58) упоминает в числе любимых женских литературных персонажей Ганнеле, героиню поэтической сказки Гауптмана «Вознесение Ганнеле» («Hanneles Himmelfahrt», 1893; переработ. изд.: 1894; переработ. изд.: 1896).

Волошин увлекся Гауптманом в студенческие годы. «Как он прежде был помешан на Гейне, так он теперь помешан на “Потонувшем колоколе”», – писал Е.В. Деген Е.Ф. Юнге 3 апр. 1900 (ГИМ, ф. 344, ед. хр. 41, л. 29). В нояб. 1897 Волошин смотрит вместе с А.М. Пешковским пьесу Гауптмана «Потонувший колокол» («Die versunkene Glocke», 1896) в постановке берлинского Лессинг-театра, гастролировавшего в Москве, о чем он с воодушевлением сообщает в письме к А.М. Петровой 2 нояб. 1897 (Из лит. наследия-1. С. 27), а в

начале 1898 попадает на русскую премьеру «Потонувшего колокола» в постановке К.С. Станиславского в «Обществе искусства и литературы» и делится своими восторженными впечатлениями с А.М. Петровой: «...я еще раз виде<л> “Потонувший колокол” <...> в таком исполнении и в такой обстановке, что просто с ума схожу от восторга. <...> Голова кружится от обаяния этой вещи» (Из лит. наследия-1. С. 49). В том же году Волошин присутствует на вечере у Е.Ф. Юнге при чтении перевода «Потонувшего колокола», выполненного Е.В. Дегеном, с которым он познакомился в нояб. 1897 и которого высоко ценил как тонкого переводчика. В письме к А.М. Петровой (11 марта 1898) Волошин рассказывает об этих чтениях: «...пошел к m-me Юнге, где Деген в этот самый вечер должен был читать свой перевод “Потонувшего колокола”, которым я продолжаю страшно увлекаться. Ах! Если бы вы прочли его! Только не в переводе Буренина. Какая это красота и глубина. Красота, как и в архитектурном строении драмы, и в переплетении основных идей, так и в частностях и мелочах. Действительно, это какая-то совершенно “новая красота”, которую переводом передать невозможно. <...> Об одном жалею, что не могу переписать вам всего “Потонувшего колокола” в этом письме» (Из лит. наследия-1. С. 55–56). В архиве Волошина сохранилась сделанная его рукой копия первого акта этой пьесы Гауптмана в переводе Е.В. Дегена (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 430).

Именно в это время устроительница «гауптмановских» чтений Е.Ф. Юнге сама работала над переводом другой пьесы Гауптмана («Вознесение Ганнеле»), стихотворные части которой собирался переводить Волошин, как это следует из его письма к А.М. Петровой 24 февр. 1898 (Из лит. наследия-1. С. 49). Перевод Е.Ф. Юнге должен был войти в том пьес Гауптмана, который по предложению издательницы О.Н. Поповой взялся подготовить Е.В. Деген, о чем Волошин сообщает матери 22 апр. 1898 (Из лит. наследия-3. С. 152). Издание, однако, не состоялось.

Увлечение Волошина Гауптманом в полной мере разделяла и Е.О. Кириенко-Волошина, по просьбе которой Волошин весной 1898 покупает в Москве книгу Гауптмана на немецком языке, советуя ей обратить внимание на историческую драму «Флориан Гейер» («Florian Geyer», 1896): «На русский язык переведен он еще не был никем, так что и напечатать можно будет перевод», – писал Волошин матери 28 апр. 1898 (Из лит. наследия-3. С. 154). Весной того же года Е.О. Кириенко-Волошина начала переводить «Вознесение Ганнеле», несмотря на то, что к тому моменту уже существовало два перевода этого произведения Гауптмана, один из которых, подписанный инициалами А. Г., вышел в издательстве А. С. Суворина (1894), а второй, выполненный графиней Е.В. Тизенгаузен, появился в мае 1898. О появлении второго перевода Волошин спешит сообщить матери (2 мая 1898): «...я видел <...> новый перевод Ганнеле какой-то баронессы Тизенгаупт <...> и просматривал его. Перевод скверен, и

единственное его отличие от Суворинского то, что это издание стоит полтинник, а то – гривенник» (Из лит. наследия-3. С. 156). В том же письме Волошин высказывает критические замечания по поводу перевода матери, дает советы и обещает перевести стихотворные фрагменты по приезде в Коктебель (Из лит. наследия-3. С. 157).

Черновой вариант перевода заключительного монолога Странника и текста «хора ангелов», выполненный Волошиным, датирован 8 июня 1898 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 85). Позднее Волошин внес текст этого стихотворного фрагмента в беловую рукопись перевода «Вознесения Ганнеле», осуществленного Е.О. Кириенко-Волошиной, предварив его следующей пометой: «Перевод последующих строф будет заменен другим, в случае если рукопись будет принята» (ИРЛИ, ф. 562, оп.1, ед. хр. 406, л. 69). Вскоре Е.О. Кириенко-Волошина закончила работу над переводом. «У меня не было ни скуки, ни веселья, никаких интересов, кроме Ганнеле, – писала она Волошину (10 окт. 1898). – Я была в ней, она во мне, да и теперь я еще полна ею. Что за чудная вещь!» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 646, л. 9). По возвращении в Москву (осенью 1898) Волошин предпринимает попытки пристроить завершенный перевод сначала в «Русскую Мысль», затем в «Новый Вестник Иностранной Литературы». Получив отказы, Волошин обращается по совету редактора «Русской Мысли» В.А. Гольцева в издательство «Книжное дело», но и здесь перевод не был принят. Вероятно, это отчасти было связано со скандалом вокруг «Вознесения Ганнеле»: премьера пьесы должна была состояться в конце окт. 1898 в Московском Художественном театре (постановка К.С. Станиславского), но была отменена по требованию московского митрополита. Сама же пьеса на некоторое время была изъята из репертуара. Перевод Е.О. Кириенко-Волошиной так и остался неопубликованным; рукопись его сохранилась в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 405, 406).

В начале 1900 выходят из печати переводы «Потонувшего колокола» и «Ганнеле», выполненные К. Бальмонтом (Драматические сочинения Г. Гауптмана. М.: Изд. кн. магазина «Труд», 1900). Волошин, начавший к тому времени сотрудничать в «Русской Мысли», пишет рецензию, в которой резко критикует переводы Бальмонта, упрекая его в вольном обращении с текстом. Статья «В защиту Гауптмана: По поводу переводов г. Бальмонта ("Ганнеле" и "Потонувший колокол")» (Русская Мысль. 1900. № 5. Отд. II. С. 193–200) стала первой подписанной публикацией Волошина-критика (см. наст. изд., т. 4). Готовя статью к печати, Волошин обратился к Е.В. Дегену с просьбой разрешить использовать его перевод «Потонувшего колокола». Деген, однако, ответил отказом: «Что касается цитирования отрывков моего перевода из "Потонувшего колокола", – писал он Волошину 15 марта 1900, – то, несмотря на то, что мне весьма лестно Ваше доброе мнение о нем, я советую не прибегать к этому

в журнальной рецензии» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 489, л. 1 об.). Вероятно, именно в связи с отказом Дегена Волошин предпринял попытку перевести необходимый фрагмент из «Потонувшего колокола» самостоятельно (см. с. 922 наст. тома). Выступление молодого критика не прошло незамеченным: в «Летописи» журнала «Вестник Всемирной Истории» (1900. № 8. С. 239) коротко пересказывается содержание рецензии Волошина, в которой он, как пишется здесь, «негодует на Бальмонта за то, что он Гауптмана, этого современного "Эсхила и Софокла", не перевел, а перепер». Сочувственно отнеслись к этому дебюту и знакомые Волошина, среди которых была, например, и А.И. Орлова-Бедункевич, писавшая Волошину: «В твоем фельетоне в защиту Гауптмана я вижу нарождающуюся, молодую силу, новый талант, который должен развиться и окрепнуть в упорном и продолжительном труде» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 916, л. 5 об.–6). Тогда же Волошин выступает с докладом, посвященным разбору перевода Бальмонта. «Макс Волошин читал свой доклад о "Потонувшем колоколе" и о переводе этой гауптмановской пьесы Бальмонтом, – вспоминает С.Г. Кара-Мурза. – Переводчику сильно досталось тогда за те отсебятины, которые вставил Бальмонт в стихи немецкого поэта, иногда в количестве 20–25 строк. Это не помешало, однако, тому, что Волошин сделался неизменным спутником Бальмонта, когда последний в тот же год приехал из Парижа в Москву и появлялся в общественных местах и частных домах» (Литературные салоны: (Странички из жизни Москвы) // Московская газета. 1913. 3 февр. № 235).

В продолжение гауптмановской темы, Волошин тогда же (весной 1900) пишет «Горную сказку», посвященную «Потонувшему колоколу» Гауптмана. Это сочинение, текст которого не сохранился, не имело, по признанию самого Волошина, ясных жанровых очертаний: «По содержанию это, собственно, критическая статья, – писал он А.М. Петровой 7 апр. 1900, рассказывая о своем выступлении в литературном кружке В.А. Морозовой, – а по форме это сам черт не разберет, что такое: наполовину она написана в стихах, наполовину в прозе, действие в ней происходит то в Швейцарии, то в Косьмодемьяновском монастыре под Алуштой, то в Художествен<ном> театре в Москве <...>. Но, в общем, она производит впечатление цельное и сильное, сколько я мог заметить по своим слушателям...» (Из лит. наследия-1. С. 101). Далее Волошин признаётся, что в «Горной сказке» отчасти пародировал высказываемые публикой мнения о «Потонувшем колоколе». Эти материалы, касающиеся общественного мнения относительно гауптмановской пьесы, отражены в записной книжке Волошина (1898), озаглавленной «Человеческие документы» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 453). В «Горной сказке» Волошин использовал фрагменты из «Потонувшего колокола» в переводе Е.В. Дегена, который настоял на том, чтобы его имя при этом не упоминалось. «Он <Волошин. – *М. К.*> непременно хотел просла-

вить мое имя как переводчика “Потонувшего колокола”, – сообщал Е.В. Деген Е.Ф. Юнге 3 апр. 1900, – взяв отрывки моего перевода в какую-то свою фантастическую сказку. Я подумал <...> и разрешил ему пользоваться моим переводом, но не упоминая всуе моего имени» (ГИМ, ф. 344, ед. хр. 41, л. 29). К началу апреля работа над «Горной сказкой» была, очевидно, завершена. Пристроив статью «В защиту Гауптмана» в «Русскую Мысль», Волошин, еще до выхода ее из печати, предложил туда же и «Горную сказку», однако редакция эту работу отклонила, поскольку она, как сообщал Волошин матери (26 апр. 1900), противоречит направлению журнала. «Дело в том, – писал Волошин, – что у меня там, в числе прочих лиц Потон<увшего> Колокола, действует и школьный учитель как олицетворение педантической науки и пошлости толпы, так мне Гольцев сказал, что ему вся эта вещь очень нравится, но только об школьном учителе так отзываться в Рус<ской> Мысли нельзя. <...> Напрасно я доказывал, что “Рус<ская> Мысль” издается для людей понимающих, а не для идиотов, но он был другого мнения и предлагал мне сделать соответствующее изменение, на что я не согласился» (Из лит. наследия-3. С. 204). Получив отказ, Волошин предпринимает попытки пристроить «Горную сказку» в «Мир искусства», как это следует из письма к Я.А. Глотову от 20 янв. 1901 (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 29, л. 36), но и эти усилия остались без последствий.

Год спустя Волошин помещает в «Русском Туркестане» специальную статью, посвященную «Потонувшему колоколу»: «Герхардт Гауптман и его “Потонувший колокол”» (Русский Туркестан. 1901. 11 апр. № 52; см. наст. изд., т. 4), и более к этому автору не возвращается.

Из «Ганнеле» (Странник: «Блаженная страна – огромный чудный град...»).

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1., ед. хр. 405, л. 68–71; черновик: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 3, л. 85.

«Die Seligkeit ist eine wunderbare Stadt...». Заключительный монолог Странника из двухактной драмы «Вознесение Ганнеле» («Hanneles Himmelfahrt. Traumdichtung / Traumspiel», 1893/1894/1896).

Черновик перевода этого фрагмента датирован 8 июня 1898. Окончательный вариант вписан в беловую рукопись перевода всей пьесы, выполненного Е.О. Кириенко-Волошиной (1898). В этом варианте перевода пьеса озаглавлена: «Вознесение Ганнеле. Перевод с немецкого поэмы Гергарта Гауптмана». Кроме беловой рукописи, в архиве сохранился черновик перевода Е.О. Кириенко-Волошиной без стихотворного фрагмента, переведенного Волошиным (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 406). Этот вариант озаглавлен: «Ганнеле. Фантастическая поэма в 2-х частях. Поэма-грез Гергарта Гауптмана».

И пурпур их всех омывает от скверны людской... – Образ отсутствует в оригинале.

Сквозь сонные благоухания цветов... – Образ искажен. В оригинале буквально: «Сквозь аромат и благоухание цветов рая».

Из «Потонувшего колокола» («Между камнями и травами, там, далеко в глубине...»).

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 16, л. 11.

«Es ruht eine Glocke im tiefen See...». Фрагмент монолога Водяного из четвертого акта «Потонувшего колокола» («Die versunkene Glocke: Ein deutsches Märchendrama in fünf Akten», 1897).

Около вьется, в немой тишине... – Образ отсутствует в оригинале.

Плачет, боится и кружится вновь... – Образ искажен. В оригинале буквально: «И иногда плачет от боли и страданий». Ср. перевод П. Мелковой: «От боли и жалости плача порой» (*Гауптман Г.* Пьесы. М.: Искусство, 1959. Т. 1. С. 465).

Переводы из неустановленных авторов

«Шумя, за волною катилась волна...».

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 48 об.

«Мягкий свет. Луна...».

Печатается по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 2, л. 57.

М.Ю. Коренева

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО

Эмиль Верхарн

Судьба. Творчество. Переводы

Граф Филипп-Огюст Вилье де Лиль-Адан

Поль Клодель

Поль де Сен-Виктор

Анри де Ренье

Пьер Корнель

Огюст Барбье

Альфред де Мюссе

Виктор Гюго

Шарль Бодлер

Жозе Мариа де Эредиа

Поль Верлен

Стефан Малларме

Пьер Луис

Андре Сюарес

Гюстав Флобер

ЮНОШЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ

С латинского

Квинт Гораций Флакк

С английского

Джордж Гордон Байрон

С немецкого

Фридрих Шиллер

Людвиг Уланд

Август фон Платен

Генрих Гейне

В оформлении суперобложки
использована акварель
М. Волошина «Размытый вулкан». 1923 г.

Волошин, Максимилиан Александрович

В68 **Собрание сочинений.** Т. 4. Переводы / Максимилиан Волошин; сост. А.В. Лаврова; подготовка текста и коммент. П.Р. Заборова, М.Ю. Кореневой, Д.В. Токарева. – М.: Эллис Лак, 2006. – 992 с.

ISBN 5-902152-34-8 (т. 4)
ISBN 5-902152-05-4

Четвертый том Собрания сочинений М. Волошина включает вышедшие при его жизни переводные книги («Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы», Поль де Сен-Виктор «Боги и люди», Анри де Ренье «Маркиз д'Амеркер»); переводы с французского, печатавшиеся в составе авторских книг Волошина (Ж.-М. де Эредиа, С. Малларме) и в периодических изданиях или альманахах и не опубликованные при жизни Волошина (по текстам, сохранившимся в его архиве). В отдельный раздел выделены юношеские переводы (преимущественно из немецких поэтов), выполненные Волошиным в 1890-е годы.

ББК 84(2Рос=Рус)
УДК 821.161.1-94

Максимилиан Александрович Волошин

Собрание сочинений
под общей редакцией
В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Том четвертый

Переводы

Редактор
Н.П. Ходюшина

Художественный редактор
В.Н. Сергутин

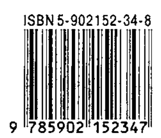
Корректор
Е.И. Коротаева

Верстка
А.Б. Метелкин

Подписано в печать 10.11.2006
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная.
Печ. л. 31. Тираж 3000 экз.
Заказ № 2053.
ЛР № 01716 от 05.05.2000

Издательство «Эллис Лак 2000»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16
Тел. 254-74-72. Факс: 254-26-11.
E-mail: ellisluck@mail.ru

ISBN 5-902152-34-8



ОАО «Московская типография № 2»
129085, Москва, пр. Мира, 105. Тел.: 682-24-91.